ПЛУТАРХ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

II ПЛУТАРХ · СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ



ΒΙΟΙ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ





ПЛУТАРХ



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

Издание второе,
исправленное
и дополненное



Издание подготовили
С.С. АВЕРИНЦЕВ, М.Л. ГАСПАРОВ,
С.П. МАРКИШ

МОСКВА "НАУКА" 1994

Ответственный редактор
С.С. АВЕРИНЦЕВ

П $\frac{4700000000-029}{042(02)-94}$ 472-93, II полугодие

ISBN 5-02-011570-3

ISBN 5-02-011569-X



СЕРТОРИЙ И ЭВМЕН

СЕРТОРИЙ

1. Поскольку поток времени бесконечен, а судьба изменчива, не приходится, пожалуй, удивляться тому, что часто происходят сходные между собой события. Действительно, если количество основных частиц мироздания неограниченно велико, то в самом богатстве своего материала судьба находит щедрый источник для созидания подобий; если же, напротив, события сплетаются из ограниченного числа начальных частиц, то неминуемо должны по многу раз происходить сходные события, порожденные одними и теми же причинами. Иные люди охотно отыскивают в исторических книгах и устных преданиях примеры случайного сходства, которые могут показаться порождением разумной воли и провидения. Таковы истории двух Аттисов – сирийского и аркадского (оба они были убиты вепрем), такова судьба двух Актеонов[1] (одного из них растерзали собаки, а другого – любовники) или двух Сципионов: сперва один Сципион одержал победу над карфагенянами, а затем второй окончательно разгромил их. Илион был взят Гераклом[2] из-за коней Лаомедонта и затем Агамемноном при помощи так называемого деревянного коня, а в третий раз город занял Харидем – и опять-таки потому, что какой-то конь оказался в воротах и жители Илиона не смогли достаточно быстро их запереть. Есть два города, носящих имена самых благоуханных растений: Иос и Смирна[3] – и говорят, что поэт Гомер родился в одном из них и умер в другом. К этому я прибавил бы еще одно наблюдение: среди полководцев самыми воинственными, самыми хитроумными и решительными были одноглазые, а именно Филипп, Антигон, Ганнибал и, наконец, тот, о ком пойдет речь в этом жизнеописании, – Серторий. Его можно было бы назвать более целомудренным, чем Филипп, более верным к друзьям, чем Антигон, более мягким к врагам, нежели Ганнибал. Ни одному из них он не уступал умом, но всех их превзошел своими несчастьями, ибо судьба была к нему более суровой, чем откровенные враги. Он сравнялся военным опытом с Метеллом, отвагой – с Помпеем, удачей – с Суллой; его отряды соперничали с римским войском – а был он всего лишь беглецом, нашедшим приют у варваров и ставшим их предводителем.

Среди греков я уподобил бы ему скорее всего Эвмена Кардийского: оба были прирожденными военачальниками, изобретательно действовавшими против неприятеля; оба стали изгнанниками и имели под своим началом чужеземцев; обоим судьба сулила кончину горестную и насильственную: они стали жертвой заговора, погибли от руки тех, с кем вместе одерживали победы над врагом.

2. Квинт Серторий принадлежал к видному роду сабинского города Нурсия. Он рано потерял отца и получил достойное воспитание под наблюдением матери, которую, кажется, любил очень сильно. Есть сведения, что его мать звали Реей. Он отдавал много сил изучению права и, будучи еще совсем юношей, благодаря своему красноречию приобрел некоторое влияние в городе, однако блестящие военные успехи направили честолюбие Сертория по иному пути.

3. Первый подвиг он совершил, когда кимвры и тевтоны вторглись в Галлию, разгромили римлян и обратили их в бегство. Серторий (он служил под начальством Цепиона), потерявший коня и раненный, все же переправился через Родан вплавь и, несмотря на сильное течение, не бросил ни панциря, ни щита – настолько был он крепок и закален упражнениями. Второй раз он отличился во время нового наступления этих варваров; собрались такие полчища их и столь грозными они казались, что в ту пору считалось великим подвигом, если римлянин оставался в строю и повиновался полководцу. Войсками командовал Марий, а Серторий был послан на разведку во вражеский стан. Одевшись по-кельтски и усвоив наиболее ходовые выражения, необходимые, если придется поддерживать разговор, Серторий смешался с варварами; кое-что важное увидев своими глазами, а о другом узнав по рассказам, он возвратился к Марию. Уже на этот раз Серторий был удостоен награды, а так как и во время дальнейших военных действий неоднократно проявлял разум и отвагу, то приобрел славу и стал пользоваться доверием полководца.

Когда кончилась война с кимврами и тевтонами, Серторий был послан в Испанию военным трибуном при полководце Дидии и проводил зиму в кельтиберийском городе Кастулоне. Так как воины, живя в роскоши, распустились и без просыпа пьянствовали, варвары стали относиться к ним с пренебрежением и, призвав на помощь своих соседей истургийцев, напали ночью на жилища римлян. Многие были убиты. Серторию вместе с некоторыми другими удалось ускользнуть; собрав уцелевших воинов, он обошел вокруг города. Найдя открытыми ворота, через которые варвары тайно прокрались внутрь, Серторий не повторил их небрежности – напротив, он установил стражу у ворот и, овладев городом, перебил всех способных носить оружие. Когда резня закончилась, он приказал воинам сбросить одежды и сложить оружие и, облачившись во все варварское, двинуться против того города, откуда пришли люди, ночью напавшие на римлян. Вид воинов Сертория обманул варваров, и они не стали запирать ворота; перед Серторием оказалось множество людей, полагавших, что они встречают друзей и сограждан, возвращающихся с победой. В результате бо́льшую часть жителей римляне перебили у ворот, а остальные сдались и были проданы в рабство.

4. Эти события принесли Серторию известность в Испании, и едва он вернулся в Рим, как был назначен на должность квестора той Галлии, что лежит по реке Паду, – и это было весьма ко времени. Уже назревала Марсийская война, и Серторий получил приказание собирать воинов и готовить оружие; он проявил в этом деле такое рвение и стремительность (особенно если сравнивать с медлительностью и вялостью других молодых военачальников), что приобрел добрую славу человека деятельного. Даже став начальником, Серторий не забывал о

воинской отваге и сам творил в бою чудеса; он не щадил себя в сражениях и, в конце концов, потерял один глаз – чем, впрочем, неизменно гордился. По его словам, другие не могут всегда носить на себе награды, полученные за подвиги, но снимают почетные цепи, убирают копья и венки – он же постоянно сохраняет свое отличие, напоминающее всем, кто видит Сертория, о его доблести и вместе с тем о его потере. И народ воздал ему соответствующие почести: когда Серторий появился в театре, его встретили шумными приветственными кликами – а это нелегко было заслужить даже людям, которые намного превосходили его и возрастом и славой. Однако когда он стал добиваться трибуната, Сулла противодействовал ему, и попытка Сертория закончилась неудачей; по-видимому, из-за этого он и возненавидел Суллу.

Когда Марий, потерпев поражение от Суллы, бежал, а сам Сулла отправился на войну против Митридата, когда из двух консулов Октавий поддерживал Суллу, а Цинна задумывал переворот и старался возродить ослабленную группировку приверженцев Мария, – тогда Серторий примкнул к сторонникам Цинны, видя, помимо всего прочего, что Октавий – человек вялый и к тому же недоверчиво относится к друзьям Мария. Из большого сражения между консулами, которое произошло на форуме, победителем вышел Октавий, Цинна же и Серторий бежали, потеряв чуть ли не десять тысяч своих приверженцев. Но затем им удалось склонить на свою сторону бóльшую часть стоявших в разных частях Италии войск, и, таким образом, они уже вскоре показали себя достойными противниками Октавия.

5. Когда Марий приплыл из Африки и предложил, что он как обыкновенный гражданин встанет под командование Цинны – консула, все готовы были его принять. Только Серторий выступил против этого, то ли полагая, что присутствие столь опытного полководца, как Марий, неблагоприятно скажется на отношении Цинны к самому Серторию, то ли боясь тяжелого характера Мария и опасаясь, что тот, не зная меры в своем гневе, вызовет ужасные беспорядки и в час победы преступит пределы права и законности. Серторий говорил, что уже почти все сделано, что они и так уже добились победы, но если они примут Мария, их успех послужит на пользу его славе и могуществу, а он человек недоверчивый и неспособный делить власть с другими. Цинна отвечал, что соображения Сертория основательны, но что ему совесть не позволяет оттолкнуть Мария, которого он сам призывал принять участие в их борьбе. На это Серторий заметил: "В своем решении я исходил из того, что Марий явился в Италию по собственному почину. Что же касается тебя, твоя ошибка уже в том, что ты стал обсуждать вопрос о человеке, которого сам пригласил: конечно, его нужно принять, ибо верность своим обязательствам не подлежит обсуждению". Итак, Цинна призвал Мария; войска были разделены на три части, и во главе их стояли три командира.

Когда военные действия кончились, Цинна и Марий поступали так нагло и злобно, что римляне готовы были счесть золотыми дарами испытанные ими во время войны бедствия. Передают, что в ту пору один Серторий не поддавался чувству гнева и никого не убивал, что он не пользовался правом победителя и не творил насилий; напротив, он возмущался Марием и в частных беседах угова-

ривал Цинну действовать мягче. Рабы, ставшие соратниками Мария на поле боя и опорой его тирании, превратились во влиятельных и богатых людей: они то получали награды по приказанию Мария, то насильственно присваивали добро своих господ, убивая их самих, сходясь с их женами, насилуя их детей; в конце концов Серторий счел их действия нетерпимыми и перебил их, когда все они находились в одном лагере, – а было всех рабов не менее четырех тысяч.

6. Когда Марий умер, а Цинна вскоре после того был убит, когда Марий Младший присвоил консульскую власть вопреки воле Сертория и в нарушение законов, а разные Карбоны, Норбаны и Сципионы плохо вели войну против наступавшего Суллы, дела приняли дурной оборот частично из-за трусости и распущенности командиров, частично же из-за прямого предательства. Серторию было уже бессмысленно оставаться и наблюдать, как положение становится все хуже из-за бездарности высших командиров. Поэтому, когда, в конце концов, Сулла, став лагерем возле лагеря Сципиона и разыгрывая из себя друга, ищущего мира, подкупом перетянул на свою сторону войска противника – Серторий заранее предупреждал Сципиона, чем все это кончится, но тот не прислушался к его словам, – Серторий, окончательно потеряв надежду удержаться в городе, отправился в Испанию. Его целью было превратить эту страну, коль скоро удастся овладеть ею, в убежище для друзей, разбитых в Италии. В горах его встретила непогода, а варвары требовали уплаты дани и пошлины за проход через их владения. Спутники Сертория негодовали и возмущались, что римлянину, облеченному консульским достоинством, приходится платить дань жалким варварам, но сам он не придавал значения тому, что им казалось позорным, и говорил, что он покупает время, а время особенно дорого человеку, стремящемуся к великой цели.

Успокоив варваров выплатой денег, он быстро подчинил себе Испанию. Серторий встретил здесь племена многолюдные и воинственные, но относившиеся ко всему связанному с Римом враждебно – из-за постоянных вымогательств и высокомерия наместников, которых сюда присылали; знать он привлек на свою сторону обходительностью, а народ – снижением податей; особое расположение он завоевал, отменив постой: он принуждал воинов устраивать зимние квартиры в пригородах и сам первый показал пример. Впрочем, он строил свои расчеты не на одном только расположении варваров: он вооружил способных носить оружие римских поселенцев, а также приказал изготовить всевозможные военные машины и построить триеры. Города он держал под пристальным наблюдением. Он был мягок в решении гражданских дел, враги же испытывали ужас, видя его военные приготовления.

7. Когда Серторию стало известно, что Сулла овладел Римом, а сторонники Мария и Карбона разбиты, он стал ожидать, что в Испанию будет послан полководец с войсками для решительной войны против серторианцев. Поэтому он сразу же приказал Ливию Салинатору с шестью тысячами тяжеловооруженных воинов занять проходы в Пиренейских горах. И действительно, Гай Анний, который некоторое время спустя был послан Суллой в Испанию, убедился, что Ливий недосягаем, и не зная, что предпринять, медлил у подножия гор. Лишь после того, как некто Кальпурний, по прозвищу Ланарий, коварно убил Ливия и

воины покинули высоты Пиренеев, Анний перевалил через горы и двинулся вперед с большим войском, сокрушая сопротивление противника. Серторий, который был не в состоянии принять бой, бежал с тремя тысячами воинов в Новый Карфаген; там они сели на корабли, пересекли море и высадились в Африке, в стране мавританцев. Варвары напали на них в тот момент, когда воины, не выставив охранения, таскали воду; и вот Серторий, потеряв многих, вновь поплыл в Испанию. Оттуда он тоже был отброшен, но тут к нему присоединились пираты-киликийцы, и он высадился на острове Пифиуса и занял его, сломив сопротивление оставленного Аннием караульного отряда. Немного спустя, однако, явился Анний с большим числом кораблей и пятью тысячами тяжеловооруженных воинов; Серторий предпринял попытку дать решительное сражение, несмотря на то, что его суда были легкими, пригодными для быстрого плавания, но не для битвы. Но тут подул сильный западный ветер, на море поднялась буря, и бо́льшая часть неустойчивых судов Сертория была отнесена в сторону, к скалистому берегу; сам Серторий, уйдя с немногими кораблями, десять дней провел в труднейших условиях, гонимый встречным прибоем и суровыми волнами; буря не давала ему выйти в открытое море, а враги – пристать к берегу.

8. Ветер спал, и Сертория отнесло к каким-то разбросанным по морю безводным островам, где он провел ночь; оттуда, пройдя Гадесский пролив, он двинулся, имея по правому борту омываемые Океаном берега Испании. Тут он и высадился, чуть выше устья Бетиса – реки, которая изливается в Атлантический океан и дает имя окрестным областям Испании[4].

Там ему повстречались какие-то моряки, которые недавно приплыли с Атлантических островов; этих островов два; они разделены совсем узким проливом и отстоят на десять тысяч стадиев от Африки; имя их – Острова блаженных[5]. Там изредка выпадают слабые дожди, постоянно дуют мягкие и влажные ветры; на этих островах не только можно сеять и сажать на доброй и тучной земле – нет, народ там, не обременяя себя ни трудами, ни хлопотами, в изобилии собирает сладкие плоды, которые растут сами по себе. Воздух на островах животворен благодаря мягкости климата и отсутствию резкой разницы меж временами года, ибо северные и восточные вихри, рожденные в наших пределах, из-за дальности расстояния слабеют, рассеиваются на бескрайних просторах и теряют мощь, а дующие с моря южные и западные ветры изредка приносят слабый дождь, чаще же их влажное и прохладное дыхание только смягчает зной и питает землю. Недаром даже среди варваров укрепилось твердое убеждение, что там – Елисейские поля и обиталище блаженных, воспетое Гомером[6].

9. Когда Серторий услышал этот рассказ, у него родилось страстное желание поселиться на Островах блаженных и жить там безмятежно, не ведая ни тирании, ни бесконечных войн. Зато киликийцы, узнав о его стремлении, отплыли в Африку, намереваясь вернуть Аскалиду, сыну Ифты, мавританский престол, – ведь киликийцы жаждали богатства и добычи, а не покоя и мира. Тем не менее Серторий не отчаивался, напротив, он решил оказать помощь тем, кто сражался против Аскалида; он рассчитывал, что его соратники, ободренные новыми успехами, увидят в них залог дальнейших подвигов и потому не рассеются, охваченные унынием. Радостно принятый мавританцами, он тут же принялся за де-

ло, разбил Аскалида и осадил его. Сулла послал на помощь Аскалиду Пакциана с войском, но Серторий убил его в сражении, а побежденных воинов привлек на свою сторону; затем он взял Тингис, где Аскалид с братьями искали убежища. Ливийцы рассказывали, что в этом городе был похоронен Антей[7]. Серторий приказал раскопать его гробницу, не веря рассказам варваров о росте Антея. Но, обнаружив тело длиной в шестьдесят локтей, он, как передают, был поражен и, заклав жертвенное животное, велел засыпать могилу; и этим Серторий способствовал еще большему почитанию и славе Антея. По преданиям тингитов, после смерти Антея его вдова Тингис сошлась с Гераклом и родила от него сына по имени Софак, который стал царем этой страны и дал основанному им городу имя своей матери. Сыном Софака был Диодор, которому подчинились многие ливийские племена – ведь у него было греческое войско из поселенных там Гераклом ольвийцев и микенцев. Мы рассказали здесь об этом ради Юбы, который более всех царей любил историю: ибо передают, что предки Юбы были потомками Софака и Диодора.

Серторий, оказавшись господином положения, не был несправедлив к тем, кто призвал его и доверял ему, – он отдал им и деньги, и города, и власть и взял себе лишь то, что они дали ему добровольно.

10. В то время как Серторий раздумывал, куда ему теперь устремиться, лузитанцы отправили к нему послов, приглашая его стать их вождем; опасаясь римлян, они искали себе предводителя, который был бы человеком достойным и опытным; узнав о характере Сертория от его спутников, лузитанцы желали доверить свои дела ему и только ему.

Современники рассказывают, что Серторию не свойственна была ни жажда наслаждений, ни чувство страха и сама природа наделила его даром и тяготы переносить не дрогнув, и не зазнаваться от удачи. Не было среди полководцев того времени более отважного, чем он, в открытом бою и вместе с тем более изобретательного во всем, что касалось военных хитростей и умения занять выгодную позицию или осуществить переправу, что требовало быстроты, притворства, а если надо, то и лжи. Он был щедр, раздавая награды за подвиги, но оставался умеренным, карая проступки. Возможно, однако, что подлинную его натуру выдает проявленная им в конце жизни жестокость и мстительность по отношению к заложникам: он не был добрым по природе, но, руководствуясь необходимостью и расчетом, надевал личину доброты. По-моему, добродетель истинная и основанная на разуме ни в коем случае не может превратиться в свою противоположность, но вполне вероятно, что честные характеры и натуры становятся хуже под влиянием больших и незаслуженных невзгод; их свойства меняются вместе с изменением их судьбы. Думаю, что именно это и произошло с Серторием, когда счастье уже стало покидать его: дурной оборот дела сделал его жестоким к тем, кто выступал против него.

11. Итак, в ту пору Серторий покинул Африку, приглашенный лузитанцами. Он сразу же навел у них порядок, действуя как главнокомандующий с неограниченными полномочиями, и подчинил ближайшие области Испании. Бóльшая часть покоренных перешла на его сторону добровольно, привлекаемая прежде всего мягкостью и отвагой Сертория; однако в некоторых случаях он прибегал

к хитроумным проделкам, чтобы прельстить и обмануть варваров. В важнейшей из его выдумок главная роль принадлежала лани. Дело происходило таким образом. На Спана, простолюдина из местных жителей, случайно выбежала самка оленя, вместе с новорожденным детенышем уходившая от охотников; мать он не смог схватить, но олененка, поразившего его необычайной мастью (он был совершенно белый), Спан стал преследовать и поймал. Случилось так, что Серторий как раз находился в этих краях; а так как он с удовольствием принимал в дар любые плоды охоты или земледелия и щедро вознаграждал тех, кто хотел ему услужить, то Спан привел олененка и вручил ему. Серторий принял дар. На первых порах он не видел в подарке ничего необычайного. Однако прошло некоторое время, лань стала ручной и так привыкла к людям, что откликалась на зов и повсюду ходила за Серторием, не обращая внимания на толпу и шум военного лагеря. Затем Серторий объявил лань божественным даром Дианы, утверждая, будто не раз это животное раскрывало ему неведомое: он хорошо знал, сколь суеверны варвары по своей природе. Немногим позже Серторий придумал еще вот что. Если он получал тайное извещение, что враги напали на какую-либо часть его страны или побуждали отложиться какой-либо город, он притворялся, что это открыла ему во сне лань, наказывая держать войска в боевой готовности. И точно так же, если Серторий получал известие о победе кого-нибудь из своих полководцев, он никому не сообщал о приходе гонца, а выводил лань, украшенную венками в знак добрых вестей, и приказывал радоваться и приносить жертвы богам, уверяя, что скоро все узнают о каком-то счастливом событии.

12. Благодаря этому варвары стали охотнее подчиняться Серторию; они благосклоннее относились ко всем его замыслам, считая, что повинуются не воле какого-то чужака, но божеству. К тому же самый ход событий укреплял их в этом убеждении, ибо могущество Сертория необычайно возрастало. В его распоряжении было две тысячи шестьсот человек, которых он называл римлянами[8], да еще семьсот ливийцев, переправившихся вместе с ним в Лузитанию, а самих лузитанцев – четыре тысячи легкой пехоты и семьсот всадников; и с этими силами он воевал против четырех римских полководцев, которые имели в своем подчинении сто двадцать тысяч пехотинцев, шесть тысяч всадников, две тысячи лучников и пращников; к тому же у них было бесчисленное множество городов, тогда как Серторий первоначально располагал всего двадцатью. И вот, начав с незначительными, ничтожными силами, он не только подчинил себе большие племена и взял много городов, но одного из посланных против него полководцев – Котту – разгромил в морском сражении в проливе у Менарии, наместника Бетики Фуфидия обратил в бегство в битве на Бетисе, где в сражении пало две тысячи римлян, а Домиций Кальвин, наместник другой Испании, был разбит квестором Сертория[9]; Торий, посланный Метеллом во главе войска, пал в битве, а самому Метеллу, одному из величайших и знаменитейших римлян того времени, Серторий нанес немало поражений и поставил его в положение столь безвыходное, что ему на помощь должен был прийти Луций Манлий из Нарбонской Галлии; в то же самое время из Рима был поспешно отправлен Помпей Магн с войсками. Да, Метелл был бессилен что-либо сделать, ибо ему приходи-

лось вести войну с человеком отважным, избегавшим открытого сражения и к тому же чрезвычайно быстро передвигавшимся благодаря подвижности легковооруженного испанского войска. Тактика, к которой привык сам Метелл, была рассчитана на столкновения регулярных тяжеловооруженных отрядов. Он командовал плотной и малоподвижной фалангой, которая была прекрасно обучена отражать и опрокидывать врага в рукопашной схватке, но оказалась непригодной для горных переходов и для столкновений с быстрыми, как ветер, воинами, когда без конца приходилось преследовать и убегать, когда надо было – подобно людям Сертория – терпеть голод, жить, не зажигая огня и не разбивая палаток.

13. К тому же Метелл – человек уже в летах, вынесший многочисленные и тяжкие битвы, – был склонен к неге и роскоши, а тот, с кем ему пришлось воевать, Серторий, отличался зрелостью духа и вместе с тем удивительной силой, подвижностью и простотой образа жизни. Он не пьянствовал даже в свободные от трудов дни – наоборот, он привык к тяжелой работе, дальним переходам, постоянному бодрствованию и довольствовался скудной и неприхотливой пищей. На досуге Серторий бродил или охотился, а потому знал местности как легко доступные, так и непроходимые, и вот, отступая, он всегда находил, где проскользнуть, а преследуя – как окружить противника. Поэтому Метелл, не вступая в битву, испытывал все невзгоды, выпадающие на долю побежденных, тогда как Серторий, убегая от противника, оказывался на положении преследователя. Серторий лишал римлян воды и препятствовал подвозу продовольствия; когда они продвигались вперед, он ускользал с их дороги, но стоило им стать лагерем, как он начинал их тревожить; если они осаждали какой-нибудь город, появлялся Серторий и в свою очередь держал их в осаде, создавая нехватку в самом необходимом. В конце концов римские воины потеряли надежду на успех и, когда Серторий вызвал Метелла на единоборство, стали требовать и кричать, чтобы они сразились – полководец с полководцем и римлянин с римлянином; они издевались над Метеллом, когда тот ответил отказом. Но Метелл высмеял их требования, и был прав, ибо полководец, как говорил Феофраст, должен умирать смертью полководца, а не рядового.

Когда Метелл узнал, что лангобригийцев, которые оказывали Серторию немалую помощь, жаждой легко принудить к сдаче (у них в городе был один колодец, тогда как источники, находившиеся в предместьях и у городских стен, легко могли оказаться в руках осаждающих), Метелл подошел к городу, рассчитывая взять его после двухдневной осады, когда у варваров не останется воды. В соответствии со своим планом он приказал воинам нести с собой пропитание только на пять дней. Но Серторий мгновенно пришел на выручку. Он приказал наполнить водой две тысячи мехов, назначив за каждый мех значительную сумму денег. Так как многие испанцы, а также и мавританцы готовы были принять участие в деле, Серторий отобрал людей сильных и быстроногих и послал их через горы; он приказал передать меха горожанам, а затем вывести из крепости негодную чернь, чтобы защитникам хватило воды. Узнав об этом, Метелл пришел в дурное расположение духа, потому что припасы у его воинов подходили к концу, и послал за продовольствием Аквина с шеститысячным отрядом. Но Серто-

рий, от которого это не укрылось, устроил засаду на пути Аквина; три тысячи воинов, выскочив из темного ущелья, напали на Аквина с тыла, в то время как сам Серторий ударил ему в лоб; римляне были обращены в бегство, часть из них пала, другие оказались в плену. Аквин вернулся, потеряв коня и оружие, Метелл должен был с позором отступить, провожаемый беспрерывными насмешками испанцев.

14. Все эти подвиги Сертория восхищали варваров, а особенно они полюбили его за то, что он ввел у них римское вооружение, военный строй, сигналы и команды и, покончив с их дикой, звериной удалью, создал из большой разбойничьей банды настоящее войско. Он привлек сердца испанцев еще и тем, что щедро расточал серебро и золото для украшений их шлемов и щитов, и тем, что ввел моду на цветистые плащи и туники, снабжая варваров всем необходимым и способствуя исполнению их желаний. Но всего более он покорил их своим отношением к детям. Он собрал в большом городе Оске знатных мальчиков из разных племен и приставил к ним учителей, чтобы познакомить с наукой греков и римлян. По существу он сделал их заложниками, но по видимости – воспитывал их, чтобы, возмужав, они могли взять на себя управление и власть. А отцы необычайно радовались, когда видели, как их дети в окаймленных пурпуром тогах проходят в строгом порядке в школу, как Серторий оплачивает их учителей, как он устраивает частые испытания, как он раздает награды достойным и наделяет лучших золотыми шейными украшениями, которые у римлян называются "буллы"[10] [bullae].

По испанскому обычаю, если какой-нибудь вождь погибал, его приближенные должны были умереть вместе с ним – клятва поступить таким образом называлась у тамошних варваров "посвящением". Так вот, у других полководцев число оруженосцев и сподвижников было невелико, тогда как за Серторием следовали многие десятки тысяч посвятивших себя людей. Рассказывают, что однажды около какого-то города он потерпел поражение и враги теснили его; испанцы, не заботясь о себе, думали лишь о том, как спасти Сертория, и, подняв его на руки, передавали один другому, пока не втащили на стену; только когда их вождь оказался в безопасности, все они обратились в бегство.

15. Его любили не только испанцы, но и воины из Италии. Так, Перперна Вентон, принадлежавший к той же группировке, что и Серторий, явился в Испанию с богатой казной и большим войском; когда он решил на свой страх и риск воевать против Метелла, воины стали выражать недовольство, и в лагере стали непрерывно вспоминать о Сертории – к огорчению Перперны, чванившегося своим благородством и богатством. Позднее, когда пришла весть о том, что Помпей переходит через Пиренеи, воины, схватив оружие и боевые значки, с шумом явились к Перперне и стали требовать, чтобы он вел их к Серторию. В противном случае они угрожали оставить Перперну и без него перейти к мужу, способному спасти и себя и других. Перперна уступил им, повел их к Серторию и соединил с ним свои силы, насчитывавшие пятьдесят три когорты.

16. Поскольку все племена, обитавшие по эту сторону реки Ибер, объединились и приняли сторону Сертория, он располагал большими силами: к нему отовсюду постоянно стекались люди. Но его печалило свойственное варварам от-

сутствие порядка и безрассудство, и так как они кричали, что надо напасть на врага, и сетовали на напрасную трату времени, Серторий пытался успокоить их разумными доводами. Но видя, что они раздосадованы и готовы силой принудить его к несвоевременным действиям, он уступил им и стал смотреть сквозь пальцы на подготовку схватки с противником, надеясь, что испанцы не будут полностью уничтожены, но получат хороший урок и в дальнейшем станут более послушными. Когда же все случилось так, как он и предполагал, Серторий пришел на помощь разбитым, прикрыл их отступление и обеспечил безопасный отход в лагерь. Желая рассеять дурное настроение, он через несколько дней созвал всенародную сходку и приказал вывести двух лошадей: одну совершенно обессилевшую и старую, другую же статную, могучую и, главное, с удивительно густым и красивым хвостом. Дряхлого коня вел человек огромного роста и силы, а могучего – маленький и жалкий человечек. Как только был подан знак, силач обеими руками схватил свою лошадь за хвост и вовсю принялся тянуть, стараясь выдернуть, а немощный человек стал между тем по одному выдергивать волосы из хвоста могучего коня. Великие труды первого оказались безрезультатными, и он бросил свое дело, вызвав лишь хохот зрителей, а немощный его соперник скоро и без особого напряжения выщипал хвост своей лошади. После этого поднялся Серторий и сказал: "Видите, други-соратники, настойчивость полезнее силы, и многое, чего нельзя совершить одним махом, удается сделать, если действовать постепенно. Постоянный нажим непреодолим: с его помощью время ломает и уничтожает любую силу, оно оборачивается благосклонным союзником человека, который умеет разумно выбрать свой час, и отчаянным врагом всех, кто некстати торопит события". Всякий раз придумывая такие убедительные примеры, Серторий учил варваров выжидать благоприятных обстоятельств.

17. Не менее других военных подвигов удивительными были его успешные действия против так называемых харакитан. Это – племя, обитающее за рекою Тагом[11]; не в городах и не в селах они живут, но у них есть огромный и высокий холм, на северном склоне которого расположены подземелья в скале и пещеры. Вся лежащая у подножия местность изобилует пористой глиной, а это почва рыхлая и нестойкая, она не выдерживает человеческого шага и, даже если едва прикоснуться к ней, рассыпается, словно известь или зола. И вот эти варвары всякий раз, как возникала угроза войны, прятались в пещеры и уносили туда свое имущество; здесь они чувствовали себя в безопасности, потому что силой их нельзя было подчинить. Как-то раз Серторий, уходя от Метелла, разбил лагерь неподалеку от холма харакитан, которые обошлись с ним надменно как с потерпевшим поражение. Тогда Серторий, едва только занялся день, прискакал к этому месту, чтобы осмотреть его: то ли он был разгневан, то ли не желал, чтобы его сочли беглецом. Но пещеры были недоступны. Серторий бесцельно разъезжал перед холмом и посылал варварам пустые угрозы, как вдруг заметил, что ветер относит наверх к харакитанам тучи пыли, поднятой с рыхлой земли. Ведь пещеры, как я уже сказал, были обращены на север, а из здешних ветров самый упорный и сильный – северный, тот, который называют кекием[12] [Kaikías]; его образуют, сливаясь, потоки воздуха, идущие от влажных долин и

от покрытых снегом гор. Лето стояло в разгаре, и таявшие на севере снега усиливали ветер, который был особенно приятен, освежая в дневную пору и варваров и их скот. Все это Серторий и сам сообразил, и слышал от местных жителей. Он приказал воинам набрать этой рыхлой, похожей на золу, земли и, перетаскав, насыпать кучей как раз напротив холма. А варвары, предполагая, что Серторий возводит насыпь для штурма пещер, забрасывали его насмешками. И вот воины трудились в тот день до ночи, а затем вернулись в лагерь. С началом дня подул нежный ветерок, который поднимал в воздух легчайшие частицы снесенной отовсюду земли, развеивая их, словно мякину; потом, по мере того как поднималось солнце, разыгрывался неудержимый кекий; когда же холмы стало заносить пылью, пришли воины и перевернули земляную насыпь – всю до основания; одни дробили комья грязи, а другие гоняли взад и вперед лошадей, чтобы земля стала еще более рыхлой и ветер легче мог уносить ее. А ветер подхватывал всю эту грязь, размельченную и приведенную в движение, и нес ее вверх, к жилищам варваров, двери которых были раскрыты для кекия. И так как в пещеры варваров не было доступа воздуха с другой стороны, кроме той, откуда теперь ветер нес клубы пыли, они, вдыхая тяжелый и насыщенный грязью воздух, скоро начали слепнуть и задыхаться. Вот почему они с трудом выдержали два дня и на третий сдались, что увеличило не столько силы Сертория, сколько славу, ибо его искусство принудило к подчинению тех, против кого было бессильно оружие.

18. До той поры, покуда противником Сертория был Метелл, казалось, что успехи испанцев объясняются в первую очередь старостью и природной медлительностью римского военачальника, неспособного соперничать с отважным полководцем, за которым шли отряды, состоявшие скорее из разбойников, нежели из воинов. Когда же Серторию пришлось встретиться с перешедшим через Пиренеи Помпеем[30] и оба они проявили полководческое искусство, только Серторий превзошел противника и умением применять военные хитрости, и предусмотрительностью, – тут, действительно, молва о нем дошла до Рима, и его стали считать способнейшим из современных полководцев. Ибо не малой была слава Помпея, напротив, она находилась тогда в зените; особенные почести принесли Помпею его подвиги в борьбе за дело Суллы, который в награду назвал его Магном (это значит Великий) и удостоил Помпея, еще не брившего бороды, триумфа. Из-за этого даже жители многих подчинявшихся Серторию городов, с уважением взирая на Помпея, готовы были перейти на его сторону; впрочем, вскоре эта мысль была оставлена, чему причиной послужила совершенно неожиданная неудача у Лаврона. В то время как Серторий осаждал этот город, Помпей со всем войском явился на помощь осажденным. Расчет Сертория состоял в том, чтобы занять господствовавший над городом холм – Помпей же стремился ему воспрепятствовать. Но Серторий опередил его, и тогда Помпей остановил свои войска и решил, что обстоятельства ему благоприятствуют, ибо противник оказался зажатым между отрядами Помпея и городом. Он отправил также гонца к жителям Лаврона – пусть-де они уповают на успех и с городских стен наблюдают, как он станет осаждать Сертория. А тот, услышав все это, рассмеялся и сказал, что “ученика Суллы” (так, издеваясь, он прозвал Пом-

пея) он сам обучит тому, что полководец должен чаще смотреть назад, чем вперед. И с этими словами он указал тем, кто был осажден вместе с ним, на шесть тысяч тяжеловооруженных воинов, оставленных им в старом лагере, который он покинул, чтобы занять холм; этим людям было приказано ударить в тыл Помпею, как только он двинется на Сертория. Позднее и Помпей сообразил все это, и так как, с одной стороны, он не решался начать штурм, опасаясь окружения, а с другой – ему было стыдно покинуть жителей Лаврона в беде, то он был вынужден оставаться на месте и, не вмешиваясь, наблюдать падение города, ибо варвары, отчаявшись, сдались Серторию. А Серторий сохранил им жизнь и всех отпустил, но самый город предал огню. Он поступил так, руководясь не гневом или жестокостью (пожалуй, именно он менее всех полководцев склонен был давать волю страстям), но стремясь вызвать стыд и уныние среди почитателей Помпея, а у варваров – разговоры о том, что, мол, Помпей был поблизости и разве что только не грелся у пламени, пожиравшего союзный город, но на помощь не пришел.

19. Конечно, и на долю Сертория выпадало немало поражений, и если сам он и его отряды оставались непобежденными, то по вине других полководцев войскам Сертория приходилось искать спасения в бегстве. И то, как он оправлялся после поражений, вызывало большее удивление, нежели победы его противников. Так было в сражении с Помпеем при Сукроне и в другой раз в битве при Сегунтии против Помпея и Метелла. Говорят, что Помпей торопился начать бой при Сукроне, чтобы Метелл не мог разделить с ним победу. Да и Серторий хотел сразиться с Помпеем до подхода воинов Метелла; к тому же он развернул свои войска под вечер, рассчитывая, что его противники – чужеземцы, не знающие местности, и потому наступившая темнота послужит им помехой и если надо будет бежать, и если придется преследовать. Началась рукопашная схватка, и перед Серторием, находившимся на правом фланге, оказался не сам Помпей, а Афраний, командовавший левым крылом римских войск. Однако когда Серторию донесли, что его войска, сражавшиеся против Помпея, отходят под натиском римлян и терпят поражение, он, оставив правый фланг на других командиров, поспешил на помощь разгромленным. Собрав тех, кто уже показал врагу спину, и тех, кто еще оставался в строю, он вдохнул в них мужество и снова ударил на Помпея, преследовавшего испанцев; тут римляне так стремительно обратились в бегство, что самому Помпею угрожала смерть и, раненный, он спасся лишь чудом, благодаря тому, что ливийцы из армии Сертория, захватив коня Помпея, украшенного золотом и покрытого драгоценными бляхами, настолько увлеклись разделом добычи и спорами, что прекратили преследование. Когда Серторий удалился на другой фланг, чтобы помочь своим, Афраний опрокинул стоявшие против него отряды и погнал их к лагерю. Было уже темно, когда он ворвался туда на плечах врага; воины принялись грабить. Афраний не знал о бегстве Помпея, да и не был в состоянии удержать своих от грабежа. Тут как раз возвратился Серторий, добившийся на левом фланге победы; он напал на воинов Афрания, которые в своих бесчинствах растеряли боевой дух, и многих из них перебил. Поутру он снова вооружил войска и вывел их для битвы, но затем, узнав о приближении Метелла, распустил боевой строй и отошел, сказав:

"Когда бы не эта старуха, я отстегал бы того мальчишку и отправил его в Рим".

20. Большое огорчение причинило Серторию исчезновение его лани: тем самым он лишился чудесного средства воздействовать на варваров, как раз тогда весьма нуждавшихся в ободрении. Однако вскоре какие-то люди, бесцельно бродившие ночью, натолкнулись на лань и, узнав ее по масти, схватили. Когда об этом сообщили Серторию, он обещал щедро наградить тех, кто привел лань, если только они умолчат о своей находке, и сам скрыл животное. Выждав несколько дней, он явился с просветленным лицом к судейскому возвышению и сообщил вождям варваров, что видел во сне божество, предвещавшее великое счастье; затем, поднявшись на помост, Серторий начал беседовать с теми, у кого были к нему дела. В этот момент находившиеся поблизости сторожа отпустили лань, а она, увидев Сертория, помчалась, охваченная радостью, к возвышению и, став возле хозяина, положила ему на колени голову и принялась лизать правую руку (еще раньше она была приучена так делать). Когда же Серторий приласкал ее (радость его выглядела вполне правдоподобно) и даже пролил несколько слез, присутствующие сперва замерли пораженные, а затем с шумом и криком проводили Сертория домой, считая его удивительным человеком и другом богов. Это событие внушило варварам радость и добрые надежды.

21. Серторий довел римлян, запертых в Сегунтийской долине, до крайне стесненного положения, но когда они снялись с лагеря, чтобы с помощью грабежа добыть себе продовольствие, он был вынужден принять бой. Обе стороны сражались превосходно. Меммий, один из способнейших помощников Помпея, уже пал в гуще битвы, а Серторий теснил врага и пробивался к самому Метеллу, сметая на пути тех, кто еще держался. Метелл, несмотря на свои годы, оказал упорное сопротивление и великолепно вел бой, покуда не был ранен копьем. Римляне, которые видели это или слышали об этом от других, не смели помыслить о том, чтобы покинуть своего полководца; их охватил гнев, и поэтому, оградив Метелла щитами и вынеся его с поля брани, они решительно отбивали натиск испанцев. Когда победа, таким образом, стала склоняться на сторону неприятеля, Серторий пошел на хитрость и решил отвести своих людей в безопасное место и спокойно выждать, пока к нему подойдет подкрепление. Он отступил к надежно защищенному городу, расположенному в горах, и стал приводить в порядок стены и укреплять ворота, хотя вовсе не думал, что ему придется выдержать здесь осаду. Но противника он полностью ввел в заблуждение. Римляне осадили его, рассчитывая без труда взять этот город, а на убегавших варваров не обращали внимания и пренебрегали тем, что войска вновь собирались на помощь Серторию. Войска действительно прибывали, так как Серторий разослал командиров по городам. Он приказал сообщить ему, когда число воинов станет достаточно большим. Как только прибыл гонец, Серторий без особых усилий пробился через кольцо врагов и соединился со своими. Он снова стал нападать на римлян, ведя за собой большое войско; засады, окружения, быстрая переброска отрядов Сертория в любом направлении лишали врага возможности получать припасы по суше, а подвозу с моря Серторий препятствовал с помощью пиратов: их корабли блокировали побережье. В результате римские полководцы были вынуждены разделить свои силы: один из них отошел в Галлию, а Помпей

провел зиму в области вакцеев, страдая от нехватки припасов. Он писал сенату[13], что отведет из Испании войска, если ему не будут присланы деньги, ибо свое состояние он уже исчерпал во время прежней войны за Италию. В Риме упорно поговаривали, что Серторий раньше Помпея явится в Италию. Вот до чего довело первых и влиятельнейших полководцев того времени искусство Сертория!

22. Да и Метелл ясно показал, как он напуган Серторием и насколько высоко его ценит. Действительно, он объявил через глашатаев, что римлянину, который покончит с Серторием, он выдаст сто талантов серебра и земли двадцать тысяч югеров, а если это совершит изгнанник, ему будет даровано право вернуться в Рим. Намереваясь купить голову Сертория при помощи предательства, Метелл тем самым обнаружил, что не надеется победить в открытой борьбе. Более того, разбив Сертория в каком-то сражении, он настолько возгордился и так восторгался своим успехом, что позволил назвать себя императором, а города, куда он прибывал, устраивали в его честь жертвоприношения и воздвигали жертвенники. Рассказывают еще, что Метелл не противился, когда ему сплетали венки и приглашали на пышные пиры, где он пил в облачении триумфатора и где с помощью особых машин сверху спускались изображения Победы, протягивающие ему венки и золотые трофеи, а хоры мальчиков и женщин пели в его честь победные гимны. Тем самым, конечно, он выставлял себя в смешном виде, поскольку так возгордился и радовался, одержав победу над отступавшим Серторием, которого сам обзывал беглецом, избежавшим руки Суллы, и последышем рассеянных сторонников Карбона.

Напротив, возвышенный нрав Сертория обнаружился прежде всего в том, что он объявил сенатом собрание бежавших из Рима и присоединившихся к нему сенаторов. Из них он назначал квесторов и преторов и во всем действовал в соответствии с отеческими обычаями. Затем, опираясь на вооруженные силы, денежные средства и города испанцев, Серторий даже не делал вида, что допускает их к высшей власти, но назначал над ними командиров и начальников из римлян, ибо он боролся за свободу римлян и не хотел в ущерб римлянам вознести испанцев. Ведь он любил свое отечество и страстно желал возвратиться на родину. Даже терпя неудачи, Серторий вел себя мужественно и перед лицом врагов не унижался, когда же одерживал победы, то сообщал и Метеллу и Помпею, что готов сложить оружие и жить частным человеком, если только получит право вернуться. Ибо, говорил он, ему лучше жить ничтожнейшим гражданином Рима, чем, покинув родину, быть провозглашенным владыкой всего остального мира. Есть сведения, что желание Сертория возвратиться на родину объяснялось прежде всего его любовью к матери; она воспитала его, когда он остался сиротой, и он был ей искренне предан. Как раз в тот момент, когда его друзья в Испании предложили ему верховное командование, он узнал о кончине матери и от горя едва не лишился жизни. Семь дней лежал он, не отдавая приказов и не допуская к себе друзей, и огромного труда стоило его товарищам-полководцам и знатным лицам, окружившим палатку, принудить Сертория выйти к воинам и принять участие в делах, которые как раз развертывались благоприятно. В силу этого многие считали его человеком по природе мягким и располо-

женным к мирной жизни, который лишь в силу необходимости, против собственного желания, принял на себя военное командование; не находя безопасного пристанища, вынужденный взяться за оружие, он обрел в войне необходимое средство, для того, чтобы сохранить жизнь.

23. Натура Сертория проявилась и в переговорах с Митридатом. Когда Митридат после поражения, нанесенного ему Суллой, вновь поднялся против Рима и, вторично начав военные действия, пытался завладеть Азией, громкая слава Сертория разнеслась повсюду; приплывавшие с Запада наводнили молвой о нем, словно иноземными товарами, весь Понт. И вот Митридат решил отправить к нему послов, настоятельно побуждаемый к тому хвастливыми льстецами, которые уподобляли Сертория Ганнибалу, а Митридата – Пирру. Эти льстецы говорили, что стоит только вступить в союз способнейшему полководцу с величайшим среди царей – и римляне не выдержат, вынужденные вести войну против двух столь одаренных людей и двух таких армий. Итак, Митридат отправляет в Испанию послов с адресованными Серторию письмами и с предложениями, которые они должны были передать ему на словах. Царь обещал предоставить деньги и корабли для ведения войны, а сам просил, чтобы Серторий уступил ему всю Азию, которую, по договору, заключенному с Суллой, Митридат отдал римлянам. Когда Серторий созвал совет, который он называл сенатом, все члены совета рекомендовали принять и одобрить предложения царя, полагая, будто они уступают Митридату ничего не означающее имя и права на то, что им самим не принадлежит, а взамен получают самое для них необходимое. Однако Серторий с ними не согласился и сказал, что не возражает против передачи Митридату Вифинии и Каппадокии, поскольку обитающие там племена привыкли к царской власти и никак не связаны с римлянами. "Но ведь Митридат, – продолжал он, – захватил и удерживал под своей властью также и провинцию, которая досталась римлянам наизаконнейшим путем, а потом, когда Фимбрия выгнал его оттуда, он сам, заключив договор с Суллой, отказался от нее. Я не могу смотреть равнодушно, как эта провинция вновь переходит под власть Митридата. Нужно, чтобы твои победы увеличивали мощь твоей страны, но не следует искать успеха за счет владений отечества, ибо благородный муж жаждет только той победы, которая одержана честно, а ценой позора он не согласится даже спасти себе жизнь".

24. Ответ Сертория изумил Митридата; сохранилось предание, что он обратился к друзьям со следующими словами: "Какие же требования предъявит к нам Серторий, воссев на Палатинском холме[14], если теперь, загнанный к самому Атлантическому морю, он устанавливает границы нашего царства и грозит войной, если мы попытаемся занять Азию?" Все же были заключены соглашения и принесены клятвы в том, что Каппадокия и Вифиния будут принадлежать Митридату, что Серторий пришлет ему полководца и воинов и что, в свою очередь, Серторий получит от Митридата три тысячи талантов и сорок кораблей. Полководцем в Азию Серторий отправил Марка Мария, одного из укрывшихся у него сенаторов. Тот помог Митридату взять некоторые города Азии, и, когда Марий въезжал туда, окруженный прислужниками, несшими связки розог и секиры, Митридат уступал ему первенство и следовал за ним, добровольно прини-

мая облик подчиненного. А Марий одним городам даровал вольности, другие освободил именем Сертория от уплаты налогов, так что Азия, которая перед этим вновь испытала притеснения сборщиков податей, равно как и алчность и высокомерие размещенных в ней воинов, жила теперь новыми надеждами и жаждала предполагаемой перемены власти.

25. А в Испании события развивались следующим образом. Едва только окружавшие Сертория сенаторы и другие знатные лица, избавившись от страха, почувствовали себя достойными противниками римлян, как в их среде родилась зависть к Серторию и бессмысленная ревность к его могуществу. Эти настроения разжигал Перперна, который, гордясь своим благородным происхождением, лелеял в душе пустое стремление к верховной власти; тайно он вел со своими приверженцами бесчестные разговоры. "Какой злой гений, – говорил он, – овладел нами и влечет от дурного к худшему? Мы ведь сочли недостойным остаться на родине и выполнять приказы Суллы, господина всей земли и моря, а явились сюда, где ждет нас верная погибель, ибо, рассчитывая жить свободными, мы добровольно стали свитой беглеца Сертория. Мы составили здесь сенат, и это название вызывает насмешки всех, кто его слышит, а вместе с тем на нас обрушиваются брань, приказы и повинности, словно на каких-то испанцев и лузитанцев". Многие, внимательно слушая подобные речи, не решались, однако, из страха перед могуществом Сертория открыто от него отложиться, но тайно причиняли вред его делу и ожесточали варваров, налагая на них (якобы по приказу Сертория) суровые кары и высокие подати. От этого начались восстания и смуты в городах. А те, кого Серторий посылал, чтобы исправить положение дел и успокоить восставших, еще больше разжигали вражду и обостряли зарождавшееся неповиновение, так что Серторий, забыв прежнюю терпимость и мягкость, дал волю своему гневу и испанских мальчиков, воспитывавшихся в Оске, частью казнил, а частью продал в рабство.

26. Перперна, который уже собрал вокруг себя большое число заговорщиков, готовивших покушение на Сертория, привлек к заговору также и Манлия, одного из высших командиров. Этот Манлий был влюблен в какого-то красивого мальчишку и в знак своего расположения раскрыл ему замыслы заговорщиков, потребовав, чтобы тот пренебрег поклонниками и принадлежал только ему одному, поскольку в самое ближайшее время он, Манлий, станет великим человеком. А мальчишка передал весь разговор другому своему поклоннику, Авфидию, который нравился ему больше. Авфидий, выслушав его, был поражен: сам причастный к тайному сговору против Сертория, он, однако, не знал, что Манлий тоже вовлечен в него. Когда же мальчик назвал имена Перперны, Грецина и некоторых других, кто, как было известно и Авфидию, находился в числе заговорщиков, Авфидий перепугался; он, правда, посмеялся над этими россказнями и убеждал мальчика отнестись к Манлию как к пустому хвастуну, но сам направился к Перперне и, раскрыв ему всю опасность положения, настаивал на необходимости действовать. Заговорщики согласились с Авфидием и ввели к Серторию своего человека под видом гонца, принесшего послания, в которых сообщалось о победе одного из полководцев и о гибели множества врагов. Обрадованный этой новостью, Серторий совершил благодарственное жертвопри-

ношение; тут Перперна объявил, что устраивает пир для Сертория и для других присутствующих (все это были участники заговора), и после долгих настояний убедил Сертория прийти. Трапезы, на которых присутствовал Серторий, всегда отличались умеренностью и порядком; он не допускал ни бесстыдных зрелищ, ни распущенной болтовни и приучал сотрапезников довольствоваться благопристойными шутками и скромными развлечениями. Но на этот раз когда выпивка уже была в разгаре, гости, искавшие предлога для столкновения, распустили языки и, прикидываясь сильно пьяными, говорили непристойности, рассчитывая вывести Сертория из себя. Серторий, однако, – то ли потому, что был недоволен нарушением порядка, то ли разгадав по дерзости речей и по необычному пренебрежению к себе замысел заговорщиков, – лишь повернулся на ложе и лег навзничь, стараясь не замечать и не слышать ничего. Тогда Перперна поднял чашу неразбавленного вина и, пригубив, со звоном уронил ее. Это был условный знак, и тут же Антоний, возлежавший рядом с Серторием, ударил его мечом. Серторий повернулся в его сторону и хотел было встать, но Антоний бросился ему на грудь и схватил за руки; лишенный возможности сопротивляться, Серторий умер под ударами множества заговорщиков.

27. Сразу же после этого большинство испанцев отпало от Перперны и, отправив послов к Помпею и Метеллу, изъявило покорность, Перперна же, возглавив оставшихся, попытался хоть что-нибудь предпринять. Он использовал созданные Серторием военные силы только для того, чтобы обнаружить собственное ничтожество и показать, что по своей природе он не годен ни повелевать, ни подчиняться. Он напал на Помпея, но тут же был разгромлен и оказался в плену. И этот последний удар судьбы Перперна не перенес так, как подобает полководцу. У него в руках была переписка Сертория, и он обещал Помпею показать собственноручные письма бывших консулов и других наиболее влиятельных в Риме лиц, которые призывали Сертория в Италию, утверждая, что там многие готовы подняться против существующих порядков и совершить переворот. Но Помпей повел себя не как неразумный юноша, а как человек зрелого и сильного ума и тем самым избавил Рим от великих опасностей и потрясений. Поступил он так: собрав послания и письма Сертория, он все предал огню, и сам не читая их, и другим не разрешив, а Перперну немедленно казнил, опасаясь, как бы тот не назвал имена, что могло послужить причиной восстаний и смут.

Одни из участников заговора Перперны были доставлены к Помпею и казнены, другие бежали в Африку и погибли от копий мавританцев. Никто из них не спасся, кроме Авфидия – того самого, который был соперником Манлия в любви: то ли ему удалось скрыться, то ли на него не обратили внимания, но он дожил до преклонных лет в какой-то варварской деревне в нищете и полном забвении.



ЭВМЕН

1. Как сообщает историк Дурид, кардиец Эвмен родился в семье бедного херсонесского возчика, но получил воспитание, какое подобает свободному человеку, преуспев и в науках и в телесных упражнениях. Когда Эвмен был еще подростком, Филиппу случилось остановиться в Кардии, и он на досуге смотрел состязания мальчиков в панкратии и борьбе. В этих состязаниях отличился Эвмен, показав себя ловким, смелым и сообразительным, и Филипп заметил его и увез с собой. Впрочем, видимо, более правы те, кто утверждает, что Филипп был связан с отцом Эвмена узами гостеприимства, а потому и взял к себе мальчика. После смерти Филиппа Эвмен, по общему мнению, ни умом, ни преданностью не уступавший никому из окружения Александра, получил должность главного писца, но пользовался почетом наравне с ближайшими товарищами и друзьями царя, а впоследствии, в индийском походе, был назначен полководцем с правом самостоятельного командования; когда же Пердикка заменил умершего Гефестиона[1], Эвмен принял от Пердикки должность начальника конницы. Поэтому македоняне посмеивались над начальником щитоносцев Неоптолемом, который после кончины Александра рассказывал, что сам он всегда сопровождал царя со щитом и копьем, а Эвмен – всего лишь с табличкой и палочкой для письма. Ведь было известно, что, не считая всех прочих милостей, царь удостоил Эвмена чести породниться с ним по браку. Первой женщиной[2], с которою Александр был близок в Азии, была Барсина, дочь Артабаза, и от нее у царя родился сын Геракл; когда же царь делил знатных персиянок между своими друзьями, он отдал ее сестер Птолемею и Эвмену: первому – Апаму, второму – Артониду.

2. Но часто случалось Эвмену и обиды терпеть от Александра, и впадать в немилость – из-за Гефестиона. Однажды Гефестион отдал флейтисту Эвию дом, уже нанятый рабами для Эвмена. Эвмен вне себя от раздражения явился в сопровождении Ментора к Александру и кричал, что куда выгоднее бросить оружие и сделаться трагическим актером или играть на флейте, так что Александр сначала принял его сторону и выбранил Гефестиона. Однако вскоре царь переменил мнение и обратил свой гнев на Эвмена, видя в его поступке скорее недостаток уважения к царю, нежели желание откровенно обличить Гефестиона. В другой раз Александр отправлял Неарха с флотом в дальнее плавание[3] и, так как царская казна была пуста, попросил денег у своих друзей. У Эвмена царь попросил триста талантов, а тот дал только сто, да и их, по его словам, насилу удалось собрать через управляющих. Александр ничего не сказал и денег не принял, но приказал слугам потихоньку поджечь палатку Эвмена, чтобы поймать лжеца с поличным, когда из огня станут выносить деньги. Но палатка сгорела скорее, чем ожидали, и Александр жалел о погибшем архиве, а расплавленного золота и серебра оказалось больше, чем на тысячу талантов. Царь ничего не взял, а всем сатрапам и стратегам написал, чтобы они прислали копии сгоревших документов, которые он приказал принимать Эвмену. Из-за какого-то подарка Эвмен опять повздорил с Гефестионом, выслушав и наговорив при этом много неприятного, однако на этот раз вышел из стычки победителем. Но

немного спустя Гефестион умер, и удрученный горем царь стал суров и жесток со всеми, кто, как он думал, завидовал Гефестиону при жизни и радовался его смерти. При этом самое сильное подозрение пало на Эвмена, и царь часто вспоминал ему его раздоры с умершим. Тогда хитрый и владевший даром убеждения Эвмен попробовал в том, что грозило ему гибелью, найти источник спасения. Полагаясь на дружеские чувства Александра к Гефестиону, он щедро и с готовностью дал деньги на погребение и таким образом всех превзошел в почестях, какие принято оказывать покойнику.

3. Когда после смерти Александра между отборной конницей и пехотным войском возникли разногласия[4], Эвмен в душе был на стороне первых, но внешне держал себя в какой-то мере как единомышленник обеих сторон и как человек незаинтересованный, иноземец, которому неудобно вмешиваться в споры македонян. Поэтому, когда другие полководцы ушли из Вавилона, Эвмен остался в городе, успокоил многих пехотинцев и склонил их к примирению. Когда же, уладив первые неурядицы и раздоры, полководцы встретились и стали делить между собой сатрапии и командные должности, Эвмен получил Каппадокию, Пафлагонию и земли вдоль Понта Эвксинского до Трапезунта – тогда это еще не были владения македонян и там царствовал Ариарат. Было решено, что Леоннат и Антигон с большим войском водворят туда Эвмена и сделают его сатрапом этой страны.

Но Антигон, уже вынашивая далеко идущие планы и мысленно презирая всех, не подчинялся распоряжениям Пердикки, Леоннат же спустился во Фригию, чтобы помочь Эвмену, но в это время к нему явился кардийский тиранн Гекатей и стал просить сперва помочь Антипатру и осажденным в Ламии македонянам, и Леоннат решил переправиться в Европу и звал с собой Эвмена, стремясь при этом помирить его с Гекатеем. Эти два человека с давних времен питали друг к другу недоверие из-за разногласий в государственных делах. Эвмен часто в открытую обвинял Гекатея и убеждал Александра избавить кардийцев от тиранна и дать им свободу. Вот и тогда Эвмен стал отказываться от участия в походе против греков, говоря, что он боится, как бы Антипатр не убил его из давнишней ненависти и из желания угодить Гекатею, и Леоннат поверил ему и откровенно рассказал о своих планах. Помощь осажденным была для него лишь предлогом, на самом деле он решил, как только переправится, домогаться власти над Македонией. Он показал несколько писем от Клеопатры, которая приглашала его к Пеллу, обещая выйти за него замуж. Но Эвмен, то ли действительно боясь Антипатра, то ли не надеясь на легкомысленного, непостоянного и подверженного случайным порывам Леонната, ночью покинул лагерь, захватив свое имущество. У него было триста всадников, двести рабов-телохранителей и золотой монеты на пять талантов серебра[5]. Бежав таким образом, он открыл планы Леонната Пердикке, у которого сразу же приобрел большое влияние и стал одним из его советников.

Немного позже он вступил в Каппадокию с войском, во главе которого стоял сам Пердикка. После того как Ариарат был взят в плен и страна стала подвластной Македонии, Эвмен был назначен сатрапом. Он роздал города своим друзьям, расставил караульные отряды и назначил по своему усмотрению судей

и правителей, так как Пердикка совсем об этом не заботился, а сам последовал за Пердиккой, отчасти чтобы показать свою готовность служить, а еще потому, что не хотел держаться вдали от царей[6].

4. Но Пердикка полагал, что осуществит задуманное собственными силами, а оставленные им области нуждаются в деятельном и надежном страже. Поэтому он отправил Эвмена из Киликии назад, на словах – для управления собственной сатрапией, на деле же – чтобы не упустить из рук соседнюю Армению, где сеял смуту Неоптолем. Этого полководца, несмотря на его надменность и пустую чванливость, Эвмен пытался унять посредством миролюбивых увещаний. При этом он убедился, что македонская пехота полна самонадеянности и дерзости, и как бы в противовес ей стал готовить конницу. Тех из местных жителей, кто умел ездить верхом, он освободил от податей и налогов, а своим приближенным, к которым питал особое доверие, раздавал купленных им самим лошадей, щедрыми подарками старался удвоить их мужество и усердие и неустанно закалял их всевозможными упражнениями, так что одни из македонян были поражены, а другие воспрянули духом, видя, как за короткое время у Эвмена собралось не менее шести тысяч всадников.

5. Вскоре Кратер и Антипатр, победив греков, переправились в Азию, чтобы свергнуть власть Пердикки, и пошли слухи об их намерении вторгнуться в Каппадокию. Тогда Пердикка, занятый войной с Птолемеем, назначил Эвмена главнокомандующим войск, стоявших в Каппадокии и Армении, и дал ему неограниченные полномочия. Он разослал письменные распоряжения, где приказывал Алкету и Неоптолему повиноваться Эвмену, а самому Эвмену поручал вести дела так, как он найдет нужным. Алкет решительно отказался от участия в военных действиях, говоря, что его македоняне с Антипатром воевать стыдятся, а Кратеру даже сами готовы подчиниться – так велико их расположение к этому человеку. Что же до Неоптолема, то он более уже не скрывал своих предательских намерений и, получив приказ Эвмена явиться, не подчинился, а стал приводить войско в боевой порядок. И тут Эвмен в первый раз вкусил плоды своей заботливой предусмотрительности. Его пехота потерпела поражение, но с помощью конницы он обратил Неоптолема в бегство и, захватив его обоз, всею силою своих всадников обрушился на пехотинцев, которые, преследуя неприятеля, разомкнули ряды и рассыпались, а потом заставил их сложить оружие и дать клятву, что они будут воевать под его командой.

Неоптолем с немногими спутниками, которых он смог собрать во время бегства, двинулся к Кратеру и Антипатру. А эти двое еще прежде отправили к Эвмену послов, предлагая присоединиться к ним с условием, что он оставит за собой свои прежние сатрапии и примет от них новые владения и военные силы, но зато сменит вражду к Антипатру на дружбу, а Кратера не сделает из друга недругом. Эвмен на это отвечал, что с Антипатром, давним своим врагом, он другом не станет, и в особенности теперь, когда он видит, что Антипатр и с друзьями обращается как с врагами, Кратера же охотно сведет с Пердиккой и примирит их на равных и справедливых условиях. Если же кто-нибудь из них нарушит соглашение, он будет помогать обиженному до последнего вздоха и скорее пожертвует жизнью, чем изменит своему слову.

6. Получив этот ответ, Антипатр с Кратером неторопливо обдумывали создавшееся положение, как вдруг появился Неоптолем и сообщил им о битве и о своем бегстве. Он полагал, что было бы лучше всего, если бы ему помогли оба, но Кратер должен помочь непременно. Ведь любовь македонян к Кратеру, рассуждал он, исключительна. Они строятся в боевой порядок и берутся за оружие при одном только виде его кавсии[7] и при звуке его голоса. В самом деле, Кратер пользовался огромным влиянием и многие после смерти Александра желали видеть его правителем, памятуя, как часто из-за них он навлекал на себя немилость царя, сопротивляясь увлечению Александра всем персидским[8] и защищая отеческие обычаи, которые приходили в упадок под воздействием роскоши и чванства. И вот Кратер отослал Антипатра в Киликию, а сам вместе с Неоптолемом повел на Эвмена значительную часть войска, рассчитывая, что солдаты после недавней победы пьянствуют где попало и он захватит неприятели врасплох.

В том, что Эвмен заранее узнал о походе Кратера и приготовился дать отпор, не было ничего необыкновенного – это лишь обличает в нем бдительного и здравомыслящего полководца. Но он не только врагам не дал догадаться о том, чего, по его суждению, им знать не следовало, он и от своих солдат ухитрился скрыть имя полководца противной стороны, так что, выступая против Кратера, они не знали, с кем им предстоит сразиться, – и в этом я усматриваю уже лишь ему одному свойственное искусство. Он распространил слух, что вернулся Неоптолем и привел за собою Пигрета с пафлагонской и каппадокийской конницей. Ночью, перед тем как сняться с лагеря, он заснул и увидел странный сон. Ему приснилось, что два Александра, каждый во главе фаланги, готовятся сразиться друг с другом и к одному из них пришла на помощь Афина, к другому – Деметра. Затем произошла жестокая битва и побежден был тот, кому помогала Афина, а Деметра сплела победителю венок из колосьев. Эвмен тут же истолковал сон в свою пользу: ведь он оборонял тучные плодородные нивы, в ту пору уже обильно заколосившиеся. Вся земля была возделана, и пышно зеленеющие равнины являли глубоко мирное зрелище. Еще больше Эвмен уверился, что сон истолкован им правильно, когда узнал, что пароль у врагов – "Афина и Александр". Он объявил тогда, что его паролем будет "Деметра и Александр", а потому приказал солдатам надеть венки из колосьев и колосьями украсить оружие. Несколько раз Эвмен порывался рассказать своим полководцам и начальникам, против кого они будут сражаться, открыть им тайну, которую обстоятельства принуждали его держать про себя, но все-таки остался верен первоначальному решению, доверяясь в опасности только собственному благоразумию.

7. Против Кратера Эвмен не выставил никого из македонян. Он отправил два отряда иноземной конницы, которыми командовали Фарнабаз, сын Артабаза, и Феникс с Тенедоса, с приказанием, как только они увидят неприятельские войска, гнать во всю мочь и завязать бой, не дав врагам времени повернуть, не слушая их речей и ни в коем случае не принимая от них глашатая. Эвмен очень боялся, что македоняне узнают Кратера и перебегут к нему. А сам он выстроил в боевой порядок триста отборных всадников и устремился с ними на правый фланг, чтобы напасть на Неоптолема. Когда стало видно, как, перевалив через

холм посреди равнины, они спускаются по склону, как стремительно и горячо идут в наступление, потрясенный Кратер обратился к Неоптолему с упреками, что тот обманул его и скрыл от него измену македонян. Затем, приказав своим полководцам держаться стойко, он двинулся навстречу врагу. В первой жестокой схватке копья быстро сломались, и враги начали биться мечами. Кратер не посрамил славы Александра – многих противников он уложил на месте, многих обратил в бегство. Наконец его поразил какой-то вынырнувший сбоку фракиец, и он соскользнул с коня. Когда он упал и лежал в мучительной агонии, многие, не узнавая его, пробегали мимо, и лишь Горгий, один из начальников Эвмена, его узнал; он спешился и окружил умирающего стражей.

В это время Неоптолем встретился в бою с Эвменом. Несмотря на давнюю ненависть и наполнявшую их злобу, в двух столкновениях они проглядели друг друга и лишь в третьем, с криком обнажив мечи, ринулись один другому навстречу. Когда их кони сшиблись со страшной силой, словно триеры, оба выпустили из рук поводья и, вцепившись друг в друга, стали стаскивать с противника шлем и ломать панцирь на плечах. Во время этой драки оба коня выскользнули из-под своих седоков и умчались, а всадники, упав на землю, лежа продолжали яростную борьбу. Неоптолем попробовал было приподняться, но Эвмен перебил ему колено, а сам вскочил на ноги. Опершись на здоровое колено и не обращая внимания на поврежденное, Неоптолем отчаянно защищался, однако удары его были неопасны, и, наконец, пораженный в шею, он упал и вытянулся на земле. Весь во власти гнева и старинной ненависти, Эвмен с проклятиями стал сдирать с него доспехи, но умирающий незаметно просунул свой меч, который все еще держал в руке, под панцирь Эвмена и ранил его в пах, где доспех неплотно прилегает к телу. Удар, нанесенный слабеющей рукой, был неопасен и больше испугал Эвмена, чем повредил ему. Когда Эвмен обобрал труп, он почувствовал себя плохо – ведь ноги и руки его сплошь были покрыты ранами, – но все же сел на коня и поскакал на другой фланг, где враг, как он думал, был еще силен. Тут он узнал о несчастье, постигшем Кратера, и помчался к нему. Кратер умирал, но был еще в сознании, и Эвмен, сойдя с коня, зарыдал, протянул в знак примирения руку и стал осыпать бранью Неоптолема. Он оплакивал судьбу Кратера и жалел самого себя, потому что был поставлен перед необходимостью либо погибнуть самому, либо погубить близкого друга.

8. Эту победу Эвмен одержал дней через десять после первой. Она принесла ему громкую славу мудрого и храброго полководца, но зато навлекла на него зависть и ненависть как врагов, так и союзников: ведь он, пришелец и чужеземец, сразил первого и самого славного из македонян руками и оружием самих македонян. Если бы Пердикка успел узнать о гибели Кратера, разумеется, лишь он – и никто иной – занял бы первое место среди македонян. Но Пердикка был убит в Египте во время бунта за два дня до того, как в его лагерь пришла весть о происшедшем сражении, и возмущенные македоняне немедленно вынесли Эвмену смертный приговор. Для войны с ним полководцами были назначены Антигон и Антипатр.

В эту пору Эвмен оказался случайно у подножия Иды[9], где паслись царские табуны, и взял из них лошадей, сколько ему было нужно, а управляющим по-

слал расписку, и Антипатр, как сообщают, узнав об этом, засмеялся и сказал, что он восхищен предусмотрительностью Эвмена, который надеется то ли от них, Антигона и Антипатра, получить, то ли им дать отчет в использовании царского имущества. Эвмен превосходил противника в коннице и потому замыслил дать сражение близ Сард на Лидийской равнине, рассчитывая одновременно показать свое войско Клеопатре[10], но по ее просьбе (она боялась навлечь на себя обвинения со стороны Антипатра) удалился в Верхнюю Фригию и остался зимовать в Келенах. Там полководцы Алкет, Полемон и Доким стали оспаривать у него верховное командование, и Эвмен им сказал: «Выходит по пословице – “О дурном конце и думы нет!”».

Пообещав солдатам выплатить жалование в течение трех дней, Эвмен стал распродавать им находившиеся в этой области поместья и крепости, полные рабов и скота. Покупатель – начальник македонского или иноземного отряда, – получив от Эвмена военные машины, осаждал и захватывал свою покупку. Добыча делилась солдатами в соответствии с причитавшейся каждому суммой невыплаченного жалования. Так Эвмен снова завоевал симпатии войска, и когда в лагере были обнаружены письма, подброшенные по приказу вражеских полководцев, которые сулили сто талантов и почетные награды тому, кто убьет Эвмена, македоняне, до крайности этим ожесточенные, вынесли решение, чтобы тысяча телохранителей из числа командиров по очереди охраняла полководца и днем и ночью. Эти командиры беспрекословно приняли свое новое назначение и радовались, получая от Эвмена подарки, какие обыкновенно цари делают приближенным: Эвмен был облечен правом раздавать им пурпуровые кавсии и плащи, что считается у македонян наиболее ценным и почетным подарком.

9. Успех возвышает даже мелкие от природы характеры, и при свете счастливых обстоятельств в них обнаруживается какое-то величие и достоинство. И напротив, истинное величие и твердость духа с особою ясностью познаются по непоколебимости в бедах и несчастьях, чему примером может служить Эвмен. Сперва, по вине предателя, он был разбит Антигоном при Оркиниях в Каппадокии и бежал, но при этом не упустил изменника, который пытался уйти к неприятелю, а поймал и повесил его. В ходе отступления он неприметно для врагов повернул и двинулся другой дорогой назад, к полю сражения, а прибыв туда, расположился лагерем. Он собрал трупы[11], выломал в окрестных деревнях двери домов, сжег тела командиров отдельно от остальных воинов и, насыпав могильные холмы, удалился, так что сам Антигон, подоспевший позже, удивлялся его мужеству и упорству.

Затем Эвмен наткнулся на Антигонов обоз и мог бы легко захватить множество рабов и свободных, а также огромное богатство, добытое в непрерывных войнах и грабежах, но побоялся, что воинов обременит добыча и они сделаются неспособны проворно отступать и слишком изнежены, чтобы терпеть бесконечные странствия в затяжной войне, – а на это он больше всего рассчитывал, надеясь таким способом заставить Антигона прекратить преследование. Но так как просто запретить македонянам прикасаться к деньгам, которые были почти уже в руках, представлялось слишком трудным, он приказал воинам сначала привести себя в порядок, задать корму лошадям, а потом идти на неприятеля.

Сам же он тем временем потихоньку послал человека к начальнику обоза Менандру, словно бы заботясь о своем близком знакомце, и советовал ему быть поосторожнее и как можно скорее подняться из низины, удобной для нападения, на ближайшее предгорье, где конница не сможет его окружить. После того как Менандр понял опасность и удалился, Эвмен на глазах у всех выслал вперед разведчиков и, словно готовясь выступить, отдал приказ воинам вооружаться и взнуздывать коней. Но тут разведчики сообщили, что Менандр укрылся на неприступных позициях и достать его невозможно, тогда Эвмен притворился огорченным и увел свое войско. Сообщают, что Менандр доложил об этом Антигону, и македоняне стали хвалить Эвмена и прониклись к нему дружескими чувствами за то, что он пощадил их жен и детей: первых не предал позору, а вторых не сделал рабами, но Антигон сказал: "Чудаки вы! Вовсе не об вас он заботился, не тронув ваших близких, – он просто-напросто боялся, что в бегстве эта добыча станет для него тяжкими оковами".

10. Блуждая и прячась, Эвмен убедил многих солдат покинуть его. Он не только заботился об их благополучии, но и не хотел водить за собой войско, недостаточное для сражений, но слишком большое, чтобы скрываться. В сопровождении пятисот всадников и двухсот пехотинцев Эвмен прибыл в Норы, городок на границе Ликаонии и Каппадокии. Отсюда также многие его воины и друзья, не выдержав суровости климата и тяжкого образа жизни, захотели уйти, и он всех их отпустил с приветом и лаской. Когда же спустя некоторое время к Норам подошел Антигон и прежде, чем осадить крепость, стал предлагать Эвмену переговоры, тот отвечал, что у Антигона много друзей и много полководцев, способных заступить его место, а среди тех, за кого воюет он, Эвмен, ему некого оставить после себя. Поэтому, если Антигон хочет говорить с ним лично, пусть присылает заложников. На требование Антигона обращаться к нему как к высшему по достоинству Эвмен сказал: "Я никого не считаю выше себя, пока владею этим мечом". Все же Антигон послал своего племянника Птолемея в Норы, как требовал Эвмен. Тогда Эвмен спустился к нему, и они обнялись как старые друзья и знакомые – ведь прежде долгое время оба питали друг к другу самые лучшие чувства. Беседа их продолжалась долго, но Эвмен ни словом не обмолвился ни об условиях, на которых может быть обеспечена безопасность ему самому, ни вообще о перемирии – он требовал подтвердить за ним право на его сатрапии и возвратить все почетные пожалования, так что присутствующие были удивлены и восхищены таким постоянством и величием души. Многие из македонян сбежались к месту переговоров, горя любопытством посмотреть, каков из себя тот, о ком после гибели Кратера больше всего говорили в войске. Антигон боялся, что Эвмен станет жертвой насилия, и сперва кричал, запрещая воинам подходить близко, потом стал швырять в них камнями. В конце концов он обнял Эвмена и, с помощью телохранителей раздвинув толпу, с большим трудом вывел его в безопасное место.

11. Потом, обнеся Норы стеной и оставив отряд для осады, Антигон удалился. В этом месте, где в достатке были только хлеб, соль и вода, где не было больше ничего съестного, никакой приправы к сухому хлебу, Эвмену приходилось тяжко, и все же он, как мог, старался облегчить существование своим това-

рищам, приглашая их по очереди к собственному столу и скрашивая общую трапезу занимательной и ласковой беседой. Эвмен обладал приятной наружностью и не походил на воина, не выпускающего из рук оружия. Он был моложав, строен и на редкость соразмерно сложен, точно статуя, выполненная по всем правилам искусства; особым красноречием он не отличался, но говорил приятно и убедительно, как видно из его писем.

Больше всего его войско страдало от тесноты. Оно было размещено в маленьких, убогих домишках, а вся крепость имела в окружности два стадия, так что солдаты и сами нагуливали жир, не выполняя необходимых упражнений, и раскармливали лошадей, стоявших постоянно на привязи. Желая не только дать занятие людям, терявшим силы от безделья, но и приготовить их к бегству при первом удобном случае, Эвмен предоставил воинам для прогулок самый большой двор в Норах, длиной в четырнадцать локтей, и приказал постепенно усложнять движения. Каждую лошадь он приказывал обвязывать свешивающимся с потолка ремнем и слегка приподнимать на блоке так, чтобы она прочно стояла на задних ногах, а передние лишь кончиками копыт касались пола. Подвешенных таким образом лошадей конюхи начинали погонять криками и плетью. Раздраженные лошади в ярости били задними ногами, а затем пытались твердо опереться на передние, напрягаясь всем телом и обильно потея, и это было прекрасное упражнение, восстанавливавшее силу и быстроту. К тому же кормили животных толченым ячменем, чтобы он скорее и лучше переваривался.

12. Осада тянулась уже долгое время, когда Антигон, узнав о смерти Антипатра в Македонии и о всеобщем смятении, которое вызвала распря Полисперхонта с Кассандром[12], забыл о своих прежних скромных надеждах и, уже видя себя верховным владыкой, захотел, чтобы Эвмен был ему другом и помощником. Он послал к нему Иеронима, чтобы начать переговоры о перемирии, и при этом предложил Эвмену принять присягу. Эвмен исправил ее содержание и обратился к осаждавшим Норы македонянам с просьбой решить, какая присяга более справедлива. Антигон лишь для вида упомянул значале о царях, всею же остальной присягой требовал верности только себе, а Эвмен первой после царей поставил Олимпиаду и клялся быть верным не только Антигону, но и Олимпиаде, и царям, чтобы у них были общие друзья и враги. Македоняне сочли более справедливой исправленную присягу; Эвмен присягнул, и они сняли осаду, а затем послали к Антигону просить, чтобы и он, со своей стороны, присягнул в верности Эвмену. Тем временем Эвмен возвратил находившихся у него в Норах заложников-каппадокийцев и получил взамен лошадей, вьючный скот и палатки; он собрал всех своих воинов, которые после проигранного сражения, спасаясь бегством, разбрелись по стране, так что вскоре у него оказалось около тысячи человек конницы. Вместе с ними он поспешил покинуть Норы и бежал, не без основания боясь Антигона, который не только отдал приказ снова окружить Эвмена и продолжать осаду, но и сурово разбранил македонян за то, что они одобрили исправления в присяге.

13. Во время бегства Эвмен получил письмо из Македонии от тех, кто боялся усиления Антигона. Олимпиада приглашала его приехать и взять на себя воспи-

тание и защиту малолетнего сына Александра, против которого постоянно строились козни, а Полисперхонт и царь Филипп[13] приказывали принять команду над войсками в Каппадокии и выступить против Антигона. Из хранившейся в Квиндах казны они разрешили ему взять пятьсот талантов, чтобы поправить собственные дела, а на войну истратить столько, сколько он сочтет нужным. Обо всем этом они еще раньше написали начальникам аргираспидов[14] Антигену и Тевтаму. Получив письмо, те на словах приняли Эвмена приветливо, но так и кипели завистью и честолюбием, полагая для себя унизительным быть на втором плане. Их зависть Эвмен умерил тем, что не взял денег, словно не нуждался в них, а против честолюбия и властолюбия этих людей, которые командовать были неспособны, а подчиняться не хотели, он использовал их суеверность. Эвмен сообщил, что во сне ему явился Александр и, показав какую-то по-царски убранную палатку с троном внутри, объявил, что если в этой палатке они станут вместе собираться на совет, он сам будет присутствовать, руководить ими и участвовать в обсуждении всех дел, какие они предпримут его именем. Антиген и Тевтам, не желавшие ходить к Эвмену, который в свою очередь считал для себя недостойным стучаться в чужие двери, охотно на это согласились. И вот, поставив царскую палатку, а в ней трон, посвященный Александру, они стали сходиться там, чтобы совещаться о делах первостепенной важности.

Продвигаясь в глубь страны, они встретили друга Эвмена, Певкеста, с другими сатрапами и объединили свои силы. Многочисленность войск и великолепное вооружение воодушевили македонян, однако сами полководцы после смерти Александра сделались благодаря неограниченной власти невыносимы и предались изнеженности и роскоши. Набравшись варварского бахвальства, все они по образу мыслей стали походить на тираннов, все питали неприязнь друг к другу, и никакого согласия между ними не было, македонянам же они наперебой угождали, устраивая роскошные пиршества и праздничные жертвоприношения, и в короткое время превратили лагерь в притон разврата, а воинов – в чернь, перед которой заискивают на выборах начальников, словно в государстве с демократическим образом правления. Чувствуя, что они презирают друг друга, а его боятся и только ждут удобного случая, чтобы его умертвить, Эвмен сделал вид, что нуждается в деньгах, и занял большие суммы у тех, кто особенно сильно его ненавидел, чтобы эти люди верили ему и оставили мысли о покушении, спасая таким образом свои деньги. Получилось так, что чужое богатство стало на страже его жизни, и в то время как другие ради собственного спасения дают деньги, он единственный добыл себе безопасность тем, что взял деньги в долг.

14. Между тем македоняне, развращенные бездельем, уважали только тех, кто делал им подарки или окружал себя телохранителями, стремясь к верховному начальствованию. Но когда Антигон расположился недалеко от них с огромным войском и сложившиеся обстоятельства сами за себя говорили достаточно красноречиво, – тогда понадобился настоящий полководец, и тут не только простые воины обратили взоры к Эвмену, но даже все те, кто только в мирных утехах и в роскоши обнаруживал свое величие, повиновались ему и безропотно занимали назначенное им место. Когда Антигон попытался перейти реку Паситигр, остальные полководцы, караулившие переправу, ничего не заметили, и

только Эвмен преградил ему путь и дал сражение, где многих перебил и завалил реку трупами; в плен было взято четыре тысячи человек. Что думали об Эвмене македоняне, стало особенно ясно во время его болезни: другие полководцы, по их мнению, способны были устраивать празднества и пышные угощения, но командовать войском и вести войну мог только Эвмен. Рассчитывая стать главнокомандующим, Певкест в Персиде угостил войско отличным обедом и каждому воину дал по жертвенному барану, а несколькими днями позже войско двинулось на неприятеля; опасно больного Эвмена несли на носилках чуть поодаль от строя, так как он страдал бессонницей и нуждался в покое. Когда войско прошло некоторое расстояние, перед ним внезапно появились враги – они переходили холмы и спускались на равнину. Воины шагали в строгом порядке, блеснуло на солнце золото оружия, стали видны башни на слонах и пурпуровые покрывала, которыми украшали животных, когда вели их в сражение, и македоняне, шедшие в первых рядах, остановились и стали громко звать Эвмена, заявляя, что пока он не примет командования, они не тронутся с места. Они поставили щиты на землю и призывали друг друга ждать, а начальникам советовали сохранять спокойствие и без Эвмена не вступать в сражение с врагом. Услышав это, Эвмен приказал носильщикам пуститься бегом и, очутившись перед войском, приподнял занавеси с обеих сторон носилок и бодро приветствовал солдат, протягивая к ним правую руку. Солдаты тотчас же увидели его и ответили на приветствие по-македонски, а потом подняли с земли щиты, ударили в них сариссами и воинственно закричали, вызывая врагов на бой, так как их полководец был теперь с ними.

15. Узнав от пленных, что ослабленного болезнью Эвмена носят на носилках, Антигон решил, что если главный противник выбыл из строя, одолеть остальных – дело нехитрое, и потому спешно начал наступление. Но проехав мимо вражеских войск и увидев, в каком порядке строятся они в боевую линию, Антигон оцепенел и долго оставался в неподвижности, а потом, заметив носилки, которые переносили с одного крыла на другое, громко рассмеялся по своему обыкновению и сказал друзьям: “Видимо, эти носилки и дадут нам отпор!” Вслед за тем он немедленно отступил и расположился лагерем.

Но воины Эвмена, едва оправившись от страха, снова стали чутки к лести и заискиваниям. Ни во что не ставя своих начальников, они заняли под зимние квартиры почти всю Габиену так, что расстояние между крайними стоянками достигало чуть ли не тысячи стадиев. Узнав об этом, Антигон внезапно двинулся на них трудным и безводным, но коротким путем. Он надеялся, что если нападет на вражеских солдат, рассеянных по зимним квартирам, полководцам будет нелегко собрать свои силы воедино. Но в необитаемой степи, где вскоре очутились войска Антигона, продвигаться было трудно, солдаты страдали от сильных ветров и жестокого холода. Приходилось часто зажигать костры, что не могло остаться неведомым для неприятеля. Варвары, обитающие по склонам гор у края пустыни, изумленные множеством огней, отправили на верблюдах гонцов к Певкесту. Выслушав их, Певкест совершенно потерял голову от страха и, видя, что остальные настроены не лучше, бросился бежать, уводя за собой лишь те отряды, которые попадались ему по дороге. Но Эвмен подавил это смя-

тение и страх, обещая своим остановить быстрое продвижение неприятеля, так что он явился тремя днями позже ожидаемого срока. Все успокоились, и Эвмен разослал повсюду гонцов с приказанием, чтобы остальные воины как можно скорее снимались с зимних квартир и двигались к месту сбора, а сам вместе с другими полководцами выехал в открытое поле и, выбрав позицию, хорошо видную со стороны степи, отмерил определенное пространство, на котором приказал разжечь как можно больше костров на некотором расстоянии один от другого. Это должно было создать видимость лагеря. Приказание было исполнено, и когда Антигон заметил огни, им овладели злоба и уныние; он решил, что Эвмен давно уже знает о его выступлении и вышел ему навстречу. Чтобы не заставлять свое войско, изнуренное трудным переходом, сражаться с подготовленным к битве противником, проведшим зиму в хороших условиях, Антигон отказался от кратчайшего пути. Он двинулся через селения и города, давая воинам отдохнуть и набраться сил. Ему не встретилось никаких препятствий, как это обычно бывает, если неприятель находится поблизости, и местные жители сообщили, что войска они вообще никакого не видели, а на том месте, где Антигон ожидал найти лагерь Эвмена, просто горит множество костров. Антигон понял, что побежден военной хитростью неприятеля, – это глубоко задело его, и он двинулся вперед с намерением дать решительное сражение.

16. Тем временем к Эвмену уже собралась бóльшая часть воинов, которые восхищались его находчивостью и требовали, чтобы только он командовал ими. Тогда начальники аргираспидов Антиген и Тевтам, обиженные этим и терзаемые завистью, устроили против него заговор. Они созвали бóльшую часть сатрапов и военачальников, чтобы решить, когда и каким способом умертвить Эвмена. Все сочли, что надо использовать его в сражении, а потом тотчас же убить, но Федим и начальник слонов Эвдам тайно сообщили Эвмену об этих планах, правда, вовсе не из симпатии или благожелательности, а потому, что боялись потерять данные ему взаймы деньги. Эвмен поблагодарил их и удалился в свою палатку, сказав друзьям, что чувствует себя окруженным дикими зверями. Затем он написал завещание и уничтожил письма, не желая, чтобы содержащиеся в них секретные сведения после его смерти дали повод для обвинений и доносов на тех, кто их писал.

Покончив с этим, он стал размышлять, отдаться ли в руки врагов или бежать через Мидию и Армению и укрыться в Каппадокии. Несмотря на неотступные просьбы друзей, он не пришел ни к какому решению. Как человек, испытавший превратности судьбы, он обдумывал различные планы, но, ни на что не решившись в присутствии друзей, стал строить войско. Он призывал к храбрости греков и варваров и сам слышал ободряющие клики македонской фаланги и аргираспидов, что враг не выдержит их натиска. Ведь это были самые старые солдаты Филиппа и Александра, своего рода атлеты на войне, никогда еще не отступавшие в битве; среди них никого не было моложе шестидесяти лет, а многие достигли семидесяти. Поэтому, идя в наступление, они закричали воинам Антигона: "Вы поднимаете руку на своих отцов, мерзавцы!" – и, яростно бросившись на врага, смешали всю фалангу, так что никто не мог оказать сопротивления и очень многие погибли на месте, в рукопашном бою.

Таким образом, пехота Антигона потерпела полное поражение, но конница его, напротив, одержала победу, так как Певкест сражался очень трусливо и вяло, и Антигон, используя преимущества, которые давала местность, и действуя ввиду опасности осторожно, отбил у него весь обоз. Ведь это происходило на огромной равнине, песчаная почва которой с большой примесью солончаков не была ни тучной и вязкой, ни твердой и плотной. Копыта бесчисленных лошадей и тысячи солдатских сапог подняли во время битвы пыль, похожую на известь, стоявшую туманом в воздухе и застилавшую глаза. Поэтому Антигон незаметно и легко овладел обозом неприятеля.

17. Сейчас же по окончании битвы люди Тевтама отправились к Антигону просить назад обоз. И так как Антигон обещал аргираспидам не только вернуть их имущество, но и вообще отнестись к ним милостиво, если он захватит Эвмена, аргираспиды замыслили страшное дело – живым предать Эвмена в руки врагов. Сначала они расхаживали около него, не выдавая своих намерений, и только следили за ним: кто жалел потерянный обоз, кто советовал Эвмену не терять мужества – ведь он остался победителем, а некоторые обвиняли других полководцев. Затем внезапно они напали на Эвмена, выхватили у него меч и связали руки ремнем. Немного спустя явился Никанор, посланный Антигоном, чтобы взять пленника, и когда Эвмена вели сквозь ряды македонян, он попросил дать ему возможность обратиться с речью к войскам, но вовсе не для того, чтобы умолять о пощаде, а чтобы сказать им кое-что полезное. Все умолкли, а он встал на возвышение и, протягивая связанные руки, сказал: "Подлейшие из македонян! Вы выдаете как пленника своего полководца – не воздвигаете ли вы собственными руками трофей, равный которому не поставил бы, пожалуй, и Антигон, если бы он победил вас! И в самом деле, разве не отвратительно, что из-за отнятого у вас обоза вы признаете себя побежденными, как будто победа заключается не в превосходстве оружия, а в захвате имущества, и как выкуп за свои пожитки вы посылаете врагу своего полководца. Меня, непобежденного и победителя, ведут в плен и губят мои же соратники! Заклинаю вас Зевсом-Воителем и другими богами – убейте меня здесь сами! Если меня убьют там – все равно это будет ваших рук дело. Антигон не упрекнет вас: ему нужен мертвый Эвмен, а не живой. Если вы бережете свои руки, достаточно развязать одну из моих и все будет кончено. Если вы не доверяете мне меч, бросьте меня связанного диким зверям. Сделайте это – и я освобожу вас от вины: вы в полной мере воздадите должное своему полководцу".

18. Эта речь Эвмена повергла в уныние бóльшую часть войска; солдаты плакали, и только аргираспиды кричали, что надо вести его, не обращая внимания на эту болтовню: не будет ничего ужасного, если негодяй-херсонесец поплатился за то, что заставил македонян без конца длить войну; хуже будет, если лучшие воины Александра и Филиппа, претерпев столько лишений, на старости лет потеряют свои награды и будут жить за счет милости других; и так уже третью ночь их жены делят ложе с врагами. С этими словами они стали подгонять Эвмена. Антигон испугался огромной толпы – ведь в лагере не осталось ни одного солдата – и, чтобы разогнать ее, выслал десять лучших слонов, а с ними мидийских и парфянских копьеносцев. Взглянуть на Эвмена он не решился, так

как вспомнил об их прежней дружбе, а когда стражи спросили его, как следует стеречь пленника, ответил: "Как слона или льва!" Однако через некоторое время он смягчился, приказал снять с Эвмена тяжелые оковы и послал к нему одного из его доверенных рабов, чтобы смазать маслом натертые суставы; друзьям Эвмена было разрешено, если они пожелают, проводить с ним время и приносить ему все необходимое. Антигон не один день раздумывал о судьбе пленника и выслушивал различные советы и предложения: сын Антигона, Деметрий, и критянин Неарх горячо советовали сохранить Эвмену жизнь, но почти все остальные воспротивились этому и требовали его казни. Рассказывают, что Эвмен спросил приставленного к нему Ономарха, почему Антигон, захватив ненавистного своего врага, ничего не предпринимает: и казнить его не торопится, и не отпускает великодушно. В ответ на дерзкие слова Ономарха, что отважно встречать смерть следовало в битве, а не здесь, Эвмен сказал: "Клянусь Зевсом, в битвах-то я и был отважен – спроси тех, с кем я сражался; но я что-то никого не встречал сильнее себя". Тогда Ономарх сказал: "А теперь ты нашел такого человека, так почему бы тебе не дождаться спокойно того срока, какой он назначит?"

19. Решив казнить Эвмена, Антигон приказал не давать ему пищи. В течение двух или трех дней пленник медленно умирал голодной смертью. Когда же внезапно войско Антигона выступило в поход, Эвмена умертвил специально для этого посланный человек. Антигон выдал тело друзьям и приказал сжечь его, а прах собрать в серебряную урну и передать жене и детям.

Такова была кончина Эвмена. Наказать за нее предавших его полководцев и солдат божество не позволило никому постороннему: Антигон сам, видя в аргираспидах жестоких и разнузданных преступников, удалил их от себя и передал правителю Арахосии Сибиртию с приказанием уничтожить всех до одного, чтобы никто из них не вернулся в Македонию и не увидел Греческого моря.



[*Сопоставление*]

20(1). Вот какие достойные упоминания дела Эвмена и Сертория нам известны. Если мы сопоставим их судьбу, то обнаружится общее для обоих: и тот и другой, будучи чужаками, иноземцами и изгнанниками, до самого конца командовали самыми различными племенами и большими воинственными армиями.

А несходство их жизненных путей проявилось в том, что соратники Сертория единодушно вручили ему верховную власть, ценя его достоинства, тогда как Эвмен, у которого многие оспаривали власть, обеспечил себе первенство сам, своими делами. Далее, за одним шли те, кто искал справедливого начальника, второму же подчинились ради своей выгоды те, которые сами были неспособны

начальствовать. Один, будучи римлянином, возглавил испанцев и лузитанцев, другой, херсонесец по происхождению, командовал македонянами, и если первые давно были покорены римлянами, то вторые в ту пору подчинили себе все человечество. К тому же Серторий достиг власти после того, как в сенате и в должности претора заслужил всеобщее уважение, Эвмен же – после того, как должность писца принесла ему презрение.

И не только условия, в которых Эвмен начинал свою деятельность, были куда менее благоприятными для успеха – в дальнейшем он тоже встретил больше препятствий. Ведь его окружало много явных врагов и тайных злоумышленников, тогда как против Сертория никто не выступал открыто, а тайно – только в последние месяцы его жизни; да и тогда лишь немногие из его соратников склонились к мятежу. Поэтому для одного победа над врагом сулила конец опасностей, тогда как победы второго лишь увеличивали опасность, которая грозила ему со стороны завистников.

21(2). В военном искусстве они были достойны друг друга и сходны между собой, но о всем остальном значительно различались. Эвмен любил войны и борьбу, тогда как Серторию были свойственны миролюбие и кротость. И действительно, одному стоило уклониться с пути тех, кто притязал на власть, и он мог бы жить спокойно и пользоваться уважением, но он провел жизнь в битвах и опасностях, тогда как другому, отнюдь не искавшему власти, пришлось ради собственной жизни вести войну против тех, кто не хотел мира. Ведь если бы Эвмен прекратил борьбу за первенство и согласился занять место после Антигона, тот с радостью пошел бы на это – Серторию же Помпей и его сторонники не склонны были даровать жизнь, даже если бы он отказался от участия в борьбе. Таким образом, один воевал по доброй воле, ради власти, тогда как другой – вопреки своему желанию, вынужденный сохранять власть, поскольку войну вели против него. Пожалуй, тот человек любит войну, кто ставит властолюбие выше собственной безопасности, но великий воин – тот, кто войной приобретает себе безопасность.

Далее, смерть пришла к одному, когда он и не думал о ней, к другому – когда он ждал конца. Один пал жертвой своей порядочности, ибо он хотел показать, что доверяет друзьям, другой погиб от бессилия: он собирался бежать, но был схвачен. И смерть одного не запятнала его жизни, ибо он пал от руки сподвижников, совершивших то, чего не удалось никому из врагов; второй же, когда ему не удалось избежать плена, готов был жить и в плену. Он не смог с достоинством ни избежать смерти, ни встретить ее, но просил о милосердии врага, которому принадлежало только его тело, и тем самым отдал ему свою душу.





АГЕСИЛАЙ И ПОМПЕЙ

АГЕСИЛАЙ

1. Царь Архидам, сын Зевксидама, правивший лакедемонянами с большой славой, оставил после себя сына по имени Агид от своей первой жены Лампидо, женщины замечательной и достойной, и второго, младшего – Агесилая от Эвполии, дочери Мелесиппида. Так как власть царя по закону должна была перейти к Агиду, а Агесилаю предстояло жить, как обыкновенному гражданину, он получил обычное спартанское воспитание, очень строгое и полное трудов, но зато приучавшее юношей к повиновению. Поэтому-то, как сообщают, Симонид и назвал Спарту "укрощающей смертных": благодаря своему укладу жизни, она делает граждан необычайно послушными закону и порядку, подобно тому как лошадь с самого начала приучают к узде. Детей же, которых ожидает царская власть, закон освобождает от подобных обязанностей. Следовательно, положение Агесилая отличалось от обычного тем, что он пришел к власти, после того как сам приучен был повиноваться. Вот почему он умел лучше других царей обходиться со своими подданными, соединяя с природными качествами вождя и правителя простоту и человеколюбие, полученные благодаря воспитанию.

2. Когда он находился в так называемых агелах[1] вместе с другими мальчиками, его возлюбленным был Лисандр, пленившийся прежде всего его природой сдержанностью и скромностью, ибо, блистая среди юношей пылким усердием, желанием быть первым во всем, обладая крепостью тела и живостью нрава, которую ничем нельзя было сдержать, Агесилай отличался в то же время таким послушанием и кротостью, что все приказания выполнял не за страх, а за совесть: его более огорчали упреки, чем трудная работа. Красота его в юные годы делала незаметным телесный порок – хромоту. К тому же он переносил ее легко и жизнерадостно, всегда первый смеялся над своим недостатком и этим как бы исправлял его. От этого еще более заметным делалось его честолюбие, так как он никогда не выставлял свою хромоту в качестве предлога, чтобы отказаться от какого-либо дела или работы.

Мы не имеем ни одного изображения Агесилая, ибо он сам не хотел этого и даже перед смертью запретил рисовать свое мертвое тело или лепить статую. Есть сведения, что он был небольшого роста и с виду ничем не замечателен, но живость и жизнерадостность при любых обстоятельствах, веселый нрав, привлекательные черты и приятный голос заставляли до самой старости предпочитать его красивым и цветущим людям. Как сообщает Феофраст, эфоры наложили штраф на Архидама за то, что он взял себе жену слишком маленького роста, "ибо, – сказали они, – она будет рожать нам не царей, а царьков".

3. Во время правления Агида Алкивиад[2] бежал из Сицилии в Лакедемон. Не успел он толком обжиться в Спарте, как его уже обвинили в связи с женой Агида Тимеей. Агид сам сказал, что родившегося у нее ребенка он не признает своим, но что это сын Алкивиада. Тимея, как сообщает Дурид, отнюдь не была огорчена этим и дома в присутствии служанок шепотом называла ребенка Алкивиадом, а не Леотихидом, а сам Алкивиад говорил, что сошелся с Тимеей, не имея в виду ее обесчестить, но из честолюбивого желания, чтобы его потомки царствовали над спартанцами. После случившегося Алкивиад тайно скрылся из Лакедемона, опасаясь Агида. К мальчику же Агид всегда относился с презрением, считая его незаконнорожденным. Но во время последней болезни Агида Леотихид плачем и просьбами добился того, что царь в присутствии многих признал его своим сыном. Однако после смерти Агида Лисандр, одержавший над афинянами победу на море и пользовавшийся большим влиянием в Спарте, предложил передать царскую власть Агесилаю, так как Леотихид – незаконнорожденный и недостоин получить ее. Многие другие граждане также выступили за Агесилая и принялись ревностно поддерживать его, уважая его за высокие нравственные качества и еще за то, что он воспитывался вместе с ними и прошел спартанское обучение. Однако в Спарте был некий предсказатель Диопиф, знавший много старинных прорицаний и считавшийся очень сведущим в божественных делах. Он заявил, что будет грехом, если спартанцы выберут царем хромого, и во время разбора этого дела прочитал следующее прорицание:

Спарта! Одумайся ныне! Хотя ты, с душою надменной,
Поступью твердой идешь, но власть взрастишь ты хромую.
Много придется тебе нежданных бедствий изведать,
Долго хлестать тебя будут войны губительной волны.

Против этого возразил Лисандр, говоря, что если спартанцы так боятся этого оракула, то они должны скорее остерегаться Леотихида. “Ибо, – сказал он, – божеству безразлично, если царствует кто-либо хромающий на ногу, но если царем будет незаконнорожденный и, следовательно, не потомок Геракла, то это и будет «хромым царением»”. Агесилай прибавил к этому, что сам Посейдон засвидетельствовал незаконное рождение Леотихида, изгнав землетрясением Агида из спальни, а Леотихид родился более чем через десять месяцев после этого.

4. На этих-то основаниях и при таких обстоятельствах Агесилай был провозглашен царем; он тотчас вступил во владение имуществом Агида, лишив этого права Леотихида как незаконнорожденного. Однако, видя, что родственники Леотихида с материнской стороны, люди вполне порядочные, сильно нуждаются, Агесилай отдал им половину имущества; так распорядившись наследством, он вместо зависти и недоброжелательства стяжал себе славу и расположение сограждан.

По словам Ксенофонта[3], Агесилай, во всем повинуясь своему отечеству, достиг величайшей власти и делал все, что хотел. Вот что имеет в виду Ксенофонт. В то время самой большой силой в государстве были эфоры и старейшины; первые из них находились у власти только один год, вторые же сохраняли свое достоинство пожизненно и имели полномочия, ограничивающие власть царей, как

об этом рассказано в жизнеописании Ликурга[4]. Поэтому цари с давних времен живут с ними в раздорах, передавая эту вражду от отца к сыну. Но Агесилай избрал другой путь. Вместо того, чтобы ссориться с ними и делать их своими врагами, он всячески угождал им, не предпринимая ничего без их совета, а будучи призван ими, всегда торопился явиться как можно скорее. Всякий раз, как подходили эфоры, когда он, сидя на царском троне, решал дела, он поднимался им навстречу; каждому вновь избранному старейшине он всегда посылал в качестве почетного дара теплый плащ и быка. Этими поступками он хотел показать, что почитает их и тем возвышает их достоинство, в действительности же незаметно для окружающих все более укреплял собственное могущество и увеличивал значение царской власти благодаря всеобщему расположению, которым он пользовался.

5. В своих отношениях с согражданами он был безупречен, когда дело касалось врагов, но не друзей: противникам он не причинял вреда несправедливо, друзей же поддерживал и в несправедливых поступках. Агесилай считал постыдным не уважать своих противников, если они действовали достойно, но не мог порицать своих друзей, когда они ошибались, более того, он гордился, что помогал им, принимая тем самым участие в совершаемых ошибках, ибо полагал, что никакая помощь, оказываемая друзьям, не позорна. Когда его враги попадали в беду, он первым выражал им свое сочувствие и охотно приходил на подмогу, если они об этом просили; так он завоевывал всеобщую любовь и привлекал всех на свою сторону. Заметив это, эфоры, опасаясь усиления Агесилая, наложили на него штраф под тем предлогом, что граждан, принадлежавших всему городу, он делает как бы своей собственностью. Ибо подобно тому, как естествоиспытатели полагают, что если бы во вселенной исчезли спор и вражда[5], то из-за согласия всех вещей между собой не только остановились бы небесные светила, но прекратилось бы всякое рождение и движение, – так, очевидно, и законодатель лакедемонский внес в свое государство честолюбие и соперничество как средство для разжигания добродетели, желая, чтобы споры и соревнование всегда существовали в среде достойных граждан; ибо взаимное послушание и благожелательство, достигнутое без предварительной борьбы, есть проявление бездеятельности и робости и несправедливо носит имя единомыслия. Для некоторых очевидно, что это понимал еще Гомер: он не изобразил бы Агамемнона довольным тем, что Одиссей и Ахилл бранят друг друга "ужасными словами"[6], если бы не считал, что ревнивые несогласия лучших людей друг с другом приносят большую пользу общему делу. Однако тут невозможно обойтись без известных ограничений, ибо слишком далеко идущее соревнование вредит государству и приносит много бедствий.

6. Едва успел Агесилай вступить на царствование, как люди, прибывшие из Азии, известили, что персидский царь готовит большой флот, чтобы вытеснить лакедемонян с моря. Лисандр, желая тотчас отправиться в Азию, чтобы помочь своим друзьям, которых он оставил там правителями и владыками городов и которые затем за жестокости и насилия были либо изгнаны согражданами, либо убиты, убедил Агесилая начать войну и предпринять далекий поход, переправившись через море прежде, чем варвар закончит свои приготовления. Однов-

ременно Лисандр написал своим друзьям в Азию, чтобы они отправили послов в Лакедемон и просили в полководцы Агесилая. Итак, Агесилай явился в Народное собрание и согласился принять на себя руководство войной, если ему дадут тридцать спартанцев в качестве военачальников и советников, две тысячи отборных новограждан[7] и шесть тысяч воинов из числа союзников. Благодаря содействию Лисандра, эти требования были охотно приняты и Агесилай послан вместе с тридцатью спартанцами, среди которых Лисандр был поистине первым не только по своей славе и влиянию, но и из-за дружбы с Агесилаем, считавшим себя еще более обязанным ему за этот поход, чем за царскую власть.

В то время как его войско собиралось в Гересте, Агесилай со своими друзьями прибыл в Авлиду[8] и заночевал там. Во сне ему привиделось, что кто-то обращается к нему со словами: "Царь лакедемонян, ты понимаешь, конечно, что никто еще не выступал как вождь всей Греции, кроме Агамемнона в прежние времена и тебя в настоящее время. Так как ты теперь руководишь тем же народом, выступаешь против тех же врагов и отправляешься на войну с того же самого места, то ясно, что и тебе нужно принести богине жертву, которую принес Агамемнон, отплывая отсюда". Агесилай сразу же вспомнил о девушке, которую отец принес в жертву, повинуясь жрецам. Однако он не испугался, но, проснувшись, рассказал свой сон друзьям и заявил, что необходимо оказать богине те почести, которые доставляют ей удовольствие, но что подражать невежественности древнего полководца он не намерен. По предписанию Агесилая была украшена венком лань, и его жрец принес животное в жертву, однако не по тому обряду, которому обычно следовал жрец, поставленный беотийцами. Услышав об этом, беотархи сильно разгневались и отправили своих служителей к Агесилаю, запрещая ему приносить жертвы вопреки законам и старинным обычаям беотийцев. Служители же не только выполнили порученное, но и сбросили с алтаря части жертвенных животных. Раздосадованный Агесилай отплыл, негодуя на фиванцев и в то же время сильно смутившись этим предзнаменованием, думая, что теперь поход будет для него неудачным и он не выполнит того, что наметил.

7. Когда они прибыли в Эфес, влияние Лисандра и всеобщее к нему уважение стали вскоре тягостны и невыносимы Агесилаю. Действительно, народ толпился у дверей Лисандра и все ходили за ним, прислуживая лишь ему, как если бы Агесилай обладал только титулом и именем командующего, полученными благодаря закону, действительным же владыкой, который все может и всем вершит, был Лисандр. Ведь никто из полководцев, посылавшихся в Азию, не смог стать таким могущественным и грозным, никто не сделал больше добра своим друзьям и зла своим врагам. Все это было еще свежо в памяти людей. К тому же, видя простоту в обхождении, безыскусственность и общительность Агесилая, в то время как Лисандр проявлял резкость, суровость и краткость в речах, они заискивали перед Лисандром, стараясь всячески угодить только ему. Остальные спартанцы тяжело переносили необходимость быть более прислужниками Лисандра, чем советниками царя. Наконец, почувствовал себя задетым и сам Агесилай, который, хотя и не был завистлив и не огорчался оттого, что почести оказываются кому-то еще, однако был очень честолюбив и не хотел сто-

ять ниже других; более всего он опасался, что если будут совершены блестящие деяния, их припишут Лисандру из-за его прежней славы. Поэтому он стал вести себя таким образом: во-первых, он выступал против всех советов Лисандра, — все начинания, к которым тот уже приступил с особенным усердием, Агесилай отменил и проводил вместо них совсем другие; затем, из тех, кто приходил к нему с просьбами, он отпускал ни с чем всех, кто, как он узнавал, особенно полагается на Лисандра. Точно так же и в суде те, кому Лисандр собирался повредить, выигрывали дело и, наоборот, тем, кому он явно и усердно покровительствовал, трудно было уйти от наказания. Так как это было не случайно, но делалось изо дня в день и как бы с намерением, Лисандр, наконец, понял причину и не скрыл этого от своих друзей, но прямо сказал им, что те попали в немилость из-за него; при этом он призывал их угождать теперь царю и тем, кто имеет больший вес, чем он, Лисандр.

8. Однако многим казалось, что таким поведением и подобными речами он хочет вызвать недоброжелательство к царю. Поэтому Агесилай, желая задеть его еще больше, поручил ему раздачу мяса[9] и, как говорят, в присутствии многих заявил: "Пусть теперь эти люди пойдут на поклон к моему раздатчику мяса". Удрученный этим, Лисандр сказал ему: "Ты хорошо умеешь, Агесилай, унижать друзей". "Да, – ответил Агесилай, – тех, которые хотят быть более могущественными, чем я". Лисандр возразил: "Быть может, это верно скорее в применении к твоим словам, чем к моим поступкам; дай мне, однако, какое-нибудь место или должность, где я смогу быть тебе полезным, не огорчая тебя". После этого Лисандр был послан к Геллеспонту и склонил там на сторону Агесилая перса Спифридата из сатрапии Фарнабаза; перс этот имел большие богатства и двести всадников. Однако гнев Лисандра не утих: затаив обиду, он замышлял даже отнять царскую власть у двух родов и передать ее всем спартиатам. И, наверное, из вражды к Агесилаю он произвел бы большой переворот в государстве, если бы не погиб раньше, во время беотийского похода. Так обычно честолюбивые натуры, если они не соблюдают меры в своих поступках на государственном поприще, терпят беды вместо ожидаемых выгод. Если Лисандр был груб и не знал меры в своем честолюбии, то и Агесилай, разумеется, мог бы иными, более достойными средствами исправить ошибки этого выдающегося и честолюбивого человека. Но, видимо, одна и та же страсть мешала первому признать власть своего начальника, а второму – без раздражения стерпеть ошибки своего товарища.

9. Сначала Тиссаферн, боясь Агесилая, заключил с ним договор, по которому персидский царь обещал предоставить греческим городам свободу и право жить по собственным законам. Позже, однако, решив, что у него уже достаточно сил, он начал войну. Агесилай охотно принял вызов, так как возлагал большие надежды на свой поход. К тому же он считал постыдным, что "десять тысяч"[10] под начальством Ксенофонта дошли до самого моря, нанося поражения царю, когда только они хотели этого, в то время как он, предводительствуя лакедемонянами, достигшими верховного владычества на суше и на море, не мог показать грекам ни одного деяния, достойного памяти. Чтобы поскорее отплатить Тиссаферну за его вероломство дозволенною хитростью, он сделал вид, что собирает-

ся выступить в Карию. Когда же там собрались воинские силы варваров, он неожиданно вторгся во Фригию. Здесь он завоевал много городов и захватил большие богатства. Этим он показал своим друзьям, что нарушение договора означает презрение к богам, обман же врага, напротив, не только справедлив, но и доставляет большую славу, удовлетворение и выгоду.

Так как враг превосходил его конницей и к тому же знамения при жертвоприношениях были неблагоприятны, Агесилай вернулся в Эфес и стал собирать конницу, приказывая, чтобы каждый богатый человек, если он сам не хочет участвовать в походе, выставил за себя по одной лошади и всаднику. Многие согласились на это, и вскоре вместо трусливых гоплитов у Агесилая собралась многочисленная и боеспособная конница. Он говорил, что и Агамемнон поступил прекрасно, когда отпустил из войска трусливого богача, получив вместо него прекрасную кобылу[11]. По приказанию Агесилая торговцы добычей продавали пленников обнаженными. Одежду покупали охотно, но над пленными, чьи нагие тела были белыми и рыхлыми из-за изнеженного образа жизни, все насмехались, считая их бесполезными для работы, не имеющими никакой цены. Увидя это, Агесилай поднялся и сказал: "Это люди, с которыми вы воюете, а это вещи, из-за которых вы ведете войну".

10. Когда подошло время для возобновления военных действий, Агесилай объявил, что поведет войско в Лидию. На этот раз он не обманывал Тиссаферна, но тот, не доверяя Агесилаю после того как был введен им в заблуждение, теперь обманул самого себя. Он считал, что Агесилай, который, по его мнению, испытывал недостаток в коннице, выступит теперь в Карию, где местность не благоприятствует передвижению всадников. Когда же Агесилай, как он говорил ранее, прибыл на равнину у Сард, Тиссаферн вынужден был поспешить на помощь городу. При этом он напал со своей конницей на воинов противника, которые разбрелись по равнине с целью грабежа, и многих из них уничтожил. Агесилай, сообразив, что пехота противника еще не подошла, сам же он имеет под рукой все свое войско, решил дать сражение как можно скорее. Поставив легкую пехоту между всадниками, он приказал им выступать и ударить на противника, не теряя ни минуты, сам же следом повел тяжелую пехоту. Варвары были обращены в бегство, и греки, устремившиеся в погоню, многих убили и захватили вражеский лагерь. После этой битвы греки не только могли беспрепятственно брать добычу и уводить рабов и скот из царских владений, но с удовлетворением увидели, что Тиссаферн, злейший враг греков, понес справедливое возмездие. Царь немедленно отправил против него Тифравста, который отрубил голову Тиссаферну, а затем обратился к Агесилаю с просьбой прекратить войну и отплыть домой, предлагая ему при этом деньги, но тот ответил, что вопрос о мире может решить только сама Спарта, а что касается до него, то он больше находит удовольствия в обогащении своих солдат, чем в том, чтобы самому стать богатым. Вообще же, сказал он, у греков считается прекрасным брать у врага не подарки, а добычу. Однако, чтобы выказать признательность Тифравсту, наказавшему общего врага греков Тиссаферна, он выступил со своим войском во Фригию, взяв у перса тридцать талантов[12] на путевые издержки.

По дороге он получил скиталу от спартанских властей, приказывавших ему взять командование и над флотом. Такую честь не оказывали никому, кроме Агесилая. Он бесспорно был, как говорит и Феопомп, величайшим и известнейшим среди своих современников, но и за всем тем более гордился своими личными качествами, чем огромною властью. Теперь, однако, он, как кажется, совершил ошибку, поручив командование флотом Писандру. Несмотря на то, что были более опытные и рассудительные люди, он принял во внимание не интересы отечества, а родственные чувства и в угоду своей жене, братом которой был Писандр, поставил его во главе морских сил.

11. Сам Агесилай, вступив с войском в землю, подчиненную Фарнабазу, не только оказался в местах, изобилующих всем необходимым, но и собрал много денег. Пройдя до самой Пафлагонии, он привлек на свою сторону пафлагонского царя Котия, который желал дружбы с ним, восхищаясь его доблестью и честностью. Спифридат же, с тех пор как отделился от Фарнабаза и перешел к Агесилаю, постоянно сопровождал его во всех походах. У него был сын – прекрасный юноша по имени Мегабат, которого Агесилай горячо любил. Спифридат имел также и дочь, красивую девушку на выданье. Агесилай уговорил Котия жениться на ней, а сам, взяв у него тысячу всадников и две тысячи легковооруженных пехотинцев, возвратился во Фригию. Он принялся опустошать землю Фарнабаза, который не оказывал сопротивления, не доверяя даже крепостям, но, захватив с собою и бóльшую часть своей казны и сокровищ, бродил по всей стране, избегая встречи с Агесилаем. Наконец, Спифридат с помощью спартанца Гериппида захватил его лагерь и овладел всеми его богатствами. Однако Гериппид учинил такой строгий надзор над захваченным, вынуждая варваров возвращать добычу и все подробно осматривая и расследуя, что рассердил Спифридата, и тот сразу же ушел со всеми пафлагонцами в Сарды[13]. Это, как сообщают, до крайности опечалило Агесилая. Он был недоволен прежде всего тем, что лишился такого благородного человека, как Спифридат, а с ним – и значительных военных сил; затем, он стыдился, что его могут упрекнуть в скряжничестве и корыстолюбии, в то время как он всегда стремился очистить от них не только собственную душу, но и отечество. Кроме этих двух явных причин, его не менее мучила и любовь к Мегабату, хотя, когда юноша бывал с ним, он упорно, всеми силами старался побороть эту страсть. Однажды, когда Мегабат подошел к нему с приветствием и хотел обнять и поцеловать его, Агесилай уклонился от поцелуя. Юноша был сконфужен, перестал подходить к нему и приветствовал его лишь издали. Тогда Агесилай, жалея, что лишился его ласки, с притворным удивлением спросил, что случилось с Мегабатом, отчего тот перестал приветствовать его поцелуями. "Ты сам виноват, – ответили его друзья, – так как не принимаешь поцелуев красивого мальчика, но в страхе бежишь от них. Его же и сейчас можно убедить прийти к тебе с поцелуями, если ты только снова не проявишь робости". После некоторого молчания и раздумья Агесилай ответил: "Вам не нужно уговаривать его, так как я нахожу больше удовольствия в том, чтобы снова начать с самим собою эту борьбу за его поцелуи, чем в том, чтобы иметь все сокровища, которые я когда-либо видел". Так держал себя Агесилай, когда Мегабат был поблизости; когда же тот удалился, он почувствовал такую

страсть к нему, что трудно сказать, удержался ли бы он от поцелуев, если бы тот снова появился перед ним.

12. Некоторое время спустя Фарнабаз захотел вступить с Агесилаем в переговоры. Встречу им устроил кизикиец Аполлофан, гостеприимец того и другого. Агесилай, прибывший первым к назначенному месту со своими друзьями, расположился в тени на густой траве, поджидая Фарнабаза. Когда тот прибыл и увидел лежащего Агесилая, то из почтения к нему, не обращая внимания на разостланные для него мягкие шкуры и пестрые ковры, и сам опустился на землю, хотя был одет в удивительно тонкое и роскошно вышитое платье. После первых приветствий у Фарнабаза не оказалось недостатка в упреках по адресу лакедемонян; ибо те были многим обязаны ему во время войны с афинянами, теперь же грабили его землю. Агесилай видел, что сопровождавшие его спартанцы потупились от стыда и находятся в затруднении, понимая, что Фарнабаз действительно обижен несправедливо. Поэтому он ответил: "Да, Фарнабаз, раньше мы были друзьями царя и по-дружески относились к его интересам; теперь мы стали его врагами и поступаем с ним по-вражески. Видя, что ты сам желаешь быть собственностью царя, мы, конечно, стараемся вредить ему в твоем лице. Но с того дня, как ты предпочтешь называться другом и союзником греков, а не рабом царя, можешь быть уверен, что и это войско, и это оружие, и суда, и каждый из нас сделается защитником твоего имущества и твоей свободы, без которой для людей не существует ничего прекрасного и ничего желанного". Тогда Фарнабаз открыл ему свои истинные намерения. "Если царь, – сказал он, – пришлет другого полководца, то я буду вашим союзником; если же он передаст верховное командование мне, то у меня не будет недостатка в рвении, чтобы сражаться с вами за моего царя и вредить вам". Агесилай остался доволен этим ответом и, взяв Фарнабаза за правую руку и став с ним рядом, сказал: "Я желал бы, Фарнабаз, чтобы ты, с подобными чувствами, был бы нам лучше другом, чем врагом".

13. Фарнабаз со своими людьми удалился, а сын его, задержавшись, подбежал к Агесилаю и сказал ему, улыбаясь: "Агесилай, я делаю тебя моим гостеприимцем". И с этими словами он отдал ему дротик, который держал в руке. Агесилай охотно принял подарок и, очарованный красотой и дружелюбием юноши, оглядел присутствующих, чтобы найти у них что-нибудь достойное для ответного дара прекрасному и благородному персу. Заметив лошадь писца Идея с дорогими бляхами на сбруе, он тотчас снял это украшение и подарил юноше. И в дальнейшем он постоянно о нем вспоминал, и когда впоследствии тот был изгнан из отеческого дома своими братьями и искал убежища в Пелопоннесе, Агесилай проявил к нему величайшее внимание и помогал ему даже в его любовных делах. Тот влюбился в афинского мальчика-борца, а так как тот был для ребенка слишком высок и крепок, его могли не допустить к участию в Олимпийских состязаниях[14]. Перс обратился с просьбами за него к Агесилаю, который, желая угодить своему гостеприимцу, горячо взялся за дело и довел его до конца, хотя и с большим трудом. Агесилай во всем прочем строго придерживался законов, но когда дело касалось дружбы, считал неукоснительную приверженность справедливости пустой отговоркой. Так, передают, что им была написана карийцу Гид-

риею записка следующего содержания: "Если Никий невиновен – отпусти его, если он виновен – отпусти его из любви к нам; итак, отпусти его в любом случае". Вот как по большей части относился Агесилай к друзьям. Однако, когда того требовало общее дело, он более считался с обстоятельствами. Так, например, он доказал это однажды, когда, снимаясь поспешно с лагеря, покинул своего возлюбленного, находившегося в болезненном состоянии. Тот звал его и молил остаться, но Агесилай повернулся и сказал "Трудно быть и сострадательным и рассудительным одновременно". Об этом случае рассказывает философ Иероним.

14. Прошло только два года командования Агесилая, а слух о нем распространился далеко. При этом особенно прославлялись его рассудительность, простота и умеренность. На своем пути он останавливался в пределах самых чтимых святилищ отдельно от своих спутников, делая богов свидетелями и очевидцами таких поступков, которые мы обычно совершаем в уединении, избегая чужих взоров. Среди многих тысяч воинов трудно было бы найти такого, у которого постель была бы проще и дешевле, чем у Агесилая. К жаре и холоду он был настолько безразличен, как если бы один лишь он был создан, чтобы переносить любые перемены погоды, посылаемые богами. Но самым приятным зрелищем для греков, населяющих Азию, было видеть, как полководцы и наместники, обычно невыносимо гордые, изнеженные богатством и роскошью, с трепетом угождают человеку в простом, поношенном плаще и беспрекословно меняют свое поведение, выслушав от него лишь одно по-лаконски немногословное замечание. При этом многим приходили на ум слова Тимофея:

Арес – тиранн, а золота Эллада не страшится.

15. В то время Азия сильно волновалась и склонна была к отпадению от персов. Агесилай навел порядок в азиатских городах и придал им надлежащее государственное устройство, не прибегая к казням и изгнанию граждан. Затем он решил двинуться дальше, чтобы, удалив войну от Греческого моря, заставить царя сразиться за его собственную жизнь и сокровища Суз и Экбатан и таким образом лишить его возможности возбуждать войну среди греков, сидя спокойно на своем троне и подкупая своекорыстных искателей народной благосклонности. Однако в это время к нему прибыл спартанец Эпикидид с известием, что Спарте угрожает опасная война в самой Греции и что эфоры призывают его, приказывая прийти на помощь согражданам.

О, скольких тяжких бед виной вы, эллины![15]

Ибо каким еще словом можно назвать эту зависть, эти объединения и вооруженные приготовления греков для борьбы с греками же – все то, чем они сами отвратили уже склонившееся на их сторону счастье, обернув оружие, направленное против варваров, и войну, ведущуюся вдали от Греции, против самих себя? Я не согласен с коринфянином Демаратом[16], сказавшим, что все греки, не видевшие Александра сидевшим на троне Дария, были лишены величайшего наслаждения. Я полагаю, им бы скорее нужно было плакать при мысли, что полководцы эллинов, сражавшиеся при Левктрах, Коронее, Коринфе, являются виновниками того, что честь эта выпала на долю Александра и Македонии. Из

всех поступков Агесилая нет более славного, чем это возвращение, – нельзя найти лучшего примера справедливости и повиновения властям. Ибо если Ганнибал, когда он находился в отчаянном положении и когда его уже почти вовсе вытеснили из Италии, лишь с большим трудом повиновался тем, кто призывал его для защиты родины; если Александр при известии о сражении между Антипатром и Агидом сказал с усмешкой: "Похоже, друзья, что в то время, как мы побеждаем Дария, в Аркадии идет война мышей"[17], – то как не считать счастливой Спарту, когда Агесилай проявил такое уважение к отечеству и почтительность к законам? Едва успела прийти к нему скитала, как он отказался и от блестящих успехов, и от могущества, и от заманчивых надежд и, оставив "несвершенным дело"[18], тотчас же отплыл. Он покинул своих союзников в глубокой печали по нем, опровергая слова Эрасистрата, сына Феака, о том, что лакедемоняне лучше в общественных, афиняне же в частных делах. Ибо если он проявил себя прекрасным царем и полководцем, то еще более безупречен и приятен был как товарищ и друг для тех, кто находился с ним в близких отношениях.

Так как персидские монеты чеканились с изображением стрелка из лука, Агесилай сказал, снимаясь с лагеря, что персидский царь изгоняет его из Азии с помощью десяти тысяч стрелков: такова была сумма, доставленная в Афины и Фивы и разделенная между народными вожаками, чтобы они подстрекали народ к войне со спартанцами.

16. Перейдя через Геллеспонт, Агесилай двинулся по Фракии, не спрашивая на то разрешения ни у одного из варварских племен; он лишь отправил к каждому из них гонца с вопросом, желают ли они, чтобы он прошел через их страну как друг или как враг. Все приняли его дружелюбно и посылали ему для охраны столько людей, сколько было в их силах; одни лишь так называемые трохалы, которым даже Ксеркс, говорят, должен был уплатить за проход через их землю, потребовали у Агесилая сто талантов серебра и столько же женщин. Но Агесилай, насмехаясь над ними, спросил: "Почему же они сразу не пришли, чтобы получить плату?" Он двинулся против них, вступил в сражение и обратил варваров в бегство, нанеся им тяжелые потери. С тем же вопросом он обратился к царю Македонии; тот ответил, что подумает, а Агесилай сказал: "Хорошо, пусть он думает, а мы пока пойдем вперед". Царь удивился его смелости и, испугавшись, сообщил ему, что он может пройти по его стране как друг.

Так как фессалийцы были в союзе с врагами Спарты, Агесилай стал опустошать их владения, послав, однако, в то же время в Лариссу Ксенокла и Скифа с предложением дружбы. Оба они были схвачены и заключены в тюрьму. Все возмущались этим и полагали, что Агесилаю необходимо тотчас выступить и осадить Лариссу, однако он, сказав, что не хочет занять даже всю Фессалию ценою жизни хотя бы одного из этих двоих, получил обоих обратно, заключив мирное соглашение. Но этому, быть может, не стоит и удивляться: ведь когда в другой раз Агесилай узнал, что у Коринфа произошла большая битва и со стороны спартанцев пало совсем немного, со стороны же противника – множество, он не проявил ни радости, ни гордости и лишь сказал с глубоким вздохом: "Горе тебе, Греция, что ты сама погубила столько людей, которые, если бы они еще

жили, способны были бы, объединившись, победить всех варваров вместе взятых".

Во время его похода фарсальцы нападали на него и наносили урон войску. Агесилай, возглавив пятьсот всадников, напал на фарсальцев, обратил их в бегство и поставил трофей у Нарфакия. Этой победе он особенно радовался, ибо лишь с конницей, созданной им самим, победил людей, гордившихся более всего своим искусством в верховой езде.

17. Сюда к нему прибыл из Спарты эфор Дифрид, принеся приказание тотчас вторгнуться в Беотию. Агесилай, считая, что этот план должен быть выполнен позже, после более тщательных приготовлений, полагал, однако, что нельзя оказывать неповиновение властям. Он объявил своим войскам, что скоро настанет тот день, ради которого они пришли из Азии, и призвал к себе две дружины[19] из стоявших у Коринфа ил. Лакедемоняне, чтобы оказать ему особую честь, возвестили в Спарте, что те из юношей, кто желает выступить на помощь царю, могут записаться в списки. Так как охотно записались все, власти отобрали 50 человек, наиболее цветущих и сильных, и отослали их в войско.

Агесилай, между тем, пройдя через Фермопилы, двинулся по Фокиде, дружественно к нему расположенной. Но лишь только он вступил в Беотию и встал лагерем у Херонеи, как во время затмения солнца[20], которое приняло очертания луны, получил известие о смерти Писандра и о победе Фарнабаза и Конона в морской битве при Книде. Агесилай был сильно опечален как гибелью Писандра, так и ущербом, который понесло отечество, однако, чтобы не внушить воинам робости и отчаяния, в то время как они готовились к борьбе, он приказал людям, прибывшим с моря, говорить противоположное действительности – что битва была выиграна спартанцами. Он сам появился с венком на голове, принес жертвы богам за хорошее известие и отослал друзьям части жертвенных животных.

18. Отсюда он выступил дальше и, оказавшись при Коронее лицом к лицу с противником, выстроил войско в боевой порядок, поручив орхоменцам левое крыло и став во главе правого. У неприятеля на правом фланге стояли фиванцы, на левом – аргивяне. Ксенофонт, вернувшийся из Азии[21] и сам участвовавший в сражении рядом с Агесилаем, рассказывает, что эта битва была наиболее ожесточенной из всех, которые происходили в те времена. Первое столкновение не вызывало, правда, упорной и длительной борьбы: фиванцы обратили в бегство орхоменцев, а Агесилай – аргивян. Однако и те и другие, узнав, что их левое крыло опрокинуто и отступает, повернули назад. Агесилай мог бы обеспечить себе верную победу, если бы он не ударил фиванцам в лоб, а дал им пройти мимо и бросился бы на них сзади. Однако из-за ожесточения и честолюбия он сшибся с противником грудь с грудью, желая опрокинуть его своим натиском. Враги приняли удар с не меньшею отвагой, и вспыхнуло горячее сражение по всей боевой линии, особенно напряженное в том месте, где стоял Агесилай, окруженный пятьюдесятью спартанцами, боевой пыл которых, как кажется, послужил на этот раз спасением для царя. Ибо они сражались, защищая его, с величайшей храбростью и, хотя и не смогли уберечь царя от ран, однако, когда его панцирь был уже пробит во многих местах мечами и копьями, вынесли его с

большим трудом, но живого; тесно сплотившись вокруг него, они многих врагов положили на месте и сами потеряли многих. Когда обнаружилось, что одолеть фиванцев прямым ударом – задача слишком трудная, спартанцы принуждены были принять план, отвергнутый ими в начале сражения. Они расступились перед фиванцами и дали им пройти между своими рядами, а когда те, увидев, что прорыв уже совершен, нарушили строй, спартанцы погнались за ними и, поравнявшись, напали с флангов. Однако им не удалось обратить врагов в бегство: фиванцы отошли к Геликону, причем эта битва преисполнила их самомнением, так как им удалось остаться непобежденными, несмотря на то, что они были одни, без союзников.

19. Агесилай, хотя и страдал от многочисленных ран, не удалился сразу в палатку, но приказал отнести себя на носилках к строю своих, чтобы убедиться, что трупы убитых собраны и находятся в пределах досягаемости. Противников, которые укрывались в близлежащем храме Афины Итонийской, он приказал отпустить. Около этого храма находился трофей, который поставили в свое время беотийцы во главе со Спартоном, когда они на этом месте победили афинян и убили Толмида. На следующее утро Агесилай, чтобы испытать, желают ли фиванцы возобновить сражение, приказал воинам украсить себя венками и под звуки флейт поставить пышный трофей, как подобает победителям. Когда же противники прислали послов с просьбой о выдаче трупов[22], он заключил с ними перемирие и, закрепив таким образом победу, отправился на носилках в Дельфы, где в это время происходили Пифийские игры. Агесилай устроил торжественное шествие в честь Аполлона и посвятил богу десятую часть добычи, захваченной им в Азии, что составляло сто талантов.

По возвращении в Спарту он сразу же завоевал симпатии граждан и всеобщее удивление своими привычками и образом жизни. Ибо, в отличие от большинства полководцев, он не вернулся с чужбины другим человеком, преобразившимся под воздействием чужеземных нравов, недовольным всем отечественным, ссорящимся со своими согражданами; наоборот, он вел себя так, как если бы никогда не переходил на другую сторону Эврота[23], уважал и любил родные обычаи, не изменил ничего ни в пище, ни в купаньях, ни в образе жизни своей жены, ни в украшении своего оружия, ни в домашнем хозяйстве. Даже двери собственного дома, которые были настолько древними, что, казалось, были поставлены еще Аристодемом[24], он сохранил в прежнем состоянии. По словам Ксенофонта[25], канатр его дочери не был более пышным, чем у других. Канатром лакедемоняне называют деревянные изображения грифов и трагелафов[26], в которых они возят своих дочерей во время торжественных шествий. Ксенофонт не записал имени дочери Агесилая, и Дикеарх досадовал на то, что мы не знаем имен ни дочери Агесилая, ни матери Эпаминонда. Однако в лаконских записках[27] мы нашли, что жена Агесилая носила имя Клеоры, дочерей же звали Эвполия и Ипполита. В Лакедемоне и поныне хранится также копье Агесилая, ничем не отличающееся от других.

20. Замечая, как некоторые из граждан гордятся и чванятся тем, что выкармливают коней для ристалищ, Агесилай уговорил сестру свою Киниску отправить колесницу для участия в олимпийских состязаниях[28]. Этим он хотел пока-

зать грекам, что подобная победа не требует никакой доблести, а лишь богатства и расточительности. Мудрецу Ксенофонту, который всегда находился при нем и пользовался его вниманием, он посоветовал привезти своих детей в Лакедемон для воспитания, чтобы они овладели прекраснейшей из наук – повиноваться и властвовать.

После смерти Лисандра Агесилай раскрыл большой заговор, который тот устроил против него тотчас по возвращении из Азии, и решил показать, каким гражданином был Лисандр при жизни. Прочтя сохранившуюся в бумагах Лисандра речь, сочиненную Клеоном Галикарнасским, которую Лисандр от своего имени намеревался держать перед народом, речь, содержавшую призывы к перевороту и изменению государственного устройства, Агесилай хотел обнародовать ее. Однако один из старейшин, прочитав эту речь и ужаснувшись искусству убеждения, с каким она была написана, посоветовал Агесилаю не выкапывать Лисандра из могилы, но лучше похоронить вместе с ним и эту речь. Агесилай последовал совету и отказался от своего намерения. Своим противникам он никогда не причинял вреда открыто, но умел добиться, чтобы они были назначены полководцами или начальствующими лицами, затем уличал их в недобросовестности и корыстолюбии при исполнении своих обязанностей и, наконец, когда дело доходило до суда, поддерживал их и помогал им. Таким образом он делал из врагов друзей и привлекал их на свою сторону, так что не имел ни одного противника. Второй царь, Агесиполид, был сыном изгнанника[29] и к тому же еще очень молод по возрасту, а по характеру кроток и мягок, и потому принимал мало участия в государственных делах. Однако Агесилай счел необходимым обязать благодарностью и его. Оба царя, когда находились в городе, ходили к одной и той же фидитии и питались за одним столом. Зная, что Агесиполид, так же как и сам он, очень расположен к любовным делам, Агесилай всегда заводил с ним разговор о прекрасных мальчиках. Он склонял юношу к любовным утехам и сам помогал ему в его увлечениях. Дело в том, что в лаконских любовных связях нет ничего грязного, наоборот, они сочетаются с большой стыдливостью, честолюбием и стремлением к добродетели, как сказано в жизнеописании Ликурга[30].

21. Благодаря своему большому влиянию в государстве, Агесилай добился, чтобы командование флотом было поручено его сводному брату по матери Телевтию. Затем он предпринял поход в Коринф и сам захватил с суши Длинные стены[31], Телевтий же на кораблях...* В это время аргивяне, которые тогда владели Коринфом, справляли Истмийские игры[32]. Появившись в коринфской земле, когда они только что совершили жертвоприношение, Агесилай заставил их бежать, бросив все приготовления к празднеству. Бывшие с ним коринфские изгнанники обратились к нему с просьбой взять на себя распорядительство в состязаниях, но он отказался и, предоставив это им самим, ждал, чтобы обезопасить их от нападения, пока не окончатся жертвоприношения и состязания. Некоторое время спустя, когда он удалился, аргивяне справили Истмийские игры еще раз, и при этом оказалось, что из числа состязавшихся некоторые были

*Текст в оригинале испорчен.

вторично провозглашены победителями, но были и такие, которые в первый раз победили, а во второй попали в список побежденных. Узнав об этом, Агесилай объявил, что аргивяне сами себя уличили в трусости, так как, полагая распорядительство на играх чем-то большим и важным, не осмелились сразиться с ним за эту честь. Сам он считал необходимым ко всем подобным вещам относиться сдержанно. У себя в отечестве он готовил хоры, устраивал состязания и всегда на них присутствовал, проявляя большое честолюбие и усердие и не пропуская даже ни одного состязания мальчиков и девочек, но то, что восхищало остальных, ему было словно вовсе неведомо и незнакомо. Однажды он встретился с трагическим актером Каллиппидом, имя которого было прославлено среди греков и который пользовался всеобщим признанием. Каллиппид первым приветствовал Агесилая, а затем с гордым видом смешался с сопровождавшими царя на прогулке, рассчитывая, что тот скажет ему какую-либо любезность. Наконец, Каллиппид не вытерпел и сказал: "Разве ты не узнаешь меня, царь?" – на что Агесилай, повернувшись к нему, ответил: "Сдается мне, что ты Каллиппид, дикеликт?" – так называют лакедемоняне мимов. В другой раз его позвали послушать человека, подражающего пению соловья. Агесилай отказался, сказав: "Я слышал самого соловья". Врач Менекрат за успешное излечение в нескольких безнадежных случаях получил прозвище Зевса. Он бесстыдно пользовался этим прозвищем и отважился даже написать Агесилаю: "Менекрат-Зевс желает здравствовать Агесилаю"[33]. Агесилай написал в ответ: "Царь Агесилай желает Менекрату быть в здравом уме".

22. Когда Агесилай находился еще около Коринфа и после захвата Герея[34] наблюдал, как его воины уводят пленных и уносят добычу, к нему прибыли послы из Фив с предложением дружественного союза. Агесилай, всегда ненавидевший этот город, нашел такой случай подходящим, чтобы выразить свое презрение к фиванцам, и сделал вид, что не видит и не слышит послов. Но он потерпел заслуженное возмездие за свою гордыню. Ибо еще не успели фиванцы уйти, как прибыли к нему гонцы с известием, что целая дружина спартанцев изрублена Ификратом. Такое большое несчастье уже давно не постигало лакедемонян: они потеряли многих славных воинов, причем гоплиты оказались побежденными легкой пехотой и лакедемоняне – наемниками. Агесилай тотчас поспешил на выручку, но, когда узнал, что дело уже совершилось, быстро вернулся в Герей и уже сам предложил явиться беотийским послам. А фиванцы, платя ему той же монетой, теперь ни словом не упомянули о мире, а лишь просили пропустить их в Коринф. Агесилай, разгневанный, сказал: "Если вы желаете видеть, как ваши друзья гордятся своими успехами, вы вполне можете подождать до завтра". И, взяв их с собой, он на следующий день опустошил коринфские владения и подошел к самому городу. Доказав этим, что коринфяне не отваживаются оказывать ему сопротивление, он отпустил посольство фиванцев. Присоединив к себе людей, уцелевших из потерпевшей поражение моры, Агесилай отвел войско в Лакедемон; по пути он снимался с лагеря до рассвета и останавливался лишь с наступлением темноты, чтобы те из аркадян, которые ненавидели его и завидовали ему, не могли теперь радоваться его несчастью.

Несколько позже он, из расположения к ахейцам, предпринял вместе с ними поход в Акарнанию и захватил там большую добычу, победив акарнанцев в сражении. Ахейцы просили его остаться у них до зимы, чтобы помешать противникам засеять поля. Однако Агесилай ответил, что он сделает как раз обратное, ибо враги будут тем более страшиться войны, если к лету земля будет засеяна. Так и случилось: когда акарнанцы узнали о готовящемся новом походе Агесилая, они заключили с ахейцами мир.

23. После того как Конон и Фарнабаз, с помощью царского флота завоевав владычество на море, стали опустошать берега Лаконии, а афиняне на деньги, полученные от Фарнабаза, вновь укрепили свой город, лакедемоняне решили заключить мир с царем. Они послали Анталкида к Тирибазу с тем, чтобы позорнейшим, несправедливейшим образом предать царю греков, населяющих Азию, – тех греков, за которых столько сражался Агесилай. Потому и вышло, что этот позор меньше всего коснулся самого Агесилая; к тому же Анталкид был его врагом и всеми силами содействовал миру, полагая, что война укрепляет власть Агесилая, увеличивает его славу и влияние. Все же человеку, который сказал, что лакедемоняне стали приверженцами персов, Агесилай ответил: "А по-моему, скорее персы – лакедемонян". Кроме того, он угрожал объявлением войны тем, кто не желал принять условия мира, и заставил таким образом всех подчиниться тем требованиям, которые предъявил персидский царь. При этом больше всего Агесилай добивался, чтобы фиванцы, провозгласив самостоятельность Беотии, тем самым ослабили себя.

Однако его намерения стали вполне ясными лишь из его дальнейшего поведения. Ибо, когда Фебид совершил недостойное дело, захватив Кадмею[35] в мирное время, все греки были охвачены негодованием; возмущались и сами спартанцы, особенно же противники Агесилая. В гневе они спрашивали Фебида, по чьему приказанию он так поступил, и всеобщие подозрения были обращены на Агесилая. Но Агесилай без колебаний открыто выступил на защиту Фебида, говоря, что важно выяснить только, принес ли этот поступок какую-нибудь пользу. "Ибо все, что приносит пользу Лакедемону, – говорит он, – вполне допустимо совершать на свой страх и риск, даже без чьего-либо приказания". И этот человек на словах считал справедливость высшей добродетелью, утверждая при всяком удобном случае, что храбрость не приносит никакой пользы там, где нет справедливости, и что если бы все стали справедливыми, храбрость вообще была бы не нужна! Когда ему говорили, что то или иное угодно великому царю, он отвечал: "Но почему он должен быть более великим, чем я, если он не более справедлив?" – вполне разумно полагая, что превосходство в величии должно определяться справедливостью, ибо это и есть подлинно царская мера. Он не принял письма, в котором царь после заключения мира предлагал ему гостеприимство и дружбу, ответив, что достаточно общей дружбы их государств и нет необходимости в какой-то частной дружбе. Однако в своих поступках он не остался верен этим убеждениям, он был слишком увлечен честолюбием и жаждой первенства, и это особенно ясно обнаружилось в истории с занятием Фив. Он не только спас жизнь Фебиду, но и убедил государство взять ответственность за это преступление, разместить в Кадмее караульный отряд и предоставить фи-

ванские дела и государственное устройство на произвол Архия и Леонтида, с помощью которых Фебид вошел в город и захватил крепость.

24. Вот почему уже в первую минуту у всех явилась мысль, что Фебид был только исполнителем, а зачинщик всего дела – Агесилай. Дальнейшие события с несомненностью подтвердили это подозрение. Ибо когда фиванцы изгнали спартанский отряд и освободили свой город, Агесилай обвинил их в том, что они убили Архия и Леонтида (а те лишь по имени были полемархами, на деле же – тираннами), и объявил им войну. На этот раз с войском в Беотию был отправлен Клеомброт, ставший царем после смерти Агесиполида. Агесилай же, поскольку уже сорок лет назад вышел из отроческого возраста и по законам мог не участвовать в походах, отказался от командования, так как незадолго до того он воевал с флиунтцами[36] из-за изгнанников и теперь ему было неловко чинить насилие над фиванцами во имя дела тираннов.

В это время гармостом в Феспиях был спартанец Сфодрий, принадлежавший к числу противников Агесилая. Это был человек далеко не без смелости и не без честолюбия, но более преисполненный пустых надежд, чем благоразумия. Он-то, желая стяжать славу и считая, что Фебид, благодаря своему дерзкому поступку в Фивах, стал знаменит, пришел к выводу, что он приобретет имя еще более громкое, если неожиданным нападением захватит Пирей и этим отрежет афинян от моря. Передают также, что это была затея беотархов с Мелоном и Пелопидом во главе. Они подослали к Сфодрию людей, прикинувшихся друзьями лакедемонян, которые льстивыми похвалами и уверениями, что лишь он один достоин такого подвига, побудили Сфодрия взяться за дело. Этот поступок по своей несправедливости и противозаконности был подобен поступку Фебида, но в исполнении его не было ни такой же смелости, ни такого же успеха. Ибо Сфодрий надеялся за ночь достичь Пирея, но день застал его на Фриасийской равнине. Говорят, что при виде яркого света, лившегося со стороны элевсинских святилищ, его солдат охватили смятение и ужас. Мужество покинуло и его самого, так как замысел его уже не мог более оставаться в тайне, и, захватив небольшую добычу, он позорно и бесславно отступил в Феспии. Тогда в Спарту были отправлены послы из Афин, чтобы обвинить Сфодрия. Однако по прибытии их в Лакедемон обнаружилось, что спартанские власти не нуждаются ни в каких обвинителях и уже привлекают Сфодрия к суду по обвинению, угрожающему смертной казнью. Однако тот не являлся на суд, опасаясь гнева сограждан, которые, стыдясь афинян, хотели сами казаться оскорбленными, чтобы их не считали соучастниками преступлений.

25. У Сфодрия был сын Клеоним, еще совсем юный и красивой наружности, к которому пылал страстью сын царя Агесилая Архидам. Последний, разумеется, разделял беспокойство Клеонима по поводу опасности, угрожающей его отцу, однако не мог открыто ничего для него сделать и вообще как-либо ему помочь, ибо Сфодрий принадлежал к числу противников Агесилая. Тем не менее Клеоним пришел к Архидаму и со слезами умолял его, чтобы он умилостивил Агесилая, которого друзья Сфодрия опасались больше всего. В течение трех или четырех дней Архидам повсюду ходил за Агесилаем, не решаясь, однако, из страха и стыда заговорить с ним о деле. Наконец, когда день суда был уже бли-

зок, он решился сказать Агесилаю, что Клеоним обратился к нему, прося за своего отца. Агесилай знал о страсти Архидама, но не препятствовал ей, так как Клеоним еще с детства больше, чем кто-либо другой, подавал надежды на то, что станет выдающимся человеком. Тем не менее, когда сын обратился к нему с этой просьбой, Агесилай никак его не обнадежил, ответив только, что он подумает, что можно сделать, не нарушая приличия и благопристойности. С этими словами он удалился. Архидам был так пристыжен, что прекратил свои свидания с Клеонимом, хотя до этого привык видеть его по нескольку раз в день. Друзья Сфодрия считали его дело окончательно проигранным, пока один из приятелей Агесилая, Этимокл, не открыл им истинное мнение Агесилая: по его словам, тот очень порицал поступок Сфодрия, но во всем прочем считал его доблестным мужем и полагал, что государство нуждается в подобных воинах. Из расположения к сыну Агесилай при всяком удобном случае высказывал это суждение о деле Сфодрия, так что и Клеоним вскоре узнал о хлопотах Архидама, и друзья Сфодрия с большей смелостью стали помогать обвиняемому. Агесилай вообще очень любил своих детей, и о нем часто рассказывают забавную историю, будто он дома играл со своими детьми, когда они были еще маленькими, и ездили вместе с ними верхом на палочке, а когда один из друзей увидел его за этим занятием, Агесилай попросил не говорить об этом никому, пока тот сам не станет отцом.

26. Сфодрий был оправдан, и афиняне, узнав об этом, решились на войну. Агесилая резко порицали, считая, что из-за нелепой ребяческой страсти своего сына он воспрепятствовал справедливому решению суда и таким образом сделал свое отечество повинным в величайшем беззаконии по отношению ко всем грекам. Однако, когда Агесилай увидел, что Клеомброт не расположен вести борьбу с фиванцами, он отказался от применения закона, которым воспользовался перед этим походом, и сам стал совершать набеги на Беотию. Он причинял много вреда фиванцам, однако и сам терпел от них немало, так что, когда он был ранен, Анталкид сказал ему: "Да, недурно заплатили тебе фиванцы за то, что вопреки их невежеству и нежеланию учиться, ты все же выучил их сражаться". Действительно, как сообщают, фиванцы в ту пору стали более искусными в военном деле, чем когда бы то ни было прежде, как бы получая закалку во время многочисленных походов лакедемонян на их владения. Поэтому и Ликург в древности, в трех так называемых ретрах[37], запретил выступать много раз против одних и тех же врагов, чтобы те не научились искусству ведения войны. Даже союзники лакедемонян были очень недовольны Агесилаем, видя, что он стремится погубить фиванцев не за вину их перед Спартой, а только из-за оскорбленного честолюбия. Не имея никакой необходимости разорять Беотию, говорили союзники, они почему-то в большом числе ежегодно должны следовать повсюду за лакедемонянами, хотя самих лакедемонян бывает в походе так немного. В ответ на это Агесилай, желая показать, какова цена их многочисленности, проделал, как говорят, следующее. Он велел сесть с одной стороны союзникам, всем вместе, с другой – одним лакедемонянам. Затем через глашатая он пригласил встать сначала всех гончаров, когда же те встали, предложил сделать то же всем кузнецам, затем – плотникам, строителям и всем прочим ре-

месленникам по очереди. В конце концов поднялись почти все союзники, но ни один из лакедемонян, которым было строго запрещено заниматься каким-либо искусством или обучаться какому-либо ремеслу. Тогда Агесилай улыбнулся и сказал: "Ну вот, друзья, вы видите, насколько больше высылаем воинов мы, чем вы".

27. На обратном пути из Фив, в Мегарах, когда Агесилай подымался на акрополь к правительственному зданию, он почувствовал судорогу и жестокую боль в здоровой ноге. Голень вздулась, налилась кровью – судя по внешнему виду – и необычайно воспалилась. Какой-то врач из Сиракуз вскрыл ему жилу ниже лодыжки. Мучения прекратились, однако вышло столько крови и текла она так неудержимо, что последовал глубокий обморок и возникла серьезная опасность для жизни Агесилая. Наконец, кровотечение было остановлено, и Агесилая доставили на носилках в Лакедемон, где он долгое время пролежал больным, не будучи в состоянии выступить в поход.

За это время спартанцы потерпели много неудач как на суше, так и на море. Величайшей из них было сражение при Тегирах, где спартанцы впервые были побеждены фиванцами в открытом бою. Все уже пришли к выводу о необходимости заключить всеобщий мир. В Лакедемон съехались посольства изо всех концов Греции для обсуждения условий договора. В числе послов был Эпаминонд – муж, знаменитый своей образованностью и познаниями в философии, но тогда еще не проявивший себя как полководец. Видя, что все прочие пресмыкаются перед Агесилаем, он один решился выступить с откровенной речью, в которой говорил не только об интересах фиванцев, но и об общем благе всей Греции. Он указал, что война увеличивает могущество Спарты, отчего все остальные терпят ущерб, что мир должен быть основан на началах всеобщего равенства и справедливости, что он будет прочным лишь в том случае, если все будут между собой равны.

28. Агесилай, замечая, что Эпаминонд пользуется вниманием и горячими симпатиями присутствующих греков, задал ему вопрос: "Считаешь ли ты правильным с точки зрения всеобщего равенства и справедливости, чтобы беотийские города пользовались независимостью?" Эпаминонд, не задумываясь и не смущаясь, ответил Агесилаю тоже вопросом: не считает ли тот справедливым, чтобы и жители Лаконии получили независимость? Тогда Агесилай в страшном гневе вскочил с места и потребовал, чтобы Эпаминонд заявил определенно, готов ли он предоставить независимость Беотии. Эпаминонд в свою очередь спросил его, предоставят ли спартанцы независимость жителям Лаконии. Агесилай был возмущен и охотно ухватился за удобный предлог для того, чтобы немедленно вычеркнуть фиванцев из списка заключивших мирный договор и объявить им войну. Всем прочим грекам он предложил, заключив мир, разойтись по домам; дела, поддающиеся мирному решению, он советовал разрешить мирным путем, а не поддающиеся – войной, так как очень трудно было найти путь к уничтожению всех разногласий.

В это время Клеомброт с войском стоял в Фокиде. Эфоры тотчас отправили ему приказ выступить против фиванцев, разослав в то же время повсюду людей для сбора союзников, которые, хотя и не желали воевать и тяготились войной,

еще не осмеливались противоречить лакедемонянам или отказывать им в послушании. Было много дурных предзнаменований, о которых уже рассказано в жизнеописании Эпаминонда[38], и лакедемонянин Профой возражал против похода; несмотря на это Агесилай не отступился от своего намерения и начал войну, надеясь, что при создавшихся обстоятельствах, когда вся Греция на их стороне и фиванцы одни исключены из мирного договора, представляется удобный случай отомстить Фивам. Однако ход событий вскоре показал, что причиной этой войны был скорее гнев, чем хладнокровный расчет. В самом деле, мирный договор был заключен в Лакедемоне четырнадцатого скирофориона, а уже через двадцать дней – пятого гекатомбеона спартанцы были побеждены в битве при Левктрах. В этой битве погибла тысяча лакедемонян, царь Клеомброт и окружавшие его храбрейшие спартанцы. Среди них, как говорят, был и красавец Клеоним, сын Сфодрия, который три раза падал под ударами врагов около царя и столько же раз поднимался, пока не был убит, сражаясь с фиванцами.

29. Это поражение было неожиданным для спартанцев и столь же неожиданным был успех фиванцев, подобного которому еще не бывало в войнах греков между собой. Тем не менее доблесть побежденных вызвала не меньше восхищения и сочувствия, чем доблесть победителей. Ксенофонт говорит[39], что поведение и разговоры выдающихся людей замечательны даже в забавах и за вином, и он прав; но не менее, а еще более следует обращать внимание на то, что делают или говорят выдающиеся люди, стремясь и в несчастье сохранить свое достоинство. В это время в Спарте как раз справлялся праздник Гимнопедий при большом стечении в город иноземцев, и в театре состязались хоры, когда прибыли вестники из Левктр[40] с рассказом о поражении. Эфоры, хотя им и было ясно с самого начала, что эта неудача подкосила благополучие Спарты и что власть ее в Греции погибла, тем не менее не позволили ни удалить из театра хоры, ни изменить чего-либо в порядке праздника; они лишь сообщили имена убитых их родственникам, разослав гонцов по домам, сами же продолжали руководить зрелищами и состязанием хоров. На следующее утро, когда всем уже стали известны имена погибших и уцелевших, отцы, родственники и близкие убитых сошлись на площади и с сияющими лицами, преисполненные гордостью и радостью приветствовали друг друга. Родственники же уцелевших, напротив, оставались вместе с женами дома, как бы находясь в трауре; и если кто-нибудь из них вынужден был выйти из дому, то по его внешнему виду, голосу и взгляду видно было, как велики его уныние и подавленность. Это было особенно заметно на женщинах: те, которые ожидали встретить своего сына живым после битвы, ходили в печальном молчании, те же, о смерти сыновей которых было объявлено, тотчас появились в храмах и навещали друг друга с веселым, гордым видом.

30. Однако, когда союзники отпали от Спарты и все ждали, что Эпаминонд, гордый своей победой, вторгнется в Пелопоннес, многие спартанцы вновь вспомнили предсказание о хромоте Агесилая. Они впали в величайшее уныние и прониклись страхом перед божеством, полагая, что несчастья обрушились на город из-за того, что они удалили от царствования человека со здоровыми ногами, избрав царем хромого и увечного, и тем самым нарушили приказание божества, которое больше всего предостерегало их именно против этого. И все же,

благодаря славе Агесилая, его доблести и другим заслугам, они продолжали пользоваться его услугами не только в военных делах – в качестве царя и полководца, но и в гражданских трудностях – в качестве целителя и посредника. Дело в том, что спартанцы не решались, как полагалось по закону, лишить гражданской чести тех граждан, которые проявили трусость в сражении (в Спарте их называли "убоявшимися"), ибо таких было очень много, и в том числе виднейшие люди, так что можно было предполагать, что они подымут восстание. Такие "убоявшиеся" по закону не только лишаются права занимать какую-либо должность, но считается позорным вступать с кем бы то ни было из них в родство по браку. Каждый, кто встречает их, может их ударить. Они обязаны ходить жалкими, неопрятными, в старом, потертом плаще с разноцветными заплатами и брить только полбороды. Вот почему и было опасно оставлять в городе много таких граждан, в то время как он нуждался в немалом числе воинов. В этих обстоятельствах спартанцы избрали Агесилая законодателем. Не прибавив, не вычеркнув и не изменив ничего в законах, он пришел в Народное собрание и сказал: "Сегодня нужно позволить спать законам, но с завтрашнего дня и впредь законы эти должны иметь полную силу". Этим он не только сохранил государству законы, но и гражданскую честь – всем тем людям.

Затем, желая вывести молодежь из состояния уныния и печали, он вторгся в Аркадию. Здесь он остерегался вступить в решительное сражение с противником, но захватил один небольшой городок близ Мантинеи и опустошил поля. Благодаря этому он внушил своим согражданам новые, лучшие надежды на будущее, показав, что отчаиваться рано.

31. Вскоре после этого Эпаминонд вместе с союзниками вторгся в Лаконию, имея не менее сорока тысяч гоплитов, за которыми с целью грабежа следовало множество легковооруженных или же вовсе не вооруженных, так что общая численность вторгшихся достигала семидесяти тысяч. К этому времени доряне занимали Лакедемон уже в продолжение не менее шестисот лет, и за весь этот период еще ни один враг не отважился вступить в их страну: беотийцы были первыми врагами, которых спартанцы увидели на своей земле и которые теперь опустошали ее – ни разу дотоле не тронутую и не разграбленную – огнем и мечом, дойдя беспрепятственно до самой реки[41] и города. Дело в том, что Агесилай не разрешил спартанцам сразиться с таким, как говорит Феопомп, "валом и потоком войны", но занял центр города и самые важные пункты, терпеливо снося угрозы и похвальбы фиванцев, которые выкликали его имя, призывая его как подстрекателя войны и виновника всех несчастий сразиться за свою страну. Но не менее заботил Агесилая царивший в городе переполох, вопли и беспорядочные метания пожилых людей, негодовавших по поводу случившегося, и женщин, которые не могли оставаться спокойными и совершенно обезумели от крика неприятелей и вида их костров. Тяжелым ударом для его славы было и то, что, приняв город самым сильным и могущественным в Греции, он теперь видел, как сила этого города пошатнулась и неуместной стала горделивая похвальба, которую он сам часто повторял, – что, мол, еще ни одна лакедемонская женщина не видела дыма вражеского лагеря. Говорят, что и Анталкид в споре с афинянином о храбрости, когда тот сказал: "А мы вас часто отгоняли от Кефи-

са", – ответил: "Но мы вас никогда не отгоняли от Эврота". Подобным же образом один ничем не замечательный спартанец в ответ на замечание аргивянина: "Много вас лежит погребенными в Арголиде", возразил: "Но ни один из вас – в Лаконии".

32. Сообщают, что Анталкид, который был тогда эфором, в страхе тайно переправил своих детей на Киферу. Агесилай же, когда заметил, что враги намереваются перейти Эврот и силой ворваться в город, оставил все другие позиции и выстроил лакедемонян перед центральными, возвышенными частями города. Как раз в это время Эврот из-за обилия снегов на горах выступил из берегов и разлился шире обыкновенного, но переправу вброд не столько затрудняла быстрота течения, сколько ледяной холод воды. Агесилаю указали на Эпаминонда, который выступал перед строем; как говорят, он долго смотрел на фиванского полководца, провожая его глазами, однако сказал лишь: "Какой беспокойный человек!" Как ни старался Эпаминонд из честолюбия завязать сражение в самом городе и поставить трофей, он не смог выманить Агесилая или вызвать его на бой, а потому снялся с лагеря, отошел от города и стал опустошать страну.

В Лакедемоне, между тем, около двухсот граждан, из числа недостойных и испорченных, которые уже давно составили заговор[42], захватили Иссорий, сильно укрепленный и неприступный пункт, где находилось святилище Артемиды. Лакедемоняне хотели тотчас кинуться на них, но Агесилай, опасаясь мятежа, приказал остальным соблюдать спокойствие, сам же, отдетый в плащ, в сопровождении лишь одного раба приблизился к заговорщикам, говоря, что они не поняли его приказания: он посылал их не сюда и не всех вместе, а одних – туда (он указал на другое место), других – в иные кварталы города. Те же, услышав его, обрадовались, считая, что их замысел не раскрыт, и, разделившись, разошлись по тем местам, которые он указал. Агесилай немедленно послал за другими воинами и занял с ними Иссорий; ночью же он приказал арестовать и убить около пятнадцати человек из числа заговорщиков. Вскоре был раскрыт другой, еще более значительный заговор спартанцев, которые собирались тайно в одном доме, подготовляя переворот. Но при величайшем беспорядке было одинаково опасно как привлечь их к суду, так и оставить заговор без внимания. Поэтому Агесилай, посовещавшись с эфорами, приказал убить их без суда, хотя прежде ни один спартанец не подвергался смертной казни без судебного разбирательства. Из периэков и илотов, которые были включены в состав войска, многие перебежали из города к врагу. Так как это вызывало упадок духа в войске, Агесилай предписал своим служителям обходить каждое утро постели воинов в лагере, забирать оружие перебежчиков и прятать его; благодаря этому число перебежчиков оставалось неизвестным.

Одни писатели говорят, что фиванцы отступили из Лаконии из-за начавшихся холодов, а также оттого, что аркадяне стали в беспорядке уходить и разбегаться, другие – что они и так провели там целых три месяца и успели опустошить бóльшую часть страны. Феопомп же сообщает иное: беотархи уже решили отступить, когда к ним прибыл спартанец Фрикс, доставив им от Агесилая в качестве платы за отступление десять талантов, так что, выполняя то, что было задумано прежде, они еще получили от врагов деньги на дорогу. Но я не пони-

маю, как мог один лишь Феопомп знать об этом, в то время как остальным это осталось неизвестным.

33. Но все утверждают единогласно, что спасением своим Спарта была тогда обязана Агесилаю, который на этот раз отрешился от присущих ему по природе качеств – честолюбия и упрямства и действовал с большой осторожностью. Тем не менее после этого падения он не смог поднять мощь и славу своего города на прежнюю высоту. Как случается со здоровым телом, которое приучено к постоянному и строжайшему режиму, так случилось и с государством: чтобы погубить все его благополучие, оказалось достаточным одной лишь ошибки, одного лишь колебания весов. Иначе и быть не могло, ибо с государственным устройством, наилучшим образом приспособленным для мира, единомыслия и добродетели, пытались соединить насильственную власть и господство над другими – то, что Ликург считал совершенно ненужным для счастья и процветания города. Это и привело Спарту к упадку.

Агесилай отказался впредь от командования в походах из-за своего преклонного возраста. Сын же его, Архидам, с войском, пришедшим ему на помощь от тиранна из Сицилии[43], победил аркадян в так называемой "Бесслезной битве" (в ней из воинов Архидама не был убит ни один, а врагов пало очень много). Эта битва была самым лучшим доказательством того, как обессилела Спарта. Прежде победа над врагами считалась таким обычным делом, что в честь ее не приносили никаких жертв, кроме петуха; возвратившиеся из сражения не испытывали особенной гордости, и весть о победе даже никого особенно не радовала. Так, после битвы при Мантинее, которую описывает Фукидид[44], первому, кто прибыл с известием о победе, спартанские власти не послали в качестве награды за радостную весть ничего иного, кроме куска мяса от общей трапезы. В этот же раз, когда получилось сообщение о битве, а затем прибыл Архидам, никто уже не мог удержаться от выражения своих чувств; первым встретил его отец в слезах радости вместе со всеми властями; множество стариков и женщин спустились к реке, воздымая к небу руки и благодаря богов, словно лишь в тот день Спарта смыла свой позор и вновь обрела право смотреть на лучезарное солнце. Говорят, что до этой битвы мужья не решались прямо взглянуть на жен, стыдясь своего поражения.

34. Когда Мессена была вновь основана Эпаминондом и прежние ее граждане[45] стали стекаться туда со всех сторон, лакедемоняне не были в состоянии помешать этому и не отважились выступить с оружием, но негодовали и гневались на Агесилая за то, что в его царствование они лишились страны, не уступавшей Лаконии по размерам и превосходящей плодородием другие области Греции, страны, которой они столько времени владели. Вот почему Агесилай и не принял предложенного фиванцами мира. Однако, не желая на словах уступить эту страну тем, кто на деле уже держал ее в своих руках, и упорствуя в этом, он не только не получил обратно этой области, но чуть было не потерял самое Спарту̀, обманутый военной хитростью неприятеля. Дело в том, что, когда мантинейцы вновь отложились от Фив и призвали на помощь лакедемонян, Эпаминонд, узнав, что Агесилай вышел с войском и приближается к нему, ночью незаметно для мантинейцев снялся с лагеря и повел армию из Тегеи прямо на Лакедемон.

Обойдя Агесилая, он едва не захватил внезапным нападением город, лишенный всякой защиты. Однако Агесилаю донес об этом, по словам Каллисфена, феспиец Эвфин, по Ксенофонту[46] же – какой-то критянин. Агесилай немедленно послал в Спарту конного гонца, а через короткое время явился и сам. Немного позже фиванцы перешли Эврот и совершили нападение на город. Агесилай отбивался не по возрасту решительно и ожесточенно, так как видел, что спасение теперь уже не в осмотрительной обороне, но в безоглядной отваге. Такой отваге он никогда раньше не доверял и не давал ей воли, но теперь лишь благодаря ей отразил опасность, вырвал город из рук Эпаминонда, поставил трофей и показал детям и женщинам, что лакедемоняне самым достойным образом платят отечеству за то воспитание, которое оно им дало. Особенно отличался в этом сражении Архидам, который с необычайным мужеством и ловкостью быстро перебегал по тесным уличкам в наиболее опасные места и вместе с небольшой кучкой окружавших его воинов повсюду оказывал врагу сопротивление. Великолепное и достойное удивления зрелище не только согражданам, но и противникам доставил также Исад, сын Фебида. Прекрасно сложенный, высокий и стройный, он был в том возрасте, когда люди, переходя от отрочества к возмужалости, находятся в расцвете сил. Он выскочил из своего дома совершенно нагой, не прикрыв ни доспехами, ни одеждой свое тело, натертое маслом, держа в одной руке копье, в другой меч, и бросился в гущу врагов, повергая наземь и поражая всех, кто выступал ему навстречу. Он даже не был ранен, потому ли, что в награду за храбрость его охраняло божество, или потому, что показался врагам существом сверхъестественным. Говорят, что эфоры сначала наградили его венком, а затем наказали штрафом в тысячу драхм за то, что он отважился выйти навстречу опасности без доспехов.

35. Несколько дней спустя произошла битва при Мантинее; и Эпаминонд уже опрокинул первые ряды противника, тесня врагов и быстро преследуя их, когда, как рассказывает Диоскорид, против него выступил лаконянин Антикрат и пронзил его копьем. Однако лакедемоняне еще и теперь называют потомков Антикрата Махерионами [Machairī́ōnes], и это доказывает, что Эпаминонд был поражен махерой [máchaira] – коротким мечом. Испытывая при жизни Эпаминонда вечный страх перед ним, спартанцы так восхищались подвигом Антикрата, что не только даровали ему постановлением Народного собрания особые почести и награды, но и всему его роду предоставили освобождение от налогов, которым и в наше время еще пользуется Калликрат, один из потомков Антикрата. После этой битвы и смерти Эпаминонда греки заключили между собой мир. Агесилай хотел исключить из мирного договора мессенцев, не признавая в них граждан самостоятельного государства. Так как все остальные греки стояли за включение мессенцев в число участников договора и за принятие от них клятвы, лакедемоняне отказались участвовать в мире и одни продолжали войну, надеясь вернуть себе Мессению. Из-за этого Агесилая считали человеком жестким и упрямым, вечно жаждущим войны: ведь он всеми способами подкапывался под всеобщий мир и препятствовал ему, а с другой стороны, испытывая нужду в деньгах, должен был отягощать своих друзей в Спарте займами и поборами вместо того, чтобы в таких тяжелых обстоятельствах, упустив из своих

рук столько городов и такую власть на суше и на море, положить конец бедствиям и не домогаться столь алчно мессенских владений и доходов.

36. Еще худшую славу стяжал он, когда поступил на службу к Таху, правителю Египта. Никто не одобрял того, что человек, считавшийся первым во всей Греции, чья слава распространилась по всему миру, теперь предоставил себя в распоряжение варвару, отпавшему от своего царя, продал за деньги свое имя и славу, превратившись в предводителя наемного войска. Даже если бы в возрасте свыше восьмидесяти лет, с телом, испещренным рубцами от ран, он вновь принял на себя, как прежде, славное и прекрасное предводительство в борьбе за свободу греков, то и в этом случае нельзя было бы не упрекнуть его за излишнее честолюбие. Ведь и для славного дела есть соответствующий возраст и подходящее время, да и вообще славное отличается от позорного более всего надлежащей мерой. Но Агесилай совершенно не заботился об этом и ничто не считал недостойным, если это было на пользу государству; напротив, ему казалось недостойным жить в городе без дела и спокойно ожидать смерти. Поэтому он набрал наемников на средства, посланные Тахом, снарядил несколько судов и отплыл, взяв с собою, как и прежде, тридцать спартанцев в качестве советников.

Когда Агесилай прибыл в Египет, к его судну отправились виднейшие полководцы и сановники царя, чтобы засвидетельствовать свое почтение. И остальные египтяне, много наслышанные об Агесилае, ожидали его с нетерпением; все сбежались, чтобы посмотреть на него. Когда же вместо блеска и пышного окружения они увидели лежащего на траве у моря старого человека маленького роста и простой наружности, одетого в дешевый грубый плащ, они принялись шутить и насмехаться над ним. Некоторые даже говорили: “Совсем как в басне: гора мучилась в родах, а разрешилась мышью”. Еще более удивились они его странным вкусам, когда из принесенных и приведенных даров гостеприимства он принял только пшеничную муку, телят и гусей, отказавшись от изысканных лакомств, печений и благовоний, и в ответ на настойчивые просьбы принять и эти дары предложил раздать их илотам. Однако, как говорит Феофраст, ему понравился египетский тростник, из которого плетут простые, изящные венки, и при отплытии он попросил и получил от царя немного этого тростника.

37. По прибытии он соединился с Тахом, который был занят приготовлениями к походу. Однако Агесилай был назначен не главнокомандующим, как он рассчитывал, а лишь предводителем наемников; флотом командовал афинянин Хабрий, а всем войском – сам Тах. Это было первым, что огорчило Агесилая, но, кроме того, и во всем прочем он вынужден был с досадой переносить хвастовство и тщеславие египтянина. Он сопровождал его в морском походе в Финикию, беспрекословно ему подчиняясь – вопреки своему достоинству и нраву, пока, наконец, обстоятельства не сложились более благоприятно. Дело в том, что Нектанебид, двоюродный брат Таха, начальствовавший над одной из частей его войска, отпал от него, был провозглашен египтянами царем и отправил людей к Агесилаю с просьбой о помощи. О том же просил он и Хабрия, обещая обоим большие подарки. Когда Тах узнал об этом, он принялся убеждать их не уходить от него, и Хабрий пытался увещаниями и уговорами сохранить дружеские отношения между Агесилаем и Тахом. Но Агесилай отвечал: “Ты, Хабрий,

прибыл сюда по собственному желанию и потому волен поступать, как вздумается, меня же отправило полководцем к египтянам мое отечество. Следовательно, я не могу воевать с теми, к кому прислан в качестве союзника, если не получу из Спарты нового приказания". После этого разговора он послал в Спарту несколько человек, которые должны были там обвинять Таха, Нектанебида же всячески восхвалять. Тах и Хабрий со своей стороны послали в Спарту уполномоченных, при этом первый ссылался на старинную дружбу и союз, второй же обещал быть еще более преданным другом Спарты, чем до тех пор. Лакедемоняне, выслушав послов, ответили египтянам, что предоставляют дело на благоусмотрение Агесилая, самому же Агесилаю отправили приказ смотреть лишь за тем, чтобы его поступки принесли пользу Спарте.

Таким-то образом Агесилай со своими наемниками перешел на сторону Нектанебида, совершив под предлогом пользы для отечества неуместный и неподобающий поступок; ибо, если отнять этот предлог, то наиболее справедливым названием для такого поступка будет предательство. Но лакедемоняне, считающие главным признаком блага пользу, приносимую отечеству, не признают ничего справедливого, кроме того, что, по их мнению, увеличивает мощь Спарты.

38. Тах, когда наемники покинули его, обратился в бегство, но в Мендесе[47] восстал против Нектанебида другой человек, также провозглашенный царем, и двинулся на него, собрав войско из ста тысяч человек. Желая ободрить Агесилая, Нектанебид говорил ему, что хотя враги и многочисленны, они представляют собой нестройную толпу ремесленников, неопытных в военном деле, и потому с ними можно не считаться. Агесилай отвечал на это: "Но я боюсь не их численности, а как раз их неопытности и невежества, которые всегда трудно обмануть. Ибо неожиданно обмануть можно только тех, кто подозревает обман, ожидает его и пытается от него защищаться. Тот же, кто ничего не подозревает и не ожидает, не дает никакой зацепки желающему провести его, подобно тому, как стоящий неподвижно борец не дает возможности противнику вывести его из этого положения". Вскоре после этого мендесец попытался привлечь Агесилая на свою сторону, подослав к нему своих людей. Это внушило опасения Нектанебиду. Когда же Агесилай стал убеждать его вступить как можно скорей в сражение и не затягивать войны с людьми, которые, хоть они и неопытны в военном деле, могут благодаря своей многочисленности легко окружить его, обвести рвом его лагерь и вообще во многом предупредить его шаги, Нектанебид стал еще больше подозревать и бояться своего союзника и отступил в большой, хорошо укрепленный город. Агесилай был очень оскорблен этим недоверием, однако, стыдясь еще раз перейти на сторону противника и покинуть дело неоконченным, последовал за Нектанебидом и вошел вместе с ним в крепость.

39. Неприятель выступил следом и начал окружать город валом и рвом. Египтянином вновь овладел страх – он боялся осады и хотел вступить в бой, греки горячо поддерживали его, так как в крепости не было запасов хлеба. Но Агесилай решительно препятствовал этому намерению, и египтяне пуще прежнего хулили и поносили его, называя предателем царя. Однако теперь он сносил клевету гораздо спокойнее и выжидал удобного случая, чтобы привести в исполнение военную хитрость, которую он замыслил. Хитрость же эта заключа-

лась в следующем. Враги вели глубокий ров вокруг городских стен, чтобы окончательно запереть осажденных. Когда оба конца рва, окружавшего весь город, подошли близко один к другому, Агесилай, дождавшись темноты, приказал грекам вооружиться, явился к царю и сказал ему следующее: "Юноша, час спасения настал; я не говорил о нем прежде, чем он наступит, чтобы не помешать его приходу. Враги сами, собственноручно рассеяли грозившую нам опасность, выкопав такой ров, что готовая часть его представляет препятствие для них самих, лишая их численного превосходства, оставшееся же между концами рва пространство позволяет нам сразиться с ними на равных условиях. Смелей же! Постарайся проявить себя доблестным мужем, устремись вперед вместе с нами и спаси себя и все войско. Ведь стоящие против нас враги не выдержат нашего натиска, а остальные отделены от нас рвом и не смогут причинить нам вреда". Нектанебид изумился изобретательности Агесилая, стал в середину греческого строя и, напав на врагов, легко обратил их в бегство.

Как только Агесилай овладел доверием Нектанебида, он вновь прибегнул к той же военной хитрости: то отступая, то приближаясь, то делая обходные движения, Агесилай загнал бóльшую часть неприятелей в такое место, которое с двух сторон было окаймлено глубокими, наполненными водой рвами. Промежуток между рвами он перегородил, построив там боевую линию своей фаланги, и этим добился того, что враги могли выступить против него только с равным числом бойцов и в то же время были не в состоянии зайти ему во фланг или в тыл. Поэтому после недолгого сопротивления они обратились в бегство. Многие из них были убиты, остальные же рассеялись.

40. После этого египтянин укрепил и упрочил свою власть. Желая выразить свою любовь и расположение к Агесилаю, Нектанебид стал просить его остаться с ним и провести в Египте зиму. Но Агесилай спешил домой, зная, что Спарта ведет войну, содержит наемников и потому нуждается в деньгах. Нектанебид отпустил его с большими почестями, щедро наградив и дав в числе прочих почетных подарков двести тридцать талантов для ведения войны. Уже наступила зима, и Агесилай держался со своими кораблями поближе к суше. Он высадился на побережье Африки, в пустынном месте, которое носит название Менелаевой гавани[48], и здесь умер в возрасте восьмидесяти четырех лет, после того как процарствовал в Спарте более сорока одного года, из коих свыше тридцати лет, вплоть до битвы при Левктрах, был наиболее влиятельным и могущественным человеком в Лакедемоне и считался как бы предводителем и царем всей Греции.

У лакедемонян существует обычай: тела тех, кто умер на чужбине, погребать на месте кончины, тела же царей доставлять на родину. Поэтому сопровождавшие Агесилая спартанцы залили тело за неимением меда расплавленным воском[49] и доставили затем в Лакедемон. Царская власть перешла к сыну Агесилая Архидаму и оставалась за его родом вплоть до Агида, который был пятым царем после Агесилая и при попытке восстановить старинное государственное устройство пал от руки Леонида.



ПОМПЕЙ

1. К Помпею римский народ, по-видимому, испытывал вначале такие же чувства, какие Эсхилов Прометей к Гераклу, своему спасителю, которого он приветствует следующими словами:

Любимый нами сын отца враждебного[1].

Действительно, ни одного полководца римляне не ненавидели так сильно и так жестоко, как отца Помпея – Страбона. При жизни последнего они опасались силы его оружия (он был замечательным воином), когда же Страбон умер от удара молнии, тело его во время выноса сбросили с погребального ложа и осквернили. С другой стороны, никто из римлян, кроме Помпея, не пользовался такой любовью народа, – любовью, которая возникла бы столь рано, столь стремительно возрастала в счастье и оказалась бы столь надежною в несчастьях. Причина ненависти к отцу Помпея была лишь одна – его ненасытное корыстолюбие. Напротив, для любви к сыну было много оснований: умеренный образ жизни, любовь к военным упражнениям, убедительность в речах, честный характер, приветливое обхождение, так что никто не был менее его назойливым в своих домогательствах, никто не умел более приятно оказывать услуги нуждающемуся в них. К тому же, когда он что-нибудь давал, то делал это непринужденно, а принимал дары с достоинством.

2. В юности Помпей имел довольно привлекательную внешность, которая располагала в его пользу прежде, чем он успевал заговорить. Приятная наружность соединялась с величием и человеколюбием, и в его цветущей юности уже предчувствовались зрелая сила и царственные повадки. Мягкие откинутые назад волосы и живые, блестящие глаза придавали ему сходство с изображениями царя Александра (впрочем, не столько было истинного сходства, сколько разговоров о нем). Поэтому вначале, когда Помпею давали имя этого героя, он не отвергал его, так что некоторые даже в насмешку стали называть его Александром. Так, Луций Филипп[2], бывший консул, защищая Помпея на суде, сказал: “Нет ничего неожиданного в том, что Филипп любит Александра”. Сообщают, что гетера по имени Флора уже старухой постоянно с удовольствием вспоминала о своей связи с Помпеем, говоря, что никогда не покидала его ложа без чувства сожаления. Флора рассказывала еще, что в нее был влюблен один из приятелей Помпея, некто Геминий, доставлявший ей много хлопот своим ухаживанием. Наконец, она объявила, что не может согласиться на его домогательства из-за Помпея. Тогда Геминий обратился к самому Помпею, и тот уступил гетеру приятелю. С этих пор Помпей разошелся с Флорой и даже больше не встречался с ней, хотя, по-видимому, продолжал ее любить. Флора, однако, перенесла свой разрыв с Помпеем не так, как это обычно бывает у гетер, а долгое время мучилась от печали и тоски. Между тем, как говорят, Флора находилась тогда в расцвете своей красоты и получила такую известность, что Цецилий Метелл, украшая храм Диоскуров картинами и статуями, велел написать ее портрет и посвятил его богам. У одного из вольноотпущенников Помпея, Деметрия, который пользовался у него огромным влиянием и оставил состояние в четыре ты-

сячи талантов, была жена неотразимой красоты. Помпей обходился с ней, против своего обыкновения, довольно грубо и сурово из опасения, как бы не подумали, что он пленился ее прославленной прелестью. Несмотря на такую, далеко идущую осторожность и осмотрительность в подобного рода делах, Помпею не удалось все же избежать укоров со стороны недругов. Последние обвиняли его в связях с замужними женщинами, утверждая, что в угоду им он часто не считается с общественными делами и пренебрегает ими.

О скромности и простоте образа жизни Помпея приводят такой рассказ. Во время болезни, когда он потерял аппетит, врач предписал больному в пищу дрозда. Слуги, как ни искали, не смогли найти птицы в продаже, так как сезон прошел, и один слуга сказал, что дроздов можно сыскать у Лукулла, который откармливает их круглый год. Больной ответил на это: "Неужели жизнь Помпея может зависеть от причуд роскоши Лукулла?" И, пренебрегши советом врача, он съел какое-то кушанье из самых доступных. Этот случай относится, впрочем, к более позднему времени его жизни.

3. Когда Помпей еще очень молодым отправился вместе со своим отцом в поход против Цинны, он жил в одной палатке со своим приятелем, неким Луцием Теренцием. Этот Теренций был подкуплен Цинной и собирался убить Помпея, в то время как его сообщники должны были поджечь палатку полководца. Помпею сообщили о заговоре во время обеда. Молодой человек нисколько не смутился, напротив, он выпил вина с бóльшим удовольствием, чем обычно, и ласково говорил с Теренцием, когда же пришла пора ложиться спать, тайком вышел из своей палатки и выставил охрану около палатки отца, сохраняя при этом полное спокойствие. Между тем, Теренций, как только решил, что настало время действовать, вскочил, вытащил меч, подошел к ложу Помпея и, предполагая, что тот лежит на постели, стал наносить удар за ударом. Тотчас вслед за тем в лагере поднялась суматоха, и воины, горя ненавистью к своему полководцу и подстрекая друг друга к мятежу, начали разбирать палатки и браться за оружие. Сам полководец, испугавшись шума, не выходил из палатки. Напротив, Помпей открыто появился среди воинов, с плачем умолял их не покидать отца и, наконец, бросился ничком на землю перед воротами лагеря. Там он лежал и, проливая слезы, просил уходящих воинов растоптать его ногами. Воины, устыдившись, возвращались, и таким образом все, кроме восьмисот человек, изменили свое намерение и примирились с полководцем.

4. Сразу после кончины Страбона Помпей был привлечен, вместо умершего, к суду по делу о хищении государственных денег. Изобличив одного из вольноотпущенников, Александра, Помпей доказал, что бóльшая часть денег похищена этим вольноотпущенником. Однако самого Помпея обвинили в том, что он присвоил охотничьи сети и книги из добычи, захваченной в Аскуле[3]. Эти вещи он действительно получил от отца после взятия Аскула, но потерял их, когда после возвращения Цинны в Рим его телохранители ворвались в дом Помпея и разграбили его. На этом процессе у Помпея было немало предварительных столкновений с обвинителем. В них молодой человек выказал быструю сообразительность и твердый не по летам ум и тем стяжал немалую славу и симпатии сограждан, так что претор Антистий, который был судьей на процессе, полю-

бил Помпея и предложил ему в жены свою дочь. Об этом он вел переговоры с друзьями Помпея. Помпей принял предложение и между ними было заключено тайное соглашение, однако из-за хлопот Антистия в пользу Помпея об этой сделке стало известно народу. Наконец, когда Антистий огласил вынесенный судьями оправдательный приговор, то, как по команде, народ издал возглас, произносимый по старинному обычаю на свадьбах, – “Таласию!”[4] Происхождение этого обычая, как говорят, следующее. Когда самые доблестные римляне похищали дочерей сабинян, пришедших в Рим посмотреть на игры, несколько безвестных поденщиков и пастухов схватили красивую и высокую девушку и, взвалив ее на плечи, понесли. Чтобы какой-нибудь знатный человек при встрече не отнял добычи, они бежали с криком “Таласию!” Таласий был одним из всеми любимых и известных граждан, и потому, слыша это имя, встречные хлопали в ладоши как бы в знак радости и одобрения. Так как брак Таласия оказался счастливым, это восклицание, как говорят, стало употребляться в шутку на свадьбах. Это объяснение наиболее правдоподобно из всех. Спустя несколько дней Помпей вступил в брак с Антистией.

5. Отправившись в лагерь Цинны, Помпей затем испугался каких-то ложных обвинений и наговоров и тайком быстро покинул лагерь. Так как Помпей нигде не показывался, то в лагере прошел слух, будто Цинна велел убить юношу. Тогда старые враги и ненавистники Цинны подняли против него восстание. Цинна бежал, но был схвачен каким-то центурионом, преследовавшим его с обнаженным мечом. Припав к коленям врага, Цинна протянул ему свой драгоценный перстень с печаткой, а тот с жестокою издевкой ответил: “Я пришел сюда не скреплять печатью договор, а покарать нечестивого и беззаконного тиранна”. С этими словами он убил Цинну. После смерти Цинны его сменил, став во главе правления, Карбон – тиранн, еще более безрассудный, чем Цинна. Однако был уже близок Сулла, ожидавшийся с нетерпением большинством граждан, которые из-за выпавших на их долю бедствий уже самоё перемену властителя почитали великим благом. Несчастия довели государство до такого состояния, что люди, не надеясь больше на свободу, мечтали лишь о более или менее снисходительном господине.

6. Помпей находился тогда в италийской области Пицене, отправившись туда отчасти потому, что там были его земельные владения, но главным образом из-за того, что ему были приятны чувства любви и преданности, которые в память об отце питали к нему тамошние города. Помпей видел, что самые знатные и лучшие граждане оставляют свое имущество и отовсюду, словно корабли в надежную гавань, стекаются в лагерь Суллы в поисках убежища. Сам он счел ниже своего достоинства явиться к Сулле бессильным беглецом, умоляя о помощи, но предпочел прибыть к нему, оказав важную услугу, с почетом, во главе войска. Поэтому он предпринял попытку возмутить пиценцев, которые охотно ему повиновались и не слушали уговоров посланцев Карбона. Когда некто Ведий сказал пиценцам, что вождем у них – Помпей, только что сошедший со школьной скамьи, они разъярились и, напав на Ведия, убили его. Двадцати трех лет отроду Помпей, никем не назначенный, по собственному почину облек себя полномочиями полководца; на площади большого города Auксима он воздвиг

судейское возвышение и особым эдиктом повелел двум сторонникам Карбона, весьма влиятельным в городе братьям Вентидиям, покинуть Ауксим. Затем Помпей стал набирать воинов и, как полагается, назначил им центурионов; то же самое он делал, объезжая соседние города. Все сторонники Карбона бежали, прочие же с радостью отдали себя в распоряжение Помпея. Таким образом за короткое время он набрал три полных легиона, запасся продовольствием, вьючными животными, повозками и всем прочим снаряжением и двинулся к Сулле, не спеша и не желая скрываться, но задерживаясь в пути, чтобы тревожить неприятеля, и во всех областях Италии, через которые он проходил, стараясь поднять восстание против Карбона.

7. Против Помпея выступили сразу три неприятельских полководца – Каррина, Целий и Брут, но они ударили на него не все разом и не в лоб, а совершали обходное движение тремя отрядами с целью окружить и уничтожить противника. Помпей, однако, не испугался, но, собрав свои силы в одном пункте, во главе конницы напал на войско Брута. Со стороны неприятеля выступила галльская конница, и Помпей, метнув дротик, поразил начальника, отличавшегося необыкновенной силой. После этого остальные всадники повернули назад и расстроили ряды пехотинцев, так что началось общее бегство. Затем между неприятельскими начальниками пошли раздоры, и каждый отступил в полном беспорядке. Города стали переходить на сторону Помпея, считая, что враги от страха уже совершенно рассеялись. Вскоре на него напал консул Сципион. Однако не успели еще оба войска пустить в ход дротики, как воины Сципиона, приветствуя воинов Помпея, перешли на его сторону, Сципиону же пришлось бежать. Наконец, сам Карбон выслал к реке Эзии многочисленные отряды всадников, но и этому нападению Помпей оказал решительное сопротивление: враг был обращен в бегство и загнан во время преследования в неудобную и непроходимую для конницы местность. Неприятельские воины, видя, что нет надежды спастись, вынуждены были сдаться со своим оружием и конями.

8. Сулла ничего не знал еще об этих событиях. При первых известиях и слухах о том, что Помпей должен действовать против стольких неприятельских полководцев, располагавших столь большими силами, Сулла испугался за Помпея и немедленно выступил ему на помощь. Когда Помпей узнал, что Сулла уже недалеко, он приказал командирам вооружить воинов и выстроить их в боевом порядке для смотра, чтобы они произвели на главнокомандующего самое лучшее, блестящее впечатление. Помпей рассчитывал на великие почести со стороны Суллы, но получил даже больше, чем ожидал. Завидев приближение Помпея с войском, состоявшим из сильных и здоровых людей, гордых своими победами, Сулла соскочил с коня. Как только Помпей приветствовал его по обычаю, назвав императором, Сулла, в свою очередь, назвал его этим же именем, причем никто не ожидал, что Сулла присвоит человеку молодому, еще даже не сенатору, тот титул, за который сам он сражался со Сципионами и Мариями. И дальнейшее поведение Суллы вполне соответствовало этим первым проявлениям любезности: так, когда приходил Помпей, Сулла вставал и обнажал голову – почесть, которую он не часто оказывал кому-либо другому, хотя в его окружении было много уважаемых людей.

Однако от этих почестей Помпей не возгордился. Напротив, когда Сулла вознамерился немедленно послать его в Галлию, где Метелл во время своего управления, по-видимому, не совершил ничего достойного тех огромных сил, какие были в его распоряжении, Помпей заявил, что неблагородно было бы лишать командования человека, старшего годами и превосходящего его славой; однако если Метелл и пожелает и сам потребует, то он, Помпей, готов ему помогать на войне и во всем остальном окажет поддержку. Метелл принял предложение и написал Помпею, чтобы тот приезжал. После этого Помпей вторгся в Галлию и не только совершил сам удивительные подвиги, но сумел подогреть и разжечь уже почти угасший от старости воинственный пыл и отвагу Метелла. Так расплавленная на огне медь, если облить ею твердые и холодные куски металла, как говорят, размягчает и плавит их скорее самого огня. Но ведь подобно тому, как не принимают в расчет и не вносят в списки юношеские победы борца, который занял впоследствии первое место среди взрослых и повсюду с почетом побеждал на состязаниях, так и подвиги, совершенные тогда Помпеем в Галлии, хотя сами по себе и удивительные, все же меркнут перед множеством великих битв и войн позднейшего времени. Поэтому я не решился во всех подробностях описывать дела Помпея в Галлии, чтобы не пропустить более значительных его деяний и событий, в которых как раз обнаруживается характер этого мужа.

9. Став владыкой Италии и провозглашенный диктатором, Сулла вознаградил всех своих полководцев и всех начальников: он обогащал их, возводил на высшие государственные должности и щедро и охотно удовлетворял все их желания. Помпей вызывал восхищение Суллы своей воинской доблестью. Последний хотел породниться с Помпеем, считая, что это будет весьма полезно для его власти. Жена Суллы Метелла одобряла планы мужа; и вот оба они уговаривают Помпея развестись с Антистией и взять в жены падчерицу Суллы, дочь Метеллы и Скавра Эмилию, которая была в это время замужем и уже беременна. Способ заключения этого брака был, конечно, тираннический и скорее в духе времен Суллы, чем в характере Помпея: беременную Эмилию приводят от ее мужа к Помпею, а Антистию изгоняют позорным и самым жалким образом, хотя она недавно из-за своего мужа потеряла отца: Антистий был убит в курии, так как из-за Помпея его считали сторонником Суллы. Мать Антистии не перенесла всех этих несчастий и сама наложила на себя руки, так что к трагедии Помпеева брака присоединилось и это горестное обстоятельство и, клянусь Зевсом, еще одно: Эмилия сразу же умерла от родов в доме своего нового мужа.

10. Спустя некоторое время пришла весть о том, что Перперна укрепляется в Сицилии, стараясь превратить остров в опорный пункт для остатков враждебного стана приверженцев Мария; там же, близ Сицилии, находился Карбон с флотом, а Домиций вторгся в Африку, и много других важных изгнанников, успевших избежать гибели, стекалось туда же. Против них был послан Помпей с большим войском. Перперна немедленно уступил ему остров, и он начал восстанавливать разрушенные города, обходясь милостиво со всеми, кроме мамертинцев[5] в Мессене. Мамертинцы не пожелали явиться к его судейскому креслу и признать его власть, ссылаясь на то, что были освобождены от нее старинным

римским законом. Тогда Помпей заявил им: "Перестаньте приводить статьи законов тому, у кого за поясом меч". И отношение Помпея к Карбону представляется бесчеловечным глумлением над его несчастьями. Ведь если убийство Карбона было необходимо (как, быть может, оно и было), то его следовало совершить немедленно после пленения, и тогда ответственность пала бы на того, кто отдал приказ[6]. Однако вместо этого Помпей велел привести к себе римлянина, трижды бывшего консулом, и в оковах заставил его стоять перед своим судейским креслом, а сам, к негодованию и раздражению присутствующих, вел следствие сидя. Затем последовал приказ увести и казнить Карбона. Когда приговоренного привели к месту казни, он, увидев обнаженный меч, просил, как передают, дать ему место и немного времени для отправления естественных потребностей. Гай Оппий, один из друзей Цезаря, рассказывает о бесчеловечном поступке Помпея с Квинтом Валерием. Помпей знал, что Валерий – человек большой учености и исключительно преданный науке. Когда Валерия привели пленником к Помпею, тот принял его дружески; после совместной прогулки, выспросив у него все нужные сведения, Помпей велел слугам немедленно отвести несчастного на казнь. Однако к рассказам Оппия о врагах и друзьях Цезаря следует относиться с большой осторожностью.

Помпей карал, и то лишь по необходимости, наиболее знатных и явных врагов Суллы, захваченных в плен, остальным же, насколько было возможно, позволял скрыться, а некоторым даже сам помогал бежать. Помпей решил наказать город гимерцев за то, что жители его держали сторону враждебного стана. Народный вожак Сфенний попросил слова и сказал, что Помпей поступит несправедливо, если, отпустив виновного, погубит ни в чем не повинных людей. На вопрос Помпея, кого именно он считает виновным, Сфенний ответил: "Себя: своих друзей я убедил примкнуть к твоим противникам, а врагов заставил силой". Помпей был восхищен смелостью и благородством этого человека и сначала даровал прощение ему, а затем простил и всех прочих. Узнав из донесений, что воины его в походе позволяют себе всякие бесчинства, Помпей опечатал их мечи, и в случае взлома печати виновный подвергался наказанию.

11. В то время как Помпей занимался этими делами и управлял Сицилией, он получил постановление сената и письмо Суллы с приказанием отплыть в Африку со всеми силами для войны против Домиция. Последний собрал войско во много раз большее, чем то, с каким незадолго до того Марий, переправившийся из Африки в Италию, захватил верховную власть над римлянами и из изгнанника сделался тиранном. Спешно окончив все приготовления, Помпей оставил правителем Сицилии Меммия, мужа своей сестры, а сам отплыл на ста двадцати боевых кораблях и восьмистах грузовых с продовольствием, оружием, деньгами и военными машинами. Как только одна часть флота пристала к берегу в Утике, а другая в Карфагене, на сторону Помпея перешли семь тысяч неприятельских воинов, сам же он привел с собой шесть полных легионов. По прибытии в Африку с ним случилось, говорят, забавное происшествие. Какие-то из его воинов, по-видимому, случайно наткнувшись на клад, добыли большие деньги. Когда об этой находке стало известно, у других воинов явилась мысль, что вся эта местность полна кладов, спрятанных карфагенянами в пору их бедствий[7]. Мно-

го дней Помпей не мог совладать со своими воинами, которые искали клады. Он ходил вокруг и со смехом наблюдал, как столько тысяч людей копают и переворачивают пласты земли на равнине. Наконец воины утомились от этой работы и предложили Помпею вести их, куда ему угодно, так как они достаточно наказаны за свою глупость.

12. Домиций выстроил свое войско к бою, но, так как от неприятеля его отделял трудный для перехода овраг с крутыми склонами, а сильный ветер с дождем, поднявшийся с утра, никак не утихал, Домиций решил в тот день отказаться от сражения и дал сигнал отступить. Помпей же, видя в отходе противника удобный случай для нападения, внезапно двинувшись вперед, перешел овраг. Враги уже расстроили ряды, среди них царил беспорядок, только отдельные воины там и сям смогли оказать сопротивление. Кроме того, ветер переменился и дождь хлестал им прямо в лицо. Правда, и римлянам буря причиняла много затруднений, так как они не могли ясно видеть друг друга. Сам Помпей подвергся опасности и едва не был убит каким-то воином, который, не узнав его, спросил пароль и не сразу получил ответ. В жестокой сече (из двадцати тысяч сторонников Домиция, как сообщают, уцелело только три тысячи) враг был разбит. Солдаты приветствовали Помпея, называя его императором. Помпей, однако, отказался от этого почетного звания, пока лагерь врагов еще не взят; если же, сказал он, воины считают его достойным этого почетного титула, они должны сначала разрушить лагерь. Воины тотчас устремились на вражеский частокол; сам Помпей сражался без шлема, опасаясь повторения недавнего случая. Лагерь был захвачен, и Домиций пал. Затем одни города тотчас же добровольно подчинились Помпею, другие были взяты приступом.

Один из тамошних царей, Иарб, союзник Домиция, попал в плен, а царская власть была передана Гиемпсалу. Используя свой успех и боевой пыл войска, Помпей вторгся в Нумидию. Многодневный путь прошел он по этой стране и одолел всех, кто попадался ему навстречу. Страх перед римлянами, уже ослабевший было в душах варваров, Помпей восстановил в прежней силе. Он говорил, что даже звери, обитающие в Африке, должны узнать мощь и отвагу римлян, и поэтому несколько дней провел в охоте на львов и слонов. Как сообщают, он одолел врагов, подчинил Африку и уладил разногласия царей в течение всего сорока дней. Тогда ему было двадцать четыре года.

13. По возвращении в Утику Помпей получил письменное приказание Суллы распустить войско и с одним легионом ожидать на месте своего преемника по командованию. Этот приказ вызвал тайное неудовольствие и возмущение Помпея и открытое негодование войска. Когда Помпей стал убеждать воинов возвратиться на родину, они принялись ругать Суллу, заявили, что ни в коем случае не оставят своего полководца, и просили Помпея не доверять тиранну. Сперва Помпей пытался успокоить воинов убеждением, когда же это не удалось, он сошел с возвышения и в слезах удалился в свою палатку. Воины вывели его и снова посадили на возвышение. Бóльшая часть этого дня прошла в переговорах: солдаты предлагали Помпею остаться и быть их начальником, а тот упрашивал их подчиниться и не бунтовать; это продолжалось до тех пор, пока в ответ на их настойчивые крики Помпей не поклялся, что наложит на себя руки, если они

вздумают применить насилие, и лишь эта угроза едва заставила воинов отказаться от своего намерения.

Между тем Сулла сначала получил известие об отложении Помпея. Он сказал тогда своим друзьям, что, видимо, его удел в преклонном возрасте воевать с мальчиками, потому что и Марий[8], будучи еще совсем молодым, доставил ему множество хлопот и подверг смертельной опасности. Когда же выяснилось истинное положение дел и Сулла увидел, что все римляне готовы радостно встретить и принять Помпея, тогда диктатор поспешил превзойти всех. Он встретил Помпея далеко за городом, приветствовал его как нельзя более сердечно и не только сам громко назвал его "Магном", но и всем присутствующим велел называть Помпея этим именем. Слово "Магн" означает "великий". По сообщениям некоторых писателей, сначала это прозвище Помпей получил от своего войска в Африке, но в полную силу оно вошло лишь после того, как Сулла его подтвердил. Сам Помпей позже всех и лишь спустя долгий срок, уже посланный в качестве проконсула в Испанию против Сертория, начал в своих письмах и распоряжениях именовать себя Помпеем Магном: к тому времени это имя стало уже настолько привычным, что больше не вызывало зависти. Я не могу упустить случая, чтобы не выразить восхищения древними римлянами, которые давали такие имена и прозвища в награду не только за воинские подвиги, но и за заслуги и доблести в жизни гражданской. Так, народ даровал прозвище "Максим" (Maximus), что значит "величайший", Валерию за примирение восставшего народа с сенатом, а также Фабию Руллу в награду за то, что тот исключил из сената попавших туда нескольких разбогатевших сыновей волноотпущенников.

14. Спустя некоторое время Помпей стал домогаться триумфа, Сулла же не соглашался, потому что закон-де не разрешает триумфа никому, кроме консула и претора. Ведь и Сципион Старший, одержав более великие и более важные победы над карфагенянами в Испании, не требовал себе триумфа, так как он не был ни консулом, ни претором. Если же Помпей, у которого еще не совсем пробился пушок на подбородке, который по годам еще не может заседать в сенате[9], совершит триумфальный въезд в Рим, это возбудит всеобщую ненависть и против его, Суллы, власти, и против оказанных Помпею почестей. Таковы были доводы Суллы, который хотел показать, что не даст Помпею исполнить свое намерение, а если тот ослушается, то воспротивится этому и накажет его за упрямство. Однако Помпей не смутился, но сказал Сулле, что больше людей поклоняется восходящему солнцу, чем заходящему, намекая на то, что могущество Помпея растет, а силы диктатора слабеют и истощаются. Слова Помпея Сулла не расслышал, но видя по выражению лиц и жестам присутствующих, что они изумлены, спросил, что сказал Помпей. Когда ему повторили его слова, Сулла, пораженный смелостью Помпея, дважды вскричал: "Пусть празднует триумф!". Многие были раздражены и возмущены, и из желания еще больше огорчить их Помпей, как сообщают, задумал ехать на колеснице, запряженной четырьмя слонами, так как он привез из Африки много этих животных, захваченных у тамошних царей. Но так как ворота оказались слишком узкими, то ему пришлось отказаться от своего намерения и заменить слонов конями. Воины его, получив меньше, чем ожидали, намеревались расстроить шумом и суматохой триум-

фальное шествие. Помпей заявил, что ему безразличны их угрозы и что он скорее готов отказаться от триумфа, чем заискивать перед солдатами. При этом Сервилий, человек знатный и особенно противившийся триумфу Помпея, сказал, что видит теперь, что Помпей поистине велик и достоин триумфа. Без сомнения, если бы Помпей захотел, он легко бы попал тогда в сенат. Однако он не прилагал к этому никаких усилий, стремясь прийти к славе необычным путем. Ведь не было бы ничего удивительного, если бы Помпей сделался сенатором раньше установленного возраста, однако совершенно особенной честью являлся триумф, разрешенный тому, кто еще не был сенатором. Это обстоятельство немало помогло Помпею приобрести расположение народа: народ веселился, когда после триумфа Помпею пришлось участвовать в смотре[10] наряду с прочими всадниками.

15. Сулла был раздосадован, видя, какой славы и могущества достиг Помпей; однако, стыдясь чинить препятствия молодому человеку, он ничего не предпринимал. Исключение составил только случай, когда Помпей силой и против воли диктатора сделал консулом Лепида, поддержав его кандидатуру и благодаря собственному влиянию доставив ему народную благосклонность. Видя, как Помпей возвращается домой через форум в сопровождении толпы народа, Сулла сказал: "Я вижу, молодой человек, что ты рад своему успеху. Как это благородно и прекрасно с твоей стороны, что Лепид, отъявленный негодяй, по твоему ходатайству перед народом избран консулом, и даже более успешно, чем Катул, один из самых добропорядочных людей. Пришла пора тебе не дремать и быть на страже: ведь ты приобрел врага, гораздо более сильного, чем ты сам". Свое неблагожелательное отношение к Помпею Сулла весьма ясно выразил в оставленном им завещании, так как всем своим друзьям, назначив их опекунами своего малолетнего сына, он отказал по завещанию подарки, Помпея же вовсе обошел. Последний вынес эту обиду весьма спокойно и с достоинством. Поэтому, когда Лепид и некоторые другие пытались воспрепятствовать сожжению тела Суллы на Поле и устройству похорон за счет государства, Помпей, вмешавшись, добился и погребальных почестей для умершего, и принятия мер безопасности во время погребения.

16. Вскоре после кончины Суллы его предсказания исполнились. Лепид, желая присвоить себе власть умершего диктатора, стал действовать напрямик, открытым путем: он тотчас взялся за оружие, собрал около себя и привел в движение расстроенные остатки приверженцев Мария, которым удалось спастись от преследований Суллы. Товарищ Лепида по должности, Катул, к которому присоединялась благонамеренная и здравомыслящая часть сената и народа, пользовался особенным уважением за свое благоразумие и справедливость и был тогда одним из наиболее значительных людей в Риме, однако он, видимо, имел склонность скорее к государственной деятельности, чем к военному искусству. В силу такого стечения обстоятельств пришлось обратиться к Помпею. Последний не колебался, к какой стороне ему примкнуть, – он присоединился к лучшим гражданам и тотчас же был назначен главнокомандующим в войне против Лепида, который уже подчинил себе бóльшую часть Италии и с помощью войска Брута завладел Галлией по эту сторону Альп. Начав борьбу, Помпей по-

всюду легко одолел своих врагов, и только у Мутины в Галлии ему пришлось стоять долгое время, осаждая Брута. Между тем Лепид устремился на Рим и, расположившись лагерем под его стенами, требовал себе вторичного консульства, устрашая жителей своим многочисленным войском. Письмо Помпея с сообщением об успешном и бескровном окончании войны рассеяло все страхи. Ибо Брут то ли сам сдался вместе с войском, то ли войско, изменив своему полководцу, покинуло его. Бруту пришлось отдаться в руки Помпея; получив в провожатые несколько всадников, он удалился в какой-то городок на реке Паде, где на следующий день был убит подосланным Помпеем Геминием. Этот поступок Помпея навлек на него множество упреков. В самом деле, тотчас после перехода к нему войска Брута Помпей написал сенату, что Брут якобы сдался добровольно, а затем, после убийства Брута, отправил второе письмо с обвинениями против него. Сын этого Брута вместе с Кассием убил Цезаря. Однако сын не был похож на отца ни тем, как он вел войну, ни своей кончиной, как об этом рассказывается в его жизнеописании.

Лепид между тем тотчас бежал из Италии и переправился в Сардинию. Там он занемог и умер, совершенно упав духом, но, как говорят, не из-за крушения своего предприятия, а потому что ему случайно попалось письмо, из которого он узнал о неверности своей жены.

17. В это время Серторий, полководец, вовсе не похожий на Лепида, завладел Испанией и внушал римлянам ужас, так как к нему, словно к последнему очагу воспаления, стеклись все дурные соки гражданских войн. Он разбил уже многих второстепенных полководцев и воевал тогда с Метеллом Пием. Метелл был знаменитым и отважным воином, но, видимо, от старости сделался слишком вялым, чтобы уметь пользоваться удобным случаем на войне, лишился способности быстро разбираться в сложных обстоятельствах. Серторий же дерзко, поразбойничьи, нападал на него; он постоянно беспокоил засадами и обходными движениями старого полководца, опытного в руководстве тяжелым и неповоротливым войском, сражающимся в выстроенных по всем правилам боевых порядках. Помпей, у которого войско было наготове, добивался, чтобы его отправили на помощь Метеллу. Несмотря на приказание Катула, Помпей не распускал своего войска, но под разными предлогами все время держал его под оружием около Рима, до тех пор пока, по предложению Луция Филиппа, ему не предоставили должности главнокомандующего в войне с Серторием. Рассказывают, что когда кто-то с удивлением спросил Филиппа в сенате, неужели он считает нужным облечь Помпея консульскими полномочиями, или, как говорят в Риме, послать его в звании вместо консула[11], Филипп отвечал: "Нет, вместо обоих консулов", – желая дать понять этим, что оба тогдашних консула – полнейшие ничтожества.

18. По прибытии в Испанию (как это обычно бывает при появлении нового прославленного полководца) Помпей возбудил у многих новые надежды. Некоторые племена, еще непрочно связанные с Серторием, пришли в движение и стали переходить на сторону Помпея. Серторий же презрительно отзывался о Помпее: так, например, он в шутку говорил, что ему было бы не нужно другого оружия, кроме розги и плетки, против этого мальчишки, если бы он не боялся

той старухи (он имел в виду Метелла). На самом же деле он весьма остерегался Помпея и из страха перед ним стал вести войну с большей осторожностью, чем прежде. А Метелл, вопреки всем ожиданиям, целиком предался распутной жизни и удовольствиям, нрав его внезапно переменился, он сделался тщеславным и расточительным, и это обстоятельство лишь увеличивало громкую известность Помпея, принося ему расположение сограждан, так как он стремился показать простоту своего образа жизни, что, конечно, не стоило ему больших усилий. Ведь по своей натуре Помпей отличался умеренностью и уменьем сдерживать свои желания.

Среди различных событий и превратностей войны особенно огорчило Помпея взятие Серторием Лаврона. В уверенности, что он окружил Сертория, Помпей даже хвастался этим, но вдруг оказалось, что он сам окружен врагами. Не смея двинуться, он вынужден был наблюдать, как враги в его присутствии сожгли город дотла. Однако Помпей разгромил у Валентии Геренния и Перперну – полководцев, бежавших к Серторию и командовавших у него войсками, и перебил при этом свыше десяти тысяч человек.

19. Гордый своим успехом и окрыленный великими надеждами, Помпей поспешно двинулся против самого Сертория, чтобы не делить с Метеллом славу победы. На реке Сукроне, когда день уже клонился к вечеру, войска вступили в сражение, причем оба полководца опасались прихода Метелла, так как Помпей хотел сражаться один, а Серторий – только с одним противником. Исход битвы оказался, однако, неопределенным, так как с обеих сторон победу одержало одно крыло. Но из двух полководцев больше славы заслужил Серторий, так как он обратил в бегство стоявшее против него крыло вражеского войска. Что касается Помпея, который сражался верхом, то на него бросился вражеский пехотинец огромного роста. Они сошлись друг с другом в рукопашной схватке, причем ударом меча каждый поразил другого в руку, но результат был различен: Помпей был только ранен, а своему противнику отрубил руку напрочь. Затем еще несколько вражеских воинов бросилось на Помпея, римляне обратились в бегство, но самому Помпею все-таки удалось, вопреки ожиданию, ускользнуть, бросив врагам коня, украшенного золотой уздечкой и драгоценной сбруей. Враги начали делить добычу и, споря из-за нее, упустили Помпея. С наступлением следующего дня оба полководца снова построили войска в боевой порядок, чтобы довершить дело, но после прибытия Метелла Серторий отступил, приказав своему войску рассеяться. Так обычно войско его расходилось, а затем люди собирались вновь. Поэтому нередко Серторию случалось блуждать одному, но нередко, подобно внезапно вздувшемуся горному потоку, он устремлялся на врагов во главе стопятидесятитысячного войска.

После битвы Помпей двинулся навстречу Метеллу и, когда они находились поблизости друг от друга, приказал ликторам опустить связки прутьев в знак уважения к Метеллу как к человеку, облеченному более высоким званием. Метелл, однако, отклонил эту честь и, хотя занимал прежде должность консула и по возрасту был гораздо старше, во всем проявлял по отношению к своему молодому товарищу дружелюбие и предупредительность, не требуя для себя ника-

ких преимуществ, за исключением лишь того, что во время совместной стоянки лагерем пароль обоим войскам давал Метелл. Однако большей частью они стояли по отдельности, так как хитрый враг, стремительно передвигаясь и завязывая бой то в одном, то в другом месте, всегда ухитрялся разъединить их и отдалить друг от друга. В конце концов Серторий вытеснил обоих полководцев из подвластной ему Испании: он перерезал пути подвоза продовольствия, опустошал страну и господствовал на море, и из-за недостатка съестных припасов они вынуждены были отступить в другие провинции.

20. Помпей уже истратил бóльшую часть своего имущества на эту войну и стал просить денег у сената. Он заявил, что, в случае отказа, явится с войском в Италию требовать денег. Консулом тогда был Лукулл, враждовавший с Помпеем. Однако Лукулл ускорил высылку денег Помпею, так как, домогаясь командования в войне с Митридатом, он боялся дать Помпею повод отказаться от борьбы с Серторием и обратиться против Митридата – противника, борьба с которым, казалось, обещала славу и легкую победу.

Между тем Серторий был предательски умерщвлен своими друзьями. Самый главный из них – Перперна – пытался продолжать дело Сертория. У Перперны были те же самые силы и средства, но не хватало способностей и разума для столь же успешного их применения. Помпей тотчас выступил против него и, заметив нерешительность Перперны, выслал вперед десять когорт в качестве приманки, приказав им рассеяться по равнине. Лишь только Перперна напал на них и стал преследовать, Помпей явился со всем своим войском и в завязавшемся сражении разбил врага наголову. Сам Перперна был взят в плен и приведен к Помпею, который велел его казнить. Помпея не следует обвинять в неблагодарности или в забвении услуги, оказанной ему в Сицилии[12] (как это делают некоторые): он действовал с великою мудростью, исходя из соображений всеобщего блага. Ведь Перперна, завладев перепиской Сертория, показывал письма к нему некоторых весьма влиятельных римлян, которые желали, возбудив волнения в государстве, изменить тогдашнюю форму правления и приглашали Сертория в Италию. Из опасения, как бы эти письма не послужили причиной еще более ужасных войн, чем только что окончившиеся, Помпей велел убить Перперну, а письма сжег, даже не прочитав их.

21. После этого Помпей остался в Испании еще на некоторое время, чтобы успокоить наиболее сильные волнения. Наведя порядок и прекратив смуты, он переправил свое войско в Италию, как раз в самый разгар войны с рабами. Поэтому главнокомандующий Красс поспешил с безумной смелостью дать сраженье рабам; счастье сопутствовало Крассу в этой битве, и он уничтожил двенадцать тысяч триста вражеских воинов. Однако судьба сделала Помпея в какой-то степени участником и этой победы, так как пять тысяч беглецов с поля сражения попали в его руки. Казнив всех пленников, Помпей поспешно написал сенату, что Красс разбил гладиаторов в открытом бою, а он, Помпей, вырвал войну с корнем. Из расположения к Помпею римляне благосклонно выслушивали и повторяли эти слова, и никто даже в шутку не осмеливался утверждать, что победы над Серторием в Испании принадлежат кому-нибудь другому, и не являются всецело делом Помпея.

Однако столь великое уважение и надежды, возлагавшиеся на Помпея, в какой-то мере соединялись с подозрениями и страхом, что он не распустит своего войска, а тотчас с помощью вооруженной силы станет на путь единовластия и пойдет по стопам Суллы. Поэтому было почти столько же людей, выходивших к нему навстречу с дружескими приветствиями, сколько и тех, кто делал это из страха. Когда Помпей рассеял и это подозрение, объявив, что распустит войско сразу после триумфа, у его недоброжелателей остался только один повод для обвинений, а именно они упрекали Помпея в том, что он скорее держит сторону народа, чем сената, и решил восстановлением власти народных трибунов, которую отменил Сулла, добиться народного расположения. И это было верно, ибо ни к чему другому народ римский не стремился более неистово, ничего не желал более страстно, как видеть восстановленной власть народных трибунов. Поэтому Помпей считал большой удачей, что ему представляется удобный случай для проведения в жизнь этой меры: он полагал, что не найдет другого способа отблагодарить граждан за их любовь к нему, если этим средством воспользуется до него кто-либо иной.

22. Затем Помпею был назначен второй триумф, и он был избран консулом. Однако не эти почести вызывали удивление перед ним и делали его великим в глазах народа. Доказательством его славы было то, что Красс, замечательный оратор, один из самых богатых и наиболее влиятельный из тогдашних государственных деятелей, Красс, который смотрел свысока на самого Помпея и всех прочих, не решился все же домогаться консульства, не испросив согласия у Помпея. Помпей, однако, с удовольствием принял просьбу Красса, так как давно уже хотел оказать ему какую-нибудь услугу и любезность, и обратился к народу, настоятельно рекомендуя ему Красса; он заявил открыто, что будет столь же благодарен гражданам за товарища по должности, как и за самую должность. Однако после избрания консулы во всем разошлись друг с другом и начали враждовать. Красс имел больше влияния в сенате, а сила Помпея была в исключительной любви народа. Ибо Помпей восстановил власть народных трибунов и допустил внесение закона, вновь предоставлявшего суды в распоряжение всадников[13].

Но всего более радовался народ, видя, как Помпей просит освободить его от военной службы. Дело в том, что у римских всадников существует обычай по истечении установленного законом срока военной службы приводить своего коня на форум, чтобы его осмотрели двое должностных лиц, так называемые цензоры. При этом каждый должен перечислить полководцев, под начальством которых он служил, представить отчет о своих подвигах и получить отставку; каждому, в зависимости от его поведения, присуждается похвала или порицание. Цензоры Геллий и Лентул восседали тогда на своих креслах в полном облачении, и перед ними проходили всадники, подвергавшиеся цензу. Среди этих всадников показался и Помпей: он спускался на форум, имея на себе знаки отличия своей должности и ведя под уздцы своего коня. Когда Помпей приблизился настолько, что цензоры могли его видеть, он приказал ликторам расчистить дорогу и повел лошадь к возвышению, на котором сидели власти. Среди изумленного народа воцарилось молчание, а у цензоров это зрелище вызвало смешанное

чувство почтительного уважения и радости. Затем старший из них спросил: “Помпей Магн, я спрашиваю тебя, все ли походы, предписанные законом, ты совершил?” Помпей отвечал громким голосом: “Я совершил все походы и все под моим собственным началом”. После этих слов раздались ликующие крики народа, которые уже невозможно было прекратить. Цензоры встали со своих мест и проводили Помпея домой в угоду согражданам, которые, рукоплеща, следовали за ними.

23. Уже подходил конец консульства Помпея, а между тем несогласия его с Крассом усиливались. В это время некто Гай Аврелий, человек, принадлежавший к сословию всадников, но державшийся в стороне от общественной жизни, поднялся в Народном собрании на возвышение для оратора и обратился к народу с речью. Он рассказал, что во сне ему явился Юпитер и повелел сказать консулам, чтобы те не сдавали должности, не примирившись друг с другом. После этого заявления Помпей продолжал стоять неподвижно, а Красс, приветствуя Помпея, заговорил с ним. Затем, обратившись к народу, он сказал: «Полагаю, граждане, что я не совершу ничего недостойного или низкого, если первым пойду навстречу Помпею, которого вы еще безбородым юношей удостоили почетного прозвания “Великий”, и когда он еще не был сенатором, почтили двумя триумфами». Итак, консулы примирились и сложили свои полномочия.

После этого Красс не изменил прежнего образа жизни, что же касается Помпея, то он теперь избегал брать на себя защиту граждан в суде, мало-помалу оставил форум и редко посещал общественные места, да и то всегда в сопровождении большой свиты своих сторонников. Нелегко было теперь встретить его одного, не окруженного толпой, и даже вообще увидеть его. Охотнее всего Помпей появлялся в сопровождении многочисленной толпы клиентов, думая, что придаст себе этим важности и величия; он был убежден, что слишком частое и близкое общение с народом может умалить его достоинство. Действительно, люди, величие которых родилось на поле брани и которые не могут приспособиться к гражданскому равенству, облачившись в тогу[14], подвергаются опасности потерять свою славу. Ведь кто был первым на войне, и в гражданской жизни желает быть первым, а те, кому на войне приходилось довольствоваться вторыми местами, почитают невыносимым чье-либо превосходство в гражданской жизни. Поэтому, когда они застают на форуме человека, увенчанного славой побед и триумфов, они стараются подчинить и унизить его; а тому, кто, сломив свою гордость, отступает перед ними, они оставляют добытые на войне почести и могущество, не завидуя им. Доказательством этого будут события, которые послужат вскоре предметом нашего рассказа.

24. Могущество пиратов зародилось сперва в Киликии. Вначале они действовали отважно и рискованно, но вполне скрытно. Самоуверенными и дерзкими они стали только со времени Митридатовой войны, так как служили матросами у царя. Когда римляне в пору гражданских войн сражались у самых ворот Рима, море, оставленное без охраны, стало мало-помалу привлекать пиратов и поощряло их на дальнейшие предприятия, так что они не только принялись нападать на мореходов, но даже опустошали острова и прибрежные города. Уже многие люди, состоятельные, знатные и, по общему суждению, благоразумные, начали

вступать на борт разбойничьих кораблей и принимать участие в пиратском промысле, как будто он мог принести им славу и почет. Во многих местах у пиратов были якорные стоянки и крепкие наблюдательные башни. Флотилии, которые они высылали в море, отличались не только прекрасными, как на подбор, матросами, но также искусством кормчих, быстротой и легкостью кораблей, предназначенных специально для этого промысла. Гнусная роскошь пиратов возбуждала скорее отвращение, чем ужас перед ними: выставляя напоказ вызолоченные кормовые мачты кораблей, пурпурные занавесы и оправленные в серебро весла, пираты словно издевались над своими жертвами и кичились своими злодеяниями. Попойки с музыкой и песнями на каждом берегу, захват в плен высоких должностных лиц, контрибуции, налагаемые на захваченные города, – все это являлось позором для римского владычества. Число разбойничьих кораблей превышало тысячу, и пиратам удалось захватить до четырехсот городов. Они разграбили много неприкосновенных до того времени святилищ – кларосское, дидимское, самофракийское, храм Хтонии[15] в Гермионе, храм Асклепия в Эпидавре, храмы Посейдона на Истме, на мысе Тенаре и на Калаврии, храмы Аполлона в Акции и на Левкаде, храмы Геры на Самосе, в Аргосе и на мысе Лакинии. Сами пираты справляли в Олимпе[16] странные, непонятные празднества и совершали какие-то таинства; из них до сих пор еще имеют распространение таинства Митры, впервые введенные ими.

Чаще всего пираты совершали злодеяния против римлян; высаживаясь на берег, они грабили на больших дорогах и разоряли именья вблизи от моря. Однажды они похитили и увезли с собой даже двух преторов, Секстилия и Беллина – в окаймленных пурпуром тогах, со слугами и ликторами. Они захватили также дочь триумфатора Антония, когда она отправлялась в загородный дом; Антонию пришлось выкупить ее за большую сумму денег. Однако самым наглым их злодеянием было вот какое. Когда какой-нибудь пленник кричал, что он римлянин, и называл свое имя, они, притворяясь испуганными и смущенными, хлопали себя по бедрам и, становясь на колени, умоляли о прощении. Несчастный пленник верил им, видя их униженные просьбы. Затем одни надевали ему башмаки, другие облачали в тогу, для того-де, чтобы опять не ошибиться. Вдоволь поиздевавшись над ним таким образом и насладившись его муками, они, наконец, спускали среди моря сходни и приказывали высаживаться, желая счастливого пути, если же несчастный отказывался, то его сталкивали за борт и топили.

25. Могущество пиратов распространилось почти что на все Средиземноморье, так что море стало совершенно недоступным для мореходства и торговли. Именно это обстоятельство и побудило римлян, уже испытывавших недостачу продовольствия и опасавшихся жестокого голода, послать Помпея очистить море от пиратов. Один из друзей Помпея, Габиний, внес законопроект, предоставлявший Помпею не только командование флотом, но прямое единовластие и неограниченные полномочия во всех провинциях. Действительно, этот законопроект давал полководцу власть на море по эту сторону Геракловых столпов и повсюду на суше на расстоянии четырехсот стадиев[17] от моря. Из области, на которую распространялась власть полководца, исключались только немногие

страны среди тех, что находились под господством римлян; в нее входили наиболее значительные варварские племена и владения самых могущественных царей. Кроме этого, Помпей был уполномочен выбрать из числа сенаторов пятнадцать легатов в качестве подчиненных ему начальников на местах, брать сколько угодно денег из казначейства и от откупщиков и снарядить флот из двухсот кораблей, причем ему было предоставлено право набирать как воинов, так и экипажи гребцов.

После прочтения этого закона народ принял его с чрезвычайным удовольствием, но знатнейшие и наиболее влиятельные сенаторы держались мнения, что такая неограниченная и неопределенного характера власть должна возбуждать скорее страх, чем зависть. Поэтому все они были против закона, кроме Цезаря, который поддержал закон, конечно, меньше всего ради Помпея, но с самого начала заискивая у народа и стараясь приобрести его расположение. Прочие сенаторы сильно нападали на Помпея. Один из консулов сказал, что если Помпей желает подражать Ромулу, то ему не избежать участи последнего[18]. За эти слова консулу угрожала опасность быть растерзанным народом. Когда против закона выступил Катул, то народ, из чувства уважения, выслушал его с полным спокойствием. После во многом совершенно беспристрастных похвал Помпею он посоветовал беречь такого человека, а не подвергать его опасностям в войнах, следующих одна за другой. "Кого же другого вы найдете, – сказал он, – если потеряете Помпея?" "Тебя!" – закричали все единодушно. Так Катулу пришлось удалиться, не убедив народа. Затем начал говорить Росций, но так как ничто его не слушал, то он пальцами показал, что Помпея следует выбрать не одного, но дать ему товарища. Это предложение, как сообщают, исторгло у раздраженного народа крик такой силы, что пролетавший над форумом ворон упал бездыханный в толпу. Падение птиц, по-моему, происходит не оттого, что в воздухе, в силу его разрыва или рассеяния, образуется большое пустое пространство, но скорее потому, что звук поражает пернатых словно ударом, когда он, поднимаясь с такой силой, производит сильные колебания и волнения воздуха.

26. На этот раз собрание разошлось, не приняв никакого решения. А в тот день, когда нужно было утвердить закон, Помпей тайно выехал в свое именье. Узнав же о принятии закона, он ночью возвратился в Рим, чтобы избежать зависти, которую могла возбудить встреча его толпою народа. На следующее утро Помпей появился открыто и принес жертву богам; снова было созвано Народное собрание, и Помпей добился принятия, кроме утвержденного уже закона, многих других постановлений, так что почти удвоил свои военные силы. Действительно, он снарядил пятьсот кораблей, набрал сто двадцать тысяч тяжелой пехоты и пять тысяч всадников. Помпей выбрал двадцать четыре сенатора в качестве подчиненных себе начальников; кроме того, ему были даны два квестора. Тотчас же цены на продовольствие упали, и это обстоятельство подало повод обрадованному народу говорить, что самое имя Помпей положило конец войне.

Помпей разделил все Средиземное море на тринадцать частей; в каждой части он сосредоточил определенное число кораблей во главе с начальником. Таким образом, распределив свои силы повсюду, Помпей тотчас захватил как бы в

сеть большое количество пиратских кораблей и отвел их в свои гавани. Успевшие спастись корабли, гонимые со всех сторон, начали прятаться в Киликии, как пчелы в улье. Против них выступил в поход сам Помпей с шестьюдесятью кораблями. До этого похода он за сорок дней, благодаря своей неутомимой деятельности и рвению начальников, совершенно очистил от пиратских кораблей Тирренское и Ливийское моря, а также море вокруг Сардинии, Корсики и Сицилии.

27. Между тем в Риме консул Пизон, ненавидя Помпея и завидуя ему, чинил всевозможные препятствия его начинаниям и приказал даже распустить экипажи кораблей. Тогда Помпей отправил флот в Брундизий, а сам через Этрурию направился в Рим. Лишь только в Риме узнали об этом, все высыпали на дорогу встречать полководца, как будто они только что не провожали его. Быстрота и внезапность перемены вызывала радость у римлян, так как рынок в изобилии наполнился продовольствием. Поэтому Пизону грозила опасность лишиться должности, и Габиний уже составил для этой цели проект закона. Помпей, однако, воспротивился этому и в остальных делах, выступая в Народном собрании, проявил снисходительность. Закончив все необходимые дела, Помпей направился в Брундизий и оттуда вышел в море. Будучи стеснен во времени, Помпей поспешно плыл мимо многих городов, однако Афины он не миновал. Высадившись там, он принес жертвы богам и обратился к народу с речью, а затем тотчас вернулся на корабль. Возвращаясь, он прочитал обращенные к нему две надписи, состоящие из одного стиха каждая. Одна, на внутренней стороне ворот, гласила:

Человек ты, помни это! В той же мере ты и бог.

А снаружи была начертана такая надпись:

Ожидали, преклонялись, увидали – в добрый путь![19]

Некоторые из находившихся еще в открытом море и державшихся вместе пиратских кораблей изъявили Помпею покорность. Последний обошелся с ними милостиво: он взял суда, не причинив зла команде. Тогда остальные пираты, в надежде на пощаду, вместе с женами и детьми начали сдаваться самому Помпею, избегая иметь дело с подчиненными ему начальниками. Помпей всем им оказывал милосердие и с их помощью выслеживал тех, которые еще скрывались, сознавая свои страшные преступления; когда же эти последние попадали в его руки, Помпей подвергал их наказанию.

28. Большинство самых могущественных пиратов, однако, поместило свои семьи и сокровища, а также всех, кто не был способен носить оружие, в крепостях и укрепленных городах на Тавре, а сами, снарядив свои корабли, ожидали шедшего против них Помпея у Коракесия в Киликии. В происшедшем сражении пираты были разбиты и осаждены в своих крепостях. В конце концов разбойники отправили к Помпею посланцев просить пощады и сдались вместе с городами и островами, которыми они овладели, а затем укрепили их настолько, что не только взять их силой, но даже подступиться к ним было нелегко.

Таким образом, война была завершена, и не более как за три месяца с морским разбоем было покончено повсюду. Кроме множества других кораблей,

Помпей захватил девяносто судов с окованными медью носами. Что касается самих пиратов (а их было взято в плен больше двадцати тысяч), то казнить всех Помпей не решился; с другой стороны, он считал неблагоразумным отпустить разбойников на свободу и позволить им рассеяться или вновь собраться в значительном числе, так как это большей частью были люди обнищавшие и вместе с тем закаленные войной. Помпей исходил из убеждения, что по природе своей человек никогда не был и не является диким, необузданным существом, но что он портится, предаваясь пороку вопреки своему естеству, мирные же обычаи и перемена образа жизни и местожительства облагораживают его. Даже лютые звери, когда с ними обращаются более мягко, утрачивают свою лютость и свирепость. Поэтому Помпей решил переселить этих людей в местность, находящуюся вдали от моря, дать им возможность испробовать прелесть добродетельной жизни и приучить их жить в городах и обрабатывать землю. Часть пиратов по приказанию Помпея приняли маленькие и безлюдные города Киликии, население которых получило добавочный земельный надел и смешалось с новыми поселенцами. Солы, незадолго до того опустошенные армянским царем Тиграном, Помпей приказал восстановить и поселил там много разбойников. Большинству же их он назначил местом жительства Диму в Ахайе, так как этот город, будучи совершенно безлюдным, обладал большим количеством плодородной земли.

29. Эти действия Помпея вызвали порицание со стороны завистников, а его поступок с Метеллом не встретил одобрения даже у близких друзей. Дело в том, что Метелл, родственник того Метелла[20], который был товарищем Помпея по командованию в Испании, был послан на Крит еще до избрания Помпея главнокомандующим. Остров Крит был тогда вторым после Киликии средоточием пиратских шаек. Метелл захватил множество пиратов в плен, разрушил их гнезда и самих их велел казнить. Оставшиеся в живых были осаждены Метеллом. Они отправили посланцев к Помпею, умоляя прибыть на остров, так как он-де является частью подвластной ему земли и во всех отношениях входит в определенную законом приморскую полосу. Помпей благосклонно выслушал просьбу пиратов и письменно приказал Метеллу прекратить войну. Вместе с тем он повелел городам на Крите не подчиняться Метеллу и послал туда претором одного из подчиненных ему начальников – Луция Октавия. Последний присоединился к осажденным пиратам и, сражаясь вместе с ними, не только доставил Помпею неприятности, но и выставил его в смешном виде: из зависти и ревности к Метеллу Помпей как бы ссудил свое имя таким нечестивым и безбожным людям, а своею славою разрешил прикрываться для защиты и пользоваться как амулетом. Уже Ахилл, говорят, распаленный жаждой славы, поступал не как подобает мужу, а как безрассудный юноша, запрещая другим метать стрелы в Гектора:

Славы б не отнял пронзивший, а он бы вторым не явился[21].

А Помпей даже взял под защиту общего врага, заступился за него, чтобы лишить триумфа полководца, потратившего так много труда на борьбу с разбойниками. Метелл, однако, не сдал командования; он захватил пиратов в плен и

подверг их наказанию, Октавия же с оскорблениями и бранью отпустил из лагеря.

30. Когда в Рим пришло известие, что война с пиратами окончена, а Помпей на досуге объезжает города, один из народных трибунов, Манилий, предложил закон о передаче Помпею всех провинций и войск, во главе которых стоял Лукулл, с прибавлением Вифинии (где наместником был Глабрион), для войны с царями Митридатом и Тиграном; за Помпеем должны были также сохраниться морские силы и командование на море на прежних условиях. Эта мера была не чем иным, как подчинением всей римской державы произволу одного человека. Действительно, из провинций, которые он еще не получил в свое распоряжение на основании прежнего закона, теперь переходили под его власть Фригия, Ликаония, Галатия, Каппадокия, Киликия, Верхняя Колхида и Армения вместе с лагерями и войсками, бывшими под начальством Лукулла в войне против Митридата и Тиграна. Этот закон лишал Лукулла славы и наград за совершенные им подвиги, и он получал преемника скорее для триумфа, чем для ведения войны. Однако знать не придавала этому большого значения, хотя и понимала, что Лукулл незаслуженно терпит обиду, – знатным римлянам была тягостна власть Помпея. Считая ее настоящей тираннией, они втайне побуждали и ободряли друг друга противодействовать закону, чтобы не потерять свободы, но когда наступило время, из страха перед народом все уклонились от обсуждения и молчали. Только Катул выступил со множеством доводов против закона и с обвинениями против Манилия; но так как в Народном собрании ему не удалось никого убедить, то он обратился к сенату и много раз кричал с ораторского возвышения, что по примеру предков сенат должен искать гору или скалу, удалившись на которую[22] он спасет свободу. Все же законопроект был утвержден, как сообщают, всеми трибами, и Помпей во время своего отсутствия был облечен почти всей полнотой власти, чего Сулла добился от государства войной и насилием.

Получив письмо с известием о постановлении Народного собрания, в присутствии друзей, приносивших ему поздравления, Помпей, говорят, нахмурив брови и хлопнув себя по бедру, сказал, как бы уже утомленный и недовольный властью: “Увы, что за бесконечная борьба! Насколько лучше было бы остаться одним из незаметных людей – ведь теперь я никогда не избавлюсь от войн, никогда не спасусь от зависти, не смогу мирно жить в деревне с женой!” Даже самым близким друзьям Помпея эти лицемерные слова были неприятны, так как друзья прекрасно понимали, что раздоры с Лукуллом, разжигавшие его врожденное честолюбие и стремление господствовать, доставляли ему радость.

31. Действительно, его поступки вскоре показали это. Помпей всюду издавал распоряжения, созывал воинов, приглашал к себе подвластных римлянам правителей и царей и, проезжая через провинции, не оставлял неприкосновенным ни одного указа Лукулла: он отменял наложенные наказания, отнимал полученные награды и вообще ревностно старался во всем показать сторонникам Лукулла, что тот уже не имеет никакой власти. Так как Лукулл через своих друзей принес жалобу на действия Помпея, то было решено, чтобы оба полководца встретились. Встреча произошла в Галатии. Так как оба они были великие полководцы, прославленные блестящими победами, то их сопровождали ликторы с

пучками прутьев, увитых лавровыми ветвями. Лукулл прибыл из стран, богатых растительностью и тенистыми деревьями, Помпей же как раз прошел через безлесную и сухую область. Когда ликторы Лукулла увидели засохшие и совершенно увядшие лавры Помпея, они поделились своими свежими лавровыми ветвями и увенчали ими связки прутьев Помпея. Это происшествие сочли предзнаменованием того, что Помпей явился, чтобы похитить славу и плоды побед Лукулла.

Лукулл был старше по консульству и по летам, но Помпей – выше достоинством, так как имел два триумфа. Впрочем, при первой встрече они обошлись друг с другом как можно более вежливо и любезно, прославляли подвиги друг друга и поздравляли друг друга с победами. Однако при дальнейших переговорах, не придя ни к какому справедливому и умеренному соглашению, они стали упрекать друг друга: Помпей упрекал Лукулла в алчности, а Лукулл его – во властолюбии, и лишь с великим трудом друзьям удалось прекратить ссору. Лукулл распределил часть захваченных в Галатии земель и другие награды по своему усмотрению. Помпей же, расположившись лагерем в некотором отдалении, запретил повиноваться Лукуллу и отнял у последнего всех его воинов, кроме тысячи шестисот, которых из-за строптивого нрава считал для себя бесполезными, а для Лукулла – опасными. Кроме того, открыто издеваясь над подвигами Лукулла, он говорил, что тот сражался с театральными и призрачными царями, ему же предстоит борьба с настоящим войском, научившимся воевать на неудачах, так как Митридат обратился теперь к коннице, мечам и большим щитам. В ответ на это Лукулл говорил, что Помпей явился сюда сражаться с тенью войны, он привык-де, подобно стервятнику, набрасываться на убитых чужою рукой и разрывать в клочья останки войны. Так, Помпей приписал себе победы над Серторием, Лепидом и Спартаком, которые принадлежали, собственно, Крассу, Метеллу и Катулу. Поэтому неудивительно, что человек, который сумел присоединиться к триумфу над беглыми рабами, теперь всячески старается присвоить себе славу армянской и понтийской войны.

32. После этого Лукулл уехал, Помпей же, разделив весь свой флот для охраны моря между Финикией и Боспором[23], сам выступил против Митридата. Хотя у царя было тридцать тысяч человек пехоты и две тысячи конницы, он все же не решался дать Помпею сраженье. Сначала Митридат расположился лагерем на сильно укрепленной и неприступной горе, но покинул эту позицию из-за недостатка воды. Гору занял затем Помпей. Предположив по виду растительности и по характеру горных ущелий, что на этом месте должны быть источники воды, он приказал прорыть повсюду колодцы, и тотчас в лагере появилась вода в изобилии; Помпей дивился, как это Митридат за все время стоянки здесь об этом не догадался. Затем Помпей окружил вражеский лагерь и стал обносить его валом. Митридат выдерживал осаду в течение сорока пяти дней, а затем, перебив неспособных носить оружие и больных, незаметно бежал с лучшей частью своего войска.

Помпей, однако, настиг царя на Евфрате и устроил свой лагерь рядом. Боясь, как бы Митридат не успел раньше него переправиться через Евфрат, Помпей в полночь построил войско в боевой порядок и выступил. В это время Митридату, как передают, было видение, раскрывшее ему будущее. Царю показалось, буд-

то он плывет с попутным ветром по Эвксинскому понту и, находясь уже в виду Боспора, приветствует своих спутников как человек, радующийся надежному и верному спасению. Но вдруг царь увидел, что, всеми покинутый, он носится по волнам на жалком обломке судна. Когда Митридат находился еще под впечатлением сна, пришли друзья и, подняв его, сообщили о приближении Помпея. Необходимо было принять меры для защиты лагеря, и начальники вывели войско, выстроив его в боевой порядок. Помпей же, заметив приготовления врагов, опасался пойти на такое рискованное дело, как битва в темноте, считая, что достаточно только окружить врагов со всех сторон, чтобы они не могли бежать; днем же он надеялся неожиданно напасть на царя, несмотря на превосходство его сил. Но старшие начальники войска Помпея пришли к нему с настоятельной просьбой и советом немедленно начать атаку. Действительно, мрак не был непроницаемым, так как луна на ущербе давала еще достаточно света, чтобы различать предметы. Это-то обстоятельство как раз и погубило царское войско. Луна была за спиною у нападавших римлян, и так как она уже заходила, тени от предметов, вытягиваясь далеко вперед, доходили до врагов, которые не могли правильно определить расстояние. Враги думали, что римляне достаточно близко от них, и метали дротики впустую, никого не поражая. Когда римляне это заметили, они с криком устремились на врагов. Последние уже не решались сопротивляться, и римляне стали убивать охваченных страхом и бегущих воинов; врагов погибло больше десяти тысяч, лагерь их был взят.

Сам Митридат в начале сраженья вместе с отрядом из восьмисот всадников прорвался сквозь ряды римлян, однако отряд этот быстро рассеялся и царь остался всего лишь с тремя спутниками. Среди них находилась его наложница Гипсикратия, всегда проявлявшая мужество и смелость, так что царь называл ее Гипсикратом. Наложница была одета в мужскую персидскую одежду и ехала верхом; она не чувствовала утомления от долгого пути и не уставала ухаживать за царем и его конем, пока, наконец, они не прибыли в крепость Синору, где находилось множество царских сокровищ и драгоценностей. Митридат взял оттуда драгоценные одежды и роздал их тем, кто собрался снова вокруг него после бегства. Каждого из своих друзей царь снабдил смертоносным ядом, чтобы никто против своей воли не попался в руки врагов. Отсюда Митридат направился в Армению к Тиграну. Но после того как Тигран отказал ему в убежище и даже объявил награду в сто талантов за его голову, Митридат, миновав истоки Евфрата, продолжал свое бегство через Колхиду.

33. Между тем Помпей совершил вторжение в Армению, куда его приглашал молодой Тигран. Последний уже восстал против своего отца и встретил Помпея у реки Аракса. Эта река начинается в той же местности, что и Евфрат, но, поворачивая на восток, впадает в Каспийское море. Помпей и молодой Тигран шли вперед, захватывая города, встречавшиеся на пути. Однако царь Тигран, совсем недавно разбитый Лукуллом, узнав о мягком и добром характере Помпея, впустил римский сторожевой отряд в свой дворец, а сам в сопровождении друзей и родственников отправился к Помпею, чтобы отдаться в его руки.

Когда царь верхом прибыл к лагерю, двое ликторов Помпея, подойдя к нему, велели сойти с коня и идти пешком, так как никогда в римском лагере не видели

ни одного всадника. Тигран повиновался и даже, отвязав свой меч, передал им. Наконец, когда царь предстал перед Помпеем, он снял свою китару[24], намереваясь сложить ее к ногам полководца и, что самое постыдное, упасть перед ним на колени. Помпей, однако, успел схватить царя за правую руку и привлечь к себе. Затем он усадил его рядом с собой, а сына по другую сторону. Он объявил царю, что виновник всех прежних его несчастий – Лукулл, который отнял у него Сирию, Финикию, Киликию, Галатию и Софену. Землями же, которые еще остались у него, пусть он владеет, выплатив римлянам за нанесенную обиду семь тысяч талантов, а царем в Софене будет его сын. Эти условия Тигран охотно принял, и тогда римляне приветствовали его, как подобает царю, а Тигран, чрезвычайно обрадованный, обещал дать каждому воину по полмины серебра, центуриону по десяти мин, трибуну по таланту. Сын, напротив, сильно досадовал и когда его пригласили на угощенье, заявил, что не нуждается в таких почестях со стороны Помпея, ибо может найти себе другого римлянина. Тогда Помпей велел наложить на него оковы и содержать в тюрьме для триумфа. Немного спустя Фраат, царь парфян, прислал к Помпею послов, требуя выдачи молодого Тиграна как своего зятя и предлагая считать границей обеих держав Евфрат. Помпей отвечал, что Тигран больше родственник отцу, чем тестю, а что касается границы, то она будет установлена по справедливости.

34. Затем Помпей оставил Афрания для охраны Армении, а сам, не видя иного выхода, направился преследовать Митридата через земли, населенные кавказскими племенами. Самые многочисленные из этих племен – альбаны и иберы; область иберов простирается до Мосхийских гор и Эвксинского понта, а альбаны живут к востоку до Каспийского моря. Альбаны сперва согласились пропустить Помпея через их страну. Но, когда зима застигла римское войско в этой земле и римляне справляли праздник Сатурналий[25], альбаны, собравшись числом не менее сорока тысяч, переправились через реку Кирн[26] и напали на них. Река Кирн берет начало с Иберийских гор, принимает в себя Аракс, текущий из Армении, и затем впадает двенадцатью устьями в Каспийское море. Некоторые, однако, утверждают, что Кирн не сливается с Араксом, но сам по себе, хотя и очень близко от Аракса, впадает в то же море.

Помпей спокойно позволил варварам совершить переправу, хотя мог воспрепятствовать ей. Затем он напал на врагов и обратил их в бегство, многих перебив. Когда царь альбанов через послов попросил пощады, Помпей простил ему обиду и, заключив мир, двинулся против иберов. Последние не уступали по численности альбанам, но были гораздо воинственнее; они горели желанием показать свою преданность Митридату и прогнать Помпея. Иберы не были подвластны ни мидийцам, ни персам; им удалось даже избежать власти македонян, так как Александр слишком быстро должен был отступить из Гиркании. Однако Помпей разгромил и их в большом сражении, перебив девять тысяч и взяв в плен больше десяти тысяч человек. После этого он вторгся в Колхиду. Здесь на реке Фасид его встретил Сервилий во главе флота, который охранял Эвксинский понт.

35. Преследование Митридата, который скрылся в области племен, живущих на Боспоре и вокруг Мэотиды, представляло большие затруднения. Кроме того,

Помпей получил известие о новом бунте альбанов. В раздражении и гневе Помпей повернул назад, против них; он снова перешел реку Кирн – с трудом и подвергая войско опасности, ибо варвары возвели на реке длинный частокол. Так как ему предстоял долгий и мучительный путь на безводной местности, он приказал наполнить водой десять тысяч бурдюков. Выступив против врагов, Помпей нашел их у реки Абанта[27] уже построившимися в боевой порядок. Войско варваров состояло из шестидесяти тысяч пехотинцев и двенадцати тысяч всадников; однако большинство воинов было плохо вооружено и одето в звериные шкуры. Во главе войска стоял брат царя по имени Косид; он, как только дело дошло до рукопашной, напав на Помпея, метнул в него дротик и попал в створку панциря. Помпей же, пронзив его копьем, убил на месте. В этой битве, как передают, на стороне варваров сражались также амазонки, пришедшие с гор у реки Фермодонта. Действительно, после битвы, когда римляне стали грабить тела убитых варваров, им попадались щиты и котурны амазонок, однако ни одного трупа женщицы не было замечено. Амазонки живут в той части Кавказа, что простирается до Гирканского моря, однако они не граничат с альбанами непосредственно, но между ними обитают гелы и леги[28]. С этими племенами они ежегодно встречаются на реке Фермодонте и проводят с ними вместе два месяца, а затем удаляются в свою страну и живут там сами по себе, без мужчин.

36. После этой битвы Помпей намеревался пройти до Каспийского моря, но вынужден был повернуть назад из-за множества ядовитых пресмыкающихся, хотя находился от моря на расстоянии всего трех дней пути. Затем он отступил в Малую Армению. Царям элимеев и мидийцев в ответ на их посольства Помпей отправил дружественные послания. Против парфянского царя, который совершил вторжение в Гордиену и разорял подвластные Тиграну племена, Помпей послал войско во главе с Афранием. Последний изгнал парфян и преследовал их вплоть до Арбелитиды.

Из всех захваченных в плен наложниц Митридата Помпей не сошелся ни с одной, но всех их отослал родителям и родственникам. Ведь большинство их были дочери полководцев и правителей. Только Стратоника, которая имела наибольшее влияние на царя и которая управляла одной из крепостей с самыми богатыми сокровищами, была, по-видимому, дочерью какого-то старого и бедного арфиста. Играя на арфе однажды во время ужина, она сразу произвела на Митридата столь сильное впечатление, что, забрав ее с собою, он отправился в опочивальню, а старика отослал домой, раздраженного тем, что у него не спросили в вежливой форме разрешения. Однако, проснувшись на следующее утро, отец увидел в своей комнате столы с серебряными и золотыми кубками и толпу слуг, евнухов и мальчиков, протягивавших ему драгоценные одежды; перед дверью стоял конь, украшенный роскошной сбруей, подобно коням, принадлежащим друзьям царя. Полагая, что это шутка, что над ним издеваются, старик собирался уже выбежать за дверь, но слуги задержали его, объявив, что царь подарил ему большой дом недавно умершего богача и эти дары только начатки и малый образец остального добра и сокровищ, которые его ожидают. В конце концов, насилу поверив своему счастью и надев на себя пурпурную одежду, ста-

рик, вскочил на коня и поскакал по городу с криком: "Все это мое!" Людям, которые смеялись над ним, он говорил, что не этому должны они удивляться, а тому, что он, обезумев от радости, не бросает в них камнями. Такой-то вот породы и крови[29] была Стратоника. Она не только передала Помпею крепость, но и поднесла много подарков; из них Помпей принял лишь те, которые могли служить украшением храмов или годились для его триумфа, всем же остальным велел ей владеть на здоровье. Также он передал квесторам для государственного казначейства ложе, стол и трон – все из золота, которые ему прислал царь иберов с просьбою принять в дар.

37. В Новой крепости Помпей нашел тайные записи Митридата и прочел их не без удовольствия, так как в них содержалось много сведений, объясняющих характер этого царя. Это были воспоминания, из которых явствовало, что царь среди многих других отравил и собственного сына Ариарата, а также Алкея из Сард за то, что тот победил его на конских ристаниях. Кроме того, там находились толкования сновидений, которые видел сам царь и некоторые из его жен; затем непристойная переписка между ним и Монимой. По словам Феофана, среди бумаг была найдена записка Рутилия, побуждающая царя к избиению римлян в Азии. Большинство писателей разумно считает это злостной выдумкой Феофана, который ненавидел Рутилия, может быть, из-за того, что тот представлял по характеру полную ему противоположность; возможно также, что Феофан хотел оказать услугу Помпею, отца которого Рутилий изобразил в своей истории величайшим негодяем.

38. Из Новой крепости Помпей прибыл в Амис. Здесь под влиянием своего безмерного честолюбия он совершил поступки, достойные порицания. Ведь прежде он сам издевался над Лукуллом за то, что тот, – хотя враг не был еще добит, – раздавал награды и почести, как обычно делают победители по окончании войны. А теперь, – хотя Митридат еще был владыкой на Боспоре и располагал боеспособным войском, – Помпей сам поступал точно так же: распоряжался провинциями (как будто с врагом уже было покончено) и раздавал награды, когда к нему во множестве являлись полководцы и властители; он наградил и двенадцать варварских царьков. В угоду последним Помпей не захотел в ответной грамоте парфянскому царю обратиться к нему, величая титулом "царь царей", как это делали при обращении остальные.

Теперь им овладело бурное стремление захватить Сирию и проникнуть через Аравию к Красному морю, чтобы победоносно достигнуть Океана, окружающего со всех сторон обитаемый мир. Ведь и в Африке он первый дошел с победой до Внешнего моря, и в Испании сделал Атлантический океан границей Римской державы, а незадолго до того, преследуя альбанов, едва не дошел до Гирканского моря. Итак, Помпей решил снова выступить с войском, чтобы замкнуть Красным морем круг своих походов; кроме того, он видел, что к Митридату трудно подступиться с оружием и что при бегстве он опаснее, чем в сражении. 39. Объявив, что он обречет царя в жертву врагу более страшному, чем он сам, – голоду, Помпей своим флотом преградил путь купеческим кораблям в Боспор. Тем, кто будет пойман при попытке прорвать заслон, было объявлено наказание – смертная казнь.

Затем во главе большей части войска Помпей выступил в поход. Найдя еще не погребенные тела тех, кто пал во главе с Триарием в несчастном сраженье[30] с Митридатом, Помпей приказал похоронить их всех с почетом и пышностью (это упущение Лукулла, видимо, особенно возбудило против него ненависть воинов). Афраний подчинил обитавших у подножья Амана арабов, а сам Помпей между тем спустился в Сирию и под предлогом отсутствия в ней законных царей объявил эту страну провинцией и достоянием римского народа. Помпей покорил также Иудею и захватил в плен царя Аристобула. Что касается городов, то многие он основал, а многие освободил, подвергая наказанию тираннов, захвативших их. Больше всего времени он посвящал разбирательству судебных дел, улаживая споры городов и царей. Куда он сам не мог прибыть, он посылал своих друзей. Так, он послал трех посредников и третейских судей к армянам и парфянам, которые попросили его решить их спор об одной области. Действительно, слава его могущества была велика, но не меньшей была и слава его справедливости и милосердия. Эта его слава покрывала большинство проступков его друзей и доверенных лиц, так как по натуре он был неспособен обуздывать или карать провинившихся. Сам же он оказывал такой ласковый прием всем, кто имел с ним дело, что обиженные легко забывали и прощали алчность и грубость его помощников.

40. Первым и самым влиятельным любимцем Помпея был вольноотпущенник Деметрий, молодой человек, весьма неглупый, однако слишком злоупотреблявший своим счастливым положением. О нем передают такие рассказы. Философ Катон, будучи еще юношей, но уже заслужив великое уважение за доблесть и высокие качества духа, в отсутствие Помпея приехал в Антиохию с целью осмотреть город. Сам он, как обычно, ходил пешком, а сопровождавшие его друзья ехали верхом. Перед городскими воротами Катон заметил толпу людей в белых одеждах; вдоль дороги по одной стороне стояли рядами юноши, по другой – мальчики. Это обстоятельство сильно раздосадовало Катона, так как он решил, что все это устроено в его честь, из уважения к нему, хотя он вовсе не нуждался ни в чем подобном. Он предложил, однако, друзьям спешиться и идти вместе с ним. Когда они подошли ближе, их встретил распорядитель церемонии с венком на голове и жезлом и осведомился у них, где они оставили Деметрия и когда он изволит прибыть. Друзей Катона стал разбирать смех. Сам же Катон, воскликнув: "О несчастный город!" – прошел мимо, ничего не ответив на вопрос. Впрочем, Помпей смягчал ненависть окружающих к Деметрию тем, что и сам безропотно переносил дерзости вольноотпущенника. Действительно, как передают, на пирах у Помпея, когда хозяин сам еще ожидал и принимал других гостей, Деметрий зачастую уже с важностью возлежал за столом, закутавшись в тогу по самые уши. Еще до своего возвращения в Италию он приобрел великолепные дома в предместьях Рима, редкостной красоты места для прогулок и увеселений и дорогостоящие сады, которые обычно называли Деметриевыми. Напротив, сам Помпей вплоть до своего третьего триумфа жил умеренно и неприхотливо. Впоследствии, когда он воздвиг римлянам прекрасный и знаменитый театр, он велел пристроить для себя дом – как бы в дополнение к театру; этот дом был лучше прежнего, но все же до того скромный, что тот, кто стал

его владельцем после Помпея, войдя в дом впервые, с удивлением спросил: "Где же обедал Помпей Магн?" Так рассказывают об этом.

41. Царь петрейских арабов сначала ни во что не ставил римлян, а теперь в сильном испуге отправил Помпею послание, извещая о своей готовности во всем ему подчиниться. Желая укрепить такое настроение царя, Помпей двинулся к Петре. Многие порицали Помпея за этот поход, считая его лишь предлогом для отказа от преследования Митридата, и требовали, чтобы Помпей обратился теперь против этого старинного врага, вновь воспрянувшего духом и собиравшего силы. Как сообщали, Митридат готовился вести свое войско в Италию через земли скифов и пэонийцев. Однако Помпей полагал, что ему будет легче разбить войско Митридата в открытом бою, чем захватить его в бегстве; поэтому он не желал напрасно тратить силы на преследование врага и проводил другие военные начинания, умышленно замедляя ход событий. Сама судьба счастливо разрешила это затруднение. Когда Помпею оставалась лишь небольшая часть пути до Петры и на этот день уже был разбит лагерь, а Помпей упражнялся близ него в верховой езде, прибыли гонцы из Понта с радостной вестью. Об этом можно было судить по наконечникам их копий, которые были обвиты лаврами. Лишь только воины заметили лавры, они стали собираться к Помпею. Последний хотел сперва закончить свои упражнения, но воины начали кричать и так настоятельно требовали, чтобы он прочитал донесения, что он, соскочив с коня, отправился с ними в лагерь. В лагере не было готового возвышения для полководца и даже походного не успели соорудить (его обычно складывают из плотных кусков дерна), но воины поспешно, с чрезмерным усердием стащили в одно место вьючные седла и сделали из них возвышение. Помпей поднялся на него и сообщил воинам о смерти Митридата, который покончил с собой, после того как его собственный сын Фарнак поднял против него восстание. Фарнак овладел всем, что принадлежало его отцу, и написал Помпею, что он сделал это ради него и римского народа.

42. Эта весть, как и следовало ожидать, чрезвычайно обрадовала войско; воины приносили жертвы и устраивали угощения, как будто в лице Митридата погибли десятки тысяч врагов. Помпей счастливо закончил теперь все свои дела и походы, хотя и не надеялся, что это произойдет так легко, и тотчас возвратился из Аравии. Затем, быстро проследовав через лежащие по пути провинции, он прибыл в Амис, где нашел множество присланных Фарнаком подарков и многочисленные трупы членов царской семьи. Среди них находился и труп самого Митридата, который трудно было опознать (потому что слуги при бальзамировании забыли удалить мозг); однако те, кому поручили произвести осмотр, опознали царя по шрамам. Что касается Помпея, то он не решился посмотреть на тело Митридата, но, чтобы умилостивить гнев карающего божества, тотчас велел отослать труп в Синопу. Однако Помпей с удивлением рассматривал одежды, которые носил царь, и его великолепное драгоценное оружие. Ножны от меча Митридата стоимостью в четыреста талантов некий Публий украл и продал Ариарату, а изумительной работы китару Гай, выросший с Митридатом, тайно передал сыну Суллы Фавсту, который его об этом просил. Но Помпей тогда ничего не узнал, Фарнак же открыл пропажу и наказал похитителей.

Устроив и приведя в порядок азиатские дела, Помпей с необычайной пышностью направился в обратный путь. По прибытии в Митилену он объявил город свободным ради Феофана и присутствовал там на учрежденном в старину состязании поэтов, единственной темой которого в тот раз было прославление его подвигов. Театр в Митилене так понравился Помпею, что он велел снять план его, чтобы построить в Риме подобное же здание, но большего размера и более великолепное. На Родосе он слушал выступления всех софистов и подарил каждому по таланту. Посидоний записал свою лекцию об изобретении вообще[31], читанную им в присутствии Помпея и направленную против ритора Гермагора. В Афинах Помпей выказал подобную же щедрость по отношению к философам; на восстановление города он пожертвовал пятьдесят талантов.

Он надеялся возвратиться в Италию с такой славой, какой не стяжал до него ни один человек, и страстно желал, чтобы его семья встретила его с такими же чувствами, какие он сам питал к ней. Однако божество всегда ревниво старается примешивать к блестящим и великим дарам судьбы некоторую частицу невзгод; оно уже давно подстерегало Помпея, готовясь испортить ему счастливое возвращение. Супруга Помпея – Муция – в его отсутствие нарушила супружескую верность. Пока Помпей находился далеко, он не обращал внимания на доходившие до него слухи, но теперь, вблизи Италии, видимо, имея время более тщательно обдумать дело, он послал Муции разводное письмо. Ни тогда, ни впоследствии он не объяснил причины развода; причина эта названа Цицероном в его письмах[32].

43. В Риме шли о Помпее всевозможные слухи, и еще до его прибытия поднялось сильное смятение, так как опасались, что он поведет тотчас свое войско на Рим и установит твердое единовластие. Красс, взяв с собой детей и деньги, уехал из Рима, оттого ли, что он действительно испугался, или, скорее, желая дать пищу клевете, чтобы усилить зависть к Помпею. Помпей же тотчас по прибытии в Италию собрал на сходку своих воинов. В подходящей к случаю речи он благодарил их за верную службу и приказал разойтись по домам, помня о том, что нужно будет вновь собраться для его триумфа. После того, как войско таким образом разошлось и все узнали об этом, случилось нечто совершенно неожиданное. Жители городов видели, как Помпей Магн без оружия, в сопровождении небольшой свиты, возвращается, как будто из обычного путешествия. И вот из любви к нему они толпами устремлялись навстречу и провожали его до Рима, так что он шел во главе большей силы, чем та, которую он только что распустил. Если бы он задумал совершить государственный переворот, для этого ему вовсе не нужно было бы войска.

44. Так как закон не разрешал триумфатору перед триумфом вступать в город, то Помпей послал сенату просьбу оказать ему услугу и отложить выборы консулов, чтобы он мог своим присутствием содействовать избранию Пизона. Катон выступил против этого, и план Помпея на этот раз не удался. Помпей удивлялся смелости и настойчивости, с какими этот человек, один, открыто выступил в защиту права, и пожелал любым способом привлечь его на свою сторону. У Катона было две племянницы, и Помпей намеревался сам жениться на одной, а другую дать в жены своему сыну. Катон, однако, заподозрил здесь хит-

рость, поняв, что его хотят некоторым образом подкупить. Но его сестра и жена досадовали на то, что он отверг свойство с Помпеем Магном. Между тем Помпей, желая сделать консулом Афрания, роздал за него много денег по центуриям[33], и граждане приходили за деньгами в сады Помпея. Дело это получило огласку, и Помпей стал подвергаться нападкам за то, что высшую должность, которой сам добился своими великими деяниями, сделал продажной для тех, кто не мог завоевать ее доблестью. Катон сказал тогда своим женщинам: "Этот позор должны будут разделить те, кто вступит в родство с Помпеем". И женщины согласились, что Катон лучше их судит о том, что прилично и что подобает.

45. Триумф Помпея был столь велик, что, хотя и был распределен на два дня, времени не хватило и многие приготовления, которые послужили бы украшению любого другого великолепного триумфа, выпали из программы зрелища. На таблицах, которые несли впереди, были обозначены страны и народы, над которыми справлялся триумф: Понт, Армения, Каппадокия, Пафлагония, Мидия, Колхида, иберы, альбаны, Сирия, Киликия, Месопотамия, племена Финикии и Палестины, Иудея, Аравия, а также пираты, окончательно уничтоженные на суше и на море. В этих странах было взято не менее тысячи крепостей и почти девятьсот городов, у пиратов было захвачено восемьсот кораблей, тридцать девять опустошенных городов были заселены вновь. Кроме того, на особых таблицах указывалось, что доходы от податей составляли до сих пор пятьдесят миллионов драхм, тогда как завоеванные им земли принесут восемьдесят пять миллионов. Помпей внес в государственную казну чеканной монеты и серебряных и золотых сосудов на двадцать тысяч талантов, не считая того, что он роздал воинам, причем получившему самую меньшую долю досталось тысяча пятьсот драхм. В триумфальной процессии, не считая главарей пиратов, вели как пленников сына Тиграна, царя Армении, вместе с женой и дочерью, жену самого Тиграна, Зосиму, царя иудеев Аристобула, сестру Митридата, пятерых его детей и скифских жен; затем вели заложников, взятых у альбанов, иберов и царя Коммагены. Было выставлено множество трофеев, в целом равное числу побед, одержанных самим Помпеем и его полководцами. Но что больше всего принесло славы Помпею, что ни одному римлянину еще не выпадало на долю, это то, что свой третий триумф он праздновал за победу над третьей частью света. До него и другие трижды справляли триумф, но Помпей получил первый триумф за победу над Африкой, второй – над Европой, а этот последний – над Азией, так что после трех его триумфов создавалось впечатление, будто он некоторым образом покорил весь обитаемый мир.

46. Помпею тогда не было еще, как утверждают писатели, во всем сравнивающие и сближающие его с Александром, тридцати четырех лет; в действительности же возраст его приближался к сорока[34]. Каким счастьем было бы для него как раз тогда окончить свою жизнь, когда ему еще сопутствовала Александрова удача. Вся остальная его жизнь приносила ему либо успехи, навлекавшие на него зависть и ненависть, либо непоправимые несчастья. Действительно, свое влияние в государстве, приобретенное благодаря собственным заслугам, он употреблял на пользу других людей, и употреблял недостойным образом; так, способствуя усилению других, он наносил ущерб своему доброму имени и неза-

метно был сломлен собственной силой и величием. Когда в руки неприятеля попадают ключевые позиции в городе, они умножают вражескую мощь – подобным образом Цезарь, обязанный своим возвышением в государстве влиянию Помпею, совершенно уничтожил того самого человека, благодаря которому одержал верх над остальными. Произошло это следующим образом.

После возвращения из Азии Лукулла, смертельно оскорбленного Помпеем, сенат не только устроил Лукуллу торжественный прием, но и стал побуждать его к государственной деятельности, чтобы с его помощью ограничить влияние Помпея, который также был уже в Риме. Лукулл, правда, растерял свой пыл и охладел к государственной деятельности, предавшись удовольствиям и развлечениям праздности и богатства. Тем не менее он напал на Помпея и принялся так настойчиво защищать свои распоряжения в Азии, которые Помпей отменил, что при поддержке Катона достиг в сенате полной победы.

Потерпев поражение и теснимый в сенате, Помпей был вынужден прибегнуть к помощи народных трибунов и связаться с мальчишками. Самый отвратительный и наглый из них, Клодий, охотно пойдя навстречу Помпею, поставил его в полную зависимость от народа. Клодий заставлял Помпея, вопреки его достоинству, бегать за собой по форуму и пользовался его поддержкой, чтобы придать вес законопроектам, которые он предлагал, и речам, которые он произносил, желая лестью снискать расположение толпы. Кроме того, – словно обществом своим он не позорил, но благодетельствовал Помпея, – Клодий требовал еще награды, которую впоследствии и получил, – Помпей принес ему в жертву Цицерона, который был другом Помпея и очень часто оказывал ему услуги на государственном поприще. Когда Цицерон в минуту опасности обратился за помощью к Помпею, последний даже не принял его, но, приказав закрыть двери перед всеми, кто приходил к нему, сам ушел через другой выход. Цицерону пришлось тогда из страха перед судебным процессом тайно покинуть Рим[35].

47. В это время Цезарь по возвращении в Рим после претуры предпринял такой ход, который в тот момент стяжал ему горячую любовь сограждан, а впоследствии доставил огромную власть, Помпею же и самому государству нанес тяжелейший ущерб. Цезарь стал добиваться своего первого консульства. Несогласия между Помпеем и Крассом, если бы Цезарь присоединился к одному из них, сразу делали его врагом другого. Имея это в виду, Цезарь попытался примирить обоих государственных деятелей – дело само по себе прекрасное, мудрое и отвечающее интересам государства, но затеянное с дурным намерением и проведенное с тонким коварством. До сих пор разделенное на две части могущество, как груз на корабле, выравнивало крен и поддерживало равновесие в государстве. Теперь же могущество сосредоточилось в одном пункте и сделалось настолько неодолимым, что опрокинуло и разрушило весь существующий порядок вещей. Поэтому Катон в ответ на утверждение, что республику ниспровергла возникшая впоследствии вражда между Цезарем и Помпеем, заявил, что ошибаются те, кто считает причиной гибели республики это последнее обстоятельство. Действительно, не раздоры, не вражда этих государственных деятелей, а их объединение и дружба принесли республике первейшее и величайшее несчастье.

Цезарь был избран консулом и тотчас в угоду беднякам и неимущим внес законопроект об основании колоний и раздаче земель[36]; тем самым он нарушил достоинство своего сана, превратив консульство в своего рода трибунат. Когда товарищ Цезаря по должности, Бибул, воспротивился его намерениям, а Катон старался всемерно помочь Бибулу, Цезарь просто выпустил на ораторское возвышение Помпея и, обратившись к нему, спросил, одобряет ли тот внесенные им законопроекты. Когда последовал утвердительный ответ, Цезарь продолжал: "Итак, если кто-нибудь вздумает насилием помешать законопроекту, придешь ли ты на помощь народу?" "Конечно, – ответил Помпей, – против тех, кто угрожает мечом, я выступлю с мечом и щитом". Ничего более грубого Помпей, кажется, до этого дня еще не говорил и не совершал. Поэтому в оправдание Помпея говорили, что эти слова сорвались у него с языка сгоряча. Однако последующие события ясно показали, что Помпей совершенно подчинился Цезарю. Действительно, вопреки всем ожиданиям, Помпей женился на Юлии, дочери Цезаря, уже обрученной с Цепионом и собиравшейся выйти замуж через несколько дней. Чтобы смягчить гнев Цепиона, Помпей обещал ему в жены собственную дочь, хотя она тоже была ранее обручена с Фавстом, сыном Суллы. Сам Цезарь женился на Кальпурнии, дочери Пизона.

48. После этого Помпей наполнил Рим своими воинами и вершил все дела путем открытого насилия. Так, его воины внезапно напали на Бибула, когда тот спускался на форум вместе с Лукуллом и Катоном, и переломали прутья его ликторов; кто-то из них высыпал на голову Бибула корзину с навозом; двое народных трибунов, его сопровождавшие, были ранены. Очистив таким образом форум от своих противников, Цезарь и Помпей утвердили закон о распределении земель. Соблазненный этим законом, народ сделался сговорчивым и склонным принимать всякое их предложение; теперь он вовсе не вникал ни во что, но молчаливо одобрял их законопроекты. Таким образом были утверждены распоряжения Помпея, из-за которых у него шел спор с Лукуллом, Цезарю же были предоставлены Галлия по эту и по ту стороны Альп и Иллирия, а также четыре полных легиона сроком на пять лет; консулами на следующий год были выбраны Пизон, тесть Цезаря, и Габиний, один из наиболее отвратительных льстецов Помпея. Во время этих событий Бибул сидел взаперти в своем доме; в течение восьми месяцев он не появлялся для выполнения своих обязанностей консула, а лишь издавал указы, полные злобных обвинений против его противников – Помпея и Цезаря. Что касается Катона, то он, словно одержимый пророческим наитием, предвещал в сенате предстоящую судьбу республики и самого Помпея. Лукулл же, устав от борьбы, жил на покое, как человек, уже неспособный больше к государственной деятельности. По этому поводу Помпей заметил, что старику предаваться роскоши подобает еще меньше, чем заниматься государственными делами.

Тем не менее и сам Помпей быстро растерял свою энергию, ухаживая за молодой женой; он посвящал ей бóльшую часть своего времени, проводя вместе с нею целые дни в загородных именьях и садах и вовсе не обращая внимания на то, что творилось на форуме. Клодий, бывший тогда народным трибуном, стал относиться к нему пренебрежительно и позволил себе весьма наглые поступки.

Так, он изгнал из Рима Цицерона и послал Катона на Кипр под предлогом ведения войны на этом острове. Видя, что народ всецело ему предан, потому что он во всем угождает народу, Клодий сразу же после отъезда Цезаря в Галлию сделал попытку отменить некоторые распоряжения Помпея. Он захватил пленного Тиграна и держал его в своем доме, а затем возбудил судебные процессы против друзей Помпея, чтобы испробовать, какова сила влияния Помпея. В конце концов, когда Помпей лично выступил на одном из таких процессов, Клодий в окружении толпы бесстыдных негодяев поднялся на возвышение и задал такие вопросы: "Кто разнузданный тиранн? Кто этот человек, ищущий человека? Кто почесывает одним пальцем голову?"[37] На каждый вопрос толпа громко и стройно, словно хорошо обученный хор, выкрикивала, едва лишь Клодий встряхивал краем тоги, -- "Помпей".

49. Эти нападки, конечно, сильно огорчали Помпея, который не привык подвергаться поношениям и был совершенно неопытен в подобного рода борьбе. Однако еще больше он опечалился, узнав, что сенат злорадствует по поводу нанесенных ему оскорблений, считая его наказанным за предательство по отношению к Цицерону. Между тем на форуме дело дошло до драки, причем несколько человек было ранено, а одного из рабов Клодия поймали с обнаженным мечом при попытке пробраться к Помпею сквозь толпу обступивших его людей. Помпей, боявшийся наглых выходок и злословия Клодия, воспользовался этим предлогом, чтобы больше не появляться на форуме, пока Клодий оставался в своей должности. Все это время Помпей не выходил из своего дома, обсуждая с друзьями, как бы смягчить гнев сената и лучших граждан против него. Куллеон советовал ему развестись с Юлией и, порвав с Цезарем, перейти на сторону сената. Помпей отверг этот совет, а принял предложение тех, кто желал возвращения Цицерона, заклятого врага Клодия, человека, пользовавшегося величайшим расположением сената. Во главе сильного отряда Помпей проводил на форум брата Цицерона, и тот обратился к народу с просьбой за изгнанника; после схватки, в которой было множество раненых и даже несколько убитых, Помпею удалось одолеть Клодия. Возвратившись законным порядком из изгнания, Цицерон не только сразу же примирил Помпея с сенатом, но, выступив в пользу хлебного закона[38], снова сделал Помпея до некоторой степени владыкой всех земель и морей, принадлежавших римлянам. Ибо власти и надзору Помпея были подчинены гавани, торговые центры, продажа зерна, – одним словом, вся деятельность мореходов и земледельцев. Клодий обвинял Помпея, доказывая, что этот закон внесен не из-за нехватки хлеба, а наоборот, нехватка искусственно вызвана, чтобы провести закон и чтобы новые полномочия опять оживили как бы парализованную силу Помпея. Другие видели во всем этом хитрую выдумку консула Спинтера, который желал облечь Помпея высшей властью для того, чтобы его самого послали на помощь царю Птолемею[39]. Однако народный трибун Каниний предложил законопроект, по которому Помпей должен был без военной силы, а только с двумя ликторами примирить александрийцев с царем. Помпей, видимо, был доволен этим предложением, сенат же отверг его под тем благовидным предлогом, что он опасается за жизнь Помпея. На форуме и около сенатской курии были найдены разбросанные грамоты, в

которых говорилось, что Птолемей просит назначить полководцем в помощь ему Помпея, а не Спинтера. Тимаген говорит, что Птолемей покинул Египет без настоятельной необходимости, но лишь по совету Феофана, который старался доставить Помпею новый источник личного обогащения и создать предлог для нового похода. Подлая угодливость Феофана сообщает, конечно, убедительность этой истории, но, с другой стороны, сам характер Помпея, который неспособен был из честолюбия на столь низкое коварство, делает ее совершенно невероятной.

50. Поставленный во главе снабжения хлебом, Помпей начал направлять в различные области своих легатов и друзей, сам же, отплыв в Сицилию, Сардинию и Африку, собрал там большое количество хлеба. Когда он собирался выйти в море, поднялась буря, и кормчие не решались сняться с якоря. Тогда Помпей первым взошел на борт корабля и, приказав отдать якорь, вскричал: "Плыть необходимо, а жить – нет!" При такой отваге и рвении Помпею сопутствовало счастье, и ему удалось наполнить рынки хлебом, а море покрыть грузовыми судами с продовольствием. Поэтому была оказана помощь даже чужеземцам, и изобилие из богатого источника потоком разлилось по всем землям.

51. Цезарь в это время, благодаря Галльской войне, достиг большого могущества. И хотя он находился так далеко от Рима и был, по-видимому, занят войной с бельгами, свевами и британцами, однако благодаря своей хитрости умел в самых важных делах незаметно оказывать противодействие Помпею в Народном собрании. Со своим войском он обращался, как с живым телом, не просто направляя его против варваров, но боями с неприятелем, словно охотой или травлей зверей, закаляя его и делая непобедимым и страшным. Золото, серебро и прочую богатую добычу, захваченную в бесчисленных походах, Цезарь отсылал в Рим. Эти средства он употреблял на подарки эдилам, преторам, консулам и их женам, чем приобрел расположение многих. Поэтому, когда он, перейдя Альпы, зимовал в Луке, туда наперерыв устремилось множество мужчин и женщин и среди прочих – двести сенаторов (в их числе Помпей и Красс), так что у дверей дома Цезаря можно было увидеть сто двадцать ликторских связок, различных лиц в консульском и преторском ранге. Всех прибывших Цезарь отпустил, щедро раздавая деньги и посулы, а с Помпеем и Крассом он заключил соглашение. Последние должны были добиваться консульства, а Цезарь в помощь им обещал послать большой отряд воинов для голосования. Как только совершится их избрание, они разделят между собой провинции и командование войском, за Цезарем же должны быть утверждены его провинции на следующее пятилетие.

Это соглашение, ставшее известным в народе, первые лица в государстве встретили с большим неудовольствием. Марцеллин, выступая перед собравшимся народом, спросил обоих претендентов, будут ли они домогаться консульства. Когда народ потребовал, чтобы они дали ответ, Помпей отвечал первым, сказав, что, может быть, он будет домогаться консульства, а может быть, и нет. Красс же дал более скромный ответ, заявив, что поступит так, как считает полезным для общего блага. Когда, наконец, Марцеллин выступил против Помпея и, видимо, допустил в своей речи резкие выражения, Помпей объявил, что Мар-

целлин самый несправедливый человек на свете, вовсе не знающий благодарности: ведь он, Помпей, сделал его из немого красноречивым, а из голодного пресыщенным обжорой.

52. Все прочие претенденты на должность консула отступились от своих домогательств, и только Луция Домиция Катон убедил не отказываться, всячески его ободряя и говоря, что борьба с тираннами идет не за консульскую должность, а за свободу. Помпей, боясь упорства Катона, опасаясь, как бы он, и без того ведя за собой весь сенат, не привлек на свою сторону здравомыслящую часть народа, не допустил Домиция на форум; он подослал вооруженных людей, которые убили сопровождавшего Домиция факелоносца, а остальных обратили в бегство. Последним отступил Катон: защищая Домиция, он получил рану в правый локоть.

Такими-то средствами Помпей и Красс добились консульства, но и в прочих своих действиях при исполнении должности они проявили не больше скромности. Прежде всего, когда народ хотел выбрать Катона претором и уже приступил к голосованию, Помпей распустил собрание под предлогом неблагоприятных знамений. Вместо Катона подкупленные центурии выбрали претором Ватиния. Затем через народного трибуна Требония Помпей и Красс внесли законопроект, по которому, – как было условлено прежде, – полномочия Цезаря были продлены на второе пятилетие; Крассу была предоставлена Сирия и ведение войны против парфян, а самому Помпею – вся Африка и обе Испании с четырьмя легионами, из которых два Помпей по просьбе Цезаря на время передал ему для Галльской войны. По истечении срока консульства Красс отправился в свою провинцию, Помпей же, освятив воздвигнутый им театр, устроил гимнастические и мусические состязания, а также травлю диких зверей, при которой было убито пятьсот львов. Под конец Помпей показал еще битву со слонами – зрелище, всего более поразившее римлян.

53. Эти зрелища вызвали у народа изумление перед Помпеем и любовь к нему, но, с другой стороны, и не меньшую зависть. Помпей передал войска и управление провинциями своим доверенным легатам, а сам проводил время с женой в Италии, в своих именьях, переезжая из одного места в другое и не решаясь оставить ее то ли из любви к ней, то ли из-за ее привязанности к нему. Ибо приводят и это последнее основание. Всем была известна нежность к Помпею молодой женщины, страстно любившей мужа, невзирая на его годы. Отчасти причиной этому была, по-видимому, воздержность мужа, который довольствовался только своей женой, отчасти же его природная величавость, соединявшаяся с приятным и привлекательным обхождением, особенно соблазнительным для женщин, если признать за истину свидетельство гетеры Флоры.

При выборах эдилов дело дошло до рукопашной схватки, и много людей около Помпея было убито, так что ему пришлось переменить запачканную кровью одежду. Слуги, принесшие одежду Помпея, произвели своей беготней сильный шум в доме. При виде окровавленной тоги молодая женщина, бывшая в ту пору беременной, лишилась чувств и с трудом пришла в себя. От такого сильного испуга и волнения у нее начались преждевременные роды. Поэтому даже те, кто весьма резко порицал дружбу Помпея с Цезарем, не могли сказать ничего дур-

ного о любви этой женщины. Она забеременела снова и, родив дочь, скончалась от родов, ребенок же пережил мать лишь на немного дней. Помпей совершил уже все приготовления для похорон в своем альбанском имении, однако народ силой заставил перенести тело на Марсово поле, скорее из сострадания к молодой женщине, чем в угоду Помпею и Цезарю. Из них обоих, однако, народ, по-видимому, больше уважения оказывал отсутствующему Цезарю, чем Помпею, который был в Риме.

Тотчас же после смерти Юлии город пришел в волнение, всюду царило беспокойство и слышались сеющие смуту речи. Родственный союз, который прежде скорее скрывал, чем сдерживал, властолюбие этих двух людей, был теперь разорван. Вскоре пришло известие о гибели Красса в войне с парфянами. Его гибель устранила еще одно важное препятствие для возникновения гражданской войны. Действительно, из страха перед Крассом оба соперника так или иначе держались по отношению друг к другу в пределах законности. Но после того, как судьба унесла третьего участника состязания, можно было вместе с комическим поэтом сказать, что один борец, выходя на борьбу с другим,

Маслом себя умащает и руки песком натирает[40].

Нет, для человеческой натуры любого счастья мало! Насытить и удовлетворить ее невозможно, поскольку даже такая огромная власть, распространявшаяся на столь обширное пространство, не могла утишить честолюбия этих двух людей. Хотя им и приходилось слушать и читать о том, что даже у богов

Натрое все делено и досталося каждому царство[41],

они считали, что для них двоих не хватает всей римской державы.

54. Выступая как-то в Народном собрании, Помпей заметил, что всякую почетную должность ему давали скорее, чем он того ожидал, и он отказывался от этой должности раньше, чем ожидали другие. О справедливости этого замечания свидетельствует то, что он всегда распускал после похода свои войска. Но тогда, полагая, что Цезарь войска не распустит, Помпей старался в противовес ему упрочить собственное положение, обеспечив высшие государственные должности за своими приверженцами. Впрочем, он не вводил никаких новшеств и не желал обнаруживать своего недоверия к Цезарю, – напротив, старался показать, что презирает его и ни во что не ставит.

Когда же Помпей стал замечать, что высшие государственные должности распределяются не по его желанию, так как граждане подкуплены, он решил не препятствовать смуте. Тотчас пошли толки о диктаторе. Первым осмелился открыто заявить об этом народный трибун Луцилий, убеждая народ выбрать Помпея диктатором. Катон так резко возражал против этого, что Луцилию грозила опасность потерять должность трибуна. Многие друзья Помпея выступили в его защиту, утверждая, что он не ищет и не желает этой должности. Катон похвалил за это Помпея и убеждал его позаботиться о восстановлении законного порядка. Тогда Помпей, устыдившись, принял меры к восстановлению порядка, и были избраны консулы – Домиций и Мессала.

Потом, однако, опять началась смута, и многие стали уже более решительно толковать о диктаторе. Катон, боясь, что его вынудят подчиниться насилию, решил, что лучше предоставить Помпею какую-либо законную должность и тем отвратить его от этой неограниченной и тираннической власти. Даже Бибул, хотя и был врагом Помпея, первым подал свое мнение в сенате об избрании Помпея единственным консулом, ибо таким образом республика или избавится от теперешних беспорядков, или будет порабощёна самым доблестным мужем. Это предложение показалось странным, имея в виду лицо, от которого оно исходило. Тогда встал Катон; все ждали, что он будет возражать против нового законопроекта, но, когда в сенате воцарилось молчание, он заявил, что сам не внес бы такого предложения, однако, коль скоро оно уже внесено другим, он советует его принять, предпочитая любую власть безвластию; кроме того, он считает, что лучше Помпея никто не сумеет управлять государством при таком беспорядке. Сенат принял предложение и постановил, чтобы Помпей, выбранный консулом, правил один; если же он сам потребует себе товарища, пусть изберет его не раньше, как через два месяца. Итак, междуцарь[42] Сульпиций назначил Помпея консулом, и Помпей дружески приветствовал Катона, выразив тому большую благодарность и прося частным образом помогать ему советом при выполнении должности. Катон же отвечал, что, по его мнению, Помпей вовсе не обязан его благодарить, так как все, что он, Катон, говорил в сенате, он сказал не ради него, Помпея, а ради государства; он будет, добавил Катон, давать Помпею советы частным образом, если к нему обратятся, а если не обратятся, он публично выскажет то, что сочтет полезным и нужным. Таков Катон был во всем.

55. По прибытии в город Помпей женился на Корнелии, дочери Метелла Сципиона и вдове погибшего в войне с парфянами Публия, сына Красса, на которой тот женился, когда она была еще девушкой. У этой молодой женщины, кроме юности и красоты, было много и других достоинств. Действительно, она получила прекрасное образование, знала музыку и геометрию и привыкла с пользой для себя слушать рассуждения философов. Эти ее качества соединялись с характером, лишенным несносного тщеславия – недостатка, который у молодых женщин вызывается занятием науками. Происхождение и доброе имя ее отца были безупречны. Тем не менее брак не встретил одобрения из-за большой разницы в возрасте жениха и невесты: ведь по годам Корнелия скорее годилась в жены сыну Помпея. Более проницательные люди полагали, что Помпей пренебрегает интересами государства: находясь в затруднительном положении, государство избрало его своим врачом и всецело доверилось ему одному, а он в это время увенчивает себя венками и справляет свадебные торжества, меж тем как ему следовало бы считать несчастьем это свое консульство, ибо, конечно, оно не было бы предоставлено ему вопреки установившимся обычаям, если бы в отечестве все обстояло благополучно.

Когда Помпей начал процессы о подкупе и лихоимстве и издал законы, на основании которых были возбуждены судебные преследования, он вел все дела со строгим беспристрастием, добился безопасности, порядка и спокойствия в судах, председательствуя там под охраной вооруженной силы. Однако в одном из та-

ких процессов оказался замешанным тесть его Сципион, и тут Помпей пригласил к себе триста шестьдесят судей и просил их помочь тестю. Обвинитель отказался от процесса, увидев, что судьи провожают Сципиона с форума. Поэтому о Помпее снова пошла дурная слава. Но еще более резким порицаниям он подвергся, когда в нарушение собственного закона, запрещавшего похвальные речи лицу, привлеченному к судебной ответственности, выступил с похвалой Планку[43]. Катон, который как раз был в числе судей, закрыв руками уши, объявил, что не подобает ему слушать похвалы в нарушение закона. Катон был исключен из числа судей перед голосованием, но, к стыду для Помпея, Планк все же был осужден голосами остальных судей. Спустя несколько дней бывший консул Гипсей[44], обвиняемый в подкупе, подкараулил Помпея, когда тот возвращался после бани домой, к обеду, и стал умолять о помощи, обнимая его колени. Помпей же, пройдя мимо него, заметил презрительно, что тот может испортить ему обед, но ничего другого не добьется. Эта видимая неровность в его поведении навлекала на него порицания. Впрочем, все государственные дела Помпей привел в порядок. На оставшиеся пять месяцев своего пребывания в должности он выбрал сотоварищем своего тестя. Было вынесено постановление продлить Помпею срок управления провинциями на следующее четырехлетие; кроме того, ему было дано по тысяче талантов в год на содержание войска.

56. Друзья Цезаря воспользовались этим предлогом, чтобы потребовать некоторого внимания и к Цезарю – человеку, который вел так много войн для распространения римского владычества. В самом деле, говорили они, Цезарь заслуживает второго консульства или продления срока командования, чтобы другой начальник, придя на смену, не похитил у него славы великих подвигов, но чтобы тот, кто их совершил, продолжал командовать в покое и почете. Когда из-за этих требований возникли разногласия, Помпей, как бы стремясь из дружеского расположения к Цезарю избавить его от зависти, объявил, что у него есть письма Цезаря, в которых тот выражает желание принять преемника и отказаться от командования; однако было бы справедливо предоставить ему право заочно домогаться консульства. Против этого восстал Катон, потребовавший, чтобы Цезарь искал себе какой-либо награды у сограждан только как частный человек, сложив оружие. Помпей, словно убежденный доводами Катона, не настаивал на своем мнении, и тем сделал свои замыслы по отношению к Цезарю еще более подозрительными. Он послал Цезарю требование вернуть переданные ему легионы под предлогом предстоящей войны с парфянами. Цезарь отослал воинов назад, щедро одарив, хотя и знал, зачем у него их требовали.

57. После этого Помпей опасно занемог в Неаполе, но поправился. Неаполитанцы, по предложению Праксагора, справили благодарственное празднество в честь избавления его от опасности. Неаполитанцам стали подражать соседи, и, таким образом, празднества распространились по всей Италии, так что маленькие и большие города один за другим справляли многодневные праздники. Не хватало места для тех, кто отовсюду сходился на праздник: дороги, селения и гавани были переполнены народом, справлявшим празднества с жертвоприноше-

ниями и пиршествами. Многие встречали Помпея, украсив себя венками, с пылающими факелами в руках, а провожая, осыпали его цветами, так что его возвращение в Рим представляло собой прекрасное и внушительное зрелище.

Это-то обстоятельство, как говорят, больше всего и способствовало возникновению войны. Ибо гордыня и великая радость овладели Помпеем и вытеснили все разумные соображения об истинном положении дел. Помпей совершенно отбросил теперь свою обычную осторожность, которая прежде всегда обеспечивала безопасность и успех его предприятиям, стал чрезмерно дерзок и с пренебрежением говорил о могуществе Цезаря. Он считал, что ему не будет нужды пускать в ход против Цезаря оружие или обращаться к каким-либо затруднительным и хлопотливым действиям, но что теперь он гораздо легче уничтожит соперника, чем когда-то его возвысил. К тому же в это время из Галлии прибыл Аппий с легионами, которые Помпей дал взаймы Цезарю. Аппий сильно умалял подвиги Цезаря в Галлии и распространял о нем клеветнические толки. Помпей, говорил он, не имеет представления о своем собственном могуществе и славе, если хочет бороться против Цезаря каким-то иным оружием, в то время как он может сокрушить соперника с помощью его же собственного войска, лишь только появится перед ним, – так велика, дескать, в этом войске ненависть к Цезарю и любовь к Помпею. Так Помпей проникался все большим высокомерием и, веря в свое могущество, дошел до такого пренебрежения к силам соперника, что высмеивал тех, кто страшился войны; тех же, кто говорил ему, что не видит войска, которое будет сражаться против Цезаря, если тот пойдет на Рим, Помпей с веселой улыбкой просил не беспокоиться. "Стоит мне только, – говорил он, – топнуть ногой в любом месте Италии, как тотчас же из-под земли появится и пешее и конное войско".

58. В противоположность Помпею Цезарь взялся за дело более решительно. Он не удалялся более на значительное расстояние от Италии и от времени до времени посылал в Рим своих воинов на выборы должностных лиц. Многих высших магистратов он тайно привлекал на свою сторону, подкупая их деньгами. Среди них были консул Павел, за тысячу пятьсот талантов изменивший Помпею, народный трибун Курион, избавленный Цезарем от его огромных долгов, и Марк Антоний, который по дружбе к Куриону был причастен к его долгам. Один из начальников, посланных Цезарем в Рим, как рассказывали, стоял у сенатской курии и, услышав, что сенат отказывается продлить срок командования Цезаря, ударил рукой по мечу и вскричал: "Ну, тогда вот этот меч даст ему разрешение!" К этой же цели были направлены все действия и приготовления Цезаря.

Впрочем, требования и предложения Куриона в защиту Цезаря по виду были вполне разумны и направлены к общему благу. А предложил он одно из двух: или лишить Помпея командования, или, если Помпей удержит его, не отнимать войска у Цезаря; пусть они либо, став частными лицами, блюдут закон и справедливость, либо, оставаясь соперниками, довольствуются нынешним положением и не стараются его изменить. Тот, кто ослабит одного из них, только удвоит этим могущество, которого страшится. В ответ на это предложение консул Марцелл назвал Цезаря разбойником и потребовал объявить его врагом отече-

ства, если он не сложит оружия. Тем не менее Куриону с помощью Антония и Пизона удалось заставить сенат высказаться: он предложил отойти в сторону тем сенаторам, которые требовали, чтобы только один Цезарь сложил оружие, а Помпей сохранил командование. И бóльшая часть сенаторов отошла в сторону. Когда же Курион попросил отойти в сторону тех, кто считает, что оба соперника должны сложить оружие и отказаться от власти, то за Помпея подали голос двадцать пять сенаторов, а за предложение Куриона – все остальные. Сияющий от радости, думая, что уже одержал победу, Курион выбежал из курии и устремился в Народное собрание, где его встретили рукоплесканиями, осыпав венками и цветами.

Помпей не присутствовал на заседании сената, потому что полководцы, командующие легионами, не имеют права вступать в город. Между тем поднялся Марцелл и заявил, что не может дольше сидеть и выслушивать все эти рассуждения: он видит, как десять легионов уже переходят Альпы, и потому идет, чтобы снарядить в путь того, кто станет сражаться против них за отечество. 59. После этого, как бы в знак траура, сенаторы переменили свою одежду. Марцелл, сопровождаемый всем сенатом, пошел через форум за городскую черту к Помпею. Став против него, Марцелл сказал: "Приказываю тебе, Помпей, оказать помощь отечеству, пользуясь для этого не только наличными вооруженными силами, но и набирая новые легионы". То же самое заявил и Лентул, один из двух избранных на следующий год консулов.

Помпей принялся набирать войско, однако одни вовсе не подчинялись его приказам, иные – немногие – собирались с трудом и неохотно, большинство же громко требовало примирения соперников. Ибо, несмотря на противодействие сената, Антоний прочитал в Народном собрании письмо Цезаря с весьма соблазнительными для народа предложениями. А именно, Цезарь предлагал обоим вернуться из своих провинций и распустить войска, затем, отдавшись в распоряжение и на милость народа, представить отчет о своей деятельности. Но Лентул, вступивший уже в должность консула, не созывал сената. Цицерон, который незадолго до того возвратился из Киликии, хлопотал о соглашении и внес предложение, чтобы Цезарь, покинув Галлию и распустив все остальное войско, сохранил за собою лишь два легиона и провинцию Иллирию и ожидал своего второго консульства. Однако, когда Лентул выступил против этого, а Катон громко заявил, что Помпей совершит ошибку, позволив еще раз себя обмануть, соглашение не состоялось.

60. Между тем пришло сообщение, что Цезарь занял Аримин, большой город в Италии, и со всем войском идет прямо на Рим. Последнее известие, однако, было ложным. Ибо Цезарь шел, ведя за собой не больше трехсот всадников и пяти тысяч пехотинцев. Он не стал дожидаться подхода остальных сил, стоявших за Альпами, так как предпочитал напасть на врага врасплох, когда тот находится в замешательстве, чем дать ему время подготовиться к войне. Подойдя к реке Рубикону, по которой проходила граница его провинции, Цезарь остановился в молчании и нерешительности, взвешивая, насколько велик риск его отважного предприятия. Наконец, подобно тем, кто бросается с кручи в зияющую пропасть, от откинул рассуждения, зажмурил глаза перед опасностью и, громко

сказав по-гречески окружающим: "Пусть будет брошен жребий", – стал переводить войско через реку[45].

Лишь только распространились первые слухи об этом событии, в Риме воцарилось беспокойство, страх и смятение, какого не бывало никогда раньше. Сенат тотчас с величайшей поспешностью собрался к Помпею, явились и высшие должностные лица. Тулл спросил Помпея, где его войско и насколько оно многочисленно. После некоторого промедления Помпей неуверенно ответил, что легионы, пришедшие от Цезаря, находятся в готовности, а кроме того, он предполагает быстро свести воедино набранные прежде тридцать тысяч человек. Тогда Тулл вскричал: "Ты обманул нас, Помпей!" – и предложил послать послов к Цезарю. Некто Фавоний, вообще человек незлобивый, но уверенный, что своей упрямой надменностью он подражает благородному прямодушию Катона, предложил Помпею топнуть ногой и вывести из-под земли обещанные легионы. Помпей спокойно вынес эту бестактную издевку. Когда же Катон стал напоминать ему о том, что еще вначале говорил о Цезаре, Помпей ответил, что предсказания Катона оказались более верными, а он, Помпей, действовал более дружелюбно, чем следовало. 61. Катон предложил выбрать Помпея главнокомандующим с неограниченными полномочиями, прибавив, что виновник этих великих бед должен сам положить им конец. Катон тотчас выехал в Сицилию (ему была назначена эта провинция), так же поступил и каждый из остальных должностных лиц, отправившись в назначенную ему по жребию провинцию.

Между тем почти вся Италия была охвачена смятением, и деловая жизнь находилась в расстройстве. Иногородние отовсюду поспешно сбегались в Рим, а столичные жители, напротив, уезжали, оставляя город, где при таком смятении и беспорядке достойные граждане проявили слабость, а буйная чернь оказала дерзкое неповиновение властям. Действительно, никак не удавалось успокоить страхи и опасения, и действовать в согласии со здравым размышлением Помпею не давали, но в каком бы состоянии духа кто ни находился, – будь то страх, печаль или беспокойство, – он со своими заботами являлся к Помпею, так что в один и тот же день нередко принимались противоположные решения. Получить о врагах достоверные сведения Помпей не мог, так как слишком много было вестников-очевидцев, выражавших неудовольствие, если он им не верил. Наконец, он издал указ, в котором объявил, что в городе начался мятеж, а потому велел всем сенаторам следовать за собой, предупреждая, что будет считать всякого оставшегося другом Цезаря. Так, поздно вечером, Помпей покинул город. Консулы бежали, даже не совершив полагающегося по обычаю перед началом войны жертвоприношения. Но, несмотря на все обрушившиеся на Помпея невзгоды, его по-прежнему можно было назвать счастливым из-за любви к нему людей: хотя многие выражали недовольство войной, но не было никого, кто бы ненавидел военачальника. Напротив, нашлось, пожалуй, больше таких, кто не в силах был покинуть Помпея, нежели тех, кто бежал во имя свободы.

62. Спустя немного дней Цезарь, вступив в Рим, овладел городом. Со всеми он обошелся милостиво и расположил жителей к себе; только одному из народных трибунов, Метеллу, когда тот попытался помешать ему взять деньги из казнохранилища, он пригрозил смертью, добавив слова еще более суровые, чем са-

ма угроза: он сказал, что ему тяжелее произнести угрозу, чем привести ее в исполнение. Прогнав Метелла и взяв из казначейства что ему было нужно, Цезарь начал преследовать Помпея: он спешил изгнать последнего из Италии, пока не прибыло из Испании его войско.

Между тем Помпей захватил Брундизий и, приготовив достаточное число кораблей, тотчас отправил на них консулов с тридцатью когортами в Диррахий; тестя своего Сципиона и сына Гнея он отослал в Сирию собирать флот. В Брундизии Помпей велел между тем укрепить городские ворота и поставить на стены наиболее проворных воинов; жителям он приказал сидеть спокойно по домам, а весь город внутри стен избороздить рвами и на всех улицах, кроме двух, по которым он сам отступил к морю, вбить острые колья. На третий день Помпею удалось беспрепятственно погрузить на корабли остальное войско. Затем он внезапно дал сигнал воинам, охранявшим стены, и, быстро приняв на борт подбежавших, отошел от берега. Увидев оставленные защитниками стены, Цезарь понял, что враги бежали, и, преследуя их, едва не набрел на ямы и колья, однако, предупрежденный брундизийцами, принял меры предосторожности и двинулся в обход; обнаружилось, что все вражеские корабли вышли в море, кроме двух, да и те имели на борту лишь незначительное число воинов.

63. Нередко отплытие Помпея считают одной из самых удачных его военных хитростей. Сам Цезарь, однако, выражал удивление, почему Помпей, владея укрепленным городом, ожидая подхода войска из Испании и господствуя на море, все-таки оставил Италию. Цицерон также порицает[46] Помпея за то, что, ведя войну, тот скорее подражал тактике Фемистокла, чем Перикла, хотя находился в положении, сходном скорее с Перикловым, чем с Фемистокловым. Цезарь на деле показал, как сильно он боится затяжной войны. Действительно, он послал в Брундизий захваченного в плен Нумерия, друга Помпея, предлагая соглашение на справедливых условиях. Однако Нумерий отплыл вместе с Помпеем. После этого Цезарь в течение шестидесяти дней без кровопролития стал владыкой всей Италии. Сперва он думал тотчас же начать преследование Помпея, но из-за отсутствия кораблей пошел походом в Испанию, имея в виду склонить на свою сторону находившиеся там войска Помпея.

64. Между тем Помпей успел собрать большие военные силы. Флот Помпея не имел себе равных. Он состоял из пятисот боевых кораблей и огромного числа легких и сторожевых судов. Что касается его конницы, то к ней принадлежал цвет молодежи Рима и Италии в числе семи тысяч человек, выдающихся своим происхождением, богатством и отвагой. Пешее войско, однако, было смешанным по составу и еще требовало выучки. Во время пребывания в Берое Помпей рьяно взялся за его обучение, принимая личное участие в военных упражнениях, словно человек, находящийся в полном расцвете сил. Личный пример полководца имел громадное влияние на мужество воинов. Они видели, как пятидесятивосьмилетний Помпей Магн то состязался пешим в полном вооружении, то верхом, на полном скаку, ловко вытаскивал и вновь вкладывал в ножны меч, то в метании дротика показывал не только необыкновенную точность попадания, но и такую силу броска, что даже многие из молодых воинов не могли его превзойти.

К нему прибывали цари и властители различных народностей, и в его свите находилось так много знатных римлян, что они составляли целый сенат. К Помпею приехали, покинув Цезаря, Лабиен, близкий друг последнего, воевавший вместе с ним в Галлии, и Брут – сын того Брута, который был убит в Галлии. Этот Брут был человеком возвышенного образа мыслей, который никогда прежде не обращался к Помпею и даже не приветствовал его при встречах, считая убийцей своего отца. Теперь же Брут пожелал служить под начальством Помпея как освободителя Рима. Цицерон, хотя в своих сочинениях и советах проводил совершенно иные мысли, считал, однако, постыдным для себя не принадлежать к числу тех, кто подвергается опасности ради отечества. Прибыл к Помпею в Македонию также некий Тидий Секстий, человек весьма преклонного возраста и к тому же хромой. Другие не могли удержаться от насмешек и шуток над ним, но Помпей, завидев Тидия, поднялся и бросился к нему навстречу. В его прибытии Помпей усматривал прекрасное доказательство правоты своего дела, раз находились люди, которые, несмотря на возраст и немощь, предпочитали переносить опасность вместе с ним, отказавшись от покойной и мирной жизни.

65. После того как сенат, по предложению Катона, вынес постановление не предавать смерти ни одного римлянина, кроме как в открытом бою, и не грабить подвластных римлянам городов, сторонники Помпея приобрели еще бóльшие симпатии. Даже те, кто не имел к войне ни малейшего отношения – потому ли, что жил слишком далеко, или же потому, что был слишком слаб и вовсе не принимался в расчет, – даже они соединили свои желания с помпеянцами и в речах сражались за правое дело, объявляя врагом богов и людей всякого, кто от всей души не желает победы Помпею. Впрочем, и Цезарь выказывал милосердие при своих победах. Так, разбив и вынудив сдаться войско Помпея в Испании[47], он отпустил полководцев на свободу, а воинов присоединил к своему войску. Затем он снова перешел Альпы и, пройдя всю Италию, прибыл около зимнего солнцеворота в Брундизий. Отсюда от переправился через море и высадился в Орике. Затем он послал к Помпею его друга Вибиллия, которого держал в плену, предлагая встретиться, а после встречи, на третий день, распустить все свои войска и затем, поклявшись сохранять дружбу, возвратиться в Италию. Это предложение Помпей опять счел подстроенной ему западней. Он поспешно спустился к морю и занял все укрепленные места, которые были сильными опорными пунктами для пехоты, а также гавани и пристани, удобные для мореходов, так что всякий ветер дул на счастье Помпею, принося ему хлеб, войска или деньги. Что касается Цезаря, то ему и на суше и на море приходилось встречаться с затруднениями: необходимость вынуждала его искать сражения, часто нападая на вражеские укрепления и при каждом удобном случае вызывая неприятеля на бой. В большинстве стычек Цезарь одерживал верх, но однажды едва не потерпел полного поражения и чуть не лишился своего войска. Помпей сражался с замечательным мужеством, пока не обратил в бегство всех врагов, перебив две тысячи воинов Цезаря. Однако он не смог – или побоялся – ворваться в лагерь Цезаря. Поэтому, обращаясь к друзьям, Цезарь сказал: “Сегодня победа осталась бы за противниками, если бы у них было кому побеждать”.

66. Этим успехом помпеянцы сильно возгордились и спешили теперь решить дело в открытом бою. Сам Помпей уже писал чужеземным царям, полководцам и городам в тоне победителя; все же он страшился опасностей битвы, надеясь длительной войной и лишениями сокрушить врагов, неодолимых в сражении и издавна привыкших побеждать в одном строю, но утомленных и от старости уже неспособных более нести все тяготы походной жизни – длительные переходы, частые перемены стоянок, рытье рвов и возведение стен – и поэтому спешивших как можно скорее вступить в рукопашную схватку. Прежде Помпей умел каким-то образом убедить своих сторонников сохранять спокойствие. Но теперь, после битвы, когда Цезарь из-за недостатка продовольствия выступил в поход, направляясь через область афаманов в Фессалию, уже нельзя было сдержать воинственный пыл помпеянцев: одни кричали, что Цезарь обратился в бегство, и предлагали следовать за ним по пятам, другие считали, что нужно переправиться в Италию, третьи, наконец, стали посылать в Рим своих слуг и друзей, чтобы заранее занять дома вблизи форума, намереваясь тотчас же по возвращении домогаться высших должностей. Многие по собственному почину отплыли к Корнелии на Лесбос, куда ее тайно отправил Помпей, чтобы сообщить ей радостную весть об окончании войны.

Когда собрался сенат, Афраний внес предложение напасть на Италию, так как эта страна – самая славная награда за победу на войне, и к тем, кто ею владеет, тотчас присоединяются Сицилия, Сардиния, Корсика, Испания и вся Галлия. Помпей должен теперь, продолжал он, главное внимание обратить на отечество: ведь Италия находится рядом и протягивает к нему руки с мольбой о помощи, поэтому не подобает равнодушно смотреть, как она томится в позорном рабстве у прислужников и льстецов тираннов. Сам Помпей объявил, однако, что считает бесчестным вторично бежать перед Цезарем и снова оказаться в положении преследуемого, когда счастливый случай дает ему возможность гнаться по пятам за врагом. Кроме того, было бы противно совести и долгу бросить на произвол судьбы Сципиона и бывших консулов[48] в Греции и Фессалии – ведь эти люди вместе с большими денежными средствами и значительным войском попадут в руки Цезаря; о Риме же больше всего печется тот, кто воюет как можно дальше от него, – для того чтобы этот город мог спокойно ожидать победителя, не испытывая бедствий войны и даже не слыша о них.

67. После этого заявления Помпей начал преследовать Цезаря, твердо решив уклоняться от схватки, но взять врага измором, тесня и преследуя его по пятам. Он и вообще считал этот план весьма разумным, и, кроме того, до него дошли какие-то толки, ходившие среди всадников, что, дескать, нужно как можно скорее разгромить Цезаря, а затем уничтожить и его, Помпея. Некоторые утверждают, что Помпей не давал Катону никакого важного поручения, но когда шел против Цезаря, то оставил его при обозе на берегу моря из опасения, как бы Катон после победы над Цезарем не вынудил его, Помпея, отказаться от командования. Между тем, пока Помпей таким образом спокойно следовал за врагом, окружающие начали осыпать его упреками, обвиняя в том, что он-де воюет не против Цезаря, а против отечества и сената, чтобы навсегда сохранить свою власть и навсегда превратить тех, что считали себя владыками вселенной,

в своих слуг и телохранителей. С другой стороны, Домиций Агенобарб, называя Помпея при каждом удобном случае Агамемноном и царем царей, возбудил к нему сильную зависть. И Фавоний досаждал Помпею своими шутками не менее, чем иные – несвоевременными откровенностями. "Друзья, – кричал Фавоний, – неужели в нынешнем году не будет нам тускульских фиг?" Луций Афраний, который потерял войско в Испании и за это был обвинен в измене, видя теперь, что Помпей избегает сражения, сказал, что очень удивлен, почему это его обвинители не дают битвы оптовому покупщику провинций.

Этими и множеством других подобных речей окружающие заставили Помпея, человека, для которого слава и уважение друзей были превыше всего, оставить свои лучшие планы и увлечься их надеждами и стремлениями – уступчивость, которая не подобает даже кормчему корабля, не говоря уже о полководце, обладающем неограниченной властью под столькими народами и армиями. Помпей никогда не хвалил врачей, потворствующих желаниям больных, однако уступил больной части своего войска, опасаясь неприязни тех, чье спасение было его целью. В самом деле, можно ли считать находящимися в здравом уме людей, которые, расхаживая по лагерю, уже домогались консульства и претуры или, как Спинтер, Домиций и Сципион, яростно спорили между собой из-за должности верховного жреца, принадлежавшей Цезарю, и вербовали себе сторонников? Словно перед ними стоял лагерем армянский царь Тигран или царь набатеев, а не знаменитый Цезарь и его войско, с которым он завоевал тысячу городов, покорил более трехсот народов и, оставаясь всегда победителем в бесчисленных битвах с германцами и галлами, захватил в плен миллион человек и столько же уничтожил в сражениях!

68. Все же, когда войско спустилось на Фарсальскую равнину, настойчивые и шумные требования заставили Помпея назначить военный совет. Первым на совете поднялся Лабиен, начальник конницы, и клятвенно заверил, что не отступит в битве ни на шаг, пока не обратит врага в бегство. Такую же клятву принесли и все остальные.

Ночью Помпей видел во сне, будто народ встречает его при входе в театр рукоплесканиями, а сам он украшает храм Венеры Победоносной[49] приношениями из добычи. Это видение, с одной стороны, внушило Помпею мужество, а с другой – причинило беспокойство, так как Помпей опасался принести роду Цезаря, который вел свое происхождение от Венеры, блеск и славу. Проснулся Помпей от безотчетного смятения, охватившего лагерь. В утреннюю стражу над лагерем Цезаря, где царило полное спокойствие, засиял яркий свет. От него загорелся ярким пламенем факел и, поднявшись на воздух, упал в лагере Помпея. Цезарь говорит, что сам видел это знамение при обходе караульных постов.

С наступлением дня Цезарь начал было движение на Скотуссу, и его воины уже снимали палатки и высылали вперед обоз и рабов. В это время прибыли разведчики с сообщением, что во вражеском лагере переносят с места на место много оружия, что они заметили там движение и шум, какие обычно бывают перед битвой. Затем прибыли другие разведчики и объявили, что передовые части врага уже строятся в боевой порядок. Цезарь сказал, что наступил долго-

жданный день, что наконец они будут сражаться не с голодом и нуждой, а с людьми, и отдал приказ быстро поднять перед своей палаткой пурпурный хитон, что у римлян служит сигналом к битве. Заметив сигнал, воины с радостными криками оставили свои палатки и кинулись к оружию. И когда начальники повели их туда, где было назначено построение, то каждый, словно отлично выученный участник хора, спокойно и быстро занял свое место.

69. Сам Помпей стоял на правом фланге, чтобы сражаться против Антония, в центре, против Луция Кальвина, он поставил своего тестя Сципиона, на левом же крыле находился Луций Домиций, поддерживаемый значительными силами конницы. Здесь Помпей сосредоточил почти всех своих всадников, чтобы с их помощью сокрушить Цезаря, прорвав боевую линию прославленного своей исключительной храбростью десятого легиона, в рядах которого обычно сражался сам Цезарь. Цезарь, заметивший, что левый фланг неприятеля так надежно прикрыт конницей, и испуганный блеском ее оружия, послал за шестью когортами и поставил их позади десятого легиона с приказанием сохранять спокойствие, чтобы враги не заметили их. Когда же конница врага двинется вперед, им надлежит, пробившись через передние ряды бойцов, не метать копья, как обычно делают самые храбрые, спеша начать рукопашную, а бить вверх, целя противнику в глаза и в лицо[50]. Ведь эти юные красавцы-плясуны говорил он, не устоят и, сохраняя свою красоту, не смогут смотреть на железо, направляемое им прямо в глаза.

Таковы были распоряжения Цезаря. В это время Помпей верхом на коне осматривал боевой порядок своего войска. Он увидел, что противники, выстроившись, спокойно ожидают подходящего момента для нападения, тогда как бóльшая часть его собственного войска не сохраняет спокойствия, а по неопытности волнуется и даже охвачена смятением. В страхе, что уже в начале битвы его войско будет смято и рассеяно, Помпей приказал передовым бойцам крепко стоять на месте и с копьями наперевес ожидать нападения врага. Цезарь порицает[51] такую тактику. Этот приказ, по его мнению, ослабил силу, которой обладает удар, нанесенный с разбегу, а так как Помпей запретил атаку, которая более всего наполняет воинов воодушевлением и пылом, ибо крик и стремительное движение усиливают их мужество, то этим он охладил и сковал их волю к победе.

В войске Цезаря насчитывалось двадцать две тысячи человек, а у Помпея – немногим больше чем вдвое.

70. Уже с обеих сторон был дан сигнал и раздались трубные звуки, призывающие к битве. Большинство участников думало лишь о себе, и только немногие – благороднейшие из римлян, а также несколько греков, прямого участия в сражении не принимавшие, – с приближением страшного часа битвы стали задумываться о том, как далеко завели римскую державу алчность и честолюбие. Здесь сошлись друг с другом братские войска, родственное оружие, общие знамена, мужество и мощь государства обратились против него же самого, показывая этим, до чего слепа и безумна охваченная страстью человеческая натура! Ведь если бы эти люди захотели спокойно властвовать и наслаждаться плодами своих побед, то бóльшая и лучшая часть суши и моря была бы уже подчинена их

доблести. Если бы им было угодно, они могли бы удовлетворить свою страсть к трофеям и триумфам, утоляя жажду славы в войнах против парфян и германцев. Поле их деятельности представляли бы Скифия и Индия, и при этом у них было бы благовидное прикрытие для своей алчности – они бы просвещали и облагораживали варварские народы. Разве могла бы какая-нибудь скифская конница, парфянские стрелки или богатство индийцев устоять перед натиском семидесяти тысяч римлян под предводительством Помпея и Цезаря, чьи имена эти народы услышали гораздо раньше имени римлян – так много диких народов они покорили своим победоносным оружием?! Теперь они сошлись на бой, не щадя своей славы (ради которой принесли в жертву даже отечество): ведь до этого дня каждый из них носил имя непобедимого. Да, их прежнее свойство, очарование Юлии, тот знаменитый брак с самого начала были всего лишь обманными залогами, выданными с корыстной целью; истинной же дружбы в их отношениях не было вовсе.

71. Как только Фарсальская долина наполнилась людьми и конями и с обеих сторон были подняты сигналы к нападению, из боевой линии войска Цезаря первым вырвался вперед некий Гай Крассиан во главе ста двадцати человек, чтобы выполнить данное им Цезарю великое обещание. Дело в том, что Цезарь, выходя из лагеря, первым увидел этого человека и, обратившись к нему, спросил, что он думает о предстоящем сражении. Подняв правую руку, Крассиан закричал в ответ: "Ты одержишь, Цезарь, блестящую победу, а меня ты сегодня похвалишь живого или мертвого!" Помня эти свои слова, он устремился вперед, увлекая за собой многих воинов, и затем обрушился на самый центр вражеского строя. Тотчас пошли в ход мечи, было много убитых. Крассиану удалось пробиться вглубь, изрубив бойцов первой линии, но какой-то неприятельский воин остановился и нанес ему удар такой силы, что острие, пройдя через рот, вышло под затылком. Когда Крассиан пал, битва здесь некоторое время шла с переменным успехом.

На правом крыле Помпей не скоро начал атаку, но все оглядывался на другое крыло и медлил, ожидая, к чему приведут действия конницы. Конница уже развернула свои отряды, чтобы окружить Цезаря и опрокинуть на пехоту его немногочисленных всадников, выставленных впереди. Однако по сигналу Цезаря его конница отступила, а выстроенные позади воины числом три тысячи человек, дабы избежать охвата, внезапно выступили вперед и пошли на врага, а затем, как им было приказано, подняли копья вверх, целясь врагам прямо в лицо. Всадники Помпея, и вообще-то неопытные в военном деле, не ожидали такого маневра и не были к нему подготовлены, а потому не вынесли ударов в глаза и лицо: они отворачивались, закрывали себе глаза руками и, наконец, бесславно обратились в бегство. Не обращая внимания на бегущих, воины Цезаря двинулись против вражеской пехоты; пехота Помпея была теперь лишена прикрытия конницы, и ее легко можно было обойти с фланга и окружить. Когда эти воины нанесли удар во фланг, а десятый легион одновременно ринулся вперед, неприятели, не выдержав натиска, бросились в рассыпную, так как видели, что как раз там, где они думали окружить врагов, им самим грозит окружение.

72. Когда они обратились в бегство, Помпей, увидев облако пыли, догадался о поражении своей конницы. Трудно сказать, о чем он думал в тот миг, но он совершенно уподобился безумцу, потерявшему способность действовать целесообразно. Забыв, что он – Помпей Магн, ни к кому не обращаясь, медленно шел он в лагерь, так что к нему прекрасно подходили известные стихи[52]:

Зевс же, владыка превыспренний, страх ниспослал на Аякса:
Стал он смущенный и, щит свой назад семикожный забросив,
Вспять отступал, меж толпою враждебных, как зверь, озираясь.

В таком состоянии Помпей пришел в свою палатку и безмолвно сидел там до тех пор, пока вместе с беглецами в лагерь не ворвалось множество преследователей. Тогда он произнес только: "Неужели уже дошло до лагеря?" Затем, ничего больше не прибавив, поднялся, надел подходящую к обстоятельствам одежду и вышел из лагеря. Остальные легионы Помпея также бежали, и победители устроили в лагере страшную резню обозных и карауливших палатки слуг. Воинов пало только шесть тысяч, как утверждает Азиний Поллион, который сражался в этой битве на стороне Цезаря.

При взятии лагеря выявилось безрассудное легкомыслие помпеянцев: каждая палатка была увита миртовыми ветвями и украшена цветными коврами, всюду стояли столы с чашами для питья, были поставлены кратеры[53] с вином и вообще все было приспособлено и приготовлено скорее для жертвоприношения и празднества, чем для бегства. Так, обольщенное надеждами и полное безумной дерзости, шло на бой войско Помпея.

73. Удалившись немного от лагеря, Помпей пустил коня во весь опор и – так как погони не было – в сопровождении немногих друзей беспрепятственно продолжал путь, предаваясь размышлениям, каких и следовало ожидать от человека, который в течение тридцати четырех лет привык покорять всех неприятелей. Только теперь, на старости лет, в первый раз узнав, что такое поражение и бегство, Помпей вспоминал битвы и войны, в которых выросла его слава, потерянная ныне за один час, и думал о том, что еще недавно он стоял во главе столь великих сил, пеших и конных, и множества кораблей, а теперь бежит, жалкий и униженный, вынужденный скрываться от преследования врагов.

Миновав Лариссу, Помпей добрался до Темпейской долины. Почувствовав сильную жажду, он бросился ничком на землю и стал пить прямо из реки, затем поднялся и продолжал путь через Темпейскую долину, пока не достиг моря. Там он остановился до утра в какой-то рыбачьей хижине. На рассвете Помпей в сопровождении свободных спутников взошел на борт речного судна, рабам же велел, ничего не боясь, идти к Цезарю. Плывя вдоль берега, Помпей заметил большой торговый корабль, готовый к отплытию. Хозяином его был римлянин по имени Петиций, совершенно не связанный с Помпеем дружескими отношениями, но знавший его в лицо. Этому человеку прошлой ночью Помпей явился во сне (но не таким, каким Петицию часто приходилось видеть его наяву, а в жалком и униженном обличии) и заговорил с ним. Этот свой сон он как раз рассказывал спутникам – люди досужные любят порассуждать о делах первостепенной важности, – как вдруг один из матросов сообщил, что видит речное суд-

но, идущее на веслах от берега, и каких-то людей, которые машут одеждой и протягивают к ним руки. Остановившись, Петиций сразу узнал Помпея, каким тот явился ему во сне. Ударив себя по лбу, он велел матросам спустить шлюпку и протянул правую руку, приглашая Помпея взойти на корабль. По одному виду Помпея Петиций догадался о происшедшей в его судьбе перемене и, не ожидая ни обращений, ни слов, принял его на борт со всеми, кого тот попросил принять (это были оба Лентула[54] и Фавоний); затем он вышел в море. Немного спустя, увидев царя Дейотара, спешившего к морю, они также взяли его на корабль.

Между тем наступила обеденная пора, и хозяин корабля приготовил обед из припасов, которые были под рукой. Фавоний, увидев, что Помпей, оставшись без слуг, начал сам разуваться, тотчас подбежал, разул его и помог натереться маслом. Вообще с того времени Фавоний ухаживал за Помпеем, постоянно прислуживая ему, как рабы служат господам, – вплоть до омовения ног и приготовления обеда, так что, увидев эти благородные, искренние и непритворные услуги, можно было бы сказать:

О, сколь прекрасно все меж благородными![55]

74. Так Помпей прибыл в Амфиполь, а оттуда направился в Митилену, чтобы взять с собой Корнелию и сына. Став на якорь у берега, он отправил в город посланца с сообщением, но не с тем, какого ожидала Корнелия, которая, получая радостные вести и письма, надеялась, что исход войны решился при Диррахии и Помпею осталось только преследовать Цезаря. Вот в каком положении застал ее посланец и потому не решился ее приветствовать; скорее слезами, чем словами рассказав ей почти обо всех самых важных несчастиях, он попросил ее поспешить, если она желает увидеть Помпея, едущего на единственном корабле, и к тому же чужом. Услышав это, Корнелия упала на землю и долгое время лежала безмолвная, лишившаяся чувств; затем, с трудом придя в себя и сообразив, что теперь не время жаловаться и плакать, она бросилась бежать через город к морю. Помпей встретил ее и подхватил на руки, так как она снова едва не рухнула наземь. "Я вижу, о мой супруг, – сказала она, – что не твоя судьба, а моя бросила тебя на этот единственный корабль, тебя, который до женитьбы на Корнелии объезжал это море на пятистах кораблях. Зачем ты приехал повидаться со мною? Почему не оставил меня в жертву моему пагубному демону, меня, которая осквернила и тебя столь великим бедствием? Какой была бы я счастливой женщиной, если бы умерла до печального известия о кончине моего первого мужа Публия на войне с парфянами! Как благоразумно поступила бы, покончив с собой после его смерти, как я желала этого! Но я осталась жить на горе Помпею Магну!"

75. На это обращение Корнелии Помпей, как сообщают, отвечал так: "Да, Корнелия, до сих пор ты знала лишь один из моих жребиев – счастливый, и онто, быть может, тебя и обманул, потому что оставался неизменным дольше, чем это бывает обычно. Но мы – люди, и нам приходится терпеть и такую участь, как ныне, а потому следует еще раз попытать счастья. Ведь еще есть надежда из теперешнего положения вернуться к прежнему для того, кто сменил прежнее на теперешнее". В ответ на эти слова Корнелия послала в город за своими ве-

щами и слугами. Между тем митиленцы приветствовали Помпея и приглашали его прибыть в город. Помпей, однако, отклонил их предложение и посоветовал подчиниться победителю и не унывать, ибо Цезарь – человек благожелательный и мягкого характера. Затем Помпей вступил в беседу с философом Кратиппом, который прибыл из города, чтобы повидаться с ним, причем жаловался на провидение, высказывая свои сомнения на этот счет. Кратипп, согласившись с его доводами, пытался внушить ему лучшие надежды, чтобы не докучать ему неуместными возражениями. В противном же случае он мог бы легко доказать Помпею[56], что римскому государству из-за полного расстройства в делах правления необходимо единовластие. Затем он мог бы спросить: "Каким же образом и с помощью каких доводов, Помпей, мы убедимся, что ты, одержав верх, пользовался бы своим счастьем лучше, чем Цезарь? Нет, нам должно принимать свершившееся, смиряясь с волей богов".

76. Затем Помпей принял на корабль жену и друзей и продолжал плавание, заходя во все гавани, где была вода и продовольствие. Первым городом, куда он прибыл, была Атталия в Памфилии. Там к нему присоединилось несколько триер из Киликии, собрались воины, и снова при нем оказалось шестьдесят сенаторов. Когда Помпей узнал, что его флот стоит в боевой готовности, а Катон с большим войском переправился в Африку, он начал горько жаловаться на своих друзей и упрекать себя за то, что позволил уговорить себя дать сражение только на суше, без всякого участия морских сил, в которых он обладал бесспорным перевесом, и не держал флот наготове: в последнем случае, даже потерпев поражение на суше, он мог бы на море противопоставить противнику огромную мощь. Действительно, важнейшей ошибкой Помпея и самой ловкой военной хитростью Цезаря было то, что эта битва разыгралась в местности, расположенной так далеко от моря.

Между тем Помпей, вынужденный все же что-то предпринять, исходя из сложившегося положения дел, послал за помощью в окрестные города. Некоторые города он объезжал сам, требуя денег и снаряженных судов. Помпей опасался, однако, как бы враг со свойственной ему стремительностью и быстротой не захватил его самого врасплох, прежде чем будут закончены необходимые приготовления, и начал подыскивать себе убежище, где бы он мог в случае нужды найти приют. После совещания выяснилось, что ни одна провинция не годится для этой цели. Что же касается чужеземных царств, то сам Помпей высказал мнение, что парфянское царство меж них самое сильное и в состоянии не только принять и защитить их в теперешнем жалком положении, но и снова усилить и вернуть назад с огромным войском. Из остальных участников совещания большинство высказалось в пользу Африки и царя Юбы. Однако Феофан Лесбосский объявил, что ему представляется нелепым, оставив без внимания Египет, находящийся всего лишь в трех днях пути, и Птолемея, хотя еще и очень молодого человека, но по отцу обязанного Помпею дружбой и благодарностью[57], отдаться в руки парфян – самого вероломного из народов. Помпей, продолжал он, не желает уступить римлянину, своему бывшему тестю, первенство и удовольствоваться вторым после него местом, отказывается подвергнуть испытанию его великодушие, но готов отдаться на волю Арсака[58], который даже

Красса согласился принять под свою власть только мертвым. Он хочет свою молодую супругу из рода Сципионов отвезти в страну варваров, которые мерой своего могущества считают необузданное своеволие; пусть она даже и не подвергнется там никаким оскорблениям – все равно для нее было бы ужасно оказаться во власти тех, кто может их причинить. Это последнее обстоятельство, как говорят, одно лишь удержало Помпея от пути на Евфрат, если только он вообще руководился какими-либо соображениями, а не демон направлял его по этому пути.

77. Таким образом, верх одержало предложение отправиться в Египет, и Помпей с женой отплыл с Кипра на селевкийской триере; остальные спутники плыли вместе с ним частью на боевых, частью на грузовых кораблях. Море удалось пересечь беспрепятственно. Узнав затем, что Птолемей стоит с войском у Пелусия и ведет войну против своей сестры, Помпей двинулся туда, отправив вперед посланца объявить царю о своем прибытии и просить о помощи. Птолемей был еще очень молод. Потин, управлявший всеми делами, собрал совет самых влиятельных людей (их влияние зависело исключительно от его произвола) и велел каждому высказать свое мнение. Возмутительно было, что о Помпее Магне совет держали евнух Потин, хиосец Феодот – нанятый за плату учитель риторики, и египтянин Ахилла. Эти советники были самыми главными среди спальников и воспитателей царя. И решения такого-то совета должен был ожидать, стоя на якоре в открытом море вдали от берега, Помпей, который считал ниже своего достоинства быть обязанным своим спасением Цезарю!

Советники разошлись во мнениях: одни предлагали отправить Помпея восвояси, другие же – пригласить и принять. Феодот, однако, желая показать свою проницательность и красноречие, высказал мысль, что оба предложения представляют опасность: ведь, приняв Помпея, сказал он, мы сделаем Цезаря врагом, а Помпея своим владыкой; в случае же отказа Помпей, конечно, поставит нам в вину свое изгнание, а Цезарь – необходимость преследовать Помпея. Поэтому наилучшим выходом из положения было бы пригласить Помпея и затем убить его. В самом деле, этим мы окажем и Цезарю великую услугу, и Помпея нам уже не придется опасаться. “Мертвец не кусается”, – с улыбкой закончил он.

78. Советники одобрили этот замысел, возложив осуществление его на Ахиллу. Последний, взяв с собой некоего Септимия, ранее служившего военным трибуном у Помпея, Сальвия, который был у него центурионом, и трех или четырех слуг, вышел из гавани и направился к кораблю Помпея. На борту корабля находились в этот миг знатнейшие из спутников Помпея, чтобы наблюдать происходящее. Когда они заметили, что прием не отличается царственной пышностью и вовсе не соответствует ожиданиям Феофана, так как всего только несколько человек на одной рыбачьей лодке плывут навстречу кораблю, им показалось подозрительным это неуважение, и они стали советовать Помпею немедленно выйти в море, пока они находятся еще вне обстрела. Между тем лодка приблизилась, Септимий встал первым и, обратившись к Помпею по-латыни, назвал его императором. Ахилла же приветствовал его по-гречески и пригласил сойти в лодку, так как, дескать, здесь очень мелко и из-за песчаных отмелей

проплыть на триере невозможно. В это время спутники Помпея заметили несколько царских кораблей, на борт которых поднимались воины; берег был занят пехотинцами. Поэтому спастись бегством, даже если бы Помпей переменил свое решение, казалось немыслимым, а к тому же выказать недоверие означало бы дать убийцам оправдание в их преступлении. Итак, простившись с Корнелией, которая заранее оплакивала его кончину, Помпей приказал двоим центурионам, вольноотпущеннику Филиппу и рабу по имени Скиф спуститься в лодку. И когда Ахилла уже протянул ему с лодки руки, он повернулся к жене и сыну и произнес ямбы Софокла:

Когда к тиранну в дом войдет свободный муж,
Он в тот же самый миг рабом становится[59].

79. Это были последние слова, с которыми Помпей обратился к близким, затем он вошел в лодку. Корабль находился на значительном расстоянии от берега, и так как никто из спутников не сказал ему ни единого дружеского слова, то Помпей, посмотрев на Септимия, промолвил: "Если я не ошибаюсь, то узнаю моего старого соратника". Тот кивнул только головой в знак согласия, но ничего не ответил и видом своим не показал дружеского расположения. Затем последовало долгое молчание, в течение которого Помпей читал маленький свиток с написанной им по-гречески речью к Птолемею. Когда Помпей стал приближаться к берегу, Корнелия с друзьями в сильном волнении наблюдала с корабля за тем, что произойдет, и начала уже собираться с духом, видя, что к месту высадки стекается множество придворных, как будто для почетной встречи. Но в тот момент, когда Помпей оперся на руку Филиппа, чтобы легче было подняться, Септимий сзади пронзил его мечом, а затем вытащили свои мечи Сальвий и Ахилла. Помпей обеими руками натянул на лицо тогу, не сказав и не сделав ничего не соответствующего его достоинству; он издал только стон и мужественно принял удары. Помпей скончался пятидесяти девяти лет, назавтра после дня своего рождения.

80. Спутники Помпея на кораблях, как только увидели убийство, испустили жалобный вопль, слышный даже на берегу. Затем, подняв якоря, они поспешно обратились в бегство, причем сильный ветер помогал беглецам выйти в открытое море. Поэтому египтянам, которые пустились было за ними вслед, пришлось отказаться от своего намерения.

Убийцы отрубили Помпею голову, а нагое тело выбросили из лодки, оставив лежать напоказ любителям подобных зрелищ. Филипп не отходил от убитого, пока народ не насмотрелся досыта. Затем он обмыл тело морской водой и обернул его какой-то из своих одежд. Так как ничего другого под руками не было, он осмотрел берег и нашел обломки маленькой лодки, старые и трухлявые; все же их оказалось достаточно, чтобы послужить погребальным костром для нагого и к тому же изувеченного трупа. Когда Филипп переносил и складывал обломки, к нему подошел какой-то уже преклонного возраста римлянин, который еще в молодости участвовал в первых походах Помпея. "Кто ты такой, приятель, – спросил он Филиппа, – коли собираешься погребать Помпея Магна?" Когда тот ответил, что он вольноотпущенник Помпея, старик продолжал: "Эта

честь не должна принадлежать одному тебе! Прими и меня как бы в участники благочестивой находки, чтобы мне не во всем сетовать на свое пребывание на чужбине, которое после стольких тяжких превратностей дает мне случай исполнить, по крайней мере, хотя одно благородное дело – коснуться собственными руками и отдать последний долг великому полководцу римлян". Так совершалось погребение Помпея.

На следующий день прибыл с Кипра Луций Лентул; ничего не зная о происшедшем, он плыл вдоль берегов Египта. Увидев погребальный костер и стоящего рядом человека, но не узнав издали Филиппа, он вскричал: "Кто это свершил срок, определенный судьбой, и покоится здесь?", – а затем со вздохом прибавил: "Быть может, это ты, Помпей Магн!" Вскоре при высадке на берег он был схвачен и также казнен. Таков был конец Помпея.

Немного спустя Цезарь прибыл в Египет – страну, запятнавшую себя таким неслыханным злодеянием. Он отвернулся как от убийцы от того, кто принес ему голову Помпея, и, взяв кольцо Помпея, заплакал. На печатке был вырезан лев, держащий меч. Ахиллу и Потина Цезарь приказал казнить. Сам царь был разбит в сражении и утонул в реке. Софисту же Феодоту удалось ускользнуть от наказания, назначенного ему Цезарем, так как он бежал из Египта и скитался, ведя жалкую жизнь и ненавидимый всеми. Когда Марк Брут после убийства Цезаря завладел Азией, он отыскал там Феодота и приказал подвергнуть его мучительной казни.

Останки Помпея были переданы Корнелии, которая похоронила их в Альбанском имении.



[*Сопоставление*]

81(1). Так как жизнеописания этих двух людей у нас перед глазами, рассмотрим теперь вкратце и сопоставим их отличительные особенности.

Первая особенность состоит в том, что Помпей достиг могущества и прославился исключительно законными путями, по собственному почину оказав много важных услуг Сулле, когда тот освобождал Италию от тираннов. Что же касается Агесилая, то он, напротив, как кажется, овладел царской властью не безупречным – с точки зрения и божеских, и человеческих законов – способом. Так, он объявил незаконнорожденным Леотихида, которого его брат сам признал законным наследником, и выставил в смешном виде оракул о хромом царствовании.

Во-вторых, Помпей и при жизни Суллы постоянно воздавал диктатору подобающие почести, и после его кончины, вопреки противодействию Лепида, позаботился о погребении умершего и даже выдал свою дочь замуж за сына Суллы Фавста. Агесилай же, воспользовавшись случайным предлогом, отдалил от себя Лисандра и подверг его грубым оскорблениям. Услуги, оказанные Сулле

Помпеем, были не менее тех, какие оказал ему Сулла, тогда как Агесилая Лисандр сделал царем Спарты и полководцем всей Греции.

Третье различье состоит в том, что несправедливости, допускавшиеся Помпеем в государственных делах и судах, вызывались родственными связями. Действительно, Помпею приходилось быть соучастником большинства неблаговидных поступков Цезаря и Сципиона, каждый из которых был его тестем. С другой стороны, Сфодрия, которого должны были казнить за несправедливый поступок с афинянами, Агесилай избавил от заслуженной кары и из-за страсти своего сына, а решительную поддержку Фебиду, нарушителю мирного договора с фиванцами, он оказал, бесспорно, покрывая само преступление. Вообще, сколько вреда причинил Помпей римлянам, уступая друзьям или по неведению, столько же бед навлек Агесилай на лакедемонян, раздув пламя Беотийской войны в угоду своему пылкому честолюбию.

82(2). Если в неудачах обоих этих людей следует усматривать также и недоброжелательство судьбы, то участь Помпея оказалась совершенно неожиданной для римлян, лакедемоняне же заранее знали судьбу Агесилая, но он не дал им уберечься от хромого царствования. В самом деле, если бы Леотихид даже тысячу раз был уличен в том, что он чужеземец и незаконнорожденный, то, конечно, эврипонтидам не трудно было бы найти для Спарты законного царя со здоровыми ногами, если бы только Лисандр не заставил их забыть об оракуле. То целительное средство, которое в затруднительных обстоятельствах после несчастной битвы при Левктрах Агесилай применил к “убоявшимся”, предложив на один день позволить законам спать, обнаруживает его замечательную государственную мудрость, и в жизни Помпея нельзя найти ничего подобного. Последний не считал себя обязанным соблюдать им же самим установленные законы, чтобы показать друзьям свое могущество. Агесилай же, поставленный перед необходимостью ради спасения сограждан отменить законы, нашел средство, благодаря которому законы и не погубили граждан, и в то же время не были отменены, чтобы их не погубить. Неподражаемым примером государственной мудрости Агесилая мне представляется также и тот известный его поступок, когда он сразу же по получении скиталы прекратил свой азиатский поход. Агесилай не пользовался мощью государства в такой мере, как Помпей, и своим величием он обязан самому себе, но ради блага отечества он отказался от такого могущества и славы, какой никто не обладал ни прежде, ни после него, за исключением Александра.

83(3). С другой стороны, что касается походов и военных подвигов, то сам Ксенофонт[60], я думаю, не стал бы сравнивать победы Агесилая с числом трофеев Помпея, величиной армий, бывших под его начальством, количеством битв и одержанных им побед, хотя этому писателю ради его прочих достоинств предоставлено как бы преимущественное право писать и говорить об Агесилае что ему угодно.

Думается также, что Помпей своим милостивым отношением к врагам выгодно отличается от Агесилая. Последний хотел поработить Фивы и превратить в пустыню Мессену (хотя Мессена и Спарта владели равными долями в общем наследии[61], а Фивы были городом, откуда происходил его род) и из-за этого

чуть было не лишился самой Спарты и потерял владычество над Грецией. Помпей же не только поселил в городах пиратов, которые, изменив свое ремесло, перешли к новому образу жизни, но и сделал своим союзником побежденного армянского царя Тиграна, – которого мог бы провести пленником в своей триумфальной процессии, – заявив, что вечность для него ценнее одного дня.

Но если на войне следует отдавать предпочтение только важнейшим делам и планам, которые имели решительный успех, то лакедомонянин талантом полководца далеко превзошел римлянина. Действительно, во-первых, он не покинул и не отдал города врагам, хотя они вторглись в страну с семидесятитысячным войском, а у него была лишь горстка воинов, да к тому же потерпевших поражение при Левктрах. Помпей, напротив, в страхе бежал из Рима, едва только Цезарь с пятью тысячами тремястами человек захватил единственный город Италии: он либо малодушно отступил перед малочисленным противником, либо ошибочно счел врагов значительно сильнее. Кроме того, Помпей отправился в путь с женой и детьми, а семьи остальных граждан оставил беззащитными, между тем как ему следовало бы или победить, сражаясь за родину, или же принять мирные предложения сильнейшего противника, тем более, что тот был его согражданином и свойственником. А в результате как раз тому человеку, которому он считал опасным продлить срок командования или предоставить консульство, он дал возможность захватить Рим и объявить Метеллу, что он считает его самого и всех остальных своими пленниками.

84(4). Действуя в соответствии с непреложным и важнейшим для хорошего полководца правилом: будучи сильным – принуждать врага к сраженью, а чувствуя слабость – уклоняться от боя, Агесилай всегда оставался непобедимым. Цезарь, когда был слабее, ускользал от Помпея, чтобы не потерпеть пораженья, а лишь только стал сильнее, то заставил его в одном сухопутном сраженье рискнуть всем, что было в его руках, и сразу завладел богатствами, продовольствием и господством на море; если бы все это по-прежнему оставалось в руках врага, то последний мог бы покончить с Цезарем без всякой битвы. То, что при этом приводят в качестве наилучшего оправдания, служит самым сильным упреком опытному полководцу. Действительно, для молодого полководца (к тому же еще смущенного криком и шумом своих воинов и недостаточно сильного, чтобы противостоять их требованиям) было бы естественно и простительно отказаться от своих самых надежных расчетов. Но кто может найти извинение тому, что Помпей Магн, чей лагерь римляне называли отечеством, а палатку – сенатом, считая отступниками и предателями тех, кто вершил государственными делами в Риме, о котором было известно, что он никогда не подчинялся никакому начальнику, но все свои походы с великой славой проделал главнокомандующим, – кто найдет извинение тому, повторяю я, что такой человек из-за пустяков, из-за шуток Фавония и Домиция, из-за того, чтобы его не называли Агамемноном, ринулся в опасное сраженье, рискуя верховной властью и свободой? Если он принимал в расчет славу и позор лишь одного дня, он должен был бы сразу начать сопротивление врагу и защищать Рим, а, выдавая свое бегство за Фемистоклову военную хитрость, не должен был впоследствии считать позорным промедление перед битвой в Фессалии. Ведь божество не указало именно

на Фарсальскую равнину как на арену для битвы за господство над миром, и глашатай не призывал соперников спуститься на равнину и не увенчал одного из них венком. Напротив, господствуя на море, Помпей имел возможность выбрать множество других равнин, тысячи городов; наконец, в его распоряжении был бы весь мир, если бы он только захотел подражать Фабию Максиму, Марию, Лукуллу и даже самому Агесилаю. Этому последнему не только в Спарте пришлось выдержать такое же мятежное недовольство сограждан, которые хотели защищать от фиванцев свою землю, но также и в Египте терпеливо выносить подозрения и клеветнические обвинения со стороны царя, которому он советовал сохранять спокойствие. Агесилай, умея быть настойчивым в выполнении своих планов, раз уж он признал их наилучшими, не только спас египтян против их воли и постоянно оберегал Спарту во время столь сильных потрясений, но даже воздвиг в самом городе памятник победы над фиванцами, дав согражданам возможность вновь одержать победу, благодаря тому что раньше не дал им пасть жертвой собственного своеволия. Поэтому впоследствии Агесилая хвалили те, своеволию которых он противился. Напротив, Помпея, который допускал ошибки по вине других, порицали те самые люди, которые побуждали его их совершать.

Некоторые утверждают, однако, что его обманул тесть Сципион, похитив и утаив большую часть денег, привезенных из Азии, с тем, чтобы заставить Помпея дать сражение, так как иначе-де не хватит денег. Если бы это даже было и верно, все же полководец не должен, попав в подобные обстоятельства, так легко позволить себя обмануть, не должен опрометчиво идти на риск решительного сражения. Вот в чем мы усматриваем различие между этими двумя людьми.

85(5). Помпей отплыл в Египет по необходимости, как изгнанник, Агесилай же отправился туда не по необходимости, но и не из благородных побуждений, а ради денег, чтобы на средства, полученные от варваров, воевать против греков. Затем то самое, в чем мы виним египтян, погубивших Помпея, египтяне ставят в вину Агесилаю. Действительно, Помпей доверился им и поплатился за это жизнью, Агесилай же был облечен египтянами полным доверием, но покинул на произвол судьбы тех, к кому он прибыл на помощь, перейдя на сторону их врагов.





АЛЕКСАНДР И ЦЕЗАРЬ

АЛЕКСАНДР

1. Описывая в этой книге жизнь царя Александра и жизнь Цезаря, победителя Помпея, мы из-за множества событий, которые предстоит рассмотреть, не предпошлем этим жизнеописаниям иного введения, кроме просьбы к читателям не винить нас за то, что мы перечислим не все знаменитые подвиги этих людей, не будем обстоятельно разбирать каждый из них в отдельности, и наше изложение по большей части будет кратким. Мы пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов. Подобно тому, как художники, мало обращая внимания на прочие части тела, добиваются сходства благодаря точному изображению лица и выражения глаз, в которых проявляется характер человека, так и нам пусть будет позволено углубиться в изучение признаков, отражающих душу человека, и на основании этого составлять каждое жизнеописание, предоставив другим воспевать великие дела и битвы.

2. Происхождение Александра не вызывает никаких споров: со стороны отца он вел свой род от Геракла через Карана, а со стороны матери – от Эака через Неоптолема[1]. Сообщают, что Филипп был посвящен в Самофракийские таинства[2] одновременно с Олимпиадой, когда он сам был еще отроком, а она девочкой, потерявшей своих родителей. Филипп влюбился в нее и сочетался с ней браком, добившись согласия ее брата Арибба. Накануне той ночи, когда невесту с женихом закрыли в брачном покое, Олимпиаде привиделось, что раздался удар грома и молния ударила ей в чрево, и от этого удара вспыхнул сильный огонь; языки пламени побежали во всех направлениях и затем угасли. Спустя некоторое время после свадьбы Филиппу приснилось, что он запечатал чрево жены: на печати, как ему показалось, был вырезан лев. Все предсказатели истолковывали этот сон в том смысле, что Филиппу следует строже охранять свои супружеские права, но Аристандр из Тельмесса сказал, что Олимпиада беременна, ибо ничего пустого не запечатывают, и что беременна она сыном, который будет обладать отважным, львиным характером. Однажды увидели также змея, который лежал, вытянувшись вдоль тела спящей Олимпиады; говорят, что это больше, чем что-либо другое, охладило влечение и любовь Филиппа к жене и он стал реже проводить с нею ночи – то ли потому, что боялся, как бы женщина его не околдовала или же не опоила, то ли считая, что она связана с высшим существом, и потому избегая близости с ней. О том же самом существует и другой

рассказ. Издревле все женщины той страны участвуют в орфических таинствах и в оргиях в честь Диониса; участниц таинств называют клодонками и мималлонками, а действия их во многом сходны с обрядами эдонянок, а также фракиянок, живущих у подножья Гемоса (этим последним, по-моему, обязано своим происхождением слово "фрэскэуэйн" [thrēskeúein], служащее для обозначения неумеренных, сопряженных с излишествами священнодействий). Олимпиада ревностнее других была привержена этим таинствам и неистовствовала совсем по-варварски; во время торжественных шествий она несла больших ручных змей, которые часто наводили страх на мужчин, когда, выползая из-под плюща и из священных корзин, они обвивали тирсы и венки женщин.

3. После явившегося ему знамения Филипп отправил в Дельфы мегалополитанца Херона, и тот привез ему оракул Аполлона, предписывавший приносить жертвы Аммону и чтить этого бога больше всех других. Говорят также, что Филипп потерял тот глаз[3], которым он, подглядывая сквозь щель в двери, увидел бога, спавшего в образе змея с его женой. Как сообщает Эратосфен, Олимпиада, провожая Александра в поход, ему одному открыла тайну его рождения и настоятельно просила его не уронить величия своего происхождения. Другие историки, наоборот, рассказывают, что Олимпиада опровергала эти толки и восклицала нередко: "Когда же Александр перестанет оговаривать меня перед Герой?"

Александр родился в шестой день месяца гекатомбеона, который у македонян называется лой, в тот самый день, когда был сожжен храм Артемиды Эфесской. По этому поводу Гегесий из Магнесии произнес остроту, от которой веет таким холодом, что он мог бы заморозить пламя пожара, уничтожившего храм. "Нет ничего удивительного, – сказал он, – в том, что храм Артемиды сгорел: ведь богиня была в это время занята, помогая Александру появиться на свет". Находившиеся в Эфесе маги считали несчастье, приключившееся с храмом, предвестием новых бед; они бегали по городу, били себя по лицу и кричали, что этот день породил горе и великое бедствие для Азии. Филипп, который только что завоевал Потидею, одновременно получил три известия: во-первых, что Парменион в большой битве победил иллирийцев, во-вторых, что принадлежавшая ему скаковая лошадь одержала победу на Олимпийских играх, и, наконец, третье – о рождении Александра. Вполне понятно, что Филипп был сильно обрадован, а предсказатели умножили его радость объявив, что сын, рождение которого совпало с тремя победами, будет непобедим.

4. Внешность Александра лучше всего передают статуи Лисиппа, и сам он считал, что только этот скульптор достоин ваять его изображения. Этот мастер сумел точно воспроизвести то, чему впоследствии подражали многие из преемников и друзей царя, – легкий наклон шеи влево и томность взгляда. Апеллес, рисуя Александра в образе громовержца, не передал свойственный царю цвет кожи, а изобразил его темнее, чем он был на самом деле. Как сообщают, Александр был очень светлым, и белизна его кожи переходила местами в красноту, особенно на груди и на лице. Кожа Александра очень приятно пахла, а изо рта и от всего тела исходило благоухание[4], которое передавалось его одежде, – это я читал в записках Аристоксена. Причиной этого, возможно, была температура

его тела, горячего и огненного, ибо, как думает Феофраст, благовоние возникает в результате воздействия теплоты на влагу. Поэтому больше всего благовоний, и притом самых лучших. производят сухие и жаркие страны, ибо солнце удаляет с поверхности тел влагу, которая дает пищу гниению. Этой же теплотой тела, как кажется, порождалась у Александра и склонность к пьянству и вспыльчивость.

Еще в детские годы обнаружилась его воздержность: будучи во всем остальном неистовым и безудержным, он был равнодушен к телесным радостям и предавался им весьма умеренно; честолюбие же Александра приводило к тому, что его образ мыслей был не по возрасту серьезным и возвышенным. Он любил не всякую славу и искал ее не где попало, как это делал Филипп, подобно софисту хваставшийся своим красноречием и увековечивший победы своих колесниц в Олимпии изображениями на монетах. Однажды, когда приближенные спросили Александра, отличавшегося быстротой ног, не пожелает ли он состязаться в беге на Олимпийских играх, он ответил: "Да, если моими соперниками будут цари!" Вообще Александр, по-видимому, не любил атлетов: он устраивал множество состязаний трагических поэтов, флейтистов, кифаредов и рапсодов, а также различные охотничьи соревнования и бои на палках, но не проявлял никакого интереса к кулачным боям или к панкратию и не назначал наград их участникам.

5. Когда в отсутствие Филиппа в Македонию прибыли послы персидского царя, Александр, не растерявшись, радушно их принял; он настолько покорил послов своей приветливостью и тем, что не задал ни одного детского или малозначительного вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог, о способах путешествия в глубь Персии, о самом царе – каков он в борьбе с врагами, а также о том, каковы силы и могущество персов, что они немало удивлялись и пришли к выводу, что прославленные способности Филиппа меркнут перед величием замыслов и стремлений этого мальчика. Всякий раз, как приходило известие, что Филипп завоевал какой-либо известный город или одержал славную победу, Александр мрачнел, слыша это, и говорил своим сверстникам: "Мальчики, отец успеет захватить все, так что мне вместе с вами не удастся совершить ничего великого и блестящего". Стремясь не к наслаждению и богатству, а к доблести и славе, Александр считал, что чем больше получит он от своего отца, тем меньше сможет сделать сам. Возрастание македонского могущества порождало у Александра опасения, что все великие деяния будут совершены до него, а он хотел унаследовать власть, чреватую не роскошью, удовольствиями и богатством, но битвами, войнами и борьбою за славу.

Само собой разумеется, что образованием Александра занимались многочисленные воспитатели, наставники и учителя, во главе которых стоял родственник Олимпиады Леонид, муж сурового нрава; хотя сам Леонид и не стыдился звания воспитателя и дядьки, звания по существу прекрасного и достойного, но из уважения к нему и его родственным связям все называли его руководителем и наставником Александра. Дядькой же по положению и по званию был Лисимах, акарнанец родом. В этом человеке не было никакой утонченности, но лишь за то, что он себя называл Фениксом[5], Александра – Ахиллом, а Фи-

липпа – Пелеем, его высоко ценили и среди воспитателей он занимал второе место.

6. Фессалиец Филоник привел Филиппу Букефала[6], предлагая продать его за тринадцать талантов, и, чтобы испытать коня, его вывели на поле. Букефал оказался диким и неукротимым; никто из свиты Филиппа не мог заставить его слушаться своего голоса, никому не позволял он сесть на себя верхом и всякий раз взвивался на дыбы. Филипп рассердился и приказал увести Букефала, считая, что объездить его невозможно. Тогда присутствовавший при этом Александр сказал: "Какого коня теряют эти люди только потому, что по собственной трусости и неловкости не могут укротить его". Филипп сперва промолчал, но когда Александр несколько раз с огорчением повторил эти слова, царь сказал: "Ты упрекаешь старших, будто больше их смыслишь или лучше умеешь обращаться с конем". "С этим, по крайней мере, я справлюсь лучше, чем кто-либо другой", – ответил Александр. "А если не справишься, какое наказание понесешь ты за свою дерзость?" – спросил Филипп. "Клянусь Зевсом, – сказал Александр, – я заплачу то, что стоит конь!" Поднялся смех, а затем отец с сыном побились об заклад на сумму, равную цене коня. Александр сразу подбежал к коню, схватил его за узду и повернул мордой к солнцу: по-видимому, он заметил, что конь пугается, видя впереди себя колеблющуюся тень. Некоторое время Александр пробежал рядом с конем, поглаживая его рукой. Убедившись что Букефал успокоился и дышит полной грудью, Александр сбросил с себя плащ и легким прыжком вскочил на коня. Сперва, слегка натянув поводья, он сдерживал Букефала, не нанося ему ударов и не дергая за узду. Когда же Александр увидел, что норов коня не грозит больше никакою бедой и что Букефал рвется вперед, он дал ему волю и даже стал понукать его громкими восклицаниями и ударами ноги. Филипп и его свита молчали, объятые тревогой, но когда Александр, по всем правилам повернув коня, возвратился к ним, гордый и ликующий, все разразились громкими криками. Отец, как говорят, даже прослезился от радости, поцеловал сошедшего с коня Александра и сказал: "Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала!"

7. Филипп видел, что Александр от природы упрям, а когда рассердится, то не уступает никакому насилию, но зато разумным словом его легко можно склонить к принятию правильного решения; поэтому отец старался больше убеждать, чем приказывать. Филипп не решался полностью доверить обучение и воспитание сына учителям музыки и других наук, входящих в круг общего образования, считая, что дело это чрезвычайно сложное и, как говорит Софокл,

Кормило нужно тут и твердая узда[7].

Поэтому царь призвал Аристотеля[8], самого знаменитого и ученого из греческих философов, а за обучение расплатился с ним прекрасным и достойным способом: Филипп восстановил им же самим разрушенный город Стагиру, откуда Аристотель был родом, и возвратил туда бежавших или находившихся в рабстве граждан. Для занятий и бесед он отвел Аристотелю и Александру рощу около Миезы[9], посвященную нимфам, где и поныне показывают каменные скамьи, на которых сидел Аристотель, и тенистые места, где он гулял со своим уче-

ником. Александр, по-видимому, не только усвоил учения о нравственности и государстве, но приобщился и к тайным, более глубоким учениям, которые философы называли "устными" и "скрытыми"[10] и не предавали широкой огласке. Находясь уже в Азии, Александр узнал, что Аристотель некоторые из этих учений обнародовал в книгах, и написал ему откровенное письмо[11] в защиту философии, текст которого гласит: "Александр Аристотелю желает благополучия! Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь здоров". Успокаивая уязвленное честолюбие Александра, Аристотель оправдывается, утверждая, что эти учения хотя и обнародованы, но вместе с тем как бы и не обнародованы. В самом деле, сочинение о природе было с самого начала предназначено для людей образованных и совсем не годится ни для преподавания, ни для самостоятельного изучения.

8. Мне кажется, что и любовь к врачеванию Александру более, чем кто-либо другой, внушил Аристотель[12]. Царь интересовался не только отвлеченной стороной этой науки, но, как можно заключить из его писем, приходил на помощь заболевшим друзьям, назначая различные способы лечения и лечебный режим. Вообще Александр от природы был склонен к изучению наук и чтению книг. Он считал, и нередко говорил об этом, что изучение "Илиады" – хорошее средство для достижения военной доблести. Список "Илиады", исправленный Аристотелем и известный под названием "Илиада из шкатулки"[13], он всегда имел при себе, храня его под подушкой вместе с кинжалом, как об этом сообщает Онесикрит. Так как в глубине Азии Александр не имел под рукой никаких иных книг, Гарпал по приказу царя прислал ему сочинения Филиста, многие из трагедий Эврипида, Софокла и Эсхила, а также дифирамбы Телеста и Филоксена. Александр сначала восхищался Аристотелем и, по его собственным словам, любил учителя не меньше, чем отца, говоря, что Филиппу он обязан тем, что живет, а Аристотелю тем, что живет достойно. Впоследствии царь стал относиться к Аристотелю с подозрительностью, впрочем не настолько большою, чтобы причинить ему какой-либо вред, но уже самое ослабление его любви и привязанности к философу было свидетельством отчуждения. Однако врожденные и привитые ему с детства рвение и страсть к философии не угасли в душе Александра, как это доказывают почести, оказанные им Анаксарху, пятьдесят талантов, посланные Ксенократу, и заботы о Дандамиде и Калане.

9. Когда Филипп пошел походом против византийцев, Александр, которому было только шестнадцать лет, остался правителем Македонии, и ему была доверена государственная печать. За это время Александр покорил восставших медов, захватил их город, изгнал оттуда варваров и, заселив его переселенцами из различных мест, назвал Александрополем. Александр участвовал также в битве с греками при Херонее и, говорят, первый бросился в бой со священным отрядом фиванцев[14]. И в наши дни показывают старый дуб у реки Кефиса – так называемый дуб Александра, возле которого стояла его палатка; неподалеку находятся могилы македонян. За все это Филипп, естественно, очень любил сы-

на, так что даже радовался, когда македоняне называли Александра своим царем, а Филиппа полководцем.

Однако неприятности в царской семье, вызванные браками и любовными похождениями Филиппа, перешагнули за пределы женской половины его дома и стали влиять на положение дел в государстве; это порождало многочисленные жалобы и жестокие раздоры, которые усугублялись тяжестью нрава ревнивой и скорой на гнев Олимпиады, постоянно восстанавливавшей Александра против отца. Самая сильная ссора между ними произошла по вине Аттала на свадьбе Клеопатры, молодой девушки, с которой Филипп вступал в брак, влюбившись в нее несмотря на свой возраст. Аттал, дядя невесты, опьянев во время пиршества, стал призывать македонян молить богов, чтобы у Филиппа и Клеопатры родился законный наследник престола. Взбешенный этим Александр вскричал: "Так что же, негодяй, я по-твоему незаконнорожденный, что ли?" – и швырнул в Аттала чашу. Филипп бросился на сына, обнажив меч, но по счастью для обоих гнев и вино сделали свое дело: царь споткнулся и упал. Александр, издеваясь над отцом, сказал: "Смотрите люди! Этот человек, который собирается переправиться из Европы в Азию[15], растянулся, переправляясь от ложа к ложу". После этой пьяной ссоры Александр забрал Олимпиаду и, устроив ее жить в Эпире, сам поселился в Иллирии. В это время коринфянин Демарат, связанный с царским домом узами гостеприимства и пользовавшийся поэтому правом свободно говорить с царем, приехал к Филиппу. После первых приветствий и обмена любезностями Филипп спросил его, как ладят между собою греки. "Что и говорить, Филипп, кому как не тебе заботиться о Греции, – отвечал Демарат, – тебе, который в свой собственный дом внес распрю и беды!" Эти слова заставили Филиппа одуматься, и он послал за Александром, уговорив его, через посредничество Демарата, вернуться домой.

10. Когда Пиксодар, сатрап Карии, стремясь заключить военный союз с Филиппом, задумал породниться с ним и предложил свою старшую дочь в жены сыну царя Арридею, он послал с этой целью в Македонию Аристокрита. Опять пошли разговоры; и друзья и мать Александра стали клеветать на его отца, утверждая, будто Филипп блестящей женитьбой и сильными связями хочет обеспечить Арридею царскую власть. Весьма обеспокоенный этим Александр послал трагического актера Фессала в Карию, поручив ему убедить Пиксодара отвергнуть незаконнорожденного и к тому же слабоумного Арридея, а вместо этого породниться с Александром. Этот план понравился Пиксодару гораздо больше первоначального. Узнав об этом, Филипп...* вошел в комнату Александра вместе с одним из его близких друзей – Филотом, сыном Пармениона. Царь горько корил сына и резко бранил его, называя человеком низменным, недостойным своего высокого положения, раз он хочет стать зятем карийца, подвластного царю варваров. Коринфянам же Филипп написал, чтобы они, заковав Фессала в цепи, прислали его в Македонию, Из остальных друзей Александра Филипп изгнал из Македонии Гарпала, Неарха, а также Эригия и Птолемея; впоследствии Александр вернул их и осыпал величайшими почестями.

*Текст в оригинале испорчен.

Когда Павсаний, потерпевший жестокую обиду из-за Аттала и Клеопатры, не нашел справедливости у Филиппа и убил его, то в этом преступлении больше всего обвиняли Олимпиаду, утверждая, будто она подговорила и побудила к действию разъяренного молодого человека. Обвинение коснулось и Александра: шли толки, что, когда после нанесенного ему оскорбления Павсаний встретил Александра и пожаловался ему на свою судьбу, тот ответил стихом из "Медеи":

Всем отмстить – отцу, невесте, жениху[16].

Тем не менее, разыскав участников заговора, Александр наказал их и очень возмущался тем, что Олимпиада в его отсутствие жестоко расправилась с Клеопатрой.

11. Итак, двадцати лет от роду Александр получил царство, которому из-за сильной зависти и страшной ненависти соседей грозили со всех сторон опасности. Варварские племена не хотели быть рабами, но стремились восстановить искони существовавшую у них царскую власть; что же касается Греции, то Филипп, покоривший ее силой оружия, не успел принудить греков смириться и покорно нести свое бремя. Филипп только перевернул и смешал там все, оставив страну в великом разброде и волнении, вызванном непривычным порядком вещей. Все это внушало македонянам опасения, и они считали, что Александру вовсе не следует вмешиваться в дела Греции и прибегать там к насилию, а восставших варваров надо привести к покорности, не обращаясь к жестоким мерам и стараясь пресекать попытки к перевороту в самом зародыше. Александр придерживался противоположного мнения и стремился добиться безопасности и спасти положение дерзостью и неустрашимостью, так как полагал, что, прояви он хоть малейшую уступчивость, и все враги тотчас на него набросятся. Волнениям среди варваров и войнам в их землях он сразу же положил конец, быстро пройдя с войском вплоть до реки Истра, где он в большой битве разбил царя трибаллов Сирма. Узнав, что фиванцы восстали и что афиняне в союзе с ними, Александр немедленно повел свои войска через Фермопилы и объявил, что он хочет, чтобы Демосфен, который назвал его мальчиком[17], когда он воевал с иллирийцами и трибаллами, и подростком, когда он достиг Фессалии, увидел его мужчиной под стенами Афин. Подойдя к Фивам, Александр, желая еще раз дать жителям возможность раскаяться в содеянном, потребовал выдать только Феника и Протита и обещал безнаказанность тем, что перейдет на его сторону. Фиванцы, с своей стороны, потребовали выдачи Филота и Антипатра и призвали тех, кто хочет помочь освобождению греков, перейти на их сторону. Тогда Александр приказал македонянам начать сражение. Фиванцы бились с мужеством и доблестью, превышавшими их силы, оказывая сопротивление врагу во много раз более многочисленному. Однако, когда македонский гарнизон, занимавший Кадмею, выйдя из крепости, напал на них с тыла, большинство фиванцев попало в окружение и погибло в битве. Город был взят, разграблен и стерт с лица земли. Александр рассчитывал, что греки, потрясенные таким бедствием, впредь из страха будут сохранять спокойствие; кроме того, он оправдывал свои действия тем, что удовлетворил своих союзников, ибо фокейцы и платейцы вы-

двигали против фиванцев ряд обвинений. Пощадив только жрецов, граждан, связанных с македонянами узами гостеприимства, потомков Пиндара[18], а также тех, кто голосовал против восстания, Александр продал всех остальных в рабство, а их оказалось более тридцати тысяч. Убитых было более шести тысяч.

12. Среди многочисленных бедствий и несчастий, постигших город, произошло следующее. Несколько фракийцев ворвались в дом Тимоклеи[19], женщины добродетельной и пользовавшейся доброй славой. Пока фракийцы грабили имущество Тимоклеи, их предводитель насильно овладел женщиной, а потом спросил ее, не спрятала ли она где-нибудь золото или серебро. Тимоклея ответила утвердительно и, отведя фракийца в сад, показала колодец, куда, по ее словам, она бросила во время взятия города самые ценные из своих сокровищ. Фракиец наклонился над колодцем, чтобы заглянуть туда, а Тимоклея, став сзади, столкнула его вниз и бросала камни до тех пор, пока не убила врага. Когда связанную Тимоклею привели к Александру, уже по походке и осанке можно было судить о величии духа этой женщины – так спокойно и бесстрашно следовала она за ведущими ее фракийцами. На вопрос царя, кто она такая, Тимоклея ответила, что она сестра полководца Феагена, сражавшегося против Филиппа за свободу греков и павшего при Херонее. Пораженный ее ответом и тем, что она сделала, Александр приказал отпустить на свободу и женщину и ее детей.

13. Александр заключил мир с афинянами, несмотря на то, что они проявили большое сочувствие к бедствию, постигшему Фивы: уже начав справлять таинства, они в знак траура отменили праздник и оказали всяческую поддержку беглецам из Фив. То ли потому, что Александр, подобно льву, уже насытил свой гнев, то ли потому, что он хотел противопоставить жесточайшему и бесчеловечнейшему деянию милосердный поступок, однако царь не только простил афинянам все их провинности, но даже дал им наказ внимательно следить за положением дел в стране: по его мысли, в том случае если бы с ним случилась беда, именно Афинам предстояло править Грецией. Говорят, что впоследствии Александр не раз сожалел о несчастье фиванцев и это заставляло его со многими из них обходиться милостиво. Более того, убийство Клита, совершенное им в состоянии опьянения, и трусливый отказ македонян следовать за ним против индийцев, отказ, который оставил его поход незавершенным, а славу не полной, – все это Александр приписывал гневу и мести Диониса[20]. Из оставшихся в живых фиванцев не было ни одного, кто бы впоследствии, придя к царю и попросив у него что-нибудь, получил отказ. Вот то, что касается Фив.

14. Собравшись на Истме и постановив вместе с Александром идти войной на персов, греки провозгласили его своим вождем. В связи с этим многие государственные мужи и философы приходили к царю и выражали свою радость. Александр предполагал, что так же поступит и Диоген из Синопы, живший тогда возле Коринфа. Однако Диоген, ни мало не заботясь об Александре, спокойно проводил время в Крании[21], и царь отправился к нему сам. Диоген лежал и грелся на солнце. Слегка приподнявшись при виде такого множества приближающихся к нему людей, философ пристально посмотрел на Александра. Поздоровавшись, царь спросил Диогена, нет ли у него какой-нибудь просьбы: "Отступи чуть в сторону, – ответил тот, – не заслоняй мне солнца". Говорят, что слова Ди-

огена произвели на Александра огромное впечатление и он был поражен гордостью и величием души этого человека, отнесшегося к нему с таким пренебрежением. На обратном пути он сказал своим спутникам, шутившим и насмехавшимся над философом: "Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном".

Желая вопросить бога о предстоящем походе, Александр прибыл в Дельфы. Случилось так, что его приезд совпал с одним из несчастливых дней, когда закон не позволяет давать предсказания. Сначала Александр послал за прорицательницей, но так как она, ссылаясь на закон, отказалась прийти, Александр пошел за ней сам, чтобы силой притащить ее в храм. Тогда жрица, уступая настойчивости царя, воскликнула: "Ты непобедим, сын мой!" Услышав это, Александр сказал, что он не нуждается больше в прорицании, так как уже получил оракул, который хотел получить.

Когда Александр выступил в поход, среди прочих знамений, которые явило ему божество, было вот какое: в эти дни с находившейся в Либетрах[22] деревянной статуи Орфея (она была сделана из кипарисового дерева) обильно капал пот. Все боялись этого знамения, но Аристандр призвал не терять мужества, говоря, что Александр совершит подвиги, достойные песен и сказаний, и тем заставит потеть и трудиться певцов и сочинителей гимнов.

15. Войско Александра состояло, по сообщению тех, которые указывают наименьшее число, из тридцати тысяч пехотинцев и четырех тысяч всадников, а по сведениям тех, которые называют наибольшее, – из сорока трех тысяч пехотинцев и пяти тысяч всадников. Средств на содержание войска у Александра было, как сообщает Аристобул, не более семидесяти талантов, по словам Дурида, продовольствия было только на тридцать дней, кроме того, по сведениям Онесикрита, царь задолжал двести талантов. Несмотря на то, что при выступлении Александр располагал столь немногим и был так стеснен в средствах, царь прежде, чем взойти на корабль, разузнал об имущественном положении своих друзей и одного наделил поместьем, другого – деревней, третьего – доходами с какого-нибудь поселения или гавани. Когда, наконец, почти все царское достояние было распределено и роздано, Пердикка спросил его: "Что же, царь, оставляешь ты себе?" "Надежды!" – ответил Александр. "В таком случае, – сказал Пердикка, – и мы, выступающие вместе с тобой, хотим иметь в них долю". Пердикка отказался от пожалованного ему имущества, и некоторые из друзей Александра последовали его примеру. Тем же, кто просил и принимал его благодеяния, Александр дарил охотно, и таким образом он роздал почти все, чем владел в Македонии.

С такой решимостью и таким образом мыслей Александр переправился через Геллеспонт. Прибыв к Илиону, Александр принес жертвы Афине и совершил возлияния героям. У надгробия Ахилла он, согласно обычаю, умастил тело и нагой состязался с друзьями в беге вокруг памятника; затем, возложив венок, он сказал, что считает Ахилла счастливцем, потому что при жизни он имел преданного друга, а после смерти – великого глашатая своей славы[23]. Когда царь проходил по Илиону и осматривал достопримечательности, кто-то спросил его, не хочет ли он увидеть лиру Александра[24]. Царь ответил, что она его нисколько

не интересует, разыскивает же он лиру Ахилла, под звуки которой тот воспевал славу и подвиги доблестных мужей.

16. Между тем полководцы Дария собрали большое войско и построили его у переправы через Граник. Сражение было неизбежно, ибо здесь находились как бы ворота Азии, и, чтобы начать вторжение, надо было биться за право входа. Однако многих пугала глубина реки, обрывистость и крутизна противоположного берега, который предстояло брать с боем. Некоторые полагали также, что следует считаться с обычаем, установившимся в отношении месяца десия: в этом месяце македонские цари обыкновенно не начинали походов. Однако Александр поправил дело, приказав называть этот месяц вторым артемисием[25]. Пармениону, который настаивал на том, что в такое позднее время дня переправа слишком рискованна, Александр ответил, что ему будет стыдно перед Геллеспонтом, если, переправившись через пролив, он убоится Граника, и с тринадцатью илами[26] всадников царь бросился в реку. Он вел войско навстречу неприятельским копьям и стрелам на обрывистые скалы, усеянные пехотой и конницей врага, через реку, которая течением сносила коней и накрывала всадников с головой, и казалось, что им руководит не разум, а безрассудство и что он действует, как безумец. Как бы то ни было, Александр упорно продолжал переправу и ценой огромного напряжения сил овладел противоположным берегом, мокрым и скользким, так как почва там была глинистая. Тотчас пришлось начать беспорядочное сражение, воины по-одному вступали в рукопашный бой с наступавшим противником, пока, наконец, удалось построить войско хоть в какой-то боевой порядок. Враги нападали с криком, направляя конницу против конницы; всадники пускали в ход копья, а когда копья сломались, стали биться мечами. Многие устремились на Александра, которого легко было узнать по щиту и по султану на шлеме: с обеих сторон султана было по перу удивительной величины и белизны. Пущенный в царя дротик пробил сгиб панциря, но тела не коснулся. Тут на Александра одновременно бросились два персидских военачальника, Ресак и Спифридат. От одного царь увернулся, а на Ресака напал первым и ударил его копьем, но копье от удара о панцирь сломалось, и Александр взялся за меч. Спифридат, остановив коня сбоку от сражавшихся и быстро приподнявшись в седле, нанес Александру удар персидской саблей. Гребень шлема с одним из перьев отлетел и шлем едва выдержал удар, так что острие сабли коснулось волос Александра. Спифридат снова приподнялся, но перса опередил Клит, по прозвищу Черный, пронзив его насквозь копьем. Одновременно упал и Ресак, пораженный мечом Александра.

Пока конница Александра вела этот опасный бой, македонская фаланга переправилась через реку и сошлась с пехотой противника. Персы сопротивлялись вяло и недолго; в скором времени все, кроме греческих наемников, обратились в бегство. Эти последние, сомкнув ряды у подножья какого-то холма, были готовы сдаться при условии, если Александр обещает им безопасность. Однако, руководясь скорее гневом, чем расчетом, Александр напал на них первым и при этом потерял своего коня, пораженного в бок мечом (это был не Букефал, а другой конь). Именно в этой схватке больше всего македонян было ранено и убито, так как сражаться пришлось с людьми воинственными и отчаявши-

мися в спасении. Передают, что варвары потеряли двадцать тысяч пехотинцев и две тысячи пятьсот всадников. Аристобул сообщает, что в войске Александра погибло всего тридцать четыре человека, из них девять пехотинцев. Александр приказал воздвигнуть бронзовые статуи погибших; статуи эти изваял Лисипп. Разделяя часть победы с греками, царь особо выделил афинянам триста захваченных у врага щитов, а на остальной добыче приказал от имени всех победителей сделать гордую надпись: "Александр, сын Филиппа, и греки, за исключением лакедемонян, взяли у варваров, населяющих Азию". Кубки, пурпурные ткани и другие вещи подобного рода, захваченные у персов, за небольшим исключением, Александр отослал матери.

17. Это сражение сразу изменило положение дел в пользу Александра, и он занял Сарды – главную твердыню приморских владений варваров. Многие города и области также подчинились ему, сопротивление оказали только Галикарнас и Милет. Овладев силой этими городами и подчинив окрестные земли, Александр стал думать, что делать дальше, и много раз менял свои решения: то он хотел поскорее встретиться с Дарием для решающей битвы, то останавливался на мысли сперва воспользоваться богатствами приморских областей и лишь потом, усилившись, идти против царя.

Недалеко от города Ксанфа, в Ликии, есть источник, который, говорят, как раз в это время без всякой видимой причины пришел в волнение, разлился и вынес из глубины медную таблицу со следами древних письмен. Там было начертано, что персидскому государству придет конец и что оно будет разрушено греками. Вдохновленный этим предсказанием, Александр поспешил освободить от персов приморские области вплоть до Финикии и Киликии. Быстрое продвижение македонян через Памфилию дало многим историкам живописный материал для вымыслов и преувеличений. Как они рассказывают, море, по божественному изволению, отступило перед Александром, хотя обычно оно стремительно катило свои волны на берег, лишь изредка оставляя обнаженными небольшие утесы у подножья крутой, изрезанной ущельями горной цепи. Несомненно, что именно этот неправдоподобный рассказ высмеивает Менандр в одной из своих комедий:

Все, совсем как Александру, удается мне. Когда
Отыскать хочу кого-то, сразу он найдется сам.
Если надо мне за море, я и по морю пройду.

Между тем сам Александр не упоминает в своих письмах о каких-либо чудесах такого рода, но говорит, что он двигался по так называемой "Лестнице"[27] и прошел ее, выйдя из Фаселиды. В этом городе он провел несколько дней и видел там стоявшую на рыночной площади статую недавно скончавшегося Феодекта (он был родом из Фаселиды). После ужина Александр, пьяный, в сопровождении веселой компании, направился к памятнику и набросал к его подножью много венков. Так, забавляясь, он воздал дань признательности человеку, с которым познакомился благодаря Аристотелю и занятиям философией.

18. После этого царь покорил оказавших ему сопротивление жителей Писидии и занял Фригию. Взяв город Гордий, о котором говорят, что он был родиной древнего царя Мидаса, Александр увидел знаменитую колесницу, дышло

которой было скреплено с ярмом кизиловой корою, и услышал предание (в истинности его варвары были вполне убеждены), будто тому, кто развяжет узел, закреплявший ярмо, суждено стать царем всего мира. Большинство писателей рассказывает, что узел был столь запутанным, а концы так искусно запрятаны, что Александр не сумел его развязать и разрубил мечом; тогда в месте разруба обнаружились многочисленные концы креплений. Но по рассказу Аристобула, Александру легко удалось разрешить задачу и освободить ярмо, вынув из переднего конца дышла крюк – так называемый "гестор" [hḗstōr], которым закрепляется яремный ремень.

Вскоре после этого, подчинив Пафлагонию и Каппадокию, Александр узнал о смерти Мемнона, от которого, более чем от любого из полководцев Дария в приморских областях, можно было ждать бесчисленных хлопот и затруднений. Это известие еще больше укрепило Александра в его намерении совершить поход в глубь страны.

В это время Дарий двигался из Суз по направлению к морю. Он полагался на численность своего войска (под его началом было шестьсот тысяч[28]) и к тому же царя воодушевило сновидение, которое маги истолковывали, исходя из желания скорее угодить, чем раскрыть истинное его значение. Дарию приснилось, что македонская фаланга вся объята огнем и что Александр прислуживает ему, а на Александре та самая стола, которую он, Дарий, носил, еще будучи царским гонцом; потом Александр вошел в храм Бела и исчез. Божество, по-видимому, возвещало этим сном, что македоняне совершат блестящие подвиги, молва о которых разнесется повсюду, и что Александр завладеет Азией, подобно тому как завладел ею Дарий, который был гонцом, а стал царем, и что вскоре после этого македонский царь со славой окончит свою жизнь.

19. Узнав о длительном пребывании Александра в Киликии, Дарий счел это признаком трусости, что еще больше ободрило его. В действительности же причиной задержки была болезнь царя, вызванная по мнению одних переутомлением, а по мнению других – простудою после купанья в ледяной воде реки Кидна. Никто из врачей не решался лечить Александра, считая, что опасность слишком велика и что ее нельзя одолеть никаким лекарством; в случае неудачи врачи боялись навлечь на себя обвинения и гнев македонян. Один только Филипп, акарнанец, видя тяжелое состояние больного, поставил дружбу превыше всего и счел преступным не разделить опасность с Александром и не исчерпать – пусть даже с риском для себя – все средства. Он приготовил лекарство и убедил царя оставить все сомнения и выпить его, если он желает восстановить свои силы для продолжения войны. В это самое время находившийся в лагере македонян Парменион послал царю письмо, советуя ему остерегаться Филиппа, так как Дарий будто бы посулил врачу большие подарки и руку своей дочери и тем склонил его к убийству Александра. Царь прочитал письмо и, не показав его никому из друзей положил себе под подушку. В установленный час Филипп в сопровождении друзей царя вошел к нему, неся чашу с лекарством. Александр передал ему письмо, а сам без колебаний, доверчиво взял у него из рук лекарство. Это было удивительное, достойное созерцания зрелище. В то время как Филипп читал письмо, Александр пил лекарство, затем оба одновременно взглянули друг на

друга, но несходно было их поведение: на ясном, открытом лице Александра отражалось благоволение и доверие к Филиппу, между тем как врач, возмущенный клеветой, то воздымал руки к небу и призывал богов в свидетели, то, бросаясь к ложу царя, умолял его мужаться и доверять ему. Лекарство сначала очень сильно подействовало на Александра и как бы загнало вглубь его телесные силы: утратив дар речи, больной впал в беспамятство и едва подавал признаки жизни. Вскоре, однако, Александр был приведен Филиппом в чувство, быстро окреп и наконец появился перед македонянами, уныние которых не прекращалось, пока они не увидели царя.

20. В войске Дария находился бежавший со своей родины македонянин по имени Аминт, хорошо знавший характер Александра. Видя, что Дарий намеревается идти на Александра узкими горными проходами, Аминт посоветовал персидскому царю оставаться на месте, чтобы дать сражение на широких, открытых равнинах и использовать свое значительное численное превосходство. Дарий ответил, что боится, как бы враги не обратились в бегство и Александр от него не ускользнул. "Этого, царь, – сказал Аминт, – ты можешь не опасаться. Александр обязательно пойдет против тебя и, наверно, уже идет". Однако Аминт не сумел убедить царя, и Дарий, снявшись с лагеря, направился в Киликию, а Александр в это же время двинул свои войска на персов в Сирию. Ночью оба войска разминулись, и каждое точас повернуло назад. Александр, обрадованный счастливой случайностью, спешил захватить персов в горных проходах, а Дарий стремился вывести свою армию их теснин и вернуться в прежний лагерь. Он уже осознал, что совершил ошибку, вступив в эту сильно пересеченную местность, зажатую между морем и горами, разделенную посередине рекой Пинаром и неудобную для конницы, но очень выгодную для действий малочисленных сил врага. Отличную позицию Александру предоставила судьба, но победу ему обеспечило скорее искусное командование, чем слепое счастье. Несмотря на то, что его силы значительно уступали численностью силам варваров, Александр не дал себя окружить, напротив, обойдя своим правым крылом левое крыло вражеского войска, он ударил персам во фланг и обратил стоявших против него варваров в бегство. Сражаясь в первых рядах, Александр был ранен мечом в бедро, как сообщает Харет, самим Дарием, ибо дело дошло до рукопашной схватки между ними. Но Александр, рассказывая об этой битве в письме к Антипатру, не называет того, кто нанес ему рану. Он пишет, что был ранен в бедро кинжалом, но что ранение не было опасным.

Александр одержал блестящую победу, уничтожил более ста десяти тысяч врагов, но не смог захватить Дария, который, спасаясь бегством, опередил его на четыре или пять стадиев. Во время погони Александру удалось захватить колесницу и лук царя. По возвращении он обнаружил, что македоняне грабят лагерь варваров, вынося оттуда всякого рода ценности, которых было огромное множество, несмотря на то, что большую часть обоза персы оставили в Дамаске и пришли к месту битвы налегке. Воины предназначили для Александра наполненную драгоценностями палатку Дария со множеством прислуги и богатой утварью. Александр тотчас снял доспехи и направившись в купальню, сказал: "Пойдем, смоем пот битвы в купальне Дария!" "Не Дария, а Александра! – вос-

кликнул один из друзей царя. – Ведь собственность побежденных должна не только принадлежать победителям, но и называться по их имени". Когда Александр увидел всякого рода сосуды – кувшины, тазы, флаконы для притираний, все искусно сделанные из чистого золота, когда он услышал удивительный запах душистых трав и других благовоний, когда, наконец, он прошел в палатку, изумлявшую своими размерами, высотой, убранством лож и столов, – царь посмотрел на своих друзей и сказал: "Вот это, по-видимому, и значит царствовать!"

21. Александр уже собрался обедать, когда ему сообщили, что взятые в плен мать, жена и две незамужние дочери Дария, увидев его колесницу и лук, зарыдали и стали бить себя в грудь, полагая, что царь погиб. Долгое время Александр молчал: несчастья семьи Дария волновали его больше, чем собственная судьба. Наконец, он отправил Леонната, поручив ему сообщить женщинам, что Дарий жив, а им нечего бояться Александра, ибо войну за верховное владычество он ведет только с Дарием, им же будет предоставлено все то, чем они пользовались прежде, когда еще правил Дарий. Слова эти показались женщинам милостивыми и благожелательными, но еще более человечными были поступки Александра. Он разрешил им похоронить павших в битве персов – всех, кого они пожелают, взяв для этой цели одежды и украшения из военной добычи, не лишил семью Дария почестей, которыми она пользовалась прежде, не уменьшил числа слуг, а средства на ее содержание даже увеличил.

Однако самым царственным и прекрасным благодеянием Александра было то, что этим благородным и целомудренным женщинам, оказавшимся у него в плену, не пришлось ни слышать, ни опасаться, ни ждать ничего такого, что могло бы их опозорить. Никто не имел доступа к ним, не видел их, и они вели такую жизнь, словно находились не во вражеском лагере, а в священном и чистом девичьем покое. А ведь, по рассказам, жена Дария была самой красивой из всех цариц, точно так же как и Дарий был самым красивым и рослым среди мужчин; дочери же их походили на родителей. Александр, который по-видимому, считал, что способность владеть собой для царя важнее, нежели даже умение побеждать врагов, не тронул пленниц; вообще до своей женитьбы он не знал, кроме Барсины, ни одной женщины. Барсина, вдова Мемнона[29], была взята в плен под Дамаском. Она получила греческое воспитание...* отличалась хорошим характером; отцом ее был Артабаз, сын царской дочери. Как рассказывает Аристобул, Александр последовал совету Пармениона, предложившему ему сблизиться с этой красивой и благородной женщиной. Глядя на других красивых и статных пленниц, Александр говорил шутя, что вид персиянок мучителен для глаз. Желая противопоставить их привлекательности красоту своего самообладания и целомудрия, царь не обращал на них никакого внимания, как будто они были не живыми женщинами, а безжизненными статуями.

22. Однажды Филоксен, командовавший войском, стоявшим на берегу моря, написал Александру, что у него находится некий тарентинец Феодор, желающий продать двух мальчиков замечательной красоты, и осведомлялся у царя, не

*Текст в оригинале испорчен.

хочет ли он их купить. Александр был крайне возмущен письмом и не раз жаловался друзьям, спрашивая, неужели Филоксен так плохо думает о нем, что предлагает ему эту мерзость. Самого Филоксена он жестоко изругал в письме и велел ему прогнать прочь Феодора вместе с его товаром. Не менее резко выбранил он и Гагнона, который написал, что собирается купить и привезти ему знаменитого в Коринфе мальчика Кробила. Узнав, что два македонянина, служившие под началом Пармениона, – Дамон и Тимофей, обесчестили жен каких-то наемников, царь письменно приказал Пармениону в случае, если это будет доказано, убить их, как диких зверей, сотворенных на пагубу людям. В том же письме царь пишет о себе дословно следующее: "Никто не сможет сказать, что я видел жену Дария, желал ее увидеть или хотя бы прислушивался к тем, кто рассказывал мне о ее красоте". Александр говорил, что сон и близость с женщиной более всего другого заставляют его ощущать себя смертным, так как утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы.

Александр отличался также крайней воздержностью в пище, чему он дал множество ясных доказательств; одним из таких доказательств были его слова, обращенные к Аде, которую он назвал своей матерью и сделал царицей Карии. В знак любви Ада ежедневно посылала ему изысканные яства и печения, а потом отправила к нему своих самых искусных поваров и пекарей. Царь велел передать Аде, что он не нуждается ни в ком и ни в чем подобном, так как его воспитатель Леонид дал ему лучших поваров: для завтрака – ночной переход, а для обеда – скудный завтрак. "Мой воспитатель, – сказал он, – имел обыкновение обшаривать мою постель и одежду, разыскивая, не спрятала ли мне туда мать какого-нибудь лакомства или чего-нибудь сверх положенного".

23. И к вину Александр был привержен меньше, чем это обычно считали; думали же так потому, что он долго засиживался за пиршественным столом. Но в действительности Александр больше разговаривал, чем пил, и каждый кубок сопровождал длинной речью. Да и пировал он только тогда, когда у него было много свободного времени. Если же доходило до дела, Александра не могли удержать, как это не раз бывало с другими полководцами, ни вино, ни сон, ни развлечения, ни женщины, ни занимательные зрелища. Об этом свидетельствует вся его жизнь, которую, как коротка она ни была, он сумел заполнить многочисленными и великими подвигами. В свободные дни Александр, встав ото сна, прежде всего приносил жертвы богам, а сразу после этого завтракал сидя; день он проводил в охоте, разбирал судебные дела, отдавал распоряжения по войску или читал. Во время похода, если не надо было торопиться, Александр упражнялся в стрельбе из лука или выскакивал на ходу из движущейся колесницы и снова вскакивал в нее. Нередко Александр, как это видно из дневников, забавлялся охотой на лисиц или на птиц. На стоянках царь совершал омовения или умащал тело; в это время он расспрашивал тех, кто ведал поварами или пекарями, приготовлено ли все, что следует, к обеду. Было уже поздно и темно, когда Александр, возлежа на ложе, приступал к обеду. Во время трапезы царь проявлял удивительную заботливость о сотрапезниках и внимательно наблюдал, чтобы никто не был обижен или обделен. Из-за своей разговорчивости царь, как

уже было сказано, много времени приводил за вином. В остальное время Александр был самым обходительным из всех царей и умел всех расположить к себе, но за пиршественным столом его хвастливость становилась тягостной. Он и сам безудержно хвастался и жадно прислушивался к словам льстецов, ставя тем самым в затруднительное положение наиболее порядочных из присутствовавших гостей, которым не хотелось ни соревноваться с льстецами, ни отставать от них в восхвалении Александра: первое казалось позорным, а второе – чреватым опасностями. После пира Александр совершал омовение и спал нередко до полудня, а иногда проводил в постели весь последующий день.

Александр был равнодушен к лакомствам и изысканным блюдам: часто, когда ему привозили с побережья редчайшие фрукты или рыбу, он все раздаривал друзьям, ничего не оставляя себе. Однако обеды, которые устраивал Александр, всегда были великолепны, и расходы на них росли вместе с его успехами, пока не достигли десяти дысяч драхм[31]. Больше этого царь сам никогда не расходовал и не разрешал тратить тем, кто принимал его у себя.

24. После битвы при Иссе Александр послал войска в Дамаск и захватил деньги, пожитки, жен и детей персов. Бóльшая часть добычи досталась фессалийским всадникам, особо отличившимся в битве: Александр намеренно послал в Дамаск именно их, желая дать им возможность обогатиться. Остальное войско Александра также имело все в изобилии. Македоняне тогда впервые научились ценить золото, серебро, женщин, вкусили прелесть варварского образа жизни и, точно псы, почуявшие след, торопились разыскать и захватить все богатства персов.

Александр, однако решил сперва покорить приморские области. Тотчас к нему с изъявлением покорности явились цари Кипра. Вся Финикия также покорилась – за исключением Тира. Александр осаждал Тир в течение семи месяцев: он насыпал валы, соорудил военные машины и запер город со стороны моря флотом в двести триер. Во время осады Александр увидел во сне, что Геракл[32] протягивает ему со стены руку и зовет его к себе. В то же время многим жителям Тира приснилось, будто Аполлон сказал, что он перейдет к Александру, так как ему не нравится то, что происходит в городе. Тогда, словно человека, пойманного с поличным при попытке перебежать к врагу, тирийцы опутали огромную статую бога веревками и пригвоздили ее к цоколю, обзывая Аполлона "александристом". Александру приснился еще один сон: он увидел сатира, который издалека заигрывал с ним, но увертывался и убегал, когда царь пытался его схватить, и дал себя поймать лишь после долгой погони и уговоров. Прорицатели убедительно истолковали этот сон, разделив слово "сатир" на две части: "Са" [твой] и "Тир". И сейчас показывают источник, возле которого Александр в сновидении гонялся за сатиром.

Во время осады Александр совершил поход на обитавших в горах Антиливана арабов. В этом походе царь из-за своего воспитателя Лисимаха подверг свою жизнь серьезной опасности. Этот Лисимах повсюду сопровождал Александра, ссылаясь на то, что он не старше и не слабее Феникса. Когда воины Александра приблизились к горам, они оставили коней и двинулись дальше пешком. Все ушли далеко вперед, но царь не решался покинуть уставшего Лисимаха, тем более

что наступал вечер и враги были близко. Одобряя старика и идя с ним рядом, Александр с немногими воинами незаметно отстал от войска и, когда стало темно и очень холодно, остановился на ночлег в месте суровом и опасном. Вдали там и сям виднелись костры, разведенные неприятелем. Александр, который в беде всегда умел собственным примером ободрить македонян, рассчитывая на быстроту своих ног, побежал к ближайшему костру. Двух варваров, сидевших возле огня, царь поразил мечом, затем, выхватив из костра головню, он вернулся к своим. Македоняне развели такой большой костер, что часть варваров была устрашена и обратилась в бегство, тех же, кто отважился приблизиться, они отбросили и остаток ночи провели спокойно. Об этом случае сообщает Харет.

25. Осада Тира закончилась так. После многочисленных сражений Александр основным своим силам предоставил отдых, но, чтобы не давать покоя врагу, посылал небольшие отряды к городским стенам. В эти дни прорицатель Аристандр заклал жертву и, рассмотрев внутренности, смело объявил присутствовавшим, что город непременно будет взят еще в этом месяце. Слова предсказателя были встречены смехом и шутками – ведь шел как раз последний день месяца. Увидев, что прорицатель оказался в затруднительном положении, Александр, который всегда покровительствовал гаданиям, приказал считать этот день не тридцатым, а двадцать восьмым[33]. Затем, приказав протрубить сигнал, он начал штурмовать стены Тира более решительно, чем первоначально намеревался. Атака была столь ожесточенной, что даже оставленные в лагере не усидели на месте и бросились на помощь. Тирийцы прекратили сопротивление, и город был взят в тот же самый день.

Вскоре после этого, когда Александр осаждал Газу, самый большой город Сирии, на плечо ему упал ком земли, сброшенный сверху пролетавшей мимо птицей. Эта птица, усевшись затем на одну из осадных машин, запуталась в сухожилиях, с помощью которых закрепляют канаты. Это знамение сумел правильно истолковать Аристандр: Александр был ранен в плечо, но город все-таки взял.

Значительную часть захваченной здесь добычи Александр отправил Олимпиаде, Клеопатре и друзьям. Воспитателю Леониду, вспомнив об одной своей детской мечте, он послал пятьсот талантов ладана и сто талантов мирры. Некогда Леонид во время жертвоприношения упрекнул Александра, хватавшего благовония целыми пригоршнями и бросавшего их в огонь: "Ты будешь так щедро жечь благовония, когда захватишь страны, ими изобилующие. Пока же расходуй то, чем располагаешь, бережливо". Теперь Александр написал Леониду: "Я послал тебе достаточно ладана и мирры, чтобы ты впредь не скупился во время жертвоприношений!"

26. Однажды Александру принесли шкатулку, которая казалась разбиравшим захваченное у Дария имущество самой ценной вещью из всего, что попало в руки победителей. Александр спросил своих друзей, какую ценность посоветуют они положить в эту шкатулку. Одни говорили одно, другие – другое, но царь сказал, что будет хранить в ней "Илиаду". Это свидетельствуют многие лица, заслуживающие доверия. Если верно то, что, ссылаясь на Гераклида, сообщают

александрийцы, Гомер оказался нужным и полезным для Александра спутником в походе.

Рассказывают, например, что, захватив Египет, Александр хотел основать там большой, многолюдный греческий город и дать ему свое имя. По совету зодчих он было уже отвел и огородил место для будущего города, но ночью увидел удивительный сон. Ему приснилось, что почтенный старец с седыми волосами, встав возле него, прочел следующие стихи[34]:

На́ море шумно-широком находится остров, лежащий
Против Египта; его именуют нам жители Фарос.

Тотчас поднявшись, Александр отправился на Фарос, расположенный несколько выше Канобского устья; в ту пору он был еще островом, а теперь соединен с материком насыпью. Александр увидел местность, удивительно выгодно расположенную. То была полоса земли, подобная довольно широкому перешейку; она отделяла обширное озеро от моря, которое как раз в этом месте образует большую и удобную гавань. Царь воскликнул, что Гомер, достойный восхищения во всех отношениях, вдобавок ко всему – мудрейший зодчий. Тут же Александр приказал начертить план города, сообразуясь с характером местности. Под рукой не оказалось мела, и зодчие, взяв ячменной муки, наметили ею на черной земле большую кривую, равномерно стянутую с противоположных сторон прямыми линиями, так что образовалась фигура, напоминающая военный плащ. Царь был доволен планировкой, но вдруг, подобно туче, с озера и с реки налетело бесчисленное множество больших и маленьких птиц различных пород и склевали всю муку. Александр был встревожен этим знамением, но ободрился, когда предсказатели разъяснили, что оно значит: основанный им город, объявили они, будет процветать и кормить людей самых различных стран.

После этого, приказав надзирателям следить за постройкой, Александр отправился к храму Аммона. Дорога туда была длинная, тяжелая и утомительная. Более всего путникам грозили две опасности: отсутствие воды, ибо много дней они шли пустыней, и свирепый южный ветер, который обрушивался на них среди зыбучих, бесконечных песков. Говорят, что когда-то в древности этот ветер воздвиг вокруг войска Камбиза[35] огромный песчаный вал и, приведя в движение всю пустыню, засыпал и погубил пятьдесят тысяч человек. Все это было заранее известно почти всем, но, если Александр ставил перед собой какую-либо цель, удержать его было невозможно. Ибо судьба, покровительствовавшая его устремлениям, делала его упрямым. Он не только ни разу не был побежден врагами, но даже оказывался сильнее пространства и времени; это поощряло его и без того пылкое честолюбие и увлекало на осуществление самых пылких замыслов.

27. Помощь, которую оказывало божество Александру в этом трудном походе, внушила людям больше веры в него, чем оракулы, полученные позднее; мало того, именно эта помощь, пожалуй, и породила доверие к оракулам. Начать с того, что посланные Зевсом обильные и продолжительные дожди освободили людей от страха перед муками жажды. Дожди охладили раскаленный песок, сделав его влажным и твердым, и очистили воздух, так что стало легко дышать.

Затем, когда оказалось, что вехи, расставленные в помощь проводникам, уничтожены и македоняне блуждали без дороги, теряя друг друга, вдруг появились вороны и стали указывать путь. Они быстро летели впереди, когда люди шли за ними следом, и поджидали медливших и отстававших. Самое удивительное, как рассказывает Каллисфен, заключалось в том, что ночью птицы криком призывали сбившихся с пути и каркали до тех пор, пока люди снова не находили дорогу.

Когда пустыня осталась позади и царь подошел к храму, жрец Аммона, обратившись к Александру, сказал ему. что бог Аммон приветствует его как своего сына. Царь спросил, не избег ли наказания кто-либо из убийц его отца. Но жрец запретил Александру кощунствовать и сказал, что отец его – не из числа смертных. Тогда царь изменил форму вопроса и осведомился, все ли убийцы Филиппа понесли наказание, а затем спросил о себе, будет ли ему дано стать властителем всех людей. Бог ответил, что это будет ему дано и что Филипп отомщен полностью. Царь принес богу великолепные дары, а людям роздал деньги.

Так пишет об ответах оракула большинство историков. Сам же Александр в письме к матери говорит, что он получил некие тайные предсказания, о которых по возвращении расскажет ей одной. Некоторые сообщают, что жрец, желая дружески приветствовать Александра, обратился к нему по-гречески: "О пайдион!" ("О, дитя!"), но из-за своего варварского произношения выговорил "с" вместо "н", так что получилось "О пайдиос!" ("О, сын Зевса!"). Александру пришлась по душе эта оговорка, а отсюда ведет начало рассказ о том, что бог назвал его сыном Зевса. Говорят также, что Александр слушал в Египте Псаммона; из всего сказанного философом ему больше всего понравилась мысль о том, что всеми людьми управляет бог. Ибо руководящее начало в каждом человеке – божественного происхождения. Сам Александр по этому поводу судил еще более мудро и говорил, что бог – это общий отец всех людей, но что он особо приближает к себе лучших из них.

28. Вообще Александр держал себя по отношению к варварам очень гордо – так, словно был совершенно убежден, что он происходит от богов и сын бога; с греками же он вел себя сдержаннее и менее настойчиво требовал, чтобы его признавали богом. Правда, в письме к афинянам по поводу Самоса он пишет: "Я бы не отдал вам этот свободный и прославленный город, но уж владейте им, раз вы получили его от того, кто был тогда вашим властелином и назывался моим отцом". При этом он имел в виду Филиппа. Позднее, однако, раненный стрелой и испытывая жестокие страдания, Александр сказал: "Это, друзья, течет кровь, а не

Влага, какая струится у жителей неба счастливых!"[36]

Однажды, когда раздался сильный удар грома и все испугались, присутствовавший при этом софист Анаксарх обратился к Александру: "Ты ведь не можешь сделать ничего похожего, сын Зевса?" "И не хочу. Зачем мне внушать ужас своим друзьям, как ты это советуешь? – ответил Александр смеясь. – Тебе ведь не нравится мой обед потому, что ты видишь на столах рыб, а не головы сатрапов". В самом деле, говорят, что, увидев рыбешек, присланных царем Ге-

фестиону, Анаксарх сказал нечто подобное, желая высмеять тех, кто, подвергая себя опасностям, ценой великих усилий добивается славы, но в наслаждениях и удовольствиях мало или почти совсем не отличается от обыкновенных людей. Из всего сказанного ясно, что Александр сам не верил в свое божественное происхождение и не чванился им, но лишь пользовался этим вымыслом для того, чтобы порабощать других.

29. Возвратившись из Египта в Финикию, Александр принес жертвы богам и устроил торжественные шествия и состязания киклических и трагических хоров[37]. Эти соревнования были замечательны не только пышностью обстановки, но и соперничеством устроителей, ибо хорегами были цари Кипра. Словно избранные жребием по филам афинские граждане, они с удивительным рвением состязались друг с другом. Особенно упорной была борьба между саламинцем Никокреонтом и солийцем Пасикратом. По жребию им достались самые знаменитые актеры: Пасикрату – Афинодор, а Никокреонту – Фессал, в успехе которого был заинтересован сам Александр. Однако он не обнаружил своего расположения к этому актеру, прежде чем голосование не присудило победы Афинодору, и только тогда, как сообщают, уже покидая театр, сказал, что одобряет судей, но предпочел бы отдать часть своего царства, чтобы не видеть Фессала побежденным. Впрочем, когда Афинодор, оштрафованный афинянами за то, что не явился на состязания в дни Дионисий[38], попросил царя послать письмо в его защиту, Александр, хотя и не сделал этого, но заплатил за него штраф. Ликон Скарфийский, со славою игравший на сцене, добавил к своей роли в какой-то комедии строку, в которой заключалась просьба о десяти талантах. Александр засмеялся и подарил их актеру.

Тем временем Дарий прислал своих друзей с письмом к македонскому царю, предлагая Александру десять тысяч талантов выкупа за пленных, все земли по эту сторону Евфрата, одну из дочерей в жены, а также свою дружбу и союз. Когда Александр сообщил об этом предложении приближенным, Парменион сказал: “Будь я Александром, я принял бы эти условия”. “Клянусь Зевсом, я сделал бы так же, – воскликнул Александр, – будь я Парменионом!” Дарию же Александр написал, что тот может рассчитывать на самый радушный прием, если явится к македонянам; в противном случае он сам пойдет на персидского царя.

30. Вскоре, однако, он пожалел об этом ответе, так как жена Дария умерла родами. Александр не скрывал своего огорчения тем, что упустил благоприятный случай проявить великодушие. Он приказал похоронить царицу со всей пышностью, не жалея никаких расходов. Тирей, один из евнухов, которые были захвачены вместе с персидскими женщинами, бежал из македонского лагеря и, проделав долгий путь верхом, добрался до Дария, чтобы сообщить ему о смерти жены. Громко зарыдав, царь стал бить себя по голове и воскликнул: “О, злой рок персов! Жена и сестра царя живой попала в руки врага, а скончавшись, была лишена царского погребения!” “Но, царь, – перебил его евнух, – что касается похорон и подобающих царице почестей, у тебя нет оснований жаловаться на злую судьбу персов. Ни госпоже моей Статире, пока она была жива, ни твоей матери, ни дочерям не пришлось ни в чем нуждаться. Они пользовались всеми теми благами и преимуществами, что и прежде, за исключением только воз-

можности видеть исходящий от тебя свет, который, по воле владыки Оромазда[39], вновь воссияет в былом блеске. Когда же Сатира умерла, не было таких почестей, которых бы ей не воздали, и даже враги оплакивали ее. Ведь Александр столь же милостив к побежденным, сколь страшен в битве".

После того, как Дарий выслушал этот рассказ, волнение и скорбь вызвали у него чудовищное подозрение, и, отведя евнуха подальше в глубь палатки, он сказал: "Если ты сам, подобно военному счастью персов, не перешел на сторону македонян и по-прежнему считаешь меня, Дария, своим господином, заклинаю тебя великим светом Митры[40] и правой рукой твоего царя, скажи мне, не оплакиваю ли я сейчас лишь меньшую из бед, постигших Статиру, и не поразили ли нас еще более жестокие беды, пока она была жива? Не лучше ли было бы для нашей чести, если б в злосчастьях наших столкнулись мы с врагом кровожадным и жестоким? Разве стал бы молодой человек воздавать такие почести жене врага, будь его отношение к ней чистым?" Не успел царь произнести эти слова, как Тирей упал к его ногам, умоляя не обвинять Александра понапрасну и не бесчестить покойную жену и сестру свою. Не следует, говорил он, попав в беду, лишать себя самого большого утешения – сознания, что ты побежден человеком, обладающим сверхчеловеческой природой. Тирей призывал Дария отдать дань восхищения тому, чья скромность в обращении с персидскими женщинами даже превосходит храбрость, проявленную им в столкновении с персидскими мужами. Истинность своих слов евнух подтвердил страшными клятвами, а также привел много примеров воздержности и великодушия Александра. Тогда, выйдя к своим приближенным, Дарий воздел руки к небу и обратился с мольбою к богам: "Боги, покровительствующие моему роду и царству, дайте мне восстановить могущество персов, чтобы моя держава вновь была столь же счастливой, какой я ее получил, и чтобы, став победителем, я мог отблагодарить Александра за все, что он сделал для моих близких, когда я попал в беду. Если же наступит роковой час возмездия и великих перемен, когда падет персидская держава, пусть никто, кроме Александра, не воссядет на трон Кира". Большинство писателей именно так передают эти события и речи.

31. После того как Александр завоевал все земли до Евфрата, он пошел на Дария, двигавшегося ему навстречу с армией, численность которой достигала миллиона. В пути кто-то из приближенных, желая рассмешить царя, рассказал ему, какую игру затеяли обозные: разделившись на две партии, в каждой из которой был свой предводитель и полководец, они назвали одного Александром, а другого Дарием. Сперва они бросали друг в друга комьями земли, потом начался кулачный бой и, наконец, в пылу борьбы они взялись за камни и дубины; многих из них невозможно было унять. Услышав это, царь приказал, чтобы оба предводителя сразились один на один. Он сам вооружил "Александра", а Филот – "Дария". Все войско наблюдало за поединком, пытаясь в происходящем усмотреть грядущее. В упорном сражении победил тот, которого называли Александром. Царь подарил ему двенадцать деревень и предоставил право носить персидское платье. Об этом рассказывает Эратосфен.

Великая битва с Дарием произошла не под Арбелами, как пишут многие, а под Гавгамелами[41]. Название это на местном наречии означает "Верблюжий

дом", так как один из древних царей, спасшись от врагов на одногорбом верблюде, поместил его здесь и назначил на его содержание доходы с нескольких деревень.

В месяце боэдромионе, приблизительно в то время, когда в Афинах начинают справлять таинства, произошло лунное затмение[42]. На одиннадцатую ночь после затмения, когда оба войска находились уже на виду друг у друга, Дарий приказал воинам оставаться в строю и при свете факелов устроил смотр. Александр же, пока македоняне спали, вместе с предсказателем Аристандром совершал перед своей палаткой какие-то тайные священные обряды и приносил жертвы богу Фобу[43]. Вся равнина между Нифатом и Гордиейскими горами была освещена огнями варварского войска, из лагеря персов доносился неясный гул, подобный шуму безбрежного моря. Старейшие из приближенных Александра, и в особенности Парменион, были поражены многочисленностью врага и говорили друг другу, что одолеть такое войско в открытом бою было бы слишком трудным делом. Подойдя к царю, только что закончившему жертвоприношения, они посоветовали Александру напасть на врагов ночью, чтобы темнотою было скрыто то, что в предстоящей битве может внушить наибольший страх македонянам. Знаменитый ответ Александра: "Я не краду победу" – показался некоторым чересчур легкомысленным и неуместным перед лицом такой опасности. Другие считали, что Александр твердо уповал на свои силы и правильно предвидел будущее. Он не хотел, чтобы Дарий, обвинявший в прежней неудаче горы, теснины и море, усмотрел причину своего нынешнего поражения в ночном времени и темноте и отважился бы еще на одну битву. Александр понимал, что Дарий, располагающий столь великими силами и столь обширной страной, из-за недостатка людей или вооружения войны не прекратит, но сделает это только тогда, когда побежденный в открытом сражении, потеряет мужество и утратит надежду.

32. Приближенные покинули царя, и Александр прилег отдохнуть в своей палатке; говоря, он так крепко проспал остаток ночи, что, против обыкновения, не проснулся на рассвете. Удивленные этим полководцы сами отдали первый приказ воинам – приступать к завтраку. Время не позволяло медлить долее, и Парменион, войдя в палатку и встав рядом с ложем Александра, два или три раза окликнул его, Когда Александр проснулся, Парменион спросил, почему он спит сном победителя, хотя впереди у него величайшее сражение, Александр, улыбнувшись, сказал: "А что? Разве ты не считаешь, что мы уже одержали победу, хотя бы потому, что не должны более бродить по этой огромной и пустынной стране, преследуя уклоняющегося от битвы Дария?".

Не только перед битвой, но и в разгар сражения Александр проявил себя великим воином, никогда не теряющим мужества и присутствия духа. В бою левый фланг, находившийся под командованием Пармениона, стал в беспорядке отступать, теснимый бактрийской конницей, которая с шумом и криком стремительно ударила на македонян, в то время как всадники Мазэя обошли фалангу и напали на охрану обоза. Парменион через гонцов сообщил Александру, что лагерь и обоз будут потеряны, если царь немедленно не пришлет тыловым отрядам сильное подкрепление, сняв для этого часть войск с передней боевой линии.

Как раз в это время Александр подавал окружавшим его воинам сигнал к наступлению. Услышав просьбу о помощи, он воскликнул, что Парменион, наверное, не в своем уме, если в расстройстве и волнении забыл, что победителям достанется все имущество врагов, а побежденным следует заботиться не об имуществе и рабах, а о том, чтобы, храбро сражаясь, со славой принять смерть.

Приказав передать это Пармениону, Александр надел шлем. Все остальные доспехи он надел еще в палатке: сицилийской работы гипендиму[44] с поясом, а поверх нее двойной льняной панцирь, взятый из захваченной при Иссе добычи. Железный шлем работы Феофила блестел так, словно был из чистого серебра. К нему был прикреплен усыпанный драгоценными камнями железный щиток, защищавший шею. Александр носил меч, подарок царя китийцев, удивительно легкий и прекрасной закалки; в сражениях меч обычно был его главным оружием. Богаче всего был плащ, который царь носил поверх доспехов. Это одеяние работы Геликона Старшего Александру подарили в знак уважения жители города Родоса, и он, готовясь к бою, всегда надевал его. Устанавливая боевой порядок, отдавая приказы, одобряя воинов и проверяя их готовность, Александр объезжал строй не на Букефале, а на другом коне, ибо Букефал был уже немолод и его силы надо было щадить. Но перед самым боем к царю подводили Букефала, и, вскочив на него, Александр тотчас начинал наступление.

33. Долгий разговор с фессалийцами и остальными греками, которые с громким криком призывали его вести их на варваров, придал Александру еще больше твердости и, взяв копье в левую руку, а правую подняв вверх, он, как рассказывает Каллисфен, обратился к богам с мольбой, чтобы они, если он действительно сын Зевса, помогли грекам и вдохнули в них мужество. Прорицатель Аристандр в белом одеянии и золотом венке, скакавший рядом с царем, показал на орла, парившего над головой Александра и летевшего прямо в сторону врагов. Все видевшие это воодушевились. Воины ободряли друг друга, и фаланга, вслед за конницей, хлынула на врага. Варвары отступили прежде, чем передние ряды успели завязать бой. Яростно преследуя разбитого врага, Александр теснил персов к центру неприятельского расположения, где находился сам Дарий. Александр приметил его издалека, сквозь передние ряды персидских воинов, – Дарий стоял на высокой колеснице в середине царского отряда, рослый и красивый, окруженный множеством всадников в блестящем вооружении, сомкнувшихся вокруг его колесницы и готовых встретить врага. Однако чем ближе был Александр, тем более приходили они в смятение: гоня перед собой отступающих, разбивая строй тех, кто еще держался, он устрашил и рассеял почти всех телохранителей Дария. Только самые смелые и благородные бились за своего царя до последнего вздоха; падая друг на друга, они затрудняли преследование, судорожно вцепляясь во вражеских всадников и их коней. Это страшное зрелище развертывалось на глазах у Дария, и окружавшие царя персидские воины уже гибли у самых его ног. Но повернуть колесницу и выехать на ней было невозможно, так как множество мертвых тел не давало колесам сдвинуться с места, а кони, почти скрытые под грудой трупов, становились на дыбы, делая возницу совершенно беспомощным. Бросив оружие и колесницу, Дарий, как рассказывают, вскочил на недавно ожеребившуюся кобылу и бежал. По-видимому,

ему не удалось бы на этот раз скрыться, если бы снова не прискакали гонцы от Пармениона, призывая Александра на помощь, ибо на их фланге значительные силы врагов еще не были сломлены и оказывали сопротивление. Вообще Пармениона обвиняют в том, что в этой битве он был медлителен и бездеятелен, – то ли под старость в нем не было уже прежней отваги, то ли, как утверждает Каллисфен, он тяготился возрастающей властью и могуществом Александра и завидовал ему. Раздосадованный тем, что Парменион требует помощи, Александр, не сообщая воинам правды о положении дел, подал сигнал прекратить преследование, будто бы потому, что наступила темнота и пора положить конец кровопролитию. Устремившись к той части войска, которая находилась в опасности, Александр по пути узнал, что враги полностью разбиты и обращены в бегство.

34. Такой исход битвы, казалось, окончательно сломил могущество персов. Провозглашенный царем Азии, Александр устраивал пышные жертвоприношения, раздаривал своим друзьям богатства, дворцы, отдавал им в управление целые области. Стремясь заслужить уважение греков, Александр написал им, что власть тираннов должна быть повсюду уничтожена и все государства становятся свободными и независимыми. Платейцам же он отправил особое послание, обещая заново отстроить их город[45], ибо предки их некогда предоставили свою землю для сражения за свободу Греции. Часть военной добычи царь послал в Италию жителям Кротона, желая почтить доблесть и усердие атлета Фаилла, который во время персидских войн, несмотря на то, что все остальные италийцы уже отчаялись в победе греков, снарядил на собственный счет корабль и поплыл к Саламину, желая разделить опасность со всеми. Так ценил Александр доблесть, так усердно хранил он благодарную память о славных деяниях.

35. Во время перехода через Вавилонию, которая вся сразу же покорилась ему, Александр более всего был поражен пропастью в...* из которой, словно из некоего источника, непрерывно вырывался огонь, и обильным потоком нефти, образовавшим озеро невдалеке от пропасти. Нефть очень напоминает горную смолу, но она столь восприимчива к огню, что загорается еще до соприкосновения с пламенем от одного только света, излучаемого огнем, и нередко воспламеняет окружающий воздух. Желая показать Александру природную силу нефти, варвары опрыскали этой жидкостью улицу, которая вела к дому, где остановился царь; затем, когда стемнело, они встали на одном конце этой улицы и поднесли факелы к местам, смоченным нефтью. Нефть тотчас вспыхнула; пламя распространилось молниеносно, в мгновение ока оно достигло противоположного конца улицы, так что вся она казалась объятой огнем.

Среди тех, кто обычно омывал и умащал царя, забавляя его разными шутками и стремясь привести в веселое расположение духа, был некий афинянин Афинофан. Однажды, когда в купальне вместе с царем находился мальчик Стефан, обладавший прекрасным голосом, но очень некрасивый и смешной, Афинофан сказал: "Не хочешь ли, царь, чтобы мы испробовали это вещество на Стефане? Если даже к нему оно пристанет и не потухнет, то я без колебаний

*Текст в оригинале испорчен.

признаю, что сила этого вещества страшна и неодолима!" Стефан сам охотно соглашался на это испытание, но, как только мальчика обмазали нефтью и огонь коснулся его, яркое пламя охватило его с головы до пят, что привело Александра в крайнее смятение и страх. Не случись там, по счастью, нескольких прислужников, державших в руках сосуды с водой, предназначенной для омовения, остановить пламя не удалось бы вовсе, но даже и эти прислужники лишь с большим трудом потушили огонь на теле мальчика, который после этого находился очень в тяжелом состоянии.

Некоторые люди, стремясь примирить предание с истиной, вполне правдоподобно утверждают, что именно нефть была тем зельем, которым Медея смазала воспетые в трагедиях венок и пеплос[46]. По их предположению, огонь не вырвался из этих предметов и не возник сам по себе; лишь когда пламя было поднесено близко, венок и пеплос сразу же притянули его к себе и мгновенно загорелись, ибо притекающие издалека лучи и струи огня некоторым телам приносят только свет и тепло, а в других телах, сухих и пористых или пропитанных жирной влагой, скапливаются, превращаются в огонь и быстро изменяют вещество.

По вопросу о происхождении нефти возникли споры, была ли она...* или, скорее, горючей жидкостью, вытекающей из недр там, где земля по своей природе жирная и огненная. Вавилония – страна очень жаркая, так что ячменные зерна нередко подпрыгивают и отскакивают от почвы, которая в этих местах под влиянием зноя постоянно колеблется; жители же Вавилонии в жаркую погоду спят на кожаных мехах, наполненных водою. Гарпал, оставленный наместником в этой стране, пожелал украсить греческими растениями царский дворец и места для прогулок и добился успеха; только плюща земля не принимала. Климат там знойный, а плющ – растение, любящее прохладу, совместить это невозможно, и потому плющ неизменно погибает. Я думаю, что подобные отступления, если только они не будут слишком пространными, не вызовут упреков даже со стороны придирчивых читателей.

36. Александр овладел Сузами, где нашел в царском дворце сорок тысяч талантов в чеканной монете, а также различную утварь и бесчисленные сокровища. Обнаружили там, как рассказывают, и пять тысяч талантов гермионского пурпура[47], пролежавшего в сокровищнице сто девяносто лет, но все еще сохранявшего свежесть и яркость. Это было возможно, как полагают, благодаря тому, что краску для багряных тканей изготовляют на меду, а для белых – на белом масле, а мед и масло надолго придают тканям чистый и яркий блеск. Динон рассказывает, что персидские цари хранили в своей сокровищнице сосуды с водой, привезенной из Нила и из Истра, что должно было свидетельствовать об огромных размерах персидской державы и могуществе власти, покорившей себе весь мир.

37. Вторжение в Персиду было связано с большими трудностями, так как места там горные, малодоступные; к тому же страну обороняли знатнейшие персы (сам Дарий обратился в бегство). Но у Александра оказался проводник, кото-

*Текст в оригинале испорчен.

рый повел войско в обход, кратчайшим путем. Человек этот владел двумя языками, так как по отцу был ликийцем, а по матери – персом. Это, как говорят, и имела в виду Пифия, предсказавшая Александру, тогда еще мальчику, что ликиец будет служить ему проводником в походе на персов...* Здесь было перебито множество пленников. Сам Александр пишет, что отдал приказ умертвить пленных, ибо считал это полезным для себя. Рассказывают, что денег там было найдено столько же, сколько в Сузах, а сокровища и драгоценности были вывезены оттуда на десяти тысячах повозок, запряженных мулами, и на пяти тысячах верблюдов.

Увидев большую статую Ксеркса, опрокинутую толпой, беспорядочно стекавшейся в царский дворец, Александр остановился и, обратившись к статуе, как к живому человеку, сказал: "Оставить ли тебя лежать здесь за то, что ты пошел войной на греков, или поднять тебя за величие духа и доблесть, проявленные тобой в других делах?" Простояв долгое время в раздумье, Александр молча отошел. Желая дать отдых своим воинам, – а время было зимнее, – он провел там четыре месяца.

Рассказывают, что, когда он в первый раз сел под шитый золотом балдахин на царский трон, коринфянин Демарат, преданный друг Филиппа и Александра, по-стариковски заплакал и сказал: "Какой великой радости лишились те из греков, которые умерли, не увидав Александра восседающим на троне Дария!"

38. Однажды, перед тем как снова пуститься в погоню за Дарием, Александр пировал и веселился с друзьями. В общем веселье вместе со своими возлюбленными принимали участие и женщины. Среди них особенно выделялась Фаида, родом из Аттики, подруга будущего царя Птолемея. То умно прославляя Александра, то подшучивая над ним, она, во власти хмеля, решилась произнести слова, вполне соответствующие нравам и обычаям ее родины, но слишком возвышенные для нее самой. Фаида сказала, что в этот день, глумясь над надменными чертогами персидских царей, она чувствует себя вознагражденной за все лишения, испытанные ею в скитаниях по Азии. Но еще приятнее было бы для нее теперь же с веселой гурьбой пирующих пойти и собственной рукой на глазах у царя поджечь дворец Ксеркса, предавшего Афины губительному огню. Пусть говорят люди, что женщины, сопровождавшие Александра, сумели отомстить персам за Грецию лучше, чем знаменитые предводители войска и флота. Слова эти были встречены гулом одобрения и громкими рукоплесканиями. Побуждаемый упорными настояниями друзей, Александр вскочил с места и с венком на голове и с факелом в руке пошел впереди всех. Последовавшие за ним шумной толпой окружили царский дворец, сюда же с великой радостью сбежались, неся в руках факелы, и другие македоняне, узнавшие о происшедшем. Они надеялись, что, раз Александр хочет поджечь и уничтожить царский дворец, значит он помышляет о возвращении на родину и не намеревается жить среди варваров. Так рассказывают об этом некоторые, другие же утверждают, будто поджог дворца был здраво обдуман заранее. Но все сходятся в одном: Александр вскоре одумался и приказал потушить огонь.

*Текст в оригинале испорчен.

39. Необыкновенная щедрость, свойственная Александру от природы, в еще большей мере, чем прежде, проявлялась теперь, когда могущество его столь возросло. При этом щедрости всегда сопутствовала благожелательность, которая одна только и придает дарам подлинную ценность. Приведу лишь немногие примеры. Аристон, предводитель пэонийцев, убил как-то вражеского воина и, показав его голову Александру, сказал: “Такой дар считается у нас достойным золотого кубка”. “Всего лишь пустого кубка, – ответил Александр, смеясь, – и я подарю тебе кубок, но сначала наполню его вином и выпью за твое здоровье”. Один македонянин из рядовых воинов гнал однажды мула, нагруженного царским золотом. Животное устало, и воин, взвалил груз на себя, сам понес его дальше. Когда царь увидел его мучения и разузнал, в чем дело, он сказал македонянину, намеревавшемуся снять с себя ношу: “Не поддавайся усталости, пройди остаток пути и отнеси это к себе в палатку”. Вообще же он больше сердился на тех, кто отказывался от его даров, чем на тех, кто выпрашивал их. Так, Александр написал однажды в письме Фокиону, что не будет более считать его своим другом, если он и впредь будет отклонять его благодеяния. Серапиону, одному из тех юношей, с которыми он играл в мяч, он не дал ничего, так как тот ни о чем его и не просил. Однажды во время игры Серапион ни разу не бросил мяч Александру. Царь спросил его: “Почему ты не бросаешь мяч мне?” Серапион ответил: “Так ты ведь не просишь”. Тогда Александр рассмеялся и щедро одарил юношу. Протей, один из тех, кто умел развлекать царя шутками за вином, казалось, впал у Александра в немилость. Когда друзья стали просить за него и сам он заплакал, Александр сказал, что прощает его. “О царь, – попросил Протей, – дай же мне какой-нибудь залог твоего расположения”. В ответ на это Александр приказал выдать ему пять талантов.

О том, сколь огромны были богатства, которые Александр раздавал друзьям и телохранителям, можно понять из письма Олимпиады к сыну: “Оказывай своим друзьям благодеяния и проявляй к ним уважение как-нибудь иначе: ведь ты делаешь их всех равными царю, ты предоставляешь им возможность иметь много друзей, самого же себя обрекаешь на одиночество”. Такие письма Александр получал от Олимпиады часто, но хранил их в тайне. Только однажды, когда Гефестион хотел по обыкновению вместе с ним прочесть распечатанное письмо, Александр не воспрепятствовал ему, но, сняв с пальца кольцо, приложил печать к губам Гефестиона.

Сына Мазэя, одного из влиятельнейших людей при дворе Дария, Александр жаловал второй сатрапией, еще более обширной, чем та, которой он уже управлял, но сатрап не принял дара и сказал царю: “Некогда был один Дарий, теперь же ты создал много Александров”. Пармениону Александр подарил дворец Багоя, в котором, как говорят, было захвачено одеяний на тысячу талантов. В письме к Антипатру он велел ему завести телохранителей, чтобы они защищали его от злоумышленников. Своей матери Александр отослал много даров, но не позволял ей вмешиваться в государственные и военные дела и кротко сносил ее упреки по этому поводу. Однажды, прочтя длиинное письмо Антипатра с обвинениями против Олимпиады, Александр сказал: “Антипатр не знает, что одна слеза матери заставит забыть тысячи таких писем”.

40. Александр видел, что его приближенные изнежились вконец, что их роскошь превысила всякую меру: теосец Гагнон носил башмаки с серебряными гвоздями; Леоннату для гимнасия привозили на верблюдах песок из Египта; у Филота скопилось так много сетей для охоты, что их можно было растянуть на сто стадиев; при купании и натирании друзья царя чаще пользовались благовонной мазью, чем оливковым маслом, повсюду возили с собой банщиков и спальников. За все это царь мягко и разумно упрекал своих приближенных. Александр высказывал удивление, как это они, побывавшие в стольких жестоких боях, не помнят о том, что потрудившиеся и победившие спят слаще побежденных. Разве не видят они, сравнивая свой образ жизни с образом жизни персов, что нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд? "Сможет ли кто-либо из вас, – говорил он, – сам ухаживать за конем, чистить свое копье или свой шлем, если вы отвыкли прикасаться руками к тому, что всего дороже, – к собственному телу? Разве вы не знаете, что конечная цель победы заключается для нас в том, чтобы не делать того, что делают побежденные?" Сам он еще больше, чем прежде, подвергал себя лишениям и опасностям в походах и на охоте. Однажды лаконский посол, видевший, как Александр убил большого льва, воскликнул: "Александр, ты прекрасно сражался со львом за царскую власть". Изображение этой охоты Кратер пожертвовал в Дельфы. Медные статуи льва, собак, царя, вступившего в борьбу со львом, и самого Кратера, бегущего на помощь, созданы частью Лисиппом, частью Леохаром.

41. Возлагая труды на себя и побуждая к доблести других, Александр не избегал никаких опасностей, а его друзья, разбогатев и возгордившись, стремились только к роскоши и безделью, они стали тяготиться скитаниями и походами и постепенно дошли до того, что осмеливались порицать царя и дурно отзываться о нем. Сначала Александр относился к этому очень спокойно, он говорил, что царям не в диковину слышать хулу в ответ на свои благодеяния. Действительно, даже самое малое из того, что он сделал для своих приближенных, свидетельствовало о его большой любви и уважении к ним. Я приведу лишь несколько примеров.

Певкеста, который был ранен медведем, Александр упрекал в письме за то, что он не известил его об этом, хотя сообщил о своем ранении многим другим. "Но теперь, – просил Александр, – напиши мне, как ты себя чувствуешь, а также сообщи, кто из твоих спутников на охоте покинул тебя в беде, ибо эти люди должны понести наказание". Гефестиону, уехавшему куда-то по делам, Александр сообщает, что Пердикка копьем случайно ранил Кратера в бедро, в то время как они дразнили мангусту. Как-то раз, когда Певкест оправился от болезни, Александр написал его врачу Алексиппу благодарственное письмо. Увидев однажды во сне, что Кратер болен, Александр и сам принес за него жертвы, и Кратеру велел сделать то же самое. Врачу Павсанию, намеревавшемуся лечить Кратера чемерицей, Александр написал письмо, в котором выражал свою тревогу и советовал, как лучше применять это средство. Эфиальта и Кисса, которые первыми сообщили об измене и бегстве Гарпала, Александр велел заковать в кандалы как клеветников. Когда Александр отправлял на родину боль-

ных и старых воинов, некий Эврилох из Эг записался в число больных. Но впоследствии было обнаружено, что он ничем не болен, и Эврилох признался, что он горячо любит Телесиппу и хотел отправиться к морю вместе с ней. Александр спросил тогда, кто эта женщина, и услышав в ответ, что она свободная гетера, сказал: "Мы сочувствуем твоей любви, Эврилох, но ведь Телесиппа свободнорожденная – постарайся же с помощью речей или подарков склонить ее к тому, чтобы она осталась здесь".

42. Можно только удивляться тому, сколько внимания уделял он своим друзьям. Он находил время писать письма даже о самых маловажных вещах, если только они касались близких ему людей. В одном письме он приказывает, чтобы был разыскан раб Селевка, бежавший в Киликию. Певкесту он выражает в письме благодарность за то, что тот поймал некоего Никона, который был рабом Кратера. Мегабизу Александр пишет о рабе, нашедшем убежище в храме: он советует Мегабизу при первой возможности выманить этого раба из его убежища и схватить вне храма, но внутри храма не трогать его. Рассказывают, что в первые годы царствования, разбирая дела об уголовных преступлениях, наказуемых смертной казнью, Александр во время речи обвинителя закрывал рукой одно ухо, чтобы сохранить слух беспристрастным и не предубежденным против обвиняемого. Позднее, однако, его ожесточили многочисленные измышления, скрывавшие ложь под личиной истины, и в эту пору, если до него доходили оскорбительные речи по его адресу, он совершенно выходил из себя, становился неумолимым и беспощадным, так как славой дорожил больше, чем жизнью и царской властью.

Намереваясь вновь сразиться с Дарием, Александр выступил в поход. Услышав о том, что Дарий взят в плен Бессом, Александр отпустил домой фессалийцев, вручив им в подарок, помимо жалованья, две тысячи талантов. Преследование было тягостным и длительным: за одиннадцать дней они проехали верхом три тысячи триста стадиев, многие воины были изнурены до предела, главным образом из-за отсутствия воды. В этих местах Александр однажды встретил каких-то македонян, возивших на мулах меха с водой из реки. Увидев Александра, страдавшего от жажды – был уже полдень, – они быстро наполнили водой шлем и поднесли его царю. Александр спросил их, кому везут они воду, и македоняне ответили: "Нашим сыновьям; но если ты будешь жить, мы родим других детей, пусть даже и потеряем этих". Услышав это, Александр взял в руки шлем, но, оглянувшись и увидев, что все окружавшие его всадники обернулись и смотрят на воду, он возвратил шлем, не отхлебнув ни глотка. Похвалив тех, кто принес ему воду, он сказал: "Если я буду пить один, они падут духом". Видя самообладание и великодушие царя, всадники, хлестнув коней, воскликнули, чтобы он не колеблясь вел их дальше, ибо они не могут чувствовать усталости, не могут испытывать жажду и даже смертными считать себя не могут, пока имеют такого царя.

43. Все проявили одинаковое усердие, но только шестьдесят всадников ворвалось во вражеский лагерь вместе с царем. Не обратив внимания на разбросанное повсюду в изобилии серебро и золото, проскакав мимо многочисленных повозок, которые были переполнены детьми и женщинами и катились без цели и

направления, лишенные возничих, македоняне устремились за теми, кто бежал впереди, полагая, что Дарий находится среди них. Наконец, они нашли лежащего на колеснице Дария, пронзенного множеством копий и уже умирающего. Дарий попросил пить, и Полистрат принес холодной воды; Дарий, утолив жажду, сказал: "То, что я не могу воздать благодарность за оказанное мне благодеяние, – вершина моего несчастья, но Александр вознаградит тебя, а Александра вознаградят боги за ту доброту, которую он проявил к моей матери, моей жене и моим детям. Передай ему мое рукопожатие". С этими словами он взял руку Полистрата и тотчас скончался.

Александр подошел к трупу и с нескрываемою скорбью снял с себя плащ и покрыл тело Дария. Впоследствии Александр нашел Бесса и казнил его. Два прямых дерева были согнуты и соединены вершинами, к вершинам привязали Бесса, а затем деревья отпустили, и, с силою выпрямившись, они разорвали его. Тело Дария, убранное по-царски, Александр отослал его матери, а Эксатра, брата Дария, принял в свое окружение.

44. Затем Александр с лучшей частью войска отправился в Гирканию. Там он увидел морской залив, вода в котором была гораздо менее соленой, чем в других морях. Об этом заливе, который, казалось, не уступал по величине Понту, Александру не удалось узнать ничего определенного, и царь решил, что это край Мэотиды. Между тем естествоиспытатели были уже знакомы с истиной: за много лет до похода Александра они писали, что Гирканский залив, или Каспийское море, – самый северный из четырех заливов Океана[48].

В тех местах какие-то варвары похитили царского коня Букефала, неожиданно напав на конюхов. Александр пришел в ярость и объявил через вестника, что если ему не возвратят коня, он перебьет всех местных жителей с их детьми и женами. Но когда ему привели коня и города добровольно покорились ему, Александр обошелся со всеми милостиво и даже заплатил похитителям выкуп за Букефала.

45. Из Гиркании Александр выступил с войсками в Парфию, и в этой стране, отдыхая от трудов, он впервые надел варварское платье, то ли потому, что умышленно подражал местным нравам, хорошо понимая, сколь подкупает людей все привычное и родное, то ли, готовясь учредить поклонение собственной особе, он хотел таким способом постепенно приучить македонян к новым обычаям. Но все же он не пожелал облачаться полностью в мидийское платье, которое было слишком уж варварским и необычным, не надел ни шаровар, ни кандия, ни тиары[49], а выбрал такое одеяние, в котором удачно сочеталось кое-что от мидийского платья и кое-что от персидского: более скромное, чем первое, оно было пышнее второго. Сначала он надевал это платье только тогда, когда встречался с варварами или беседовал дома с друзьями, но позднее его можно было видеть в таком одеянии даже во время выездов и приемов. Зрелище это было тягостным для македонян, но, восхищаясь доблестью, которую он проявлял во всем остальном, они относились снисходительно к таким его слабостям, как любовь к наслаждениям и показному блеску. Ведь, не говоря уже о том, что он перенес прежде, совсем незадолго до описываемых здесь событий он был ранен стрелой в голень, и так сильно, что кость сломалась и вышла на-

ружу, в другой раз он получил удар камнем в шею, и долгое время туманная пелена застилала ему взор. И все же он не щадил себя, а непрестанно рвался навстречу всяческим опасностям; так, страдая поносом, он перешел реку Орексарт, которую принял за Танаид, и, обратив скифов в бегство, гнался за ними верхом на коне целых сто стадиев.

46. Многие, в том числе Клитарх, Поликлет, Онесикрит, Антиген и Истр, рассказывают, что в тех местах к Александру явилась амазонка, но Аристобул, секретарь Александра Харет, Птолемей, Антиклид, Филон Фиванский, Филипп из Феангелы, а также Гекатей Эретрийский, Филипп Халкидский и Дурид Самосский утверждают, что это выдумка. Их мнение как будто подтверждает и сам Александр. В подробном письме к Антипатру он говорит, что царь скифов дал ему в жены свою дочь, а об амазонке даже не упоминает. Рассказывают, что, когда много времени спустя Онесикрит читал Лисимаху, тогда уже царю, четвертую книгу своего сочинения, в которой написано об амазонке, Лисимах с легкой усмешкой спросил историка: "А где же я был тогда?" Но как бы мы ни относились к этому рассказу – как к правдивому или как к вымышленному, – наше восхищение Александром не становится от этого ни меньшим, ни большим.

47. Александр боялся, что македоняне падут духом и не захотят продолжать поход. Не тревожа до времени остальное войско, он обратился к тем лучшим из лучших, которые были с ним в Гиркании, – двадцати тысячам пехотинцев и трем тысячам всадников. Он говорил, что до сих пор варвары видели македонян как бы во сне, если же теперь, едва лишь приведя Азию в замешательство, македоняне решат уйти из этой страны, варвары сразу же нападут на них, как на женщин. Впрочем, тех, кто хочет уйти, он не собирается удерживать. Но пусть боги будут свидетелями, что македоняне покинули его с немногими друзьями и добровольцами на произвол судьбы, – его, который стремился приобрести для македонян весь мир. Примерно в тех же выражениях Александр пересказывает эту речь в письме к Антипатру; там же царь пишет, что, когда он кончил говорить, все воины закричали, чтобы он вел их хоть на край света. После того, как Александр добился успеха у этой части войска, было уже нетрудно убедить все остальное множество воинов, которые добровольно выразили готовность следовать за царем.

С этих пор он стал все больше приспосабливать свой образ жизни к местным обычаям, одновременно сближая их с македонскими, ибо полагал, что благодаря такому смешению и сближению он добром, а не силой укрепит свою власть на тот случай, если отправится в далекий поход. С этой же целью он отобрал тридцать тысяч мальчиков и поставил над ними многочисленных наставников, чтобы выучить их греческой грамоте и обращению с македонским оружием. И его брак с Роксаной, красивой и цветущей девушкой, в которую он однажды влюбился, увидев ее в хороводе на пиру, как всем казалось, вполне соответствовал его замыслу; ибо брак этот сблизил Александра с варварами, и они прониклись к нему доверием и горячо полюбили его за то, что он проявил величайшую воздержанность и не захотел незаконно овладеть даже той единственной женщиной, которая покорила его.

Когда Александр увидел, что один из его ближайших друзей, Гефестион, одобряет его сближение с варварами и сам подражает ему в этом, а другой, Кратер, остается верен отеческим нравам, он стал вести дела с варварами через Гефестиона, а с греками и с македонянами – через Кратера. Горячо любя первого и глубоко уважая второго, Александр часто говорил, что Гефестион – друг Александра, а Кратер – друг царя. Из-за этого Гефестион и Кратер питали скрытую вражду друг к другу и нередко ссорились. Однажды в Индии ссора их дошла до того, что они обнажили мечи. К тому и к другому бросились на помощь друзья, но Александр, пришпорив коня, подъехал к ним и при всех обругал Гефестиона, назвал его глупцом и безумцем, не желающим понять, что он был бы ничем, если бы кто-нибудь отнял у него Александра. Кратера он сурово разбранил с глазу на глаз, а потом, приведя их обоих к себе и примирив друг с другом, поклялся Аммоном и всеми другими богами, что никого из людей не любит так, как их двоих, но если он узнает когда-нибудь, что они опять ссорятся, то непременно убьет либо их обоих, либо зачинщика. Рассказывают, что после этого они даже в шутку ни словом, ни делом не пытались поддеть или уколоть друг друга.

48. Филот, сын Пармениона, пользовался большим уважением среди македонян. Его считали мужественным и твердым человеком, после Александра не было никого, кто был бы столь же щедрым и отзывчивым. Рассказывают, что как-то один из его друзей попросил у него денег и Филот велел своему домоуправителю выдать их. Домоуправитель отказался, сославшись на то, что денег нет, но Филот сказал ему: "Что ты говоришь? Разве у тебя нет какого-нибудь кубка или платья?" Однако высокомерием и чрезмерным богатством, слишком тщательным уходом за своим телом, необычным для частного лица образом жизни, а также тем, что гордость свою он проявлял неумеренно, грубо и вызывающе, Филот возбудил к себе недоверие и зависть. Даже отец его, Парменион, сказал ему однажды: "Спустись-ка, сынок, пониже". У Александра он уже давно был на дурном счету. Когда в Дамаске были захвачены богатства Дария, потерпевшего поражение в Киликии, в лагерь привели много пленных. Среди них находилась женщина по имени Антигона, родом из Пидны, выделявшаяся своей красотой. Филот взял ее себе. Как это свойственно молодым людям, Филот нередко, выпив вина, хвастался перед влюбленной своими воинскими подвигами, приписывая величайшие из деяний себе и своему отцу и называя Александра мальчишкой, который им обоим обязан своим могуществом. Женщина рассказала об этом одному из своих приятелей, тот, как водится, другому, и так молва дошла до слуха Кратера, который вызвал эту женщину и тайно привел ее к Александру. Выслушав ее рассказ, Александр велел ей продолжать встречаться с Филотом и обо всем, что бы она ни узнала, доносить ему лично.

49. Ни о чем не подозревая, Филот по-прежнему бахвалился перед Антигоной и в пылу раздражения говорил о царе неподобающим образом. Но хотя против Филота выдвигались серьезные обвинения, Александр все терпеливо сносил – то ли потому, что полагался на преданность Пармениона, то ли потому, что страшился славы и силы этих людей. В это время один македонянин по имени Димн, родом из Халастры, злоумышлявший против Александра, попытался вовлечь в свой заговор юношу Никомаха, своего возлюбленного, но тот отказался

участвовать в заговоре и рассказал обо всем своему брату Кебалину. Кебалин пошел к Филоту и просил его отвести их с братом к Александру, так как они должны сообщить царю о деле важном и неотложном. Филот, неизвестно по какой причине, не повел их к Александру, ссылаясь на то, что царь занят более значительными делами. И так он поступил дважды. Поведение Филота вызвало у братьев подозрение, и они обратились к другому человеку. Приведенные этим человеком к Александру, они сначала рассказали о Димне, а потом мимоходом упомянули и о Филоте, сообщив, что он дважды отверг их просьбу. Это чрезвычайно ожесточило Александра. Воин, посланный арестовать Димна, вынужден был убить его, так как Димн оказал сопротивление, и это еще более усилило тревогу Александра: царь полагал, что смерть Димна лишает его улик, необходимых для раскрытия заговора. Разгневанный на Филота, Александр привлек к себе тех людей, которые издавна ненавидели сына Пармениона и теперь открыто говорили, что царь проявляет беспечность, полагая, будто жалкий халастриец Димн по собственному почину решился на столь великое преступление. Димн, утверждали эти люди, – не более как исполнитель, вернее даже орудие, направляемое чьей-то более могущественной рукой, а истинных заговорщиков надо искать среди тех, кому выгодно, чтобы все оставалось скрытым. Так как царь охотно прислушивался к таким речам, враги возвели на Филота еще тысячи других обвинений. Наконец, Филот был схвачен и приведен на допрос. Его подвергли пыткам в присутствии ближайших друзей царя, а сам Александр слышал все, спрятавшись за занавесом. Рассказывают, что, когда Филот жалобно застонал и стал униженно молить Гефестиона о пощаде, Александр произнес: "Как же это ты, Филот, такой слабый и трусливый, решился на такое дело?"

После смерти Филота Александр сразу же послал в Мидию людей, чтобы убить Пармениона – того Пармениона, который оказал Филиппу самые значительные услуги и который был, пожалуй, единственным из старших друзей Александра, побуждавшим царя к походу на Азию. Из трех сыновей Пармениона двое погибли в сражениях на глазах у отца, а вместе с третьим сыном погиб он сам.

Все это внушило многим друзьям Александра страх перед царем, в особенности же – Антипатру, который, тайно отправив послов к этолийцам, заключил с ними союз. Этолийцы очень боялись Александра из-за того, что они разрушили Эниады[50], ибо, узнав о гибели города, царь сказал, что не дети эниадян, но он сам отомстит за это этолийцам.

50. За этими событиями вскоре последовало убийство Клита. Если рассказывать о нем без подробностей, оно может показаться еще более жестоким, чем убийство Филота, но если сообщить причину и все обстоятельства его, станет ясным, что оно совершилось не предумышленно, а в результате несчастного случая, что гнев и опьянение царя лишь сослужили службу злому року Клита.

Вот как все случилось. Какие-то люди, приехавшие из-за моря, принесли Александру плоды из Греции. Восхищаясь красотой и свежестью плодов, царь позвал Клита, чтобы показать ему фрукты и дать часть из них. Клит в это время как раз приносил жертвы, но, услышав приказ царя, приостановил жертвоприношение и сразу же отправился к Александру, а три овцы, над которыми

были уже совершены возлияния, побежали за ним. Узнав об этом, царь обратился за разъяснением к прорицателям – Аристандру и лакедемонянину Аристомену. Они сказали, что это дурной знак, и Александр велел как можно скорее принести умилостивительную жертву за Клита. (Дело в том, что за три дня до этого Александр видел странный сон. Ему приснилось, что Клит вместе с сыновьями Пармениона сидит в черных одеждах и все они мертвы.) Но Клит не дождался конца жертвоприношения и отправился на пир к царю, который только что принес жертвы Диоскурам.

В разгаре веселого пиршества кто-то стал петь песенки некоего Праниха, – или, по словам других писателей, Пиериона, – в которых высмеивались полководцы, недавно потерпевшие поражение от варваров[51]. Старшие из присутствовавших сердились и бранили сочинителя и певца, но Александр и окружавшие его молодые люди слушали с удовольствием и велели певцу продолжать. Клит, уже пьяный и к тому же от природы несдержанный и своевольный, негодовал больше всех. Он говорил, что недостойно среди варваров и врагов оскорблять македонян, которые, хотя и попали в беду, все же много лучше тех, кто над ними смеется. Когда Александр заметил, что Клит, должно быть, хочет оправдать самого себя, называя трусость бедою, Клит вскочил с места и воскликнул: "Но эта самая трусость спасла тебя, рожденный богами, когда ты уже подставил свою спину мечу Спифридата! Ведь благодаря крови македонян и этим вот ранам ты столь вознесся, что, отрекшись от Филиппа, называешь себя сыном Аммона!"

51. С гневом Александр отвечал: "Долго ли еще, негодяй, думаешь ты радоваться, понося нас при каждом удобном случае и призывая македонян к неповиновению?" «Да мы и теперь не радуемся, Александр, вкушая такие "сладкие" плоды наших трудов, – возразил Клит. – Мы считаем счастливыми тех, кто умер еще до того, как македонян начали сечь мидийскими розгами, до того, как македоняне оказались в таком положении, что вынуждены обращаться к персам, чтобы получить доступ к царю». В ответ на эти дерзкие речи поднялись друзья Александра и стали бранить Клита, а люди постарше пытались угомонить спорящих. Александр же, обратившись к Ксенодоху Кардийскому и Артемию Колофонскому, сказал: "Не кажется ли вам, что греки прогуливаются среди македонян, словно полубоги среди диких зверей?" Клит не унимался, он требовал, чтобы Александр при всех высказал то, что думает, или же чтобы он больше не приглашал к себе на пир людей свободных, привыкших говорить откровенно, а жил среди варваров и рабов, которые будут поклоняться его персидскому поясу и белому хитону.

Александр уже не мог сдержать гнева: схватив лежавшее около него яблоко, он бросил им в Клита и стал искать свой кинжал. Но так как один из телохранителей, Аристофан, успел вовремя убрать кинжал, а все остальные окружили Александра и умоляли его успокоиться, он вскочил с места, по-македонски кликнул царскую стражу (это был условный знак крайней опасности), велел трубачу подать сигнал тревоги и ударил его кулаком, заметив, что тот медлит. Впоследствии этот трубач пользовался большим уважением за то, что благодаря его самообладанию весь лагерь не был приведен в смятение. Клита, не же-

лавшего уступить, друзья с трудом вытолкали из пиршественного зала, но он снова вошел через другие двери, с превеликой дерзостью читая ямбы из "Андромахи" Эврипида:

Какой плохой обычай есть у эллинов...[52]

Тут Александр выхватил копье у одного из телохранителей и, метнув его в Клита, который отбросил дверную завесу и шел навстречу царю, пронзил дерзкого насквозь. Клит, громко застонав, упал, и гнев Александра сразу же угас. Опомнившись и увидев друзей, безмолвно стоявших вокруг, Александр вытащил из трупа копье и попытался вонзить его себе в шею, но ему помешали – телохранители схватили его за руки и насильно унесли в спальню.

52. Проведя всю ночь в рыданиях, он настолько изнемог от крика и плача, что на следующий день лежал безмолвно, испуская лишь тяжкие стоны. Друзья, напуганные его молчанием, без разрешения вошли в спальню. Но речи их не тронули Александра. Только когда прорицатель Аристандр, напомнив царю о сновидении, в котором ему явился Клит, и о дурном знамении при жертвоприношении, сказал, что все случившееся было уже давно определено судьбою, Александр, казалось, несколько успокоился.

Затем к нему привели Анаксарха из Абдер и философа Каллисфена – родственника Аристотеля. Каллисфен пытался кроткой и ласковой речью смягчить горе царя, а Анаксарх, который с самого начала пошел в философии особым путем и был известен своим презрительным отношением к общепринятым взглядам, подойдя к Александру, воскликнул: "И это Александр, на которого смотрит теперь весь мир! Вот он лежит, рыдая, словно раб, страшась закона и порицания людей, хотя он сам должен быть для них и законом и мерою справедливости, если только он победил для того, чтобы править и повелевать, а не для того, чтобы быть прислужником пустой молвы. Разве ты не знаешь, – продолжал он, – что Зевс для того посадил с собой рядом Справедливость и Правосудие, дабы всё, что ни совершается повелителем, было правым и справедливым?" Такими речами Анаксарх несколько успокоил царя, но зато на будущее время внушил ему еще большую надменность и пренебрежение к законам. Пользуясь расположением Александра, Анаксарх усилил его неприязнь к Каллисфену, которого царь и прежде-то недолюбливал за строгость и суровость. Рассказывают, что однажды на пиру, когда разговор зашел о временах года и погоде, Каллисфен, разделявший взгляды тех, которые считают, что в Азии холоднее, чем в Греции, в ответ на возражения Анаксарха сказал так: "Ты-то уж должен был бы согласиться с тем, что здесь холодней, чем в Греции. Там ты всю зиму ходил в изношенном плаще, а здесь лежишь, укрывшись тремя коврами". После этого Анаксарх стал еще больше ненавидеть Каллисфена.

53. Другим софистам и льстецам Каллисфен был также ненавистен, ибо юноши любили его за красоту речей, а пожилым людям он в неменьшей мере был приятен тем, что вел жизнь безупречную, чистую, чуждую искательства. Его жизнь неопровержимо доказывала, что он не уклонялся от истины, когда говорил, что отправился за Александром лишь затем, чтобы восстановить свой родной город[53] и вернуть туда жителей. Ненавидимый из-за своей славы, он и пове-

дением своим давал врагам пищу для клеветы, ибо большей частью отклонял приглашения к царскому столу, а если и приходил, то своей суровостью и молчанием показывал, что он не одобряет происходящего. Оттого-то Александр и сказал про него:

Противен мне мудрец, что для себя не мудр[54].

Рассказывают, что однажды на царском пиру при большом стечении приглашенных Каллисфену поручили произнести за кубком вина хвалебную речь в честь македонян, и он говорил на эту тему с таким красноречием, что присутствовавшие, стоя, рукоплескали и бросали ему свои венки. Тогда Александр привел слова Эврипида[55] о том, что прекрасно говорить о прекрасном предмете – дело нетрудное, и сказал: "Теперь покажи нам свою силу, произнесши обвинительную речь против македонян, чтобы, узнав свои ошибки, они стали лучше". Тут уже Каллисфен заговорил по-другому, в откровенной речи он предъявил македонянам многие обвинения. Он сказал, что раздор среди греков был единственной причиной успехов Филиппа и его возвышения, и в доказательство своей правоты привел стих:

Часто при распрях почет достается в удел негодяю[56].

Этой речью Каллисфен возбудил против себя лютую ненависть со стороны македонян, а Александр сказал, что Каллисфен показал не столько силу своего красноречия, сколько силу своей вражды к македонянам.

54. По словам Гермиппа, об этом случае рассказал Аристотелю Стреб, чтец Каллисфена. Гермипп добавляет, что Каллисфен почувствовал недовольство царя и, прежде чем выйти из зала, два или три раза повторил, обращаясь к нему:

Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный[57].

Аристотель, по-видимому, не ошибался, когда говорил, что Каллисфен – прекрасный оратор, но человек неумный.

Впрочем, благодаря тому, что Каллисфен упорно, как подобает философу, боролся против обычая падать ниц перед царем и один осмеливался открыто говорить о том, что вызывало тайное возмущение у лучших и старейших из македонян, он избавил греков от большого позора, а Александра – от еще большего, но себе самому уготовил погибель, ибо казалось, что он не столько убедил царя, сколько принудил его отказаться от почестей благоговейного поклонения.

Харет из Митилены рассказывает, что однажды на пиру Александр, отпив вина, протянул чашу одному из друзей. Тот, приняв чашу, встал перед жертвенником и, выпив вино, сначала пал ниц, потом поцеловал Александра и вернулся на свое место. Так поступили все. Когда очередь дошла до Каллисфена, он взял чашу (царь в это время отвлекся беседой с Гефестионом), выпил вино и подошел к царю для поцелуя. Но тут Деметрий, по прозвищу Фидон, воскликнул: "О царь, не целуй его, он один из всех не пал пред тобою ниц". Александр уклонился от поцелуя, а Каллисфен сказал громким голосом: "Что ж, одним поцелуем будет у меня меньше".

55. Своим поведением Каллисфен очень озлобил Александра, и тот охотно поверил Гефестиону, который сказал, что философ обещал ему пасть ниц перед царем, но не сдержал своего слова. Потом на Каллисфена обрушились Лисимах и Гагнон: они говорили, что софист расхаживает с таким гордым видом, словно он уничтожил тираннию, что отовсюду к нему стекаются зеленые юнцы, восторгающиеся им, как человеком, который один среди стольких тысяч сумел остаться свободным. Поэтому, когда был раскрыт заговор Гермолая, обвинения, которые возвели на Каллисфена его враги, представились царю вполне правдоподобными. А враги утверждали, будто на вопрос Гермолая, как стать самым знаменитым, Каллисфен ответил: "Для этого надо убить самого знаменитого". Клеветники говорили, будто Каллисфен подстрекал Гермолая к решительным действиям, убеждал его не бояться золотого ложа и помнить, что перед ним человек, столь же подверженный болезням и столь же уязвимый, как и все остальные люди. Все же никто из заговорщиков даже под самыми страшными пытками не назвал Каллисфена виновным. И сам Александр вскоре после этого написал Кратеру, Атталу и Алкету, что мальчишки во время пыток брали всю вину на себя, уверяя, что у них не было соучастников. Позднее, однако, в письме к Антипатру Александр возлагает вину и на Каллисфена: "Мальчишек, – пишет он, – македоняне побили камнями, а софиста я еще накажу, как, впрочем, и тех, кто его прислал и кто радушно принимает в своих городах заговорщиков, посягающих на мою жизнь". Здесь Александр явно намекает на Аристотеля, ибо Каллисфен был его родственником, сыном его двоюродной сестры Геро́, и воспитывался в его доме. Некоторые сообщают, что Александр повесил Каллисфена, а другие – что Каллисфен умер в тюрьме от болезни. Харет рассказывает, что Каллисфена семь месяцев держали в оковах, под стражей, чтобы позднее судить его в большом собрании, в присутствии Аристотеля, но как раз в те самые дни, когда Александр был ранен в Индии, Каллисфен умер от ожирения и вшивой болезни.

56. Но это случилось позднее. А в ту пору коринфянин Демарат, будучи уже в преклонных годах, пожелал отправиться к Александру. Представ пред царем, он сказал, что великой радости лишились те из греков, которые умерли, не увидев Александра восседающим на троне Дария. Недолго довелось Демарату пользоваться благоволением царя, но когда он умер от старческой немощи, то удостоился пышного погребения. Воины насыпали в его честь огромный курган высотою в восемьдесят локтей, а останки его на великолепно украшенной колеснице были отвезены к морю.

57. Александр намеревался отправиться в Индию, но, видя, что из-за огромной добычи войско отяжелело и стало малоподвижным, однажды на рассвете велел нагрузить повозки и сначала сжег те из них, которые принадлежали ему самому и его друзьям, а потом приказал поджечь повозки остальных македонян. Оказалось, что отважиться на это дело было гораздо труднее, чем совершить его. Лишь немногие были огорчены, большинство же, раздав необходимое нуждающимся, в каком-то порыве восторга с криком и шумом принялось сжигать и уничтожать все излишнее. Это еще более воодушевило Александра и придало ему твердости. В ту пору он был уже страшен в гневе и беспощаден при наказа-

нии виновных. Одного из своих приближенных, некоего Менандра, назначенного начальником караульного отряда в какой-то крепости, Александр приказал казнить только за то, что тот отказался там остаться. Орсодата, изменившего ему варвара, он собственной рукой застрелил из лука.

Около этого времени овца принесла ягненка, у которого на голове был нарост, формой и цветом напоминающий тиару, а по обеим сторонам нароста – по паре яичек. У Александра это знамение вызвало такое отвращение, что он пожелал очиститься от скверны. Обряд совершили вавилоняне, которых царь обыкновенно призывал к себе в подобных случаях. Друзьям Александр говорил, что он беспокоится не о себе, а об них, что он страшится, как бы божество после его смерти не вручило верховную власть человеку незнатному и бессильному. Но в скором времени печаль его была рассеяна добрым предзнаменованием. Начальник царских спальников, македонянин по имени Проксен, готовя у реки Окс место для палатки Александра, обнаружил источник густой и жирной жидкости. Когда вычерпали то, что находилось на поверхности, из источника забила чистая и светлая струя, ни по запаху, ни по вкусу не отличавшаяся от оливкового масла, такая же прозрачная и жирная. Это было особенно удивительным потому, что в тех местах не растут оливковые деревья. Рассказывают, что в самом Оксе вода очень мягкая, и у купающихся в этой реке кожа покрывается жиром. Как обрадовался Александр этому предзнаменованию, можно видеть из его письма к Антипатру. Он пишет, что это одно из величайших предзнаменований, когда-либо полученных им от божества. Прорицатели же утверждали, что оно предвещает поход славный, но тяжкий и суровый, ибо божество дало людям оливковое масло для того, чтобы облегчить их труды.

58. В боях Александр подвергал себя множеству опасностей и получил несколько тяжелых ранений, войско же его больше всего страдало от недостатка в съестных припасах и от скверного климата. Александр стремился дерзостью одолеть судьбу, а силу – мужеством, ибо он считал, что для смелых нет никакой преграды, а для трусов – никакой опоры. Рассказывают, что Александр долго осаждал неприступную скалу, которую оборонял Сисимитр. Когда воины совсем уже пали духом, Александр спросил Оксиарта, храбрый ли человек Сисимитр, и Оксиарт ответил, что Сисимитр – трусливейший из людей. Тогда Александр сказал: "Выходит дело, что мы можем захватить эту скалу, – ведь вершина у нее непрочная". Устрашив Сисимитра, он взял твердыню приступом. В другой раз, когда войско штурмовало столь же крутую и неприступную скалу, Александр послал вперед молодых македонян и, обратившись к одному юноше, которого тоже звали Александром, сказал ему: "Твое имя обязывает тебя быть мужественным". Храбро сражаясь, юноша пал в битве, и это очень огорчило царя.

Перед крепостью, называвшейся Нисой, македоняне остановились в нерешительности, так как их отделяла от нее глубокая река. Став на берегу, Александр сказал: "Почему я, глупец, не научился плавать?" И все же, взяв в руки щит, он хотел броситься в реку...* Когда Александр прекратил битву, к нему явились по-

*Текст в оригинале испорчен.

слы осажденных городов просить о мире. Сначала они были очень напуганы, увидев царя в простой одежде и с оружием в руках, но потом царю принесли подушку, и он велел старшему из послов, Акуфиду, сесть на нее. Пораженный великодушием и человечностью Александра, Акуфид спросил, чем могут они заслужить его дружбу. Александр сказал: "Пусть твои соотечественники изберут тебя правителем, а к нам пусть пришлют сто лучших мужей". На это Акуфид, рассмеявшись, отвечал: "Но мне будет легче править, царь, если я пришлю тебе худших, а не лучших".

59. Таксил, как сообщают, владел в Индии страной, по размерам не уступавшей Египту, к тому же плодородной и богатой пастбищами, а сам он был человек мудрый. Приветливо приняв Александра, он сказал ему: "Зачем нам воевать друг с другом, Александр, – ведь ты же не собираешься отнять у нас воду и необходимые средства к жизни, ради чего только и стоит сражаться людям разумным? Всем остальным имуществом я охотно поделюсь с тобою, если я богаче тебя, а если беднее – с благодарностью приму дары от тебя". С удовольствием выслушав эту речь, Александр протянул Таксилу правую руку и сказал, "Не думаешь ли ты, что благодаря этим радушным словам между нами не будет сражения? Ты ошибаешься. Я буду бороться с тобой благодеяниями, чтобы ты не превзошел меня своей щедростью". Приняв богатые дары от Таксила, Александр преподнес ему дары еще более богатые, а потом подарил тысячу талантов в чеканной монете. Этот поступок очень огорчил его друзей, но зато привлек к нему многих варваров.

Храбрейшие из индийцев-наемников, переходившие из города в город, сражались отчаянно и причинили Александру немало вреда. В одном из городов Александр заключил с ними мир, а когда они вышли за городские стены, царь напал на них в пути и, захватив в плен, перебил всех до одного. Это единственный позорный поступок, пятнающий поведение Александра на войне, ибо во всех остальных случаях Александр вел военные действия в согласии со справедливостью, истинно по-царски. Не меньше хлопот доставили Александру индийские философы[58], которые порицали царей, перешедших на его сторону, и призывали к восстанию свободные народы. За это многие из философов были повешены по приказу Александра.

60. О войне с Пором Александр сам подробно рассказывает в своих письмах. Между враждебными лагерями, сообщает он, протекала река Гидасп. Выставив вперед слонов, Пор постоянно вел наблюдение за переправой. Александр же велел каждый день поднимать в лагере сильный шум, чтобы варвары привыкли к нему. Однажды холодной и безлунной ночью Александр, взяв с собой часть пехоты и отборных всадников, ушел далеко в сторону от врагов и переправился на небольшой остров. В это время пошел проливной дождь, подул ураганный ветер, в лагерь то и дело ударяли молнии. На глазах у Александра несколько воинов было убито и испепелено молнией, и все же он отплыл от острова и попытался пристать к противоположному берегу. Из-за непогоды Гидасп вздулся и рассвирепел, во многих местах берег обрушился, и туда бурным потоком устремилась вода, к суше нельзя было подступиться, так как нога не держалась на скользком, изрытом дне. Рассказывают, что Александр воскликнул тогда:

"О, афиняне, знаете ли вы, каким опасностям я подвергаюсь, чтобы заслужить ваше одобрение?" Так говорит Онесикрит, сам же Александр сообщает, что они оставили плоты и, погрузившись в воду по грудь, с оружием в руках двинулись вброд.

Выйдя на берег, Александр с конницей устремился вперед, опередив пехоту на двадцать стадиев. Александр полагал, что если враги начнут конное сражение, то он легко победит их, если же они двинут вперед пехотинцев, то его пехота успеет вовремя присоединиться к нему. Сбылось первое из этих предположений. Тысячу всадников и шестьдесят колесниц, которые выступили против него, он обратил в бегство. Всеми колесницами он овладел, а всадников пало четыреста человек. Пор понял, что Александр уже перешел реку, и выступил ему навстречу со всем своим войском, оставив на месте лишь небольшой отряд, который должен был помешать переправиться остальным македонянам. Напуганный видом слонов и многочисленностью неприятеля, Александр сам напал на левый фланг, а Кену приказал атаковать правый. Враги дрогнули на обоих флангах, но всякий раз они отходили к слонам, собирались там и оттуда вновь бросались в атаку сомкнутым строем. Битва шла поэтому с переменным успехом, и лишь на восьмой час сопротивление врагов было сломлено. Так описал это сражение в своих письмах тот, по чьей воле оно произошло. Большинство историков в полном согласии друг с другом сообщает, что благодаря своему росту в четыре локтя и пядь[59], а также могучему телосложению Пор выглядел на слоне так же, как всадник на коне, хотя слон под ним был самый большой. Этот слон проявил замечательную понятливость и трогательную заботу о царе. Пока царь еще сохранял силы, слон защищал его от нападавших врагов, но, почувствовав, что царь изнемогает от множества дротиков, вонзившихся в его тело, и боясь, как бы он не упал, слон медленно опустился на колени и начал осторожно вынимать хоботом из его тела один дротик за другим.

Когда Пора взяли в плен и Александр спросил его, как следует с ним обращаться, Пор сказал: "По-царски". Александр спросил, не хочет ли он добавить еще что-нибудь. На это Пор ответил: "Все заключено в одном слове: "по-царски". Назначив Пора сатрапом, Александр не только оставил в его власти всю ту область, над которой он царствовал, но даже присоединил к ней новые земли, подчинив Пору индийцев, прежде независимых. Рассказывают, что на этих землях, населенных пятнадцатью народами, находилось пять тысяч больших городов и великое множество деревень. Над другой областью, в три раза большей, Александр поставил сатрапом Филиппа, одного из своих близких друзей.

61. Битва с Пором стоила жизни Букефалу. Как сообщает большинство историков, конь погиб от ран, но не сразу, а позднее, во время лечения. Онесикрит же утверждает, что Букефал издох от старости тридцати лет от роду. Александр был очень опечален смертью коня, он так тосковал, словно потерял близкого друга. В память о коне он основал город у Гидаспа и назвал его Букефалией. Рассказывают также, что, потеряв любимую собаку Периту, которую он сам вырастил, Александр основал город, названный ее именем. Сотион говорит, что слышал об этом от Потамона Лесбосского.

62. Сражение с Пором охладило пыл македонян и отбило у них охоту проникнуть дальше в глубь Индии. Лишь с большим трудом им удалось победить этого царя, выставившего только двадцать тысяч пехотинцев и две тысячи всадников. Македоняне решительно воспротивились намерению Александра переправиться через Ганг: они слышали, что эта река имеет тридцать два стадия в ширину и сто оргий в глубину и что противоположный берег весь занят вооруженными людьми, конями и слонами. Шла молва, что на том берегу их ожидают цари гандаритов и пресиев[60] с огромным войском из восьмидесяти тысяч всадников, двухсот тысяч пехотинцев, восьми тысяч колесниц и шести тысяч боевых слонов. И это не было преувеличением. Андрокотт, который вскоре вступил на престол, подарил Селевку пятьсот слонов и с войском в шестьсот тысяч человек покорил всю Индию.

Сначала Александр заперся в палатке и долго лежал там в тоске и гневе. Сознавая, что ему не удастся перейти через Ганг, он уже не радовался ранее совершенным подвигам и считал, что возвращение назад было бы открытым признанием своего поражения. Но так как друзья приводили ему разумные доводы, а воины плакали у входа в палатку, Александр смягчился и решил сняться с лагеря. Перед тем, однако, он пошел ради славы на хитрость. По его приказу изготовили оружие и конские уздечки необычайного размера и веса и разбросали их вокруг. Богам были сооружены алтари, к которым до сих пор приходят цари пресиев, чтобы поклониться им и совершить жертвоприношения по греческому обряду. Андрокотт еще юношей видел Александра. Как передают, он часто говорил впоследствии, что Александру было бы нетрудно овладеть и этой страной, ибо жители ее ненавидели и презирали своего царя за порочность и низкое происхождение.

63. Желая увидеть Океан, Александр построил большое число плотов и гребных кораблей, на которых македоняне медленно поплыли вниз по рекам. Но и во время плавания Александр не предавался праздности и не прекращал военных действий. Часто, сходя на берег, он совершал нападения на города и покорял все вокруг. В стране маллов, которые считались самыми воинственными из индийцев, он едва не был убит. Согнав врагов дротиками со стены, он первый взобрался на нее по лестнице. Но лестница сломалась, а варвары, стоявшие внизу у стены, подвергли его и тех немногих воинов, которые успели к нему присоединиться, яростному обстрелу. Александр спрыгнул вниз, в гущу врагов и, к счастью, сразу же вскочил на ноги. Потрясая оружием, царь устремился на врагов, и варварам показалось, будто от его тела исходит какое-то чудесное сияние. Сперва они в ужасе бросились врассыпную, но затем, видя, что рядом с Александром всего лишь два телохранителя, ринулись на него и, несмотря на его мужественное сопротивление, нанесли ему мечами и копьями много тяжелых ран. Один из варваров, встав чуть поодаль, пустил стрелу с такой силой, что она пробила панцирь и глубоко вонзилась в кость около соска. От удара Александр согнулся, и воин пустивший стрелу, подбежал к царю, обнажив варварский меч. Певкест и Лимней заслонили царя, но обоих тяжело ранили. Лимней сразу же испустил дух, Певкест удержался на ногах, а варвара убил сам Александр. Весь израненный, получив напоследок удар дубиной по шее, царь прислонился к сте-

не, обратив лицо к врагам. Но в этот миг Александра окружили македоняне и, схватив его, уже потерявшего сознание, отнесли в палатку. В лагере тотчас же распространился слух, что царь мертв. С трудом спилив древко стрелы и сняв с Александра панцирь, принялись вырезать вонзившееся в кость острие, которое, как говорят, было шириной в три пальца, а длиной – в четыре пальца[61]. В это время царь впал в глубокий обморок и был уже на волоске от смерти, но пришел в себя, когда острие было извлечено. Избежав смертельной опасности, он еще долгое время был очень слаб и нуждался в лечении и покое. Однажды он услышал, что македоняне шумят перед его палаткой, выражая желание увидеть своего царя. Накинув плащ, он вышел к ним и принес богам жертвы, а потом двинулся дальше, продолжая по пути покорять города и земли.

64. Александр захватил в плен десять гимнософистов из числа тех, что особенно старались склонить Саббу к измене и причинили македонянам немало вреда. Этим людям, которые были известны своим умением давать краткие и меткие ответы, Александр предложил несколько трудных вопросов, объявив, что того, кто даст неверный ответ, он убьет первым, а потом – все остальных по очереди. Старшему из них он велел быть судьею. Первый гимнософист на вопрос, кого больше – живых или мертвых, ответил, что живых, так как мертвых уже нет. Второй гимнософист на вопрос о том, земля или море взращивает зверей более крупных, ответил, что земля, так как море – это только часть земли. Третьего Александр спросил, какое из животных самое хитрое, и тот сказал, что самое хитрое – то животное, которое человек до сих пор не узнал. Четвертый, которого спросили, из каких побуждений склонял он Саббу к измене, ответил, что он хотел, чтобы Сабба либо жил прекрасно, либо прекрасно умер. Пятому был задан вопрос, что было раньше – день или ночь, и тот ответил, что день был на один день раньше, а потом, заметив удивление царя, добавил, что задающий мудреные вопросы неизбежно получит мудреные ответы. Обратившись к шестому, Александр спросил его, как должен человек себя вести, чтобы его любили больше всех, и тот ответил, что наибольшей любви достоин такой человек, который, будучи самым могущественным, не внушает страха. Из трех остальных одного спросили, как может человек превратиться в бога, и софист ответил, что человек превратится в бога, если совершит нечто такое, что невозможно совершить человеку. Другому задали вопрос, что сильнее – жизнь или смерть, и софист сказал, что жизнь сильнее, раз она способна переносить столь великие невзгоды. Последнего софиста Александр спросил, до каких пор следует жить человеку, и тот ответил, что человеку следует жить до тех пор, пока он не сочтет, что умереть лучше, чем жить. Тут царь обратился к судье и велел ему объявить приговор. Когда судья сказал, что они отвечали один хуже другого, царь воскликнул: “Раз ты вынес такое решение, ты умрешь первым”. На это софист возразил: “Но тогда ты окажешься лжецом, о царь: ведь ты сказал, что первым убьешь того, кто даст самый плохой ответ”.

65. Богато одарив этих гимнософистов, Александр отпустил их, а к самым прославленным, жившим уединенно, вдали от людей, послал Онесикрита, через которого пригласил их к себе. Онесикрит был сам философом из школы киника Диогена. По его словам, Калан принял его сурово и надменно, велел ему

снять хитон и вести беседу нагим, так как иначе, дескать, он не станет с ним говорить, будь Онесикрит посланцем даже самого Зевса. Дандамид был гораздо любезнее. Выслушав рассказ Онесикрита о Сократе, Пифагоре и Диогене, он сказал, что эти люди обладали, по-видимому, замечательным дарованием, но слишком уж почитали законы. По другим сведениям, Дандамид произнес только одну фразу: “Чего ради Александр явился сюда, проделав такой огромный путь?”

Калана Таксил уговорил явиться к Александру. Этого философа звали, собственно, Сфин, но так как он приветствовал всех встречных по-индийски – словом “кале”, греки прозвали его Калан. Рассказывают, что Калан воочию показал Александру, что представляет собой его царство. Бросив на землю высохшую и затвердевшую шкуру, Калан наступил на ее край, и вся она поднялась вверх. Обходя вокруг шкуры, Калан наступал на нее с краю в разных местах и всякий раз повторялось то же самое. Когда же он встал на середину и крепко прижал ее к земле, вся шкура осталась неподвижной. Этим Калан хотел сказать, что Александр должен утвердиться в середине своего царства и не слишком от нее удаляться.

66. Плавание вниз по течению рек продолжалось семь месяцев. Когда корабли вышли в Океан, Александр приплыл к острову, который он сам называет Скиллустидой, а другие – Псилтукой. Высадившись на берег, он принес жертвы богам и, насколько это было возможно, ознакомился с природой моря и побережья. Потом он обратился к богам с молитвой, чтобы никто из людей после него не зашел дальше тех рубежей, которых он достиг со своим войском. После этого он начал обратный путь. Кораблям он приказал плыть вдоль суши так, чтобы берег Индии находился справа, начальником флота назначил Неарха, а главным кормчим – Онесикрита. Сам Александр, двинувшись сушею через страну оритов, оказался в чрезвычайно тяжелом положении и потерял множество людей, так что ему не удалось привести из Индии даже четверти своего войска, а в начале похода у него было сто двадцать тысяч пехотинцев и пятнадцать тысяч всадников. Тяжелые болезни, скверная пища, нестерпимый зной и в особенности голод погубили многих в этой бесплодной стране, населенной нищими людьми, все имущество которых состояло из жалких овец, да и те были в ничтожном числе. Овцы питались морской рыбой, и потому мясо их было зловонным и неприятным на вкус. Лишь по прошествии шестидесяти дней Александру удалось выбраться из этой страны, и как только он достиг Гедрозии, у него сразу же все появилось в изобилии, так как сатрапы и цари ближайших стран позаботились об этом заранее.

67. Восстановив свои силы, македоняне в течение семи дней веселой процессией шествовали через Карманию. Восьмерка коней медленно везла Александра, который беспрерывно, днем и ночью, пировал с ближайшими друзьями, восседая на своего рода сцене, утвержденной на высоком, отовсюду видном помосте. Затем следовало множество колесниц, защищенных от солнечных лучей пурпурными и пестрыми коврами или же зелеными, постоянно свежими ветвями, на этих колесницах сидели остальные друзья и полководцы, украшенные венками и весело пирующие. Нигде не было видно ни щитов, ни шлемов, ни копий, на всем пути воины чашами, кружками и кубками черпали вино из пифосов

и кратеров[62] и пили за здоровье друг друга, одни при этом продолжали идти вперед, а другие падали наземь. Повсюду раздавались звуки свирелей и флейт, звенели песни, слышались вакхические восклицания женщин. В течение всего этого беспорядочного перехода царило такое необузданное веселье, как будто сам Вакх присутствовал тут же и участвовал в этом радостном шествии. Прибыв в столицу Гедрозии, Александр вновь предоставил войску отдых и устроил празднества. Рассказывают, что однажды, хмельной, он присутствовал на состязании хоров, один из которых возглавлял его любимец Багой. Одержав победу, Багой в полном наряде прошел через театр и сел рядом с царем. Увидев это, македоняне принялись рукоплескать и закричали, чтобы царь поцеловал Багоя; они не успокоились до тех пор, пока Александр не обнял и не поцеловал его.

68. Там же к нему явился Неарх со своими людьми. Александр очень обрадовался и, выслушав рассказ о плавании, вознамерился сам поплыть с большим флотом вниз по течению Евфрата, затем обогнуть Аравию и Африку и через Геракловы столпы пройти во Внутреннее море[63]. С этой целью у Тапсака начали строить различные суда и отовсюду собирать мореходов и кормчих. Но слухи о том, что поход в глубь материка оказался очень тяжелым, что царь получил ранение в битве с маллами, что войско понесло большие потери, порождали сомнения в том, что Александр вернется невредимым, побуждали подвластные народы к мятежам, а полководцев и сатрапов толкали на несправедливости, бесчинства и своеволие. Вообще повсюду воцарился дух беспокойства и стремление к переменам. В это же время Олимпиада и Клеопатра окончательно рассорились с Антипатром и поделили царство между собой: Олимпиада взяла себе Эпир, а Клеопатра – Македонию. Узнав об этом, Александр сказал, что мать поступила разумнее, ибо македоняне не потерпят, чтобы над ними царствовала женщина[64].

Сообразуясь с обстоятельствами, Александр вновь послал Неарха к морю, поручив ему опустошить вооруженной рукой все прибрежные страны, а сам отправился в дальнейший путь, чтобы наказать провинившихся полководцев. Оксиарта, одного из сыновей Абулита, он убил сам, пронзив его копьем. Абулит не приготовил съестных припасов, а поднес царю три тысячи талантов в чеканной монете, и Александр велел ему бросить эти деньги коням. Кони, разумеется, не притронулись к такому "корму", и царь, воскликнув: "Что нам за польза в твоих припасах?" – приказал бросить Абулита в тюрьму.

69. В Персиде Александр прежде всего роздал женщинам деньги по обычаю прежних царей, которые всякий раз, когда они являлись в эту страну, давали каждой женщине по золотому. Рассказывают, что именно поэтому некоторые цари приезжали в Персиду очень редко, а Ох из жадности так ни разу туда и не явился, превратив себя в добровольного изгнанника.

Когда Александр узнал, что могила Кира разграблена, он велел казнить Поламаха, совершившего это преступление, хотя это был один из знатнейших граждан Пеллы. Прочтя надгробную надпись, Александр приказал начертать ее также и по-гречески, а она гласила: "О человек, кто бы ты ни был и откуда бы ты ни явился, – ибо я знаю, что ты придешь, – я Кир, создавший персидскую державу. Не лишай же меня той горстки земли, которая покрывает мое тело".

Эти слова произвели на Александра глубокое и сильное впечатление и навели его на горестные размышления о превратностях человеческой судьбы.

Здесь Калан, долгое время страдавший болезнью желудка, попросил соорудить для себя костер. Подъехав к костру на коне, он помолился, окропил себя, словно жертвенное животное, и срезал со своей головы клок волос в приношение богам. Затем, взойдя на костер, он попрощался с присутствовавшими македонянами, попросил их и царя провести этот день в веселой попойке и сказал, что царя он вскоре увидит в Вавилоне. Произнеся эти слова, он лег и укрылся с головой. Огонь подбирался все ближе, но он не двинулся с места, не шевельнул ни рукой, ни ногой. Так он принес себя в жертву богам по древнему обычаю мудрецов своей страны. Много лет спустя в Афинах то же самое совершил другой индиец[65], находившийся тогда в свите Цезаря. До сих пор там можно видеть могильный памятник, который называют "надгробием индийца".

70. Возвратившись к себе после самосожжения Калана, Александр созвал на пир друзей и полководцев. На пиру он предложил потягаться в умении пить и назначил победителю в награду венок. Больше всех выпил Промах, который дошел до четырех хоев[66]; в награду он получил венок ценою в талант, но через три дня скончался. Кроме него, как сообщает Харет, умерли еще сорок один человек, которых после попойки охватил сильнейший озноб.

В Сузах Александр женился на дочери Дария Статире и одновременно отпраздновал свадьбы друзей, отдав в жены самым лучшим своим воинам самых прекрасных персидских девушек. Для македонян, которые уже были женаты, он устроил общее свадебное пиршество; сообщают, что на этом пиру каждому из девяти тысяч приглашенных была вручена золотая чаша для возлияний. Изумительная щедрость царя проявилась и в том, что он из собственных средств заплатил долги своих воинов, израсходовав на это девять тысяч восемьсот семьдесят талантов. Этим воспользовался Антиген Одноглазый. Обманным путем занеся свое имя в список должников и приведя к столу человека, который назвался его заимодавцем, он получил деньги. Но вскоре обман был раскрыт, и царь, вне себя от гнева, выгнал Антигена из дворца и отрешил его от командования. Этот Антиген проявил себя замечательным воином. Когда он был еще юношей и находился в войсках Филиппа, осаждавших Перинф, ему в глаз попала стрела из катапульты, но он не позволил вынуть стрелу и не покинул строя до тех пор, пока враги не были оттеснены и заперты в стенах города. Свой позор он переносил чрезвычайно тяжело: было видно, что от горя и тоски он готов наложить на себя руки. Опасаясь этого, царь смягчился и приказал Антигену оставить эти деньги у себя.

71. Тридцать тысяч мальчиков, которых Александр велел обучать и закалять, оказались не только сильными и красивыми, но также замечательно ловкими и умелыми в военных упражнениях. Александр очень этому радовался, а македоняне огорчались, опасаясь, что царь будет теперь меньше дорожить ими. Поэтому, когда Александр собирался отослать к морю больных и изувеченных воинов, македоняне сочли это обидой и оскорблением, они говорили, что царь выжал из этих людей все, что они могли дать, а теперь, с позором выбрасывая их, возвращает их отечеству и родителям уже совсем не такими, какими взял.

Пусть же царь признает бесполезными всех македонян и отпустит их всех, раз у него есть эти молокососы-плясуны, с которыми он намерен покорить мир. Эти речи возмутили Александра. Гневно разбранив македонян, он прогнал их прочь и поручил охранять себя персам, выбрав из их числа телохранителей и жезлоносцев. Видя Александра окруженным персами, а самих себя устраненными и опозоренными, македоняне пали духом. Делясь друг с другом своими мыслями, они чувствовали, что от зависти и гнева готовы сойти с ума. Наконец, кое-как опомнившись, безоружные, в одних хитонах, они пошли к палатке Александра. С криком и плачем они отдали себя на волю царя, умоляя его поступить с ними, как с неблагодарными негодяями. Александр, хотя и несколько смягчился, все же не допустил их к себе, но они не ушли, а два дня и две ночи терпеливо простояли перед палаткой, рыдая и призывая своего повелителя. На третий день Александр вышел к ним и, увидев их такими несчастными и жалкими, горько заплакал. Затем, мягко упрекнув их, он заговорил с ними милостиво и отпустил бесполезных воинов, щедро наградив их и написав Антипатру, чтобы на всех состязаниях и театральных зрелищах они сидели на почетных местах, украшенные венками, а осиротевшим детям погибших приказал выплачивать жалованье их отцов.

72. Прибыв в Экбатаны Мидийские и устроив там необходимые дела, Александр стал снова бывать в театрах и на празднествах, так как из Греции к нему явились три тысячи актеров.

В эти дни тяжело заболел Гефестион. Человек молодой и воин, он не мог подчиниться строгим предписаниям врача и однажды, воспользовавшись тем, что врач его Главк ушел в театр, съел за завтраком вареного петуха и выпил большую кружку вина. После этого он почувствовал себя очень плохо и вскоре умер. Горе Александра не знало границ, он приказал в знак траура остричь гривы у коней и мулов, снял зубцы с крепостных стен близлежащих городов, распял на кресте несчастного врача, на долгое время запретил в лагере играть на флейте и вообще не мог слышать звуков музыки, пока от Аммона не пришло повеление оказывать Гефестиону почести и приносить ему жертвы как герою. Утешением в скорби для Александра была война, которую он превратил в охоту на людей: покорив племя коссеев, он перебил всех способных носить оружие. И это называли заупокойною жертвой в честь Гефестиона. На похороны, сооружение могильного кургана и на убранство, потребное для исполнения всех обрядов, Александр решил потратить десять тысяч талантов, но он хотел, чтобы совершенство исполнения превзошло денежные затраты. Более чем всеми другими мастерами, Александр дорожил Стасикратом, замыслы которого отличались великолепием, дерзостью, блеском и новизной. Незадолго до того Стасикрат обратился к царю и сказал, что Афону во Фракии скорее, чем какой-либо другой горе, можно придать вид человеческой фигуры и что, по приказанию Александра, он готов превратить Афон в самую незыблемую и самую величественную статую царя, левой рукой охватывающую многолюдный город, а правой – изливающую в море многоводный поток. Царь отверг тогда это предложение, но теперь он только тем и занимался, что вместе с мастерами придумывал еще более нелепые и разорительные затеи.

73. На пути в Вавилон к Александру вновь присоединился Неарх, корабли которого вошли в Евфрат из Великого моря. Неарх сообщил Александру, что ему встретились какие-то халдеи, которые просили передать царю, чтобы он не вступал в Вавилон. Но Александр не обратил на это внимания и продолжал путь. Приблизившись к стенам города, царь увидел множество воронов, которые ссорились между собой и клевали друг друга, причем некоторые из них падали замертво на землю у его ног. Вскоре после этого Александру донесли, что Аполлодор, командующий войсками в Вавилоне, пытался узнать о судьбе царя по внутренностям жертвенных животных. Прорицатель Пифагор, которого Александр призвал к себе, подтвердил это и на вопрос царя, каковы были внутренности, ответил, что печень оказалась с изъяном. "Увы, – воскликнул Александр, – это плохой знак!" Пифагору он не причинил никакого зла, на себя же очень досадовал, что не послушался Неарха.

Бо́льшую часть времени он проводил вне стен Вавилона, располагаясь лагерем в разных местах и совершая на корабле поездки по Евфрату. Его тревожили многие знамения. На самого большого и красивого льва из тех, что содержались в зверинце, напал домашний осел и ударом копыт убил его. Однажды Александр, раздевшись для натирания, играл в мяч. Когда пришло время одеваться, юноши, игравшие вместе с ним, увидели, что на троне молча сидит какой-то человек в царском облачении с диадемой на голове. Человека спросили, кто он такой, но тот долгое время безмолвствовал. Наконец, придя в себя, он сказал, что зовут его Дионисий и родом он из Мессении; обвиненный в каком-то преступлении, он был привезен сюда по морю и очень долго находился в оковах; только что ему явился Серапис[67], снял с него оковы и, приведя его в это место, повелел надеть царское облачение и диадему и молча сидеть на троне.

74. Александр, по совету прорицателей, казнил этого человека, но уныние его еще усугубилось, он совсем потерял надежду на божество и доверие к друзьям. Особенно боялся царь Антипатра и его сыновей, один из которых, Иол, был главным царским виночерпием, а другой, Кассандр, приехал к Александру лишь недавно. Этот Кассандр однажды увидел каких-то варваров, простершихся ниц перед царем, и как человек, воспитанный в эллинском духе и никогда не видевший ничего подобного, невольно рассмеялся. Разгневанный Александр схватил обеими руками Кассандра за волосы и принялся с силой бить его головой о стену. В другой раз, когда Кассандр пытался что-то возразить людям, возводившим обвинение на Антипатра, Александр перебил его и сказал: "Что ты там толкуешь? Неужели ты думаешь, что эти люди, не претерпев никакой обиды, проделали такой длинный путь только ради того, чтобы наклеветать?" Кассандр возразил, что как раз это и доказывает несправедливость обвинения: затем, дескать, они и пришли издалека, чтобы их труднее было уличить во лжи. На это Александр сказал рассмеявшись: "Дорого же вам обойдутся эти Аристотелевы софизмы, это умение говорить об одном и том же и за и против, если только обнаружится, что вы хоть в чем-то обидели эти людей!" Вообще, как сообщают, непреоборимый страх перед Александром так глубоко проник в душу Кассандра и так прочно в ней укоренился, что много лет спустя, когда Кассандр, к тому времени уже царь македонян и властитель Греции, однажды прогуливался по

Дельфам и, разглядывая статуи, неожиданно увидел изображение Александра, он почувствовал головокружение, задрожал всем телом и едва смог прийти в себя.

75. Исполненный тревоги и робости, Александр сделался суеверен, все сколько-нибудь необычное и странное казалось ему чудом, знамением свыше, в царском дворце появилось великое множество людей, приносивших жертвы, совершавших очистительные обряды и предсказывавших будущее. Сколь губительно неверие в богов и презрение к ним, столь же губительно и суеверие, которое подобно воде, всегда стекающей в низменные места...*

Со всем тем, получив от Аммона прорицание, касавшееся Гефестиона, Александр отменил траур и стал снова бывать на религиозных празднествах и на пиршествах.

Однажды после великолепного приема в честь Неарха и его спутников Александр принял ванну, как он делал обычно перед сном, и собирался уже было лечь, но, вняв просьбе Медия, отправился к нему на пир. Там он пил весь следующий день, а к концу дня его стало лихорадить. Некоторые писатели утверждают, будто Александр осушил кубок Геракла[68] и внезапно ощутил острую боль в спине, как от удара копьем, – все это они считают нужным измыслить, чтобы придать великой драме окончание трагическое и трогательное. Аристобул уже сообщает что жестоко страдая от лихорадки, Александр почувствовал сильную жажду и выпил много вина, после чего впал в горячечный бред и на тридцатый день месяца десия умер.

76. В "Дневниках" о болезни Александра сказано следующее. На восемнадцатый день месяца десия он почувствовал в бане сильнейший озноб и заснул там. На следующее утро он помылся, пошел в спальню и провел день, играя с Медием в кости. Вечером он принял ванну, принес богам жертвы и поел, а ночью его сильно лихорадило. На двадцатый день он принял ванну, совершил обычное жертвоприношение и, лежа в бане, беседовал с Неархом, который рассказывал ему о своем плавании по Великому морю. Двадцать первый день он провел таким же образом, но жар усилился, а ночью он почувствовал себя очень плохо и весь следующий день его лихорадило. Перенесенный в большую купальню, он беседовал там с военачальниками о назначении достойных людей на освободившиеся должности в войске. На двадцать четвертый день у Александра был сильный приступ лихорадки. Его пришлось отнести к жертвеннику, чтобы он мог совершить жертвоприношение. Высшим военачальникам он приказал остаться во дворце, а таксиархам и пентакосиархам[69] – провести ночь поблизости. На двадцать пятый день, перенесенный в другую часть дворца, он немного поспал, но лихорадка не унималась. Когда к нему пришли военачальники, он не мог произнести ни слова, то же повторилось и на двадцать шестой день. Македоняне заподозрили, что царь уже мертв; с криком и угрозами они потребовали у царских товарищей, чтобы их пропустили во дворец. Наконец они добились своего: двери дворца были открыты, и македоняне в одних хитонах по одному прошли мимо ложа царя. В этот же день Пифон и Селевк были посланы в храм Серапи-

*Текст в оригинале испорчен.

са, чтобы спросить у бога, не надо ли перенести Александра в его храм. Бог велел оставить Александра на месте. На двадцать восьмой день[70] к вечеру Александр скончался. (77) Все это почти слово в слово можно прочесть в "Дневниках".

Ни у кого тогда не возникло подозрения, что Александра отравили, но, как рассказывают, спустя пять лет Олимпиада поверила доносу и многих казнила. Останки Иола, который к тому времени умер, она приказала выбросить из могилы за то, что он будто бы подал Александру яд. Те, кто утверждает, что яд был послан Антипатром и что Антипатр сделал это по совету Аристотеля, ссылаются на рассказ некоего Гагнофемида, который сообщает, что слышал об этом от царя Антигона. Ядом, как передают, послужила ледяная вода, которая по каплям, как роса, стекает с какой-то скалы близ Нонакриды[71]; ее собирают и сливают в ослиное копыто. Ни в чем другом хранить эту жидкость нельзя, так как, будучи очень холодной и едкой, она разрушает любой сосуд. Большинство писателей, однако, считает, что вообще все это выдумка и что никакого отравления не было. Убедительным доводом в пользу этого мнения может служить то, что на теле Александра, в течение многих дней, пока военачальники ссорились между собой, пролежавшем без всякого присмотра в жарком и душном месте, не появилось никаких признаков, которые свидетельствовали бы об отравлении; все это время труп оставался чистым и свежим.

Роксана была тогда беременна и потому пользовалась большим уважением у македонян. До крайности ревнивая и страстно ненавидевшая Статиру, она при помощи подложного письма заманила ее и ее сестру к себе. обеих убила, бросила трупы в колодец и засыпала землей, причем Пердикка знал об этом и даже помогал ей. Сразу же после смерти Александра Пердикка приобрел огромную власть – тем, что повсюду таскал за собой Арридея – эту куклу на царском троне. Арридей, сын Филиппа от распутницы Филинны, был слабоумным из-за телесного недуга. Недуг этот не был врожденным и возник не сам собой: рассказывают, что, когда Арридей был ребенком, у него проявлялись добрые и благородные наклонности, но потом Олимпиада при помощи всяческих зелий довела его до того, что он лишился рассудка[72]...



ЦЕЗАРЬ

1. ... Когда Сулла захватил власть, он не смог ни угрозами, ни обещаниями побудить Цезаря к разводу с Корнелией, дочерью Цинны, бывшего одно время единоличным властителем Рима; поэтому Сулла конфисковал приданое Корнелии. Причиной же ненависти Суллы к Цезарю было родство последнего с Марием, ибо Марий Старший был женат на Юлии, тетке Цезаря; от этого брака

родился Марий Младший, который был, следовательно, двоюродным братом Цезаря. Занятый вначале многочисленными убийствами и неотложными делами, Сулла не обращал на Цезаря внимания, но тот, не довольствуясь этим, выступил публично, добиваясь жреческой должности[1], хотя сам едва достиг юношеского возраста. Сулла воспротивился этому и сделал так, что Цезарь потерпел неудачу. Он намеревался даже уничтожить Цезаря и, когда ему говорили, что бессмысленно убивать такого мальчишку, ответил: "Вы ничего не понимаете, если не видите, что в этом мальчишке – много Мариев". Когда Цезарь узнал об этих словах Суллы, он долгое время скрывался, скитаясь в земле сабинян. Но однажды, когда он занемог и его переносили из одного дома в другой, он наткнулся ночью на отряд сулланских воинов, осматривавших эту местность, чтобы задерживать всех скрывающихся. Дав начальнику отряда Корнелию два таланта, Цезарь добился того, что был отпущен, и тотчас, добравшись до моря, отплыл в Вифинию, к царю Никомеду.

Проведя здесь немного времени, он на обратном пути у острова Фармакуссы[2] был захвачен в плен пиратами, которые уже тогда имели большой флот и с помощью своих бесчисленных кораблей властвовали над морем. (2) Когда пираты потребовали у него выкупа в двадцать талантов, Цезарь рассмеялся, заявив, что они не знают, кого захватили в плен, и сам предложил дать им пятьдесят талантов. Затем, разослав своих людей в различные города за деньгами, он остался среди этих свирепых киликийцев с одним только другом и двумя слугами; несмотря на это, он вел себя так высокомерно, что всякий раз, собираясь отдохнуть, посылал приказать пиратам, чтобы те не шумели. Тридцать восемь дней пробыл он у пиратов, ведя себя так, как если бы они были его телохранителями, а не он их пленником, и без малейшего страха забавлялся и шутил с ними. Он писал поэмы и речи, декламировал их пиратам и тех, кто не выражал своего восхищения, называл в лицо неучами и варварами, часто со смехом угрожая повесить их. Те же охотно выслушивали эти вольные речи, видя в них проявление благодушия и шутливости. Однако, как только прибыли выкупные деньги из Милета и Цезарь, выплатив их, был освобожден, он тотчас снарядил корабли и вышел из милетской гавани против пиратов. Он застал их еще стоящими на якоре у острова и захватил в плен бóльшую часть из них. Захваченные богатства он взял себе в качестве добычи, а людей заключил в тюрьму в Пергаме. Сам он отправился к Юнку, наместнику Азии, находя, что тому, как претору, надлежит наказать взятых в плен пиратов. Однако Юнк, смотревший с завистью на захваченные деньги (ибо их было немало), заявил, что займется рассмотрением дела пленников, когда у него будет время; тогда Цезарь, распрощавшись с ним, направился в Пергам, приказал вывести пиратов и всех до единого распять, как он часто предсказывал им на острове, когда они считали его слова шуткой.

3. Тем временем могущество Суллы пошло на убыль, а друзья Цезаря стали звать его в Рим. Однако Цезарь сначала отправился на Родос, в школу Аполлония, сына Молона, у которого учился и Цицерон и который славился не только ораторским искусством, но и своими нравственными достоинствами. Цезарь, как сообщают, и от природы был в высшей степени одарен способностями к красноречию на государственном поприще и ревностно упражнял свое дарова-

ние, так что, бесспорно, ему принадлежало второе место[3] в этом искусстве; однако первенствовать в красноречии он отказался, заботясь больше о том, чтобы стать первым благодаря власти и силе оружия; будучи занят военными и гражданскими предприятиями, с помощью которых он подчинил себе государство, он не дошел в ораторском искусстве до того предела, который был ему указан природой. Позднее в своем произведении, направленном против сочинения Цицерона о Катоне[4], он сам просил не сравнивать это слово воина с искусной речью одаренного оратора, посвятившего много времени усовершенствованию своего дара.

4. По прибытии в Рим Цезарь привлек к суду Долабеллу по обвинению в вымогательствах в провинции, и многие из греческих городов представили ему свидетелей. Долабелла, однако, был оправдан. Чтобы отблагодарить греков за их усердие, Цезарь взялся вести их дело, которое они начали у претора Македонии Марка Лукулла против Публия Антония, обвиняя его во взяточничестве. Цезарь так энергично повел дело, что Антоний обратился с жалобой к народным трибунам в Рим, ссылаясь на то, что в Греции он не находится в равном положении с греками.

В самом Риме Цезарь, благодаря своим красноречивым защитительным речам в судах, добился блестящих успехов, а своей вежливостью и ласковой обходительностью стяжал любовь простонародья, ибо он был более внимателен к каждому, чем можно было ожидать в его возрасте. Да и его обеды, пиры и вообще блестящий образ жизни содействовали постепенному росту его влияния в государстве. Сначала завистники Цезаря не обращали на это внимания, считая, что он будет забыт сразу же после того, как иссякнут его средства. Лишь когда было поздно, когда эта сила уже так выросла, что ей трудно было что-либо противопоставить, и направилась прямо на ниспровержение существующего строя, они поняли, что нельзя считать незначительным начало ни в каком деле. То, что не пресечено в зародыше, быстро возрастает, ибо в самом пренебрежении оно находит условия для беспрепятственного развития. Цицерон, как кажется, был первым, кто считал подозрительной и внушающей опасения деятельность Цезаря, по внешности спокойную, подобно гладкому морю, и распознал в этом человеке смелый и решительный характер, скрывающийся под маской ласковости и веселости. Он говорил, что во всех помыслах и образе действий Цезаря он усматривает тираннические намерения. "Но, – добавлял он, – когда я вижу, как тщательно уложены его волосы и как он почесывает голову одним пальцем[5], мне всегда кажется, что этот человек не может замышлять такое преступление, как ниспровержение римского государственного строя". Но об этом – позже.

5. Первое доказательство любви к нему народа Цезарь получил в то время, когда, добиваясь должности военного трибуна одновременно с Гаем Помпилием, был избран бо́льшим числом голосов, нежели тот, второе же, и еще более явное, когда после смерти своей тетки Юлии, жены Мария, он не только произнес на форуме блестящую похвальную речь умершей, но и осмелился выставить во время похорон изображения Мария, которые были показаны впервые со времени прихода к власти Суллы, так как Марий и его сторонники были объявле-

ны врагами государства. Некоторые подняли голос против этого поступка, но народ криком и громкими рукоплесканиями показал свое одобрение Цезарю, который спустя столь долгое время как бы возвращал честь Мария из Аида в Рим.

Держать надгробные речи при погребении старых женщин было у римлян в обычае, в отношении же молодых такого обычая не было, и первым сделал это Цезарь, когда умерла его жена. И это вызвало одобрение народа и привлекло его симпатии к Цезарю, как к человеку кроткого и благородного нрава. После похорон жены от отправился в Испанию в качестве квестора при преторе Ветере, которого он всегда почитал и сына которого позже, когда сам стал претором, сделал квестором. Вернувшись после отправления этой должности, он женился третьим браком[6] на Помпее, имея от Корнелии дочь, которую впоследствии выдал замуж за Помпея Магна.

Щедро расточая свои деньги и покупая, казалось, ценой величайших трат краткую и непрочную славу, в действительности же стяжая величайшие блага за дешевую цену, он, как говорят, прежде чем получить первую должность, имел долгов на тысячу триста талантов. Назначенный смотрителем Аппиевой дороги[7], он издержал много собственных денег, затем, будучи эдилом, выставил триста двадцать пар гладиаторов, а пышными издержками на театры, церемонии и обеды затмил всех своих предшественников. Но и народ, со своей стороны, стал настолько расположен к нему, что каждый выискивал новые должности и почести, которыми можно было вознаградить Цезаря.

6. Рим тогда разделялся на два стана – приверженцев Суллы, имевших большую силу, и сторонников Мария, которые были полностью разгромлены, унижены и влачили жалкое существование. Чтобы вновь укрепить и повести за собой марианцев. Цезарь, когда воспоминания о его щедрости в должности эдила были еще свежи, ночью принес на Капитолий и поставил сделанные втайне изображения Мария и богинь Победы, несущих трофеи. На следующее утро вид этих блестевших золотом и сделанных чрезвычайно искусно изображений, надписи на которых повествовали о победах над кимврами, вызвал у смотрящих чувство изумления перед отвагой человека, воздвигнувшего их (имя его, конечно, не осталось неизвестным). Слух об этом вскоре распространился, и римляне сбежались поглядеть на изображения. При этом одни кричали, что Цезарь замышляет тираннию, восстанавливая почести, погребенные законами и постановлениями сената, и что он испытывает народ, желая узнать, готов ли тот, подкупленный его щедростью, покорно терпеть его шутки и затеи. Марианцы же, напротив, сразу появившись во множестве, подбодряли друг друга и с рукоплесканиями заполнили Капитолий; у многих из них выступили слезы радости при виде изображения Мария, и они превозносили Цезаря величайшими похвалами, как единственного человека, который достоин родства с Марием. По этому поводу было созвано заседание сената, и Лутаций Катул, пользовавшийся тогда наибольшим влиянием у римлян, выступил с обвинением против Цезаря, бросив известную фразу: "Итак, Цезарь покушается на государство уже не путем подкопа, но с осадными машинами". Но Цезарь так умело выступил в свою защиту, что сенат остался удовлетворенным, и сторонники Цезаря еще более осмелели

и призывали его ни перед чем не отступать в своих замыслах, ибо поддержка народа обеспечит ему первенство и победу над противниками.

7. Между тем умер верховный жрец Метелл, и два известнейших человека, пользовавшихся огромным влиянием в сенате, – Сервилий Исаврийский и Катул, – боролись друг с другом, добиваясь этой должности. Цезарь не отступил перед ними и также выставил в Народном собрании свою кандидатуру. Казалось, что все соискатели пользуются равною поддержкой, но Катул, из-за высокого положения, которое он занимал, более других опасался неясного исхода борьбы и потому начал переговоры с Цезарем, предлагая ему большую сумму денег, если он откажется от соперничества. Цезарь, однако, ответил, что будет продолжать борьбу, даже если для этого придется еще бóльшую сумму взять в долг. В день выборов, прощаясь со своей матерью, которая прослезилась, провожая его до дверей, он сказал: "Сегодня, мать, ты увидишь своего сына либо верховным жрецом, либо изгнанником". На выборах Цезарь одержал верх и этим внушил сенату и знати опасение, что он сможет увлечь народ на любую дерзость.

Поэтому Пизон и Катул упрекали Цицерона, пощадившего Цезаря, который был замешан в заговоре Катилины. Как известно, Катилина намеревался не только свергнуть существующий строй, но и уничтожить всякую власть и произвести полный переворот. Сам он покинул город, когда против него появились лишь незначительные улики, а важнейшие замыслы оставались еще скрытыми, Лентула же и Цетега оставил в Риме, чтобы они продолжали плести заговор.

Неизвестно, оказывал ли тайно Цезарь в чем-нибудь поддержку и выражал ли сочувствие этим людям, но в сенате, когда они были полностью изобличены и консул Цицерон спрашивал у каждого сенатора его мнение о наказании виновных, все высказывались за смертную казнь, пока очередь не дошла до Цезаря, который выступил с заранее обдуманной речью, заявив, что убивать без суда людей, выдающихся по происхождению своему и достоинству, несправедливо и не в обычае римлян, если это не вызвано крайней необходимостью. Если же впредь до полной победы над Катилиной они будут содержаться под стражей в италийских городах, которые может выбрать сам Цицерон, то позже сенат сможет в обстановке мира и спокойствия решить вопрос о судьбе каждого из них.

8. Это предложение показалось настолько человеколюбивым и было так сильно и убедительно обосновано, что не только те, кто выступал после Цезаря, присоединились к нему, но и многие из говоривших ранее стали отказываться от своего мнения и поддерживать предложение Цезаря, пока очередь не дошла до Катона и Катула. Эти же начали горячо возражать, а Катон даже высказал в своей речи подозрение против Цезаря и выступил против него со всей резкостью. Наконец, было решено казнить заговорщиков, а когда Цезарь выходил из здания сената, то на него набросилось с обнаженными мечами много сбежавшихся юношей из числа охранявших тогда Цицерона. Но, как сообщают, Курион, прикрыв Цезаря своей тогой, благополучно вывел его, да и сам Цицерон, когда юноши оглянулись, знаком удержал их, либо испугавшись народа, либо вообще считая такое убийство несправедливым и противозаконным. Если все это правда, то я не понимаю, почему Цицерон в сочинении о своем консульстве[8]

ничего об этом не говорит. Позже его обвиняли в том, что он не воспользовался представившейся тогда прекрасной возможностью избавиться от Цезаря, а испугался народа, необычайно привязанного к Цезарю. Эта привязанность проявилась через несколько дней, когда Цезарь пришел в сенат, чтобы защищаться против выдвинутых подозрений, и был встречен враждебным шумом. Видя, что заседание затягивается дольше обычного, народ с криками сбежался и обступил здание, настоятельно требуя отпустить Цезаря.

Поэтому и Катон, сильно опасаясь восстания неимущих, которые, возлагая надежды на Цезаря, воспламеняли и весь народ, убедил сенат учредить ежемесячные хлебные раздачи для бедняков. Это прибавило к остальным расходам государства новый – в сумме семи миллионов пятисот тысяч драхм ежегодно, но зато отвратило непосредственно угрожавшую великую опасность, так как лишило Цезаря большей части его влияния как раз в то время, когда он собирался занять должность претора и вследствие этого должен был стать еще опаснее.

9. Однако год его претуры прошел спокойно, и лишь в собственном доме Цезаря произошел неприятный случай. Был некий человек[9] из числа старинной знати, известный своим богатством и красноречием, но в бесчинстве и дерзости не уступавший никому из прославленных распутников. Он был влюблен в Помпею, жену Цезаря, и пользовался взаимностью. Но женские комнаты строго охранялись, а мать Цезаря Аврелия, почтенная женщина, своим постоянным наблюдением за невесткой делала свидания влюбленных трудными и опасными.

У римлян есть богиня, которую они называют Доброю[10], а греки – Женскою. Фригийцы выдают ее за свою, считая супругою их царя Мидаса, римляне утверждают, что это нимфа Дриада, жена Фавна, по словам же греков – она та из матерей Диониса, имя которой нельзя называть. Поэтому женщины, участвующие в ее празднике, покрывают шатер виноградными лозами, и у ног богини помещается, в соответствии с мифом, священная змея. Ни одному мужчине нельзя присутствовать на празднестве и даже находиться в доме, где справляется торжество; лишь женщины творят священные обряды, во многом, как говорят, похожие на орфические. Когда приходит день праздника, консул или претор, в доме которого он справляется, должен покинуть дом вместе со всеми мужчинами, жена же его, приняв дом, производит священнодействия. Главная часть их совершается ночью, сопровождаясь играми и музыкой.

10. В том году праздник справляла Помпея, и Клодий, не имевший еще бороды и поэтому рассчитывавший остаться незамеченным, явился туда, переодевшись в наряд арфистки и неотличимый от молодой женщины. Он нашел двери отпертыми и был благополучно проведен в дом одною из служанок, посвященной в тайну, которая и отправилась вперед, чтобы известить Помпею. Так как она долго не возвращалась, Клодий не вытерпел ожидания на одном месте, где он был оставлен, и стал пробираться вперед по большому дому, избегая ярко освещенных мест. Но с ним столкнулась служанка Аврелии и полагая, что перед ней женщина, стала приглашать его принять участие в играх и, несмотря на его сопротивление, повлекла его к остальным, спрашивая, кто он и откуда. Когда Клодий ответил, что он ожидает Абру (так звали ту служанку Помпеи), голос выдал его, и служанка Аврелии бросилась на свет, к толпе, и стала кричать, что

она обнаружила мужчину. Все женщины были перепуганы этим, Аврелия же, прекратив совершение таинств и прикрыв святыни, приказала запереть двери и начала обходить со светильниками весь дом в поисках Клодия. Наконец его нашли укрывшимся в комнате служанки, которая помогла ему войти в дом, и женщины, обнаружившие его, выгнали его вон. Женщины, разойдясь по домам, еще ночью рассказали своим мужьям о случившемся.

На следующий день по всему Риму распространился слух, что Клодий совершил кощунство и повинен не только перед оскорбленными им, но и перед городом и богами. Один из народных трибунов публично обвинил Клодия в нечестии, и наиболее влиятельные сенаторы выступили против него, обвиняя его наряду с прочими гнусными беспутствами в связи со своей собственной сестрой, женой Лукулла. Но народ воспротивился их стараниям и принял Клодия под защиту, что принесло тому большую пользу в суде, ибо судьи были напуганы и дрожали перед чернью. Цезарь тотчас же развелся с Помпеей. Однако, будучи призван на суд в качестве свидетеля, он заявил, что ему ничего не известно относительно того, в чем обвиняют Клодия. Это заявление показалось очень странным, и обвинитель спросил его: "Но почему же тогда ты развелся со своей женой?" "Потому, – ответил Цезарь, – что на мою жену не должна падать даже тень подозрения". Одни говорят, что он ответил так, как действительно думал, другие же – что он сделал это из угождения народу, желавшему спасти Клодия. Клодий был оправдан, так как большинство судей подало при голосовании таблички с неразборчивой подписью[11], чтобы осуждением не навлечь на себя гнев черни, а оправданием – бесславие среди знатных.

11. После претуры Цезарь получил в управление провинцию Испанию. Так как он не смог прийти к соглашению со своими кредиторами, с криком осаждавшими его и противодействовавшими его отъезду, он обратился за помощью к Крассу, самому богатому из римлян. Крассу нужны были сила и энергия Цезаря для борьбы против Помпея; поэтому он удовлетворил наиболее настойчивых и неумолимых кредиторов Цезаря и, дав поручительство на сумму в восемьсот тридцать талантов, предоставил Цезарю возможность отправиться в провинцию.

Рассказывают, что, когда Цезарь перевалил через Альпы и проезжал мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели спросили со смехом: "Неужели и здесь есть соревнование из-за должностей, споры о первенстве, раздоры среди знати?" "Что касается меня, – ответил им Цезарь с полной серьезностью, – то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме". В другой раз, уже в Испании, читая на досуге что-то из написанного о деяниях Александра, Цезарь погрузился на долгое время в задумчивость, а потом даже прослезился. Когда удивленные друзья спросили его о причине, он ответил: "Неужели вам кажется недостаточной причиной для печали то, что в моем возрасте Александр уже правил столькими народами, а я до сих пор еще не совершил ничего замечательного!"

12. Сразу же по прибытии в Испанию он развил энергичную деятельность. Присоединив в течение нескольких дней к своим двадцати когортам еще десять, он выступил с ними против каллаиков и лузитанцев, которых и победил, дойдя затем до Внешнего моря и покорив несколько племен, ранее не подвластных

римлянам. Достигнув такого успеха в делах военных, Цезарь не хуже руководил и гражданскими: он установил согласие в городах и прежде всего уладил споры между заимодавцами и должниками. А именно, он предписал, чтобы из ежегодных доходов должника одна треть оставалась ему, остальное же шло заимодавцам, пока таким образом долг не будет выплачен. Совершив эти дела, получившие всеобщее одобрение, Цезарь выехал из провинции, где он и сам разбогател и дал возможность обогатиться во время походов своим воинам, которые провозгласили его императором.

13. Лицам, домогающимся триумфа, надлежало оставаться вне Рима, а ищущим консульской должности – присутствовать в городе. Цезарь, который вернулся как раз во время консульских выборов, не знал, что ему предпочесть, и поэтому обратился в сенат с просьбой разрешить ему домогаться консульской должности заочно, через друзей. Катон первым выступил против этого требования, настаивая на соблюдении закона. Когда же он увидел, что Цезарь успел многих расположить в свою пользу, то, чтобы затянуть разрешение вопроса, произнес речь, которая продолжалась целый день. Тогда Цезарь решил отказаться от триумфа и добиваться должности консула.

Итак, он прибыл в Рим и сразу же предпринял ловкий шаг, введя в заблуждение всех, кроме Катона. Ему удалось примирить Помпея и Красса, двух людей, пользовавшихся наибольшим влиянием в Риме. Тем, что Цезарь взамен прежней вражды соединил их дружбой, он поставил могущество обоих на службу себе самому и под прикрытием этого человеколюбивого поступка произвел незаметно для всех настоящий государственный переворот. Ибо причиной гражданских войн была не вражда Цезаря и Помпея, как думает большинство, но в большей степени их дружба, когда они сначала соединились для уничтожения власти аристократии, а затем поднялись друг против друга. Катон же, который часто верно предсказывал исход событий, приобрел за это вначале репутацию неуживчивого и сварливого человека, а впоследствии – славу советчика, хотя и разумного, но несчастливого.

14. Итак, Цезарь, поддерживаемый с двух сторон, благодаря дружбе с Помпеем и Крассом, добился успеха на выборах и с почетом был провозглашен консулом вместе с Кальпурнием Бибулом. Едва лишь он вступил в должность, как из желания угодить черни внес законопроекты, более приличествовавшие какому-нибудь дерзкому народному трибуну, нежели консулу, – законопроекты, предлагавшие вывод колоний и раздачу земель. В сенате все лучшие граждане высказались против этого, и Цезарь, который давно уже искал к тому повода, поклялся громогласно, что черствость и высокомерие сенаторов вынуждают его против его воли обратиться к народу для совместных действий. С этими словами он вышел на форум. Здесь, поставив рядом с собой с одной стороны Помпея, с другой – Красса, он спросил, одобряют ли они предложенные законы. Когда они ответили утвердительно, Цезарь обратился к ним с просьбой помочь ему против тех, кто грозится противодействовать этим законопроектам с мечом в руке. Оба обещали ему свою поддержку, а Помпей прибавил, что против поднявших мечи он выйдет не только с мечом, но и со щитом. Эти слова огорчили аристократов, которые сочли это выступление сумасбродной, ребяческой ре-

чью, не приличествующей достоинству самого Помпея и роняющей уважение к сенату, зато народу они очень понравились.

Чтобы еще свободнее использовать в своих целях могущество Помпея, Цезарь выдал за него свою дочь Юлию, хотя она и была уже помолвлена с Сервилием Цепионом, последнему же он обещал дочь Помпея, которая также не была свободна, ибо была обручена с Фавстом, сыном Суллы. Немного позже сам Цезарь женился на Кальпурнии, дочери Пизона, которого он провел в консулы на следующий год. Это вызвало сильное негодование Катона, заявлявшего, что нет сил терпеть этих людей, которые брачными союзами добывают высшую власть в государстве и с помощью женщин передают друг другу войска, провинции и должности.

Бибул, товарищ Цезаря по консульству, всеми силами противодействовал его законопроектам; но так как он ничего не добился и даже вместе с Катоном рисковал быть убитым на форуме, то заперся у себя дома и не появлялся до истечения срока должности. Помпей вскоре же после своей свадьбы заполнил форум вооруженными воинами и этим помог народу добиться утверждения законов, а Цезарю получить в управление на пять лет обе Галлии – Предальпийскую и Заальпийскую – вместе с Иллириком и четыре легиона. Катона, который отважился выступить против этого, Цезарь отправил в тюрьму, рассчитывая, что тот обратится с жалобой к народным трибунам. Однако, видя, что Катон, не говоря ни слова, позволяет увести себя и что не только лучшие граждане угнетены этим, но и народ, из уважения к добродетели Катона, молча и в унынии следует за ним, Цезарь сам тайком попросил одного из народных трибунов освободить Катона.

Из остальных сенаторов лишь очень немногие посещали вместе с Цезарем заседания сената, прочие же, недовольные оскорблением их достоинства, воздерживались от участия в делах. Когда Консидий, один из самых престарелых, сказал однажды, что они не приходят из страха перед оружием и воинами, Цезарь спросил его: "Так почему же ты не боишься и не остаешься дома?" Консидий отвечал: "Меня освобождает от страха моя старость, ибо краткий срок жизни, оставшийся мне, не требует большой осторожности".

Но наиболее позорным из всех тогдашних событий считали то, что в консульство Цезаря народным трибуном был избран тот самый Клодий, который осквернил и брак Цезаря и таинство ночного священнодействия. Избран же он был с целью погубить Цицерона; и сам Цезарь отправился в свою провинцию лишь после того, как с помощью Клодия ниспроверг Цицерона и добился его изгнания из Италии.

15. Таковы были дела, которые он совершил перед Галльскими войнами. Что же касается до времени, когда Цезарь вел эти войны и ходил в походы, подчинившие Галлию, то здесь он как бы начал иную жизнь, вступив на путь новых деяний. Он выказал себя не уступающим никому из величайших, удивительнейших полководцев и военных деятелей. Ибо, если сравнить с ним Фабиев, Сципионов и Метеллов или живших одновременно с ним и незадолго до него Суллу, Мария, обоих Лукуллов и даже самого Помпея, воинская слава которого превозносилась тогда до небес, то Цезарь своими подвигами одних оставит позади

по причине суровости мест, в которых он вел войну, других – в силу размеров страны, которую он завоевал, третьих – имея в виду численность и мощь неприятеля, которого он победил, четвертых – принимая в расчет дикость и коварство, с которыми ему пришлось столкнуться, пятых – человеколюбием и снисходительностью к пленным, шестых – подарками и щедростью к своим воинам и, наконец, всех – тем, что он дал больше всего сражений и истребил наибольшее число врагов. Ибо за те неполные десять лет, в течение которых он вел войну в Галлии, он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста племен, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен.

16. Он пользовался такой любовью и преданностью своих воинов, что даже те люди, которые в других войнах ничем не отличились, с непреодолимой отвагой шли на любую опасность ради славы Цезаря. Примером может служить Ацилий, который в морском сражении у Массилии[12] вскочил на вражеский корабль и, когда ему отрубили мечом правую руку, удержал щит в левой, а затем, нанося этим щитом удары врагам в лицо, обратил всех в бегство и завладел кораблем.

Другой пример – Кассий Сцева, который в битве при Диррахии, лишившись глаза, выбитого стрелой, раненный в плечо и бедро дротиками и принявший своим щитом удары ста тридцати стрел, кликнул врагов, как бы желая сдаться; но когда двое из них подошли к нему, то одному он отрубил руку мечом, другого обратил в бегство ударом в лицо, а сам был спасен своими, подоспевшими на помощь.

В Британии однажды передовые центурионы попали в болотистые, залитые водой места и подверглись здесь нападению противника. И вот один на глазах Цезаря, наблюдавшего за стычкой, бросился вперед и, совершив много удивительных по смелости подвигов, спас центурионов из рук варваров, которые разбежались, а сам последним кинулся в протоку, и где вплавь, где вброд перебрался на другую сторону, насилу преодолев все препятствия и потеряв при этом щит. Цезарь и стоявшие вокруг встретили его криками изумления и радости, а воин в большом смущении, со слезами бросился к ногам Цезаря, прося у него прощения за потерю щита.

В Африке Сципион захватил одно из судов Цезаря, на котором плыл назначенный квестором Граний Петрон. Захватившие объявили всю команду корабля своей добычей, квестору же обещали свободу. Но тот ответил, что воины Цезаря привыкли дарить пощаду, но не получать ее от других, и с этими словами бросился на собственный меч.

17. Подобное мужество и любовь к славе Цезарь сам взрастил и воспитал в своих воинах прежде всего тем, что щедро раздавал почести и подарки: он желал показать, что добытые в походах богатства копит не для себя, не для того, чтобы самому утопать в роскоши и наслаждениях, но хранит их как общее достояние и награду за воинские заслуги, оставляя за собой лишь право распределять награды между отличившимися. Вторым средством воспитания войска было то, что он сам добровольно бросался навстречу любой опасности и не отказывался переносить какие угодно трудности. Любовь его к опасностям не вызы-

вала удивления у тех, кто знал его честолюбие, но всех поражало, как он переносил лишения, которые, казалось, превосходили его физические силы, ибо он был слабого телосложения, с белой и нежной кожей, страдал головными болями и падучей, первый припадок которой, как говорят, случился с ним в Кордубе. Однако он не использовал свою болезненность как предлог для изнеженной жизни, но, сделав средством исцеления военную службу, старался беспрестанными переходами, скудным питанием, постоянным пребыванием под открытым небом и лишениями победить свою слабость и укрепить свое тело. Спал он большей частью на повозке или на носилках, чтобы использовать для дела и часы отдыха. Днем он объезжал города, караульные отряды и крепости, причем рядом с ним сидел раб, умевший записывать за ним, а позади один воин с мечом. Он передвигался с такой быстротой, что в первый раз проделал путь от Рима до Родана за восемь дней. Верховая езда с детства была для него привычным делом. Он умел, отведя руки назад и сложив их за спиной, пустить коня во весь опор. А во время этого похода он упражнялся еще и в том, чтобы, сидя на коне, диктовать письма, занимая одновременно двух или даже, как утверждает Оппий, еще большее число писцов. Говорят, что Цезарь первым пришел к мысли беседовать с друзьями по поводу неотложных дел посредством писем, когда величина города и исключительная занятость не позволяли встречаться лично.

Как пример его умеренности в пище приводят следующий рассказ. Однажды в Медиолане он обедал у своего гостеприимца Валерия Леона, и тот подал спаржу, приправленную не обыкновенным оливковым маслом, а миррой. Цезарь спокойно съел это блюдо, а к своим друзьям, выразившим недовольство, обратился с порицанием: "Если вам что-либо не нравится, – сказал он, – то вполне достаточно, если вы откажетесь есть. Но если кто берется порицать подобного рода невежество, тот сам невежа". Однажды он был застигнут в пути непогодой и попал в хижину одного бедняка. Найдя там единственную комнату, которая едва была в состоянии вместить одного человека, он обратился к своим друзьям со словами: "Почетное нужно предоставлять сильнейшим, а необходимое – слабейшим", – и предложил Оппию отдыхать в комнате, а сам вместе с остальными улегся спать под навесом перед дверью.

18. Первою из галльских войн, которую ему пришлось вести, была с гельветами и тигуринами[13]. Эти племена сожгли двенадцать своих городов и четыреста деревень и двинулись через подвластную римлянам Галлию, как прежде кимвры и тевтоны, которым они, казалось, не уступали ни смелостью, ни многолюдством, ибо всего их было триста тысяч, в том числе способных сражаться – сто девяносто тысяч. Тигуринов победил не сам Цезарь, а Лабиен, которого он выслал против них и который разгромил их у реки Арара. Гельветы же напали на Цезаря неожиданно, когда он направлялся с войском к одному из союзных городов; тем не менее он успел занять надежную позицию и здесь, собрав свои силы, выстроил их в боевой порядок. Когда ему подвели коня, Цезарь сказал: "Я им воспользуюсь после победы, когда дело дойдет до погони. А сейчас – вперед, на врага!" – и с этими словами начал наступление в пешем строю. После долгой и упорной битвы он разбил войско варваров, но наибольшие трудности встретил в лагере, у повозок, ибо там сражались не только вновь сплотившиеся

воины, но и женщины и дети, защищавшиеся вместе с ними до последней капли крови. Все были изрублены, и битва закончилась только к полуночи. К этой замечательной победе Цезарь присоединил еще более славное деяние, заставив варваров, уцелевших после сражения (а таких было свыше ста тысяч), соединиться и вновь заселить ту землю, которую они покинули, и города, которые они разорили. Сделал же он это из опасения, что в опустевшие области перейдут германцы и захватят их.

19. Вторую войну он вел уже за галлов против германцев, хотя раньше и объявил в Риме их царя Ариовиста союзником римского народа. Но германцы были несносными соседями для покоренных Цезарем народностей, и было ясно, что они не удовлетворятся существующим порядком вещей, но, при первом удобном случае, захватят всю Галлию и укрепятся в ней. Когда Цезарь заметил, что начальники в его войске робеют, в особенности те молодые люди из знатных семей, которые последовали за ним из желания обогатиться и жить в роскоши, он собрал их на совет и объявил, что те, кто настроен так трусливо и малодушно, могут возвратиться домой и не подвергать себя опасности против своего желания. "Я же, – сказал он, – пойду на варваров с одним только десятым легионом, ибо те, с кем мне предстоит сражаться, не сильнее кимвров, а сам я не считаю себя полководцем слабее Мария". Узнав об этом, десятый легион отправил к нему делегатов, чтобы выразить свою благодарность, остальные же легионы осуждали своих начальников и, наконец, все, исполнившись смелости и воодушевления, последовали за Цезарем и после многодневного пути разбили лагерь в двухстах стадиях от противника. Уже самый приход Цезаря несколько расстроил дерзкие планы Ариовиста, ибо он никак не ожидал, что римляне, которые, казалось, не смогут выдержать натиска германцев, сами решатся на нападение Он дивился отваге Цезаря и в то же время увидел, что его собственная армия приведена в замешательство. Но еще более ослабило мужество германцев предсказание священных жен, которые, наблюдая водовороты в реках и прислушиваясь к шуму потоков, возвестили, что нельзя начинать сражение раньше новолуния. Когда Цезарь узнал об этом и увидел, что германцы воздерживаются от нападения, он решил, что лучше напасть на них, пока они не расположены к бою, чем оставаться в бездеятельности, позволяя им выжидать более подходящего для них времени. Совершая налеты на укрепления вокруг холмов, где они разбили свой лагерь, он так раздразнил германцев, что те в гневе вышли из лагера и вступили в битву. Цезарь нанес им сокрушительное поражение и, обратив в бегство, гнал их до самого Рейна, на расстоянии в четыреста стадиев, покрыв все это пространство трупами врагов и их оружием. Ариовист с немногими людьми успел все же переправиться через Рейн. Число убитых, как сообщают, достигло восьмидесяти тысяч.

20. После этого, оставив свое войско на зимних квартирах в земле секванов, Цезарь сам, чтобы заняться делами Рима, направился в Галлию, лежащую вдоль реки Пада и входившую в состав назначенной ему провинции, ибо границей между Предальпийской Галлией и собственно Италией служит река Рубикон. Сюда к Цезарю приезжали многие из Рима, и он имел возможность увеличить свое влияние, исполняя просьбы каждого, так что все уходили от него, либо получив

то, чего желали, либо надеясь это получить. Таким образом действовал он в течение всей войны: то побеждал врагов оружием сограждан, то овладевал самими гражданами при помощи денег, захваченных у неприятеля. А Помпей ничего не замечал.

Между тем бельги, наиболее могущественные из галлов, владевшие третьей частью всей Галлии, отложились от римлян и собрали многотысячное войско. Цезарь выступил против них со всей поспешностью и напал на врагов, в то время как они опустошали земли союзных римлянам племен. Он опрокинул полчища врагов, оказавших лишь ничтожное сопротивление, и учинил такую резню, что болота и глубокие реки, заваленные множеством трупов, стали легко проходимыми для римлян. После этого все народы, живущие на берегу Океана, добровольно покорились вновь, но против нервиев, наиболее диких и воинственных из племен, населяющих страну бельгов, Цезарь должен был выступить в поход. Нервии, обитавшие в густых чащобах, укрыли свои семьи и имущество далеко от врага, а сами в глубине леса в количестве шестидесяти тысяч человек напали на Цезаря как раз тогда, когда он, занятый сооружением вала вокруг лагеря, никак не ожидал нападения. Варвары опрокинули римскую конницу и, окружив двенадцатый и седьмой легионы, перебили всех центурионов. Если бы Цезарь, прорвавшись сквозь гущу сражающихся, не бросился со щитом в руке на варваров и если бы при виде опасности, угрожающей полководцу, десятый легион не ринулся с высот на врага и не смял его ряды, вряд ли уцелел бы хоть один римский воин. Но смелость Цезаря привела к тому, что римляне бились, можно сказать, свыше своих сил и, так как нервии все же не обратились в бегство, уничтожили их, несмотря на отчаянное сопротивление. Из шестидесяти тысяч варваров осталось в живых только пятьсот, а из четырехсот их сенаторов – только трое.

21. Когда весть об этом пришла в Рим, сенат постановил устроить пятнадцатидневные празднества в честь богов, чего не бывало раньше ни при какой победе. Но, с другой стороны, и сама опасность, когда восстало одновременно столько враждебных племен, казалась огромной, и любовь народа к Цезарю окружила его победы особенно ярким блеском.

Приведя в порядок дела в Галлии, Цезарь вновь перезимовал в долине Пада, укрепляя свое влияние в Риме, ибо те, кто, пользуясь его помощью, добивался должностей, подкупали народ его деньгами, а получив должность, делали все, что могло увеличить могущество Цезаря. Мало того, большинство из наиболее знатных и выдающихся людей съехалось к нему в Луку, в том числе Помпей, Красс, претор Сардинии Аппий и наместник Испании Непот, так что всего там собралось сто двадцать ликторов и более двухсот сенаторов. На совещании было решено следующее: Помпей и Красс должны быть избраны консулами, Цезарю же, кроме продления консульских полномочий еще на пять лет, должна быть также выдана определенная сумма денег. Это последнее условие казалось весьма странным всем здравомыслящим людям. Ибо как раз те лица, которые получили от Цезаря столько денег, предлагали сенату или, скорее, принуждали его, вопреки его желанию, выдать Цезарю деньги, как будто бы он не имел их. Катона тогда не было – его нарочно отправили на Кипр, Фавоний же, который

был приверженцем Катона, не добившись ничего своими возражениями в сенате, выбежал из дверей курии, громко взывая к народу. Но никто его не слушал: иные боялись Помпея и Красса, а большинство молчало из угождения Цезарю, на которого оно возлагало все свои надежды.

22. Цезарь же, снова возвратясь к своим войскам в Галлию, застал там тяжелую войну: два германских племени – узипеты и тенктеры – перешли через Рейн, ища новых земель. О войне с ними Цезарь рассказывает[14] в своих "Записках" следующее. Варвары отправили к нему послов, но во время перемирия неожиданно напали на него в пути, и потому их отряд из восьмисот всадников обратил в бегство пять тысяч всадников Цезаря, застигнутых врасплох. Затем они вторично отправили послов с целью снова обмануть его, но он задержал послов и повел на германцев войско, считая, что глупо доверять на слово столь вероломным и коварным людям. Танузий, правда, сообщает, что, когда сенат выносил постановления о празднике и жертвоприношениях в честь победы, Катон выступил с предложением выдать Цезаря варварам, чтобы очистить город от пятна клятвопреступления[15] и обратить проклятие на того, кто один в этом повинен. Из тех, что перешли Рейн, четыреста тысяч было изрублено; немногие вернувшиеся назад были дружелюбно приняты германским племенем сугамбров.

Желая приобрести славу первого человека, перешедшего с войском Рейн, Цезарь использовал это в качестве предлога для похода на сугамбров и начал постройку моста через широкий поток, который как раз в этом месте был особенно полноводным и бурным и обладал такой силой течения, что ударами несущихся бревен угрожал снести столбы, поддерживавшие мост. Но Цезарь приказал вколотить в дно реки огромные и толстые сваи и, как бы обуздав силу потока, в течение десяти дней навел мост, вид которого превосходил всякие ожидания. (23). Затем он перевел свои войска на другой берег, не встречая никакого сопротивления, ибо даже свевы, самые могущественные среди германцев, укрылись в далеких лесных дебрях. Поэтому он опустошил огнем землю врагов, укрепил бодрость тех, которые постоянно были союзниками римлян, и вернулся в Галлию, проведя в Германии восемнадцать дней.

Поход против британцев доказал исключительную смелость Цезаря. Ибо он был первым, кто вышел в Западный океан и переправился с войском через Атлантическое море, кто расширил римское господство за пределы известного круга земель, попытавшись овладеть островом столь невероятных размеров, что многие писатели утверждают, будто его и не существует, а рассказы о нем и самое его название – одна лишь выдумка. Цезарь дважды переправлялся на этот остров с противолежащего берега Галлии, но после того, как он нанес более вреда противнику, чем доставил выгоды своим войскам (у этих бедных и скудно живущих людей не было ничего, что стоило бы захватить), он закончил эту войну не так, как желал: взяв заложников у царя варваров и обложив их данью, он покинул Британию.

В Галлии его ждало письмо, которое не успели доставить ему в Британию. Друзья, находящиеся в Риме, сообщали о смерти его дочери, супруги Помпея, скончавшейся от родов. Как Помпеем, так и Цезарем овладела великая скорбь,

друзей же их охватило смятенье, потому что теперь распались узы родства, которое еще поддерживало мир и согласие в страдающем от раздоров государстве: ребенок также вскоре умер, пережив свою мать лишь на несколько дней. Тело Юлии народ, несмотря на противодействие народных трибунов, отнес на Марсово поле и там похоронил.

24. Чтобы поставить свое сильно увеличившееся войско на зимние квартиры, Цезарь вынужден был разделить его на много частей, а сам, как обычно, отправился в Италию. Но в это время вновь вспыхнуло всеобщее восстание в Галлии, и полчища восставших, бродя по стране, разоряли зимние квартиры римлян и нападали даже на укрепленные римские лагери. Наибольшая и сильнейшая часть повстанцев во главе с Амбиоригом перебила отряд Котты и Титурия. Затем с шестьюдесятитысячной армией Амбиориг осадил легион Цицерона[16] и едва не взял лагерь штурмом, ибо римляне все были ранены и держались скорее благодаря своей отваге, нежели силе.

Когда Цезарь, находившийся уже далеко, получил известие об этом, он тотчас вернулся и, собрав семь тысяч воинов, поспешил с ними на выручку к осажденному Цицерону. Осаждающие, узнав о его приближении, выступили навстречу, относясь с презрением к малочисленному противнику и рассчитывая сразу же его уничтожить. Цезарь, все время искусно избегая встречи с ними, достиг такого места, где можно было успешно обороняться против превосходящих сил врага, и здесь стал лагерем. Он удерживал своих воинов от всяких стычек с галлами и заставил их возвести вал и выстроить ворота, как бы обнаруживая страх перед врагом и поощряя его заносчивость. Когда же враги, исполнившись дерзости, стали нападать без всякого порядка, он сделал вылазку, обратил их в бегство и многих уничтожил.

25. Эта победа пресекла многочисленные восстания местных галлов, да и сам Цезарь в течение зимы разъезжал повсюду, энергично подавляя возникающие беспорядки. К тому же на смену погибшим легионам прибыло три легиона из Италии: два из них предоставил Цезарю Помпей из числа бывших под его командованием, а третий был набран заново в галльских областях по реке Пад.

Но вскоре обнаружились первые признаки самой большой и опасной войны, какая когда-либо велась в Галлии. Замысел ее давно уже созревал втайне и распространялся влиятельнейшими людьми среди самых воинственных племен. В их распоряжении были и многочисленные вооруженные силы, и большие суммы денег, собранные для войны, и укрепленные города, и труднопроходимые местности. А так как по причине зимнего времени реки покрылись льдом, леса – снегом, долины были затоплены, тропы в одних местах исчезли под толстою снежной пеленой, в других сделались ненадежны из-за болот и разлившихся вод, то казалось совершенно очевидным, что Цезарь не сможет ничего сделать с восставшими. Поднялось много племен, но очагом восстания были земли арвернов и карнутов. Общим главнокомандующим повстанцы избрали Верцингеторига, отца которого галлы ранее казнили, подозревая его в стремлении к тирании.

26. Верцингеторig разделил свои силы на много отдельных отрядов, поставив во главе их многочисленных начальников, и склонил на свою сторону всю об-

ласть, расположенную вокруг Арара. Он рассчитывал поднять всю Галлию, в то время как в самом Риме начали объединяться противники Цезаря. Если бы он сделал это немного позже, когда Цезарь был уже вовлечен в гражданскую войну, то Италии угрожала бы не меньшая опасность, чем во время нашествия кимвров.

Но Цезарь, который, как никто другой, умел использовать на войне любое преимущество и прежде всего – благоприятное стечение обстоятельств, выступил со своим войском тотчас же по получении известия о восстании; большое пространство, которое он прошел в короткое время, быстрота и стремительность передвижения по зимнему бездорожью показали варварам, что на них движется непреодолимая и непобедимая сила. Ибо в тех местах, куда, казалось, и вестник с письмом не сможет проникнуть, даже пробираясь в течение долгого времени, они увидели вдруг самого Цезаря со всем войском. Цезарь шел, опустошая поля, уничтожая укрепления, покоряя города, присоединяя сдающихся, пока против него не выступило племя эдуев. Эдуи ранее были провозглашены братьями римского народа и пользовались особенным почетом, а потому теперь, примкнув к восставшим, они повергли войско Цезаря в тяжкое уныние. Цезарь был вынужден очистить их страну и направился через область лингонов к секванам, которые были его союзниками и земля которых отделяла восставшие галльские области от Италии. Во время этого похода он подвергся нападению врагов, окруживших его огромными полчищами, и решился дать битву. После долгого и кровопролитного сражения он в конце концов одолел и разбил варваров. Вначале, однако, он, по-видимому, терпел урон, – по крайней мере арверны и ныне показывают висящий в храме меч Цезаря, захваченный в бою. Он сам впоследствии, увидав этот меч, улыбнулся и, когда его друзья хотели убрать меч, не позволил сделать это, считая приношение священным.

27. Между тем большинство варваров из числа уцелевших в сражении скрылось со своим царем в городе Алезии. Во время осады этого города, казавшегося неприступным из-за высоких стен и многочисленности осажденных, Цезарь подвергся огромной опасности, ибо отборные силы всех галльских племен, объединившихся между собой, прибыли к Алезии в количестве трехсот тысяч человек, в то время как число запершихся в городе было не менее ста семидесяти тысяч. Стиснутый и зажатый меж двумя столь большими силами, Цезарь был вынужден возвести две стены: одну – против города, другую – против пришедших галлов, ибо было ясно, что если враги объединятся, то ему конец. Борьба под Алезией пользуется заслуженной славой, так как ни одна другая война не дает примеров таких смелых и искусных подвигов. Но более всего удивительно, как Цезарь, сразившись с многочисленным войском за стенами города и разбив его, проделал это незаметно не только для осажденных, но даже и для тех римлян, которые охраняли стену, обращенную к городу. Последние узнали о победе не раньше, чем услышали доносящиеся из Алезии плач и рыдания мужчин и женщин, которые увидели, как римляне с противоположной стороны несут в свой лагерь множество щитов, украшенных серебром и золотом, панцирей, залитых кровью, множество кубков и галльских палаток. Так мгновенно, подобно сну или призраку, была уничтожена и рассеяна эта несметная сила, причем

бо́льшая часть варваров погибла в битве. Наконец сдались и защитники Алезии – после того, как причинили немало хлопот и Цезарю и самим себе. Верцингеториг, руководитель всей войны, надев самое красивое вооружение и богато украсив коня, выехал из ворот. Объехав вокруг возвышения, на котором сидел Цезарь, он соскочил с коня, сорвал с себя все доспехи и, сев у ног Цезаря, оставался там, пока его не заключили под стражу, чтобы сохранить для триумфа.

28. Цезарь давно уже решил низвергнуть Помпея – так же, конечно, как и Помпей его. После того как Красс, которого любой из них в случае победы имел бы своим противником, погиб в борьбе с парфянами, Цезарю, если он хотел быть первым, не оставалось ничего иного, как уничтожить того, кому первенство уже принадлежало, а Помпей, чтобы не допустить такого исхода, должен был своевременно устранить того, кого он страшился. Помпей лишь недавно начал опасаться Цезаря, а прежде относился к нему с пренебрежением, считая, что не трудно будет уничтожить того, кто обязан своим возвышением ему, Помпею. Цезарь же, – который с самого начала питал эти намерения, – словно атлет, надолго удалился из поля зрения своих соперников. В галльских войнах он упражнял и себя и войско и подвигами своими настолько увеличил свою славу, что она сравнялась со славой побед Помпея. Теперь он пользовался всеми поводами, какие давали ему и сам Помпей, и условия времени, и упадок гражданской жизни в Риме, приведший к тому, что лица, домогающиеся должностей, сидели на площади за своими столиками с деньгами и бесстыдно подкупали чернь, а нанятый народ приходил в Собрание, чтобы бороться за того, кто дал ему денег, – бороться не с помощью голосования, а луками, пращами и мечами. Нередко собравшиеся расходились лишь после того, как осквернят возвышение для оратора трупами и запятнают его кровью. Государство погружалось в пучину анархии, подобно судну, несущемуся без управления, так что здравомыслящие люди считали счастливым исходом, если после таких безумств и бедствий течение событий приведет к единовластию, а не к чему-либо еще худшему. Многие уже осмеливались говорить открыто, что государство не может быть исцелено ничем, кроме единовластия, и нужно принять это лекарство из рук наиболее кроткого врача, под каковым они подразумевали Помпея. Помпей же, притворно, на словах, отнекиваясь от такой роли, на деле более всего добивался именно того, чтобы его провозгласили диктатором. Катон и его друзья поняли это и провели в сенате предложение избрать Помпея единственным консулом, чтобы тот, удовольствовавшись таким, более или менее законным, единовластием, не добивался диктатуры. Было решено также продлить ему время управления провинциями, которых у него было две – Испания и Африка. Управлял он ими при помощи легатов, ежегодно получая на содержание своих войск тысячу талантов из государственной казны.

29. Между тем Цезарь, отправляя посредников в Рим, домогался консульства и требовал продления своих полномочий в провинциях. В то время как Помпей вначале хранил молчание, Марцелл и Лентул, всегда ненавидевшие Цезаря, выступили против исполнения его просьбы; к тем соображениям, которые диктовались обстоятельствами, они прибавили без нужды и многое иное, направленное к оскорблению и поношению Цезаря. Так, они требовали отнять права гра-

жданства у обитателей Нового Кома[17] в Галлии – колонии, вновь основанной Цезарем незадолго до этого, а одного из членов тамошнего совета, прибывшего в Рим, консул Марцелл даже высек розгами, заметив: "Это тебе в знак того, что ты не римский гражданин, отправляйся теперь домой и покажи рубцы Цезарю". Когда же Цезарь после этого возмутительного поступка Марцелла обильным потоком направил галльские богатства ко всем участвовавшим в управлении государством и не только освободил народного трибуна Куриона от больших долгов, но и дал консулу Павлу тысячу пятьсот талантов, на которые тот украсил форум знаменитым сооружением – базиликой, воздвигнув ее на месте прежней базилики Фульвии, Помпей, напуганный этими кознями, уже открыто и сам и через своих друзей стал ратовать за то, чтобы Цезарю был назначен преемник по управлению провинциями. Одновременно он потребовал у Цезаря обратно легионы, которые предоставил ему для войн в Галлии. Цезарь тотчас же отослал эти войска, наградив каждого воина двумя стами пятьюдесятью драхмами.

Те, кто привел эти легионы к Помпею, распространяли в народе дурные слухи о Цезаре, одновременно ослепляя самого Помпея пустыми надеждами: эти люди уверяли его, что по нем тоскует войско Цезаря, и если здесь, в государстве, страдающем от скрытого недуга, он едва в силах бороться с завистниками, то там к его услугам войско, готовое тотчас, как только оно окажется в Италии, выступить на его стороне, – такую-де неприязнь навлек на себя Цезарь непрерывными походами, такое недоверие – своим стремлением к единовластию. Заслушавшись подобными речами, Помпей оставил всякие опасения, не заботился о приобретении воинской силы и думал победить Цезаря с помощью речей и законопроектов. Но Цезаря нимало не заботили постановления, которые выносил против него Помпей. Рассказывают, что один из военачальников Цезаря, посланный им в Рим, стоя перед зданием сената и слыша, что сенат отказывается продлить Цезарю срок командования, сказал, положив руку на рукоятку меча: "Ну, что ж, тогда вот это даст ему продление".

30. Впрочем, требования Цезаря внешне казались вполне справедливыми. А именно, он предлагал сам распустить свои войска, если и Помпей сделает то же самое, и оба они в качестве частных лиц будут ожидать от сограждан вознаграждения за свои дела. Ведь если у него отберут войско, а за Помпеем оставят и укрепят его силы, то, обвиняя одного в стремлении к тирании, сделают тираном другого. Куриона, сообщившего об этом предложении Цезаря народу, приветствовали шумными рукоплесканиями, ему даже бросали венки, как победителю на играх. Народный трибун Антоний вскоре принес в Народное собрание письмо Цезаря по поводу этого предложения и прочел его, несмотря на сопротивление консулов. Но в сенате тесть Помпея Сципион внес предложение объявить Цезаря врагом отечества, если он не сложит оружия в течение определенного срока. Консулы начали опрос, кто голосует за то, чтобы Помпей распустил свои войска, и кто за то, чтобы Цезарь распустил свои; за первое предложение высказались очень немногие, за второе же – почти все. Тогда Антоний внес предложение, чтобы оба одновременно сложили с себя полномочия, и к этому предложению единодушно присоединился весь сенат. Но так как Сципион решительно выступил против этого, а консул Лентул кричал, что против разбой-

ника надо действовать оружием, а не постановлениями, сенаторы разошлись и надели траурные одежды по поводу такого раздора.

31. После этого от Цезаря прибыли письма с очень умеренными предложениями. Он изъявлял согласие отказаться от всех требований, если ему отдадут Предальпийскую Галлию и Иллирик с двумя легионами до тех пор, пока он сможет вторично выступить соискателем на консульских выборах. Оратор Цицерон, который только что прибыл из Киликии и стремился примирить враждующих, пытался смягчить Помпея, но тот, уступая в остальном, не соглашался оставить Цезарю войско. Тогда Цицерон убедил друзей Цезаря ограничиться упомянутыми провинциями и шестью тысячами воинов и положить конец вражде; на это соглашался и Помпей. Но консул Лентул и его друзья воспротивились и дошли до того, что позорным и бесчестным образом выгнали Антония и Куриона из сената. Тем самым они дали Цезарю наилучшее средство разжечь гнев воинов – надо было лишь указать им на то, что почтенные мужи, занимающие высокие государственные должности, вынуждены были бежать в одежде рабов на наемной повозке (к этому, из страха перед врагами, они прибегли, чтобы тайно ускользнуть из Рима).

32. У Цезаря было не более трехсот всадников и пяти тысяч человек пехоты. Остальные его воины оставались за Альпами, и он уже отправил за ними своих легатов. Но так как он видел, что для начала задуманного им предприятия и для первого приступа более необходимы чудеса отваги и ошеломительный по скорости удар, чем многочисленное войско (ибо ему казалось легче устрашить врага неожиданным нападением, чем одолеть его, прийдя с хорошо вооруженным войском), то он дал приказ своим командирам и центурионам, вооружившись кинжалами, без всякого другого оружия занять Аримин[18], значительный город в Галлии, избегая, насколько возможно, шума и кровопролития. Командование войском он поручил Гортензию, сам же провел целый день на виду у всех и даже присутствовал при упражнениях гладиаторов. К вечеру, приняв ванну, он направился в обеденный зал и здесь некоторое время оставался с гостями. Когда уже стемнело, он встал и вежливо предложил гостям ожидать здесь, пока он вернется. Немногим же доверенным друзьям он еще прежде сказал, чтобы они последовали за ним, но выходили не все сразу, а поодиночке. Сам он сел в наемную повозку и поехал сначала по другой дороге, а затем повернул к Аримину. Когда он приблизился к речке под названием Рубикон, которая отделяет Предальпийскую Галлию от собственно Италии, его охватило глубокое раздумье при мысли о наступающей минуте, и он заколебался перед величием своего дерзания. Остановив повозку, он вновь долгое время молча обдумывал со всех сторон свой замысел, принимая то одно, то другое решение. Затем он поделился своими сомнениями с присутствовавшими друзьями, среди которых был и Азиний Поллион; он понимал, началом каких бедствий для всех людей будет переход через эту реку и как оценит этот шаг потомство. Наконец, как бы отбросив размышления и отважно устремляясь навстречу будущему, он произнес слова обычные для людей, вступающих в отважное предприятие, исход которого сомнителен: "Пусть будет брошен жребий!" – и двинулся к переходу. Промчавшись остаток пути без отдыха, он еще до рассвета ворвался в Аримин, который и за-

нял. Говорят, что в ночь накануне этого перехода Цезарь видел зловещий сон; ему приснилось, что он совершил ужасное кровосмешение, сойдясь с собственной матерью[19].

33. После взятия Аримина как бы широко распахнулись ворота перед войною во всех странах и на всех морях, и вместе с границей провинции были нарушены и стерты все римские законы; казалось, что не только мужчины и женщины в ужасе бродят по Италии, как это бывало и прежде, но и сами города, поднявшись со своих мест, бегут, враждуя друг с другом. В самом Риме, который был затоплен потоком беглецов из окрестных селений, власти не могли поддержать порядка ни убеждением, ни приказами. И немногого недоставало, чтобы город сам себя погубил в этом великом смятении и буре. Повсюду господствовали противоборствующие страсти и неистовое волнение. Ибо даже сторона, которая на какое-то время торжествовала, не оставалась в покое, но, вновь сталкиваясь в огромном городе с устрашенным и поверженным противником, дерзко возвещала ему еще более страшное будущее, и борьба возобновлялась. Помпея, который был ошеломлен не менее других, теперь осаждали со всех сторон. Одни возлагали на него ответственность за то, что он содействовал усилению Цезаря во вред и самому себе и государству, другие ставили ему в вину, что он позволил Лентулу оскорбить Цезаря, когда тот уже шел на уступки и предлагал справедливые условия примирения. Фавоний же предлагал ему топнуть ногой о землю, ибо Помпей как-то, похваляясь, говорил сенаторам, что незачем им суетиться и заботиться о приготовлениях к войне: если только Цезарь придет, то стоит ему, Помпею, топнуть ногою оземь, как вся Италия наполнится войсками. Впрочем, и теперь еще Помпей превосходил Цезаря числом вооруженных воинов; никто, однако, не позволял ему действовать в соответствии с собственными расчетами. Поэтому он поверил ложным слухам, что война уже у ворот, что она охватила всю страну, и, поддаваясь общему настроению, объявил публично, что в городе восстание и безвластие, а затем покинул город, приказав следовать за собой сенаторам и всем тем, кто предпочитает отечество и свободу тирании.

34. Итак, консулы бежали, не совершив даже обычных жертвоприношений перед дорогой; бежало и большинство сенаторов – с такою поспешностью, что они захватывали с собой из своего имущества первое попавшееся под руку, словно имели дело с чужим добром. Были и такие, которые раньше горячо поддерживали Цезаря, теперь же, потеряв от ужаса способность рассуждать, дали без всякой нужды увлечь себя этому потоку всеобщего бегства. Но самым печальным зрелищем был вид самого города, который накануне великой бури казался подобным судну с отчаявшимися кормчими, носящемуся по волнам и брошенному на произвол слепого случая. И все же, как бы много боли ни причиняло это переселение, римляне из любви к Помпею считали землю изгнания своим отечеством и покидали Рим, словно он уже стал лагерем Цезаря. Даже Лабиен, один из ближайших друзей Цезаря, бывший его легатом и самым ревностным помощником его в галльских войнах, теперь бежал от него и перешел на сторону Помпея. Цезарь же отправил ему вслед его деньги и пожитки.

Прежде всего Цезарь двинулся на Домиция, который с тридцатью когортами занял Корфиний, и расположился лагерем у этого города. Домиций, отчаявшись

в успехе, потребовал у своего врача-раба яд и выпил его, желая покончить с собой. Но вскоре, услышав, что Цезарь удивительно милостив к пленным, он принялся оплакивать себя и осуждать свое слишком поспешное решение. Однако врач успокоил его, заверив, что дал ему вместо яда снотворное средство. Домиций, воспрянув духом, поспешил к Цезарю, получил от него прощение и вновь перебежал к Помпею. Эти новости, дойдя до Рима, успокоили жителей, и некоторые из бежавших вернулись назад.

35. Цезарь включил в состав своего войска отряд Домиция, а также всех набиравшихся для Помпея воинов, которых он захватил в италийских городах, и с этими силами, уже многочисленными и грозными, двинулся на самого Помпея. Но тот не стал дожидаться его прихода, бежал в Брундизий и, послав сначала консулов с войском в Диррахий, вскоре, когда Цезарь был уже совсем рядом, сам отплыл туда же; об этом будет рассказано подробно в его жизнеописании[20]. Цезарь хотел тотчас же поспешить за ним, но у него не было кораблей, и потому он вернулся в Рим, в течение шестидесяти дней сделавшись без всякого кровопролития господином всей Италии. Рим он нашел в более спокойном состоянии, чем ожидал, и так как много сенаторов оказалось на месте, он обратился к ним с примирительной речью, предлагая отправить делегацию к Помпею, чтобы достигнуть соглашения на разумных условиях. Однако никто из них не принял этого предложения, либо из страха перед Помпеем, которого они покинули в опасности, либо не доверяя Цезарю и считая его речь неискренней.

Народный трибун Метелл хотел воспрепятствовать Цезарю взять деньги из государственной казны и ссылался при этом на законы. Цезарь ответил на это: “Оружие и законы не уживаются друг с другом. Если ты недоволен моими действиями, то иди-ка лучше прочь, ибо война не терпит никаких возражений. Когда же после заключения мира я отложу оружие в сторону, ты можешь появиться снова и ораторствовать перед народом. Уже тем, – прибавил он, – что я говорю это, я поступаюсь моими правами: ведь и ты, и все мои противники, которых я здесь захватил, находитесь целиком в моей власти”. Сказав это Метеллу, он направился к дверям казнохранилища и, так как не нашел ключей, послал за мастерами и приказал взломать дверь. Метелл, ободряемый похвалами нескольких присутствовавших, вновь стал ему противодействовать. Тогда Цезарь решительно пригрозил Метеллу, что убьет его, если тот не перестанет ему досаждать. “Знай, юнец, – прибавил он, – что мне гораздо труднее сказать это, чем сделать”. Эти слова заставили Метелла удалиться в страхе, и все потребное для войны было доставлено Цезарю быстро и без помех.

36. Цезарь направился в Испанию, решив прежде всего изгнать оттуда Афрания и Варрона, легатов Помпея и, подчинив себе тамошние легионы и провинции, чтобы в тылу у него уже не было противников, выступить затем против самого Помпея. В Испании Цезарь не раз попадал в засады, так что его жизнь оказывалась в опасности, воины его жестоко голодали, и все же он неустанно преследовал неприятелей, вызывал их на сражения, окружал рвами, пока, наконец, не овладел и лагерями и армиями. Предводители бежали к Помпею.

37. По возвращении Цезаря в Рим его тесть Пизон стал убеждать его послать к Помпею послов для переговоров о перемирии, но Сервилий Исаврийский в

угоду Цезарю возражал против этого. Сенат назначил Цезаря диктатором, после чего он вернул изгнанников и возвратил гражданские права детям лиц, объявленных при Сулле вне закона, а также путем некоторого снижения учетного процента облегчил положение должников. Издав еще несколько подобных распоряжений, он через одиннадцать дней отказался от единоличной власти диктатора, объявив себя консулом вместе с Сервилием Исаврийским, и выступил в поход.

В начале января, который приблизительно соответствует афинскому месяцу посидеону, около зимнего солнцеворота он отплыл с отборным отрядом конницы в шестьсот человек и пятью легионами, оставив остальное войско позади, чтобы не терять времени. После переправы через Ионийское море он занял Аполлонию и Орик, а флот снова отправил в Брундизий за отставшей частью войска. Солдаты были еще в пути. Молодые годы их миновали, и, утомленные бесконечными войнами, они громко жаловались на Цезаря, говоря: "Куда же, в какой край завезет нас этот человек, обращаясь с нами так, как будто мы не живые люди, подвластные усталости? Но ведь и меч изнашивается от ударов, и панцирю и щиту нужно дать покой после столь продолжительной службы. Неужели даже наши раны не заставляют Цезаря понять, что он командует смертными людьми и что мы чувствуем лишения и страдания, как и все прочие? Теперь пора бурь и ветров на море, и даже богу невозможно смирить силой стихию, а он идет на все, словно не преследует врагов, а спасается от них". С такими речами они медленно подвигались к Брундизию. Но когда, прибыв туда, они узнали, что Цезарь уже отплыл, их настроение быстро изменилось. Они бранили себя, называли себя предателями своего императора, бранили и начальников за то, что те не торопили их в пути. Расположившись на возвышенности, солдаты смотрели на море, в сторону Эпира, дожидаясь кораблей, на которых они должны были переправиться к Цезарю.

38. Между тем Цезарь, не имея в Аполлонии военных сил, достаточных для борьбы, и видя, что войска из Италии медлят с переправой, оказался в затруднительном положении. Поэтому он решился на отчаянное предприятие – на двенадцативесельном судне тайно от всех вернуться в Брундизий, хотя множество неприятельских кораблей бороздило море. Он поднялся на борт ночью в одежде раба и, усевшись поодаль, как самый незначительный человек, хранил молчание. Течением реки Аоя корабль уносило в море, но утренний ветер, который обыкновенно успокаивал волнение в устье реки, прогоняя волны в море, уступил натиску сильного морского ветра, задувшего ночью. Река свирепо боролась с морским приливом. Сопротивляясь прибою, она шумела и вздувалась, образуя страшные водовороты. Кормчий, бессильный совладать со стихией, приказал матросам повернуть корабль назад. Услыхав это, Цезарь выступил вперед и, взяв пораженного кормчего за руку, сказал: "Вперед, любезный, смелей, не бойся ничего: ты везешь Цезаря и его счастье". Матросы забыли про бурю и, как бы приросши к веслам, с величайшим усердием боролись с течением. Однако идти дальше было невозможно, так как в трюм набралось много воды и в устье корабль подвергался грозной опасности. Цезарь, хотя и с большой неохотой, согласился повернуть назад. По возвращении Цезаря солдаты толпой вы-

шли ему навстречу, упрекая его за то, что он не надеется на победу с ними одними, но огорчается из-за отставших и идет на риск, словно не доверяя тем легионам, которые высадились вместе с ним.

39. Наконец прибыл из Брундизия Антоний с войсками. Цезарь, осмелев, начал вызывать Помпея на сражение. Помпей разбил лагерь в удобном месте, имея возможность снабжать в изобилии свои войска с моря и с суши, тогда как солдаты Цезаря уже с самого начала испытывали недостаток в продовольствии, а потом из-за отсутствия самого необходимого стали есть какие-то коренья, кроша их на мелкие части и смешивая с молоком. Иногда они лепили из этой смеси хлебцы и, нападая на передовые караулы противника, бросали эти хлебцы, крича, что не прекратят осады Помпея до тех пор, пока земля будет рождать такие коренья. Помпей старался скрыть и эти хлебцы и эти речи от своих солдат, ибо те начали падать духом, страшась бесчувственности врагов и считая их какими-то дикими зверями.

Около укреплений Помпея постоянно происходили отдельные стычки. Победа во всех этих столкновениях оставалась за Цезарем, кроме одного случая, когда, потерпев неудачу, Цезарь чуть не лишился своего лагеря. Помпей произвел набег, против которого никто не устоял: рвы наполнились трупами, солдаты Цезаря падали подле собственного вала и частокола, поражаемые неприятелем во время поспешного бегства. Цезарь вышел навстречу солдатам, тщетно пытаясь повернуть бегущих назад. Он хватался за знамена, но знаменосцы бросали их, так что неприятели захватили тридцать два знамени. Сам Цезарь едва не был при этом убит. Схватив какого-то рослого и сильного солдата, бежавшего мимо, он приказал ему остановиться и повернуть на неприятеля. Тот в смятении пред лицом ужасной опасности поднял меч, чтобы поразить Цезаря, но оруженосец Цезаря подоспел и отрубил ему руку.

Однако Помпей – то ли по какой-то нерешительности, то ли случайно – не до конца воспользовался своим успехом, но отступил, загнав беглецов в их лагерь. Цезарь, который уже потерял было всякую надежду, сказал после этого своим друзьям: "Сегодня победа осталась бы за противниками, если бы у них было кому победить". Сам же, придя к себе в палатку и улегшись, он провел ночь в мучительной тревоге и тяжелых размышлениях о том, как неразумно он командует. Он говорил себе, что перед ним лежат обширные равнины и богатые македонские и фессалийские города, а он вместо того, чтобы перенести туда военные действия, расположился лагерем у моря, на котором перевес принадлежит противнику, так что скорее он сам терпит лишения осажденного, нежели осаждает врага. В таком мучительном душевном состоянии, угнетаемый недостатком продовольствия и неблагоприятно сложившейся обстановкой, Цезарь принял решение двинуться против Сципиона в Македонию, рассчитывая либо заманить Помпея туда, где тот должен будет сражаться в одинаковых с ним условиях, не получая поддержки с моря, либо разгромить Сципиона, предоставленного самому себе.

40. В войске Помпея и среди начальников это вызвало пылкое желание пуститься в погоню, так как казалось, что Цезарь побежден и бежит. Но сам Помпей был слишком осторожен, чтобы отважиться на сражение, которое может

решить исход всего дела. Обеспеченный всем необходимым на долгий срок, он предпочитал ждать, пока противник истощит свои силы. Лучшая часть войска Цезаря имела боевой опыт и неодолимую отвагу в битвах. Однако его солдаты из-за преклонного возраста уставали от длительных переходов, от лагерной жизни, строительных работ и ночных бодрствований. Страдая от тяжких трудов вследствие телесной слабости, они теряли и бодрость духа. К тому же, как тогда говорили, дурное питание вызвало в армии Цезаря какую-то повальную болезнь. Но самое главное – у Цезаря не было ни денег, ни запасов продовольствия, и казалось, что в течение короткого времени его армия сама собой распадется.

41. Один Катон, который при виде павших в бою неприятелей (их было около тысячи) ушел, закрыв лицо в знак печали, и заплакал, хвалил Помпея за то, что тот уклоняется от сражения и щадит сограждан. Все же остальные обвиняли Помпея в трусости и насмешливо звали его Агамемноном и царем царей: не желая отказаться от единоличной власти, он, дескать, гордится тем, что столько полководцев находится у него в подчинении и ходит за распоряжениями к нему в палатку. Фавоний, подражая откровенным речам Катона, жаловался, что из-за властолюбия Помпея они в этом году не отведают тускульских фиг. Афраний, недавно прибывший из Испании, после столь неудачного командования и подозреваемый в том, что он за деньги продал свою армию Цезарю, спрашивал, почему же не сражаются с купцом, купившим у него провинции. Под давлением всего этого Помпей против воли начал преследование Цезаря.

А Цезарь проделал большую часть пути в тяжелых условиях, ниоткуда не получая продовольствия, но повсюду видя лишь пренебрежение из-за своей недавней неудачи. Однако после захвата Фессалийского города Гомфы ему не только удалось накормить армию, но и неожиданно найти для солдат избавление от болезни. В городе оказалось много вина, и солдаты вдоволь пили в пути, предаваясь безудержному разгулу. Хмель гнал недуг прочь, вновь возвращая заболевшим здоровье.

42. Оба войска вступили на равнину Фарсала и расположились там лагерем. Помпей опять обратился к своему прежнему плану, тем более что и предзнаменования и сновидения были неблагоприятны. Зато окружавшие Помпея были до того самонадеянны и уверены в победе, что Домиций, Спинтер и Сципион яростно спорили между собой о том, кто из них получит должность верховного жреца, принадлежавшую Цезарю. Они посылали в Рим заранее нанимать дома, приличествующие для консулов и преторов, рассчитывая сразу после войны занять эти должности. Особенно неудержимо рвались в бой всадники. Они очень гордились своим боевым искусством, блеском оружия, красотой коней, а также численным превосходством: против семи тысяч всадников Помпея у Цезаря была всего лишь одна тысяча. Количество пехоты также не было равным: у Цезаря было в строю двадцать две тысячи против сорока пяти тысяч у неприятеля.

43. Цезарь собрал свои войска и, сообщив им, что два легиона под командой Корнифиция находятся неподалеку, а пятнадцать когорт во главе с Каленом расположены около Мегар и Афин, спросил, желают ли они ожидать этих подкреплений или предпочитают рискнуть сами. Солдаты с громкими криками про-

сили его не ждать, но вести их в бой и приложить старания к тому, чтобы они могли как можно скорее встретиться с неприятелем. Когда Цезарь совершал очистительное жертвоприношение, по заклании первого животного жрец тотчас объявил, что в ближайшие три дня борьба с неприятелем будет решена сражением. На вопрос Цезаря, не замечает ли он по жертве каких-либо признаков благополучного исхода битвы, жрец отвечал: "Ты сам лучше меня можешь ответить на этот вопрос. Боги возвещают великую перемену существующего положения вещей. Поэтому, если ты полагаешь, что настоящее положение вещей для тебя благоприятно, то ожидай неудачи, если же неблагоприятно – жди успеха". В полночь накануне битвы, когда Цезарь обходил посты, на небе видели огненный факел, который, казалось, пронесся над лагерем Цезаря и, вспыхнув ярким светом, упал в расположение Помпея, а в утреннюю стражу из лагеря Цезаря было заметно смятение в стане врагов. В этот день, однако, Цезарь не ожидал сражения. Он приказал сниматься с лагеря, намереваясь выступить по направлению к Скотуссе.

44. Когда уже свернули лагерные палатки, к Цезарю прискакали разведчики с сообщением, что неприятель движется в боевом строю. Цезарь весьма обрадовался и, сотворив молитвы богам, стал строить войско, разделив его на три части. В центре он поставил Домиция Кальвина, левым флангом командовал Антоний, сам же он стоял во главе правого крыла, намереваясь сражаться в рядах десятого легиона. Увидев, однако, что против этого легиона расположена неприятельская конница, встревоженный ее численностью и блеском ее оружия, Цезарь приказал шести когортам, расположенным в глубине строя, незаметно перейти к нему и поставил их позади правого крыла, пояснив, как надо действовать, когда вражеская конница пойдет в наступление.

Помпей командовал правым флангом своей армии, левым – Домиций, а в центре находился Сципион, тесть Помпея. Вся конница Помпея была сосредоточена на левом фланге. Она должна была обойти правое крыло Цезаря и нанести неприятелям решительное поражение именно там, где командовал их полководец: полагали, что, какой бы глубины ни был строй неприятельской пехоты, она не сможет выдержать напора, но будет сокрушена и разбита под одновременным натиском многочисленной конницы.

Обе стороны собирались дать сигнал к нападению. Помпей приказал тяжеловооруженным не двигаться с места и с дротиками наготове ожидать, пока противник не приблизится на расстояние полета дротика. По словам Цезаря, Помпей допустил ошибку, не оценив, насколько стремительность натиска увеличивает силу первого удара и воодушевляет мужеством сражающихся. Цезарь уже был готов двинуть свои войска вперед, когда заметил одного из центурионов, преданного ему и опытного в военном деле. Центурион ободрял своих солдат и призывал их показать образец мужества. Цезарь обратился к центуриону, назвав его по имени: "Гай Крассиний, каковы у нас надежды на успех и каково настроение?" Крассиний, протянув правую руку, громко закричал ему в ответ: "Мы одержим, Цезарь, блестящую победу. Сегодня ты меня похвалишь живым или мертвым!" С этими словами он первым ринулся на неприятеля, увлекая за собой сто двадцать своих солдат; изрубив первых встретившихся врагов и с си-

лой пробиваясь вперед, он многих положил, пока, наконец, сам не был сражен ударом меча в рот, так что клинок прошел насквозь и вышел через затылок.

45. Так в центре сражалась пехота, а между тем конница Помпея с левого фланга горделиво тронулась в наступление, рассыпаясь и растягиваяь, чтобы охватить правое крыло противника. Однако, прежде чем она успела атаковать, вперед выбежали когорты Цезаря, которые против обыкновения не метали копий и не поражали неприятеля в ноги, а, по приказу Цезаря, целили врагам в глаза и наносили раны в лицо. Цезарь рассчитывал, что молодые солдаты Помпея, кичившиеся своей красотой и юностью, не привыкшие к войнам и ранам, более всего будут опасаться таких ударов и не устоят, устрашенные как самою опасностью, так и угрозою оказаться обезображенными. Так оно и случилось. Помпеянцы отступали перед поднятыми вверх копьями, теряя отвагу при виде направленного против них оружия; оберегая лицо, они отворачивались и закрывались. В конце концов они расстроили свои ряды и обратились в позорное бегство, погубив все дело, ибо победители немедленно стали окружать и, нападая с тыла, рубить вражескую пехоту.

Когда Помпей с противоположного фланга увидел, что его конница рассеяна и бежит, он перестал быть самим собою, забыл, что он Помпей Магн. Он походил скорее всего на человека, которого божество лишило рассудка. Не сказав ни слова, он удалился в палатку и там напряженно ожидал, что произойдет дальше, не двигаясь с места до тех пор, пока не началось всеобщее бегство и враги, ворвавшись в лагерь, не вступили в бой с караульными. Тогда лишь он как бы опомнился и сказал, как передают, только одну фразу: "Неужели уже дошло до лагеря?" Сняв боевое убранство полководца и заменив его подобающей беглецу одеждой, он незаметно удалился. О дальнейшей его участи, как он, доверившись египтянам, был убит, мы рассказываем в его жизнеописании[21].

46. А Цезарь, прибыв в лагерь Помпея и увидев трупы врагов и продолжающуюся резню, со стоном воскликнул: "Вот чего они хотели, вот до какой крайности меня довели! Если бы Гай Цезарь, свершитель величайших воинских деяний, отказался тогда от командования, надо мною был бы, вероятно, произнесен смертный приговор". Азиний Поллион передает, что Цезарь произнес эти слова по-латыни, а сам он записал их по-гречески. Большинство убитых, как он сообщает, оказалось рабами, павшими при захвате лагеря, а воинов погибло не более шести тысяч. Бóльшую часть пленных Цезарь включил в свои легионы. Многим знатным римлянам он даровал прощение; в числе их был и Брут – впоследствии его убийца. Цезарь, говорят, был встревожен, не видя Брута, и очень обрадовался, когда тот оказался в числе уцелевших и пришел к нему.

47. Среди многих чудесных знамений, предвещавших победу Цезаря, как о самом замечательном сообщают о знамении в городе Траллах. В храме Победы стояло изображение Цезаря. Земля вокруг статуи была от природы бесплодна и к тому же замощена камнем, и на ней-то, как сообщают, у самого цоколя выросла пальма.

В Патавии некто Гай Корнелий, человек знаменитый искусством гадания, соотечественник и знакомый писателя Ливия, как раз в тот день сидел и наблюдал за полетом птиц. По рассказу Ливия[22], он прежде всех узнал о времени битвы и

заявил присутствующим, что дело уже началось и противники вступили в бой. Затем он продолжал наблюдение и, увидав новое знамение, вскочил с возгласом: "Ты победил, Цезарь!" Присутствующие были поражены, а он, сняв с головы венок, клятвенно заверил, что не возложит его вновь, пока его искусство гадания не подвердится на деле. Ливий утверждает, что все это было именно так.

48. Цезарь, даровав в ознаменование победы свободу фессалийцам, начал преследование Помпея. По прибытии в Азии об объявил свободными граждан Книда из расположения к Феопомпу, составителю свода мифов, а всем жителям Азии уменьшил подати на одну треть. Цезарь прибыл в Александрию, когда Помпей был уже мертв. Здесь Феодот поднес ему голову Помпея, но Цезарь отвернулся и, взяв в руки кольцо с его печатью, пролил слезы. Всех друзей и близких Помпея, которые, скитаясь по Египту, были взяты в плен царем, он привлек к себе и облагодетельствовал. Своим друзьям в Риме Цезарь писал, что в победе для него самое приятное и сладостное – возможность даровать спасение все новым из воевавших с ним граждан.

Что касается Александрийской войны, то одни писатели не считают ее необходимой и говорят, что единственной причиной этого опасного и бесславного для Цезаря похода была его страсть к Клеопатре; другие выставляют виновниками войны царских придворных, в особенности могущественного евнуха Потина, который незадолго до того убил Помпея, изгнал Клеопатру и тайно злоумышлял против Цезаря. По этой причине, чтобы обезопасить себя от покушений, Цезарь, как сообщают, и начал тогда проводить ночи в попойках. Но Потин и открыто проявлял враждебность – во многих словах и поступках, направленных к поношению Цезаря. Солдат Цезаря он велел кормить самым черствым хлебом, говоря, что они должны быть довольны и этим, раз едят чужое. К обеду он выдавал глиняную и деревянную посуду, ссылаясь на то, что всю золотую и серебряную Цезарь, якобы, отобрал за долги. Действительно, отец царствовавшего тогда царя был должен Цезарю семнадцать с половиной миллионов драхм, часть этого долга Цезарь простил его детям, а десять миллионов потребовал теперь на прокормление войска. Потин советовал ему покинуть Египет и заняться великими своими делами, обещая позже вернуть деньги с благодарностью. Цезарь ответил на это, что он меньше всего нуждается в египетских советниках, и тайно вызвал Клеопатру из изгнания.

49. Клеопатра, взяв с собой лишь одного из друзей, Аполлодора Сицилийского, села в маленькую лодку и при наступлении темноты пристала вблизи царского дворца. Так как иначе трудно было остаться незамеченной, то она забралась в мешок для постели и вытянулась в нем во всю длину. Аполлодор обвязал мешок ремнем и внес его через двор к Цезарю. Говорят, что уже эта хитрость Клеопатры показалась Цезарю смелой и пленила его. Окончательно покоренный обходительностью Клеопатры и ее красотой, он примирил ее с царем для того, чтобы они царствовали совместно.

Во время всеобщего пира в честь примирения раб Цезаря, цирульник, из трусости (в которой он всех превосходил) не пропускавший ничего мимо ушей, все подслушивавший и выведывавший, проведал о заговоре, подготовляемом про-

тив Цезаря военачальником Ахиллой и евнухом Потином. Узнав о заговоре, Цезарь велел окружить стражей пиршественную залу. Потин был убит, Ахилле же удалось бежать к войску, и он начал против Цезаря продолжительную и тяжелую войну, в которой Цезарю пришлось с незначительными силами защищаться против населения огромного города и большой египетской армии. Прежде всего он подвергся опасности остаться без воды, так как водопроводные каналы были засыпаны неприятелем. Затем враги пытались отрезать его от кораблей. Цезарь принужден был отвратить опасность, устроив пожар, который, распространившись со стороны верфей, уничтожил огромную библиотеку. Наконец, во время битвы при Фаросе[24], когда Цезарь соскочил с насыпи в лодку, чтобы оказать помощь своим, и к лодке со всех сторон устремились египтяне, Цезарь бросился в море и лишь с трудом выплыл. Говорят, что он подвергался в это время обстрелу из луков и, погружаясь в воду, все-таки не выпускал из рук записных книжек. Одной рукой он поднимал их высоко над водой, а другой греб, лодка же сразу была потоплена. В конце концов, когда царь встал на сторону противников, Цезарь напал на него и одержал в сражении победу. Враги понесли большие потери, а царь пропал без вести.

Затем, оставив Клеопатру, которая вскоре родила от него сына (александрийцы называли его Цезарионом), Цезарь направился в Сирию. 50. Прибыв оттуда в Азию, Цезарь узнал, что Домиций разбит сыном Митридата Фарнаком и с немногочисленной свитой бежал из Понта, а Фарнак, с жадностью используя свой успех, занял Вифинию и Каппадокию, напал на так называемую Малую Армению и подстрекает к восстанию всех тамошних царей и тетрархов. Цезарь тотчас же выступил против Фарнака с тремя легионами, в большой битве при городе Зеле совершенно уничтожил войско Фарнака и самого его изгнал из Понта. Сообщая об этом в Рим одному из своих друзей, Матию, Цезарь выразил внезапность и быстроту этой битвы тремя словами: "Пришел, увидел, победил". По-латыни эти слова, имеющие одинаковые окончания[25], создают впечатление убедительной краткости.

51. Затем Цезарь переправился в Италию и прибыл в Рим в конце года, на который он был вторично избран диктатором, хотя ранее эта должность никогда не была годичной. На следующий год он был избран консулом. Цезаря порицали за его отношение к восставшим солдатам, которые убили двух бывших преторов – Коскония и Гальбу: он наказал их лишь тем, что, обращаясь к ним, назвал их гражданами, а не воинами, а затем дал каждому по тысяче драхм и выделил большие участки земли в Италии. На Цезаря возлагали также вину за сумасбродства Долабеллы, корыстолюбие Матия и кутежи Антония; последний, в довершение ко всему прочему, присвоил какими-то нечистыми средствами дом Помпея и приказал его перестроить, так как он показался ему недостаточно вместительным. Среди римлян распространялось недовольство подобными поступками. Цезарь все это замечал, однако положение дел в государстве вынуждало его пользоваться услугами таких помощников.

52. Катон и Сципион после сражения при Фарсале бежали в Африку и там при содействии царя Юбы собрали значительные силы. Цезарь решил выступить против них. Он переправился в Сицилию около времени зимнего солнцево-

рота[26] и, желая лишить своих командиров всякой надежды на промедление и проволочку, сразу же велел раскинуть свою палатку на самом морском берегу. Как только подул попутный ветер, он отплыл с тремя тысячами пехоты и небольшим отрядом конницы. Высадив эти войска, он незаметно отплыл назад, боясь за свои главные силы. Он встретил их уже в море и благополучно доставил в лагерь. Узнав, что противники полагаются на какой-то старинный оракул, гласящий, что роду Сципионов всегда суждено побеждать в Африке, Цезарь – трудно сказать, в шутку ли, чтобы выставить в смешном виде Сципиона, полководца своих врагов, или всерьез, желая истолковать предсказание в свою пользу, – в каждом сражении отводил какому-то Сципиону почетное место во главе войска, словно главнокомандующему (среди людей Цезаря был некий Сципион Салутион из семьи Сципионов Африканских, человек во всех других отношениях ничтожный и всеми презираемый). Сталкиваться же с неприятелем и искать сражения приходилось часто: армия Цезаря страдала от недостачи продовольствия и корма для лошадей, так что воины вынуждены были кормить лошадей морским мхом, смывая с него морскую соль и примешивая в качестве приправы немного травы.

Неприятельская конница из нумидийцев господствовала над местностью, быстро появляясь всякий раз в большом числе. Однажды, когда конный отряд Цезаря расположился на отдых и какой-то ливиец плясал, замечательно подыгрывая себе на флейте, а солдаты веселились, поручив присмотр за лошадьми рабам, внезапно неприятели окружили и атаковали их. Часть воинов Цезаря была убита на месте, другие пали во время поспешного бегства в лагерь. Если бы сам Цезарь и Азиний Поллион не поспешили из лагеря на подмогу, война, пожалуй, была бы кончена. Во время другого сражения, как сообщают, неприятель также одержал было верх в завязавшейся рукопашной схватке, но Цезарь ухватил за шею бежавшего со всех ног знаменосца и повернул его кругом со словами: "Вон где враги!"

53. Эти успехи побудили Сципиона померяться силами в решительном сражении. Оставив Афрания в лагере и невдалеке от него Юбу, сам он занялся укреплением позиции для нового лагеря над озером около города Тапса, имея в виду создать здесь прибежище и опору в битве для всего войска. В то время как Сципион трудился над этим, Цезарь, с невероятной быстротой пройдя лесистыми местами, удобными для неожиданного нападения, одну часть его войска окружил, а другой ударил в лоб. Обратив врага в бегство, Цезарь воспользовался благоприятным моментом и сопутствием счастливой судьбы: при первом же натиске ему удалось захватить лагерь Афрания и после бегства Юбы совершенно уничтожить лагерь нумидийцев. В несколько часов Цезарь завладел тремя лагерями, причем пало пятьдесят тысяч неприятелей; Цезарь же потерял не более пятидесяти человек. Так рассказывают об этой битве одни писатели. Другие утверждают, что Цезарь даже не участвовал в деле, но что его поразил припадок обычной болезни как раз в то время, когда он строил войско в боевой порядок. Как только он почувствовал приближение припадка, то, прежде чем болезнь совершенно завладела им и он лишился сознания, его отнесли в стоявшую поблизости башню и там оставили.

Некоторые из спасшихся бегством бывших консулов и преторов, попав в плен, покончили самоубийством, а многих Цезарь приказал казнить. 54. Горя желанием захватить Катона живым, Цезарь поспешил к Утике: Катон охранял этот город и поэтому не принял участия в сражении. Узнав о самоубийстве Катона, Цезарь явно опечалился, но никто не знал, чем именно. Он сказал только: "О, Катон, мне ненавистна твоя смерть, ибо тебе было ненавистно принять от меня спасение". Но сочинение, впоследствии написанное Цезарем против Катона, не содержит признаков мягкого, примирительного настроения. Как же он мог пощадить Катона живым, если на мертвого излил так много гнева? С другой стороны, снисходительность, проявленная Цезарем по отношению к Цицерону, Бруту и множеству других побежденных, заставляет некоторых заключить, что упомянутое выше сочинение родилось не из ненависти к Катону, а из соперничества на государственном поприще, и вот по какому поводу. Цицерон написал хвалебное сочинение в честь Катона под заглавием "Катон". Сочинение это, естественно, у многих имело большой успех, так как оно было написано знаменитым оратором и на благороднейшую тему. Цезарь был уязвлен этим сочинением, считая, что похвала тому, чьей смерти он был причиной, служит обвинением против него. Он собрал много обвинений против Катона и назвал свою книгу "Антикатон". Каждое из этих двух произведений имело много сторонников в зависимости от того, кому кто сочувствовал – Катону или Цезарю.

55. По возвращении из Африки в Рим Цезарь прежде всего произнес речь к народу, восхваляя свою победу. Он сказал, что захватил так много земли, что ежегодно будет доставлять в государственное хранилище двести тысяч аттических медимнов зерна и три миллиона фунтов оливкового масла. Затем он отпраздновал триумфы[27] – египетский, понтийский, африканский – не над Сципионом, разумеется, а над царем Юбой. Сына царя Юбы, еще совсем маленького мальчика, вели в триумфальной процессии. Он попал в счастливейший плен, так как из варвара и нумидийца превратился в одного из самых ученых греческих писателей. После триумфов Цезарь принялся раздавать солдатам богатые подарки, а народу устраивал угощения и игры. На двадцати двух тысячах столов было устроено угощение для всех граждан. Игры – гладиаторские бои и морские сражения – он дал в честь своей давно умершей дочери Юлии.

Затем была произведена перепись граждан. Вместо трехсот двадцати тысяч человек, насчитывавшихся прежде, теперь оказалось налицо всего сто пятьдесят тысяч. Такой урон принесли гражданские войны, столь значительную часть народа они истребили – и это еще не принимая в расчет бедствий, постигших остальную Италию и провинции!

56. После этого Цезарь был избран в четвертый раз консулом и затем отправился с войсками в Испанию против сыновей Помпея, которые, несмотря на свою молодость, собрали удивительно большую армию и выказали необходимую для полководцев отвагу, так что поставили Цезаря в крайне опасное положение. Большое сражение произошло около города Мунды. Цезарь, видя что неприятель теснит его войско, которое сопротивляется слабо, закричал, пробегая сквозь ряды солдат, что если они уже ничего не стыдятся, то пусть возьмут и выдадут его мальчишкам. Осилить неприятелей Цезарю удалось лишь с боль-

шим трудом. Противник потерял свыше тридцати тысяч человек; у Цезаря же пала тысяча самых лучших солдат. После сражения Цезарь сказал своим друзьям, что он часто сражался за победу, теперь же впервые сражался за жизнь. Эту победу он одержал во время праздника Дионисий[28] – в тот самый день, когда, как сообщают, вступил в войну Помпей Магн. Промежуток времени между этими двумя событиями – четыре года. Младший из сыновей Помпея бежал, а немного дней спустя Дидий принес голову старшего.

Эта война была последней, которую вел Цезарь. Отпразднованный по случаю победы триумф, как ничто другое, огорчил римлян. Негоже было Цезарю справлять триумф над несчастиями отечества, гордиться тем, чему оправданием перед богами и людьми могла служить одна лишь необходимость. Ведь Цезарь победил не чужеземных вождей и не варварских царей, но уничтожил детей и род человека, знаменитейшего среди римлян, попавшего в несчастье. Вдобавок, прежде сам Цезарь ни через посланцев, ни письменно не сообщал о своих победах в гражданских войнах, но стыдился такой славы.

57. Однако, склонившись перед счастливой судьбой этого человека и позволив надеть на себя узду, римляне считали, что единоличная власть есть отдых от гражданских войн и прочих бедствий. Они выбрали его диктатором пожизненно. Эта несменяемость в соединении с неограниченным единовластием была открытой тираннией. По предложению Цицерона, сенат назначил ему почести[29], которые еще оставались в пределах человеческого величия, но другие наперебой предлагали чрезмерные почести, неуместность которых привела к тому, что Цезарь сделался неприятен и ненавистен даже самым благонамеренным людям. Ненавистники Цезаря, как думают, не меньше его льстецов помогали принимать эти решения, чтобы было как можно больше предлогов к недовольству и чтобы их обвинения казались вполне обоснованными. В остальном же Цезарь по окончании гражданских войн держал себя безупречно. Было даже постановлено – и, как думают, с полным основанием – посвятить ему храм Милосердия в знак благодарности за его человеколюбие. Действительно, он простил многих выступавших против него с оружием в руках, а некоторым, как например Бруту и Кассию, предоставил почетные должности: оба они были преторами. Цезарь не допустил, чтобы статуи Помпея лежали сброшенными с цоколя, но велел поставить их на прежнее место. По этому поводу Цицерон сказал, что Цезарь, восстановив статуи Помпея, утвердил свои собственные. Друзья Цезаря просили, чтобы он окружил себя телохранителями, и многие предлагали свои услуги. Цезарь не согласился, заявив, что, по его мнению, лучше один раз умереть, чем постоянно ожидать смерти. Видя в расположении к себе самую лучшую и надежную охрану и добиваясь такого расположения, он снова прибег к угощениям и хлебным раздачам для народа. Для солдат он основывал колонии. Из них самые известные – Карфаген и Коринф, города, которым ранее довелось быть одновременно разрушенными, а теперь – одновременно восстановленными.

58. Что касается знати, то одним он обещал на будущее должности консулов и преторов, других прельщал другими должностями и почестями и всем одинаково внушал большие надежды, стремясь к тому, чтобы властвовать над добро-

вольно подчиняющимися. Когда умер консул Максим, то на оставшийся до окончания срока его власти один день Цезарь назначил консулом Каниния Ребилия. По обычаю, многие направлялись приветствовать его, и Цицерон сказал: "Поспешим, чтобы успеть застать его в должности консула".

Многочисленные успехи не были для деятельной натуры Цезаря основанием спокойно пользоваться плодами своих трудов. Напротив, как бы воспламеняя и подстрекая его, они порождали планы еще более великих предприятий в будущем и стремление к новой славе, как будто достигнутая его не удовлетворяла. Это было некое соревнование с самим собой, словно с соперником, и стремление будущими подвигами превзойти совершенные ранее. Он готовился к войне с парфянами, а после покорения их имел намерение, пройдя через Гирканию вдоль Каспийского моря и Кавказа, обойти Понт и вторгнуться в Скифию, затем напасть на соседние с Германией страны и на самое Германию и возвратиться в Италию через Галлию, сомкнув круг римских владений так, чтобы со всех сторон империя граничила с Океаном.

Среди приготовлений к походу Цезарь задумал прорыть канал через коринфский перешеек и поручил наблюдение за этим Аниену. Затем он предпринял устройство глубокого канала, который перехватил бы у самого города воды Тибра, чтобы повернуть течение реки к Цирцеям и заставить Тибр впадать в море у Таррацины, сделав таким образом более безопасным и легким плавание для купцов, направляющихся в Рим. Кроме этого, он хотел осушить болота близ городов Пометии и Сетии с тем, чтобы предоставить плодородную землю многим десяткам тысяч людей. Далее, он хотел возвести плотину в море вблизи Рима и, расчистив мели у Остийского берега, устроить надежные гавани и якорные стоянки для имеющего столь важное значение судоходства. Таковы были его приготовления.

59. Остроумно задуманное и завершенное им устройство календаря с исправлением ошибок, вкравшихся в летоисчисление, принесло огромную пользу. Дело не только в том, что у римлян в очень древние времена лунный цикл не был согласован с действительною длиною года, вследствие чего жертвоприношения и праздники постепенно передвигались и стали приходиться на противоположные первоначальным времена года: даже когда был введен солнечный год, который и применялся в описываемое нами время, никто не умел рассчитывать его продолжительность, и только одни жрецы знали, в какой момент надо произвести исправление, и неожиданно для всех включали вставной месяц, который они называли мерцедонием. Говорят, впервые еще Нума стал вставлять дополнительный месяц, найдя в этом средство для исправления погрешности в календаре, однако средство, действительное лишь на недолгое время. Об этом говорится в его жизнеописании[30]. Цезарь предложил лучшим ученым и астрологам разрешить этот вопрос, а затем, изучив предложенные способы, создал собственный, тщательно продуманный и улучшенный календарь. Римляне до сих пор пользуются этим календарем и, по-видимому, у них погрешностей в летоисчислении меньше, чем у других народов. Однако и это преобразование дало людям злокозненным и враждебным власти Цезаря повод для обвинений. Так, например, известный оратор Цицерон, когда кто-то заметил, что "завтра взойдет со-

звездие Лиры", сказал: " Да, по указу", как будто бы и это явление, происходящее в силу естественной необходимости, могло произойти по желанию людей.

60. Стремление Цезаря к царской власти более всего возбуждало явную ненависть против него и стремление его убить. Для народа в этом была главная вина Цезаря; у тайных же недоброжелателей это давно уже стало благовидным предлогом для вражды к нему. Люди, уговаривавшие Цезаря принять эту власть, распространяли в народе слух, якобы основанный на Сивиллиных книгах, что завоевание парфянского царства римлянами возможно только под предводительством царя, иначе же оно недостижимо. Однажды, когда Цезарь возвратился из Альбы в Рим, они отважились приветствовать его как царя. Видя замешательство в народе, Цезарь разгневался и заметил на это, что его зовут не царем, а Цезарем. Так как эти слова были встречены всеобщим молчанием, Цезарь удалился в настроении весьма невеселом и немилостивом.

В другой раз сенат назначил ему какие-то чрезвычайные почести. Цезарь сидел на возвышении для ораторов. Когда к нему подошли консулы и преторы вместе с сенатом в полном составе, он не поднялся со своего места, а обращаясь к ним, словно к частным лицам, отвечал, что почести скорее следует уменьшить, чем увеличить. Таким поведением он вызвал, однако, недовольство не только сената, но и среди народа, так как все считали, что в лице сената Цезарь нанес оскорбление государству. Те, кому можно было не оставаться долее, тотчас же покинули заседание, сильно огорченные. Тогда Цезарь, поняв, что их поведение вызвано его поступком, тотчас возвратился домой, и в присутствии друзей откинул с шеи одежду, крича, что он готов позволить любому желающему нанести ему удар. Впоследствии он оправдывал свой поступок болезнью, которая не дает чувствам одержимых его людей оставаться в покое, когда они, стоя, произносят речь к народу; болезнь эта быстро приводит в потрясение все чувства: сначала она вызывает головокружение, а затем судороги. Но в действительности Цезарь не был болен: передают что он хотел, как и подобало, встать перед сенатом, но его удержал один из друзей или вернее льстецов – Корнелий Бальб, который сказал: "Разве ты не помнишь, что ты Цезарь? Неужели ты не потребуешь, чтобы тебе оказывали почитание, как высшему существу?"

61. К этим случаям присоединилось еще оскорбление народных трибунов. Справлялся праздник Луперкалий, о котором многие пишут, что в древности это был пастушеский праздник; в самом деле, он несколько напоминает аркадские Ликеи[31]. Многие молодые люди из знатных семейств и даже лица, занимающие высшие государственные должности, во время праздника пробегают нагие через город и под смех, под веселые шутки встречных бьют всех, кто попадется им на пути, косматыми шкурами. Многие женщины, в том числе и занимающие высокое общественное положение, выходят навстречу и нарочно, как в школе, подставляют обе руки под удары. Они верят, что это облегчает роды беременным, а бездетным помогает понести. Это зрелище Цезарь наблюдал с возвышения для ораторов, сидя на золотом кресле, разряженный, как для триумфа. Антоний в качестве консула также был одним из зрителей священного бега. Антоний вышел на форум и, когда толпа расступилась перед ним, протянул Цезарю корону, обвитую лавровым венком. В народе, как было заранее подготов-

лено, раздались жидкие рукоплескания. Когда же Цезарь отверг корону, весь народ зааплодировал. После того как Антоний вторично поднес корону, опять раздались недружные хлопки. При вторичном отказе Цезаря вновь рукоплескали все. Когда таким образом затея была раскрыта, Цезарь встал со своего места и приказал отнести корону на Капитолий. Тут народ увидел, что статуи Цезаря увенчаны царскими коронами. Двое народных трибунов, Флавий и Марулл, подошли и сняли венки со статуй, а тех, кто первыми приветствовали Цезаря как царя, отвели в тюрьму. Народ следовал за ними с рукоплесканиями, называя обоих трибунов "Брутами", потому что Брут уничтожил наследственное царское достоинство и ту власть, которая принадлежала единоличным правителям, передал сенату и народу. Цезарь, раздраженный этим поступком, лишил Флавия и Марулла власти. В обвинительной речи он, желая оскорбить народ, много раз назвал их "брутами" и "киманцами"[32].

62. Поэтому народ обратил свои надежды на Марка Брута. С отцовской стороны он происходил, как полагали, от знаменитого древнего Брута, а по материнской линии – из другого знатного рода, Сервилиев, и был зятем и племянником Катона. Почести и милости, оказанные ему Цезарем, усыпили в нем намерение уничтожить единовластье. Ведь Брут не только был спасен Цезарем во время бегства Помпея при Фарсале и не только своими просьбами спас многих своих друзей, но и вообще пользовался большим доверием Цезаря. Брут получил в то время самую высокую из преторских должностей[33] и через три года должен был быть консулом. Цезарь предпочел его Кассию, хотя Кассий тоже притязал на эту должность. По этому поводу Цезарь, как передают, сказал, что, хотя притязания Кассия, пожалуй, и более основательны, он, тем не менее, не может пренебречь Брутом. Когда уже во время заговора какие-то люди донесли на Брута, Цезарь не обратил на это внимания. Прикоснувшись рукой к своему телу, он сказал доносчику: "Брут повременит еще с этим телом!" – желая этим сказать, что, по его мнению, Брут за свою доблесть вполне достоин высшей власти, но стремление к ней не может сделать его неблагодарным и низким.

Люди, стремившиеся к государственному перевороту, либо обращали свои взоры на одного Брута, либо среди других отдавали ему предпочтение, но, не решаясь говорить с ним об этом, исписали ночью надписями судейское возвышение, сидя на котором Брут разбирал дела, исполняя обязанности претора. Большая часть этих надписей была приблизительно следующего содержания: "Ты спишь, Брут!" или: "Ты не Брут!" Кассий, заметив, что эти надписи все более возбуждают Брута, стал еще настойчивее подстрекать его, ибо Кассий питал к Цезарю личную вражду в силу причин, которые мы изложили в жизнеописании Брута[34]. Цезарь подозревал его в этом. "Как вы думаете, чего хочет Кассий? Мне не нравится его чрезмерная бледность", – сказал он как-то друзьям. В другой раз, получив донос о том, что Антоний и Долабелла замышляют мятеж, он сказал: "Я не особенно боюсь этих длинноволосых толстяков, а скорее – бледных и тощих", – намекая на Кассия и Брута.

63. Но, по-видимому, то, что назначено судьбой, бывает не столько неожиданным, сколько неотвратимым. И в этом случае были явлены, как сообщают, удивительные знамения и видения: вспышки света на небе, неоднократно разда-

вавшийся по ночам шум, спускавшиеся на форум одинокие птицы – обо всем этом, может быть, и не стоит упоминать при таком ужасном событии. Но, с другой стороны, философ Страбон пишет, что появилось много огненных людей, куда-то несущихся; у раба одного воина из руки извергалось сильное пламя – наблюдавшим казалось, что он горит, однако, когда пламя исчезло, раб оказался невредимым. При совершении самим Цезарем жертвоприношения у жертвенного животного не было обнаружено сердца. Это было страшным предзнаменованием, так как нет в природе ни одного животного без сердца. Многие рассказывают также, что какой-то гадатель предсказал Цезарю, что в тот день месяца марта, который римляне называют идами[35], ему следует остерегаться большой опасности. Когда наступил этот день, Цезарь, отправляясь в сенат, поздоровался с предсказателем и шутя сказал ему: "А ведь мартовские иды наступили!", на что тот спокойно ответил: "Да, наступили, но не прошли!"

За день до этого во время обеда, устроенного для него Марком Лепидом, Цезарь, как обычно, лежа за столом, подписывал какие-то письма. Речь зашла о том, какой род смерти самый лучший. Цезарь раньше всех вскричал: "Неожиданный!" После этого, когда Цезарь покоился на ложе рядом со своей женой, все двери и окна в его спальне разом растворились. Разбуженный шумом и ярким светом луны, Цезарь увидел, что Кальпурния рыдает во сне, издавая неясные, нечленораздельные звуки. Ей привиделось, что она держит в объятиях убитого мужа. Другие, впрочем, отрицают, что жена Цезаря видела такой сон; у Ливия говорится[36], что дом Цезаря был по постановлению сената, желавшего почтить Цезаря, украшен фронтоном и этот фронтон Кальпурния увидела во сне разрушенным, а потому причитала и плакала. С наступлением дня она стала просить Цезаря, если возможно, не выходить и отложить заседание сената; если же он совсем не обращает внимания на ее сны, то хотя бы посредством других предзнаменований и жертвоприношений пусть разузнает будущее. Тут, по-видимому, и в душу Цезаря вкрались тревога и опасения, ибо раньше он никогда не замечал у Кальпурнии суеверного страха, столь свойственного женской природе, теперь же он увидел ее сильно взволнованной. Когда гадатели после многочисленных жертвоприношений объявили ему о неблагоприятных предзнаменованиях, Цезарь решил послать Антония, чтобы он распустил сенат.

64. В это время Децим Брут по прозванию Альбин (пользовавшийся таким доверием Цезаря, что тот записал его вторым наследником в своем завещании), один из участников заговора Брута и Кассия, боясь, как бы о заговоре не стало известно, если Цезарь отменит на этот день заседание сената, начал высмеивать гадателей, говоря, что Цезарь навлечет на себя обвинения и упреки в недоброжелательстве со стороны сенаторов, так как создается впечатление, что он издевается над сенатом. Действительно, продолжал он, сенат собрался по предложению Цезаря, и все готовы постановить, чтобы он был провозглашен царем внеиталийских провинций и носил царскую корону, находясь в других землях и морях; если же кто-нибудь объявит уже собравшимся сенаторам, чтобы они разошлись и собрались снова, когда Кальпурнии случится увидеть более благоприятные сны, – что станут тогда говорить недоброжелатели Цезаря? И если после этого кто-либо из друзей Цезаря станет утверждать, что такое положение

вещей – не рабство, не тирания, кто пожелает прислушаться к их словам? А если Цезарь из-за дурных предзнаменований все же решил считать этот день неприсутственным, то лучше ему самому прийти и, обратившись с приветствием к сенату, отсрочить заседание. С этими словами Брут взял Цезаря за руку и повел. Когда Цезарь немного отошел от дома, навстречу ему направился какой-то чужой раб и хотел с ним заговорить; однако оттесненный напором окружавшей Цезаря толпы раб вынужден был войти в дом. Он передал себя в распоряжение Кальпурнии и просил оставить его в доме, пока не вернется Цезарь, так как он должен сообщить Цезарю важные известия.

65. Артемидор из Книда, знаток греческой литературы, сошелся на этой почве с некоторыми лицами, участвовавшими в заговоре Брута, и ему удалось узнать почти все, что делалось у них. Он подошел к Цезарю, держа в руке свиток, в котором было написано все, что он намеревался донести Цезарю о заговоре. Увидев, что все свитки, которые ему вручают, Цезарь передает окружающим его рабам, он подошел совсем близко, придвинулся к нему вплотную и сказал: "Прочитай это, Цезарь, сам, не показывая другим, – и немедленно! Здесь написано об очень важном для тебя деле". Цезарь взял в руки свиток, однако прочесть его ему помешало множество просителей, хотя он и пытался много раз это сделать. Так он и вошел в сенат, держа в руках только этот свиток. Некоторые, впрочем, сообщают, что кто-то другой передал этот свиток Цезарю и что Артемидор вовсе не смог подойти к Цезарю, оттесняемый от него толпой во все время пути.

66. Однако это, может быть, просто игра случая; но место, где произошла борьба и убийство Цезаря и где собрался в тот раз сенат, без всякого сомнения, было избрано и назначено божеством; это было одно из прекрасно украшенных зданий, построенных Помпеем, рядом с его театром; здесь находилось изображение Помпея. Перед убийством Кассий, говорят, посмотрел на статую Помпея и молча призвал его в помощники, несмотря на то, что не был чужд эпикурейской философии[37]; однако, приближение минуты, когда должно было произойти ужасное деяние, по-видимому, привело его в какое-то исступление, заставившее забыть все прежние мысли. Антония, верного Цезарю и отличавшегося большой телесной силой, Брут Альбин нарочно задержал на улице, заведя с ним длинный разговор.

При входе Цезаря сенат поднялся с места в знак уважения. Заговорщики же, возглавляемые Брутом, разделились на две части: одни стали позади кресла Цезаря, другие вышли навстречу, чтобы вместе с Туллием Кимвром просить за его изгнанного брата; с этими просьбами заговорщики провожали Цезаря до самого кресла. Цезарь, сев в кресло, отклонил их просьбы, а когда заговорщики приступили к нему с просьбами, еще более настойчивыми, выразил каждому из них свое неудовольствие. Тут Туллий схватил обеими руками тогу Цезаря и начал стаскивать ее с шеи, что было знаком к нападению. Каска первым нанес удар мечом в затылок; рана эта, однако, была неглубока и несмертельна: Каска, по-видимому, вначале был смущен дерзновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил и задержал меч. Почти одновременно оба закричали: раненый Цезарь по-латыни – "Негодяй Каска, что ты делаешь?", а Ка-

ска по-гречески, обращаясь к брату, – "Брат, помоги!" Непосвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не смели ни бежать, ни защищать Цезаря, ни даже кричать. Все заговорщики, готовые к убийству, с обнаженными мечами окружили Цезаря: куда бы он ни обращал взор, он, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары мечей, направленные ему в лицо и в глаза, так как было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови. Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах. Некоторые писатели рассказывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидев Брута с обнаженным мечом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары. Либо сами убийцы оттолкнули тело Цезаря к цоколю, на котором стояла статуя Помпея, либо оно там оказалось случайно. Цоколь был сильно забрызган кровью. Можно было подумать, что сам Помпей явился для отмщенья своему противнику, распростертому у его ног, покрытому ранами и еще содрогавшемуся. Цезарь, как сообщают, получил двадцать три раны. Многие заговорщики, переранили друг друга, направляя столько ударов в одно тело.

67. После убийства Цезаря Брут выступил вперед, как бы желая что-то сказать о том, что было совершено; но сенаторы, не выдержав, бросились бежать, распространив в народе смятение и непреодолимый страх. Одни закрывали дома, другие оставляли без присмотра свои меняльные лавки и торговые помещения; многие бегом направлялись к месту убийства, чтобы взглянуть на случившееся, многие бежали уже оттуда, насмотревшись. Антоний и Лепид, наиболее близкие друзья Цезаря, ускользнув из курии, укрылись в чужих домах. Заговорщики во главе с Брутом, еще не успокоившись после убийства, сверкая обнаженными мечами, собрались вместе и отправились из курии на Капитолий. Они не были похожи на беглецов: радостно и смело они призывали народ к свободе, а людей знатного происхождения, встречавшихся им на пути, приглашали принять участие в их шествии. Некоторые, например Гай Октавий и Лентул Спинтер, шли вместе с ними и, выдавая себя за соучастников убийства, приписывали себе славу. Позже они дорого поплатились за свое хвастовство: они были казнены Антонием и молодым Цезарем. Так они и не насладились славой, из-за которой умирали, ибо им никто не верил, и даже те, кто подвергал их наказанию, карали их не за совершенный проступок, а за злое намерение.

На следующий день заговорщики во главе с Брутом вышли на форум и произнесли речи к народу. Народ слушал ораторов, не выражая ни неудовольствия, ни одобрения, и полным безмолвием показывал, что жалеет Цезаря, но чтит Брута. Сенат же, стараясь о забвении прошлого и всеобщем примирении, с одной стороны, назначил Цезарю божеские почести и не отменил даже самых маловажных его распоряжений, а с другой – распределил провинции между заговорщиками, шедшими за Брутом, почтив и их подобающими почестями; поэтому все думали, что положение дел в государстве упрочилось и снова достигнуто наилучшее равновесие.

68. После вскрытия завещания Цезаря обнаружилось, что он оставил каждому римлянину значительный подарок. Видя, как его труп, обезображенный ударами, несут через форум, толпы народа не сохранили спокойствия и порядка;

они нагромоздили вокруг трупа скамейки, решетки и столы менял с форума, подожгли все это и таким образом предали труп сожжению. Затем одни, схватив горящие головни, бросились поджигать дом убийц Цезаря; другие побежали по всему городу в поисках заговорщиков, стараясь схватить их, чтобы разорвать на месте. Однако никого из заговорщиков найти не удалось, все надежно укрылись в домах.

Рассказывают, что некто Цинна, один из друзей Цезаря, как раз в прошедшую ночь видел странный сон. Ему приснилось, что Цезарь пригласил его на обед; он отказался, но Цезарь, не слушая возражений, взял его за руку и повел за собой. Услышав, что на форуме сжигают тело Цезаря, Цинна направился туда, чтобы отдать ему последний долг, хотя он был полон страха из-за своего сна и его лихорадило. Кто-то из толпы, увидев его, назвал другому, – спросившему, кто это, – его имя; тот передал третьему и тотчас распространился слух, что это один из убийц Цезаря. Среди заговорщиков действительно был некий Цинна – тезка этому. Решив, что он и есть тот человек, толпа кинулась на Цинну и тотчас разорвала несчастного на глазах у всех. Брут, Кассий и остальные заговорщики, страшно напуганные этим происшествием, через несколько дней уехали из города. Их дальнейшие действия, поражение и конец описаны нами в жизнеописании Брута[38].

69. Цезарь умер всего пятидесяти шести лет от роду, пережив Помпея не многим более чем на четыре года. Цезарю не пришлось воспользоваться могуществом и властью, к которым он ценой величайших опасностей стремился всю жизнь и которых достиг с таким трудом. Ему достались только имя владыки и слава, принесшая зависть и недоброжелательство сограждан. Его могучий гений-хранитель, помогавший ему в течение всей жизни, и после смерти не оставил его, став мстителем за убийство, преследуя убийц и гонясь за ними через моря и земли, пока никого из них не осталось в живых. Он наказал тех, кто хоть как-то был причастен либо к осуществлению убийства, либо к замыслам заговорщиков.

Из всех случайностей человеческой жизни самая удивительная выпала на долю Кассия. Потерпев поражение при Филиппах, он покончил с собой, заколовшись тем самым коротким мечом, который убил Цезаря.

Из сверхъестественных же явлений самым замечательным было появление великой кометы[39], которая ярко засияла спустя семь ночей после убийства Цезаря и затем исчезла, а также ослабление солнечного света. Ибо весь тот год солнечный свет был бледным, солнце восходило тусклым и давало мало тепла. Поэтому воздух был мутным и тяжелым, ибо у солнечной теплоты не хватало силы проникнуть до земли; в холодном воздухе плоды увядали и падали недозрелыми. Явление призрака Цезаря Бруту показало с особенной ясностью, что это убийство неугодно богам. Вот как все происходило. Брут намеревался переправить свое войско из Абидоса на другой материк[40]. Как обычно, ночью он отдыхал в палатке, но не спал, а думал о будущем. Рассказывают, что этот человек менее всех полководцев нуждался в сне и от природы был способен бодрствовать наибольшее количество времени. Ему послышался какой-то шум около двери палатки. Осмотрев палатку при свете уже гаснувшей лампы, он увидел

страшный призрак человека огромного роста и грозного на вид. Сначала Брут был поражен, а затем, как только увидел, что призрак бездействует и даже не издает никаких звуков, но молча стоит около его постели, спросил, кто он. Призрак отвечал: “Брут, я – твой злой дух. Ты увидишь меня при Филиппах”. Брут бесстрашно отвечал: “Увижу”, – и призрак тотчас же исчез. Спустя недолгое время Брут стоял при Филиппах со своим войском против Антония и Цезаря. В первом сражении он одержал победу, обратив в бегство стоявшую против него армию Цезаря, и во время преследования разорил его лагерь. Когда Брут задумал дать второе сражение, ночью к нему явился призрак; он ничего не сказал Бруту, но Брут понял, что судьба его решена, и бросился навстречу опасности. Однако он не пал в сражении; во время бегства своей армии он, как сообщают, поднялся на какой-то обрыв и, бросившись обнаженной грудью на меч, который подставил ему кто-то из друзей, скончался.





ФОКИОН И КАТОН

ФОКИОН

1. Оратор Демад, который угодничеством перед македонянами и Антипатром приобрел в Афинах большую силу, но часто бывал вынужден выступать вопреки достоинству и обычаям своего города, любил оправдывать себя тем, что управляет лишь обломками государственного корабля. В устах Демада эти слова звучали слишком дерзко и вызывающе, зато, как мне кажется, их вполне можно применить к Фокиону и его деятельности на государственном поприще. Демад сам был погибелью для государства, отличаясь и в частной жизни и у кормила правления такой разнузданностью, что как-то раз, когда Демад уже состарился, Антипатр сказал: "От него, как от закланной жертвы, остались только язык да желудок"[1]. А высокие достоинства Фокиона в самих обстоятельствах тогдашнего времени встретили грозного и жестокого противника, и славу их помрачили и затуманили несчастия Греции. Не надо прислушиваться к стихам Софокла[2], где он изображает доблесть бессильной:

> О государь, и прирожденный ум
> В несчастьях устоять подчас не может.

Но, с другой стороны, нельзя и отрицать, что судьба, борясь с людьми достойными и порядочными, способна иным из них вместо заслуженной благодарности и славы принести злую хулу и клеветнические обвинения и ослабить доверие к их нравственным достоинствам.

2. Принято думать, что народ особенно охотно глумится над видными людьми в пору удач, кичась своими подвигами и своей силой, но случается и обратное. Беды делают характер желчным, обидчивым, вспыльчивым, а слух чересчур раздражительным, нетерпимым к любому резкому слову. Осуждение промахов и неверных поступков кажется тогда насмешкой над несчастиями, а откровенные, прямые речи – знаком презрения. И подобно тому, как мед разъедает раны и язвы, так правдивые и разумные слова, если нет в них мягкости и сочувствия к тем, кто в беде, нередко обостряют боль. Вот почему, без сомнения, поэт именует приятное "уступающим сердцу"[3]: приятное, по его мнению, это то, что уступает желаниям души и не борется с ними, не стремится их переломить. Воспаленный глаз охотнее всего останавливается на темных и тусклых красках, отворачиваясь от светлых и ярких; так же и государство, терпящее бедствие, слишком малодушно и, по слабости своей, слишком избалованно, чтобы вынести откровенные речи, хотя в них-то оно как раз больше всего и нуждается, ибо иных возможностей исправить положение не существует. Поэтому такое госу-

дарство в высшей степени ненадежно: того, кто ему угождает, оно влечет к гибели вместе с собою, а того, кто не хочет ему угождать, обрекает на гибель еще раньше. Солнце, учат математики, движется не так же точно, как небесный свод, и не прямо навстречу ему, в противоположном направлении, но слегка наклонным путем и описывает плавную, широкую дугу, что и хранит вселенную, вызывая наилучшее сочетание образующих ее частей. Подобным образом и в государственной деятельности чрезмерная прямолинейность и постоянные споры с народом неуместны и жестоки, хотя, с другой стороны, рискованно и чревато опасностями тянуться вслед заблуждающимся, куда бы ни повернула толпа. Управление людьми, которые бывают настроены дружелюбно к властям и оказывают им множество важных услуг, если власти, в свою очередь, действуют не одним лишь насилием, но иногда уступают добровольно повинующимся, идут навстречу их желаниям, а затем снова настаивают на соображениях общественной пользы, – такое управление не только спасительно, но и до крайности сложно, ибо величие, как правило, несовместимо с уступчивостью. Если же эти качества все-таки совмещаются, то сочетание это являет собою самую прекрасную из всех соразмерностей, самую стройную из гармоний, посредством которой, говоря, и бог правит миром – правит не насильственно, но смягчая необходимость разумным убеждением.

3. Сказанное выше подтверждает своим примером и Катон Младший. Он был совершенно неспособен ни увлечь толпу, ни приобрести ее любовь и мало чего достиг, опираясь на расположение народа. Цицерон говорил[4], что Катон действовал так, словно жил в государстве Платона, а не среди выродившихся потомков Ромула, и потому, домогаясь консульства, потерпел неудачу, а я бы сказал, что он разделил участь не в срок поспевших плодов: ими охотно любуются, дивятся на них, но не едят, – вот так же и Катонова приверженность старине, явившаяся с таким опозданием, в век испорченных нравов и всеобщей разнузданности, стяжала ему уважение и громкую славу, но пользы никакой не принесла, потому что высота и величие этой доблести совершенно не соответствовали времени. Его отечество, в противоположность Афинам при Фокионе, не было на краю гибели, но все же жестоко страдало от бури и неистовых волн. Катон, хотя от кормила его оттеснили, и он, поставленный у парусов и канатов, лишь помогал другим, облеченным большею властью, долго был неодолимым препятствием для судьбы: чтобы низвергнуть существующий государственный строй, ей пришлось прибегнуть к помощи других лиц и выдержать тяжелую и затянувшуюся борьбу, причем республика едва не вышла победительницей – благодаря Катону и Катоновой доблести.

С этой доблестью мы хотим сравнить нравственное совершенство Фокиона – но не в силу поверхностного подобия, не потому, что оба были порядочными людьми и государственными мужами. Ведь бесспорно, что храбрость храбрости рознь – как в Алкивиаде и Эпаминонде, и точно так же здравомыслие здравомыслию – как в Фемистокле и Аристиде, и справедливость справедливости – как в Нуме и Агесилае. Но высокие качества Катона и Фокиона, до последних, самых мелких особенностей, несут один и тот же чекан и образ, свидетельствуют об одних и тех же оттенках характера: в равных пропорциях смешаны в

обоих строгость и милосердие, осторожность и мужество, забота о других и личное бесстрашие, одинаково сочетаются отвращение ко всему грязному и горячая преданность справедливости, так что требуется большая тонкость суждения, чтобы обнаружить и разглядеть несходные черты.

4. Все писатели согласно утверждают, что Катон происходил из знатного рода (об этом мы еще будем говорить в своем месте); что касается Фокиона, то и его род, насколько я могу судить, не был ни бесславным, ни совсем низким. Будь он сыном ремесленника, точившего песты для ступок, – как мы читаем у Идоменея, – Главкипп, сын Гиперида, конечно, не умолчал бы об этом в своей речи, где он собрал и излил на Фокиона тысячи всевозможных поношений, да и сам Фокион не жил бы такою достойною жизнью и не получил бы такого разумного воспитания, чтобы еще подростком заниматься у Платона, а позже у Ксенократа в Академии и с самого начала неуклонно стремиться к лучшим, самым высоким целям. По словам Дурида, редко кому из афинян доводилось видеть Фокиона смеющимся или плачущим, моющимся на виду у всех в бане или выпроставшим руки из-под плаща, когда он бывал одет. За городом и на войне он всегда ходил разутым и без верхнего платья – разве что ударят нестерпимые холода, и солдаты шутили, что Фокион в плаще – признак суровой зимы.

5. Удивительно добрый и человеколюбивый по натуре, он обладал внешностью настолько неприветливой и угрюмой, что люди, мало его знавшие, не решались заговаривать с ним с глазу на глаз. Вот почему, когда Харет как-то раз упомянул о его хмуром лице и афиняне одобрительно засмеялись, Фокион сказал: "Моя хмурость никогда не причиняла вам никаких огорчений, а смех этих господ уже стоил нашему городу многих слез". Равным образом и речи его, изобиловавшие удачными мыслями и определениями, были на редкость содержательны, отличаясь в то же время властною, суровою, колючею краткостью. Зенон говорил, что философу, прежде чем произнести слово, надлежит погрузить его в смысл, и речи Фокиона в немногих словах заключали глубочайший смысл. Это, по всей вероятности, имел в виду Полиевкт из дема Сфетт, когда сказал, что Демосфен – самый лучший из ораторов, а Фокион – самый искусный. Подобно тому как ценная монета обладает очень высоким достоинством при очень малых размерах, искусство красноречия – это, скорее всего, умение в немногом выразить многое. Рассказывают, что однажды, когда театр уже наполнялся народом, Фокион расхаживал у скены[5], один, углубленный в свои думы. "Похоже, ты о чем-то размышляешь, Фокион", – заметил один из друзей. "Да, клянусь Зевсом, размышляю – нельзя ли что-нибудь убавить в речи, которую я буду сейчас говорить перед афинянами", – последовал ответ. А Демосфен, ни во что не ставивший всех прочих ораторов, когда с места поднимался Фокион, обыкновенно шептал друзьям: "Вот нож, направленный в грудь моим речам". Возможно, впрочем, что силу влияния Фокиона следует отнести на счет характера этого человека, ибо одно-единственное слово, один кивок достойного мужа внушает столько же доверия, сколько тысячи хитрых умозаключений и громоздких периодов.

6. В молодые годы Фокион сблизился с полководцем Хабрием и повсюду следовал за ним, приобретая богатый опыт в военном деле, а кое-когда и предупре-

ждая ошибки своего друга, от природы неровного и не умевшего владеть собою. В иное время вялый и тяжелый на подъем, Хабрий в сражениях пылал боевым духом и, совершенно забыв об осторожности, рвался вперед вместе с самыми отчаянными. Как и следовало ожидать, один из таких порывов оказался для него роковым: он погиб на Хиосе, первым подойдя к берегу на своей триере и пытаясь высадиться. Фокион, осторожный и решительный в одно и то же время, разжигал мужество Хабрия, когда тот медлил, а в других случаях, напротив, сдерживал его несвоевременную горячность, за что Хабрий, человек благожелательный и справедливый, любил Фокиона, часто давал ему поручения и ставил начальником; так, пользуясь его услугами в самых важных делах, он создал Фокиону известность среди греков. Особенно громкою славой он окружил своего соратника за участие в морском сражении при Наксосе[6]. В этом сражении Хабрий поручил Фокиону командование левым крылом, где разгорелся ожесточенный бой, вскоре завершившийся бегством неприятеля. Это была первая морская битва, которую афиняне после взятия их города[7] выиграли, сражаясь против греков, – собственными силами, без всякой поддержки, и потому они не только прониклись пламенной любовью к Хабрию, но и заговорили о Фокионе как о даровитом полководце. Победа была одержана в дни Великих мистерий[8], и в память о ней Хабрий установил ежегодную раздачу вина афинянам в шестнадцатый день боэдромиона.

7. Затем Хабрий решил отправить Фокиона собрать подать с островов и давал ему двадцать кораблей, но Фокион, как передают, возразил: "Если меня посылают на войну, нужны силы побольше, а если к союзникам – хватит и одного корабля". Выйдя в море на своей триере, он начал переговоры с городами и обнаружил по отношению к их властям такую умеренность и такое прямодушие, что вернулся с целым флотом: то были суда, которые снарядили союзники, чтобы доставить афинянам деньги.

Фокион не только верно служил Хабрию и оказывал ему неизменное уважение на протяжении всей его жизни, но и после смерти друга принимал горячее участие в судьбе его близких. Его сына Ктесиппа он хотел вырастить человеком достойным и, даже убедившись в легкомыслии и распущенности юноши, все-таки не отказался от мысли его исправить и всякий раз покрывал его безобразные поступки. Лишь однажды, когда в каком-то походе Ктесипп нестерпимо досаждал ему неуместными расспросами и советами, словно наставляя полководца и вмешиваясь в его распоряжения, Фокион, как сообщают, промолвил: "Ах, Хабрий, Хабрий, я щедро отплатил тебе за дружбу – тем, что терплю твоего сына!"

Видя, что тогдашние вершители общественных дел, словно по жребию, разделили между собою поприща военное и гражданское и что одни, как, например, Эвбул, Аристофонт, Демосфен, Ликург, Гиперид, только говорят в Народном собрании и предлагают для обсуждения новые законы, а другие, такие как Диопиф, Менесфей, Леосфен, Харет, приобретают вес и влияние, руководя войсками, – Фокион желал усвоить сам и возродить к жизни обычаи и правила Перикла, Аристида, Солона, считая их совершенными, поскольку этими правилами охватывались обе стороны государственной жизни. К каждому из этих трех

мужей казались приложимы слова Архилоха:

Был он воином храбрым, служителем бога Ареса,
Муз прелестнейших дар тоже был ведом ему.

Вдобавок он помнил, что сама Афина – богиня и войны и гражданского устройства, такова она по своей божественной сути, так и именуется[9] и среди людей.

8. Усвоив эти убеждения, он постоянно, если стоял у власти, стремился направлять государство к миру и покою, но, наряду с тем, исполнял обязанности стратега чаще, чем любой из его современников и даже предшественников, – никогда не домогаясь и не ища высокого назначения, но и не отказываясь, не отнекиваясь, если государство его призывало. Все писатели согласно сообщают, что он занимал должность стратега сорок пять раз, причем сам на выборы не являлся ни разу, но всегда за ним посылали. Люди неразумные и недальновидные не могли надивиться поведению народа: Фокион беспрерывно перечил афинянам, никогда ни в чем не угождал им ни словом, ни делом, а они – по примеру царей, которые не должны преклонять слух к речам льстецов раньше, чем вымоют после трапезы руки[10], – пользовались услугами веселых и блещущих остроумием искателей народной благосклонности лишь для забавы, к власти же, рассуждая трезво и здраво, призывали самого строгого и разумного из граждан, а именно того, кто один (или, по крайней мере, упорнее всех других) противостоял их желаниям и склонностям. Однажды, когда был оглашен привезенный из Дельф оракул, где говорилось, что все афиняне единодушны, но один человек мыслит несогласно с целым городом, выступил Фокион и просил афинян не тревожить себя поисками, ибо человек этот – он: ведь ему одному не по душе все их начинания. В другой раз он излагал перед народом какое-то свое суждение и был выслушан внимательно и благосклонно. Тогда, видя, что все одобряют его речь, он обернулся к друзьям и спросил: "Уж не сказал ли я ненароком что-нибудь неуместное?"

9. Афиняне собирали добровольные взносы на какое-то жертвоприношение, и все прочие давали, а Фокион в ответ на неоднократные призывы сделать пожертвование ответил: "Просите вон у тех богачей, а мне стыдно дать вам хотя бы медяк, не рассчитавшись сперва вот с ним", – и он указал на своего заимодавца Калликла. Сборщики, однако, продолжали кричать и наседать на него, и тогда он рассказал им такую притчу[11]:«Трус отправился на войну, но, услышав карканье воронов, остановился и положил оружие. Потом снова поднял его и продолжал путь, но вороны снова закаркали, и он опять остановился. В конце концов он воскликнул: "Кричите себе, сколько влезет, – меня вы все равно не съедите!"» Как-то раз афиняне хотели, чтобы Фокион вел их на врага, а тот не соглашался, и они обзывали его трусом и бабой. "Ни вам не внушить мне отваги, ни мне вам – робости, – заметил Фокион. – Слишком хорошо мы знакомы друг с другом". В другой раз народ, до крайности ожесточенный против Фокиона, требовал у него, несмотря на тревожные обстоятельства, денежного отчета в его действиях на посту стратега, и он сказал: "Чудаки, подумайте-ка лучше о собственном спасении!" Однажды во время военных действий афиняне вели себя недостойно, малодушно, а после заключения мира набрались дерзости и ста-

ли громогласно обвинять Фокиона в том, что он, дескать, лишил их победы. "Ваше счастье, – отвечал на это Фокион, – что у вас есть полководец, который вас хорошо знает. А иначе – вы бы уже давно все погибли". Когда афиняне желали решить пограничный спор с беотийцами не судом, а войной, Фокион советовал им состязаться словами, в которых они сильнее, а не оружием, в котором сила не на их стороне. Случилось раз, что народ не давал ему говорить и отказывался слушать. "Заставить меня действовать вопреки моему желанию вы еще можете, но говорить то, чего я не думаю, никогда не заставите!" – заявил Фокион. Один из его противников на государственном поприще, оратор Демосфен, сказал: "Афиняне убьют тебя, Фокион". – "Да, – подхватил Фокион, – если сойдут с ума, а тебя – если образумятся". Увидев, как Полиевкт из дема Сфетт, задыхаясь, обливаясь потом и то и дело освежая себя глотком воды (день выдался знойным, а Полиевкт отличался необыкновенной тучностью), убеждает афинян начать войну против Филиппа, Фокион заметил: "Вам бы стоило, сограждане, отнестись со вниманием к его речам и объявить войну. Только, как по-вашему, что он станет делать в панцире и со щитом вблизи от неприятеля, если даже теперь, произнося перед вами речь, заранее обдуманную и приготовленную, того и гляди задохнется?" Ликург в Народном собрании осыпал Фокиона хулой и упреками, главным образом за то, что он советовал выдать Александру десять граждан[12], которых требовал македонский царь. "Эти люди, – возразил Фокион, указывая на собравшихся, – получали от меня много прекрасных и полезных советов, но следовать им не хотели и не хотят".

10. Жил в Афинах некий Архибиад по прозвищу Лаконец: он отрастил себе огромную бороду, не сбрасывал с плеч потрепанного плаща и всегда хранил мрачный вид[13]. Этого-то человека Фокион, приведенный однажды в замешательство враждебными криками Совета, призвал засвидетельствовать правоту его слов и попросил о поддержке. Когда же тот, поднявшись, высказался так, чтобы угодить афинянам, Фокион схватил его за бороду и воскликнул: "Коли так, отчего же ты до сих пор не побрился, Архибиад?" Доносчик Аристогитон, всегда воинственно гремевший в Собрании и подстрекавший народ к решительным действиям, когда был объявлен воинский набор, явился с перевязанною ногой, опираясь на палку. Фокион с возвышения для оратора заметил его еще издали и громко крикнул: "Не забудьте записать и хромого негодяя Аристогитона!" Нельзя не удивляться, как человек столь колючий и непокладистый получил прозвище Доброго. На мой взгляд, все-таки возможно (хотя примеры тому сыскать нелегко), чтобы человек, как и вино, был разом и приятен и резок, и, напротив, встречаются люди, которые на чужой взгляд – сама приветливость, но в высшей степени неприятны для тех, кто связан с ними непосредственно. Сообщают, правда, что Гиперид однажды заявил в Народном собрании: "Вы, господа афиняне, смотрите не только на то, кусается ли Гиперид, но главное – бескорыстны ли его укусы". Как будто одно лишь своекорыстие вызывает отвращение и неприязнь! Нет, народ куда больше боится и гнушается тех, кто злоупотребляет властью из наглости, ненависти, гнева или страсти к раздорам. Что касается Фокиона, то он никому из сограждан не причинил зла по личной вражде и вообще никого не считал своим врагом, но бывал жесток, неприступен

и непреклонен лишь постольку, поскольку этого требовала борьба с противниками тех начинаний, которые он предпринимал ради общего блага, в остальном же был со всеми приветлив, обходителен и любезен, так что даже приходил на помощь противникам, попавшим в беду, и брал на себя защиту, если они оказывались под судом. Друзьям, упрекавшим его за то, что он защищал в суде какого-то негодяя, он ответил, что люди порядочные в помощи не нуждаются. Когда доносчик Аристогитон после вынесенного ему обвинительного приговора послал за Фокионом и просил его прийти, тот откликнулся на зов и пошел в тюрьму, сказавши друзьям, которые пытались его задержать: "Пустите меня, чудаки! Подумайте сами, есть ли еще место, где я бы охотнее встретился с Аристогитоном?"

11. Союзники и островитяне принимали афинский флот, если им командовал любой другой начальник, так, словно приближался неприятель – укрепляли стены, перегораживали насыпью гавань, сгоняли из деревень в город скот и рабов, приводили жен и детей, если же во главе афинских сил стоял Фокион, то, украсив себя венками, они выходили на своих кораблях далеко в море ему навстречу и с приветственными кликами провожали в город.

12. Филипп хотел незаметно утвердиться на Эвбее и с этой целью высаживал там македонских воинов и через тираннов склонял на свою сторону города, но Плутарх Эретрийский стал призывать афинян освободить остров, который вот-вот захватит македонский царь, и на Эвбею был отправлен Фокион, однако с незначительными силами, так как афиняне надеялись, что местные жители с готовностью к нему присоединятся. Вместо этого Фокион обнаружил повсюду одну измену, гниль и подкуп, а потому и сам попал в очень опасное положение. Он занял холм, лежащий на Таминской равнине и окруженный глубоким оврагом, и там сосредоточил самую боеспособную часть своего отряда. Люди своевольные, болтливые и малодушные бежали из лагеря и возвращались восвояси, но Фокион посоветовал младшим начальникам не обращать на это никакого внимания. "Ведь здесь, – говорил он, – они будут бесполезны и своим нежеланием повиноваться причинят только вред настоящим бойцам, а дома, зная за собою такой тяжелый проступок, меньше станут обвинять меня и не решатся на прямую клевету".

13. Когда враги двинулись вперед, Фокион приказал своим воинам, сохраняя боевую готовность, не трогаться с места до тех пор, пока он не завершит жертвоприношения, но при этом замешкался дольше обычного – то ли потому, что знамения оказались неблагоприятны, то ли желая подпустить противника поближе. И вот Плутарх, решив, что он медлит от робости, во главе наемников бросается навстречу врагу. Увидев это, не смогли сдержать себя и эвбейские всадники и, без всякого порядка, врассыпную покидая лагерь, немедленно ринулись в том же направлении. Передовые были разбиты, все остальные рассеяны, Плутарх бежал. Часть неприятелей подступила вплотную к лагерному валу и, считая победу решительной и полной, принялась уже его разрушать, но именно в этот миг жертвоприношение было закончено, и сразу же афиняне, хлынув из лагеря потоком, стремительно отбросили и погнали врагов, перебив чуть ли не всех, кто был настигнут подле укреплений. Фокион приказал основному строю

пехоты оставаться на месте, собирая тех, кого раскидало бегство, а сам с отборными воинами продолжал преследование. Завязался ожесточенный бой, все сражались яростно, не щадя крови и сил; среди тех, кто находился рядом с полководцем, особенно отличились Талл, сын Кинея, и Главк, сын Полимеда. Чрезвычайно важную роль сыграл в этой битве и Клеофан: призывая бежавшую конницу вернуться и громко заклиная ее помочь полководцу, которому грозит опасность, он, в конце концов, добился своего – всадники повернули, и победа пехотинцев была закреплена.

Вслед за тем Фокион изгнал из Эретрии Плутарха и занял караульное укрепление Заретру, на редкость выгодно расположенное: оно стояло там, где остров, с обеих сторон сдавленный морем, сужается более всего, образуя тесный перешеек. Всех греков, захваченных в плен, он отпустил на волю, опасаясь, как бы ораторы в Афинах не ожесточили против них народ и те не потерпели бы незаслуженную муку.

14. Завершив дела на Эвбее, Фокион возвратился домой, и тут вскоре не только союзники стали с тоскою вспоминать о его доброте и справедливости, но и афиняне так же скоро оценили опыт и силу духа этого человека: сменивший его на посту полководца Молосс[14] повел войну так, что сам живым попал в руки врагов.

Позже, когда Филипп, лелея далеко идущие планы, появился со всем своим войском на берегах Геллеспонта в надежде завладеть Херсонесом, Перинфом и Византием одновременно, афиняне загорелись желанием прийти этим городам на помощь и, поддавшись уговорам ораторов, военачальником послали Харета. Харет вышел в море, но не совершил ничего достойного тех сил, которые были предоставлены в его распоряжение, мало того – города на Геллеспонте вообще не приняли афинский флот, и, окруженный всеобщими подозрениями, а у врага не вызывая ничего, кроме презрения, Харет скитался по морю и вымогал у союзников деньги, а народ, подстрекаемый ораторами, возмущался и сожалел о своем решении помочь византийцам. В эти дни Фокион выступил в Собрании и заявил, что сердиться следует не на союзников, выказывающих недоверие, а на стратегов, которые это недоверие внушают: "Ведь они вызывают страх перед вами даже у тех, кому без вашей поддержки спастись невозможно", – сказал он. Народ был смущен этой речью и, резко переменив образ мыслей, поручил самому Фокиону собрать новые силы и поспешить на помощь союзникам на Геллеспонте. Это было решающим обстоятельством, определившим судьбу Византии. Ибо слава Фокиона и без того прогремела уже широко, а тут еще Леонт, в силу нравственных своих достоинств не знавший себе равных среди византийцев и близко знакомый с Фокионом по Академии, поручился за него перед согражданами, так что те не позволили афинскому полководцу разбить лагерь за стенами города, как он первоначально предполагал, но, отворив ворота, впустили афинян и разместились вперемешку с ними, афиняне же не только соблюдали безукоризненный порядок и строгую воздержность, но, помня об оказанном доверии, сражались с величайшей отвагой. Таким образом Филипп потерпел на Геллеспонте неудачу, и страх греков сменился пренебрежением, тогда как прежде они считали македонского царя непобедимым, не знающим себе равных.

Фокион захватил несколько вражеских кораблей, занял несколько городов, охранявшихся македонскими караульными отрядами, во многих местах высаживался на берег, предавая все опустошению и разграблению, пока, наконец, не был ранен в стычках с подоспевшими на выручку македонскими войсками и не отплыл домой.

15. Мегаряне тайно просили о защите, и Фокион, боясь, как бы беотийцы, прознав об этом, не поспели с подмогою раньше афинян, чуть свет созвал Народное собрание, пересказал гражданам просьбу мегарян и, как только решение было принято, подал сигнал трубой и прямо из Собрания повел воинов в поход, приказав им только захватить оружие. Мегаряне радостно встретили афинян. Фокион укрепил Нисею и воздвиг между Мегарами и гаванью Длинные стены[15], соединив город с морем, так что мегаряне, почти полностью избавившись от угрозы нападения с суши, вместе с тем попали в зависимость от афинян.

16. Афиняне начали уже открытую борьбу с Филиппом и, так как Фокиона в ту пору в городе не было, избрали для руководства этой войной других полководцев, но Фокион, едва только возвратился с островов, прежде всего попытался убедить народ принять предложенное Филиппом перемирие, ибо царь, действительно, был настроен миролюбиво и очень страшился военных опасностей. Кто-то из тех, кто сделал своим ремеслом доносы и постоянно терся вокруг гелиеи[16], возразил ему: “Неужели, Фокион, ты решаешься отговаривать от войны афинян, когда они уже держат в руках оружие?” – “Да, решаюсь, – ответил Фокион, – хотя и отлично знаю, что на войне я буду начальствовать над тобой, а во время мира – ты надо мною”. Но уговоры его успеха не имели, верх взяло мнение Демосфена, предлагавшего афинянам дать неприятелю сражение как можно дальше от границ Аттики. “Милый ты мой, – заметил ему Фокион, – не об том надо думать, где нам сражаться, но как победить. Только в этом случае война будет от нас далеко, а если мы будем разбиты, все беды и ужасы окажутся у нас прямо перед глазами”.

Македоняне одержали победу, и городские смутьяны и бунтовщики тащили Харидема к возвышению для ораторов, требуя поручить ему командование. Виднейшие граждане испугались, и, так как совет Ареопага был на их стороне, то с большим трудом, ценою многих слез и обращенных к народу мольб, им удалось убедить афинян вверить судьбу государства Фокиону. Фокион считал нужным подчиниться всем требованиям Филиппа и полагаться на его человеколюбивые обещания. Но когда Демад внес предложение, чтобы Афины вдобавок приняли участие в общем мирном договоре и совещании всех греков[17], Фокион не соглашался с ним, советуя выждать, пока не станет известно, какие условия предложит Филипп грекам. Обстоятельства, однако, были против Фокиона, и совет его не был принят. Убедившись вскоре, что афиняне раскаиваются в этом решении, ибо им пришлось передать Филиппу свои триеры и конницу, он сказал согражданам: “Вот чего я и боялся и потому возражал Демаду. Но раз уж вы заключили договор, не надо ни огорчаться, ни отчаиваться, помня, что и предки наши, то начальствуя, то подчиняясь, но одинаково хорошо исполняя и то, и другое, спасли и свой город и всю Грецию”.

Когда умер Филипп, Фокион отговаривал народ приносить благодарственные жертвы богам. Во-первых, сказал он, неблагородно радоваться по такому поводу, а во-вторых, сила, стоявшая против них при Херонее, сделалась меньше всего лишь на одного человека.

17. Когда Демосфен осыпàл бранью Александра, меж тем как македонское войско уже подходило к Фивам, Фокион сказал:

"О злополучный! Зачем раздражаешь ты грозного мужа[18]

и жаждущего великой славы? Или, может, ты хочешь, раз уж поблизости пылает такой громадный пожар, поджечь заодно и наш город? Но я ради того и принял должность стратега, чтобы не дать этим людям погибнуть, хотя бы даже они и рвались навстречу гибели". Когда же после разрушения Фив Александр потребовал выдачи Демосфена, Ликурга, Гиперида и Харидема и взоры Собрания были обращены на Фокиона, а многие граждане выкрикивали его имя, он поднялся с места, поставил рядом с собою одного из друзей, с которым был связан теснее всего, доверял ему больше всех и сильнее всех любил, и сказал, указывая на него: "До такой крайности довели глупцы и негодяи наш город, что если кто потребует выдать даже его, Никокла, я посоветую выдать, ибо и сам я счел бы для себя счастьем, если бы мог умереть ради вас всех. Жаль мне, правда, афиняне, и фиванцев, укрывшихся у нас, но достаточно и тех слез, которые греки проливают по Фивам. Поэтому лучше не вступать с победителями в борьбу, но смягчить их гнев и вымолить у них пощаду и себе и беглецам".

Передают, что, получив первое постановление афинян, Александр швырнул его на землю, повернулся к послам спиной и бросился прочь, но второе, которое принес Фокион, принял, потому что от старших знал, что этого человека высоко ценил и Филипп. Царь не только встретился с Фокионом и разрешил ему изложить свою просьбу, но даже выслушал его советы. Советовал же он положить войне конец, если Александр жаждет мира, или же увести ее из греческих пределов и взвалить на плечи варварам, если он стремится к славе. Он высказал еще много иных суждений, которые в точности отвечали характеру и желаниям самого Александра, и настолько унял его гнев, настолько изменил направление его мыслей, что царь повелел афинянам внимательно следить за ходом событий, ибо если с ним, Александром, приключится что-нибудь неладное, главенство над Грецией должно перейти к Афинам. С самим Фокионом он заключил союз дружбы и гостеприимства, и оказывал ему такое уважение, каким пользовались лишь немногие из постоянных приближенных царя. Так, Дурид сообщает, что, исполнившись величия после победы над Дарием, Александр уже не начинал свои письма обычным пожеланием здоровья, однако, для Фокиона делал исключение: лишь к нему, так же как к Антипатру, обращался он с этим приветствием. Те же сведения мы находим и у Харета.

18. Теперь о подарках. Все писатели сходятся на том, что Александр послал Фокиону сто талантов. Когда эти деньги были доставлены в Афины, Фокион спросил тех, кто их привез, почему среди такого множества афинян царь лишь его одного одаряет столь щедро. "Потому, что лишь тебя одного он считает человеком достойным во всех отношениях", – последовал ответ. "Пусть же он не

лишает меня возможности оставаться таким и впредь – и в чужих глазах и по существу", – сказал Фокион. Посланцы проводили его до дому и, увидев во всем чрезвычайную скромность, увидев, как жена Фокиона месит тесто, а сам он достал воды из колодца и моет себе ноги, принялись еще упорнее настаивать на своем и с негодованием говорили, что это, дескать, просто неслыханно: друг царя живет в такой скудости и убожестве! Тогда Фокион, заметив какого-то бедного старика в потрепанном, грязном плаще, спросил своих гостей, не считают ли они, что ему приходится хуже, чем этому случайному прохожему. "Что ты, что ты!" – воскликнули посланцы. "А ведь он тратит куда меньше моего и все-таки доволен. И вообще говоря, либо я совсем не сумею воспользоваться царскими деньгами, и они будут лежать у меня без всякого проку, либо, если воспользуюсь, опорочу и себя самого и царя перед всем городом". Так эти деньги и вернулись из Афин восвояси, послужив для греков доказательством, что человек, не принимающий такого подарка, богаче того, кто его делает. Александр рассердился и написал Фокиону, что если друзьям ничего от него не нужно, он их друзьями не считает, но Фокион и тогда денег не взял, а попросил отпустить на волю софиста Эхекратида, имбросца Афинодора и двух родосцев – Демарата и Спартона, арестованных за какие-то проступки и брошенных в тюрьму в Сардах. Александр немедленно их освободил, а Кратеру, посылая его в Македонию, велел предложить Фокиону на выбор один из четырех городов[19] Азии – Киос, Гергит, Элею или Миласы, внушая при этом еще настоятельнее, что будет разгневан, если тот откажется. Тем не менее Фокион отказался, а царь вскорости умер. Дом Фокиона еще и поныне показывают в Мелите[20]; он украшен медной обшивкой, а в остальном незатейлив и прост.

19 Фокион был женат дважды, но о первой из его жен не сохранилось никаких сведений, кроме того, что она была сестрою скульптора Кефисодота, что же касается второй, то ее сдержанность и скромность пользовались у афинян не меньшей известностью, нежели честность Фокиона. Однажды на театре давали новые трагедии, и актер, игравший роль царицы, уже перед самым выходом потребовал у хорега целую свиту богато наряженных прислужниц. Тот не соглашался, актер был возмущен и не желал появляться перед зрителями, заставляя весь театр ждать. Тогда хорег Меланфий стал выталкивать его на проскений, крича: "Ты разве не видел, что жена Фокиона ходит повсюду с одной-единственной служанкой? Твое бахвальство испортит нам всю женскую половину дома!" Слова эти были услышаны, и театр откликнулся на них громкими рукоплесканиями и одобрительным шумом. Та же самая вторая жена Фокиона сказала приехавшей из Ионии гостье, которая с гордостью показывала ей золотые, усыпанные драгоценными камнями ожерелья и диадемы: "А мое украшение – это Фокион, который вот уже двадцатый год командует войсками афинян".

20. Его сын Фок хотел принять участие в состязаниях апобатов[21] на празднике Панафиней, и отец дал согласие – не потому, что мечтал о победе для сына, но надеясь, что, закаляя упражнениями свое тело, он станет крепче и нравственно: юноша был беспутный и любил выпить. Когда же сын все-таки победил и многие вызывались устроить пир в честь его победы, Фокион, отказав всем прочим, предоставил это почетное право лишь одному. Сам он тоже явился на пир,

и, увидев среди иного убранства тазы для омовения ног, которые наполняли вином, смешанным с благовониями, и подносили входящим, подозвал сына и сказал: "Неужели, Фок, ты не остановишь своего приятеля? Ведь он губит твою победу!" Желая, чтобы молодой человек совершенно расстался с таким образом жизни, он отвез его в Лакедемон и присоединил к числу юношей, получавших столь знаменитое повсюду спартанское воспитание. Это огорчило афинян: в поступке Фокиона они усмотрели пренебрежение и даже презрение к обычаям родного города. Демад однажды обратился к нему с такими словами: "Почему бы, Фокион, нам не убедить афинян принять лаконское государственное устройство? Скажи только слово – и я охотно внесу предложение и выступлю перед народом". – "Ну, конечно, – возразил Фокион, – кому как не тебе, так и благоухающему духами и одетому в такой прекрасный плащ, толковать с афинянами о достоинствах общих трапез и восхвалять Ликурга!"

21. Александр написал афинянам, чтобы они прислали ему триеры[22], ораторы решительно возражали, а Совет просил Фокиона высказать свое мнение. "Говорю вам прямо", – объявил он, – "либо побеждайте вооруженной рукой, либо храните дружбу с победителями".

Пифея, который тогда только начинал появляться на возвышении для оратора, но уже успел проявить себя человеком болтливым и наглым, он оборвал, крикнув: "Уж ты-то, во всяком случае, помалкивай – среди рабов народа ты еще новичок!"

Когда Гарпал с огромными деньгами бежал из Азии от Александра и прибыл в Аттику, и все те, кто привыкли извлекать прибытки из ораторского возвышения, наперебой кинулись к нему в надежде поживиться, он из великого своего богатства бросил им лишь понемногу в виде приманки, а Фокиону предложил семьсот талантов, вверяя все, что у него было, и себя самого в придачу защите и охране одного только Фокиона. Но тот резко ответил, что Гарпал горько наплачется, если не прекратит развращать город подкупом, и тот, подавленный и униженный, отказался от своего намерения, а вскоре афиняне собрались на совещание, и тут Гарпал увидел, что люди, которые брали у него деньги, говорят теперь совсем иным языком и, чтобы замести следы, выступают с прямыми обвинениями, Фокион же, который не взял ничего, принимает в расчет не только соображения общественной пользы, но – в какой-то мере – думает и о его безопасности. И снова Гарпал загорелся желанием угодить этому человеку, но как его ни обхаживал, убедился лишь в том, что Фокион совершенно неприступен, точно крепость, и могуществу золота не подвластен. Зато Харикла, зятя Фокиона, Гарпал сделал своим закадычным другом и, во всем ему доверяя, во всяком деле пользуясь его услугами, безнадежно его опорочил.

22. Так, когда умерла гетера Пифоника, возлюбленная Гарпала, которую он держал при себе и прижил с нею дочь, Гарпал решил поставить ей дорогой памятник и поручил заняться этим Хариклу. Услугу эту, и саму-то по себе не слишком благородную, сделал особенно позорною жалкий вид завершенного надгробья. Его и теперь можно увидеть в Гермии, что на дороге между Афинами и Элевсином, и оно ни в коем случае не стоит тридцати талантов, которые, как сообщают, значились в счете, поданном Гарпалу Хариклом. Тем не менее

после смерти самого Гарпала[23] Харикл и Фокион взяли к себе его дочь и заботились о ней, как только могли. Впоследствии за дружбу с Гарпалом Харикл попал под суд и просил тестя поддержать его и вместе появиться перед судьями, однако Фокион ему отказал, промолвив: "Нет, Харикл, я брал тебя в зятья в расчете лишь на честь, а не на бесчестье".

Первым, кто сообщил афинянам о смерти Александра, был Асклепиад, сын Гиппарха; Демад советовал не давать веры его словам, потому, дескать, что будь это так, запах тления уже давно наполнил бы всю вселенную, а Фокион, видя, что народ склонен к мятежу и перевороту, пытался утихомирить сограждан. Меж тем как многие взбегали на ораторское возвышение и кричали оттуда, что весть, принесенная Асклепиадом, верна и что Александр, действительно, умер, Фокион сказал: "Что же, если он мертв сегодня, то останется мертвым и завтра, и послезавтра, стало быть, мы можем держать совет спокойно и, главное, ничего не опасаясь".

23. Вскоре Леосфен силою втянул Афины в Греческую войну[24] и как-то раз насмешливо спросил Фокиона, до крайности недовольного его действиями, какую пользу принес он государству, столько лет исполняя должность стратега. "Немалую, – отвечал Фокион, – благодаря мне афинских граждан хоронили в их собственных гробах и могилах". В ответ на пространные, дерзкие и хвастливые речи Леосфена в Народном собрании Фокион заметил: "Твои слова, мальчик, похожи на кипарис – так же высоки и так же бесплодны". Гиперид поднялся и спросил: "А по-твоему, когда нужно афинянам вступить в войну, Фокион?" – "Когда я увижу, что юноши полны желания удержать свое место в строю, богачи – исправно платить налоги, а ораторы – не запускать руки в казну", – последовал ответ. Многие восхищались силою войска, которое набрал Леосфен, и спрашивали Фокиона, что он думает о сделанных приготовлениях. "К бегу на один стадий мы вполне готовы, – сказал он, – но длинного пробега[25] я боюсь, потому что больше у нашего города нет ни денег, ни кораблей, ни пехотинцев". Дальнейшие события подтвердили его правоту. Сперва Леосфен стяжал громкую славу своими подвигами: он нанес сокрушительное поражение беотийцам[26] и запер в Ламии Антипатра. Город, как сообщают, был преисполнен самых радужных надежд, афиняне беспрерывно справляли благодарственные празднества и приносили жертвы богам, но Фокион, отвечая тем, кто, надеясь уличить его в ошибке, допытывался, неужели, дескать, он не хотел бы, чтобы все эти успехи были одержаны не Леосфеном, а им, говорил: "Разумеется, этого я хотел бы, однако прежнего моего суждения назад не возьму". И так как с театра войны продолжали, одна за другой, поступать добрые вести, то на словах, то в письменных донесениях, он воскликнул, не выдержав: "Когда же, наконец, мы перестанем побеждать?!"

24. После гибели Леосфена те, кто опасался, как бы не был отправлен командующим Фокион и не положил войне конец, подучили какого-то совершенно безвестного человека выступить в Собрании и сказать, что на правах друга Фокиона и его товарища по школе он советует пощадить и поберечь этого мужа, ибо другого такого у афинян нет, а к войску послать Антифила. Афиняне одобрили его предложение, и тогда Фокион, поднявшись на возвышение, зая-

вил, что никогда не ходил в школу вместе с этим человеком и вообще не был с ним ни дружен, ни даже просто знаком. "Но отныне и впредь, – продолжал он, – ты мне близкий приятель, потому что подал мнение, очень для меня полезное". Он противился сначала и намерению афинян выступить против беотийцев и на предупреждения друзей, что, упорствуя в споре с согражданами, он погибнет, отвечал: "Да, незаслуженно, если действую им на благо, если же нет – то по заслугам". Видя, однако, что они не уступают и возмущенно кричат, он велел глашатаю объявить, чтобы все способные носить оружие в возрасте до шестидесяти лет запасались на пять дней продовольствием, и прямо из Собрания он поведет их в поход. Поднялся ужасный переполох, старики кричали и вскакивали с мест. "Напрасно вы шумите", – спокойно заметил Фокион, – "ведь вашим начальником буду я, а мне уже восемьдесят". Так он утихомирил афинян и убедил их в тот раз отказаться от своих планов.

25. Микион с сильным отрядом македонян и наемников высадился в Рамнунте и стал опустошать побережье. Фокион возглавил двинувшихся против врага афинян, и так как к нему то и дело подбегали с различными советами и поучениями, убеждая его занять такой-то холм, или отправить туда-то конницу, или там-то расположиться лагерем, он воскликнул: "О, Геракл, как много вокруг меня полководцев и как мало воинов!" Он уже выстроил пехоту в боевой порядок, как вдруг один пехотинец сперва выбежал далеко вперед, а потом, испугавшись вражеского воина, бросившегося ему навстречу, вернулся в строй, – и, увидев это, Фокион крикнул: "Эй, мальчуган, как тебе не стыдно! Ты уже дважды покинул свое место – то, куда тебя поставил стратег, и то, которое ты назначил себе сам". Ударив на врагов, афиняне после ожесточенной схватки обратили их в бегство, многих уложив на поле боя; среди убитых был и сам Микион. Одержало победу и греческое войско в Фессалии, хотя к Антипатру присоединился Леоннат с возвратившимися из Азии македонянами. Леоннат пал в сражении. Пехотою греков командовал Антифил, конницей – фессалиец Менон.

26. Но вскоре из Азии в Европу переправился с большой военной силой Кратер, при Кранноне противники встретились снова, и на этот раз греки потерпели поражение. Оно оказалось не слишком тяжелым, не особенно велики были и потери, однако из-за неповиновения начальникам, молодым и чересчур снисходительным, и еще потому, что Антипатр склонял города к измене общему делу[27], побежденные разбрелись, позорно бросив свою свободу на произвол судьбы. Антипатр немедленно двинулся к Афинам, Демосфен и Гиперид бежали из города, и Демад, получивший тогда помилование (он был семикратно осужден по обвинениям в попытке изменить действующее законодательство и, так как не мог уплатить ни единого из наложенных на него штрафов, лишился гражданских прав, в частности, – права говорить перед народом), внес предложение отправить к Антипатру послов, облекши их неограниченными полномочиями для переговоров о мире. Народ в испуге призвал Фокиона, крича, что доверяет лишь ему одному. "Ах, если бы вы раньше с доверием прислушивались к моим советам, не приходилось бы нам сейчас совещаться по такому тяжкому поводу", – ответил он. Итак, постановление было принято, и Фокион поехал к Анти-

пагру, который расположился лагерем в Кадмее с намерением без промедления вторгнуться в Аттику. Первое, о чем он просил, это чтобы перемирие было заключено на месте, без перемены позиций. "Фокион толкает нас на несправедливость: он хочет, чтобы мы оставались на земле своих друзей и союзников и причиняли убытки им, в то время как можем существовать за счет противника", – возразил Кратер, однако Антипатр, взяв его за руку, промолвил: "Надо оказать эту милость Фокиону". Но все остальное афиняне должны предоставить на усмотрение македонян, потребовал он далее: точно такие же требования предъявил ему прежде Леосфен под стенами Ламии.

27. Фокион вернулся домой и, когда афиняне волей-неволей одобрили привезенные им условия перемирия, снова отправился в Фивы вместе с прочими послами, среди которых был и философ Ксенократ. Добрая слава Ксенократа и всеобщее восхищение его нравственным совершенством были так велики, что, казалось, нет человека настолько закосневшего в высокомерии, жестокости или злобе, чтобы, при одном лишь взгляде на Ксенократа, его души не коснулась какая-то тень робости и уважения. Но упрямое своенравие Антипатра и его ненависть к добру опрокинули все расчеты афинян. Началось с того, что он не удостоил Ксенократа приветствием, хотя с остальными любезно поздоровался. На это, как сообщают, Ксенократ сказал, что Антипатр прав, перед ним одним стыдясь за те несправедливые кары, которые он готовит Афинам. Затем, когда Ксенократ заговорил, Антипатр не пожелал выслушать его, но, без конца перебивая и придираясь по мелочам, заставил философа замолчать.

В ответ на речь Фокиона Антипатр заявил, что заключит с афинянами дружбу и союз, если они выдадут Демосфена и Гиперида, восстановят старинное государственное устройство[28], при котором все определяется имущественным положением граждан, впустят в Мунихию македонский караульный отряд и, сверх того, возместят военные издержки и уплатят денежный штраф. Все послы, кроме Ксенократа, признали эти условия мягкими и остались довольны, а Ксенократ сказал, что будь афиняне рабами, требования Антипатра можно бы назвать скромными, но для людей свободных они слишком тяжелы. Фокион просил не вводить в Мунихию караульный отряд, но Антипатр якобы ответил: "Фокион, мы готовы уступить тебе во всем, кроме того, что может погубить и тебя и нас". Существует и другой рассказ – будто бы Антипатр спросил Фокиона, ручается ли он, что афиняне, если их освободить от караульного отряда, не нарушат мира и не пустятся снова в опасные предприятия. Фокион медлил с ответом и молчал, и тогда Каллимедонт по прозвищу "Краб", человек горячий и ненавидевший афинский народ, вскочив с места, воскликнул: "Ну, а если он и станет молоть какой-нибудь вздор – что же, Антипатр, ты так ему и поверишь, и не выполнишь своего намерения?"

28. Итак, афиняне впустили македонский сторожевой отряд, которым командовал Менилл, отличавшийся справедливым нравом, и к тому же приятель Фокиона. Решение македонян представлялось афинянам высокомерным – скорее хвастливым показом могущества, которое служит грубому насилию, нежели, действительно, мерой безопасности. Во многом усугубило горе побежденных самое время этих событий. Дело в том, что караульный отряд вошел в Мунихию

двадцатого боэдромиона – в день Великих мистерий, в тот самый день, когда в торжественном шествии несут Иакха из города в Элевсин, и так как священнодействие было расстроено, большинство граждан невольно сопоставляло божественные деяния в минувшие и нынешние времена. Некогда в пору тягчайших несчастий являлись таинственные образы и звучали таинственные голоса[29], повергавшие врагов в ужас и изумление, а теперь, при тех же празднествах, боги равнодушно взирают на горчайшие муки Греции, на то, как предают глумлению самые святые и самые радостные дни года, которые впредь станут памятными днями неслыханных бедствий. Немногими годами раньше додонские жрицы дали афинянам прорицание, повелев им оберегать мыс Артемиды[30], дабы он не попал в чужие руки. А в то время, о котором идет речь сейчас, афиняне красили ленты для перевязей на священных корзинах[31], и цвет вместо пурпурного получился изжелта-бледный, мертвенный, но что особенно удивительно – все обыкновенные предметы, которые красили вместе с лентами, приобрели надлежащий цвет. Один из посвященных в таинства купал в Канфарской бухте поросенка[32], и на него напала акула и отхватила всю нижнюю половину тела вплоть до живота. Божество недвусмысленно возвещало афинянам, что они лишатся нижней, приморской части своих владений, но сохранят верхний город.

Македонская стража благодаря Менилу николько не тяготила жителей, но число лиц, по бедности своей лишенных права голоса, превысило двенадцать тысяч, и одни из них, оставшиеся в городе, считали себя несчастными и опозоренными, а другие, покинувшие из-за этого Афины и переселившиеся во Фракию, где Антипатр предоставил им землю и город, уподобились побежденным, которых изгнал из отечества победоносный враг.

29. Смерть Демосфена на Калаврии и Гиперида близ Клеон, – о чем рассказано в других наших сочинениях[33], – пробудила в афинянах чуть ли не тоску по Александру и Филиппу. И подобно тому, как впоследствии, после гибели Антигона, когда его убийцы начали притеснять и мучить народ, один фригийский крестьянин, копавший землю, на вопрос, что он делает, с горьким вздохом ответил: "Ищу Антигона", – подобные слова могли бы сказать тогда многие, вспоминая двух умерших царей, даже в гневе своем обнаруживавших величие души и благородную снисходительность, – не то, что Антипатр, который, под маскою частного лица, под плохоньким плащом и скромным образом жизни коварно пряча огромное могущество, был особенно ненавистен несчастным, чьим владыкою и тираном он себя сделал. Фокион, однако, своим заступничеством перед Антипатром, многих совсем избавил от изгнания, а для изгнанных – в том числе для доносчика Гагнонида – добился разрешения поселиться в Пелопоннесе, а не оставлять Грецию, не удаляться, как в остальных случаях, за Керавнские горы и мыс Тенар[34]. Соблюдая в руководстве делами города умеренность и верность законам, Фокион постоянно привлекал к управлению людей мягких и образованных, а беспокойным, бунтарям, которым уже само отстранение от власти, от шумной деятельности, сильно поубавило пыла, советовал побольше сидеть в деревне и целиком отдаться сельским работам.

Зная, что Ксенократ платит подать, взимаемую с метэков, он хотел внести его в списки граждан, но тот отказался, объявив, что негоже ему получать гра-

жданские права в таком государстве, возникновению которого он пытался помешать в качестве посла.

30. Менилл хотел дать Фокиону деньги в подарок, но он отвечал: "Ты не лучше Александра, а причина, по которой я мог бы сейчас принять подношение, ничуть не основательнее той, которая тогда не убедила меня его принять". Менилл стал просить, чтобы Фокион взял деньги для сына. "Фоку, – возразил тот, – если он образумится, будет достаточно и отцовского состояния, а если останется таким, как теперь, его ничем не насытишь". Когда Антипатр однажды решил воспользоваться помощью Фокиона в каком-то недостойном деле, он резко отверг это предложение, сказав: "Я не могу быть для Антипатра и другом и льстивым угодником одновременно". А сам Антипатр, как сообщают, говорил, что у него в Афинах два друга – Фокион и Демад: первого он никак не убедит принять от него подарок, а второму, сколько ни дарит, все мало. И Фокион как высшим достоинством гордился бедностью, в которой прожил всю жизнь, хотя столько раз бывал афинским стратегом и дружил с царями, а Демад рисовался своим богатством, не останавливаясь при этом даже перед нарушением законов. Действовавший тогда в Афинах закон запрещал чужеземцу участвовать в выступлениях хора под угрозою штрафа в тысячу драхм, налагавшегося на хорега, и вот Демад собрал хор из одних чужеземцев, числом в сто человек, и явился с ними в театр, сразу же захватив по тысяче драхм на каждого для уплаты штрафа. Справляя свадьбу своего сына Демеи, он сказал: "Когда я, сынок, женился на твоей матери, этого не заметил даже сосед, а с расходами по твоей женитьбе мне бы не справиться без помощи царей и властителей".

Афиняне без конца тревожили Фокиона просьбою, чтобы он уговорил Антипатра вывести караульный отряд, но тот, либо не надеясь на успех таких уговоров, либо видя, что народ под воздействием страха сделался благоразумнее, а государственная жизнь – более упорядоченной, все время уклонялся от этого поручения; вместе с тем он убедил Антипатра не взыскивать с афинян деньги, но дать им отсрочку, подождать. Тогда афиняне обратились с той же просьбой к Демаду. Демад охотно согласился и вместе с сыном выехал в Македонию, но – ведóмый, по-видимому, каким-то злым гением – прибыл как раз тогда, когда Антипатр был уже тяжко болен и всею властью завладел Кассандр, который перехватил письмо Демада, отправленное к Антигону, в Азию. Демад призывал Антигона вмешаться в дела Греции и Македонии, которые, как писал он, издеваясь над Антипатром, болтаются на старой и гнилой нитке. Поэтому Кассандр приказал схватить Демада, едва тот появится у него перед глазами, и, прежде всего, велел убить его сына, поставив юношу так близко от отца, что Демад был залит кровью с головы до ног и несколько капель попали ему даже за пазуху, а потом, осыпав его грубейшею бранью и упреками в неблагодарности и предательстве, казнил.

31. Антипатр умер, назначив Полисперхонта стратегом, а Кассандра – хилиархом[35], и Кассандр немедленно восстал. Чтобы предупредить своего соперника и оставить главенство за собой, он спешно посылает Никанора сменить Менилла на посту начальника сторожевого отряда в Мунихии, прежде чем известие о смерти Антипатра получит огласку. Все вышло так, как Кассандр и замыслил,

но когда афиняне несколькими днями позже услыхали, что Антипатр умер, они стали обвинять Фокиона в том, что он заранее обо всем знал, но молчал в угоду Никанору. Фокион не обращал никакого внимания на эти толки, он встретился с Никанором и, расположив его в пользу афинян, уговорил не только вообще обходиться с ними мягко, по-дружески, но и показать им свою щедрость: Никанор обещал дать народу игры и в качестве судьи и устроителя принять расходы на себя.

32. В это время Полисперхонт, опекун царя, стараясь хитростью расстроить планы Кассандра, прислал афинянам письмо с сообщением, что царь разрешает афинянам восстановить демократическое устройство и хочет, чтобы в государственной жизни, по обычаю предков, принимали участие все граждане. Это был злой умысел, направленный против Фокиона. Предполагая подчинить город своему влиянию – что вскоре и обнаружили его действия, – Полисперхонт не надеялся достигнуть цели иначе, как добившись падения Фокиона, а он должен был непременно пасть, если бы лишенные гражданства вновь появились на государственном поприще и ораторским возвышением опять завладели доносчики и своекорыстные искатели народной благосклонности. Послание Полисперхонта взволновало афинян, Никанор хотел побеседовать с ними и, доверившись Фокиону, который обещал ему полную неприкосновенность, пришел в Пирей, где собрался Совет. Но Деркилл, командовавший стоявшим в Аттике войском, готовился его схватить, и Никанор, заблаговременно узнав об этом, бежал, недвусмысленно пригрозив, что в ближайшем будущем отомстит городу. Фокиона порицали за то, что он не задержал Никанора и дал начальнику македонян уйти, однако он сказал, что верит Никанору и не ждет от него никакой беды, если же он и заблуждается, то ему легче стерпеть прямую обиду, нежели самому открыто обижать другого. Если кто станет раздумывать над этими словами в применении к самому себе, то, возможно, они покажутся безукоризненно благородными, но коль скоро речь идет о человеке, рискующем судьбою отечества, о полководце и главе государства, – не знаю, не погрешает ли он тем самым против более высокого и важного долга, долга перед согражданами. Нельзя сказать также, что Фокион пощадил Никанора, боясь втянуть Афины в войну, верность же и долг помянул лишь для того, чтобы и македонянин из чувства долга хранил спокойствие и не причинял афинянам зла, – нет, он, по-видимому, действительно питал к Никанору огромное доверие. Он и раньше не желал прислушиваться к многочисленным обвинениям против этого человека – доносили, что Никанор стремится захватить Пирей, переправляет на Саламин наемников, старается подкупом склонить на свою сторону кое-кого из жителей Пирея. И даже теперь, когда Филомел из дема Ламптры внес предложение, чтобы все афиняне находились в боевой готовности, в любой миг ожидая приказаний своего полководца Фокиона, сам полководец сохранял прежнюю беспечность, пока Никанор с вооруженным отрядом не выступил из Мунихии и не принялся обводить Пирей рвом.

33. Последнее событие вызвало среди афинян громкое возмущение против Фокиона, так что они с презрением отказались повиноваться, когда он хотел двинуться с ними против македонян. Тем временем подоспел с войском Алек-

сандр, сын Полисперхонта, на словах – чтобы оказать городу помощь в борьбе с Никанором, но по сути дела – чтобы попытаться захватить раздираемые изнутри смутою Афины. Дело в том, что Александр привел с собою изгнанников, и они сразу же оказались в городе, а к ним присоединились чужеземцы и все лишенные гражданских прав, и составилось Собрание, беспорядочное и чрезвычайно пестрое, на котором отрешили от власти Фокиона и выбрали новых стратегов. Но, к счастью для себя, граждане обнаружили, что Александр, один, без провожатых, много раз выходил за стену и беседовал там с Никанором, и их свидания насторожили афинян; не случись этого – и город был бы обречен.

Оратор Гагнонид немедленно набросился на Фокиона и обвинил его и его сторонников в измене, тогда Каллимедонт и Харикл в страхе бежали, а Фокион и оставшиеся с ним друзья отправились к Полисперхонту. Вместе с ними, из желания помочь Фокиону, выехали платеец Солон и коринфянин Динарх, считавшиеся близкими друзьями Полисперхонта. По пути Динарх занемог, и они надолго задержались в Элатии, а тем временем народ в Афинах принял горячо поддержанное Гагнонидом предложение Архестрата и отрядил послов с обвинениями против Фокиона. И те и другие прибыли к Полисперхонту одновременно, встретив его, вместе с царем, в дороге, близ фокидской деревни Фариги, у подошвы горы Акрурий, которую в наши дни называют Галатом. Полисперхонт, распорядившись тут же, на месте встречи раскинуть затканный золотом балдахин, усадил под ним царя со свитой и первым делом приказал, как только покажется Динарх, схватить его и, предав пытке, казнить, а затем предложил афинянам высказаться. Те подняли страшный крик, обвиняя друг друга перед царским советом, и в конце концов Гагнонид, выступив вперед, сказал: "Посадите нас всех в одну клетку и отправьте в Афины – пусть афиняне нас выслушают и рассудят". Царь засмеялся, но обступившие балдахин македоняне и чужеземцы желали, скуки ради, послушать тяжущихся и знаками призывали послов выложить свои обвинения. Впрочем, стороны оказались в условиях, далеко не равных: Фокиона Полисперхонт много раз перебивал, до тех пор пока тот, стукнув палкой о землю, не отступил в сторону и не замолчал. Когда Гегемон призвал самого Полисперхонта в свидетели своей преданности народу, а тот в гневе ответил: "Перестань оговаривать меня перед царем!" – царь вскочил и уже готов был пронзить Гегемона копьем, но Полисперхонт мгновенно обхватил его обеими руками. Сразу вслед за тем совет был распущен.

34. Фокиона и его спутников окружила стража, и те из друзей, которые, по случайности, стояли в стороне, увидев это, поспешили скрыться и спастись бегством. А задержанных Клит повез в Афины, якобы на суд, а в действительности на казнь, ибо судьба их была уже решена. Тягостное то было зрелище, когда их на телегах везли через Керамик к театру. Именно туда доставил их Клит и там караулил, пока архонты не созвали Народное собрание, не препятствуя участвовать в нем ни рабу, ни чужеземцу, ни лишенному прав, но всем мужчинам и женщинам открыв доступ в театр и на ораторское возвышение.

Когда прочитали послание царя, в котором он говорил, что, хотя и признал обвиняемых виновными в измене, решать дело предоставляет им, афинянам, ныне вновь свободным и независимым, и Клит ввел подсудимых, все лучшие и

самые честные граждане, увидев Фокиона, закрыли лица, поникли головами и заплакали, а один из них отважился подняться и сказать, что, коль скоро царь доверил народу решение дела такой важности, было бы правильно, чтобы рабы и чужеземцы покинули Собрание. Но толпа заревела от возмущения, раздались крики, что надо побить камнями приверженцев олигархии и врагов демократии, и больше уже никто не пытался сказать хоть слово в пользу Фокиона, а собственный его голос был едва слышен из-за шума. "Вы хотите лишить нас жизни несправедливо или же по справедливости?" – спросил он. Несколько человек отвечали, что по справедливости. "Но как вы убедитесь в своей справедливости, не выслушав нас?" – возразил Фокион. Однако никто уже вообще не обращал внимания на его слова, и тогда, сделаь несколько шагов вперед, он сказал: "Я признаю себя виновным и считаю, что моя деятельность на государственном поприще заслуживает наказания смертью. Но, афиняне, за что вы хотите казнить этих людей, ни в чем не повинных?" – "За то, что они твои друзья!" – раздались многочисленные голоса, и Фокион отступил и умолк, а Гагнонид прочитал заранее приготовленное предложение: народ должен большинством голосов решить, виновны ли обвиняемые, и если голосование будет не в их пользу, они умрут.

35. Некоторые считали нужным прибавить к этому предложению, что Фокиона следует перед смертью пытать, и уже требовали принести колесо и кликнуть палачей. Но Гагнонид, заметив, что даже Клит этим недоволен, да и сам считая такую жестокость гнусным варварством, сказал: "Подождите, господа афиняне: поймаем висельника Каллимедонта, и его будем пытать, а к Фокиону применить эту меру я не считаю возможным". – "Ты совершенно прав: если мы станем пытать Фокиона, как же нам потом поступить с тобою?" – воскликнул в ответ кто-то из достойных людей.

Предложение было одобрено, и когда началось голосование, никто не остался сидеть, но все поднялись со своих мест и так, стоя, очень многие с венками на головах, потребовали смертной казни для обвиняемых, среди которых, кроме Фокиона, были Никокл, Фудипп, Гегемон и Пифокл. Деметрий Фалерский, Каллимедонт, Харикл и еще несколько человек были присуждены к смерти заочно.

36. Собрание было распущено, и осужденных повели в тюрьму, и тут, по пути, все остальные, попав в объятия друзей и близких, горько жаловались и обливались слезами, но лицо Фокиона хранило то же выражение, какое бывало у него, когда сограждане провожали своего стратега из Собрания домой, так что все, видевшие этого человека, дивились его бесстрастию и величию духа. Лишь враги шли рядом и бранились, а один даже забежал вперед и плюнул ему в лицо. Тогда, как сообщают, Фокион, обернувшись к архонтам, промолвил: "Неужели никто не уймет этого безобразника?"

В тюрьме, когда Фудипп, увидев, что уже трут цикуту, потерял присутствие духа и стал оплакивать свою судьбу, крича, что незаслуженно погибает вместе с Фокионом, тот промолвил: "Как? Разве ты не радуешься, что умираешь вместе с Фокионом?" Кто-то из друзей спросил, не хочет ли он что-нибудь передать своему сыну Фоку. "Да, конечно, – ответил Фокион, – я хочу ему сказать, чтобы

он не держал злобы против афинян". Никокл, который был самым верным из его друзей, попросил чтобы Фокион позволил ему выпить яд первому. "Тяжела и мучительна для меня твоя просьба, Никокл, – сказал Фокион. – Но раз уже я никогда и ни в чем не отказывал тебе при жизни, не откажу и сейчас".

Выпили все, но яду недостало, а палач сказал, что не будет больше тереть, если не получит двенадцать драхм – столько, сколько стоила полная порция цикуты. Возникла заминка, время шло, и тогда Фокион велел позвать кого-то из друзей и, пожаловавшись ему, что в Афинах даже умереть даром нельзя, попросил дать палачу эти несколько монет.

37. То был девятнадцатый день месяца мунихиона, и всадники, прославляя Зевса[36], в торжественном шествии объезжали город. Иные из них сняли венки, иные со слезами взглянули на двери темницы. Всякому, кто не до конца озверел и развратился душою под воздействием гнева и ненависти, было ясно, что не повременить хотя бы день и запятнать казнью город, справляющий праздник, было величайшим нечестием.

И тем не менее враги Фокиона, словно все еще не насытившись борьбою, провели новое постановление – чтобы труп его был выброшен за пределы Аттики и чтобы ни один афинянин не смел разжечь огонь для его погребального костра. Поэтому никто из друзей не решился коснуться его тела, и некий Конопион, обыкновенно бравший на себя за плату подобного рода поручения, увез мертвого за Элевсин и там сжег, принеся огонь из Мегариды. На похоронах присутствовала супруга Фокиона со своими рабынями, она насыпала на месте костра могильный холм и совершила надгробные возлияния, но кости спрятала у себя на груди и, принеся ночью к себе в дом, зарыла у очага с такими словами: "Тебе, мой родной очаг, я вверяю эти останки прекрасного человека. Ты же отдай их отчей могиле, когда афиняне образумятся".

38. И в самом деле, не много времени потребовалось, чтобы сами обстоятельства показали, какого вождя, какого стража разума и справедливости погубил народ, и ему была поставлена бронзовая статуя, а кости его преданы погребению на общественный счет. Одного из обвинителей, Гагнонида, афиняне сами приговорили к смерти и казнили, а с Эпикуром и Демофилом, бежавшими из города, расправился сын Фокиона. Но вообще, как сообщают, из этого сына так и не вышло ничего путного. Он влюбился в девчонку из какого-то притона и, оказавшись однажды по чистой случайности в Ликее[37], где держал тогда речь Феодор Безбожник, рассуждая примерно так: "Если выкупить друга не позорно, то не более позорно выкупить и подругу, если не стыдно выкупить любимца, не стыдно – и возлюбленную", – применил это рассуждение, сочтя его вполне обоснованным, к себе и своей страсти и выкупил возлюбленную.

Следует добавить, что плачевный конец Фокиона вновь напомнил грекам о гибели Сократа, ибо сходными были в обоих случаях и само заблуждение, и беда, принесенная им государству.



КАТОН

1. Началом своей громкой славы род Катона обязан прадеду Катона Младшего, человеку, чья нравственная высота доставила ему огромную известность среди римлян и высшую власть, как об этом рассказывается в его жизнеописании[1]. После смерти родителей Катон с братом Цепионом и сестрою Порцией остались круглыми сиротами. Вместе с ними осиротела и Сервилия, единоутробная сестра Катона, и все дети росли и воспитывались в доме Ливия Друза, своего дяди с материнской стороны, который руководил в ту пору государственными делами; ибо он отличался замечательным красноречием и величайшей воздержностью, да и умом никому из римлян не уступал.

Сообщают, что уже в детские годы Катон манерою речи, выражением лица, даже ребяческими своими играми и забавами обнаруживал нрав твердый, непреклонный и бесстрастный. Его желаниям была присуща упорная – не по возрасту – целеустремленность; если ему льстили, он бывал несговорчив и груб, но еще сильнее противился тому, кто пытался его запугать. Он был и не смешлив – настолько, что даже улыбка редко когда смягчала его черты, – и на гнев не скор, но рассердившись, ни за что не желал простить обидчика. Учился он вяло и усваивал значения медленно, но раз усвоенное запоминал крепко и надолго. И вообще, дети способные легче припоминают услышанное однажды, но у тех, кто воспринимает слова учителя с усилием, с напряжением, память более цепкая: все, что они выучат, словно выжженное огнем, запечатлевается в душе. Кроме того учение Катону затрудняла, по-видимому, и его упрямая недоверчивость. В самом деле, учиться – значит не что иное, как испытывать на себе определенное воздействие, а быстро склоняться на уговоры свойственно тем, у кого меньшая сила сопротивления. Вот почему скорее мы убедим в чем бы то ни было молодого, нежели старика, больного, нежели здорового: согласие проще всего найти там, где слабее всего способность сомневаться. Катон слушался своего наставника и выполнял все его приказания, но каждый раз допытывался о причинах и задавал вопрос "почему"? Наставник его, по имени Сарпедон, был, правда, человек мягкий и наготове для ученика держал обыкновенно объяснение, а не колотушку.

2. Катон был еще мальчиком, когда союзники римлян стали домогаться прав римского гражданства. И вот однажды Помпедий Силон, воинственный и очень влиятельный человек, приятель Ливия Друза, несколько дней гостивший в его доме и подружившийся с детьми, сказал им: "Попросите-ка за нас дядю, чтобы он помог нам в хлопотах о гражданстве". Цепион, улыбнувшись, согласился, а Катон, ничего не отвечая, глядел на гостей угрюмым и неподвижным взором, и тогда Помпедий продолжал, обращаясь к нему: "Ну, а ты что скажешь нам, мальчик? Разве ты не можешь вместе с братом заступиться за нас, чужеземцев, перед дядей?" Катон по-прежнему не отвечал ни слова, но и самим молчанием, и угрюмостью лица, казалось, отвергал их просьбу. Помпедий поднял его над окном и, словно намереваясь разжать руки, пригрозил: "Соглашайся или сейчас брошу тебя вниз"! – но, хотя он говорил суровым тоном и много раз встряхивал

висевшее в его руках тело, Катон без трепета, без боязни выдержал это долгое испытание. В конце концов, Помпедий опустил его на пол и тихо промолвил своим друзьям: "Какая удача для Италии, что он еще ребенок! Будь он мужчиной, мы бы, по-моему, не получили у народа ни единого голоса в нашу пользу".

Один из родственников в день своего рождения пригласил Катона вместе с другими мальчиками на праздничный обед, и все дети, старшие и младшие вперемешку, собравшись в какой-то части дома, играли в суд – произносили обвинительные речи, уводили в тюрьму осужденных. И вот кто-то из старших отвел одного "осужденного" – очень красивого мальчика – в спальню и заперся с ним наедине. Мальчик стал звать на помощь Катона. Тот, быстро сообразив, в чем дело, подбежал к дверям, оттолкнул тех, кто караулил вход и преградил ему дорогу, вывел мальчика и, в гневе, пошел с ним домой, а следом, провожая Катона, двинулись другие дети.

3. Он приобрел такую славу, что когда Сулла, готовя для публичного зрелища так называемую Трою[2] – священные конные состязания для подростков – и собрав мальчиков благородного происхождения, назначил им двух предводителей, то одного из них мальчики приняли из почтения к его матери (он был сыном Метеллы, супруги Суллы), а другого, Секста, племянника Помпея, принять отказывались и не желали ни упражняться под его началом, ни слушать его распоряжений. Сулла спросил, кого же они хотят в начальники, все закричали: "Катона!" – и Секст сам, добровольно уступил Катону эту честь, признавая в нем более достойного.

Сулла был старым другом семьи Катона и время от времени приглашал его к себе и беседовал с ним – милость, которую он оказывал очень немногим по причине величия своей власти и высоты своего могущества. Сарпедон очень дорожил этими посещениями, считая, что они служат не только чести, но и безопасности его воспитанника, и часто водил мальчика приветствовать Суллу, чей дом в ту пору, из-за бесчисленного множества приводимых на допрос и страдавших под пытками, с виду ничем не отличался от застенка. Катону был тогда четырнадцатый год. Видя, как выносят головы людей, известных в Риме, и присутствующие потихоньку вздыхают, он спросил как-то раз своего наставника, почему никто не убьет хозяина этого дома. Сарпедон ответил: "Его боятся, сынок, еще больше, чем ненавидят". – "Почему же тогда, – продолжал мальчик, – ты не дал мне меч – я бы его убил и избавил отечество от рабства!" Услышав эту речь и увидев его глаза, его пылающее гневом и яростью лицо, Сарпедон был испуган до крайности и впредь зорко за ним следил, чтобы Катон не отважился на какой-нибудь слишком дерзкий поступок.

Когда он был еще совсем маленький, его спросили однажды: "Кого ты любишь больше всех?" – "Брата". – "А потом?" – "Брата", – ответил он снова. То же повторилось и в третий раз, и четвертый и так до тех пор, пока спрашивающий не отступился. Возмужав, Катон привязался к брату еще сильнее. Ему было уже двадцать лет, но он никогда не обедал без Цепиона, никуда не ездил без него и даже не ходил на форум. Вот только пристрастия брата к благовониям он не разделял и вообще вел жизнь бережливую и строгую. Поэтому Цепион, когда восхищались его воздержностью и скромностью, говорил, что по сравнению

с остальными он, действительно, и скромен и воздержан. "Но, – прибавлял он, – когда я сравниваю свою жизнь с жизнью Катона, мне кажется, что я ничем не лучше Сиппия". (Этот Сиппий, имя которого он называл, был одним из тех, кто пользовался скверною славой неженки и охотника за наслаждениями).

4. Катон получил сан жреца Аполлона и поселился особо. Он зажил еще скромнее, – хотя после раздела отцовского состояния на его долю пришлось сто двадцать талантов, – подружился со стоическим философом Антипатром Тирским и больше всего интереса проявлял к учениям о нравственности и о государстве: неудержимо, словно по наитию свыше, стремясь ко всякой добродетели, он особенно горячо полюбил справедливость – прямолинейную, не знающую уступок ни по снисходительности, ни по личному расположению. Он упражнялся и в ораторском искусстве, видя в красноречии своего рода оружие и считая, что учение о государстве, точно так же как любой большой город, должно быть боеспособно. Однако он никогда не упражнялся в чужом обществе, никто не слышал его речей, так что однажды кто-то из приятелей сказал ему: "Катон, люди порицают твое молчание". – "Лишь бы они не порицали мою жизнь, – отвечал Катон. – Я начну говорить лишь тогда, когда буду уверен, что мне не лучше было бы промолчать".

5. Так называемая Порциева базилика была воздвигнута Катоном Старшим в те годы, когда он занимал должность цензора. Там обыкновенно занимались делами народные трибуны, и так как одна из колонн загораживала их кресла, они решили снести ее или же переставить. Это впервые привело Катона на форум. Он оспорил решение трибунов и восхитил сограждан первою пробой своего красноречия и своего мужества. Слова его не блистали ни свежестью, ни изяществом, но были откровенны, полновесны, суровы. Впрочем, к суровости мысли присоединялось радующее слух благозвучие, а запечатленный в речи характер вызывал улыбку, сообщая какую-то веселость важной манере оратора. Сам голос был такой силы, что его слышали все собравшиеся на форуме, и вдобавок не знал утомления: впоследствии Катону не раз случалось говорить целый день без отдыха и перерыва. Тем не менее, выиграв дело, он снова вернулся к молчанию и упражнениям.

Неутомимо закалял он и тело, приучая себя и в жару и в морозы ходить с непокрытою головой и во всякое время года передвигаться только пешком. Спутники его ехали верхом, а сам Катон шел рядом, присоединяясь то к одному, то к другому и беседуя с каждым поочередно. С удивительной выдержкой и терпением переносил Катон болезни. Если его лихорадило, он запирался и никого к себе не пускал до тех пор, пока не чувствовал перелома в недуге и надежного облегчения.

6. За обедом бросали жребий, кому брать кушанье первому, и если жребий выпадал неудачно для Катона, а друзья все-таки желали уступить первенство ему, он говорил, что не годится нарушать волю Венеры[3]. Вначале он пил только одну чашу и сразу же поднимался из-за стола, но со временем стал выказывать чрезвычайную приверженность к питью, так что часто проводил за вином всю ночь до зари. Причину этого друзья видели в общественных делах, которые

отнимают у Катона весь день, ничего не оставляя для ученых бесед, а потому до рассвета он сидит с философами над чашею вина. И когда некий Меммий в присутствии Цицерона обронил замечание, что, дескать, Катон ночи напролет пьянствует, Цицерон его перебил: "Ты еще скажи. что дни напролет он играет в кости!"

Глядя на своих современников и находя их нравы и привычки испорченными и нуждающимися в коренном изменении, Катон считал необходимым во всем идти противоположными путями: так, видя всеобщее увлечение ярко-красной тканью, сам стал одеваться в темное. Часто он появлялся после завтрака в общественных местах босой и в тоге на голом теле – не для того, чтобы снискать этими странными замашками славу, но приучая себя стыдиться только истинно позорного, на любое же иное неодобрение отвечать презрительным равнодушием. Получив от своего двоюродного брата Катона наследство стоимостью в сто талантов, он обратил все в деньги и предложил их взаймы без процентов нуждающимся друзьям. А иные из друзей, с согласия и одобрения Катона, даже закладывали в казну его поместья и рабов.

7. Когда Катон решил, что пришло время жениться, – а до той поры он не был близок ни с одной женщиной, – он сначала обручился с Лепидой, до него просватанной за Метелла Сципиона, который затем, однако, отказался от уговора, так что помолвка была расторгнута. Но перед самою свадьбой Лепиды Сципион снова передумал и всеми правдами и неправдами отнял у Катона невесту. В страшном гневе и ожесточении Катон хотел было обратиться в суд, но друзья удержали его, и тогда его юношеский запал и жгучая обида излились в ямбах: он осыпал Сципиона бранью, употребив для этого всю едкость Архилоха[4], но не позволяя себе его разнузданных и мальчишеских выходок. Женился он на Атилии, дочери Сорана, и она была его первой женщиной – первой, но не единственной, как у Лелия, друга Сципиона. Лелий оказался удачливее: за всю долгую жизнь он не знал иной женщины кроме той, которую взял в жены с самого начала.

8. Когда началась война с рабами – ее называют еще Спартаковой войной, – Катон вступил добровольцем в войско, которым командовал Геллий. Он сделал это ради своего брата Цепиона, служившего у Геллия военным трибуном. Хотя ему и не удалось найти применение для своего мужества и усердия в той мере, в какой ему хотелось, ибо начальники вели войну плохо, все же среди изнеженности и страсти к роскоши, которые владели тогда солдатами, он обнаружил такое умение повиноваться, столько выдержки, столько отваги, неизменно соединявшейся с трезвым расчетом, что, казалось, ни в чем не уступал Катону Старшему. Геллий отметил его наградами и славными почестями, но Катон не принял ни одной из них, сказав, что не совершил ничего, заслуживающего награды, и уже с той поры прослыл чудаком.

Вскоре был принят закон, запрещавший соискателям высших должностей пользоваться услугами номенклатора[5], и единственным человеком, повиновавшимся этому закону, оказался Катон, который выступил кандидатом на должность военного трибуна. Он принял на себя труд без чужой помощи приветствовать встречных, называя их по имени, больно задевши этим даже своих привер-

женцев и почитателей: чем яснее постигали они благородство его поступков, тем горше становилось им при мысли, что подражать Катону они не в силах.

9. Избранный военным трибуном, Катон был отправлен в Македонию к претору Рубрию. Сообщают, что супруга его сокрушалась и плакала, и один из друзей Катона, Мунатий, сказал ей так: "Будь покойна, Атилия, я сберегу тебе твоего Катона". – "Конечно", – подтвердил Катон. После первого дневного перехода, едва закончив обед, он, обратился к Мунатию: "Смотри, не вздумай нарушить обещание, которое ты дал Атилии, – не оставляй меня ни днем, ни ночью", – и сразу же приказал приготовить две постели в одной спальне. И впредь Мунатий всегда спал с ним рядом, сам очутившись под потешною охраною Катона.

Всего Катона сопровождали пятнадцать рабов[6], два вольноотпущенника и четверо друзей; сопровождающие ехали верхами, а сам он все время шел пешком, присоединяясь то к одному, то к другому и беседуя с каждым поочередно. Когда он прибыл в лагерь и претор назначил его начальником одного из многих стоявших там легионов, то считая важным, поистине царственным делом, проявить не собственную доблесть – доблесть лишь одного человека, но сделать похожими на себя своих подчиненных, он к грозной силе, какая свойственна власти, присоединил силу слова, в каждом случае убеждал и наставлял, подкрепляя затем убеждения наградами и наказаниями, и трудно было сказать, какими вследствие всех этих трудов стали его воины: более миролюбивыми или более воинственными, более отважными или более справедливыми – столько ужаса наводили они на врагов, так приветливо и дружелюбно обходились с союзниками, так боялись совершить несправедливость, так горячо жаждали заслужить похвалу. И то, о чем Катон совершенно не старался и не заботился, окружало его в изобилии – добрая слава у солдат, их любовь и безграничное уважение. Ибо, приказывая другим, он сам добровольно подчинялся тем же приказам и одеждою, пешей ходьбою, всем своим образом жизни скорее напоминал солдат, чем начальников, зато характером, разумом и красноречием превосходил любого из тех, кого именовали императорами и полководцами; все это мало-помалу и принесло ему искреннюю преданность подчиненных. Подлинная, неложная жажда доблести возникает лишь из глубочайшей преданности и уважения к тому, кто подает в ней пример; просто хвалить достойных людей, не любя их, – значит почитать их добрую славу, не восхищаясь самою доблестью и не желая подражать ей.

10. Узнав, что Афинодор, по прозвищу "Горбун", большой знаток стоического учения, живет в Пергаме, но по старости лет самым решительным образом отвергает какие бы то ни было дружеские связи с царями и властителями, Катон решил, что и он ничего не достигнет, посылая к философу письма или же нарочных, и, так как закон предоставлял ему право на два месяца покинуть службу, сам отплыл в Азию, надеясь, что достоинства собственной души помогут ему не упустить эту добычу. Он встретился с Афинодором, одолел его в споре и, заставив изменить прежний образ мыслей, привез с собою в лагерь, ликуя и гордясь, в полной уверенности, что завладел достоянием более прекрасным и

славным, нежели царства и народы, которые Помпей и Лукулл покоряли в ту пору силой оружия.

11. Катон еще служил, когда его брат, на пути в Азию, заболел и слег во фракийском городе Эне. Катона немедленно известили об этом письмом. На море была сильная буря, большого корабля, годного для такого путешествия, в Фессалонике не нашлось, и Катон с двумя друзьями и тремя слугами вышел из гавани на маленьком грузовом судне. Едва-едва не утонув и спасшись лишь благодаря какой-то удивительной случайности, он все же не застал Цепиона в живых и, насколько мы можем судить, перенес эту потерю более тяжело, чем полагалось философу: я имею в виду не только слезы, не только ласки, которые он расточал мертвому телу, сжимая его в объятиях, и вообще силу скорби, но и расходы на погребение – он сжег вместе с трупом дорогие благовония и одежды, а затем поставил на площади в Эне памятник из тесаного фасосского мрамора стоимостью в восемь талантов. Об этом злорадно толковали иные, привыкшие ко всегдашней непритязательности Катона, а потому и не понимавшие, сколько мягкости и нежности было в этом непоколебимом и суровом человеке, не поддававшемся ни страху, ни жажде наслаждений, ни бесстыдным просьбам. Города и властители, чтобы почтить умершего, прислали к похоронам много разных даров, но Катон денег не принял ни у кого, а благовония и украшения оставил, возместив, однако, приславшим стоимость их подарков. Наследниками Цепиона были его маленькая дочь и сам Катон, однако при разделе наследства он не потребовал ничего в счет понесенных им расходов. И все же, хотя он и тогда поступил безупречно, и в дальнейшем поступал не иначе, нашелся человек[7], который написал, будто Катон просеял прах умершего через решето, ища расплавившегося в огне золота! Да, как видно, не только меч свой, но и стиль[8] считал этот человек не подлежащими ни суду, ни ответу!

12. Когда срок службы Катона пришел к концу, его проводили не только добрыми пожеланиями – это дело обычное – и не похвалами, но плачем и нескончаемыми объятиями, бросали ему под ноги плащи, устилая путь, и целовали руки – честь, которую римляне в ту пору оказывали очень немногим из императоров.

Прежде чем выступить на государственном поприще, Катон из любознательности пожелал объехать Азию, чтобы познакомиться с особенностями каждой провинции, ее обычаями и образом жизни, а заодно угодить галату Дейотару, который, по праву старинной дружбы и гостеприимства, связывавших их семьи, просил его побывать в Галатии, – и вот как он путешествовал. На рассвете он отправлял своего хлебопека и повара в то место, где думал провести следующую ночь. Очень скромно, без всякого шума они прибывали в город и, если только там не оказывалось никого из друзей или знакомых отца Катона, готовили своему хозяину пристанище на постоялом дворе, никому не причиняя беспокойства. Если же не было и постоялого двора, лишь тогда они обращались к городским властям и с благодарностью принимали любую квартиру, какую бы те не отвели. Нередко случалось, что их словам вообще не давали веры и с пренебрежением отмахивались от посланцев – потому лишь, что они являлись к властям спокойно, без угроз, и тогда Катон находил их на улице, с пустыми ру-

ками. Впрочем, к самому Катону власти проявляли еще меньше внимания: видя, как он молча сидит на своей клади, они были почти уверены, что это человек робкий и ничтожный. В таких случаях он обыкновенно вызывал их и говорил им: "Негодяи, неужели вы не боитесь так обращаться с гостями? Не одни Катоны будут к вам приезжать. Дружелюбием и гостеприимством умерьте могущество победителей, которые только и ищут повода применить насилие на том основании, что миром ничего получить не могут".

13. В Сирии, как сообщают, с ним случилось забавное происшествие. Подходя к Антиохии, он заметил у городских ворот множество людей, выстроившихся по обе стороны дороги: среди них был отряд молодых юношей в коротких плащах, против юношей в скромном безмолвии стояли мальчики, некоторые из собравшихся – вероятно, жрецы или главы города – оделись в белое платье и увенчали себя венками. Первою мыслью Катона было, что город устраивает ему почетную встречу, и, уже гневаясь на своих людей, высланных вперед, которые этому не воспрепятствовали, он велел друзьям спешиться, и все вместе они двинулись дальше пешком. Когда же они были совсем близко, распорядитель всего этого торжества, строивший толпу в ряды, человек уже почтенного возраста, с посохом и в венке, подошел один к Катону и, даже не поздоровавшись, спросил, где они оставили Деметрия и когда он будет здесь. Деметрий был вольноотпущенник Помпея и пользовался у него заслуженно большим доверием, а потому все наперебой старались угодить этому человеку: ведь тогда, если можно так выразиться, взоры целого мира были устремлены к Помпею. На друзей Катона напал такой смех, что они не в силах были прийти в себя, даже проходя через ряды антиохийцев, а Катон, в сильном смущении, сказал только: "Несчастный город!" – и не проронил больше ни звука, но впоследствии обыкновенно тоже смеялся, вспоминая или рассказывая об этом случае.

14. Впрочем Помпей собственным примером наставил на истинный путь тех, кто по неведению относился к Катону неподобающим образом. Когда Катон пришел в Эфес и явился к Помпею, чтобы приветствовать его – старшего годами, намного превосходившего его самого славой и стоявшего тогда во главе несметного войска, Помпей, увидев Катона, не оставался на месте, не позволил себе принять его сидя, но бросился навстречу, словно к кому-нибудь из самых влиятельных людей, и подал ему руку. Восхищаясь нравственной высотой Катона, он горячо хвалил его и во время самого свидания, перемежая похвалы с ласковыми приветствиями, и еще горячее – позже, за глаза, так что теперь уже все пристально наблюдали за Катоном, дивились в нем как раз тому, что раньше вызывало презрение, размышляли о его кротости и великодушии. Вместе с тем очевидно было, что в предупредительности и заботах Помпея о Катоне больше уважения, чем любви, и ни от кого не укрылось, что Помпей, как ни радовался присутствию Катона, все же вздохнул с облегчением, когда тот собрался уезжать. И действительно, всех прочих молодых людей, которые к нему прибывали, Помпей всячески старался удержать и оставить при себе, Катона же ни о чем подобном не просил и с легким сердцем проводил гостя – точно его появление каким-то образом ограничило полноту власти Помпея. Однако среди всех,

отплывавших в Рим, лишь одному Катону, по сути дела, поручил он своих детей и жену, которая, впрочем, была с Катоном в родстве.

После встречи Катона с Помпеем слава Катона разнеслась далеко, города наперебой старались выказать ему свою заботу, осаждали приглашениями, устраивали пиры в его честь, так что он даже просил друзей следить за тем, как бы он, ненароком, не подтвердил предсказания Куриона. Курион, друг и близкий товарищ Катона, нисколько не одобрявший, однако, его суровости, как-то спросил, думает ли он после окончания военной службы поехать посмотреть Азию. Тот отвечал, что непременно поедет. "И прекрасно сделаешь, – заметил Курион, – ты вернешься оттуда более приветливым и обходительным". Таковы примерно были его подлинные слова.

15. Галат Дейотар, человек уже преклонных лет, звал к себе Катона, чтобы доверить его надзору свой дом и сыновей, и едва тот прибыл, осыпал его всевозможными дарами, а затем неотступными просьбами их принять до такой степени озлобил гостя, что, приехав под вечер и переночевав, он на следующее же утро, около третьего часа[9], снова пустился в путь. Но, пройдя дневной переход, он в Пессинунте застал новые дары, еще богаче и обильнее прежних, и письмо от Дейотара, просившего не отказываться от подарков; если же он все-таки откажется, продолжал галат, пусть хотя бы друзьям позволит разделить их между собою, ибо друзья его, без сомнения, достойны получить награду из рук Катона, хотя собственных его средств на это и не достает. Однако Катон не согласился, – даже видя, что некоторые из друзей поддались соблазну и в душе ропщут, – и сказал только, что всякое мздоимство легко находит для себя предлог и оправдание, друзья же его получат свою долю во всем, что он сможет приобрести честно и заслуженно. Затем он отослал дары обратно.

Когда он уже искал корабль, идущий в Брундизий, друзья говорили ему, что прах Цепиона не следовало бы везти на том же судне, но Катон ответил им, что скорее расстанется со своею душой, чем с этим прахом, и вышел в море. И сообщают, что плавание, по какому-то стечению обстоятельств, оказалось до крайности опасным, меж тем как остальные добрались довольно благополучно.

16. Возвратившись в Рим, он проводил время либо дома, в обществе Афинодора, либо на форуме, подавая помощь друзьям в суде. Возраст уже позволял ему искать должности квестора, но он выступил соискателем лишь тогда, когда прочел все относящиеся к исполнению этой должности законы, расспросил сведущих людей обо всех частностях и подробностях и составил себе представление о размерах власти и правах квестора. Вот почему он сразу же, как занял должность, произвел большие перемены в деятельности служителей и писцов казначейства, которые, постоянно держа в своих руках государственные акты и законы, а начальников получая всякий раз молодых[10] и, по неопытности, безусловно нуждающихся в учителях и наставниках, не повиновались им, но скорее сами становились их начальниками, – и так продолжалось до тех пор, пока за дело с жаром не взялся Катон. Он не удовольствовался званием квестора и почестями, которые оно давало, но, владея и разумом, и мужеством, и собственным суждением, решил, что впредь писцы будут выполнять лишь те обязанности, какие им надлежит выполнять, а именно – обязанности слуг; с тем он и принялся

изобличать виновных в злоупотреблениях и учить заблуждающихся по неведению. Но так как эти наглецы перед остальными квесторами заискивали, против Катона же дружно ополчились, он одного из них выгнал, уличив в мошенничестве при разделе наследства, а другого привлек к суду за легкомысленное отношение к своим обязанностям. Защищать последнего взялся цензор Лутаций Катул, пользовавшийся всеобщим уважением не только по высокому достоинству своей должности, но, в первую очередь, благодаря собственным качествам, – ибо не было римлянина, который превосходил бы его в справедливости и воздержности, – друг Катона и поклонник его жизненных правил. Видя, что ни малейших законных оснований выиграть дело нет, он с полной откровенностью стал просить о помиловании для своего подзащитного. Катон убеждал его замолчать, но Катул настаивал на своем все упорнее, и тогда Катон сказал: "Позор, Катул, что тебя, чей долг – испытывать и проверять наши нравы, лишают цензорского достоинства писцы казначейства!" Выслушав это замечание, Катул поднял глаза на Катона, словно собираясь ему возразить, но не сказал ничего и молча, не находя слов то ли от гнева, то ли от стыда, в полном расстройстве ушел. И все же писец не был осужден, ибо голосов, поданных в его пользу, было лишь одним меньше, чем тех, что соглашались с обвинителем, а Марк Лоллий, один из товарищей Катона по должности, заболел и не явился в суд, и Катул послал к нему, прося помочь своему подзащитному. Лоллий велел отнести себя на форум и, уже после окончания дела, подал голос за оправдание[11]. Но Катон более не пользовался услугами этого писца и не платил ему жалование, ибо отказался принять в расчет суждение и голос Лоллия.

17. Сломив таким образом своеволие писцов и ведая делами по собственному усмотрению, Катон в короткий срок достиг того, что казначейству стали оказывать больше уважения, нежели сенату, и все в Риме считали и открыто говорили, что Катон придал квестуре консульское достоинство. Во-первых, обнаружив множество старых долгов, которыми частные лица были обязаны казне или же, напротив, казна частным лицам, он разом положил конец беззакониям, которые и терпело и само творило государство: с одних он строго и неумолимо взыскал причитающиеся суммы, другим быстро и неукоснительно выплатил, внушив народу почтение и страх, ибо люди видели, как те, кто надеялся присвоить чужое, вынуждены раскошеливаться и, напротив, получают деньги те, кто уже не рассчитывал вернуть своего. Затем, во многих случаях документы представлялись не надлежащим образом, а прежние квесторы, угождая друзьям или же склоняясь на просьбы, часто принимали у граждан подложные постановления. Ничто подобное не могло укрыться от взгляда Катона, и как-то раз, сомневаясь в подлинности одного постановления и не давая веры многочисленным свидетельским показаниям, он внес его в свои книги не прежде, чем консулы явились сами и клятвенно подтвердили, что документ подлинный.

Еще были живы многие, кому Сулла давал по тысяче двести драхм в награду за каждого убитого из числа объявленных вне закона, и все их ненавидели, считали гнусными преступниками, но привлечь к ответу никто не решался, и лишь Катон, вызывая каждого поодиночке, требовал вернуть общественные деньги, которыми они владеют без всякого на то права, и одновременно яростными

словами клеймил их безбожный, беззаконный поступок. Всех, кто через это прошел, считали обвиненными и, до известной степени, уже изобличенными в убийстве, их немедленно предавали суду, и суд воздавал им по заслугам – к радости всех граждан, считавших, что вместе с убийцами искореняется тирания минувшего времени и что они собственными глазами видят, как несет наказание сам Сулла.

18. Нравилось народу и постоянное, неослабное усердие Катона. Никто из его товарищей по должности не приходил в казначейство раньше, никто не уходил позднее. Он никогда не пропускал Народного собрания или заседания сената, не сводил глаз с тех, которые, из личной благосклонности, охотно предлагали отсрочить тому или иному уплату долга или налога или же выдать вспомоществование за казенный счет. Показав гражданам казначейство, очищенное от плутов и недоступное для них, но, вместе с тем, полное денег, он убедил римлян, что и воздерживаясь от несправедливости, государство может быть богатым. Некоторым товарищам по должности он пришелся сперва по не душе, не по нраву, но позже приобрел их любовь тем, что всю неприязнь, которую возбудил отказ квесторов раздавать общественные деньги и судить пристрастно, принял на себя один и дал в руки остальным прекрасное оправдание перед назойливыми просителями: дескать, без согласия Катона ничего сделать нельзя.

В последний день своей квестуры, когда чуть ли не весь Рим торжественно проводил его до дому, он вдруг услышал, что Марцелла в казначействе окружила целая толпа влиятельных друзей и понуждает выдать им какую-то сумму – якобы в возмещение ссуды, сделанной казне. Марцелл был с детских лет товарищем Катона и вместе с ним безупречно выполнял свои обязанности квестора, но сам совершенно не умел и как бы стыдился отказывать просителям и легко делал людям всевозможные одолжения. Катон немедленно вернулся, обнаружил, что Марцелла уже заставили сделать соответствующую запись, и, потребовав писчие доски, на глазах у безмолствовавшего Марцелла стер запись. Затем он вывел Марцелла из казначейства и доставил домой, и ни в тот день, ни позже Марцелл ни единым словом его не упрекнул, напротив, до конца сохранил к нему прежнюю дружбу и приязнь.

Уже и сложив с себя квестуру, Катон не оставил казначейство без присмотра: что ни день там бывали его рабы, переписывая ежедневную ведомость прихода и расхода, а сам он за пять талантов купил книги, содержавшие расчеты по заведованию государственным достоянием со времени Суллы, и постоянно держал их под рукой.

19. В сенат он приходил первым и уходил с заседания последним, и нередко, пока остальные не торопясь собирались, Катон сидел молча и читал, прикрывая книгу тогой. В пору заседаний он никогда не уезжал из города. В более поздние времена Помпей, убедившись, что Катон неизменно и с непоколебимым упорством противодействует его беззаконным начинаниям, стал применять всевозможные уловки, чтобы помешать Катону явиться в сенат: то надо было сказать речь в защиту друга, то принять участие в третейском суде, то обнаруживалось еще что-нибудь неотложное. Но Катон быстро разгадал злой умысел и стал отказывать всем, взявши за правило во время заседаний сената ничем иным не за-

ниматься. Ведь он посвятил себя государственным делам не ради славы или наживы и не по воле случая, как некоторые другие, но избрал государственное поприще, считая его нарочито предназначенным для честного и порядочного человека, в твердом убеждении, что общественным нуждам следует уделять больше внимания, чем уделяет пчела своим сотам; между прочим он позаботился и о том, чтобы друзья и гостеприимцы, которые были у него повсюду, сообщали ему, какие важные события произошли в провинциях, и присылали копии вынесенных там важнейших распоряжений и судебных приговоров. Однажды, когда он выступил против народного вожака Клодия, сеявшего великие смуты и мятежи и старавшегося очернить в глазах народа жрецов и жриц (опасности подвергалась даже Фабия, сестра Теренции, супруги Цицерона), когда, повторяю, он выступил против Клодия и, навлекши на него бесславие и позор, заставил покинуть город, то в ответ на слова признательности, с которыми обратился к нему Цицерон, заметил, что признательность следует питать к государству, ибо лишь ради государства трудится и борется с противниками Катон.

Благодаря всему этому он пользовался такой громкой славой, что раз, во время какого-то процесса, оратор, увидев, что противная сторона выставила одного-единственного свидетеля, сказал, обращаясь к судьям: "Одному свидетелю верить нельзя, будь то даже сам Катон", а у народа его имя уже тогда вошло в пословицу, и о вещах необыкновенных и невероятных говорили, что это, дескать, и в устах Катона было бы похоже на выдумку. Некий сенатор, человек порочный и расточительный, держал речь о бережливости и воздержности, и Амней, поднявшись со своего места, воскликнул: "Послушай, это, право же, непереносимо! Ты обедаешь, как Лукулл, строишь дворцы, как Красс, а поучаешь нас, как Катон!" И вообще людей испорченных и разнузданных, но любителей важных и суровых слов в насмешку звали Катонами.

20. Многие убеждали Катона искать должности народного трибуна, но он не считал разумным употреблять сопряженную с нею огромную власть в обычных обстоятельствах – ведь и сильное лекарство, говорил он, применяют лишь в случаях крайней необходимости. Теперь он был свободен от общественных дел и, забрав с собою книги и философов, отправился в Луканию, в свои поместья, предоставлявшие возможность проводить время самым приятным и благородным образом. В дороге ему встретилась целая толпа слуг с вьючными животными, нагруженными всевозможной утварью, и услышав, что это возвращается в Рим Метелл Непот, собирающийся домогаться должности народного трибуна, Катон остановился в молчании и, немного помедлив, приказал своим поворачивать назад. На изумленные взгляды и вопросы друзей он ответил так: "Разве вы не понимаете, что Метелл опасен уже и сам по себе – своим безрассудством, а теперь, вернувшись по замыслу и по желанию Помпея, он грозно обрушится на государство и все приведет в смятение? Нет, сейчас не время для путешествия и отдыха, нужно либо одолеть этого человека, либо погибнуть славною смертью в борьбе за свободу". Все же, уступая просьбам друзей, он добрался сначала до своих поместий и провел там несколько дней, а затем пустился в обратный путь. Прибыв в город вечером, он на другое же утро явился на форум и предложил свою кандидатуру на должность трибуна – чтобы в дальнейшем, имея власть,

противостать Метеллу и его планам. Дело в том, что главная сила трибуна – в праве запрещать, а не действовать самому, и если решение одобряется голосами всех трибунов, кроме одного, верх берет этот единственный несогласный голос.

21. Сперва Катона поддерживали лишь немногочисленные друзья, но стоило намерениям его обнаружиться, как вот уже все порядочные и известные граждане сплотились вокруг него, предсказывая верный успех на выборах и уверяя, что с их стороны в этом не будет ни малейшей заслуги, напротив – это он оказывает отечеству и лучшим из римлян величайшую услугу, намереваясь теперь, ради свободы и спасения государства, вступить в опасную борьбу за должность, которую прежде столько раз мог получить без всяких хлопот, но – не пожелал. Толпа приверженцев и единомышленников, сошедшихся к нему, была, как сообщают, до того многочисленна, что он лишь с величайшим трудом и даже с угрозой для жизни смог проложить себе путь на форум. Избранный трибуном вместе с Метеллом и другими кандидатами, Катон вскоре обнаружил, что соискатели консульства действовали подкупом, и обратился к народу с резким укором, закончив свою речь клятвой выступить, не взирая на лица, с обвинением против любого, кто раздавал гражданам деньги[12]. Все же Силану, который был женат на его сестре Сервилии, и следовательно, приходился ему свойственником, он сделал снисхождение и оставил его в покое, а Луция Мурену привлек к суду за то, что тот, якобы, с помощью подкупа достиг должности вместе с Силаном. По закону обвиняемый имел право приставить к обвинителю постоянного стража, чтобы быть осведомленным обо всех приготовлениях к обвинительной речи, но человек, приставленный Муреною к Катону и сначала следивший за каждым его шагом, скоро увидел, что тот не пользуется никакими противозаконными или же злонамеренными приемами, напротив – идет к обвинению прямым и честным путем, проявляя и благородство, и даже доброжелательность; убедившись в этом, он проникся таким восхищением перед нравом и образом мыслей Катона, что, встретившись с ним на форуме или же подойдя к дверям дома, спрашивал, будет ли он сегодня заниматься делами, связанными с обвинением, и если Катон отвечал, что не будет, уходил с полным доверием к его словам. Защищал Мурену Цицерон, консул того года, и на суде, метя в Катона, без конца шутил и подтрунивал над стоическими философами и над их так называемыми странными суждениями[13]. Судьи смеялись, а Катон, как сообщают, улыбнувшись краешком губ, сказал своим соседям: "Какой шутник у нас консул, господа римляне". Мурена был оправдан. Он не последовал примеру людей скверных и глупых, не затаил злого чувства против Катона, но во время своего консульства спрашивал его совета в самых важных делах и вообще оказывал ему и уважение и доверие. Впрочем, Катон был обязан этим самому себе: грозный и страшный на ораторском возвышении или в сенате, когда дело шло о защите справедливости, он в остальное время бывал со всеми благожелателен и приветлив.

22. Еще до своего вступления в должность Катон много раз приходил на помощь Цицерону, который был тогда консулом и выдерживал частые битвы с противниками, между прочим – помог ему успешно завершить самое великое и славное из его деяний – борьбу против Катилины. Сам Катилина, замышлявший

пагубный для Рима переворот и старавшийся разжечь разом и мятеж и войну, был изобличен Цицероном и бежал из города. Однако Лентул, Цетег и с ними многие другие участники заговора, обвиняя Катилину в малодушии и нерешительности, замыслили сжечь Рим дотла и ниспровергнуть его владычество, вызвав восстание италийских племен и войну на границах. Но, как об этом рассказано в жизнеописании Цицерона[14], их планы обнаружились, собрался сенат, и первый подал свое мнение Силан, который заявил, что считает необходимым применить крайнюю меру наказания. Его поддержал другой, третий, и так все – вплоть до Цезаря. Искушенный в мастерстве красноречия и склонный скорее раздуть любую смуту в государстве, чем дать ей погаснуть, – ибо в переворотах и смутах он видел благоприятную почву для собственных замыслов, – Цезарь поднялся с места и, произнеся много увлекательных и человеколюбивых фраз, в заключение советовал не казнить заговорщиков без суда, но запереть их в тюрьме и некоторое время выждать. Своей речью он до такой степени изменил умонастроение сенаторов, боявшихся народа, что даже Силан отрекся от прежней решимости и объяснил, что и он имел в виду не смерть, а лишь тюрьму: это, дескать, крайнее из наказаний, какому можно подвергнуть римского гражданина.

23. При виде такой перемены, когда все вдруг прониклись сдержанностью и человеколюбием, против нового мнения, не медля ни минуты, гневно и страстно выступил Катон: резко осудив Силана за слабость и непостоянство, он затем набросился на Цезаря, который, прикрываясь человеколюбивыми фразами и лицемерным желанием угодить народу, подкапывается под основы государства и запугивает сенат, а между тем сам должен бы трепетать, должен радоваться, если все окончится для него благополучно и он уйдет свободным от подозрения и наказания, после того как столь явно и дерзко пытается спасти общих врагов и, судя по его же словам, нисколько не жалеет о великом и прекрасном отечестве, стоящем на краю гибели, зато печалится и проливает горькие слезы о тех, кому лучше бы вообще не родиться на свет, – горюет, что они своею смертью избавят Рим от страшного кровопролития и грозных опасностей. Говорят, что из речей Катона сохранилась лишь эта одна, ибо консул Цицерон, заранее выбрав отличавшихся быстротою руки писцов и научив их несложным значкам, которые заменяли по многу букв каждый, рассадил этих писцов по всей курии. Тогда еще не готовили так называемых стенографов и вообще не владели этим искусством, но, как видно, лишь напали на первые его следы[15]. Итак, верх взял Катон: он еще раз переубедил сенаторов и заговорщикам был вынесен смертный приговор.

24. Мы как бы набрасываем здесь изображение души, и если при этом не следует пропускать даже незначительных черточек, в которых находит свое отражение характер, то вот какой существует рассказ. Когда между Цезарем и Катоном шла напряженная борьба и жаркий спор и внимание всего сената было приковано к ним двоим, Цезарю откуда-то подали маленькую табличку. Катон заподозрил неладное и, желая бросить на Цезаря тень, стал обвинять его в тайных связях с заговорщиками и потребовал прочесть записку вслух. Тогда Цезарь передал табличку прямо в руки Катону, и тот прочитал бесстыдное пись-

мецо своей сестры Сервилии к Цезарю, который ее соблазнил и которого она горячо любила. "Держи, пропойца" – промолвил Катон, снова бросая табличку Цезарю, и вернулся к начатой речи.

По-видимому, вообще женская половина семьи доставляла Катону одни неприятности. Та сестра, о которой мы только что говорили, пользовалась дурной славой из-за Цезаря. Другая Сервилия вела себя еще безобразнее. Она вышла замуж за Лукулла, одного из первых в Риме людей, и родила ему ребенка, но затем муж выгнал ее из дому за распутство. А самое позорное, что и супруга Катона, Атилия, не была свободна от такой же вины, и ее скандальное поведение вынудило Катона расстаться с нею, несмотря на двоих детей, которых он прижил с этой женщиной.

25. Затем он женился на Марции, дочери Филиппа; она считалась нравственной женщиною, но о ней ходит множество толков самого различного свойства. Впрочем, эта сторона жизни Катона вообще полна необъяснимых загадок – словно какая-нибудь драма на театре. Фрасея, ссылаясь на Мунатия, товарища и близкого друга Катона, излагает дело так. Среди многих почитателей Катона были такие, что явственнее прочих выказывали свое восхищение и любовь, и к их числу принадлежал Квинт Гортензий, человек с громким именем и благородного нрава. Желая быть не просто приятелем и другом Катона, но связать себя самыми тесными узами со всем его домом и родом, он попытался уговорить Катона, чтобы тот передал ему свою дочь Порцию, которая жила в супружестве с Бибулом и уже родила двоих детей: пусть, словно благодатная почва, она произведет потомство и от него, Гортензия. По избитым человеческим понятиям, правда, нелепо, продолжал он, но зато согласно с природою и полезно для государства, чтобы женщина в расцвете лет и сил и не пустовала, подавив в себе способность к деторождению, и не рождала больше, чем нужно, непосильно обременяя и разоряя супруга, но чтобы право на потомство принадлежало всем достойным людям сообща, – нравственные качества тогда щедро умножатся и разольются в изобилии по всем родам и семьям, а государство благодаря этим связям надежно сплотится изнутри. Впрочем, если Бибул привязан к жене, он, Гортензий, вернет ее сразу после родов, когда через общих детей сделается еще ближе и самому Бибулу и Катону. Катон на это ответил, что, любя Гортензия и отнюдь не возражая против родственной связи с ним, находит, однако, странным вести речь о замужестве дочери, уже выданной за другого, и тут Гортензий заговорил по-иному и, без всяких околичностей раскрыв свой замысел, попросил жену самого Катона: она еще достаточно молода, чтобы рожать, а у Катона уже и так много детей. И нельзя сказать, что он отважился на такой шаг, подозревая равнодушие Катона к жене, – напротив, говорят, что как раз в ту пору она была беременна. Видя, что Гортензий не шутит, но полон настойчивости, Катон ему не отказал и заметил только, что надо еще узнать, согласен ли на это и Филипп, отец Марции. Обратились к Филиппу, и он, уступив просьбам Гортензия, обручил дочь – на том, однако, условии, чтобы Катон присутствовал при помолвке и удостоверил ее. Хоть это и относится ко времени более позднему, я не счел целесообразным откладывать рассказ, раз уже вообще зашла речь о женщинах.

26. После казни Лентула и его товарищей Цезарь не оставил без внимания нападки и укоры, сделанные ему в сенате, но прибег к защите народа и, возбуждая главным образом пораженные недугом, растленные слои общества и привлекая их на свою сторону, настолько испугал Катона, что тот убедил сенат снова поддержать неимущую чернь продовольственными раздачами; расходы составили, правда, тысячу двести пятьдесят талантов ежегодно, но зато человеколюбивая и щедрая эта мера разом свела на нет созданную Цезарем угрозу.

Вскоре Метелл, вступив в должность трибуна, принялся возмущать народ в Собрании и предложил закон, призывающий Помпея Магна как можно скорее прибыть с войском в Италию и взять на себя спасение государства от бед, которые готовит ему Катилина. Это был лишь благовидный предлог, самая же суть закона и его цель состояла в том, чтобы передать верховную власть над Римом в руки Помпея. Собрался сенат, и так как Катон не напал на Метелла с обычной резкостью, но вполне дружелюбно и мягко его увещевал, а под конец обратился даже к просьбам и расточал похвалы дому Метеллов за постоянную верность аристократии, то Метелл возомнил о себе еще больше, исполнился презрения к Катону, – который, как ему показалось, в испуге отступает, – и разразился высокомерной и дерзкой речью, угрожая ни в чем не считаться с волей сената. Тогда Катон, изменившись в лице и заговорив совсем иным тоном и в иной манере, ко всем прежним словам прибавил решительное утверждение, что, покуда он жив, Помпею с оружием в городе не бывать, и этими словами внушил сенату уверенность, что ни сам он, ни его противник собою не владеют и не в силах рассуждать здраво: поведение Метелла было настоящим безумием, ослепленный злобою и пороком, он увлекал государство к гибели, а в Катоне была видна одержимость добродетели, яростно отстаивающей благо и справедливость.

27. Наступил день, когда народу предстояло одобрить или же отвергнуть закон Метелла; в распоряжении последнего находились выстроившиеся на форуме наемники-чужеземцы, гладиаторы и рабы, а также немалая часть народа, которая возлагала на переворот большие надежды и потому с нетерпением ждала Помпея, да и в руках Цезаря, – в то время претора, – была немалая сила, с Катоном же были только виднейшие граждане, да и те разделяли скорее его негодование и обиду, нежели решимость бороться, а потому домом Катона владели величайшее уныние и страх, так что иные из друзей, собравшись вместе, бодрствовали всю ночь в тяжких и бесплодных раздумьях, не чувствуя голода, а жена и сестры плакали и молились, но сам он беседовал со всеми смело и уверенно, старался успокоить тревогу близких, пообедал как обычно и крепко спал до утра, пока его не разбудил один из товарищей по должности – Минуций Терм.

Они спустились на форум, и провожали их немногие, зато многие шли навстречу и настоятельно просили поберечь себя. Увидев, что храм Диоскуров окружен вооруженными людьми и лестница охраняется гладиаторами, а наверху сидят сам Метелл и рядом с ним Цезарь, Катон остановился и сказал, обернувшись к друзьям: "Наглый трус! Вы только поглядите, какое войско он набрал против одного, и к тому же совершенно безоружного человека!" Вместе с Термом он немедленно направился прямо к ним. Занимавшие лестницу гладиаторы

расступились перед обоими трибунами, но больше не пустили никого, так что Катон едва сумел втащить за собою на ступени Мунатия, схватив его за руку. Поднявшись, он сразу же сел между Метеллом и Цезарем и этим прервал все их разговоры. Оба они были в замешательстве, а все расположенные к Катону граждане, увидевшие его лицо и восхищенные его дерзкой отвагой, подошли ближе и громкими криками призывали Катона мужаться, а друг друга – сплотиться, стоять крепко и не покидать в беде свободу и ее защитника.

28. Служитель взял в руки текст законопроекта, но Катон запретил ему читать, тогда Метелл стал читать сам, но Катон вырвал у него свиток, а когда Метелл, знавший текст наизусть, продолжал читать по памяти, Терм зажал ему рот рукой и вообще не давал вымолвить ни звука, и так продолжалось до тех пор, пока Метелл, убедившись, что борьба эта безнадежна, а, главное, замечая, что народ начинает колебаться и склоняется на сторону победителей, не передал вооруженным бойцам приказание броситься с угрожающим криком вперед. Все разбежались кто куда, на месте остался только Катон, засыпаемый сверху камнями и палками, и единственный, кто о нем позаботился, был Мурена – тот самый, которого он прежде привлек к суду: он прикрыл его своей тогой, громко взывал к людям Метелла, чтобы они перестали бросать камни, и, в конце концов, обнимая Катона, с настоятельными увещаниями увел его в храм Диоскуров. Когда Метелл увидел, что противники его бегут с форума и подле ораторского возвышения никого нет, он счел свою победу полной и окончательной, дал приказ бойцам снова удалиться, а сам, с важным видом выступив вперед, приготовился открыть голосование. Между тем беглецы быстро оправились от испуга, повернули и ворвались на форум с таким грозным криком, что приверженцев Метелла охватило смятение и страх: решив, что враги раздобылись где-то оружием и вот-вот на них набросятся, они дружно, все как один, покинули ораторское возвышение. Когда они рассеялись, Катон вышел к народу со словами похвалы и ободрения, народ же теперь был готов любыми средствами низвергнуть Метелла, а сенат объявил, что поддерживает Катона и решительно против законопроекта, который несет Риму мятеж и междоусобную войну.

29. Сам Метелл был человеком упорным и бесстрашным, но, видя, что его сторонники трепещут при одном имени Катона и считают его совершенно неодолимым, он неожиданно появился на форуме, скликнул народ и произнес длинную, полную ненависти к Катону речь, а в конце закричал, что бежит от тираннии Катона и от составленного против Помпея заговора и что Рим, оскорбляющий великого мужа, скоро об этом пожалеет. Сразу вслед за тем он отбыл в Азию, чтобы доложить обо всем Помпею, и ярко блистала слава Катона, который избавил город от тяжкого бремени трибунского самовластия: свалив Метелла, он до известной степени подорвал могущество самого Помпея. Но еще больше славу он стяжал, когда воспротивился намерению сената с позором лишить Метелла должности и добился для него прощения. В том, что он не растоптал своего врага и не надругался над повергнутым, народ видел признаки человеколюбия и воздержности, а люди, мыслящие более глубоко, полагали, что он не хочет озлоблять Помпея, и находили это правильным и целесообразным.

Вскоре возвратился из своих походов Лукулл[16]. Мало того, что Помпей, повидимому, отнял у него счастливое завершение и славу этих походов – теперь он мог еще лишиться триумфа, ибо Гай Меммий возводил на Лукулла всевозможные вины и подстрекал против него народ – скорее из желания угодить Помпею, нежели из какой-то личной ненависти. Катон, находившийся в свойстве с Лукуллом – тот женился на его сестре Сервилии – а кроме того глубоко возмущенный страшной несправедливостью самого дела, выступил против Меммия, навлекши этим и на себя множество обвинений и наветов. В конце концов, едва не лишившись должности, якобы превращенной им в оружие тираннии, он все же вышел из борьбы победителем, заставив Меммия самого отказаться от суда и тяжбы. Лукулл справил триумф и еще крепче подружился с Катоном, приобретя в нем надежную защиту и оплот против всевластия Помпея.

30. Между тем Помпей во всем своем величии возвращается из похода, и великолепие и радушие приема, который ему оказывают, внушает ему уверенность, что ни одна его просьба не встретит отказа у сограждан, а потому он отправляет вперед своего посланца просить сенат отложить консульские выборы, чтобы он мог сам поддержать кандидатуру Пизона. Большинство сенаторов готово было согласиться, но Катон, не столько тревожась об отсрочке самой по себе, сколько желая разочаровать Помпея в первых же его надеждах, возражал и, склонив сенат на свою сторону, убедил его ответить отказом. Это немало встревожило Помпея, и в уверенности, что он будет сталкиваться с Катоном на каждом шагу, если только не приобретет его дружбы, он пригласил к себе Мунатия, друга Катона, чтобы сообщить ему о своем желании породниться с Катоном, женившись на старшей из двух его взрослых племянниц и взяв младшую в жены сыну. (Некоторые, правда, сообщают, что он посватался не к племянницам, а к дочерям Катона.) Мунатий рассказал об этом Катону, его супруге и сестрам, и женщины, соблазненные могуществом и славой Помпея, были в восторге от его предложения, но Катон, нимало не медля и не раздумывая, с глубокою обидою отвечал: "Ступай, Мунатий, ступай и скажи Помпею, что Катона в сети гинекея[17] не поймать! Но расположение его я ценю и, если он будет поступать справедливо, не откажу ему в дружбе, которая окажется прочнее всякого родства, однако заложников Помпеевой славе во вред отечеству не выдам!" Женщины были очень огорчены, а друзья порицали Катона, находя его ответ вместе и грубым и высокомерным.

Но вскорости, стараясь доставить кому-то из друзей должность консула, Помпей разослал по трибам[18] деньги, и этот подкуп стал широко известен, так как деньги отсчитывались в садах Помпея. Тогда Катон заметил жене и сестрам: "Вот в каких делах должны соучаствовать и нести свою долю позора те, кто связан с Помпеем" – и они согласились, что он решил правильнее, отвергнув сватовство. Впрочем, если судить по дальнейшим событиям, Катон совершил страшную ошибку, не пожелав вступить с Помпеем в родство и тем самым обратив его помыслы к Цезарю и представив случай заключить брак, который, слив воедино силу Помпея и Цезаря, едва вообще не погубил римского могущества, а существовавшему в ту пору государственному устройству положил конец. Ничего этого, возможно, и не случилось бы, если бы Катон, страшась мел-

ких проступков Помпея, не просмотрел и не остался равнодушен к самому главному – к тому, что тот своим могуществом увеличил могущество Цезаря.

31. Но эти события были еще впереди. А в ту пору Лукулл горячо спорил с Помпеем из-за порядков в Понте – каждый требовал, чтобы утверждены были его распоряжения, – Катон, считая, что Лукуллу наносится вопиющая обида, был на его стороне, и Помпей, видя, что в сенате он терпит поражение, и желая приобрести поддержку народа, стал призывать солдат к разделу земли. Когда же Катон и тут воспротивился и не дал закону пройти, лишь тогда Помпей был вынужден обратиться к Клодию, наглейшему из вожаков народа и его льстецов, и стал сближаться с Цезарем, и в какой-то мере причиной этому послужил сам Катон. Дело в том, что Цезарь, возвратившись из Испании, которой он управлял в звании претора, хотел искать консульства на выборах и в то же время добивался триумфа, а так как закон требовал, чтобы соискатели высших должностей находились в Риме, а полководец в ожидании триумфального шествия оставался за городскими стенами, Цезарь просил у сената дозволения хлопотать о консульстве заочно. Многие сочувствовали его желанию, но Катон был против и, зная, что сенаторы готовы уступить Цезарю, говорил весь день до темноты, тем самым помешав сенату принять решение. Тогда Цезарь, махнувши рукой на триумф, немедленно приехал в город и стал домогаться консульства и дружбы Помпея. После благополучного избрания он обручил с Помпеем свою дочь Юлию, и тут-то они и заключили союз для совместной борьбы с государством: один предлагал новые законы о разделе земли между неимущими и устройстве колоний, а другой всячески поддерживал эти предложения. Лукулл и Цицерон, примкнувши ко второму консулу, Бибулу, пытались противодействовать их планам, но горячее всех боролся Катон, уже тогда подозревавший, что от дружбы и единства Цезаря с Помпеем ничего хорошего и честного ждать не приходится. “Не столько я боюсь раздела земель, – говорил он, – сколько награды, которой потребуют за него эти совратители и потатчики народа”.

32. Сенат разделял его суждение, и немалое число граждан за стенами курии соглашались с Катоном, недовольные странным поведением Цезаря. И верно, то, на что прежде отваживались в угоду толпе лишь самые дерзкие и отчаянные из народных трибунов, делал теперь человек, облеченный консульской властью, позорно и низко заискивая перед народом. Недовольство римлян испугало Помпея и Цезаря, и они перешли к прямому насилию. Прежде всего, по пути к форуму на голову Бибулу вывернули корзину навоза, затем напали на его ликторов и изломали им розги, и, наконец, полетели камни и дротики, многие были ранены, а все остальные опрометью бежали с форума. Последним уходил Катон – медленным шагом, то и дело оборачиваясь и призывая сограждан в свидетели. Таким-то вот образом был не только утвержден раздел земли, но и принято дополнительное постановление, чтобы весь сенат поклялся признать закон действительным и защищать его от любого противника, причем отказавшемуся произнести клятву грозило жестокое наказание. Все вынуждены были поклясться, держа в памяти горькую участь старого Метелла[19], который не пожелал присягнуть в верности такому же примерно закону и изгнанником покинул Италию при полном безразличии народа к его судьбе. Поэтому вся женская полови-

на дома, проливая обильные слезы, молила Катона уступить и принести клятву, и друзья и знакомые неотступно просили его о том же. Самое успешное воздействие оказал на него и, в конце концов, убедил дать присягу оратор Цицерон. Он внушал Катону, что, считая своим долгом в полном одиночестве противиться общему решению, он, возможно, нарушает и законы справедливости, но, во всяком случае, глупость и безумие не щадить своей жизни из-за сделанного и завершенного дела, в котором ничего уже не изменишь, и наихудшим злом будет, если он бросит государство на произвол злоумышленников, то самое государство, ради которого терпит все труды и муки, и словно бы с облегчением, с удовольствием перестанет за него бороться. Если Катон не нуждается в Риме, то Рим в Катоне нуждается, нуждаются в нем и все его друзья, и первый – он сам, Цицерон: ведь ему готовит гибель Клодий, который так и рвется в бой и уже почти вооружился трибунскою властью. Такие и подобные им просьбы и доводы, звучавшие беспрерывно, дома и на форуме, как сообщают, смягчили Катона и, в конце концов, сломили его упорство – хотя и последним (не считая лишь Фавония, одного из ближайших его друзей), он все-таки пошел к присяге.

33. Воодушевленный своим успехом, Цезарь предложил еще один закон – о разделе почти всей Кампании[20] между неимущими и нуждающимися гражданами. Ему не противоречил никто, кроме Катона. Цезарь приказал прямо с ораторского возвышения отвести его в тюрьму, но и тут Катон не пал духом, не умолк, – напротив, по дороге в тюрьму он продолжал говорить о новом законе, призывая римлян обуздать тех, кто вершит дела государства подобным образом. Следом за ним шел сенат в глубоком унынии и лучшая часть народа – огорченная, негодующая, хотя и безмолвная, и от Цезаря не укрылось их угрюмое неодобрение, но он не отменил своего приказа – во-первых, из упорства, а затем, ожидая, что Катон обратится с жалобой и просьбою о помощи к трибунам. Когда же стало ясно, что он этого ни в коем случае не сделает, Цезарь сам, не зная, куда деваться от стыда, подослал кого-то из трибунов с поручением отнять Катона у стражи.

Этими своими законами и милостями Помпей и Цезарь приручили толпу, так что Цезарю были отданы в управление Иллирия и вся Галлия вместе с войском из четырех легионов сроком на пять лет (услышав об этом, Катон сказал вещее слово – что, дескать, римляне сами, своим же постановлением впускают тиранна в цитадель), а Публия Клодия, выведя его, вопреки обычаю и праву, из числа патрициев и присоединив к плебеям, выбрали народным трибуном. Помпей и Цезарь заверили его, что не будут препятствовать изгнанию Цицерона, и в благодарность он готов был во всем подчиниться их воле. Консулами были избраны Кальпурний Пизон – тесть Цезаря, и Авл Габиний – один из усерднейших льстецов Помпея, как утверждают те, кому известны были его характер и образ жизни.

34. Но, хотя эти люди держали власть так твердо, хотя они и подчинили себе римлян, одних – щедрыми милостями, других – страхом, Катона они по-прежнему боялись. Вдобавок им было тягостно и мучительно вспоминать, что победа над этим человеком досталась им не даром, но ценою напряженных усилий, сра-

ма и позорных изобличений. Клодий даже и не надеялся свалить Цицерона, пока рядом был Катон, но, только об этом и думая, он, сразу же как вступил в должность, пригласил к себе Катона и заявил, что видит в нем честнейшего и достойнейшего из римлян и готов дать доказательства своей искренности. Многие, продолжал он, хотят получить в управление Кипр и привести к покорности Птолемея[21] и просят их туда отправить, но лишь одного Катона он, Клодий, считает достойным и охотно оказывает ему услугу. "Какая же это услуга – это ловушка и надругательство!" – вскричал Катон, и Клодий с нестерпимым высокомерием отвечал: "Что ж, если ты такой неблагодарный и не признаешь моих услуг, поедешь вопреки собственной воле". С этими словами он отправился в Народное собрание и провел закон о назначении Катона. Снаряжая его в путь, Клодий не дал ему ни единого корабля, ни единого воина, ни единого служителя – никого, кроме двух писцов, из которых один был вор и отъявленный негодяй, а другой – клиент Клодия. А вдобавок, словно дела Кипра и Птолемея были сущей безделицей, он поручил Катону вернуть на родину византийских изгнанников – желая, чтобы тот как можно дольше находился вдали от Рима, пока сам он исполняет свою должность.

35. Оказавшись сам в такой крайности, Катон дал совет Цицерону, которого Клодий уже гнал и теснил, не поднимать мятежа, не ввергать государство в кровопролитную войну, но подчиниться обстоятельствам, тем самым спасая родину еще раз. На Кипр он отправил одного из друзей, Канидия, советуя Птолемею уступить без сопротивления и обещая ему в этом случае жизнь безбедную и почетную, ибо римский народ готов сделать его жрецом богини в Пафосе[22]. Сам Катон оставался на Родосе, занимаясь необходимыми приготовлениями и ожидая ответа.

В это время на Родос прибыл египетский царь Птолемей. У него вышел раздор с подданными и, в гневе на них, он покинул Александрию и держал путь в Рим, надеясь, что Помпей и Цезарь вооруженной рукой вернут его на царство. Птолемей хотел встретиться с Катоном и известил его о своем приезде, ожидая, что тот посетит его сам. Катон, однако, как раз перед тем принял слабительного и пригласил Птолемея прийти к нему, если царь пожелает, а когда он явился, не вышел ему навстречу и даже не поднялся с места, но приветствовал, как любого случайного гостя, и просил сесть. Сперва Птолемей был немало озадачен, дивясь такому высокомерию и крутости нрава, никак не сочетавшимися с простой и скромной наружностью хозяина, но потом, когда заговорил о своих делах и услышал речи полные разума и глубокой откровенности, услышал порицания Катона, объяснявшего ему, с каким благополучием он расстался и каким мучениям себя обрекает, отдаваясь во власть римских властителей, чье мздоимство и алчность едва ли насытишь, даже если обратишь в деньги весь Египет, когда услышал совет плыть назад и примириться с подданными и обещание, что Катон сам поплывет вместе с ним и поможет восстановить мир, – услышав все это, царь словно очнулся от какого-то безумия или же умоисступления и, ясно видя всю правоту и всю мудрость Катона, захотел было последовать его увещаниям. Друзья, однако ж, отговорили его, но стоило ему оказаться в Риме[23] и в первый раз приблизиться к дверям кого-то из власть имущих, как он горько пожалел о

своем неразумном решении и подумал, что не речью достойного человека он пренебрег, а скорее вещанием бога.

36. Между тем, на счастье Катона, Птолемей Кипрский покончил с собой, отравившись ядом. Хотя, судя по слухам, он оставил огромные богатства, Катон все же решил плыть в Византий, а на Кипр, не вполне полагаясь на Канидия, отправил Брута, своего племянника. В Византии он примирил изгнанников с их согражданами и, восстановив в городе согласие, отплыл на Кипр. Там он нашел горы поистине царской утвари и украшений – чаши, столы, драгоценные камни, пурпур, – которые надо было продать и обратить в деньги, но, желая вникнуть во все возможно глубже, и за каждую вещь получить наивысшую цену, и повсюду побывать самому, и все высчитать с величайшею точностью, он не только отказывался доверять порядкам и обычаям, принятым на торгах, но и вообще подозревал всех подряд – слуг, глашатаев, покупателей, даже друзей; в конце концов, он сам стал вести переговоры и торговаться с каждым из покупщиков в отдельности и таким образом продал почти весь товар. Своим недоверием он оскорбил всех друзей, а самого близкого из них, Мунатия, едва не превратил в злейшего врага, так что этот случай доставил Цезарю, когда он писал книгу против Катона, пищу для самых едких замечаний и нападок.

37. Впрочем сам Мунатий сообщает, что причиной его гнева и злобы была не подозрительность Катона, а недостаток внимания к нему, Мунатию, и его собственная ревность к Канидию. Ведь Мунатий и сам издал о Катоне сочинение, которому в основном следует Фрасея. Итак, он пишет, что прибыл на Кипр последним и получил очень незавидное помещение для жилья. Он направился было к Катону, но у дверей его остановили, сказав, что Катон с Канидием разбирают какой-то сложный вопрос, а позже на свои сдержанные упреки он получил весьма несдержанный ответ, что, дескать, слишком горячая любовь, по слову Феофраста, нередко рискует сделаться причиной ненависти. “Вот и ты, – продолжал Катон, – любя с непомерною силой, считаешь, что тебя ценят меньше, чем ты того заслуживаешь, а потому сердишься. Но я обращаюсь к Канидию чаще, чем к другим, ради его опытности и ради верности: во-первых, он прибыл сюда раньше нас, а во-вторых, показал себя безукоризненно честным”. Катон говорил это Мунатию с глаза на глаз, но затем передал их разговор Канидию. Узнав об этом, Мунатий больше не стал ходить к обеду и не являлся, если его звали посоветоваться о делах. Катон пригрозил, что потребует с него денежный залог – так обычно поступают с ослушниками, – но Мунатий, пренебрегши этой угрозой, покинул Кипр и долгое время хранил гнев и обиду. Позже Марция, которая была тогда еще за Катоном, переговорила и с тем, и с другим, а тут как раз случилось, что Барка пригласил обоих к обеду. Катон пришел последним, когда остальные были уже за столами, и спросил, где ему лечь. “Где угодно”, – отвечал Барка, и тогда Катон, обведя глазами присутствующих, сказал, что ляжет рядом с Мунатием, обогнул стол и занял соседнее с ним место, ничем иным, однако, в продолжение обеда своей доброжелательности не обнаружив. Лишь после новых просьб Марции Катон написал Мунатию, что хочет встретиться с ним для какого-то разговора, и Мунатий явился чуть свет, но Марция его задержала, пока не разошлись все остальные посетители, а затем вошел Катон, креп-

ко обнял гостя и приветствовал его самым дружеским образом. Мы задержались на этом рассказе так долго, ибо считаем, что подобные происшествия не менее чем великие, бросающиеся в глаза деяния и подвиги, позволяют понять и ясно предстатить себе человеческий характер.

38. Всего у Катона собралось без малого семь тысяч серебряных талантов, и, страшась долгого пути морем, он распорядился приготовить много сосудов, вмещавших по два таланта и пятьсот драхм каждый, и к каждому привязать длинную веревку с огромным куском пробковой коры на конце, чтобы, в случае крушения судна, этот "поплавок", поднявшись сквозь пучину на поверхность, показывал, где легло "грузило". И деньги, за исключением какой-то незначительной суммы, прибыли благополучно, но счета по всем сделкам, которые Катон совершил, заботливо и тщательно вписанные в две книги, погибли: одну из них вез его вольноотпущенник по имени Филаргир, и корабль вскоре после выхода из Кенхрей перевернулся, так что весь груз пошел ко дну, а другую он сам сохранял вплоть до Керкиры, где велел разбить на городской площади палатки, а ночью моряки, страдая от холода, развели такой громадный костер, что занялись палатки и книга погибла. Правда, присутствие царских управляющих, которых он привез с собой в Рим, должно было зажать рот врагам и клеветникам, но самого Катона эта неудача грызла и терзала, ибо не столько он хотел представить доказательства собственного бескорыстия, сколько лелеял честолюбивую мечту дать другим пример строжайшей точности, однако судьба не позволила этой мечте сбыться.

39. Когда суда завершили морской переход, об этом тут же стало известно в Риме, и все должностные лица и жрецы, весь сенат и бóльшая часть народа вышли навстречу Катону к реке, так что оба берега были усеяны людьми и это плавание вверх по Тибру пышным и торжественным своим видом нисколько не уступало триумфу. Впрочем, иным показалось глупой заносчивостью, что, увидев консулов и преторов, Катон и сам не высадился, чтобы их приветствовать, и даже не остановил суда, но на царском корабле с шестью рядами весел стремительно мчал вдоль берегов, пока не ввел свой флот в гавань. Однако ж, когда деньги понесли через форум, не только народ дивился их обилию, но и сенат, собравшись и воздав Катону подобающие похвалы, постановил предоставить ему чрезвычайную претуру и право появляться на зрелищах в тоге с пурпурной каймой. Но Катон отверг эти почести и лишь просил сенат – и получил от него обещание – отпустить на волю управляющего царским имуществом Никия, засвидетельствовав усердие и верность этого человека. Консулом был тогда Филипп, отец Марции, и в известной мере достоинство и сила его власти возвышали и Катона, хотя надо сказать, что товарищ Филиппа по должности[24] оказывал Катону всяческое уважение столько же ради замечательных его качеств, сколько из-за свойства с Филиппом.

40. Цицерон, возвратившийся из изгнания, которым обязан был Клодию, и вновь приобретший большой вес, в отсутствие своего врага силою сбросил с места и разбил трибунские таблицы, написанные и поставленные на Капитолии по распоряжению Клодия, и когда собрался сенат и Клодий выступил с обвинением, ответил, что Клодий занял должность вопреки закону, а потому все его дей-

ствия, предложения и записи следует полагать несостоявшимися и не имеющими силы. Катона больно задела эта речь и, в конце концов, он поднялся и сказал так: "Поведение и поступки Клодия в должности трибуна я не считаю ни здравыми, ни полезными, но если кто отрицает все, сделанное им, то надо объявить несостоявшимися и мои труды на Кипре, а самое назначение мое – незаконным, поскольку его предложил избранный вопреки законам трибун. Однако ж в избрании его не было ничего противозаконного, ибо он с согласия и разрешения закона перешел из патрицианского рода в плебейский, а если он, как и многие другие, оказался в должности никуда не годным, надо за совершенные злоупотребления потребовать к ответу его самого, но не унижать должность, которая также стала жертвой его злоупотреблений". Цицерон жестоко обиделся на Катона, и дружба их на долгое время прекратилась, но впоследствии они вновь стали друзьями.

41. Вскоре Помпей и Красс, встретившись с Цезарем, который приехал из-за Альп, договорились с ним, что будут домогаться второго консульства, и если его достигнут, то через Народное собрание продлят Цезарю полномочия еще на такой же срок, а сами получат важнейшие из провинций, а также необходимые денежные суммы и войско. То был заговор для раздела верховной власти и ниспровержения существующего государственного строя. Многие порядочные люди готовились в тот год предложить свою кандидатуру на консульских выборах, но, увидев в числе соискателей Красса и Помпея, в страхе отступились – все, кроме лишь Луция Домиция, супруга сестры Катона, Порции, которого Катон убедил ни в коем случае не отказываться от прежнего намерения, ибо, говорил он, это борьба не за должность, а за свободу римлян. Впрочем, и среди сохранявшей еще здравый рассудок части граждан шли речи, что нельзя позволять могуществу Красса и Помпея слиться воедино, – ибо тогда консульская власть сделается непомерно и невыносимо тяжелой, – но одному из них следует в консульстве отказать. Эти граждане поддерживали Домиция, убеждали его мужаться и крепко стоять на своем, – при голосовании, дескать, даже многие из тех, что теперь от страха молчат, будут на его стороне. Именно этого Помпей и опасался и, когда Домиций, едва забрезжило утро, спускался при свете факелов на Поле, устроил ему засаду. Первый удар достался факелоносцу самого Домиция – он упал и сразу испустил дух, потом получили раны и остальные и все бросились бежать. Только Домиция Катон, хотя и сам раненный в шею, удерживал на месте, убеждая остаться и до последнего дыхания не покидать битвы за свободу против тираннов: ведь какова будет их власть, они достаточно ясно дают понять уже теперь, идя к ней дорогою таких преступлений. (42). Домиций, однако, не пожелал подвергать себя прямой опасности, но укрылся в своем доме, и консулами были избраны Помпей и Красс.

Все же Катон и тут не сложил оружия – теперь он сам выступил соискателем должности претора, чтобы приобрести опорную позицию для будущих сражений и чтобы, имея противниками консулов, самому не оставаться частным лицом. Но те, понимая, что претура благодаря Катону может сделаться достойной противницей консульства, и страшась этого, прежде всего, неожиданно и не оповестив значительную часть сенаторов, созвали сенат и провели решение,

чтобы новые преторы вступили в должность немедленно после избрания[25], не дожидаясь назначенного законом срока, в который обыкновенно проходили судебные дела против виновных в подкупе народа. Затем, обеспечив себе этим решением право безнаказанно подкупать граждан, они поставили преторами своих прислужников и друзей, сами раздавая деньги и сами же возглавляя подачу голосов. Впрочем слава и нравственное совершенство Катона взяли сперва верх и над этими козням, ибо народ робел, считая чудовищным злодеянием продать на выборах Катона – Катона, которого Риму не грех было бы и купить себе в преторы! – и триба, призванная к голосованию первой, высказалась за него. Тогда Помпей, самым бессовестным образом солгав, будто он слышал раскат грома, внезапно распустил Собрание: римляне верят, что такие явления требуют искупительных жертв, и потому при каких бы то ни было знаках с небес любое решение считают недействительным.

Снова был пущен в ход обильный и щедрый подкуп, лучших граждан выгнали с Поля и, наконец, силою добились своего: претором вместо Катона был избран Ватиний. Затем, как сообщают, все, подавшие голоса в таком вопиющем противоречии с законами и справедливостью, немедленно удалились чуть ли не бегом, остальные же, полные негодования, не желали расходиться, с разрешения кого-то из трибунов тут же открылось Собрание[26], и Катон, словно вдохновленный богами, предрек Риму все его будущее, и предостерегал граждан против Помпея и Красса, которые вынашивают такие замыслы и намерены править государством так, что должны бояться Катона – как бы он, сделавшись претором, не взял над ними верх и не расстроил их планы. Когда же, наконец, он пошел домой, его провожало больше народу, нежели всех вновь избранных преторов вместе взятых.

43. Гай Требоний предложил законопроект о разделе провинций между консулами, заключавшийся в том, что одному из них предназначалась Испания и Африка, а другому – Сирия и Египет с правом начинать и вести войну на суше и на море с любым противником и покорять любые народы по собственному усмотрению и выбору, и все остальные, отчаявшись в возможности дать отпор или хотя бы помешать этому предложению, не стали против него и высказываться, лишь Катон перед голосованием поднялся на ораторское возвышение и попросил слова. Он получил – и то с большим трудом – разрешение говорить два часа, не более, и когда, многое внушая и многое предсказывая римлянам, израсходовал это время, ему велели замолчать, а так как он оставался на прежнем месте, подошел ликтор и силой стащил его с возвышения. Но и стоя внизу, он продолжал кричать, находя слушателей, разделявших его негодование, и ликтор снова схватил его и увел с форума прочь; не успел ликтор его отпустить, как он тут же вернулся и подошел к возвышению, громко взывая к согражданам о защите. Это повторялось много раз, пока Требоний, в крайнем раздражении, не приказал отвести его в тюрьму, но следом за ним двинулась целая толпа, внимавшая его словам, ибо он не умолкал и на ходу, и Требоний, испугавшись, велел его освободить. Так из-за Катона весь день прошел впустую. Но в последующие дни Помпей и Красс сумели часть граждан запугать, а иных склонить на свою сторону взятками и одолжениями, и вот, заперев народного трибуна Акви-

лия в курии и приставив к дверям вооруженный караул, а самого Катона, кричавшего, что гремел гром, прогнавши с форума, немало народу ранив и нескольких человек уложив на месте, приверженцы консулов, наконец, утвердили закон, но насилие было настолько очевидным, что многочисленная толпа в ярости бросилась опрокидывать статуи Помпея. Однако этому воспрепятствовал во-время подоспевший Катон.

Вслед за тем было внесено еще одно предложение – о провинциях и войсках Цезаря, и тут Катон обратился уже не к народу, а к самому Помпею, заверяя и предупреждая его, что себе на шею сажает он теперь Цезаря, сам того не ведая, и скоро начнет мучительно тяготиться этим бременем, но уже ни сбросить его, ни дальше нести не сможет, и тогда рухнет вместе с ним на город, и вспомнит увещания Катона, убедившись, что пользы для самого Помпея в них заключилось ничуть не меньше, нежели благородства и справедливости. Помпей, однако, слышал подобные речи не в первый раз и всегда пропускал их мимо ушей, не веря в измену Цезаря потому, что слишком крепко верил в собственную удачу и могущество.

44. На следующий год Катон был избран в преторы, но не столько придал этой должности веса и величия прекрасным ее исполнением, сколько унизил и осрамил тем, что часто являлся к преторскому возвышению босой и в тоге на голом теле и в таком виде выносил решения по делам, где речь шла о жизни или смерти видных людей. Некоторые сообщают даже, что ему случалось судить и под хмельком, выпив за завтраком вина, но это неправда.

Так как честолюбцы продолжали развращать народ подкупом и большинство уже успело сделать для себя взятки привычным промыслом, Катон, желая совершенно искоренить этот недуг римского государства, убедил сенат принять постановление, по которому вновь избранные должностные лица, даже в том случае если против них не было выдвинуто никаких обвинений, обязывались явиться перед судом присяжных и представить отчет о своем избрании. Этим были возмущены и искатели должностей, и – еще сильнее – продажная чернь. Однажды ранним утром, когда Катон направлялся к преторскому возвышению, недовольные дружно напали на него и принялись кричать, браниться и бросать камни, так что все, находившиеся подле возвышения, бежали, а сам Катон, оттесненный и отброшенный толпою, едва выбрался к ораторскому возвышению. Поднявшись наверх, он одним своим видом, бесстрашным и решительным, тотчас пресек шум и волнение и, сказав отвечающую обстоятельствам речь, которая была выслушана вполне спокойно, положил конец беспорядкам. Сенат обратился к нему с похвалами. "А вот я вас не могу похвалить – вы покинули в опасности своего претора и не пришли ему на помощь", – отвечал Катон.

Все соискатели оказались в большом затруднении, боясь действовать подкупом сами, но в то же время опасаясь потерпеть неудачу на выборах, если кто-нибудь из противников все-таки прибегнет к подкупу. И вот они сошлись на том, что каждый дает в залог по сто двадцать тысяч драхм и затем ищет должности только честными и справедливыми средствами, а кто нарушит условия и станет подкупать граждан, лишается своих денег. Свидетелем, судьею и блюстителем своего соглашения они избрали Катона, понесли к нему деньги и подписа-

ли в его доме договор; деньги, однако, он принять не захотел и предложил, чтобы вместо этого каждый выставил поручителя.

Когда пришел решающий день, Катон, встав рядом с трибуном, который руководил голосованием, и внимательно следя за подачей голосов, изобличил одного из участников соглашения в недобросовестности и велел ему отдать деньги остальным соискателям. Те громко восхищались справедливостью Катона, деньги, однако, решили не брать, считая, что виновный и без того уже достаточно наказан. Но всех прочих поступок Катона сильно раздосадовал и вызвал к нему зависть и ненависть, ибо он, по общему мнению, присвоил себе власть сената, суда и высших должностных лиц. Нет ни одного нравственного качества, чья слава и влияние рождали бы больше зависти, нежели справедливость, ибо ей обычно сопутствует и могущество, и огромное доверие у народа. Справедливых не только уважают, как уважают храбрых, не только дивятся и восхищаются ими, как восхищаются мудрыми, но любят их, твердо на них полагаются, верят им, тогда как к храбрым и мудрым питают либо страх, либо недоверие. Вдобавок считается, что и храбрые и мудрые выше остальных от природы, а не по собственной воле и что храбрость – это особая крепость души, а мудрость – особая ее острота. Между тем, чтобы стать справедливым, достаточно собственного желания. Вот почему несправедливости, порока, который ничем не скрыть и не оправдать, стыдятся так, как никакого другого.

45. Именно по этой причине и враждовали с Катоном все видные люди Рима, словно без конца посрамляемые его превосходством. Помпей, в славе Катона видевший гибель собственного могущества, все время напускал на него каких-либо хулителей, среди которых был и народный вожак Клодий: он снова примкнул к Помпею и теперь громогласно обвинял Катона в том, что он похитил на Кипре огромные деньги, а с Помпеем воюет, обманувшись в надеждах выдать за него свою дочь. Катон на это отвечал, что, не взяв с собою ни единого всадника, ни единого пехотинца, собрал для государства столько денег, сколько Помпей не привез, потрясши и взбудоражив всю вселенную, после всех своих бесчисленных войн и триумфов, о свойствѐ же с Помпеем он никогда и не помышлял – не то, чтобы считая Помпея недостойным такого свойства́, но видя глубокое различие в их правилах и убеждениях. "Я, – продолжал он, – отказался от провинции, которую мне давали после претуры, а он одни провинции захватывает силой, другие сам раздает, а теперь, в довершение всего, одолжил Цезарю шесть тысяч солдат для войны в Галлии. Цезарь просил их не у вас, римляне, и не с вашего одобрения дал их Помпей – нет, такие громадные силы, столько оружия и боевых коней превращены в дары, которыми обмениваются частные лица! Именуясь императором и военачальником, он передал другим войска и провинции, а сам засел близ Рима, подстрекая к беспорядкам на выборах и разжигая волнения, – ясно, что через безначалие и безвластие он рвется к единовластию".

46. Так оборонялся Катон против Помпея. Был у Катона друг и ревностный приверженец Марк Фавоний – такой же, каким, судя по рассказам писателей, был некогда при Сократе Аполлодор Фалерский, – человек страстный и безмерно увлеченный речами Катона, которые действовали на него не постепенно,

не мало-помалу, но вдруг, точно несмешанное вино, и разом лишали рассудка. Он искал должности эдила и потерпел поражение, но Катон, присутствовавший на выборах, обратил внимание на то, что все таблички надписаны одной рукой. Разоблачив обман, он тут же обратился с жалобой к народному трибуну, и выборы были признаны недействительными. Фаворий получил должность, и Катон вместе с ним исполнял все обязанности эдила, между прочим – устраивал театральные зрелища. Участникам хора и музыкантам он приготовил в награду не золотые венки, а масличные, как в Олимпии, и вместо дорогих подарков грекам решил дать свеклу, салат, редьку, груши, а римлянам – кувшины с вином, свинину, смоквы, дыни и вязанки дров. Одни насмехались над скудостью этих подарков, а другие радовались, видя, что всегда суровый и черствый Катон хоть немного развеселился. В конце концов Фаворий смешался с толпою, сел среди зрителей и стал рукоплескать Катону, крича, чтобы он сам вручил отличившимся почетные награды, и приглашая зрителей присоединиться к его просьбе, потому что, дескать, все свои полномочия он передал Катону. В это время Курион, товарищ Фавония по должности, давал в другом театре роскошное и пышное празднество, но граждане оставили Куриона, перешли к Фавонию и вместе с ним от всей души веселились, глядя, как он разыгрывает роль частного лица, а Катон – эдила. Придумал же это Катон, чтобы высмеять тех, кто не щадя трудов, хлопочет о вещах, по сути дела ничего не стоящих, и воочию показать римлянам, что на играх все, действительно, должно быть игрою и что радушная простота в таких обстоятельствах уместнее, чем сложные приготовления и разорительная роскошь.

47. Когда соискателями консульства выступили Сципион, Гипсей и Милон и уже не просто пустили в ход привычные и глубоко укоренившиеся злоупотребления – взятки и подкуп, но дерзко и безумно, не останавливаясь ни пред вооруженным насилием, ни пред убийствами, рвались навстречу междоусобной войне и некоторые предлагали верховный надзор за выборами поручить Помпею, Катон сперва возражал, говоря, что не законам нужно искать защиты у Помпея, а Помпею у законов. Но так как безначалие все продолжалось, и, что ни день, три враждебных лагеря окружали форум, и зло уже вот-вот должно было сделаться неодолимым, – он решил, что лучше теперь, пока еще не дошло до крайности, предоставить Помпею неограниченные полномочия волею и милостью сената и, воспользовавшись самым малым из беззаконий, как целительным средством ради спасения государства от величайшей опасности, сознательно ввести единовластие, а не доводить дело до того, чтобы единовластие выросло из мятежа само по себе. И вот Бибул, родич Катона, заявляет в сенате, что надо избрать Помпея единственным консулом: либо под его управлением все пойдет на лад, либо, по крайней мере, Рим окажется в рабстве у сильнейшего и достойнейшего из граждан. Затем выступает Катон и, вопреки всеобщим ожиданиям, поддерживает Бибула, говоря, что любая власть лучше безвластия, а Помпей, как он надеется, сумеет употребить свое нынешнее могущество наилучшим образом и сбережет доверенное его охране государство.

48. Так Помпей был избран консулом и тут же пригласил Катона к себе, в загородное имение. Он встретил гостя приветливо, дружелюбно, обходительно,

засвидетельствовал свою признательность и просил постоянно помогать ему советами во время этого консульства. Катон отвечал, что ни одно из прежних его выступлений не было вызвано ненавистью к Помпею, точно так же как и это, последнее, – желанием ему угодить, но все они имели одну цель – благо государства. Частным образом, продолжал Катон, он будет давать советы, если Помпей этого пожелает, но высказывать свои суждения перед сенатом и народом намерен в любом случае, не справляясь с желанием Помпея. Слова его не разошлись с делом. Во-первых, когда Помпей объявил, что наложит новые, тяжкие наказания на тех, кто подкупал народ, Катон призвал забыть о прошлом и подумать о будущем. Ведь не так просто решить, как далеко должны зайти розыски по старым преступлениям и где следует остановиться, и затем, если за прежние провинности будут назначены новые наказания, это в высшей степени несправедливо: люди понесут кару в соответствии с законом, которого они, совершая преступление, не нарушали! Во-вторых, Катон видел, что, привлекши к ответственности немало знатных римлян, и среди них даже собственных друзей и родичей, Помпей во многих случаях проявляет чрезмерную снисходительность, и резко его за это порицал, требуя решительных действий. Когда же Помпей особым законом отменил обычай произносить похвальные речи в честь обвиняемых, а сам написал похвалу Мунатию Планку[27] и представил ее в суд. Катон, оказавшийся в числе судей, зажал уши руками, чтобы остановить служителя, читавшего показания Помпея. В ответ на это Планк, когда прения сторон окончились, заявил ему отвод, но все-таки был осужден. И вообще Катон был для обвиняемых тяжкой, неодолимой помехой – видеть его среди судей они не хотели, а заявить отвод не решались, ибо уклоняться от встречи с Катоном означало, по мнению судей, обнаружить неуверенность в собственной правоте, и это обстоятельство нередко оказывалось решающим. А иной раз и в перебранке, как тяжкий и позорный укор, противнику ставилось на вид, что он, дескать, не принял в число своих судей Катона.

49. Цезарь оставался с войском в Галлии и вел войну за войной, но, в то же время, при помощи друзей и щедрых подарков, делал все возможное, чтобы приобрести влияние в самом Риме, так что теперь прорицания Катона побудили, наконец, Помпея распроститься с прежним слепым неверием в перемены и, – пока еще смутно, словно во сне, – увидеть надвигающуюся опасность. Однако медлительность и робкое ожидание владели им безраздельно, он не решался ни пресечь происки Цезаря, ни ударить первым, и Катон решил искать консульства, чтобы немедленно вырвать у Цезаря из рук оружие или, по крайней мере, разоблачить его умыслы. Оба его соперника на будущих выборах были люди достойные. Правда, один из них, Сульпиций, в прошлом был многим обязан славе и влиянию Катона, а потому его действия казались и несправедливыми и неблагодарными, но Катон не винил Сульпиция. "Можно ли удивляться, – говорил он, – если человек не хочет уступать другому того, что сам считает величайшим из благ?" Он убедил сенат принять постановление, чтобы соискатели приветствовали народ сами, а не просили за себя через других лиц, и тем еще сильнее озлобил римлян: мало ему, говорили в городе, что он разорил народ, лишив его права принимать вознаграждение, – теперь он отнимает у него влияние и досто-

инство, запрещая дарить свою благосклонность. Вдобавок, Катон был совершенно неспособен просить за себя, но предпочитал сберечь в неприкосновенности славу своей жизни, приобретенную благодаря собственному характеру и в согласии с ним, и не присоединять к ней славу консульства, добытую ценою искательства и лицемерного радушия; а так как он и друзьям не разрешил каким бы то ни было образом привлекать и улавливать толпу, то на выборах потерпел неудачу.

50. Подобные неудачи, как правило, на много дней выводят из равновесия не только самого потерпевшего, но и его друзей и родичей, терзая их стыдом, унынием и печалью. Катон, однако, перенес случившееся с таким хладнокровием, что тут же, на Поле, натерся маслом и стал играть в мяч, а после завтрака, спустившись на форум, как обычно босой и в тоге на голом теле, прогуливался с друзьями. Цицерон порицает его за то, что хотя сами обстоятельства требовали тогда такого консула, как Катон, он, со своей стороны, не проявил должного усердия, не постарался ласковым обхождением приобрести любовь народа и даже на будущее отказался от всяких надежд, словно уставши от борьбы, тогда как прежде, потерпев неудачу на преторских выборах, он выставил свою кандидатуру еще раз. Катон, возражая, объяснял, что претуры он не получил вопреки истинному суждению народа, который был либо подкуплен, либо уступил насилию; но на консульских выборах, проходивших без всяких злоупотреблений, он убедился, что народ относится к нему неприязненно из-за его нрава, а человеку разумному не к лицу ни менять свой нрав в угоду другим, ни, оставаясь верным себе, снова терпеть прежние разочарования.

51. Когда Цезарь, отважно вторгшись в земли воинственных племен, одержал победу и распространился слух, будто он напал на германцев во время перемирия и перебил триста тысяч, все считали, что народ, в благодарность за радостную весть, должен принести жертвы богам и справить праздник, и только Катон настоятельно советовал выдать Цезаря тем, кто пострадал от его вероломства, не брать ответственность за преступление на себя и не возлагать ее на государство. "Нет, – воскликнул он, – давайте за то возблагодарим богов жертвами, что безумие и безрассудство полководца они не вменили в вину воинам и попрежнему щадят наш город!" После этого Цезарь прислал сенату письмо, полное хулы и обвинений против Катона. Когда оно было прочитано перед сенаторами, Катон поднялся и без гнева, без запальчивости, но, словно заранее обдумав и взвесив каждое слово, доказал, что все эти жалобы – не более, чем брань и издевательство, что все это – мальчишеское шутовство, которое разрешает себе Цезарь, а затем перешел к его замыслам и намерениям и раскрыл их от начала до конца, не как враг, но словно единомышленник и соучастник, внушая, что не потомков германцев и кельтов, но его, Цезаря, дóлжно страшиться римлянам, если только они еще в здравом уме. Его речь многих убедила и взволновала, и друзья Цезаря горько пожалели, что, прочтя в сенате письмо, дали Катону случай выступить с такими меткими и справедливыми обвинениями.

Решения, впрочем, не было принято никакого, говорили только, что следовало бы послать Цезарю преемника. Но друзья его требовали, чтобы и Помпей

одновременно сложил оружие и передал свои провинции новому наместнику или же – чтобы к этому не принуждали и Цезаря, и тогда Катон стал кричать повсюду, что ныне его предсказания сбываются – Цезарь уже открыто грозит насилием, пользуясь властью, которую приобрел тайком, обманывая государство. Однако за стенами курии никто его не слушал, ибо именно Цезаря, и никого иного, хотел увидеть народ на вершине могущества, а сенат разделял мнение Катона, но боялся народа.

52. Когда же Цезарь занял Аримин и пришло известие, что он движется с войском на Рим, взоры всех – и народа, и Помпеи – обратились к Катону, единственному, кто с самого начала разгадал планы Цезаря, и первому, кто о них предупреждал. В ответ Катон заметил: "Если бы вы прежде прислушивались к моим предупреждениям и советам, сограждане, не надо было бы вам сейчас ни страшиться одного-единственного человека, ни возлагать все надежды опять-таки на одного". Помпей возразил только, что Катон вещал как настоящий пророк, а он сам действовал как настоящий друг, а затем Катон предложил сенату облечь Помпея неограниченными полномочиями: кто сделался причиною великих бедствий, тот пусть их и утишит. Но у Помпея не было войска наготове, а те воины, которых он принялся собирать, не обнаруживали никакого желания сражаться, и, убедившись в этом, он покинул Рим. Катон, решив следовать за ним и разделить его участь в изгнании, отправил младшего сына в Бруттий к Мунатию, а старшего захватил с собой. А так как его дом и дочери нуждались в присмотре, он снова взял в жены Марцию, оставшуюся вдовой с большим состоянием, ибо Гортензий умер, назначив ее своей наследницей. За это яростно бранит Катона Цезарь, обвиняя его в неуемном корыстолюбии, – брак, дескать, был для него доходным промыслом. Зачем, спрашивается, надо было уступать жену другому, если она нужна тебе самому, а если не нужна – зачем было брать ее назад? Ясное дело, что он с самого начала хотел поймать Гортензия на эту приманку, и ссудил ему Марцию молодой, чтобы получить назад богатой! На эти нападки уместно ответить стихами Эврипида[28]:

Начну с кощунства твоего; ведь, право,
Кощунство – трусом называть Геракла!

Ибо корить Катона низкой алчностью – все равно, что Геракла называть трусом. Нет ли в этом браке каких-либо иных изъянов – вот чему следовало бы уделить внимание. Ведь нам известно только одно: женившись и доверив заботам Марции свой дом и дочерей, Катон немедленно пустился вслед за Помпеем.

53. Сообщают, что с того дня Катон не стриг больше волос, не брил бороды, не возлагал на голову венок и – в знак несчастий отечества – до самого конца хранил вид печальный, унылый и суровый, всегда один и тот же, независимо от побед или поражений его друзей.

Получив по жребию в управление Сицилию, он переправился в Сиракузы и узнав, что Азиний Поллион, полководец из вражеского стана, прибыл с войском в Мессену, потребовал у него ответа, на каком основании высадился он в Сицилии. Но тот, в свою очередь, потребовал, чтобы Катон принял в расчет со-

вершившиеся перемены; и, узнав, что Помпей окончательно покинул Италию и стоит лагерем в Диррахии, Катон сказал, что, поистине, шатки и темны решения богов, если Помпей, пока творил одни безумства и беззакония, оставался непобедимым, а теперь, когда он хочет спасти отечество и защищает свободу, счастье ему изменило. Азиния, продолжал Катон, он мог бы вытеснить из Сицилии, но на подмогу противнику подходят новые силы, а он не хочет вконец разорить остров войной. Дав сиракузянам совет позаботиться о своем спасении и принять сторону победителя, он вышел в море.

Соединившись с Помпеем, Катон неизменно держался одной мысли – что войну следует затягивать, ибо надеялся на перемирие и не хотел, чтобы государство в битве нанесло поражение самому себе и потерпело величайший, невозместимый урон, решив спор оружием. Он даже убедил Помпея и его советников вынести постановление не предавать грабежу ни единого из подвластных Риму городов и вне поля битвы ни единого из римских граждан не убивать. Это принесло славу делу Помпея и привлекло в его стан многих, высоко ценивших такую кротость и человечность.

54. Отправившись в Азию, на помощь тем, кто собирал там войско и боевые суда, Катон повез с собою свою сестру Сервилию вместе с ее ребенком от Лукулла. Она была вдовою и последовала за братом, и этим поступком сильно приглушила дурную молву о своем прежнем беспутстве, ибо добровольно разделила с Катоном его скитания и суровый образ жизни. Впрочем Цезарь и по этому случаю не преминул осыпать Катона бранью. Как видно, полководцы Помпея нисколько не нуждались в помощи Катона. Единственное, что он сделал, – это склонил на свою сторону родосцев, а затем, оставив у них Сервилию с ребенком, вернулся к Помпею, уже располагавшему значительной сухопутной и морской силой. Тут Помпей, как нам кажется, с наибольшей ясностью обнаружил свой образ мыслей. Он решил было поручить Катону начальство над флотом, который насчитывал не менее пятисот боевых кораблей и огромное множество либурнских, сторожевых и легких судов, но вскоре, то ли сам приняв в рассуждение, то ли прислушавшись к голосам друзей, что для Катона существует лишь одна-единственная цель – освободить отечество и что, следовательно, ставши владыкою таких огромных сил, он в тот самый день, как будет достигнута победа над Цезарем, потребует, чтобы и Помпей сложил оружие и подчинился законам, – приняв все это в рассуждение, передумал (хотя уже успел сообщить Катону о своих планах) и начальником флота назначил Бибула. Но он не заметил, чтобы усердие и рвение Катона после этого ослабли. Напротив, перед одной из битв при Диррахии, когда Помпей хотел воодушевить войско и велел каждому из начальников сказать солдатам несколько ободряющих слов, воины слушали молча и равнодушно, но вот, после всех, выступил Катон и кратко, насколько позволяли обстоятельства, но с полной внутренней убежденностью рассказал, что говорит философия о свободе, доблести, смерти и славе, заключив свою речь призывом к богам – "свидетелям и очевидцам нашей битвы за отечество". Поднялся такой крик, такое волнение, что все начальники зажглись надеждой и во главе своих людей бросились навстречу опасности. Противник был разбит и обращен в бегство, но полную победу у приверженцев Помпея, вос-

пользовавшись для этого осторожностью их полководца и его неверием в успех, добрый гений Цезаря все же отнял. Об этом рассказано в жизнеописании Помпея. Все радовались и превозносили до небес свою удачу, и только Катон оплакивал отечество и губительное, злополучное властолюбие и сокрушался, видя, как много честных граждан лишили друг друга жизни.

55. Когда Помпей, преследуя Цезаря, двинулся в Фессалию и оставил у Диррахия много оружия, денег и многих своих родичей и друзей, охранять их он поручил Катону с пятнадцатью когортами воинов – в одно и то же время и доверяя этому человеку и страшась его. Он знал, что в случае поражения может рассчитывать на Катона, как ни на кого другого, но, если он победит, Катон, находясь рядом, не даст ему выполнить своих намерений. По той же причине Помпей оставил в Диррахии вместе с Катоном многих видных людей.

После разгрома при Фарсале Катон принял такое решение: если Помпей погиб, он доставит воинов и всех своих подопечных в Италию, а сам будет жить изгнанником как можно дальше от тиранна и его власти, если же Помпей жив, он сбережет ему войско во что бы то ни стало. С этим он переправился на Керкиру, где стоял флот, и хотел уступить командование Цицерону – бывшему консулу, тогда как сам он занимал в прошлом лишь должность претора, но Цицерон, уже приготовившийся отплыть в Италию, отказался. Тут Катон, заметив, что Помпей[29] с неуместной заносчивостью и самоуверенностью хочет наказать отъезжающих и прежде всего намерен схватить Цицерона, в частной беседе образумил и унял молодого человека и таким образом не только спас от верной смерти самого Цицерона, но и всех остальных избавил от опасности.

56. Катон предполагал, что Помпей Магн будет искать убежища в Египте или в Африке, и, спеша к нему, вышел со всем своим отрядом в море, но перед тем как сняться с якоря предоставил каждому, кто не желал участвовать в походе, право остаться или же уехать в другом направлении. Плывя вдоль африканского берега, он встретился с Секстом, младшим из двух сыновей Помпея, и тот сообщил ему о гибели отца в Египте. Все были в страшном горе, но теперь, когда Помпей умер и пока Катон был среди них, никто и слышать не хотел ни о каком другом полководце. И Катон, жалея этих достойных людей, давших ему явное доказательство преданности и доверия, стыдясь бросить их на произвол судьбы в чужом краю, одиноких и беспомощных, принял командование. Он направил путь в Кирену, и жители впустили его, хотя Лабиен, несколькими днями ранее, доступа в город не получил. Узнавши в Кирене, что Сципиона, тестя Помпея, дружески принял царь Юба и что там же находится со своим войском Аттий Вар, назначенный Помпеем наместник Африки, Катон двинулся к ним сушею, так как время было зимнее[30], собрав для этого путешествия огромное множество ослов, которые несли воду, гоня следом за войском огромное стадо скота и ведя множество повозок. Взял он с собою и так называемых псиллов[31], которые исцеляют от укусов змей, высасывая ртом яд, а самих змей завораживают и укрощают заклинаниями. Переход длился двадцать семь дней кряду, и все это время Катон шел впереди пешком, ни разу не сев ни на верхового коня, ни на вьючное животное. Обедал он сидя[32]: с того дня, как он узнал о поражении при Фарсале, к прочим знакам скорби он прибавил еще один – иначе, как

для сна, не ложиться. Всю зиму он оставался в Африке...*. Численность его войска была немногим менее десяти тысяч.

57. Сципион и Вар находились в незавидном положении, ибо, погрязнув в раздорах, они оба заискивали перед Юбой и угождали ему, меж тем как царь и вообще-то был невыносим из-за тяжелого нрава и непомерной гордости своим богатством и могуществом. При первой встрече с Катоном он хотел сесть посредине, а Катона и Сципиона посадить по обе стороны трона. Но Катон, заметив это, поднял свой стул и переставил его на другую сторону, отдавая срединное место Сципиону, хотя тот был его врагом и даже издал книгу, в которой бранил и оскорблял Катона. И еще находятся люди, которые этому поступку не придают никакой цены, зато простить Катону не могут, что он как-то в Сицилии, на прогулке, из уважения к философии уступил почетное место Филострату! Так Катон сбил спесь с Юбы, уже смотревшего на Сципиона как на своего сатрапа, а затем примирил Сципиона с Варом. Все требовали, чтобы он принял начальствование, и первые – Сципион и Вар, охотно уступавшие ему власть, но он заявил, что не нарушит законов, ради которых ведет войну с тем, кто их нарушает, и не поставит себя, бывшего претора, выше полководца в ранге консула. Дело в том, что Сципиону были даны консульские полномочия, и его имя внушало народу уверенность в победе: ведь в Африке командовал Сципион!

58. Но едва Сципион принял власть, как тут же, в угоду Юбе, решил перебить всех взрослых мужчин в Утике, а самый город разрушить – за сочувствие Цезарю. Катон не мог вынести такой вопиющей несправедливости: призывая в свидетели богов и людей, он кричал в совете до тех пор, пока все же не вырвал этих несчастных из когтей Юбы и Сципиона. Отчасти по просьбе самих жителей, отчасти по требованию Сципиона он взялся охранять город, чтобы Утика ни добровольно, ни вопреки своему желанию не присоединилась к Цезарю. Это была позиция, во всех отношениях чрезвычайно выгодная для того, кто ею владел, а Катон усилил ее еще более. Он сделал огромные запасы хлеба и привел в порядок укрепления, воздвигнув башни, проведя перед городом глубокие рвы и насыпав вал. Тем из жителей, кто был помоложе, он приказал сдать оружие и поселил их в укрепленном лагере, а остальных держал в городе, строго следя, чтобы римляне их не притесняли и не чинили им никаких обид. Много оружия, денег и хлеба он отправил основным силам, стоявшим в лагере, и вообще превратил Утику в военный склад. Он давал Сципиону те же советы, что прежде Помпею, – не вступать в битву с опытным и страшным противником, но положиться на время, которое истощает силу всякой тираннии. Однако Сципион самоуверенно пренебрегал его советами, а однажды, упрекая его в трусости, написал: "Мало тебе того, что ты сам сидишь в городе, за крепкими стенами, – ты и другим не позволяешь воспользоваться удобным случаем и отважно осуществить свои замыслы!" На это Катон отвечал, что готов взять своих пехотинцев и всадников, которых он привез в Африку, переправиться с ними в Италию и обратить удар Цезаря на себя, отвлекши его внимание от Сципиона. Но Сципион только смеялся, получив его письмо, и тогда Катон уже совершенно открыто

* Текст в оригинале испорчен.

стал сокрушаться, что уступил власть человеку, который и военными действиями руководит плохо и в случае успеха, оказавшись сверх ожидания победителем, будет слишком крут и суров со своими согражданами. Вот почему Катон пришел к мысли (которой не скрывал и от друзей), что не следует питать никаких надежд на благополучный исход войны – слишком неопытны и заносчивы их полководцы, а если бы вдруг случилась удача и Цезарь был свергнут, он, Катон, все равно не останется в Риме, но бежит от тяжелого и жестокого нрава Сципиона, который уже теперь позволяет себе с возмутительным высокомерием угрожать многим людям.

Но все его опасения померкли перед истинными размерами бедствия. Поздним вечером из лагеря прибыл гонец, который провел в пути три дня; он сообщил, что при Тапсе было большое сражение, что всё безнадежно проиграно и погублено, что Цезарь овладел лагерем, а Сципион, Юба и немногие уцелевшие спаслись бегством, остальное же войско истреблено до последнего человека.

59. Когда эта весть разнеслась по городу, жители почти что обезумели и едва не покинули городских стен – иного, впрочем, нельзя было и ожидать в ночной темноте и в военное время. Катон немедленно вышел на улицу и, останавливая метавшихся и истошно вопивших жителей, старался успокоить каждого в отдельности, хоть сколько-нибудь унять их страх и смятение, говорил, что, возможно, события отнюдь не так ужасны, но просто преувеличены молвой. Так он, в конце концов, водворил порядок. Наутро, едва рассвело, он созвал в храм Зевса триста человек, составлявших при нем совет (все это были римские граждане, которые жили в Африке, занимаясь торговлей и отдачею денег в рост), а также всех находившихся в Утике сенаторов и их сыновей. Пока они сходились, появился и сам Катон, с таким спокойствием и уверенностью, словно ничего не произошло, сел и стал читать книгу, которую держал в руке. В книге были описи военным машинам, оружию, стрелам, хлебу и списки солдат. Когда все собрались, он обратился сперва к этим тремстам и, горячо похвалив их преданность и верность, которую они доказали, поддерживая его и деньгами, и рабочею силой, и советами – с величайшею пользою для дела, – убеждал их не разлучаться друг с другом, не искать спасения и прибежища каждому порознь, но остаться всем вместе – тогда Цезарь будет глядеть на них с бо́льшим уважением, если они решат продолжать войну, и скорее их помилует, если они запросят пощады. Он призывал их обсудить свое положение самим, без его участия, заверяя, что в любом случае не станет порицать их выбор, но, если они повернут вслед за удачею и счастием, сочтет такую перемену волей судьбы. Если же они захотят противостать беде и не побоятся подвергнуть себя опасностям во имя свободы, он не только похвалит их мужество, но будет им восхищен и предложит себя в соратники и вожди, пока участь отечества не откроется им до конца. Отечество же их – не Утика и не Адрумет, но Рим, благодаря великой своей силе не раз оправлявшийся от еще более страшных ударов. Многие обстоятельства позволяют уповать на спасение и благополучие, и главное из них – то, что противника осаждает множество забот сразу: Испания приняла сторону Помпея Младшего, самый Рим еще далеко не освоился с непривычною для него уздой,

но негодует и на любую перемену ответит дружным восстанием. А стало быть, надо не уклоняться от опасности, но последовать примеру врага, который не щадит своей жизни в борьбе, и притом – ради величайших насилий и несправедливостей, так что неясный пока исход войны не сулит ему, как им самим, безмерно счастливой жизни в случае победы и столь же завидной смерти в случае поражения. Впрочем, прибавил Катон, они должны все обдумать сами. Свою речь он завершил молитвою, чтобы, в награду за прежнюю их храбрость и верность, любое решение, какое они ни примут, было им на благо.

60. Некоторых слова Катона лишь немного приободрили, но самую значительную часть собравшихся его бесстрашие, благородство и человеколюбие заставили почти что забыть об истинном положении дел, и они просили его – единственно неодолимого среди вождей, стоящего выше всякой судьбы и всякой удачи – распоряжаться их жизнью, имуществом и оружием, как он сочтет нужным, ибо лучше умереть, повинуясь его приказам, нежели спасти свою жизнь, предавши доблесть, столь высокую. Кто-то предложил издать указ об освобождении рабов, и большинство совета одобрило эту мысль, но Катон ее отверг, сказав, что это было бы противно и законам и справедливости; однако, заметил он, если хозяева сами отпустят своих рабов на волю, он возьмет тех, что способны к службе в войске. Со всех сторон зазвучали обещания, и Катон, попросив каждого из желающих записаться, ушел.

Вскоре ему доставили письма от Юбы и Сципиона. Юба, укрывшийся с немногими спутниками в горах, спрашивал, как намерен действовать Катон, и обещал ждать его на месте, если он оставит Утику, или же, напротив, явиться с войском на помощь, если он примет осаду. Сципион стоял с флотом у какого-то мыса невдалеке от Утики и тоже ждал ответа.

61. Катон решил задержать гонцов до тех пор, пока не подтвердятся обещания и намерения Трехсот. Ибо сенаторы, действительно, были полны решимости и немедленно вооружили своих рабов, отпустив их на волю, но у Трехсот, судовладельцев и ростовщиков, чье состояние почти целиком заключено было в рабах, слова Катона оставались в памяти недолго. Подобно тому, как пористые тела быстро вбирают тепло, и столь же быстро его отдают, остывают, стоит лишь унести огонь, – так же точно вид Катона оживлял и согревал этих людей, но когда они принялись обсуждать дело наедине, страх перед Цезарем вытеснил благоговение пред Катоном и пред нравственной красотою. "Кто такие мы, – говорили они, – и кому дерзаем отказывать в повиновении? Разве не к Цезарю перешла теперь вся мощь и сила римлян? А ведь из нас ни один не может назвать себя ни Сципионом, ни Помпеем, ни Катоном! И в то самое время, когда все прочие от страха преисполнены покорности даже больше, чем это необходимо, мы беремся защищать римскую свободу и выступаем из Утики войною против того, кому отдали Италию Катон с Помпеем Магном, – отдали, а сами бежали! – мы освобождаем рабов, а у самих свободы ровно столько, сколько соблаговолит оставить нам Цезарь! Так давайте, жалкие мы люди, хотя бы теперь опомнимся и пошлем к победителю просить пощады". Так говорили наиболее умеренные из Трехсот, а большинство уже плело козни против сенаторов, советуя их задержать, в надежде, что это смягчит гнев Цезаря. 62. Катон догадывался

об этой перемене, но виду не подавал и только отпустил гонцов, сообщая Сципиону и Юбе, что Триста ненадежны и что им надо держаться подальше от Утики.

В это время к городу приблизился значительный конный отряд – то были уцелевшие в битве остатки римской конницы, – и всадники прислали Катону трех нарочных с тремя различными мнениями: часть отряда стояла за то, чтобы уйти к Юбе, другая хотела присоединиться к Катону, а третьи боялись вступать в Утику. Выслушав нарочных, Катон приказал Марку Рубрию присматривать за Тремястами и собирать списки тех, кто намерен освободить своих рабов, но делать это мирно, не прибегая к насилию, а сам, забрав с собою сенаторов, выехал за стены Утики, встретился с начальниками конницы и стал просить их не бросать на произвол судьбы стольких римских граждан из сенаторского сословия и не ставить над собою полководцем Юбу вместо Катона, но спастись всем сообща и спасти других, войдя в город, совершенно неприступный и располагающий запасами хлеба и всякого снаряжения на многие годы. О том же с плачем молили сенаторы, и начальники конницы принялись совещаться со своими всадниками, а Катон сел на какой-то холмик и вместе с сенаторами ждал ответа.

63. Но тут появился Рубрий с гневными обвинениями против Трехсот, которые, дескать, решили перейти на сторону врага, а потому сеют в городе беспорядок и смятение. При этом известии сенаторы, в полном отчаянии, разразились слезами и жалобами, Катон же старался их ободрить, а к Тремстам отправил человека с просьбою помедлить еще немного. Следом за Рубрием подъехали и всадники. Требования их были суровы. Они заявили, что нисколько не нуждаются в жаловании Юбы и столь же мало страшатся Цезаря, если Катон примет над ними команду, но запереться в Утике, вместе с коварными пунийцами, – дело опасное: теперь они, может быть, и спокойны, но когда Цезарь подойдет ближе, они все вместе нападут на римлян и выдадут их врагу. Итак, вот их условие: кто нуждается в их присутствии и военной помощи, пусть сперва изгонит из Утики жителей или перебьет всех до единого, а уж потом приглашает их в город, очищенный от врагов и варваров. Катон нашел это условие чудовищно жестоким и варварским, но спокойно отвечал, что посоветуется с Тремястами. Тут же вернувшись в город, он встретился со своими бывшими советниками, которые, забыв всякий стыд, не думали больше ни о каких отговорках и оправданиях, но открыто негодовали, что их заставляют воевать с Цезарем, хотя у них нет ни сил, ни желания для такой войны, а некоторые добавляли и насчет сенаторов, что-де надо бы их задержать в городе, раз Цезарь уже рядом. Катон, однако, сделал вид, будто не слышит (он, и в самом деле, был туговат на ухо), и ничего на это не ответил. Когда же кто-то подошел и сказал ему, что всадники уходят, он, опасаясь, как бы Триста не совершили над сенаторами какой-нибудь уже вконец отчаянной жестокости, поспешно двинулся с друзьями за город. Видя, что отряд успел уйти довольно далеко, он вскочил на коня и пустился вдогонку, а всадники, заметив Катона, подняли радостный крик, остановились и звали его спасаться вместе с ними. Но Катон, как сообщают, стал молить за сенаторов, простирал, обливаясь слезами, руки, даже поворачивал коней и хватался за оружие воинов, пока наконец не упросил их пробыть в Утике хотя бы день и дать этим несчастным возможность беспрепятственно скрыться.

64. Когда он вернулся в сопровождении всадников и одних поставил у ворот, а другим поручил караулить крепость, Триста испугались, как бы им не пришлось поплатиться за свое вероломство, и послали к Катону просить, чтобы он непременно к ним пришел. Но сенаторы окружили его и не пускали, говоря, что не доверят своего спасителя и заступника коварным предателям. Вероятно, именно тогда все находившиеся в Утике яснее ясного увидели и с величайшим восхищением оценили нравственную высоту Катона, ибо ни капли притворства, ни капли хитрости не было примешано к его действиям. Человек, уже давно решившийся покончить с собой, принимал неслыханной тяжести труды, терпел заботы и муки, чтобы, избавив от опасности всех остальных, самому уйти из жизни. Да, его стремление к смерти не осталось незамеченным, хотя он никому не говорил ни слова. Итак, он уступает настояниям Трехсот и, успокоив сперва сенаторов, отправляется к ним один. Те благодарили его, умоляли рассчитывать на их на верность и услуги, а если они не Катоны и не способны вместить благородства Катона, – снизойти к их слабости. Они решили просить у Цезаря пощады, но, прежде всего и главным образом, их посланец будет просить за него, Катона, если же они ничего не достигнут, то и сами не примут милости и будут защищать Катона до последнего дыхания. Катон похвалил их добрые намерения и сказал, чтобы они поскорее отряжали посланца, но только ради собственного спасения, за него же просить не надо: ведь просят побежденные и молят о прощении те, кто чинит неправду, а он не только не знал поражений в течение всей жизни, но и одолевал Цезаря, побеждал его тем оружием, которое сам избрал, – благородством и справедливостью своих действий. Напротив, Цезарь изобличен и побежден, ибо его давние козни против отечества, в которых он никогда не признавался теперь, раскрыты и обнаружены.

65. Затем он расстался с Тремястами. Получив известие, что Цезарь со всем своим войском уже на пути к Утике, он промолвил: "Ха, он еще думает встретить здесь мужчин!" – и, обратившись к сенаторам, советовал им не терять времени, но спасаться, пока всадники в городе. Он приказал запереть все ворота, кроме одних, которые вели к морю, распределил суда между своими подопечными, поддерживал порядок, пресекая всякое насилие и унимая суматоху, снабжал припасами на дорогу тех, кто остался без средств к существованию. Именно в эту пору Марк Октавий с двумя легионами разбил лагерь невдалеке от Утики и прислал к Катону своего человека с предложением условиться о разделе власти и начальствования. Октавию Катон не дал никакого ответа, а друзьям сказал: "Можно ли удивляться, что дело наше погибло, если властолюбие не оставляет нас даже на самом краю бездны!"

Между тем он услыхал, что римская конница уже покидает город и грабит имущество жителей. Катон бегом ринулся к всадникам и у первых, кто попался ему на глаза, вырвал добычу из рук, остальные же сами стали бросать и складывать похищенное, и все удалялись, понурив голову, не смея вымолвить от стыда ни слова. Потом Катон велел собрать в город всех жителей Утики и просил их не ожесточать Цезаря против Трехсот, но искать спасения всем вместе, стоя друг за друга. Вернувшись затем к морю, он наблюдал, как идет погрузка и посадка, и прощался с друзьями, которых убедил уехать. Сына, однако, он не убе-

дил сесть на корабль; впрочем он и не считал нужным мешать ему в исполнении сыновнего долга.

Был среди римлян некий Статилий, человек еще молодой, но желавший проявить твердость духа и убеждений и стремившийся подражать бесстрастию Катона. Катон настаивал, чтобы он отплыл вместе с другими, ибо ненависть его к Цезарю была известна всем. Статилий не соглашался, и тогда Катон, обернувшись к стоику Аполлониду и перипатетику Деметрию, сказал: "Ваше дело – сломить этого гордеца и направить его на путь собственной пользы". Снаряжая в плавание последних беглецов, подавая помощь и совет тем, кто испытывал потребность в них, он провел за этим занятием всю ночь и бо́льшую часть следующего дня.

66. Луций Цезарь, родственник того Цезаря, должен был отправиться послом от Трехсот и просил Катона составить для него убедительную речь, с которой он, дескать, выступит в их защиту. "Ради тебя же самого, – прибавил он, – мне не стыдно будет ни припасть к коленам Цезаря, ни ловить его руки". Но Катон просил Луция не делать этого. "Если бы я хотел спастись милостью Цезаря, – сказал он, – мне бы самому следовало к нему идти. Но я не желаю, чтобы тиранн, творя беззаконие, еще и связал бы меня благодарностью. В самом деле, ведь он нарушает законы, даря, словно господин и владыка, спасение тем, над кем не должен иметь никакой власти! А как тебе выпросить у него прощение для Трехсот, мы подумаем сообща, если хочешь". Он обсудил с Луцием его дело, а затем представил ему своего сына и друзей. Проводив гостя и дружески с ним простившись, Катон вернулся домой, позвал сына и друзей и долго беседовал с ними о разных предметах, между прочим – запретил юноше касаться государственных дел: обстоятельства, сказал он, больше не позволяют заниматься этими делами так, как достойно Катона, заниматься же ими по-иному – позорно.

Под вечер он пошел в баню. Тут он вспомнил про Статилия и громко воскликнул: "Ну что, Аполлонид, отправил ты Статилия, сбил с него спесь? Неужели он отплыл, даже не попрощавшись с нами?" – "Как бы не так! – отвечал Аполлонид. – Сколько мы с ним ни говорили – все впустую. Он горд и непреклонен, уверяет, что останется и сделает то же, что ты". И Катон с улыбкою заметил: "Ну, это скоро будет видно".

67. Помывшись, он обедал – в многолюдном обществе, но, как всегда после битвы при Фарсале, сидя: ложился он только для сна. С ним обедали правители Утики и все друзья. После обеда, за вином, пошел ученый и приятный разговор, один философский вопрос сменялся другим, пока, наконец, беседующие не коснулись одного из так называемых "странных суждений" стоиков, а именно – что только порядочный, нравственный человек свободен, а все дурные люди – рабы. Когда перипатетик, как и следовало ожидать, стал оспаривать это суждение, Катон резко, суровым тоном его прервал и произнес чрезвычайно пространную и удивительно горячую речь, из которой каждому стало ясно, что он решил положить предел своей жизни и разом избавиться от всех бедствий. За столом воцарилась тишина и всеобщее уныние, и Катон, чтобы ободрить друзей и развеять их подозрения, снова вернулся к заботам дня, выражая свою тревогу

за тех, кто вышел в море, и за тех, кто бредет по безводной, населенной лишь варварами пустыне.

68. Катон отпустил гостей, совершил с друзьями обычную послеобеденную прогулку, отдал начальникам караулов необходимые распоряжения, но, уходя к себе, обнял и приветствовал друзей и сына теплее, чем всегда, и этим снова возбудил у них подозрения. Войдя в спальню, он лег и взял диалог Платона “О душе”[33]. Он прочел книгу почти до конца, когда, подняв взор, заметил, что его меч больше не висит на своем обычном месте, над изголовием, – сын унес оружие еще во время обеда. Катон позвал раба и спросил, кто забрал меч, слуга молчал, и Катон снова взялся за книгу, а немного спустя, – чтобы не казалось, будто он обеспокоен или же дело к спеху, но словно вообще желая разыскать меч, – велел его принести. Время шло, но с мечом никто не являлся, и Катон, дочитав книгу, стал кликать раба за рабом и громче прежнего требовать меч. Одного он даже ударил кулаком в лицо и разбил себе в кровь руку; полный негодования, он теперь громко кричал, что сын и слуги обезоружили его и хотят предать в руки врага, пока, наконец, не вбежал с плачем его сын вместе с друзьями и не бросился к отцу, умоляя его успокоиться. Но Катон выпрямился, грозно посмотрел на него и сказал: “Где и когда, неведомо для меня самого, уличили меня в безумии, что теперь никто со мною не разговаривает, никто не старается разубедить в неудачном, на чужой взгляд, выборе или решении, но силою препятствуют мне следовать моим правилам и отбирают оружие? Что же ты, мой милейший? Ты еще вдобавок свяжи отца, скрути ему за спиною руки, чтобы, когда придет Цезарь, я бы уже и сопротивляться не смог! Да, сопротивляться, ибо против себя самого мне не нужно никакого меча – я могу умереть, на короткое время задержав дыхание или одним ударом размозжив себе голову об стену”.

69. После этих его слов молодой человек вышел, рыдая, и за ним все остальные, кроме Деметрия и Аполлонида. Обращаясь к ним уже более сдержанно и спокойно, Катон сказал: “Неужели и вы думаете силой удерживать среди живых человека в таких летах, как мои, и караулить меня, молча сидя рядом? Или же вы принесли доводы и доказательства, что Катону не страшно и не стыдно ждать спасения от врага, коль скоро иного выхода он не находит? Отчего же вы не пытаетесь внушить нам это, не переучиваете на новый лад, чтобы мы, отбросив прежние убеждения и взгляды, с которыми прожили целую жизнь, стали благодаря Цезарю мудрее и тем большую питали к нему признательность? Со всем тем я еще не решил, как мне с собою быть, но, когда приму решение, я должен иметь силу и средства его выполнить. Решать же я буду, в известной мере, вместе с вами – сообразуясь с теми взглядами, каких, философствуя, держитесь и вы. Итак, будьте покойны, ступайте и внушите моему сыну, чтобы он, коль скоро уговорить отца не может, не обращался к принуждению”.

70. Деметрий и Аполлонид ни словом на это не возразили и тихо вышли, обливаясь слезами. Потом маленький мальчик принес меч, Катон извлек его из ножен и внимательно осмотрел. Убедившись, что острие цело и лезвие хорошо отточено, он сказал: “Ну, теперь я сам себе хозяин”, – отложил меч и снова взял книгу; как сообщают, он перечел ее от начала до конца еще дважды. Потом он

заснул так крепко, что храп был слышен даже за дверями спальни, а около полуночи позвал двоих вольноотпущенников – Клеанта, лекаря, и Бута, который чаще всего помогал ему в государственных делах. Бута он послал к морю, чтобы тот поглядел и сообщил, все ли отплыли, а лекарю дал перевязать руку, воспалившуюся и распухшую от удара, который он нанес рабу. Это всех обрадовало – все подумали, что он остается жить. Вскоре вернулся Бут и сказал, что отплыли все, кроме Красса, которого что-то задержало на берегу, но и он уже садится на корабль, хотя на море волнение и сильный ветер. Услышав это, Катон тяжело вздохнул о тех, кто вышел в плавание, и снова послал Бута к морю посмотреть, не вернулся ли кто и не нужно ли им чем-нибудь помочь. Уже пели петухи. Катон было снова задремал, когда появился Бут и сообщил, что в гавани все спокойно, и Катон велел ему затворить дверь, а сам лег, словно собираясь проспать остаток ночи. Едва, однако, Бут вышел, как он обнажил меч и вонзил себе в живот пониже груди; больная рука не смогла нанести достаточно сильного удара, и он скончался не сразу, но в предсмертных муках упал с кровати, опрокинув стоявший рядом столик со счетною доской, так что рабы услышали грохот, закричали, и тут же в спальню ворвались сын и друзья. Увидев его, плавающего в крови, с вывалившимися внутренностями, но еще живого – взор его еще не потускнел – они оцепенели от ужаса, и только лекарь, приблизившись, попытался вложить на место нетронутую мечом часть кишок и зашить рану. Но тут Катон очнулся, оттолкнул врача и, собственными руками снова разодрав рану, испустил дух.

71. Никто бы не поверил, что о случившейся беде успели узнать хотя бы все домочадцы, – а Триста были уже у дверей, а немного погодя собрался и народ Утики, и все в один голос взывали к умершему, именуя его благодетелем и спасителем, единственно свободным и единственно неодолимым. Здесь их и застала весть, что Цезарь приближается, но ни страх, ни желание угодить победителю, ни взаимные несогласия и раздор не могли притупить или ослабить их уважения к Катону. Они богато убрали тело, устроили пышное похоронное шествие и предали труп погребению на берегу моря, там, где теперь стоит статуя Катона с мечом в руке. Лишь затем они обратились к заботам о спасении города и собственной жизни.

72. Цезарь знал от тех, кто прибывал к нему из Утики, что Катон даже не думает о бегстве и, отсылая всех остальных, сам с сыном и друзьями без всякой боязни остается в городе. Постигнуть замысел Катона он не мог, но, видя в этом человеке одного из главнейших своих противников, поспешно двинулся с войском к Утике. Услышав о смерти Катона, он, как сообщают, промолвил: “Ох, Катон, ненавистна мне твоя смерть, потому что и тебе ненавистно было принять от меня спасение!” И в самом деле, согласись Катон принять от Цезаря помилование, он, видимо, не столько запятнал бы собственную славу, сколько украсил славу Цезаря. Правда, не совсем ясно, как поступил бы в этом случае сам победитель, но естественнее было ждать от Цезаря милости, нежели непримиримого ожесточения.

73. Катон умер в возрасте сорока восьми лет. Сыну его Цезарь не причинил ни малейшего зла. Это был, насколько можно судить, человек легкомысленный

и чересчур падкий на женскую прелесть. Приехав однажды в Каппадокию, он остановился у своего гостеприимца Марфадата, происходившего из царского рода и женатого на очень красивой женщине: молодой Катон прожил у него дольше, чем позволяли приличия, давши повод к всевозможным насмешкам и язвительным стихам, вроде, например, следующего:

Наш Катон уедет завтра – прогостил лишь тридцать дней,

или же такого:

С Марфадатом Порций дружен – завладел его "душой",

(жену Марфадата звали Психеей), или еще:

Славен Порций благородный – у него "душа" царя[34].

Однако всю эту дурную славу он зачеркнул и стер своею смертью. Он сражался при Филиппах за свободу против Цезаря и Антония и, когда боевой строй уже дрогнул, не пожелал ни бежать, ни вообще скрываться, но пал, бросая врагам вызов, громко крича им свое имя и ободряя товарищей, оставшихся с ним рядом, так что даже противник не мог не восхищаться его отвагой.

Дочь Катона, еще менее уступавшая отцу не только мужеством, но и воздержностью, была замужем за Брутом, убийцею Цезаря. Она участвовала в том же заговоре и достойно ушла из жизни – в согласии с высоким своим происхождением и высокими нравственными качествами, как об этом рассказано в жизнеописании Брута.

Статилий, утверждавший, что последует примеру Катона, хотел сразу же покончить с собой, но философы помешали ему исполнить задуманное; впоследствии он был среди вернейших и лучших соратников Брута и погиб при Филиппах.





АГИД И КЛЕОМЕН И ТИБЕРИЙ И ГАЙ ГРАКХИ

АГИД И КЛЕОМЕН

[АГИД]

1. Вполне разумно и основательно предполагают некоторые, будто миф о том, как Иксион сочетался с облаком, приняв его за Геру, и как от этой связи родились кентавры, придуман в поучение честолюбцам. Ведь и честолюбцы, лаская славу, то есть некое подобие или призрак доблести, никогда не следуют истине, единой, строго согласной с собою, но совершают много неверных, как бы стоящих между злом и добром поступков и, одержимые то одним, то другим стремлением, служат зависти и прочим страстям. Пастухи у Софокла[1] говорят о своих стадах:

Да, мы их господа, и мы же их рабы;
Хотя они молчат, но мы покорствуем,

и то же самое испытывают государственные мужи, если, повинуясь желаниям толпы, по-рабски ей угождают ради звания «вождей народа» и «правителей». Подобно тому, как носовой начальник[2] то и дело оборачивается на кормчего и выполняет его приказы, хотя море перед судном видно ему лучше, яснее, точно так же государственные мужи, жаждущие славы, – слуги толпы и только по имени ее правители.

2. Человеку совершенному и безукоризненному слава не нужна вообще, кроме лишь той, которая, создавая доверие, облегчает ему путь к действиям. Надо, правда, добавить, что молодому, самолюбивому человеку простительно в меру гордиться славою своих добрых и доблестных поступков. Ростки прекрасных качеств, всходящие в молодых душах, сперва, как говорит Феофраст, крепнут от похвал, а потом поднимаются выше уже под воздействием благородного образа мыслей.

Чрезмерность опасна во всем, при любых обстоятельствах, но чрезмерное честолюбие на государственном поприще просто губительно. Людей, достигших большой власти, оно приводит к умоисступлению и явному помешательству, когда они уже отказывают достойным славы считать прекрасное, а, напротив, считают прекрасным то, что стяжало славу. Фокион сказал однажды Антипатру, который просил у него помощи в каком-то неприглядном деле: «Я не могу быть для тебя и другом и льстивым угодником одновременно!» Так следовало

бы сказать и народу: «Один и тот же человек не может быть у вас вместе и правителем и прислужником». А иначе все получается точь-в-точь, как со змеею в басне[3]: хвост взбунтовался против головы и потребовал, чтобы ему не тащиться постоянно сзади, но чтобы им с головою чередоваться, а когда занял место впереди, то полз как попало, так что и себя погубил злою смертью и разбил вдребезги голову, которой пришлось, наперекор природе, следовать за слепым и глухим вожаком. Мы знаем, что такая участь выпала многим из тех, кто, правя государством, ни в чем не хотел идти народу наперекор. Поставивши себя в зависимость от слепо несущейся вперед толпы, они потом не могли уже ни остановиться сами, ни остановить смуту.

На эти мысли о славе у толпы, о том, каким могуществом обладает подобная слава, меня навела судьба Тиберия и Гая Гракхов: прекрасные от природы люди, получившие прекрасное воспитание, руководившиеся прекрасными правилами, они были погублены не столько безмерною жаждой славы, сколько страхом перед бесславием, страхом, основания которого отнюдь не лишены были благородства. Снискав горячую любовь сограждан, они стыдились остаться у них в долгу и, постоянно стремясь полезными для народа начинаниями превзойти полученные от него почести, а за это получая все новые доказательства благодарности и доверия, разожгли своего рода честолюбивое соревнование между собою и народом и незаметно для себя вступили в такую область, где и двигаться дальше было ошибкой, но и остановиться уже оказывалось позором. Впрочем, суди об этом сам, когда прочтешь мой рассказ.

Сравнить же с ними я хочу чету лаконских вождей народа – царей Агида и Клеомена. Они тоже возвеличивали народ, как и те двое, и, пытаясь восстановить прекрасный и справедливый образ правления, уже давно утраченный и преданный забвению, точно так же стяжали ненависть сильных, не желавших расставаться со своими старинными преимуществами. Братьями лаконцы не были, но родственным и братским был путь, который они себе избрали, вступив на него вот каким образом.

3. Когда в город лакедемонян впервые вкралась страсть к серебру и золоту[4] и следом за приобретением богатства пришли корыстолюбие и скупость, а следом за вкушением первых его плодов – роскошь, изнеженность и расточительство, Спарта лишилась почти всех своих замечательных качеств и вела жалкое, недостойное ее прошлого существование вплоть до тех времен, когда на престол вступили Агид и Леонид. Эврипонтид Агид, сын Эвдамида, был шестым царем после Агесилая[5], который ходил походом в Азию и по праву считался самым могущественным среди греков. У Агесилая был сын Архидам, которого убили мессапии близ Мандория в Италии. Старший сын Архидама был Агид, младший – Эвдамид, который, после гибели Агида в сражении с Антипатром при Мегалополе, наследовал бездетному брату. Его сыном был Архидам, сыном Архидама – еще один Эвдамид, а сыном Эвдамида – Агид, чью жизнь мы здесь и описываем. Леонид, сын Клеонима, происходил из другого царского дома, агиадов, и был на престоле восьмым после Павсания[6], разгромившего в битве при Платеях Мардония. У Павсания был сын Плистоанакт, у Плистоанакта Павсаний, который бежал из Лакедемона в Тегею, и на царство вступил его старший

сын Агесиполид, а после смерти Агесиполида (он умер бездетным) – младший сын Павсания, Клеомброт. От Клеомброта родились еще один Агесиполид и Клеомен; Агесиполид царствовал недолго и детей не имел, а правивший после него Клеомен пережил старшего из своих сыновей, Акротата, и оставил младшего, Клеонима, который, однако, царем не стал: престол занял Арей, внук Клеомена и сын Акротата. Арей пал в бою при Коринфе, и власть унаследовал его сын Акротат. Потом, разбитый тиранном Аристодемом в сражении при Мегалополе, погиб и Акротат, оставив жену беременной. Родился мальчик, опеку над ним взял Леонид, сын Клеонима, а когда ребенок, не войдя в возраст, умер, царство перешло к Леониду, плохо ладившему с согражданами. Хотя общий упадок и испорченность сказались на всех без изъятия спартанцах, в Леониде измена отеческим нравам была видна особенно ясно, потому что он много времени провел при дворах сатрапов, служил Селевку[7] и теперь, не зная ни стыда, ни меры, проявлял азиатскую надменность и в пользовании царскою властью, призванной повиноваться законам, и в своем отношении к делам греков.

4. Что же касается Агида, то благородством и возвышенностью духа он настолько превосходил и Леонида, и чуть ли не всех царей, правивших после Агесилая Великого, что, не достигнув еще двадцати лет, воспитанный в богатстве и роскоши своею матерью Агесистратой и бабкою Архидамией, самыми состоятельными в Лакедемоне женщинами, сразу же объявил войну удовольствиям, сорвал с себя украшения, сообщающие, как всем казалось, особый блеск и прелесть наружности человека, решительно отверг какую бы то ни было расточительность, гордился своим потрепанным плащом, мечтал о лаконских обедах, купаниях и вообще о спартанском образе жизни и говорил, что ему ни к чему была бы царская власть, если бы не надежда возродить с ее помощью старинные законы и обычаи.

5. Начало порчи и недуга Лакедемонского государства восходит примерно к тем временам, когда спартанцы, низвергнув афинское владычество, наводнили собственный город золотом и серебром. И однако, пока семьи, сохраняясь в том числе, какое установил Ликург[8], соблюдали такое правило наследования, что отец передавал свое владение только сыну, этот порядок и это имущественное равенство каким-то образом избавляли Спарту от всяких прочих бед. Когда же эфором стал некий Эпитадей, человек влиятельный, но своенравный и тяжелый, он, повздоривши с сыном, предложил новую ретру[9] – чтобы впредь каждый мог подарить при жизни или оставить по завещанию свой дом и надел кому угодно. Эпитадей внес этот законопроект только ради того, чтобы утолить собственный гнев, а остальные приняли его из алчности и, утвердив, уничтожили замечательное и мудрое установление. Сильные стали наживаться безо всякого удержу, оттесняя прямых наследников, и скоро богатство собралось в руках немногих, а государством завладела бедность, которая, вместе с завистью и враждою к имущим, приводит за собою разного рода низменные занятия, не оставляющие досуга[10] ни для чего достойного и прекрасного. Спартиатов было теперь не более семисот, да и среди тех лишь около ста владели землею и наследственным имуществом, а все остальные нищею и жалкою толпой сидели в городе, вяло и неохотно поднимаясь на защиту Лакедемона от врагов, но в постоянной го-

товности воспользоваться любым случаем для переворота и изменения существующих порядков.

6. Вот почему Агид считал важной и благородной задачей восстановить в городе равенство и пополнить число граждан. С этой целью он стал испытывать настроения спартанцев. Молодежь, вопреки ожиданиям Агида, быстро откликнулась на его слова и с увлечением посвятила себя доблести, ради свободы переменив весь свой образ жизни, точно одежду. Но пожилые люди, которых порча коснулась гораздо глубже, большею частью испытывали те же чувства, что беглые рабы, когда их ведут назад к господину: они трепетали перед Ликургом и бранили Агида, скорбевшего о тогдашнем положении дел и тосковавшего по былому величию Спарты.

Впрочем, и среди пожилых некоторые одобряли и поощряли честолюбие Агида, и горячее других – Лисандр, сын Либия, Мандроклид, сын Экфана, и Агесилай. Лисандр пользовался у сограждан высочайшим уважением, а Мандроклид не знал себе равных среди греков в искусстве вести тайные дела и с отвагою соединял осмотрительность и хитрость. Дядя царя, Агесилай, умелый оратор, но человек развращенный и сребролюбивый, делал вид, будто откликнулся на внушения и уговоры своего сына, Гиппомедонта, прославленного воина, чья сила заключалась в любви к нему молодежи; но в действительности причиною, побудившею Агесилая принять участие в начинаниях Агида, было обилие долгов, от которых он надеялся избавиться с помощью государственного переворота. Склонив на свою сторону дядю, Агид тут же стал пытаться, с его помощью, привлечь и мать, сестру Агесилая, пользовавшуюся, благодаря множеству зависимых людей, должников и друзей, огромным влиянием в городе и нередко вершившую государственные дела.

7. Выслушав сына в первый раз, Агесистрата испугалась и стала убеждать его бросить начатое дело – оно, дескать, и неисполнимо и бесполезно. Но Агесилай внушал ей, что начатое будет успешно завершено и послужит общему благу, а сам царь просил мать пожертвовать богатством ради его славы и чести. Ведь в деньгах ему нечего и тягаться с остальными царями, раз слуги сатрапов и рабы наместников Птолемея и Селевка богаче всех спартанских царей, вместе взятых, но если своею воздержностью, простотою и величием духа он одержит победу над их роскошью, если установит меж гражданами имущественное равенство и введет общий для всех образ жизни, то приобретет имя и славу поистине великого царя. Обе женщины зажглись честолюбивыми мечтами юноши и настолько переменили свое мнение, были охвачены, – если можно так выразиться, – столь неудержимым порывом к прекрасному,что сами ободряли и торопили Агида; мало того, они созывали своих друзей и обращались к ним со словами убеждения, они беседовали с женщинами, зная, что лакедемоняне издавна привыкли покоряться женам и больше позволяют им вмешиваться в общественные дела, нежели себе – в дела домашние.

Но чуть ли не все богатства Лаконии находились тогда в руках женщин[11], и это сильно осложняло и затрудняло задачу Агида. Женщины воспротивились его намерениям не только потому, что не хотели расставаться с роскошью, в которой, по неведению подлинно прекрасного, полагали свое счастье, но и пото-

му, что лишились бы почета и силы, которые приносило им богатство. Они обратились к Леониду и просили, чтобы, он по праву старшего, остановил Агида и помешал его начинаниям. Леонид хотел помочь богатым, но из страха перед народом, мечтавшим о переменах, открыто ничего не предпринимал, втайне же старался нанести делу вред и окончательно его расстроить, клевеща на Агида властям, будто молодой царь сулит беднякам имущество богатых в виде платы за тираническую власть и что раздачею земли и отменой долгов готовится скорее купить для себя многочисленных телохранителей, чем приобрести граждан для Спарты.

8. Тем не менее хлопотами Агида Лисандр был избран в эфоры, и через него царь немедленно предложил старейшинам ретру, главные разделы которой были таковы: долги должникам прощаются, земля делится заново, так что от лощины у Пеллены[12] до Таигета, Малеи и Селласии будет нарезано четыре тысячи пятьсот наделов, а за этими пределами – еще пятнадцать тысяч, и последние распределяются между способными носить оружие периэками, а первые, те, что в указанных выше пределах, – между самими спартанцами, число которых пополнится за счет периэков и чужеземцев, получивших достойное воспитание, хорошей наружности и в цветущем возрасте; все спартанцы составляют пятнадцать фидитиев[13] по четыреста и по двести человек и ведут такой образ жизни, какой вели их предки.

9. Так как мнения старейшин разошлись, Лисандр созвал Собрание и сам говорил с народом, а вместе с ним Мандроклид и Агесилай убеждали сограждан не глядеть равнодушно, – в угоду немногим, которые лишь издеваются над ними, – на повергнутое достоинство Спарты, но вспомнить и о древних прорицаниях[14], наказывавших остерегаться сребролюбия – смертельного для Спарты недуга, – и о новом, которое недавно принесли им от Пасифаи. Храм Пасифаи с прорицалищем находился в Таламах. По сообщениям одних писателей, эта Пасифая – одна из Атлантид, родившая Зевсу сына Аммона[15], по мнению других – это Кассандра, дочь Приама, которая умерла в Таламах[16] и получила имя Пасифаи за то, что всем открывала [pâsi phaínein] будущее. И лишь Филарх пишет, что это была дочь Амикла, что звали ее Дафна[17] и что она бежала от Аполлона, домогавшегося ее любви, и превратилась в дерево, а бог почтил ее и наградил даром прорицания. Итак, полученный от нее оракул гласил, как передают, что спартанцы должны восстановить между собою равенство – в согласии с изначальным законом Ликурга.

Под конец с кратким словом выступил царь Агид, объявив, что делает огромный вклад в основание нового строя – первым отдает во всеобщее пользование свое имущество, заключающееся в обширных полях и пастбищах, а также в шестистах талантах звонкой монетой. Так же точно прибавил он, поступают его мать и бабка, а равно и друзья, и родичи – богатейшие люди Спарты.

10. Народ был поражен великодушием и благородством юноши и испытывал великую радость оттого, что, спустя почти триста лет[18], появился царь, достойный Спарты. Но тут Леонид уже открыто и с крайним ожесточением обрушился на Агида. Рассудив, что и сам будет вынужден последовать примеру молодого

царя и его друзей, но равной благодарности у сограждан не получит, ибо все отдадут свое добро одинаково, а честь целиком достанется тому, кто выступил первым, Леонид задал Агиду вопрос, считает ли он справедливым и честным Ликурга, и, когда тот ответил утвердительно, продолжал: «Но разве Ликург отменял долги или давал чужеземцам права гражданства – тот самый Ликург, который считал, что без изгнания чужестранцев[19] государству вообще не выстоять?!» Нет ничего удивительного, отвечал Агид, если Леонид, воспитанный в чужих краях и приживший детей с дочерьми сатрапов, не знает, что Ликург, вместе с монетой, изгнал из Спарты долги и ссуды и не столько был недоволен поселяющимися в городах чужеземцами, сколько людьми чуждых нравов и привычек. Этих людей он, действительно, изгонял, но не потому, что враждовал с ними, а потому, что боялся их образа жизни, боялся, как бы, общаясь с гражданами, они не заронили им в душу страсть к роскоши, изнеженности и стяжательству, меж тем как Терпандра, Фалета и Ферекида[20], которые были чужестранцами, но песнями своими и своей философией неизменно преследовали те же цели, что и Ликург, в Спарте высоко почитали. «А ты, –продолжал Агид, – Экпрепа, который, находясь в должности эфора, рассек топором две из девяти струн на кифаре Фриннида, Экпрепа, повторяю, ты хвалишь, хвалишь и тех, кто подобным же образом обошелся с Тимофеем[21], меня же бранишь за то, что я хочу изгнать из Спарты роскошь и кичливую расточительность! Но ведь и те люди опасались в музыке лишь чрезмерной замысловатости, не желали, чтобы это дурное ее качество переступило рубеж, за которым возникает нестройное и неверное звучание в жизни и нравах, приводящее государство к внутреннему несогласию и разброду».

11. Народ последовал за Агидом, но богачи заклинали Леонида не оставлять их в беде, умоляли о помощи старейшин, которым принадлежало право предварительного решения[22] – в этом и была их главная сила – и наконец добились своего: ретра была отвергнута большинством в один голос. Тогда Лисандр, который еще оставался эфором, решил привлечь Леонида к суду на основании одного древнего закона, запрещавшего Гераклиду приживать детей с чужестранкой и грозившего ему смертью, если он покидает Спарту, чтобы поселиться в другой стране. Однако выступить с обвинением против Леонида Лисандр подучил других, сам же он в это время вместе с товарищами по должности следил за появлением особого небесного знамения.

Дело в том, что каждые девять лет эфоры, выбрав ясную, но безлунную ночь, садятся и в полном молчании следят за небом, и если из одной его части в другую пролетит звезда, они объявляют царей виновными в преступлении перед божеством и отрешают их от власти до тех пор, пока из Дельф или из Олимпии не придет оракул, защищающий осужденных царей. Это знамение, как объявил Лисандр, ему явилось, и вот он назначает разбирательство по делу Леонида и представляет двух свидетелей в том, что царь прижил двоих детей с женщиной азиатского происхождения, которую выдал за него какой-то начальник конницы у Селевка, но впоследствии жена прониклась к нему неприязнью и отвращением, и он, вопреки собственному желанию, вернулся домой, где и завладел престолом, поскольку других наследников не оказалось. Вместе с тем он уговарива-

ет зятя царя, Клеомброта, который тоже был царской крови, заявить притязания на власть. Леонид был жестоко напуган и, с мольбою об убежище, укрылся в храме Афины Меднодомной; вместе с ним была его дочь, оставившая Клеомброта. Он получил вызов в суд, но не вышел из храма, и тогда спартанцы передали царство Клеомброту.

12. Тем временем год миновал, и Лисандр лишился власти. Вновь вступившие в должность эфоры разрешили Леониду покинуть его убежище, а Лисандра и Мандроклида привлекли к суду за то, что предложение об отмене долгов и переделе земли было внесено в нарушение существующих законов. Видя грозящую им опасность, обвиняемые убеждают царей твердо стоять друг за друга, пренебрегая решениями эфоров: ведь вся их сила – в разногласиях между царями, ибо они должны отдать свой голос тому, чье мнение правильнее, если второй судит вопреки пользе. Если же оба держатся одних взглядов, их власть непреложна и бороться с ними – противозаконно, ибо эфорам принадлежит право быть посредниками и судьями в случае спора царей, но не вмешиваться в их дела, когда они единодушны. Согласившись с этими доводами, Агид и Клеомброт в сопровождении друзей явились на площадь, согнали эфоров с их кресел и назначили новых, в числе которых был и Агесилай. Затем они вооружили многих молодых людей и освободили заключенных, приведя в трепет противников, которые ждали обильного кровопролития. Но цари никого не тронули, напротив, когда Леонид тайно бежал в Тегею, а Агесилай послал вдогонку убийц, которые должны были расправиться с ним в пути, Агид, узнав об этом, отправил других, верных ему людей, те окружили Леонида кольцом и благополучно доставили в Тегею.

13. Меж тем как дело счастливо подвигалось вперед и никто уже не мешал ему и не препятствовал, один-единственный человек – Агесилай – все погубил и расстроил, замарав прекраснейший, в полном смысле слова спартанский, замысел позорнейшим из пороков – корыстолюбием. Богатство Агесилая состояло главным образом в обширных и тучных полях, но он был кругом в долгу и, так как расплатиться с заимодавцами не мог, а терять землю не хотел, то убедил Агида, что, если осуществить оба намерения разом, в городе начнется настоящий мятеж, но если сперва угодить землевладельцам отменою долгов, они потом мирно и спокойно согласятся на передел. Так полагал и Лисандр, тоже обманутый Агесилаем. Итак, долговые расписки – они называются «клариями» [klâria] – снесли на площадь, сложили все в одну кучу и подожгли. Когда костер вспыхнул, богачи и ростовщики, в крайнем огорчении и расстройстве, удалились, а Агесилай, словно издеваясь, крикнул им вслед, что никогда не видел света ярче и огня чище этого.

Народ требовал, чтобы немедленно приступали к разделу земли, и цари отдали такой приказ, но Агесилай, всякий раз отыскивая неотложные заботы и придумывая все новые увертки, затягивал дело до тех пор, пока Агиду не пришлось выступить в поход: ахейцы, союзники Лакедемона[23], просили помощи, опасаясь, что этолийцы через Мегариду вторгнутся в Пелопоннес. Чтобы дать им отпор, ахейский стратег Арат собирал войско и о своих приготовлениях написал эфорам.

14. Эфоры немедленно отправили к Арату Агида, гордившегося честолюбивым рвением и преданностью своих воинов. Почти всё это были люди молодые и бедные, недавно избавившиеся и освободившиеся от долгов и полные надежд получить землю, когда вернутся из похода. Они беспрекословно повиновались каждому распоряжению Агида и являли собою замечательное зрелище, когда, не причиняя никому ни малейшего вреда, спокойно и почти бесшумно проходили через государства Пелопоннеса, так что греки только дивились и спрашивали друг друга, какой же был порядок в лаконском войске под водительством Агесилая, прославленного Лисандра или древнего Леонида, если и ныне воины обнаруживают столько почтения и страха перед юношей, который моложе чуть ли не любого из них. Впрочем и сам юноша – простой, трудолюбивый, нисколько не отличавшийся своей одеждой и вооружением от обыкновенных воинов – привлекал всеобщее внимание и восхищение. Но богачам его действия в Спарте были не по душе, они боялись, как бы народ, последовав этому примеру, не изменил установившиеся порядки повсюду.

15. Соединившись у Коринфа с Аратом, который еще не решил, даст ли он противнику битву, Агид обнаружил и горячее усердие, и отвагу, однако не отчаянную и не безрассудную. Он говорил, что, по его мнению, следует сражаться и не пропускать войну за ворота Пелопоннеса, но что поступит он так, как сочтет нужным Арат, ибо Арат и старше его и стоит во главе ахейцев, а он явился не для того, чтобы взять над ахейцами команду, но чтобы оказать им помощь и поддержку в боях. Правда, Батон из Синопы утверждает, будто Агид не хотел участвовать в битве вопреки распоряжению Арата, но он просто не читал, что пишет об этом сам Арат. Оправдывая свои действия, Арат говорит, что поскольку крестьяне уже свезли с полей весь урожай, он счел более целесообразным открыть дорогу врагам, нежели в решающем сражении поставить под угрозу судьбу ахейцев в целом. Итак, отказавшись от мысли о битве, он, с благодарностью и похвалами, отпустил союзников, и Агид, сопровождаемый восторгами пелопоннесцев, тронулся в обратный путь, в Спарту, где тем временем произошли большие перемены и начались беспорядки.

16. Агесилай, который был эфором, сбросив с плеч тяготившую его до той поры заботу, смело шел на любое преступление и насилие, если оно приносило деньги; он не постеснялся нарушить утвержденное обычаем течение и порядок времени и, – хотя год этого не требовал, – вставил тринадцатый месяц[24], чтобы взыскать за него налоги. Боясь тех, кому он чинил обиды, и окруженный ненавистью всех сограждан, он нанял вооруженных телохранителей и без них в здание Совета не ходил. Он нарочито стремился показать, что одного из царей вообще ни во что не ставит, Агид же если и пользуется некоторым его уважением, то скорее по праву родства, чем царского достоинства. Вдобавок он распустил слух, что останется эфором и на следующий срок.

Враги его решили не медлить, они составили заговор, открыто вернули Леонида из Тегеи и вновь передали ему царство при молчаливом одобрении народа, который был возмущен, видя свои надежды на раздел земли обманутыми. Агесилая спас и тайно вывел из города его сын Гиппомедонт, которого все любили за храбрость и который молил сограждан помиловать отца. Агид укрылся в хра-

ме Афины Меднодомной, а другой царь, Клеомброт, пришел с мольбою о защите в святилище Посейдона, ибо казалось бесспорным, что против него Леонид озлоблен сильнее. И в самом деле, не тронув пока Агида, он явился в сопровождении воинов к Клеомброту и осыпал гневной бранью и укорами зятя, который коварными кознями лишил тестя царства и помог врагам изгнать его из отечества.

17. Клеомброт, которому нечего было ответить, сидел в глубоком смущении и молчал. Между тем Хилонида, дочь царя, которая прежде, когда жертвой насилия сделался ее отец, сочла, что обида нанесена и ей самой, и, оставив вступившего на царство Клеомброта, старалась поддержать Леонида в беде, не выходя вместе с ним из храма, где он искал защиты, а затем, после его бегства, безутешно горевала, негодуя на мужа, – Хилонида теперь, с переменою судьбы переменившись и сама, сидела просительницею вместе с Клеомбротом, обняв его обеими руками и посадив по обе стороны от себя двоих детей. Все дивились и плакали, видя доброту и верность этой женщины, а она, коснувшись своей кое-как накинутой одежды и неприбранных волос, сказала: «Этот вид и обличие, отец, мне придала не жалость к Клеомброту, нет, но со времени твоих несчастий, со дня твоего бегства скорбь была моей неразлучной подругою и соседкой. А теперь, когда ты победил и снова царствуешь в Спарте, должна ли я попрежнему проводить жизнь в горе или же мне облечься в пышное царское платье, после того, как ты, у меня на глазах, убьешь моего супруга, который взял меня в девичестве? Впрочем, если он не вымолит у тебя прощения, если не смягчит тебя слезами своих детей и жены, то понесет за свое безрассудство кару даже более тяжкую, чем задумал ты сам, – прежде, чем умереть, он увидит смерть горячо любимой супруги. Как посмею я жить и смотреть в глаза другим женщинам, если ни муж, ни отец не сжалились надо мною, но остались глухи к моим просьбам? И жена, и дочь – в обоих лицах – разделяю я беду и позор моих близких! Если у моего мужа и было какое-нибудь основание для вражды с тобою, я его отняла, когда встала на твою сторону, подав тем самым свидетельство против Клеомброта и его замыслов. Но теперь ты словно бы сам оправдываешь его преступление, ибо, глядя на тебя, каждый поверит, что царская власть поистине вожделенное и неоценимое благо, – ведь ради нее справедливо и зарезать зятя и равнодушно оттолкнуть родную дочь!»

18. Произнося эти полные отчаяния жалобы, Хилонида прижалась щекою к голове Клеомброта и обвела присутствующих помутившимся, изнуренным от муки взглядом. Леонид, переговорив с друзьями, приказал Клеомброту подняться и немедленно уйти за пределы страны, а дочь просил не покидать отца, который так ее любит, что подарил спасение ее мужу. Но убедить Хилониду он не смог, она передала одного из детей поднявшемуся с земли мужу, другого взяла сама и, преклонившись пред алтарем бога, вышла вместе с Клеомбротом, который, не будь он вконец испорчен пустою славой, счел бы изгнание, разделяемое с такою супругой, большей для себя удачей, нежели царскую власть.

Изгнав Клеомброта, отрешив от должности прежних эфоров и назначив других, Леонид тут же стал готовить гибель Агиду. Сперва он убеждал царя выйти из убежища и по-старому править вместе: граждане, дескать, его прощают, по-

нимая, что Агесилай, вместе со многими другими, обманул и его, совсем еще юного и такого честолюбивого. Но Агид подозревал недоброе и оставался в храме, и Леонид наконец прекратил лгать и хитрить.

Амфарет, Дамохарет и Аркесилай постоянно навещали Агида и развлекали его беседой, а иной раз даже брали с собою в баню, выводя из храма и доставляя обратно после мытья. Все трое были прежде его добрые знакомые, но Амфарет, который незадолго до того взял на время у Агесистраты несколько дорогих чаш и плащей, а возвращать эти вещи не хотел, таил коварный умысел против царя и обеих женщин. Он, как передают, особенно охотно поддался на уговоры Леонида и, кроме того, ожесточил против Агида эфоров – своих товарищей по должности.

19. Так как Агид проводил все дни в своем убежище и только изредка, если случалась возможность, ходил в баню, решено было схватить его в пути, за пределами храма. «Друзья» подстерегли его, когда он возвращался из бани, подошли с приветствием и дальше двинулись вместе под шутливые речи, какие и принято вести с молодым человеком и близким знакомцем. Но как только они оказались у поворота, где начиналась дорога к тюрьме, Амфарет, по праву эфора, схватил Агида за плечо и промолвил: «Я веду тебя к эфорам, Агид, ты представишь им отчет в своих действиях», – а рослый и сильный Дамохарет накинул ему на шею скрученный жгутом плащ и поволок за собой, остальные же исполняя уговор, подталкивали царя сзади. Так как место было безлюдное, никто на помощь Агиду не пришел, и его бросили в тюрьму. Немедленно появился Леонид с большим отрядом наемников и окружил здание, а эфоры вошли к Агиду и, пригласив в тюрьму тех старейшин, которые были одного с ними образа мыслей (они желали придать происходившему видимость судебного разбирательства), потребовали, чтобы он оправдался в своих поступках. Царь только засмеялся в ответ на это притворство, и Амфарет заметил ему, что он горько поплатится за свою дерзость. Другой из эфоров, словно идя Агиду навстречу и показывая ему, как уклониться от обвинения, спросил, не действовал ли он вопреки своей воле, по принуждению Лисандра и Агесилая, а когда Агид ответил, что никто его не принуждал, но что он следовал примеру и образцу Ликурга, стремясь к тому же государственному устройству, какое было в старину, – задал ему еще вопрос: раскаивается ли он в содеянном. Юноша ответил, что нисколько не раскаивается в этих прекрасных и благородных замыслах, даже если увидит, что его ждет самая жестокая кара, и эфоры вынесли ему смертный приговор.

Служители получили приказ вести Агида в так называемую Декаду – это особое помещение в тюрьме, где удавливают осужденных. Замечая, что прислужники не смеют коснуться Агида и что даже наемники отворачиваются и не хотят принимать участия в таком деле (ведь все знали, что поднять руку на царя – противно и законам и обычаям!), Дамохарет осыпал их угрозами и бранью и сам потащил Агида в Декаду. Многие уже знали, что Агид в тюрьме, у дверей стоял шум, мелькали частые факелы; появились мать и бабка Агида, они громко кричали, требуя, чтобы царя спартанцев выслушал и судил народ. Вот почему, главным образом, эфоры и поспешили завершить начатое, опасаясь, как бы ночью, если соберется толпа побольше, царя не вырвали у них из рук.

20. По пути на казнь Агид заметил, что один из прислужников до крайности опечален и не может сдержать слезы, и промолвил ему: «Не надо оплакивать меня, милый. Я умираю вопреки закону и справедливости, но уже поэтому я лучше и выше моих убийц». Сказавши так, он сам вложил голову в петлю.

После этого Амфарет вышел к дверям, и Агесистрата, по давнему знакомству и дружбе, бросилась к нему с мольбою, а он поднял ее с земли и заверил, что с Агидом не случится ничего страшного и непоправимого. Если она хочет, добавил он, то и сама может пройти к сыну. Агесистрата просила, чтобы вместе с нею впустили мать, и Амфарет ответил, что ничего против не имеет. Пропустивши обеих и приказав снова запереть дверь тюрьмы, он первою передал палачам Архидамию, уже глубокую старуху, всю жизнь пользовавшуюся огромным уважением среди спартанских женщин, когда же ее умертвили, позвал внутрь Агесистрату. Она вошла – и увидела сына на полу и висящую в петле мать. Сама, с помощью прислужников, она вынула Архидамию из петли, уложила ее рядом с Агидом и тщательно укрыла труп, а потом, упавши на тело сына и поцеловав мертвое лицо, промолвила: «Ах, сынок, твоя чрезмерная совестливость, твоя мягкость и человеколюбие погубили и тебя, и нас вместе с тобою!» Амфарет, который стоя у дверей, все видел и слышал, вошел в Дехаду и со злобою сказал Агесистрате: «Если ты разделяла мысли сына, то разделишь и его жребий!» И Агесистрата, поднимаясь навстречу петле, откликнулась: «Только бы это было на пользу Спарте!»

21. Когда весть об этом страшном событии разнеслась по городу и из тюрьмы были вынесены три мертвых тела, страх оказался не настолько силен, чтобы граждане захотели или же смогли хоть сколько-нибудь скрыть свое горе и свою ненависть к Леониду и Амфарету, ибо ни разу еще с тех пор, как дорийцы населяют Пелопоннес, не случалось в Спарте ничего более ужасного и нечестивого. Сколько можно судить, на царя лакедемонян даже враги не решались занести руку, но, встречаясь с ним на поле боя, поворачивали вспять из страха и почтения пред его высоким достоинством. Вот почему до времен Филиппа[25] во всех многочисленных сражениях, какие были у лакедемонян с остальными греками, только один царь – Клеомброт – был убит ударом копья при Левктрах. Правда, мессенцы говорят, будто еще Феопомп пал от руки Аристомена, но лакедемоняне утверждают, что это неверно и что Феопомп был только ранен. По этому поводу мнения писателей различны. А в самом Лакедемоне первым из царей погиб Агид, казненный эфорами, – погиб, начавши прекрасное и достойное Спарты дело, погиб в том возрасте, когда ошибкам принято оказывать снисхождение, и заслужив укоры скорее друзей, нежели врагов, ибо он сохранил жизнь Леониду и вообще, по своей удивительной кротости и мягкости, слишком доверял людям.



[КЛЕОМЕН]

22 (1). Сразу же после смерти Агида его брат Архидам бежал, так что его Леонид захватить не успел, но супругу убитого с новорожденным ребенком он увел из дома мужа и силою выдал за своего сына Клеомена. Правда, Клеомену не пришла еще пора жениться, однако ж отдать Агиатиду другому Леонид не хотел: она должна была унаследовать богатое состояние своего отца Гилиппа, по красоте же и пригожеству не знала себе равных среди гречанок, обладая, вдобавок, нравом добрым и кротким. Как передают, она исчерпала все средства, моля избавить ее от этого насильственного брака, однако, соединившись с Клеоменом, ненависть к Леониду сохранила, но женою была замечательной, горячо привязанной к молодому мужу, который с первого же дня страстно ее полюбил и даже относился с сочувствием к ее полным нежности воспоминаниям об Агиде, так что нередко и сам расспрашивал обо всем происшедшем и внимательно слушал рассказы Агиатиды о намерениях и образе мыслей ее первого супруга.

Клеомен был и честолюбив и благороден, и не менее Агида склонен по натуре к воздержности и простоте, но мягкости и крайней осторожности Агида в нем не было, – напротив, в душе его как бы сидело острие, подстрекавшее волю, и он неудержимо рвался к цели, которая однажды представилась ему прекрасной. А прекраснее всего, казалось ему, – править охотно подчиняющимися своему царю подданными; вместе с тем он считал прекрасным и взять верх над непокорными, направляя их к добру силой.

23 (2). Тогдашнее положение города ничуть его не радовало: граждане вконец изнежились от праздности и забав, царь ко всему относился с полным равнодушием – лишь бы никто не мешал ему жить в богатстве и роскоши, государственные же дела были в пренебрежении, ибо каждый думал лишь о своем доме и о собственной выгоде. О скромности и регулярных упражнениях молодежи, о выдержке и равенстве – обо всем этом теперь, после гибели Агида, небезопасно было даже вспоминать.

Сообщают, что Клеомен еще подростком познакомился с учениями философов благодаря Сферу из Борисфена[1], который приехал в Лакедемон и много времени уделял беседам с мальчиками и юношами. Этот Сфер был одним из самых способных учеников Зенона Китийского, он, по-видимому, полюбил Клеомена за его природное мужество и разжег в нем честолюбие. Когда однажды в старину Леонида спросили, что он думает о поэте Тиртее, тот, говорят, ответил: «Он прекрасно воспламеняет души молодых». И верно, стихи Тиртея наполняли молодых воинов таким воодушевлением, что они не щадили собственной жизни в битвах. Так и стоическое учение – оно таит в себе что-то опасное для сильных и горячих характеров, но превращается в громадное, ничем иным не приобретаемое благо, проникая в натуру глубокую и мягкую[2].

24(3). Когда после смерти Леонида Клеомен вступил на царство и убедился, что государство вконец обессилело, – богачи, поглощенные заботой о собственных удовольствиях и наживе, пренебрегали общественными делами, а народ, страдая от нужды, и на войну шел неохотно, и даже в воспитании детей не искал

более для себя никакой чести, – а сам он царь только по имени, власть же целиком принадлежит эфорам, он немедленно проникся решимостью все это переменить и опрокинуть. Прежде всего, он стал испытывать своего друга Ксенара (в прошлом царь был любимцем этого человека – такую связь сами лакедемоняне называют «вдохновенной любовью»[3]); он расспрашивал Ксенара об Агиде – что это был за правитель, и каким образом и с чьею помощью вступил он на свой путь. Сначала Ксенар охотно говорил об этих событиях, вспоминая их во всех подробностях, но когда заметил, что Клеомен слишком поглощен его рассказом, что нововведения Агида до крайности волнуют молодого царя и он хочет слышать о них еще и еще раз, то в сердцах выбранил Клеомена, сказал ему, что он просто не в своем уме, а в конце концов перестал и беседовать с ним и даже ходить к нему. Причину их размолвки Ксенар, впрочем, никому не открыл и отвечал только, что царь хорошо знает, в чем дело.

Видя такое недоброжелательство Ксенара, Клеомен полагал, что и остальные настроены не иначе, и ни с кем своими замыслами не делился. Он считал, что переворот легче произвести во время войны, чем в мирную пору, а потому столкнул Спарту с ахейцами, поведение которых неоднократно давало повод для жалоб и упреков. Арат, наиболее сильный и влиятельный человек среди ахейцев, с самого начала задумал соединить всех пелопоннесцев в один союз и именно эту цель преследовал, командуя войсками в многочисленных походах и долгие годы руководя государственными делами, ибо твердо держался убеждения, что только тогда Пелопоннес станет неприступен для врагов извне. Почти все города уже были в числе союзников, оставались только Лакедемон, Элида да часть аркадян, находившаяся в зависимости от Спарты, и сразу после смерти Леонида Арат принялся тревожить аркадян, разоряя главным образом земли, пограничные с ахейскими, – чтобы поглядеть, как ответят на это лакедемоняне, и, вместе с тем, выказать пренебрежение к молодому и неискушенному в войне Клеомену.

25 (4). Прежде всего эфоры поручают Клеомену захватить храм Афины поблизости от Бельбины. Эта местность представляет собою проход в Лаконию, и в ту пору Спарта вела из-за нее спор с Мегалополем. Клеомен захватил храм и обнес его укреплениями, и Арат ни словом на это не возразил, но двинулся ночью с войском, чтобы напасть на Тегею и Орхомен. Однако изменники, пообещавшие сдать город, в последний миг оробели, и Арат отступил, считая, что остался незамеченным, но Клеомен тут же написал ему, осведомляясь, словно бы у приятеля, куда это он ходил ночью. Тот написал в ответ, что узнал, будто Клеомен намеревается укрепить Бельбину, и хотел ему помешать, и Клеомен, еще одним письмом, заверил Арата, что нисколько не сомневается в его словах, но только, если это не составит для начальника ахейцев особого труда, просит сообщить, зачем он брал с собою факелы и лестницы. Шутка рассмешила Арата, и он стал спрашивать, что за юноша этот Клеомен, и тогда лакедемонский изгнанник Дамократ сказал ему: «Если ты замышляешь что-нибудь против Спарты, тебе надо торопиться, пока у этого петушка не отрасли шпоры».

Клеомен с небольшим отрядом конницы и тремястами пехотинцев стал лагерем в Аркадии, но немного спустя эфоры, боясь войны, приказали ему отсту-

пить. Едва однако ж он отошел, как Арат взял Кафии, и эфоры снова отправили Клеомена в поход. Он занял Мефидрий и разорил набегами Арголиду. Против него двинулось ахейское войско из двадцати тысяч пехоты и тысячи всадников под начальством Аристомаха. Клеомен встретил ахейцев у Паллантия и хотел завязать сражение, но Арат, испугавшись его дерзкой отваги, не дал стратегу принять вызов и отступил – под ропот и брань ахейцев и издевательства лакедемонян, которые не насчитывали в своих рядах и пяти тысяч. Этот успех преисполнил Клеомена самоуверенности, и он пустился в хвастливые речи перед согражданами, так что те вспоминали одного из своих древних царей[4], который сказал, что лакедемоняне спрашивают не сколько врагов, а где они.

26 (5). Поспешив на помощь гражданам Элиды, которые оборонялись от ахейцев, Клеомен близ Ликея ударил на неприятелей, уже пустившихся в обратный путь, и разметал все ахейское войско. Многие были убиты, многие попали в плен, так что по Греции даже прошел слух, будто погиб и Арат, однако Арат сумел как нельзя лучше использовать сложившееся положение дел – едва оправившись от бегства, он пошел на Мантинею и, так как никто этого не ожидал, захватил город и поставил в нем своих воинов. Лакедемоняне совершенно пали духом и требовали, чтобы Клеомен прекратил войну, и это натолкнуло его на мысль вызвать из Мессены брата Агида, Архидама, из другого царского дома, которому по закону принадлежал второй престол[5] в Спарте: Клеомен надеялся, что могущество эфоров уменьшится, если царская власть вернет себе прежнюю полноту и равновесие. Но убийцы Агида, проведавши об этом и опасаясь, как бы, если Архидам вернется, им не пришлось дать ответ за прошлое, дружелюбно его приняли и даже сами помогли тайно проникнуть в город, но сразу же умертвили – быть может, против воли Клеомена, как полагает Филарх, а может быть, он и сдался на уговоры своих друзей и уступил им Архидама сам. Но и в этом случае главная доля вины падает на них, ибо ходила молва, что они вырвали у Клеомена согласие силой.

27 (6). И все же Клеомен решил не медлить со своими планами, а потому, подкупив эфоров, получил от них распоряжение готовиться к походу. И многих других склонил он на свою сторону, пользуясь поддержкой матери, Кратесиклеи, которая щедро покрывала его расходы и сочувствовала честолюбивым замыслам сына. Ради него, как сообщают, она даже вышла второй раз замуж (хотя сама к браку не стремилась), выбрав одного из виднейших и наиболее влиятельных граждан в Спарте.

Выступив в поход, царь занял принадлежавший мегалополитанцам городок Левктры. Ахейцы во главе с Аратом быстро двинулись на выручку, и Клеомен выстроил лакедемонян к бою у самых стен Мегалополя. Часть спартанского войска была разбита, но когда Арат остановил преследование, не разрешив ахейцам переправиться через какой-то глубокий ров, а мегалополитанец Лидиад, возмущенный этим приказом, бросил своих всадников вперед и, гоня врага все дальше, попал на виноградник, весь изрезанный канавами и загородками, так что боевой порядок конницы оказался безнадежно и непоправимо нарушенным, – заметив это, Клеомен немедленно послал туда тарентинцев и критян[6], и Лидиад, несмотря на отчаянное сопротивление, был убит. Лакедемоняне воспря-

нули духом, с криком ринулись на ахейцев и всех обратили в бегство. Трупы убитых – а их на поле битвы осталось великое множество – Клеомен выдал ахейцам, заключив с ними перемирие, и только тело Лидиада велел принести к себе, украсил мертвого пурпурным одеянием, возложил ему на голову венок и так отправил к воротам Мегалополя. Это был тот самый Лидиад, который сложил с себя тиранническую власть, вернул гражданам свободу и присоединил свой город к Ахейскому союзу.

28 (7). После этой победы Клеомен возгордился уже не на шутку и, в твердой уверенности, что легко одолеет ахейцев, если поведет войну по собственному усмотрению, стал убеждать своего отчима Мегистоноя, что пора избавиться от эфоров, сделать имущество граждан общим достоянием и, с помощью равенства, возродить Спарту, вернуть ей верховное владычество над Грецией. Мегистоной согласился с ним, и царь склонил на свою сторону еще двух или трех друзей.

Случилось так, что в эти дни одному из эфоров приснился в святилище Пасифаи удивительный сон. Привиделось ему, будто на том месте, где обычно сидят, занимаясь делами, эфоры, осталось только одно кресло, а остальные четыре исчезли и в ответ на его изумление из храма прозвучал голос, возвестивший, что так лучше для Спарты. Когда эфор рассказал Клеомену свое видение, тот сначала встревожился, решив, будто враги подозревают недоброе и хотят выведать его мысли, но затем понял, что рассказчик не лжет, и успокоился. Взяв с собою тех граждан, которые, как он ожидал, должны были оказать его действиям особенно упорное сопротивление, он захватил подвластные ахейцам города Герею и Альсею, доставил в Орхомен продовольствие и наконец расположившись лагерем у Мантинеи и дальними вылазками настолько утомив лакедемонян, что они сами просили дать им передышку, оставил бóльшую часть своего войска в Аркадии, а сам с наемниками двинулся к Спарте. Поделившись по пути своими планами с несколькими солдатами, в чьей преданности он был совершенно уверен, Клеомен медленно шел вперед, чтобы напасть на эфоров во время обеда.

29 (8). Когда до города было уже совсем недалеко, Клеомен послал в общую трапезную[7] к эфорам Эвриклида, якобы с каким-то известием из похода от царя, а следом за ним, с несколькими воинами, отправились Ферикион, Фебид и двое так называемых мофаков[8] – товарищей детства Клеомена. Эвриклид еще не кончил свою речь, как они уже набросились на эфоров и стали разить их мечами. Первым упал под ударами Агилей, и его сочли мертвым, но он мало-помалу собрался с силами, выполз из залы и забился в какое-то низкое и тесное строение, оказавшееся святилищем Страха, – оно всегда стояло запертым, но в этот день случайно было открыто. Проскользнувши туда, он замкнул за собою дверь. Остальные четверо были убиты, и еще не более десяти человек, которые пытались подать им помощь. Из тех, кто соблюдал спокойствие, не погиб ни один, точно так же и покидавшим город никаких препятствий не чинилось. Пощадили даже Агилея, когда он на другой день вышел из храма.

30 (9). У лакедемонян есть храмы, посвященные не только Страху, но и Смерти, и Смеху, и иным сходного рода душевным состояниям. Страх они чтут не оттого, что считают его пагубным, – подобно злым духам, отвращаемым с помощью заклинаний, – но в уверенности, что страх – это главная сила, кото-

рою держится государство. Поэтому-то, как сообщает Аристотель, эфоры, вступая в должность, через глашатая приказывали гражданам остригать себе усы и повиноваться законам, дабы законы не обходились с ними сурово. Требование насчет усов, на мой взгляд, объявлялось для того, чтобы приучить молодых людей к послушанию даже в мелочах. И еще мне кажется, что мужеством древние считают не бесстрашие, но страх перед укором и боязнь бесславия. Кто больше всех робеет перед законами, всех отважнее пред лицом неприятеля, и меньше других страшится беды и боли тот, кому особенно страшна дурная молва. Вот почему прав поэт[9], говоря:

Где страх, там и стыд.

И у Гомера[10] хорошо сказано:

Ты и почтен для меня, возлюбленный свекор, и страшен.

И еще:

Войско молчит, почитая начальников.

Больше всего толпа почитает тех, перед кем испытывает страх. Потому лакедемоняне и воздвигли храм Страху подле трапезной эфоров, как бы уподобив их звание единовластию.

31 (10). Наутро Клеомен объявил имена восьмидесяти граждан, которым надлежало покинуть Спарту, и распорядился убрать все кресла эфоров, кроме одного, где намерен был сидеть, занимаясь делами, он сам. Затем он созвал Собрание, чтобы оправдать перед народом свои действия. Ликург, сказал он, к царям присоединил старейшин, и долгий срок город управлялся этими двумя властями, не нуждаясь ни в какой третьей, но позднее, во время сильно затянувшейся войны против мессенцев, цари, постоянно занятые походами, стали выбирать судей из числа своих друзей и оставляли их гражданам вместо себя, назвав «эфорами»[11], то есть блюстителями. Сначала они были просто царскими слугами и помощниками, однако мало-помалу сами вошли в силу, и так, незаметно, образовалась как бы особая должность, или управление. Верное этому свидетельство – то, что еще и поныне, когда эфоры посылают за царем, он в первый и во второй раз не откликается на их зов и, лишь получивши третье приглашение, встает и идет к ним; следует помнить вдобавок, что Астероп, первый, кто укрепил и расширил власть эфоров, жил много поколений спустя после того, как появилось это звание. Впрочем, продолжал Клеомен, соблюдай они хоть какую-то воздержность, лучше было бы их терпеть, но коль скоро незаконно присвоенною силой они подрывают и упраздняют древнюю власть, изгоняя одних царей, убивая без суда других и запугивая угрозами каждого, кто мечтает узреть Спарту вновь обретшей самое прекрасное, поистине божественное устройство, – это совершенно непереносимо. Если бы оказалось возможным без крови и жертв избавить Лакедемон от занесенных извне недугов – роскоши, расточительности, долгов, ростовщичества и двух еще более застарелых язв – бедности и богатства, он почитал бы себя самым счастливым из царей и, словно опытный врач, исцелил бы отечество, не причиняя ему никаких страданий. Но и при нынешних обстоятельствах его оправдывает пример самого Ликурга, который не

был облечен ни царскими, ни иными какими-либо правами и только хотел получить власть, а все-таки явился на площадь с оружием, так что царь Харилл[12] в ужасе искал спасения у алтаря. Однако Харилл был человек честный и желавший отечеству добра, а потому скоро сам сделался помощником Ликурга, одобрив его перемены в устройстве государства. Стало быть, Ликург делом засвидетельствовал, что без принуждения и страха существующий порядок изменить трудно. «Я же, – добавил Клеомен, – воспользовался обоими этими средствами с крайней умеренностью – я только устранил тех, кто преграждал Спарте путь к спасению и благополучию. А для блага остальных я поделю всю землю поровну, освобожу должников от их долгов и устрою проверку и отбор чужеземцев, чтобы лучшие из них стали гражданами Спарты и с оружием в руках оберегали наш город и чтобы нам больше не видеть, как Лакония, лишенная защитников, достается в добычу этолийцам и иллирийцам».

32 (11). После этой речи Клеомен первым отдал свое достояние в общее пользование, вслед за царем то же самое сделал его отчим Мегистоной и каждый из друзей, а затем и остальные граждане. Земля была поделена заново. Клеомен отвел наделы и каждому изгнаннику, пообещав вернуть всех до последнего, когда в государстве восстановится спокойствие. Пополнив число граждан самыми достойными из периэков, он создал четырехтысячный отряд тяжелой пехоты, научил этих воинов биться вместо копья сариссой, держа ее обеими руками, и заменил съемную рукоять[13] щита ремнем, натянутым из края в край.

Затем он обратился к воспитанию молодых – знаменитому спартанскому воспитанию, – при самой деятельной помощи и поддержке Сфера, и в скором времени мальчики и юноши усвоили надлежащий порядок телесных упражнений и общих трапез, причем насилие оказалось потребным лишь в немногих случаях, большинство же быстро и охотно свыклось с простым, истинно лаконским образом жизни. За всем тем, чтобы не слышать слова «единовластие», Клеомен отдал второй престол своему брату Эвклиду. Это был единственный случай, когда спартанцами правили два царя из одного дома.

33 (12). Догадываясь, что ахейцы и сам Арат уверены, будто положение его после совершившихся перемен ненадежно, а потому он ни в коем случае не отважится выйти за рубежи Лакедемона, оставив город, еще не оправившийся от такого потрясения, – Клеомен счел делом и славным и полезным показать врагам боевой дух спартанского войска. Он вторгся во владения Мегалополя, взял богатую добычу и опустошил немалую часть страны. Под конец похода в его руки попали актеры, куда-то направлявшиеся из Мессены, и тогда Клеомен, сколотив посреди вражеской земли подмостки и не пожалев сорока мин на расходы, устроил игры и целый день провел в театре – не потому, что жаждал зрелищ, но словно издеваясь над врагами и своим презрением показывая, насколько он превосходит их силою. А вообще среди всех греческих и царских войск спартанское было единственным, которое не вело и не везло за собою мимов, фокусников, плясуний и кифаристок, но было свободно от всякой разнузданности, шутовства и расточительности; бóльшую часть дня молодые люди отдавали учению, а те, что постарше, наставляли учившихся, если же случался досуг, то обменивались остроумными шутками и забавными высказываниями в лакон-

ском вкусе. Какова польза подобного рода забав, рассказано в жизнеописании Ликурга.

34 (13). Во всем без изъятия Клеомен сам был наставником для своих подданных, предложив им, как пример воздержности и здравого смысла, собственную жизнь – простую, скромную, начисто лишенную пошлого чванства и ничем не отличавшуюся от жизни любого человека из народа, что, кстати говоря, имело некоторое значение и для общегреческих дел. Те, кому доводилось встречаться с другими царями, не столько бывали поражены их богатством и роскошью, сколько испытывали отвращение к высокомерию и гордыне этих властителей, к их неприветливости и грубости с окружающими. Когда же, являясь к Клеомену, царю и по имени и в каждом из своих деяний, люди не видели на нем ни багряницы, ни иной какой пышной одежды, не видели драгоценных лож и покойных носилок, когда убеждались, что он не окружен толпою гонцов и привратников и дает ответы просителям не через своих писцов, да и то с крайнею неохотой, но, напротив, одетый в простой плащ, сам идет к посетителю навстречу, радушно его приветствует, терпеливо выслушивает и мягко, любезно отвечает, – все бывали восхищены и очарованы и твердили, что единственный подлинный потомок Геракла – это Клеомен.

Обыкновенный, повседневный обед подавался на столе с тремя ложами, трапеза бывала совсем скудной и чисто лаконской. Если же царь принимал у себя послов или чужеземных гостей, ставили еще два ложа и слуги несколько украшали обед, но не какими-нибудь изысканными блюдами и не печеньями, а просто сравнительным обилием еды и питья. Клеомен даже выговаривал как-то одному из друзей, когда услышал, что тот, угощая чужеземцев, предложил им черной похлебки и ячменных лепешек, как на спартанских общих трапезах: в подобных случаях, сказал он, да еще с иноземцами, нет никакой нужды слишком строго держаться лаконских нравов. Когда стол убирали, приносили треножник с медным кратером, полным вина, два серебряных ковша вместимостью по две котилы и несколько – совсем немного – серебряных чаш, из которых пил всякий, кто хотел, но вопреки желанию пить никого не принуждали. Никаких услаждений для слуха не было да и не требовалось. Царь сам направлял беседу и занимал гостей за вином, то расспрашивая других, то что-нибудь рассказывая сам, и серьезные его речи были не лишены приятности, а шутки отличались мягкостью и тонкостью. Гоняться за людьми, приманивая и развращая их деньгами и подарками, как поступали прочие цари, он считал и безвкусным, и несправедливым, а вот дружелюбной беседой, приятным и внушающим доверие словом расположить и привлечь к себе всякого, с кем довелось встретиться, – это представлялось ему делом поистине прекрасным и поистине царским, ибо, говорил он, друг отличается от наемника лишь тем, что одного приобретают обаянием собственного нрава и речей, а другого – деньгами.

35 (14). Первыми, кто обратился к Клеомену за помощью, были мантинейцы: ночью они незаметно открыли ему ворота и, прогнав с его помощью ахейский караульный отряд, отдались под власть Спарты. Но Клеомен вернул им их прежние законы и государственное устройство и в тот же день возвратился в Тегею. Вскоре после этого Клеомен, обогнув Аркадию, подступил к ахейскому

городу Ферам, рассчитывая либо вызвать ахейцев на сражение, либо опорочить и очернить Арата, если тот уклонится от битвы и оставит страну на произвол врага. Стратегом был тогда Гипербат, но вся власть в Ахейском союзе принадлежала Арату, Ахейцы собрали все свои силы и стали лагерем близ Димы подле Гекатомбея, туда же подошел и Клеомен, заняв позицию, по-видимому, весьма невыгодную, – между неприятельским городом Димой и ахейским войском. Несмотря на это он отважно бросал ахейцам вызов за вызовом, заставил их принять бой и нанес врагу решительное поражение, обратив в бегство весь строй пехоты; многие погибли в битве, многие живыми попали в руки спартанцев. Затем Клеомен двинулся к Лангону, изгнал оттуда ахейский сторожевой отряд и вернул город элейцам.

36 (15). Итак, ахейцы были разбиты и ослаблены, и в этих обстоятельствах Арат, который обыкновенно бывал стратегом каждый второй год, не пожелал принять должность и ответил отказом на все призывы и просьбы сограждан. Недостойный поступок – когда буря усиливается, оставить кормило и уступить команду другому. Вначале Клеомен предложил ахейским послам умеренные, казалось бы, условия, однако вслед за тем сам отправил послов и потребовал передать ему верховную власть, обещая, что во всем остальном спорить с ними не станет, но немедленно вернет и пленных, и захваченные области. Ахейцы готовы были принять перемирие на этих условиях и приглашали Клеомена в Лерну[14], где они хотели созвать Собрание, но тут вышло так, что царь после какого-то напряженного перехода совсем не ко времени напился воды, у него пошла кровь горлом, и он потерял голос. Поэтому он только отослал ахейцам самых видных и знатных пленных, а встречу отложил и вернулся в Лакедемон.

37 (16). Эта случайность погубила Грецию, которая именно в те дни могла еще как-то оправиться от своих бед и спастись от высокомерия и алчности македонян. В самом деле, Арат, то ли не доверяя Клеомену и боясь его, то ли завидуя его неожиданной удаче и считая страшной несправедливостью, чтобы после тридцати трех лет главенства молодой, лишь недавно появившийся соперник завладел разом и славой его и влиянием и перенял власть, которую он так расширил и возвысил и так долго держал в своих руках, – Арат сначала пытался силой удержать ахейцев от их намерения. Но ахейцы, пораженные отвагой Клеомена, не поддавались, мало того – они считали справедливым желание лакедемонян вернуть Пелопоннесу его старинное устройство, и тогда Арат решился на шаг, никому из греков не подобавший, а для него и вовсе постыдный, в высшей мере недостойный прежних его действий на обоих поприщах – и государственном, и военном, – решился призвать в Грецию Антигона и наводнить Пелопоннес македонянами, которых сам же, освободив Акрокоринф, еще мальчишкой изгнал из Пелопоннеса; решился призвать царя, хотя сам был враждебен и подозрителен в глазах всех царей, призвать наконец того самого Антигона[15], на чью голову в своих «Воспоминаниях» обрушивает целый поток бранных слов. Он пишет, что принял много трудов и опасностей ради афинян, чтобы избавить их город от македонского караульного отряда, – и этих же македонян, вооруженных, привел в свой родной город, к собственному очагу, к дверям женской половины дома[16]. Потомку Геракла и царю спартанцев, который хотел натянуть ослабевшие

струны древнего государственного устройства и сообщить им прежний лад – в согласии с законами Ликурга и чистыми правилами дорийской жизни, он не считал возможным предоставить право называться главою сикионян и тритейцев и, в страхе перед ячменной лепешкой, потертым плащом, а самое главное, перед уничтожением богатства и облегчением мук бедности (это было основное, в чем обвинял Клеомена Арат), подчинил ахейцев и самого себя диадеме, багрянице и приказам македонских сатрапов. Ради того, чтобы никто не подумал, будто Арат исполняет распоряжения Клеомена, он согласился справлять Антигонии[17] и, украсив голову венком, приносить жертвы и петь хвалебные гимны в честь человека, который истлевал от чахотки. Все это мы пишем не в укор Арату, который так часто выказывал истинное величие и преданность Греции, но скорбя о слабости человеческой природы, коль скоро даже в характерах, столь замечательных, столь щедро одаренных нравственно, она неспособна явить прекрасное без малейшего пятна и изъяна.

38 (17). Когда ахейцы снова сошлись на Собрание, на этот раз – в Аргос, и туда же прибыл из Тегеи Клеомен, все горячо надеялись, что наконец-то будет заключен мир. Но Арат, который в основном уже договорился с Антигоном, опасаясь как бы Клеомен, убеждениями или даже силой склонив народ на свою сторону, успешно не завершил все задуманное, выдвинул такое требование: пусть Клеомен возьмет триста заложников, но зато явится в Собрание один, а в противном случае пусть подойдет со своим войском к гимнасию Киларабису и встретится с ахейцами там, за стенами города. Клеомен ответил, что это прямая обида и что следовало известить его заранее, а не отказывать в доверии и не гнать теперь, когда он уже у ворот. Он написал ахейцам письмо, состоявшее почти сплошь из обвинений против Арата. Арат, со своей стороны, всячески чернил его перед народом, и Клеомен поспешно снялся с лагеря, отправив ахейцам вестника с объявлением войны, но не в Аргос, а в Эгий, – для того, как утверждает Арат, чтобы противник не успел приготовиться и был захвачен врасплох.

Среди ахейцев началось брожение, в городах пошли речи о выходе из союза, ибо народ мечтал о разделе земли и об отмене долговых обязательств, да и первые граждане во многих местах были недовольны Аратом, а некоторые открыто возмущались его планом привести в Пелопоннес македонян, так что Клеомен вторгся в Ахайю, воодушевленный лучшими надеждами. Прежде всего он внезапным нападением захватил Пеллену и с помощью самих ахейцев изгнал оттуда караульный отряд, а затем покорил Феней и Пентелий. Когда же ахейцы, опасаясь измены в Коринфе и Сикионе, послали туда из Аргоса всадников и наемную пехоту, а сами собрались в Аргос на Немейские празднества[18], Клеомен рассчитал, – и рассчитал правильно, – что, если неожиданно ударит на город, переполненный праздничной толпою зрителей, то произведет страшное смятение и переполох. И вот ночью, подведя войско к городским стенам, он занял Аспиду – неприступную позицию на круче над самым театром, и привел ахейцев в такой ужас, что никто и не подумал взяться за оружие, напротив – граждане беспрекословно приняли спартанский отряд, выдали двадцать заложников и стали союзниками лакедемонян, предоставив верховное главенство Клеомену.

39(18). Эта удача немало прибавила к его славе и силе. Ибо ни цари Лакедемона в старину не смогли, как ни старались, надежно покорить Аргос, ни искуснейший из полководцев, Пирр, не удержал города, но, ворвавшись в него силою, был убит, и вместе с ним погибла значительная часть войска. Все только дивились проворству и глубокой проницательности Клеомена, и те, кто прежде посмеивался над ним, когда он говорил, что отменою долгов и уравнением имуществ подражает Солону и Ликургу, теперь были твердо убеждены, что спартанцы ему одному обязаны переменою, которая с ними совершилась. Ведь до тех пор они влачили такое жалкое существование, настолько неспособны были себя защитить, что этолийцы, вторгшись в Лаконию, увели пятьдесят тысяч рабов[19]. (Как сообщают, какой-то старик-спартанец заметил тогда, что враги оказали Лаконии услугу, освободив ее от такого бремени.) А вскоре после этого, едва узнавши вкус отеческих обычаев, едва пустившись по следам древнего и прославленного устройства жизни, они уже дали Ликургу, который словно бы сам присутствовал среди них и вместе вершил делами, убедительные доказательства своего мужества и послушания, возвращая Лакедемону владычество над Грецией и вновь овладевая Пелопоннесом.

40(19). Сразу после взятия Аргоса к Клеомену присоединились Клеоны и Флиунт. Арат находился тогда в Коринфе, ведя расследование по делу коринфских граждан, обвинявшихся в связях со Спартой. Встревоженный полученными вестями, ощущая уже, что город склоняется на сторону Клеомена и хочет избавиться от власти ахейцев, он велел созвать коринфян к зданию Совета, а сам незаметно выбрался к воротам. Здесь ему подали коня, и он бежал в Сикион. Коринфяне, пишет Арат, бросились в Аргос, к Клеомену, с такою поспешностью, что все до одного загнали лошадей, а Клеомен еще выбранил их за то, что они не схватили Арата, но дали ему уйти. Тем не менее, продолжает Арат, к нему явился Мегистоной с предложением от Клеомена за большие деньги передать спартанцам Акрокоринф (там еще стоял ахейский сторожевой отряд); на это он отвечал, что больше не направляет течения событий, но скорее сам плывет по течению. Так рассказывает Арат.

Выступив из Аргоса и приведя к покорности Трезену, Эпидавр и Гермиону, Клеомен вошел в Коринф. Крепость, которую ахейцы не хотели оставить, он распорядился обнести частоколом, затем вызвал к себе друзей и управляющих Арата и приказал первым оберегать его дом и имущество, а вторым – вести дела по-прежнему. После этого он снова послал к Арату своего человека, на сей раз – мессенца Тритималла, и предложил, чтобы ахейцы и лакедемоняне несли стражу в Акрокоринфе совместно, а от себя обещал Арату двойное содержание против того, какое он получает от царя Птолемея[20]. Когда же Арат не только ответил отказом, но, в числе других заложников, отправил к Антигону своего сына и убедил ахейцев вынести решение о передаче Акрокоринфа Антигону, Клеомен вторгся в землю сикионян и опустошил ее, а также принял в дар от коринфян имущество Арата.

41(20). Антигон с большим войском перевалил через Геранию, и Клеомен счел более разумным воздвигнуть укрепления не на Истме, а на склонах Ония, и дать отпор македонянам, используя преимущества местности, а не вступать в

открытое сражение с прекрасно выученной фалангой. Исполняя свой замысел, он действительно поставил Антигона в трудное положение: достаточных запасов продовольствия у него не было, а сломить сопротивление Клеомена и пробиться вперед оказалось нелегко. Он попробовал было ночью пройти через Лехей, но потерпел неудачу и вернулся, потеряв нескольких воинов, так что Клеомен совершенно уверился в своих силах, а его люди, гордые победой, спокойно принялись за ужин. Антигон был в унынии, безвыходность положения подсказывала планы один другого неисполнимее. Он уже думал о том, чтоб перенести лагерь на мыс Герей и оттуда перевезти войско в Сикион морем, хотя это требовало и долгого времени и тщательной подготовки. Но тут, под вечер, из Аргоса приплыли друзья Арата и стали приглашать Антигона к себе, заверяя, что аргосцы готовы изменить Клеомену. Зачинщиком этой измены был Аристотель, который без труда увлек за собою народ, возмущенный тем, что Клеомен обманул всеобщие ожидания и не уничтожил долгов. Сам Арат взял у Антигона полторы тысячи воинов и на кораблях переправил их в Эпидавр. Аристотель меж тем не стал дожидаться македонян, но во главе сограждан осадил крепость, где стоял караульный отряд. Вместе с ним был Тимоксен, который привел на подмогу ахейцев из Сикиона.

42(21). Весть об этом Клеомен получил во вторую стражу ночи[21] и, вызвав к себе Мегистоноя, в сильном гневе приказал ему немедленно выступить с подкреплением в Аргос. (Мегистоной особенно горячо ручался за аргивян перед царем и помешал ему изгнать из города всех подозрительных.) Отправив Мегистоноя с двумя тысячами воинов, Клеомен усилил наблюдение за Антигоном и постарался успокоить коринфян, внушая им, что в Аргосе ничего особенного не случилось, а просто кучка бунтовщиков пыталась посеять беспорядки.

Мегистоной ворвался в Аргос, но был убит в бою, а осажденные, уже едва выдерживая натиск неприятеля, посылали к царю гонца за гонцом, и Клеомен, боясь, как бы враги, овладев Аргосом, не отрезали ему путь назад, а сами, беспрепятственно и безнаказанно, не опустошили Лаконию и не подошли к стенам оставшейся без защитников Спарты, увел свое войско от Коринфа. Он сразу же лишился этого города – в Коринф вступил Антигон и поставил там свой караульный отряд.

Приблизившись к Аргосу, Клеомен сперва попытался преодолеть городские укрепления с ходу и для этого собрал в кулак растянувшееся на походе войско, но потом пробил подземные своды, выведенные пониже Аспиды, и, таким образом проникнув в город, соединился со своими, которые еще продолжали оказывать сопротивление ахейцам. Отсюда он с помощью лестниц проник в верхние кварталы, захватил их и очистил от врага узкие, тесные улицы, приказав критянам не жалеть стрел. Но когда он увидел, что пехота Антигона сходит с высот на равнину, а большой отряд конницы уже мчится к городу, то, отказавшись от надежды на победу, собрал всех своих, благополучно спустился вниз и выбрался за стену. В кратчайший срок он достиг поразительных успехов и за один поход едва не сделался владыкою чуть ли не всего Пелопоннеса, но тут же все снова потерял: часть союзников бросила его немедленно, а другие, немного спустя, отдали свои города под власть Антигона.

43(22). Завершив таким образом военные действия, Клеомен вел войско назад, и близ Тегеи, уже под вечер, его встретили гонцы из Лакедемона с вестями не менее горькими, нежели те, какие вез он сам: они сообщили царю о смерти его супруги, разлуку с которой он не в силах был выносить, – как бы счастливо ни складывались для него обстоятельства на войне, он то и дело наезжал в Спарту, страстно любя Агиатиду и ценя ее выше всех на свете. Новое несчастье поразило его в самое сердце – по-иному и не могло быть с молодым мужем, лишившимся такой прекрасной и целомудренной жены,– но в скорби своей он не потерял и не посрамил ни разума, ни величия духа, его голос, выражение лица, весь его облик остались прежними, он отдавал необходимые распоряжения начальникам и думал о том, как обеспечить безопасность Тегеи. На рассвете следующего дня он приехал в Спарту и, оплакав дома свою беду[22] вместе с матерью и детьми, тут же обратился мыслью к делам государства.

Египетский царь Птолемей предлагал Клеомену помощь, но требовал в заложники его детей и мать, и Клеомен долгое время стыдился рассказать об этом матери – сколько раз ни приходил он к ней для решительного разговора, слова неизменно застревали у него в горле, так что Кратесиклея сама заподозрила неладное и стала допытываться у друзей царя: может, он хочет о чем-то ее попросить, но не смеет. Наконец Клеомен отважился высказаться, и она воскликнула с громким смехом: "Так вот о чем ты столько раз порывался переговорить со мною, но робел? Немедленно сажай нас на корабль и пошли туда, где, по твоему разумению, это тело сумеет принести Спарте как можно больше пользы – пока еще его не изнурила старость здесь, безо всякого толка и дела!" Когда все было готово к отъезду, они вместе пришли пешком к Тенару; их провожало войско в полном вооружении. Перед тем, как взойти на борт, Кратесиклея увела Клеомена одного в храм Посейдона, обняла его, расстроенного и опечаленного, горячо поцеловала и промолвила:"А теперь, царь лакедемонян, когда мы выйдем наружу, пусть никто не увидит наших слез, никто не обвинит нас в поступке, недостойном Спарты! Это одно в наших руках. А судьбы наши определит божество". Сказавши так, она приняла спокойный вид, поднялась с внуком на корабль и велела кормчему отчаливать поскорее.

Прибыв в Египет, она узнала, что Птолемей принимает послов Антигона и благосклонно их выслушивает, а что Клеомен, в то же самое время, боясь за нее, не решается без согласия Птолемея прекратить войну, хотя ахейцы предлагают ему перемирие, и написала сыну, чтобы он имел в виду лишь достоинство Спарты и ее выгоды и не оглядывался постоянно на Птолемея из-за одной старухи и малых ребят. Вот какою, говорят, выказала себя эта женщина в несчастьях!

44(23). Между тем Антигон взял Тегею и разграбил Мантинею и Орхомен, и тут спартанский царь, загнанный в пределы самой Лаконии, освободив тех илотов, которые смогли внести пять аттических мин выкупа, и собрав таким образом пятьсот талантов[23], вооружил на македонский лад две тысячи человек – нарочито для борьбы с левкаспидами[24] Антигона – и задумал важный, никем не предвиденный шаг.

В ту пору Мегалополь и сам по себе нисколько не уступал Лакедемону ни величиною, ни силой и вдобавок мог всегда рассчитывать на помощь ахейцев и

Антигона; последний стоял лагерем совсем рядом, и вообще, как тогда считалось, ахейцы обратились к нему за помощью главным образом благодаря хлопотам мегалополитанцев. Решив разграбить Мегалополь (ибо никакой иной цели, по-видимому, не могла преследовать эта затея, исполненная так стремительно и так неожиданно), Клеомен приказал воинам взять продовольствия на пять дней и повел их к Селласии словно бы с намерением совершить набег на Арголиду. Но от Селласии он спустился во владения Мегалополя и, остановив войско на обед у Ретея, сразу вслед за тем двинулся через Геликунт прямо на город. Подойдя поближе, он отправил вперед Пантея с двумя отрядами лакедемонян и приказал ему захватить часть стены между башнями, – где, как он слышал, караульных не было вовсе, – а сам, с остальными силами, не торопясь продолжал путь. Пантей нашел неохраняемым не только этот промежуток, но и всю стену на значительном протяжении и, перебив случайных часовых, кое-где разрушил ее, кое-где немедленно расставил своих людей, а тут подоспел и Клеомен, и не успели мегалополитанцы почуять беду, как он уже был в городе.

45(24). В конце концов, случившееся все же открылось жителям, и одни немедленно, забирая что попадалось под руку из имущества, бежали, а другие, схватив оружие, тесным отрядом кинулись навстречу неприятелю, и если отразить его все же не смогли, то, по крайней мере, дали возможность беглецам беспрепятственно покинуть город, так что спартанцы захватили не больше тысячи человек, а все остальные вместе с детьми и женами успели уйти в Мессену. Спаслась и бóльшая часть тех, кто сражался на улицах, прикрывая бежавших. Среди пленных, которых было очень немного, оказались двое из числа самых знатных и влиятельных граждан Мегалóполя – Лисандрид и Феарид. Обоих немедленно повели к Клеомену. Лисандрид, едва увидев царя, еще издали крикнул ему: “Царь лакедемонян, тебе представляется случай совершить деяние более прекрасное и царственное, чем только что завершенное, и прославиться еще больше!” Клеомен, уже догадавшись, к чему он клонит, спросил: “Что ты имеешь в виду, Лисандрид? Ведь, я надеюсь, ты не станешь советовать мне вернуть город вам?” А Лисандрид в ответ: “Это именно я имею в виду и советую! Не губи такой громадный город, но наполни его верными друзьями и надежными союзниками, возвратив мегалополитанцам их отечество и сделавшись спасителем целого народа!”. Немного помолчав, Клеомен сказал: “Трудно этому поверить... Но пусть всегда слава берет у нас верх над пользой!” Итак, он отправляет обоих пленников в Мессену, а вместе с ними своего посланца, изъявив согласие вернуть Мегалополь его гражданам при условии, что они заключат с ним дружбу и союз и порвут с ахейцами. Но великодушие и человеколюбие Клеомена пропали даром, ибо Филопемен не позволил мегалополитанцам нарушить слово, данное ахейцам, и, обвиняя царя в том, что он хочет не город вернуть, но, – в придачу к городу, – завладеть и гражданами, выгнал Феарида и Лисандрида вон из Мессены. Это был тот самый Филопемен, который, – как рассказано в посвященном ему сочинении, – впоследствии стоял во главе ахейцев и пользовался самою громкою славой во всей Греции.

46(25). Когда об этом донесли Клеомену, до сих пор хранившему город в полной неприкосновенности, так что ни одна мелочь не была украдена, царь

пришел в совершенное неистовство. Имущество жителей он приказал разграбить, статуи и картины увезти в Спарту, разрушил и сравнял с землею почти все крупнейшие кварталы Мегалополя и, наконец, отступил, боясь Антигона и ахейцев. Впрочем, ни тот ни другие ничем его не потревожили.

Ахейцы как раз в те дни собрались в Эгии на Совет. Арат поднялся на возвышение и долго плакал, закрыв лицо плащом, и в ответ на изумленные вопросы и требования объяснить, в чем дело, промолвил, что Клеомен уничтожил Мегалополь. Собрание немедленно было распущено – так потрясло ахейцев это громадное и неожиданное горе. Антигон хотел было прийти на помощь союзникам, но, видя, что войско снимается с зимних квартир слишком медленно, отменил свой приказ и велел всем оставаться на месте, а сам, с небольшим отрядом, ушел в Аргос. Это натолкнуло Клеомена еще на одну мысль, казалось бы, дерзкую до безумия, но осуществленную с точным расчетом, как утверждает Полибий[25]. Клеомен, пишет он, зная, что македоняне на зиму размещены по многим городам, а Антигон с друзьями и незначительным числом наемников зимует в Аргосе, вторгся в Арголиду, надеясь либо разбить Антигона в бою, если стыд вынудит его решиться на сражение, либо, в противном случае, совершенно его опозорить в глазах аргивян. Так оно и вышло. Клеомен разорял и беспощадно грабил страну, и граждане Аргоса в негодовании толпились у дверей македонского царя, громко требуя, чтобы он дрался с врагом или же уступил начальство другим, более храбрым. Но Антигон, – как и подобало умному полководцу, – считал постыдным подвергать себя опасности вопреки здравому смыслу, а брани и хулы чужих людей нисколько не стыдился и потому прежних планов не переменил, так что Клеомен смог подойти с войском к самым стенам Аргоса и, всласть поглумившись над врагами, беспрепятственно отступил.

47(26). Немного спустя, узнав, что Антигон снова идет на Тегею, чтобы оттуда начать вторжение в Лаконию, Клеомен быстро собрал своих воинов, пустился в обход и на следующее утро был уже в окрестностях Аргоса. Его люди принялись опустошать поля на равнине, но не срезали хлеб серпами или ножами, как обычно в таких случаях, а ломали стебли ударами длинных палок, вырезанных наподобие фракийского меча[26], так что как бы играючи, походя, без всякого труда губили и истребляли посевы. Но когда спартанцы оказались возле гимнасия Килларабиса и хотели его поджечь, царь запретил, засвидетельствовав этим, что и с Мегалополем он обошелся так жестоко скорее ослепленный гневом, чем умышленно и преднамеренно. Антигон немедленно возвратился в Аргос и расставил караулы на всех высотах и перевалах, но Клеомен, делая вид, будто это его нисколько не тревожит, отправил в город посланцев с издевательской просьбою дать им ключи от храма Геры[27], ибо царь перед уходом желает принести жертвы богине. Посмеявшись и позабавившись над врагами и принеся жертву у запертых дверей храма, он увел войско во Флиунт, а оттуда, выбив неприятельский сторожевой отряд из Олигирта, спустился к Орхомену. Все это не только ободрило и воодушевило сограждан Клеомена, но убедило и врагов, что царь спартанцев – замечательный полководец, достойный великого будущего.

И верно, силами одного-единственного города вести войну против македонян, всего Пелопоннеса и царской казны в придачу, и не только сохранять в неприкосновенности Лаконию, но самому разорять землю неприятелей и захватывать такие большие и могущественные города – это ли не признак редкостного искусства и величия духа?

48(27). Однако ж тот, кто первый сказал, что деньги – это жилы[28] всякой вещи и всякого дела, главным образом, мне кажется, имел в виду дела военные. Вот и Демад, когда афиняне требовали спустить на воду новые триеры и набрать для них людей, а денег в казне не было, заметил: "Сперва надо замесить хлеб, а потом уж высматривать, свободно ли место на носу"[29]. Передают, что и Архидам в старину, в самом начале Пелопоннесской войны, в ответ на просьбы союзников назначить каждому точную меру его взноса, объявил: война меры не знает. Подобно тому, как борцы, надежно закалившие свои мышцы, продолжительностью схватки изматывают и наконец одолевают проворных и ловких противников, так же точно и Антигон, располагая большими возможностями и потому непрерывно поддерживая огонь войны, смертельно изнурял Клеомена, который был уже едва способен платить жалование[30] наемникам и давать содержание гражданам.

Но, с другой стороны, затяжная война заключала в себе и преимущества для Клеомена, ибо события в Македонии призывали Антигона вернуться домой. В его отсутствие варвары тревожили и разоряли страну набегами, а как раз в ту пору с севера вторглось огромное войско иллирийцев, и македоняне, терпя бедствие, посылали за своим царем. Это письмо вполне могло прийти к нему и до битвы, и случись так, он бы немедленно удалился, забывши и думать об ахейцах. Но судьба, так часто решающая исход важнейших дел посредством мелких и, по-видимому, ничего не значащих обстоятельств, показала тут всю силу и значение счастливой случайности: письмо пришло к Антигону сразу после сражения при Селласии, в котором Клеомен потерял и власть и отечество. Это делает беду Клеомена особенно горькой и плачевной. Выжди он еще хотя бы два дня, уклоняясь от битвы, – и ему бы уже вообще не пришлось биться с противником, а после ухода македонян он заключил бы с ахейцами мир на любых угодных ему условиях. Но, как мы уже говорили, терпя крайнюю нужду в деньгах, он все надежды возлагал на удачу в бою и принужден был выставить двадцать тысяч своих (как сообщает Полибий[31]) против тридцати тысяч неприятеля.

49(28). В этот грозный час Клеомен проявил себя превосходным полководцем, со всем усердием сражались под его командою и спартанцы, не в чем было упрекнуть и наемников; достоинства вражеского вооружения и мощь фаланги – вот что вырвало победу у лакедемонян. Филарх же сообщает, что главным образом спартанцев погубила измена. Антигон сперва приказал иллирийцам и акарнанцам незаметно обойти и окружить один из вражеских флангов, – тот, который подчинялся Эвклиду, брату Клеомена, – и лишь потом стал строить к бою остальное войско, и Клеомен, наблюдая за противником и не видя нигде иллирийских и акарнанских отрядов, забеспокоился, не готовит ли Антигон с их помощью какого-нибудь внезапного удара. Он распорядился позвать Дамотеля, руководившего криптиями[32], и велел ему тщательно проверить, нет ли чего по-

дозрительного по краям и позади строя. Дамотель, которого, как сообщают, Антигон заранее подкупил, донес царю, что тревожиться нечего – там, дескать, все спокойно, и советовал все внимание обратить на тех, что вот-вот ударят спартанцам в лоб, и дать отпор им. Поверив его донесению, Клеомен двинулся вперед, натиск его спартанцев опрокинул фалангу, и целые пять стадиев они победоносно гнали отступавших македонян. Тем временем Эвклид на другом фланге был зажат в кольцо. Остановившись и оценив опасность, Клеомен воскликнул: "Ты пропал, брат мой, мой любимый, ты пропал, но ты покрыл себя славою, и наши дети будут завидовать тебе, а женщины воспевать тебя в песнях!" Эвклид и его воины были перебиты, и, покончив с ними, враги немедленно ринулись на Клеомена. Видя, что его люди в смятении и уже не смеют сопротивляться, царь решил позаботиться о собственном спасении. Передают, что наемников погибло очень много, а спартанцы пали почти все – из шести тысяч уцелело лишь двести.

50(29). Добравшись до города, Клеомен дал совет гражданам, которые вышли ему навстречу, открыть ворота Антигону, добавив, что сам он намерен поступить так, как будет полезнее для Спарты, и лишь в зависимости от этого останется жить или умрет. Видя, что женщины подбегают к тем, кто спасся вместе с ним, снимают с них доспехи, подносят пить, он тоже пошел к себе домой, но когда молодая рабыня, из свободных гражданок Мегалополя, с которою он жил после смерти жены, подошла и хотела за ним поухаживать, как всегда после возвращения из похода, он не стал пить, хотя изнывал от жажды, и даже не сел, хотя едва держался на ногах. Не снимая панциря, он уперся локтем в какую-то колонну, положил лицо на согнутую руку и так немного передохнул, перебирая в уме все возможные планы действий, а затем, вместе с друзьями, двинулся дальше – в Гифий. Там они сели на корабли, заранее приготовленные специально на этот случай, и вышли в море.

51(30). Антигон занял город с первой попытки и обошелся с лакедемонянами очень мягко, ничем не унизил и не оскорбил достоинство Спарты, но, вернув ей прежние законы и государственное устройство и принеся жертвы богам, на третий день тронулся в обратный путь, уже зная, что в Македонии идет тяжелая война и что страну разоряют варвары. Вдобавок он был тяжело болен – у него открылась чахотка с беспрерывным кровохарканьем. Тем не менее он не отступил перед собственным недугом, но собрал и нашел в себе силы для борьбы за свою землю, так что умер славною смертью уже после великой и кровавой победы над варварами. Вполне вероятно (как об этом и говорится у Филарха), что во время сражения он надорвал себе внутренности криком, но ходил и другой рассказ, который часто можно было услышать в досужих беседах, – будто после победы он громко воскликнул на радостях: "Какой замечательный день!" – и сразу же у него хлынула кровь горлом, потом началась горячка и он скончался. Но достаточно об Антигоне.

52(31). Клеомен отплыл с Киферы и пристал к другому острову – Эгилии; оттуда он хотел переправиться в Кирену. И вот один из друзей, по имени Ферикион, и в делах всегда выказывавший незаурядное мужество, и в речах постоянно заносчивый и надменный, улучает мгновение, когда подле царя никого нет, и, с

глазу на глаз, говорит ему так: “Самую прекрасную смерть – смерть в битве – мы упустили, хотя все слышали, как мы клялись, что только мертвого одолеет Антигон царя спартанцев. Но ближайшая к ней по славе и доблести кончина еще в нашей власти. Так куда же мы плывем, безрассудно убегая от близкой беды и гонясь за далекою? Если только вообще не позорно потомству Геракла быть в услужении у преемников Филиппа и Александра, мы избавим себя хотя бы от долгого путешествия, сдавшись Антигону, у которого, бесспорно, столько же преимуществ против Птолемея, сколько у македонян против египтян. А если мы считаем ниже своего достоинства подчиниться власти тех, кто нанес нам поражение в честном бою, для чего ставим себе господином человека, который нас не побеждал, – для того, разве, чтобы показать, что мы слабее не только Антигона, от которого бежали, но и Птолемея, перед которым заискиваем, – не одного, но сразу двоих?! Или, может, мы рассудим так, что едем в Египет ради твоей матери? Вот уж поистине прекрасным и завидным зрелищем будешь ты для матери, когда она станет представлять женам Птолемея своего сына – прежде царя, а теперь пленника и изгнанника! Не лучше ли, пока мечи наши еще у нас в руках, а берег Лаконии не пропал еще из виду, здесь рассчитаться с судьбою и оправдать себя перед теми, кто пал за Спарту при Селласии, нежели сидеть покойно в Египте, ожидая известий, кого Антигон оставил сатрапом в Лакедемоне?!” На эти слова Ферикиона Клеомен отвечал: “Ах ты малодушный! Ты гонишься за смертью – самым легким и доступным, что только есть на свете у человека, а себе самому кажешься образцом мужества, не замечая, что предаешься бегству позорнее прежнего! И получше нас воины уступали врагу – то ли покинутые удачей, то ли сломленные силой, но кто отступает перед трудами и муками или же перед молвою и порицаниями людей, тот побежден собственной слабостью. Добровольная смерть должна быть не бегством от деяний, но – деянием! Позорно и жить только для себя и умереть ради себя одного. Но именно к этому ты нас и призываешь теперь, спеша избавиться от нынешних плачевных обстоятельств и не преследуя никакой иной, благородной или полезной цели. А я полагаю, что ни тебе, ни мне нельзя оставлять надежды на лучшее будущее нашего отечества; если же надежда оставит нас – вот тогда мы умрем, и умрем без труда, стоит нам только пожелать”. Ферикион не возразил царю ни единым словом, но, едва лишь ему представилась возможность отлучиться, ушел на берег моря и покончил с собой.

53(32). С Эгилии Клеомен приплыл в Африку, и царские посланцы доставили его в Александрию. При первом свидании Птолемей встретил его любезно, но сдержанно, как всякого другого, когда же он дал убедительные доказательства своего ума, обнаружил себя человеком рассудительным, способным в повседневном общении соединять спартанскую простоту с благородной учтивостью и, ни в чем не роняя высокого своего достоинства, не склоняясь перед судьбой, очень скоро стал внушать большее доверие к себе, чем угодливо поддакивающие льстецы, – Птолемей от души раскаялся, что бросил его в беде и отдал в жертву Антигону, стяжавшему своею победой и громкую славу и грозное могущество. Почестями и лаской стараясь ободрить Клеомена, Птолемей обещал снабдить его деньгами и судами и отправить в Грецию, где он вер-

нет себе царство. Он назначил Клеомену и содержание, по двадцать четыре таланта на год. Однако царь с друзьями жил просто и воздержно и основную часть этих денег тратил на щедрую помощь тем, кто бежал из Греции в Египет.

54(33). Но старый Птолемей умер, не успев исполнить своего обещания и послать Клеомена в Грецию. Новое царствование началось с беспробудного пьянства, разврата и владычества женщин, и о Клеомене забыли. Сам молодой Птолемей был до такой степени испорчен распутством и вином, что в часы величайшей трезвости и особо серьезного расположения духа справлял таинства и с тимпаном в руке обходил дворец, собирая подаяние для богини[33], а делами первостепенной важности правила царская любовница Агафоклея и ее мать Энанта, содержательница притона. Вначале, впрочем, казалось, что какая-то нужда в Клеомене есть: боясь своего брата Мага, который, благодаря матери[34], пользовался сильною поддержкой войска, и замыслив его убить, Птолемей хотел опереться на Клеомена и приглашал его на свои тайные совещания. Все остальные убеждали царя исполнить этот замысел, и только Клеомен отговаривал его, сказав, что скорее, если бы только это было возможно, следовало бы взрастить для царя побольше братьев – ради надежности и прочности власти. Сосибий, самый влиятельный из друзей царя, возразил, что пока Маг жив, им нельзя полагаться на наемников, но Клеомен уверял, что об этом тревожиться нечего: ведь среди наемных солдат больше трех тысяч – пелопоннесцы, которые ему вполне преданы и, стоит ему только кивнуть немедленно явятся с оружием в руках. Эти слова создали тогда и твердую веру в доброжелательство Клеомена, и высокое мнение об его силе, но впоследствии, когда Птолемей, сознавая свою беспомощность, сделался еще трусливее и, как всегда бывает с людьми, совершенно лишенными разума, ему стало казаться, что самое безопасное – бояться всех и не доверять никому, придворные тоже стали взирать на Клеомена со страхом, вспоминая о его влиянии среди наемников, и часто можно было услышать, что это, дескать, лев, поселившийся среди овец. И в самом деле, именно львиный выказывал он характер, спокойно и зорко, но неприязненно наблюдая за всем, что делалось во дворце.

55(34). Он уже отказался от надежды получить суда и войско и только когда узнал, что Антигон умер, что ахейцы начали войну с этолийцами и что обстоятельства требуют его возвращения, ибо весь Пелопоннес охвачен волнениями и раздором, стал просить отправить его одного с друзьями, но никто не откликнулся на его просьбы. Царь вообще не принял его и не выслушал, отдавая все свое время женщинам, попойкам и празднествам, а Сосибий, ведавший и распоряжавшийся всем без изъятия, считал, что Клеомен, если его задерживать против воли, будет в своей строптивости опасен, но не решался и отпустить этого человека, такого дерзкого и предприимчивого, после того, в особенности, как он собственными глазами видел все язвы египетского царства. Ведь даже дары не смягчали его сердца, но подобно тому как Апис[35], при всем изобилии и роскоши, которыми он, казалось бы, должен наслаждаться, хочет жить в согласии со своею природой, тоскует по вольному бегу и прыжкам и явно тяготится уходом и присмотром жрецов, точно так же и Клеомен нисколько не радовался

безмятежному существованию, но

...сокрушая сердце тоскою[36],

словно Ахилл,

Праздный сидел, но душою алкал он и брани, и боя.

56(35). Вот как обстояли его дела, когда в Александрию прибыл мессенец Никагор[37], злейший враг Клеомена, прикидывавшийся, однако, его другом. Он продал спартанскому царю хорошее поместье, но денег с него не получил – вероятнее всего, просто потому, что война не оставляла Клеомену никакого досуга. Этого-то человека Клеомен, как-то раз прогуливаясь по набережной, заметил, когда он сходил с грузового судна, ласково с ним поздоровался и спросил, что привело его в Египет. Никагор дружелюбно ответил на приветствие и сказал, что привез Птолемею хороших боевых коней. Клеомен засмеялся и промолвил: "Лучше бы ты привез ему арфисток и распутных мальчишек – царю сейчас всего нужнее именно этот товар". Никагор тогда только улыбнулся в ответ. Несколько дней спустя он напомнил Клеомену об имении и просил расплатиться хотя бы теперь, добавив, что не стал бы ему с этим докучать, если бы не потерпел больших убытков, сбывая свой товар. Клеомен возразил, что из денег, которые ему здесь дали, у него уже ничего нет, и тогда Никагор, в раздражении и злобе, пересказал его остроту Сосибию. Тот очень обрадовался, но, желая иметь улики более веские, чтобы тем вернее ожесточить царя, упросил Никагора оставить письмо, где говорилось, что Клеомен решил, если получит от царя триеры и воинов, захватить Кирену. Написав такое письмо, Никагор отплыл, а Сосибий четыре дня спустя принес письмо Птолемею, словно бы только что поданное. Молодой царь был так разгневан, что распорядился, не лишая Клеомена прежнего содержания, поместить его в просторном доме и никуда оттуда не выпускать.

57(36). Уже это было мукой для Клеомена, но еще мрачнее представлялось ему будущее, особенно – после такого случая. Птолемей, сын Хрисерма, один из друзей царя, относился к спартанскому изгнаннику с неизменной приязнью, они в какой-то мере сблизились и были откровенны друг с другом. Когда Клеомен был уже под стражей, Птолемей отозвался на его приглашение, пришел и говорил мягко и сдержанно, стараясь рассеять подозрения Клеомена и оправдывая царя. Но уходя и не заметив за своей спиной Клеомена, который потихоньку следовал за ним до самых дверей, он строго выбранил часовых, за то что они так нерадиво караулят такого опасного и коварного зверя. Клеомен слышал это собственными ушами. Так и не замеченный Птолемеем, он удалился и рассказал обо всем друзьям. Те, разом отбросив всякую надежду, в гневе решили отомстить Птолемею за наглую обиду и умереть смертью, достойною Спарты, не дожидаясь, пока их зарежут, точно откормленных для жертвы баранов. Ведь это просто чудовищно, если Клеомен, презрительно отвергший мир с Антигоном, настоящим мужем и воином, станет сидеть сложа руки и терпеливо ждать, когда, наконец, царь – этот сборщик подаяний для Кибелы – найдет свободный миг, чтобы, отложив в сторону тимпан и оторвавшись от чаши с вином, прикончить своих пленников!

58(37). Приняв такое решение и воспользовавшись тем, что Птолемея случайно в Александрии не было (он уехал в Каноп[38]), они, первым делом, распустили слух, будто царь освобождает их из-под стражи. Далее, так как при дворе было заведено посылать богатый обед и всякие подарки тому, кто скоро будет освобожден, друзья Клеомена приготовили на стороне много подобного рода подношений и отправили их домой, вводя в обман караульных, которые полагали, что все это прислано царем. И действительно, Клеомен приносил жертвы богам, щедро угощал солдат и сам пировал с друзьями, украсив голову венком.

Как сообщают, он приступил к делу раньше, чем было намечено, узнав, что один из рабов, посвященный в их замысел, уходил из дома на свидание к любовнице, – он опасался доноса. Итак, примерно в полдень, убедившись, что часовые захмелели и спят, он надел хитон, распустил шов на правом плече[39] и с обнаженным мечом выскочил наружу в сопровождении тринадцати друзей, одетых и вооруженных так же точно. Среди них был один хромоногий, по имени Гиппит, который, в первом порыве, бросился вместе со всеми, но затем, видя, что товарищи из-за него бегут медленнее, чем могли бы, потребовал, чтобы его прикончили на месте и не губили всего дела, волоча за собою ни на что не пригодный груз. Но случилось так, что какой-то александриец проходил мимо ворот, ведя в поводу лошадь; отобрав ее и посадив Гиппита верхом, спартанцы помчались по улицам, призывая народ к освобождению. Но у граждан, видимо, хватило мужества лишь настолько, чтобы восхищаться дерзостью и отвагой Клеомена, – последовать за ним, оказать ему поддержку не посмел никто.

На Птолемея, сына Хрисерма, когда он выходил из дворца, напали сразу трое и тут же его убили. Другой Птолемей, начальник городской стражи, погнал на них свою колесницу, но они сами ринулись ему навстречу, рассеяли его прислужников и телохранителей, а начальника стащили с колесницы и тоже убили. Потом они двинулись к крепости, намереваясь открыть тюрьму и взбунтовать всех заключенных. Но часовые успели надежно закрыть и загородить все входы, и, потерпевши неудачу и в этой своей попытке, Клеомен принялся бродить по городу без всякой цели и смысла, ибо ни один человек к нему не присоединялся, но все бежали в страхе.

В конце концов, отчаявшись, он сказал друзьям: "Что удивительного, если мужчинами, которые бегут от свободы, правят женщины?" – и призвал всех умереть, не посрамивши своего царя и былых подвигов. Первым упал Гиппит, попросивший кого-нибудь из младших убить его, а потом каждый спокойно и бесстрашно покончил с собою сам. В живых оставался только Панфей, тот, что первым вошел в Мегалополь. Самый красивый из молодых и лучше всех усвоивший начала и правила спартанского воспитания, он был когда-то возлюбленным царя и теперь получил от него приказ умереть последним, когда убедится, что и Клеомен и все прочие мертвы. Панфей обходил лежавшие на земле тела, испытывая острием кинжала, не теплятся ли в ком остатки жизни. Уколов Клеомена в лодыжку и заметив, что лицо его исказилось, он поцеловал царя и сел подле него. Когда же Клеомен испустил дух, Панфей обнял труп и, не разжимая объятий, заколол себя. [59(38)]. Вот как погиб Клеомен – царь, правивший Спартой шестнадцать лет и покрывший себя неувядаемой славой.

Слух об этом быстро разнесся по городу, и Кратесиклея, несмотря на все свое мужество и благородство, не устояла перед страшною тяжестью бедствия – прижав к себе внуков, она зарыдала. Вдруг старший вырвался у нее из рук и прежде, чем кто-нибудь успел сообразить, что он задумал, бросился вниз головой с крыши. Он жестоко расшибся, однако ж не до смерти и, когда его подняли и понесли, стал кричать, негодуя на то, что ему не дают умереть.

Птолемей, узнав о случившемся, распорядился тело Клеомена зашить в звериную шкуру и распять, а детей, Кратесиклею и женщин, которые ее окружали, казнить. Среди этих женщин была и супруга Панфея, отличавшаяся редкостной красотою. Они лишь недавно сочетались браком, и горькая судьба постигла обоих еще в самый разгар их любви. Она хотела покинуть Грецию вместе с мужем, но родители не пустили ее, силою заперли дома и зорко караулили. Тем не менее она вскорости же раздобыла себе коня, достала денег и ночью бежала. Без отдыха скакала она до Тенара, там села на корабль, отплывающий в Египет, и, приехав к мужу, спокойно и радостно делила с ним жизнь на чужбине. Теперь, когда солдаты повели Кратесиклею, она держала ее руку, несла подол ее платья и призывала ее мужаться. Впрочем, сама смерть нимало не страшила Кратесиклею, и только об одном она молила – чтобы ей разрешили умереть раньше детей; но когда их доставили, наконец, к месту казней, палачи сперва убили детей на глазах у старухи, которая, глядя на это чудовищное зрелище, промолвила лишь: “Куда вы ушли, мои маленькие?” Супруга Панфея, женщина крепкая и рослая, подобрав плащ, молча, без единого слова, склонялась над каждым из трупов и, насколько оказывалось возможным, убирала их, готовя к погребению. После всех она приготовила к смерти и погребению и самое себя, опустила полы плаща и, не позволив подойти никому, кроме того, кому предстояло исполнить приговор, погибла, как истинная героиня, не нуждаясь в чужой руке, которая прибрала бы и покрыла ее после кончины. Так даже в смерти она осталась чиста душой и столь же строго охраняла свое тело, как и при жизни.

60(39). Этой трагедией, где женщины состязались в мужестве с мужчинами, Спарта напоследок показала, что истинную доблесть даже судьбе одолеть не дано.

Немного дней спустя часовые, приставленные к распятому телу Клеомена, увидели, что голову мертвого обвила огромная змея, закрыв ему все лицо, так что ни одна хищная птица не подлетала близко. Это внушило царю суеверный ужас. Женщины при дворе тоже были охвачены страхом и стали справлять особые искупительные обряды в уверенности, что погиб человек, угодный и близкий богам. Александрийцы, приходя к тому месту, даже обращались к Клеомену с молитвами, именуя его героем и сыном бога, – до тех пор, пока люди более сведущие не разъяснили им, что гниющая плоть быка обращается в пчел[40], коня – в ос, что из трупа осла вылетают жуки, человеческое же тело, когда гниющие околомозговые жидкости сольются и загустеют, порождает змей. Это замечали еще древние, вот почему из всех животных они чаще всего посвящали героям змею.



ТИБЕРИЙ И ГАЙ ГРАКХИ

[ТИБЕРИЙ ГРАКХ]

1. Закончив первое повествование, обратимся теперь к не менее тягостным бедствиям римской четы, которую будем сравнивать со спартанской, – к жизни Тиберия и Гая. Они были сыновья Тиберия Гракха – цензора, дважды консула и дважды триумфатора[1], но не эти почести, а нравственная высота были главным источником его славы и достоинства. Именно поэтому он удостоился чести после смерти Сципиона, одержавшего победу над Ганнибалом, стать мужем его дочери Корнелии, хотя и не был другом Сципиона, а скорее его противником.

Однажды, как сообщают, он нашел у себя на постели пару змей, и прорицатели, поразмыслив над этим знамением, объявили, что нельзя ни убивать, ни отпускать обеих сразу: если убить самца, умрет Тиберий, если самку – Корнелия. Любя жену и считая, вдобавок, что справедливее первым умереть старшему (Корнелия была еще молода), Тиберий самца убил, а самку выпустил на волю. Вскоре после этого он умер, оставив от брака с Корнелией двенадцать душ детей. Корнелия приняла на себя все заботы о доме и обнаружила столько благородства, здравого смысла и любви к детям, что, казалось, Тиберий сделал прекрасный выбор, решив умереть вместо такой супруги, которая отвергла сватовство Птолемея[2], желавшего разделить с нею царский венец, но осталась вдовой и, потерявши всех детей, кроме троих, дочь выдала замуж за Сципиона Младшего, а двух сыновей, Тиберия и Гая, чья жизнь описана нами здесь, растила с таким честолюбивым усердием, что они, – бесспорно, самые даровитые среди римлян, – своими прекрасными качествами больше, по-видимому, были обязаны воспитанию, чем природе.

2. Точно так же, как статуи и картины, изображающие Диоскуров[3], наряду с подобием передают и некоторое несходство во внешности кулачного бойца по сравнению с наездником, так и эти юноши, одинаково храбрые, воздержные, бескорыстные, красноречивые, великодушные, в поступках своих и делах правления обнаружили с полной ясностью немалые различия, о чем мне кажется нелишним сказать в самом начале.

Во-первых, выражение лица, взгляд и жесты у Тиберия были мягче, сдержаннее, у Гая резче и горячее, так что, и выступая с речами, Тиберий скромно стоял на месте, а Гай первым среди римлян стал во время речи расхаживать по ораторскому возвышению и срывать с плеча тогу[4], – как афинянин Клеон, насколько можно судить по сообщениям писателей, был вообще первым, кто, выступая перед народом, сорвал с себя плащ и хлопнул себя по бедру. Далее, Гай говорил грозно, страстно и зажигательно, а речь Тиберия радовала слух и легко вызывала сострадание. Наконец, слог у Тиберия был чистый и старательно отделанный, у Гая – захватывающий и пышный. Так же различались они и образом жизни в целом: Тиберий жил просто и скромно, Гай в сравнении с остальными казался воздержным и суровым, но рядом с братом – легкомысленным и расто-

чительным, в чем и упрекал его Друз, когда он купил серебряных дельфинов, заплатив по тысяче двести драхм за каждый фунт веса.

Несходству в речах отвечало и несходство нрава: один был снисходителен и мягок, другой колюч и вспыльчив настолько, что нередко во время речи терял над собою власть и, весь отдавшись гневу, начинал кричать, сыпать бранью, так что, в конце концов, сбивался и умолкал. Чтобы избавиться от этой напасти, он прибег к услугам смышленного раба Лициния. Взяв в руки инструмент, который употребляют учителя пения[5], Лициний, всякий раз когда Гай выступал, становился позади и, замечая, что он повысил голос и уже готов вспыхнуть, брал тихий и нежный звук; откликаясь на него, Гай тут же убавлял силу и чувства и голоса, приходил в себя и успокаивался.

3. Таковы были различия между братьями; что же касается отваги перед лицом неприятеля, справедливости к подчиненным, ревности к службе, умеренности в наслаждениях...* они не расходились нисколько. Тиберий был старше девятью годами, поэтому они выступили порознь на государственном поприще, что нанесло огромный ущерб их делу, ибо в разное время достиг каждый из них своей вершины и слить силы воедино они не могли. А такая совместная сила была бы громадной и неодолимой. Вот почему я должен говорить о каждом в отдельности, и сперва – о старшем.

4. Едва выйдя из детского возраста, Тиберий стяжал известность столь громкую, что был удостоен жреческого сана и включен в число так называемых авгуров[6] – скорее за свои безупречные качества, нежели по благородству происхождения. Одно из доказательств этому дал Аппий Клавдий, бывший консул и цензор, внесенный первым в список римских сенаторов и величием духа намного превосходивший всех своих современников. Однажды, за общею трапезою жрецов[7], он дружески заговорил с Тиберием и сам предложил ему в жены свою дочь. Тот с радостью согласился; таким образом обручение состоялось, и Аппий, придя домой, еще с порога громко крикнул жене: "Послушай, Антистия, я просватал нашу Клавдию!" Та в изумлении отвечала: "К чему такая поспешность? Уж не Тиберия ли Гракха ты нашел ей в женихи?" Я отлично знаю, что некоторые писатели относят эту историю к отцу Гракхов и к Сципиону Африканскому, но большинство излагает ее так же, как мы здесь, а Полибий прямо говорит[8], что после смерти Сципиона Африканского его родичи из всех женихов выбрали для Корнелии Тиберия, ибо отец не успел ни выдать ее замуж, ни просватать.

Младший Тиберий воевал в Африке под начальством второго Сципиона, который был женат на его сестре, и, так как жил с полководцем в одной палатке, скоро узнал его нрав, обнаруживавший многие черты неподдельного величия и тем побуждавший других соревноваться с ним в доблести и подражать его поступкам. Скоро Тиберий превзошел всех молодых храбростью и умением повиноваться. Фанний сообщает, что во время приступа Тиберий поднялся на стену первым, и добавляет, что сам он был рядом с Тиберием и разделил с ним славу этого подвига. Находясь в лагере, Тиберий пользовался горячей любовью воинов, а уехав, оставил по себе добрую память и сожаления.

---

* Текст в оригинале испорчен.

5. После этого похода он был избран квестором, и ему выпал жребий воевать с нумантинцами под командованием консула Гая Манцина, человека в общем не плохого, но между всеми римскими военачальниками самого злополучного. Среди необычайных несчастий и на редкость тягостных обстоятельств особенно ярко просияли и острый ум, и отвага Тиберия, и – что было всего замечательнее – его глубокое уважение к начальнику, который под бременем обрушившихся на него бедствий уже и сам не знал, полководец он или нет.

Разбитый в нескольких больших сражениях, Манцин попытался ночью бросить лагерь и уйти из-под городских стен, но нумантинцы, проведав об этом, и лагерь немедленно захватили, и бросились в погоню за беглецами. Истребляя замыкающих, они окружили все римское войско и принялись оттеснять его к таким местам, откуда выбраться было уже невозможно, и Манцин, отказавшись от надежды пробиться, отправил к неприятелю посланца с просьбой о перемирии и прекращении военных действий. Нумантинцы ответили, что не питают доверия ни к кому из римлян, кроме Тиберия, и потребовали, чтобы консул прислал его. Условие это они выдвинули не только из уважения к молодому человеку, о котором много говорили в войске, но и храня память об его отце, Тиберии, который, завершив войну в Испании и покоривши множество народов, с нумантинцами заключил мир и всегда старался, чтобы римский народ твердо и нерушимо его хранил. Итак, послом был отправлен Тиберий и, кое в чем заставив врага уступить, кое в чем уступивши сам, завершил переговоры перемирием и спас от верной смерти двадцать тысяч римских граждан, не считая рабов и нестроевых.

6. Все захваченное в лагере имущество нумантинцы разграбили. В их руки попали и таблички с записями и расчетами Тиберия, которые он вел, исполняя свою должность, и так как для него было чрезвычайно важно вернуть эти записи, он с тремя или четырьмя провожатыми снова явился к воротам Нуманции, когда войско ушло уже далеко вперед. Вызвав тех, кто стоял во главе города, он просил разыскать и принести ему таблички, потому что иначе он не сможет отчитаться в своем управлении и даст своим врагам в Риме повод его оклеветать. Нумантинцы были рады случаю оказать ему услугу и приглашали его войти в город; меж тем как он медлил в раздумии, они подошли ближе, взяли его за руки и горячо просили не считать их больше врагами, но дать полную веру их дружеским чувствам. Желая получить таблички и, вместе с тем, боясь озлобить нумантинцев недоверием, Тиберий решил уступить. Когда он вошел в город, граждане первым делом приготовили завтрак и хотели, чтобы он непременно с ними поел, потом возвратили таблички и предлагали взять все, что он пожелает, из имущества. Он не взял ничего, кроме ладана, который был ему нужен для общественных жертвоприношений, и, сердечно распрощавшись с нумантинцами, пустился догонять своих.

7. Но когда он вернулся в Рим, действия в Испании были признаны страшным позором для римлян и подверглись резким порицаниям. Родственники и друзья воинов, то есть немалая часть народа, собираясь вокруг Тиберия, кричали, что весь срам целиком падает на полководца, между тем как Гракх спас от смерти столько граждан. Те, кто более других был возмущен случившимся, предлагали

последовать примеру предков, которые, когда римские военачальники согласились принять постыдное освобождение из рук самнитов, выдали врагам и самих полководцев, безоружными и нагими, и всех причастных к перемирию и способствовавших ему, как, например, квесторов и военных трибунов, чтобы на них обратить вину за клятвопреступление и измену договору[9]. Вот тут-то народ и обнаружил с полною ясностью свою любовь к Тиберию: консула, нагого и в цепях, римляне постановили отправить к нумантинцам, а всех остальных пощадили ради Тиберия. Не обошлось, по-видимому, и без помощи Сципиона, обладавшего тогда в Риме огромною силой. И все же Сципиона осуждали, за то что он не спас Манцина и не настаивал на утверждении перемирия с нумантинцами, заключенного усилиями Тиберия, его родича и друга. Однако главною причиною разлада между Сципионом и Тиберием было, скорее всего, честолюбие обоих и подстрекательство со стороны друзей Тиберия и софистов. До открытой и непримиримой вражды дело, впрочем, не дошло, и мне кажется даже, что с Тиберием никогда не случилось бы непоправимого несчастья, если бы в пору его выступления на государственном поприще рядом с ним находился Сципион Африканский. Но Сципион был уже под Нуманцией и вел войну, когда Тиберий начал предлагать новые законы – и вот по каким причинам.

8. Земли, отторгнутые в войнах у соседей, римляне частью продавали, а частью, обратив в общественное достояние, делили между нуждающимися и неимущими гражданами, которые платили за это казне умеренные подати. Но богачи стали предлагать казне бóльшую подать и таким образом вытесняли бедняков, и тогда был издан закон, запрещающий владеть более, чем пятьюстами югеров[10]. Сперва этот указ обуздал алчность и помог бедным остаться на земле, отданной им внаем, так что каждый продолжал возделывать тот участок, который держал с самого начала. Но затем богачи исхитрились прибирать к рукам соседние участки через подставных лиц, а под конец уже и открыто завладели почти всею землей, так что согнанные с насиженных мест бедняки и в войско шли без всякой охоты, и к воспитанию детей проявляли полное равнодушие, и вскорости вся Италия ощутила нехватку в свободном населении, зато все росло число рабских темниц[11]: они были полны варваров, которые обрабатывали землю, отобранную богачами у своих сограждан.

Делу пытался помочь еще Гай Лелий, друг Сципиона, но, натолкнувшись на жестокое сопротивление могущественных граждан и боясь беспорядков, оставил свое намерение, за что и получил прозвище Мудрого или Рассудительного: слово "сапиенс" [sapiens], по-видимому, употребляется в обоих этих значениях. Избранный в народные трибуны, Тиберий немедленно взялся за ту же задачу, как утверждает большинство писателей – по совету и внушению оратора Диофана и философа Блоссия. Первый был митиленским изгнанником, а второй – уроженцем самой Италии, выходцем из Кум; в Риме он близко сошелся с Антипатром Тарсским, и тот даже посвящал ему свои философские сочинения. Некоторые возлагают долю вины и на Корнелию, которая часто корила сыновей тем, что римляне все еще зовут ее тещею Сципиона, а не матерью Гракхов. Третьи невольным виновником всего называют некоего Спурия Постумия, сверстника Тиберия и его соперника в славе первого судебного оратора: возвра-

тившись из похода и увидев, что Спурий намного опередил его славою и силой и служит предметом всеобщего восхищения, Тиберий, сколько можно судить, загорелся желанием, в свою очередь, оставить его позади, сделав смелый, и даже опасный, но многое сулящий ход. А брат его Гай в одной из книг пишет, что Тиберий, держа путь в Нуманцию, проезжал через Этрурию и видел запустение земли, видел, что и пахари и пастухи – сплошь варвары, рабы из чужих краев, и тогда впервые ему пришел на ум замысел, ставший впоследствии для обоих братьев источником неисчислимых бед. Впрочем, всего больше разжег его решимость и честолюбие сам народ, исписывая колонны портиков, памятники и стены домов призывами к Тиберию вернуть общественную землю беднякам.

9. Тем не менее он составил свой закон не один, но обратился за советом к самым достойным и видным из граждан. Среди них были верховный жрец Красс, законовед Муций Сцевола, занимавший в ту пору должность консула, и тесть Тиберия Аппий Клавдий. И, мне кажется, никогда против такой страшной несправедливости и такой алчности не предлагали закона снисходительнее и мягче![12] Тем, кто заслуживал суровой кары за самоволие, кто бы должен был уплатить штраф и немедленно расстаться с землею, которою пользовался в нарушение законов, – этим людям предлагалось, получив возмещение, уйти с полей, приобретенных вопреки справедливости, и уступить их гражданам, нуждающимся в помощи и поддержке.

При всей мягкости и сдержанности этой меры народ, готовый забыть о прошлом, радовался, что впредь беззакониям настанет конец, но богатым и имущим своекорыстие внушало ненависть к самому закону, а гнев и упорство – к законодателю, и они принялись убеждать народ отвергнуть предложения Тиберия, твердя, будто передел земли – только средство, настоящая же цель Гракха – смута в государстве и полный переворот существующих порядков. Но они ничего не достигли, ибо Тиберий отстаивал это прекрасное и справедливое начинание с красноречием, способным возвысить даже предметы, далеко не столь благородные, и был грозен, был неодолим, когда, взойдя на ораторское возвышение, окруженное народом, говорил о страданиях бедняков примерно так: дикие звери, населяющие Италию, имеют норы, у каждого есть свое место и свое пристанище, а у тех, кто сражается и умирает за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света, бездомными скитальцами бродят они по стране вместе с женами и детьми, а полководцы лгут, когда перед битвой призывают воинов защищать от врага родные могилы и святыни, ибо ни у кого из такого множества римлян не осталось о́тчего алтаря, никто не покажет, где могильный холм его предков, нет! – и воюют и умирают они за чужую роскошь и богатство, эти "владыки вселенной", как их называют, которые ни единого комка земли не могут назвать своим!

10. На такие речи, подсказанные величием духа и подлинной страстью и обращенные к народу, который приходил в неистовое возбуждение, никто из противников возражать не решался. Итак, откинув мысль о спорах, они обращаются к Марку Октавию, одному из народных трибунов, молодому человеку степенного и скромного нрава. Он был близким товарищем Тиберия и, стыдясь предать друга, сначала отклонял все предложения, которые ему делались, но, в

конце концов, сломленный неотступными просьбами многих влиятельных граждан, как бы вопреки собственной воле выступил против Тиберия и его закона[13].

Среди народных трибунов сила на стороне того, кто налагает запрет, и если даже все остальные согласны друг с другом, они ничего не достигнут, пока есть хотя бы один, противящийся их суждению. Возмущенный поступком Октавия, Тиберий взял назад свой первый, более кроткий законопроект и внес новый, более приятный для народа и более суровый к нарушителям права, которым на сей раз вменялось в обязанность освободить все земли, какие когда-либо были приобретены в обход прежде изданных законов. Чуть не ежедневно у Тиберия бывали схватки с Октавием на ораторском возвышении, но, хотя спорили они с величайшей горячностью и упорством, ни один из них, как сообщают, не сказал о другом ничего оскорбительного, ни один не поддался гневу, не проронил неподобающего или непристойного слова. Как видно, не только на вакхических празднествах[14], но и в пламенных пререканиях добрые задатки и разумное воспитание удерживают дух от безобразных крайностей. Зная, что действию закона подпадает и сам Октавий, у которого было много общественной земли, Тиберий просил его отказаться от борьбы, соглашаясь возместить ему потери за счет собственного состояния, кстати сказать – отнюдь не блестящего. Но Октавий был непреклонен, и тогда Тиберий особым указом объявил полномочия всех должностных лиц, кроме трибунов, прекращенными до тех пор, пока законопроект не пройдет голосования. Он опечатал собственною печатью храм Сатурна, чтобы квесторы не могли ничего принести или вынести из казначейства[15], и через глашатаев пригрозил штрафом преторам, которые окажут неповиновение, так что все в испуге прервали исполнение своих обычных дел и обязанностей. Тут владельцы земель переменили одежды и стали появляться на форуме с видом жалким и подавленным, но втайне злоумышляли против Тиберия и уже приготовили убийц для покушения, так что и он, ни от кого не таясь, опоясался разбойничьим кинжалом, который называют "долоном" [dólōn].

11. Когда настал назначенный день и Тиберий был готов призвать народ к голосованию, обнаружилось, что урны[16] похищены богачами. Поднялся страшный беспорядок. Приверженцы Тиберия были достаточно многочисленны, чтобы применить насилие, и уже собирались вместе, но Манлий и Фульвий, оба бывшие консулы, бросились к Тиберию и, касаясь его рук, со слезами на глазах, молили остановиться. Тиберий, и сам видя надвигающуюся беду и питая уважение к обоим этим мужам, спросил их, как они советуют ему поступить, но они отвечали, что не могут положиться на себя одних в таком деле и уговорили Тиберия предоставить все на усмотрение сената. Когда же и сенат, собравшись, ничего не решил по вине богачей, которые имели в нем большую силу, Тиберий обратился к средству и незаконному, и недостойному – не находя никакой иной возможности провести голосование, он лишил Октавия власти. Но прежде, на глазах у всех, он говорил с Октавием в самом ласковом и дружеском тоне и, касаясь его рук, умолял уступить народу, который не требует ничего, кроме справедливости, и за великие труды и опасности получит лишь самое скромное вознаграждение. Но Октавий снова отвечал отказом, и Тиберий заявил, что если оба они останутся в должности, облеченные одинаковой властью, но расходясь

во мнениях по важнейшим вопросам, год не закончится без войны, а, стало быть, одного из них народ должен лишить полномочий – иного пути к исцелению недуга он не видит. Он предложил Октавию, чтобы сперва голоса были поданы о нем, Тиберии, заверяя, что спустится с возвышения частным лицом, если так будет угодно согражданам. Когда же Октавий и тут не пожелал дать своего согласия, Тиберий, наконец, объявил, что сам устроит голосование о судьбе Октавия, если он не откажется от прежних намерений.

12. На этом он и распустил Собрание в тот день. А на следующий, когда народ снова заполнил площадь, Тиберий, поднявшись на возвышение, снова пытался уговаривать Октавия. Октавий был неумолим, и Тиберий предложил закон, лишающий его достоинства народного трибуна, и призвал граждан немедленно подать голоса. Когда из тридцати пяти триб проголосовали уже семнадцать и не доставало лишь одного голоса, чтобы Октавий сделался частным лицом, Тиберий устроил перерыв и снова умолял Октавия, обнимал и целовал его на виду у народа, заклиная и себя не подвергать бесчестию, и на него не навлекать укоров за такой суровый и мрачный образ действий. Как сообщают, Октавий не остался совершенно бесчувствен и глух к этим просьбам, но глаза его наполнились слезами, и он долго молчал. Затем, однако, он взглянул на богатых и имущих, тесною толпою стоявших в одном месте, и стыд перед ними, боязнь бесславия, которым они его покроют, перевесили, по-видимому, все сомнения – он решил мужественно вытерпеть любую беду и предложил Тиберию делать то, что он считает нужным. Таким образом, закон был одобрен, и Тиберий приказал кому-то из своих вольноотпущенников стащить Октавия с возвышения. Служителями и помощниками при нем были его же отпущенники, а потому Октавий, которого насильно тащили вниз, являл собою зрелище особенно жалостное; и все же народ сразу ринулся на него, но богатые граждане подоспели на помощь и собственными руками заслонили от толпы Октавия, который насилу спасся, между тем как его верному рабу, защищавшему хозяина, вышибли оба глаза. Все случилось без ведома Тиберия – напротив, едва узнав о происходящем, он поспешил туда, где слышался шум, чтобы пресечь беспорядки.

13. Вслед за тем принимается закон о земле, и народ выбирает троих для размежевания и раздела полей – самого Тиберия, его тестя, Аппия Клавдия, и брата, Гая Гракха, которого в ту пору не было в Риме: под начальством Сципиона он воевал у стен Нуманции Оба эти дела Тиберий довел до конца мирно, без всякого сопротивления с чьей бы то ни было стороны, а потом поставил трибуном вместо Октавия не кого-нибудь из видных людей, а своего клиента, какого-то Муция, и могущественные граждане, возмущаясь всеми его поступками и страшась его растущей на глазах силы, старались унизить его в сенате, как только могли. По заведенному обычаю, он просил выдать ему за казенный счет палатку, в которой бы он жил, занимаясь разделом земель, но получил отказ, хотя другим часто давали и при меньшей надобности, а содержания ему назначили девять оболов на день[17]. Зачинщиком всякий раз выступал Публий Назика, люто ненавидевший Тиберия: он владел обширными участками общественной земли и был в ярости от того, что теперь приходится с ними расставаться. Это ожесточило народ еще пуще. Когда скоропостижно умер кто-то из друзей

Тиберия и на трупе выступили подозрительные пятна, римляне кричали повсюду, что он отравлен, сбежались к выносу, сами подняли и понесли погребальное ложе и не отходили от костра. Подозрения их, как видно, полностью оправдались, ибо труп лопнул, и хлынуло так много смрадной жидкости, что огонь потух. Принесли еще огня, но тело все не загоралось, пока костер не сложили в другом месте, и там, после долгих хлопот, пламя наконец поглотило отравленного. Воспользовавшись этим случаем, чтобы еще сильнее озлобить и взволновать народ, Тиберий переменил одежды[18], вывел на форум детей и просил всех позаботиться о них и об их матери, ибо сам он обречен.

14. В это время умер Аттал Филометор, и когда пергамец Эвдем привез его завещание, в котором царь назначал своим наследником римский народ, Тиберий, в угоду толпе, немедленно внес предложение доставить царскую казну в Рим и разделить между гражданами, которые получили землю, чтобы те могли обзавестись земледельческими орудиями и начать хозяйствовать. Что же касается городов, принадлежавших Атталу, то их судьбою надлежит распоряжаться не сенату, а потому он, Тиберий, изложит свое мнение перед народом. Последнее оскорбило сенат сверх всякой меры, и Помпей, поднявшись, заявил, что живет рядом с Тиберием, а потому знает, что пергамец Эвдем передал ему из царских сокровищ диадему и багряницу, ибо Тиберий готовится и рассчитывает стать в Риме царем. Квинт Метелл с резким укором напомнил Тиберию, что когда его отец[19], в бытность свою цензором, возвращался после обеда домой, граждане тушили у себя огни, опасаясь, как бы кто не подумал, будто они слишком много времени уделяют вину и веселым беседам, меж тем как ему по ночам освещают дорогу самые дерзкие и нищие из простолюдинов. Тит Анний, человек незначительный и не большого ума, но считавшийся непобедимым в спорах, просил Тиберия дать определенный и недвусмысленный ответ, подверг ли он унижению своего товарища по должности – лицо, согласно законам, священное и неприкосновенное. В сенате поднялся шум, а Тиберий бросился вон из курии, стал скликать народ и распорядился привести Анния, чтобы безотлагательно выступить с обвинением. Анний, который намного уступал Тиберию и в силе слова и в доброй славе, решил укрыться под защитой своей находчивости и призвал Тиберия, прежде чем он начнет речь, ответить на один небольшой вопрос. Тиберий согласился, и когда все умолкли, Анний спросил: "Если ты вздумаешь унижать меня и бесчестить, а я обращусь за помощью к кому-нибудь из твоих товарищей по должности и он заступится за меня, а ты разгневаешься, – неужели ты и его отрешишь от власти?". Вопрос этот, как сообщают, поверг Тиберия в такое замешательство, что при всей непревзойденной остроте своего языка, при всей своей дерзости и решимости он не смог раскрыть рот.

15. Итак, в тот день он распустил Собрание. Позже, замечая, что из всех его действий поступок с Октавием особенно сильно беспокоит не только могущественных граждан, но и народ, – великое и высокое достоинство народных трибунов, до той поры нерушимо соблюдавшееся, казалось поруганным и уничтоженным, – он произнес в Собрании пространную речь, приведя в ней доводы, которые вполне уместно – хотя бы вкратце – изложить здесь, чтобы дать некоторое представление об убедительности слова и глубине мысли этого человека.

Народный трибун, говорил он, лицо священное и неприкосновенное постольку, поскольку он посвятил себя народу и защищает народ. Стало быть, если он, изменив своему назначению, чинит народу обиды, умаляет его силу, не дает ему воспользоваться правом голоса, он сам лишает себя чести, не выполняя обязанностей, ради которых только и был этой честью облечен. Даже если он разрушит Капитолий и сожжет корабельные верфи, он должен остаться трибуном. Если он так поступит, он разумеется, плохой трибун. Но если он вредит народу, он вообще не трибун. Разве это не бессмысленно, чтобы народный трибун мог отправить консула в тюрьму, а народ не мог отнять власть у трибуна, коль скоро он пользуется ею во вред тому, кто дал ему власть? Ведь и консула и трибуна одинаково выбирает народ! Царское владычество не только соединяло в себе все должности, но и особыми, неслыханно грозными обрядами посвящалось божеству. А все-таки город изгнал Тарквиния, нарушившего справедливость и законы, и за бесчинства одного человека была уничтожена древняя власть, которой Рим обязан своим возникновением. Что римляне чтут столь же свято, как дев, хранящих[20] неугасимый огонь? Но если какая-нибудь из них провинится, ее живьем зарывают в землю, ибо, кощунственно оскорбляя богов, она уже не может притязать на неприкосновенность, которая дана ей во имя и ради богов. А значит, несправедливо, чтобы и трибун, причиняющий народу вред, пользовался неприкосновенностью, данной ему во имя и ради народа, ибо он сам уничтожает ту силу, из которой черпает собственное могущество. Если он на законном основании получил должность, когда бóльшая часть триб отдала ему голоса, то разве меньше оснований лишить его должности, когда все трибы голосуют против него? Нет ничего священнее и неприкосновеннее, чем дары и приношения богам. Но никто не препятствует народу употреблять их по своему усмотрению, двигать и переносить с места на место. В таком случае и звание трибуна, словно некое приношение, народ вправе переносить с одного лица на другое. И можно ли назвать эту власть неприкосновенной и совершенно неотъемлемой, если хорошо известно, что многие добровольно слагали ее или же отказывались принять? (16). Таковы были главные оправдания, приведенные Тиберием.

Друзья Тиберия, слыша угрозы врагов и видя их сплоченность, считали, что ему следует вторично домогаться должности трибуна, сохранить ее за собой и на следующий год[21], и он продолжал располагать к себе народ все новыми законопроектами – предложил сократить срок службы в войске, дать гражданам право обжаловать решения судей перед Народным собранием, ввести в суды, которые состояли тогда сплошь из сенаторов, равное число судей-всадников и вообще всеми средствами и способами старался ограничить могущество сената, скорее в гневе, в ожесточении, нежели ради справедливости и общественной пользы. Когда же наступил день выборов и приверженцы Тиберия убедились, что противники берут верх, ибо сошелся не весь народ, Тиберий сперва, чтобы затянуть время, стал хулить товарищей по должности, а потом распустил Собрание, приказав всем явиться завтра. После этого он вышел на форум и удрученно, униженно, со слезами на глазах молил граждан о защите, а потом сказал, что боится, как бы враги ночью не вломились к нему в дом и не убили его, и так взволновал народ, что целая толпа окружила его дом и караулила всю ночь напролет.

17. На рассвете человек, ходивший за курами, по которым римляне гадают о будущем, бросил им корму. Но птицы оставались в клетке, когда же прислужник резко ее встряхнул, вышла только одна, да и та не прикоснулась к корму[22], а только подняла левое крыло, вытянула одну ногу и снова вбежала в клетку. Это напомнило Тиберию еще об одном знамении. У него был великолепный, богато украшенный шлем, который он надевал во все битвы. Туда незаметно заползли змеи, снесли яйца и высидели детенышей. Вот почему поведение кур особенно встревожило Тиберия. Тем не менее, услышав, что народ собирается на Капитолии, он двинулся туда же. Выходя, он споткнулся о порог и так сильно ушиб ногу, что на большом пальце сломался ноготь и сквозь башмак проступила кровь. Не успел он отойти от дома, как слева на крыше увидел двух дерущихся воронов[23], и хотя легко себе представить, что много людей шло вместе с ним, камень, сброшенный одним из воронов, упал именно к его ногам. Это озадачило даже самых бесстрашных из его окружения. Но Блоссий из Кум воскликнул: "Какой будет срам и позор, если Тиберий, сын Гракха, внук Сципиона Африканского, заступник римского народа, не откликнется на зов сограждан, испугавшись ворона! И не только позор, ибо враги не смеяться станут над тобою, но будут вопить в Собрании, что ты уже тиранн и уже своевольничаешь, как хочешь". В этот миг к Тиберию подбежало сразу много посланцев с Капитолия от друзей, которые советовали поторопиться, потому что все-де идет прекрасно. И в самом деле, вначале события развертывались благоприятно для Тиберия. Появление его народ встретил дружелюбным криком, а когда он поднимался по склону холма, ревниво его окружил, не подпуская никого из чужих.

18. Но когда Муций снова пригласил трибы к урнам, приступить к делу оказалось невозможным, ибо по краям площади началась свалка: сторонники Тиберия старались оттеснить врагов, которые, в свою очередь, теснили тех, силою прокладывая себе путь вперед. В это время сенатор Фульвий Флакк встал на видное место и, так как звуки голоса терялись в шуме, знаком руки показал Тиберию, что хочет о чем-то сказать ему с глазу на глаз. Тиберий велел народу пропустить его, и, с трудом протиснувшись, он сообщил, что заседание сената открылось, но богатые не могут привлечь консула[24] на свою сторону, а потому замышляют расправиться с Тиберием сами и что в их распоряжении много вооруженных рабов и друзей.

19. Когда Тиберий передал эту весть окружающим, те сразу же подпоясались, подобрали тоги и принялись ломать на части копья прислужников, которыми они обычно сдерживают толпу, а потом стали разбирать обломки, готовясь защищаться от нападения. Те, что находились подальше, недоумевали, и в ответ на их крики Тиберий коснулся рукою головы – он дал понять, что его жизнь в опасности, прибегнув к жесту, раз голоса не было слышно. Но противники, увидевши это, помчались в сенат с известием, что Тиберий требует себе царской диадемы и что тому есть прямое доказательство: он притронулся рукою к голове! Все пришли в смятение. Назика призвал консула защитить государство и свергнуть тиранна. Когда же консул сдержанно возразил, что первым к насилию не прибегнет и никого из граждан казнить без суда не будет, но если Тиберий убедит или же принудит народ постановить что-либо вопреки законам,

то с таким постановлением он считаться не станет, – Назика, вскочив с места, закричал: "Ну что ж, если глава государства – изменник, тогда все, кто готов защищать законы, – за мной!"[25] И с этими словами, накинув край тоги на голову, он двинулся к Капитолию. Каждый из шагавших следом сенаторов обернул тогу вокруг левой руки, а правою очищал себе путь, и так велико было уважение к этим людям, что никто не смел оказать сопротивления, но все разбегались, топча друг друга. Те, кто их сопровождал, несли захваченные из дому дубины и палки, а сами сенаторы подбирали обломки и ножки скамей, разбитых бежавшею толпой, и шли прямо на Тиберия, разя всех, кто стоял впереди него. Многие испустили дух под ударами, остальные бросились врассыпную. Тиберий тоже бежал, кто-то ухватил его за тогу, он сбросил ее с плеч и пустился дальше в одной тунике, но поскользнулся и рухнул на трупы тех, что пали раньше него. Он пытался привстать, и тут Публий Сатурей, один из его товарищей по должности, первым ударил его по голове ножкою скамьи. Это было известно всем, на второй же удар заявлял притязания Луций Руф, гордившийся и чванившийся своим "подвигом". Всего погибло больше трехсот человек, убитых дубинами и камнями, и не было ни одного, кто бы умер от меча.

20. Как передают, после изгнания царей это был первый в Риме раздор, завершившийся кровопролитием и избиением граждан: все прочие, хотя бы и нелегкие и отнюдь не по ничтожным причинам возникшие, удавалось прекратить благодаря взаимным уступкам и власть имущих, которые боялись народа, и самого народа, который питал уважение к сенату. По-видимому, и теперь Тиберий легко поддался бы увещаниям, и если бы на него не напали, если бы ему не грозила смерть, он, бесспорно, пошел бы на уступки, тем более, что число его сторонников не превышало трех тысяч. Но, как видно, злоба и ненависть главным образом сплотили против него богачей, а вовсе не те соображения[26], которые они использовали как предлог для побоища. Что именно так оно и было свидетельствует зверское и беззаконное надругательство над трупом Тиберия. Несмотря на просьбы брата, враги не разрешили ему забрать тело и ночью предать погребению, но бросили Тиберия в реку вместе с другими мертвыми. Впрочем, это был еще не конец: иных из друзей убитого они изгнали без суда, иных хватали и казнили. Погиб и оратор Диофан. Гая Биллия посадили в мешок, бросили туда же ядовитых змей и так замучили[27]. Блоссия привели к консулам, и в ответ на их расспросы он объявил, что слепо выполнял все приказы Тиберия. Тогда вмешался Назика: "А что если бы Тиберий приказал тебе сжечь Капитолий?" Сперва Блоссий стоял на том, что Тиберий никогда бы этого не приказал, но вопрос Назики повторили многие, и, в конце концов, он ответил: "Что же, если бы он распорядился, я бы счел для себя честью исполнить. Ибо Тиберий не отдал бы такого распоряжения, не будь оно на благо народу". Блоссию удалось избежать гибели, и позже он отправился в Азию, к Аристонику, а когда дело Аристоника было проиграно, покончил с собой.

21. В сложившихся обстоятельствах сенат считал нужным успокоить народ, а потому больше не возражал против раздела земли и позволил выбрать вместо Тиберия другого размежевателя. Состоялось голосование, и был избран Публий Красс[28], родич Гракха: его дочь Лициния была замужем за Гаем Гракхом. Прав-

да, Корнелий Непот утверждает, будто Гай женился на дочери не Красса, а Брута – того, что справил триумф после победы над лузитанцами. Но большинство писателей говорит то же, что мы здесь.

Народ, однако, негодовал по-прежнему и не скрывал, что при первом же удобном случае постарается отомстить за смерть Тиберия, а против Назики уже возбуждали дело в суде. Боясь за его судьбу, сенат без всякой нужды отправил Назику в Азию. Римляне открыто высказывали ему при встречах свою ненависть, возмущенно кричали ему в лицо, что он проклятый преступник и тиранн и что наиболее чтимый храм города[29] он запятнал кровью трибуна – лица священного и неприкосновенного. И Назика покинул Италию, хотя был главнейшим и первым среди жрецов[30], и с отечеством, кроме всего прочего, его связывало исполнение обрядов величайшей важности. Тоскливо и бесславно скитался он на чужбине и вскорости умер где-то невдалеке от Пергама. Можно ли удивляться, что народ так ненавидел Назику, если даже Сципион Африканский, которого римляне, по-видимому, любили и больше и заслуженнее всех прочих, едва окончательно не потерял расположение народа, за то что, сначала, получивши под Нуманцией весть о кончине Тиберия, прочитал на память стих из Гомера[31]:

Так да погибнет любой, кто свершит подобное дело,

впоследствии же, когда Гай и Фульвий задали ему в Собрании вопрос, что он думает о смерти Тиберия, отозвался о его деятельности с неодобрением. Народ прервал речь Сципиона возмущенным криком, чего раньше никогда не случалось, а сам он был до того раздосадован, что грубо оскорбил народ. Об этом подробно рассказано в жизнеописании Сципиона[32].



[ГАЙ ГРАКХ]

22(1). После гибели Тиберия Гай в первое время, то ли боясь врагов, то ли с целью восстановить против них сограждан, совершенно не показывался на форуме и жил тихо и уединенно, словно человек, который не только подавлен и удручен обстоятельствами, но и впредь намерен держаться в стороне от общественных дел; это давало повод для толков, будто он осуждает и отвергает начинания Тиберия. Но он был еще слишком молод, на девять лет моложе брата, а Тиберий умер, не дожив до тридцати. Когда же с течением времени мало-помалу стал обнаруживаться его нрав, чуждый праздности, изнеженности, страсти к вину и к наживе, когда он принялся оттачивать свой дар слова, как бы готовя себе крылья, которые вознесут его на государственном поприще, с полною очевидностью открылось, что спокойствию Гая скоро придет конец. Защищая как-

то в суде своего друга Веттия, он доставил народу такую радость и вызвал такое неистовое воодушевление, что все прочие ораторы показались в сравнении с ним жалкими мальчишками, а у могущественных граждан зародились новые опасения, и они много говорили между собою, что ни в коем случае нельзя допускать Гая к должности трибуна.

По чистой случайности ему выпал жребий ехать в Сардинию квестором при консуле Оресте, что обрадовало его врагов и нисколько не огорчило самого Гая. Воинственный от природы и владевший оружием не хуже, чем тонкостями права, он, вместе с тем, еще страшился государственной деятельности и ораторского возвышения, а устоять перед призывами народа и друзей чувствовал себя не в силах и потому с большим удовольствием воспользовался случаем уехать из Рима. Правда, господствует упорное мнение, будто Гай был самым необузданным искателем народной благосклонности и гораздо горячее Тиберия гнался за славою у толпы. Но это ложь. Напротив, скорее по необходимости, нежели по свободному выбору, сколько можно судить, занялся он делами государства. Ведь и оратор Цицерон сообщает[1], что Гай не хотел принимать никаких должностей, предпочитал жить в тишине и покое, но брат явился ему во сне и сказал так: " Что же ты медлишь, Гай? Иного пути нет. Одна и та же суждена нам обоим жизнь, одна и та же смерть в борьбе за благо народа!"

23(2). В Сардинии Гай дал всесторонние доказательства своей доблести и нравственной высоты, намного превзойдя всех молодых и отвагою в битвах и справедливостью к подчиненным, и почтительной любовью к полководцу, а в воздержности, простоте и трудолюбии оставив позади и старших. Зимою, которая в Сардинии на редкость холодна и нездорова, консул потребовал от городов теплого платья для своих воинов, но граждане отправили в Рим просьбу отменить это требование. Сенат принял просителей благосклонно и отдал консулу приказ одеть воинов иными средствами, и так как консул был в затруднении, а воины меж тем жестоко мерзли, Гай, объехавши города, убедил их помочь римлянам добровольно. Весть об этом пришла в Рим, и сенат был снова обеспокоен, усмотрев в поведении Гая первую попытку проложить себе путь к народной благосклонности. И, прежде всего, когда прибыло посольство из Африки от царя Миципсы, который велел передать, что в знак расположения к Гаю Гракху он отправил полководцу в Сардинию хлеб, сенаторы, в гневе, прогнали послов, а затем вынесли постановление: войско в Сардинии сменить, но Ореста оставить на прежнем месте – имея в виду, что долг службы задержит при полководце и Гая. Гай однако ж, едва узнал о случившемся, в крайнем раздражении сел на корабль и неожиданно появился в Риме, так что не только враги хулили его повсюду, но и народу казалось странным, как это квестор слагает с себя обязанности раньше наместника. Однако, когда против него возбудили обвинение перед цензорами, Гай, попросив слова, сумел произвести полную перемену в суждениях своих слушателей, которые под конец были уже твердо убеждены, что он сам – жертва величайшей несправедливости. Он прослужил в войске, сказал Гай, двенадцать лет, тогда как обязательный срок службы – всего десять, и про был квестором при полководце три года[2], тогда как по закону мог бы вернуться через год. Единственный из всего войска, он взял с собою в Сардинию полный

кошелек и увез его оттуда пустым, тогда как остальные, выпив взятое из дому вино, везут в Рим амфоры, доверху насыпанные серебром и золотом.

24(3). Вскоре Гая вновь привлекли к суду, обвиняя в том, что он склонял союзников к отпадению от Рима и был участником раскрытого во Фрегеллах[3] заговора. Однако он был оправдан и, очистившись от всех подозрений, немедленно стал искать должности трибуна, причем все, как один, известные и видные граждане выступали против него, а народ, поддерживавший Гая, собрался со всей Италии в таком количестве, что многие не нашли себе в городе пристанища, а Поле[4] всех не вместило и крики голосующих неслись с крыш и глинобитных кровель домов.

Власть имущие лишь в той мере взяли над народом верх и не дали свершиться надеждам Гая, что он оказался избранным не первым, как рассчитывал, а четвертым[5]. Но едва он занял должность, как тут же первенство перешло к нему, ибо силою речей он превосходил всех своих товарищей-трибунов, а страшная смерть Тиберия давала ему право говорить с большой смелостью, оплакивая участь брата. Между тем он при всяком удобном случае обращал мысли народа в эту сторону, напоминая о случившемся и приводя для сравнения примеры из прошлого – как их предки объявили войну фалискам, за то что они оскорбили народного трибуна, некоего Генуция, и как казнили Гая Ветурия[6], за то что он один не уступил дорогу народному трибуну, проходившему через форум. "А у вас на глазах, – продолжал он, – Тиберия насмерть били дубьем, а потом с Капитолия волокли его тело по городу и швырнули в реку, у вас на глазах ловили его друзей и убивали без суда! Но разве не принято у нас искони, если на человека взведено обвинение, грозящее смертною казнью, а он не является перед судьями, то на заре к дверям его дома приходит трубач и звуком трубы еще раз вызывает его явиться, и лишь тогда, но не раньше, выносится ему приговор?! Вот как осторожны и осмотрительны были наши отцы в судебных делах".

25(4). Заранее возмутив и растревожив народ такими речами – а он владел не только искусством слова, но и могучим, на редкость звучным голосом, – Гай внес два законопроекта: во-первых, если народ отрешает должностное лицо от власти, ему и впредь никакая должность дана быть не может, а во-вторых, народу предоставляется право судить должностное лицо, изгнавшее гражданина без суда. Один из них, без всякого сомнения, покрывал позором Марка Октавия, которого Тиберий лишил должности трибуна, второй был направлен против Попилия, который был претором[7] в год гибели Тиберия и отправил в изгнание его друзей. Попилий не отважился подвергнуть себя опасности суда и бежал из Италии, а другое предложение Гай сам взял обратно, сказав, что милует Октавия по просьбе своей матери Корнелии. Народ был восхищен и дал свое согласие. Римляне уважали Корнелию ради ее детей нисколько не меньше, нежели ради отца, и впоследствии поставили бронзовое ее изображение с надписью: "Корнелия, мать Гракхов". Часто вспоминают несколько метких, но слишком резких слов Гая, сказанных в защиту матери одному из врагов. "Ты, – воскликнул он, – смеешь хулить Корнелию, которая родила на свет Тиберия Гракха?!" И, так как за незадачливым хулителем была дурная слава человека изнеженного и распутно-

го, продолжал: "Как у тебя только язык поворачивается сравнивать себя с Корнелией! Ты что, рожал детей, как она? А ведь в Риме каждый знает, что она дольше спит без мужчины, чем мужчины без тебя!" Вот какова была язвительность речей Гая, и примеров подобного рода можно найти в его сохранившихся книгах немало.

26(5). Среди законов, которые он предлагал, угождая народу и подрывая могущество сената, один касался вывода колоний и, одновременно, предусматривал раздел общественной земли между бедняками, второй заботился о воинах, требуя, чтобы их снабжали одеждой на казенный счет, без всяких вычетов из жалования, и чтобы никого моложе семнадцати лет в войско не призывали[8]. Закон о союзниках должен был уравнять в правах италейцев с римскими гражданами, хлебный закон – снизить цены на продовольствие для бедняков. Самый сильный удар по сенату наносил законопроект о судах. До тех пор судьями были только сенаторы, и потому они внушали страх и народу и всадникам. Гай присоединил к тремстам сенаторам такое же число всадников, с тем чтобы судебные дела находились в общем ведении этих шестисот человек.

Сообщают, что, внося это предложение, Гай и вообще выказал особую страсть и пыл, и, между прочим, в то время как до него все выступающие перед народом становились лицом к сенату[9] и так называемому комитию [comitium], впервые тогда повернулся к форуму. Он взял себе это за правило и в дальнейшем и легким поворотом туловища сделал перемену огромной важности – превратил, до известной степени, государственный строй из аристократического в демократический, внушая, что ораторы должны обращаться с речью к народу, а не к сенату.

27(6). Народ не только принял предложение Гая, но и поручил ему избрать новых судей из всаднического сословия, так что он приобрел своего рода единоличную власть и даже сенат стал прислушиваться к его советам. Впрочем, он неизменно подавал лишь такие советы, которые могли послужить к чести и славе сената. В их числе было и замечательное, на редкость справедливое мнение, как распорядиться с хлебом, присланным из Испании наместником Фабием. Гай убедил сенаторов хлеб продать и вырученные деньги вернуть испанским городам, а к Фабию обратиться со строгим порицанием, за то что он делает власть Рима ненавистной и непереносимой. Этим он стяжал немалую славу и любовь в провинциях.

Он внес еще законопроекты – о новых колониях, о строительстве дорог и хлебных амбаров, и во главе всех начинаний становился сам, нисколько не утомляясь ни от важности трудов, ни от их многочисленности, но каждое из дел исполняя с такою быстротой и тщательностью, словно оно было единственным, и даже злейшие враги, ненавидевшие и боявшиеся его, дивились целеустремленности и успехам Гая Гракха. А народ и вовсе был восхищен, видя его постоянно окруженным подрядчиками, мастеровыми, послами, должностными лицами, воинами, учеными, видя, как он со всеми обходителен и приветлив и всякому воздает по заслугам, нисколько не роняя при этом собственного достоинства, но изобличая злобных клеветников, которые называли его страшным, грубым, жестоким. Так за непринужденными беседами и совместными занятиями он еще

более искусно располагал к себе народ, нежели произнося речи с ораторского возвышения.

28(7). Больше всего заботы вкладывал он в строительство дорог, имея в виду не только пользу, но и удобства. и красоту. Дороги[10] проводились совершенно прямые. Их мостили тесаным камнем либо же покрывали слоем плотно убитого песка. Там, где путь пересекали ручьи или овраги, перебрасывались мосты и выводились насыпи, а потом уровни по обеим сторонам в точности сравнивались, так что вся работа в целом была радостью для глаза. Кроме того Гай размерил каждую дорогу, от начала до конца, по милям (миля – немногим менее восьми стадиев) и отметил расстояние каменными столбами. Поближе один к другому были расставленны по обе стороны дороги еще камни, чтобы всадники могли садиться с них на коня, не нуждаясь в стремяном.

29(8). Меж тем как народ прославлял Гая до небес и готов был дать ему любые доказательства своей благосклонности, он, выступая однажды, сказал, что будет просить об одном одолжении и если просьбу его уважат, сочтет себя на верху удачи, однако ж ни словом не упрекнет сограждан и тогда, если получит отказ. Речь эта была принята за просьбу о консульстве, и все решили что он хочет искать одновременно должности и консула и народного трибуна[11]. Но когда настали консульские выборы и все были взволнованы и настороженны, Гай появился рядом с Гаем Фаннием и повел его на Поле, чтобы вместе с другими друзьями оказать ему поддержку. Такой неожиданный оборот событий дал Фаннию громадное преимущество перед остальными соискателями, и он был избран консулом, а Гай, во второй раз[12], народным трибуном – единственно из преданности народа, ибо сам он об этом не просил и даже не заговаривал.

Но вскоре он убедился, что расположение к нему Фанния сильно охладело, а ненависть сената становится открытой, и потому укрепил любовь народа новыми законопроектами, предлагая вывести колонии в Тарент и Капую и даровать права гражданства всем латинянам. Тогда сенат, боясь, как бы он не сделался совершенно неодолимым, предпринял попытку изменить настроение толпы необычным, прежде не употреблявшимся способом – стал состязаться с Гаем в льстивой угодливости перед народом вопреки соображениям общего блага.

Среди товарищей Гая по должности был Ливий Друз, человек, ни происхождением своим, ни воспитанием никому в Риме не уступавший, а нравом, красноречием и богатством способный соперничать с самыми уважаемыми и могущественными из сограждан. К нему-то и обратились виднейшие сенаторы и убеждали объединиться с ними и начать действовать против Гракха – не прибегая к насилию и не идя наперекор народу, напротив, угождая ему во всем, даже в таких случаях, когда по сути вещей следовало бы сопротивляться до последней возможности.

30(9). Предоставив ради этой цели свою власть трибуна в распоряжение сената, Ливий внес несколько законопроектов, не имевших ничего общего ни с пользою, ни со справедливостью, но, словно в комедии[13], преследовавших лишь одну цель – любой ценой превзойти Гая в умении порадовать народ и угодить ему. Так сенат с полнейшей ясностью обнаружил, что не поступки и начинания

Гая его возмущают, но что он хочет уничтожить или хотя бы предельно унизить самого Гракха. Когда Гай предлагал вывести две колонии и включал в списки переселенцев самых достойных граждан, его обвиняли в том, что он заискивает перед народом, а Ливию, который намеревался устроить двенадцать новых колоний[14] и отправить в каждую по три тысячи бедняков, оказывали всяческую поддержку. Один разделял землю между неимущими, назначая всем платить подать в казну – и его бешено ненавидели, кричали, что он льстит толпе, другой снимал и подать с получивших наделы – и его хвалили. Намерение Гая предоставить латинянам равноправие удручало сенаторов, но к закону, предложенному Ливием и запрещавшему бить палкой кого бы то ни было из латинян[15] даже во время службы в войске, относились благосклонно. Да и сам Ливий, выступая, никогда не пропускал случая отметить, что пекущийся о народе сенат одобряет его предложения. Кстати говоря, во всей его деятельности это было единственно полезным, ибо народ перестал смотреть на сенат с прежним ожесточением: раньше виднейшие граждане вызывали у народа лишь подозрения и ненависть, а Ливию, который заверял, будто именно с их согласия и по их совету он угождает народу и потворствует его желаниям, удалось смягчить и ослабить это угрюмое злопамятство.

31(10). Больше всего веры в добрые намерения Друза и его справедливость внушало народу то обстоятельство, что ни единым из своих предложений, насколько можно было судить, он не преследовал никакой выгоды для себя самого. И основателями колоний он всегда посылал других, и в денежные расчеты никогда не входил, тогда как Гай бóльшую часть самых важных дел подобного рода брал на себя.

Как раз в эту пору еще один трибун, Рубрий, предложил вновь заселить разрушенный Сципионом Карфаген[16], жребий руководить переселением выпал Гаю, и он отплыл в Африку, а Друз, в его отсутствие, двинулся дальше и начал успешно переманивать народ на свою сторону, причем главным орудием ему служили обвинения против Фульвия. Этот Фульвий был другом Гая, и вместе с Гаем его избрали для раздела земель. Человек он был беспокойный и сенату внушал прямую ненависть, а всем прочим – немалые подозрения: говорили, будто он бунтует союзников и тайно подстрекает италийцев к отпадению от Рима. То были всего лишь слухи, бездоказательные и ненадежные, но Фульвий своим безрассудством и далеко не мирными склонностями сам сообщал им своего рода достоверность. Это всего более подорвало влияние Гая, ибо ненависть к Фульвию отчасти перешла и на него. Когда без всякой видимой причины умер Сципион Африканский и на теле выступили какие-то следы, как оказалось – следы насилия (мы уже говорили об этом в жизнеописании Сципиона), главными виновниками этой смерти молва называла Фульвия, который был врагом Сципиона и в самый день кончины поносил его с ораторского возвышения. Подозрение пало и на Гая. И все же злодейство, столь страшное и дерзкое, обратившееся против первого и величайшего среди римлян мужа, осталось безнаказанным и даже неизобличенным, потому что народ дело прекратил, боясь за Гая, – как бы при расследовании обвинение в убийстве не коснулось и его. Впрочем все это произошло раньше изображаемых здесь событий.

32(11). А в то время в Африке божество, как сообщают, всячески противилось новому основанию Карфагена, который Гай назвал Юнонией[17], то есть Градом Геры. Ветер рвал главное знамя из рук знаменосца с такой силой, что сломал древко, смерч разметал жертвы, лежавшие на алтарях, и забросил их за межевые столбики, которыми наметили границы будущего города, а потом набежали волки, выдернули самые столбики и утащили далеко прочь. Тем не менее Гай все устроил и завершил в течение семидесяти дней и, получая вести, что Друз теснит Фульвия и что обстоятельства требуют его присутствия, вернулся в Рим.

Дело в том, что Луций Опимий, сторонник олигархии и влиятельный сенатор, который год назад искал консульства, но потерпел неудачу, ибо помощь, оказанная Гаем Фаннию, решила исход выборов, – этот Луций Опимий теперь заручился поддержкою многочисленных приверженцев, и были веские основания предполагать, что он станет консулом, а вступивши в должность, раздавит Гая. Ведь сила Гая в известной мере уже шла на убыль, а народ был пресыщен планами и замыслами, подобными тем, какие предлагал Гракх, потому что искателей народной благосклонности развелось великое множество, да и сам сенат охотно угождал толпе.

33(12). После возвращения из Африки Гай, первым делом, переселился с Палатинского холма[18] в ту часть города, что лежала пониже форума и считалась кварталами простонародья, ибо туда собрался на жительство чуть ли не весь неимущий Рим. Затем он предложил еще несколько законопроектов, чтобы вынести их на голосование. На его призыв явился простой люд отовсюду, но сенат убедил консула Фанния удалить из города всех, кроме римских граждан. Когда было оглашено это странное и необычное распоряжение, чтобы никто из союзников и друзей римского народа не показывался в Риме в ближайшие дни, Гай, в свою очередь, издал указ, в котором порицал действия консула и вызывался защитить союзников, если они не подчинятся. Никого, однако, он не защитил, и даже видя, как ликторы Фанния волокут его, Гая, приятеля и гостеприимца, прошел мимо, – то ли боясь обнаружить упадок своего влияния, то ли, как объяснял он сам, не желая доставлять противникам повода к схваткам и стычкам, повода, которого они жадно искали.

Случилось так, что он вызвал негодование и у товарищей по должности, вот при каких обстоятельствах. Для народа устраивались гладиаторские игры на форуме, и власти почти единодушно решили сколотить вокруг помосты и продавать места. Гай требовал, чтобы эти постройки разобрали, предоставив бедным возможность смотреть на состязания бесплатно. Но никто к его словам не прислушался, и, дождавшись ночи накануне игр, он созвал всех мастеровых, какие были в его распоряжении и снес помосты, так что на рассвете народ увидел форум пустым. Народ расхваливал Гая, называл его настоящим мужчиной, но товарищи-трибуны были удручены этим дерзким насилием. Вот отчего, как видно, он и не получил должности трибуна в третий раз, хотя громадное большинство голосов было подано за него: объявляя имена избранных, его сотоварищи прибегли к преступному обману. А впрочем, твердо судить об этом нельзя. Узнав о поражении, Гай, как сообщают, потерял над собою власть и с неуме-

ренной дерзостью крикнул врагам, которые над ним насмехались, что, дескать смех их сардонический[19] – они еще и не подозревают, каким мраком окутали их его начинания.

34(13). Однако враги, поставив Опимия консулом, тут же принялись хлопотать об отмене многих законов Гая Гракха и нападали на распоряжения, сделанные им в Карфагене. Они хотели вывести Гая из себя, чтобы он и им дал повод вспылить, а затем, в ожесточении, расправиться с противником, но Гай первое время сдерживался, и только подстрекательства друзей, главным образом Фульвия, побудили его снова сплотить своих единомышленников, на сей раз – для борьбы с консулом. Передают, что в этом заговоре приняла участие и его мать и что она тайно набирала иноземцев-наемников, посылая их в Рим под видом жнецов, – такие намеки, якобы, содержатся в ее письмах к сыну. Но другие писатели утверждают, что Корнелия решительно не одобряла всего происходившего.

В день, когда Опимий намеревался отменить законы Гракха, оба противных стана заняли Капитолий с самого раннего утра. Консул принес жертву богам, и один из его ликторов, по имени Квинт Антиллий, держа внутренности жертвенного животного, сказал тем, кто окружал Фульвия: "Ну, вы, негодяи, посторонитесь, дайте дорогу честным гражданам!" Некоторые добавляют, что при этих словах он обнажил руку по плечо и сделал оскорбительный жест. Так это было или иначе, но Антиллий тут же упал мертвый, пронзенный длинными палочками для письма, как сообщают – нарочито для такой цели приготовленными. Весь народ пришел в страшное замешательство, а оба предводителя испытали чувства резко противоположные: Гай был сильно озабочен и бранил своих сторонников за то, что они дали врагу давно желанный повод перейти к решительным действиям, а Опимий, и вправду видя в убийстве Антиллия удачный для себя случай, злорадствовал и призывал народ к мести.

35(14). Но начался дождь и все разошлись[20]. А на другой день рано поутру консул созвал сенат, и, меж тем как он занимался в курии делами, нагой труп Антиллия, по заранее намеченному плану, положили на погребальное ложе и с воплями, с причитаниями понесли через форум мимо курии, и хотя Опимий отлично знал, что происходит, он прикинулся удивленным, чем побудил выйти наружу и остальных. Ложе поставили посредине, сенаторы обступили его и громко сокрушались, словно бы о громадном и ужасном несчастии, но народу это зрелище не внушило ничего, кроме злобы и отвращения к приверженцам олигархии: Тиберий Гракх, народный трибун, был убит ими на Капитолии, и над телом его безжалостно надругались, а ликтор Антиллий, пострадавший, быть может, и несоразмерно своей вине, но все же повинный в собственной гибели больше, нежели кто-нибудь другой, выставлен на форуме, и вокруг стоит римский сенат, оплакивая и провожая наемного слугу[21] ради того только, чтобы легче было разделаться с единственным оставшимся у народа заступником.

Затем сенаторы вернулись в курию и вынесли постановление, предписывавшее консулу Опимию спасать государство любыми средствами[22] и низложить тираннов. Так как Опимий велел сенаторам взяться за оружие, а каждому из всадников отправил приказ явиться на заре с двумя вооруженными рабами, то и

Фульвий, в свою очередь, стал готовиться к борьбе и собирать народ, а Гай, уходя с форума, остановился перед изображением отца и долго смотрел на него, не произнося ни слова; потом он заплакал и со стоном удалился. Многие из тех, кто видел это, прониклись сочувствием к Гаю, и, жестоко осудив себя за то, что бросают и предают его в беде, они пришли к дому Гракха и караулили у дверей всю ночь – совсем иначе, чем стража, окружавшая Фульвия. Те провели ночь под звуки песен и рукоплесканий, за вином и хвастливыми речами, и сам Фульвий, первым напившись пьян, и говорил и держал себя не по летам развязно, тогда как защитники Гая понимали, что несчастие нависло надо всем отечеством, и потому хранили полную тишину и размышляли о будущем, по очереди отдыхая и заступая в караул.

36(15). На рассвете, насилу разбудив хозяина, – с похмелья он никак не мог проснуться, – люди Фульвия разобрали хранившиеся в его доме оружие и доспехи, которые он в свое консульство отнял у разбитых им галлов[23], и с угрозами, с оглушительным криком устремились к Авентинскому холму[24] и заняли его. Гай не хотел вооружаться вовсе, но, словно отправляясь на форум, вышел в тоге, лишь с коротким кинжалом у пояса. В дверях к нему бросилась жена и, обнявши одной рукою его, а другой ребенка, воскликнула: "Не народного трибуна, как в былые дни, не законодателя провожаю я сегодня, мой Гай, и идешь ты не к ораторскому возвышению и даже не на войну, где ждет тебя слава, чтобы оставить мне хотя бы почетную и чтимую каждым печаль, если бы случилось тебе разделить участь общую всем людям, нет! – но сам отдаешь себя в руки убийц Тиберия. Ты идешь безоружный, и ты прав, предпочитая претерпеть зло, нежели причинить его, но ты умрешь без всякой пользы для государства. Зло уже победило. Меч и насилие решают споры и вершат суд. Если бы Тиберий пал при Нуманции, условия перемирия вернули бы нам его тело. А ныне, быть может, и я буду молить какую-нибудь реку или же море поведать, где скрыли они твой труп! После убийства твоего брата есть ли еще место доверию к законам или вере в богов?" Так сокрушалась Лициния, а Гай мягко отвел ее руку и молча двинулся следом за друзьями. Она уцепилась было за его плащ, но рухнула наземь и долго лежала, не произнося ни звука, пока наконец слуги не подняли ее в глубоком обмороке и не отнесли к брату, Крассу.

37(16). Когда все были в сборе, Фульвий, послушавшись совета Гая, отправил на форум своего младшего сына с жезлом глашатая[25]. Юноша, отличавшийся на редкость красивой наружностью, скромно и почтительно приблизился и, не отирая слез на глазах, обратился к консулу и сенату со словами примирения. Большинство присутствовавших готово было откликнуться на этот призыв. Но Опимий воскликнул, что такие люди не вправе вести переговоры через посланцев, – пусть придут сами, как приходят на суд с повинной, и, целиком отдавшись во власть сената, только так пытаются утишить его гнев. Юноше он велел либо вернуться с согласием, либо вовсе не возвращаться. Гай, как сообщают, выражал готовность идти и склонять сенат к миру, но никто его не поддержал, и Фульвий снова отправил сына с предложениями и условиями, мало чем отличавшимися от прежних. Опимию не терпелось начать бой, и юношу он тут же приказал схватить и бросить в тюрьму, а на Фульвия двинулся с большим отрядом

пехотинцев и критских лучников; лучники, главным образом, и привели противника в смятение, метко пуская свои стрелы и многих ранив.

Когда началось бегство, Фульвий укрылся в какой-то заброшенной бане, где его вскоре обнаружили и вместе со старшим сыном убили, а Гай вообще не участвовал в схватке. Не в силах даже видеть то, что происходило вокруг, он ушел в храм Дианы и хотел покончить с собой, но двое самых верных друзей, Помпоний и Лициний, его удержали – отняли меч и уговорили бежать. Тогда, как сообщают, преклонив пред богиней колено и простерши к ней руки, Гай проклял римский народ, моля, чтобы в возмездие за свою измену и черную неблагодарность он остался рабом навеки. Ибо громадное большинство народа открыто переметнулось на сторону врагов Гракха, едва только через глашатаев было обещано помилование.

38(17). Враги бросились вдогонку и настигли Гая подле деревянного моста[26], и тогда друзья велели ему бежать дальше, а сами преградили погоне дорогу и дрались, никого не пуская на мост, до тех пор, пока не пали оба. Теперь Гая сопровождал только один раб, по имени Филократ; точно на состязаниях, все призывали их бежать скорее, но заступиться за Гая не пожелал никто, и даже коня никто ему не дал, как он ни просил, – враги были уже совсем рядом. Тем не менее он успел добраться до маленькой рощицы, посвященной Фуриям[27], и там Филократ убил сначала его, а потом себя. Некоторые, правда пишут, что обоих враги захватили живыми, но раб обнимал господина так крепко, что оказалось невозможным нанести смертельный удар второму, пока под бесчисленными ударами не умер первый.

Голову Гая, как передают, какой-то человек отрубил и понес к консулу, но друг Опимия, некий Септумулей, отнял у него эту добычу, ибо в начале битвы глашатаи объявили: кто принесет головы Гая и Фульвия, получит столько золота, сколько потянет каждая из голов. Воткнув голову на копье, Септумулей явился к Опимию, и когда ее положили на весы, весы показали семнадцать фунтов и две трети[28]. Дело в том, что Септумулей и тут повел себя как подлый обманщик – он вытащил мозг и залил череп свинцом. А те, кто принес голову Фульвия, были люди совсем безвестные и не получили ничего. Тела обоих, так же как и всех прочих убитых (а их было три тысячи[29]), бросили в реку, имущество передали в казну. Женам запретили оплакивать своих мужей, а у Лицинии, супруги Гая, даже отобрали приданое[30]. Но всего чудовищнее была жестокость победителей с младшим сыном Фульвия, который не был в числе бойцов и вообще не поднял ни на кого руки, но пришел вестником мира: его схватили до битвы, а сразу после битвы безжалостно умертвили. Впрочем, сильнее всего огорчила и уязвила народ постройка храма Согласия[31], который воздвигнул Опимий, словно бы величаясь, и гордясь, и торжествуя победу после избиения стольких граждан! И однажды ночью под посвятительной надписью на храме появился такой стих:

Злой глас Раздора храм воздвиг Согласию.

39(18). Этот Опимий, который, первым употребив в консульском звании власть диктатора, убил без суда три тысячи граждан и среди них Фульвия Флак-

ка, бывшего консула и триумфатора, и Гая Гракха, всех в своем поколении превзошедшего славою и великими качествами души, – этот Опимий впоследствии замарал себя еще и взяткой: отправленный послом к нумидийцу Югурте, он принял от него в подарок деньги. Опимий был самым позорным образом осужден за мздоимство и состарился в бесславии[32], окруженный ненавистью и презрением народа, в первое время после событий униженного и подавленного, но уже очень скоро показавшего, как велика была его любовь и тоска по Гракхам. Народ открыто поставил и торжественно освятил их изображения и благоговейно чтил места, где они были убиты, даруя братьям первины плодов, какие рождает каждое из времен года, а многие ходили туда, словно в храмы богов, ежедневно приносили жертвы и молились.

40(19). Корнелия, как сообщают, благородно и величественно перенесла все эти беды, а об освященных народом местах сказала, что ее мертвые получили достойные могилы. Сама она провела остаток своих дней близ Мизен, нисколько не изменив обычного образа жизни. По-прежнему у нее было много друзей, дом ее славился гостеприимством и прекрасным столом, в ее окружении постоянно бывали греки и ученые, и она обменивалась подарками со всеми царями. Все, кто ее посещал или же вообще входил в круг ее знакомых, испытывали величайшее удовольствие, слушая рассказы Корнелии о жизни и правилах ее отца, Сципиона Африканского, но всего больше изумления вызывала она, когда, без печали и слез, вспоминала о сыновьях и отвечала на вопросы об их делах и об их гибели, словно бы повествуя о событиях седой старины. Некоторые даже думали, будто от старости или невыносимых страданий она лишилась рассудка и сделалась бесчувственною к несчастиям, но сами они бесчувственны, эти люди, которым невдомек, как много значат в борьбе со скорбью природные качества, хорошее происхождение и воспитание: они не знают и не видят, что, пока доблесть старается оградить себя от бедствий, судьба нередко одерживает над нею верх, но отнять у доблести силу разумно переносить свое поражение она не может.



[*Сопоставление*]

41(1). Теперь, когда к концу пришел и этот рассказ, нам остается только рассмотреть жизнь всех четверых в сопоставлении.

Даже самые отъявленные враги Гракхов, поносившие их при всяком удобном случае, не смели отрицать, что среди римлян не было равных им по врожденному тяготению ко всему нравственно прекрасному и что оба получили отличное воспитание и образование. Но одаренность Агида и Клеомена представляется еще более глубокой и могучей – не получив должного образования, воспитанные в таких нравах и обычаях, которые развратили уже не одно поколение

до них, они сами сделались наставниками своих сограждан в простоте и воздержности. Далее, Гракхи, в пору, когда слава и величие Рима были в полном расцвете, считали для себя позором отказаться от состязания в прекрасных поступках, как бы завещанного им доблестью отцов и дедов, а спартанские цари родились от отцов, державшихся противоположного образа мыслей, нежели сыновья, и застали отечество жалким, униженным, томящимся недугами, но все это нисколько не охладило их рвения к прекрасному. Самым верным свидетельством презрения Гракхов к богатству, их полного равнодушия к деньгам, служит то, что, занимая высшие должности и верша делами государства, они сохранили себя незапятнанными бесчестной наживой. Но Агид был бы до крайности возмущен, если бы его стали хвалить за то что он не присвоил ничего чужого, – это он, который, не считая прочего имущества, отдал согражданам шестьсот талантов звонкой монетой. Каким же страшным пороком считал бесчестное стяжание этот человек, если иметь больше другого, хотя бы и вполне честно, казалось ему излишним и даже корыстным?!

42(2). Чрезвычайно различны широта и смелость, с какими те и другие совершали свои нововведения. Один был занят строительством дорог и основанием городов; самым дерзким из предприятий Тиберия было возвращение общественной земли в собственность государства, Гая – смешанные суды, куда он ввел, в дополнение к сенаторам, триста всадников. Напротив, Агид и Клеомен решили, что лечить и искоренять мелкие недуги один за другим – то же самое, что, по слову Платона[33], рубить головы гидре, и произвели перемену, способную убить все зло разом. Вернее, впрочем, было бы сказать, что они уничтожили ту перемену, которая привела за собою все зло, и вернули государство к первоначальному его устройству и порядкам.

Можно, пожалуй, сделать еще и такое наблюдение: замыслам и деятельности Гракхов противились самые могущественные из римлян, а в основе того, что начал Агид и осуществил Клеомен, лежал наиболее прекрасный и совершенный из образцов – древние ретры о воздержности и равенстве, и если спартанские цари призывали в поручители Ликурга, то ретры были освящены поручительством самого Пифийского бога[34]. Но что всего важнее, начинания Гракхов нисколько не увеличили мощь Рима, тогда как действия Клеомена за короткий срок дали Греции возможность увидеть Спарту властвующей над Пелопоннесом и ведущей с самыми сильными в ту пору противниками борьбу за верховное владычество, борьбу, целью которой было избавить Грецию от иллирийских и галатских мечей[35] и вернуть ее под управление Гераклидов.

43(3). Мне кажется, что и кончина этих людей обнаруживает известное различие в их нравственных качествах. Оба римлянина сражались со своими согражданами и, обращенные в бегство, пали, а из двух спартанцев Агид принял смерть чуть ли не добровольно – чтобы не лишать жизни никого из сограждан, а Клеомен пытался отомстить за обиды и оскорбления, но обстоятельства сложились неудачно, и он храбро покончил с собой.

Теперь взглянем на всех с иной стороны. Агид вовсе не успел отличиться на войне, потому что погиб слишком рано, а многочисленным и славным победам Клеомена можно противопоставить захват городской стены в Карфагене – под-

виг немалый! – и заключенное при Нуманции перемирие, которым Тиберий спас двадцать тысяч римских воинов, иной надежды на спасение не имевших. Гай, в свою очередь, проявил немалое мужество и под Нуманцией, и, позже, в Сардинии, так что оба Гракха могли бы достойно соперничать с первыми римскими полководцами, если бы не безвременная смерть.

44(4). Государственные дела Агид вел слишком вяло: уступив Агесилаю, он не исполнил обещания о разделе земли, которое дал согражданам, и вообще, по молодости лет и присущей его годам нерешительности, не доводил до конца того, что задумал и во всеуслышание объявлял. Напротив, Клеомен начал свои преобразования насилием, чересчур дерзким и жестоким, ибо беззаконно умертвил эфоров, которых легко мог бы одолеть, угрожая оружием, и отправить в изгнание, как он изгнал немало других граждан. Прибегать к железу без крайней необходимости не подобает ни врачу, ни государственному мужу – это свидетельствует об их невежестве, а во втором случае к невежеству надо присоединить еще несправедливость и жестокость. Из Гракхов ни один не был зачинщиком междоусобного кровопролития, а Гай, как сообщают, не пожелал защищаться даже под градом стрел, но, столь пылкий и решительный на войне, во время мятежа проявил полную бездеятельность. Он и из дому вышел безоружным, и из битвы удалился, и вообще было очевидно, что он более думает о том, как бы не причинить зла другим, нежели не потерпеть самому. Вот почему и в бегстве Гракхов следует видеть признак не робости, но мудрой осмотрительности: приходилось либо отступить перед нападающими, либо, решивши встретить их натиск, драться не на жизнь, а на смерть.

45(5). Из обвинений против Тиберия наиболее тяжкое состоит в том, что он лишил власти своего товарища-трибуна и сам искал трибунской должности во второй раз. Что же до Гая, то убийство Антиллия вменялось ему в вину несправедливо и несогласно с истиною; ликтор был заколот не только вопреки воле Гая, но и к великому его негодованию. Клеомен – не говоря уже об избиении эфоров – освободил всех рабов и царствовал по сути вещей один и лишь на словах вдвоем, ибо в соправителя взял собственного брата Эвклида, из одного с собою дома, Архидама же, который, происходя из другого царского дома, имел законное право на престол, уговорил возвратиться из Мессены в Спарту, а когда Архидама убили, не наказал преступников, подтвердив тем самым подозрения, падавшие на него самого. А ведь Ликург, которого Клеомен, по его же упорным заверениям, взял себе за образец, добровольно отказался от царской власти в пользу своего племянника Харилла, а затем, опасаясь, что в случае смерти мальчика подозрения, какова бы ни была причина этой смерти, все равно коснутся и его, долгое время странствовал за пределами отечества и возвратился не раньше, чем у Харилла родился сын и преемник. Впрочем сравнения с Ликургом никому из греков не выдержать!

Что Клеомен шел дальше остальных в своих нововведениях и решительнее нарушал законы, мы уже показали. К этому нужно прибавить, что люди, порицающие нрав обоих спартанцев, утверждают, будто с самого начала им было присуще стремление к тирании и страсть к войне. Напротив, Гракхов даже недоброжелатели не могли упрекнуть ни в чем, кроме непомерного честолюбия, и

соглашались, что лишь распаленные борьбою с врагами, во власти гнева изменили они своей природе и, под конец, как бы отдали государство на волю ветров. Ибо что могло быть прекраснее и справедливее первоначального их образа мыслей, если бы богачи не попытались насильно и самовластно отвергнуть предложенный закон и не навязали обоим нескончаемой череды боев, в которых одному приходилось опасаться за свою жизнь, а другой мстил за брата, убитого без суда и без приговора властей?

Из всего сказанного ты и сам легко выведешь, каково различие между теми и другими. Если же следует вынести суждение о каждом в отдельности, то я ставлю Тиберия выше всех по достоинствам души, меньше всего упреков за совершенные ошибки заслуживает юный Агид, а деяниями и отвагой Гай намного позади Клеомена.





ДЕМОСФЕН И ЦИЦЕРОН

ДЕМОСФЕН

1. Тот, кто написал похвальную песнь Алкивиаду[1] по случаю одержанной в Олимпии победы на конских бегах, – был ли то Эврипид, как принято считать, или кто другой, – утверждает, что первое условие полного счастья есть "прославленный град отеческий". А на мой взгляд, Сосий Сенецион, если кто стремится к истинному счастью, которое главным образом зависит от характера и расположения духа, для такого человека столь же безразлично, если он родился в городе скромном и безвестном, как если мать его некрасива и мала ростом. Смешно, в самом деле, думать, будто Иулида, малая частица невеликого острова Кеоса, или же Эгина, которую один афинянин[2] называл бельмом на глазу Пирея, хороших актеров и поэтов взращивает, а мужа справедливого, довольствующегося немногим, разумного и великодушного произвести на свет не может. Вполне вероятно, что искусства и ремесла, целью своей имеющие доход или же славу, в маленьких и безвестных городках увядают, но нравственное совершенство, точно сильное и цепкое растение, пускает корни во всяком месте, где находит добрые задатки и трудолюбивую душу. И сам я, если в чем бы то ни было отступлю от надлежащего образа жизни или мыслей, вину за это по справедливости возложу на себя, но никак не на скромное свое отечество.

2. Однако ж, если кто поставил себе целью написать историческое повествование, для которого мало прочесть то, что находится под рукою или же поблизости, но потребны, большею частью, чужеземные, рассеянные по далеким краям сочинения, – тому, конечно, в первую очередь, необходим прославленный, тонко образованный и многолюдный город: там у него будет изобилие всевозможных книг, а что ускользнуло от внимания писателей, но надежно сохраняется в памяти, он разыщет и соберет, расспрашивая людей, и, таким образом, издаст труд, в котором останется не столь уже много важных пробелов.

Что до меня, то я живу в маленьком городе и, чтобы он не сделался еще меньше, охотно в нем остаюсь, а когда жил в Риме и в других местах Италии, государственные заботы и ученики, с которыми я занимался философией, не оставляли мне досуга упражняться в языке римлян, так что лишь поздно, на склоне лет я начал читать по-латыни. И тут – как ни удивительно это покажется – со мною случилось вот что: не из слов узнавал я вещи и события, но, напротив, зная в какой-то мере события, улавливал благодаря этому и смысл слов. Постигнуть красоту и стремительность римского слога, его метафоры, его стройность, коротко говоря – все, что украшает речь, мне кажется задачею приятной

и увлекательной, но она требует упорного труда и по плечу лишь тем, у кого больше досуга и чьи годы еще не препятствуют таким достойным усилиям.

3. Вот почему, рассказывая в этой – пятой по счету – книге сравнительных жизнеописаний о Демосфене и Цицероне, я буду исследовать и сопоставлять нрав обоих по их обыденным поступкам и действиям на государственном поприще, а рассматривать их речи и выяснять, который из двух говорил приятнее или сильнее, не стану. Мне бы не хотелось на собственном примере оправдывать слова Иона о дельфине[3], выброшенном на сушу, которых безудержно дерзкий[4] во всем Цецилий не знал и сгоряча выпустил в свет сопоставление Демосфена с Цицероном[5]. А впрочем, если бы знаменитое "Познай самого себя"[6] неизменно держал в уме каждый, оно бы уже, видимо, не казалось нам божественным повелением.

Божество, с самого начала, как мне представляется, создав Демосфена и Цицерона по одному образцу, не только характеру того и другого сообщило много сходного, – как, например, честолюбие, любовь к свободе, определившая их путь на государственном поприще, робость пред лицом опасностей и неприятелей, – но к этому основному сходству прибавило немало повторяющихся случайностей. Вряд ли удастся найти двух ораторов, которые – оба – от ничтожества и безвестности поднялись бы к силе и величию, враждовали с царями и тираннами, лишились дочерей, были изгнаны из отечества, вернулись с почетом, снова бежали и, попав в руки противников, простились с жизнью тогда же, когда умерла свобода их сограждан. И если бы между характером и случаем, словно между художниками, устроить состязание, трудно было бы решить, чем в большей мере определяется подобие этих мужей – чертами их нрава или жизненными обстоятельствами. Сперва мы расскажем о том, который жил раньше.

4. Отец Демосфена, тоже Демосфен, принадлежал, как сообщает Феопомп, к числу лучших людей государства; он носил прозвище Ножовщика, так как владел большою мастерской, где искусные рабы изготовляли мечи и ножи. Что касается утверждения оратора Эсхина, будто мать Демосфена была дочерью некоего Гилона, обвиненного в измене и потому бежавшего из Афин, и женщины-варварки[7], – мы не можем установить, говорит ли он правду, или клевещет. Семи лет Демосфен осиротел, унаследовав от отца хорошее состояние (оно оценивалось почти в пятнадцать талантов), но опекуны[8] обошлись с мальчиком бесчестно, нисколько не заботясь о его делах, а часть имущества и прямо расхитив, так что даже его учителя не получали причитавшегося жалования. Вероятно, именно по этой причине он и остался без образования, подобавшего мальчику из хорошего рода, а еще – из-за слабого и нежного сложения, ибо мать оберегала его от всяких утомительных занятий, а дядьки-наставники не принуждали учиться. С самого детства он был чахлый и болезненный; в насмешку над его бессилием товарищи прозвали его Баталом[9]. Этот Батал, как говорят некоторые, был флейтист, чья порочная изнеженность послужила Антифану темою для злой комедии. Другие упоминают о поэте Батале, сочинявшем пиршественные песни слишком вольного содержания. Кроме того, сколько можно судить, словом "батал" [bátalos] обозначалась тогда у афинян одна не совсем удобопроизносимая часть тела. А другое прозвание, Арг, ему дали либо за резкий и злой

нрав (иные из поэтов "аргом" [argâs] именуют змею), либо за тягостную для слуха речь – по имени поэта, писавшего скверные, неблагозвучные стихи. Но довольно об этом.

5. Сообщают, что желание посвятить себя красноречию впервые возникло у Демосфена вот при каких обстоятельствах. Оратор Каллистрат должен был выступать перед судом по делу об Оропе[10], и все с нетерпением ждали этого выступления, что объяснялось не только широкой известностью самого дела, но и мастерством оратора, находившегося тогда на вершине славы. Заметив, как учителя и дядьки сговариваются пойти послушать Каллистрата, Демосфен упросил и умолил своего дядьку взять с собою и его. А тот был в дружбе с привратниками суда и раздобыл место, откуда мальчик, никем не замеченный, мог слышать все, что говорилось. Каллистрат выступил очень удачно, стяжав огромное восхищение слушателей, и Демосфен позавидовал его славе, видя, как целая толпа с громкими похвалами провожает оратора домой, но еще больше был поражен силою слова, которая, как он тогда понял, способна одолеть и покорить все. И вот, забросив прочие науки и мальчишеские забавы, он целиком отдался упражнениям в красноречии, чтобы со временем и самому сделаться оратором. Он учился у Исея, хотя в ту пору преподавал и Исократ, возможно, как считают некоторые, оттого, что по сиротству своему не в силах был внести назначенной Исократом платы в десять мин, или же, вероятнее, отдавая предпочтение речам Исея, как более действенным и хитроумным. А Гермипп говорит, что в каком-то сочинении неизвестного автора он прочел, будто Демосфен посещал школу Платона[11] и более всех своим красноречием был обязан ему. Тот же Гермипп, ссылаясь на Ктесибия, сообщает, что Демосфен основательно изучил наставления Исократа и Алкидаманта, тайно получивши их от сиракузянина Каллия и некоторых других.

6. Едва только Демосфен вошел в возраст, он сразу же привлек к суду своих опекунов[12] и, так как те находили все новые увертки и поводы для пересмотра дела, писал против них речь за речью. Приобретая, по слову Фукидида[13], навык и опыт среди трудов и опасностей, он в конце концов выиграл и, хотя не смог вернуть и малейшей части отцовского наследства, зато привык выступать и почувствовал достаточную уверенность в себе, а главное – узнал вкус чести и силы, приобретаемых победою в борьбе мнений, так что впредь решил выступать перед народом и заниматься делами государства.

Рассказывают, что Лаомедонт из Орхомена, страдая каким-то расстройством селезенки и упражняясь по совету врачей в беге на большие расстояния, развил в себе эту способность, а потом принял участие в состязаниях и сделался одним из лучших бегунов, – подобным же образом и Демосфен сперва обратился к искусству речи, чтобы поправить собственные дела, а впоследствии, достигши мастерства и силы, стал первым уже в состязаниях на государственном поприще и превзошел всех своих сограждан, поднимавшихся на ораторское возвышение. А между тем в первый раз народ встретил его недовольным шумом и осмеял за необычное строение речи, периоды которой казались запутанными и сбивчивыми, а доводы натянутыми и неестественными. К этому присоединялись, сколько можно судить, слабость голоса, неясный выговор и, наконец, короткое дыхание,

которое, разрывая периоды, нарушало смысл произносимого. Демосфен перестал бывать в Собрании, и однажды, когда он уныло бродил по Пирею, его заметил Эвном из Фрии, уже глубокий старик, и выбранил за то, что владея даром слова, почти таким же, как у Перикла, он по робости и безволию изменяет самому себе, если не оказывает решительного сопротивления толпе и не готовит для борьбы свое тело, но позволяет ему увядать от безделия и изнеженности.

7. Однако ж, как сообщают, и новая попытка Демосфена успеха не имела, и тут, когда в полном отчаянии, закрывши от стыда лицо плащом, он отправился домой, его пошел проводить актер Сатир, близкий его приятель. Демосфен стал ему жаловаться, что из всех ораторов он самый трудолюбивый и отдает красноречию чуть ли не все силы без остатка, а народ знать его не желает, между тем как пьяницы, мореходы[14] и полные невежды всегда находят слушателей и не сходят с возвышения. "Верно, Демосфен, – отвечал Сатир, – но я быстро помогу твоей беде. Прочти-ка мне, пожалуйста, наизусть какой-нибудь отрывок из Эврипида или Софокла". Демосфен прочитал, а Сатир повторил, но при этом так передал соответствующий характер и настроение, что Демосфену и самому этот отрывок показался совсем иным. Так он убедился, сколько стройности и красоты придает речи "игра"[15], и понял, что сами по себе упражнения значат очень мало или даже вообще ничего не значат, если ты не думаешь о том, как лучше всего преподнести и передать слушателям содержание твоих слов. Он устроил себе в подземелье комнату для занятий, которая цела и до нашего времени, и, неукоснительно уходя туда всякий день, учился актерской игре и укреплял голос, а нередко уединялся и на два-три месяца подряд, выбрив себе половину головы, чтобы от стыда невозможно было выйти наружу, даже если очень захочется.

8. Но этого мало – любую встречу, беседу, деловой разговор он тут же превращал в предлог и предмет для усердной работы. Оставшись один, он поскорее спускался к себе в подземелье и излагал последовательно все обстоятельства вместе с относящимися к каждому из них доводами. Запоминая речи, которые ему случалось услышать, он затем восстанавливал ход рассуждений и периоды; он повторял слова, сказанные другими или же им самим, и придумывал всевозможные поправки и способы выразить ту же мысль иначе. Отсюда возникло мнение, будто Демосфен мало одарен от природы и все его мастерство, вся его сила добыты трудом, и вот что, казалось, подтверждало это мнение с большой убедительностью: очень трудно было услышать Демосфена говорящим без подготовки[16], но, сидя в Собрании, где народ часто выкрикивал его имя, он никогда не выступал, если не обдумал и не составил речь заранее. Над этим потешались многие из вожаков народа и искателей его благосклонности, а Пифей однажды сострил, что, дескать, доводы Демосфена отдают фитилем. "Фитили моей и твоей лампы, любезнейший, видят совсем не одно и то же", – язвительно возразил ему Демосфен. Но вообще-то он и сам признавался, что, хотя не пишет всей речи целиком, никогда не говорит без предварительных заметок. При этом он доказывал, что человек, который готовится к своим выступлениям, – истинный сторонник демократии, ибо такая подготовка – знак внимания к народу, а не проявлять ни малейшей заботы о том, как воспримет народ твою речь, свойст-

венно приверженцу олигархии, больше полагающемуся на силу рук, нежели силу сло́ва. Приводят и еще одно доказательство его страха перед непредвиденными выступлениями: если слушатели начинали шуметь и Демосфен сбивался, Демад не раз вставал со своего места и быстро приходил ему на помощь, но никогда Демосфен не оказывал подобных услуг Демаду.

9. Но почему же тогда Эсхин – могут мне возразить – называл[17] этого человека поразительно смелым оратором? Как объяснить, что, когда Пифон Византийский обрушил на афинян целый поток дерзких обвинений, отпор ему дал один лишь Демосфен? Или, когда Ламах Смирнский читал в Олимпии похвальное слово царям Александру и Филиппу, где жестоко поносил граждан Фив и Олинфа, кто, как не Демосфен, поднялся и, обратившись к истории, показал, сколько добра принесли Греции фиванцы и халкидяне и, напротив, источником каких зол и бедствий были для нее льстивые прислужники македонян, и своею речью до того изменил настроение присутствовавших, что софист, испуганный криками и шумом, незаметно исчез из собрания? По-видимому, Демосфен не считал необходимым подражать Периклу во многом другом, но важность его, нарочитую неторопливость, привычку высказываться не вдруг и не обо всем стремился перенять, полагая, что на них покоилось величие Перикла, а потому, хоть и не пренебрегал без всяких оговорок славою случайных речей, с большою неохотой и очень редко доверялся слепому счастью. Во всяком случае, если верить Эратосфену, Деметрию Фалерскому и комическим поэтам, живое его слово отличалось большею дерзостью и отвагой, нежели написанное. Эратосфен утверждает, что часто во время речи Демосфена охватывало как бы вакхическое неистовство, а Деметрий говорит, что как-то раз, словно вдохновленный свыше, он произнес перед народом клятву в стихах:

Землей клянусь, ручьем, потоком, родником!

Один комический поэт называет Демосфена "пусто-болто-мелей", другой, насмехаясь над его пристрастием к противоположениям, говорит так:

Забрал он снова то, что отобрал; ему
Ведь по́ сердцу всегда словечки подбирать[18].

А впрочем, клянусь Зевсом, Антифан пожалуй, подшучивает здесь, над речью о Галоннесе, в которой Демосфен, играя слогами, советует афинянам не брать остров, но отобрать[19] его у Филиппа.

10. И однако все соглашались, что Демад, полагавшийся только на свой природный дар, был непобедим и, выступая без всякой подготовки, брал верх над Демосфеном со всеми его предварительными размышлениями и трудами. Аристон Хиосский приводит, между прочим, суждение Феофраста об этих ораторах. На вопрос, что он думает об ораторе Демосфене, Феофраст отвечал: "Достоин своего города", а о Демаде – "Выше своего города". А Полиэвкт из дема Сфетт, один из тех, кто ведал тогда государственными делами в Афинах, по словам того же Аристона, заявлял, что Демосфен – величайший из ораторов, но самый искусный – Фокион, который в кратчайшие слова вкладывает больше всего смысла. И сам Демосфен, говорят, всякий раз как Фокион[20], собираясь

возражать ему, всходил на ораторское возвышение, шептал друзьям: "Вот поднимается нож, направленный в грудь моим речам". Неясно, впрочем, имел ли в виду Демосфен силу речей Фокиона или безукоризненность его жизни и блеск славы, понимая, что одно-единственное слово, один кивок человека, внушающего к себе доверие, весит больше многих и пространных периодов.

11. Деметрий Фалерский пишет, что Демосфен уже в старости сам рассказывал ему, какими упражнениями он старался исправить свои телесные изъяны и слабости. Неясный, шепелявый выговор он одолевал, вкладывая в рот камешки и так читая на память отрывки из поэтов, голос укреплял бегом, разговором на крутых подъемах и тем, что, не переводя дыхания, произносил несколько стихов или какие-нибудь длинные фразы. Дома у него было большое зеркало, и перед ним он выполнял задания, которые сам себе ставил. Рассказывают, будто однажды к Демосфену пришел какой-то человек и, жалуясь, что ему нанесли побои, просил выступить на суде в его защиту. "Да ведь с тобою ничего подобного и не случалось", – возразил Демосфен. Гость сразу возвысил голос до крика: «Да ты что, Демосфен? Как так "не случалось"?» – "Вот теперь, клянусь Зевсом, – промолвил Демосфен, – я слышу голос обиженного и потерпевшего". Вот в какой мере, по его мнению, зависела убедительность речи от тона и "игры" говорящего.

Собственная его "игра" приводила народ в восторг, но люди образованные, знатоки – и среди них Деметрий Фалерский – находили ее низменной, пошлой и бессильной. По сообщению Гермиппа, Эсиона однажды спросили о древних и новых ораторах, и тот сказал, что, если бы кому довелось услышать древних, он был бы поражен, как красиво и величественно говорят они к народу, но речи Демосфена, когда их читаешь, кажутся намного выше благодаря своей стройности и силе. Что записанные речи Демосфена отличаются большой резкостью и суровостью, вряд ли нужно доказывать, но в случайных ответах и быстрых возражениях он иной раз умел и остро пошутить. Демад как-то воскликнул: "Смотри-ка, Демосфен меня поучает – свинья учит Афину!"[21] – "Да, но эту Афину позавчера поймали в Коллите в чужой постели!" – немедленно откликнулся Демосфен. Известный вор, по прозвищу Медяк, тоже пытался что-то сказать о его бдениях и ночных занятиях. "Знаю, знаю, – перебил его Демосфен, – тебе не по душе, что у меня горит свет. А вы, господа афиняне, не удивляйтесь частым кражам – ведь воры-то у нас медные, а стены глиняные". На этом мы остановимся, хотя могли бы привести гораздо больше таких рассказов и подробностей. Но мы должны познакомиться еще с теми чертами его нрава и поведения, которые отразились в действиях Демосфена на государственном поприще.

12. Демосфен и сам говорит[22], и из филиппик можно заключить, что принимать участие в делах государства он начал, когда вспыхнула Фокидская война: некоторые из речей[23] против Филиппа произнесены уже после завершения войны, а самые первые касаются событий, непосредственно с нею связанных. Очевидно, затем, что обвинение против Мидия[24] он готовил тридцати двух лет от роду, еще не пользуясь ни влиянием, ни известностью в государстве. Именно

это в основном, как мне кажется, и побудило его принять деньги и помириться с обидчиком,

Ибо то был не ласковый муж и сердцем не добрый[25],

а вспыльчивый и мстительный. Но видя, что свалить человека, надежно защищенного своим богатством, красноречием и дружескими связями, – дело не из простых и не по его силам, он уступил тем, кто просил за Мидия. А сами по себе три тысячи драхм не умерили бы, по-моему, раздражения Демосфена, если бы он надеялся и мог выиграть дело.

Найдя прекрасный предмет для своей деятельности на государственном поприще в защите греков против Филиппа и достойно ведя эту борьбу, он вскоре прославился красноречием и смелостью настолько, что вся Греция восхищалась им, великий царь[26] высоко его ценил, а при дворе Филиппа ни об одном из народных вождей не было столько разговоров, сколько о Демосфене, и даже его противники признавали, что ненавистный их враг – человек знаменитый. Так отзываются о Демосфене его неизменные обвинители Эсхин и Гиперид[27].

13. Вот почему я просто не понимаю, что имел в виду Феопомп, говоря, будто нрава Демосфен был непостоянного[28] и не мог долго хранить верность одному делу и одним людям. Каждому известно, что он до конца оставался на той стороне и в том стане, к которому примкнул с самого начала, что он не только никогда в жизни не менял своих взглядов, но, не желая им изменить, не пощадил и жизни. Он не был похож ни на Демада, который, пытаясь оправдать перемену в своих убеждениях, говорил, что себе самому он противоречил часто, но благу государства – никогда; ни на Меланопа, который выступал против Каллистрата, но не раз, подкупленный им, отказывался от своих возражений и в таких случаях обыкновенно говорил народу: "Каллистрат – мне враг, однако ж польза отечества должна стоять выше всего"; ни на мессенца Никодема, который сперва поддерживал Кассандра, а потом, присоединившись к Деметрию, утверждал, будто никто не может упрекнуть его в непоследовательности – он, дескать, всегда считал, что надо повиноваться сильнейшему. Нет, Демосфен не сбивался с прямого пути ни словом, ни делом, этого про него сказать нельзя, напротив, он вел государственные дела, если можно так выразиться, в одном неизменном ладу, постоянно сохраняя все тот же тон. По словам философа Панетия, и речи Демосфена в подавляющем своем большинстве написаны с тою мыслью, что лишь прекрасное заслуживает выбора и предпочтения, и к тому же – само по себе; таковы речи о венке, против Аристократа, об освобождении от повинностей[29], филиппики, в которых Демосфен направляет сограждан не к тому, что всего приятнее, легче или выгоднее, но говорит им о долге во многих случаях поставить собственное спасение и безопасность на втором месте по сравнению с прекрасным и достойным. Одним словом, если бы с высотою его замыслов и правил и с благородством речей сочетались воинское мужество и полное бескорыстие, он бы заслуживал чести стоять в одном ряду не с Мероклом, Полиэвктом, Гиперидом и другими ораторами, но гораздо выше – рядом с Кимоном, Фукидидом и Периклом.

14. И верно, среди его современников Фокион, чьи взгляды не пользовались одобрением, считавшийся приверженцем македонян, тем не менее мужеством и справедливостью нисколько, казалось, не уступал Эфиальту, Аристиду и Кимону. А Демосфен, и воин не надежный, как называет его Деметрий, и к деньгам не вовсе равнодушный, – оставаясь неприступным для взяток из Македонии, от Филиппа, он позволил захлестнуть себя золотому потоку, лившемуся из дальних краев, из Суз и Экбатан[30], – Демосфен, повторяю, как никто другой, умел восхвалять доблести предков, но подражал им куда хуже. Впрочем, современных ему ораторов (я не говорю здесь о Фокионе) он превосходит и славою своей жизни. Из его речей видно, что он говорил с народом прямее и откровеннее остальных, не уступая желаниям толпы и беспощадно порицая ее заблуждения и пороки. Феопомп рассказывает, что однажды афиняне назначали его обвинителем, Демосфен отказывался, а, в ответ на недовольный шум, выступил и заявил так: "Афиняне, советчиком вашим я буду и впредь, хотите вы этого или не хотите, но клеветником и доносчиком – никогда, как бы вы этого ни хотели!" Крайним сторонником аристократии выказал он себя и в деле Антифонта[31]: не взирая на то, что Собранием Антифонт был оправдан, Демосфен его задержал и предал суду Ареопага, ни во что не ставя оскорбление, которое наносит этим народу. Он изобличил обвиняемого, который, как выяснилось, пообещал Филиппу сжечь верфи, и Ареопаг осудил Антифонта на смерть. Он выдвинул обвинение и против жрицы Феориды, утверждая, что, помимо множества прочих бесчестных поступков, она учила рабов обманывать своих господ, потребовал смертного приговора и добился казни.

15. Говорят, что и речь Аполлодора против полководца Тимофея, которого суд приговорил к денежному штрафу, написал Аполлодору Демосфен, точно так же, как и речи против Формиона и Стефана[32], за что его справедливо порицали и бранили. Ведь и Формион выступал против Аполлодора с речью, написанной Демосфеном, который, стало быть, из одной оружейной лавки[33] продавал кинжалы обеим враждебным сторонам.

Из речей, касающихся дел государства, для других он написал речи против Андротиона, Тимократа и Аристократа[34], сколько я могу судить – двадцати семи или восьми лет от роду, то есть еще до того, как впервые выступил на государственном поприще сам. Но речь против Аристогитона он говорил сам, так же как и речь об освобождении от повинностей; он сделал это ради Ктесиппа, сына Хабрия[35], как утверждает сам оратор, или же, как думают иные, потому, что сватался к матери этого юноши. Брак их, впрочем, не состоялся, и он взял за себя какую-то женщину родом с Самоса; об этом сообщает Деметрий Магнесийский в сочинении "О соименниках". Что касается речи против Эсхина[36], о недобросовестном исполнении посольских обязанностей, неизвестно, была ли она произнесена вообще. Идоменей пишет, что Эсхин был оправдан всего тридцатью голосами, но, видимо, дело обстояло не так, если основываться на обеих речах о венке – и Демосфена, и Эсхина: ни тот, ни другой нигде ясно и определенно не говорят, дошел ли их спор до суда. Однако другие выскажутся об этом и с большим правом и большей уверенностью.

16. Еще во время мира намерения и взгляды Демосфена были вполне ясны,

ибо он порицал все действия Филиппа без исключения и любой его шаг использовал для того, чтобы возмущать и восстанавливать афинян против македонского царя. И о нем при дворе Филиппа говорили больше, чем о ком-либо другом, так что, когда в числе десяти послов он прибыл в Македонию, Филипп, выслушав всех, отвечал и возражал преимущественно Демосфену. Правда, особых почестей и дружеского расположения царь ему не оказывал, стараясь расположить к себе главным образом Эсхина и Филократа. Поэтому, когда они превозносили Филиппа, вспоминая, как прекрасно он говорит, как хорош собою и даже – клянусь Зевсом! – как много может выпить в кругу друзей, Демосфен язвительно шутил[37], что, дескать, первое из этих качеств похвально для софиста, второе для женщины, третье для губки, но для царя – ни одно.

17. Когда же дело подошло к войне, ибо и Филипп не мог оставаться в покое, и афиняне, подстрекаемые Демосфеном, ожесточались все сильнее, Демосфен, прежде всего, побудил сограждан вмешаться в дела Эвбеи, которую тиранны отдали во власть Филиппа. Одобрив его предложение, афиняне переправились на остров и изгнали македонян. Далее, он оказал поддержку Византию и Перинфу, подвергшимся нападению Филиппа: он убедил народ оставить прежнюю вражду, забыть об обидах Союзнической войны и послать помощь, которая и спасла оба города. Затем, разъезжая послом по Греции и произнося зажигательные речи против Филиппа, он сплотил для борьбы с Македонией почти все государства, так что оказалось возможным набрать войско в пятнадцать тысяч пеших и две тысячи всадников, – помимо отрядов граждан, – и каждый город охотно вносил деньги для уплаты жалования наемникам. Именно тогда, как пишет Феофраст, в ответ на просьбы союзников назначить каждому точную меру его взноса, народный вожак Кробил заметил, что война меры не знает[38].

Вся Греция была в напряженном ожидании, многие народы и города уже сплотились – эвбейцы, ахейцы, коринфяне, мегаряне, жители Левкады и Керкиры, но самый важный из боев был еще впереди: Демосфену предстояло присоединить к союзу фиванцев, которые населяли страну, соседнюю с Аттикой, владели значительной боевой силой и считались тогда лучшими воинами среди греков. Однако нелегкое было дело склонить к выступлению против Филиппа фиванцев, которых он только недавно, во время Фокидской войны, привлек к себе благодеяниями, тем более что из-за пограничных столкновений распри между Афинами и Фивами почти не прекращались.

18. Тем не менее, когда Филипп, гордый своим успехом при Амфиссе, внезапно захватил Элатию и занял всю Фокиду и афиняне были потрясены настолько, что никто не решался взойти на ораторское возвышение и не знал, что сказать, Демосфен, поднявшись один среди всеобщего молчания и растерянности, советовал объединиться с фиванцами; этою и еще другими надеждами он, как всегда, ободрил и воодушевил народ и принял поручение вместе с несколькими согражданами выехать в Фивы. Отправил своих послов, как сообщает Марсий, и Филипп – македонян Аминта, Клеандра и Кассандра, фессалийца Даоха и Дикеарха, которые должны были выступить против афинян. Фиванцы ясно видели, в чем для них польза и в чем вред, ибо у каждого в глазах еще стояли ужасы войны и раны фокейских боев были совсем свежи. Но сила Демосфенова красноре-

чия, по словам Феопомпа, оживила их мужество, разожгла честолюбие и помрачила все прочие чувства, и в этом высоком воодушевлении они забыли и о страхе, и о благоразумии, и о благодарности, всем сердцем и всеми помыслами устремляясь лишь к доблести. Этот подвиг оратора произвел такое огромное и яркое впечатление, что не только Филипп немедленно послал вестника с просьбой о мире, но и вся Греция воспрянула и с надеждою глядела в будущее, а Демосфену подчинялись и выполняли его приказы не только стратеги, но и беотархи[39]; в Собрании фиванцев голос его имел столько же значения, сколько у афинян, и он пользовался любовью обоих народов и властью над ними не вопреки справедливости, как заявляет Феопомп, но в высшей мере заслуженно.

19. Но, видимо, божественная судьба – или же круговорот событий – этот именно срок полагала свободе Греции, а потому противодействовала всем начинаниям и являла множество знамений, приоткрывая грядущее. Грозные прорицания изрекала пифия, многие вспоминали старинный сивиллин оракул:

> О, если б мне довелось не сражаться в бою Фермодонтском,
> Но, уподобясь орлу, на битву взирать с поднебесья!
> Плачет о доле своей побежденный, погиб победивший.

Говорят, что Фермодонт – маленькая речушка в наших краях, под Херонеей, и что впадает она в Кефис. Однако в нынешнее время мы не знаем ни одного ручья под таким именем, а потому предполагаем, что Фермодонтом когда-то называли Гемон. Ведь он протекает мимо святилища Геракла, подле которого находился греческий лагерь, и отсюда можно заключить, что река изменила название после битвы, переполнившись трупами и кровью[40]. Дурид, правда, пишет, что Фермодонт вообще не река: по его словам какие-то люди, ставя палатку, случайно выкопали из земли маленькую каменную статую с надписью, сообщавшею, что это Фермодонт, который несет на руках раненную амазонку. В связи с этой находкой, продолжает Дурид, приводили другой оракул:

> Ты Фермодонтского боя дождись, черноперая птица!
> Там человеческой плотью насытишься ты в изобилье.

20. Как обстоит дело в действительности, решить не легко. Между тем Демосфен, твердо полагаясь на силу греческого оружия, гордый мощью и боевым рвением такого громадного множества людей, отважно бросающих врагу вызов, не позволял своим обращать внимание на оракулы и прислушиваться к прорицаниям и даже пифию подозревал в сочувствии Филиппу. Афинянам он приводил в пример Перикла, а фиванцам Эпаминонда, которые подобного рода опасения считали отговорками для трусов и всегда следовали только здравому смыслу. Вплоть до этого времени Демосфен держал себя, как подобало храброму и благородному человеку, но в битве не совершил ничего прекрасного, ничего, что бы отвечало его же собственным речам, напротив – оставил свое место в строю и самым позорным образом бежал, бросив оружие и не постыдившись, как говорил Пифей, даже надписи на щите, где золотыми буквами было начертано: “В добрый час!”

После победы Филипп, вне себя от радости и гордыни, буйно пьянствовал прямо среди трупов и распевал первые слова Демосфенова законопроекта, деля их на стопы и отбивая ногою такт:

Демосфен, сын Демосфена, предложил афинянам...

Однако ж протрезвев и осмыслив всю великую опасность завершившейся борьбы, он ужаснулся пред искусством и силою оратора, который вынудил его в какую-то краткую долю дня поставить под угрозу не только свое владычество, но и самое жизнь. Весть о случившемся докатилась и до персидского царя, и он отправил сатрапам приморских областей приказ давать Демосфену деньги и оказывать помощь, как никому из греков, ибо он способен отвлечь внимание Филиппа и удержать его в Греции. Это впоследствии раскрыл Александр, обнаружив в Сардах письма самого Демосфена и записи царских полководцев, в которых значились выданные ему суммы.

21. Беда, обрушившаяся на греков, дала случай ораторам из противного стана наброситься на Демосфена, привлечь его к суду и требовать строгого должностного отчета. Афиняне, однако, не только освободили его от всех обвинений, но и продолжали уважать по-прежнему, и призывали вновь взяться за государственные дела, видя в нем верного народу человека, и даже, когда останки павших[41] при Херонее были привезены в Афины для погребения, ему было поручено сказать похвальное слово умершим. Стало быть, народ переносил несчастье отнюдь не с малодушным смирением, как, трагически преувеличивая, пишет Феопомп, – наоборот, он украшает особою почестью своего советчика и этим дает понять, что не раскаивается в прежнем решении. Похвальное слово Демосфен сказал, но свои законопроекты впредь помечал не собственным именем, а именами того или иного из друзей, суеверно страшась своего гения и злой судьбы. Вновь приободрился он лишь после смерти Филиппа, который не намного пережил свой успех при Херонее. Это, по-видимому, и предвещал оракул последним стихом:

Плачет о доле своей побежденный, погиб победивший.

22. Весть о кончине Филиппа Демосфен получил тайно и, чтобы первым внушить афинянам лучшие надежды на будущее, пришел в Совет радостный, ликующий и объявил, будто видел сон, который сулит афинянам какую-то большую удачу. А вскорости прибыли гонцы, сообщившие о смерти Филиппа. Граждане немедленно постановили устроить благодарственное жертвоприношение и наградить Павсания венком[42]. Демосфен появился среди народа в светлом, красивом плаще, с венком на голове, хотя всего за семь дней до того умерла его дочь, как говорит Эсхин[43], резко порицающий Демосфена и ставящий ему в вину ненависть к родным детям. Однако ж сам он низок и малодушен, если в скорби и причитаниях видит признак кроткой и нежной натуры, а твердость и сдержанность в подобных несчастиях осуждает. Я не сказал бы, что хорошо надевать венки и приносить жертвы по случаю смерти царя, который, одержав победу, обошелся с вами, побежденными, так мягко и человеколюбиво, – не говоря уже о гневе богов, низко и неблагородно живому оказывать почести и даровать ему

право афинского гражданства, а когда он пал от руки убийцы, в восторге забыться настолько, чтобы попирать ногами труп и петь торжествующие гимны, словно сами совершили нивесть какой подвиг! Но если Демосфен свои семейные беды, слезы и сетования оставляет на долю женщин, а сам делает то, что находит полезным для государства, я хвалю его и полагаю свойством и долгом мужественной и созданной для государственных дел души постоянно думать об общем благе, забывать ради него о собственных скорбях и невзгодах и хранить свое достоинство куда тщательнее, нежели актеры, которые играют царей и тираннов и которых мы видим на театре плачущими или же смеющимися не тогда, когда им хочется, но когда этого требует действие и роль. Да и помимо того, если несчастного следует, не бросать без внимания, наедине с его скорбью, но утешать дружескими речами, направляя его думы к предметам более отрадным, – так же, как страдающему глазами обыкновенно советуют отворачиваться от всего яркого и резкого и больше глядеть на зеленые и мягкие краски, – что может быть для человека лучшим источником утешения, чем успехи и благоденствие отечества? Если общественные удачи чередуются с семейными бедствиями, то хорошее словно бы заслоняет собою печальное. Я не мог не сказать об этом, ибо вижу, что Эсхин своею речью многих разжалобил и склонил к состраданию, недостойному мужей.

23. Снова зазвучали зажигательные увещания Демосфена, и греческие государства снова сплотились. Раздобыв с помощью Демосфена оружие, фиванцы напали на сторожевой отряд[44] и истребили значительную его часть. Афиняне готовились к войне в твердой решимости поддержать фиванцев. Демосфен владел ораторским возвышением безраздельно. Он писал царским полководцам в Азии, призывая их тоже выступить против Александра, которого называл мальчишкой и Маргитом[45]. Но когда Александр, приведя в порядок дела у себя в стране, появился с войском в Беотии, смелость афинян пропала, и Демосфен разом сник. Фиванцы, брошенные на произвол судьбы, сражались с македонянами в полном одиночестве и потеряли свой город. Афинян охватило страшное смятение, и Демосфен вместе с другими был отправлен послом к Александру, но, страшась его гнева, у Киферона[46] расстался с товарищами по посольству и вернулся назад. И тут же в Афины прибыл гонец Александра с требованием выдать десять народных вожаков. Так говорят Идоменей и Дурид, однако большинство писателей, и к тому же самые надежные, называют только восьмерых – Демосфена, Полиэвкта, Эфиальта, Ликурга, Мерокла, Демона, Каллисфена и Харидема. Вот тогда-то и сказал Демосфен притчу об овцах[47], которые выдали сторожевых собак волкам, сравнив себя и своих товарищей с собаками, бившимися за народ, а Александра Македонского назвав неслыханно лютым волком. И еще он сказал: "Каждый видел, как купцы носят на блюде горсть пшеницы и по этому малому образцу продают весь товар, точно так же и вы – выдавая нас, незаметно выдаете головою себя самих". Это сообщает Аристобул из Кассандрии. Афиняне совещались и не знали, на что решиться, пока, наконец, Демад, принявши от тех, кому грозила выдача, пять талантов, не согласился просить за них царя: то ли он рассчитывал на свою дружбу с Александром, то ли ожидал найти его, точно льва, уже сытым убийствами и кровью. Во всяком

случае, Демад поехал послом, уговорил царя помиловать всех восьмерых и примирил его с афинянами.

24. Во время похода Александра вся сила перешла в руки Демада и его приверженцев, Демосфен был подавлен и унижен. Когда зашевелились спартанцы во главе с Агидом, воспрянул ненадолго и он, но затем отступил в испуге, ибо афиняне Спарту не поддержали, Агид пал и лакедемоняне потерпели решительное поражение. В ту пору суд рассмотрел иск против Ктесифонта по делу о венке[48]. Дело это было возбуждено еще при архонте Херонде, незадолго до Херонейской битвы, однако решалось спустя десять лет, при архонте Аристофонте, и пользуется большей известностью, чем любое из государственных обвинений, – отчасти из-за славы ораторов, но вместе с тем и по благородству судей, которые голосовали не в угоду гонителям Демосфена, державшим сторону македонян и потому властвовавшим в Афинах, но высказались в его пользу, и с таким замечательным единодушием, что Эсхин не собрал и пятой части голосов[49]. Последний немедленно покинул Афины и остаток жизни прожил на Родосе и в Ионии, обучая за плату красноречию и философии.

25. Вскоре после этого в Афины из Азии приехал Гарпал, бежавший от Александра: он знал за собою немало преступлений, вызванных мотовством и распутством, и страшился гнева царя, который был теперь с друзьями далеко не так милостив, как прежде. Когда он обратился к народу с мольбою об убежище и отдался в его руки вместе со всеми своими сокровищами и кораблями, другие ораторы, с вожделением поглядывая на богатства Гарпала, тут же оказали ему поддержку и убеждали афинян принять и защитить просителя, но Демосфен советовал выпроводить его вон, чтобы не ввергать государство в войну по ничтожному и несправедливому поводу. Несколькими днями позже, во время осмотра привезенного имущества, Гарпал, заметив, что Демосфен восхищен каким-то персидским кубком и любуется его формою и рельефами на стенках, предложил ему взвесить сосуд на руке и определить, сколько в нем золота. Кубок оказался очень тяжелым, и Демосфен с изумлением спросил какой же его точный вес. “Для тебя – двадцать талантов”, – ответил Гарпал, улыбнувшись, и, едва стемнело, отправил ему кубок вместе с двадцатью талантами денег. Гарпал, конечно, был великий искусник по выражению лица и нескольким беглым взглядам угадывать в человеке страсть к золоту, а Демосфен не устоял, но, соблазненный подарком, принял сторону Гарпала, словно бы сдаваясь и открывая ворота вражескому караульному отряду. На другой день, старательно обернув горло шерстяной повязкой, он пришел в таком виде в Собрание и, когда народ потребовал, чтобы выступил Демосфен, только знаками показывал, что, дескать, лишился голоса. Люди остроумные шутили, что этот недуг – последствие золотой лихорадки, которая трясла оратора ночью. Скоро, однако, о взятке узнал весь народ, и когда Демосфен, просил слова, чтобы защищаться, негодующий шум не давал ему говорить. Тут кто-то поднялся со своего места и язвительно крикнул: “Неужели, господа афиняне, вы не выслушаете того, в чьих руках кубок?”[50]

Афиняне выслали Гарпала и, опасаясь, как бы с них не потребовали отчета в расхищенном ораторами имуществе, учинили строжайшее расследование и обы-

скивали подряд дом за домом. Не тронули только Калликла, сына Арренида, который недавно женился, – щадя стыдливость новобрачной, как сообщает Феопомп.

26. Тут Демосфен, пытаясь отразить удар, предложил, чтобы разбором дела занялся Ареопаг и все, кого он признает виновными, понесли наказание. Но в числе первых Ареопаг объявил виновным его самого. Демосфен явился в суд, был приговорен к штрафу в пятьдесят талантов и посажен в тюрьму, но бежал, по его словам[51], – от стыда перед своею виной, а также по немощи тела, неспособного долго терпеть тяготы заключения; часть караульных удалось обмануть, другие же сами помогли ему скрыться. О бегстве Демосфена существует вот какой рассказ. Он был еще невдалеке от города, как вдруг заметил, что его догоняют несколько афинян из числа его противников, и хотел было спрятаться, но те окликнули его по имени, подошли ближе и просили принять от них небольшую сумму на дорогу – ради этого, дескать, они и гонятся за ним, взяв из дому деньги; одновременно они убеждали его не терять мужества и спокойнее относиться к случившемуся, но Демосфен заплакал еще горше и воскликнул: "Ну как сохранить спокойствие, расставшись с городом, где у тебя даже враги такие, какие в ином месте навряд ли сыщутся друзья!"

Изгнание он переносил малодушно, сидя большей частью на Эгине или в Трезене и не сводя с Аттики залитых слезами глаз, так что и в изречениях его, сохраняющихся от тех дней, нет ни благородства, ни юношеской пылкости, отличавшей его, бывало, в государственных делах. Передают, что покидая Афины, он простер руки к Акрополю и промолвил: "Зачем, о Владычная хранительница града сего, ты благосклонна к трем самым злобным на свете тварям – сове, змее[52] и народу?" Молодых людей, навещавших его и беседовавших с ним, он уговаривал никогда не касаться дел государства, заверяя, что если бы с самого начала перед ним лежали два пути – один к Народному собранию и возвышению для ораторов, а другой прямо к гибели – и если бы он заранее знал все сопряженные с государственными занятиями беды, страхи, опасности, зависть, клевету, то без колебаний выбрал бы второй, ведущий к смерти.

27. Он был еще в изгнании, когда умер Александр, и греки снова начали объединяться, воодушевляемые подвигами Леосфена, который запер и осадил Антипатра в Ламии. Оратор Пифей и Каллимедонт по прозвищу "Краб" бежали из Афин, перешли к Антипатру и вместе с его друзьями и посланцами объезжали города Греции, чтобы помешать им выйти из-под власти Македонии и примкнуть к афинянам. В эти дни двинулся в путь и Демосфен – вместе с афинскими послами, горячо их поддерживая и, так же как они, убеждая города дружно напасть на македонян и изгнать врага из Греции. Филарх сообщает, что как-то в Аркадии даже вспыхнула перепалка между Пифеем и Демосфеном, когда один отстаивал в Собрании дело македонян, а другой – греков. Подобно тому, как в доме, куда носят молоко ослицы[53], уж что-нибудь да неладно, заявил Пифей, так же точно можно не сомневаться, что болен город, куда прибывает афинское посольство. Вывернув его сравнение наизнанку, Демосфен отвечал, что как молоко ослицы возвращает здоровье, так и прибытие афинян возвещает больным спасение.

Афинский народ, довольный последними поступками Демосфена, постановил вернуть его в отечество. Предложение внес Демон из дема Пэания, двоюродный брат оратора. За Демосфеном послали на Эгину триеру. Когда он поднимался из Пирея в город, навстречу вышли не только все власти и все жрецы, но и остальные граждане, чуть ли не до последнего человека, и восторженно его приветствовали. Тогда, как рассказывает Деметрий Магнесийский, Демосфен воздел руки к небесам и назвал себя блаженным, а этот день – счастливейшим в своей жизни, ибо он возвращается лучше, достойнее Алкивиада[54]: он убедил, а не вынудил сограждан принять его вновь.

Однако денежный штраф лежал на нем по-прежнему, – отменить приговор расположение народа не могло, – и вот к какой прибегли уловке, чтобы обойти закон. Существовал обычай, принося жертву Зевсу Спасителю, платить деньги тем, кто сооружал и убирал алтарь, и на сей раз афиняне поручили эту работу Демосфену за вознаграждение в пятьдесят талантов, которые и составляли сумму штрафа.

28. Но недолго радовался Демосфен обретенному вновь отечеству – все надежды греков вскорости рухнули. В метагитнионе была проиграна битва при Кранноне, в боэдромионе в Мунихию вступил македонский сторожевой отряд, а в пианепсионе Демосфен погиб. Обстоятельства его кончины таковы. Когда начали поступать вести, что Антипатр и Кратер движутся на Афины, Демосфен и его сторонники, не теряя времени, бежали, и народ, по предложению Демада, вынес им смертный приговор. Бежавшие рассеялись кто куда, и, чтобы всех переловить, Антипатр выслал отряд под начальством Архия по прозвищу "Охотник за беглецами". Рассказывают, будто он был родом из Фурий и прежде играл в трагедиях, и что у него учился эгинец Пол, не знавший себе равных в этом искусстве. Но Гермипп называет Архия одним из учеников оратора Лакрита, а по словам Деметрия, он посещал школу Анаксимена. Оратора Гиперида, марафонца Аристоника и Гимерея, брата Деметрия Фалерского, которые укрылись на Эгине, этот самый Архий силою выволок из храма Эака и отправил в Клеоны к Антипатру. Там они были казнены, а Гипериду перед смертью еще и вырезали язык.

29. Узнав, что Демосфен на Калаврии и ищет защиты у алтаря Посейдона, Архий с фракийскими копейщиками переправился туда на нескольких суденышках и стал уговаривать Демосфена выйти из храма и вместе поехать к Антипатру, который, дескать, не сделает ему ничего дурного. А Демосфен как раз накануне ночью видел странный сон. Снилось ему, будто они с Архием состязаются в трагической игре, и хотя он играет прекрасно и весь театр на его стороне, из-за бедности и скудости постановки победа достается противнику. Поэтому, выслушав пространные и вкрадчивые разглагольствования Архия, он, не поднимаясь с земли, взглянул на него и сказал: "Вот что, Архий, прежде неубедительна была для меня твоя игра, а теперь столь же неубедительны твои посулы". Взбешенный Архий разразился угрозами, и Демосфен заметил: "Вот они, истинные прорицания с македонского треножника[55], а раньше ты просто играл роль. Обожди немного, я хочу послать несколько слов своим". Затем, удалившись в глубину храма, он взял листок, словно бы для письма, поднес к губам тростниковое

перо и прикусил кончик, как делал всегда, обдумывая фразу. Так он сидел несколько времени, потом закутался в плащ и уронил голову на грудь. Думая, что он робеет, стоявшие у дверей копейщики насмехались над ним, бранили трусом и бабою. Снова подошел Архий и предложил ему встать, повторив прежние речи и опять суля мир с Антипатром. Демосфен, который уже чувствовал силу разлившегося по жилам яда, откинул плащ, пристально взглянул на Архия и вымолвил: "Теперь, если угодно, можешь сыграть Креонта из трагедии[56] и бросить это тело без погребения. Я, о гостеприимец Посейдон, не оскверню святилище своим трупом, но будь свидетелем, что Антипатр и македоняне не пощадили даже твоего храма!" Сказавши так, он попросил поддержать его, ибо уже шатался и дрожал всем телом, но, едва миновав жертвенник, упал и со стоном испустил дух.

30. Аристон сообщает, что яд он принял из тростникового пера, как говорится и у нас. Но по утверждению некоего Паппа, рассказ которого повторяет Гермипп, когда Демосфен упал подле жертвенника и на листке не оказалось ничего, кроме самых первых слов письма: "Демосфен Антипатру...", – все были изумлены внезапностью этой смерти. Фракийцы, караулившие при входе, объясняли, будто он переложил яд из какого-то лоскутка на ладонь, поднес ко рту и проглотил, а они-де подумали, что он глотает золото. Архий расспросил рабыню, ходившую за умершим, и она сказала, что Демосфен уже давно носил при себе этот узелок, словно талисман. Еще по-иному рассказывает Эратосфен: Демосфен будто бы хранил яд в полом запястье, которое не снимал с руки. Разноречивые повествования остальных авторов, писавших о Демосфене, – а их чрезвычайно много, – нет необходимости рассматривать здесь, и я приведу лишь суждение Демохарета, Демосфенова родича, который верил, что Демосфен умер не от яда, но что боги взыскали его наградою и попечением, вырвав из жестоких когтей македонян и даровав кончину скорую и безболезненную.

Он погиб в шестнадцатый день месяца пианепсиона – самый мрачный день Фесмофорий[57], который женщины проводят в строгом посте, подле храма богини. Прошло немного времени, и афинский народ воздал ему почести по достоинству: он воздвиг бронзовое изображение Демосфена и предоставил старшему из его рода право кормиться в пританее[58]. На цоколе статуи была вырезана известная каждому надпись:

Если бы мощь, Демосфен, ты имел такую, как разум,
Власть бы в Элладе не смог взять македонский Арей.

Те, кто утверждает, будто стихи эти сочинил сам Демосфен перед тем, как принять яд на Калаврии, несут совершеннейший вздор.

31. В Афинах, незадолго до нашего приезда, случилось, как нам говорили, одно любопытное происшествие. Какой-то воин, отданный начальником под суд, положил все деньги, какие у него были, – сумму весьма скромную, – на руки статуи Демосфена. Рядом с оратором, который стоит, переплетя пальцы рук, рос невысокий платан. Ворох листьев с этого дерева, – то ли случайно принесенных ветром, то ли умышленно накиданных сверху солдатом, – прикрыл деньги и долгое время прятал их под собою. Когда же воин, вернувшись, нашел

деньги нетронутыми и слух об этом разнесся по городу, многие остроумцы усмотрели в случившемся доказательство Демосфенова бескорыстия и наперебой сочиняли стихи в его честь.

Демад недолго наслаждался своей черною славой – мстящая за Демосфена Справедливость привела его в Македонию, и те самые люди, перед которыми он так подло заискивал, предали его заслуженной казни. Он и прежде вызывал у них неприязнь, а тут еще оказался неопровержимо уличенным в измене: было перехвачено его письмо, где он призывал Пердикку напасть на Македонию и спасти греков, которые, дескать, повисли на ветхой и гнилой нитке (он намекал на Антипатра). Коринфянин Динарх обвинил его перед Кассандром, и тот, вне себя от ярости, приказал убить его сына в объятиях отца, а потом – и самого Демада, который ценою величайших, непоправимых несчастий убедился, наконец, сколь справедливы были частые, но тщетные предостережения Демосфена, что первыми предатели продают себя самих.

Вот тебе, Сосий, жизнеописание Демосфена, составившееся из всего, что я читал или же слышал о нем.



ЦИЦЕРОН

1. Мать Цицерона, Гельвия, была, как сообщают, женщина хорошего происхождения и безупречной жизни, но об отце его не удалось узнать ничего определенного и достоверного. Одни говорят, будто он и появился на свет и вырос в мастерской сукновала[1], другие возводят его род к Туллу Аттию, который со славою царил над вольсками и, не щадя сил, вел войну против Рима. Первый в роду, кто носил прозвище Цицерона, был, видимо, человек незаурядный, ибо потомки его не отвергли этого прозвища, но, напротив, охотно сохранили, хотя оно и давало повод для частых насмешек. Дело в том, что слово “кикер” [cicer] в латинском языке обозначает горох, и, вероятно, у того Цицерона кончик носа был широкий и приплюснутый – с бороздкою, как на горошине. Когда Цицерон, о котором идет наш рассказ, впервые выступил на государственном поприще и искал первой в своей жизни должности, друзья советовали ему переменить имя, но он, как рассказывают, с юношеской запальчивостью обещал постараться, чтобы имя Цицерон звучало громче, чем Скавр или Катул[2]. Позже, когда он служил квестором в Сицилии, он как-то сделал богам священное приношение из серебра и первых два своих имени, Марк и Туллий, велел написать, а вместо третьего просил мастера в шутку рядом с буквами вырезать горошину. Вот что сообщают об его имени.

2. Родился Цицерон на третий день после новогодних календ[3] – теперь в этот день власти молятся и приносят жертвы за благополучие главы государства. Го-

ворят, что мать произвела его на свет легко и без страданий. Кормилице его явился призрак и возвестил, что она выкормит великое благо для всех римлян. Все считали это вздором, сонным видением, но Цицерон быстро доказал, что пророчество было неложным: едва войдя в школьный возраст, он так ярко заблистал своим природным даром и приобрел такую славу среди товарищей, что даже их отцы приходили на занятия, желая собственными глазами увидеть Цицерона и убедиться в его без конца восхваляемой понятливости и способностях к учению, а иные, более грубые и неотесанные, возмущались, видя, как на улице их сыновья уступают ему среднее, самое почетное место. Готовый – как того и требует Платон[4] от любознательной, истинно философской натуры – со страстью впитывать всякую науку, не пренебрегая ни единым из видов знания и образованности, особенно горячее влечение обнаруживал Цицерон к поэзии. Сохранилось еще детское его стихотворение "Главк Понтийский"[5], написанное тетраметрами. Впоследствии он с большим разнообразием и тонкостью подвизался в этом искусстве, и многие считали его не только первым римским оратором, но и лучшим поэтом. Однако ж ораторская слава Цицерона нерушима и поныне, хотя в красноречии произошли немалые перемены, а поэтическая – по вине многих великих дарований, явившихся после него, – забыта и исчезла без следа.

3. Завершив школьные занятия, Цицерон слушал академика Филона: среди последователей Клитомаха он больше всех внушал римлянам восхищение и любовь не только своим учением, но и нравом. Вместе с тем молодой человек входил в круг друзей Муция, видного государственного мужа и одного из самых влиятельных сенаторов, что принесло ему глубокие познания в законах. Некоторое время служил он и в войске – под начальством Суллы, в Марсийскую войну. Но затем, видя, что надвигаются мятежи и усобицы, а следом за ними – неограниченное единовластие, он обратился к жизни тихой и созерцательной, постоянно бывал в обществе ученых греков и усердно занимался науками, до тех пор пока Сулла не вышел из борьбы победителем и государство, как казалось тогда, не обрело вновь некоторой устойчивости.

В это время вольноотпущенник Суллы Хрисогон назначил к торгам имение одного человека, объявленного вне закона и убитого, и сам же его купил всего за две тысячи драхм. Росций, сын и наследник умершего, в негодовании доказывал, что поместие стоит двести пятьдесят талантов[6], и тогда Сулла, обозленный этим разоблачением, через Хрисогона обвинил Росция в отцеубийстве и привлек к суду. Никто не хотел оказать помощь юноше – все страшились жестокости Суллы, – и, видя себя в полном одиночестве, он обратился к Цицерону, которому друзья говорили, что более блестящего, более прекрасного случая начать путь к славе ему не представится. Цицерон взял на себя защиту и, к радостному изумлению сограждан, дело выиграл, но, боясь мести Суллы, сразу же уехал в Грецию, распустив слух, будто ему надо поправить здоровье. И в самом деле, он был на редкость тощ и по слабости желудка ел очень умеренно, да и то лишь на ночь. Голос его, большой и красивый, но резкий, еще не отделанный, в речах, требовавших силы и страсти, постоянно возвышался настолько, что это могло оказаться небезопасным для жизни.

4. В Афинах Цицерон слушал Антиоха из Аскалона, восхищаясь плавностью и благозвучием его слога, но перемен, произведенных им в основах учения[7], не одобрял. Антиох в ту пору уже отступил от так называемой Новой Академии, разошелся с направлением Карнеада и, – то ли уступая достоверности вещей и чувств, то ли, как утверждают некоторые, не ладя и соперничая с последователями Клитомаха и Филона, – в основном разделял взгляды стоиков. Цицерона больше привлекали воззрения противников Антиоха, он учился с огромным усердием, намереваясь, в случае если все надежды выступить на государственном поприще будут потеряны, переселиться в Афины, забыть о форуме и о делах государства и проводить жизнь в покое, целиком отдавшись философии. Но когда он получил известие о смерти Суллы, – а к этому времени и тело его, закаленное упражнениями, окрепло и поздоровело, и голос, приобретя отделанность, стал приятным для слуха, мощным и, главное, соразмерным телесному его сложению, – а друзья из Рима принялись засыпать его письмами, убеждая вернуться, и сам Антиох настоятельно советовал посвятить себя государственным делам, Цицерон снова взялся за красноречие, оттачивая его, словно оружие, и пробуждая в себе способности, необходимые в управлении государством. Он старательно работал и сам, и посещал знаменитых ораторов, предприняв ради этого путешествие в Азию и на Родос. Среди азийских ораторов он побывал у Ксенокла из Адрамиттия, Дионисия Магнесийского и карийца Мениппа, а на Родосе – у оратора Аполлония, сына Молона, и философа Посидония. Рассказывают, что Аполлоний, не знавший языка римлян, попросил Цицерона произнести речь по-гречески. Тот охотно согласился, считая, что так Аполлоний сможет лучше указать ему его изъяны. Когда он умолк, все присутствующие были поражены и наперебой восхваляли оратора, лишь Аполлоний и, слушая, ничем не выразил удовольствия, и после окончания речи долго сидел, погруженный в какие-то тревожные думы. Наконец, заметив, что Цицерон опечален, он промолвил: "Тебя Цицерон, я хвалю и твоим искусством восхищаюсь, но мне больно за Грецию, когда я вижу, как единичные наши преимущества и последняя гордость – образованность и красноречие – по твоей вине тоже уходят к римлянам".

5. Цицерон был полон лучших упований и только один не совсем благоприятный оракул несколько умерил его пыл. Он спрашивал Дельфийского бога, как ему достичь великой славы, и пифия в ответ повелела ему руководиться в жизни собственною природой, а не славою у толпы. Вернувшись в Рим, Цицерон первое время держал себя очень осторожно и не спешил домогаться должностей, а потому не пользовался никаким влиянием и часто слышал за спиною: "Грек!", "Ученый!" – самые обычные и распространенные среди римской черни бранные слова. Но так как по натуре он был честолюбив, а отец и друзья еще разжигали в нем это свойство, он стал выступать защитником в суде и достиг первенства не постепенно, но сразу, стяжавши громкую известность и затмив всех, кто ни подвизался на форуме. Говорят, что в "игре"[8] Цицерон был слаб, – точно так же, как Демосфен, – и прилежно учился у комического актера Росция и у трагика Эзопа. Про этого Эзопа существует рассказ, будто он играл однажды Атрея, раздумывающего, как отомстить Фиесту, а мимо неожиданно пробежал

какой-то прислужник, и Эзоп в полном исступлении, не владея собой, ударил его скиптром и уложил на месте. "Игра" была для Цицерона одним из немаловажных средств, сообщающих речи убедительность. Он насмехался над ораторами, которые громко кричат, и говорил, что они по своей немощи не в состоянии обойтись без крика, как хромые без лошади. Насмешки и шутки подобного рода казались изящными и вполне уместными в суде, но Цицерон злоупотреблял ими, и многим это не нравилось, так что он прослыл человеком недоброго нрава.

6. Цицерон был избран квестором как раз в ту пору, когда в Риме не хватало хлеба, и, получив по жребию Сицилию, сперва пришелся не по душе сицилийцам, которых заставлял посылать продовольствие в столицу; затем, однако, они узнали его ревностное отношение к службе, его справедливость и мягкость и оказали ему такие почести, каких никогда не оказывали ни одному из правителей. А когда много знатных молодых римлян, служивших в войске, предстали перед судом сицилийского претора – их обвиняли в неповиновении начальникам и недостойном поведении, – Цицерон блестящей защитительной речью спас обвиняемых. Гордый всеми своими успехами Цицерон возвращался в Рим, и по пути, как он рассказывает[9], с ним произошел забавный случай. В Кампании ему встретился один видный римлянин, которого он считал своим другом, и Цицерон, в уверенности, что Рим полон славою его имени и деяний, спросил, как судят граждане об его поступках. "Погоди-ка, Цицерон, а где же ты был в последнее время?" – услыхал он в ответ, и сразу же совершенно пал духом, ибо понял, что молва о нем потерялась в городе, словно канула в безбрежное море, так ничего и не прибавив к прежней его известности. Но затем, поразмысливши и напомнив себе, что борется он за славу, а слава бесконечна и досягаемых пределов не ведает, – он сильно умерил свои честолюбивые притязания. Тем не менее страсть к похвалам и слишком горячая жажда славы были присущи ему до конца и нередко расстраивали лучшие его замыслы.

7. С жаром приступая к делам управления, он считал недопустимым, что ремесленники, пользующиеся бездушными орудиями и снастями, твердо знают их название, употребление и надлежащее место, а государственный муж, которому для успешного исполнения своего долга необходимы помощь и служба живых людей, иной раз легкомысленно пренебрегает знакомством с согражданами. Сам он взял за правило не только запоминать имена, но и старался выяснить, где кто живет, где владеет землею, какими окружен друзьями и соседями. Поэтому, проезжая по любой из областей Италии, Цицерон без труда мог назвать и показать имения своих друзей.

Состояние Цицерона было довольно скромным, – хотя и целиком покрывало его нужды и расходы, – и все же ни платы ни подарков за свои выступления в суде он не брал[10], вызывая восхищение, которое стало всеобщим после дела Верреса. Веррес прежде был наместником Сицилии и запятнал себя множеством бесчестных поступков, а затем сицилийцы привлекли его к ответственности, и победу над ним Цицерон одержал не речью, но скорее тем, что воздержался от речи. Преторы, покровительствуя Верресу, бесчисленными отсрочками и переносами оттянули разбирательство до последнего дня, а так как было

ясно, что дневного срока для речей не хватит, и, стало быть, суд завершиться не сможет, Цицерон поднялся, объявил, что в речах нет нужды, а затем, представив и допросив свидетелей, просил судей голосовать. Тем не менее сохранилось немало острых словечек, сказанных Цицероном по ходу этого дела. "Верресом" [verres] римляне называют холощеного борова. И вот, когда какой-то вольноотпущенник, по имени Цецилий, которого упрекали в приверженности к иудейской религии, пытался отстранить сицилийцев от обвинения и выступить против Верреса сам[11], Цицерон сказал ему: "Какое дело иудею до свинины?" У Верреса был сын-подросток, про которого говорили, будто он плохо оберегает свою юную красоту, и в ответ на брань Верреса, кричавшего, что Цицерон развратник, последний заметил: "Сыновей будешь бранить у себя дома". Оратор Гортензий открыто защищать Верреса не решился, но дал согласие участвовать в оценке убытков и в вознаграждение получил слоновой кости сфинкса. Цицерон бросил Гортензию какой-то намек и, когда тот ответил, что не умеет отгадывать загадки, воскликнул: "Как же, ведь у тебя дома сфинкс!"

8. После осуждения Верреса Цицерон потребовал возмещения убытков в сумме семисот пятидесяти тысяч драхм. Враги распускали слухи, будто его подкупили и он преуменьшил размеры ущерба, однако благородные сицилийцы в год, когда он был эдилом, несли и посылали ему подарок за подарком, из которых сам он не воспользовался ничем, но благодаря щедрости своих подзащитных снизил цены на продовольствие.

У него было хорошее поместье близ Арпина и два небольших имения, одно подле Неаполя, другое около Помпей. Кроме того в приданое за своей супругой Теренцией он взял сто двадцать тысяч драхм и еще девяносто тысяч получил от кого-то по завещанию. На эти средства он жил и широко и, вместе с тем, воздержно, окружив себя учеными греками и римлянами, и редко когда ложился к столу до захода солнца – не столько за недосугом, сколько по нездоровью, опасаясь за свой желудок. Он и вообще необычайно строго следил за собою, и ни в растираниях, ни в прогулках никогда не преступал назначенной врачом меры. Таким образом он укреплял свое тело, делая его невосприимчивым к болезням и способным выдерживать многочисленные труды и ожесточенную борьбу.

Отцовский дом он уступил брату, а сам поселился у Палатина, чтобы не обременять далекими хождениями тех, кто желал засвидетельствовать ему свою преданность, ибо к дверям его что ни день являлось не меньше народу, чем к Крассу или Помпею, которых тогда чтили как никого в Риме, первого – за богатство, второго за огромное влияние в войске. Да и сам Помпей оказывал Цицерону знаки уважения, и деятельность Цицерона во многом способствовала росту его славы и могущества.

9. Должности претора Цицерон искал вместе со многими значительными людьми и все же был избран первым[12]. По общему мнению, он был безукоризненным и очень умелым судьею. Среди прочих, как сообщают, он разбирал дело Лициния Макра, обвинявшегося в казнокрадстве. Лициний, и сам по себе далеко не последний в Риме человек, и к тому же пользовавшийся поддержкою Красса, твердо полагался на собственную силу и усердие друзей, а потому, когда судьи еще только подавали голоса, отправился домой, поспешно постригся, на-

дел, словно бы уже оправданный, белую тогу, и пошел было обратно на форум, но у дверей дома его встретил Красс и сообщил, что он осужден единогласно. Лициний вернулся к себе, лег в постель и умер. Этот случай принес новую славу Цицерону, выполнившему свой долг с таким усердием и строгостью.

Однажды Ватиний, отличавшийся в судебных речах некоторой дерзостью и неуважением к властям, пришел к Цицерону и о чем-то его просил и, когда тот не ответил согласием сразу же, но довольно долго раздумывал, сказал, что, будь он претором, он бы в таком деле не колебался. Тогда Цицерон, взглянув на его шею с раздувшимся зобом, промолвил: "Да, но ведь у меня не такая толстая шея"[13].

Цицерону оставалось всего два или три дня до выхода из должности, когда кто-то подал ему жалобу на Манилия, обвиняя его в хищениях. К этому Манилию народ относился с благосклонностью и горячим сочувствием, в уверенности, что его преследуют из-за Помпея: они были друзьями. Манилий просил отсрочки, но Цицерон дал ему всего один, следующий день. Народ был возмущен, потому что как правило преторы давали обвиняемым по меньшей мере десять дней. Народные трибуны привели Цицерона на ораторское возвышение и заявили, что он поступает недобросовестно, однако Цицерон, попросив слова, объяснил, что всегда бывал снисходителен и мягок с ответчиками – насколько, разумеется, позволяли законы, – а потому считал несправедливым лишить Манилия такого преимущества и умышленно отвел для разбирательства тот единственный день, на который еще распространяется его власть претора: оставить дело другому судье отнюдь не означало бы желания помочь. Эти слова вызвали в чувствах народа мгновенную перемену. Все шумно восхваляли Цицерона и просили его взять на себя защиту Манилия. Тот охотно согласился (главным образом – в угоду Помпею, которого тогда не было в Риме) и, снова выступив перед народом, сказал речь[14], полную горячих нападок на приверженцев олигархии и завистников Помпея.

10. И все же консульской должностью был обязан сторонникам аристократии не меньше, нежели народу. Обе стороны оказали ему поддержку ради блага государства и вот по какой причине. Новшества, внесенные Суллою в государственное устройство, вначале представлялись нелепыми и даже чудовищными, но к тому времени уже сделались привычными и приобрели в глазах народа немалые достоинства. Но были люди, которые, преследуя цели сугубо своекорыстные, стремились потрясти и переменить существующий порядок вещей, пока – как они рассуждали – Помпей еще воюет с царями Понтийским и Армянским, а в Риме нет никакой силы, способной оказать противодействие тем, кто жаждет переворота. Во главе их стоял Луций Катилина, человек дерзких и широких замыслов и коварного нрава. Не говоря уже о других крупных преступлениях, его обвиняли в том, что он лишил девства собственную дочь и убил родного брата; из страха перед карою за второе из этих злодеяний он уговорил Суллу[15] включить убитого в список осужденных на смерть, словно тот был еще жив. Поставив его над собою вожаком, злодеи поклялись друг другу в верности, а в довершение всех клятв закололи в жертву человека и каждый отведал его мяса. Катилина развратил немалую часть римской молодежи, постоянно достав-

ляя юношам всевозможные удовольствия, устраивая попойки, сводя их с женщинами и щедро снабжая деньгами на расходы. К мятежу была готова вся Этрурия и многие области Предальпийской Галлии. Впрочем, на гранч переворота находился и Рим – из-за имущественного неравенства: самые знатные и высокие семьи разорились, издержав все на театральные игры, угощения, постройки и честолюбивые замыслы, и богатства стеклись в руки людей низкого происхождения и образа мыслей, так что любой смельчак легким толчком мог опрокинуть государство, уже разъеденное недугом изнутри.

11. Тем не менее Катилина хотел обеспечить себе надежную исходную позицию и потому стал домогаться консульства. Он тешил себя надеждою, что в товарищи по должности получит Гая Антония, который сам не был способен направить дела ни в лучшую ни в худшую сторону, но под чужим водительством увеличил бы силу вождя. Отчетливо это предвидя, почти все лучшие граждане оказывали поддержку Цицерону, а так как и народ встретил его искания с полной благосклонностью, Катилина потерпел неудачу, избраны же были Цицерон и Гай Антоний, несмотря на то что среди всех соискателей один лишь Цицерон был сыном всадника, а не сенатора.

12. Замыслы Катилины оставались пока скрытыми, и все же консульство Цицерона началось с тяжелых – хотя еще только предварительных – схваток. Во-первых, те, кому законы Суллы[16] закрывали путь к управлению государством (а такие люди были и многочисленны, и не бессильны), притязали тем не менее на высшие должности; они заискивали у народа и осыпали тираннию Суллы обвинениями, и верными и справедливыми, но до крайности несвоевременными – колебавшими основы существующего порядка. Во-вторых, народные трибуны[17], преследуя те же цели, предлагали избрать десять человек, наделить их неограниченными полномочиями и подчинить их власти Италию, Сирию и все недавно присоединенные Помпеем земли, предоставив этим десяти право пускать в продажу общественные имущества, привлекать к суду и отправлять в изгнание всех, кого они сочтут нужным, выводить колонии, требовать деньги из казначейства, содержать войска, – сколько бы ни потребовалось, – и производить новые наборы. Именно поэтому многие видные люди сочувствовали предложению трибунов, а больше всех – Антоний, товарищ Цицерона по консульству, рассчитывавший войти в число десяти. Предполагали, что он осведомлен и о заговорщических планах Катилины, но, обремененный огромными долгами, молчит; последнее обстоятельство внушало лучшим гражданам особенно сильный страх. Прежде всего, Цицерон считал необходимым ублаготворить этого человека и дал ему в управление Македонию, сам одновременно отказавшись от Галлии, и этим благодеянием заставил Антония, словно наемного актера, играть при себе вторую роль на благо и во спасение государства. Прибравши Антония к рукам, Цицерон тем решительнее двинулся в наступление на тех, кто лелеял мысль о перевороте. В сенате он произнес речь против нового законопроекта и так испугал его составителей, что они не посмели возразить ему ни единым словом. Когда же они взялись за дело сызнова и, приготовившись к борьбе, вызвали консулов в Собрание, Цицерон, нимало не оробев и не растерявшись, предложил всем сенаторам следовать за собою, появился во гла-

ве сената перед народом и не только провалил законопроект, но и принудил трибунов отказаться от всех прочих планов – до такой степени подавило их его красноречие.

13. Цицерон, как никто другой, показал римлянам, сколько сладости сообщает красноречие прекрасному, научил их, что справедливое неодолимо, если выражено верными и точными словами, и что разумному государственному мужу в поступках своих надлежит неизменно предпочитать прекрасное утешительному, но в речах – внушать полезные мысли, не причиняя боли. Сколько пленяющего очарования было в собственных речах Цицерона, показывает одно небольшое происшествие, случившееся в его консульство. Прежде всадники сидели в театрах вперемешку с народом, где придется, и первым, кто, в знак уважения к этому сословию, отделил их от прочих граждан, был претор Марк Отон, назначивший всадникам особые места, которые они удерживают за собою и по сей день. Народ увидел в этом прямую для себя обиду и, когда Отон появился в театре, встретил его свистом, всадники же, напротив, принялись рукоплескать претору. Народ засвистал еще сильнее, но и всадники рукоплескали все громче. Наконец, посыпались взаимные оскорбления, и весь театр был охвачен беспорядком. Тут пришел Цицерон, вызвал народ из театра, собрал его у храма Беллоны, и, выслушав укоры и увещания консула, все вернулись в театр и с восторгом рукоплескали Отону, состязаясь с всадниками в изъявлении лучших к нему чувств.

14. Заговорщики были сперва не на шутку испуганы, но затем успокоились, ободрились и снова стали устраивать сборища, призывая друг друга смелее браться за дело, пока нет Помпея, который, как шел слух, уже пустился в обратный путь вместе с войском. Горячее других подстрекали Катилину к выступлению бывшие воины Суллы. Они осели по всей стране, однако главная их часть, и к тому же самые воинственные, были рассыпаны по этрусским городам, и теперь эти люди снова мечтали о грабежах и расхищении богатств, которые словно бы сами просились им в руки. Во главе с Манлием, прекрасно воевавшим в свое время под начальством Суллы, они примкнули к Катилине и явились в Рим, чтобы оказать ему поддержку на выборах: Катилина снова домогался консульства и замышлял убить Цицерона, возбудив смуту при подаче голосов. Казалось, что само божество возвещало о происходивших в те дни событиях колебанием земли, ударами молний и всевозможными видениями. Что же касается свидетельств, поступавших от различных людей, то, хотя они и отличались надежностью, все же их было недостаточно, чтобы изобличить такого знатного и могущественного человека, как Катилина. Поэтому Цицерон отложил выборы, вызвал Катилину в сенат и спросил его, что думает он сам о носящихся повсюду слухах. Тогда Катилина, уверенный, что и в сенате многие с нетерпением ждут переворота, и, вместе с тем, желая блеснуть перед своими сообщниками, дал ответ поистине безумный: "Что плохого или ужасного в моих действиях, – сказал он, – если, видя перед собою два тела – одно тощее и совсем зачахшее, но с головою, а другое безголовое, но могучее и огромное, – я приставляю второму голову?" Услыхав этот прозрачный намек на сенат и народ, Цицерон испугался еще сильнее и пришел на Поле, надевши панцирь, в окружении всех влиятельных граждан и целой толпы молодых людей, которые сопровождали его от са-

мого дома. Умышленно спустивши с плеч тунику, он выставлял свой панцирь напоказ, чтобы всех оповестить об опасности, которая ему угрожает. Народ негодовал и обступал Цицерона тесным кольцом. Кончилось дело тем, что Катилина снова потерпел поражение, а консулами были избраны Силан и Мурена.

15. Немного спустя, когда приверженцы Катилины в Этрурии уже собирались в отряды и день, назначенный для выступления, близился, к дому Цицерона среди ночи пришли трое первых и самых влиятельных в Риме людей – Марк Красс, Марк Марцелл и Метелл Сципион. Постучавшись у дверей, они велели привратнику разбудить хозяина и доложить ему о них. Дело было вот в чем. После обеда привратник Красса подал ему письма, доставленные каким-то неизвестным. Все они предназначались разным лицам, и лишь одно, никем не подписанное, самому Крассу. Его только одно Красс и прочел и, так как письмо извещало, что Катилина готовит страшную резню, и советовало тайно покинуть город, не стал вскрывать остальных, но тут же бросился к Цицерону – в ужасе перед грядущим бедствием и, вместе с тем, желая очистить себя от обвинений, которые падали на него из-за дружбы с Катилиной. Посоветовавшись с ночными посетителями, Цицерон на рассвете созвал сенат и, раздав принесенные с собою письма тем, кому они были направлены, велел прочесть вслух. Все одинаково извещали о злодейском умысле Катилины. Когда же бывший претор Квинт Аррий сообщил об отрядах в Этрурии и пришло известие, что Манлий с большою шайкою бродит окрест этрусских городов, каждый миг ожидая новостей из Рима, сенат принял постановление вверить государство охране консулов[18], чтобы те оберегали его, принимая любые меры, какие сочтут нужными. На такой шаг сенат решался лишь в редких случаях, перед лицом крайней опасности.

16. Получив такие полномочия, Цицерон дела за пределами Рима доверил Квинту Метеллу, а на себя принял заботы о самом городе и что ни день появлялся на людях под такой сильной охраною, что, когда приходил на форум, значительная часть площади оказывалась заполненной его провожатыми. Медлить дольше у Катилины не достало твердости, и он решил бежать к Манлию, Марцию же и Цетегу приказал, взяв мечи, проникнуть на заре к Цицерону, – под тем предлогом, что они хотят приветствовать консула, – а затем наброситься на него и убить. Это открыла Цицерону одна знатная женщина, по имени Фульвия[19], постучавшись к нему ночью с настоятельным советом остерегаться Цетега и его товарищей. А те пришли ранним утром и, когда их не впустили, подняли возмущенный крик у дверей, чем укрепили падавшие на них подозрения. Цицерон созвал сенат в храме Юпитера Останавливающего, которого римляне зовут Статором [Stator]; этот храм воздвигнут в начале Священной улицы, у подъема на Палатин. Вместе с остальными туда явился и Катилина, который был намерен оправдываться, и ни один из сенаторов не пожелал сидеть с ним рядом – все пересели на другие скамьи. Он начал было говорить, но его то и дело прерывали возмущенным криком. В конце концов, поднялся Цицерон и приказал Катилине покинуть город. "Я действую словом, – сказал он, – ты – силою оружия, а это значит, что между нами должна встать городская стена"[20]. Катилина с тремястами вооруженных телохранителей немедленно ушел из Рима, окружил се-

бя, словно должностное лицо, свитою ликторов с розгами и топорами, поднял военные знамена и двинулся к Манлию. Во главе двадцати тысяч мятежников он принялся обходить города, склоняя их к восстанию. Это означало открытую войну, и Антоний с войском выступил в Этрурию.

17. Тех совращенных Катилиною граждан, которые оставались в Риме, собирал и убеждал их не падать духом Корнелий Лентул, по прозвищу Сура, человек высокого происхождения, но дурной жизни, изгнанный из сената за беспутство и теперь вторично исполнявший должность претора, как принято у римлян, когда они хотят вернуть себе утраченное сенаторское достоинство. Рассказывают, что прозвище "Сура" он приобрел вот по какому поводу. Во время Суллы он был квестором и промотал много казенных денег. Сулла разгневался и в сенате потребовал у него отчета. Лентул вышел вперед, с видом презрительным и безразличным, и объявил, что отчета не даст, но готов показать голень, – так делают мальчишки, когда, играя в мяч, промахнутся. С тех пор его прозвали Сурой: у римлян это слово [sura] обозначает голень. В другой раз, когда Лентул попал под суд и, подкупивши часть судей, был оправдан всего двумя голосами, он жаловался, что вышла бесполезная трата – ему, дескать, было бы достаточно и большинства в один голос. Этого человека, отчаянного от природы и распаленного подстрекательствами Катилины, окончательно ослепили пустыми надеждами лжегадатели и шарлатаны, твердя ему вымышленные прорицания и оракулы, будто бы почерпнутые из Сивиллиных книг и гласящие, что трем Корнелиям назначено судьбою безраздельно властвовать в Риме и над двумя – Цинною и Суллой – предреченное уже сбылось, третий же и последний – он сам: божество готово облечь его единовластием, и нужно, не раздумывая, принять дар богов, а не губить счастливого случая промедлением по примеру Катилины.

18. А замышлял Лентул дело не малое и не простое. Он решил перебить весь сенат и сколько удастся из остальных граждан, а самый город спалить дотла и не щадить никого, кроме детей Помпея, которых следовало похитить и держать заложниками, чтобы потом добиться мира с Помпеем, ибо ходил упорный и надежный слух, что он возвращается из своего великого похода. Для выступления была назначена одна из ночей Сатурналий[21], и заговорщики несли к Цетегу и прятали у него в доме мечи, паклю и серу. Выбрали сто человек и, разделив на столько же частей Рим, каждому назначили особую часть, чтобы город запылал сразу со всех концов. Другие должны были закупорить водопроводы и убивать тех, кто попытается достать воды.

В эту самую пору в Риме случайно находились два посла племени аллоброгов[22], которое тогда особенно страдало от римского владычества и безмерно им тяготилось. Считая, что, воспользовавшись их помощью, можно возмутить Галлию, Лентул вовлек обоих в заговор и дал им письма к их сенату и к Катилине. Сенату аллоброгов он обещал освобождение, а Катилине советовал объявить волю рабам и двигаться на Рим. Одновременно с аллоброгами письма к Катилине повез некий Тит, родом из Кротона. Но против этих людей, таких ненадежных и опрометчивых, державших совет большей частью за вином и в присутствии женщин, были неустанные труды, трезвый расчет и редкостный ум Цицерона. Многие вместе с ним выслеживали заговорщиков и зорко наблюдали за всем

происходившим, многие присоединились к заговору лишь для вида, а на самом деле заслуживали полного доверия и тайно сносились с консулом, который таким образом узнал о совещаниях с чужеземцами. Устроив засаду, он захватил ночью кротонца с письмами, чему исподволь содействовали и сами аллоброги.

19. На рассвете Цицерон собрал сенаторов в храме Согласия, прочитал захваченные письма и предоставил слово изобличителям. Среди них был Юний Силан, заявивший, что знает людей, которые собственными ушами слышали слова Цетега, что готовится убийство трех консулов[23] и четырех преторов. Подобное же сообщение сделал и бывший консул Пизон. Один из преторов, Гай Сульпиций, отправился к Цетегу домой и обнаружил там груды дротиков и панцирей и несметное число только что навостренных мечей и кинжалов. В конце концов, Лентул был полностью изобличен показаниями кротонца, которому сенат за это обещал неприкосновенность. Он сложил с себя власть (мы уже говорили, что в том году Лентул исполнял должность претора), тут же, не выходя из курии, сменил тогу[24] с пурпурной каймой на одежду, приличествующую новым его обстоятельствам, и вместе с сообщниками был передан преторам для содержания под стражею, но без оков.

Уже смерклось, перед храмом, где заседал сенат, ждала толпа. Появившись перед нею, Цицерон рассказал гражданам[25] о событиях этого дня, а затем народ проводил его в дом кого-то из друзей, жившего по соседству, ибо собственный его дом находился в распоряжении женщин, справлявших тайные священнодействия в честь богини, которую римляне зовут Доброю, а греки Женскою. Торжественные жертвы ей приносятся ежегодно в доме консула его супругою или матерью при участии дев-весталок. Итак, Цицерон пришел к соседу и, в окружении очень немногих, стал раздумывать, как поступить со злоумышленниками. Применять самое строгое наказание, которого заслуживали такие проступки, он очень не хотел, прежде всего, по мягкости характера, а затем и опасаясь толков, будто он злоупотребляет властью и обходится слишком сурово с людьми из первых в Риме домов, обладающими, вдобавок, влиятельными друзьями. Поступить же с ними не так круто он просто боялся, зная, что ничем, кроме казни, их не смирить и что, оставшись в живых, они к давней подлости присоединят еще новую злобу и не остановятся ни пред каким, самым отчаянным преступлением. Да и сам он в этом случае предстал бы перед народом безвольным трусом, тем более что славою храбреца вообще никогда не пользовался.

20. Меж тем как Цицерон не знал, на что решиться, женщинам, приносившим жертву богине, явилось удивительное знамение. Когда огонь на алтаре, казалось, уже совсем погас, из пепла и истлевших углей вдруг вырвался столб яркого пламени, увидевши которое все прочие в страхе разбежались, а девственные жрицы велели супруге Цицерона Теренции, не теряя времени, идти к мужу и сказать, чтобы он смелее выполнял задуманное ради спасения отечества, ибо великим этим светом богиня возвещает Цицерону благополучие и славу. А Теренция, женщина от природы не тихая и не робкая, но честолюбивая и, как говорит Цицерон, скорее участвовавшая в государственных заботах своего супруга, чем делившаяся с ним заботами по дому, не только передала консулу слова весталок, но и сама всемерно его ожесточала против Лентула и его сообщников.

Подобным же образом действовали его брат Квинт и Публий Нигидий, с которым Цицерона связывали совместные занятия философией и чьи советы он выслушивал почти по всем самым важным вопросам.

На другой день сенат решал, какому наказанию подвергнуть заговорщиков, и первым должен был высказаться Силан, который предложил перевести задержанных в тюрьму и применить крайнюю меру наказания. К его мнению присоединялись, один за другим, все сенаторы, пока не встал Гай Цезарь, впоследствии сделавшийся диктатором. Тогда он был еще молод и закладывал лишь первые камни в основание будущего своего величия, но уже вступил на ту дорогу, по которой впоследствии привел римское государство к единовластию. Все поступки, все надежды Цезаря согласовывались с основною его целью, которая от остальных оставалась скрытою, Цицерону же внушала сильные подозрения, хотя прямых улик против себя Цезарь не давал. Можно было, правда, услышать толки, будто он едва-едва выскользнул из рук Цицерона, но некоторые утверждают, что консул умышленно оставил без внимания донос, изобличавший Цезаря, и не дал ему хода; он боялся его друзей и его силы и считал бесспорным, что скорее заговорщики разделили бы с Цезарем оправдательный приговор, нежели он с ними – осуждение и возмездие.

21. Итак, когда очередь дошла до Цезаря, он поднялся и заявил, что задержанных, как ему кажется, следует не казнить, но развезти по городам Италии, какие выберет Цицерон, и там держать в строгом заключении до тех пор, пока не будет разгромлен Катилина, имущество же их передать в казну. Этому снисходительному и с величайшим мастерством изложенному взгляду немалую поддержку оказал и сам Цицерон. В особой речи[26] он оценил оба предложения и в чем-то одобрил первое, а в чем-то второе, но все друзья консула считали, что Цезарь указывает более выгодный для него путь, – ибо, оставив заговорщиков жить, Цицерон избегнет в дальнейшем многих наветов, – и склонялись на сторону второго мнения. Отказался от собственных слов даже Силан, объяснив, что и он не имел в виду смертного приговора, ибо крайняя мера наказания для римского сенатора – не смерть, а тюрьма. Нашлись, однако, у Цезаря и сильные противники. Первым возражал ему Катул Лутаций, а затем слово взял Катон и, со страстью перечислив падавшие на Цезаря подозрения, наполнил души сенаторов таким гневом и такою непреклонностью, что Лентул с товарищами был осужден на смерть. Что касается передачи имущества в казну, то теперь против этой меры выступил сам Цезарь, считая, как он объявил, несправедливым, чтобы сенат воспользовался лишь самой суровою частью его предложения, отвергнув в нем все милосердное. Многие, тем не менее, продолжали настаивать на конфискации, и Цезарь обратился за содействием к народным трибунам. Те, однако, не пожелали прийти ему на помощь, но Цицерон уступил сам, прекратив разногласия по этому вопросу.

22. В сопровождении сената Цицерон отправился за осужденными. Все они были в разных местах, каждый – под охраной одного из преторов. Первым делом, он забрал с Палатина Лентула и повел его Священною улицей, а затем через форум. Самые видные граждане окружали консула кольцом, словно телохранители, а народ с трепетом взирал на происходящее и молча проходил мимо,

особенно молодежь, которой чудилось, будто все это – некий грозный и жуткий обряд, приобщающий ее к древним таинствам, что знаменуют мощь благородного сословия. Миновав форум и подойдя к тюрьме, Цицерон передал Лентула палачу и приказал умертвить, затем точно так же привел Цетега и остальных, одного за другим. Видя многих участников заговора, которые толпились на форуме и, не подозревая правды, ждали ночи в уверенности, что их главари живы и что их можно будет похитить, Цицерон громко крикнул им: "Они жили!" – так говорят римляне о мертвых, не желая произносить зловещих слов.

Было уже темно, когда он через форум двинулся домой, и теперь граждане не провожали его в безмолвии и строгом порядке, но на всем пути приветствовали криками и рукоплесканиями, называя спасителем и новым основателем Рима. Улицы и переулки сияли огнями факелов, выставленных чуть не в каждой двери. На крышах стояли женщины со светильниками, чтобы почтить и увидеть консула, который с торжеством возвращался к себе в блистательном сопровождении самых знаменитых людей города. Едва ли не всё это были воины, которые не раз со славою завершали дальние и трудные походы, справляли триумфы и далеко раздвинули рубежи римской державы и на суше и на море, а теперь они единодушно говорили о том, что многим тогдашним полководцам римский народ был обязан богатством, добычей и могуществом, но спасением своим и спокойствием – одному лишь Цицерону, избавившему его от такой великой и грозной опасности. Удивительным казалось не то, что он пресек преступные действия и покарал преступников, но что самый значительный из заговоров, какие когда-либо возникали в Риме, подавил ценою столь незначительных жертв, избежав смуты и мятежа. И верно, бóльшая часть тех, что стеклись под знамена Катилины, бросила его, едва узнав о казни Лентула и Цетега; во главе остальных Катилина сражался против Антония и погиб вместе со всем своим отрядом.

23. Находились, однако, люди, готовые отомстить Цицерону и словом и делом, и вождями их были избранные на следующий год должностные лица – претор Цезарь и народные трибуны Метелл и Бестия. Вступив в должность незадолго до истечения консульских полномочий Цицерона, они не давали ему говорить перед народом – перенесли свои скамьи на возвышение для ораторов и зорко следили, чтобы консул не нарушил их запрета, соглашаясь отменить его лишь при одном непременном условии: если Цицерон произнесет клятву с отречением от власти[27] и тут же спустится вниз. Цицерон обещал выполнить их требование, но, когда народ затих, произнес не старинную и привычную, а собственную, совершенно новую клятву в том, что спас отечество и сберег Риму господство над миром. И весь народ повторил за ним эти слова. Ожесточенные пуще прежнего, Цезарь и оба трибуна ковали против Цицерона всевозможные козни и, в том числе, внесли предложение вызвать Помпея с войском, чтобы положить конец своевластию Цицерона. Но тут важную услугу Цицерону и всему государству оказал Катон, который тоже был народным трибуном и воспротивился замыслу своих товарищей по должности, пользуясь равною с ними властью и гораздо бóльшею славой. Он не только без труда расстроил все их планы, но, в речи к народу, так превозносил консульство Цицерона, что победите-

лю Катилины были назначены невиданные прежде почести и присвоено звание "отца отечества". Мне кажется, Цицерон был первым среди римлян, кто получил этот титул, с которым к нему обратился в Собрании Катон.

24. В ту пору сила и влияние Цицерона достигли предела, однако же именно тогда многие прониклись к нему неприязнью и даже ненавистью – не за какой-нибудь дурной поступок, но лишь потому, что он без конца восхвалял самого себя. Ни сенату, ни народу, ни судьям не удавалось собраться и разойтись, не выслушав еще раз старой песни про Катилину и Лентула. Затем он наводнил похвальбами свои книги и сочинения, а его речи, всегда такие благозвучные и чарующие, сделались мукою для слушателей – несносная привычка въелась в него точно злая язва. При всем том, несмотря на чрезмерное честолюбие, Цицерон не знал, что такое зависть и, сколько можно заключить из его сочинений, очень часто с восторгом отзывался о своих предшественниках и современниках. Немало сохранилось и достопамятных его слов подобного рода[28]. Об Аристотеле, например, он говорил, что это река, текущая чистым золотом, о диалогах Платона – что так изъяснялся бы Зевс, вздумай он вступить в беседу со смертным. Феофраста он всегда называл своей утехой. На вопрос, какую из речей Демосфена он считает самой лучшей, Цицерон сказал: "Самую длинную". Находятся, правда, люди – из числа тех, кто притязает на особую верность Демосфену, – которые не могут простить Цицерону словечка, оброненного в письме к одному из друзей, что, дескать, временами Демосфен в своих речах дремлет. Но эти люди не помнят громких и удивительных похвал, которыми по любому поводу осыпает Цицерон греческого оратора, не помнят, что собственные речи, отнявшие у него всего более сил и труда, речи против Антония, Цицерон назвал "филиппиками".

Что касается современников, не было среди них ни одного, кто бы славился красноречием или ученостью и чью славу Цицерон не умножил бы своим благожелательным суждением в речи, в книге или же в письме. Цезаря, когда он уже стоял во главе государственных дел, Цицерон убедил даровать перипатетику Кратиппу права римского гражданства, а совет Ареопага – просить этого философа остаться в Афинах, ибо, как говорилось в постановлении Ареопага, его беседы с молодыми людьми украшают город. Сохранились письма Цицерона[29] к Героду и к сыну, где он настаивает, чтобы юноша занимался философией у Кратиппа, и запрещает ему встречаться с оратором Горгием, который, по его словам, приучает молодого человека к сладострастию и пьянству. Это письмо да еще другое, к Пелопу Византийскому, – пожалуй, единственные среди греческих писем Цицерона, написанные в сердцах. Горгия, если он, в самом деле, был таким распутным негодяем, как о нем говорили, Цицерон бранит справедливо, но Пелопа упрекает по ничтожному поводу, – тот, видите ли, не позаботился, чтобы византийцы вынесли какие-то постановления в честь Цицерона.

25. Виною этому честолюбие, и то же самое честолюбие нередко заставляло Цицерона, упивавшегося силою собственного слова, нарушать все приличия. Рассказывают, что как-то раз он защищал Мунатия, а тот, благополучно избежав наказания, привлек к суду Сабина, одного из друзей своего защитника, и Цицерон, вне себя от гнева, воскликнул: "Ты, видно, воображаешь, Мунатий,

будто выиграл в тот раз собственными силами? Ну-ка, вспомни, как я в суде навел тень на ясный день!" Он хвалил Марка Красса, и эта речь имела большой успех, а несколько дней спустя, снова выступая перед народом, порицал Красса, и когда тот заметил ему: "Не с этого ли самого места ты восхвалял меня чуть ли не вчера?" – Цицерон возразил: "Я просто-напросто упражнялся в искусстве говорить о низких предметах". Однажды Красс объявил, что никто из их рода не жил дольше шестидесяти лет, но затем принялся отпираться от своих слов и спрашивал: "С какой бы стати я это сказал?" – "Ты знал, что римляне будут рады такой вести и хотел им угодить", – ответил Цицерон. Красс говорил, что ему по душе стоики, утверждающие, будто каждый порядочный человек богат. "А может, дело скорее в том, что, по их мнению, мудрому принадлежит все?" – осведомился Цицерон, намекая на сребролюбие, которое ставили в укор Крассу. Один из двоих сыновей Красса, лицом похожий на некоего Аксия (что пятнало его мать позорными подозрениями), произнес в курии речь, которая понравилась сенаторам, а Цицерон, когда его спросили, что он думает об этой речи, отвечал по-гречески: "Достойна Красса"[30] [Aksios, Krássou].

26. Готовясь отплыть в Сирию, Красс предпочитал оставить Цицерона другом, а не врагом и однажды, приветливо поздоровавшись сказал, что хотел бы у него отобедать. Цицерон принял его с полным радушием. Немного спустя друзья стали просить Цицерона за Ватиния, который до тех пор был его врагом, но теперь, дескать, жаждет примирения. "Что? – удивился Цицерон, – Ватиний тоже хочет у меня пообедать?" Вот как обходился он с Крассом. А Ватиния, когда он выступал в суде, Цицерон, взглянувши на его раздутую зобом шею, назвал дутым оратором. Раз он услыхал, будто Ватиний умер, но почти тут же узнал, что это неверно, и воскликнул: "Жестокою смертью пропасть бы тому, кто так жестоко солгал!" Когда Цезарь предложил разделить между воинами кампанские земли и многие в сенате негодовали, а Луций Геллий, едва ли не самый старый среди сенаторов, объявил, что, пока он жив, этому не бывать, Цицерон сказал: "Давайте повременим – не такой уже большой отсрочки просит Геллий". Был некий Октавий, которому ставили в вину, будто он родом из Африки. Во время какого-то судебного разбирательства он сказал Цицерону, что не слышит его, а тот в ответ: "Удивительно! Ведь уши-то у тебя продырявлены"[31]. Метеллу Непоту, который корил его тем, что, выступая свидетелем, он погубил больше народу, чем спас в качестве защитника, Цицерон возразил: "Готов признать, что честности во мне больше, чем красноречия". Один юнец, которого обвиняли в том, что он поднес отцу яд в лепешке, грозился осыпать Цицерона бранью. "Я охотнее приму от тебя брань, чем лепешку", – заметил тот. В каком-то деле Публий Сестий пригласил в защитники Цицерона и еще нескольких человек, но все хотел сказать сам и никому не давал произнести ни слова, и когда стало ясно, что судьи его оправдают и уже началось голосование, Цицерон промолвил: "До конца воспользуйся сегодняшним случаем, Сестий, ведь завтра тебя уже никто слушать не станет". Некоего Публия Косту, человека невежественного и бездарного, но желавшего слыть знатоком законов, Цицерон вызвал свидетелем по одному делу и, когда тот объявил, что ничего не знает, сказал ему: "Ты, видно, думаешь, что наши вопросы касаются права и законов". Во время како-

го-то спора Метелл Непот несколько раз крикнул Цицерону: "Скажи, кто твой отец!" – "Тебе на такой вопрос ответить куда труднее – по милости твоей матери", – бросил ему Цицерон. Мать Непота славилась распутством, а сам он – легкомыслием и ненадежностью. Как-то он даже оставил должность народного трибуна и уплыл в Сирию к Помпею, а потом неожиданно вернулся оттуда – поступок уже и вовсе бессмысленный. Он устроил пышные похороны своему учителю Филагру и поставил мраморного ворона на могиле. "Это ты разумно сделал, – сказал ему Цицерон, – ведь он скорее научил тебя летать, чем говорить". Марк Аппий в суде начал свою речь с того, что друг и подзащитный просил его проявить все усердие, красноречие и верность. "Неужели ты совсем бесчувственный и не проявишь ни единого из тех качеств, о которых говорил тебе друг?" – перебил его Цицерон.

27. Едкие насмешки над врагами и противниками в суде можно признать правом оратора, но Цицерон обижал всех подряд, походя, ради одной лишь забавы, и этим стяжал жестокую ненависть к себе. Приведу несколько примеров. Марка Аквилия, у которого два затя были в изгнании, он прозвал Адрастом[32]. Когда Цицерон искал консульства, цензором был Луций Котта, большой пьяница, и как-то раз, утоляя жажду, Цицерон молвил друзьям, стоявшим вокруг: "Я знаю, вы боитесь, как бы цензор не разгневался на меня за то, что я пью воду, – и вы правы". Ему встретился Воконий с тремя на редкость безобразными дочерьми, и Цицерон воскликнул:

Он против воли Феба их на свет родил![33]

Марк Геллий, чье происхождение от свободных родителей никому не внушало доверия, громким и звучным голосом прочитал в сенате какие-то письма. "Чему удивляться, – сказал Цицерон, – ведь он и сам из глашатаев"[34]. Когда Фавст Сулла, сын диктатора, единолично правившего в Риме и объявившего вне закона многих граждан, промотал бóльшую часть состояния, запутался в долгах и вынужден был объявить о продаже своего имущества с торгов, Цицерон заметил, что это объявление ему куда больше по сердцу, нежели те, какие делал Сулла-отец.

28. Таким злоязычием он приобрел множество врагов, в числе которых оказались и приверженцы Клодия. Вот что послужило этому причиной. Клодий был человек знатного рода, годами молодой, нрава дерзкого, заносчивого и самонадеянного. Он любил Помпею, супругу Цезаря и, одевшись кифаристкой, незаметно проскользнул к нему в дом, где в то время были одни женщины, справлявшие тайное и строго сокрываемое от всякого мужского взгляда празднество. Но Клодий, еще безбородый мальчишка[35], рассчитывал остаться неузнанным и, затерявшись между женщин, проникнуть к Помпее. Однако, попавши ночью в большой незнакомый дом, он заблудился, его заметила какая-то из служанок Аврелии, матери Цезаря, и спросила мнимую кифаристку, как ее зовут. Клодий вынужден был заговорить и отвечал, что ищет Абру, рабыню Помпеи, а служанка, узнав по голосу мужчину, в ужасе закричала и стала скликать женщин. Те немедленно запирают двери и, обшарив все сверху донизу, обнаруживают Клодия, забившегося в комнату рабыни, которая провела его в дом. Дело

получило широкую огласку, и Цезарь дал Помпее развод, а...* возбудил против Клодия обвинение в кощунстве.

29. Цицерон был другом Клодия, который во время борьбы с Катилиной оказывал консулу самую ревностную поддержку и зорко оберегал его от покушений. Но теперь, когда Клодий, пытаясь отвести от себя вину, стал утверждать, будто его тогда и в Риме-то не было и он находился в своих самых отдаленных поместиях, Цицерон показал, что как раз накануне Клодий приходил к нему и о чем-то беседовал. Так оно и было, но все считали, что Цицерон дал показания против Клодия не из любви к истине, а желая оправдаться перед Теренцией, своею супругой. Теренция ненавидела Клодия из-за его сестры, Клодии, которая, как ей казалось, мечтала выйти замуж за Цицерона и вела дело через некоего Тулла, одного из самых близких приятелей Цицерона. Этот Тулл жил по соседству с Клодией, часто бывал у нее и оказывал ей всевозможные услуги, чем и возбудил подозрения Теренции. А так как добротою и кротостью эта женщина не отличалась и, вдобавок, крепко держала мужа в руках, она и заставила его выступить свидетелем против Клодия. Неблагоприятные для Клодия показания дали многие из лучших людей Рима, изобличая его в ложных клятвах, мошенничестве, подкупе народа и совращении женщин. Лукулл даже представил суду рабынь, которые утверждали, что Клодий находился в связи с младшею из своих сестер, в пору, когда та была женою Лукулла. Впрочем упорно говорили, будто он спал и с двумя другими сестрами – Терцией, супругою Марция Рекса, и Клодией, мужем которой был Метелл Целер и которую прозвали Квадрантарией, за то что один из любовников вместо серебряных денег прислал ей кошелек с медяками, а самая мелкая медная монета зовется квадрантом [quadrans]. Именно этой сестре Клодий во многом был обязан своею худой славой.

Однако народ был страшно недоволен свидетелями, единодушно выступившими против Клодия, так что судьи, в испуге, окружили себя вооруженной охраной и очень многие подали таблички с неразборчиво написанными буквами[36]. Все же, как выяснилось, большинство голосовало за оправдание, и говорили, что дело не обошлось без подкупа. Поэтому Катул, встретивший судей, сказал им: "Охрана вам, действительно, была необходима – ведь вы боялись, как бы у вас не отняли деньги". А Цицерон, отвечая Клодию, который ему заметил, что, дескать, судьи не дали веры его показаниям, бросил такие слова: "Нет, мне поверили двадцать пять судей – все, кто голосовал за осуждение. А остальные тридцать не поверили тебе, ибо только получив деньги, они вынесли оправдательный приговор". Цезарь был тоже вызван в суд, но против Клодия не показывал и жену в прелюбодеянии не винил, развод же с нею объяснял тем, что не только грязные действия, но и грязная молва не должны пятнать брака Цезаря.

30. Благополучно ускользнув от наказания, Клодий был избран народным трибуном и тут же ополчился на Цицерона, возбуждая и натравливая против него всех и вся. С этой целью он многообещающими законами расположил к себе народ, обоим консулам доставил назначения в большие провинции, – Пизону в

* Текст в оригинале испорчен.

Македонию, а Габинию в Сирию, – использовал для своих целей и планов множество неимущих граждан, окружил себя стражею из вооруженных рабов. Среди троих, которые тогда обладали в Риме наибольшею силой, Красс открыто враждовал с Цицероном, Помпей был неискрен с обоими противниками, и Цицерон прибег к покровительству Цезаря, хотя и тот не был ему другом и еще со времени заговора Катилины внушал ему немалые подозрения. Цицерон попросился легатом к Цезарю, который готовился выступить с войском в Галлию, и не встретил отказа. Но тут Клодий, видя, что Цицерон ускользает из-под его власти трибуна, прикинулся, будто хочет мира, всю вину стал взваливать на Теренцию, о самом же Цицероне всякий раз отзывался с неизменным доброжелательством, словно не питал к нему ни малейшей ненависти или злобы, но лишь по-дружески сдержанно его порицал, и этим настолько усыпил опасения своего врага, что тот отказался от должности легата и вновь занялся делами государства. Цезарь был разгневан. Он утвердил Клодия в его намерениях, Помпея полностью отдалил от Цицерона, а сам выступил перед народом и заявил, что казнить без суда таких людей, как Лентул и Цетег, было и недостойно и противозаконно. В этом и заключалась суть обвинения, по которому Цицерона привлекали к суду. Оказавшись в опасности, он переменил одежду, перестал стричься и брить бороду и обходил город, умоляя народ о защите. Но повсюду, на любой улице, ему встречался Клодий, окруженный наглыми и буйными молодцами, которые разнузданно потешались над переменою в обличии Цицерона, а нередко и забрасывали его грязью и камнями, не давая просить о помощи.

31. Тем не менее сперва почти все всадническое сословие тоже переменило свои одежды, и не меньше двадцати тысяч молодых людей, с нестриженными волосами, ходило вслед за Цицероном, вместе с ним умоляя народ. Потом собрался сенат и хотел вынести постановление, предписывающее всему народу одеться в траурное платье. Когда же консулы этому воспрепятствовали, а Клодий расставил вооруженных людей вокруг курии, многие сенаторы выбежали наружу и с криками стали рвать на себе платье. Но даже такое зрелище не вызвало ни стыда, ни сочувствия, и Цицерон, видя себя перед необходимостью либо уйти в изгнание, либо решить тяжбу с Клодием силой оружия, обратился за поддержкою к Помпею, который умышленно ни во что не вмешивался, живя безвыездно в альбанском поместии. Сначала он послал к нему своего зятя Пизона, потом поехал сам. Узнав о приезде Цицерона, Помпей не отважился показаться ему на глаза – его терзал страшный стыд перед этим человеком, который выдержал ради Помпея не одну тяжелую битву и оказал ему на государственном поприще немало услуг. Но он был зятем Цезаря и ради него изменил давнему долгу благодарности. Выйдя через другие двери, он избежал неприятной для себя встречи. Итак, Цицерон был предан Помпеем и, оставшись в одиночестве, напоследок попытался искать помощи у консулов. Габиний принял его, как всегда, грубо и сурово, а Пизон разговаривал мягче, но советовал уступить бешеному напору Клодия, примириться с переменою обстоятельств и, тем самым, еще раз стать спасителем отечества, ввергнутого из-за него в злую смуту. Получив такой ответ, Цицерон стал совещаться с друзьями. Лукулл убеждал его остаться, ибо, в конце концов, победа будет на его стороне, но другие гово-

рили, что лучше покинуть Рим, ибо народ вскорости сам пожалеет о нем, когда пресытится безумием и отчаянностью Клодия. К этому мнению и склонился Цицерон. В доме у него много лет стояла статуя Минервы, которую он чтил с особенным благоговением. Теперь он велел доставить статую на Капитолий и принес ее в дар богине, надписав на цоколе: "Минерве, хранительнице Рима", а затем принял от друзей провожатых и около полуночи выехал из города, двинувшись сухим путем через Луканию, чтобы переправиться в Сицилию.

32. Едва только стало известно, что Цицерон бежал, Клодий провел голосование об его ссылке и издал указ, чтобы в пределах пятисот миль от Рима никто не давал изгнаннику огня и воды[37] и не пускал его под свой кров. Нигде, однако, не желали исполнять этот указ – слишком велико было уважение к Цицерону; его повсюду принимали с полным дружелюбием и заботливо провожали дальше в дорогу. Только в луканском городе Гиппонии – нынешнем Вибоне – некто Вибий, сицилиец родом, извлекший из дружбы с Цицероном немало всевозможных преимуществ и, между прочим, назначенный в его консульство начальником строителей, не принял беглеца к себе в дом, но предложил ему приют в своем имении, да наместник Сицилии Гай Вергилий, которому Цицерон оказывал прежде весьма важные услуги, написал ему, чтобы он не появлялся в Сицилии. Павши духом, Цицерон направился в Брундизий и оттуда с попутным ветром отплыл в Диррахий, но задул ветер с моря, и на другой день он снова был в Брундизии, а затем снялся с якоря во второй раз. Рассказывают, что, когда он прибыл в Диррахий и готовился сойти на берег, земля заколебалась и на море поднялась буря, из чего гадатели заключили, что изгнание его будет недолгим: то были, по их словам, знамения перемены судьбы.

Хотя множество посетителей навещало Цицерона, чтобы засвидетельствовать свою дружбу и расположение, хотя греческие города наперебой посылали к нему почетные посольства, он оставался безутешен, не отрывал, словно отвергнутый любовник, жадных взоров от Италии и проявил пред лицом несчастия такую подавленность, такое бессилие и малодушие, каких никто не ждал от человека, всю свою жизнь столь близкого к подлинной мудрости и учености. Ведь он сам не раз просил друзей звать его не оратором, а философом, – потому, дескать, что философию избрал он своим занятием, а красноречие – всего лишь орудие, потребное ему на государственном поприще. Однако жажда славы способна смыть истинное знание точно краску, и долгим общением с толпою отпечатать в душе государственного мужа все ее страсти, если только он не бережет себя с величайшею бдительностью, так чтобы столкновение с внешними обстоятельствами делало его сопричастным самой сути вещей, но не восприятиям их или же страстям, этими вещами порождаемым.

33. Изгнав Цицерона, Клодий сжег и загородные его жилища, и городской дом и на месте последнего выстроил храм Свободы. Остальное имущество изгнанника он назначил к продаже, но напрасно глашатай день за днем объявлял о торгах – никто ничего не покупал. Сторонникам аристократии поступки Клодия внушали настоящий ужас, когда же он, увлекая за собою народ, чья дерзость и наглость уже перешла всяческие границы, принялся за самого Помпея и стал поносить некоторые его распоряжения, сделанные во время походов, Пом-

пей, чувствуя, как слава его колеблется, пожалел о том, что бросил Цицерона на произвол судьбы. Теперь он прилагал все усилия, чтобы с помощью друзей Цицерона возвратить его из ссылки, и так как Клодий ожесточенно сопротивлялся, сенат постановил не решать ни единого из общественных дел, пока Цицерон не получит позволения вернуться. В консульство Лентула[38], когда раздоры зашли так далеко, что в стычках на форуме были ранены трибуны, а брат Цицерона Квинт ускользнул от гибели, лишь спрятавшись среди трупов и прикинувшись мертвым, народ начал охладевать к Клодию, и трибун Анний Милон первым отважился привлечь его к суду, обвиняя в насилии. На помощь Помпею стеклись многие из римлян и из жителей соседних городов. Явившись с ними на форум, он прогнал оттуда Клодия и призвал народ подать голоса, и никогда, как сообщают, не голосовал народ с таким единодушием. И сенат, как бы состязаясь с народом, выразил признательность городам, которые оказывали уважение и услуги Цицерону во время ссылки, и распорядился отстроить за счет казны его дом и усадьбы, разрушенные Клодием.

Цицерон возвратился на шестнадцатом месяце изгнания. Города и граждане встречали его с такой радостью, с таким воодушевлением, что даже слова самого Цицерона, какими он впоследствии живописал эти дни, кажутся недостаточно выразительными. (Он говорил[39], что Италия на собственных плечах внесла его в Рим.) Даже Красс, который до изгнания был врагом Цицерона, горячо его приветствовал и примирился с ним, как он объяснял – в угоду своему сыну Публию, ревностному почитателю Цицерона.

34. Вскоре после возвращения, выбрав время, когда Клодия не было в городе, Цицерон с многочисленными провожатыми поднялся на Капитолий, сорвал доски, на которых были записаны постановления и указы трибунов, и уничтожил их. Когда же Клодий выступил с жалобой, Цицерон заявил, что Клодий – родом патриций и, стало быть, сделался народным трибуном вопреки законам, а потому ни единое из его действий не имеет законной силы. Катон был возмущен этой речью и возразил, что он сам, конечно, Клодия нисколько не хвалит и поступки его с отвращением осуждает, однако же будет неслыханным насилием, если сенат объявит несостоявшимися столько распоряжений и действий, среди которых окажутся и его, Катона, труды на Кипре и в Византии. С тех пор Цицерон затаил обиду на Катона; в открытую вражду она, правда, не вылилась, но прежнему безусловному доброжелательству настал конец.

35. Вслед за тем Милон убил Клодия и, оказавшись под судом, выставил защитником Цицерона. Сенат боялся волнений – ведь угроза нависла над таким известным и горячим человеком, как Милон, – и поручил Помпею председательство при разборе этого и некоторых других дел, с тем, чтобы он позаботился о порядке и безопасности в городе и в судах. Помпей еще в ночь окружил форум, расставив воинов на высотах, и Милон, опасаясь, что Цицерону, встревоженному этим непривычным зрелищем, не достанет мужества для борьбы, уговорил его прибыть на форум в носилках и не выходить наружу, пока все судьи не соберутся и не займут свои места. Цицерон, как видно, робел не только в строю – он и говорить начинал со страхом и насилу перестал трястись и дрожать лишь после того, как его красноречие, окрепнув во многих тяжбах, достиг-

ло высочайшего расцвета. Однажды, когда Катон возбудил обвинение против Лициния и Мурены, а Цицерон взял на себя защиту обвиняемого, он во что бы то ни стало стремился превзойти Гортензия, выступившего с большим успехом, и за ночь не сомкнул глаз ни на миг, но чрезмерная тревога и бессонная ночь до такой степени его изнурили, что слушатели просто не узнавали Цицерона и были глубоко разочарованы. А теперь, выйдя из носилок и увидев Помпея, сидевшего на возвышении, словно посреди военного лагеря, увидев сверкающий оружием форум, он растерялся и едва смог приступить к речи – голос его прерывался, руки и ноги дрожали, – меж тем как сам Милон предстал перед судом без малейшей робости или же страха и счел ниже своего достоинства не стричь волосы и надеть темную одежду. (Надо думать, что эта самоуверенность во многом способствовала неблагоприятному для него приговору.) Однако в поведении Цицерона усмотрели тогда скорее любовь и заботу о друге, нежели трусость.

36. После смерти молодого Красса, убитого в Парфии[40], Цицерон занял его место среди жрецов, которых римляне зовут авгурами. Затем он получил по жребию провинцию Киликию и войско из двенадцати тысяч пехотинцев и двух тысяч шестисот конников и отплыл из Италии. Среди прочего ему поручили примирить каппадокийцев с их царем Ариобарзаном и привести их к покорности. Он выполнил поручение безукоризненно и пресек мятеж, не прибегая к войне, мало того – и киликийцев, среди которых начались брожения после разгрома римлян в Парфии и бунта в Сирии, он успокоил не силой оружия, но мерами кротости. Даров он не принял даже от царей и освободил жителей провинции от пиров в честь наместника, напротив, самые образованные среди них получили приглашение к его столу, и он что ни день потчевал гостей – без роскоши, но вполне достойно. В его доме не было привратника, и ни один человек не видел Цицерона лежащим праздно: с первыми лучами солнца он уже стоял или расхаживал у дверей своей спальни, приветствуя посетителей. Рассказывают, что он никого не высек розгами, ни с кого не сорвал платья, в гневе никогда не бранился, не накладывал унизительных и позорных наказаний. Обнаружив крупные хищения, он вернул городам их имущество, однако и расхитителей ничем, кроме штрафов и возмещения убытков, не покарал и гражданских прав не лишил. Вел он и войну, нанеся поражение разбойникам, обитавшим на склонах Амана, и воины наградили его званием императора. Когда оратор Целий просил прислать ему в Рим леопардов для каких-то игр, Цицерон с гордостью отвечал, что в Киликии леопардов нет[41]: убедившись, что одним лишь им приходится терпеть бедствия войны, тогда как всё кругом наслаждается миром, они возмутились и бежали в Карию.

Плывя из провинции домой, он сначала причалил на Родосе, а затем с удовольствием остановился в Афинах, живо и любовно вспоминая свои прежние занятия и забавы. Встретившись с самыми знаменитыми учеными, навестив друзей и знакомых и принявши от Греции заслуженную дань уважения, он возвратился в Рим, который, словно в лихорадке, уже рвался навстречу междоусобной войне.

37. Сенат хотел дать Цицерону триумф, но он сказал, что гораздо охотнее пошел бы за триумфальною колесницей Цезаря, если бы удалось примирить вра-

ждующих. От себя он обращался с советами к обоим, – Цезарю посылал письмо за письмом, Помпея уговаривал и умолял при всяком удобном случае, – стараясь смягчить взаимное озлобление. Но беда была неотвратима, Цезарь двинулся на Рим, а Помпей, в сопровождении многих лучших граждан, бежал без всякого сопротивления, и так как Цицерон в этом бегстве участия не принял, решили, что он присоединяется к Цезарю. И в самом деле, он был в страшной тревоге и долго колебался между двумя решениями. В письмах он говорит, что просто не знает, чью сторону принять: у Помпея славный и справедливый повод к войне, зато Цезарь ведет борьбу искуснее и больше заботится о спасении своих друзей и собственной безопасности, так что, заключает Цицерон[42], от кого бежать, ему ясно, но неясно, к кому. В это время он получил письмо от некоего Требатия, друга Цезаря. Цезарь, писал Требатий, считает, что Цицерону лучше всего примкнуть к его стану и разделить его надежды, если же, по старости лет, он отвергнет это предложение, пусть едет в Грецию и живет в тишине, не поддерживая ни тех ни других и ни во что не вмешиваясь. Однако Цицерон, неприятно пораженный тем, что Цезарь не написал ему сам, в сердцах обещал Требатию[43] ничем не опорочить прежних своих деяний. Таковы сведения, почерпнутые из его писем.

38. Как только Цезарь отправился в Испанию, Цицерон отплыл к Помпею. Все радовались его приезду, и лишь Катон, с глазу на глаз, резко осудил сделанный Цицероном выбор. Для него, Катона, было бы позором бросить свое место на государственном поприще, избранное с самого начала, но Цицерон мог принести больше пользы и отечеству и друзьям, если бы остался в Риме беспристрастным наблюдателем и согласовал свои поступки с исходом событий. "Безрассудно и без всякой нужды сделался ты врагом Цезаря и безрассудно разделишь с нами великую опасность, явившись сюда", – сказал ему Катон. Эти доводы совершенно изменили образ мыслей Цицерона, чему немало способствовало и то обстоятельство, что Помпей не пользовался его услугами ни в одном важном деле. Виновником такого недоверия был, впрочем, он сам, ибо не скрывал и не отрицал своего раскаяния, но, не ставя ни во что приготовления Помпея, порицая исподтишка все его планы, осыпая язвительными шутками союзников, расхаживал по лагерю и, сам всегда угрюмый, без тени улыбки на губах, вызывал неуместный и ненужный смех своими остротами. Некоторые из них отнюдь не лишне привести и здесь. Домиций хотел назначить в начальники какого-то человека, мало способного к войне, и в свое оправдание говорил, что у того прекрасный характер и редкое благоразумие. "Что же ты не прибережешь его в опекуны для своих детей?" – спросил Домиция Цицерон. Многие хвалили Феофана с Лесбоса, который был в лагере начальником рабочего отряда[44], за то, как умело утешил он родосцев, потерявших свой флот, но Цицерон заметил: "Вот уж, поистине, велика радость – ходить под началом у грека!" Когда Цезарь одерживал успех за успехом и уже как бы осаждал войско Помпея, а Лентул объявил, будто ему известно, что друзья Цезаря мрачны и подавлены, Цицерон спросил: "Ты, кажется, имеешь в виду, что они недовольны Цезарем?" Некоему Марцию, который незадолго до того прибыл из Италии и рассказывал, что в Риме ходит упорная молва, будто Помпей попал в осаду, он сказал: "Значит, ты

пустился в плавание, желая увидеть это собственными глазами?" После поражения Ноний говорил, что отчаиваться рано – ведь в лагере Помпея еще целых семь орлов. "Ты бы нас вполне ободрил – если бы мы воевали с галками", – промолвил Цицерон. Лабиен, полагаясь на какие-то оракулы, утверждал, что Помпей непременно должен победить. "Вот оно что, значит, это была военная хитрость, когда мы отдали врагу свой лагерь", – заметил ему Цицерон.

39. Тем не менее после битвы при Фарсале и бегства Помпея Катон в Диррахии, стоявший во главе многочисленного войска и сильного флота, хотел передать команду Цицерону (который не принимал участия в битве по нездоровью) – звание бывшего консула давало ему законное преимущество перед Катоном. Цицерон не только отказывался от власти, но и выражал желание вообще оставить ряды воюющих, однако едва не был убит Помпеем Младшим и его друзьями, которые называли его предателем и уже готовы были обнажить мечи, если бы не Катон: насилу избавив Цицерона от смерти, он отпустил его из лагеря. Цицерон перебрался в Брундизий и там ждал возвращения Цезаря, надолго задержанного делами в Азии и Египте. Когда же пришло известие, что Цезарь прибыл в Тарент и оттуда сухим путем идет к Брундизию, Цицерон двинулся ему навстречу, не столько отчаиваясь в спасении, сколько стыдясь на глазах у многих подвергать испытанию великодушие своего победоносного врага. Однако ни словом ни делом не пришлось ему унизить свое достоинство. Едва лишь Цезарь увидел Цицерона, который шел далеко впереди остальных встречавших, он соскочил с коня, поздоровался и довольно долго беседовал с ним одним, шагая рядом. С тех пор Цезарь относился к Цицерону с неизменным уважением и дружелюбием, так что, даже опровергая его похвальное сочинение о Катоне, самого Цицерона уподоблял Периклу и Ферамену и восхвалял его жизнь и его красноречие. Сочинение Цицерона называется "Катон", а Цезаря – "Антикатон". Передают, что когда Квинт Лигарий оказался под судом за свою былую вражду к Цезарю и защиту взял на себя Цицерон, Цезарь сказал друзьям: "Почему бы и не послушать Цицерона после такого долгого перерыва? Тем более, что дело это уже решенное: Лигарий – негодяй и мой враг". Но Цицерон с первых же слов взволновал своих слушателей до глубины души; речь текла все дальше, на редкость прекрасная, поражавшая силою страсти и разнообразием ее оттенков, и Цезарь, часто меняясь в лице, выдал противоречивые чувства, которые им завладели, а под конец, когда оратор заговорил о Фарсале[45], вздрогнул всем телом в совершеннейшем расстройстве и выронил из рук какие-то записи. Сломленный, он был вынужден простить Лигарию его вину.

40. В дальнейшем, видя, что демократическое правление сменилось единовластием, Цицерон удалился от общественных дел и свой досуг отдавал молодым людям, желавшим изучать философию; все это были юноши из самых знатных и влиятельных домов, так что дружба с ними вновь укрепила положение Цицерона в Риме. Главным занятием его было теперь сочинение и перевод философских диалогов[46]. Каждому из понятий диалектики и физики он подыскивал соответствующее выражение в латинском языке: говорят, что он первым ввел или же утвердил у римлян такие понятия, как "представление", "приятие",

“воздержание от суждения”, “постижение”, а также “простое”, “неделимое”, “пустота” и многие другие, и, с помощью метафоры и некоторых иных приемов, сделал их ясными, доступными и общеупотребительными. А поэзия была для него лишь забавой, и говорят, что всякий раз, как ему припадало желание позабавиться подобным образом, он писал по пятисот стихов в ночь.

В ту пору бо́льшую часть года он оставался в своем поместии близ Тускула и писал друзьям, что ведет жизнь Лаэрта[47] – то ли просто шутя, по своему неизменному обычаю, то ли полный честолюбивого стремления вернуться к госу́дарственным делам и глубоко подавленный тогдашними обстоятельствами. Изредка он наезжал в Рим, чтобы засвидетельствовать Цезарю свою преданность, и был всегда первым среди тех, кто пылко одобрял назначавшиеся диктатору почести и считал честью для себя сказать что-нибудь новое в похвалу Цезарю и его деяниям. К числу таких высказываний относятся и слова Цицерона о статуях Помпея. Они были убраны и сброшены, а Цезарь распорядился поставить их на прежнее место, и Цицерон сказал, что этой милостью Цезарь не только поднимает из праха изображения Помпея, но и утверждает на цоколях свои собственные.

41. Как сообщают, Цицерон думал написать полную историю Рима[48], вплетя в нее многие события из греческой истории и вообще собранные им рассказы и предания, однако ему помешали многочисленные заботы и огорчения, и домашние и общественные, бо́льшую часть которых, сколько можно судить, он навлек на себя сам. Во-первых, он развелся со своею супругою Теренцией, за то что в войну она не проявляла ни малейшей заботы о муже. Он и покинул Италию без всяких средств, и, вернувшись, не встретил радушного приема: сама Теренция вообще не приехала в Брундизий, где Цицерон прожил долгое время, а когда в такой дальний путь пустилась, несмотря на молодость, их дочь, не дала ей в достаточном количестве ни провожатых, ни денег на расходы, мало того – она совершенно опустошила дом в Риме, задолжав многим и помногу. Таковы самые благовидные причины этого развода. Теренция, впрочем, решительно их отвергала, а Цицерон еще и подкрепил ее оправдания скорой женитьбою на юной девушке. Теренция распускала слух, будто он просто-напросто влюбился в девчонку, но вольноотпущенник Цицерона Тирон пишет, что он хотел развязаться с долгами. Невеста была очень богата, а Цицерон управлял ее имуществом на правах доверенного сонаследника[49]; между тем он совершенно погряз в долгах, и тогда друзья вместе с родичами уговорили его жениться, – вопреки громадной разнице в возрасте, – и, воспользовавшись состоянием молодой женщины, покончить с жалобами заимодавцев. Об этом браке упоминает Антоний в своих возражениях на “Филиппики”. Он говорит, что Цицерон выгнал жену, подле которой состарился, и заодно едко высмеивает его домоседство – домоседство бездельника и труса, как он утверждает.

Вскоре вслед за тем скончалась родами дочь Цицерона. Она были женою Лентула[50], выйдя за него после смерти Пизона, первого своего мужа. Отовсюду собрались философы, чтобы утешить отца. Цицерон был убит горем и даже развелся с молодой супругой, которая, как ему казалось, была обрадована смертью Туллии. (42). Таковы были его семейные обстоятельства.

В заговоре против Цезаря Цицерон не участвовал, хотя входил в число ближайших друзей Брута и, по-видимому, как никто, тяготился сложившимся положением дел и тосковал о прошлом. Но заговорщики относились с недоверием и к его натуре, всегда бедной отвагою, и к годам, в которые даже самые сильные натуры лишаются прежней храбрости.

Когда Брут и Кассий осуществили свой замысел, а друзья Цезаря сплотились против убийц и над государством вновь нависла угроза междоусобной войны, Антоний, консул того года, собрал сенат и выступил с кратким призывом к единомыслию, а затем поднялся Цицерон и, произнёся пространную и подходящую к случаю речь, убедил сенаторов последовать примеру афинян[51] и предать забвению все, происходившее при Цезаре, Кассию же и Бруту назначить провинции. Ни одна из этих мер, однако, исполнена не была. Народ, и без того проникнутый состраданием к убитому, едва лишь увидел его останки, вынесенные в погребальном шествии на форум, увидел в руках Антония одежду Цезаря, всю залитую кровью и разодранную мечами, вспыхнул неистовой яростью и ринулся искать заговорщиков. Никого из них на форуме не нашли, и толпа, с факелами, помчалась поджигать их дома. Этой опасности заговорщики, правда, избегли, оттого что были к ней готовы и не дали застигнуть себя врасплох, но предвидя новые, – грозные и многочисленные, – бежали из Рима.

43. Антоний сразу вошел в силу, и все испытывали страх, подозревая его в стремлении к единовластию, но особенно страшен был он для Цицерона. Он видел, что Цицерон снова пользуется большим влиянием в государственных делах, знал о его дружбе с Брутом и потому сильно тяготился присутствием этого человека. Вдобавок и прежде их разделяла взаимная неприязнь, вызванная полным несходством жизненных правил. Немало всем этим встревоженный, Цицерон решил было уехать в Сирию легатом при Долабелле[52]. Но Гирций и Панса, избранные консулами на следующий год, люди, бесспорно, порядочные и большие почитатели Цицерона, стали просить его не оставлять их одних, обещая сокрушить могущество Антония, если только он окажет им помощь, и Цицерон, и веря, и не веря этим обещаниям, от поездки с Долабеллою отказался, Гирцию же и Пансе объявил, что проведет лето в Афинах, а как только они вступят в должность, вернется. С тем он и пустился в путь, но плавание затянулось и, как обычно бывает в таких случаях, из Рима пришли свежие вести. С Антонием, писали друзья, случилась удивительная перемена, теперь он во всем покорен сенату, и не хватает лишь его, Цицерона, чтобы дела приняли самый лучший и счастливый оборот. Выбранив себя за чрезмерную осторожность, Цицерон немедленно возвратился в Рим. Первые впечатления вполне отвечали его надеждам: навстречу ему высыпало такое множество ликующего народа, что приветствия у городских ворот и на пути к дому заняли почти целый день. Назавтра Антоний созвал сенат и пригласил Цицерона, но тот не явился, оставшись в постели и ссылаясь на слабость после утомительного путешествия. Но, сколько можно судить, истинною причиной была не усталость, а страх перед умыслами врагов, ибо некоторые обстоятельства, о которых ему сделалось известно дорогою, заставляли подозревать недоброе. Антоний, предельно возмущенный таким недоверием, отправил воинов с приказом либо привести Цицерона, либо сжечь его

дом, но уступил возражениям и просьбам многих сенаторов и, приняв залог, отменил свой приказ. С тех пор они не здоровались и постоянно остерегались друг друга, и так продолжалось до приезда из Аполлонии молодого Цезаря[53], который вступил во владение имуществом убитого и порвал с Антонием, присвоившим из наследства двадцать пять миллионов драхм.

Сразу вслед за этим отчим молодого Цезаря Филипп и его зять Марцелл пришли вместе с юношей к Цицерону и уговорились, что Цицерон будет поддерживать Цезаря в сенате и перед народом, употребляя на это всю силу своего красноречия и все влияние, каким он пользуется в государстве, а Цезарь, в свою очередь, обеспечит ему безопасность с помощью денег и оружия. Уже в ту пору в распоряжении молодого человека находилось немало бывших воинов Цезаря. Но, как тогда говорили, у Цицерона было и другое, не менее важное основание охотно принять дружбу Цезаря. Еще при жизни Помпея и старшего Цезаря он увидел замечательный сон. Снилось ему, что кто-то созывает сенаторских сыновей на Капитолий и что одного из них Юпитеру угодно назначить владыкою и главою Рима. Поспешно сбегаются граждане и обступают храм, молча сидят дети в тогах с пурпурною каймой[54]. Внезапно двери растворяются, мальчики по очереди встают и обходят вокруг бога, а бог оглядывает каждого и одного за другим отпускает, к немалому их огорчению. Но вот приблизился молодой Цезарь, и тут Юпитер, простерши десницу, возвестил: “Римляне! Междоусобиям вашим придет конец, когда владыкою станет *он*”. Облик мальчика накрепко врезался Цицерону в память, хотя, кто это такой, он не знал. На другой день он спускался на Марсово поле, когда дети, уже закончив свои упражнения, расходились, и первым на глаза Цицерону попался мальчик, которого он видел во сне. Растерянный и изумленный, Цицерон спросил, чей он сын. Оказалось, что отец мальчика – Октавий, человек не слишком известный, а мать – Аттия, племянница Цезаря. Поэтому Цезарь, у которого своих сыновей не было, впоследствии отказал ему по завещанию свой дом и все имущество. С тех пор, говорят, Цицерон при каждой встрече внимательно беседовал с мальчиком, а тот охотно принимал эти знаки расположения. Кстати сказать, волею случая он родился в год, когда Цицерон был консулом.

45. Таковы были причины их дружбы, которые называла молва. Но по сути вещей Цицерона сблизила с Цезарем прежде всего ненависть к Антонию, а затем собственная натура, столь жадная до почестей. Он твердо рассчитывал присоединить к своему опыту государственного мужа силу Цезаря, ибо юноша заискивал перед ним настолько откровенно, что даже называл отцом. Брут в полном негодовании писал Аттику[55], что Цицерон угождает Цезарю единственно из страха перед Антонием, а стало быть, ищет не свободы для отечества, а доброго господина для себя. Тем не менее сына Цицерона, занимавшегося в Афинах философией, Брут взял к себе, назначил начальником и часто давал ему разного рода поручения, которые молодой Цицерон с успехом исполнял.

Никогда сила и могущество Цицерона не были столь велики, как в ту пору. Распоряжаясь делами по собственному усмотрению, он изгнал из Рима Антония, выслал против него войско во главе с двумя консулами, Гирцием и Пансой, и убедил сенат облечь Цезаря, который, дескать, защищает отечество от врагов,

всеми знаками преторского достоинства, не исключая и ликторской свиты. Но когда после битвы[56], в которой Антоний был разгромлен, а оба консула погибли, победившие войска присоединились к Цезарю и перешли под его начальство, сенат, испуганный беспримерными удачами этого юноши, попытался с помощью подарков и почестей отторгнуть от него воинов и уменьшить его силу – под тем предлогом, что не нуждается больше в защитниках, ибо Антоний бежал. Цезарь, встревожившись в свою очередь, через доверенных людей убеждал Цицерона домогаться консульства для них обоих вместе, заверяя, что, получив власть, править Цицерон будет один, руководя каждым шагом мальчика, мечтающего лишь о славе и громком имени. Цезарь и сам признавал впоследствии, что, боясь, как бы войско его не было распущено и он не остался в одиночестве, он вовремя использовал в своих целях властолюбие Цицерона и склонил его искать консульства, обещая свое содействие и поддержку на выборах.

46. Эти посулы соблазнили и разожгли Цицерона, и он, старик, дал провести себя мальчишке – просил за него народ, расположил в его пользу сенаторов. Друзья бранили и осуждали его еще тогда же, а вскоре он и сам почувствовал, что погубил себя и предал свободу римлян, ибо стоило юноше получить должность и возвыситься[57], как он и слышать больше не хотел о Цицероне, заключил дружбу с Антонием и Лепидом, и эти трое, слив свои силы воедино, поделили верховную власть, точно какое-нибудь поле или имение. Составили они и список осужденных на смерть, включив в него больше двухсот человек. Самый ожесточенный раздор между ними вызвало имя Цицерона: Антоний непреклонно требовал его казни, отвергая в противном случае какие бы то ни было переговоры, Лепид поддерживал Антония, а Цезарь спорил с обоими. Тайное совещание происходило близ города Бононии, вдали от лагерей, на каком-то островке посреди реки, и продолжалось три дня. Рассказывают, что первые два дня Цезарь отстаивал Цицерона, а на третий сдался и выдал его врагам. Взаимные уступки были таковы: Цезарь жертвовал Цицероном, Лепид – своим братом Павлом, Антоний – Луцием Цезарем, дядею со стороны матери. Так, обуянные гневом и лютой злобой, они забыли обо всем человеческом или, говоря вернее, доказали, что нет зверя свирепее человека, если к страстям его присоединяется власть.

47. Цицерон с братом Квинтом находился тогда в своем имении близ Тускула. Узнав, что оба они объявлены вне закона, они сочли за лучшее добраться до Астуры, небольшого приморского поместья Цицерона, а оттуда плыть в Македонию, к Бруту: уже ходили слухи, будто власть в тех краях принадлежит ему. Их несли в носилках – от горя они обессилели, – и, часто отдыхая дорогой и ставя рядом носилки, они вместе оплакивали свою судьбу. Особенно пал духом Квинт, которого, кроме всего прочего, угнетала мысль о нужде. Он и сам ничего не взял из дому, и у Цицерона денег было в обрез, а потому Квинт предлагал, чтобы Цицерон ехал вперед, а он-де догонит брата позже, запасшись дома всем необходимым. На том и порешили. Они обнялись и, громко рыдая, расстались. Квинт спустя несколько дней был выдан собственными рабами и убит вместе с сыном, а Цицерон прибыл в Астуру и, найдя судно, тотчас поднялся на борт. С попутным ветром они плыли вдоль берега до Цирцей. Кормчие хотели, не за-

державаясь, продолжать путь, но Цицерон, то ли испытывая страх перед морем, то ли не до конца еще изверившись в Цезаре, высадился и прошел около ста стадиев по направлению к Риму. Затем снова передумал и, не находя себе места от тревоги, вернулся к морю, в Астуру. Там он провел ночь в тяжких думах и безысходной тоске. Ему являлась даже мысль тайно пробраться в дом к Цезарю, убить себя у очага и тем воздвигнуть на хозяина духа мщения, но страх перед муками заставил его отвергнуть и этот план. Перебирая и отбрасывая одно за другим сбивчивые, противоречивые решения, он велел, наконец, рабам морем доставить его в Кайету, подле которой находилось одно из его имений – замечательное прибежище от летнего зноя, в пору когда этесии[58] дуют всего приятнее. В том месте над морем стоит маленький храм Аполлона. С кровли храма поднялась стая воронов и с карканьем полетела к судну Цицерона, на веслах подходившему к суше; птицы сели на рее, по обе стороны мачты, и одни кричали, а другие клювами долбили концы снастей. Все сочли это дурным предзнаменованием. Цицерон сошел на берег, поднялся в усадьбу и лег отдохнуть. Вороны теперь уселись на окне и не давали ему покоя своим криком, а один слетел к кровати, где, закутавшись с головою, лежал Цицерон, и клювом чуть сдвинул плащ с его лица. Тут рабы стали бранить себя, за то что нисколько не радеют о спасении господина, но безучастно ждут минуты, когда сделаются свидетелями его смерти, меж тем как даже дикие твари выказывают ему – гибнущему без вины – свою заботу. Они упросили, а вернее принудили Цицерона лечь в носилки и понесли его к морю.

48. Тем временем подоспели палачи со своими подручными – центурион Геренний и военный трибун Попилий, которого Цицерон когда-то защищал от обвинения в отцеубийстве. Найдя двери запертыми, они вломились в дом силой, но Цицерона не нашли, а все, кто был внутри, твердили, что знать ничего не знают, и лишь какой-то юнец, по имени Филолог, получивший у Цицерона благородное воспитание и образование, вольноотпущенник его брата Квинта, шепнул трибуну, что носилки глухими тенистыми дорожками понесли к морю. Захватив с собою нескольких человек, трибун поспешил к выходу из рощи окольным путем, а Геренний бегом бросился по дорожкам. Цицерон услыхал топот и приказал рабам остановиться и опустить носилки на землю. Подперев, по своему обыкновению, подбородок левою рукой, он пристальным взглядом смотрел на палачей, грязный, давно не стриженный, с иссушенным мучительной заботою лицом, и большинство присутствовавших отвернулось, когда палач подбежал к носилкам. Цицерон сам вытянул шею навстречу мечу, и Геренний перерезал ему горло. Так он погиб на шестьдесят четвертом году жизни. По приказу Антония, Геренний отсек ему голову и руки, которыми он писал “Филиппики”. Цицерон сам назвал речи против Антония “Филиппиками”, и это название они сохраняют по сей день.

49. Антоний проводил выборы должностных лиц, когда ему сообщили, что эта кровавая добыча доставлена в Рим; увидав ее собственными глазами, он воскликнул: “Теперь казням конец!” Голову и руки он приказал выставить на ораторском возвышении, над корабельными носами[59], – к ужасу римлян, которым казалось, будто они видят не облик Цицерона, но образ души Антония. И лишь

в одном рассудил он справедливо – выдав Филолога Помпонии, супруге Квинта. Когда изменник оказался в ее руках, Помпония подвергла его страшным пыткам, среди которых была и такая: он отреза́л по кусочкам собственное мясо, жарил и ел. Так рассказывают некоторые писатели, однако, отпущенник Цицерона Тирон ни словом не упоминает о предательстве Филолога.

Слыхал я, что как-то раз, много времени спустя, Цезарь пришел к одному из своих внуков, а в это время в руках у мальчика было какое-то сочинение Цицерона, и он в испуге спрятал свиток под тогой. Цезарь заметил это, взял у него книгу и, стоя, прочитал большу́ю ее часть, а потом вернул свиток внуку и промолвил: "Ученый был человек, что правда, то правда, и любил отечество". Как только Антоний потерпел окончательное поражение, Цезарь, сам исполнявший должность консула, своим товарищем по должности назначил сына Цицерона, и в его правление сенат распорядился убрать изображения Антония, отменил все прочие почести, какие были ему назначены, и, наконец, постановил, чтобы впредь никто в роду Антониев не носил имени Марка. Так завершить возмездие над Антонием божество предоставило дому Цицерона.



[*Сопоставление*]

50(1). Насколько нам удалось выяснить, это все, что заслуживает памяти в жизни Демосфена и Цицерона. Ораторские их достоинства я сопоставлять не буду, но считал бы неправильным оставить без упоминания, что Демосфен все без изъятия, чем наградили его природа и упорный труд, отдавал ораторскому искусству, убедительностью и силой превосходя своих соперников в судах и собраниях, пышностью и внешним великолепием – самых блестящих краснобаев, а точностью и мастерством – софистов. Цицерон, необыкновенно образованный, разносторонний и неутомимо совершенствовавшийся оратор, вместе с тем оставил немало собственных философских сочинений в духе учения академиков, и даже в судебных его речах ясно ощущается желание выставить напоказ свою ученость.

Виден в речах и характер каждого из них. Красноречие Демосфена, чуждое каких бы то ни было прикрас и забав, – это сама сила и сама внушительность, и отдавало оно не светильней, как язвил Пифей, но свидетельствовало о безупречной трезвости, о глубоких раздумиях и о суровом, желчном нраве, который был известен всем. Напротив, Цицерона страсть к острословию сплошь и рядом доводила до шутовства. Желая насмешить слушателей, он и в суде говорил о предметах, требующих полной серьезности, тоном недопустимого легкомыслия. Так, в речи[60] за Целия он заявил, что нет ничего удивительного, если его подзащитный в этот век, склонный к пышности и роскошеству, не отказывает себе в

наслаждениях, ибо не пользоваться доступным и дозволенным – безумие, особенно когда самые знаменитые философы именно в наслаждении усматривают высшее благо[61]. Рассказывают еще, что в свое консульство он защищал Мурену, которого привлек к суду Катон, и, – метя в Катона, – долго высмеивал[62] стоическую школу за нелепость так называемых странных суждений. Кругом оглушительно хохотали, наконец не выдержали и судьи, а Катон слегка улыбнулся и заметил сидевшим подле: "Какой шутник у нас консул, господа римляне". Повидимому, и вообще, по натуре своей, Цицерон был склонен к веселью и шуткам – лицо его всегда было ясно, на губах играла улыбка. А с лица Демосфена не сходила печать раздумий и напряженной заботы, и потому враги, как сообщает он сам, называли его брюзгой и упрямцем.

51(2). Из сочинений обоих видно также, что один хвалил себя сдержанно, неназойливо и не ради самой похвалы, но лишь имея в виду иную, более высокую цель, в остальных же случаях бывал осмотрителен и скромен, тогда как буйное хвастовство Цицерона выдает безмерную жажду славы. Он кричит, что оружие должно склониться пред тогою, а лавр триумфатора – пред силою слова[63], и превозносит не только свои деяния и подвиги, но даже речи, которые говорил и записывал, – точно мальчишка, силящийся превзойти Исократа, Анаксимена и прочих софистов, а не государственный муж, считающий себя призванным вести и наставлять римский народ.

Чей мощный меч в бою всегда врагам грозит[64].

Нет спора, тому кто стоит у кормила правления, искусство речи необходимо, но без памяти любить славу, которую это искусство доставляет, легкомысленно и недостойно. И если рассматривать обоих с этой точки зрения, то все преимущества на стороне Демосфена, который говорил[65], что его красноречие – своего рода сноровка, совершенно бесполезная, когда слушатели отказывают в благосклонности, а тех, кто подобной сноровкою чванится, справедливо считал низкими ремесленниками.

52(3). В Народном собрании и в государственных делах влияние обоих было огромно, так что даже военачальники и полководцы искали у них поддержки, у Демосфена – Харет, Диопиф, Леосфен, у Цицерона – Помпей и молодой Цезарь, как свидетельствует сам Цезарь в своих воспоминаниях, посвященных Агриппе и Меценату. Того, однако же, в чем, по общему взгляду и суждению, всего вернее выявляется и испытывается характер, а именно власти на высоком государственном посту, – власти, приводящей в движение каждую из страстей и раскрывающей все дурные черты человеческой натуры, у Демосфена никогда не было, и с этой стороны он нам неизвестен, ибо ни одной важной должности не исполнял; даже силами, которые он собрал для борьбы с Филиппом, командовали другие. Напротив, Цицерона посылали квестором в Сицилию и правителем в Киликию и Каппадокию, и в ту пору, когда корыстолюбие процветало, когда военачальники и наместники не просто обворовывали провинции, но грабили их открыто, когда брать чужое не считалось зазорным и всякий, кто соблюдал меру в хищениях, тем самым уже приобретал любовь жителей, в эту пору Цицерон дал надежные доказательства своего презрения к наживе, своего

человеколюбия и честности. А в самом Риме, избранный консулом, но, в сущности, получивший для борьбы с заговором Катилины ничем не ограниченную власть диктатора, он подтвердил пророческие слова Платона[66], что государства лишь тогда избавятся и отдохнут от бедствий, когда по милости судьбы большое могущество и мудрость соединятся со справедливостью.

Демосфена порицают, за то что из своего красноречия он сделал доходное занятие – писал тайком речи для Формиона и Аполлодора, которые вели тяжбу друг против друга; принял, покрывши себя позором, деньги от персидского царя; наконец, он был подкуплен Гарпалом и осужден. Даже если бы мы решились упрекнуть во лжи тех, кто это пишет (а их отнюдь не мало), невозможно отрицать, что глядеть равнодушно на царские дары, предлагаемые благосклонно и с почетом, у Демосфена не хватало мужества и что трудно ждать иного от человека, который ссужал деньги под залог кораблей[67]. А Цицерон, как уже говорилось, не взял ничего ни у сицилийцев, когда был эдилом, ни, в бытность свою наместником, у царя Каппадокии, ни у друзей, когда уходил в изгнание, отклонивши их щедрость и настоятельные просьбы.

53(4). И само изгнание для одного, уличенного в мздоимстве, было позором, а другому стяжало прекрасную славу, ибо он пострадал без вины, избавив отечество от злодеев. Поэтому за Демосфена никто не заступился, тогда как, скорбя об участи Цицерона, весь сенат переменил одежды, а позже отказался обсуждать какие бы то ни было дела, пока народ не разрешит Цицерону вернуться. Но зато Цицерон провел изгнание в бездействии, праздно сидя в Македонии, а у Демосфена и на пору изгнания приходится немалая толика трудов, принятых во имя и ради государства. Как уже говорилось, он помогал грекам и ездил из города в город, выгоняя македонских послов и проявив себя гораздо лучшим гражданином, нежели когда-то, в подобных обстоятельствах, Фемистокл и Алкивиад. И возвратившись, он неуклонно продолжал держаться прежнего направления, воюя против Антипатра и македонян. А Цицерона Лелий открыто порицал в сенате за то, что он молчит, меж тем как Цезарь, безбородый юнец, домогается консульства вопреки закону. Корит его в письмах и Брут[68], обвиняя в том, что он взрастил тираннию, более грозную и тяжкую, чем низвергнутая им, Брутом.

54(5). И в заключение – о кончине обоих. Об одном можно лишь пожалеть, вспоминая, как его одержимого страхом старика, носили с места на место рабы, как он бежал от смерти и прятался от убийц, которые пришли за ним не многим раньше срока, назначенного природой, и как он все-таки был зарезан. Другой, – хотя он и пытался было вымолить себе жизнь, – заслуживает восхищения и тем, что вовремя раздобыл и крепко берег ядовитое зелье, и тем, как его употребил, когда бог отказал ему в убежище и когда он словно бы спасся под защитою иного, высшего алтаря, вырвавшись из лап наемных копейщиков и насмеявшись над жестокостью Антипатра.





ДЕМЕТРИЙ И АНТОНИЙ

ДЕМЕТРИЙ

1. Те, кому впервые пришло на мысль сравнить искусства с человеческими ощущениями, главным образом, как мне кажется, имели в виду свойственную обоим способность различения, благодаря которой мы можем как через чувственные восприятия, так равно и чрез искусства постигать вещи противоположные. На этом, однако, сходство между ними заканчивается, ибо цели, которым эта способность служит, далеки одна от другой. Восприятие не отдает никакого предпочтения белому перед черным, сладкому перед горьким, мягкому и податливому перед твердым и неподатливым – задача его состоит в том, чтобы прийти в движение под воздействием каждой из встречающихся ему вещей и передать воспринятое рассудку. Между тем искусства изначально сопряжены с разумом, чтобы избирать и удерживать сродное себе и избегать, сторониться чуждого, а потому главным образом и по собственному почину рассматривают первое, второе же – только от случая к случаю и с единственным намерением: впредь остерегаться его. Так искусству врачевания приходится исследовать недуги, а искусству гармонии неблагозвучия ради того, чтобы создать противоположные свойства и состояния, и даже самые совершенные среди искусств – воздержность, справедливость и мудрость[1] – судят не только о прекрасном, справедливом и полезном, но и о пагубном, постыдном и несправедливом, и отнюдь не хвалят невинности, кичащейся неведением зла, но считают ее признаком незнания того, что обязан знать всякий человек, желающий жить достойно.

В давние времена спартанцы по праздникам напаивали илотов[2] несмешанным вином и потом приводили их на пиры, чтобы показать молодым, что такое опьянение. Исправлять одних людей ценою развращения других, на наш взгляд, и бесчеловечно и вредно для государства, но поместить среди наших жизнеописаний, призванных служить примером и образцом, один или два парных рассказа о людях, которые распорядились своими дарованиями с крайним безрассудством и, несмотря на громадную власть и могущество, прославились одними лишь пороками, будет, пожалуй, небесполезно. Я не думаю, клянусь Зевсом, о том, чтобы потешить и развлечь читателей пестротою моих писаний, но, подобно фиванцу Исмению, который показывал ученикам и хороших, и никуда не годных флейтистов, приговаривая: “Вот как надо играть” или: “Вот как не надо играть”, подобно Антигениду, полагавшему, что молодые люди с тем большим удовольствием будут слушать искусных музыкантов, если познакомятся и с плохими, – точно так же и я убежден, что мы внимательнее станем всматриваться в

жизнь лучших людей и охотнее им подражать, если узнаем, как жили те, кого порицают и хулят.

В эту книгу войдут жизнеописания Деметрия Полиоркета и императора Антония, двух мужей, на которых убедительнее всего оправдались слова Платона, что великие натуры могут таить в себе и великие пороки, и великие доблести[3]. Оба они были одинаково сластолюбивы, оба пьяницы, оба воинственны, расточительны, привержены роскоши, разнузданны и буйны, а потому и участь обоих была сходной: в течение всей жизни они то достигали блестящих успехов, то терпели жесточайшие поражения, завоевывали непомерно много и непомерно много теряли, падали внезапно на самое дно и вопреки всем ожиданиям вновь выплывали на поверхность и даже погибли почти одинаково: Деметрий – схваченный врагами, Антоний – едва не попавши к ним в руки.

2. От Стратоники, дочери Коррага, у Антигона было двое сыновей; одного он назвал Деметрием, в честь брата, другого, в честь отца – Филиппом. Так сообщает большинство писателей, но некоторые пишут, что Деметрий приходился Антигону не сыном, а племянником и что отец его умер, когда он был еще младенцем, а мать сразу после этого вышла замуж за Антигона и поэтому все считали Деметрия его сыном. Филипп родился немногими годами позже брата и умер своею смертью. Роста Деметрий был высокого, хотя и пониже Антигона, а лицом до того красив, что все только дивились и ни один из ваятелей и живописцев не мог достигнуть полного сходства, ибо черты его были разом и прелестны, и внушительны, и грозны, юношеская отвага сочеталась в них с какою-то неизобразимою героической силой и царским величием. И нравом он был примерно таков же, внушая людям ужас и, одновременно, горячую привязанность к себе. В дни и часы досуга, за вином, среди наслаждений и повседневных занятий он был приятнейшим из собеседников и самым изнеженным из царей, но в делах настойчив, неутомим и упорен, как никто. Поэтому среди богов он больше всего старался походить на Диониса, великого воителя[4], но, вместе с тем, и несравненного искусника обращать войну в мир со всеми его радостями и удовольствиями.

3. Деметрий горячо любил отца, а его уважение к матери и заботы о ней показывают, что и отца он чтил скорее из искреннего чувства, нежели преклоняясь пред его могуществом. Однажды Антигон принимал какое-то посольство. Деметрий вернулся с охоты и, как был, с копьями в руке, вошел к отцу, поцеловал его и сел рядом. Антигон уже отпустил было послов, но тут остановил их и громко воскликнул: "И об этом не забудьте рассказать у себя, господа послы, что вот как относимся мы друг к другу". В согласии с сыном и доверии к нему он видел одну из надежнейших основ своего царства и признак его мощи. До какой же степени угрюма и замкнута всякая власть, полна недоверия и зложелательства, если величайший и старейший из преемников Александра горд тем, что не боится родного сына, но подпускает его к себе с оружием в руках! И гордость его небезосновательна: пожалуй, единственный царский дом, который на протяжении многих поколений не ведал подобных напастей, это дом Антигона, или, говоря понятнее и точнее, среди всех его потомков только Филипп убил своего сына[5]. А ведь история чуть ли не любого престола так-

и пестрит убийствами детей, матерей, жен. Что же касается избиения братьев, то оно повсюду признавалось необходимым для царя условием безопасности, вроде тех необходимых условий[6], какие выдвигают и принимают геометры.

4. Вначале Деметрии отличался и человеколюбием и привязанностью к товарищам, о чем свидетельствует, например, вот какое происшествие. При дворе Антигона служил сын Ариобарзана Митридат, ровесник и близкий друг Деметрия. Он был человек вполне порядочный и пользовался доброй славой, но Антигон проникся подозрениями против него, увидев однажды странный сон. Царю снилось, будто он идет красивой и обширною равниной и засевает ее крупинками золота; из них поднимается золотая жатва, но когда Антигон, немного спустя, снова приходит на поле, он не видит ничего, кроме колючего жнивья. До крайности раздосадованный и опечаленный, он слышит чьи-то голоса, что, дескать, золотую жатву убрал Митридат и бежал к Эвксинскому Понту. Царь сильно встревожился. Взявши с сына клятву хранить молчание, он открыл ему свой сон и сказал, что намерен любыми средствами избавиться от Митридата и лишить его жизни. Услышав это, Деметрий был вне себя от огорчения, и, когда Митридат, по заведенному обычаю, пришел к нему, чтобы вместе провести время, Деметрий нарушить клятву и хотя бы словом обмолвиться о разговоре с отцом не посмел, но, отведя друга в сторону и убедившись, что никого рядом нет, древком копья написал на земле: "Беги, Митридат". Митридат все понял и тою же ночью бежал в Каппадокию. А сну Антигона суждено было вскорости сбыться: Митридат завладел обширною и богатой страной и был основателем династии понтийских царей, которая прекратилась примерно в восьмом от него колене, свергнутая римлянами. Так проявляла себя врожденная доброта и справедливость Деметрия.

5. Как среди первоначал Эмпедокла[7], одержимых взаимною ненавистью, царит раздор и вражда, особенно жестокие между теми, что соседствуют и касаются друг друга, так и беспрерывная война, которая шла между всеми преемниками Александра, время от времени разгоралась особенно жарко из-за близости их владений и столкновения интересов. В ту пору, которой касается наш рассказ, борьба вспыхнула между Антигоном и Птолемеем[8]. Сам Антигон находился во Фригии и, получив известие, что Птолемей переправился с Кипра в Сирию и грабит страну, а города либо склоняет к измене, либо захватывает силой, выслал против него сына, Деметрия, двадцати двух лет от роду, который тогда впервые выступил главнокомандующим в большой и трудный поход. Неопытный юнец, он столкнулся с мужем из Александровой палестры[9], который уже и один, после смерти учителя, выдержал немало трудных боев, – столкнулся и, разумеется, потерпел неудачу и был разбит у города Газы, потеряв восемь тысяч пленными и пять тысяч убитыми. Враги захватили и палатку Деметрия, и его казну, и всех слуг. Впрочем и добро, и слуг, так же как и попавших в плен друзей Деметрия, Птолемей ему вернул с доброжелательным и человеколюбивым объяснением, что предметом их борьбы должна быть лишь слава и власть. Приняв этот дар, Деметрий обратился к богам с молитвою, чтобы недолго пришлось ему оставаться в долгу у неприятеля, но поскорее довелось отплатить ми-

лостью за милость. Неудачу, постигшую его в самом начале пути, он перенес не как мальчишка, но как опытный полководец, хорошо знакомый с переменчивостью воинского счастья, – набирал войска, готовил оружие, предупреждал восстания в городах и учил новобранцев.

6. Когда Антигон узнал о битве при Газе, он заметил, что Птолемей одержал победу над безбородыми подростками, но теперь ему снова предстоит иметь дело с мужами; не желая, однако, унижать гордость сына, который просил дать ему право еще раз сразиться с врагом самому, он не настаивал на своем и согласился. И вот, спустя немного, во главе большого войска появляется полководец Птолемея Килл с намерением очистить всю Сирию и вытеснить Деметрия, который после своего поражения казался нестоящим противником. Но Деметрий неожиданным ударом наводит на врага такой ужас, что захватывает весь лагерь вместе с военачальником. В руки его попадают семь тысяч пленных и огромная добыча. Впрочем не столько радовали Деметрия богатство и слава, принесенные победою, сколько возможность вернуть захваченное и тем отблагодарить Птолемея за его человеколюбие. Действовать по собственному усмотрению он, однако же, не решился и написал отцу. Антигон позволил сыну распорядиться добычею, как он желает, и Деметрий, щедро одарив Килла и его друзей, отправил их к Птолемею. Эти события изгнали Птолемея из Сирии, Антигона же, который наслаждался успехом и хотел видеть сына, побудили расстаться с Келенами.

7. Вслед за тем Антигон отправил Деметрия на покорение аравийского племени набатеев, и тут, попав в безводную пустыню, он подвергся немалой опасности, однако, сохраняя мужество и присутствие духа, настолько испугал варваров, что смог отступить с богатой добычей, среди которой было семьсот верблюдов.

Когда Селевк, изгнанный Антигоном из Вавилонии, затем возвратился, вернул себе власть и, утвердившись в своих прежних владениях, двинулся с войском вглубь материка, чтобы подчинить соседние с индийцами народы и прикавказские области, Деметрий, надеясь найти Месопотамию беззащитной, внезапно переправился через Евфрат и напал на Вавилон. Он захватил одну из цитаделей – всего их было две – выбив оттуда караульный отряд Селевка и разместив семь тысяч своих воинов, а затем, приказав войску грабить страну и уносить с собою все, что удастся, снова отошел к морю. Этим походом Деметрий лишь укрепил власть Селевка, ибо разоряя Вавилонию, словно чужую землю, он как бы отрекался от всяких прав на нее.

Птолемей осадил Галикарнасс, и Деметрий, немедленно бросившись на помощь, вырвал город из рук неприятеля. (8). Слух об этом прекрасном подвиге разнесся повсюду, и тут Антигоном и Деметрием овладело горячее желание освободить всю Грецию, порабощенную Кассандром и Птолемеем. Никогда ни один из царей не вел войны благороднее и справедливее, ибо те богатства, которые отец с сыном скопили, усмиряя варваров, тратились теперь на греков – славы и чести ради. Когда было решено сначала плыть в Афины и один из друзей посоветовал Антигону оставить город за собою, если он будет захвачен, ибо, дескать, это сходни, переброшенные на берег Греции, Антигон отверг его совет,

сказав, что самые прочные сходни – это доверие и расположение, а что Афины – сторожевая башня всего света, с высоты которой весть о любых деяниях быстро домчится до самых отдаленных народов земли. Итак, Деметрий вышел в море с пятью тысячами талантов серебра и флотом из двухсот пятидесяти судов и двинулся к Афинам, где, в самом городе, правил назначенный Кассандром Деметрий Фалерский, а в Мунихии стоял сторожевой отряд. Дальновидным планам Деметрия сопутствовала удача, и в двадцать шестой день месяца фаргелиона он появился в виду Пирея, совершенно неожиданно для его защитников, а потому, когда флот стал приближаться, все решили, что это корабли Птолемея, и принялись готовиться к встрече. Лишь много спустя начальники, обнаружив свою ошибку, отдали необходимые распоряжения, и тут поднялось страшное замешательство, естественное и неизбежное в тех случаях, когда приходится отбивать внезапную высадку неприятеля. И в самом деле, Деметрий уже вошел в гавань, найдя проходы незапертыми, и теперь, стоя на виду у всех, приказал подать с корабля знак, призывающий к тишине и вниманию. Все примолкли, и, поставив рядом с собою глашатая, Деметрий объявил, что прислан отцом, дабы в добрый час освободить афинян[10], изгнать сторожевой отряд и вернуть гражданам их законы и старинное государственное устройство.

9. После этих слов глашатая, бóльшая часть воинов тут же сложила щиты к ногам и с громкими рукоплесканиями стала приглашать Деметрия сойти на берег, называя его благодетелем и спасителем. Деметрий Фалерский, считая, что победителю следует покоряться в любом случае, даже если он не намерен исполнить ни единого из своих обещаний, отправил к нему посольство с изъявлением покорности. Деметрий ласково принял послов, а когда те тронулись в обратный путь, в свою очередь отправил к афинянам Аристодема Милетского, одного из друзей своего отца. После совершившейся так внезапно перемены Деметрий Фалерский больше, нежели неприятелей, страшился собственных сограждан. Полный глубокого уважения к славе и нравственной чистоте этого человека, Деметрий позаботился о нем и, исполняя его желание, отправил под надежною охраною в Фивы. Сам же он объявил, что, как ни хочется ему повидать Афины, он вступит в город не прежде, чем завершит его освобождение, изгнав караульный отряд. Обведя Мунихию валом и рвом, Деметрий морем двинулся на Мегары, занятые воинами Кассандра.

В Патрах жила знаменитая красавица Кратесиполида, бывшая супруга Александра, сына Полисперхонта, и узнав, что она готова встретиться с ним, Деметрий бросил войско близ Мегар и пустился в путь в сопровождении нескольких легковооруженных пехотинцев, но и немногочисленным этим провожатым не велел приближаться к своей палатке, чтобы женщина могла приходить к нему тайно. Враги, однако, обо всем проведали и неожиданно напали на Деметрия, который в страхе бежал, едва успев накинуть на плечи плащ. Так он чуть было не попал в позорнейший плен из-за своей распущенности, но все же счастливо ускользнул от опасности, а палатку со всем ее содержимым захватили и унесли враги.

Когда Мегары были взяты и воины уже начинали грабить город, горячие просьбы афинян убедили Деметрия сменить гнев на милость. Он изгнал непри-

ятельский караульный отряд и объявил город свободным. Занимаясь делами мегарян, он вспомнил о философе Стильпоне, который, как говорили, решил провести остаток своих дней в уединении и тишине. Деметрий послал за ним и спросил, не унес ли кто из воинов его имущества. "Нет, – отвечал Стильпон, – никто. Во всяком случае, я не видел никого, кто бы уносил знание". Почти все рабы были расхищены победителями, и когда Деметрий, прощаясь со Стильпоном, в заключение дружелюбной беседы, заметил: "Я оставляю ваш город свободным" – философ сказал ему: "Что правда, то правда: ты не оставил нам ни одного раба".

10. Вернувшись к Мунихии и став лагерем перед ее стенами, Деметрий, наконец, выбил из крепости сторожевой отряд, а самоё крепость разрушил и лишь тогда принял приглашения афинян, вошел в город и, созвав Народное собрание, восстановил старинное государственное устройство. Кроме того он обещал, что отец пришлет им сто пятьдесят тысяч медимнов хлеба и корабельного леса на сто триер. Так после четырнадцати лет олигархии – со времен Ламийской войны и битвы при Кранноне – олигархии, которую могущество Деметрия Фалерского, по сути дела, превратило в единовластие, афиняне вновь обрели демократическое правление. Благодеяние это само по себе прославило и возвеличило Деметрия, зато афиняне, желая воздать по заслугам своему освободителю, неумеренностью почестей вызвали только ненависть к нему. Афиняне были первыми, кто провозгласил Деметрия и Антигона царями, хотя до того оба всячески отвергали это звание – оно считалось единственным из царских преимуществ, по-прежнему остающимся за потомками Филиппа и Александра и недосягаемым, недоступным для прочих. Афиняне были единственными, кто нарек их богами-спасителями; отменивши старинное достоинство архонта-эпонима, они решили ежегодно избирать "жреца спасителей" и все постановления и договоры помечать его именем. Они постановили далее, чтобы на священном пеплосе[11], вместе с остальными богами, ткались изображения Антигона и Деметрия. Место, куда впервые ступил Деметрий, сойдя с колесницы, они освятили и воздвигли там жертвенник Деметрию Нисходящему[12], к прежнем филам[13] присоединили две новые – Деметриаду и Антигониду и число членов Совета увеличили с пятисот до шестисот, ибо каждая фила выставляла по пятидесяти советников.

11. Самой чудовищной выдумкой Стратокла (так звался изобретатель всего этого хитроумнейшего и утонченного раболепия) было предложение, чтобы лица, отправляемые Собранием к Антигону или Деметрию, именовались не послами, но феорами – словно те, кто на общегреческих празднествах при дельфийском Пифоне или в Олимпии приносят от имени своих городов установленные древним обычаем жертвы.

Этот Стратокл и вообще отличался необыкновенною дерзостью, жизнь вел беспутную и разнузданную и в своем беззаботном и пренебрежительном отношении к народу подражал, казалось, гнусному шутовству Клеона. Он взял к себе в дом гетеру Филакион. Как-то раз она принесла с рынка мозги и шеи. "Смотри-ка, – воскликнул Стратокл, – ты купила к обеду те самые мячи, которыми мы перебрасываемся, когда решаем государственные дела!" Когда афинский

флот потерпел поражение при Аморгосе, Стратокл, опередивши гонцов, прошествовал с венком на голове через Керамик, возвестил, что одержана победа, и тут же предложил устроить благодарственные жертвоприношения и раздачу мяса по филам. Немного спустя моряки привели уцелевшие в битве суда, и афиняне в ярости потребовали Стратокла к ответу, а тот, нимало не смущенный гневным шумом толпы, выступил и сказал: "А что, собственно, страшного с вами приключилось? Вы провели в радости два дня – только и всего!" Вот какова была наглость Стратокла.

12. Но, как говорит Аристофан[14], бывает кое-что и погорячее огня. Нашелся еще льстец, низостью превзошедший самого Стратокла, и предложил, чтобы всякий раз, как Деметрий прибудет в Афины, его принимали с таким же почетом, какой воздают Деметре и Дионису, и чтобы тот, кто сумеет обставить этот прием наиболее торжественно и пышно, приносил за казенный счет памятный дар богам. В довершение всего афиняне назвали месяц мунихион деметрионом, канун новолуния деметриадой, а праздник Дионисии переименовали в Деметрии. Чуть ли не каждое из нововведений божество отметило дурным знамением. Когда пеплос, на котором постановили выткать Деметрия и Антигона рядом с Зевсом и Афиною, понесли через Керамик, налетел ураган и разодрал священное одеяние пополам. Вокруг новых жертвенников густо поднялась цикута, хотя вообще земля в Аттике редко рождает эту траву. В день, на который падали Дионисии, праздничное шествие пришлось отменить, ибо ударил сильный, не по времени года, мороз и выпал густой иней; стужа сожгла не только все виноградники и фиговые деревья, но побила и зеленя. Намекая на эти события, противник Стратокла Филиппид пишет о нем в комедии так:

Он – тот, по чьей вине на лозы иней пал
И кто нечестием порвал богини плащ;
Воздал он смертным людям божьи почести.
Вот кто народ сгубил, а не комедия.

Филиппид был другом Лисимаха, и царь из уважения к нему сделал афинскому народу немало добра. Встретиться и повидаться с ним перед каким-нибудь важным делом или походом Лисимах почитал за счастливое предзнаменование. Добрым именем пользовался Филиппид и за свой нрав, ибо никогда никому не навязывался и был свободен от придворной суетливости и любопытства. Однажды, ласково беседуя с ним, Лисимах спросил: "Чем бы мне поделиться с тобою, Филиппид?" – "Чем угодно, царь, только не тайною", – был ответ. Я умышленно сопоставляю здесь этих двух людей: одного из них выкормило ораторское возвышение, другого – театр.

13. Однако ж наиболее бессмысленной, наиболее глупой среди всех почестей была вот какая: в связи с намерением афинян посвятить Дельфийскому богу щиты Дромоклид из дема Сфетт предложил просить об оракуле... Деметрия! Привожу это предложение дословно. "В добрый час! Народ да соблаговолит определить: избрать одного из афинян и отправить к Спасителю, дабы, принесши надлежащие жертвы, он вопросил Спасителя, как лучше, скорее и благочестивее всего может народ посвятить свой дар; что изречет Спаситель, то да испол-

нит народ". Подобного рода издевательская лесть пагубно действовала на рассудок Деметрия, и без того не слишком крепкий и здравый.

14. Находясь в Афинах и отдыхая от трудов, Деметрий женился на Эвридике, вдове Офельта, властителя Кирены. Она вела свой род от древнего Мильтиада и после смерти Офельта снова вернулась в отечество. Брак этот афиняне расценили как особую милость и честь для своего города. Однако Деметрий был до того скор и легок на заключение браков, что жил в супружестве со многими женщинами сразу. Наибольшим уважением среди них пользовалась Фила – как по праву дочери Антипатра, так и потому, что прежде была женою Кратера, который среди всех преемников Александра оставил по себе у македонян самую добрую память. На Филе, которая была старше его, Деметрий, тогда еще совсем юный, женился, послушавшись уговоров отца, но без всякой охоты, и Антигон, как рассказывают, шепнул ему на ухо измененный стих из Эврипида[15]:

За прибыль станешь ты не вольно женихом,

удачно подставив вместо "и нехотя рабом" сходные с ними по звучанию слова. За всем тем "уважение" Деметрия к Филе и прочим его супругам было такого свойства, что он открыто, не таясь, жил со многими гетерами и свободными женщинами, и ни единому из тогдашних царей не приносило сластолюбие столь скверной славы, как ему.

15. Антигон призывал сына начать войну с Птолемеем за остров Кипр, и ослушаться Деметрий не смел, но, сокрушаясь, что должен оставить борьбу куда более славную и прекрасную, – борьбу за Грецию, – он подослал своего человека к полководцу Птолемея Клеониду, начальнику сторожевых отрядов в Сикионе и Коринфе, и предлагал ему денег, если он возвратит свободу этим городам. Когда же Клеонид отвечал отказом, Деметрий, не теряя времени, вышел в море и со всем войском поплыл к Кипру. Менелая, брата Птолемея, он разбил в первом же сражении, а когда появился сам Птолемей с большими сухопутными и морскими силами, зазвучали взаимные угрозы и хвастливые, вызывающие речи. Птолемей советовал Деметрию убраться вон, пока он еще не раздавлен собранной воедино мощью врага, а Деметрий сулил Птолемею отпустить его восвояси, если он пообещает очистить Сикион и Коринф. Эта борьба неопределенностью своего исхода держала в напряженном ожидании не только самих противников, но и каждого из остальных властителей, ибо ясно было, что успех отдает в руки победителя не Кипр и не Сирию, но верховное главенство.

16. Птолемей отошел от берега на ста пятидесяти судах, а Менелаю с шестьюдесятью кораблями приказал ждать у Саламина, чтобы в самый разгар сражения напасть на Деметрия с тыла и расстроить его боевой порядок. Против этих шестидесяти Деметрий выставил только десять, – ибо десяти судов оказалось достаточно, чтобы замкнуть узкий выход из гавани, – разместил пехоту на всех далеко выступающих в море мысах, а сам со ста восемьюдесятью судами двинулся против Птолемея. Стремительным и яростным ударом он сломил сопротивление противника и обратил его в бегство. Птолемей ускользнул всего на восьми судах (остальные были потоплены, а семьдесят попали в плен вместе с моряками и солдатами), что же касается стоявших на якоре грузовых кораблей

с несметными толпами рабов, женщин и приближенных Птолемея, с оружием, деньгами и осадными машинами, – Деметрий захватил все до последнего. Среди добычи, доставленной в лагерь, оказалась знаменитая Ламия, которая вначале была известна мастерской игрою на флейте, а впоследствии стяжала громкую славу искусством любви. В ту пору красота ее уже отцветала, и разница в летах между нею и Деметрием была очень велика, и все же своими чарами и обаянием Ламия уловила и оплела его так крепко, что одна лишь она могла называть Деметрия своим любовником – остальным женщинам он только позволял себя любить.

После морского сражения не долго сопротивлялся и Менелай, но сдал Деметрию и Саламин, и флот, и сухопутное войско – тысячу двести конников и двенадцать тысяч пехотинцев.

17. Эту прекрасную, славную победу Деметрий украсил еще более своей добротою и человеколюбием, с почестями предав погребению тела убитых врагов, отпустив на волю пленных и подаривши афинянам из добычи тысячу двести полных доспехов.

К отцу с вестью о победе Деметрий отправил милетца Аристодема, первого льстеца среди всех придворных, который, видимо, приготовился увенчать происшедшее неслыханно пышной лестью. Он благополучно завершил плавание с Кипра, но причаливать не велел и, отдавши приказ бросить якоря и всем оставаться на борту, один спустился в лодку, вышел на берег и двинулся дальше к Антигону, который был в том расположении духа, какое только и может быть у человека, тревожно и нетерпеливо ожидающего исхода столь важных событий. Когда царь узнал, что гонец уже прибыл, беспокойство его достигло предела, он едва нашел в себе силы остаться дома и посылал одного за другим слуг и приближенных спросить Аристодема, чем закончилась битва. Но тот не отвечал никому ни слова и, шаг за шагом, нахмуривши лоб, храня глубокое молчание, подвигался вперед, так что, в конце концов, Антигон, в полном смятении, не выдержал и встретил Аристодема у дверей, меж тем как следом за вестником шла уже целая толпа и новые толпы сбегались ко дворцу. Подойдя совсем близко, Аристодем вытянул правую руку и громко воскликнул: "Радуйся и славься, *царь* Антигон[16], мы победили Птолемея в морском бою, в наших руках Кипр и шестнадцать тысяч восемьсот пленных!" А царь в ответ: "И ты, клянусь Зевсом, радуйся, но жестокая пытка, которой ты нас подверг, даром тебе не пройдет – награду за добрую весть получишь не скоро!"

18. Тогда народ впервые провозгласил Антигона и Деметрия царями. Отца друзья увенчали диадемой немедленно, а сыну Антигон отправил венец вместе с посланием, в котором называл Деметрия царем. Тогда Египет поднес царский титул Птолемею, – чтобы никто не подумал, будто побежденные лишились мужества и впали в отчаяние, – а дух соперничества заставил последовать этому примеру и остальных преемников Александра. Стал носить диадему Лисимах, надевал ее теперь при встречах с греками Селевк, который, ведя дела с варварами, и прежде именовал себя царским титулом. И лишь Кассандр, хотя все прочие и в письмах и в беседах величали его царем, сам писал свои письма точно так же, как и прежде.

Все это означало не только дополнение к имени и перемену во внешнем обличии: новое достоинство внушило властителям новый образ мыслей, подняло их в собственных глазах, внесло в их жизнь и обхождение с окружающими нарочитую степенность и суровость – так трагические актеры вместе с платьем и маской меняют и походку, и голос, манеру ложиться к столу и разговаривать с людьми. С этих пор они стали нетерпимее и жестче в своих требованиях, откинув притворную скромность, которая прежде прикрывала их могущество, делая его сравнительно легким и необременительным для подданных. Такой огромною силой обладало одно-единственное слово льстеца, и такой переворот произвело оно в целом мире!

19. Воодушевленный подвигами Деметрия на Кипре, Антигон без промедления выступил против Птолемея, приняв на себя командование сухопутными силами, меж тем как Деметрий плыл рядом во главе большого флота. Каким образом суждено было завершиться этому начинанию, увидел во сне Медий, один из друзей Антигона. Снилось ему, будто Антигон со всем войском участвует в двойном пробеге[17] и сперва бежит размашисто и скоро, но затем начинает сдавать, а после поворота и вовсе слабеет, едва переводит дух и с трудом держится на ногах. И верно, Антигон столкнулся на суше со многими непреодолимыми препятствиями, а Деметрия страшная буря и огромные волны чуть было не выбросили на дикий, лишенный гаваней берег, и он потерял немалую часть своих судов, так что оба вернулись ни с чем.

Антигону было уже без малого восемьдесят, но не столько годы, сколько тяжесть грузного тела, непомерно обременявшая носильщиков, уже не позволяла ему исполнять обязанности полководца, а потому впредь он пользовался службою сына, который с блеском распоряжался самыми важными и трудными делами благодаря своему опыту и удаче. Мотовство сына, его страсть к роскоши и вину не слишком беспокоили старого царя, ибо лишь во время мира необузданно предавался Деметрий своим страстям и на досуге утопал в наслаждениях, не зная ни предела, ни меры, но стоило начаться войне – и он сразу трезвел, обнаруживая рассудительность человека, воздержного от природы. Рассказывают, что однажды, когда власть Ламии уже не была ни для кого тайною, Деметрий, вернувшись из путешествия, нежно целовал отца, и Антигон со смехом заметил: "Тебе, верно, кажется, что ты целуешь Ламию, мой мальчик". В другой раз он много дней подряд пьянствовал, а всем говорил, будто болезненные истечения не давали ему выйти из дому. "Это я знаю, – сказал Антигон, – да только что там текло – фасосское или хиосское[18]?" Услышав, что сын снова занемог, Антигон отправился его навестить и в дверях столкнулся с каким-то красивым мальчиком. Он сел подле постели больного и взял его руку, чтобы сосчитать пульс, а когда Деметрий сказал, что лихорадка теперь уже ушла, ответил: "Конечно, ушла, сынок, и даже только что встретилась мне в дверях". Так снисходителен был Антигон к подобным проступкам Деметрия ради иных его деяний. Скифы, если напиваются допьяна, чуть пощипывают тетивы луков, словно пробуждая свой дух, расслабленный и усыпленный наслаждением, но Деметрий отдавал себя всего безраздельно то заботе, то удовольствию, никогда не смешивая и не сочетая одну с другим, и потому, готовясь к войне, проявлял свое усердие и искусство в полном блеске.

20. Да, именно готовя боевую силу, а не используя ее в деле, обнаруживал Деметрий, сколько можно судить, лучшие стороны своего военного дарования. Он хотел, чтобы все необходимое было под рукою в изобилии; он был ненасытен в строительстве огромных кораблей и осадных машин и находил немалое удовольствие в наблюдении за этими работами. Способный и вдумчивый, он не обращал природную изобретательность на бесполезные забавы, как иные из царей, которые играли на флейте, занимались живописью или ремеслом чеканщика. Македонянин Аэроп[19] на досуге мастерил маленькие столики и светильники. Аттал Филометор разводил целебные растения – не только белену и чемерицу, но и цикуту, наперстянку и живокость, – сам сеял и выращивал их в дворцовом саду, старался распознать свойства их соков и плодов и никогда не забывал вовремя собрать посеянное. Скифские цари гордились тем, что собственными руками оттачивают и заостряют наконечники стрел. Однако у Деметрия даже занятия ремеслами были поистине царскими, замыслы его отличались широким размахом, а творения, кроме изощренной изобретательности, обнаруживали высоту и благородство мысли, так что казались достойными не только ума или могущества, но и рук царя. Гигантскими размерами труды эти пугали даже друзей, красотою тешили даже врагов. Это сказано всерьез, а не для красного словца. Враги дивились и восхищались, глядя на корабли с шестнадцатью и пятнадцатью рядами весел, проплывавшие мимо их берегов, а "Погубительницы городов"[20] так и приковывали взоры осажденных – сами события неопровержимо об этом свидетельствуют. Когда Деметрий осаждал Солы в Киликии, Лисимах, его противник и вообще самый злой враг Деметрия среди царей, прислал к нему гонца с просьбою показать военные машины и корабли в плавании. Деметрий показал, и Лисимах в изумлении удалился от Сол. Родосцы, которых Деметрий долго держал в осаде, после конца войны просили оставить им несколько машин как памятник его мощи и их мужества.

21. Родосцы были союзниками Птолемея. Объявивши им войну, Деметрий подвел к стенам Родоса самую большую из "Погубительниц", с опорою в виде прямоугольника, каждая сторона которого в нижней части равнялась сорока восьми локтям[21], а в вышину машина была шестидесяти шести локтей, причем кверху грани начинали сходиться, так что вершина башни была у́же основания. Изнутри она разделялась на ярусы со многими помещениями, и с лицевой, обращенной к неприятелю грани на каждом ярусе открывались бойницы, сквозь которые летели всевозможные метательные снаряды: башня была полна воинами любого рода и выучки. На ходу она не шаталась и не раскачивалась, а ровно и неколебимо стояла на своей опоре, подвигаясь вперед с оглушительным скрипом и грохотом, вселяя ужас в сердце зрителей, но взорам их неся невольную радость.

Нарочито для войны с родосцами Деметрию привезли с Кипра два железных панциря весом по сорок мин каждый. Чтобы показать несокрушимую их крепость, оружейник Зоил велел выстрелить из катапульты с двадцати шагов, и стрела не только не пробила железо, но даже царапину оставила едва заметную, словно бы нанесенную палочкой для письма. Этот панцирь Деметрий взял себе, а второй отдал эпирцу Алкиму, самому воинственному и крепкому из своих под-

чиненных: полный доспех его весил два таланта – вдвое больше, чем у любого из остальных солдат. Там же на Родосе, в битве близ театра, Алким погиб.

22. Родосцы ожесточенно сопротивлялись, но Деметрий, хотя успехи его были ничтожны, упорно продолжал осаду, до крайности озлобленный тем, что враги перехватили судно с письмами, одеждой и покрывалами, которые послала ему его супруга Фила, и отправили корабль и весь груз к Птолемею, не взявши за образец благородное человеколюбие афинян, которые, когда в их руки попались гонцы Филиппа, все остальные письма прочли и только письма Олимпиады не вскрыли и нераспечатанными доставили противнику. Деметрий был глубоко оскорблен, но когда вскоре представился случай отплатить родосцам обидою за обиду, он этим случаем не воспользовался. Как раз в ту пору Протоген из Кавна писал для них картину, изображающую историю Иалиса[22], и эту картину, уже почти завершенную, Деметрий захватил в каком-то пригороде. Родосцы через глашатая молили его пощадить работу Протогена, и Деметрий в ответ заявил, что скорее сожжет изображения своего отца, чем погубит столь великий труд художника. Говорят, что семь лет жизни потратил Протоген на свою картину. Апеллес, глядя на нее, был до того потрясен, что, по его же собственным словам, лишился дара речи и лишь позже промолвил: “Велик был труд и изумительно творение”. Однако, прибавил он, этой картине не достает той небесной прелести, которая присуща его собственной живописи. Впоследствии эту картину вместе со всеми остальными увезли в Рим, и там она сгорела во время какого-то пожара.

Родосцы отбивались с прежним мужеством, и Деметрий уже искал лишь благовидного предлога, чтобы снять осаду. Тут появились афиняне и примирили враждующих на условии, что родосцы будут союзниками Антигона и Деметрия во всех случаях, кроме войны с Птолемеем.

23. Кассандр осадил Афины, и город звал Деметрия на выручку. Выйдя в плавание с тремястами судов и большим пешим войском, он не только изгнал Кассандра из Аттики, но преследовал бегущего до самых Фермопил, нанес ему там еще одно поражение и занял Гераклею, добровольно к нему присоединившуюся. После этой победы шесть тысяч македонян перебежали на сторону Деметрия. Возвращаясь назад, он объявил свободу всем грекам, обитавшим к югу от Фермопильского прохода, заключил договор о союзе с беотийцами, взял Кенхреи и, захвативши Филу и Панакт, две аттические крепости, где стояли сторожевые отряды Кассандра, передал их афинянам. А те, хотя уже прежде излили на него все мыслимые и немыслимые почести, еще раз показали себя неисчерпаемо изобретательными льстецами, отведя Деметрию для жилья внутреннюю часть Парфенона. Там он и поместился, и все говорили, что Афина принимает в своем доме гостя, – не слишком-то скромного, клянусь богами, гостя и мало подобающего для девичьих покоев![23]

В самом деле, однажды, когда брат Деметрия Филипп остановился в доме, где жили три молодые женщины, Антигон, узнав об этом, самому Филиппу не сказал ни слова, но, послав за человеком, который разводил свиту на постой, обратился к нему в присутствии сына: “Эй, ты, любезный, изволь-ка вызволить моего сына из этой тесноты!”

(24). А Деметрий, которому надлежало чтить Афину если не по иным каким соображениям, то хотя бы по долгу младшего брата богини – ибо так он пожелал именоваться, – день за днем осквернял Акрополь столь гнусными насилиями над горожанками и свободнорожденными мальчиками, что чище всего это место казалось, когда он распутничал с Хрисидой, Ламией, Демо́, Антикирой, всесветно знаменитыми потаскухами. Вообще излагать подробности я не стану – из уважения к Афинам, – но было бы неправильно и несправедливо обойти молчанием доблесть и чистоту Дамокла. Этот Дамокл, еще совсем юный, не избегнул, однако, внимания Деметрия, ибо само прозвище мальчика выдавало редкую его прелесть: его прозвали Дамоклом Прекрасным. Ни на какие обольщения, подарки или же угрозы он не поддавался и в конце концов перестал посещать палестры и гимнасий и только ходил мыться в частную баню. Туда и проскользнул Деметрий следом за ним, улучив время, когда Дамокл остался один, а мальчик, убедившись, что помощи ждать не от кого, сбросил крышку с медного котла и прыгнул в кипящую воду. Так он погиб незаслуженною и жалкою смертью, но выказал благородство, достойное его отечества и его красоты, – не то, что Клеэнет, сын Клеомедонта, который "исхлопотал" помилование своему отцу, присужденному к штрафу в пятьдесят талантов, и, предъявив народу письмо Деметрия, не только опозорил самого себя, но и в городе посеял смуту и беспорядки. Ибо Клеомедонта афиняне от наказания освободили, но вслед за тем приняли закон, чтобы никто из граждан писем от Деметрия не приносил. Деметрий не на шутку разгневался, и афиняне, вновь перепугавшись, не только отменили закон, но и тех, кто его предложил или высказывался в его поддержку, изгнали, а иных даже казнили. В довершение ко всему было вынесено следующее решение: "Афинский народ постановляет – все, что ни повелит царь Деметрий, да будет непорочно в глазах богов и справедливо в глазах людей". Когда же кто-то из лучших граждан воскликнул, что Стратокл, который предлагал это постановление, просто безумец, Демохар из дема Левконоя заметил: "Напротив, он был бы безумцем, если бы не был безумцем". И верно, Стратокл извлек немало выгод из своей лести. За эти слова Демохар поплатился доносом и изгнанием. Так-то вот жили афиняне, казалось бы, свободные после избавления от вражеского сторожевого отряда!

25. Затем Деметрий двинулся в Пелопоннес; никто из противников не смел оказать ему сопротивления, но все бежали, бросая города, и он присоединил к себе так называемый Скалистый берег и всю Аркадию, кроме Мантинеи, а Сикион, Аргос и Коринф очистил от сторожевых отрядов, подкупив солдат и начальников взяткою в сто талантов. В Аргосе он взял на себя распорядительство на играх – как раз подошло время Герей[24] – и, справляя праздник вместе с греками, женился на Деидамии, дочери царя молоссов Эакида и сестре Пирра. Сикионянам он сказал, что они поселились не там, где следовало, и убедил их перебраться туда, где они обитают и поныне. Заодно с местом Деметрий изменил и название города, переименовав его из Сикиона в Деметриаду.

На Истме состоялся Всеобщий совет, и при громадном стечении народа Деметрий был провозглашен вождем Эллады, как прежде Филипп и Александр; обоих, однако ж, Деметрий, кичась своим счастьем, которое тогда так привет-

ливо ему улыбалось, и своим огромным могуществом, полагал гораздо ниже себя. Александр никого из царей титула не лишил и себя царем царей никогда не называл, хотя многие приняли из его рук и венец, и царство, а Деметрий зло потешался над теми, кто именовал царем кого бы то ни было еще, кроме него самого и Антигона, и с удовольствием прислушивался, когда за вином звучали здравицы в честь царя Деметрия, Селевка – начальника слонов, Птолемея – начальника флота, Лисимаха – хранителя казны, Агафокла – правителя Сицилии. Другим царям доносили об этих потехах Деметрия, но они лишь посмеивались, и только один Лисимах негодовал на то, что Деметрий считает его скопцом: как правило, хранители казны были евнухи. Вообще Лисимах был самым заклятым его врагом. Глумясь над любовью Деметрия к Ламии, он говорил, что впервые видит потаскуху выступающей в трагедии, а Деметрий в ответ: "Моя потаскуха чище Лисимаховой Пенелопы".

26. Отправляясь в обратный путь, Деметрий написал в Афины, что немедленно, как только прибудет, желает пройти посвящение в таинства, причем весь обряд целиком, от низшей до созерцательной ступени, намерен постигнуть сразу. Это было противно священным законам и никогда прежде не случалось, ибо Малые таинства справлялись в месяце анфестерионе, Великие – в боэдромионе, а к созерцательной ступени посвященных допускали не раньше, чем через год после Великих таинств[25]. Но когда прочитали письмо Деметрия, выступить с возражениями отважился один лишь факелоносец Пифодор, да и то безо всякого толку, потому что афиняне, послушавшись совета Стратокла, решили называть и считать мунихион анфестерионом и справили, нарочито для Деметрия, священнодействия в Агре[26]. После этого мунихион из анфестериона превратился в боэдромион, Деметрий принял дальнейшее посвящение и сразу же был приобщен к числу "созерцателей". По этому случаю Филиппид в укор и поношение Стратоклу написал:

> Годичный целый срок в единый месяц сжал.

И еще – насчет постоя в Парфеноне:

> Святой акрополь наш в харчевню превратив,
> К Афине-деве в храм распутниц он привел.

27. Среди многочисленных злоупотреблений и беззаконий, которые тогда творились, больнее всего, как сообщают, уязвил афинян приказ безотлагательно раздобыть двести пятьдесят талантов, ибо, увидев, что деньги собраны – а взыскивались они с неумолимою строгостью, – Деметрий распорядился передать всё Ламии и другим гетерам на мыло, румяна и притирания. Больше убытка граждан тяготил позор, и молва была горше самого дела. Некоторые, правда, говорят, что эту шутку Деметрий сыграл не с афинянами, а с фессалийцами. Кроме того Ламия и сама, готовя для царя пир, многих обложила своего рода налогом, и пир этот роскошью и великолепием прославился настолько, что Линкей Самосский описал его в особом сочинении. Вот почему один из комических поэтов очень удачно и верно прозвал Ламию "Погубительницей городов". А самого Деметрия Демохар из Сол называл "Мифом": в мифах, дескать, своя

Ламия[27], а у него – своя. Любовь и расположение Деметрия к этой женщине внушали ревность и зависть не только его супругам, но и друзьям. Однажды от него прибыло посольство к Лисимаху, и тот, на досуге, показывал гостям глубокие шрамы у себя на бедрах и на руках, и говорил, что это следы львиных когтей и что остались они после схватки со зверем, наедине с которым запер его когда-то царь Александр. Тут послы со смехом заметили, что их царь тоже носит на шее следы от укусов дикого и страшного зверя – Ламии. Удивительно, как Деметрий, который вначале питал отвращение к Филе из-за различия в годах, впоследствии не устоял перед Ламией и так долго любил ее, уж отцветшую и стареющую! Однажды за пиром Ламия играла на флейте, и Деметрий спросил Демó, по прозвищу Бешеная: "Ну, как на твой взгляд?" – "На мой взгляд – старуха, государь", – отвечала гетера. В другой раз, указывая на изысканные блюда, которые подали к столу, Деметрий сказал ей: "Видишь, сколько всего посылает мне моя Ламия?" – "А ты поспи еще с моей матерью – она пошлет тебе и того больше", – возразила Демó.

Часто рассказывают о возражении Ламии на знаменитый приговор Бокхорида. Один египтянин был влюблен в гетеру Тониду, но та назначила огромную плату, а потом ему привиделось во сне соитие с нею, и страсть его сразу иссякла. Тогда Тонида через суд потребовала назначенной ею суммы. Выслушав обстоятельства дела, Бокхорид велел ответчику отсчитать все деньги сполна, положить монеты в сосуд и провести несколько раз перед глазами гетеры, а истице – забрать тень сосуда, ибо сон – не более, чем тень действительности. Приговор этот Ламия считала несправедливым. Ведь желание гетеры получить деньги, рассуждала Ламия, тень не уняла, а сон страсть влюбленного утолил. Вот что я хотел рассказать о Ламии.

28. Тут судьба и история человека, чью жизнь мы описываем, как бы переносит действие с комической сцены на трагическую. Все цари заключили союз против Антигона и сплотили свои силы воедино. Деметрий покинул Грецию, соединился с отцом и, видя, что Антигон готовится к войне с таким честолюбивым рвением, какого трудно было ожидать в его годы, сам ощутил новый прилив мужества и бодрости. Между тем представляется вероятным, что если бы Антигон пошел хоть на малые уступки и несколько утишил свое непомерное властолюбие, он до конца удержал бы главенство среди царей и передал его сыну. Однако, суровый и спесивый от природы, столь же резкий в речах, как и в поступках, он раздражал и восстанавливал против себя многих молодых и могущественных соперников. И в тот раз он хвастливо говорил о своих врагах, что без труда разгонит их сборище, как одним-единственным камнем или криком вспугивают птиц, слетевшихся клевать зерна, брошенные рукою сеятеля. У Антигона было собрано свыше семидесяти тысяч пехоты, десять тысяч конницы и семьдесят пять слонов, у неприятелей – конницы на пятьсот клинков больше, слонов четыреста да сто двадцать боевых колесниц; пехоты, правда, всего шестьдесят четыре тысячи. Когда оба войска сошлись, настроение Антигона изменилось, надежды его поколебались, но намерения остались неизменны. Прежде в битвах он бывал всегда самоуверен и неприступно горд, говорил громко и надменно, а нередко отпускал язвительные остроты даже во время рукопашной,

выказывая этим твердость духа и презрение к врагу. Теперь, напротив, его видели молчаливым и задумчивым, он представил сына воинам и назвал его своим преемником. Но в особенности всех поразило вот что: Антигон закрылся наедине с Деметрием в своей палатке и держал с ним совет, тогда как раньше не посвящал в свои замыслы даже сына, но все решал сам, в полном одиночестве, а затем лишь объявлял эти решения и распоряжался, ничего в них не меняя. Рассказывают, что однажды, еще в ранние годы, Деметрий спросил отца, когда они будут сниматься с лагеря, и Антигон в сердцах воскликнул: "Ты что же, боишься, что один из всего войска не услышишь трубы?"

29. Кроме всего прочего обоих тревожили и угнетали дурные знамения. Деметрию приснился Александр в богатом вооружении, который спрашивал, какой клич дают они с отцом для предстоящей битвы: "Зевс и Победа" – сказал ему Деметрий. И Александр в ответ: "Тогда я ухожу к вашим врагам – они принимают меня к себе". Когда пехота уже выстроилась к бою, Антигон, выходя из палатки, споткнулся, упал ничком и сильно расшибся. Поднявшись на ноги, он простер руки к небесам и просил у богов либо победы, либо внезапной и безболезненной смерти до поражения. Завязался бой, и Деметрий во главе многочисленной и отборной конницы ударил на Антиоха, сына Селевка. Он сражался великолепно и обратил неприятеля в бегство, однако слишком увлекся преследованием и неуместное это честолюбие сгубило победу, ибо и сам Деметрий, возвратившись, уже не смог соединиться с пехотой – путь ему тем временем успели загородить вражеские слоны, – и фаланга осталась без прикрытия, что, разумеется, не укрылось от взора Селевка, который, однако, не напал на пехотинцев, а только теснил их, грозя нападением и как бы призывая перейти на его сторону. Так оно и вышло: значительная часть фаланги откололась и сдалась, остальные пустились бежать. Теперь враги тучей устремились на Антигона, и кто-то из приближенных воскликнул: "Царь, они метят в тебя!" – "Какая же еще может быть у них цель? – возразил Антигон. – Но Деметрий подоспеет на выручку". Эту надежду он сохранил до конца и всё озирался, ища глазами сына, пока не пал, пронзенный сразу несколькими, пущенными в него копьями. Все слуги и друзья тут же бросили мертвого, единственный, кто остался подле тела, был Форак из Лариссы.

30. После битвы цари-победители расчленили всю державу Антигона и Деметрия, словно некое огромное тело, и, поделивши части между собою, присоединяли новые провинции к прежним своим владениям. Деметрий с пятью тысячами пехоты и четырьмя тысячами конницы почти без остановок бежал до Эфеса, и, меж тем как все опасались, что, испытывая нужду в деньгах, он разграбит храм[28], сам он, в свою очередь, боялся, как бы этого не сделали его солдаты, а потому без промедлений двинулся дальше и поплыл в Грецию, последние свои упования возлагая на афинян. У них оставались и суда Деметрия, и его деньги, и супруга Деидамия, и он полагал, что в эту годину бедствий нет для него надежнее прибежища, чем расположение и любовь афинян. Вот почему, когда подле Кикладских островов его встретили афинские послы и просили не приближаться к их городу, ибо народ постановил никого из царей не принимать и не впускать, Деидамию же со всеми подобающими почестями проводил в Ме-

гары, – Деметрий был вне себя от гнева, хотя до сих пор переносил свое несчастие с полным спокойствием и, невзирая на столь резкую перемену обстоятельств, ни в чем не уронил себя и не унизил. Но обмануться в афинянах вопреки всем ожиданиям, узнать, что их любовь, на самом деле, – пустое притворство, было для Деметрия нестерпимою мукой. Да, сколько я могу судить, непомерные почести – самое ненадежное свидетельство расположения толпы к царям и властителям, ибо почести ценны лишь тогда, когда их оказывают по доброй воле, а почестям, воздаваемым из страха, доверять нельзя: ведь одни и те же постановления выносит и боязнь, и нелицемерное доброжелательство. А поэтому люди разумные смотрят не на статуи, картины и раболепное поклонение, приравнивающее их к богам, а на собственные дела и поступки, и уже в зависимости от них различают почести искренные и вынужденные, и первым верят, а вторых вовсе не принимают в расчет: они знают, как часто народ ненавидит именно тех, кому воздает почести и кто с ненасытимою алчностью и спесью принимает их от недоброхотных даятелей.

31. Деметрий чувствовал себя жестоко и несправедливо оскорбленным, но отомстить за обиду был не в состоянии и только отправил к афинянам посланцев со сдержанными укорами и требованием вернуть ему его суда, среди которых было одно с тринадцатью рядами гребцов. Получив корабли, он поплыл к Истму, а оттуда, убедившись, что дела идут из рук вон плохо, – города, один за другим, изгоняли его сторожевые отряды, и все переходило на сторону врагов, – сам направился к Херсонесу, в Греции же оставил Пирра. Разоряя земли Лисимаха, Деметрий, вместе с тем, обогащал и удерживал от распадения собственное войско, которое мало-помалу вновь становилось грозною силой. Лисимаху другие цари никакой помощи не оказывали, считая, что он нисколько не лучше Деметрия – разве что более опасен, как более могущественный.

Немного спустя Селевк прислал сватов, прося руки Стратоники, дочери Деметрия и Филы. Хотя у Селевка уже был сын от персиянки Апамы, он считал, что держава его и достаточно обширна для нескольких наследников и, вместе с тем, нуждается в родственном союзе с Деметрием, поскольку Лисимах, как ему стало известно, брал одну из дочерей Птолемея в жены себе и еще одну – своему сыну Агафоклу. Для Деметрия свойство с Селевком оказалось неожиданным счастием. Он посадил дочь на корабль и со всем флотом поплыл прямо в Сирию, однако по пути вынужден был сделать несколько остановок и, между прочим, пристал к берегу Киликии, которую цари после битвы с Антигоном отдали во владение Плистарху, брату Кассандра. Сочтя высадку Деметрия вражеским набегом и желая принести жалобу на Селевка, который готов примириться с общим неприятелем без ведома и согласия остальных царей, Плистарх отправился к Кассандру.

32. Узнав об этом, Деметрий двинулся в глубь страны, к Киндам. Там он обнаружил в сокровищнице нетронутые тысячу двести талантов, забрал деньги, успел погрузить их на корабли и поспешно вышел в море. Той порой приехала и Фила, супруга Деметрия, и подле Россоса[29] они встретились с Селевком. Эта встреча от начала до конца была поистине царской, свободной от коварства и взаимных подозрений. Сперва Селевк давал Деметрию пир в своем шатре, по-

среди лагеря, потом Деметрий принимал Селевка на огромном судне с тринадцатью рядами весел. Были тут и совещания, и досужие беседы, и увеселения, тянувшиеся иной раз целый день; наконец, забрав Стратонику, Селевк торжественно отбыл в Антиохию.

Деметрий завладел Киликией и отправил к Кассандру его сестру, а свою супругу Филу, чтобы очиститься от обвинений Плистарха. В это время из Греции приплыла Деидамия, но вскоре заболела и умерла, а так как Деметрий, заботами Селевка, заключил дружеский союз и с Птолемеем, было условлено, что он женится на дочери Птолемея Птолемаиде. До сих пор Селевк держал себя благородно, но когда затем он попросил, чтобы Деметрий за деньги уступил ему Киликию, и, получив отказ, в ярости стал требовать возврата Сидона и Тира, его уже нельзя было назвать иначе, как обидчиком и насильником, ибо, подчинив своей власти все земли от пределов Индии до Сирийского моря, он выказал себя бесконечно мелочным и жадным до власти. Из-за двух городов он не постыдился притеснять свойственника, человека, испытавшего жестокие удары судьбы, и своим примером как нельзя лучше подтвердил слова Платона, что желающему истинного богатства следует не увеличивать имущество, но умерить собственную ненасытность: кто не положит предела жажде наживы, тот никогда не избавится ни от бедности, ни от нужды[30].

33. Деметрий, однако, не дал себя запугать. Объявив, что не только Ипс, но и еще тысяча подобных поражений не заставят его платить за такого зятя, как Селевк, он усилил караульные отряды в обоих городах, а сам, получив известие, что Лахар воспользовался смутою в Афинах и установил тираннию, загорелся надеждою без труда захватить город, внезапно появившись под его стенами. С большим флотом он благополучно пересек море, но когда плыл вдоль берега Аттики, попал в бурю и лишился почти всех судов и значительной части войска. Сам Деметрий избегнул гибели и начал войну с афинянами, вполне, однако же, безуспешную, а потому, отправив своих людей собирать новый флот, ушел в Пелопоннес и осадил Мессену. Во время одной из схваток он едва не погиб – стрела из катапульты попала ему в лицо, пробила щеку и вошла в рот. Оправившись от раны, Деметрий привел к покорности несколько изменивших ему городов, а затем снова вторгся в Аттику, занял Элевсин и Браврон и стал опустошать страну. Захватив судно, груженное хлебом и державшее путь в Афины, он повесил купца вместе с кормчим и этим навел такой страх на остальных мореходов, что в городе начался голод, к которому вскоре прибавилась острая нужда во всем самом необходимом. За медимн соли платили сорок драхм, за медимн пшеницы – триста. Птолемей послал на помощь афинянам полтораста судов, и они бросили якорь у Эгины, но передышка, которую доставила осажденным эта подмога, оказалась непродолжительной, ибо к Деметрию явилось множество кораблей из Пелопоннеса и с Кипра, общим числом около трехсот, и моряки Птолемея поспешно удалились, а тиранн Лахар бежал, бросив город на произвол судьбы.

34. Тут афиняне, хотя сами же ранее постановили казнить любого, кто хоть словом упомянет о мире с Деметрием, немедля отворили ближайшие к противнику ворота и отправили послов, не ожидая, правда, для себя ничего хорошего,

но не в силах дольше терпеть нужду. Из многих ужасных рассказов, которые оставила по себе эта осада, я приведу лишь один. Отец с сыном, отчаявшись во всех надеждах, сидели вдвоем в комнате, как вдруг из-под крыши упала дохлая мышь, и, увидев ее, оба вскочили на ноги и сцепились в драке из-за этой "добычи". Писатели сообщают, что и философ Эпикур делил со своими учениками бобы строго по счету и то была единственная их пища.

В таком положении находился город, когда в него вступил Деметрий и, приказав всем собраться в театре, оцепив скену вооруженными солдатами, а вокруг логия[31] расставив собственных телохранителей, спустился верхними проходами, по примеру трагических актеров, и этим вконец напугал афинян, но первыми же словами своей речи освободил и избавил их от страха. Он воздержался и от резкого тона, и от суровых слов, но, после недолгих и дружеских укоров, объявил им прощение, подарил сто тысяч медимнов хлеба и назначил должностных лиц, более всего угодных народу. Оратор Драмоклид, убедившись, что народ ликует от всей души и нестройными криками восторга хочет превзойти своих вожаков, восхвалявших Деметрия с ораторского возвышения, предложил передать царю Деметрию Пирей и Мунихию. Тут же был принят соответствующий закон, а Деметрий, по собственному почину, разместил караульный отряд еще и на Мусее[32], чтобы афиняне, снова взбунтовавшись, не доставили ему новых хлопот и огорчений.

35. Завладев Афинами, Деметрий тут же устремил свои мысли и взгляды к Лакедемону. Он разбил царя Архидама, который встретил его при Мантинее, и вторгся в Лаконию. Выиграл он и второе сражение, перед самою Спартой, истребив двести человек и взявши в плен пятьсот, и, казалось, уже держал в своих руках город, еще никогда не бывавший под властью неприятеля. Но, по-видимому, ни один из царей не изведал столь крутых и стремительных поворотов судьбы, и ничья участь не менялась столь часто, из жалкой обращаясь в блистательную, и снова в ничтожную из великой и высокой. Потому-то и сам Деметрий всякий раз, когда счастье переставало ему улыбаться, обращался к судьбе с Эсхиловым стихом:

Ты вознесла меня, и ты ж свергаешь в прах[33].

Вот и тогда, меж тем как обстоятельства были столь благоприятны для него и открывали широкий путь к власти и могуществу, пришли сообщения, что Лисимах отнял у него города в Азии и, далее, что Птолемей занял весь Кипр, кроме одного лишь города Саламина, а Саламин осаждает, заперши там детей и мать Деметрия. Однако ж судьба, которая, словно женщина у Архилоха,

В одной руке воду несла
И, лукавство тая, в другой скрывала огонь,

обрушив на Деметрия эти злые и грозные вести и уведя его из Лакедемона, сразу вслед за тем принесла ему свежие надежды и внушила совершенно новые и далеко идущие замыслы.

36. После смерти Кассандра македонянами правил старший из его сыновей, Филипп, но вскоре умер и он, а двое оставшихся вступили между собою в борь-

бу. Один из них, Антипатр, умертвил мать, Фессалонику, и тогда другой послал за помощью к Пирру, в Эпир, и к Деметрию, в Пелопоннес. Первым подоспел Пирр[34], но в награду за помощь захватил значительную часть Македонии, и это близкое соседство пугало Александра. Когда же, получив письмо, явился с войском и Деметрий, юноша, хорошо зная его славу, испугался еще сильнее и, выступив навстречу ему к Дию, горячо и любезно приветствовал своего защитника, но объявил, что обстоятельства больше не требуют его присутствия. Сразу же зашевелились взаимные подозрения, а когда Деметрий шел к молодому царю на пир, кто-то донес, что после пира, за вином, Александр замышляет его убить. Деметрий нисколько не растерялся и только, запоздав на короткое время, отдал приказ начальникам держать войско в боевой готовности, а своим провожатым и слугам – которых было гораздо больше, чем у Александра, – велел войти вместе с ним в мужские покои и не выходить, пока он сам не встанет из-за стола. Александр испугался и не посмел исполнить задуманного. Деметрий, сославшись на то, что худо себя чувствует и не склонен пить, быстро ушел, а на другой день стал собираться в путь. Александру он сказал, будто получил новые важные известия, и просил извинить его, за то что побыл так недолго, обещая, что в другой раз, на досуге, они проведут вместе больше времени. Александр был рад, что Деметрий покидает страну без злобы, по доброй воле, и провожал его до Фессалии. Когда же они очутились в Ларисссе, снова начались взаимные любезности и приглашения, причем каждый готовил другому гибель. Это именно и отдало Александра во власть Деметрия: не принимая должных мер предосторожности, чтобы не толкнуть и противника на ответные меры, и слишком долго медля в расчете вернее захватить врага, он не успел осуществить свой коварный замысел, но сам, первый, сделался жертвой коварства. Деметрий позвал его на пир, и он пришел. В разгар угощения Деметрий встал; заметив это, встал в испуге и Александр и двинулся к выходу. В дверях стояли телохранители Деметрия, и, бросив им всего два слова: "Бей следующего!" – Деметрий выскользнул наружу, Александр же был зарублен стражею, а вместе с ним и друзья, которые кинулись на помощь. Как сообщают, один из македонян, умирая, сказал, что Деметрий опередил их только лишь на день.

37. Ночь, как и следовало ожидать, прошла в смятении и замешательстве, однако враждебных выступлений не было, а наутро Деметрий послал в лагерь к македонянам гонца с сообщением, что хочет говорить с ними и оправдаться в своих действиях. Это успокоило и ободрило македонян, страшившихся силы Деметрия, они решили принять его дружелюбно, и, когда он прибыл, в долгих речах нужды не оказалось: матереубийцу Антипатра они ненавидели, где искать лучшего государя, не знали, а потому провозгласили царем Деметрия и немедля повели его в Македонию. Перемена эта была принята не без удовольствия и в самой Македонии, где постоянно помнили о злодеяниях, которые совершил Кассандр против умершего Александра, а если еще сохранялась какая-то память о старшем Антипатре и его справедливости, то и она была на пользу Деметрию, супругу Филы, родившей ему сына и наследника, который в то время был уже взрослым юношей[35] и участвовал в походе под начальством отца.

38. Взысканный такой удивительною удачей, Деметрий вскорости узнает, что

дети его и мать на свободе – Птолемей не только отпустил их с миром, но и осыпал дарами и почестями, – а затем приходит известие о дочери, выданной за Селевка: она сделалась женою Антиоха, сына Селевка, и царицею над варварами внутренних областей Азии. Случилось так, что Антиох влюбился в Стратонику, которая, несмотря на юные годы, уже родила от Селевка, и, чувствуя себя несчастным, прилагал все усилия к тому, чтобы прогнать страсть, но, в конце концов, пришел к убеждению, что желание его чудовищно, недуг же – неисцелим и, словно обезумев, принялся искать способа покончить с собою. Он представился больным и постепенно изнурял свое тело, отказываясь от пищи и необходимого ухода. Лекарь Эрасистрат без труда догадался, что царский сын влюблен, и, решивши разузнать, в кого именно, – а это было задачею далеко не простою, – постоянно оставался в его спальне, и всякий раз, как входил красивый юноша или красивая женщина, внимательно всматривался в лицо Антиоха и наблюдал за теми членами тела, которые, по природе своей, особенно живо разделяют волнения души. На любое из прочих посещений больной отвечал одинаковым безразличием, но стоило показаться Стратонике, одной или же вместе с Селевком, как тут же являлись все признаки, описанные Сапфо[36]: прерывистая речь, огненный румянец, потухший взор, обильный пот, учащенный и неравномерный пульс, и, наконец, когда душа признавала полное свое поражение, – бессилие, оцепенение и мертвенная бледность; вдобавок к этому Эрасистрат рассудил, что сын царя, полюби он какую угодно иную женщину, едва ли стал бы молчать и терпеть до самой смерти. Хотя высказать суждение, которое он составил, лекарь считал отнюдь не безопасным, тем не менее, полагаясь на отцовское чувство Селевка, он однажды набрался смелости и объявил, что болезнь юноши – страсть, и страсть непреодолимая и безнадежная. "Почему же безнадежная?" – спросил в испуге царь. "Потому, клянусь Зевсом, – отвечал Эрасистрат, – что любит он мою жену". – "Так неужели ты, Эрасистрат, не пожертвуешь своим браком ради моего сына? – воскликнул Селевк. – Ведь ты мой друг, и ты знаешь, что единственная моя опора – это он!" – "Но на такую жертву не пошел бы даже ты, родной отец", – возразил Эрасистрат. А Селевк ему в ответ: "Ах, дорогой мой, если бы только кто из богов или из людей обратил его страсть в эту сторону! Да ради жизни Антиоха я не пожалел бы и царства!" Эти слова Селевк произнес в крайнем волнении, обливаясь слезами, и тогда лекарь протянул ему руку и сказал, что Селевк не нуждается в услугах Эрасистрата, ибо, в одном лице, он и отец и супруг, и владыка и наилучший целитель собственного дома. После этого разговора Селевк созвал всенародное Собрание и объявил свою волю поженить Антиоха и Стратонику и поставить его царем, а ее царицею надо всеми внутренними областями своей державы. Он надеется, продолжал Селевк, что сын, привыкший во всем оказывать отцу послушание и повиновение, не станет противиться и этому браку, а если Стратоника выразит неудовольствие его поступком, который нарушает привычные понятия, он просит друзей объяснить и внушить женщине, что решения царя принимаются ради общего блага, а потому должны почитаться прекрасными и справедливыми. При таких-то обстоятельствах, как рассказывают, был заключен брак Антиоха и Стратоники.

39. После Македонии Деметрий захватил и Фессалию. Владея к этому времени большей частью Пелопоннеса, а по сю сторону Истма – Мегарами и Афинами, он двинулся походом на беотийцев. Те сперва заключили с ним дружественный договор на умеренных условиях, но затем в Фивы явился спартанец Клеоним с войском, беотийцы воспрянули духом и расторгли союз с Деметрием, к чему их всячески склонял и феспиец Писид, один из самых знаменитых и влиятельных в ту пору людей. Тогда Деметрий придвинул к стенам Фив осадные машины и осадил город, и перепуганный Клеоним тайно бежал, а беотийцы, в ужасе, сдались на милость победителя. По общему суждению Деметрий обошелся с ними не слишком строго: он расставил в городах сторожевые отряды, взыскал большой денежный штраф и назначил правителем историка Иеронима. Однако всего больше восхищения вызвал его поступок с Писидом, которому он не причинил ни малейшего вреда, напротив – дружески с ним беседовал и сделал полемархом в Феспиях.

Спустя немного времени Лисимах оказался в плену у Дромихета. Деметрий немедля выступил в поход, рассчитывая захватить Фракию, лишившуюся защитников, но не успел он удалиться, как беотийцы снова отложились, а вслед за тем пришло известие, что Лисимах уже на свободе. В гневе Деметрий повернул назад и, узнав, что сын его, Антигон, уже разбил беотийцев в открытом бою, опять осадил Фивы.

40. Так как Пирр между тем опустошал Фессалию и появился у самых Фермопил, Деметрий двинулся против него, поручив продолжать осаду Антигону. Пирр поспешно отступил, и Деметрий, разместив в Фессалии десять тысяч пехотинцев и тысячу всадников, снова усилил натиск на Фивы. Он приказал подвести так называемую "Погубительницу городов", но из-за громадного веса и размеров ее тянули с таким трудом и так медленно, что за два месяца она прошла не более двух стадиев. Беотийцы оборонялись с решимостью и мужеством, и Деметрий нередко заставлял своих сражаться и подвергать себя опасности не столько по необходимости, сколько из упорства. Видя, как много воинов гибнет, Антигон тяжко страдал и однажды спросил: "Зачем мы допускаем, отец, чтобы эти люди пропадали безо всякой пользы?" – "А ты-то что беспокоишься? – в сердцах возразил Деметрий. – Или, может, тебе приходится выдавать мертвым довольствие?". Не желая, однако, чтобы думали, будто он не щадит лишь чужой крови, Деметрий и сам бился в первых рядах, и получил опасную и мучительную рану – стрела из катапульты пробила ему шею. Тем не менее он не отступился от начатого и взял Фивы во второй раз. Жители были в величайшем смятении, ожидая самой свирепой расправы, но Деметрий, казнив тринадцать зачинщиков и сколько-то человек изгнав, остальных простил. Таким образом, за неполные десять лет после восстановления Фивам довелось дважды побывать в руках неприятеля[37].

Когда подошло время Пифийских игр, Деметрий отважился на дело, до того дня неслыханное и небывалое: так как перевалы, ведущие в Дельфы, были заняты этолийцами, он устроил состязания и всенародное празднество в Афинах, ибо здесь, как он объяснил, скорее, чем в любом ином месте, надлежало чтить Аполлона, отчего бога афинян[38], слывущего их родоначальником.

41. Из Афин Деметрий возвратился в Македонию, но и сам он не был создан для мирной жизни и, кроме того, не мог не видеть, что подданные его больше преданности проявляют в походах, дома же непокорны и строптивы, а потому выступил против этолийцев, опустошил их страну и, оставивши там Пантавха во главе значительного отряда, сам двинулся на Пирра. Пирр, в свою очередь, выступил против Деметрия[39], но противники разминулись, и Деметрий принялся разорять Эпир, а Пирр напал на Пантавха и завязал сражение, во время которого полководцы сошлись в поединке. Оба были ранены, однако бежал Пантавх, многих потерявши убитыми и пять тысяч пленными. Эта неудача оказалась непоправимой бедой для Деметрия: Пирр стяжал не столько ненависть, сколько восхищение противников, убедившихся, что победа была, в прямом смысле слова, делом его рук. С тех пор имя Пирра пользовалось в Македонии громкою славой, и многие говорили, что среди всех царей лишь в нем одном виден образ Александровой отваги, остальные же – и в первую очередь, Деметрий – словно на сцене перед зрителями, пытаются подражать лишь величию и надменности умершего государя.

И верно, Деметрий во многом походил на трагического актера. Он не только покрывал голову кавсией с великолепною двойною перевязью, не только носил алую, с золотой каймой одежду, но и обувался в башмаки из чистого пурпура, расшитые золотом. Долгое время для него изготовляли плащ – редкостное произведение ткаческого искусства, с картиной вселенной и подобием небесных явлений и тел. Из-за новой перемены обстоятельств работа осталась незавершенной, и никто не дерзнул накинуть на плечи этот плащ, хотя и после Деметрия в Македонии правило немало приверженных к роскоши царей.

42. Но не один внешний облик царя оскорблял македонян, не привычных ни к чему подобному, их тяготил и его разнузданный уклад жизни, и, главным образом, его неприветливость и недоступность. Он либо вовсе отказывал в приеме, либо, если уже принимал просителей, то говорил с ними сурово и резко. Афинское посольство Деметрий продержал в ожидании целых два года, а ведь никому из греков не уделял он столько заботы, сколько афинянам. Когда из Лакедемона прибыл всего один посол, Деметрий счел это знаком пренебрежения и гневно воскликнул: "Как ты сказал? Лакедемоняне прислали одного посла?!" – "Да, царь, одного – к одному", – остроумно и подлинно по-лаконски отвечал спартанец. Однажды окружающим померещилось, будто Деметрий выехал из дворца в более благодушном настроении, чем обычно, и готов оказать внимание чужим речам. Сбежались несколько человек и подали ему письменные прошения. Он принял их все и сложил в полу плаща, а люди радовались и шли следом, однако же на мосту через Аксий Деметрий развернул плащ и вытряхнул прошения в реку. Македоняне были страшно удручены, видя, что Деметрий не царствует, а измывается над ними, и вспоминая Филиппа или же слушая рассказы о том, какой он был справедливый, обходительный и приветливый. Впрочем, раз случилось, что какая-то старая женщина неотвязно плелась за Деметрием, умоляя уделить ей несколько времени, и, услышав, наконец, в ответ, что царю недосуг, вскричала: "Ну, тогда откажись и от царства!" – и слова эти попали в цель. Деметрий глубоко задумался, вернулся домой и, отложив все прочие

дела, много дней подряд принимал просителей и жалобщиков, начавши с той старухи. И действительно, нет у царя долга важнее, нежели забота о правосудии. Арес – тиранн, как говорит Тимофей, а закон по выражению Пиндара[39], – "царь надо всем сущим". И у Гомера мы не прочтем, что цари получают от Зевса осадные машины и обшитые медью суда, – нет, бог дает царям свои заветы с наказом хранить их и беречь, и не самого воинственного, несправедливого и кровожадного из царей называет поэт[40] собеседником и учеником Зевса, но самого справедливого. Деметрий, между тем, радовался, слыша свое прозвище, столь несхожее с прозванием царя богов: Зевса величают Хранителем и Владыкою городов, а Деметрия называли Полиоркетом – Осаждающим города. Так грубая сила привела зло на место добра и рядом со славою поселила несправедливость.

43. Когда Деметрий, опасно заболев, лежал в Пелле, Пирр стремительно ворвался в Македонию и дошел до самой Эдессы[41], так что враг его чуть было не лишился престола. Однако, едва оправившись, Деметрий легко изгнал Пирра из своих владений, а затем заключил с ним договор, стремясь положить конец беспрерывным стычкам и схваткам, отвлекавшим его от главного и основного замысла. Замышлял же он не что иное, как восстановить в прежних пределах державу своего отца. Приготовления Деметрия нимало не уступали величию его намерений и упований. Он собрал уже девяносто тысяч пехоты, без малого двенадцать тысяч конницы и намеревался спустить на воду флот из пятисот кораблей, которые строил одновременно в Пирее, Коринфе, Халкиде и близ Пеллы. Каждую из верфей Деметрий посещал сам, давал наставления и советы, работал вместе с плотниками, и все дивились не только числу будущих судов, но и их размерам – ведь никому еще не доводилось видеть корабли с пятнадцатью и шестнадцатью рядами весел. Лишь позднее Птолемей Филопатор выстроил корабль с сорока рядами весел[42], длина его была двести восемьдесят локтей, высота (до верха носовой надстройки) – сорок восемь, число моряков – четыреста, гребцов – четыре тысячи, да кроме того в проходах и на палубе размещались почти три тысячи воинов. Но это судно годилось лишь для показа, а не для дела и почти ничем не отличалось от неподвижных сооружений, ибо стронуть его с места было и небезопасно и чрезвычайно трудно, тогда как у судов Деметрия красота не отнимала мощи, устройство их не было настолько громоздким и сложным, чтобы нанести ущерб делу, напротив, их скорость и боевые качества заслуживали еще большего изумления, чем громадные размеры.

44. Видя, что против Азии вскоре выступит такая огромная сила, какою после Александра не располагал еще никто, для борьбы с Деметрием объединились трое царей – Селевк, Птолемей, Лисимах. Все вместе они отправили посольство к Пирру, убеждая его ударить на Македонию и считать недействительным договор, которым Деметрий не ему, Пирру, дал обязательство воздерживаться от нападений, но себе присвоил право нападать, на кого сам пожелает и выберет. Пирр согласился, и вокруг Деметрия, который еще не завершил последних приготовлений, разом вспыхнуло пламя войны. У берегов Греции появился с большим флотом Птолемей и склонял города к измене, а в Македонию, грабя и разоряя страну, вторглись из Фракии Лисимах, а из сопредельных облас-

тей Пирр. Деметрий оставил в Греции сына, сам же, обороняя Македонию, двинулся сперва на Лисимаха. Но тут приходит весть, что Пирр взял город Берою. Слух об этом быстро разнесся среди македонян, и сразу же всякий порядок в войске исчез, повсюду звучали жалобы, рыдания, гневные речи и проклятия Деметрию, солдаты не хотели оставаться под его начальством и кричали, что разойдутся по домам, но в действительности собирались уйти к Лисимаху.

Тогда Деметрий решил держаться как можно дальше от Лисимаха и повернуть против Пирра, рассудив, что Лисимах его подданным – соплеменник и многим хорошо известен еще по временам Александра, но Пирра, пришлеца и чужеземца, македоняне Деметрию никогда не предпочтут. Однако ж он жестоко просчитался. Когда Деметрий разбил лагерь невдалеке от Пирра, его македоняне, уже давно восхищавшиеся воинской доблестью Пирра и с молоком матери впитавшие убеждение, что самый храбрый воин всех более достоин и царства, узнали вдобавок, как милостиво и мягко обходится он с пленными, и, одержимые желанием во что бы то ни стало избавиться от Деметрия, стали уходить. Сперва они уходили тайком и порознь, но затем весь лагерь охватили волнение и тревога, и, в конце концов, несколько человек, набравшись храбрости, явились к Деметрию и посоветовали ему бежать и впредь заботиться о своем спасении самому, ибо македоняне не желают больше воевать ради его страсти к роскоши и наслаждениям. По сравнению с грубыми, злобными криками, которые неслись отовсюду, эти слова показались Деметрию образцом сдержанности и справедливости. Он вошел в шатер и, уже не как царь, но как актер, переоделся, сменив свой знаменитый, роскошный плащ на темный и обыкновенный, а затем неприметно ускользнул. И сразу чуть ли не все войско бросилось грабить царскую палатку, начались драки, но тут появился Пирр, первым же своим криком водворил тишину и завладел лагерем. Вся Македония была поделена между ним и Лисимахом – после семи лет твердого и уверенного правления Деметрия.

45. Итак, Деметрий лишился власти и бежал в Кассандрию. Фила была безутешна; не в силах глядеть на своего супруга, злополучнейшего из царей, который снова сделался обыкновенным смертным и изгнанником, отрекшись от всех надежд, проклявши судьбу, в счастии столь ветреную, в бедах же столь упорную, она выпила яду и умерла, а Деметрий, задумав собрать хотя бы обломки, оставшиеся после этого кораблекрушения, уехал в Грецию и стал созывать своих тамошних военачальников и приверженцев.

Вот какой картине уподобляет превратности своей судьбы Менелай у Софокла:

Несется жизнь моя на быстром колесе,
И шлет мне божество судьбы круговорот.
Так светлый лик луны один и тот же вид
В теченье двух ночей не может сохранять.
Сперва из мрака он выходит нов и юн,
Прекрасней и полней становится потом.
Но лишь он явит нам свой высший дивный блеск,
Как, умаляясь вновь, уйдет в небытие[43].

Картине этой с еще большим правом можно уподобить судьбу Деметрия – его рост и умаление, блеск и угасание. Вот и тогда, казалось, он уже совершенно увял и погас, как вдруг могущество его вспыхивает новым светом, стекаются понемногу боевые силы и оживает надежда. Сперва Деметрий объезжал города как частное лицо, без единого из знаков царского достоинства, и кто-то, увидевши его в Фивах, не без остроумия прочитал на память два стиха из Эврипида[44]:

Свой образ божества сменив на смертный лик,
Узрел он Дирки ключ и ток Исменских вод.

46. Но едва лишь он вступил на "царский путь" надежды, как вернул себе и внешнее обличие и самое существо власти. Фиванцам он даровал их прежнее государственное устройство, афиняне же отпали от Деметрия и, вычеркнув из списка эпонимов Дифила, который был внесен туда по праву жреца Спасителей[45], постановили снова выбирать должностных лиц в согласии с отеческими обычаями, а поскольку Деметрий, вопреки их ожиданиям, быстро входил в силу, призвать из Македонии Пирра. В ярости Деметрий начал жестокую осаду города, но, когда народ прислал к нему философа Кратета, человека прославленного и уважаемого, он склонился на просьбы этого посланца, а вместе с тем признал и справедливость его советов, касавшихся преимуществ и выгод самого Деметрия; прекратив осаду, он собрал все суда, какие были в его распоряжении, и, погрузив на них одиннадцать тысяч пехотинцев и конницу, поплыл в Азию, чтобы отнять у Лисимаха Карию и Лидию.

В Милете его встретила сестра Филы Эвридика с Птолемаидой, своей дочерью от Птолемея, которая давно уже была помолвлена за Деметрия хлопотами Селевка. Теперь Деметрий принял девушку из рук матери и женился на ней. Сразу же после свадьбы он двинулся против азийских городов и многие взял силой, а многие присоединились к нему добровольно. Занял он и Сарды. Иные из Лисимаховых наместников перешли на сторону Деметрия, предоставив в его распоряжение казну и солдат. Но когда появился с войском Агафокл, сын Лисимаха, Деметрий ушел во Фригию, чтобы затем, – в случае если бы удалось добраться до Армении, – возмутить Мидию и утвердиться во внутренних провинциях Азии, где гонимому легко было найти укрытие в прибежище. Но Агафокл следовал за ним по пятам, и хотя Деметрий в нескольких стычках одержал верх, положение его было трудным, ибо враг не давал собирать продовольствие и корм для лошадей, а воины уже начинали догадываться, что их уводят в Армению и Мидию. Голод усиливался, а тут еще случилась беда при переправе через бурный и стремительный Лик – переправе, стоившей жизни многим людям Деметрия. Но страсть к насмешкам не иссякла и тут, и кто-то начертил на земле перед палаткою Деметрия начало "Эдипа", чуть изменивши написание одного стиха:

О, чадо старика слепого Антигона,
В какой мы край пришли?..[46]

47. Наконец к голоду присоединился мор. – как и во всех прочих случаях, когда нужда заставляет употреблять в пищу что ни попало, – и, потеряв в общем не менее восьми тысяч, Деметрий повел уцелевших назад.

Он спустился в Тарс и хотел оставить в неприкосновенности страну, находившуюся тогда под властью Селевка, чтобы не дать ему ни малейшего повода к враждебным действиям, но это оказалось невозможным, потому что воины были в последней крайности, а перевалы через Тавр закрыл Агафокл, и Деметрий написал Селевку письмо с пространными жалобами на свою судьбу и горячей мольбою смилостивиться над родичем, претерпевшим такие беды, какие даже у врагов не могут не вызвать сострадания. Селевк, и в самом деле, был растроган и отправил приказ своим наместникам выдавать Деметрию царское содержание, а его солдатам – продовольствие в полном достатке. Тут, однако, царя посещает Патрокл, считавшийся верным его другом и человеком проницательным, и внушает Селевку, что издержки на прокорм воинов Деметрия – еще не главная беда, но смотреть сквозь пальцы на то, как этот человек располагается в его владениях, – непростительное легкомыслие, ибо Деметрий и всегда-то был самым бесчинным и неспокойным между царями, а теперь, вдобавок, находится в таких обстоятельствах, которые и смирного от природы человека толкнут на любую дерзость и насилие. Доводы Патрокла оказали свое действие, и Селевк с большим войском выступил в Киликию.

Деметрий, пораженный и испуганный этой внезапной переменою, отступил в дикую, неприступную местность среди гор Тавра и через посланца просил Селевка, чтобы тот, по крайней мере, не препятствовал ему покорить какое-либо из независимых варварских племен и там, среди варваров, провести остаток своих дней, положив конец бегству и скитаниям; если же Селевк и на это не согласен, пусть снабдит его людей пропитанием до весны и оставит их здесь же, в горах, но не гонит прочь и не выдает врагам страдальца, совершенно беспомощного и беззащитного. 48. Селевку, однако, внушали подозрения оба этих плана и он предложил Деметрию провести, если угодно, два зимних месяца в Катаонии, но потребовал в заложники первых и самых видных из его друзей, а сам, в то же время, стал заграждать перевалы, ведущие в Сирию, так что Деметрий, обложенный точно дикий зверь на охоте, вынужден был обратиться к силе и принялся разорять набегами страну, неизменно выходя победителем из столкновений с войсками Селевка. Он обратил в бегство даже пущенные против него серпоносные колесницы и овладел перевалами на пути в Сирию, выбив оттуда вражеских воинов, которые вели заградительные работы.

После этого к Деметрию вернулось все его мужество, и, видя, что воины также вновь исполнены веры в собственные силы, он начал готовиться к последнему и решающему бою с Селевком. Теперь уже в невыгодном и трудном положении оказывался Селевк, который помощь Лисимаха отклонил, не доверяя фракийскому царю и страшась его, сразиться же с Деметрием один на один не смел, робея пред отчаянной его смелостью и переменчивою судьбой: не было случая, чтобы за крайними бедами судьба не послала ему величайшую удачу. Но в это время Деметрий тяжело захворал, и болезнь не только жестоко изнурила его тело, но и смешала, расстроила все его планы, ибо часть воинов ушла к неприятелю, а многие просто разбежались. Насилу оправившись после сорока дней недуга, он собрал остатки своих людей и двинулся, – насколько мог видеть и предполагать неприятель, – в Киликию, но затем ночью, соблюдая полную ти-

шину, повернул в противоположную сторону, перевалил через Аман и принялся разорять лежавшую у его подножья страну вплоть до самой Киррестики.

49. Когда же Селевк, явившись по его следам, разбил лагерь невдалеке, Деметрий, подняв войско среди ночи, выступил в сторону вражеского лагеря и прошел значительную часть пути, меж тем как Селевк крепко спал, ни о чем не подозревая. В конце концов, перебежчики все же предупредили его об опасности, он в испуге вскочил с постели и тут же приказал трубить боевой сигнал – еще не успев обуться и крича друзьям, что схватился со страшным зверем. По шуму у неприятеля Деметрий понял, что хитрость его раскрыта, и поспешно отошел. На рассвете Селевк бросился в наступление. Деметрий отправил на другое крыло кого-то из друзей, а сам, между тем, сумел привести врага в замешательство и потеснить его. Тогда Селевк соскочил с коня, снял шлем и с одним щитом в руке зашагал навстречу наемникам, стараясь, чтобы его узнали, и призывая всех перейти на его сторону: пора им, наконец, понять, кричал Селевк, что лишь ради них, а не щадя Деметрия, он проявляет столько терпения. Все горячо его приветствовали, называли царем и обращали оружие против Деметрия, а тот, почувствовав, что свершается последняя из превратностей, какие были суждены ему в жизни, оставил поле боя и бежал по направлению к Аманским воротам. С несколькими друзьями и ничтожной горсткою слуг он забился в чащу леса и дожидался ночи, рассчитывая, если ничто не помешает, выбраться на дорогу к Кавну и проскользнуть к берегу моря – там он надеялся найти корабли на якорной стоянке. Ему сказали, однако, что припасов не достанет даже на этот один день; надо было искать другого выхода, но тут подоспел друг Деметрия Сосиген с четырьмястами золотых в поясе. На эти деньги беглецы могли проделать весь путь до моря, и, когда стемнело, они тронулись к перевалу. Однако на высотах близ перевала уже пылали вражеские костры, и, окончательно отказавшись от своего замысла, они вернулись на прежнее место, но уже не в прежнем количестве – некоторые покинули Деметрия и бежали – и не с прежнею бодростью. Кто-то решился заметить, что Деметрию, дескать, следовало бы сдаться на милость Селевка. Деметрий выхватил меч и хотел заколоть себя, тогда друзья обступили его, утешая и в один голос уговаривая последовать этому совету, и, в конце концов, Деметрий отправил к Селевку гонца с известием, что готов предать себя в его руки.

50. Когда Селевку доложили об этом, он сказал, что спасением Деметрий обязан не своей, а его, Селевка, счастливой судьбе, которая, после всех прочих благодеяний, преподносит ему и этот дар – случай выказать человеколюбие и доброту. Кликнув слуг, он распорядился поставить царский шатер и сделать все остальные приготовления к великолепному, щедрому приему. В окружении Селевка был некий Аполлонид, в прошлом близкий знакомый Деметрия. Царь немедля послал его к Деметрию, чтобы тот не унывал и не падал духом, – ведь его ожидает встреча с родичем, с зятем. Когда решение Селевка получило огласку, сперва немногие, а затем чуть ли не все его друзья наперебой устремились к Деметрию в твердой уверенности, что скоро он сделается первым человеком при государе. Это превратило в ревность сострадание Селевка, а людям злонамеренным и завистливым предоставило повод подавить всякое человеколюбие в

душе царя, пугая его, что стоит лишь Деметрию показаться в лагере – и немедленно, в тот же самый миг начнется всеобщий мятеж.

И вот, едва успел прибыть к Деметрию ликующий Аполлонид, едва подоспели остальные царедворцы с вестями о поразительном великодушии Селевка, едва сам Деметрий ободрился после такого несчастия и невезения поверил новым надеждам и взглянул новыми глазами на свое согласие сдаться, которое прежде казалось ему позором, – как вдруг появляется Павсаний во главе примерно тысячного отряда пехоты и конницы, мгновенно окружает Деметрия, гонит прочь всех остальных и, даже не заходя в царский лагерь, уводит пленника прямо в Херсонес Сирийский. Там был уже размещен сильный сторожевой отряд, но потом Селевк прислал Деметрию многочисленную челядь для услуг, с безукоризненной щедростью назначил ему ежедневное содержание и разрешил охотиться в царских заповедниках, гулять и заниматься телесными упражнениями в царских садах. Никто из друзей, которые бежали с ним вместе и теперь хотели навестить пленника, не встречал отказа, а иногда наезжали и приближенные Селевка, пересказывали утешительные слухи и просили Деметрия мужаться, потому что, уверяли они, как только приедут Антиох со Стратоникой, его освободят.

51. В этих горестных обстоятельствах Деметрий дал знать сыну, а также своим наместникам и приверженцам в Афинах и Коринфе, чтобы они не доверяли ни письмам его, ни печати, но берегли бы все города и все, что еще сохранилось от его власти и державы, для Антигона так, словно его, Деметрия, уже нет в живых. Антигон, узнавши о пленении отца, был в страшном горе; он облачился в траурные одежды и написал всем царям и самому Селевку, моля о помощи и милосердии и предлагая, если только он согласится освободить Деметрия, в первую очередь, себя – заложником, а затем – все уцелевшие остатки своего достояния. Просьбы Антигона поддерживали многие города и властители, и только Лисимах сулил Селевку большие деньги, если он умертвит Деметрия. Селевк, который всегда испытывал к Лисимаху отвращение, после этого случая считал его совершеннейшим злодеем и варваром, однако ж с освобождением Деметрия медлил, желая, чтобы оно совершилось милостью Антиоха и Стратоники.

52. Вначале Деметрий переносил свою участь спокойно, приучался не замечать тягот неволи, много двигался – охотился (в пределах дозволенного), бегал, гулял, но постепенно занятия эти ему опротивели, он обленился, и бóльшую часть времени стал проводить за вином и игрою в кости, то ли ускользая от дум, осаждавших его, когда он бывал трезв, и стараясь замутить хмелем сознание, то ли признав, что это и есть та самая жизнь, которой он издавна жаждал и домогался, да только по неразумию и пустому тщеславию сбился с пути, и причинил немало мук самому себе и другим, разыскивая среди оружия, корабельных снастей и лагерных палаток счастие, ныне обретенное, вопреки ожиданиям, в безделии, праздности и досуге. И верно, есть ли иная цель у войн, которые ведут, не останавливаясь пред опасностями, негодные цари, безнравственные и безрассудные?! Ведь дело не только в том, что вместо красоты и добра они гонятся за одною лишь роскошью и наслаждениями, но и в том, что даже наслаждаться и роскошествовать по-настоящему они не умеют.

На третьем году своего заключения Деметрий, от праздности, обжорства и пьянства, заболел и скончался в возрасте пятидесяти четырех лет. Все в один голос порицали Селевка, и сам он корил себя за чрезмерную подозрительность и за то, что не последовал примеру хотя бы варвара-фракийца Дромихета, который так мягко и подлинно по-царски обошелся с пленным Лисимахом.

53. И в погребении Деметрия было многое от показного блеска трагедии на театре. Сын его, Антигон, получив сообщение, что везут прах умершего, собрал все свои корабли, вышел навстречу к самым Островам[47] и принял золотую урну на борт самого большого из флагманских судов. Города, близ которых флот останавливался на якоре, возлагали на урну венки либо даже отряжали особых посланцев в траурных одеждах сопровождать скорбную процессию и участвовать в похоронах. Когда корабли подходили к Коринфу, урну поместили высоко на корме, украсив ее царской багряницею и диадемой, а вокруг стали в караул юноши с копьями. Подле сидел Ксенофант, самый знаменитый из тогдашних флейтистов, и играл священный, глубоко чтимый напев, а так как весла двигались в строгой размеренности, их удары сопровождали песнь флейты, словно тяжкие биения в грудь. Наибольшую скорбь и сострадание у собравшихся на берегу вызывал, однако, сам Антигон, убитый горем, обливающийся слезами. Коринфяне оказали останкам Деметрия подобающие почести, возложили венки, а затем Антигон увез урну в Деметриаду и похоронил. Этот город носил имя умершего и был создан из нескольких небольших поселений близ Иолка, сведенных в одно.

Деметрий оставил сына Антигона и дочь Стратонику от Филы, еще двух сыновей по имени Деметрий – одного, по прозвищу Тощий, от жены-иллириянки, и другого, который впоследствии правил Киреной, от Птолемаиды, – и, наконец, от Деидамии Александра, окончившего свои дни в Египте. По некоторым сведениям, у него был еще сын Корраг от Эвридики. Потомки Деметрия непрерывно занимали престол вплоть до Персея, при котором Македония была покорена римлянами.

Итак, македонская драма сыграна, пора ставить на сцену римскую.



АНТОНИЙ

1. Дед Антония был оратор Антоний, убитый Марием как приверженец Суллы, отец – Антоний Критский, человек не слишком видный и мало чем прославившийся на государственном поприще[1], но великодушный, честный и щедрый, как можно убедиться хотя бы по одному, следующему примеру. Он владел весьма скромным состоянием и потому не давал воли своей доброте – за этим зорко следила его супруга. И вот как-то раз приходит к нему приятель просить денег,

денег у Антония нет. и он велит рабу принести воды в серебряной кружке, смачивает подбородок, словно собираясь бриться, а затем, еще под каким-то предлогом выслав раба из комнаты, отдает кружку другу, чтобы тот распорядился ею, как захочет. Слуги хватились пропажи, начались поиски, и, видя, что жена вне себя от гнева и хочет пытать всех рабов подряд, Антоний во всем признался и просил прощения.

2. Он был женат на Юлии из дома Цезарей, и благородством натуры, равно как и целомудрием эта женщина могла поспорить с любою из своих современниц. Она вырастила сына Антония, выйдя после смерти его отца замуж за Корнелия Лентула, который участвовал в заговоре Катилины и был казнен Цицероном. Это, возможно, послужило поводом и началом лютой вражды Антония к Цицерону. Антоний утверждает, будто даже тело Лентула им не желали выдать, пока его мать не обратилась с мольбою к супруге Цицерона. Но это, по общему суждению, ложь, ибо никому из казненных тогда Цицероном в погребении отказано не было.

Антоний в юности был необычайно красив, и потому с ним не замедлил сблизиться Курион, чья дружба оказалась для молодого человека настоящею язвой, чумой. Курион и сам не знал удержу в наслаждениях, и Антония, чтобы крепче прибрать его к рукам, приучил к попойкам, распутству и чудовищному мотовству, так что вскорости на нем повис огромный не по летам долг – двести пятьдесят талантов. На всю эту сумму за друга поручился Курион, и когда о поступке сына узнал Курион-отец, он запретил Антонию переступать порог его дома. На короткое время Антоний оказался в числе единомышленников Клодия, самого наглого и гнусного из тогдашних вожаков народа. Люди Клодия привели в смятение все государство, и Антоний, быстро пресытившись бешенством их главаря, а к тому же и страшась его врагов, которые уже соединяли свои силы, уехал из Италии в Грецию, чтобы там телесными упражнениями приготовить себя к службе в войске и изучить ораторское искусство. Он взял за образец так называемое азиатское направление в красноречии,[2] которое в ту пору процветало и обнаруживало, вдобавок, большое сходство с самою жизнью Антония, полною хвастовства и высокомерия, глупого самомнения и непомерного честолюбия.

3. Бывший консул Габиний, отплывая в Сирию к войску, приглашал Антония с собою, но частным лицом Антоний ехать не пожелал и присоединился к Габинию не прежде, чем получил назначение на должность начальника конницы. Высланный сначала против Аристобула, который пытался поднять восстание иудеев[3], он первым взошел на стену самого сильного из укреплений врага и выбил его из всех остальных крепостей. Затем он завязал сражение, обратил в бегство неприятелей, превосходивших римлян числом в несколько раз, и почти всех уложил на поле боя. Сам Аристобул вместе с сыном попал в плен. Вскоре после этого Птолемей стал убеждать Габиния[4] вступить в Египет и вернуть ему царство, суля в награду десять тысяч талантов, но бо́льшая часть начальников противилась этому предприятию, и Габиний не решался начать войну, хотя десять тысяч талантов безраздельно владели всеми его помыслами, и тут не кто иной как Антоний, который мечтал о подвигах и хотел оказать услугу Птоле-

мею, убедил римского полководца двинуться в поход. Главные опасения вызывала не сама война, а путь до Пелусия – по глубоким, безводным пескам, мимо Промоины и болот Сербониды, которые египтяне называют "Выдохом Тифона"[5] (вероятно, это просачиваются воды Красного моря, в том месте, где оно всего ближе подходит к морю Внутреннему). Антония отправили с конницей вперед, и он не только захватил узкие проходы, но и взял самый Пелусий, большой город с караульным отрядом, обезопасив путь для войска и внушив полководцу твердую надежду на победу. Его честолюбие сослужило добрую службу и неприятелям, ибо, когда Птолемей, едва вступив в Пелусий, в гневе и злобе хотел было перебить всех египтян, Антоний не позволил ему исполнить свое намерение. В больших и частых сражениях Антоний дал многочисленные доказательства и своей отваги воина, и дальновидности военачальника и получил подобающие награды и отличия; особенно прославило его одно сражение, когда, обойдя противника и ударив ему в спину, он принес победу тем, кто бился с египтянами грудь на грудь. Многие с одобрением говорили и о благородной доброте Антония к убитому Архелаю: обстоятельства вынудили его воевать против друга и гостеприимца, но, когда тот пал, Антоний отыскал его тело и с царскими почестями похоронил. Таким-то вот образом он оставил у александрийцев громкую молву о себе, а римским воинам внушил убеждение в блестящих своих качествах.

4. Он обладал красивою и представительной внешностью. Отличной формы борода, широкий лоб, нос с горбинкой сообщали Антонию мужественный вид и некоторое сходство с Гераклом, каким его изображают художники и ваятели. Существовало даже древнее предание, будто Антонии ведут свой род от сына Геракла – Антона. Это предание, которому, как уже сказано, придавало убедительность обличие Антония, он старался подкрепить и своею одеждой: всякий раз, как ему предстояло появиться перед бóльшим скоплением народа, он опоясывал тунику у самых бедер, к поясу пристегивал длинный меч и закутывался в тяжелый военный плащ. Даже то, что остальным казалось пошлым и несносным, – хвастовство, бесконечные шутки, неприкрытая страсть к попойкам, привычка подсесть к обедающему или жадно проглотить кусок с солдатского стола, стоя, – все это солдатам внушало прямо-таки удивительную любовь и привязанность к Антонию. И в любовных его утехах не было ничего отталкивающего, – наоборот, они создавали Антонию новых друзей и приверженцев, ибо он охотно помогал другим в подобных делах и нисколько не сердился, когда посмеивались над его собственными похождениями. Щедрость Антония, широта, с какою он одаривал воинов и друзей, сперва открыла ему блестящий путь к власти, а затем, когда он уже возвысился, неизменно увеличивала его могущество, несмотря на бесчисленные промахи и заблуждения, которые подрывали это могущество и даже грозили опрокинуть. Приведу всего один пример. Он приказал выдать кому-то из друзей двести пятьдесят тысяч денариев – эту сумму римляне обозначают словом "декиес" [decies][6]. Управляющий был изумлен и, чтобы показать хозяину, как это много, положил деньги на видном месте. Проходя мимо, Антоний заметил их и осведомился, что это такое, управляющий отвечал, что это сумма, которую он распорядился выдать, и тогда Антоний, разгадав его не-

приглядную хитрость, воскликнул: "Вот уж не думал, что декиес – такая малость! Прибавь еще столько же!" 5. Впрочем, это относится к более позднему времени.

Когда римское государство разделилось на два враждебных стана и сторонники аристократии поддерживали Помпея, находившегося в Риме, а приверженцы демократии призывали Цезаря, который стоял с войском в Галлии, Курион, друг Антония, изменил своим прежним взглядам и принял сторону Цезаря, увлекши за собою и Антония. Опытный и сильный оратор, Курион пользовался огромным влиянием среди народа, вдобавок он, не считая, тратил деньги, которыми снабжал его Цезарь, а потому неудивительно, что он сумел доставить Антонию должность народного трибуна и место среди жрецов, гадающих по полету птиц и именуемых авгурами.

Вступив в должность, Антоний оказал друзьям Цезаря немало важных услуг. Прежде всего, когда консул Марцелл задумал передать Помпею уже набранных воинов и разрешить ему новый набор, Антоний помешал консулу исполнить свой план, предложив Собранию, чтобы готовое к боевым действиям войско было отправлено в Сирию, на помощь Бибулу, который вел борьбу с парфянами, а новобранцы в распоряжение Помпея не поступали. Затем, пользуясь властью и полномочиями трибуна, он огласил письма Цезаря, которые сенат не желал ни слушать, ни даже принимать, и заставил многих переменить прежний образ мыслей, ибо, судя по этим письмам, Цезарь выдвигал требования справедливые и умеренные. Наконец, когда сенаторам было предложено два запроса – угодно ли им, чтобы Помпей распустил свое войско, и желают ли они, чтобы это сделал Цезарь, – и за первое предложение высказались очень немногие, а за второе почти все, поднялся Антоний и предложил третий запрос: угодно ли господам сенаторам, чтобы Помпей и Цезарь разоружились и распустили воинов одновременно? Эти слова были встречены живейшим одобрением, все громко восхваляли Антония и требовали открыть подачу голосов. Консулы, однако, не соглашались, тогда друзья Цезаря выступили с новыми и, казалось бы, вполне разумными условиями, но после резкого отвода, который дал им Катон, консул Лентул выгнал Антония из курии. Выходя, Антоний осыпал сенаторов угрозами и проклятиями, а затем переоделся в рабское платье, нанял вместе с Квинтом Кассием повозку и уехал к Цезарю. Едва появившись перед ним, оба разразились жалобами, что в Риме нет больше никакого порядка: даже народные трибуны, кричали они, лишены права говорить свободно, и всякий, кто скажет хоть слово в защиту справедливости, подвергается гонениям и должен страшиться за свою жизнь!

6. После этого Цезарь с войском вторгся в пределы Италии. Вот почему Цицерон в "Филиппиках"[7] пишет, что Троянскую войну развязала Елена, Междоусобную – Антоний. Но он, без всякого сомнения, заблуждается, ибо не настолько легкомыслен был Гай Цезарь и не так скоро терял в гневе рассудок, чтобы вдруг начать войну против отечества из-за того только, что увидел Антония и Кассия, бежавших к нему в жалком наряде, на наемной повозке. Нет, он давно решился на этот шаг и только ждал случая, удобного и благовидного повода, который теперь и представился. Против целого света его вела, как некогда Александра, а еще раньше Кира, ненасытимая любовь к власти и безумная,

неистовая жажда первенства, достигнуть которого было невозможно, пока на пути стоял Помпей.

Стремительно продвинувшись вперед, Цезарь занял Рим, вытеснил Помпея из Италии и, решив сначала сломить силы противника в Испании, а тем временем собрать флот и тогда уже обратиться против самого Помпея, поручил столицу заботам претора Лепида, Италию же и войско – народному трибуну Антонию. Солдаты сразу полюбили Антония, который проводил с ними много времени, участвовал в их упражнениях и делал им подарки в меру своих возможностей, зато многим другим он стал ненавистен. По беспечности он был невнимателен к обиженным, выслушивая просителей, часто сердился и пользовался позорною славой прелюбодея. Следует вообще заметить, что власть Цезаря, которая, поскольку это зависело от него самого, ничем не напоминала тираннию, была опорочена по вине его друзей; больше всего злоупотреблений приходится, по-видимому, на долю Антония, облеченного наибольшими полномочиями, а потому и бремя вины ложится, главным образом, на него. 7. Тем не менее Цезарь, когда возвратился из Испании, пропустил мимо ушей жалобы на Антония, а позднее, пользуясь его услугами на войне, ни разу не имел случая разочароваться в предприимчивости, мужестве и полководческих способностях этого человека.

Сам Цезарь с незначительными силами переплыл Ионийское море и тут же отослал суда назад, в Брундизий, с наказом Габинию и Антонию поскорее грузить войска и отправлять в Македонию. Но Габиний испугался тяжкого и опасного в зимнее время плавания и повел своих людей сушею, кружным и долгим путем, Антоний же, страшась за Цезаря, теснимого многочисленными врагами, отбросил Либона, который стоял на якоре у входа в гавань, окружил его триеры целой тучей мелких суденышек и, посадив на корабли восемьсот всадников и двадцать тысяч пехотинцев, вышел в море. Враги заметили его и пустились в погоню, но этой опасности он благополучно избежал, так как под резким нотом[8] на море поднялось сильное волнение и остановило триеры преследователей, однако тот же ветер понес суда Антония на обрывистые скалы, подле которых невозможно бросить якорь. Всякая надежда спастись была уже потеряна, как вдруг залив дохнул сильным либом[9], волны покатились в обратном направлении, и, вылетев на их гребнях далеко в море, Антоний вскоре увидел берег, усыпанный обломками кораблекрушения: сюда выбросила буря вражеские триеры, и немалое число их погибло. Антоний захватил богатую добычу и много пленных, взяв Лисс и сразу прибавил Цезарю отваги и бодрости, когда появился столь своевременно и с такою значительной силой.

8. Сражения следовали одно за другим, и в каждом Антоний сумел отличиться; дважды останавливал он бегущих без оглядки воинов Цезаря и, заставляя их повернуть и снова сойтись с неприятелем, гнавшимся за ними по пятам, выигрывал бой. Поэтому после Цезаря наибольшим весом и уважением в лагере пользовался Антоний; да и сам Цезарь показал, как высоко его ценит. Перед битвою при Фарсале, которая была последнею и решающей, он встал во главе правого крыла, а начальство над левым поручил Антонию как самому опытному воину среди своих подчиненных.

После победы Цезарь был провозглашен диктатором. Сам он пустился в погоню за Помпеем, Антония же назначил начальником конницы и отправил в Рим. Начальник конницы – второе лицо рядом с диктатором, если же диктатор отлучается, его должность первая и почти единственная, ибо избрание диктатора прекращает полномочия всех должностных лиц, кроме народных трибунов.

9. Один из тогдашних трибунов, Долабелла, человек молодой и жаждавший перемен в государственных порядках, внес предложение об отмене долгов и убеждал Антония, который был его другом и, вдобавок, всегда стремился угодить народу, оказать поддержку этому начинанию. Меж тем как Азиний и Требеллий пытались внушить Антонию противоположный образ мыслей, у него внезапно зародилось сильное подозрение, что Долабелла оскорбил его супружеские права. В гневе и обиде он выгоняет из дома жену, – она была его родственницей, дочерью Гая Антония, товарища Цицерона по консульству, – и открывает борьбу против Долабеллы, принявши сторону Азиния. Долабелла занял форум, чтобы провести свой законопроект силой. Тогда Антоний, получивший поддержку сената, который постановил, что Долабеллу следует усмирить любыми средствами, не исключая и оружие, завязал с бунтарями настоящее сражение, некоторых из них убил и сам потерял несколько человек убитыми. С тех пор народ проникся к нему враждою, что же касается порядочных и разумных граждан, то им, как говорит Цицерон[10], был противен весь образ жизни Антония, – им внушало омерзение и его безобразное пьянство, и возмутительное расточительство, и нескончаемые забавы с продажными бабенками, и то, что днем он спал или бродил сам не свой с похмелья, а ночами слонялся с буйными гуляками, устраивал театральные представления и веселился на свадьбах шутов и мимов.

Рассказывают, что однажды он пировал на свадьбе у мима Гиппия и пил всю ночь напролет, а рано поутру народ позвал его на форум, и он, явившись с переполненным желудком, вдруг стал блевать, и кто-то из друзей подставил ему свой плащ. Среди самых влиятельных его приближенных были и мим Сергий, и возлюбленная Антония – бабенка из той же труппы, по имени Киферида; объезжая города, Антоний возил ее за собою в носилках, которые сопровождала свита, не меньшая, чем при носилках его матери. Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры, и роскошные завтраки у реки или на опушке рощи, и запряженные в колесницу львы, и дома́ достойных людей, отведенные под квартиры потаскухам и арфисткам. И все возмущались и негодовали, что тем временем, как сам Цезарь, за пределами Италии, ночует под открытым небом и ценою огромных трудов и опасностей гасит последние искры войны, в это самое время другие, пользуясь властью, которою их облек Цезарь, утопают в роскоши и глумятся над согражданами.

10. Это, по-видимому, усугубило смуту, а воинов подстрекнуло к наглым бесчинствам и грабежам. Поэтому Цезарь, вернувшись, простил Долабеллу и, в третий раз избранный консулом, товарищем по должности взял не Антония, а Лепида. Антоний купил дом Помпея, который продавался с торгов, но был возмущен, когда у него потребовали назначенную цену. "Я потому только не по-

шел за Цезарем в африканский поход, – сказал он, – что не получил никакой благодарности за прежние заслуги".

Но все же, сколько можно судить, Цезарь не остался равнодушен к безобразиям Антония и принудил его обуздать свое безрассудство и распутство. Расставшись с прежнею жизнью, Антоний решил жениться и взял за себя Фульвию, вдову народного вожака Клодия, женщину, на уме у которой была не пряжа и не забота о доме – ей мало было держать в подчинении скромного и невидного супруга, но хотелось властвовать над властителем и начальствовать над начальником. Фульвия замечательно выучила Антония повиноваться женской воле и была бы вправе потребовать плату за эти уроки с Клеопатры, которая получила из ее рук Антония уже совсем смирным и привыкшим слушаться женщин. Впрочем, и ее Антоний пытался расшевелить своими шутками и мальчишескими выходками. Как-то раз, после победы Цезаря в Испании[11], Антоний в числе многих других выехал ему навстречу, но затем по Италии внезапно пронесся слух, будто Цезарь убит и враги приближаются, и он повернул обратно. Прибывши в Рим, он переоделся в рабское платье и посреди ночи явился к себе в дом с сообщением, что привез Фульвии письмо от Антония. Закутанного с ног до головы в плащ, его провели к Фульвии, и та, вне себя от волнения, первым делом спросила, жив ли Антоний. В ответ он молча протянул ей письмо, а когда она распечатала его и начала читать, обнял и поцеловал жену. Среди многих подобных случаев это лишь один, который я привожу для примера.

11. Когда Цезарь возвращался из Испании, все виднейшие люди государства встречали его на расстоянии многих дней пути от Рима. Антония он отметил особенно высокою почестью: проезжая по Италии на колеснице, Цезарь посадил его рядом с собою, а позади – Брута Альбина и Октавиана, сына своей племянницы, который впоследствии получил имя Цезаря и долгие годы правил римлянами. Избранный консулом в пятый раз, Цезарь товарищем по должности немедленно назначил Антония, а затем пожелал сложить с себя консульское достоинство и передать его Долабелле. Когда он известил об этом сенат, Антоний выступил с резкими возражениями, осыпал Долабеллу бранью, немало ругательств услышал и на свой счет, и Цезарь, смущенный таким бесчинством, вышел из курии. Некоторое время спустя он все же хотел провозгласить Долабеллу консулом, но Антоний кричал, что гадания по птицам неблагоприятны, зловещи, и в конце концов Цезарь уступил – к великой досаде Долабеллы. Скорее всего, и тот и другой были ему одинаково противны; рассказывают, что однажды, выслушав жалобу на обоих сразу, Цезарь заметил, что боится не этих, жирных и красиво причесанных, а бледных и худых – намекая на Брута и Кассия. Позже он, действительно, пал жертвою их заговора.

12. Отличный повод к решительным действиям дал заговорщикам, сам того не подозревая, Антоний. Римляне справляли праздник Ликеи – который они зовут Луперкалиями[12], – и Цезарь в пышном наряде триумфатора сидел на форуме, на ораторском возвышении, и смотрел на бегунов. В этот день многие молодые люди из знатных домов и даже иные из высших должностных лиц бегают, натершись маслом, по городу и в шутку хлещут встречных бичами из косматой, невыделанной шкуры. И вот Антоний, который тоже был среди бегунов, нару-

шает древний обычай, приближается с увитою лавром диадемою к возвышению, те, кто бежит с ним вместе, поднимают его высоко над землей, и Антоний протягивает руку с диадемою к голове Цезаря – в знак того, что ему подобает царская власть. Цезарь, однако, принял строгий вид и откинулся назад, и граждане ответили на это радостными рукоплесканиями. Антоний снова поднес ему диадему, Цезарь снова ее отверг, и борьба между ними тянулась долгое время, причем Антонию, который настаивал на своем, рукоплескали всякий раз немногочисленные друзья, а Цезарю, отклонявшему венец, – весь народ. Удивительное дело! Те, что по сути вещей уже находились под царскою властью, страшились царского титула, точно в нем одном была потеря свободы! Цезарь спустился с возвышения; не в силах сдержать гнев, он откинул с шеи тогу и кричал, что готов подставить горло любому, кто пожелает лишить его жизни. Венок с диадемой, возложенный на одну из его статуй, несколько народных трибунов сняли, и народ, с громкими криками одобрения, проводил их до дому, зато Цезарь – отрешил от должности.

13. Это событие укрепило сторонников Брута и Кассия в их намерениях. Выбирая для заговора верных друзей, они думали и об Антонии. Все высказывались за то, чтобы привлечь его к делу, и только Требоний был против. Он рассказал, что в ту пору, когда они встречали возвращавшегося из Испании Цезаря, он путешествовал вместе с Антонием и жил с ним в одной палатке, и еще тогда, со всеми возможными предосторожностями, пробовал узнать его образ мыслей. Антоний понял, к чему он клонит, и никак не отозвался на его попытку, однако и Цезарю ни о чем не донес, но честно хранил их разговор втайне. Тогда заговорщики стали совещаться, не убить ли Антония вместе с Цезарем. Против этого решительно восстал Брут, потребовав, чтобы дело, на которое они отваживаются во имя права и законов, было безукоризненно чисто от какой бы то ни было несправедливости. Вместе с тем, опасаясь большой телесной силы Антония и того влияния, какое давала ему консульская должность, заговорщики назначили нескольких человек, которые перед самым покушением, когда Цезарь уже войдет в курию, должны были важным разговором задержать Антония у входа.

14. Все произошло так, как они и замышляли, – Цезарь был убит в здании сената, и Антоний, в одежде раба, немедленно скрылся. Когда же он узнал, что заговорщики, никому больше не причинив никакого вреда, собрались на Капитолии, он убедил их спуститься и дал в заложники собственного сына. В тот же вечер он угощал обедом Кассия, а Лепид – Брута. Созвав сенат, Антоний предложил предать прошлое забвению и назначить Кассию и Бруту провинции, сенаторы одобрили его мысль, а, кроме того, постановили в указах и распоряжениях Цезаря ничего не изменять. В тот день Антоний вышел из курии самым знаменитым и прославленным в Риме человеком – все считали, что он уничтожил в зародыше междоусобную войну и с мудростью великого государственного мужа уладил дела, чреватые небывалыми трудностями и опасностями. Но благоразумные замыслы оказались недолговечны: слава, которою он пользовался у толпы и которая внушала ему надежду, что, свергнув и сокрушив Брута, он достигнет неоспоримого первенства, – эта слава заставила его забыть о прежних

замыслах. На погребении Цезаря, когда останки несли через форум, Антоний, в согласии с обычаем, сказал похвальную речь умершему. Видя, что народ до крайности взволнован и увлечен его словами, он к похвалам примешал горестные возгласы, выражал негодование происшедшим, а под конец, потрясая одеждой Цезаря, залитою кровью и изодранной мечами, назвал тех, кто это сделал, душегубами и подлыми убийцами. Народ пришел в такую ярость, что, сложивши костер из скамей и столов, сжег тело Цезаря тут же, на форуме, а потом, с пылающими головнями, ринулся к домам заговорщиков и пытался в них ворваться.

15. Видя все это, Брут и его сторонники бежали из Рима, друзья же Цезаря сплотились вокруг Антония, а вдова убитого, Кальпурния, прониклась к нему таким доверием, что перевезла в его дом чуть ли не все оставшиеся после смерти супруга деньги – в целом около четырех тысяч талантов. В руках Антония оказались и все записи Цезаря, среди которых были намеченные им замыслы и решения. Дополняя эти записи любыми именами по собственному усмотрению, Антоний многих назначил на высшие должности, многих включил в сенаторское сословие, а иных даже вернул из ссылки и выпустил на свободу из заключения, неизменно утверждая, будто такова воля Цезаря. Всем этим людям римляне дали насмешливое прозвище друзей Харона[13], потому, что, когда их привлекали к ответу, они искали спасения в заметках умершего. И вообще Антоний держал себя как самовластный правитель, что вполне объяснимо – ведь сам он был консулом, а двое братьев тоже занимали высшие должности: Гай – претора, Луций – народного трибуна.

16. Вот в каком положении находятся дела, когда в Рим прибывает молодой Цезарь, внучатый племянник умершего и наследник его состояния; во время убийства он был в Аполлонии. Сразу по приезде он является с приветствиями к Антонию – другу своего приемного отца – и напоминает о деньгах, переданных тому на хранение: завещание гласило, что молодой Цезарь должен раздать римлянам по семидесяти пяти денариев каждому. Сперва Антоний, полный пренебрежения к его юным годам, говорил ему, что он просто не в своем уме и лишен не только разума, но и добрых друзей, если хочет принять на свои плечи такую непосильную ношу, как наследство Цезаря. Однако юноша не уступал и попрежнему требовал денег, и тут Антоний принялся всячески унижать его и словом и делом. Он домогался должности народного трибуна – Антоний встал ему поперек дороги, он выставил в общественном месте золотое кресло своего отца – в полном согласии с постановлением сената, – Антоний пригрозил заключить его в тюрьму, если он не прекратит заискивать у народа. Но когда он поручил себя заботам Цицерона и всех прочих, кто ненавидел Антония, и через них начал располагать в свою пользу сенат, меж тем как сам старался приобрести благосклонность народа и собирал в Рим старых воинов из их поселений, – Антоний испугался и, устроив встречу с Цезарем на Капитолии, примирился с ним. В ту же ночь он увидел страшный сон – будто в правую его руку ударила молния, а через несколько дней разнесся слух, что Цезарь готовит ему гибель. Цезарь оправдывался, но подозрений Антония не рассеял, и вражда загорелась вновь.

Оба противника объезжали Италию, громкими посулами поднимали на ноги бывших солдат, уже наделенных землею, и наперебой склоняли на свою сторону войска, еще не выпустившие из рук оружие. 17. Цицерон, обладавший в ту пору наибольшим влиянием в Риме, восстановил против Антония всех и вся и, в конце концов, убедил сенат объявить его врагом государства. Особым постановлением Цезарю была отправлена ликторская свита и остальные знаки преторского достоинства, а Пансе и Гирцию, консулам того года, поручено изгнать Антония из Италии. Консулы дали Антонию битву близ города Мутины, в присутствии и при поддержке Цезаря, и разбили врага, но сами оба погибли.

Во время бегства Антонию пришлось вынести много тяжких испытаний, и самым тяжким среди них был голод. Но таков он был от природы, что в несчастиях, в беде превосходил самого себя и становился неотличимо схож с человеком, истинно достойным. Правда, всем людям свойственно, потерпев крушение, вспоминать о требованиях долга и чести, но далеко не у каждого хватает при этом силы следовать тому, что он признал достойным, и избегать того, что осудил, – многие по слабости уступают давним привычкам и не слушаются голоса разума. Антоний, однако, в те дни был замечательным примером для своих воинов: после всей роскоши, всего великолепия, которые его окружали, он без малейшей брезгливости пил тухлую воду и питался дикими плодами и кореньями. Рассказывают, что, переваливая через Альпы, его люди ели и древесную кору, и животных, никогда прежде в пищу не употреблявшихся.

18. Его целью было соединиться с войском, стоявшим по ту сторону гор под командою Лепида, который считался другом Антония и с его помощью извлек немало выгод из дружбы с Цезарем. Когда же, завершив путь и расположившись лагерем неподалеку, он увидел, что ни малейшего дружеского участия в Лепиде не встречает, то решился на отчаянный поступок. С нечесаными волосами, с длинною бородой, которая отросла после поражения, в темном плаще он подошел к лагерю Лепида и заговорил с воинами. Многие были растроганы его видом и захвачены его речью, и Лепид, испугавшись, приказал трубить во все трубы, чтобы заглушить слова Антония. Но это лишь усилило сочувствие солдат к Антонию, и они завязали с ним тайные переговоры, отправив Лелия и Клодия, переодетых солдатскими потаскухами. Посланцы убеждали Антония смело напасть на лагерь: найдется, говорили они, немало людей, которые примут его с распростертыми объятиями, а Лепида – если он пожелает, – убьют. Лепида Антоний трогать не велел, а сам рано поутру начал переправляться через реку. Он вошел в воду первым и двинулся вброд к противоположному берегу, где уже толпились воины Лепида, протягивая к нему руки, меж тем как другие разрушали лагерный вал. Вступив в лагерь и овладевши им, он обошелся с Лепидом до крайности мягко – почтительно его приветствовал, назвал отцом и сохранил за ним титул императора и все почести, хотя по сути дела безраздельным хозяином положения был теперь он, Антоний. Это привлекло на его сторону и Мунатия Планка, который находился вблизи со значительными силами. Так, снова поднявшись на ноги и выпрямившись во весь рост, Антоний перевалил Альпы и повел на Италию семнадцать легионов пехоты и десять тысяч кон-

ницы. Кроме того, в Галлии, для сторожевой службы, он оставил шесть легионов во главе с Варием, одним из своих приятелей и собутыльников, известным под прозвищем Пропойца.

19. Между тем Цезарь, видя приверженность Цицерона свободе, совсем к нему охладел и через друзей предлагал Антонию и Лепиду мирное соглашение. Втроем они встретились на маленьком островке посреди реки и совещались три дня подряд. Без особого труда они договорились обо всем прочем и, точно отцовское наследство, поделили между собою Римскую державу, и лишь вокруг осужденных на смерть разгорелся яростный и мучительный спор, ибо каждый хотел разделаться со своими врагами и спасти своих приверженцев. В конце концов уважение к родственникам и любовь к друзьям склонились перед лютою злобой к неприятелям и Цезарь уступил Антонию Цицерона, а тот ему – Луция Цезаря, своего дядю по матери. Лепиду был отдан в жертву Павел, его родной брат. Правда, некоторые утверждают, что смерти Павла требовали двое остальных, а Лепид лишь уступил их требованиям. Нет и не было, на мой взгляд, ничего ужаснее и бесчеловечнее этого обмена! За смерть платя смертью, они были одинаково повинны и в убийстве тех, над кем получали власть, и тех, кого выдавали сами, хотя большею несправедливостью была, разумеется, расправа с друзьями, ни малейшей ненависти к которым они не питали.

20. Когда согласие было достигнуто, воины, обступив Цезаря, потребовали, чтобы он скрепил новую дружбу браком, взявши за себя Клодию, дочь супруги Антония – Фульвии. Ни Цезарь, ни Антоний не возражали. Затем были объявлены вне закона и казнены триста человек. Цицерону Антоний приказал отсечь голову и правую руку, которою оратор писал свои речи против него. Ему доставили эту добычу, и он глядел на нее, счастливый, и долго смеялся от радости, а потом, наглядевшись, велел выставить на форуме, на ораторском возвышении. Он-то думал, что глумится над умершим, но скорее, на глазах у всех, оскорблял Судьбу и позорил свою власть! Его дядя, Цезарь, за которым гнались убийцы, искал убежища у своей сестры. Когда палачи вломились в дом и уже готовы были ворваться в ее спальню, она встала на пороге и, раскинув руки, воскликнула: "Вам не убить Луция Цезаря, пока жива я, мать вашего императора!" Так она спасла брата от верной смерти.

21. Власть троих по многим причинам тяготила римлян, но главная доля вины падала на Антония, который был старше Цезаря и могущественнее Лепида и теперь, едва оправившись от бедствий, снова с головою ушел в прежнюю жизнь, разнузданную, полную наслаждений. Вдобавок к дурной молве, всеобщей и единогласной, немалую ненависть разжигал самый вид его дома, где прежде жил Помпей Великий, славою своею столько же обязанный трем триумфам, сколько воздержности и строгой простоте: римляне негодовали, видя этот дом почти всегда закрытым для военачальников, полководцев и послов, которых бесстыдно гнали прочь от дверей, зато битком набитым фокусниками, мимами и пьяными льстецами, на которых уходили чуть ли не все деньги, добывавшиеся ценою жесточайших насилий. В самом деле, трое властителей не только пускали с торгов имущество казненных, возводя при этом клеветнические обвинения на их родственников и жен, не только ввели налоги всех видов, – в довер-

шение ко всему, разузнав, что у жриц Весты хранятся ценности, доверенные им иностранцами и римскими гражданами, они изъяли эти вклады. Но Антоний был по-прежнему ненасытен, и Цезарь потребовал поделить собранные деньги. Поделили они и войско, оба отправляясь в Македонию против Брута и Кассия, а Рим вверив охране Лепида.

22. Когда, переправившись за море, они начали военные действия и разбили лагери вблизи неприятеля, так что Антоний стал против Кассия, а против Брута Цезарь, последний ничем себя не прославил, у Антония же успех следовал за успехом. В первой битве Брут нанес Цезарю решительное поражение, взял его лагерь и во время погони едва не захватил в плен самого полководца. Впрочем, Цезарь в своих "Воспоминаниях" сообщает, что накануне битвы уехал – по совету одного из друзей, видевшего дурной сон. Антоний разгромил Кассия; следует, правда, заметить, что, по словам некоторых писателей, сам он в сражении участия не принимал и появился лишь после боя, когда уже началось преследование. Кассия, который не знал о победе Брута, убил, подчиняясь его желанию и приказу, верный вольноотпущенник Пиндар. Немного дней спустя состоялась новая битва, и Брут, потерпев поражение, покончил с собой. Почти вся слава победы досталась Антонию, потому что Цезарь был болен. Подойдя к телу Брута, Антоний сперва поставил мертвому в укор смерть своего брата Гая – Брут казнил его в Македонии, мстя за гибель Цицерона, – но затем сказал, что в убийстве брата винит скорее Гортензия, чем Брута, и распорядился зарезать Гортензия на могиле Гая, а Брута прикрыл своим пурпурным плащом, который стоил огромных денег, и велел одному из своих вольноотпущенников позаботиться о его погребении. Впоследствии выяснилось, что этот человек и плащ на погребальном костре не сжег, и похитил бо́льшую часть отпущенной на похороны суммы, – и Антоний его казнил.

23. После этого Цезарь уехал в Рим – недуг был настолько силен, что, казалось, дни его сочтены, – Антоний же, намереваясь обложить данью восточные провинции, во главе большого войска двинулся в Грецию; трое властителей обещали каждому воину по пяти тысяч денариев, и теперь требовались решительные и крутые меры, чтобы добыть необходимые суммы. С греками, однако, он держался – по крайней мере, сначала – без малейшей строгости или грубости, напротив, он слушал ученых, смотрел на игры, принимал посвящения в таинства, и лишь в этом обнаруживала себя его страсть к забавам и развлечениям; в суде он бывал снисходителен и справедлив, он радовался, когда его называли другом греков и еще того более – другом афинян, и сделал этому городу много щедрых даров. Мегаряне, соперничая и соревнуясь с афинянами, тоже хотели показать Антонию что-нибудь замечательное и пригласили его посмотреть здание Совета. Гость все оглядел и на вопрос хозяев, каков у них Совет, ответил: "Тесный и ветхий". Он приказал сделать обмеры храма Аполлона Пифийского с целью довести строительство[14] до конца. Такое обещание дал он сенату в Риме.

24. Когда же, оставив в Греции Луция Цензорина, Антоний переправился в Азию и впервые ощутил вкус тамошних богатств, когда двери его стали осаждать цари, а царицы наперебой старались снискать его благосклонность богаты-

ми дарами и собственной красотою, он отдался во власть прежних страстей и вернулся к привычному образу жизни, наслаждаясь миром и безмятежным покоем, меж тем как Цезарь в Риме выбивался из сил, измученный гражданскими смутами и войной[15]. Всякие там кифареды Анаксеноры, флейтисты Ксуфы, плясуны Метродоры и целая свора разных азиатских музыкантов, наглостью и гнусным шутовством далеко превосходивших чумной сброд, привезенный из Италии, наводнили и заполонили двор Антония и все настроили на свой лад, всех увлекли за собою – это было совершенно непереносимо! Вся Азия, точно город в знаменитых стихах Софокла[16], была полна

Курений сладких, песнопений, стонов, слез.

Когда Антоний въезжал в Эфес, впереди выступали женщины, одетые вакханками, мужчины и мальчики в обличии панов и сатиров, весь город был в плюще, в тирсах, повсюду звучали псалтерии[17], свирели, флейты, и граждане величали Антония Дионисом – Подателем радостей, Источником милосердия. Нет спору, он приносил и радость и милосердие, но – лишь иным, немногим, для большинства же он был Дионисом Кровожадным и Неистовым[18]. Он отбирал имущество у людей высокого происхождения и отдавал негодяям и льстецам. Нередко у него просили добро живых – словно бы выморочное, – и получали просимое. Дом одного магнесийца он подарил повару, который, как рассказывают, однажды угодил ему великолепным обедом. Наконец, он обложил города налогом во второй раз, и тут Гибрей, выступая в защиту Азии, отважился произнести меткие и прекрасно рассчитанные на вкус Антония слова: "Если ты можешь взыскать подать дважды в течение одного года, ты, верно, можешь сотворить нам и два лета, и две осени!" Решительно и смело напомнив, что Азия уже уплатила двести тысяч талантов, он воскликнул: "Если ты их не получил, спрашивай с тех, в чьи руки эти деньги попали, если же, получив, уже издержал – мы погибли!" Эта речь произвела на Антония глубокое впечатление. Почти ни о чем из того, что творилось вокруг, он просто не знал – не столько по легкомыслию, сколько по чрезмерному простодушию, слепо доверяя окружающим. Вообще он был простак и тяжелодум и поэтому долго не замечал своих ошибок, но раз заметив и постигнув, бурно раскаивался, горячо винился перед теми, кого обидел, и уже не знал удержу ни в воздаяниях, ни в карах. Впрочем, сколько можно судить, он легче преступал меру награждая, чем наказывая. Равным образом его разнузданная страсть к насмешкам в себе самой заключала и своего рода целебное средство, ибо каждому дозволялось обороняться и платить издевкою за издевку, и Антоний с таким же удовольствием потешался на собственный счет, как и на счет других. Однако же на дела это его качество оказывало большею частью пагубное воздействие. Он и не догадывался, что люди, которые так смелы и вольны в шутках, способны льстить, ведя беседы первостепенной важности, и легко попадался в силки похвал, не зная, что иные примешивают к лести вольность речей, словно терпкую приправу, разжигающую аппетит, и дерзкою болтовней за чашею вина преследуют вполне определенную цель – чтобы их неизменное согласие в делах серьезных казалось не угодничеством, но вынужденной уступкою разуму, более сильному и высокому.

25. Ко всем этим природным слабостям Антония прибавилась последняя напасть – любовь к Клеопатре, – разбудив и приведя в неистовое волнение многие страсти, до той поры скрытые и недвижимые, и подавив, уничтожив все здравые и добрые начала, которые пытались ей противостоять. И вот как запутался он в этих сетях. Готовясь к борьбе с Парфией, он отправил к Клеопатре гонца с приказом явиться в Киликию и дать ответ на обвинения, которые против нее возводились: говорили, что во время войны царица много помогла Кассию и деньгами, и иными средствами. Увидев Клеопатру, узнав ее хитрость и редкое мастерство речей, гонец римского полководца Деллий сразу же сообразил, что такой женщине Антоний ничего дурного не сделает, напротив, сам полностью подпадет ее влиянию, а потому принялся всячески обхаживать египтянку, убеждал ее ехать в Киликию, как сказано у Гомера[19] – "убранством себя изукрасив", и совершенно не бояться Антония, среди всех военачальников самого любезного и снисходительного. Клеопатра последовала совету Деллия и, помня о впечатлении, которое в прежние годы произвела ее красота на Цезаря и Гнея, сына Помпея, рассчитывала легко покорить Антония. Ведь те двое знали ее совсем юной и неискушенной в жизни, а перед Антонием она предстанет в том возрасте, когда и красота женщины в полном расцвете и разум ее всего острей и сильнее. Итак, приготовив щедрые дары, взяв много денег, роскошные наряды и украшения, – какие и подобало везти с собою владычице несметных богатств и благоденствующего царства, – но главные надежды возлагая на себя самое, на свою прелесть и свои чары, она пустилась в путь.

26. Хотя Клеопатра успела получить много писем и от самого Антония, и от его друзей, она относилась к этим приглашениям с таким высокомерием и насмешкой, что поплыла вверх по Кидну[20] на ладье с вызолоченной кормою, пурпурными парусами и посеребренными веслами, которые двигались под напев флейты, стройно сочетавшийся со свистом свирелей и бряцанием кифар. Царица покоилась под расшитою золотом сенью в уборе Афродиты, какою изображают ее живописцы, а по обе стороны ложа стояли мальчики с опахалами – будто эроты на картинах. Подобным же образом и самые красивые рабыни были переодеты нереидами и харитами и стояли кто у кормовых весел, кто у канатов. Дивные благовония восходили из бесчисленных курильниц и растекались по берегам. Толпы людей провожали ладью по обеим сторонам реки, от самого устья, другие толпы двинулись навстречу ей из города, мало-помалу начала пустеть и площадь, и в конце концов Антоний остался на своем возвышении один. И повсюду разнеслась молва, что Афродита шествует к Дионису на благо Азии.

Антоний послал Клеопатре приглашение к обеду. Царица просила его прийти лучше к ней. Желая сразу же показать ей свою обходительность и доброжелательство, Антоний исполнил ее волю. Пышность убранства, которую он увидел, не поддается описанию, но всего более его поразило обилие огней. Они сверкали и лили свой блеск отовсюду и так затейливо соединялись и сплетались в прямоугольники и круги, что трудно было оторвать взгляд или представить себе зрелище прекраснее. 27. На другой день Антоний принимал египтянку и приложил все усилия к тому, чтобы превзойти ее роскошью и изысканностью, но, видя себя побежденным и в том и в другом, первый принялся насмехаться

над убожеством и отсутствием вкуса, царившими в его пиршественной зале. Угадавши в Антонии по его шуткам грубого и пошлого солдафона, Клеопатра и сама заговорила в подобном же тоне – смело и без всяких стеснений. Ибо красота этой женщины была не тою, что зовется несравненною и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимою прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкою убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад, – на любое наречие, так что лишь с очень немногими варварами она говорила через переводчика, а чаще всего сама беседовала с чужеземцами – эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, сирийцами, мидийцами, парфянами... Говорят, что она изучила и многие языки, тогда как цари, правившие до нее, не знали даже египетского, а некоторые забыли и македонский.

28. Антоний был увлечен до такой степени, что позволил Клеопатре увезти себя в Александрию – и это в то самое время, когда в Риме супруга его Фульвия, отстаивая его дело, вела войну с Цезарем, а парфянское войско действовало в Месопотамии, и полководцы царя уже объявили Лабиена парфянским наместником этой страны и готовились захватить Сирию. В Александрии он вел жизнь мальчишки-бездельника и за пустыми забавами растрачивал и проматывал самое драгоценное, как говорит Антифонт, достояние – время. Составился своего рода союз, который они звали "Союзом неподражаемых", и что ни день они задавали друг другу пиры, проматывая совершенно баснословные деньги. Врач Филот, родом из Амфиссы, рассказывал моему деду Ламприю, что как раз в ту пору он изучал медицину в Александрии и познакомился с одним из поваров царицы, который уговорил его поглядеть, с какою роскошью готовится у них обед. Его привели на кухню, и среди прочего изобилия он увидел восемь кабанов, которых зажарили разом, и удивился многолюдности предстоящего пира. Его знакомец засмеялся и ответил: "Гостей будет немного, человек двенадцать, но каждое блюдо надо подавать в тот миг, когда оно вкуснее всего, а пропустить этот миг проще простого. Ведь Антоний может потребовать обед и сразу, а случается, и отложит ненадолго – прикажет принести сперва кубок или увлечется разговором и не захочет его прервать. Выходит, – закончил повар, – готовится не один, а много обедов, потому что время никак не угадаешь". Так рассказывал Филот. Немного спустя он оказался в числе приближенных старшего сына Антония от Фульвии и вместе с остальными друзьями постоянно у него обедал, – кроме тех дней, когда мальчик обедал у отца. Однажды за столом какой-то врач держал себя крайне вызывающе и был в тягость всем присутствующим, пока Филот не зажал ему рта таким хитроумным рассуждением: "Кому жарко, тому надо дать холодной воды. Но всем, у кого жар, жарко. Стало быть, каждого, у кого жар, надо поить холодной водой"[21]. В полной растерянности наглец замолчал, а мальчик весело засмеялся и крикнул: "Все, что здесь есть, дарю тебе, Филот!" – и с этими словами указал на стол, тесно уставленный вместительными кубками. Филот горячо благодарил, но был далек от мысли, что такому юному мальчику дано право делать столь дорогие подарки. Однако, спу-

стя короткое время, является один из рабов, приносит корзину с кубками и велит ему скрепить своею печатью расписку. Филот стал было отказываться и боялся оставить кубки у себя, но раб ему сказал: “Чего ты трусишь, дурак? Не знаешь разве, кто тебе это посылает? Сын Антония, а он может подарить и золотых кубков столько же! Но лучше послушайся меня и отдай нам все это обратно, а взамен возьми деньги, а то как бы отец не хватился какой-нибудь из вещей – ведь среди них есть старинные и тонкой работы”. Эту историю, говорил мне мой дед, Филот любил повторять при всяком удобном случае.

29. Клеопатра, между тем, исхитрилась разделить лесть не на четыре, как сказано у Платона[22], а на много частей и, всякий раз сообщая все новую сладость и прелесть любому делу или развлечению, за какое ни брался Антоний, ни на шаг не отпуская его ни днем ни ночью, крепче и крепче приковывала к себе римлянина. Вместе с ним она играла в кости, вместе пила, вместе охотилась, бывала в числе зрителей, когда он упражнялся с оружием, а по ночам, когда, в платье раба, он бродил и слонялся по городу, останавливаясь у дверей и окон домов и осыпая обычными своими шутками хозяев – людей простого звания, Клеопатра и тут была рядом с Антонием, одетая ему под стать. Нередко он и сам слышал в ответ злые насмешки и даже возвращался домой помятый кулаками александрийцев, хотя большинство и догадывалось, с кем имеет дело. Тем не менее шутовство Антония было по душе горожанам, они с охотою и со вкусом участвовали в этой игре и говорили, что для римлян он надевает трагическую маску, для них же – комическую.

Пересказывать все его многочисленные выходки и проказы было бы пустою болтовней, достаточно одного примера. Как-то раз он удил рыбу, клев был плохой, и Антоний огорчался, оттого что Клеопатра сидела рядом и была свидетельницей его неудачи. Тогда он велел рыбакам незаметно подплывать под водою и насаживать добычу ему на крючок и так вытащил две или три рыбы. Египтянка разгадала его хитрость, но прикинулась изумленной, рассказывала об этом замечательном лове друзьям и приглашала их поглядеть, что будет на другой день. Назавтра лодки были полны народу, Антоний закинул лесу, и тут Клеопатра велела одному из своих людей нырнуть и, упредивши рыбаков Антония, потихоньку насадить на крючок понтийскую вяленую рыбу. В уверенности, что снасть не пуста, Антоний вытянул лесу и под общий хохот, которым, как и следовало ожидать, встретили “добычу” все присутствующие, Клеопатра промолвила: “Удочки, император, оставь нам, государям фаросским и канопским[23]. Твой улов – города, цари и материки”.

30. Среди подобного рода глупейших мальчишеских забав Антония застигают два сообщения: одно из Рима – что его брат Луций и супруга Фульвия, сперва боровшиеся друг с другом, а потом вместе воевавшие против Цезаря, потерпели полное поражение и бежали из Италии, и другое, ничуть не более отрадное, – что парфяне во главе с Лабиеном покоряют Азию от Евфрата и Сирии до Лидии и Ионии. Насилу пробудившись и стряхнув с себя хмель, он двинулся против парфян и уже дошел до Финикии, когда получил полное жалоб письмо от Фульвии, прекратил поход и с двумястами судов вышел в море, взяв направление на Италию. По пути он принял на борт бежавших из Рима друзей, которые расска-

зали ему, что виновницей войны была Фульвия: беспокойная и дерзкая от природы, она вдобавок надеялась, раздув беспорядки в Италии, оторвать Антония от Клеопатры.

Как раз в это время Фульвия, которая плыла к мужу, заболела и в Сикионе умерла, что сильно помогло Антонию достигнуть согласия с Цезарем. Действительно, когда Антоний высадился в Италии и оказалось, что Цезарь ни в чем его не обвиняет, а все вины, какие противники возводили на него самого, возлагает на Фульвию, друзья не дали обоим углубляться в объяснения, но примирили их и помогли разделить верховное владычество. Границею было сделано Ионийское море, и владения к востоку от него получил Антоний, к западу Цезарь, Африку уступили Лепиду; консульскую должность решили занимать поочередно или, поочередно же, назначать на нее своих друзей.

31. Сколь ни удачен казался этот договор, обеим сторонам хотелось заручиться более надежным обеспечением, и судьба представила к тому счастливую возможность. У Цезаря была старшая сестра Октавия, не родная, а единокровная (ее родила Анхария, а Цезаря, позже, – Атия). Цезарь горячо любил сестру, которая была, как говорится, настоящим чудом среди женщин. Гай Марцелл, ее супруг, незадолго до того умер, и она вдовела. После кончины Фульвии вдовел, по-видимому, и Антоний, который сожительства с Клеопатрой не отрицал, но признать свою связь браком отказывался – разум его еще боролся с любовью к египтянке. Итак, все хлопотали о браке Антония и Октавии в надежде, что эта женщина, сочетавшись с Антонием и приобретя ту любовь, какой не могла не вызвать ее замечательная красота, соединившаяся с достоинством и умом, принесет государству благоденствие и сплочение. Когда обе стороны изъявили свое согласие, все съехались в Риме и отпраздновали свадьбу, хотя закон и запрещал вдове вступать в новый брак раньше, чем по истечении десяти месяцев со дня смерти прежнего мужа; однако сенат особым постановлением сократил для Октавии этот срок.

32. Сицилия находилась под властью Секста Помпея, который опустошал берега Италии и, собрав большой разбойничий флот с Менекратом и пиратом Меном во главе, сделал море несудоходным, однако во внимание к его заслугам перед Антонием – Секст оказал гостеприимство матери Антония, бежавшей из Рима вместе с Фульвией, – решено было и с ним заключить мир. Собрались подле Мисенского мыса и мола, корабли Помпея стали у берега на якорь, а напротив разбили лагерь войска Антония и Цезаря. После того, как договорились, что Помпей получает Сардинию и Сицилию, но обязуется очистить море от разбойников и отправить в Рим известное количество хлеба, все трое стали приглашать друг друга в гости. Бросили жребий, и быть хозяином первому досталось Помпею. На вопрос Антония, где они будут обедать, Секст промолвил: "Там, – и указал на флагманское судно с шестью рядами весел. – Вот отцовский дом, который остался Помпею", – прибавил он, метя в Антония, владевшего домом, который прежде принадлежал Помпею-отцу. Корабль бросил якоря поближе к суше, навели что-то вроде моста, и Помпей радушно принял своих гостей. В самый разгар угощения, когда градом сыпались шутки насчет Клеопатры и Антония, к Помпею подошел пират Мен и шепнул ему на ухо: "Хочешь, я обрублю

якорные канаты и сделаю тебя владыкою не Сицилии и Сардинии, но Римской державы?" Услыхав эти слова, Помпей после недолгого раздумья отвечал: "Что бы тебе исполнить это, не предупредивши меня, Мен! А теперь приходится довольствоваться тем, что есть, – нарушать клятву не в моем обычае". Побывав, в свою очередь, на ответных пирах у Антония и Цезаря, Секст отплыл в Сицилию.

33. После заключения мира Антоний отправил в Азию Вентидия, чтобы остановить парфян, а сам, уступая желанию Цезаря, принял звание и должность жреца старшего Цезаря[24]. И вообще они согласно и дружно решали важнейшие государственные дела, и лишь игры и забавы доставляли Антонию огорчения, потому что Цезарь неизменно брал над ним верх. В свите Антония был один египетский прорицатель, составлявший гороскопы, и, то ли в угоду Клеопатре, то ли без всякой задней мысли, он прямо, не стесняясь, говорил Антонию, что его счастье, как бы велико и блистательно оно ни было, Цезарем затмевается, и советовал держаться как можно дальше от этого юноши. "Твой гений, – говорил египтянин, – боится его гения[25], сам по себе он высокомерен и кичлив, но вблизи от него впадает в смирение и уныние". И, сколько можно судить, происходившее подтверждало слова египтянина. В самом деле, передают, что когда они в шутку метали о чем-нибудь жребий или играли в кости, в проигрыше всегда оставался Антоний. Всякий раз, как они стравливали петухов или боевых перепелов, победа доставалась Цезарю, Антоний втайне об этом сокрушался; все чаще и чаще прислушивался он к речам египтянина и наконец покинул Италию, домашние свои заботы передав Цезарю. Октавия, которая тем временем родила дочку, проводила его до самой Греции.

Зимуя в Афинах, Антоний получил известие о первых успехах Вентидия, который разбил парфян, причем в сражении пали Лабиен и лучший из полководцев царя Гирода – Франипат. На радостях Антоний задавал грекам пиры и исполнял обязанности афинского гимнасиарха. Оставляя дома знаки своей высочайшей власти, он появлялся на людях в греческом плаще, в фекадах, с тростью гимнасиарха[26] и, схватываясь с молодыми борцами, ловким приемом валил их наземь. 34. Готовясь выехать к месту военных действий, он украсил себя венком из ветвей священной маслины и, повинуясь какому-то оракулу, набрал в мех воды из Клепсидры[27] и повез с собою.

Между тем Вентидий встретил в Киррестике царского сына Пакора, снова наступавшего на Сирию с огромным войском, и разгромил врага, нанеся ему страшные потери. Одним из первых был убит сам Пакор. Победою этой – одною из самых прославленных своих побед – римляне полностью отомстили за гибель Красса и снова загнали парфян, потерпевших подряд три тяжелых поражения, в пределы Миндии и Месопотамии. Преследовать парфян далее рубежей Месопотамии Вентидий не захотел – он боялся зависти Антония, – но обратился против изменивших римлянам городов, привел их к покорности и осадил в Самосате Антиоха, царя Коммагены. Антиох был согласен уплатить тысячу талантов и впредь подчиняться распоряжениям Антония, но Вентидий приказал ему отправить послов к самому Антонию, который был уже близко и не позволял своему полководцу заключать мир, желая хоть это единственное дело обо-

значить своим собственным именем, чтобы не казалось, будто все достижения на Востоке – заслуга одного Вентидия. Осада, однако ж, затягивалась, неприятели за стенами Самосаты отказались от надежды на перемирие и стали защищаться с удвоенной силой, и Антоний, ничего не достигнув, в стыде и раскаянии, был рад примириться с Антиохом, получив от него триста талантов.

Произведя кое-какие незначительные перемены в Сирии, Антоний возвратился в Афины и послал Вентидия праздновать триумф, предварительно сам оказав ему заслуженные почести. Вплоть до нашего времени Вентидий остается единственным, кому довелось справить триумф над парфянами. Он был человек незнатного происхождения, но дружба с Антонием открыла ему путь к великим подвигам, и, со славою пройдя этот путь до конца, он подтвердил уже и без того распространенное мнение, что Антоний и Цезарь более удачливы в войнах, которые ведут не сами, но руками и разумом своих подчиненных. И верно, полководец Антония Соссий блестяще действовал в Сирии, а Канидий, которого он оставил в Армении, одержал верх и над армянами, и над царями иберов и албанов и продвинулся до Кавказа, так что имя Антония и молва об его могуществе прогремели среди варваров с новою силою.

35. Сам Антоний между тем из-за каких-то наветов, проникся к Цезарю новой враждою и отплыл в Италию с флотом из трехсот судов. Брундизий отказался его принять, и он пристал в Таренте. Отсюда, соглашаясь на просьбы Октавии, он отправляет ее к брату (супруга, родившая Антонию еще одну дочь и беременная в третий раз, плыла вместе с ним из Греции). Она встретилась с Цезарем в пути и, заручившись поддержкою двоих из его друзей – Агриппы и Мецената, умоляла и заклинала не допустить, чтобы из самой счастливой женщины она сделалась самою несчастною. Теперь, говорила Октавия, все взоры с надеждою обращены на нее – сестру одного императора и супругу другого. "Но если зло восторжествует и дело дойдет до войны, кому из вас двоих суждено победить, а кому остаться побежденным, – еще неизвестно, я же буду несчастна в любом случае". Растроганный ее речами, Цезарь вступил в Тарент вполне миролюбиво, и все, кто был тогда в городе, увидели несравненной красоты зрелище – огромное войско, спокойно расположившееся на суше, огромный флот, недвижно стоящий у берега, дружеские приветствия властителей и их приближенных. Антоний первым принимал у себя Цезаря, который ради сестры пошел и на эту уступку. Уже после того, как была достигнута договоренность, что Цезарь даст Антонию для войны с Парфией два легиона, а Антоний Цезарю – сто кораблей с медными таранами, Октавия выпросила у брата для мужа еще тысячу воинов, а у мужа для брата – двадцать легких судов, на каких обыкновенно ходят пираты. На этом они расстались, и Цезарь немедленно начал войну против Помпея, желая овладеть Сицилией, тогда как Антоний, вверив охране и заботам Цезаря Октавию со всеми детьми – и от самой Октавии и от Фульвии – вернулся в Азию.

36. Но любовь к Клеопатре, – эта страшная напасть, так долго дремавшая и, казалось, окончательно усыпленная и успокоенная здравыми рассуждениями, – вспыхнула вновь и разгоралась все жарче, по мере того как Антоний приближался к Сирии. И в конце концов, – как говорит Платон о строптивом и безу-

держном коне души[28], – отбрыкнувшись от всего прекрасного и спасительного, он поручает Фонтею Капитону привезти Клеопатру в Сирию. Она приехала, и он тут же сделал ей подарок, не скупой и не малый – к ее владениям прибавились Финикия, Келесирия, Кипр, значительная часть Киликии, а кроме того рождающая бальзам область Иудеи и та половина Набатейской Аравии. что обращена к Внешнему морю[29]. Эти дары оскорбили римлян как ничто иное. Антоний и прежде многим частным лицам жаловал тетрархии и целые царства и у многих отбирал престолы, как, например, у иудейского царя Антигона (которого, по его приказу, позже обезглавили на глазах у толпы, хотя до того никто из царей такому наказанию не подвергался). Но в наградах, которыми он осыпал Клеопатру, совершенно непереносимой была позорная причина его щедрости. Всеобщее негодование Антоний усугубил еще и тем, что открыто признал своими детьми близнецов, которых родила от него Клеопатра. Мальчика он назвал Александром, девочку Клеопатрой и сыну дал прозвище "Солнце", а дочери – "Луна". Мало того, прекрасно умея находить благовидные поводы для самых неблаговидных поступков, он говорил, что величие римской державы обнаруживает себя не в стяжаниях, но в дарениях и что многочисленное потомство и появление на свет будущих царей умножает знать. Так, дескать, появился на свет и его предок – от Геракла, который не связывал всех надежд на потомство с одною-единственной женщиной и не страшился ни законов Солона, ни зачатия, грозившего ему жестокими карами, но давал полную волю своей натуре, чтобы положить начало и основание многим новым родам.

37. Когда Фраат умертвил своего отца Гирода и овладел царскою властью, многие парфяне бежали из отечества и среди них – Монес, человек видный и могущественный. Он искал прибежища у Антония, который, уподобив его судьбу судьбе Фемистокла, а собственную власть и великодушие – великодушию и власти персидских царей, даровал ему три города – Лариссу, Аретусу и Гиераполь, который прежде называли Бамбикой. Но затем парфянский царь прислал Монесу заверения в своей благосклонности, и Антоний охотно его отпустил с тайною целью обмануть Фраата. Антоний просил передать ему, что согласен заключить мир, если парфяне вернут знамена, захваченные при разгроме Красса, и уцелевших с того времени пленных, но сам, отправив Клеопатру назад, в Египет, выступил через Аравию в Армению, где римское войско встретилось с союзными царями, которых было великое множество, и первое место среди них принадлежало Артабазу Армянскому, выставившему шесть тысяч конницы и семь пехоты. Антоний устроил смотр. Римской пехоты было шестьдесят тысяч, ее поддерживала испанская и кельтская конница, числом десять тысяч, всех остальных союзников – вместе с конниками и легковооруженными – набралось тридцать тысяч. И такая исполинская сила, испугавшая даже индийцев за Бактрианой и повергнувшая в трепет всю Азию, пропала даром, как говорят – из-за Клеопатры. И верно, думая лишь об одном – как бы провести зиму с нею вместе, Антоний начал поход раньше срока и далее действовал, ни в чем не соблюдая должного порядка, ибо уже не владел своим рассудком, но, во власти какого-то колдовства или же приворотного зелья, постоянно устремлял взоры к Египту и в мыслях держал не победу над врагами, но скорейшее возвращение.

38. Прежде всего, ему следовало перезимовать в Армении и дать передышку войску, изнуренному переходом в восемь тысяч стадиев, а в начале весны, прежде чем парфяне снимутся с зимних квартир, занять Мидию; но Антоний не выждал надлежащего срока, а немедленно двинулся дальше, оставив Армению по левую руку, и, достигнув Атропатены, стал разорять страну. На трехстах повозках везли осадные машины, в том числе восьмидесятифутовый таран, но если какая-нибудь из них получала повреждения, починить ее было невозможно, потому что во внутренней Азии нет леса нужной твердости и длины, и Антоний, которого этот обоз только обременял и задерживал, оставил его под охраною сторожевого отряда во главе со Статианом, сам же осадил большой город Фраату[30], в котором находились дети и жены мидийского царя. В самом непродолжительном времени обнаружилось, какую громадную ошибку он совершил, бросив машины, и тогда, подступив к городу почти вплотную, Антоний начал насыпать вал, но работа шла медленно и очень трудно. Фраат с большим войском уже шел на выручку осажденным и, узнав об оставленных повозках с машинами, выслал сильный отряд конницы, которая зажала Статиана в кольцо и перебила десять тысяч римских солдат. Сам Статиан тоже погиб, машины варвары изломали и разбили. Кроме машин, в их руках оказались множество пленных, и среди них – царь Полемон.

39. Эта неожиданная неудача в самом начале, разумеется, привела в глубочайшее уныние Антония и его людей, а царь Армении Артабаз счел дело римлян проигранным и, забрав всех своих, удалился, хотя главным виновником войны был именно он. Вскоре появились гордые победой парфяне. Они глумились над осаждающими и осыпали их угрозами, и Антоний опасался, как бы войско, томясь бездействием, не пало духом окончательно, а потому с десятью легионами, тремя преторскими когортами[31] и всею конницей отправился добывать продовольствие и корм для лошадей – в надежде, что так скорее всего вынудит врагов принять открытый бой. После первого дневного перехода, наутро, Антоний увидел, что парфяне окружают расположение римлян и готовятся напасть на врага в пути, и поднял в лагере сигнал к битве, но, в то же самое время, свернул палатки, словно намереваясь отступать, а не сражаться, и двинулся мимо варваров, выстроившихся полумесяцем. Римская конница получила приказ, как только тяжелая пехота приблизится к первым рядам парфян на полет стрелы, – немедленно гнать коней на врага. Парфян, стоявших при дороге, построение римлян до крайности изумило, и они настороженно следили за неприятельскими воинами, которые шли молча, спокойно, храня равные промежутки между рядами, и только потрясали на ходу копьями. Когда же прозвучала труба и римские конники повернули и с шумом ринулись в нападение, их натиск парфяне выдержали (хотя луки сразу оказались и бесполезны и бессильны – враги были слишком близко), но следом в дело вступила пехота, издавая оглушительные крики и грохоча оружием; тут и парфянские кони испугались, и сами всадники обратились в бегство, не дожидаясь рукопашной. Антоний с жаром преследовал бегущих, питая немалые надежды этим сражением завершить войну полностью или, по крайней мере, в основном. Пехотинцы гнались за парфянами пятьдесят стадиев, конница – втрое больше, но, подсчитав вражеские потери, обнаружили,

что пленными противник потерял тридцать человек, а убитыми восемьдесят; и всех охватило чувство бессилия и отчаяния, всех угнетала страшная мысль, что победа дает им выигрыш, столь ничтожный, а поражение может снова отнять столько же, сколько отняло побоище у повозок.

На другой день римляне вернулись в свой лагерь под Фраатами. По пути они встречают сначала небольшой вражеский отряд, потом врагов становится больше, и вот уже перед ними все парфянское войско – полное бодрости, словно бы и не ведающее, что такое неудача, оно вызывает неприятеля на битву, налетая то с одной, то с другой стороны, так что римляне насилу добираются до своего лагеря. После этого мидийцы, совершив набег на лагерные укрепления, распугали и отбросили передовых бойцов, и Антоний, в гневе, применил к малодушным так называемую "десятинную казнь". Он разбил их на десятки и из каждого десятка одного – кому выпал жребий – предал смерти, остальным же распорядился вместо пшеницы выдавать ячмень.

40. Впрочем война была нелегкой для обеих сторон, а будущее представлялось еще более грозным. Антоний ждал голода, потому что уже тогда любая вылазка за продовольствием стоила римлянам многих раненых и убитых. А Фраат, зная, что для парфян нет страшнее мучения, как зимовать под открытым небом, опасался, что его люди просто-напросто разбегутся, если римляне проявят твердость и останутся на месте, – ведь осеннее равноденствие было уже позади и погода начинала портиться.

И вот какую придумывает он хитрость. Во время столкновений с неприятелем, пытавшимся запастись хлебом или выходившим из лагеря за иной какой-либо надобностью, знатнейшие из парфян уже не выказывали прежней враждебности, не старались отбить у врага все до последнего зерна, но расхваливали римлян за храбрость и несравненное мужество, которыми по достоинству восхищается даже их – парфянский – государь. Мало-помалу они стали подъезжать ближе, пускали коней шагом и бранили Антония: Фраат, дескать, жаждет заключить перемирие и спасти жизнь столь многим и столь отважным воинам, а Антоний не дает ему к этому ни малейшей возможности и упорно ждет появления двух лютых и могучих врагов – голода и зимы, от которых нелегко будет ускользнуть даже с помощью и под водительством парфян. Антонию часто доносили об этих разговорах, и хотя новые надежды уже согревали его душу, он отправил послов к царю не прежде, чем расспросил тех, дружески расположенных варваров, отвечают ли их слова намерениям Фраата. Те утверждали, что именно так оно и есть, просили оставить всякий страх и недоверие и, в конце концов, Антоний посылает нескольких друзей с прежним требованием вернуть знамена и пленных, – чтобы его не могли упрекнуть, будто он удовольствовался одним лишь благополучным бегством. Обсуждать это требование парфянин отказался, но обещал Антонию мир и безопасность, если он без промедлений отступит, и после сборов, которые заняли несколько дней, Антоний снялся с лагеря. И хотя он умел и убедительно говорить с народом и увлекать войско зажигательной речью, как мало кто из его современников, на этот раз стыд и сокрушение не дали ему сказать ни слова, и он поручил ободрить воинов Домицию Агенобарбу. Иные негодовали, усмотрев в этом знак неуважения, но большинство сочув-

ствовало Антонию, верно его понимало и потому считало своим долгом беспрекословно ему повиноваться.

41. Антоний решил было возвращаться тем же путем – безлесным и равнинным, но один из его людей, родом мард[32], до тонкостей знакомый с обычаями и нравами парфян и уже доказавший римлянам свою верность в битве подле осадных машин, пришел к нему с советом держаться ближе к горам, которые поднимались по правую руку, и не подставлять тяжелую пехоту на открытой равнине под удар огромной конницы и ее луков, ибо это как раз и замышлял Фраат, когда мягкими условими перемирия побудил Антония снять осаду. Мард прибавил, что поведет римлян сам, более короткою дорогой и такими местами, где будет легче раздобыть необходимые припасы. Выслушав все это, Антоний задумался. Ему не хотелось обнаруживать перед парфянами свое недоверие теперь, когда договор вступил в силу, но краткость пути, пролегавшего, к тому же, мимо населенных деревень, заслуживала всяческого предпочтения, и он потребовал у марда залога или поручительства. Тот предложил держать его в оковах, пока войско не вступит в пределы Армении. Антоний согласился, и два дня римляне шли в полном спокойствии. На третий день, когда мысль о парфянах уже перестала тревожить Антония и, воспрянув духом, он отменил меры предосторожности на походе, мард, заметив недавно разрушенную запруду и убедившись затем, что воды реки, хлынувшие в пролом, затопили дорогу, которою им предстояло идти, понял, что это дело рук парфян – это они выпустили реку, чтобы затруднить и замедлить движение римлян. Проводник советовал Антонию быть настороже, потому что неприятель где-то совсем рядом. Антоний еще строил тяжелую пехоту в боевой порядок, оставляя в рядах бреши для вылазок копейщиков и пращников, как уже появились парфяне и стали развертываться, чтобы окружить врага и напасть со всех сторон сразу. Им навстречу выбежали легковооруженные, и хотя многих сразили стрелы, не меньшими были потери и у парфян. Под градом копий и свинцовых ядер они отступили, затем снова бросились вперед, но тут кельтские всадники рассеяли их, ударив плотно сомкнутым клином, и больше в тот день они не показывались.

42. Это научило Антония, как нужно действовать, и, усилив множеством копейщиков и пращников не только тыл, но и оба фланга, он выстроил походную колонну прямоугольником, а коннице дал приказ завязывать бои с противником, но, обращая его в бегство, далеко не преследовать, так что парфяне, в продолжение четырех следующих дней не имевшие над римлянами никакого перевеса, – потери с обеих сторон были равны, – приуныли и, под предлогом надвигающейся зимы, уже сами подумывали об отступлении.

На пятый день к Антонию явился один из начальников, Флавий Галл, человек решительный и опытный воин, и попросил дать ему побольше легковооруженных пехотинцев из тылового охранения и сколько-нибудь всадников из головного отряда, чтобы исполнить многообещающий, как ему казалось, замысел, Антоний согласился, и Галл, отбив очередное нападение парфян, не вернулся сразу же под прикрытие тяжелой пехоты, как поступали римляне все последние дни, но завязал дерзкую рукопашную. Начальники тыла, видя, что он теряет связь с главной колонной, посылали к нему и звали назад, но безуспешно.

Квестор Титий, как передают, пытался даже повертывать знамена силой и бранил Галла, крича, что он губит попусту много храбрых воинов. Галл тоже отвечал бранью и призывал своих оставаться на местах. Тогда Титий удалился, а Галл, ведя ожесточенный бой с врагом грудь на грудь, не заметил, как значительные силы парфян зашли ему за спину. Осыпаемый стрелами отовсюду, он посылал просить помощи. Тут начальники тяжелой пехоты, среди которых был и Канидий, один из друзей Антония, имевший на него громадное влияние, совершили, сколько можно судить, грубую ошибку. Надо было сомкнуть ряды и двинуть против неприятеля всю боевую линию разом, а они отправляли подмогу мелкими отрядами, которые, один за другим, терпели поражение, и мало-помалу ужас и бегство охватили чуть ли не все войско, но в последний миг подоспел из головы колонны сам Антоний с воинами, и третий легион, стремительно пробившись сквозь толпу бегущих, встретился с противником и остановил преследование. 43. Убитых было не менее трех тысяч, и пять тысяч раненых товарищи принесли в лагерь. Принесли и Галла – с пробитою четырьмя стрелами грудью, но он уже не оправился от ран. Остальных же Антоний, со слезами на глазах, пытался ободрить, обходя палатки. Раненые радостно принимали его рукопожатия, просили итти к себе, позаботиться о собственном здоровье, не сокрушаться так горько, называли его своим императором и в один голос говорили, что пока он цел и невредим – их спасение обеспечено.

Вообще можно утверждать, что ни один из полководцев в те времена не собирал войска крепче, выносливее и моложе. Что же касается глубокого почтения к своему императору и соединенного с любовью послушания, что касается общей для всех – знатных и незнатных, начальников и рядовых бойцов – привычки ставить благосклонность Антония и его похвалу выше собственного спасения и безопасности, то в этом его люди не уступали и древним римлянам. К тому было много оснований, как уже говорилось раньше: знатное происхождение, сила слова, простота, широкая и щедрая натура, остроумие, легкость в обхождении. А тогда сочувствием к страдающим и отзывчивой готовностью помочь каждому в его нужде он вдохнул в больных и раненых столько бодрости, что впору было поделиться и со здоровыми.

44. Но врагам, которые уже устали и готовы были отказаться от борьбы, победа внушила новое мужество и бесконечное презрение к римлянам. Всю ночь они провели подле лагеря, под открытым небом, в ожидании, что палатки вот-вот опустеют и они смогут разграбить имущество бежавших. Наутро число парфян стало заметно расти, и в конце концов собралось не меньше сорока тысяч всадников, ибо царь, на этот раз твердо уверенный в победе, прислал даже тех воинов, которые несли постоянную службу при его особе; сам он ни в одной битве участия не принимал. Антоний решил выступить перед солдатами и потребовал темный плащ, чтобы видом своим вызвать больше жалости. Но друзья отговорили его, и он вышел в пурпурном плаще полководца и сказал речь, в которой хвалил победителей и срамил бежавших. Первые кричали в ответ, чтобы он не падал духом, вторые оправдывались и выражали готовность подвергнуться любой каре, какую он ни назначит, даже десятинной казни – лишь бы только Антоний перестал гневаться и печалиться. Тогда Антоний воздел руки к

небу и взмолился богам: если следом за бывалым его счастием идет злая расплата, пусть падет она на него одного, а войску да будет дарована победа и спасение.

45. На другой день, усилив охрану еще более, римляне продолжали путь, и для парфян, которые возобновили нападение, события приняли совершенно неожиданный оборот. Они думали, что идут за добычею, на грабеж, а не на битву, но были встречены тучею стрел, дротиков и свинцовых ядер и, увидевши врага полным воодушевления и свежих сил, снова утратили недавнюю решимость. Когда римляне спускались с какой-то крутой высоты, парфяне ударили на них и разили стрелами, меж тем как они медленно сходили вниз, но затем вперед выдвинулись щитоносцы, приняли легковооруженных под свою защиту, а сами опустились на одно колено и выставили щиты. Находившиеся во втором ряду своими щитами прикрыли их сверху, подобным же образом поступили и воины в следующих рядах. Это построение, схожее с черепичною кровлей[33], напоминает отчасти театральное зрелище, но служит надежнейшею защитой от стрел, которые соскальзывают с поверхности щитов. Видя, что неприятель преклоняет колено, парфяне сочли это знаком усталости и изнеможения, отложили луки, взялись за копья и подъехали почти вплотную, но тут римляне, издав боевой клич, внезапно вскочили на ноги и, действуя метательным копьем словно пикой, передних уложили на месте, а всех прочих обратили в бегство.

То же повторялось и в следующие дни, зато переходы стали гораздо короче, и начался голод: непрерывные столкновения с противником мешали добывать продовольствие, а, с другой стороны, не хватало орудий для помола – большую часть их бросили, ибо множество вьючных животных пало, остальные же везли больных и раненых. Говорят, что за один аттический хеник пшеницы давали пятьдесят драхм, а ячменный хлеб был на вес серебра. Воины искали трав и кореньев, но знакомых почти не находили и, поневоле пробуя незнакомые, натолкнулись на какую-то травку, вызывающую сперва безумие, а затем и смерть. Всякий, кто ел ее, забывал обо всем на свете, терял рассудок и только переворачивал каждый камень, который попадался ему на глаза, словно бы исполняя задачу величайшей важности. Равнина чернела людьми, которые, склонясь к земле, выкапывали камни и перетаскивали их с места на место. Потом их начинало рвать желчью, и они умирали, потому что единственного противоядия – вина – не осталось ни капли. Римляне погибали без числа, а парфяне все шли за ними следом; и рассказывают, что у Антония неоднократно срывалось с уст: "О, десять тысяч!" – это он дивился Ксенофонту и его товарищам[34], которые, отступая из Вавилонии, проделали путь, еще более долгий, бились с неприятелем, превосходившим их силою во много раз, и, однако, спаслись.

46. Итак, парфяне оказались не в силах ни рассеять войско римлян, ни хотя бы расстроить его боевой порядок, сами же не раз терпели поражение в боях и обращались в бегство, а потому снова стали приближаться с мирными речами к тем, кто выходил на поиски хлеба или корма для скота, и, показывая луки со спущенными тетивами, говорили, что сами они возвращаются и на этом кладут конец своей мести, но что небольшой отряд мидян будет провожать римлян еще два или три дня – не с враждебными намерениями, но единственно для защиты

отдаленных деревень. К таким речам присоединялись ласковые приветствия и заверения в дружеских чувствах, так что римляне снова осмелели и Антоний задумал спуститься ближе к равнине, потому что путь через горы, как все говорили, был до крайности беден водою. Он уже готов был исполнить задуманное, когда к лагерю с неприятельской стороны прискакал какой-то человек по имени Митридат; это был двоюродный брат того Монеса, который пользовался гостеприимством Антония и получил от него в дар три города. Он просил, чтобы к нему вышел кто-нибудь, знающий по-парфянски или по-сирийски. Вышел Александр из Антиохии, близкий друг Антония, и парфянин, назвавши себя и объяснив, что благодарностью за этот его приезд римляне обязаны Монесу, спросил Александра, видит ли он высокую цепь холмов вдалеке. Александр отвечал, что видит, и Митридат продолжал: "За этими холмами вас поджидает все парфянское войско. У их подножия начинается обширная равнина, и парфяне рассчитывают, что вы на нее свернете, поверив лживым уговорам и оставив горную дорогу. Что верно, то верно – горы встретят вас жаждою и другими, – уже привычными для вас, – лишениями, но если Антоний пойдет равниною, пусть знает, что там ему не миновать участи Красса".

47. С этими словами Митридат уехал. Антоний, выслушав донесение Александра, в сильной тревоге созвал друзей и велел привести проводника-марда, который и сам держался того же мнения, что посланец Монеса. Даже вне всякой зависимости от неприятеля, говорил он, идти равниною тяжело, потому что хоженой дороги нет, направление едва обозначено и, следовательно, ничего не стоит сбиться, в горах же никакие особые трудности их не ждут, и только на протяжении одного дневного перехода не будет воды. Итак, Антоний в ту же ночь повернул к горам, распорядившись взять с собою воды, но у большинства воинов никакой посуды не было, и они несли воду в шлемах, а некоторые – в кожаных мешках.

Когда войско было уже в движении, об этом узнают парфяне, тут же, не дождавшись, вопреки своему обыкновению, рассвета, пускаются вдогонку и с первыми лучами солнца настигают хвост вражеской колонны. Римляне были истомлены бессонной ночью и усталостью – они уже успели пройти двести сорок стадиев, – и появление врага, которого они не ждали так скоро, повергло их в замешательство. Отбиваясь, они продолжали путь, и битва усиливала их жажду. Передовые между тем вышли к какой-то реке. Вода в ней была студеная и прозрачная, но соленая, негодная для питья: она мгновенно вызывала схватки в животе и еще сильнее распаляла жажду. Мард предупреждал об этом заранее, но воины, оттолкнув выставленный караул, припали к воде. Подбегая то к одному, то к другому, Антоний умолял потерпеть еще совсем немного, ибо невдалеке другая река, со сладкой водой, и местность дальше сильно пересеченная, недоступная для конницы, так что враг окончательно оставит их в покое. Вместе с тем он подал знак прекратить сражение и распорядился ставить палатки, чтобы солдаты хотя бы передохнули в тени.

48. Римляне разбивали лагерь, а парфяне, как всегда в подобных обстоятельствах, быстро отходили, когда снова появился Митридат и, через Александра, который вышел к лагерным воротам, советовал Антонию не мешкать, но сразу

же после короткого отдыха вести войско к реке: ее берег, говорил Митридат, последний рубеж преследования, переправляться парфяне не будут. Пересказав это Антонию, Александр принес от него Митридату множество золотых кубков и чаш, а тот спрятал, сколько мог, под одеждою и уехал.

Еще засветло римляне снялись с лагеря и тронулись дальше, и враги не тревожили их, но они сами сделали для себя эту ночь самою трудною и опасною изо всех ночей похода. Солдаты стали убивать и грабить тех, у кого было серебро или золото, расхищали вьюки с поклажей, а, в конце концов, набросились на обозных Антония, ломали на части драгоценные столы и сосуды для вина и делили между собою. Страшное смятение и тревога разом охватили войско – каждый думал, что напали враги и началось всеобщее бегство, – и тогда Антоний, подозвав одного из своих вольноотпущенников и телохранителей, по имени Рамн, взял с него клятву, что, услышав приказ, он немедля пронзит своего господина мечом и отрубит ему голову – не только попасть в руки парфян живым, но даже быть опознанным после смерти представлялось невыносимым римскому полководцу. Друзья залились слезами, но мард убеждал Антония не отчаиваться, ибо река уже близко. И верно, потянул влажный ветерок, воздух сделался прохладнее, становилось легче дышать, и затем, как говорил мард, само время показывало, что конец пути недалек: ночь была на исходе. Тут Антонию доложили, что замешательство вызвано алчностью и беззаконными действиями своих же солдат, и, чтобы восстановить порядок и вновь обратить нестройную, разбушевавшуюся толпу в войско, он подал сигнал устраивать лагерь. 49. Уже светало, солдаты понемногу успокаивались, и водворялась тишина. В это время стрелы парфян вновь обрушились на замыкающих, и легкая пехота получила распоряжение вступить в бой, а тяжеловооруженные опять прикрыли друг друга щитами и тем единственно отражали нападение лучников, которые на ближний бой не отваживались. Между тем голова колонны медленно двинулась дальше, и, наконец, впереди блеснула река. Развернув конников лицом к неприятелю, Антоний начал переправлять больных и раненых. Теперь, однако, бойцы могли спокойно и не торопясь утолить жажду, ибо парфяне, едва завидев реку, спустили тетивы у луков и, на все лады восхваляя мужество римлян, призывали их ничего больше не опасаться. Итак, беспрепятственно перейдя реку и собравшись с силами, они продолжали поход, однако ж поверить парфянам до конца все еще не решались.

На шестой день после заключительного сражения римляне пришли к реке Араксу, отделяющей Мидию от Армении. Она была с виду глубокой и бурной, а вдобавок разнесся слух, будто враги укрылись в засаде, чтобы ударить на них во время переправы. Когда же, благополучно достигнув противоположного берега, они ступили на армянскую землю, то, словно бы впервые увидевши сушу после долгих скитаний в открытом море, они целовали камни и песок, и плакали от радости, обнимая друг друга. Идя затем богатою, процветающею страною, они слишком много ели и пили после такой жестокой нужды и заболевали водянкою и поносом.

50. Здесь Антоний устроил смотр своему войску и установил, что потеряно двадцать тысяч пехоты и четыре тысячи конницы. Не все пали в боях – больше

половины унесли болезни. Выступив из лагеря под Фраатами, римляне находились в пути двадцать семь дней и одержали над парфянами восемнадцать побед, но все это были неверные, ненадежные победы, – из-за того что преследовать разбитого неприятеля по-настоящему Антоний не мог. Последнее свидетельствует особенно убедительно, что неудачным завершением похода он обязан был Артабазу Армянскому. Если бы в его распоряжении оставались те шестнадцать тысяч всадников, которых привел из Мидии Артабаз, вооруженных почти так же, как парфяне, и привыкших бороться с ними, то римляне разбивали бы неприятеля в открытом бою, а армяне истребляли бегущих, и враги были бы уже не в силах столько раз оправляться после поражений. Естественно, что все были полны ярости и побуждали Антония расправиться с армянским царем. Но Антоний хорошо понимал, что войско его ослабело и нуждается в самом необходимом, а потому прислушался к голосу рассудка и ни словом не упрекнул Артабаза в предательстве, по-прежнему был любезен и оказывал царю подобающие почести. Впоследствии, однако, снова вступив в Армению, он многочисленными обещаниями и заверениями побудил Артабаза отдаться в его руки, но затем заключил под стражу, в оковах привез в Александрию и провел в триумфальном шествии. Этим он жестоко оскорбил римлян, видевших, что в угоду Клеопатре он отдал египтянам прекрасное и высокое торжество, по праву принадлежавшее отечеству. Но это, как уже сказано, случилось позднее.

51. А тогда несмотря на суровую зиму и беспрестанные снегопады он поспешил дальше и потерял в пути еще восемь тысяч. Расставшись с основными силами, Антоний, в сопровождении небольшого отряда, спустился к морю и в деревне под названием Белое селение – она лежит между Беритом и Сидоном – ждал Клеопатру. Царица задерживалась, и Антоний, терзаемый мучительной тревогой, часто и помногу пил, но даже хмельной не мог улежать за столом – посреди попойки он, бывало, вскакивал и выбегал на берег, поглядеть не плывет ли египтянка, пока наконец она не прибыла, везя с собою много денег и одежды для воинов. Некоторые, правда, утверждают, будто одежду Антоний получил от нее, а деньги солдатам роздал из собственных средств, но сказал, что это подарок Клеопатры.

52. Тем временем вспыхнул раздор между царем Мидии и Фраатом Парфянским, начавшийся, как рассказывают, из-за римской добычи и внушивший мидийцу подозрение и страх, что Фраат покушается на его престол. Поэтому он присылает послов к Антонию и зовет его к себе, обещая выступить на стороне римлян со всем своим войском. Новые и самые радужные надежды открывались Антонию (если в прошлый раз, чтобы одолеть парфян, ему не достало, по-видимому, лишь одного – многочисленной конницы, вооруженной луками и стрелами, то теперь она была в его распоряжении, и вдобавок без всяких просьб с его стороны, напротив, он еще оказывал услугу другому), и он уже готовился еще раз пройти через Армению, чтобы, соединившись с мидийцем у реки Аракса, открыть военные действия.

53. Октавия в Риме хотела ехать к мужу, и Цезарь согласился, как говорит большинство писателей, – не из желания угодить сестре, но рассчитывая, что она будет встречена самым недостойным и оскорбительным образом и он тогда

получит прекрасный повод к войне. В Афинах ей вручили письмо Антония, который просил ждать его в Греции и сообщал о предстоящем походе. Хотя Октавия понимала, что это не более, чем отговорка, и горько сокрушалась, она написала мужу, спрашивая, куда отправить груз, который с нею был. Она везла много платья для солдат, много вьючного скота, деньги, подарки для полководцев и друзей Антония; кроме того, с нею вместе прибыли две тысячи отборных воинов в великолепном вооружении, уже разбитые на преторские когорты. Об этом рассказал Антонию один из его друзей по имени Нигер, присланный Октавией, и к рассказу своему присовокупил подобающие и заслуженные похвалы щедрой дарительнице.

Чувствуя, что Октавия вступает с нею в борьбу, Клеопатра испугалась, как бы эта женщина, с достойною скромностью собственного нрава и могуществом Цезаря соединившая теперь твердое намерение во всем угождать мужу, не сделалась совершенно неодолимою и окончательно не подчинила Антония своей воле. Поэтому она прикидывается без памяти в него влюбленной и, чтобы истощить себя, почти ничего не ест. Когда Антоний входит, глаза ее загораются, он выходит – и взор царицы темнеет, затуманивается. Она прилагает все усилия к тому, чтобы он почаще видел ее плачущей, но тут же утирает, прячет свои слезы, словно бы желая скрыть их от Антония. Все это она проделывала в то время, когда Антоний готовился двинуться из Сирии к мидийской границе. Окружавшие его льстецы горячо сочувствовали египтянке и бранили Антония, твердя ему, что он жестокий и бесчувственный, что он губит женщину, которая лишь им одним и живет. Октавия, говорили они, сочеталась с ним браком из государственных надобностей, подчиняясь воле брата, – и наслаждается своим званием законной супруги. Клеопатра, владычица огромного царства, зовется любовницей Антония и не стыдится, не отвергает этого имени – лишь бы только видеть Антония и быть с ним рядом, но если отнять у нее и это, последнее, она умрет. В конце концов, Антоний до такой степени разжалобился и по-бабьи растрогался, что уехал в Александрию, всерьез опасаясь, как бы Клеопатра не лишила себя жизни, а мидийцу велел подождать до следующей весны, хотя ему и доносили, что Парфянская держава охвачена волнениями и мятежом. Несколько позже он все-таки посетил Мидию, заключил с царем дружественный договор, помолвил одну его дочь, еще совсем маленькую, за одного из своих сыновей от Клеопатры и возвратился назад, уже целиком занятый мыслями о междоусобной войне.

54. Когда Октавия вернулась из Афин, Цезарь, считая, что ей нанесено тяжкое оскорбление, предложил сестре поселиться отдельно, в собственном доме. Но Октавия отказалась покинуть дом мужа и, сверх того, просила Цезаря, если только он не решил начать войну с Антонием из-за чего-либо иного, не принимать в рассуждение причиненную ей обиду, ибо даже слышать ужасно, что два величайших императора ввергают римлян в бедствия междоусобной войны один – из любви к женщине, другой – из оскорбленного самолюбия. Свои слова она подкрепила делом. Она по-прежнему жила в доме Антония, как если бы и сам он находился в Риме, и прекрасно, с великодушною широтою продолжала заботиться не только о своих детях, но и о детях Антония от Фульвии. Друзей

Антония, которые приезжали от него по делам или же чтобы занять одну из высших должностей, она принимала с неизменной любезностью и была за них ходатаем перед Цезарем. Но тем самым она невольно вредила Антонию, возбуждая ненависть к человеку, который платит черной неблагодарностью такой замечательной женщине.

Еще одну волну ненависти Антоний вызвал разделом земель между своими детьми, устроенным в Александрии и полным показного блеска, гордыни и вражды ко всему римскому. Наполнивши толпою гимнасий и водрузив на серебряном возвышении два золотых трона, для себя и для Клеопатры, и другие, попроще и пониже, для сыновей, он прежде всего объявил Клеопатру царицею Египта, Кипра, Африки и Келесирии при соправительстве Цезариона, считавшегося сыном старшего Цезаря, который, как говорили, оставил Клеопатру беременной; затем сыновей, которых Клеопатра родила от него, он провозгласил царями царей и Александру назначил Армению, Мидию и Парфию (как только эта страна будет завоевана), а Птолемею – Финикию, Сирию и Киликию. Александра Антоний вывел в полном мидийском уборе, с тиарою и прямою китарой, Птолемея – в сапогах, македонском плаще и украшенной диадемою кавсии. Это был наряд преемников Александра, а тот, первый, – царей Мидии и Армении. Мальчики приветствовали родителей, и одного окружили телохранители-армяне, другого – македоняне. Клеопатра в тот день, как всегда, когда появлялась на людях, была в священном одеянии Исиды; она и звала себя новою Исидой.

55. Донося об этом сенату и часто выступая перед народом, Цезарь ожесточил римлян против Антония. Не оставаясь в долгу, Антоний посылал своих людей с ответными обвинениями. Важнейшие из них были таковы. Во-первых, отняв у Помпея Сицилию, Цезарь не выделил части острова ему, Антонию. Во-вторых, он не вернул суда, которые занял у Антония для войны с Помпеем. В-третьих, лишил власти и гражданского достоинства их общего соправителя Лепида и ныне сам распоряжается его войском, его провинцией и назначенными ему доходами. И, наконец, чуть ли не все земли в Италии он поделил между своими воинами, солдатам же Антония не оставил ничего. Оправдываясь, Цезарь заявлял, что Лепида он отрешил от власти за наглые бесчинства, что военною добычею готов поделиться с Антонием, если и тот поделится с ним своим завоеванием – Арменией, а что на Италию у солдат Антония никаких притязаний быть не может: ведь в их распоряжении Мидия и Парфия, земли, которые они присоединили к Римской державе, отважно сражаясь под начальством своего императора.

56. Этот ответ Антоний получил в Армении и немедленно отдал распоряжение Канидию спускаться во главе шестнадцати легионов к морю, а сам вместе с Клеопатрою отправился в Эфес. Туда со всех сторон собирался его флот, числом восемьсот кораблей (включая грузовые), из которых двести выставила Клеопатра. От нее же Антоний получил две тысячи талантов и продовольствие для всего войска. По совету Домиция и некоторых иных Антоний приказал Клеопатре плыть в Египет и там дожидаться исхода войны. Но, опасаясь, как бы Октавия снова не примирила враждующих, царица, подкупивши Канидия большою суммою денег, велела ему сказать Антонию, что, прежде всего, несправед-

ливо силою держать вдали от военных действий женщину, которая столь многим пожертвовала для этой войны, а затем, вредно лишать мужества египтян, составляющих значительную долю морских сил. И вообще, заключил Канадий, он не может назвать ни единого из царей, участвующих в походе, которому Клеопатра уступала бы разумом, – ведь она долгое время самостоятельно правила таким обширным царством, а потом долгое время жила бок о бок с ним, Антонием, и училась вершить делами большой важности. Эти соображения взяли верх, – все должно было устроиться наивыгоднейшим для Цезаря образом, – и меж тем как войска продолжали собираться, Антоний с Клеопатрой отплыли на Самос и там проводили все дни в развлечениях и удовольствиях. Подобно тому как все цари, властители и тетрархи, все народы и города между Сирией и Мэотидой, Иллирией и Арменией получили приказ посылать и везти военное снаряжение, так же точно всем актерам было строго предписано немедленно отправляться на Самос.

Чуть ли не целая вселенная гудела от стонов и рыданий, а в это самое время один-единственный остров много дней подряд оглашался звуками флейт и кифар, театры были полны зрителей, и хоры усердно боролись за первенство. Каждый город посылал быка, чтобы принять участие в торжественных жертвоприношениях, а цари старались превзойти друг друга пышностью приемов и даров, так что в народе с недоумением говорили: каковы же будут у них победные празднества, если они с таким великолепием празднуют приготовления к войне?!

57. Затем Антоний назначил актерам для жительства город Приену, а сам уехал в Афины, и снова непрерывною чередой потянулись зрелища и забавы. Ревнуя к почестям, которые город оказал Октавии, – афиняне горячо полюбили супругу Антония, – Клеопатра щедрыми подарками старалась приобрести благосклонность народа. Назначив почести и Клеопатре, афиняне отправили к ней домой послов с постановлением Собрания, и одним из этих послов был Антоний – в качестве афинского гражданина; он произнес и речь от имени города. В Рим он послал своих людей с приказом выдворить Октавию из его дома, и она ушла, говорят, ведя за собою всех детей Антония (кроме старшего сына от Фульвии, который был с отцом), плача и кляня судьбу, за то что и ее будут числить среди виновников грядущей войны. Но римляне сожалели не столько об ней, сколько об Антонии, и в особенности те из них, которые видели Клеопатру и знали, что она и не красивее, и не моложе Октавии.

58. Узнав о стремительности и размерах вражеских приготовлений, Цезарь был в тревоге. Он опасался, как бы не пришлось начать военные действия в то же лето; между тем ему еще многого не доставало для войны, а вдобавок повсюду звучал ропот, вызванный высокими налогами. Свободнорожденные должны были внести в казну четверть своих доходов, а вольноотпущенники – восьмую долю всего имущества, и каждый гневно взывал к Цезарю, вся Италия волновалась. Поэтому одной из величайших ошибок Антония считают промедление: он дал Цезарю время приготовиться, а волнениям – улечься, ибо пока шли взыскания, люди негодовали, но заплатив, успокоились.

К Цезарю бежали Титий и Планк, друзья Антония и бывшие консулы, жес-

токо оскорбленные Клеопатрою, за то что самым решительным образом возражали против ее участия в походе, и осведомили Цезаря о завещании Антония, которое было им известно. Оно хранилось у девственных жриц богини Весты. Цезарь потребовал выдать завещание, но весталки отказались, заявив, что коль скоро Цезарь желает получить завещание Антония, пусть придет сам. Он и пришел, и забрал его, и сперва проглядел сам, помечая все места, доставлявшие очевидные поводы для обвинений, а затем огласил в заседании сената – при явном неодобрении большинства присутствовавших: им представлялось неслыханным беззаконием требовать ответа с живого за то, чему, в согласии с волею завещателя, надлежало свершиться после его смерти. С особою непримиримостью обрушивался Цезарь на распоряжения, касавшиеся похорон. Антоний завещал, чтобы его тело, если он умрет в Риме, пронесли в погребальном шествии через форум, а затем отправили в Александрию, к Клеопатре. Друг Цезаря Кальвизий вменял в вину Антонию следующие проступки, также сопряженные с Клеопатрой: он подарил египетской царице пергамские книгохранилища с двумястами тысяч свитков; исполняя условия какого-то проигранного им спора, он на пиру, на глазах у многих гостей, поднялся с места и растирал ей ноги; он ни словом не возразил, когда эфесяне в его присутствии величали ее госпожею и владычицей; неоднократно, разбирая дела тетрархов и царей, он принимал ониксовые и хрустальные таблички с ее любовными посланиями и тут же, на судейском возвышении, их прочитывал; когда Фурний, человек глубоко уважаемый и превосходный оратор, говорил однажды речь, а в это время через площадь несли Клеопатру, он, едва завидел ее, вскочил, не дослушав дела, и отправился провожать царицу, буквально прилипнув к носилкам. Впрочем, как тогда полагали, бóльшая часть этих обвинений была Кальвизием вымышлена.

59. И все же друзья Антония в Риме умоляли народ о милости, а к Антонию отправили одного из своей среды, некоего Геминия, прося, чтобы он не дал противникам беспрепятственно отрешить его от власти и объявить врагом отечества. Приехав в Грецию, Геминий сразу же попал в немилость к Клеопатре, подозревавшей в нем приверженца Октавии, а потому его постоянно высмеивали за обедом и отводили оскорбительно низкие места в пиршественной зале. Геминий все сносил, терпеливо ожидая приема у Антония, но, в конце концов, ему было предложено высказаться, не выходя из-за стола, и тут посланец объявил, что обо всем остальном следует говорить на трезвую голову, но одно он знает наверное, пьяный не хуже, чем трезвый: все пойдет на лад, если Клеопатра вернется в Египет. Антоний был в ярости, а Клеопатра промолвила: "Умница, Геминий, что сказал правду без пытки". Спустя несколько дней Геминий бежал и благополучно отплыл в Рим. Льстецы Клеопатры заставили уехать и многих иных друзей Антония, до отвращения пресытившихся шутовством и пьяным разгулом. Среди них был Марк Силан и историк Деллий, который, как он сам рассказывает, кроме всего прочего, опасался за свою жизнь: лекарь Главк предупреждал его, что Клеопатра готовит ему гибель, за то что раз, во время обеда, он задел ее, заметив, что, дескать, их потчуют прокисшею бурдой, а Сармент в Риме пьет фалернское. Сармент был у Цезаря один из мальчишек-любимчиков, которых римляне зовут "диликиа" [deliciae].

60. Когда Цезарь счел свои приготовления достаточными, было постановлено начать войну против Клеопатры и лишить Антония полномочий, которые он уступил и передал женщине. К этому Цезарь прибавил, что Антоний отравлен ядовитыми зельями и уже не владеет ни чувствами, ни рассудком, и что войну поведут евнух Мардион, Потин, рабыня Клеопатры Ирада, убирающая волосы своей госпоже, и Хармион – вот кто вершит важнейшими делами правления.

Войне, как сообщают, предшествовали следующие знамения. Выведенная Антонием колония Пизавр на берегу Адриатического моря была проглочена пучиной во время землетрясения. В Альбе с мраморной статуи Антония струился пот, и несколько дней подряд статуя не просыхала, как ее ни вытирали. Когда Антоний находился в Патрах, молния сожгла тамошний храм Гера́кла, а из "Битвы с гигантами"[35] в Афинах порыв ветра вырвал изображение Диониса и забросил в театр. Между тем Антоний, как уже говорилось выше, происхождение свое возводил к Гераклу, а укладом жизни подражал Дионису и даже именовался "новым Дионисом". Та же буря, обрушившись на Афины, из многих гигантских статуй опрокинула только две – Эвмена и Аттала, которые, по надписям на цоколях, были известны под названием "Антониевых". Флагманское судно Клеопатры звалось "Антониада", и на нем случилось вот какого рода зловещее происшествие: ласточки свили под кормою гнездо, но прилетели другие ласточки, выгнали первых и убили птенцов.

61. Когда противники двинулись друг против друга, под начальством Антония находилось не менее пятисот боевых кораблей, – в том числе много судов с восемью и десятью рядами весел, украшенных пышно и богато, – сто тысяч пехоты и двенадцать тысяч конницы. На его стороне выступали подвластные цари Бокх Африканский, Тархондем – властитель Верхней Киликии, Архелай Каппадокийский, Филадельф Пафлагонский, Митридат Коммагенский и царь Фракии Садал. Это лишь те, что явились сами, а войска прислали Полемон, царь Понта, Малх, царь Аравии, и царь Иудейский Ирод, а также Аминт, царь Ликаонии и Галатии. Пришел вспомогательный отряд и от царя Мидийского. У Цезаря было двести пятьдесят судов, пехотинцев восемьдесят тысяч, а конницы примерно столько же, сколько у противника. Антоний правил землями от Евфрата и Армении до Ионийского моря и Иллирии, Цезарь – от Иллирии до Западного океана и от Океана до Тирренского и Сицилийского морей. Частью Африки, лежащею против Италии, Галлии и Испании, вплоть до Геракловых столпов, владел Цезарь, от Кирены до Эфиопии – Антоний.

62. Но Антоний уже до такой степени превратился в бабьего прихвостня, что, вопреки большому преимуществу на суше, желал решить войну победою на море – в угоду Клеопатре! А ведь он видел, что на судах не хватает людей и что начальники триер по всей и без того "многострадальной" Греции[36] ловят путников на дорогах, погонщиков ослов, жнецов, безусых мальчишек, но даже и так не могут восполнить недостачу, и суда большею частью полупусты и потому тяжелы, неповоротливы на плаву! Напротив, Цезарь сосредоточил в Таренте и Брундизии флот, отличавшийся не хвастливою высотою или громадными размерами кораблей, но удобоуправляемостью, быстротой и безупречной оснащен-

ностью каждого судна, и отправил к Антонию гонцов с требованием не терять времени даром, а немедленно выходить с боевыми силами в море. Он, Цезарь, готов предоставить вражескому флоту надлежащие якорные стоянки и гавани, а сам отступит от берега на день пути верхом, пока Антоний не закончит высадку и не разобьет лагерь. В ответ на этот хвастливый вызов Антоний, столь же хвастливо, предлагал Цезарю поединок, хотя был старше годами, а в случае отказа – сражение у Фарсала, там же, где некогда встретились войска Цезаря и Помпея. Опередив Антония, который стоял с флотом у Актия, – как раз против нынешнего Никополя, – Цезарь первым пересекает Ионийское море и захватывает местность в Эпире, называемую Торина, что означает "мешалка". Антоний был в тревоге – его сухопутные силы запаздывали, – но Клеопатра, смеясь, говорила: "Ничего страшного! Пусть себе сидит на мешалке!"

63. Рано поутру враги двинулись вперед, и Антоний, опасаясь, как бы они не захватили его корабли, на которых не было воинов, вооружил для вида гребцов и расставил их на палубе, весла с обеих сторон распорядился поднять и закрепить и разместил суда, носом к противнику, в горле залива – так, словно бы они полностью снабжены гребцами и готовы к обороне. Цезарь вдался в обман и отступил. Затем с помощью искусно возведенных запруд Антоний лишил неприятеля воды, которой повсюду в тех краях немного, да и та, что есть, – нехороша на вкус. С Домицием, вопреки советам Клеопатры, Антоний обошелся великодушно и благородно. Когда тот, уже в жару, в лихорадке, бежал к Цезарю, Антоний, хотя и был раздосадован, отослал ему все его вещи, отпустил его друзей и рабов. Но Домиций вскоре умер, видимо, страдая от того, что его предательство и измена не остались в тайне. К Цезарю переметнулись также двое из царей – Дейотар и Аминт.

Убедившись, что флот ни в чем не имеет удачи и никуда не поспевает своевременно, Антоний, волей-неволей, снова обратил главные свои надежды на сухопутные силы. Их начальник, Канидий, пред лицом опасности тоже переменил свое прежнее мнение: теперь он советовал отправить Клеопатру обратно и, отступив во Фракию или в Македонию, дать сухопутное сражение, которое и определит исход всего дела. Царь гетов Диком, убеждал Антония Канидий, обещает сильную подмогу, и нет никакого позора в том, чтобы уступить море Цезарю, который приобрел навык в морских боях, отвоевывая у Помпея Сицилию, – гораздо хуже будет, если Антоний, не знающий себе равных в искусстве борьбы на суше, не воспользуется мощью и боевой готовностью столь многочисленной пехоты, но распределит всю эту силу по кораблям и, тем самым, растратит ее впустую. Однако ж верх взяла Клеопатра, настоявшая, чтобы войну решила битва на море. Она уже высматривала себе дорогу для бегства и думала не о том, где принесет больше всего пользы, способствуя победе, но откуда легче всего сможет ускользнуть в случае поражения.

Лагерь был соединен с якорною стоянкой длинными стенами, под защитою которых Антоний часто ходил, не страшась никакой опасности. Какой-то раб открыл Цезарю, что Антония можно захватить, когда он спускается к берегу

этой дорогой, и Цезарь послал людей, чтобы его подкараулить. И дело чуть было не завершилось успехом, да только караульщики выскочили из засады раньше срока, и в руки им попался воин, который шел впереди Антония, сам же он, хотя и с трудом, но бежал.

64. Приняв решение дать морской бой, Антоний распорядился все египетские суда, кроме шестидесяти, сжечь, а лучшие и самые большие из своих – от триер до кораблей с десятью рядами весел – снабдил гребцами и разместил на палубах двадцать тысяч тяжелой пехоты и две тысячи лучников. Говорят, что один начальник когорты, весь иссеченный в бесчисленных сражениях под командою Антония, увидевши его, заплакал и промолвил: "Ах, император, ты больше не веришь этим шрамам и этому мечу и все упования свои возлагаешь на коварные бревна и доски! Пусть на море бьются египтяне и финикийцы, а нам дай землю, на которой мы привыкли стоять твердо, обеими ногами, и либо умирать, либо побеждать врага!" На это Антоний ничего не ответил и, только взглядом и движением руки призвав старого воина мужаться, прошел мимо. Он уже и сам не верил в успех, и когда кормчие хотели оставить паруса на берегу, приказал погрузить их на борт и взять с собой – под тем предлогом, что ни один из неприятелей не должен ускользнуть от погони.

65. В тот день и еще три дня сильный ветер и бурные волны не давали начать сражение, но на пятый день наступило затишье, море сделалось ровным, как зеркало, и противники наконец сошлись. Антоний и Попликола вели правое крыло, Целий – левое, серединою командовали Марк Октавий и Марк Инстей, Цезарь левое крыло поручил Агриппе, а себе оставил правое. Начальники сухопутных сил, со стороны Антония – Канидий, со стороны Цезаря – Тавр, выстроили своих подчиненных вдоль берега и ожидали исхода борьбы. Что касается самих императоров, то Антоний, объезжая на лодке свои корабли, призывал воинов сражаться уверенно, словно на суше, полагаясь на большую тяжесть судов, а кормчим наказывал, принимая удары вражеских таранов, удерживать суда на месте, так словно бы они стоят на якорях, и остерегаться сильного течения в горле залива. Цезарь еще до рассвета вышел из палатки и обходною дорогой направился к судам, и тут, как рассказывают, навстречу ему попался какой-то человек, который гнал осла. На вопрос, как его зовут, погонщик, узнавши Цезаря, отвечал: "Меня зовут Эвтих-Счастливец, а моего осла – Никон-Победитель". Вот почему впоследствии, воздвигая на этом месте трофей, украшенный носами вражеских судов, Цезарь поставил рядом бронзовое изображение осла с погонщиком.

Оглядев с борта триеры весь боевой порядок, Цезарь прибыл на правое крыло и изумился, увидев, как неподвижно стоит неприятель в узком проливе, – казалось, будто корабли бросили якоря. Довольно долго он был уверен, что так оно и есть, и потому удерживал своих примерно в восьми стадиях от противника. В шестом часу[37] поднялся ветер с моря, и люди Антония, наскучив ожиданием и надеясь на высоту и громадные размеры своих судов, по их мнению – неодолимых, привели в движение левое крыло. Заметив это, Цезарь обрадовался и приказал правому крылу дать задний ход, чтобы еще дальше выманить врага из залива, а потом окружить его и своими отлично снаряженными судами уда-

рить по кораблям, которые делала неуклюжими и неповоротливыми чрезмерная тяжесть и недостача в гребцах.

66. Наконец завязался ближний бой, но ни ударов тараном, ни пробоин не было, потому что грузные корабли Антония не могли набрать разгон, от которого главным образом и зависит сила тарана, а суда Цезаря не только избегали лобовых столкновений, страшась непробиваемой медной обшивки носа, но не решались бить и в борта, ибо таран разламывался в куски, натыкаясь на толстые, четырехгранные балки кузова, связанные железными скобами. Борьба походила на сухопутный бой или, говоря точнее, на бой у крепостных стен. Три, а не то и четыре судна разом налетали на один неприятельский корабль, и в дело шли осадные навесы, метательные копья, рогатины и огнеметы, а с кораблей Антония даже стреляли из катапульт, установленных в деревянных башнях. Когда Агриппа принялся растягивать свое крыло с расчетом зайти врагу в тыл, Попликола был вынужден повторить его движение и оторвался от средины, где тут же возникло замешательство, которым воспользовался для нападения Аррунтий[38]. Битва сделалась всеобщей, однако исход ее еще далеко не определился, как вдруг, у всех на виду, шестьдесят кораблей Клеопатры подняли паруса к отплытию и обратились в бегство, прокладывая себе путь сквозь гущу сражающихся, а так как они были размещены позади больших судов, то теперь, прорываясь через их строй, сеяли смятение. А враги только дивились, видя, как они, с попутным ветром, уходят к Пелопоннесу.

Вот когда Антоний яснее всего обнаружил, что не владеет ни разумом полководца, ни разумом мужа, и вообще не владеет собственным разумом, но – если вспомнить чью-то шутку, что душа влюбленного живет в чужом теле[39], – словно бы сросся с этою женщиной и должен следовать за нею везде и повсюду. Стоило ему заметить, что корабль Клеопатры уплывает, как он забыл обо всем на свете, предал и бросил на произвол судьбы людей, которые за него сражались и умирали, и, перейдя на пентеру, в сопровождении лишь сирийца Алекса и Сцеллия, погнался за тою, что уже погибла сама и вместе с собой готовилась сгубить и его.

67. Узнавши Антония, Клеопатра приказала поднять сигнал на своем корабле. Пентера подошла к нему вплотную, и Антония приняли на борт, но Клеопатру он не видел, и сам не показался ей на глаза. В полном одиночестве он сел на носу и молчал, охватив голову руками. Тут появились либурны[40] Цезаря. Антоний велел повернуть судно носом к врагу и отогнал преследователей, только лаконец Эврикл неукротимо рвался вперед, потрясая копьем и стараясь попасть в Антония с палубы своего суденышка. Тогда Антоний выпрямился на носу во весь рост и спросил: "Кто это там так упорно гонится за Антонием?" – "Я, сын Лахара Эврикл, которому счастье Цезаря доставило случай отомстить за смерть отца!" – последовал ответ. Этот Лахар был обвинен в морском разбое и, по приговору Антония, обезглавлен. Впрочем, корабль Антония Эврикл оставил в покое и, напавши на другое флагманское судно (всего их было два), таранил его, лишил управления и, зайдя с борта, взял в плен вместе с еще одним судном, на котором везли драгоценную столовую посуду.

Когда Эврикл отстал, Антоний снова застыл в прежней позе и так провел на

носу три дня один, то ли гневаясь на Клеопатру, то ли стыдясь ее. На четвертый день причалили у Тенара, и здесь женщины из свиты царицы сперва свели их для разговора, а потом убедили разделить стол и постель.

Туда же, к Тенару, уже собирались в немалом числе грузовые суда, начали прибывать и друзья, спасшиеся после поражения: они сообщали, что флот погиб, но сухопутные силы, по их мнению, еще держались. Антоний отправил к Канидию гонца с приказом, не теряя времени, отступать через Македонию в Азию, а сам, собираясь переправиться в Африку, выбрал один корабль с большим грузом денег и драгоценной, серебряной и золотой утвари из царских кладовых и передал друзьям, чтобы они разделили всё между собою и не думали больше ни о чем, кроме собственного спасения. Друзья не соглашались и плакали, но он ласково и мягко уговорил их подчиниться и они уехали, увозя письмо Антония, в котором он наказывал Феофилу, своему, управляющему в Коринфе, предоставить им безопасное убежище до той поры, пока они не вымолят прощение у Цезаря. Этот Феофил приходился отцом Гиппарху, который занимал самое высокое положение среди приближенных Антония и, однако, первым из вольноотпущенников перебежал на сторону Цезаря; впоследствии он жил в Коринфе.

68. Но расстанемся на время с Антонием. Флот при Актии долго сопротивлялся и, несмотря на тяжелые повреждения, которые наносили судам высокие встречные валы, прекратил борьбу лишь в десятом часу. Убитых насчитали не более пяти тысяч, зато в плен взято было триста судов, как рассказывает сам Цезарь. Немногие видели бегство Антония собственными глазами, а те, кто об этом узнавал, сперва не желали верить – им представлялось невероятным, чтобы он мог бросить девятнадцать нетронутых легионов и двенадцать тысяч конницы, он, столько раз испытавший на себе и милость и немилость судьбы и в бесчисленных битвах и походах узнавший капризную переменчивость военного счастья. Воины тосковали по Антонию и всё надеялись, что он внезапно появится, и выказали при этом столько верности и мужества, что даже после того, как бегство их полководца не вызывало уже ни малейших сомнений, целых семь дней не покидали своего лагеря, отвергая все предложения, какие ни делал им Цезарь. Но в конце концов однажды ночью скрылся и Канидий, и, оставшись совсем одни, преданные своими начальниками, они перешли на сторону победителя.

После этого Цезарь поплыл в Афины, примирился с греками и разделил остатки сделанных для войны хлебных запасов между городами, которые терпели жесточайшую нужду – ограбленные, лишившиеся всех своих денег, скота и рабов. Мой прадед Никарх рассказывал, что всех граждан Херонеи заставили на собственных плечах перенести к морю близ Антикиры сколько-то пшеницы, да еще подгоняли их при этом плетьми, а когда они вернулись, им отмерили еще столько же и уже готовы были взвалить им на плечи, когда пришла весть о поражении Антония, и это спасло город: управители Антония и солдаты тут же бежали, и хлеб граждане поделили между собою.

69. Высадившись в Африке, Антоний отправил Клеопатру из Паретония в Египет, а сам бродил с места на место в подавленности и глубоком уединении,

которое с ним разделяли лишь двое друзей – греческий оратор Аристократ и римлянин Луцилий. (Об этом последнем мы уже рассказывали в другом месте[41]: при Филиппах, чтобы помочь Бруту бежать, он выдал себя за него и отдался в руки преследователей, а потом был помилован Антонием и, в благодарность, оставался непоколебимо верен ему вплоть до последнего мига). Когда же полководец, которому он поручил свои силы в Африке, сам склонил это войско к измене[42], Антоний хотел покончить с собой, но друзья помешали ему и увезли в Александрию, где он встретился с Клеопатрою, занятой большим и отчаянно смелым начинанием. В этом месте, где перешеек, отделяющий Красное море от Египетского и считающийся границею между Азией и Африкой, всего сильнее стиснут обоими морями и уже всего – не более трехсот стадиев, – в этом самом месте царица задумала перетащить суда волоком, нагрузить их сокровищами и войсками и выйти в Аравийский залив, чтобы, спасшись от рабства и войны, искать нового отечества в дальних краях. Но первые же суда сожгли на суше, во время перевозки, петрейские арабы, а вдобавок Антоний выражал надежду, что сухопутные силы при Актии еще держатся, и Клеопатра отказалась от своего замысла и выставила сильные сторожевые отряды на главных подходах к Египту [43].

Антоний между тем покинул город, расстался с друзьями и устроил себе жилище среди волн, протянувши от Фароса в море длинную дамбу. Там он проводил свои дни, беглецом от людей, говоря, что избрал за образец жизнь Тимона, ибо судьбы их сходны: ведь и ему, Антонию, друзья отплатили несправедливостью и неблагодарностью, и ни единому человеку он больше не верит, но ко всем испытывает отвращение и ненависть.

70. Тимон этот был афинянин и жил примерно в годы Пелопоннесской войны, сколько можно судить по комедиям Аристофана и Платона, в которых он осмеивается как враг и ненавистник людей. Не желая встречаться ни с кем, он дружелюбно привечал одного лишь Алкивиада, в ту пору – еще наглого юнца. Как-то раз Апемант, недоумевая, спросил его о причине такого странного предпочтения, и Тимон отвечал, что любит этого мальчишку, предчувствуя, сколько зла причинит он афинянам. Апемант, такой же человеконенавистник и ревностный подражатель Тимона, был единственным, кого он изредка допускал в свое общество. В Праздник кувшинов[44] они сидели вдвоем за обедом, и Апемант сказал:"Какой славный у нас пир! Верно, Тимон?" – "Да, если бы еще тебя здесь не было..." – отвечал Тимон. Рассказывают, что однажды в Собрании он поднялся на ораторское возвышение, и, когда все замолкли, до крайности изумленные, произнес следующие слова: "Есть у меня, господа афиняне, участочек земли подле дома, и там растет смоковница, на которой уже немало из моих любезных сограждан повесилось. Так вот, я собираюсь это место застроить и решил всех ваć предупредить – на тот случай, если кто желает удавиться: пусть приходит поскорее, пока дерево еще не срублено". Когда он умер, его схоронили в Галах, у моря, но берег перед могилою осел и ее окружили волны, сделав совершенно недоступною для человека. На памятнике было начертано:

Здесь я лежу, разлучась со своею злосчастной душою.
Имени вам не узнать. Скорей подыхайте, мерзавцы!

Говорят, что эту надгробную надпись Тимон сочинил себе сам. Другая, известная каждому, принадлежит Каллимаху:

Здесь я, Тимон Мизантроп, обитаю. Уйди же скорее!
Можешь меня обругать – только скорей уходи!

Вот немногие из бесчисленных рассказов о Тимоне.

71. С сообщением о потере войска, стоявшего при Актии, к Антонию прибыл сам Канидий. Одновременно Антоний узнал, что Ирод, царь Иудейский с несколькими легионами и когортами перешел к Цезарю, что примеру этому следуют и остальные властители и что кроме Египта за ним уже ничего не остается. Но ни одна из этих вестей нимало его не опечалила, напротив – словно радуясь, отрекся он от всякой надежды, чтобы вместе положить конец и заботам, бросил свое морское пристанище, которое называл Тимоновым храмом, и, принятый Клеопатрою в царском дворце, принялся увеселять город нескончаемыми пирами, попойками и денежными раздачами. Сына Клеопатры и Цезаря он записал в эфебы, а своего сына от Фульвии, Антулла одел в мужскую тогу без каймы[45], и по этому случаю вся Александрия много дней подряд пьянствовала, гуляла, веселилась. Вместе с Клеопатрой они распустили прежний "Союз неподражаемых" и составили новый, ничуть не уступавший первому в роскоши и расточительности, и назвали его "Союзом смертников". В него записывались друзья, решившиеся умереть вместе с ними, а пока жизнь их обернулась чередою радостных празднеств, которые они задавали по очереди. Тем временем Клеопатра собирала всевозможные смертоносные зелья и, желая узнать, насколько безболезненно каждое из них, испытывала на преступниках, содержавшихся под стражею в ожидании казни. Убедившись, что сильные яды приносят смерть в муках, а более слабые не обладают желательною быстротою действия, она принялась за опыты над животными, которых стравливали или же напускали одно на другое в ее присутствии. Этим она тоже занимались изо дня в день и, наконец, пришла к выводу, что, пожалуй, лишь укус аспида вызывает схожее с дремотою забытье и оцепенение, без стонов и судорог: на лице выступает легкий пот, чувства притупляются, и человек мало-помалу слабеет, с недовольством отклоняя всякую попытку расшевелить его и поднять, словно бы спящий глубоким сном.

72. Вместе с тем они отправили к Цезарю в Азию послов. Клеопатра просила передать власть над Египтом ее детям, а Антоний – разрешить ему провести остаток своих дней если не в Египте, то хотя бы в Афинах, частным лицом. По недостатку в друзьях и по недоверию к ним – ведь кто только не перебежал на сторону врага! – послом был отправлен Эвфроний, учитель детей царицы. В самом деле, когда Алекс из Лаодикии, который познакомился с Антонием в Риме через Тимагена и пользовался у него таким влиянием, как ни один из греков, а впоследствии был сильнейшим орудием в руках Клеопатры и с успехом подавлял в душе Антония все остатки его добрых чувств к Октавии, – когда, повторяю, этот Алекс поехал по поручению Антония к царю Ироду, чтобы удержать его от измены, он там и остался и затем, полагаясь на Ирода, дерзнул еще явиться на глаза Цезарю. Но заступничество Ирода не помогло – его тут же

схватили, в оковах отвезли в Лаодикию и там, исполняя приказ Цезаря, казнили. Так еще при жизни Антония поплатился Алекс за свое вероломство.

73. Просьбу Антония Цезарь отверг, а Клеопатре отвечал, что ей будет оказано полное снисхождение при одном условии – если она умертвит или изгонит Антония. Этот ответ повез в Александрию один из вольноотпущенников Цезаря, Фирс, человек весьма смышленый и сумевший самым убедительным образом говорить от имени молодого императора с надменною и непомерно гордившейся своей красотою женщиной. Клеопатра проявляла к нему особое уважение и беседовала с ним дольше и охотнее, нежели с остальными; это внушило Антонию подозрения, и он высек Фирса плетьми, а затем отпустил назад, к Цезарю, написав, что несчастья сделали его вспыльчивым и раздражительным, а Фирс держал себя слишком заносчиво и высокомерно. "Впрочем, – прибавлял он, – если ты сочтешь это оскорблением, то у тебя мой отпущенник Гиппарх – высеки его как следует, и мы будем квиты". Желая рассеять его подозрения, Клеопатра после этого случая ухаживала за ним с удвоенным усердием. Собственный день рождения она справила скромно и сообразно обстоятельствам, но в день рождения Антония задала празднество такое блестящее и пышное, что многие из приглашенных, явившись на пир бедняками, ушли богатыми.

Между тем Агриппа посылал Цезарю письмо за письмом, сообщая, что положение дел в Риме требует его присутствия. (74). Поход был отложен. Но когда зима миновала, Цезарь снова двинулся на Египет через Сирию, а его полководцы – через Африку. После взятия Пелусия распространился слух, что Селевк впустил неприятеля в город не без согласия Клеопатры. Но Клеопатра выдала Антонию на казнь жену и детей изменника, а сама приказала перенести все наиболее ценное из царской сокровищницы – золото, серебро, смарагды, жемчуг, черное дерево, слоновую кость, корицу – к себе в усыпальницу; это было высокое и великолепное здание, которое она уже давно воздвигла близ храма Исиды. Там же навалили груду пакли и смолистой лучины, так что Цезарь, испугавшись, как бы эта женщина в порыве отчаяния не сожгла и не уничтожила такое громадное богатство, все время, пока подвигался с войском к Александрии, посылал ей гонцов с дружелюбными и обнадеживающими письмами.

Когда враги расположились наконец подле самого Конского ристалища, Антоний дал Цезарю бой, сражался с большим успехом и, обратив неприятельскую конницу в бегство, гнал ее до самого лагеря. Гордый победою, он возвратился во дворец, поцеловал, не снимая доспехов, Клеопатру и представил ей воина, отличившегося больше всех. Царица наградила его золотым панцирем и шлемом. А награжденный, захватив свою награду, в ту же ночь перебежал к Цезарю.

75. Снова Антоний послал Цезарю вызов на поединок. Тот отвечал, что Антонию открыто много дорог к смерти, и Антоний понял, что нет для него прекраснее кончины, нежели гибель в сражении, и решил напасть на противника и на суше и на море разом. Передают, что за обедом он велел рабам наливать ему полнее и накладывать куски получше, потому что, дескать, неизвестно, будут ли они потчевать его завтра или станут прислуживать новым господам, между тем как он ляжет трупом и обратится в ничто. Видя, что друзья его плачут, он ска-

зал, что не поведет их за собою в эту битву, от которой ждет не спасения и победы, но славной смерти.

Около полуночи, как рассказывают, среди унылой тишины, в которую погрузили Александрию страх и напряженное ожидание грядущего, внезапно раздались стройные, согласные звуки всевозможных инструментов, ликующие крики толпы и громкий топот буйных, сатировских прыжков, словно двигалось шумное шествие в честь Диониса. Толпа, казалось, прошла чрез середину города к воротам, обращенным в сторону неприятеля, и здесь шум, достигнув наибольшей силы, смолк. Люди, пытавшиеся толковать удивительное знамение, высказывали догадку, что это покидал Антония тот бог, которому он в течение всей жизни подражал и старался уподобиться с особенным рвением.

76. С первыми лучами солнца Антоний расположил войско на холмах перед городом и стал наблюдать, как выходят навстречу врагу его корабли. В ожидании, что моряки проявят и доблесть, и упорство, он спокойно смотрел вниз. Но едва только сблизились они с неприятелем, как, подняв весла, приветствовали суда Цезаря и, получив ответное приветствие, смешались с ними, так что из двух флотов возник один, который поплыл прямо на город. Пока Антоний глядел на это зрелище, успела переметнуться и конница; а когда потерпела поражение пехота, Антоний возвратился в город, крича, что Клеопатра предала его в руки тех, с кем он воевал ради нее.

Полная ужаса пред его гневом и отчаянием, царица укрылась в своей усыпальнице и велела опустить подъемные двери с надежными засовами и замками. К Антонию она отправила своих людей, которые должны были известить его, что Клеопатра мертва. Антоний поверил и, обращаясь к самому себе, воскликнул: "Что же ты еще медлишь, Антоний? Ведь судьба отняла у тебя последний и единственный повод дорожить жизнью и цепляться за нее!" Он вошел в спальню, расстегнул и сбросил панцирь и продолжал так: "Ах, Клеопатра, не разлука с тобою меня сокрушает, ибо скоро я буду в том же месте, где ты, но как мог я, великий полководец, позволить женщине превзойти меня решимостью?!". У него был верный раб по имени Эрот, которого Антоний уже давно уговорил убить его, если придет нужда. Теперь он потребовал, чтобы Эрот исполнил свое слово. Раб взмахнул мечом, словно готовясь поразить хозяина, но, когда тот отвернул лицо, нанес смертельный удар себе и упал к ногам Антония. "Спасибо, Эрот, – промолвил Антоний, – за то, что учишь меня, как быть, раз уже сам не можешь исполнить, что требуется". С этими словами он вонзил меч себе в живот и опустился на кровать. Но рана оказалась недостаточно глубока, и потому, когда он лег, кровь остановилась. Антоний очнулся и принялся молить окружающих прикончить его, но все выбежали из спальни, и он кричал и корчился в муках, пока от Клеопатры не явился писец Диомед, которому царица велела доставить Антония к ней в усыпальницу.

77. Услыхав, что она жива, Антоний с жаром приказал слугам немедленно поднять его с ложа, и те на руках отнесли хозяина к дверям усыпальницы. Дверей, однако, Клеопатра не открыла, но, появившись в окне, спустила на землю веревки, которыми обмотали раненого, и царица еще с двумя женщинами[46] – никого, кроме них она с собою внутрь не взяла – собственными руками втянула

его наверх. Эти женщины – единственные свидетельницы происходившего – говорили, что невозможно представить себе зрелище жалостнее и горестнее. Залитого кровью, упорно борющегося со смертью, поднимали его на веревках, а он простирал руки к царице, беспомощно вися в воздухе, ибо нелегкое то было дело для женщин, и Клеопатра, с исказившимся от напряжения лицом, едва перехватывала снасть, вцепляясь в нее что было сил, под ободряющие крики тех, кто стоял внизу и разделял с нею ее мучительную тревогу.

Наконец Антоний очутился наверху, и, уложив его на постель и склонившись над ним, Клеопатра растерзала на себе одежду, била себя в грудь и раздирала ее ногтями, лицом отирала кровь с его раны и звала его своим господином, супругом и императором. Проникшись состраданием к его бедам, она почти что забыла о своих собственных. Утишив ее жалобы, Антоний попросил вина – то ли потому, что действительно хотел пить, то ли надеясь, что это ускорит его конец. Напившись, он увещал ее подумать о своем спасении и благополучии, если только при этом окажется возможным избежать позора, и среди друзей Цезаря советовал больше всего доверять Прокулею. А его, продолжал он, пусть не оплакивает из-за последних тяжких превратностей, пусть лучше полагает его счастливым из-за всего прекрасного, что выпало на его долю – ведь он был самым знаменитым человеком на свете, обладал величайшим в мире могуществом и даже проиграл свое дело не без славы, чтобы погибнуть смертью римлянина, побежденного римлянином.

78. Едва только Антоний испустил дух, как явился присланный Цезарем Прокулей. Случилось так, что когда раненого Антония понесли к Клеопатре, один из его телохранителей, Деркетей, подобрал меч Антония, тайком выскользнул из дому и побежал к Цезарю, чтобы первым сообщить о кончине Антония и показать окровавленное оружие. Услыхав эту весть, Цезарь ушел в глубину палатки и заплакал, горюя о человеке, который был его свойственником, соправителем и товарищем во многих делах и битвах. Потом, достав письма, он кликнул друзей и принялся им читать, чтобы они убедились, как дружелюбно и справедливо писал он и с какою грубостью, с каким высокомерием всегда отвечал Антоний. Затем он отправляет Прокулея с наказом употребить все средства к тому, чтобы взять Клеопатру живой: Цезарь и опасался за судьбу сокровищ, и считал, что, проведя Клеопатру в триумфальном шествии, намного увеличит блеск и славу своего триумфа. Встретиться с Прокулеем лицом к лицу Клеопатра не пожелала, однако между ними произошел разговор, во время которого Прокулей стоял снаружи у дверей, хотя и крепко запертых, но пропускавших голоса. Клеопатра просила оставить ее царство детям, а Прокулей убеждал ее не падать духом и во всем полагаться на Цезаря.

79. Внимательно осмотрев место кругом усыпальницы, Прокулей доложил Цезарю, и туда был отряжен Галл, чтобы продолжать переговоры. Он подошел к дверям, вступил в беседу и умышленно ее затягивал, а тем временем Прокулей, приставив лестницу, забрался внутрь через окно, в которое женщины до того втянули Антония. Не теряя ни мгновения, он вместе с двумя слугами помчался к дверям, где стояла Клеопатра, поглощенная разговором с Галлом. Одна из женщин, замкнувшихся с царицею в усыпальнице, воскликнула: "Клеопатра,

несчастная, ты попалась! Клеопатра обернулась, увидела Прокулея и, выхватив пиратский кинжал, висевший у пояса, хотела убить себя. Но римлянин успел подбежать, стиснул ее обеими руками и сказал: "Клеопатра, ты несправедлива и к самой себе, и к Цезарю, лишая его случая во всем блеске выказать свою доброту и навлекая на милосерднейшего из полководцев ложное обвинение в вероломстве и жестокой непреклонности". С этими словами он отобрал у египтянки оружие и резко отряхнул на ней платье, чтобы узнать, не спрятан ли где яд. Цезарь прислал еще своего вольноотпущенника Эпафродита, поручив ему зорко и неотступно караулить Клеопатру, чтобы она не лишила себя жизни, в остальном же обходиться с нею самым любезным образом и исполнять все ее желания.

80. Сам Цезарь вступил в город, беседуя с философом Арием и держа его за руку, чтобы таким свидетельством особого уважения сразу же возвысить философа в глазах сограждан. Он вошел в гимнасий, поднялся на воздвигнутое там возвышение и, когда люди, в страхе, упали ниц, велел им встать и объявил, что освобождает город от всякой вины – во-первых, ради основателя его, Александра, во-вторых, потому что восхищен красотою и величиной Александрии, и в-третьих, чтобы угодить своему другу Арию. Вот какою честью был взыскан Арий, и его заступничество спасло многих и многих. Среди спасенных им был и Филострат, софист, не знавший себе равных в искусстве говорить без подготовки, но совершенно безосновательно причислявший себя к Академии. Цезарю его самонадеянность внушала отвращение, и он отклонил все просьбы Филострата. Тогда софист, с небритою седою бородой, в темном плаще, стал ходить следом за Арием, твердя один и тот же стих[47]:

Мудрец поможет мудрым, если сам он мудр.

Узнав об этом, Цезарь помиловал его, не столько желая избавить Филострата от страха, сколько Ария от зависти.

81. Сына Антония от Фульвии, Антулла, Цезарь казнил. Мальчика выдал его дядька Феодор и, когда солдаты отрубили ему голову, украдкою снял с шеи казненного громадной ценности камень и зашил себе в пояс. Несмотря на все запирательства Феодор был изобличен и распят. Что касается детей, которых Антонию родила Клеопатра, то они вместе со своими воспитателями содержались хотя и под стражей, но вполне достойно их звания. Цезариона же, слывшего сыном Цезаря, мать снабдила большою суммою денег и через Эфиопию отправила в Индию, но другой дядька, Родон, такой же негодяй, как Феодор, уговорил юношу вернуться, уверив, будто Цезарь зовет его на царство. Говорят, что, когда Цезарь раздумывал, как с ним поступить, Арий произнес:

Нет в многоцезарстве блага...[48]

И позднее, после кончины Клеопатры, Цезарь его умертвил.

82. Многие цари и полководцы вызывались и хотели похоронить Антония, но Цезарь оставил тело Клеопатре, которая погребла его собственными руками, с царским великолепием, получив для этого все, что только ни пожелала. Нестерпимое горе и телесные страдания – грудь ее под жестокими ударами воспалилась и покрылась язвами – привели за собою лихорадку, и царица радовалась болезни, которая открывала ей возможность беспрепятственно умереть, отка-

зываясь от пищи. В числе ее приближенных был врач Олимп, которому она открыла свое истинное намерение и пользовалась его помощью и советами, как пишет сам Олимп, издавший рассказ об этих событиях. Но Цезарь, заподозрив неладное, стал угрожать ей расправою с детьми, и угрозы эти, словно осадные машины, сокрушили волю Клеопатры, и она подчинилась заботам и уходу тех. кто хотел сохранить ей жизнь.

83. Немногими днями позже Цезарь навестил Клеопатру и сам, чтобы сколько-нибудь ее утешить. Она лежала на постели, подавленная, удрученная, и когда Цезарь появился в дверях, вскочила в одном хитоне и бросилась ему в ноги. Ее давно не прибранные волосы висели клочьями, лицо одичало, голос дрожал, глаза потухли, всю грудь покрывали еще струпья и кровоподтеки, – одним словом, телесное ее состояние, казалось, было ничуть не лучше душевного. И однако ее прелесть, ее чарующее обаяние не угасли окончательно, но как бы проблескивали изнутри даже сквозь жалкое это обличие и обнаруживались в игре лица. Цезарь просил ее лечь, сел подле, и Клеопатра принялась оправдываться, все свои действия объясняя страхом перед Антонием или принуждениями с его стороны, но Цезарь опроверг один за другим каждый из ее доводов, и тогда она тотчас обратилась к мольбам о сострадании, словно обуянная жаждою жить во что бы то ни стало. Под конец она вынула опись своих сокровищ и передала Цезарю. Селевк, один из ее управляющих, стал было уличать царицу в том, что какие-то вещи она похитила и утаила, но Клеопатра набросилась на него, вцепилась ему в волосы, била по лицу и, когда Цезарь, улыбаясь, пытался ее унять, вскричала: "Но ведь это просто неслыханно, Цезарь! Ты, в моих жалких обстоятельствах, удостоил меня посещения и беседы, а мои же рабы меня обвиняют, и за что? За то, что я отложила какие-то женские безделушки – не для себя, несчастной, нет, но чтобы поднести Октавии и твоей Ливии и через них смягчить тебя и умилостивить!" Эти слова окончательно убедили Цезаря, что Клеопатра хочет жить, чему он немало радовался. Он сказал, что охотно оставляет ей эти украшения и что все вообще обернется для нее гораздо лучше, чем она ожидает, а затем удалился с мыслью, что обманул египтянку, но в действительности – обманутый ею.

84. Среди друзей Цезаря был знатный юноша Корнелий Долабелла. Он не остался нечувствителен к чарам Клеопатры и, желая оказать ей услугу, тайно известил царицу, что Цезарь выступает в обратный путь через Сирию, а ее с детьми решил на третий день отправить в Рим морем. Тогда Клеопатра, прежде всего, упросила Цезаря, чтобы ей разрешили совершить возлияние в честь умершего. Со своими доверенными служанками она пришла к могиле Антония и, упав на его гробницу, промолвила: "О, мой Антоний, еще так недавно я погребала тебя свободною, а сегодня творю возлияние руками пленницы, которую зорко стерегут, чтобы плачем и ударами в грудь она не причинила вреда этому телу рабы, сберегаемой для триумфа над тобою! Не жди иных почестей, иных возлияний – это последние, какие приносит тебе Клеопатра. При жизни нас не смогло разлучить ничто, но в смерти нам грозит опасность обменяться местами, ибо ты, римлянин, покоишься здесь, а я, злосчастная, лягу в землю Италии и чрез это – но только чрез это одно! – приобщусь к твоему отечеству. Однако ж,

если хоть один из тамошних богов владеет силою и могуществом (ибо наши, египетские боги, от нас отвернулись) – не выдавай свою супругу живою, не допусти, чтобы во мне триумфатор повел за своею колесницею тебя, но укрой, схорони меня здесь, рядом с собою: ведь изо всех неисчислимых бедствий, выпавших на мою долю, не было горше и тяжелее, чем этот короткий срок, что я живу без тебя".

85. Так она сетовала и сокрушалась, а затем украсила гробницу венком и вернулась во дворец. Она велела приготовить себе купание, искупалась, легла к столу. Подали богатый, обильный завтрак. В это время к дверям явился какой-то крестьянин с корзиною. Караульные спросили, что он несет. Открыв корзину и раздвинув листья, он показал горшок, полный спелых смокв. Солдаты подивились, какие они крупные и красивые, и крестьянин, улыбнувшись, предложил им отведать. Тогда они пропустили его, откинувши всякие подозрения. После завтрака, достав табличку с заранее написанным и запечатанным письмом, Клеопатра отправила ее Цезарю, выслала из комнаты всех, кроме обеих женщин, которые были с нею в усыпальнице, и заперлась. Цезарь распечатал письмо, увидел жалобы и мольбы похоронить ее вместе с Антонием и тут же понял, что произошло. Сперва он хотел броситься на помощь сам, но потом, со всею поспешностью, распорядился выяснить, каково положение дела. Все, однако, совершилось очень скоро, ибо когда посланные подбежали ко дворцу и, застав караульных в полном неведении, взломали двери, Клеопатра в царском уборе лежала на золотом ложе мертвой. Одна из двух женщин, Ирада, умирала у ее ног, другая, Хармион, уже шатаясь и уронив голову на грудь, поправляла диадему в волосах своей госпожи. Кто-то в ярости воскликнул: "Прекрасно, Хармион! – "Да, поистине прекрасно и достойно преемницы стольких царей", – вымолвила женщина и, не проронив больше ни звука, упала подле ложа.

86. Говорят, что аспида принесли вместе со смоквами, спрятанным под ягодами и листьями, чтобы он ужалил царицу неожиданно для нее, – так распорядилась она сама. Но, вынувши часть ягод, Клеопатра заметила змею и сказала: "Так вот она где была..." – обнажила руку и подставила под укус. Другие сообщают, что змею держали в закрытом сосуде для воды и Клеопатра долго выманивала и дразнила ее золотым веретеном, покуда она не выползла и не впилась ей в руку повыше локтя. Впрочем, истины не знает никто – есть даже сообщение, будто она прятала яд в полой головной шпильке, которая постоянно была у нее в волосах. Однако ж ни единого пятна на теле не выступило, и вообще никаких признаков отравления не обнаружили. Впрочем, и змеи в комнате не нашли, но некоторые утверждали, будто видели змеиный след на морском берегу, куда выходили окна. Наконец, по словам нескольких писателей, на руке Клеопатры виднелись два легких, чуть заметных укола. Это, вероятно, убедило и Цезаря, потому что в триумфальном шествии несли изображение Клеопатры с прильнувшим к ее руке аспидом. Таковы обстоятельства ее кончины.

Цезарь, хотя и был раздосадован смертью Клеопатры, не мог не подивиться ее благородству и велел с надлежащей пышностью похоронить тело рядом с Антонием. Почетного погребения были удостоены, по его приказу, и обе доверенные служанки.

Клеопатра умерла тридцати девяти лет; двадцать два года она занимала царский престол и более четырнадцати правила совместно с Антонием. Антоний прожил, по одним сведениям, пятьдесят шесть, по другим – пятьдесят три года. Изображения Антония были сброшены с цоколей, а за то, чтобы эта участь не постигла и статуи Клеопатры, один из ее друзей, Архибий, заплатил Цезарю две тысячи талантов.

87. Антоний оставил семерых детей от трех жен, и лишь самый старший из них, Антулл, был казнен Цезарем. Всех прочих приняла к себе Октавия и вырастила наравне с собственными детьми. Клеопатру, дочь Клеопатры, она выдала замуж за Юбу, самого ученого и образованного среди царей, Антония же, сына Фульвии, возвысила настолько, что если первое место при Цезаре принадлежало Агриппе, а второе сыновьям Ливии[49], третьим и был и считался Антоний. От Марцелла Октавия родила двух дочерей и одного сына, Марцелла, которого Цезарь сделал своим сыном и зятем, а одну из его сестер отдал за Агриппу. Но когда Марцелл вскорости после свадьбы умер и Цезарю оказалось нелегко выбрать достойного доверия зятя из числа своих друзей, Октавия предложила, чтобы Агриппа развелся с ее дочерью и взял в супруги дочь Цезаря. Сначала ей удалось уговорить Цезаря, потом Агриппу, и ее дочь, вернувшись в дом матери, вышла замуж за Антония, а Агриппа женился на дочери Цезаря. Из двух дочерей Антония и Октавии одну взял Домиций Агенобарб, другую – знаменитую своим целомудрием и красотой Антонию – Друз, сын Ливии и пасынок Цезаря. От этого брака родились Германик и Клавдий; второй из них впоследствии правил Римскою державой. Сын Германика, Гай, после недолгого, но громкого правления был убит вместе с дочерью и супругой, а дочь Агриппина, у которой от Агенобарба был сын Луций Домиций, вышла замуж за Клавдия Цезаря; Клавдий усыновил мальчика и дал ему имя Нерона Германика. Нерон правил уже на нашей памяти. Он умертвил родную мать и своим безрассудством и безумием едва не погубил римскую державу. Он был потомком Антония в пятом колене.



[*Сопоставление*]

88(1). Итак, мы убедились, что и Деметрий и Антоний испытали тяжкие превратности судьбы, а потому рассмотрим сначала природу могущества и славы обоих. Первый и то и другое получил из рук отца, ибо среди преемников Александра Антигон был сильнейшим и еще до того, как Деметрий возмужал, прошел с боями и покорил чуть ли не всю Азию. Антоний же был сыном человека хотя и вполне достойного, но отнюдь не воинственного и не оставившего ему громкого имени, а всё-таки отважился захватить власть Цезаря, притязать на которую по праву преемства никак не мог, и сам сделал себя наследником достояния, созданного трудами Цезаря. Полагаясь лишь на собственные силы и способности, он поднялся так высоко, что, разделив всю Римскую державу на

две части, выбрал и взял себе лучшую и руками своих помощников и заместителей, сам находясь далеко от театра войны, много раз побеждал парфян и отбросил прикавказских варваров к самому Каспийскому морю. О величии Антония свидетельствуют даже те поступки, которые ставились ему в укор. И верно, отец Деметрия радовался, когда ему удалось женить сына на Филе, дочери Антипатра, хоть она и была старше годами, Антония же срамили браком с Клеопатрой – женщиною, которая могуществом и блеском превосходила всех царей своего времени, исключая лишь Арсака[50]. Но такого величия достиг этот человек, что другие считали его достойным большего и лучшего, нежели то, чего желал он сам.

89(2). Цель, которую ставили себе тот и другой, приобретая власть, у Деметрия поводов к упрекам не дает, ибо он намеревался править и царствовать над людьми, привыкшими повиноваться царю. Наоборот, намерения Антония были злыми и тираническими – он хотел поработить римский народ, только что избавившийся от единовластия Цезаря, и самое известное, самое значительное из его деяний – война против Кассия и Брута, которую он вел, чтобы лишить свободы отечество и сограждан. Деметрий, пока обстоятельства ему благоприятствовали, неизменно стремился к освобождению Греции и изгонял вражеские сторожевые отряды из греческих городов – в противоположность Антонию, который гордился тем, что перебил в Македонии освободителей Рима. Одно в Антонии, во всяком случае, заслуживает похвалы, – его щедрость и широта, но здесь Деметрий обладает неизмеримым превосходством: он дарил врагам столько, сколько Антоний не давал и друзьям. Правда, Антонию делает честь, что он приказал достойно похоронить Брута, но Деметрий предал погребению всех убитых неприятелей, а захваченных в плен вернул Птолемею, богато их одарив.

90(3). В пору удач оба бывали разнузданы и наглы, оба без удержа предавались наслаждениям. Но никто не может сказать, будто Деметрий, за удовольствиями и распутством, хоть раз упустил случай и время действовать, – нет, всевозможные утехи он всегда соединял с обилием и избытком досуга, и со своею знаменитою Ламией, словно она, и в самом деле, вышла из сказки[51], развлекался лишь играючи, как бы в ленивой дреме. Когда же начинались приготовления к войне, копье его не было увито плющом и шлем не благоухал душистыми притираниями, он не выходил на битву сияющим и упоенным, прямо из женской спальни, но прекращал веселые сборища, полагал конец вакхическому неистовству и становился, говоря словами Эврипида, слугою нечестивого Арея, так что никогда решительно не совершал ошибок по легкомыслию или же из-за любви к наслаждениям. Другое дело Антоний: подобно тому, как на картинах мы видим Омфалу, которая отбирает у Геракла палицу или сбрасывает с его плеч львиную шкуру, так и Антоний, обезоруженный и околдованный Клеопатрой, не раз оставлял важнейшие дела и откладывал неотложные походы, чтобы разгуливать и развлекаться с нею на морском берегу близ Канопа или Тафосириды. А под конец он, словно Парис, бежал из сражения и спрятался у ее ног, только Парис-то бежал в опочивальню Елены побежденный, а Антоний, поспешая за Клеопатрой, упустил победу из рук.

91(4). Далее, Деметрий не просто беспрепятственно, но в прямом соответст-

вии с обычаем, укоренившимся среди македонских царей со времен Филиппа и Александра, заключил несколько брачных союзов, точно так же, как Лисимах и Птолемей, и всем своим супругам оказывал подобающее уважение. Антоний сначала имел двух жен сразу, на что не отваживался ни один из римлян, а потом, ради чужеземки, с которою состоял в незаконном сожительстве, прогнал римскую гражданку, соединенную с ним узами брака. Вот почему для одного связь с женщиной никогда не была источником несчастья, другому – принесла величайшие бедствия. Но того чудовищного кощунства, к которому приводил Деметрия разврат, жизнь Антония не ведает. В самом деле, как пишут историки, афиняне не пускали на Акрополь собак, потому что эти животные менее всех других склонны таиться во время соития, а Деметрий в самом Парфеноне спал со своими потаскухами и обесчестил многих горожанок. Жестокость – тот порок, который, сколько можно судить, до крайности редко сочетается с подобными радостями и утехами, но любострастию Деметрия была присуща и жестокость: он допустил, или, говоря вернее, все сделал для того, чтобы самый красивый и целомудренный из афинян погиб ужасною смертью, спасая себя от насилия. В общем можно сказать, что своею невоздержанностью Деметрий наносил вред другим, Антоний – самому себе.

92(5). По отношению к родичам Деметрий был совершенно безупречен. Антоний отдал на смерть брата своей матери, ради того чтобы убить Цицерона, – злодейство и само по себе настолько гнусное и кровавое, что Антоний едва ли заслуживал бы снисхождения, даже если бы смерть Цицерона было платою за жизнь дяди. Что касается клятвопреступления, то в нем были повинны и тот, и другой: Антоний вероломно захватил Артабаза, Деметрий – убил Александра. Но Антоний, в свое оправдание, может сослаться на предательство Артабаза, который бросил его в Мидийской земле, тогда как Деметрий, по словам многих писателей, приводил вымышленные, ложные причины своего поступка с Александром и винил во всем жертву насилия вместо того, чтобы самому защищаться от справедливых обвинений.

Зато свои подвиги Деметрий совершал сам, а наиболее крупные и прекрасные из побед Антония были одержаны его полководцами в отсутствие главнокомандующего.

93(6). Оба потеряли власть и господство по собственной вине, но неодинаковым образом: один был брошен на произвол судьбы – македоняне от него отступились, – другой бежал и бросил на произвол судьбы тех, кто сражался и погибал за него. И первому ставят в вину то, что он внушил своим воинам такую ненависть к себе, другому – что предал такую любовь и верность.

И наконец – смерть обоих. И тот и другой умерли недостойно, однако большего порицания заслуживает Деметрий, который согласился стать пленником и рад был выгадать еще три года, чтобы пьянствовать и обжираться в неволе – словно пойманный и прирученный зверь. Антоний покончил счеты с жизнью трусливо, жалко и бесславно, но, по крайней мере, в руки врагов не дался.





ДИОН И БРУТ

ДИОН

1. Симонид[1] говорил, что Илион не питал злобы в коринфянам, участвовавшим в походе вместе с ахейцами, ибо Главк – коринфянин по происхождению – отважно сражался на стороне илионян. Точно так же, Сосий Сенецион, ни римляне, ни греки, по всей вероятности, не будут в обиде на Академию, ибо в этой книге, заключающей жизнеописания Брута и Диона, и те, и другие стяжают равную хвалу: Дион был учеником самого Платона, а Брут воспитан на Платоновом учении, и оба вышли на великую и грозную борьбу словно бы из одной палестры. А потому нет ничего удивительного, если множеством сходных и как бы родственных деяний они подтвердили мысль своего наставника, что с мудростью и справедливостью должны соединяться сила и удача – лишь тогда деятельность на государственном поприще обретает и красоту, и величие. Как учитель гимнастики Гиппомах, по его словам, издали узнавал своих учеников в любых обстоятельствах, даже если видел только одно – как человек несет с рынка мясо, так вполне естественно, чтобы люди, воспитанные в одинаковых правилах, следовали усвоенным ими началам и в своих поступках, которые через это приобретали бы вместе с достоинством и стройную слаженность.

2. За всем тем еще больше сходства жизненному пути того и другого придает судьба, а схожесть судьбы зависит не столько от разумного выбора, сколько от непредвиденных случайностей. Оба погибли безвременно, не сумевши, невзирая на все труды и усилия, достигнуть намеченной цели. И что самое поразительное, божество обоим возвестило близкую кончину – и тому, и другому было зловещее видение. Правда, есть люди, которые вообще отрицают подобного рода вещи, и говорят, что человеку в здравом уме никакой дух, никакой призрак не явится, но что лишь несмышленые дети, женщины да помешавшиеся вследствие душевного или же телесного недуга способны разделять эти пустые и нелепые предрассудки и что злого духа они носят в себе самих: имя ему – суеверие. Но коль скоро Дион и Брут, мужи степенные, философы и ни в малой мере не склонные поддаваться обману чувств, были так встревожены видением, что даже рассказывали о нем другим, то уж не знаю, не придется ли нам вернуться к совершенно нелепому представлению очень давних времен, будто злые и коварные духи завидуют лучшим людям, препятствуют их действиям, смущают и пугают их в надежде расшатать и сокрушить их доблесть – и все для того, чтобы люди, если они сохранят нравственную чистоту и пребудут верны добрым своим намерениям, не удостоились после кончины более завидной участи, нежели доля самих духов.

Но это уже предмет для иного сочинения, а теперь, в двенадцатой по счету книге сравнительных жизнеописаний, мы хотим рассказать сперва о том из двух названных выше мужей, который жил раньше.

3. Дионисий Старший, сразу же вслед за тем, как забрал власть в свои руки, женился на дочери сиракузянина Гермократа. Тирания не успела еще упрочиться, и сиракузяне вскоре восстали, а восстав, учинили над молодой женщиной страшное и чудовищное насилие, так что она сама лишила себя жизни. Дионисий вновь захватил власть и утвердился в ней, а затем взял двух жен сразу – локрийку по имени Дорида и свою землячку Аристомаху, дочь Гиппарина, одного из первых людей в Сиракузах и в прошлом товарища Дионисия по должности (вместе с Гиппарином он был в первый раз избран полководцем с неограниченными полномочиями). Говорят, что обе свадьбы он справил в один день и никто не знал, с которой из двух женщин он сочетался раньше, а в дальнейшем оказывал обеим равное внимание, так что и та и другая постоянно обедали вместе с супругом, ночами же делили с ним ложе по очереди. Сиракузскому народу, разумеется, хотелось, чтобы их соотечественница имела преимущество перед чужеземкой, но Дориде посчастливилось первою родить Дионисию сына и наследника и таким образом надежно защититься от нападок на свое происхождение. Аристомаха, напротив, долгое время оставалась бесплодной, хотя Дионисий до того жаждал иметь от нее детей, что даже обвинил мать локрийки в колдовстве над Аристомахою и казнил ее.

4. Дион был брат Аристомахи и вначале пользовался почетом лишь благодаря этой родственной связи, но затем, обнаружив силу своего ума, и сам приобрел благосклонность тиранна, который, кроме всех прочих милостей, приказал своим казначеям выдавать Диону любые суммы, какие он ни попросит, но ежедневно докладывать об этих выдачах ему, Дионисию. Дион и от природы обладал нравом мужественным, высоким и благородным, но еще более развились в нем эти качества, когда в Сицилию приехал Платон – приехал единственно волею божества, а не по человеческому расчету или же разумению. Видимо, некое божество, заглядывая далеко в грядущее, полагало основания свободы для Сиракуз и уже готовило гибель тираннии, когда, приведя Платона из Италии, свело и познакомило с ним Диона; в ту пору он был еще совсем юн, но среди всех учеников Платона оказался наиболее способным и с небывалою жадностью внимал словам учителя о нравственном совершенстве, – как пишет Платон[2] и свидетельствует самый ход событий. И верно, выросший при дворе тиранна, среди всеобщей приниженности и малодушия, привыкший к жизни, полной страха, к свите, чванившейся своим недавно нажитым богатством, к неумеренной роскоши, к низменному убеждению, что счастье заключается в удовольствиях и стяжательстве, и уже пресытившийся всем этим Дион, едва узнавши вкус философии, ведущей к нравственному совершенству, вспыхнул всей душой и, судя по собственной восприимчивости к прекрасному, с юношеским простосердием заключил, что такое же действие учение Платона должно оказать и на Дионисия, а потому не пожалел трудов и добился, чтобы тиранн на досуге встретился с Платоном и послушал его.

5. В начале беседы речь шла о нравственных качествах вообще, и, главным

образом, о мужестве, и Платон доказывал, что беднее всех мужеством тиранны, а затем обратился к справедливости и высказал мысль, что лишь жизнь справедливых людей счастлива, тогда как несправедливые несчастны. Тиранн был недоволен, считая, что слова эти нацелены в него, и гневался на присутствовавших, которые принимали философа с удивительным воодушевлением и были зачарованы его речью. В конце концов, его терпение иссякло, и он резко спросил Платона, чего ради тот явился в Сицилию. "Я ищу совершенного человека" – отвечал философ. "Но клянусь богами, ты его еще не нашел, это совершенно ясно", – язвительно возразил Дионисий.

Дион боялся, что гнев тиранна на том не кончится, и помог Платону, торопившемуся покинуть Сиракузы, сесть на триеру, которую уводил в Грецию спартанец Поллид. Но Дионисий тайно просил Поллида убить Платона во время плавания или же, по крайней мере, продать его в рабство, ибо философ, дескать, не понесет от этого никакого ущерба – человек справедливый, он останется по-прежнему счастлив, даже превратившись в раба! И, как рассказывают, Поллид привез Платона на Эгину и продал его[3], воспользовавшись тем, что жители этого острова воевали с Афинами и приняли постановление продавать в рабство любого из афинян, который будет захвачен на их земле.

Этот случай, однако, не уменьшил уважения и доверия Дионисия к Диону. Тиранн посылал его с важнейшими поручениями – среди которых было и посольство в Карфаген – и настолько отличал среди всех прочих своих приближенных, что от него лишь одного, пожалуй, соглашался выслушивать откровенные речи, и Дион безбоязненно говорил все, что думал. Однажды, например, зашел разговор о Гелоне, и все наперебой издевались над его правлением, а сам Дионисий заметил, что Гелон стал посмешищем для всей Сицилии. Остальные прикинулись будто восхищены этой шуткой[4], но Дион возмущенно воскликнул: "А ведь властью своей ты обязан Гелону – только ради него тебе и поверили! Зато ради тебя уже никому доверия не будет!" И верно, сколько можно судить, Гелон показал единовластие в его самом прекрасном облике, а Дионисий – в самом гнусном и позорном.

6. От локрийки у Дионисия было трое детей, от Аристомахи – четверо, и из них две дочери, Софросина и Арета. Софросину он выдал за сына своего Дионисия, Арету – за Феорида, своего брата. После смерти Феорида Арету взял в жены Дион, приходившийся ей дядей.

Когда Дионисий захворал и, по общему суждению, был уже безнадежен, Дион всячески пытался переговорить с ним о детях от Аристомахи, но врачи, в надежде угодить уже назначенному преемнику, помешали Диону исполнить свое намерение. А по словам Тимея, когда Дионисий попросил снотворного, они дали ему такого зелья, которое лишило его чувств и сразу вслед за сном привело смерть. И однако в первом же собрании друзей, которое созвал Дионисий Младший, Дион говорил о неотложных делах настолько дальновидно и смело, что все прочие показались против него несмышлеными мальчишками и рабами тираннии, подло и трусливо подающими лишь такие советы, какие должны были прийтись во вкусу юному государю. Все они со страхом твердили об опасности, которою грозит Сиракузской тираннии Карфаген, и потому были особенно по-

ражены, услышав, что Дион вызывается, в случае если Дионисий желает мира, немедленно плыть в Африку и прекратить войну на самых выгодных условиях, какие удастся выговорить: если же он хочет воевать, – Дион изъявлял готовность выставить и содержать на собственный счет пятьдесят триер.

7. Дионисий до крайности изумился его щедрости и горячо благодарил за усердие и преданность. Но остальные, считая, что слава Диона покрывает их позором, а его сила – повергает в ничтожество, сразу же не щадя слов и убеждений, принялись чернить его в глазах молодого тиранна: они внушали Дионисию, что, действуя на море, Дион мало-помалу лишит его власти и, с помощью флота, передаст главенство детям Аристомахи – своим племянникам. Самой важной и очевидной причиной злобы и ненависти к Диону был его образ жизни – замкнутый и столь несхожий с нравами и привычками окружающих. В самом деле, остальные посредством лести и всевозможных удовольствий с самого начала сумели сделаться необходимыми спутниками и ближайшими приятелями молодого и плохо воспитанного властелина и постоянно придумывали для него все новые любовные потехи и беспутные увеселения. Благодаря этому тиранния, словно железо в огне, размягчилась, стала казаться подданным кроткой и как будто утратила свою непомерную бесчеловечность – однако же не по доброте правителя, а по его легкомыслию. Вот почему распущенность юноши, заходя постепенно все дальше и дальше, расплавила и сокрушила те адамантовые[5] цепи, которыми Дионисий Старший, по его словам, скрепил единодержавие, прежде чем передать его своему наследнику. Передают, например, что однажды новый тиранн пьянствовал девяносто дней подряд, и во все эти дни двор был заперт и неприступен ни для серьезных людей, ни для разумных речей – там царили хмель, смех, песни, пляски и мерзкое шутовство.

8. Вполне понятно, что Дион, решительно сторонившийся развлечений и юношеских забав, вызывал к себе неприязнь, и врагам легко было клеветать на него, называя его лучшие качества именами пороков: степенность – высокомерием, прямоту – самонадеянностью. Его увещания звучали обвинениями, неучастие в грязных проделках казалось знаком презрения к другим. Нельзя, правда, отрицать, что и от природы он был не чужд гордыни, отличался резкостью, необщительностью, неприветливостью. Общество его было тягостно не только для молодого человека, чей слух уже успела развратить лесть: многие из близких и верных друзей Диона, любивших благородную цельность его нрава, порицали его, однако, за излишнюю суровость и резкость обращения с теми, кто имел в нем нужду, – суровость, в государственном муже недопустимую. Недаром и Платон впоследствии, словно провидя будущее, писал Диону[6], чтобы он, насколько возможно, остерегался самонадеянности, этой подруги одиночества. И хотя в тогдашних обстоятельствах Дион пользовался величайшим влиянием и считался единственным, или, во всяком случае, первым среди тех, кто способен поддержать и спасти колеблющуюся тираннию, – все же он ясно сознавал, что высокое свое место занимает не по благосклонности тиранна, но вопреки его воле, вынужденной смирять себя перед соображениями пользы.

9. Причиною всего зла Дион полагал невежество тиранна и потому старался обратить его к занятиям, достойным свободного человека, приохотить к наукам

и книгам, воздействующим на душевный облик, чтобы он перестал бояться нравственно совершенного и приучился находить удовольствие в добре и красоте. По природным своим задаткам Дионисий был не худшим из тираннов, но отец, опасаясь, как бы из общения с разумными людьми он и сам не набрался ума, не приобрел уверенности в своих силах и не лишил его власти, держал сына дома, взаперти, и от одиночества, не зная никаких иных занятий, он, как рассказывают, мастерил повозки, подставки для светильников, деревянные кресла и столы.

Старший Дионисий и вообще был до такой степени недоверчив и подозрителен, так тщательно остерегался злоумышленников, что даже ножу цирюльника не позволял коснуться своей головы – ему опаляли волосы тлеющим углем. Ни брат, ни сын не входили к нему в комнату в своем платье, но каждый должен был сперва переодеться в присутствии караульных, чтобы те удостоверились, не спрятано ли где оружие. Когда брат Дионисия, Лептин, описывая ему какуюто местность, взял у одного из телохранителей копье и древком стал чертить на земле, тиранн жестоко разгневался на брата, а воина, который дал копье, приказал умертвить. Он не раз объяснял, отчего опасается друзей: они, дескать, люди разумные, а потому предпочитают сами быть тираннами, нежели подчиняться власти тиранна. Некоему Марсию, которого он сам же возвысил и назначил начальником в войске, привиделось во сне, будто он убивает Дионисия, и тиранн немедленно его казнил, рассудив, что это ночное видение вызвано дневными раздумьями и помыслами. Вот как труслив был человек, негодовавший, когда Платон не пожелал признать его самым мужественным на свете, и от трусости душа его была полна неисчислимых пороков.

10. Считая нрав его сына, как уже сказано, поврежденным и обезображенным невежеством, Дион убеждал молодого человека обратиться к наукам и настоятельнейшим образом просить первого из философов приехать в Сицилию, а затем отдать себя в его руки, чтобы образовать свой характер в согласии с учением о нравственном совершенстве и применительно к тому самому божественному и самому прекрасному образцу, следуя которому все сущее из неупорядоченного хаоса становится стройным мирозданием, и даровать величайшее счастие не только себе, но и своим согражданам: приказы, которые они теперь исполняют без всякой охоты, по необходимости, он превратит в разумные, справедливые и благожелательные отеческие указания и сам из тиранна сделается царем. Ибо адамантовые цепи – не страх и насилие, не громадный флот и несметная свита варваров-телохранителей, как утверждал его отец, но любовь, доброжелательство и преданность, внушенные нравственным совершенством и справедливостью, и эти цепи, хоть они и мягче тех, тугих и постылых, охраняют власть крепче, надежнее. И наконец, помимо всего прочего, нет ни честолюбия, ни величия в правителе, который облекает свое тело в роскошные одежды, щеголяет пышным убранством своего жилища, но в обхождении и в речах нисколько не выше любого из подвластных и отнюдь не заботится о том, чтобы достойно, истинно по-царски украсить дворец своей души.

11. Дион до тех пор повторял эти увещания, примешивая к ним иные из мыслей самого Платона, пока Дионисия не охватило жгучее желание увидеть Пла-

тона и услышать его речи. И тут в Афины полетели письма Дионисия, сопровождавшиеся просьбами не только Диона, но и италийских пифагорейцев, которые призывали философа приехать в Сиракузы, чтобы принять на себя заботу о молодой душе, не выдерживающей бремени громадной власти, и здравыми убеждениями оберечь ее от пагубных ошибок. И вот Платон, которому, как пишет он сам[7], становилось до крайности совестно при мысли, что его сочтут мастером лишь гладко говорить, но к любому делу совершенно безучастным, принял приглашение – в надежде, что, освободив от недуга одного, он исцелит всю тяжко больную Сицилию, ибо этот один – как бы голова целого острова.

Но противники Диона, страшась возможной перемены в Дионисии, убедили последнего вернуть из изгнания Филиста, человека и образованного и отлично знакомого с нравами тирании, – уговорили ради того, чтобы приобрести в нем средство для борьбы с Платоном и философией. Филист с самого начала выказал себя ревностнейшим приверженцем тираннического правления и долгое время командовал сторожевым отрядом, занимавшим сиракузскую крепость. Ходил слух, будто он состоял в близких отношениях с матерью Дионисия Старшего и тиранну это было известно. Но когда Лептин, приживший с чужою женой, которую он соблазнил и увел от мужа, двух дочерей, выдал одну из них за Филиста, не спросившись и не предупредив Дионисия, тиранн рассвирепел и жену Лептина заковал в кандалы и бросил в тюрьму, а Филиста изгнал из Сицилии. Филист поселился у каких-то своих гостеприимцев на берегу Адриатики и, по всей видимости, там, на досуге, составил основную часть своей "Истории". При жизни старшего из Дионисиев он так и не вернулся в отечество, но после его кончины ненависть к Диону, как сказано выше, возвратила Филиста, в котором остальные придворные видели сильного единомышленника и твердую опору тираннии.

12. И верно, сразу по возвращении он выступил как надежный защитник тираннии, а на Диона в это же время посыпались градом доносы, будто он вступил в сго̀вор с Феодотом и Гераклидом, замышляя низвергнуть существующую власть. В самом деле, сколько можно судить, он надеялся с помощью и через посредство Платона отнять у тираннии ее деспотическую и ничем не ограниченную силу и сделать Дионисия умеренным и уважающим законы властителем, однако в случае, если бы тиранн оказал сопротивление и не смирился, Дион решил низложить его и вернуть Сиракузам демократическое устройство – не потому, чтобы он вообще одобрял демократию, но отдавая ей безусловное предпочтение перед тираннией, коль скоро здравого аристократического правления достигнуть не удается.

13. При таком-то положении дел и приехал в Сицилию Платон и поначалу был встречен с небывалым почетом и дружелюбием. И пышно украшенная царская колесница ждала его на пристани, когда он сошел с корабля, и жертву богам принес тиранн в ознаменование великой удачи, выпавшей на долю его государства. Умеренность пиршеств, скромное убранство двора, мягкость самого Дионисия в любом из дел, какие он разбирал, внушали гражданам живейшую надежду на счастливые перемены. Всеми овладело горячее рвение к наукам и философии, дворец тиранна, как передают, был засыпан пылью[8] из-за множе-

ства любителей геометрии. Немного дней спустя во дворце справляли старинное празднество. Когда глашатай, по заведенному обычаю, начал молитву о долговечности и неколебимости тираннии, Дионисий, который стоял с ним рядом, воскликнул: "Долго ли ты еще будешь нас проклинать?!" Это чрезвычайно огорчило Филиста и его друзей, которые поняли, что время и привычка сделают неодолимой силу Платона, если уже теперь, за такой короткий срок, он сумел произвести столь разительную перемену в мыслях молодого человека.

14. Теперь враги бранили Диона уже не порознь и не втихомолку, но все хором и совершенно открыто твердили, что Платоновыми речами он, не таясь, околдовывает и отравляет Дионисия, чтобы, заставив того добровольно отречься и отступиться от власти, передать ее сыновьям Аристомахи, своим племянникам. Иные прикидывались возмущенными, вспоминая, как в былые годы афиняне приплыли в Сицилию с огромными морскими и сухопутными силами, но погибли, сгинули, так и не взяв Сиракузы, – а тут, дескать, через одного-единственного софиста сокрушают тираннию Дионисия, уговоривши его расстаться с десятью тысячами личной охраны, бросить четыреста триер, десять тысяч конницы и искать неизреченного блага в Академии, счастья – в занятиях геометрией, а то счастье, что заключается в наслаждениях, власти и богатстве, уступить Диону и Дионовым племянникам!

Следствием этих нападок были сперва подозрения, а потому нарастающая озлобленность и прямой разлад, и как раз тогда Дионисию тайно передали письмо Диона карфагенским властям, в котором он советовал, если они решат искать мира с Дионисием, не начинать переговоров без его, Диона, посредства, ибо с его помощью они безошибочно достигнут всех намеченных целей. Прочтя письмо Филисту и спросив его совета, тиранн, как рассказывает Тимей, обманул бдительность Диона ложным примирением. Объявив, что все прежние недоразумения забыты, он под каким-то незначащим предлогом увел Диона, совсем одного, на берег моря, к подножью холма, на котором стоит крепость, и здесь, показав письмо, обвинил его в преступном сговоре с карфагенянами. Дион стал было оправдываться, но тиранн отказался слушать и распорядился немедленно бросить его в лодку, перевезти через пролив и высадить в Италии.

15. Распоряжение это было исполнено, и все считали его свирепым и бесчеловечным, так что даже дом тиранна погрузился в скорбь – из-за женщин, – а город бурлил, ожидая, что падение Диона и всеобщее недоверие к тиранну вызовут беспорядки, которые быстро приведут к восстанию и государственному перевороту. Дионисий испугался и принялся успокаивать друзей и женщин, заверяя, будто не изгнал Диона, а просто отправил его за границу, чтобы в раздражении, вызванном его присутствием и самонадеянностью, не оказаться вынужденным обойтись с ним более круто. Родичам Диона он дал два корабля и разрешил доставить изгнаннику в Пелопоннес его вещи и рабов по их собственному выбору и усмотрению. Дион владел большим имуществом и мало чем уступал самому тиранну в пышности домашнего убранства, которое ему и перевезли целиком. К этому присоединились щедрые и многочисленные подарки, посланные супругою, сестрой и друзьями, так что богатство его сделалось известно в Греции и по благосостоянию изгнанника судили о могуществе тираннии.

16. Платона Дионисий сразу же переселил в крепость и, под предлогом гостеприимства и особого расположения, окружил его почетною стражей, чтобы философ не уехал вслед за Дионом и не выступил свидетелем учиненного над ним насилия. Время и постоянное общение приучило Дионисия терпеть беседы и речи Платона, как привыкает дикий зверь к прикосновению человеческой руки. Мало того, он проникся к своему учителю любовью тиранна и, требуя, чтобы и Платон любил одного лишь его и восхищался им больше всех на свете, был готов отдать философу всю свою власть – лишь бы только дружбе Диона он предпочел его дружбу. Для Платона, однако, эта бешеная страсть была настоящим бедствием, ибо Дионисий, подобно всем, без ума влюбленным, мучился ревностью и то ссорился с Платоном, то мирился с ним и умолял о прощении, горел желанием слушать его и изучать философию – и не был глух к уговорам тех, кто старался отвратить его от этих занятий, твердя, что они действуют на него пагубно. В это время началась какая-то война, и Дионисий отправил Платона домой, пообещав к весне возвратить Диона. Слова своего он не сдержал, но доходы с имений посылал Диону исправно и просил у Платона прощения и отсрочки до конца войны: как только будет заключен мир, он вернет Диона незамедлительно, а до тех пор пусть изгнанник хранит спокойствие, не замышляет никаких беспорядков и не чернит его в глазах греков.

17. Пытаясь исполнить просьбу Дионисия, Платон обратил Диона к занятиям философией и словно приковал его к Академии. В Афинах Дион жил у одного из своих знакомцев по имени Каллипп, а для отдыха и развлечений купил за городом усадьбу. Впоследствии, перед отплытием в Сицилию, он подарил это имение Спевсиппу, с которым среди афинских своих друзей сошелся особенно близко и коротко, ибо Платон рассчитывал, что общество человека любезного, мастера удачно и вовремя пошутить, смягчит характер Диона. Именно этими качествами и обладал Спевсипп – недаром Тимон в "Силлах" называет его замечательным остроумцем. Когда Платон готовил к состязаниям хор мальчиков, Дион обучал хоревтов и принял на себя все расходы, и Платон не препятствовал ему обнаруживать перед афинянами свою честолюбивую щедрость, потому что она скорее доставляла расположение народа Диону, нежели славу – ему самому.

Дион посещал и другие города, участвовал в торжественных празднествах и собраниях, сводил знакомства с лучшими и наиболее искушенными в государственных делах людьми, и в поведении его не было и следа грубости, тираннических замашек или изнеженности, напротив, он блистал скромностью, воздержностью, мужеством и прекрасными познаниями в науках и философии. Везде поэтому он приобретал благосклонность и вызывал восхищение греков, и многие города оказывали ему почести и выносили особые постановления, прославляя его достоинства. Лакедемоняне даже сделали его полноправным гражданином Спарты, пренебрегши гневом Дионисия, хотя как раз в ту пору тиранн был их верным и преданным союзником в борьбе с фиванцами.

Рассказывают, что однажды Диона пригласил к себе мегарянин Птеодор. По-видимому, это был один из самых богатых и влиятельных людей в Мегарах. Видя, что у дверей его стоит целая толпа и что к хозяину, обремененному и перегруженному делами, не подступиться, Дион обернулся к друзьям, которые не-

годовали и громко возмущались, и сказал им: "Вправе ли мы порицать этого человека? Разве не то же самое творилось и у нас в доме, пока мы были в Сиракузах?"

18. С течением времени Дионисий начал завидовать любви греков к Диону и бояться ее, а потому прекратил посылать ему его доходы и передал имущество изгнанника своим управляющим. А чтобы как-то утишить дурную молву, которая пошла о нем среди философов из-за Платона, он собрал вокруг себя множество людей, пользовавшихся славою ученых. Стремясь всех превзойти и одолеть в искусстве спора, Дионисий был вынужден вспоминать то, что краем уха слышал от Платона, но повторял слова учителя без толку и невпопад. Им снова овладела тоска по Платону, и он корил себя за то, что не извлек всей возможной пользы из его пребывания в Сиракузах и часто пропускал беседы, которые были для него, Дионисия, столь важны и полезны. А так как это был тиранн, безудержный во всех своих желаниях и слепо следующий любому из своих порывов, он решил вернуть Платона во что бы то ни стало и, пробуя все средства подряд, уговорил пифагорейца Архита выступить за него поручителем и пригласить Платона в Сицилию. (Дело в том, что первое их знакомство состоялось через Архита.) Архит послал к Платону Архедама. Одновременно Дионисий отправил в Афины корабли и своих приближенных, которым наказано было умолить и привезти Платона. Сам Дионисий написал философу ясно и определенно, что если он не согласится приехать в Сицилию, никакого снисхождения Диону не будет, если же согласится – изгнанник будет восстановлен во всех правах. К самому Диону пришли письма от сестры и супруги с настоятельными увещаниями убедить Платона, чтобы он уступил Дионисию и не давал ему повода к новым жестокостям. Таким-то вот образом, пишет Платон[9], он в третий раз оказался на берегу Сицилийского пролива, и

Снова обратной дорогой его на Харибду помчало.

19. Его приезд исполнил великою радостью Дионисия и новыми надеждами всю Сицилию, которая молилась и прилагала все усилия к тому, чтобы Платон одержал верх над Филистом и философия над тираннией. Большую поддержку оказывали ему женщины[10] во дворце тиранна, и сам Дионисий почтил Платона неслыханным доверием, каким не пользовался больше никто: философ входил к нему, не подвергаясь обыску. Дионисий неоднократно делал своему гостю богатые денежные подарки, но Платон не принимал ничего, и Аристипп из Кирены, который жил тогда в Сиракузах, заметил: "Право же, щедрость никогда не разорит Дионисия: нам, которые просят много, он дает мало, а Платону, который ничего не берет, – много".

После первых приветствий и любезностей Платон завел речь о Дионе, и сперва тиранн все откладывал этот разговор, а затем пошли споры и упреки, о которых, однако, никто не догадывался, ибо Дионисий старательно скрывал эти разногласия и всевозможными угождениями и почестями пытался заглушить любовь философа к Диону. Платон с самого начала разгадал его вероломство и лицемерие, но терпел, не выдавая себя ни словом, ни взглядом. В то время как оба настороженно и недоверчиво следили друг за другом в полной уверенности,

что никто об этом не подозревает, Геликон Кизикский, один из друзей Платона, предсказал солнечное затмение[11]. Предсказание его сбылось, и тиранн, изумившись, подарил Геликону талант серебра. Тогда Аристипп шутливо объявил остальным философам, что и он, дескать, может предсказать кое-что неожиданное. Все стали упрашивать его открыть свое пророчество, и он возвестил: "Предрекаю вам, что в скором времени Платон и Дионисий станут врагами!" В конце концов, Дионисий пустил с торгов имущество Диона, а вырученные деньги оставил себе, Платона же, до тех пор жившего в саду подле дворца, поселил среди наемников, которые уже давно его ненавидели и хотели убить за то, что он убеждал Дионисия отказаться от тираннической власти и распустить телохранителей.

20. Об угрозе, которая нависла над Платоном, узнает Архит и, немедля снарядив тридцативесельный корабль, отправляет к Дионисию посольство с требованием отпустить Платона к нему и напоминанием, что философ приплыл в Сиракузы лишь после того, как он, Архит, поручился за его безопасность. Пытаясь оправдаться и скрыть свою вражду, тиранн давал пир за пиром в честь отъезжающего и осыпал его всевозможными знаками внимания, но однажды не вытерпел и спросил: "Что же, Платон, ты, верно, много всяких ужасов нарасскажешь об нас своим друзьям-философам?" – "Помилуй, навряд ли Академия способна ощутить такую нужду в темах для разговора, чтобы кто-нибудь стал вспоминать о тебе", – возразил Платон, улыбнувшись. Вот как, судя по сообщениям, писателей, проводил Платона Дионисий, но сам Платон рассказывает[12] об этом несколько иначе.

21. Уже и эти события повергали Диона в ярость и негодование, а вскоре он проникся непримиримой враждою к Дионисию – когда узнал о судьбе своей жены. (О супруге Диона намеками говорит и Платон в письме Дионисию[13]). Дело происходило следующим образом. Отпуская Платона в Грецию в первый раз, Дионисий тайно поручил ему выспросить у Диона, не будет ли он возражать и препятствовать, если его жену выдадут за другого: ходила молва – истинная или пущенная врагами Диона, неизвестно, – будто брак этот был Диону не по сердцу и он не ладил с женою. Когда Платон приехал в Афины и переговорил с Дионом, он написал тиранну письмо, во всем остальном ясное и понятное, но об этом деле выразился так, чтобы никто, кроме Дионисия, понять не мог. Он беседовал, писал Платон, об известном Дионисию предмете, и совершенно очевидно, что Дион будет чрезвычайно раздражен, если Дионисий исполнит свой план. В ту пору еще было много надежд на примирение, и тиранн не внес в жизнь сестры никаких перемен, но оставил ее по-прежнему вдвоем с младенцем, которого она родила от Диона. Но теперь, откинув какую бы то ни было мысль о примирении и враждебно расставшись с Платоном, он отдает Арету, вопреки ее воле, одному из своих друзей, Тимократу, хотя мог бы вспомнить о милосердии, которое в подобном случае обнаружил Дионисий Старший, и поступить по примеру отца.

У старшего из Дионисиев, как рассказывают, тоже был шурин, который сделался его врагом; звали его Поликсен, и он был женат на сестре тиранна Тесте. В страхе перед шурином Поликсен бежал из Сицилии. Дионисий велел привести

к себе сестру и обвинил ее в том, что она знала о бегстве мужа, но не донесла ему, Дионисию. А Теста бесстрашно и решительно отвечала: "Слишком низко ты обо мне судишь Дионисий! Не такая уж я скверная и малодушная, чтобы, зная заранее о бегстве мужа, не взойти вместе с ним на корабль и не разделить его участь! Нет, я ничего не знала. Ибо несравненно лучше бы мне называться супругой изгнанника Поликсена, нежели сестрою тиранна Дионисия!" Говорят, что тиранн был восхищен смелой речью Тесты. Доблестью этой женщины восхищались и сиракузяне – настолько, что даже после крушения тираннии продолжали оказывать ей царские почести, а когда Теста умерла, за погребальным ложем шел весь город. Отступление, которое я здесь себе позволил, отнюдь небесполезно, а потому оправдано.

22. Теперь все помыслы Диона были устремлены к войне. Сам Платон, который чтил узы гостеприимства, связывавшие его с Дионисием, и, кроме того, был уже слишком стар, уклонился от участия в его планах, но Спевсипп и остальные друзья были заодно с Дионом и призывали его освободить Сицилию, простирающую к нему руки и с нетерпением его ожидающую. Когда Платон был в Сиракузах, Спевсипп, по-видимому, много вращался среди граждан, выведывая настроение умов. Сперва он опасался откровенных разговоров, подозревая, что они подстроены тиранном, но потом поверил искренности своих собеседников, ибо у всех на устах было одно – все звали и молили Диона вернуться, пусть даже без единого корабля, без пехоты и конницы, на утлой лодчонке, только бы самого себя и свое имя отдал он сицилийцам для борьбы с Дионисием! Спевсипп рассказывал об этом Диону, и тот, утвердившись в своем решении, но старательно скрывая его от посторонних, принялся тайно, через подставных лиц, набирать наемников. Ему помогали и многие из государственных людей и философов, как, например, Эвдем Кипрский, на смерть которого Аристотель написал "Разговор о душе"[14], и Тимонид Левкадский. Свели с Дионом и фессалийца Мильта, прорицателя, участника бесед и занятий в Академии. Но из сиракузян, изгнанных Дионисием, которых было не меньше тысячи, к Диону примкнули лишь двадцать пять человек, все прочие малодушно отступились.

Исходною позицией избрали остров Закинф, куда и съехались воины. Число их не превышало восьмисот, но все это были люди, испытанные во многих и трудных походах, отлично закаленные, не знавшие себе равных в отваге и воинском опыте и способные воспламенить и вовлечь в дело великое множество единомышленников, которых Дион рассчитывал найти в Сицилии.

23. Узнав, что их ведут против Дионисия, наемники сперва испугались и дружно кляли Диона, крича, что лишь в исступлении и неистовстве гнева или же вконец отчаявшись мог он пуститься в такое безнадежное предприятие. Негодовали они и на своих начальников и вербовщиков, которые не сказали им заранее, с кем они будут воевать. Но когда Дион, обратившись к ним с речью, описал, как гнила и немощна тиранния, и заверил их, что везет в Сицилию не воинов, а скорее начальников для сиракузян и других сицилийцев, уже давно готовых взбунтоваться, когда после Диона перед ними выступил Алкимен, самый знаменитый и знатный из ахейцев, который также был участником похода, – они смирились и успокоились.

Была середина лета, на море дули этесии[15], ночью светила полная луна. Приготовив щедрую жертву Аполлону, Дион и все его наемники в полном вооружении торжественным шествием двинулись в храм. После жертвоприношения он задал на закинфском ристалище пир, и воины, дивясь великолепию серебряных и золотых чаш и столов, великолепию, превосходившему всякое представление о богатстве частного лица, размышляли про себя, что человек уже в летах и владелец огромного состояния едва ли решился бы на такой опасный шаг, если бы не имел твердой надежды на успех и не полагался на друзей, которые на месте окажут ему самую действенную и сильную поддержку.

24. Когда были совершены возлияния и закончены предписанные обычаем молитвы, вдруг затмилась луна[16]. Диона, который был знаком с круговоротами затмений и понимал, что земля может заслонить свет солнца и тень тогда падает на луну, – Диона, повторяю, это нисколько не изумило, но воины были встревожены и пали духом. Тогда прорицатель Мильт, выйдя на средину, призвал их мужаться и уповать на все самое лучшее, ибо божество возвещает затмение чего-то ярко блистающего ныне. А что блистает ярче тираннии Дионисия? Ее-то блеск они и угасят, едва ступивши на сицилийскую землю! Это Мильт объявил во всеуслышание, но в узком кругу предупреждал Диона и его друзей, что опасается, как бы дело их, благополучно достигнув цели, затем, после краткого процветания, не погибло. Страхи эти внушил прорицателю рой пчел, который видели над кормою Дионова корабля.

Говорят, что и Дионисию божество явило много удивительных знамений. Орел вырвал из рук телохранителя дротик, поднял его высоко в воздух, а потом бросил в пучину. В течение одного дня вода в море у подножия крепости была пресной и годной для питья, в этом убеждался каждый, кто ее ни пробовал. На скотном дворе у тиранна свинья принесла поросят, вполне обыкновенных с виду, но без ушей. Прорицатели объявили, что это предвещает неповиновение и мятеж – граждане не станут больше слушаться приказов тиранна. Пресная вода в море, толковали они далее, означает, что печальные и тягостные обстоятельства переменятся для сиракузян к лучшему. Орел – слуга Зевса, копье – символ власти и господства, а стало быть, величайший из богов желает исчезновения и гибели тираннии. Об этом сообщает Феопомп.

25. Воины разместились на двух торговых кораблях, следом за которыми шло одно небольшое судно и два тридцативесельных. Помимо того оружия, какое имели при себе солдаты, Дион вез две тысячи щитов и много стрел и копий; погрузили на борт и обильный запас продовольствия, чтобы ни в чем не нуждаться во время пути, который предстояло проделать от начала до конца под парусами, вдали от суши[17], ибо у берегов Япигии, как стало известно, их подстерегал целый флот во главе с Филистом. Двенадцать дней они плыли под легким и слабым ветром и на тринадцатый оказались в виду Пахина – южной оконечности Сицилии. Кормчий Прот советовал поспешить с высадкой. В противном случае, говорил он, если их унесет от земли или же они минуют мыс по собственной воле, придется провести в открытом море много дней и ночей, дожидаясь нечастого в летнюю пору южного ветра. Но Дион не решился высаживаться в такой близости от неприятеля и желая выбрать место подальше, прошел мимо

Пахина. И почти сразу же задул резкий ветер с севера, развел высокую волну и погнал корабли прочь от Сицилии, а там и Арктур[18] появился на небосклоне, и началась страшная буря с громом, с молнией, с проливным дождем. Моряки были в смятении и уже не могли понять куда плывут, как вдруг убедились, что валы мчат суда к Керкине, лежащей вблизи Африки, – к той именно части острова, где берег особенно крут и обрывист. Еще немного – и их бы выбросило на камни и разбило о скалы, но, налегая из последних сил на багры, они все же пронеслись мимо. Наконец, буря улеглась, и, встретившись с каким-то кораблем, они узнали, что находятся невдалеке от так называемых Голов Большого Сирта[19]. На море опустилась полная тишь, и войско охватили тревога и уныние, но внезапно с суши потянул ветерок. Они не ждали южного ветра и не хотели верить счастливой перемене, однако ветер крепчал, набирал силу, и, поставив все паруса, какие у них были, помолившись богам, они пустились напрямик от африканского берега к сицилийскому. Плавание было легким и быстрым, и на пятый день они бросили якоря подле Минои, небольшого городка в той половине Сицилии, что была под властью Карфагена.

По случайности там оказался в ту пору карфагенский военачальник Синал, гостеприимец и друг Диона. Ничего не зная ни о целях похода, ни о том, кто его возглавляет, он попытался воспрепятствовать высадке. С оружием в руках воины устремились вперед и, хотя никого не убили – таково было распоряжение Диона, дорожившего своею дружбой с карфагенянином, – на плечах бегущих ворвались в город и заняли его. Когда же начальники встретились и обменялись приветствиями, Дион возвратил Синалу город, которому не было причинено ни малейшего ущерба, а Синал оказал воинам радушный прием и постарался снабдить Диона всем, чего ему не доставало.

26. Больше всего бодрости придало солдатам Диона одно – чисто случайное обстоятельство: Дионисия в Сиракузах не было. Незадолго до того он отплыл с восемьюдесятью кораблями в Италию. Вот почему, хотя Дион убеждал своих людей, измученных трудным путешествием, отдохнуть подольше, они не соглашались и, боясь упустить счастливый случай, требовали, чтобы он вел их на Сиракузы. Итак, сложив в Миное запасное оружие и лишний груз и взявши с Синала слово отправить все к нему, когда настанет срок, Дион двинулся к Сиракузам. В пути к нему присоединились сначала двести всадников из числа граждан Акраганта, обитавших близ Экнома, а затем жители Гелы.

Молва о случившемся быстро достигла Сиракуз, и Тимократ, за которого Дионисий выдал супругу Диона и который возглавлял оставшихся в городе друзей и сторонников тиранна, поспешно отправил к нему гонца с письмом, а сам зорко следил за любым движением среди сиракузян, ибо весь город уже готов был подняться и лишь из страха и неуверенности в успехе хранил спокойствие. Но с посланцем Тимократа приключилась удивительная история. Благополучно переправившись в Италию и миновав на пути в Кавлонию, к Дионисию, землю регийцев, он повстречался с каким-то своим приятелем, который нес тушу только что заколотого жертвенного животного. Сиракузянин взял у него кусок мяса и поспешил дальше. Он шел весь день и еще добрую часть ночи, пока усталость не заставила его хоть немного вздремнуть, и, свернув с дороги в лес, он лег, как

был – не снимая платья и обуви. Но мясной дух приманил волка, зверь схватил мясо, привязанное к сумке, и убежал, вместе с добычею унося и сумку, и письмо которое в ней было. Когда же гонец проснулся и обнаружил пропажу и, сколько ни блуждал по лесу, сколько ни искал – ничего не нашел, он решил без письма на глаза тиранну не показываться, но лучше скрыться совсем (27). Вот как вышло, что Дионисий узнал о войне в Сицилии слишком поздно и из вторых рук.

Дион между тем подвигался вперед. К нему примкнула Камарина, а затем стали стекаться во множестве и сиракузские граждане из деревень, восставшие против тиранна. Среди леонтинских и кампанских воинов, которые под начальством Тимократа охраняли Эпиполы, Диону удалось распространить ложный слух, будто в первую очередь он нападет на их города, и наемники, оставив Тимократа, бросились на помощь к своим. Когда эта весть дошла до Диона, разбившего лагерь подле города Акры, он, не дожидаясь утра, поднял воинов и вышел к реке Анапу всего в десяти стадиях от Сиракуз. На берегу он сделал привал и, помолившись восходящему Солнцу, стал приносить жертвы. Прорицатели объявили, что боги сулят ему победу. Увидев на голове Диона венок, надетый по случаю жертвоприношения, все присутствовавшие, в едином порыве, тоже украсили себя венками. Число присоединившихся к нему в походе достигало теперь пяти тысяч. Вооружены они были скверно, чем ни попадя, но недостачу эту с лихвою восполняли пламенным воодушевлением, и когда колонна тронулась с места, все побежали следом, громко и радостно призывая друг друга сразиться за свободу.

28. Из тех сиракузян, что были внутри городских стен, самые известные и образованные вышли в белых одеждах навстречу, к воротам, а простой люд тем временем расправлялся с друзьями тиранна и хватал так называемых "осведомителей" – нечестивых, ненавистных богам людей, которые шныряли по городу, смешивались с толпой, все выспрашивали, вынюхивали, а потом доносили тиранну, каковы настроения и речи каждого из граждан. Они-то и понесли заслуженную кару первыми: кому бы в руки они ни попадались, их забивали насмерть. Тимократ не смог пробраться в крепость, под защиту сторожевого отряда, и, вскочив на коня, ускакал, повсюду на пути своего бегства сея страх и смятение, ибо нарочито преувеличивал численность и мощь врага, чтобы никто не подумал, будто он потерял город, испугавшись незначительной опасности. А тут уже и Дион показался в голове отряда. Он был в богатых, красивых доспехах, по одну руку от него шагал его брат Мегакл, по другую – афинянин Каллипп, оба в венках. За ними следом шла сотня наемников – телохранители Диона, остальных солдат, в строгом порядке, вели начальники, а сиракузяне любовались этим зрелищем, словно священным, поистине божественным шествием, и приветствовали как бы самое Свободу, возвращающуюся к ним после сорока восьми лет разлуки.

29. Дион вступил в город Теменитскими воротами и, когда звуки трубы восстановили порядок и тишину, приказал глашатаю объявить, что Дион и Мегакл явились низложить тираннию, а потому отныне сиракузяне и прочие сицилийцы от власти Дионисия свободны. Дион хотел и сам обратиться к согражданам и двинулся вверх по городу через Ахрадину, между тем как по обе стороны ули-

цы, которою он шел, сиракузяне уже ставили столы, выносили из домов мясо жертвенных животных и чаши с вином и, едва завидев Диона, бросали ему под ноги цветы и листья и провожали молитвами, точно одного из богов. Прямо под крепостью и Пятивратием[20] были солнечные часы, установленные Дионисием – высокие, хорошо отовсюду заметные. Поднявшись на них, Дион произнес речь, в которой горячо убеждал народ не расставаться с обретенною вновь свободой. А народ, ликуя, избрал обоих братьев полководцами с неограниченными полномочиями и, по их просьбе и желанию, дал им в товарищи двадцать человек, из которых половину составляли изгнанники, вернувшиеся вместе с Дионом. Прорицатели усмотрели еще одно доброе предзнаменование в том, что Дион, говоря к народу, попирал ногами дар тиранна, плод его честолюбивой расточительности. Но, с другой стороны, они опасались скорой перемены в счастливом течении дел – ведь в тот миг, когда Диона избрали полководцем, под ногами у него были часы.

Затем Дион занял Эпиполы, выпустил на волю граждан, которые были заперты в тюрьме, и возвел стену, отделившую крепость от города[21].

Дионисий прибыл в крепость морем лишь шестью днями позже, и в тот же день к Диону пришли повозки с оружием, которое он оставил у Синала. Оружие это Дион разделил среди сиракузских граждан, а прочие вооружались, как могли, но каждый рвался в бой.

30. Первым делом, испытывая Диона, Дионисий отправил послов к нему лично. Но Дион предложил тиранну обратиться ко всем гражданам – ныне свободным! – и Дионисий, через своих посланцев, повел дружелюбные речи, обещая облегчить бремя налогов и военной службы и призывать граждан в войско лишь в тех случаях, когда они сами постановят участвовать в походе. Но сиракузяне смеялись послам в лицо, а Дион объявил им, что Дионисий должен сперва отречься от власти, а потом уже пусть ведет переговоры; он же, помня об их свойстве, позаботится не только о неприкосновенности тиранна, но и об иных справедливых условиях перемирия – в полную меру своих сил. Дионисий был удовлетворен таким ответом и отправил новое посольство с просьбою, чтобы в крепость к нему явились выборные от сиракузян, с которыми он мог бы договориться – к общей выгоде и на основе взаимных уступок. Народ отрядил нескольких человек, назначенных самим Дионом, и тут же из крепости в город поползли упорные слухи будто Дионисий слагает с себя звание и власть тиранна, причем делает это скорее по собственному убеждению, нежели покоряясь требованию Диона. Но то было лишь коварное притворство, своего рода военная хитрость, направленная против сиракузян, ибо присланных к нему граждан Дионисий посадил под стражу, а на рассвете напоил наемников несмешанным вином и бросил их на приступ стены, воздвигнутой сиракузянами.

Нападение оказалось совершенно внезапным, и когда варвары[22], с бешеной отвагой, с оглушительным ревом проломив стену, ринулись на врагов, никто не посмел оказать им сопротивление, кроме солдат Диона, которые, едва заслышав шум, поспешили на выручку. Но и они не могли ничем помочь, сбитые с толку и оглушенные криками бегущих сиракузян, которые ошалело метались, прорывая и расстраивая их ряды, пока Дион, убедившись, что распоряжений его

никто не слышит, и желая на собственном примере показать, как следует действовать, не врубился в гущу варваров первым. Вокруг него сразу же загорелась ожесточенная сеча – враги узнавали его с такою же легкостью, как и свои, и под грозный боевой клич рвались отовсюду разом. Дион был уже немолод и недостаточно крепок для боя, столь напряженного и упорного, однако ж стойко выдерживал натиск нападающих, но был ранен копьем в руку, да и панцирь, поврежденный бесчисленными копьями, пробивавшими щит насквозь. едва выдерживал удары дротиков и мечей. В конце концов, и щит и панцирь раскололись, и Дион упал, но воины вырвали его из рук врагов. Оставив вместо себя начальником Тимонида, он проехал верхом через город, по пути успокаивая бегущих, поднял наемников, карауливших Ахрадину, и повел этот полный отваги и свежих сил отряд против варваров – обессиленных и уже теряющих веру в успех своего дерзкого предприятия. Ведь они рассчитывали захватить весь город с первого же натиска, но, вопреки ожиданиям, столкнулись с отличными, неутомимыми бойцами. Итак, они дрогнули и начали отходить назад, а греки, видя, что неприятель поддался, ударили с удвоенной яростью и стремительно загнали его в крепость, потеряв семьдесят четыре человека убитыми, но и врагу нанеся существенный урон. После этой блестящей победы сиракузяне дали наемникам в награду сто мин, а наемники поднесли Диону золотой венок.

31. Вскоре из крепости спустились гонцы от Дионисия и доставили Диону письма от жены и сестры, и еще одно с надписью: “Отцу от Гиппарина”. Так звали сына Диона. Правда, если верить Тимею, он носил имя Аретей, в честь своей матери, Ареты, но я полагаю, что в этом случае скорее следует положиться на Тимонида, друга и соратника Диона. Все письма, полные женских мольб, были оглашены пред сиракузянами, и лишь то, которое, по видимости, прислал Диону сын, граждане просили не вскрывать у всех на глазах, однако Дион, вопреки их настояниям, распечатал и это письмо. Оно было от Дионисия, который на словах обращался к Диону, а по существу к сиракузянам, ибо все его просьбы и оправдания были направлены лишь к тому, чтобы очернить Диона. Начиналось письмо с напоминаний, как много сам Дион сделал для тираннии в свое время и с каким усердием ей служил, далее следовали угрозы расправиться с теми, кто был ему дороже всего, – с его сестрою, сыном и супругой, и, наконец, после жалобных сетований, перемешанных со страшными заклятиями, шло предложение, которое, по мысли Дионисия, должно было подействовать на Диона всего сильнее, – предложение не уничтожать тираннию, но сделаться тиранном самому, не дарить свободы людям, которые питают к нему давнюю злобу и ненависть, но подчинить их своей власти и тем вызволить из беды друзей и родичей.

32. Казалось бы, что, слушая чтение этих писем, сиракузяне должны были восхищаться твердостью и величием духа Диона, который ради добра и справедливости отказывается внять голосу ближайшего родства, но вместо этого в них зашевелились подозрения и страхи, как бы он, смирившись пред крайнею необходимостью, не пощадил тиранна; они сразу же принялись высматривать себе иных руководителей, и в особенное возбуждение их привела весть, что возвратился Гераклид.

Этот Гераклид был изгнанник, человек искушенный в деле войны и прославившийся на посту полководца, который он занимал при обоих тираннах, но непостоянный, до крайности легкомысленный и в совместных действиях, сопряженных с властью и славой, ни малейшего доверия не заслуживавший. С Дионом он повздорил и разошелся в Пелопоннесе и решил выступить против тиранна сам, со своим собственным флотом. И вот, приплыв в Сиракузы на семи триерах и трех грузовых судах, он застает Дионисия в осаде, а граждан – в тревоге и волнениях и немедленно принимается искать расположения народа. Владея природным обаянием и даром увлекать толпу, жаждущую лести, он без труда переманивал на свою сторону сиракузян, которые терпеть не могли неуступчивости Диона, видя в ней угрюмство, губительное для государственных дел, и до такой степени обнаглели после победы, что, не до конца еще избавившись от рабства, уже сами требовали раболепных угождений.

33. Прежде всего, сойдясь по собственному почину в Собрание, они избрали Гераклида начальником флота. Но Дион выступил и с упреком заявил, что этим назначением сиракузяне уничтожают власть, которою прежде облекли его, Диона, ибо неограниченные полномочия его кончаются, коль скоро морские силы отданы под начало другого. И народ, хотя и против воли, отменил свое решение. После этого Дион позвал Гераклида к себе домой и выразил ему свое недовольство тем, что он затевает неподобающий и вредный спор из-за власти в такое время, когда город стоит на краю гибели. Снова открылось собрание, и Дион – на этот раз уже сам – назначил Гераклида начальником флота и убедил сограждан дать ему телохранителей, которых, кроме как у самого Диона, не было ни у кого. На словах Гераклид оказывал Диону полное уважение, рассыпался в благодарностях, повсюду следовал за ним с видом униженным и сокрушенным и неукоснительно исполнял его приказы, но втайне сбивал с пути и подстрекал к возмущению толпу и, в особенности, любителей перемен, и тем доставлял Диону неимоверные, неразрешимые трудности. В самом деле, советуя заключить с Дионисием перемирие и выпустить его из крепости, Дион навлекал на себя обвинение, будто хочет спасти тиранна, а продолжая осаду – чтобы не раздражать народ, – он, по общему суждению, умышленно затягивал войну с целью подольше начальствовать и держать в страхе сограждан.

34. Жил в Сиракузах некий Сосид, известный всему городу мерзавец и наглец, полную и совершенную свободу полагавший лишь в крайней распущенности языка. Составив коварный умысел против Диона, он, прежде всего, выступил в Собрании и резко обрушился на сиракузян, которые (так он кричал) не понимают, что, избавившись от безмозглого и пьяного тиранна, они посадили себе на шею нового владыку – зоркого и трезвого. Итак, заявивши себя в тот день прямым и открытым врагом Диона, он ушел с площади, а назавтра промчался по улицам города совсем нагой, с окровавленной головою и лицом, словно спасаясь от погони. Выскочив на площадь, он завопил, что наемники Диона покушались на его жизнь, и показывал рану на голове. Вокруг него быстро собралась целая толпа негодующих и возмущавшихся Дионом, который ведет себя с тираннической свирепостью и под угрозою смерти лишает граждан права свободно выражать свои мысли. Тут же открылось Собрание, наредкость бес-

порядочное и шумное но все-таки Дион смог произнести речь, в которой постарался очистить себя от обвинения и говорил, что брат Сосида – телохранитель у Дионисия и что это он надоумил клеветника посеять в городе мятеж, ибо никакой иной надежды на спасение, кроме взаимного недоверия и раздоров сиракузян, у тиранна не остается. Сосида немедленно осмотрели врачи и нашли, что рана не рубленая, а резаная, ибо удар мечом всегда оставляет глубокую вмятину посредине, а у Сосида рана поверхностная и нанесена не в один прием: вероятно, от боли он то опускал руку, то снова принимался резать. В это время подоспели несколько видных граждан и принесли в Собрание бритву. Нынче утром, рассказали они, им встретился на дороге Сосид, весь в крови, и крикнул, что спасается от наемников Диона, которые только что его ранили. Не теряя ни мгновения, они бросились догонять злодеев, но никого не поймали, зато в том месте, откуда приблизился к ним Сосид, заметили спрятанную в полом камне бритву. 35. Дело сразу же приняло дурной для Сосида оборот. Когда же к этим уликам присоединились показания рабов, сообщивших, что Сосид еще затемно вышел из дому один, захватив бритву, обвинители Диона отступились, а народ вынес Сосиду смертный приговор и примирился с Дионом.

К наемникам, однако, сиракузяне продолжали относиться с недоброжелательством, особенно возросшим после того, как на помощь Дионисию прибыл из Япигии Филист с многочисленным флотом и война в основном перешла с суши на море. Теперь граждане считали, что пехотинцы-наемники им больше не нужны, а потому должны беспрекословно подчиняться сиракузянам – морякам, чья сила в судах. Еще большим высокомерием наполнило их удачное морское сражение, в котором они разбили Филиста и затем по-варварски жестоко расправились с побежденным. Правда, по словам Эфора, Филист, когда его корабль был захвачен неприятелем, покончил с собою, но Тимонид, с самого начала участвовавший в событиях вместе с Дионом, пишет, обращаясь к философу Спевсиппу, что триера Филиста выбросилась на берег и он попал в руки сиракузян живым. Враги сорвали с него панцирь, раздели донага и всячески измывались над стариком, а потом отсекли ему голову и отдали тело мальчишкам с наказом проволочить труп через Ахрадину и бросить в каменоломни. Если же верить Тимею, над убитым надругались еще гнуснее: мальчишки зацепили труп за хромую ногу и таскали его по всему городу под злорадные насмешки сиракузян, которые вспоминали, как этот самый человек поучал Дионисия, что не бежать ему нужно от тираннии и не коня запасать для бегства, но, напротив, держаться у власти до последнего, покуда его не потащат за ногу. Впрочем Филист говорил это Дионисию не от своего имени, а пересказывая чужие слова.

36. Преданность Филиста тираннии – бесспорно, справедливый повод для нападок, но Тимей не знает в брани ни границы, ни меры, а между тем, если прямым жертвам тогдашних беззаконий, быть может, еще и простительно вымещать свой гнев даже на бесчувственных останках, то писателям, повествующим о делах прошлого, не потерпевшим от умершего никакой обиды, мало того – использующим его сочинения, таким писателям забота о собственном добром имени воспрещает глумиться или потешаться над несчастиями, от которых, по воле случая, не защищен даже самый прекрасный и достойный человек. С дру-

гой стороны, не по разуму усердствует и Эфор, восхваляющий Филиста, который при всем своем мастерстве отыскивать благовидные извинения и звучные слова для несправедливых поступков и низких нравов, при всей своей изворотливости, и сам не в силах снять с себя упрек в беспримерном преклонении перед тираннией, в том, что он постоянно превыше всего ставил и ценил роскошь тираннов, их силу, богатство и семейные связи. Нет, самое правильное и надежное – и не хвалить дел Филиста, и не глумиться над его участью.

37. После гибели Филиста Дионисий прислал к Диону новое посольство, обещая сдать крепость со всеми запасами оружия, со всеми наемниками и пятимесячным жалованием для них, при условии, что ему предоставят право свободно уехать и жить в Италии, пользуясь доходами с Гиата – так называлась большая и плодородная область в сиракузских владениях, тянувшаяся от моря в глубь острова. Дион вести переговоры отказался и предложил Дионисию обратиться со своею просьбой к сиракузянам, а сиракузяне, надеясь взять врага живым, прогнали послов, и тогда Дионисий, поручив начальство над крепостью старшему из своих сыновей, Аполлократу, дождался попутного ветра, посадил на корабли тех из своего окружения, кто был ему особенно дорог, погрузил самые ценные вещи и уплыл, обманув бдительность Гераклида. Сиракузяне громко и на все лады проклинали своего начальника флота, и, чтобы положить этому конец, Гераклид выпустил некоего Гиппона, одного из народных вожаков, который призвал народ устроить передел земли, ибо начало свободы – это равенство, а бедность для неимущих – начало рабства. Гераклид поддержал это предложение и, преодолевая упорное противодействие Диона, убедил сограждан его одобрить, а заодно – лишить наемников жалования и выбрать новых полководцев, чтобы раз и навсегда избавиться от Диона и его тяжелого нрава. Словно человек, который после долгого недуга сразу же пытается встать на ноги, сиракузяне, едва избавившись от тираннии, слишком скоро захотели действовать по примеру и подобию независимых народов и в начинаниях своих терпели неудачу за неудачей, а Диона, который, точно врач, пытался назначить городу строгие и воздержные правила поведения, – ненавидели.

38. Была средина лета, и в течение пятнадцати дней подряд неслыханной силы гром и другие зловещие знамения мешали сиракузянам назначить новых полководцев: они сходились в Собрание, но всякий раз, во власти суеверного страха, расходились ни с чем. Когда же, наконец, выдалась ясная и устойчивая погода и народные вожаки открыли голосование, случилось так, что какой-то вол, ходивший в упряжке и привычный к толпе, вдруг невесть почему разозлился на погонщика, вырвал шею из ярма и опрометью помчался к театру. Народ тут же повскакал со своих мест и бросился врассыпную, а вол, в неистовой ярости, пробежал по улицам той именно части города, которая впоследствии была захвачена врагом. На сей раз, однако, сиракузяне пренебрегли недобрым предзнаменованием и выбрали двадцать пять полководцев, в числе которых был Гераклид. Тайно подсылая своих людей к наемникам, они звали их к себе на службу и уговаривали оставить Диона, а в награду сулили не только жалование, но и право гражданства. Но те даже не удостоили их ответа; храня верность начальнику, они построились, приняли Диона под охрану своих мечей и копий и двину-

лись прочь из города, никому не чиня вреда, но жестоко кляня каждого, кто ни попадался им на пути, за неблагодарность и подлое вероломство. Тем не менее граждане, которым внушило презрение и малое число наемников и то, что они не напали первыми, собрались толпой куда более многолюдной, чем отряд Диона, и сами кинулись вперед, рассчитывая без труда одолеть их еще в пределах города и уложить на месте всех до последнего.

39. Оказавшись пред роковою необходимостью либо вступить в сражение с согражданами, либо погибнуть вместе с наемниками-чужеземцами, Дион умолял сиракузян образумиться, простирая к ним руки и указывая на стены крепости, полной врагов, следивших за тем, что творилось внизу. Но толпа была глуха к убеждениям, ибо речи своекорыстных льстецов народа возмутили весь город, как буря до дна возмущает пучину, и Дион приказал своим дать толпе отпор, однако ж ударов не наносить. И стоило солдатам с боевым кличем и бряцанием оружия сделать рывок в сторону граждан, как ни один из них не остался на месте – все опрометью понеслись по улицам, хотя никто за ними не гнался: Дион немедля повернул наемников и повел отряд к Леонтинам. Но сиракузские власти, которые сделались посмешищем даже для женщин, рвались загладить свой позор, а потому, вооружив граждан еще раз, поспешили вслед за Дионом, настигли его у переправы через какую-то реку и пустили вперед конницу с намерением завязать бой. Видя, однако, что он более не расположен с отеческой снисходительностью терпеть их наглость, но в гневе развертывает боевую линию, все обратились в бегство позорнее прежнего и, понеся незначительные потери убитыми, вернулись в город.

40. Леонтинцы приняли Диона с величайшим почетом, наемникам предложили жалование и права гражданства, а к сиракузянам отправили послов с требованием по справедливости рассчитаться с наемниками. Сиракузяне, в свою очередь, прислали посольство с обвинениями против Диона. Тогда в Леонтины собрались все союзники, и состоялся совет, на котором виновниками обиды были признаны сиракузяне. Сиракузяне, однако, уже избаловавшиеся и полные гордыни, – еще бы, ведь народ теперь никому не подчинялся, напротив, сам держал в страхе и рабской покорности своих полководцев! – сиракузяне оставили без внимания приговор союзников.

41. Вскоре к Сиракузам пришли триеры от Дионисия, который послал осажденным деньги и хлеб. Командовал судами неаполитанец Нипсий. Состоялось сражение, и сиракузяне, одержав верх и захватив четыре корабля, принадлежавших тиранну, так дико бесчинствовали по случаю победы, а по случаю безначалия выражали свое ликование в таких чудовищных попойках, что совершенно забыли об осторожности и, видя себя уже владыками крепости, потеряли и самый город. Убедившись, что весь город обуян безумием, что народ с утра до поздней ночи пьянствует под пение флейт, а из полководцев кто сам от души наслаждается этим празднеством, кто просто боится напоминать пьяным о деле и обязанностях, Нипсий как нельзя лучше воспользовался счастливым случаем и напал на укрепления. Захватив стену и пробив брешь, он выпускает в город варваров с разрешением не щадить никого и действовать как придется. Сиракузяне быстро сообразили, какая стряслась беда, но навстречу врагу поднимались мед-

ленно и с огромным трудом – слишком велико было их замешательство, ибо то, что происходило, по праву можно было назвать гибелью города: мужчин убивали, сносили стены, истошно вопивших женщин и детей угоняли в крепость. Полководцы сиракузян не могли даже собрать и выстроить своих людей, – варвары повсюду перемешались с гражданами, – и в отчаянии отказались от борьбы.

42. В таком положении находился город, и опасность уже придвигалась к Ахрадине – и мысли всех устремлялись к тому человеку, кто был их последней и единственной надеждой, но стыд за собственную неблагодарность и безрассудство не давали никому выговорить его имя. И все же нужда одолела стыд: среди союзников и всадников раздались голоса, что надо вернуть Диона и позвать из Леонтин пелопоннесцев. И едва лишь прозвучало заветное имя, как сиракузяне разразились радостными криками и слезами, молили богов, чтобы Дион явился поскорее, мечтали увидеть его снова, вспоминали его неиссякаемое мужество в грозных обстоятельствах, которое не только его самого делало неустрашимым, но и им внушало бесстрашие и уверенность в своих силах перед лицом неприятеля. Незамедлительно отряжается посольство – Археонид и Телесид от союзников, а от всадников Гелланик и еще четверо. Они скакали во весь опор и прибыли в Леонтины уже под вечер. Соскочив с коней, они бросились прямо к Диону и, обливаясь слезами, стали рассказывать о беде, постигшей сиракузян. Между тем подходили и жители Леонтин, во множестве собирались вокруг Диона и пелопоннесцы, по стремительности, с которою примчались гонцы, и по их униженным мольбам догадывавшиеся, что события приняли совершенно неожиданный оборот. Не тратя времени даром, Дион направился вместе с приехавшими в Собрание. Быстро сошелся народ, и Архонид с Геллаником, в кратких словах обрисовав леонтинцам размеры бедствия, обратились к наемникам с призывом не помнить зла и защитить сиракузян, которые уже понесли кару куда более суровую, нежели та, какую желали бы наложить на них сами обиженные.

43. Послы умолкли, и глубокая тишина объяла театр. Тогда поднялся Дион, но обильные слезы душили его и не давали говорить. Солдаты кричали ему, чтобы он не падал духом, и плакали вместе с ним. Наконец, несколько оправившись от волнения, Дион сказал: “Пелопоннесцы и союзники, я собрал вас сюда держать совет о ваших делах. О себе же в час, когда гибнут Сиракузы, мне думать не пристало: я должен их спасти, а в случае неудачи уйду, чтобы найти могилу в пламени и развалинах своего родного города. Если вы согласитесь еще и на сей раз помочь нам, самым безрассудным и несчастным из смертных, и это будет делом ваших рук, вы поднимете Сиракузы из праха! Ну, а если вы не простите сиракузянам прошлого и оставите без внимания их мольбу, пусть за всю вашу храбрость, за всю вашу былую преданность достойно воздадут вам боги. Не забывайте же Диона, который сперва не покинул вас, когда вы стали жертвою несправедливости, а потом – сограждан, когда они попали в беду”. Он еще не кончил свою речь, как наемники, с криком вскочивши с мест, уже требовали, чтобы он скорее вел их на выручку, а послы сиракузян обнимали его и целовали, и молили у богов щедрых милостей и для Диона и для его солдат. Когда шум улегся, Дион велел разойтись и готовиться к походу,

а после ужина явиться в полном вооружении сюда же, к театру: он решил выступать, не дожидаясь утра.

44. Между тем в Сиракузах полководцы Дионисия, причинив городу за день громадный ущерб и сами понеся некоторые – весьма, впрочем, незначительные – потери, к ночи отступили в крепость. Тут народные вожаки воспрянули духом и в надежде, что враги успокоятся на достигнутом, принялись уговаривать народ снова отказаться от помощи и услуг Диона и, если он подойдет со своими наемниками, не принимать их, не уступать чужакам первенства и главенства в доблести, но спасти город и свободу собственными силами. И снова к Диону отправляются послы – от полководцев с требованием повернуть назад, от всадников и видных граждан с просьбою поспешить. По этой причине он подвигался вперед то медленнее, то скорее.

Глубокой ночью, в то время как ненавистники Диона караулили ворота, чтобы преградить ему доступ в Сиракузы, Нипсий опять выслал из крепости наемников, которые были теперь и смелее и многочисленнее и, в один миг сравнявши с землею весь вал, бросились опустошать город. Теперь уже убивали не только мужчин, но и женщин и младенцев, и грабежей было немного, зато жесточайших разрушений – без числа. Отчаявшись в успехе и люто ненавидя сиракузян, сын Дионисия словно задумал похоронить издыхающую тираннию под руинами города. А чтобы упредить приближающегося с подмогою Диона, враги обратились к скорейшему средству предать все уничтожению и гибели – к огню; те здания, что стояли вблизи, они поджигали факелами и пламенем светильников, а вдаль пускали зажигательные стрелы. Сиракузяне в ужасе бежали, но на улицах беглецов настигал и беспощадно истреблял неприятель, а других, искавших спасения в домах, снова гнал наружу огонь, ибо многие строения уже пылали и рушились.

45. Главным образом это бедствие и открыло Диону ворота с единодушного одобрения граждан. Получив сперва известие, что неприятель заперся в крепости, Дион распорядился убавить шаг, но затем, уже днем, прискакали всадники и сообщили о новом захвате города, а затем появился даже кое-кто из противников Диона, и все в один голос просили поторопиться. Опасность становилась все более грозной, и Гераклид послал своего брата, а следом дядю, Феодота, умолять Диона о помощи и сказать, что неприятель уже нигде не встречает сопротивления, что Гераклид ранен, а город в самом скором времени будет разрушен и сожжен до тла.

Когда эти гонцы встретили Диона, он был еще в шестидесяти стадиях от городских ворот. Он рассказал наемникам о случившемся, призвал их напрячь все силы и повел свой отряд уже не шагом, но бегом, меж тем как все новые гонцы убеждали и увещевали его не медлить. Во главе солдат, выказавших изумительное усердие и проворство, он достигает ворот и врывается в так называемый Гекатомпед. Легковооруженных он выпускает на врага тут же, рассчитывая, что са́мый вид их вселит в сиракузян бодрость и надежду, тяжелую пехоту строит в боевой порядок, а граждан, стекающихся к нему отовсюду, разбивает на колонны и во главе каждой колонны ставит особого начальника, чтобы ударить со многих сторон разом и мгновенно повергнуть неприятеля в ужас.

46. Когда, закончив приготовления и помолившись богам, он двинулся через город навстречу противнику, среди сиракузян, видевших это, зазвучали громкие крики радости, смешивавшиеся с добрыми пожеланиями и ободряющими напутствиями; Диона они называли спасителем и богом, наемников – братьями и согражданами. И не было человека настолько себялюбивого, настолько дорожащего собственною жизнью, который бы в тот миг не тревожился об одном Дионе более, нежели обо всех остальных вместе, – Дионе, во главе войска шагавшем сквозь огонь, по улицам, залитым кровью и заваленным трупами. Немалую опасность представлял собою и вконец озверевший неприятель, который успел занять сильнейшую, почти неприступную позицию подле разрушенных укреплений, но еще опаснее было пламя, – оно расстраивало ряды наемников и преграждало им путь. Повсюду кругом полыхал огонь, пожиравший дома. Идя по дымящимся развалинам, пробегая с опасностью для жизни под градом громадных обломков, в густых тучах дыма и пыли, солдаты еще старались не растягиваться и не размыкать строя. Когда же, наконец, они сошлись с врагом грудь на грудь, вступить в рукопашную, из-за тесноты и неровности позиции, смогли лишь немногие, но сиракузяне своими криками и воодушевлением придали пелопоннесцам столько отваги, что наемники Нипсия не выстояли. Бóльшая часть их укрылась в крепости, под стенами которой происходил этот бой, а тех, что остались снаружи и рассеялись по городу, пелопоннесцы выловили и перебили. Однако ж насладиться победою на месте, отдаться радости и взаимным поздравлениям, каких заслуживал столь славный и замечательный успех, не позволили обстоятельства. Сиракузяне разошлись по домам, трудились не покладая рук всю ночь напролет и к утру погасили пожар.

47. На другой день ни единого из народных вожаков в городе уже не было – все бежали, сами осудив себя на изгнание, – и только Гераклид и Феодот явились к Диону с повинной и отдали себя на его милость, умоляя поступить с ними не так жестоко, как они ранее поступили с ним: Диону, человеку недосягаемой нравственной высоты, следует и в гневе быть выше своих обидчиков, которые прежде хотели состязаться с ним в доблести, а ныне приходят к нему затем, чтобы признать свое поражение. Так молил Гераклид, а друзья советовали Диону не щадить этих злобных завистников, но выдать Гераклида солдатам и избавить государство от своекорыстных заискиваний перед народом – от этого бешеного недуга, ничуть не менее опасного, нежели тирания! Дион, однако, внушал им, что если все прочие полководцы обучаются главным образом одному – владеть оружием и вести войны, то он в Академии долгое время постигал искусство укрощать гнев, зависть и всяческое недоброжелательство. Искусство же это обнаруживает себя не в доброте к друзьям и людям порядочным, но в умении прощать обиды и в снисходительности к провинившимся перед тобой, а потому он хочет для каждого сделать ясным, что превосходит Гераклида не столько силою или умом, сколько кротостью и справедливостью. Истинное превосходство заключено единственно лишь в этих качествах, ибо славою военных подвигов неизменно приходится делиться – если не с людьми, то с Судьбой. Если Гераклид вероломен и порочен из зависти, это отнюдь не значит, что и Диону следует пятнать свою нравственную чистоту, уступая гневу и запальчивости.

Верно, законом установлено, что мстить обидчику справедливее, чем наносить обиду первым, но по природе вещей и то и другое – следствие одной и той же слабости. А человеческая порочность, хотя и упорна, но не столь уже безнадежно неукротима, чтобы не превозмочь ее милостью и частными благодеяниями.

48. Рассуждая подобным образом, Дион простил Гераклида. Затем он занялся отстройкой разрушенного укрепления и распорядился, чтобы каждый из сиракузян вырубил кол и принес его к развалинам стены, а ночью наемники взялись за дело и, пока сиракузяне спали, отгородили крепость от города палисадом, так что на рассвете и неприятель, и ни о чем не подозревавшие граждане дивились быстроте, с какою была исполнена эта работа. Похоронив убитых сиракузян и выкупив пленных, которых было не меньше двух тысяч, Дион созвал Собрание. Выступил Гераклид и предложил назначить Диона полководцем с неограниченными полномочиями на суше и на море. Лучшие граждане благосклонно выслушали его слова и требовали открыть голосование, но моряки и ремесленники громко зароптали, недовольные тем, что Гераклид теряет начальство над флотом: не слишком высоко ценя все прочие его качества, они знали, что он, во всяком случае, ближе к народу, чем Дион, и с большею охотой подчиняется желаниям толпы. Дион, однако, уступил им и передал власть над морскими силами Гераклиду, но разочаровал и озлобил народ, воспротивившись его планам поделить заново поля и дома и отменив все прежние постановления, касавшиеся передела. Гераклид немедленно воспользовался этим предлогом и, стоя с флотом в Мессене, начал подстрекать воинов и моряков к возмущению, восстанавливая их против Диона, – который, якобы, ищет тираннии, – а сам через спартанца Фарака вступил в тайный сговор с Дионисием. Виднейшие из граждан проведали об его кознях, дело дошло до прямого восстания в лагере, которое, в свою очередь, привело к нужде и нехватке хлеба в Сиракузах, и Дион был в крайнем затруднении, а друзья резко упрекали его за то, что, себе на горе, он возвысил и усилил такого неисправимого и злобного негодяя, как Гераклид.

49. Вскоре Дион с сиракузянами выступил в поход против Фарака, который стоял лагерем близ Неаполя в акрагантских владениях. Сначала Дион хотел дать сражение несколько позже, но Гераклид и его моряки кричали, что командующий не желает закончить войну решительной битвой, но намерен тянуть ее вечно – лишь бы не выпускать из рук власти, и он оказался вынужден сойтись с врагом и потерпел неудачу. Поражение было не слишком тяжелым да и вызвано не столько силою неприятеля, сколько раздорами между своими, и Дион готовился к новой битве и старался восстановить в войске порядок, ободряя солдат. Однако в начале ночи ему донесли, что Гераклид с флотом снялся с якоря и плывет к Сиракузам, намереваясь захватить город и запереть ворота перед Дионом и пешим войском. Дион немедленно выбрал самых крепких и преданных из числа своих людей, скакал всю ночь напролет и около третьего часа дня был у стен Сиракуз, покрыв за эту ночь семьсот стадиев. Гераклид, как ни торопился, прибыл слишком поздно, а потому повернул назад и скитался по морю без всякой цели, когда ему встретилось судно спартанца Гесила. Гесил сказал, что плывет из Лакедемона принять начальство над сицилийцами, как некогда Гилипп. Сразу усмотрев в этом человеке своего рода противоядие для борьбы с

Дионом, Гераклид с радостью за него ухватился и представил союзникам, а затем отправил в Сиракузы гонца с советом выбрать в начальники этого спартанца. Дион отвечал, что начальников у сиракузян достаточно, а коль скоро обстоятельства вообще требуют участия в деле спартанца, так он и сам получил в Лакедемоне право гражданства. Тогда Гесил отказался от надежды на власть и, приплыв к Диону, примирил его с Гераклидом, который под величайшими клятвами присягнул в нерушимой верности, а Гесил обязался собственной рукой отомстить за Диона и покарать Гераклида, если тот снова начнет плести свои козни.

50. После этого сиракузяне распустили морские силы, которые теперь не приносили никакой пользы, но лишь требовали громадных расходов и служили постоянным источником разногласий между начальниками. Напротив, осада крепости продолжалась. Строительство укреплений было завершено, и, так как помощи осажденным никто не оказывал, а запасы хлеба у них вышли и наемники готовы были взбунтоваться, сын Дионисия, отчаявшись в успехе, заключил с Дионом перемирие и сдал ему крепость со всем оружием и прочим снаряжением, а сам, забравши мать и сестер, на пяти груженных триерах отплыл к отцу. Дион позаботился о том, чтобы никаких препятствий отъезжающим не чинилось, но не было в Сиракузах человека, который бы не вышел полюбоваться этим зрелищем, и все громко выкликали имена отсутствующих, скорбя о тех, кто не дожил до этого дня и не видит солнца, восходящего над свободными Сиракузами. Если и по сю пору бегство Дионисия считается самым знаменитым и самым убедительным примером непрочности человеческого счастья, то какою же безграничной была тогда радость и гордость людей, которые, начав борьбу с самыми ничтожными средствами, низвергли тираннию, самую могущественную из всех, когда-либо существовавших!

51. Когда триеры Аполлократа отошли от берега, Дион отправился в крепость. Женщины во дворце не снесли ожидания, но выбежали к крепостным воротам. Аристомаха вела сына Диона, а Арета следовала за нею в слезах и смущении, не зная, как встретить и приветствовать мужа, после того как она была в браке с другим. Дион обнял сперва сестру, потом ребенка, а потом Аристомаха подвела к нему Арету и сказала: "Мы все были несчастны, Дион, пока ты находился в изгнании. Твое возвращение и победа избавляет от скорби и печали всех – кроме нее. Мне, горемычной, довелось увидеть, как твою жену, при живом супруге, силою заставили выйти за другого. Теперь, когда судьба сделала тебя нашим господином и владыкою, как расценишь ты насилие, которое над нею учинили? Приветствовать ли ей тебя как дядю или же как супруга?" После этих слов Аристомахи Дион залился слезами и нежно привлек к себе жену. Передав Арете сына, он велел ей идти в свой дом, где остался жить и сам, всю крепость целиком предоставив в распоряжение сиракузян.

52. Итак, начатое Дионом дело благополучно завершилось, но он не пожелал вкусить плодов своей удачи, пока не отблагодарил друзей и не одарил союзников, а в особенности, пока не почтил заслуженными наградами и почестями своих ближайших друзей в Афинах и пелопоннесских наемников – с великодушием и широтою, превосходившими его возможности. Сам он жил просто и воздерж-

но, вполне довольствуясь тем, что имел, и вызывая всеобщее изумление: меж тем как не только Сицилия, не только Карфаген, но и вся Греция почтительно взирали на его счастье, меж тем как современники Диона не знали ничего более прекрасного, нежели его подвиги, и не могли назвать полководца отважнее или удачливее, он обнаруживал такую скромность в одежде, столе и прислуге, словно разделял трапезы с Платоном в Академии, а не вращался среди наемных солдат и их начальников, которые находят отдых от трудов и опасностей в каждодневных пирах и наслаждениях. Платон писал ему[23], что ныне взгляды всех людей устремлены на него, но сам Дион, по-видимому, глядел, не отрываясь, на один уголок одного города – на Академию, зная, что тамошние зрители и судьи не дивятся ни подвигам, ни отваге, ни победам, но следят лишь за тем, насколько разумно и достойно распоряжается он своим счастьем и не нарушает ли границ справедливости, взойдя на вершину славы и власти. Однако ж он и не думал смягчить или ослабить суровую надменность в обхождении и строгость к народу, хотя и обстоятельства требовали от него милосердия, и Платон, как мы уже упоминали[24], порицал его в письме, говоря, что самонадеянность – подруга одиночества. Но, мне кажется, Дион и по натуре был чужд искусству мягкого убеждения, и, кроме того, горел желанием обуздать безмерную распущенность и испорченность сиракузян.

53. В самом деле, Гераклид опять принялся за старое. Во-первых, он не пожелал ходить в Совет: он-де никаких должностей не занимает и потому намерен участвовать и выступать только в Народном собрании, наравне со всеми гражданами. Во всеуслышание порицал он Диона за то, что тот не срыл крепость, запретил народу разрушить гробницу Дионисия Старшего и выбросить вон останки тиранна и, наконец, – из пренебрежения к согражданам – призвал советников и помощников из Коринфа. И верно, Дион пригласил коринфян, надеясь, что с ними легче введет новое государственное устройство, которое задумывал установить. А задумывал он, ограничив полную демократию (ибо вместе с Платоном[25] считал ее не правлением, но крикливым торжищем всех видов правления), ввести нечто вроде лаконского или критского строя, то есть смешать власть народа с царскою властью, так чтобы вопросы первостепенной важности рассматривались и решались лучшими гражданами; при этом он замечал, что весьма близки к олигархическому устройству и коринфяне, у которых лишь немногие из государственных дел поступают в Народное собрание. Предвидя, что Гераклид будет самым упорным противником его планов, и вообще хорошо зная переменчивый, буйный и мятежный нрав этого человека, Дион дал, наконец, волю тем, кто давно хотел убить Гераклида и кого он прежде удерживал от этого шага. Они ворвались к Гераклиду в дом и умертвили его. Эта смерть повергла сиракузян в глубокую скорбь. Но так как Дион устроил убитому пышные похороны и вместе с войском участвовал в погребальном шествии, а затем обратился к народу с речью, сиракузяне успокоились, согласившись, что невозможно было положить предел смутам, пока Гераклид и Дион оставались на государственном поприще вместе.

54. Среди друзей Диона был афинянин Каллипп, с которым, как говорит Платон[26], его свели и сблизили не совместные занятия философией, но посвя-

щения в таинства и повседневное общение. Он принял участие в походе, и Дион ценил его так высоко, что Каллипп первым из друзей вступил вместе с ним в Сиракузы, с венком на голове. Постоянно отличался он и в боях. Но после того, как лучших друзей Диона похитила война, а Гераклид умер насильственной смертью, Каллипп, видя, что народ в Сиракузах лишен вожака и что среди наемников никто не пользуется бо́льшим влиянием, нежели он, обернулся внезапно гнуснейшим из смертных и начал восстанавливать против Диона часть солдат, в твердой уверенности, что наградою за убийство друга ему будет вся Сицилия, а судя по некоторым сообщениям – еще и потому, что получил от врагов Диона двадцать талантов в уплату за злодеяние. Он приступил к делу самым подлым и коварным образом, постоянно пересказывая Диону разговоры солдат, либо действительно подслушанные, либо даже вымышленные им самим, и благодаря доверию, которое питал к нему Дион, забрал такую власть, что мог встречаться наедине и вести откровенные беседы с кем заблагорассудится: таково было распоряжение самого Диона, желавшего, чтобы ни один из тайных врагов не укрылся от его взора. Так Каллиппу в короткое время удалось выискать и сплотить всех недовольных и просто негодяев, а если кто отвергал его испытующие речи и доносил о них Диону, последний и не гневался, и даже не тревожился, полагая, что Каллипп только выполняет его приказ.

55. Когда заговор созрел, Диону явился громадный и жуткий призрак. День уже клонился к вечеру, и Дион, погруженный в свои думы, сидел один во внутреннем дворе дома. Вдруг в противоположном конце галереи раздался шум, Дион повернул голову и в последних лучах заката увидел высокую женщину, платьем и лицом ничем не отличавшуюся от Эриннии на сцене. Она мела метлою пол. Дион оцепенел от ужаса. Он послал за друзьями, рассказал им о видении и умолял не уходить и провести ночь вместе с ним, смертельно боясь, как бы знамение не повторилось, если он останется в одиночестве. Однако призрак больше не показывался. А спустя несколько дней сын Диона, едва вышедший из детского возраста, огорченный и разгневанный какою-то пустячной шуткой, бросился вниз головою с крыши[27] и разбился насмерть.

56. Меж тем как Дион был в таком горе, Каллипп двинулся к цели еще решительнее и распустил среди сиракузян слух, будто Дион, оставшись бездетным, решил вернуть и сделать своим преемником сына Дионисия, Аполлократа, который супруге его приходится племянником, а сестре – внуком. Теперь уже и сам Дион, и обе женщины догадывались о том, что происходит вокруг, да и доносы сыпались градом. Но Дион, по-видимому, сожалея об убийстве Гераклида, которое ложилось пятном на всю его жизнь и деяния, и постоянно храня угрюмую озабоченность, говорил, что готов тысячу раз умереть и подставить горло под любой нож, коль скоро приходится жить, хоронясь не только от врагов, но и от друзей. Зато женщины старательно искали и распутывали нити заговора, и Каллипп, испугавшись, явился к ним сам, отрицал свою вину и со слезами на глазах вызывался дать любое ручательство, какого бы они ни пожелали. Они требовали, чтобы он принес торжественную клятву. Обряд ее совершается в храме Законодательниц[28]: после особых священнодействий надо облечься в багряницу богини, взять в руку горящий факел и так произнести слова клятвы.

Каллипп исполнил весь обряд от начала до конца и поклялся, как надлежало, чтобы позже кощунственно насмеяться над богинями. В самом деле, он дождался праздника Коры, которою клялся, и как раз тогда совершил убийство, презрев высокое достоинство ее дня. Впрочем в какое бы время ни убил он миста[29] богини, которого сам же посвятил в ее таинства, это было бы чудовищным нечестием.

57. Заговорщики (число их успело значительно возрасти) окружили дом, встали у окон и дверей, и сами убийцы – несколько солдат с Закинфа – без мечей, в одних хитонах, ворвались в комнату с застольными ложами, где находился Дион и его друзья. В тот же миг их сообщники плотно заперли двери снаружи, а закинфяне бросились на Диона и попытались прикончить его голыми руками, но безуспешно. Тогда они стали кричать, чтобы им подали меч, однако никто наруже не решался отворить дверь, потому что в доме с Дионом было много людей. Ни один из них, впрочем, не захотел прийти ему на помощь, в надежде, что, предоставив друга его участи, спасет собственную жизнь. После недолгой заминки сиракузянин Ликон протянул кому-то из закинфян кинжал через окно, и этим кинжалом они, словно жертву у алтаря, зарезали Диона, который уже давно перестал бороться и с трепетом ждал смерти.

Сразу же вслед за тем сестру и беременную жену убитого бросили в тюрьму. Там эта несчастная и родила, разрешившись от бремени мальчиком, которому женщины отважились сохранить жизнь и выкормили его, заручившись согласием стражи, что оказалось нетрудным, ибо Каллипп был уже накануне своего падения.

58. Вначале после убийства он приобрел огромное влияние в Сиракузах и крепко держал власть. Он даже обратился с письмом в Афины, хотя после такого гнусного злодеяния именно этот город – наравне с самими богами – должен был бы внушать ему и страх, и стыд. Но, видно, недаром ходит поговорка, что доблестные люди, которых производят на свет Афины, не знают себе равных в доблести, а порочные – в пороке, так же точно как земля Аттики приносит и лучший в Греции мед и сильнейший из ядов – цикуту. Недолго, впрочем, оставался Каллипп укором судьбе и богам, которые, дескать, попускают нечестивцу пользоваться властью и могуществом, приобретенными столь гнусно. Заслуженная кара постигла его незамедлительно. Выступив в поход на Катану, он потерял Сиракузы. Тогда-то он и сказал, что отдал город, а взамен получил скребок для сыра[30]. Потом он напал на мессенцев, но лишился почти всех своих солдат – в числе погибших были и убийцы Диона, – и так как ни один из сицилийских городов его не принимал, но все с ненавистью гнали прочь, он из последних сил захватил Регий. Там он бедствовал сам и заставлял бедствовать наемников, и, в конце концов, был убит Лептином и Полисперхонтом, и по случайности – тем же самым кинжалом, которым, как говорят, перерезали горло Диону. Его узнали по длине (он был короткий, спартанского образца) и по искусной, богатой отделке. Вот такое возмездие понес Каллипп.

Аристомаху и Арету, когда их выпустили из тюрьмы, взял к себе в дом сиракузянин Гикет, один из друзей Диона, и поначалу обходился с ними прекрасно, с искренним расположением и сочувствием. Но затем, склонившись на уговоры

врагов Диона, он снарядил для обеих женщин судно и сказал, что отправляет их в Пелопоннес, а морякам велел обеих в пути умертвить и бросить тела в море. Некоторые даже сообщают, что они были утоплены живыми, и вместе с ними ребенок. Однако ж и Гикет справедливою ценою заплатил за свое злодеяние: его самого захватил в плен и казнил Тимолеонт, а двух его дочерей, мстя за Диона, убили сиракузяне, о чем подробно рассказано в жизнеописании Тимолеонта[31].



БРУТ

1. Предком Марка Брута был Юний Брут, чье бронзовое изображение с мечом в руке древние римляне поставили на Капитолии среди статуй царей, ибо ему главным образом обязан Рим падением Тарквиниев. Древний Брут и от природы нравом обладал твердым, как закаленный меч, и нимало не смягчил его изучением наук, так что ярость против тираннов довела его до убийства родных сыновей[1], тогда как тот Брут, о котором идет речь в нашей книге, усовершенствовал свой нрав тщательным воспитанием и философскими занятиями и с природными своими качествами – степенностью и сдержанностью – сумел сочетать благоприобретенное стремление к практической деятельности, приготовив наилучшую почву для восприятия всего истинно прекрасного. Вот почему даже враги, ненавидевшие его за убийство Цезаря, все, что было в заговоре возвышенного и благородного, относили на счет Брута, а все подлое и низкое приписывали Кассию, родичу и другу Брута, но человеку не столь прямому и чистому духом. Мать Брута, Сервилия, возводила свое происхождение к Сервилию Ахале; когда Спурий Мелий, замышляя установить тираннию, начал возмущать народ[2], Сервилий спрятал под мышкой кинжал, вышел на форум и стал рядом с Мелием, точно желая что-то сказать, а когда тот наклонился к нему, нанес удар и уложил злоумышленника на месте[3]. Эта сторона его родословной ни у кого сомнений не вызывает, что же касается отцовского рода, недоброжелатели Брута, гневавшиеся на него за убийство Цезаря, утверждают, будто, кроме имени, он ничего общего с Брутом, изгнавшим Тарквиниев, не имеет, ибо, умертвив сыновей, тот Брут остался бездетным, и что дом убийцы Цезаря был плебейским, и к высшим должностям поднялся совсем недавно. Однако философ Посидоний говорит, что казнены были, – как у нас об этом и рассказывается, – лишь двое взрослых сыновей Брута, но оставался еще третий, совсем маленький, от которого и пошел весь род. По словам Посидония, в его время было несколько видных людей из этого дома, обнаруживавших явное сходство с тем изображением, которое стояло на Капитолии. Но достаточно об этом.

2. Братом Сервилии был философ Катон, и никому из римлян не подражал Брут с таким рвением, как этому человеку, который приходился ему дядей, а

впоследствии сделался и тестем. Среди греческих философов не было, вообще говоря, ни одного, совершенно Бруту незнакомого, или же чуждого, но особенную приверженность он испытывал к последователям Платона. Не слишком увлекаясь учениями так называемой Новой и Средней Академии, он был поклонником Академии Древней и неизменно восхищался Антиохом из Аскалона, однако же другом себе избрал его брата Ариста, в искусстве рассуждений стоявшего позади многих философов, но никому не уступавшего воздержностью и кротостью нрава. И сам Брут в письмах, и его друзья часто упоминают еще одного близкого приятеля – Эмпила. Это был оратор, оставивший небольшое по размерам, но отличное сочинение об убийстве Цезаря; называется оно "Брут".

Прекрасно владея родным своим языком, Брут был мастером не только судебной, но и торжественной речи, по-гречески же всегда стремился изъясняться с лаконскою краткостью и сжатостью, что заметно кое-где в его письмах[3]. Так, когда военные действия уже начались, он писал пергамцам: "Дошло до меня, что вы дали деньги Долабелле. Если дали по доброй воле, это очевидное преступление, а если вопреки своему желанию – докажите это, давши добровольно мне". А вот его послание самосцам: "Советы ваши небрежны, помощь ленива. К чему же вы клоните?" О патарцах...*: "Ксанфии пренебрегли моею благосклонностью и превратили свой город в могилу собственного безрассудства. Патарцы доверились мне и ни в малейшей мере не поступились своей свободой. Ныне и вам представляется выбрать либо решение патарцев, либо судьбу ксанфиев". Таков характерный слог его писем.

3. Еще совсем молодым Брут ездил на Кипр вместе со своим дядей, Катоном[4], отправленным против Птолемея. Птолемей покончил с собой, и Катон, которого неотложные дела задерживали на Родосе, послал вперед одного из друзей, Канидия, охранять царскую казну, но затем, испугавшись, как бы и сам Канидий чего не украл, написал Бруту в Памфилию, где тот отдыхал, поправляясь после какой-то болезни, чтобы он как можно скорее плыл на Кипр. Брут повиновался, хотя и с крайнею неохотой: ему было неловко перед Канидием, которому Катон выказывал оскорбительное недоверие, и вообще, неопытный юноша, до тех пор всецело погруженный в науки, считал это поручение низким и недостойным. Тем не менее он исполнил все с таким усердием, что Катон горячо его хвалил и, когда царское имущество было распродано, отправил племянника в Рим с большею частью вырученных денег.

4. Когда Помпей и Цезарь взялись за оружие и государство разделилось на два враждебных стана, а власть заколебалась, никто не сомневался, что Брут примет сторону Цезаря, ибо отец его был убит Помпеем[5]. Но ставя общее благо выше собственной приязни и неприязни и считая дело Цезаря менее справедливым, он присоединился к Помпею. Прежде он не здоровался и не заговаривал с Помпеем при встречах, считая великим нечестием сказать хотя бы слово с убийцею своего отца, но теперь, признавши в нем вождя и главу отечества, подчинился его приказу и поплыл в Киликию легатом при Сестии, получившем в управление эту провинцию. Но там все было спокойно и тихо, а Помпей и Це-

---

* Текст в оригинале испорчен.

зарь между тем уже сошлись, готовясь к решающему сражению, и Брут по собственному почину уехал в Македонию, чтобы разделить со своими единомышленниками все опасности. Помпей, как рассказывают, был настолько изумлен и обрадован его появлением, что поднялся с места и на глазах у присутствующих обнял Брута, словно одного из первых людей в своем лагере. В продолжение этого похода Брут все свободное время, когда он не был с Помпеем, посвящал наукам и книгам – и не только в остальные дни, но даже накануне великой битвы. Была средина лета, и нестерпимый зной палил воинов, разбивших лагерь в болотистой местности. Рабы, которые несли палатку Брута, где-то замешкались; вконец измученный, он лишь в полдень мог натереться маслом и утолить голод, но затем, пока остальные либо спали, либо с тревогою размышляли о будущем, вплоть до темноты писал, составляя извлечение из Полибия.

5. Говорят, что и Цезарь не был безразличен к его судьбе, и приказал начальникам своих легионов не убивать Брута в сражении, но живым доставить к нему, если тот сдастся в плен добровольно, а если окажет сопротивление, – отпустить, не применяя насилия. Такой приказ он отдал в угоду Сервилии, матери Брута. Известно, что в молодые годы он находился в связи с Сервилией, которая была без памяти в него влюблена, и Брут родился в самый разгар этой любви, а стало быть Цезарь мог считать его своим сыном. Рассказывают, что когда в Сенате обсуждалось чрезвычайной важности дело Катилины[6], едва не погубившего государство своим заговором, Катон и Цезарь спорили, стоя рядом и защищая противоположные точки зрения. В этот миг Цезарю откуда-то принесли маленькое письмецо, которое он молча прочел. Тогда Катон стал кричать, что Цезарь творит чудовищное бесчинство – в самой курии он принимает письма от врагов отечества! – сенаторы грозно зашумели в ответ, и Цезарь немедленно передал табличку Катону, который увидел бесстыдную записку своей сестры Сервилии. Швырнув табличку назад Цезарю, он воскликнул: “Держи, пропойца!” – и вернулся к своей речи. Таким образом страсть Сервилии к Цезарю стала достоянием всеобщей молвы.

6. Битва при Фарсале была проиграна, и Помпей бежал к морю, а Цезарь напал на вражеские укрепления, но Брут, незаметно выскользнув какими-то воротами и укрывшись на болоте, залитом водою и густо поросшем камышами, ночью благополучно добрался до Лариссы, откуда написал Цезарю. Цезарь был рад его спасению, позвал Брута к себе и не только освободил его от всякой вины, но и принял в число ближайших друзей. Никто не мог сказать, куда направился Помпей, Цезарь не знал, что делать, и однажды, гуляя вдвоем с Брутом, пожелал услышать его мнение. Догадки Брута, основанные на некоторых разумных доводах, показались ему наиболее вероятными и, отвергнув все прочие суждения и советы, он поспешил в Египет. Но Помпей, который, как Брут и предполагал, высадился в Египте, уже встретил там свой последний час.

Затем Брут убедил Цезаря простить и Кассия. Выступая в защиту царя галатов Дейотара, он потерпел неудачу – слишком тяжелы были обвинения, – но все же горячими просьбами спас для своего подзащитного значительную часть его царства. Рассказывают, что Цезарь, когда впервые услышал речь Брута, мол-

вил, обращаясь к друзьям: "Я не знаю, чего желает этот юноша, но чего бы он ни желал, желание его неукротимо".

Вдумчивый и строгий от природы, Брут отзывался не на всякую просьбу и не вдруг, но лишь по здравому выбору и размышлению, убедившись, что просьба справедлива, однако ж, раз принявши решение, от намеченной цели не отступал и действовал, не щадя трудов и усилий. К бесчестным домогательствам он оставался глух, невзирая на самую изощренную лесть; уступать наглым и назойливым требованиям – что иные объясняют стыдливостью и робостью – он считал позором для великого человека и любил повторять, что те, кто не умеет отказывать, по всей видимости, худо распоряжались юною свой прелестью.

Готовясь переправиться в Африку для борьбы с Катоном и Сципионом, Цезарь назначил Брута правителем Предальпийской Галлии[7], что было огромною удачей для этой провинции: меж тем как остальные области Римской державы из-за наглости и корыстолюбия тех, кому они были доверены, подвергались грабежу и разорению, словно земли, захваченные у врага, Брут не только не запятнал себя ничем подобным, но и бедствиям минувших времен положил конец и дал жителям вздохнуть спокойно, а все благодеяния, какие он творил, относил на счет Цезаря. Поэтому, возвратившись и объезжая Италию, Цезарь с живейшим удовольствием взирал на города, которыми управлял Брут, и на самого Брута, умножившего его славу и доставлявшего ему радость своим обществом.

7. Существует несколько преторских должностей, но одна из них – так называемая городская претура – самая важная и почетная из всех, и должность эту, по общему разумению, предстояло занять либо Бруту, либо Кассию. Некоторые писатели уверяют, будто они и прежде не питали друг к другу добрых чувств, а теперь разошлись еще сильнее, несмотря на свойствó (сестра Брута, Юния, была замужем за Кассием), но другие говорят, что их соперничество было делом рук Цезаря, который тайно обнадеживал и обещал свою поддержку обоим, так что, в конце концов, распаленные этими посулами, они вступили в борьбу. Оружием Брута была добрая слава и нравственные достоинства. Кассий опирался на свои блестящие и отчаянные подвиги в Парфянском походе[8]. Цезарь выслушал и того и другого и сказал, совещаясь с друзьями: "Доводы Кассия справедливее, однако же предпочтение следует отдать Бруту". Кассий получил другую претуру, но благодарность за эту должность была несравненно слабее гнева, вызванного обманутыми надеждами.

Брут и вообще пользовался могуществом Цезаря в той мере, в какой желал этого сам. Будь на то его желание – и он мог бы стать первым среди приближенных диктатора и самым влиятельным человеком в Риме. Но уважение к Кассию отрывало и отвращало его от Цезаря; еще не примирившись со своим противником по той честолюбивой борьбе, он, однако же, внимательно прислушивался к советам общих друзей, убеждавших его не уступать вкрадчивым и соблазнительным речам тиранна, но бежать от его ласк и милостей, которые он расточает не для того, чтобы почтить нравственную высоту Брута, но чтобы сломить его силу и сокрушить твердость духа.

8. Впрочем, Цезарь и сам подозревал недоброе и не был глух к обвинениям против Брута, но, опасаясь его мужества, громкого имени и многочисленных

друзей, он твердо доверял его нраву. Когда Цезарю говорили, что Антоний и Долабелла замышляют мятеж, он отвечал, что его беспокоят не эти долгогривые толстяки, а скорее бледные и тощие, – намекая на Брута и Кассия. Но когда ему доносили на Брута и советовали остерегаться, он говорил, касаясь рукою груди: "Неужели, по вашему, Брут не повременит, пока это станет мертвою плотью?" – желая сказать, что никто, кроме Брута, не достоин унаследовать после него высшую власть. Мало того, Брут, сколько можно судить, непременно занял бы первое место в государстве, если бы, еще некоторое время довольствуясь вторым, дал отцвести могуществу Цезаря и увянуть славе его подвигов. Но его разжигал и торопил Кассий, вспыльчивый, страстный, в котором кипела скорее личная вражда к Цезарю, нежели ненависть к тирании. Говорят, что Брут тяготился властью, а Кассий ненавидел властителя. Он многое ставил Цезарю в вину и, между прочим, не мог простить ему захвата львов, которых он, готовясь занять должность эдила, добыл для себя[9], а Цезарь захватил в Мегарах – когда город был взят его полководцем Каленом – и не вернул Кассию. Звери эти, как передают, оказались сущим бедствием для мегарян, которые, видя, что неприятель уже ворвался в город, сбили замки и засовы и выпустили львов в надежде, что они преградят путь наступающим; звери, однако ж, бросились на самих жителей и, преследуя безоружных людей, рвали их на части, так что страшное это зрелище внушило жалость даже врагам.

9. Но глубоко заблуждаются те, кто утверждает, будто это происшествие было главною причиною составленного Кассием заговора. С самого начала характеру Кассия были свойственны неприязнь и отвращение ко всем тираннам без изъятия, и чувства эти он обнаружил еще мальчиком, когда ходил в одну школу с Фавстом, сыном Суллы. Хвастаясь и бахвалясь в кругу детей, Фавст превозносил единовластие своего отца, тогда Кассий вскочил и набросился на Фавста с кулаками. Опекуны и родичи Фавста хотели подать жалобу в суд, но Помпей помешал им исполнить свое намерение; позвав обоих мальчиков к себе, он стал расспрашивать их, как началась ссора, и тут Кассий воскликнул: "Ну, Фавст, только посмей повторить здесь эти слова, которые меня разозлили, – и я снова разобью тебе морду!"

Вот каков был Кассий. А Брута долго призывали к решительным действиям не только речи друзей, но и многочисленные увещания сограждан – и устные и письменные. Статуя древнего Брута, низложившего власть царей, была испещрена надписями: "О, если бы ты был сегодня с нами!" и "Если бы жил Брут!". Судейское возвышение, где Брут исполнял свои обязанности претора, однажды утром оказалось заваленным табличками со словами: "Ты спишь, Брут?" и "Ты не настоящий Брут!" Виновниками этого озлобления против диктатора были его льстецы, измышлявшие для него все новые ненавистные римлянам почести и даже как-то ночью украсившие диадемами его изображения: они рассчитывали, что народ провозгласит Цезаря царем, но случилось как раз обратное. Подробно об этом рассказано в жизнеописании Цезаря[10].

10. Кассий выведывал настроения друзей, и все соглашались выступить против Цезаря, но при одном непременном условии – чтобы их возглавил Брут, ибо заговор, по общему рассуждению, требовал не столько отваги или же многих

рук, сколько славы такого мужа, как Брут, который сделал бы первый шаг и одним своим участием упрочил и оправдал все дело. А иначе – тем меньше твердости выкажут они, исполняя свой план, и тем большие навлекут на себя подозрения, завершив начатое, ибо каждый решит, что Брут не остался бы в стороне, коль скоро цели и побуждения их не были бы низки и несправедливы. Принявши все это в расчет, Кассий встретился с Брутом, первым предложив ему примирение после долгой размолвки. Они обменялись приветствиями и Кассий спросил, намерен ли Брут быть в сенате в мартовские календы; объясняя свой вопрос, он прибавил, что в этот день, как ему стало известно, друзья Цезаря внесут предложение облечь его царскою властью. Брут отвечал, что не придет. "А что, если нас позовут?" – продолжал Кассий. "Тогда, – сказал Брут, – долгом моим будет нарушить молчание и, защищая свободу, умереть за нее". Воодушевленный этими словами, Кассий воскликнул: "Но кто же из римлян останется равнодушным свидетелем твоей гибели? Разве ты не знаешь своей силы, Брут? Или думаешь, что судейское твое возвышение засыпают письмами ткачи и лавочники, а не первые люди Рима, которые от остальных преторов требуют раздач, зрелищ и гладиаторов, от тебя же – словно исполнения отеческого завета! – низвержения тираннии и сами готовы ради тебя на любую жертву, любую муку, если только и Брут покажет себя таким, каким они хотят его видеть?" С этими словами он обнял Брута, попрощался с ним, и оба вернулись к своим друзьям.

11. Жил в Риме некий Гай Лигарий, бывший приверженец Помпея. Привлеченный к суду, он был помилован Цезарем, но не испытывал ни малейшей признательности к тому, кто избавил его от наказания, и ненавидел власть, из-за которой предстал перед судом. Этот человек был врагом Цезаря и одним из ближайших товарищей Брута. Он приболел, и Брут пришел его навестить. "Ах, Лигарий, – сказал он на пороге, – как же некстати ты захворал!" Лигарий тут же приподнялся на локте, схватил гостя за руку и отвечал так: "Нет, Брут, если только ты решился на дело, достойное тебя, я совершенно здоров!"

12. Вслед за тем, исподволь испытывая знакомых, которым они доверяли, заговорщики начали открывать им свой замысел и склонять их на свою сторону, выбирая сообщников не просто среди близких приятелей, но лишь среди тех, что были известны за людей храбрых и презирающих смерть. Вот почему они таились даже от Цицерона, на чью верность и благожелательство полагались без всяких оговорок; но, скудный мужеством от природы, он стал вдобавок постариковски осторожен с годами, и мелочными расчетами, погоней за сугубой безопасностью каждого шага мог притупить острие их меча, который должен был разить метко и стремительно. Равным образом Брут обошел доверием еще двух друзей – эпикурейца Статилия и Фавония, горячего поклонника Катона, ибо когда в ходе беседы о каких-либо философских предметах он дальними намеками повел речь о заговоре, Фавоний заметил, что междоусобная война еще хуже, чем попирающее законы единовластие, а Статилий заявил, что человеку разумному и здравомыслящему не должно подвергать себя опасности[11] ради порочных и безрассудных. Обоим возражал Лабеон (тоже участвовавший в разговоре), а Брут промолчал, словно бы держась того мнения, что вопрос слишком

сложен и труден, но позже посвятил Лабеона в свои намерения, и тот горячо их одобрил. Затем решено было привлечь к заговору другого Брута, по прозвищу Альбин, не блиставшего, правда, ни особою отвагой, ни предприимчивостью, но сильного поддержкою многочисленных гладиаторов, которых он содержал и готовил для игр на потеху римлянам, и пользовавшегося у Цезаря большим доверием. Кассию и Лабеону он не дал никакого ответа, но встретившись с Брутом с глазу на глаз и узнав, что голова всему делу он, охотно обещал свою поддержку. Подобным же образом слава Брута привлекла и остальных лучших граждан, и скоро подавляющее их большинство оказалось в числе заговорщиков. И хотя не было ни совместной присяги, ни торжественного обмена клятвами над закланной жертвой, все хранили такое нерушимое молчание, настолько глубоко скрыли в душе тайну, что никто не верил в надвигающуюся грозу, хотя боги заранее возвещали о ней устами прорицателей, зловещими видениями и дурными приметами при жертвоприношениях.

13. Брут, на плечи которого легла теперь ответственность за все, что было в Риме самого доблестного, родовитого и высокого, и который представлял себе опасность во всей ее полноте, – Брут на людях старался сохранить совершенное спокойствие и ничем не выдать истинные свои мысли. Однако ж дома, и особенно по ночам его нельзя было узнать. То забота прогоняла сон и не давала сомкнуть глаз, то он с головою уходил в свои думы, снова и снова измеряя трудности, стоящие на пути, и от жены, которая спала подле, не укрылось, что супруг ее полон непривычного смятения и вынашивает какой-то опасный и сложный замысел.

Порция, как уже говорилось выше, была дочерью Катона. Брут, приходившийся ей двоюродным братом, взял ее в жены не девицею, но молодой вдовою, после смерти первого мужа, от которого у Порции остался маленький сын по имени Бибул. Этот Бибул написал небольшую книгу воспоминаний о Бруте, она сохранилась и до наших дней. Отлично образованная, любившая мужа, душевное благородство соединявшая с твердым разумом, Порция не прежде решилась спросить Брута об его тайне, чем произвела над собою вот какой опыт. Раздобыв цирюльничий ножик, каким обыкновенно срезывают ногти, она закрылась в опочивальне, выслала всех служанок и сделала на бедре глубокий разрез, так что из раны хлынула кровь, а немного спустя начались жестокие боли и открылась сильная лихорадка. Брут был до крайности встревожен и опечален, и тут Порция в самый разгар своих страданий обратилась к нему с такою речью: "Я – дочь Катона, Брут, и вошла в твой дом не для того только, чтобы, словно наложница, разделять с тобою стол и постель, но чтобы участвовать во всех твоих радостях и печалях. Ты всегда был мне безупречным супругом, а я... чем доказать мне свою благодарность, если я не могу понести с тобою вместе сокровенную муку и заботу, требующую полного доверия? Я знаю, что женскую натуру считают неспособной сохранить тайну. Но неужели, Брут, не оказывают никакого воздействия на характер доброе воспитание и достойное общество? А ведь я – дочь Катона и супруга Брута! Но если прежде, вопреки всему этому, я полагалась на себя не до конца, то теперь узнала, что неподвластна и боли". С этими словами она показала мужу рану на бедре и поведала ему о своем испы-

тании. Полный изумления, Брут воздел руки к небесам и молил богов, чтобы счастливым завершением начатого дела они даровали ему случай выказать себя достойным та́кой супруги, как Порция. Затем он попытался успокоить и ободрить жену.

14. Было назначено заседание сената, на которое непременно ожидали Цезаря, и заговорщики решили действовать, рассудив, что так они смогут сойтись вместе, не вызывая никаких подозрений, и окажутся в окружении лучших и первых людей государства, которые, как только великий замысел исполнится, сразу же встанут на защиту свободы. Знамение свыше – и знамение благоприятное – усматривали они и в самом месте заседания. Это был портик, один из тех, что окружают театр, а под кровлею портика находилась зала с сидениями и статуей Помпея, воздвигнутой государством в память о том, что никто иной, как Помпей, украсил театром и портиками эту часть города. Там-то вот и должен был собраться сенат в самой средине месяца марта – в день, который римляне называют мартовскими идами[12], и казалось, что Цезаря ведет туда некое божество, чтобы воздать ему за смерть Помпея.

Когда день настал, Брут опоясался кинжалом (никто, кроме жены, об этом не ведал) и вышел из дому. Остальные встретились у Кассия и повели на форум его сына, которому предстояло облачиться в так называемую мужскую тогу[13], а оттуда все вместе направились в портик Помпея. Цезаря ждали с минуты на минуту, и доведись тогда кому-нибудь проникнуть в мысли и намерения этих людей, он был бы несказанно поражен их хладнокровием и самообладанием, ибо многие по долгу и обязанности преторов занимались разбором судебных дел и не только спокойно и сосредоточенно, словно бы не думая ни о чем ином, выслушивали тяжущихся, но и выносили точные, обдуманные и надежно обоснованные решения. Когда же кто-то из осужденных, не желая подчиниться приговору, стал с возмущенными криками взывать к Цезарю, Брут обвел взглядом всех присутствующих и сказал: "Цезарь и не препятствует и никогда не воспрепятствует мне действовать в согласии с законами".

15. А между тем много тревожных неожиданностей могли бы вывести их из равновесия. Во-первых и в-основных, время уходило, а Цезаря все не было, ибо внутренности жертвенных животных сулили беду, и не только женщины, но и гадатели удерживали его дома. Во-вторых, к Каске, одному из участников заговора, подошел какой-то человек и, взяв его за руку, промолвил: "Ты, Каска, скрыл от нас свою тайну, а Брут все мне рассказал". Каска был поражен, а тот продолжал со смехом: "С чего же это ты, мой любезнейший, так быстро разбогател, что нынче собираешься искать должности эдила?[14]" Вот как вышло, что Каска, обманутый двусмысленностью речи своего знакомца, едва было не выдал тайны! А Бруту и Кассию сенатор Попилий Ленат, приветствуя обоих живее обыкновенного, прошептал чуть слышно: "Всей душой желаю вам счастливо исполнить то, что задумали, но советую не медлить: про вас уже заговорили". Вслед за тем он удалился, внушив и тому и другому опасение, что замысел их обнаружен.

Спустя немного к Бруту подбегает кто-то из домочадцев с вестью, что Порция при смерти. И верно, Порция была в таком напряженном ожидании и на-

столько переполнена тревогой, что с величайшим трудом могла принудить себя остаться дома, при любом шуме или же крике вскакивала с места, словно одержимая вакхическим безумием, жадно расспрашивала каждого приходившего с форума, что с Брутом, и сама посылала гонца за гонцом. Задержка тянулась нестерпимо долго, и, в конце концов, под воздействием душевного смятения, телесные силы ее иссякли и угасли. Она не успела даже уйти к себе в спальню, но впала в беспамятство и оцепенение там, где сидела, щеки ее мертвенно побелели, голос пресекся. Увидев это, служанки подняли страшный крик, к дверям сбежались соседи, и тут же разнесся слух, будто Порция скончалась. Однако же она быстро очнулась и пришла в себя, и женщины, опомнившись от испуга, захлопотали вокруг нее. Брут, разумеется, был немало встревожен сообщением, которое ему принесли, но не уступил чувству настолько, чтобы покинуть общее дело и вернуться домой.

16. Тут объявили, что Цезарь уже близко и что его несут в носилках. Обеспокоенный недобрыми предзнаменованиями, он намеревался ни одного из важных дел в этот день не решать, но, сославшись на нездоровье, отложить все до другого раза. Едва он вышел из носилок, к нему подбежал Попилий Ленат, тот самый сенатор, который несколько времени назад желал Бруту удачи и успеха, и довольно долго что-то ему говорил, а Цезарь внимательно слушал. Слов заговорщики не улавливали, но подозревали, что этот тихий разговор – не что иное, как донос, изобличение их умысла, а потому пали духом и переглянулись, давая понять друг другу, что следует не дожидаться, пока их схватят, но немедля умертвить себя собственными руками. Кассий и некоторые иные уже нащупали под одеждой рукояти кинжалов и вытягивали клинки из ножен, когда Брут по выражению лица Лената убедился, что он никого не обвиняет, напротив – о чем-то горячо просит; не произнеся ни звука, ибо рядом было много чужих, он бросил на Кассия светлый, радостный взгляд и вернул ему мужество. А спустя еще немного Ленат поцеловал руку Цезаря и отступил в сторону, и стало уже совершенно ясно, что он толковал с Цезарем лишь о себе самом и о своих нуждах.

17. Сенаторы вошли в залу, и заговорщики сразу же окружили кресло Цезаря, как будто собрались обратиться к нему с каким-то делом. Тут Кассий, как рассказывают, поднял взор к изображению Помпея и призвал его на помощь, словно тот и впрямь мог услыхать его зов, а Требоний вывел Антония наружу и затеял долгий разговор, удерживая консула за дверями.

Увидев Цезаря, весь сенат поднялся, а когда он сел, заговорщики, обступили его тесным кольцом и вытолкнули вперед Туллия Кимвра, который стал просить за своего брата-изгнанника. Все присоединились к просьбе Туллия, ловили руки Цезаря, целовали ему грудь и голову. Сперва Цезарь отвечал спокойным отказом, но потом, видя, что просители не унимаются, резко вскочил, и тогда Туллий обеими руками сорвал у него с плеч тогу, а Каска первым – он стоял позади – выхватил кинжал и нанес диктатору удар в плечо. Рана оказалась неглубокой, и Цезарь, перехватив руку Каски, стиснувшую рукоять кинжала, громко закричал по-латыни: "Каска, злодей, да ты что?" – а тот по-гречески кликнул на помощь брата. Удары уже сыпались градом, Цезарь, однако ж, все озирался,

ища пути к спасению, но, когда заметил, что оружие обнажает и Брут, разжал пальцы, сдавившие запястье Каски, накинул край тоги на голову и подставил тело под удары. Слепо и поспешно разя многими кинжалами сразу, заговорщики ранили друг друга, так что и Брут, бросившийся на Цезаря вместе с остальными, получил рану в руку, и все без изъятия были залиты кровью.

18. Итак, Цезарь умер, и Брут, выступив вперед, хотел произнести речь. Но как ни успокаивал он сенаторов, как ни старался удержать их на месте, все в ужасе, в величайшем смятении бежали, и у двери началась жестокая давка, хотя никто за ними не гнался: заговорщики твердо положили не убивать никого, кроме Цезаря, но всех призвать к освобождению. Правда, когда они обдумывали и обсуждали свой план, все высказывались за то, чтобы умертвить еще Антония, человека дерзкого и наглого, приверженца единовластия, ибо долгим общением с солдатами он приобрел большое влияние в войске, а главное – с неуемным и буйным нравом соединил теперь высокое достоинство консула, будучи товарищем Цезаря по должности. Но Брут решительно воспротивился этому намерению, во-первых, взывая к справедливости, а во-вторых, надеясь, что Антоний переменится. Он верил, что этот человек – с добрыми задатками, честолюбивый и жадный до славы – после убийства Цезаря будет увлечен их примером, их прекрасною целью и поможет отечеству вернуть утраченную свободу. Так Брут спас Антонию жизнь, но тот, охваченный страхом, переоделся в платье простолюдина и бежал.

Между тем Брут и его товарищи, с окровавленными руками, потрясая обнаженными мечами и кинжалами, двинулись вверх, на Капитолий, призывая сограждан к освобождению. Поначалу всюду звучали отчаянные крики, люди метались с места на место, увеличивая смятение, вызванное непредвиденным поворотом событий, но, убеждаясь, что ни дальнейшего кровопролития, ни грабежа брошенных без присмотра денег и товаров не происходит, все мало-помалу успокоились, и многие из сенаторов и незнатных граждан начали стекаться к Капитолию. Когда собралась большая толпа, Брут произнес подходящую к случаю речь, стараясь оправдаться перед народом и склонить его на свою сторону. Собравшиеся отвечали громкими похвалами и призывали всех сойти вниз, так что заговорщики, ободрившись, стали спускаться на форум. Во главе их шел Брут в блестящем окружении виднейших граждан; они торжественно свели его с Капитолия и поставили на ораторское возвышение. Это зрелище смутило пеструю и далеко не мирно настроенную толпу на форуме, она притихла и чинно ждала, что будет дальше. Когда Брут начал говорить, его не перебивали и слушали спокойно, но случившееся было по душе отнюдь не каждому, и это обнаружилось, едва только вперед выступил Цинна с обвинениями против убитого: площадь огласилась гневными воплями, Цинну осыпáли бранью, так что в конце концов, заговорщикам пришлось снова удалиться на Капитолий. Брут опасался осады и, считая несправедливым, чтобы не участвовавшие в деле подвергали себя опасности наравне с ним и его товарищами, отослал лучших граждан, которые вместе с ним поднялись в крепость.

19. На другой день, однако, сенаторы сошлись на заседание в храм Земли и, выслушав Антония, Планка и Цицерона, – все трое говорили о единодушии и

забвении прошлого, – постановили не только считать заговорщиков свободными от вины, но и просить консулов представить сенату мнение, какими наградами следует их почтить. После заседания Антоний немедленно отправил сына заложником на Капитолий, и когда Брут и его сообщники спустились, пошли взаимные приветствия и объятия, а затем Антоний пригласил к обеду Кассия, Лепид – Брута, и так каждый получил приглашение от кого-либо из своих друзей или доброжелателей. С первыми лучами солнца снова собрался сенат. Засвидетельствовав вначале свою признательность Антонию, за то, что он пресек междоусобную войну в самом зародыше, и обратившись с похвалами к тем из заговорщиков, которые присутствовали в курии, сенаторы произвели распределение провинций. Бруту был назначен Крит, Кассию – Африка, Требонию – Азия, Кимвру – Вифиния, другому Бруту – Галлия, что лежит по Эридану.

20. После этого заговорили о завещании и похоронах Цезаря, и Антоний требовал огласить завещание во всеуслышание, а тело предать погребению открыто и с надлежащими почестями – дабы лишний раз не озлоблять народ; Кассий резко возражал Антонию, но Брут уступил, совершив, по общему суждению, второй грубый промах. Его уже и прежде обвиняли в том, что, пощадив Антония, он сохранил жизнь жестокому и до крайности опасному врагу, а теперь, когда он согласился, чтобы Цезаря хоронили так, как желал и настаивал Антоний, это сочли ошибкою и вовсе непоправимой. Прежде всего, Цезарь отказывал каждому из римлян по семидесяти пяти драхм и оставлял народу свои сады по ту сторону реки (ныне там воздвигнут храм Фортуны) – и, узнав об этом, граждане ощутили пламенную любовь к убитому и горячую тоску по нему. Далее, когда тело было вынесено на форум, Антоний, произнося в согласии с обычаем похвальную речь умершему, заметил, что толпа растрогана его словами, переменил тон и с горестными сетованиями схватил и развернул окровавленную тогу Цезаря, всю изодранную мечами. От порядка и стройности погребального шествия не осталось и следа. Одни неистово кричали, грозя убийцам смертью, другие – как в минувшее время, когда хоронили народного вожака Клодия, – тащили из лавок и мастерских столы и скамьи и уже складывали громадный костер. На эту груду обломков водрузили мертвое тело и подожгли – посреди многочисленных храмов, неприкосновенных убежищ и прочих священных мест. А когда пламя поднялось и загудело, многие стали выхватывать из костра полуобгоревшие головни и мчались к домам заговорщиков, чтобы предать их огню. Но Брут и его единомышленники, надежно приготовившись заранее, отразили опасность.

Жил в Риме некий Цинна, поэт, не имевший к заговору ни малейшего отношения, напротив – верный друг Цезаря. Ему приснилось, будто Цезарь зовет его на обед, он отказывается, а тот упорно настаивает и, в конце концов, берет его – изумленного и испуганного – за руку и силою ведет в какое-то обширное и темное место. После этого сна его лихорадило всю ночь до рассвета, но утром, когда начался обряд погребения, Цинна постыдился остаться дома и вышел. Толпа между тем уже бушевала, его увидели и, приняв не за того, кем он был на самом деле, но за другого Цинну, который недавно поносил Цезаря на форуме, растерзали в клочья.

21. Этот ужасный случай всего более – наряду с переменой в поведении Антония – напугал Брута и его друзей, и они покинули Рим. Первое время они оставались в Антии, рассчитывая вернуться, как только ярость народа уляжется и утихнет, а этого, полагали они, дождаться будет нетрудно, ибо порывы, владеющие толпою, неверны и мимолетны. Кроме того, они располагали поддержкой сената, который, правда, оставил убийц Цинны безнаказанными, но пытался выловить и заключить под стражу поджигателей, напавших в день похорон на их дома. Уже и простой люд начинал тяготиться Антонием, который сделался чуть ли не единоличным властителем, и тосковать по Бруту. Ожидали, что он сам будет руководить и распоряжаться играми[15], которые должен был устроить по долгу претора, но Брут узнал, что многие старые воины, прежде служившие под началом Цезаря и получившие от него землю в деревнях и близ городов, замышляют отомстить его убийце и небольшими отрядами стекаются в Рим, а потому не посмел приехать. Тем не менее игры были даны и отличались большою пышностью и великолепием, несмотря на отсутствие претора, который заранее скупил великое множество диких зверей и теперь распорядился ни единого не продавать и не оставлять, но всех до последнего выпустить на арену. Сам он нарочно отправился в Неаполь, чтобы встретить большую труппу актеров, а друзьям писал, чтобы они уговорили выступить некоего Канутия, который тогда пользовался на театре громадным успехом, – уговорили, ибо принуждать силою никого из греков не годится. Писал он и Цицерону и просил его быть на играх непременно.

22. В таком-то вот положении находились дела, когда в Рим прибыл молодой Цезарь, и события немедленно изменили свой ход. Это был внучатый племянник Цезаря, по завещанию им усыновленный и назначенный наследником. Во время убийства он находился в Аполлонии, занимаясь науками и поджидая Цезаря, намеревавшегося в самом ближайшем будущем выступить походом на парфян. Узнав о случившемся, молодой человек немедленно приехал в Рим. Торопясь приобрести благосклонность народа, он, первым делом, принял имя Цезаря и, распределяя между гражданами деньги, которые им оставил его приемный отец, одним ударом пошатнул положение Антония, а щедрыми раздачами привлек и переманил на свою сторону многих старых солдат Цезаря. Когда же, из ненависти к Антонию, приверженцем молодого Цезаря сделался и Цицерон, Брут резко порицал его[16] и писал, что Цицерон не властью господина тяготится, но лишь испытывает страх перед злым господином и, когда он и в речах и в письмах клянется, будто молодой Цезарь – достойный человек, он просто-напросто выбирает себе ярмо полегче. “Но предки наши не смирялись, – продолжает Брут, – и с добрыми господами!” Сам он еще твердо не решил, начинать ли войну или хранить спокойствие, но одно ему ясно уже теперь – никогда и ни за что он не будет рабом. И он не может не удивляться тому, что Цицерон, который так отчаянно боится ужасов междоусобной войны, позорного и бесславного мира не боится и в уплату за ниспровержение одного тиранна – Антония – требует для себя права поставить тиранном Цезаря.

23. Так писал Брут в первых своих письмах. Но видя, что государство разделилось на два враждебных стана – стан Цезаря и стан Антония, что войска,

словно на продаже с торгов, изъявляют готовность присоединиться к тому, кто больше заплатит, он, в совершенном отчаянии, решил покинуть Италию и сухим путем, через Луканию, добрался до Элеи, что на берегу моря. Оттуда Порции предстояло вернуться в Рим. Она пыталась скрыть волнение и тоску, но, несмотря на благородную высоту нрава, все же выдала свои чувства, рассматривая картину какого-то художника, изображавшую сцену из греческой истории: Андромаха прощается с Гектором и, принимая сына из его рук, пристально глядит на супруга. Видя образ своих собственных страданий, Порция не могла сдержать слез и все плакала, много раз на дню подходя к картине. Когда же Ацилий, один из друзей Брута, прочитал на память обращенные к Гектору слова Андромахи[17]:

> Гектор, ты все мне теперь – и отец, и любезная матерь.
> Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный.

– Брут улыбнулся и заметил: "А вот мне никак нельзя сказать Порции то же, что говорит Андромахе Гектор:

> Тканьем, пряжей займись, приказывай женам домашним.

Лишь по природной слабости тела уступает она мужчинам в доблестных деяниях, но помыслами своими отстаивает отечество в первых рядах бойцов – точно так же, как мы". Об этом разговоре сообщает сын Порции Бибул.

24. Из Элеи Брут поплыл в Афины. Народ приветствовал его не только восторженными кликами на улицах, но и особыми постановлениями Собрания. Поселившись у одного из своих гостеприимцев, Брут ходил слушать академика Феомнеста и перипатетика Кратиппа и, занимаясь с ними философией, казалось, с головою был погружен в науку, но между тем, исподволь, вел приготовления к войне. Он отправил в Македонию Герострáта, чтобы расположить в свою пользу начальников тамошних войск, и сплачивал вокруг себя молодых римлян, которые учились в Афинах. Среди них был и сын Цицерона. Брут расхваливал его на все лады и говорил, что и во сне и наяву восхищается редкостным благородством юноши и его ненавистью к тирании. Наконец, он переходит к открытым действиям и, узнав, что от азиатского берега отошло несколько римских судов, груженных деньгами и находящихся под командою претора, отличного человека и доброго его знакомца, выходит к Каристу ему навстречу. Брут убедил претора передать суда и груз в его распоряжение, а затем принимал его у себя. Пир отличался особою пышностью (Брут справлял день своего рождения), и когда, покончив с едою и перейдя к вину, гости пили за победу Брута и свободу римлян, хозяин, желая воодушевить собравшихся еще сильнее, потребовал себе чашу, но, приняв ее, без всякой видимой причины вдруг произнес следующий стих:

> Грозная Мойра меня и сын Летó погубили[18].

В дополнение к этому писатели сообщают, что накануне своей последней битвы Брут дал воинам пароль "Аполлóн". Вот почему в стихе, который сорвался тогда у него с уст, видят знамение, предвозвестившее разгром при Филиппах.

25. После этого Антистий передает ему пятьсот тысяч драхм из тех денег, какие должен был отвезти в Италию, а все отстатки Помпеева войска, еще скитавшиеся в фессалийских пределах, начинают радостно собираться под знамена Брута. У Цинны Брут забрал пятьсот конников, которых тот вел к Долабелле в Азию. Приплыв в Деметриаду, он завладел большим складом оружия, которое было запасено по приказу старшего Цезаря для парфянского похода, а теперь ждало отправки к Антонию.

Претор Гортензий уже уступил Бруту власть над Македонией, а все цари и правители окрестных земель уже обещали ему свою поддержку, когда пришла весть, что брат Антония, Гай, переправившись из Италии и высадившись, немедленно двинулся на соединение с войском Ватиния[19], занимавшим Эпидамн и Аполлонию. Чтобы упредить Гая и расстроить его планы, Брут внезапно выступил со своими людьми и, несмотря на сильнейший снегопад и бездорожье, шел с такою быстротой, что намного опередил подсобный отряд, который нес продовольствие. Но вблизи Эпидамна, от усталости и стужи, на него напал волчий голод. Главным образом недуг этот поражает скот и людей, измученных долгим пребыванием под снегом, – то ли потому, что при охлаждении и уплотнении тела вся теплота его уходит внутрь и до конца переваривает всю принятую человеком пищу, либо же, напротив, оттого, что едкие и тонкие испарения тающего снега пронизывают тело и губят его теплоту, выгоняя ее наружу. Ведь и испарина, сколько можно судить, вызывается теплотою, угашаемою встречей с холодом на поверхности тела. Более подробно этот вопрос рассматривается в другом сочинении[20].

26. Брут лишился чувств, и так как ни у кого из воинов не было с собою ничего съестного, его приближенные вынуждены были обратиться за помощью к неприятелю. Подойдя к городским воротам, они попросили у караульных хлеба. Но те, узнавши, что Брут заболел, явились сами и принесли ему еды и питья. В благодарность за услугу Брут, овладев городом, обошелся милостиво и дружелюбно не только с этими воинами, но – ради них – и со всеми прочими. Между тем Гай Антоний прибыл в Аполлонию и созывал туда всех воинов, размещенных неподалеку. Но воины уходили к Бруту, и убедившись, что Бруту сочувствуют жители города, Гай выступил в Буфрот. Еще в пути он потерял три когорты, которые были изрублены Брутом, а затем, пытаясь отбить у противника выгодные позиции близ Биллиды, завязал сражение с Цицероном и потерпел неудачу. (Молодой Цицерон был у Брута одним из начальников и много раз одерживал победы над врагом.) Вскоре после этого Гай, оказавшись среди болот, слишком рассредоточил боевые силы, и тут его настиг сам Брут; не позволяя своим нападать, он окружил противника отрядами конницы и распорядился щадить его – в надежде, что спустя совсем немного эти воины будут под его командой. И верно – они сдались сами и выдали своего полководца, а войско Брута сделалось многочисленным и грозным. Пленному Гаю он оказывал долгое время полное уважение и даже не лишил его знаков власти, хотя многие, в том числе и Цицерон, писали[21] ему из Рима, настоятельно советуя казнить этого человека. Когда же Гай вступил в тайные переговоры с военачальниками Брута и попытался вызвать мятеж, Брут велел посадить его на корабль и зорко сторо-

жить. Воины, которые, поддавшись соблазну, стеклись в Аполлонию, звали туда Брута, но он отвечал, что это противно римским обычаям и что они сами должны прийти к полководцу и умолять его о милости и снисхождении к их проступкам. Они выполнили его условие, и Брут их простил.

27. Брут собирался переправиться в Азию, когда получил сообщение о случившихся в Риме переменах. Сенат поддержал молодого Цезаря в борьбе с Антонием, и Цезарь, изгнав своего врага из Италии, теперь уже сам внушал страх и тревогу, ибо вопреки законам домогался консульства и содержал громадное войско – без всякой нужды для государства. Видя, однако, что сенат недоволен и обращает взоры за рубеж, к Бруту, и даже особым постановлением утвердил за ним его провинции[22], Цезарь испугался. Он отправил к Антонию гонца с предложением дружбы, а потом окружил город своими солдатами и таким образом добился консульства, хотя был еще совершеннейший мальчишка и не достиг даже двадцати лет, как сказано в его же собственных "Воспоминаниях". Немедленно вслед за тем он возбуждает против Брута и его товарищей уголовное преследование за убийство без суда первого из высших должностных лиц в государстве. Обвинителем Брута он назначил Луция Корнифиция, обвинителем Кассия – Марка Агриппу. Они были осуждены заочно, причем судьи подавали голоса, подчиняясь угрозам и принуждению. Рассказывают, что когда глашатай, в согласии с обычаем, выкликал с ораторского возвышения имя Брута, вызывая его на суд, народ громко застонал, а лучшие граждане молча понурили головы, Публий же Силиций у всех на глазах разразился слезами, за что имя его, спустя немного, было внесено в список обрекаемых на смерть. После этого трое – Цезарь, Антоний и Лепид – заключили союз, поделили между собою провинции и истребили, объявив вне закона, двести человек. В числе погибших был и Цицерон.

28. Когда весть об этом достигла Македонии, Брут оказался перед необходимостью написать Гортензию, чтобы он казнил Гая Антония – в отместку за смерть Брута Альбина и Цицерона: с первым Брута связывало родство, со вторым дружба. Вот почему впоследствии, после битвы при Филиппах, Антоний, захватив Гортензия в плен, приказал заколоть его на могиле своего брата. Брут о кончине Цицерона говорил, что сильнее, чем скорбь и сострадание, его сокрушает стыд при мысли о причинах этой смерти, и вину за все случившееся возлагал на друзей в Риме. Они сами, больше, чем тиранны, виновны в том, что влачат рабскую долю, восклицал Брут, если терпеливо смотрят на то, о чем и слышать-то непереносимо!

Перевезя свое – теперь уже внушительное и мощное – войско в Азию, Брут приказал снаряжать корабли в Вифинии и близ Кизика, а сам подвигался сушею, улаживая дела городов и ведя переговоры с властителями. Одновременно он послал гонца в Сирию, чтобы вернуть Кассия из египетского похода[23], ибо, как писал ему Брут, не державы для себя ищут они, но хотят освободить отечество и того лишь ради скитаются по свету, собирая военную силу, с помощью которой низложат тираннов. Всякий миг и час им следует держать в уме эту главную цель, а потому не удаляться от Италии, но спешить домой на помощь согражданам. Кассий согласился с этими доводами и повернул назад, а Брут вы-

ступил ему навстречу. Они встретились близ Смирны – впервые с тех пор, как расстались в Пирее и один направился в Сирию, а другой в Македонию, – и оба ощутили живейшую радость и твердую надежду на успех при виде войска, которое собрал каждый из них. И верно, ведь они покинули Италию наподобие самых жалких изгнанников, безоружными и нищими, не имея ни судна с гребцами, ни единого солдата, ни города, готового их принять, и вот, спустя не так уж много времени, они сходятся снова, располагая и флотом, и конницей, и пехотою, и деньгами в таком количестве, что способны достойно соперничать со своими противниками в борьбе за верховную власть в Риме.

29. Кассий желал, чтобы они с Брутом пользовались равными почестями, но Брут опередил и превзошел его желание, и обыкновенно приходил к нему сам, принимая в расчет, что Кассий старше годами и менее вынослив телом. Кассий пользовался славою опытного воина, но человека раздражительного и резкого, который подчиненным не внушает ничего, кроме страха, и слишком охотно и зло потешается насчет друзей, Брута же за его нравственную высоту ценил народ, любили друзья, уважала знать, и даже враги не питали к нему ненависти, ибо он был наредкость мягок и великодушен, неподвластен ни гневу, ни наслаждению, ни алчности и с непреклонною твердостью держался своего мнения, отстаивая добро и справедливость. Всего более, однако, славе и влиянию Брута способствовала вера в чистоту его намерений. В самом деле, даже от Помпея Великого никто всерьез не ожидал, что в случае победы над Цезарем он откажется от власти и подчинится законам, напротив, все опасались, как бы он не удержал власть навсегда, назвав ее, – чтобы успокоить народ, – именем консульства или диктатуры, или какой-либо иной, более скромной и менее высокой должности. Что же касается Кассия, такого горячего и вспыльчивого, так часто отступавшего от справедливости ради собственной выгоды, и сомнений-то почти не было, что он воюет, терпит скитания и опасности, ища лишь могущества и господства для себя, а отнюдь не свободы для сограждан. Ведь и в более ранние времена люди вроде Цинны, Мария, Карбона обращали отечество в военную добычу или, если угодно, в награду победителю на состязаниях и разве что во всеуслышание не объявляли, что вооруженною рукой оспаривают друг у друга тираннию. Однако ж Брута, сколько нам известно, даже враги не обвиняли в подобной переменчивости и вероломстве, а Антоний в присутствии многих свидетелей говорил, что, по его мнению, один лишь Брут выступил против Цезаря, увлеченный кажущимся блеском и величием этого деяния, меж тем как все прочие заговорщики просто-напросто ненавидели диктатора и завидовали ему. Вот почему Брут, как явствует из его писем, не столько полагался на свою силу, сколько на нравственную высоту. Так, когда решающий миг уже близится, он пишет Аттику, что нет судьбы завиднее его: либо он выйдет из битвы победителем и освободит римский народ, либо погибнет и тем самым избавит себя от рабства. "Все остальное для нас ясно и твердо определено, – продолжает Брут, – неизвестно только одно – предстоит ли нам жить, сохраняя свою свободу, или же умереть вместе с нею". Марк Антоний, говорится в том же письме, терпит достойное наказание за свое безрассудство. Он мог бы числиться среди Брутов, Кассиев и Катонов, а стал прихвостнем Октавия, и если теперь не понесет пора-

жения с ним вместе, то вскорости будет сражаться против него. Этими словами Брут словно бы возвестил будущее, и возвестил точно.

30. В Смирне Брут просил Кассия поделиться с ним деньгами, – которых тот собрал немало, – ибо все, что было у него самого, он израсходовал на постройку флота, достаточно многочисленного, чтобы сделать их безраздельными хозяевами Средиземного моря. Друзья не советовали Кассию давать деньги. "Несправедливо! – кричали они. – Ты берег и хранил, ты взимал и взыскивал, навлекая на себя всеобщую ненависть, а плоды забирает Брут, чтобы угождать своим солдатам!" Тем не менее Кассий отдал Бруту третью часть своей казны.

После этого они снова расстались, и каждый принялся за свои дела. Кассий взял Родос и обошелся с жителями очень жестоко, – и это после того, как, вступая в город, отвечал тем, кто приветствовал его именем царя и владыки: "Не царь и не владыка, но убийца и каратель владыки и царя!" Брут требовал у ликийцев денег и воинов, но народный вожак Навкрат склонил города к мятежу, и ликийцы заняли несколько высот, чтобы помешать Бруту вторгнуться в их страну. Сперва Брут двинул против них свою конницу, которая напала на врага во время завтрака и перебила шестьсот человек, а потом, захватив несколько крепостей и городков, отпустил всех пленных без выкупа, надеясь привлечь к себе народ добротою. Но ликийцы были строптивы, урон, который они несли, крайне их озлоблял, а снисходительность и человеколюбие Брута нимало не трогали, и в конце концов Брут загнал самых горячих и воинственных среди них в Ксанф и осадил город.

Осажденные пытались бежать, переплыв под водою реку, что протекала у стен Ксанфа, но запутывались в расставленных на глубине сетях, которые звоном колокольцев, привязанных к поплавкам, немедленно выдавали попадавшихся. Тогда ксанфийцы сделали ночью вылазку и подожгли часть осадных машин, но римляне быстро заметили противника и оттеснили его назад, а когда сильные порывы ветра стали перебрасывать языки пламени через крепостные зубцы и занялись близлежащие дома, Брут испугался за судьбу всего города и приказал своим помочь горожанам тушить пожар. 31. Но ликийцев внезапно охватило чудовищное, поистине неописуемое безумие, которое скорее всего следовало бы назвать жаждою смерти. Люди всех возрастов, свободные и рабы, вместе с женщинами, с детьми, взбирались на стены и оттуда копьями и стрелами осыпали неприятелей, спешивших им на помощь, а сами тащили камыш, дрова и вообще все, что легко воспламеняется и горит, и таким образом разнесли огонь повсюду, беспрерывно его поддерживая и всячески раздувая его ярость. Пламя опоясало Ксанф сплошным кольцом и ослепительно полыхало в ночной мгле, а Брут, глубоко потрясенный тем, что совершалось у него на глазах, проезжал верхом вдоль городских стен, страстно желая помочь, простирал руки к осажденным и упрашивал их пожалеть и спасти свой город. Но никто его не слушал, все стремились любым способом лишить себя жизни, – не только мужчины и женщины, но даже малые дети: с криками и воплями они прыгали в огонь, бросались вниз головой со стен, подставляли горло или обнаженную грудь под отцовский меч и молили разить без пощады. Когда город уже погиб, римляне заметили женщину, висевшую в петле, к шее удавленницы был привя-

зан мертвый ребенок, и мертвой рукой она подносила горящий факел к своему жилищу. Столь страшным было это зрелище, что Брут не решился на него взглянуть, но, услышав рассказ очевидцев, заплакал и через глашатая посулил награду воинам, которые спасут жизнь хотя бы одному ликийцу. Сообщают, что набралось всего сто пятьдесят человек, не противившихся спасению и не уклонившихся от него. Так ксанфийцы, спустя долгое время, словно бы завершили назначенный судьбою круг и своею неукротимой отвагою пробудили воспоминание об участи их предков[24], которые в войну с персами подобным же образом сожгли и разрушили свой город и погибли от собственной руки.

32. Патары упорно отказывали римлянам в повиновении, и Брут не решался напасть на город, боясь такого же безумия, как в Ксанфе. После долгих размышлений он отпустил без выкупа несколько женщин из Патар, захваченных его солдатами. То были жены и дочери видных граждан, и своими рассказами о Бруте, о его необыкновенной честности и справедливости они убедили отцов и мужей смириться и сдать город римлянам. После этого и все прочие ликийцы покорились и доверились Бруту. Его честность и доброжелательность превзошли все их ожидания, ибо в то самое время, когда Кассий заставил родосцев выдать все золото и серебро, какое было у каждого в доме (из этих взносов составилась сумма около восьми тысяч талантов), да сверх того обязал город в целом уплатить еще пятьсот талантов, в это самое время Брут взыскал с ликийцев сто пятьдесят талантов и, не причинив им более никакого вреда или же убытка, ушел в Ионию.

33. Среди многих достопамятных поступков, которые совершил Брут, награждая и карая по заслугам, я расскажу лишь об одном, доставившем наибольшее удовлетворение и самому Бруту и благороднейшим из римлян. Когда Помпей Магн, разбитый Цезарем и лишившийся своей великой власти, бежал и приблизился к египетскому берегу у Пелусия, опекуны малолетнего царя держали совет с друзьями, и мнения разделились – одни считали нужным принять беглеца, другие советовали не впускать его в Египет. Но некий хиосец Феодот, нанятый к царю учителем красноречия и, за недостачею более достойных, тоже приглашенный на совет, объявил, что и те и другие неправы и что в сложившихся обстоятельствах единственно целесообразное решение – принять Помпея, а затем его умертвить. И в заключение речи примолвил, что, дескать, мертвец не укусит. Все согласились с Феодотом, и Помпей Магн пал, явивши своею участью пример величайшей неожиданности, подстерегающей человека, и гибель его была плодом и следствием изощренного красноречия софиста, как похвалялся сам Феодот. Немного спустя в Египет прибыл Цезарь, и все эти злодеи понесли жестокую кару и расстались с жизнью, только Феодот получил от судьбы отсрочку, но, вдосталь вкусив позора, нищеты и бездомных скитаний, в конце концов, не укрылся от взора Брута, когда тот проходил через Азию. Злодея привели на суд и казнили, и смертью своей он приобрел больше известности, нежели жизнью.

34. Брут звал Кассия к себе в Сарды и выступил ему навстречу вместе с друзьями, а все войско, выстроенное в полном вооружении, провозгласило обоих императорами. Но, как всегда бывает в важных предприятиях, сопряженных с участием многих друзей и полководцев, у обоих накопились обвинения и жало-

бы, и первым делом, прямо с дороги, они заперлись вдвоем и, с глазу на глаз, принялись осыпать друг друга упреками, потом перешли к прямым нападкам и обличениям, а под конец даже полились слезы и зазвучали слова, чересчур страстные и прямолинейные, так что друзья за дверями дивились их ожесточению и силе гнева и опасались, как бы разговор этот не кончился бедою, однако ж войти, памятуя строгий запрет, не смели. Только Марк Фавоний, горячий поклонник Катона, в любви своей к философии высказывавший больше необузданного чувства, чем здравого размышления, все же попытался проникнуть внутрь. Слуги задержали его на пороге, но не так-то просто было остановить Фавония, рвущегося к цели, – в любых обстоятельствах он действовал одинаково стремительно и буйно. Свое достоинство римского сенатора он не ставил ни во что, и нередко киническою откровенностью речей заглушал их оскорбительный смысл, так что грубая его назойливость воспринималась как шутка. Вот и в тот раз, оттолкнув стражу, он силою ворвался в двери и деланным голосом произнес гомеровские стихи[25], вложенные поэтом в уста Нестору:

Но покоритесь, могучие! оба меня вы моложе

и так далее, Кассий рассмеялся, но Брут выгнал Фавония, обозвав его грязным псом и лжепсом[26]. Все же вторжение Фавония положило спору конец, и они разошлись. Затем Кассий давал обед, на который Брут позвал своих друзей. Все уже легли за стол, когда появился Фавоний, только что после купания. Брут объявил во всеуслышание, что этого гостя никто не приглашал, и велел ему поместиться на верхнем ложе, но Фавоний оттолкнул служителей и улегся на среднем[27]. И за вином царили веселые шутки, перемежавшиеся приятными рассказами и философской беседою.

35. На другой день Брут разбирал дело римлянина Луция Оцеллы, бывшего претора и доверенного своего помощника, которого сардийцы обвиняли в хищении казенных денег, и осудив его, лишил гражданской чести. Это чрезвычайно раздосадовало Кассия. Сам он незадолго до того, когда двоих его друзей изобличили в таком же точно преступлении, изругал их с глазу на глаз, но в открытом заседании оправдал и продолжал пользоваться их услугами. Он даже порицал Брута за чрезмерную приверженность законам и справедливости в такое время, которое требует гибкости и снисходительности. Но Брут просил его вспомнить иды марта, когда они убили Цезаря, – а ведь Цезарь сам не грабил всех подряд, он только давал возможность делать это другим. А стало быть, если и существует какое-либо основание, позволяющее не думать о справедливости, то уж лучше было бы терпеть бесчинства друзей Цезаря, чем смотреть сквозь пальцы на бесчинства собственных друзей. “Да, – пояснил Брут свою мысль, – ибо тогда нас корили бы только за трусость, а теперь, к довершению всех трудов наших и опасностей, мы прослывем врагами справедливости”. Таковы были правила и убеждения Брута.

36. Когда они уже готовились переправиться из Азии в Европу, Бруту, как сообщают, явилось великое и удивительное знамение. Он и от природы был не сонлив, а упражнениями и непримиримою строгостью к себе сократил часы сна донельзя, так что днем вообще не ложился, а ночью – лишь после того, как не

оставалось ни единого дела, которым он мог бы заняться, и ни единого человека, с которым он мог бы вести беседу. А в ту пору, когда война уже началась и исход всего начатого был в руках Брута, а мысли и заботы его были устремлены в будущее, он обыкновенно с вечера, сразу после обеда, дремал недолго, чтобы всю оставшуюся часть ночи посвятить неотложным делам. Если же он все завершал и приводил в порядок скорее обычного, то читал какую-нибудь книгу, вплоть до третьей стражи[28] – пока не приходили с докладом центурионы и военные трибуны. Итак, он собирался переправлять войско в Европу. Была самая глухая часть ночи, в палатке Брута горел тусклый огонь; весь лагерь обнимала глубокая тишина. Брут был погружен в свои думы и размышления, как вдруг ему послышалось, будто кто-то вошел. Подняв глаза, он разглядел у входа страшный, чудовищный призрак исполинского роста. Видение стояло молча. Собравшись с силами, Брут спросил: "Кто ты – человек или бог, и зачем пришел?" Призрак отвечал: "Я твой злой гений, Брут, ты увидишь меня при Филиппах". – "Что ж, до свидания", – бесстрашно промолвил Брут.

37. Когда призрак исчез, Брут кликнул рабов. Они уверяли, что ничего не видели и не слышали никаких голосов. Всю ночь Брут не сомкнул глаз, а рано поутру отправился к Кассию и рассказал о своем видении. Кассий, который держался взглядов Эпикура и нередко беседовал об эпикурейской философии с Брутом, отвечал так: "По нашему учению, Брут, не все, что мы видим или же чувствуем, – истинно. Ощущение есть нечто расплывчатое и обманчивое, а мышление с необычайною легкостью сочетает и претворяет воспринятое чувствами в любые мыслимые образы предметов, даже не существующих в действительности. Ведь эти образы подобны отпечаткам на воске, и человеческая душа, которой свойственно не только воспринимать их, но и создавать самой, способна сама по себе, без малейших усилий, придавать им самые различные формы. Это видно хотя бы на примере сновидений, силою воображения создаваемых почти из ничего, однако же насыщенных всевозможными картинами и событиями. По своей природе душа находится в беспрерывном движении; движение ее и есть то, что мы называем представлениями и мыслями. Что же касается тебя, то, вдобавок ко всему, тело твое, измученное непосильными трудами, колеблет и смущает разум. Теперь о духах. Мы не верим в их существование, а если они существуют, то не могут иметь ни человеческого обличия, ни голоса, и власть их на нас не распространяется. Я бы, впрочем, хотел, чтобы все было иначе – тогда мы с тобою, возглавляя самое священное и самое прекрасное из всех людских начинаний, могли бы полагаться не только на пехоту, на конницу и на многочисленный флот, но и на помощь богов". Такими доводами пытался Кассий успокоить Брута.

Когда воины всходили на корабли, сверху слетели два орла и уселись на первые знамена. Они сопровождали войско до самых Филипп и кормились тем, что бросали им солдаты, но ровно за день до битвы улетели.

38. Бóльшая часть племен, землями которых следовало войско, уже покорилась Бруту, а если встречался город или властитель, раньше избегнувший его внимания, Брут и Кассий склоняли его на свою сторону теперь и так достигли морского берега против острова Фасоса. Там близ Симбола, в так называемых

Теснинах, стоял лагерем Норбан. Страшась окружения, он вынужден был отойти и уступить позицию противнику, который едва не захватил Норбана вместе со всеми его людьми, – ибо Цезарь задерживался из-за болезни, – но Антоний подоспел на помощь с такой быстротой, что Брут просто не поверил своим глазам. Спустя десять дней появился и Цезарь и разбил лагерь напротив Брута, а напротив Кассия стал Антоний. Равнину, которая; разделяла враждебные лагери, римляне называют "Филиппийские поля" [campi Philippi].

Никогда еще столь громадные войска римлян не сражались друг против друга. Числом солдат Брут намного уступал Цезарю, зато войско его отличалось поразительной красотою и великолепием вооружения. Почти у всех оружие было украшено золотом и серебром; на это Брут денег не жалел, хотя во всем остальном старался приучать начальников к воздержности и строгой бережливости. Он полагал, что богатство, которое воин держит в руках и носит на собственном теле, честолюбивым прибавляет в бою отваги, а корыстолюбивым – упорства, ибо в оружии своем они видят ценное имущество и зорко его берегут.

39. Цезарь произвел смотр войску и распорядился выдать каждому из солдат понемногу хлеба и по пяти драхм для жертвоприношения. Тогда Брут, в знак презрения к нужде или же скупости противника, сперва, в согласии с обычаем, устроил на открытом месте смотр и принес очистительные жертвы, а затем распределил по центуриям[29] множество жертвенных животных, да еще сверх того каждый воин получил по пятидесяти драхм, так что в сравнении с неприятелем люди Брута обнаруживали куда больше преданности и рвения.

За всем тем во время смотра Кассию было дурное предзнаменование – ликтор протянул ему венок верхом вниз. Рассказывают, что еще до того, на каких-то играх, в торжественном шествии несли золотую статую Победы, принадлежавшую Кассию, но носильщик поскользнулся, и она упала на землю. Вдобавок, что ни день, над лагерем во множестве появлялись плотоядные птицы, а в одном месте внутри лагерных укреплений заметили рой пчел. Место это прорицатели огородили, чтобы с помощью искупительных обрядов унять суеверный страх, безраздельно завладевший воинами и мало-помалу начинавший смущать и самого Кассия, невзирая на его эпикурейские убеждения. Вот почему Кассий не был склонен немедленно решать исход войны битвою, но советовал отложить сражение и затянуть борьбу, поскольку денег у них достаточно, а численно они слабее врага. Но Брут и раньше стремился как можно скорее завершить дело битвой и либо вернуть отечеству свободу, либо избавить всех людей от бедствий, причиняемых бесконечными поборами, походами и военными распоряжениями, а теперь, видя, что его всадники берут верх во всех стычках и пробных схватках, утвердился в своих намерениях еще более. Кроме того несколько отрядов перебежали на сторону противника, начались доносы и подозрения, что примеру их готовы последовать другие, и это обстоятельство заставило многих друзей Кассия принять на военном совете сторону Брута. Впрочем и среди друзей Брута нашелся один – Ателлий, – который поддержал Кассия и предлагал хотя бы переждать зиму. На вопрос Брута, что надеется он выгадать, дождавшись следующего года, Ателлий отвечал: "Да хоть проживу подольше, и на том спасибо!" Кассий был возмущен этим ответом, да и всех остальных до крайно-

сти раздосадовали слова Ателлия. Итак, решено было дать битву на другой день.

40. Брут был полон счастливых надежд, и после обеда, за которым не смолкали философские рассуждения, лег отдохнуть. Но Кассий, как сообщает Мессала, обедал в узком кругу самых близких друзей и был задумчив и молчалив, вопреки своему нраву и привычкам. Встав из-за стола, он крепко сжал Мессале руку и промолвил по-гречески (как всегда, когда хотел выказать особое дружелюбие): "Будь свидетелем, Мессала, я терплю ту же участь, что Помпей Магн, – меня принуждают в одной-единственной битве подставить под удар все будущее отечества. Не станем, однако ж, терять мужества и обратим взоры наши к Судьбе, ибо отказывать ей в доверии несправедливо, даже если решения наши окажутся неудачны!" И не прибавив больше ни слова, продолжает Мессала, Кассий обнял его; еще раньше он пригласил Мессалу назавтра к обеду – то был день его рождения.

На рассвете в лагерях Брута и Кассия был поднят сигнал битвы – пурпурный хитон, а сами полководцы встретились посредине, между лагерями, и Кассий сказал: "Я хочу, чтобы мы победили, Брут, и счастливо прожили вместе до последнего часа. Но ведь самые великие из человеческих начинаний – в то же время самые неопределенные по конечному своему исходу, и если битва решится вопреки нашим ожиданиям, нам нелегко будет свидеться снова. Так скажи мне теперь, что думаешь ты о бегстве и о смерти?" и Брут отвечал: "Когда я был молод и неопытен, Кассий, у меня каким-то образом – уж и сам не знаю как – вырвалось однажды опрометчивое слово: я порицал Катона за то, что он покончил с собой. Мне представлялось и нечестивым, и недостойным мужа бежать от своей участи, не претерпеть бесстрашно все, что бы ни выпало тебе на долю, но скрыться, исчезнуть. Теперь я иного мнения. Если бог не судил нам удачи в нынешний день, я не хочу подвергать испытанию новые надежды и новые приготовления, но уйду с благодарностью судьбе за то, что в мартовские иды отдал свою жизнь отечеству и, опять-таки ради отечества, прожил еще одну жизнь, свободную и полную славы". Тогда Кассий улыбнулся, обнял Брута и промолвил: "Что же, с этими мыслями – вперед, на врага! Мы либо победим, либо не узнаем страха пред победителями".

Затем, в присутствии друзей, они уговорились насчет построения войска. Брут просил Кассия уступить начальствование над правым крылом ему, хотя, по общему суждению, и опыт, и годы давали Кассию больше прав на это место в строю. Тем не менее Кассий согласился и даже приказал стать на правое крыло самому лучшему и отважному из своих легионов во главе с Мессалою. И Брут, не теряя ни мгновения, бросил вперед свою пышно разубранную конницу и столь же стремительно начал строить в боевой порядок пехоту.

41. Тем временем Антоний вел от болота, у края которого находился его лагерь, рвы по направлению к равнине, чтобы отрезать Кассию путь к морю, а Цезарь, или, вернее, войска Цезаря, – ибо сам он был нездоров и в деле не участвовал, – спокойно выжидали, никак не предполагая, что неприятель завязывает сражение, но в полной уверенности, что это всего-навсего вылазка с целью помешать работам и распугать солдат-землекопов дротиками и грозным шу-

мом. Не обращая внимания на тех, кто выстроился против их собственных позиций, они с изумлением прислушивались к громким, но невнятным крикам, доносившимся со стороны рвов.

Меж тем как сам Брут верхом на коне объезжал легионы, ободряя воинов, начальники, один за другим, получали написанные его рукою таблички с паролем. Но лишь немногие воины успели услышать пароль, который стали передавать по рядам, – большинство, не дождавшись команды в едином порыве, с единым кличем ринулось на врага. Это беспорядочное движение сразу же искривило боевую линию и оторвало легионы друг от друга, и первым легион Мессалы, а за ним соседние соприкоснулись на ходу с левым флангом Цезаря. Едва вступив в схватку с передними рядами и сразив очень немногих, они обошли неприятеля и захватили лагерь. Как рассказывает сам Цезарь в своих "Воспоминаниях", одному из его друзей, Марку Арторию, во сне явилось видение, повелевшее, чтобы Цезарь поднялся с постели и покинул лагерь. Он подчинился – и едва успел выбраться за лагерные укрепления. Враги решили, что Цезарь мертв, ибо пустые его носилки были насквозь пробиты дотиками и метательными копьями. Победители учинили страшную резню и, кроме захваченных в самом лагере, уложили две тысячи лакедемонян, которые явились на помощь Цезарю в разгар битвы.

42. Те воины Брута, которые не участвовали в обходе неприятельского фланга, легко потеснили приведенного в замешательство врага и, изрубив в рукопашной три легиона, упоенные своим успехом, ворвались в лагерь на плечах беглецов. С ними был и сам Брут. Тут, однако, побежденные воспользовались благоприятным для них обстоятельством, которого не приняли в расчет победители: они нанесли ответный удар по лишенной прикрытия и уже вконец расстроенной боевой линии противника, правое крыло которой, увлекшись погонею, потеряло всякую связь с главными силами. Средина, правда, отбивалась с величайшим ожесточением, и ее сломить не удалось, но левое крыло, где царил беспорядок и где ничего не знали о ходе сражения, они обратили в бегство и гнали до самого лагеря, который и разорили, – без ведома обоих своих полководцев. В самом деле, Антоний, как сообщают, при первом же натиске неприятеля укрылся на болоте, а Цезарь, покинув лагерь, исчез без следа, и к Бруту даже являлись воины с донесением, что убили Цезаря, потрясали окровавленными мечами и описывали наружность и годы. Наконец, после кровопролитного боя, средина отбросила врага, так что Брут одержал полную победу. Зато Кассий понес полное поражение, и вот что единственно сгубило обоих: Брут, полагая, что Кассий победил, не пришел ему на выручку, а Кассий думал, что Брут погиб, и не дождался его помощи. Мессала считает доказательством победы то, что они захватили у врага трех орлов и много иных знамен, тогда как враг не взял у них ничего.

Разрушив дотла лагерь Цезаря и возвращаясь назад, Брут удивился, не видя на прежнем месте ни шатра Кассия, возвышающегося, как обычно, над другими, ни остальных палаток (почти все они были сметены и опрокинуты, как только неприятель ворвался в лагерь). Несколько его приближенных, отличавшихся особою остротой глаза, говорили, что различают в лагере Кассия множе-

ство ярко сверкающих шлемов и серебряных щитов, которые движутся с места на место и ни по числу своему ни по внешнему виду не могут принадлежать страже, охраняющей лагерь. Впрочем, продолжали они, по ту сторону укреплений не видно и такой горы трупов, какая непременно осталась бы после разгрома стольких легионов. Эти слова первыми навели Брута на мысль, что стряслась беда. Он велел одному из отрядов нести стражу во вражеском лагере, а сам, прекратив погоню и собрав всех своих воедино, поспешил на подмогу Кассию.

43. Пора, однако, рассказать, что приключилось тем временем с Кассием. Его нисколько не обрадовал первый бросок людей Брута, которые пошли в наступление без пароля и без команды, и с большим неудовольствием следил он за дальнейшим ходом событий – за тем, как правое крыло одержало верх и тут же кинулось грабить лагерь, даже и не думая завершить окружение и сжать неприятеля в кольце. Но сам он вместо того, чтобы действовать с расчетом и решительностью, только медлил без всякого толка, и правое крыло врага зашло ему в тыл, и немедля конница Кассия дружно побежала к морю, а затем дрогнула и пехота. Пытаясь остановить воинов, вернуть им мужество, Кассий вырвал знамя у одного из бегущих знаменосцев и вонзил древко перед собою в землю, хотя даже его личная охрана не изъявляла более ни малейшего желания оставаться рядом со своим командующим. Так, волей-неволей, он с немногими сопровождающими отступил и поднялся на холм, с которого открывался широкий вид на равнину. Впрочем, сам он был слаб глазами и даже не мог разглядеть свой лагерь, который разоряли враги, но его спутники заметили приближающийся к ним большой отряд конницы. Это были всадники, посланные Брутом, Кассий, однако, принял их за вражескую погоню. Все же он выслал на разведку одного из тех, кто был подле него на холме, некоего Титиния. Всадники заметили Титиния и, узнавши друга Кассия и верного ему человека, разразились радостными криками; приятели его спрыгнули с коней и горячо его обнимали, а остальные скакали вокруг и, ликуя, бряцали оружием, и этот необузданный восторг стал причиною непоправимого бедствия. Кассий решил, что под холмом, и в самом деле, враги и что Титиний попался к ним в руки. Он воскликнул: "Вот до чего довела нас постыдная жажда жизни – на наших глазах неприятель захватывает дорогого нам человека!" – и с этими словами удалился в какую-то пустую палатку, уведя за собою одного из своих отпущенников, по имени Пиндар, которого еще со времени разгрома Красса постоянно держал при себе на случай подобного стечения обстоятельств. От парфян он благополучно спасся, но теперь, накинув одежду на голову, он подставил обнаженную шею под меч отпущенника. И голову Кассия нашли затем отдельно от туловища, а самого Пиндара после убийства никто не видел, и потому некоторые даже подозревали, что он умертвил Кассия по собственному почину. Прошло совсем немного – и всадники стали видны вполне отчетливо, а тут и Титиний с венком, которым его на радостях украсили, явился, чтобы обо всем доложить Кассию. Когда же он услыхал стоны и рыдания убитых горем друзей и узнал о роковой ошибке командующего и о его гибели, он обнажил меч и, отчаянно проклиная свою медлительность, закололся.

44. При первом же известии о поражении Брут поспешил к месту боя, но о смерти Кассия ему донесли уже вблизи лагеря. Брут долго плакал над телом, называл Кассия последним из римлян, словно желая сказать, что людей такой отваги и такой высоты духа Риму уже не видать, а затем велел прибрать и обрядить труп и отправить его на Фасос, чтобы не смущать лагерь погребальными обрядами. Собрав воинов Кассия, он постарался успокоить их и утешить. Видя, что они лишились всего самого необходимого, он обещал каждому по две тысячи драхм – в возмещение понесенного ущерба. Слова его вернули солдатам мужество, а щедрость повергла их в изумление. Они проводили Брута, на все лады восхваляя его и крича, что из четырех императоров один только он остался непобежденным в этой битве. И верно, течение событий показало, что Брут не без основания надеялся выйти из битвы победителем. С меньшим, чем у неприятеля, числом легионов он опрокинул и разбил все стоявшие против него силы, а если бы, к тому же в ходе боя смог воспользоваться всем своим войском, если бы бóльшая его часть не обошла вражеские позиции с фланга и не бросилась грабить, – вряд ли можно сомневаться, что противник был бы разгромлен наголову.

45. У Брута пали восемь тысяч (вместе с вооруженными рабами, которых Брут называл “бригами”). Однако противник, как утверждает Мессала, потерял более чем вдвое и потому был опечален и подавлен гораздо сильнее, но – лишь до тех пор, пока, уже под вечер, к Антонию не явился слуга Кассия, по имени Деметрий, и не принес ему снятые прямо с трупа одежды и окровавленный меч. Это настолько воодушевило вражеских начальников, что с первыми лучами солнца они вооружили своих и повели их в битву. Между тем в обоих лагерях Брута царили волнения и тревога, ибо собственный его лагерь был битком набит пленными и требовал сильной охраны, лагерь же Кассия не так-то уж легко и спокойно встретил смену полководца, а, вдобавок, потерпевшие поражение страдали от зависти и даже ненависти к своим более удачливым товарищам. Итак. Брут решил привести войско в боевую готовность, но от сражения уклоняться. Между пленными было множество рабов, и, обнаружив, что они замешались в гущу воинов, Брут счел это подозрительным и приказал их казнить, из числа же свободных некоторых отпустил на волю, объявив, что скорее у его противников были они пленниками и рабами, тогда как у него вновь обрели свободу и гражданское полноправие. Видя, однако, что и его друзья и начальники отрядов полны непримиримого ожесточения, он спрятал этих людей, а затем помог им бежать.

Среди прочих в плен попали мим Волумний и шут Саккулион; Брута они нисколько не занимали, но друзья привели к нему обоих с жалобами, что даже теперь не прекращают они своих дерзких речей и наглых насмешек. Занятый иными заботами, Брут ничего не ответил, и тогда Мессала Корвин предложил высечь их плетьми на глазах у всего войска и нагими отослать к вражеским полководцам, чтобы те знали, какого рода приятели и собутыльники нужны им в походе. Иные из присутствовавших рассмеялись, однако Публий Каска, тот, что в мартовские иды первым ударил Цезаря кинжалом, заметил: “Худо мы поступаем, принося жертву тени Кассия забавами и весельем. Но мы сейчас увидим,

Брут, – продолжал он, – какую память хранишь ты об умершем полководце, – ты либо накажешь тех, кто готов поносить его и осмеивать, либо сохранишь им жизнь". На это Брут, в крайнем раздражении, отвечал: "Вы же сами знаете, как надо поступить, так зачем еще спрашиваться у меня?" Эти слова Каска счел за согласие и смертный приговор несчастным, которых без всякого промедления отвели в сторону и убили.

46. Затем Брут выплатил каждому обещанные деньги и, выразив некоторое неудовольствие своим воинам за то, что они бросились на врага, не дождавшись ни пароля, ни приказа, не соблюдая строя и порядка, посулил отдать им на разграбление два города – Фессалонику и Лакедемон, – если только они выкажут отвагу в бою. В жизни Брута это единственный поступок, которому нет извинения. Правда Антоний и Цезарь, чтобы наградить солдат, чинили насилия, куда более страшные, и, очищая для своих победоносных соратников земли и города, на которые те не имели ни малейших прав, чуть ли не всю Италию согнали с давно насиженных мест, но для них единственною целью войны были власть и господство, а Бруту, чья нравственная высота пользовалась такою громкою славой, даже простой люд не разрешил бы ни побеждать, ни спасать свою жизнь иначе, чем в согласии с добром и справедливостью, и особенно – после смерти Кассия, который, как говорили, иной раз и Брута толкал на чересчур крутые и резкие меры. Однако же, подобно тому как на судне, где обломилось кормовое весло, начинают прилаживать и приколачивать всякие доски и бревна, лишь бы как-нибудь помочь беде, так же точно и Брут, оставшись один во главе такого громадного войска, в таком ненадежном, шатком положении, и не имея рядом с собой полководца, равного ему самому, был вынужден опираться на тех, что его окружали, а стало быть, – во многих случаях и действовать, и говорить, сообразуясь с их мнением. Мнение же это состояло в том, что необходимо любой ценой поднять боевой дух воинов Кассия, ибо справиться с ними было просто невозможно: безначалие сделало их разнузданными наглецами в лагере, а поражение – трусами пред лицом неприятеля.

47. Впрочем, и у Цезаря с Антонием положение было ничуть не лучше. Продовольствия оставалось в обрез, и, так как лагерь их был разбит в низине, они ждали мучительной зимы. Они сгрудились у самого края болота, а сразу после битвы пошли осенние дожди, так что палатки наполнялись грязью и водой, и месиво это мгновенно застывало от холода. В довершение всего приходит весть о несчастии, постигшем их силы на море: корабли Брута напали на большой отряд, который плыл к Цезарю из Италии, и пустили его ко дну, так что лишь очень немногие избегли гибели, да и те умирали с голода и ели паруса и канаты. Получив это сообщение, Антоний и Цезарь заторопились с битвою, чтобы решить исход борьбы прежде, чем Брут узнает о своей удаче. И сухопутное и морское сражения произошли одновременно, но вышло так – скорее по какой-то несчастливой случайности, чем по злому умыслу флотских начальников, – что даже двадцать дней спустя после победы Брут еще ничего об ней не слыхал. А иначе, располагая достаточными запасами продовольствия, разбивши лагерь на завидной позиции, неприступной ни для тягот зимы, ни для вражеского нападения, он не скрестил бы оружия с неприятелем еще раз, ибо надежная победа на

море после успеха, который одержал на суше он сам, исполнила бы его и новым мужеством и новыми надеждами. Но власть, по-видимому, не могла долее оставаться в руках многих, требовался единый правитель, и божество, желая устранить того единственного, кто еще стоял поперек дороги будущему правителю, не дало добрым вестям дойти до Брута. А между тем они едва не коснулись его слуха, ибо всего за день до битвы поздним вечером из вражеского стана явился перебежчик, некий Клодий, и сообщил, что Цезарь, получив донесение о гибели своего флота, жаждет сразиться с неприятелем как можно скорее. Но словам этого человека не дали никакой веры и даже не допустили его к Бруту в твердом убеждении, что он либо пересказывает нелепые слухи, либо просто лжет, чтобы угодить новым товарищам по оружию.

48. Говорят, что в эту ночь Бруту снова явился призрак. С виду он был такой же точно, как в первый раз, но не проронил ни слова и молча удалился. Правда, философ Публий Волумний, проделавший под командою Брута весь поход от начала до конца, об этом знамении не упоминает, зато пишет, что первый орел был весь облеплен пчелами и что на руке у одного из начальников вдруг, неизвестно от чего, выступило розовое миро и, сколько его ни вытирали, выступало снова, а что уже перед самою битвой в промежутке между обоими лагерями сшиблись и стали драться два орла и вся равнина, затаив дыхание, следила за боем, пока, наконец, та птица, что была ближе к войску Брута, не поддалась и не улетела прочь. Часто вспоминают еще об эфиопе, который, когда отворили лагерные ворота, попался навстречу знаменосцу, и воины, сочтя это дурной приметой, изрубили его мечами.

49. Брут вывел войско на поле и выстроил его в боевом порядке против неприятеля, но долгое время не начинал битву: проверяя построение, он получил несколько доносов и сам заподозрил иные из отрядов в измене. Кроме того он видел, что конница отнюдь не горит желанием сражаться, но все время озирается, выжидая действий пехоты. И тут, внезапно, один конник, прекрасный воин, чья отвага была отмечена высокими наградами, выехал из рядов неподалеку от Брута и ускакал к неприятелю. Звали его Камулат. Брут был до крайности раздосадован этим неожиданным предательством и, уступая чувству гнева, но вместе с тем и страшась, как бы пример Камулата не оказался заразителен, тут же двинулся на врага, хотя солнце уже склонялось к западу – шел девятый час дня. Тот фланг, что находился под прямым начальством Брута, взял верх над неприятелем и обратил в бегство левое его крыло. Конница своевременно поддержала пехоту и вместе с нею теснила и гнала расстроенные ряды противника. Но другой фланг начальники, чтобы предотвратить окружение, растягивали все больше и больше, а так как численное превосходство было на стороне Цезаря и Антония, боевая линия истончилась в средине и потеряла силу, так что натиска врага выдержать не смогла и побежала, а те, кто совершил этот прорыв, немедленно ударили Бруту в тыл. В этот грозный час Брут свершил все возможное и как полководец и как воин, но победы не удержал, ибо даже то, что было явной удачей в первой битве, теперь обернулось ему во вред. В самом деле, тогда вся разбитая часть вражеского войска была тотчас истреблена, а войско Кассия, хотя и понесло поражение, мертвыми потеряло совсем немного. Но разгром пре-

вратил этих спасшихся от смерти в неисправимых трусов, и теперь они заразили робостью и смятением чуть ли не каждого из бойцов.

В этот же час сын Катона Марк, сражаясь среди самых храбрых и знатных молодых воинов и чувствуя, что неприятель одолевает, тем не менее не побежал, не отступил, но, громко выкликая свое имя и имя своего отца, разил врага до тех пор, пока и сам не рухнул на груду вражеских трупов. И по всему полю боя падали мертвыми лучшие, самые доблестные, бесстрашно отдавая свою жизнь за Брута.

50. Среди близких его друзей был некий Луцилий, человек благородный и достойный. Он заметил, что отряд варварской конницы, не обращая внимания ни на кого из беглецов, упорно гонится на Брутом, и решил любою ценой их остановить. И вот, немного поотстав от прочих, Луцилий кричит преследователям, что Брут – это он, и всадники поверили с тем большею легкостью, что пленник просил доставить его к Антонию: Цезаря, дескать, он боится, Антонию же готов довериться. В восторге от этой счастливой находки, восхваляя свою поразительную удачу, они повезли Луцилия в лагерь, выслав вперед гонцов. Антоний до того обрадовался, что несмотря на поздний час – уже ложились сумерки – поспешил навстречу всадникам, а все остальные, кто узнавал, что Брута схватили и везут живым, сбегались вместе, и одни жалели об его злой судьбе, другие твердили, что он опорочил былую свою славу, сделавшись из недостойной привязанности к жизни добычею варваров. Конники были уже близко, и Антоний, не зная, как ему принять Брута, остановился, а Луцилий, когда его вывели вперед, без малейших признаков страха объявил: "Марка Брута, Антоний, ни один враг не поймал и, верно, никогда не поймает – судьба да не одержит такой победы над доблестью! Если же его все-таки сыщут – живым или мертвым, – он в любом случае окажется достоин себя и своей славы. Я обманул твоих воинов – и потому я здесь, и без возражений приму любую самую жестокую кару за свой обман". Все были поражены и растеряны, но Антоний, обернувшись к тем, кто привез Луцилия, сказал так: "Вас, друзья, эта ошибка, конечно немало огорчает, вы считаете себя оскорбленными не на шутку. Но будьте совершенно уверены, вам досталась добыча еще лучше той, какую вы искали. Ведь искали вы врага, а привели нам друга. Что бы я стал делать с Брутом, если бы он живым попал в мои руки, – клянусь богом, не знаю, но такие вот люди пусть всегда будут мне друзьями, а не врагами!" Он обнял Луцилия и поручил его заботам одного из своих приближенных, а впоследствии мог твердо рассчитывать на его верность во всех случаях жизни, до самого конца.

51. Брут переправился через речушку с крутыми и лесистыми берегами и, так как уже стемнело, счел ненужным забираться далеко в чащу, но вместе с немногими друзьями и начальниками расположился в какой-то лощине у подножья высокой скалы. Опустившись наземь, он поднял глаза к усыпанному звездами небу и произнес два стиха, из которых один Волумний привел:

Зевс, кару примет пусть виновник этих бед![30]

а другой, как он пишет, забыл. Помолчав немного, Брут принялся оплакивать друзей, которые пали, защищая его в бою. Он не пропустил никого, каждого на-

звал по имени, но особенно горько сокрушался о Флавии и Лабеоне. (Лабеон был у него легатом, а Флавий – начальником рабочего отряда.) Один из его спутников, который и сам хотел пить, и видел, что Брута тоже томит жажда, взял шлем и бегом спустился к реке. В этот миг в противоположной стороне раздался какой-то шум, и Волумний со щитоносцем Дарданом пошел взглянуть, что случилось. Вскорости они были обратно и первым делом спросили, не осталось ли воды. Ласково улыбнувшись Волумнию, Брут отвечал: "Всё выпили, а вам сейчас принесут еще". Снова послали того же, кто ходил в первый раз, но он встретился с неприятелем, был ранен и едва-едва ускользнул.

Брут предполагал, что потери убитыми не столь уже велики, и Статилий вызвался пробиться через неприятельские караулы, – ибо другого пути не было, – осмотреть лагерь и, если расчеты Брута верны и лагерь цел, дать сигнал факелом и возвратиться назад. Горящий факел вдали они увидели и поняли, что Статилий благополучно достиг цели, но время шло, а он все не возвращался, и Брут сказал: "Если Статилий жив, он непременно будет с нами". Случилось, однако ж, так, что на обратном пути он наткнулся на врагов и в стычке погиб.

52. Была уже глубокая ночь, и Брут, не поднимаясь с места, наклонился к своему рабу Клиту и что-то ему шепнул. Ничего не сказав в ответ, Клит заплакал, и тогда Брут подозвал щитоносца Дардана и говорил с ним с глазу на глаз. Наконец, он обратился по-гречески к самому Волумнию, напомнил ему далекие годы учения и просил вместе с ним взяться за рукоять меча, чтобы усилить удар. Волумний наотрез отказался, и остальные последовали его примеру. Тут кто-то промолвил, что медлить дольше нельзя и надо бежать, и Брут, поднявшись, отозвался: "Вот именно, бежать, и как можно скорее. Но только с помощью рук, а не ног". Храня вид безмятежный и даже радостный, он простился со всеми по очереди и сказал, что для него было огромною удачей убедиться в искренности каждого из друзей. Судьбу, продолжал Брут, он может упрекать только за жестокость к его отечеству, потому что сам он счастливее своих победителей, – не только был счастливее вчера или позавчера, но и сегодня счастливее: он оставляет по себе славу высокой нравственной доблести, какой победителям ни оружием, ни богатством не стяжать, ибо никогда не умрет мнение, что людям порочным и несправедливым, которые погубили справедливых и честных, править государством не подобает.

Затем он горячо призвал всех позаботиться о своем спасении, и сам отошел в сторону. Двое или трое двинулись за ним следом, и среди них Стратон, с которым Брут познакомился и подружился еще во время совместных занятий красноречием. Брут попросил его стать рядом, упер рукоять меча в землю и, придерживая оружие обеими руками, бросился на обнаженный клинок и испустил дух. Некоторые, правда, утверждают, будто Стратон сдался на неотступные просьбы Брута и, отвернувши лицо, подставил ему меч, а тот с такою силой упал грудью на острие, что оно вышло между лопаток, и Брут мгновенно скончался.

53. Этого Стратона Мессала, близкий товарищ Брута, привел впоследствии к Цезарю, с которым к тому времени успел примириться, и, заплакав, сказал: "Смотри, Цезарь, вот человек, оказавший моему Бруту последнюю в жизни услугу". Цезарь обласкал Стратона, и тот, в числе других греков из окружения

Цезаря, отлично исполнял все его поручения во многих трудных обстоятельствах и, между прочим, в битве при Актии. А сам Мессала, когда Цезарь хвалил его за то, что он выказал так много рвения при Актии, хотя прежде, при Филиппах, храня верность Бруту, был столь ревностным в своей непримиримости врагом, – Мессала отвечал: "Да, Цезарь, я всегда стоял за тех, кто лучше и справедливее".

Антоний нашел тело Брута и распорядился обернуть его в самый дорогой из своих пурпурных плащей, а когда узнал, что плащ украли, казнил вора. Урну с пеплом он отправил матери Брута, Сервилии.

Супруга Брута, Порция, как сообщает философ Николай и вслед за ним Валерий Максим[31], хотела покончить с собой, но никто из друзей не соглашался ей помочь, напротив, ее зорко караулили, ни на миг не оставляя одну, и тогда она выхватила из огня уголь, проглотила его, крепко стиснула зубы и умерла, так и не разжав рта. Впрочем, говорят о каком-то письме Брута к друзьям, где он обвиняет их и скорбит о Порции, которую они, по его словам, забыли и бросили, так что, захворав, она предпочла расстаться с жизнью. А так как письмо – если только, разумеется, оно подлинное – говорит и о болезни Порции, и о ее любви к мужу, и об ее мучительной кончине, разумно предположить, что Николай просто-напросто перепутал сроки и времена.



[*Сопоставление*]

54(1). Среди многих достоинств, присущих и Диону и Бруту, одно из главнейших то, что оба достигли громадного могущества, не имея вначале почти ничего, в особенности – Дион. Ведь подле Диона не было никого, кто бы состязался с ним в славе, а рядом с Брутом был Кассий, человек, хотя и не равный ему нравственными качествами и доброй славой, а потому и равного доверия не внушавший, но своею отвагой, опытом и неутомимою деятельностью внесший в дело войны не меньший вклад, нежели сам Брут; а некоторые и первый шаг во всей череде событий приписывают Кассию, утверждая, что Брут бездействовал, Кассий же вовлек его в заговор. Между тем, совершенно очевидно, что Дион не только оружие, корабли и воинскую силу, но и друзей и соратников собирал и приобретал сам. И если Бруту лишь война доставила и богатство и власть, то Дион обратил на нужды войны собственное богатство и ради свободы сограждан израсходовал все средства и запасы, на какие существовал в изгнании. Далее, для Брута и Кассия хранить спокойствие после бегства из Рима было отнюдь не безопасно, им вынесли смертный приговор, их гнали и преследовали, – и они волей-неволей искали спасения в войне. Доверившись охране мечей и копий, они терпели невзгоды и опасности, защищая скорее самих себя, нежели сограждан, а Дион, чья жизнь в изгнании была беззаботнее и отраднее жизни тиранна, его изгнавшего, добровольно пошел навстречу величайшей опасности ради спасения Сицилии.

55(2). Но избавить сиракузян от Дионисия – совсем не то же самое, что римлян освободить от Цезаря. Дионисий и сам не отрицал, что был тиранном и наполнил Сицилию неисчислимыми бедствиями, а власть Цезаря лишь при возникновении своем доставила противникам немало горя, но для тех, кто принял ее и смирился, сохраняла лишь имя и видимость неограниченного господства и ни в одном жестоком, тиранническом поступке виновна не была: мало того, казалось, будто само божество ниспослало жаждущему единовластия государству целителя самого кроткого и милосердного. Вот почему римский народ сразу же ощутил тоску по убитому и проникся неумолимою злобой к убийцам, а Диона сограждане всего больше порицали за то, что он выпустил Дионисия из Сиракуз и не дал разрушить могилу прежнего тиранна.

56(3). Что касается прямых военных успехов, то Дион обнаружил дар безупречного полководца, ибо не только блестяще исполнял собственные замыслы, но и, поправляя чужие ошибки, умел изменить положение к лучшему. Брут же, сколько можно судить, поступил опрометчиво, отважившись на последнюю и решительную битву, а понеся поражение, не нашел средств снова подняться на ноги, но отрекся и отказался от всякой надежды и в борьбе с судьбой уступил решимостью даже Помпею. А ведь он мог еще твердо рассчитывать на значительную часть своих сухопутных войск и, главное, на свой флот, который безраздельно владычествовал на море.

Самое тяжкое из обвинений против Брута – то, что, спасенный милостью Цезаря и сам доставив спасение всем товарищам по плену, за кого ни просил, считаясь другом Цезаря, который ставил и ценил его выше многих других, он сделался убийцею своего спасителя. Ни в чем подобном Диона обвинить нельзя, напротив, пока он был другом и приближенным Дионисия, он охранял его власть, старался направить ее на лучший путь, и лишь изгнанный из отечества, потерпев оскорбление в супружеских своих правах и лишившись имущества, открыто начал справедливую войну.

А впрочем, не взглянуть ли на дело с противоположной точки зрения? Ведь то качество, которое обоим вменяется в самую высокую похвалу – вражда к тираннам и ненависть к пороку, – качество это в Бруте кристально чисто, ибо, лично ни в чем Цезаря не виня, он подвергал себя смертельной опасности ради общей свободы. А Дион, не сделайся он сам жертвою обиды и насилия, воевать бы не стал. Это с полною очевидностью явствует из писем Платона: Дион, утверждает философ, низложил Дионисия не потому, что отверг тираннию, но потому, что тиранния отвергла его. Далее, не что иное, как соображения общественного блага сделали Брута сторонником Помпея, – хотя он был врагом этого человека, – и противником Цезаря, ибо и для вражды и для дружбы единственною мерою у него была справедливость, меж тем как Дион, пока чувствовал себя уверенно при дворе тиранна, всячески поддерживал Дионисия, стараясь снискать его расположение, а выйдя из доверия, затеял войну, чтобы утолить свой гнев. Поэтому чистосердечие Диона вызывало сомнения даже у иных из его друзей, которые опасались, как бы, свалив Дионисия, он не оставил власть за собою, обманув сограждан каким-нибудь безобидным, несхожим со словом "тиранния" названием, о Бруте же и у врагов шли речи, что между всеми заговор-

щиками только он один от начала до конца преследовал единственную цель – вернуть римлянам прежнее государственное устройство.

57(4). Но и помимо всего этого войну с Дионисием, разумеется, и сравнивать нельзя с борьбою против Цезаря. Ведь среди приближенных Дионисия не было человека, который не презирал бы своего властителя, чуть ли не все дни и ночи проводившего за вином, игрою в кости и любовными утехами. А задумать свержение Цезаря и не испугаться необоримой мощи и счастливой судьбы человека, одно имя которого лишало сна царей Индии и Парфии, – это требовало души необыкновенной, души, чье мужество никакой страх сломить не в силах. Вот почему стоило только Диону появиться в Сицилии, как вокруг него сплотились многие тысячи врагов Дионисия, слава же Цезаря – даже мертвого! – поддерживала его друзей, а тот, кто принял его имя, из беспомощного мальчишки мгновенно сделался первым среди римлян, словно бы надев на шею амулет, защищавший его от могущества и вражды Антония. Но Дион, могут мне возразить, свалил тиранна в трудной и долгой борьбе, а Цезарь пал под ударами Брута безоружным и беззащитным. Однако в этом как раз и обнаруживается тончайшая хитрость и точнейший расчет – захватить беззащитным и безоружным человека, облеченного неизмеримою мощью. Ведь Брут напал и убил не вдруг и не в одиночку или же с немногими сообщниками, но составил свой план задолго до покушения и осуществил с помощью многих единомышленников, из которых ни один его не выдал: либо он с самого начала выбрал лучших из лучших, либо же выбором своим сообщил превосходные эти качества людям, которым доверился. А Дион то ли плохо выбирал и доверился негодяям, то ли неумелым, неверным обхождением превратил в негодяев честных людей – и то и другое для человека разумного непростительно. И Платон порицает[32] его за то, что он приблизил к себе таких друзей, которые его погубили.

58(5). После смерти Дион не нашел ни мстителя, ни заступника, Брута же один из его врагов, Антоний, со славою похоронил, а другой, Цезарь, не лишил оказанных при жизни почестей. В Медиолане, что в Предальпийской Галлии, стояла бронзовая статуя Брута – прекрасной работы и точно передающая сходство. В более поздние годы Цезарь, находясь в Медиолане, заметил эту статую. Сперва он молча прошел мимо, но затем остановился, велел позвать правителей города и в присутствии многих, слышавших этот разговор собственными ушами, заявил, что Медиолан, как ему стало доподлинно известно, нарушил условия мира и укрывает у себя врага Цезаря. Медиоланцы, разумеется, клялись, что ни в чем неповинны, и недоуменно переглядывались, как бы спрашивая друг друга, что имеет в виду император. Тогда Цезарь обернулся к статуе и, грозно нахмурив лоб, спросил: “А вот этот, который здесь стоит, разве он нам не враг?” Главы города смешались еще более и умолкли, но тут Цезарь улыбнулся и, похвалив галлов, за то что они верны друзьям и в беде, приказал оставить изображение Брута на прежнем месте.





АРТАКСЕРКС

1. Артаксеркс Первый, всех, кто царствовал в Персии, превосходивший милосердием и величием духа, носил прозвище Долгорукого, потому что правая рука у него была длиннее левой. Он был сыном Ксеркса. Второй Артаксеркс, по прозвищу Мнемон, которому посвящен этот рассказ, приходился первому внуком по дочери. У Дария[1] и Парисатиды родилось четверо сыновей: старший Артаксеркс, следующий за ним Кир, и двое младших – Остан и Оксатр. Кир получил имя в память о древнем Кире, а того, как рассказывают, нарекли в честь Солнца[2], ибо Солнце по-персидски "Кир". Что же касается Артаксеркса то он вначале звался Арсик. Правда, Динон приводит другое имя, Оарс, но трудно себе представить, чтобы Ктесий[3] – при всем том, что сочинения его полны невероятнейших и глупейших басен, – не знал имени царя, при дворе которого жил, пользуя и самого государя, и его супругу, и мать, и детей.

2. С самых ранних лет Кир отличался нравом настойчивым и горячим, тогда как Артаксеркс во всех своих поступках и устремлениях казался сдержаннее и мягче брата. Повинуясь воле родителей, он взял в жены прекрасную и достойную женщину[4], а впоследствии сохранил этот брак в неприкосновенности уже вопреки их воле. Казнив брата этой женщины, царь хотел предать смерти и ее, но Арсик бросился к матери и, обливаясь слезами, до тех пор умолял пощадить его супругу и не разлучать его с нею, пока наконец не вымолил у Парисатиды согласия. Но вообще мать больше любила Кира и хотела, чтобы царство унаследовал он. Поэтому, когда Дарий заболел и Кира вызвали из приморских областей ко двору, он ехал в твердой уверенности, что, заботами и стараниями матери, уже назначен наследником престола. В самом деле, Парисатида выдвигала тот же самый благовидный довод, которым, в свое время, по совету Демарата, воспользовался Ксеркс[5], а именно – что Арсика она родила еще подданному, а Кира – уже царю. Однако уговоры ее на Дария не подействовали, и царем, под новым именем Артаксеркса, был провозглашен старший, а Кир назначен сатрапом Лидии и начальником войск в приморских провинциях.

3. Вскоре после смерти Дария новый государь отправился в Пасаргады, чтобы персидские жрецы совершили над ним обряд посвящения на царство. Там стоит храм богини войны[6], которую можно, пожалуй, отождествить с Афиною. Ищущий посвящения входит в храм, снимает свою одежду и облачается в платье, которое носил Кир Древний до того, как взошел на престол, затем он отведывает пастилы из плодов смоковницы, разгрызает несколько фисташковых орехов и выпивает небольшую чашу кислого молока. Присоединяются ли к этому какие-либо иные действия, посторонним неизвестно. Артаксеркс уже был готов приступить к исполнению обряда, когда приблизился Тиссаферн[7], ведя за

собою одного жреца, который был наставником Кира в детские годы и открыл ему учение магов, а стало быть, больше всех в Персии сокрушался, видя, что царство досталось другому. Вот почему его обвинения против Кира прозвучали особенно веско. Обвинял же он своего ученика в том, что тот намеревался укрыться в храме и, когда царь разденется донага, напасть на него и убить. Некоторые утверждают, что по этому доносу Кир был немедленно схвачен, другие – что он сумел проникнуть в святилище и там притаиться, но жрец его выдал. Его приговорили к смерти, и приговор уже должен был свершиться, но мать сжала Кира в объятиях, окутала его своими распущенными волосами и прильнула шеей к шее сына[8]; нескончаемыми мольбами и слезами она убедила царя простить брата и отправить его назад, к морю. Но не в радость была Киру его власть, не освобождение свое держал он в памяти, но заточение и, кипя гневом, пуще прежнего жаждал царства.

4. Иные писатели сообщают, будто Кир поднялся на царя из-за того, что ему не доставало ежедневного содержания, отпускавшегося на стол, но это сущий вздор. Ведь, помимо всего прочего, за спиною у него была мать, всегда готовая выдать из собственных средств, сколько бы он ни попросил. О богатстве Кира свидетельствуют и отряды наемников, которые во многих местах содержали для него друзья и гостеприимцы, как об этом говорится у Ксенофонта[9]. Стараясь до поры до времени скрыть свои приготовления, он не сводил все наемное войско воедино, но под всевозможными предлогами держал вербовщиков в разных землях и областях. Подозрения царя в значительной мере усыпляла мать, находившаяся при нем безотлучно, да и сам Кир неизменно писал брату в тоне почтительном и подобострастном и либо о чем-нибудь его просил, либо взводил ответные обвинения на Тиссаферна, словно бы целиком поглощенный завистью и враждой к этому человеку.

Кроме того в натуре царя была какая-то медлительность, которую большинство принимало за кротость и доброту. А в начале его правления казалось даже, будто он горячо подражает милосердию Артаксеркса, своего соименника, – так дружелюбно беседовал он с просителями, так щедро преступал меру заслуженного в наградах и почестях, так решительно изымал из наказаний все, что было похоже на издевательство или злорадство. Он с одинаковой обходительностью и благожелательностью и принимал подарки, и сам одаривал других, и не было дара настолько малого и незначительного, чтобы царь не принял его с удовольствием. Как-то раз некий Омис поднес ему гранат – один, но необычайно крупный, и царь воскликнул: "Клянусь Митрой, доверьте этому человеку город – и вы оглянуться не успеете, как он превратит вам его из малого в великий!"

5. Во время какого-то путешествия, когда все наперебой подносили ему разные подарки, один бедный крестьянин не успел найти второпях ничего и, подбежав к реке, зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркса настолько это порадовало, что он велел отправить ему золотую чашу и тысячу дариков. Лаконцу Эвклиду, который бывал с ним слишком дерзок, он передал через одного из хилиархов[10]: "Ты можешь что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, а и делать". Как-то на охоте Тирибаз сказал царю, что его кандий[11] разодрался. "Как же быть?" – спросил Артаксеркс. "Надень другой, а

этот отдай мне", – отвечал Тирибаз. Царь исполнил просьбу своего приближенного, однако ж сказал ему: "Хорошо, Тирибаз, возьми, да только не вздумай носить". Тирибаз не обратил на эти слова никакого внимания – не по злому умыслу, а по всегдашнему своему легкомыслию и безрассудству – и тут же облачился в подаренный кандий да еще вдобавок навесил на шею золотые ожерелья, какими украшают себя женщины из царского дома, и все громко негодовали, ибо это было запрещено, но царь только посмеялся и промолвил: "Можешь носить и то и другое: золотые побрякушки – как женщина, царское платье – как безумец".

Прежде трапезу с царем не разделял никто, кроме его матери или жены, и первая сидела выше царя, а вторая – ниже, Артаксеркс, однако ж, стал приглашать к своему столу младших братьев, Остана и Оксатра. Но что восхищало персов всего больше, так это выезд Статиры, царской супруги, которая всегда появлялась в повозке без занавесей, так что всякая женщина из народа могла подойти и приветствовать царицу, и она пользовалась всеобщей любовью.

6. Тем не менее горячие головы и любители перемен считали, что положение дел требует человека блестящих дарований, очень воинственного и горячо привязанного к друзьям – одним словом, такого человека, как Кир, – и что громадной державе необходим государь, отличающийся отвагою и честолюбием. И вот Кир, возлагая на своих приверженцев внутри страны не меньшие надежды, чем на собственное войско, решает начать войну. Он пишет лакедемонянам, призывая их оказать ему поддержку и прислать воинов, и тем, кто придет пешим, обещает коней, кто явится верхом – парные запряжки, тем, у кого есть поле, он даст деревню, у кого деревня – даст город, а жалование солдатам будет не отсчитывать, но отмерять меркою! Себя он восхвалял до небес и утверждал, что и сердцем он тверже брата, и лучше знаком с философией, и в магии более сведущ, и даже пьет больше и легче переносит опьянение. А брат, Артаксеркс, слишком труслив и изнежен не только для того, чтобы сидеть на престоле в годину опасностей и бедствий, но даже для того, чтобы усидеть на коне во время охоты! В ответ на это лакедемоняне посылают Клеарху скиталу[12] с распоряжением во всем повиноваться Киру.

Итак, Кир выступил против царя во главе огромного варварского войска и без малого тринадцати тысяч греческих наемников. Истинную цель похода он скрывал, измышляя то один, то иной предлог, но долго таиться оказалось невозможным, потому что Тиссаферн сам приехал к царю и рассказал ему обо всем. Во дворце поднялось смятение, и главною виновницей войны называли Парисатиду, а ее приближенных подозревали и даже открыто винили в измене. Больше всех досаждала Парисатиде Статира. До крайности встревоженная надвинувшейся опасностью, она кричала: "Где же теперь твои клятвы и заверения?! Где слезные мольбы, которыми ты спасла злодея, покушавшегося на жизнь брата, – спасла для того, чтобы ныне ввергнуть нас в бедствия войны?!" С тех пор Паристида возненавидела Статиру; гневливая и по-варварски злопамятная от природы, она задумала извести невестку. Динон пишет, что она исполнила свой замысел еще во время войны, но, по словам Ктесия, это случилось позднее, и мало вероятно, чтобы Ктесий, очевидец всего происходившего, не знал времени та-

кого важного события, а с другой стороны, у него не было никакого основания нарочито изменять эту дату в своем рассказе (хотя часто его повествование уходит далеко от истины и не раз обращается в басню или же драму); поэтому об убийстве Статиры и мы расскажем в том же месте, где Ктесий.

7. Меж тем как Кир подвигался вперед, до него доходили и слухи и надежные известия, что царь не склонен дать ему битву немедленно и вообще не торопится вступить в соприкосновение с противником, но намерен оставаться в Персиде до тех пор, пока все его войска не сойдутся к нему в эту провинцию. Он велел провести ров глубиною в десять оргий[13] и столько же шириною, который протянулся по равнине на четыреста стадиев, но и за пределы этого рва пропустил Кира без сопротивления, так что вскорости мятежник оказался невдалеке от самого Вавилона. Наконец, как передают, Тирибаз собрался с духом и первым дерзнул заметить Артаксерксу, что не надо избегать сражения и оставлять врагу Мидию, и Вавилон, и Сузы, а самим забираться в Персиду, когда они во много раз превосходят врага числом и у царя тысячи сатрапов и полководцев и храбрее и искуснее Кира.

Тогда Артаксеркс решил сразиться с братом как можно скорее. И вот с девяностотысячным, прекрасно вооруженным войском он внезапно появился перед неприятелями, которые, твердо полагаясь на свои силы и презирая врага, шагали как придется и даже без оружия, и настолько их испугал, что среди всеобщего замешательства и отчаянных криков Киру едва удалось построить своих в боевую линию. Кроме того царские воины шли вперед молча и неторопливо, и греки только дивились строгому порядку в их рядах, – ведь при таком громадном стечении варваров они не ожидали ничего иного, кроме диких воплей, судорожных скачков, страшной неразберихи и частых разрывов в боевой линии. И, наконец, Артаксеркс поступил вполне разумно, разместив самые мощные из серпоносных колесниц против греков, перед пехотным строем своих, чтобы еще до рукопашной стремительный удар колесниц разметал ряды наемников Кира.

8. Битва эта изображена у многих писателей, а Ксенофонт показывает ее чуть ли не воочию[14] и силою своего описания неизменно заставляет читателя ощущать себя участником всех тревог и опасностей так, словно они принадлежат не прошедшему, но сегодняшнему дню, а потому неразумно излагать события следом за ним еще раз, и я приведу лишь те заслуживающие упоминания подробности, которые пропустил Ксенофонт.

Место, где противники выстроились для боя, называется Кунакса и отстоит от Вавилона на пятьсот стадиев. Перед самым сражением Клеарх, как сообщают, убеждал Кира оставаться позади бойцов и не подвергать себя опасности, но тот воскликнул в ответ: "Что ты говоришь, Клеарх! Я ищу царства, а ты советуешь мне показать себя недостойным царства?!" Кир совершил страшную ошибку, когда, забыв обо всем на свете, не щадя собственной жизни, ринулся в самую гущу схватки, но не меньшей, а, пожалуй, даже большей была ошибка и вина Клеарха, который отказался поставить греков против царя и, опасаясь окружения, растянул свой правый фланг вплоть до реки. Если в первую очередь ты думаешь о собственной безопасности и главную задачу свою видишь в том, чтобы избегнуть каких бы то ни было потерь, тогда уж оставайся лучше всего дома, но

пройти от моря в глубь Азии десять тысяч стадиев, без всякого принуждения, единственно чтобы посадить Кира на царский престол, а потом выискивать себе место понадежнее и потише, совершенно не заботясь о спасении своего полководца и нанимателя, – это значит во власти минутного страха забыть обо всем начинании в целом и упустить из виду истинную цель похода. И верно, из событий этого дня видно, что силы, окружавшие царя, ни в коем случае не выдержали бы натиска греков, а если бы они были выбиты со своих позиций и царь бежал вместе с ними или пал, победа доставила бы Киру не только безопасность, но и царство. Вот почему в гибели Кира и его дела повинна скорее осторожность Клеарха, чем безрассудная отвага самого Кира. Если бы даже никто иной, как царь, выбирал, где поставить греков, чтобы удар наемников оказался наименее для него чувствителен, он бы тоже поместил их как можно дальше от себя и своего окружения: ведь недобрые вести оттуда даже не достигли его слуха, а Кир был убит прежде, чем успел воспользоваться победой Клеарха. А между тем Кир отлично видел, в чем его выгода, и потому именно приказывал Клеарху стать посредине. Но Клеарх просил во всем положиться на него – и погубил все дело.

9. Греки одержали над варварами полную победу (полнее нельзя было и желать) и, преследуя бегущих, ушли очень далеко, а тем временем на Кира, который скакал на чистокровном, но слишком горячем и порывистом коне по кличке Пасак (так сообщает Ктесий), наехал предводитель кадусиев Артагерс и громко крикнул: "Эй, ты, опозоривший самое прекрасное у персов имя – имя Кира, ты, самый бесчестный и безрассудный человек на свете, ты ведешь злодеев-греков на злодейский грабеж персидских сокровищ, да еще надеешься убить господина твоего и брата, у которого миллионы рабов лучше и храбрее тебя. Сей же час ты в этом убедишься! Ты сложишь голову, раньше чем увидишь светлый лик царя!" С этими словами он метнул в Кира копье. Панцирь выдержал, и Кир остался невредим, но едва усидел на коне – такой силы был удар. Тут Артагерс повернул, и Кир в свою очередь бросил копье, да так метко, что острие, пройдя над самой ключицей, пробило шею.

Что Артагерс погиб от руки Кира, согласно сообщают почти все писатели. Но о кончине самого Кира Ксенофонт говорит немногословно и как бы вскользь, что легко объяснимо – ведь он не был очевидцем этой кончины; а стало быть, ничто не препятствует мне изложить сначала рассказ Динона, а потом Ктесия.

10. Итак, Динон пишет, что Артагерс испустил дух, а Кир яростно налетел на царское охранение и ранил коня Артаксеркса, а сам царь свалился на землю. Тирибаз тут же подал ему другого коня и помог сесть, промолвив: "Запомни этот день, царь, его забывать не след!" Кир снова ринулся на брата и снова сшиб его, но когда он и в третий раз погнал коня, царь пришел в ярость и, крикнув окружающим: "Коли так, лучше вовсе не жить!" – сам поскакал навстречу Киру, который уже несся вперед, безрассудно подставля грудь остриям вражеских копий. Дротик метнул и сам Артаксеркс, копье за копьем метали окружавшие его солдаты, и, в конце концов, Кир упал, сраженный то ли царем, то ли, как утверждают некоторые, каким-то карийцем. В награду за подвиг царь по-

жаловал его особым отличием: во всех походах этот воин должен был возглавлять строй, неся на копье золотое изображение петуха, ибо персы прозвали карийцев "петухами" – по султанам из перьев, которыми они украшали свои шлемы.

11. Рассказ Ктесия – в сильно сокращенном виде – сводится к следующему. Умертвив Артагерса, Кир погнал коня на царя, а тот – на Кира, и оба хранили молчание. Первым метнул копье друг Кира Арией и промахнулся. Копье царя, нацеленное в Кира, тоже пролетело мимо, но угодило в Сатиферна, знатного и преданного Киру человека, и лишило его жизни. Наконец, пустил копье и сам Кир и ранил царя сквозь панцирь, так что острие вошло в грудь на два пальца. Удар сбросил Артаксеркса с лошади, и в свите его тут же началось смятение и бегство, но царь поднялся на ноги и с немногими провожатыми, среди которых был и сам Ктесий, взошел на соседний холм и там остановился. Тем временем Кира, попавшего в гущу неприятелей, горячий конь уносил все дальше. Было уже темно, и враги не узнавали его, друзья же искали повсюду, а он, гордясь своею победой, полный дерзкого пыла, скакал вперед с криком: "Прочь с дороги, оборванцы!" Много раз выкрикивал он по-персидски эти слова, и все расступались и склонялись ниц. Но внезапно с головы Кира упала тиара, и тут какой-то молодой перс, по имени Митридат, подбежал сбоку и, не зная, кто перед ним, метнул дротик, который попал Киру в висок, совсем рядом с глазом. Из раны хлынула кровь, и Кир, оглушенный, упал на землю. Конь его прянул в сторону и затерялся во мгле, а залитый кровью чепрак, соскользнувший со спины скакуна, подобрал слуга Митридата. Когда после долгого обморока Кир, наконец, очнулся и пришел в себя, несколько евнухов, которые оказались рядом, хотели посадить его на другого коня и увезти в безопасное место. Но он был не в силах удержаться на коне и захотел идти пешком, и евнухи повели его, поддерживая с обеих сторон. Ноги у него подкашивались, голова падала на грудь, однако он был уверен, что победил, слыша, как бегущие называют Кира царем и молят его о пощаде. Тем временем несколько кавнийцев – убогие бедняки, которые следовали за царским войском, исполняя самую черную и грязную работу, – случайно присоединились к провожатым Кира, сочтя их за своих. Но, в конце концов, они разглядели красные накидки поверх панцирей и, так как все воины царя были в белых плащах, поняли, что перед ними враги. Тогда один из них отважился метнуть сзади дротик в Кира (кто это такой, он не знал) и рассек ему жилу под коленом. Кир снова рухнул наземь, ударился раненым виском о камень и умер. Таков рассказ Ктесия, в котором он убивает Кира медленно и мучительно, словно режет тупым ножом.

12. Кир был уже мертв, когда Артасир – государево око, – проезжая по случайности мимо, услыхал причитания евнухов и спросил самого верного среди них: "Над кем это ты так убиваешься, Париск?" – "Разве ты сам не видишь – Кир погиб!" – отвечал евнух. Пораженный Артасир просил Париска не падать духом и зорко оберегать труп, а сам во весь опор посказал к Артаксерксу, который был в полном отчаянии и, вдобавок, жестоко страдал от жажды и от раны, и радостно сообщил царю, что собственными глазами видел Кира мертвым. Царь хотел было немедля идти сам и уже приказал Артасиру показывать доро-

гу, но так как все с ужасом, в один голос твердили о греках, о том, что они неутомимо гонятся за бегущими и натиск их не в силах остановить никто, решил выслать на разведку целый отряд, и тридцать человек с факелами двинулись следом за Артасиром.

Царь между тем умирал от жажды, и евнух Сатибарзан рыскал повсюду в поисках какого-нибудь питья: местность была безводная, а лагерь остался далеко. В конце концов, ему встретился один из тех же жалких кавнийцев, который в худом бурдюке нес около восьми котил грязной и гнилой воды. Эту воду Сатибарзан забрал и подал царю, а когда тот осушил мех до последней капли, спросил, не слишком ли противно было ему пить. В ответ Артаксеркс поклялся богами, что никогда в жизни не пивал он с таким удовольствием ни вина, ни самой легкой, самой чистой воды. "И если, – прибавил он, – я не смогу разыскать и вознаградить человека, который дал тебе эту воду, пусть сами боги даруют ему и счастье и богатство".

13. В это время возвратились разведчики и, вне себя от восторга, доложили царю, что весть о неожиданной его удаче верна. Вокруг Артаксеркса уже снова начала собираться толпа придворных и воинов, и, ободрившись, он спустился с холма, ярко освещенный пламенем многочисленных факелов. Он подошел к мертвому Киру; по какому-то персидскому обычаю трупу отсекли голову и правую руку, и Артаксеркс велел подать ему голову брата. Ухватив ее за волосы, густые и длинные, он показывал отрубленную голову всем, кто еще сомневался и бежал, и все дивились и склонялись ниц, так что в короткое время к Артаксерксу стеклось семьдесят тысяч человек, и с ними царь вернулся в свой лагерь.

По словам Ктесия, царь вывел на битву четыреста тысяч, но Динон и Ксенофонт называют число гораздо больше[15]. Потери убитыми, пишет Ктесий далее, составляли девять тысяч – так донесли Артаксерксу, но, по мнению самого Ктесия, на поле сражения легло не меньше двадцати тысяч. Здесь, однако, еще возможны споры, но когда Ктесий заявляет, будто он сам вместе с закинфянином Фалином и еще несколькими посланцами ходил к грекам для переговоров, – это уже очевидная ложь! Ведь Ксенофонт отлично знал, что Ктесий состоит при царской особе (в своей книге он и прямо упоминает о нем, и дает понять, что читал его сочинение), и конечно не обошел бы его молчанием, если бы тот, в самом деле, явился в греческий лагерь и выступал переводчиком в столь важных переговорах, – тем более, что и закинфянина Фалина Ксенофонт называет по имени[16]. Но, по-видимому, Ктесий был безгранично честолюбив и столь же безгранично привержен к Спарте и Клеарху, а потому во всяком разделе своего рассказа отводит место самому себе, чтобы с этого места пространно восхвалять Клеарха и Лакедемон.

14. После битвы царь отправил богатейшие подарки сыну Артагерса, павшего в поединке с Киром, и щедро наградил Ктесия и остальных. Найдя кавнийца, который дал евнуху бурдюк с водой, он из ничтожного бедняка сделал его знатным и богатым. Со вниманием отнесся он и к наказанию провинившихся. Одного мидийца по имени Арбак, который во время битвы перебежал к Киру, а когда тот пал, возвратился на сторону царя, Артаксеркс признал виновным не в

измене и даже не в злом умысле, а только в трусости и приказал ему посадить себе на шею голую потаскуху и целый день ходить по площади с этой ношей. Другой перебежчик лгал, что сразил двух неприятелей, и царь распорядился проткнуть ему язык тремя иглами. Желая, чтобы все говорили и думали, будто он убил Кира своею рукой, Артаксеркс отправил Митридату – тому персу, что нанес Киру первую рану, – дары и велел сказать ему так: "Царь награждает тебя этими подарками за то, что ты нашел и принес чепрак Кира". Награды просил и кариец, который ранил Кира под колено и свалил его с ног. Артаксеркс и ему не отказал и велел передать: "Царь одаряет тебя за вторую весть: первым о смерти Кира сообщил Артасир, вторым – ты". Митридат затаил обиду, но смолчал, а злополучного карийца быстро постигла обычная и общая для всех глупцов беда. Ослепленный благами, которыми он был вдруг осыпан, человек этот надумал искать иных, несовместных с ничтожным его положением, и не пожелал считать того, что получил, наградою за добрую весть, но в негодовании кричал и клялся, что Кира убил он, и никто иной, и что его несправедливо лишают высокой славы. Узнав об этом, царь страшно разгневался и велел его обезглавить, но Парисатида, которая была при этом, сказала сыну: "Не казни, царь, негодяя-карийца такою легкою казнью, отдай его лучше мне, а уж я позабочусь, чтобы он получил по заслугам за свои дерзкие речи". Царь согласился, и Парисатида приказала палачам пытать несчастного десять дней подряд, а потом выколоть ему глаза и вливать в глотку расплавленную медь, пока он не испустит дух.

15. Немного спустя погиб жестокою смертью и Митридат – все из-за той же глупости. Его пригласили на пир, и он пришел в драгоценном платье и золотых украшениях, пожалованных царем. На пиру были и царские евнухи, и евнухи Парисатиды, и после еды, за вином, главный из евнухов царицы-матери промолвил: "Что за прекрасное одеяние, Митридат, подарил тебе царь, что за ожерелья и браслеты, и какую драгоценную саблю! Какой же ты, право, счастливец, все взоры так и тянутся к тебе!" А Митридат, уже захмелевший, в ответ: "Это все пустяки, Спарамиз! В тот день я оказал царю услугу, достойную и более щедрых и более прекрасных даров". – "Я нисколько тебе не завидую, Митридат, – заметил с улыбкою Спарамиз, – но если верно говорят греки, что истина – в вине, объясни мне, друг, неужто и в самом деле такой славный и великий подвиг подобрать и принести чепрак, свалившийся со спины у коня?" Вопрос свой евнух задал не потому, что сам не знал истины, но, желая обнаружить ее перед всеми присутствовавшими, подстрекнул легкомыслие молодого человека, которому уже и так развязало язык вино. Не сдержавшись, Митридат отвечает: "Можете сколько угодно болтать про всякие там чепраки, а я говорю вам определенно: Кир был убит вот этою рукой! Я не то, что Артагерс, – я пустил копье не зря, не впустую! Метил я в глаз, да чуть-чуть промахнулся, но висок пробил насквозь и свалил Кира с лошади. От этой раны он и умер". Все остальные, уже видя беду и злой конец Митридата, уставили глаза в пол, и только хозяин дома сказал: "Друг Митридат, будем-ка лучше пить и есть, преклоняясь перед гением царя, а речи, превышающие наше разумение, лучше оставим".

16. Евнух передал этот разговор Парисатиде, а та царю. Царь был вне себя

от гнева. Еще бы, ведь его уличали во лжи и лишали самой прекрасной и самой сладостной доли в победе: он хотел, чтобы все – и варвары, и греки – верили, будто в столкновении и схватке с братом он обменялся с ним ударами и, получив рану сам, сразил противника. Итак, Артаксеркс приказывает умертвить Митридата корытною пыткой. Казнь эта заключается в следующем. Берут два в точности пригнанных друг к другу корыта и в одно из них навзничь укладывают осужденного, а сверху накрывают вторым корытом, так что наруже остаются голова и ноги, а все туловище скрыто внутри. Потом человеку дают есть, и если он отказывается, колют иголкой в глаза и так заставляют глотать. Когда он поест, в рот ему вливают молоко, смешанное с медом, и эту же смесь размазывают по всему лицу. Корыто все время повертывают так, чтобы солнце постоянно светило пытаемому в глаза, и неисчислимое множество мух облепляет ему лицо. А так как сам он делает все то, что неизбежно делать человеку, который ест и пьет, в гниющих нечистотах скоро заводятся черви, которые заползают в кишки и принимаются грызть живое тело. Когда же наконец приходит смерть и верхнее корыто снимают, все мясо оказывается уже съеденным, а внутренности так и кишат этими тварями, неутомимо пожирающими свою добычу. Так мучился Митридат семнадцать дней и лишь на восемнадцатый умер.

17. Теперь непораженною оставалась лишь одна, последняя цель – царский евнух Масабат, который отсек Киру голову и руку. Но поведение его было безукоризненно, и тогда вот какую придумала Парисатида хитрость. Она и вообще отличалась умом и способностями, и, между прочим, мастерски играла в кости, и до войны царь нередко с нею играл. Когда война была окончена и Парисатида вновь примирилась с сыном, она не только не избегала его общества, но всячески выказывала Артаксерксу свое дружелюбие, разделяла его забавы, оказывала помощь во всех любовных делах, одним словом – почти не оставляла его наедине со Статирой, которую ненавидела, как никого в целом свете, желая сама играть первую роль при государе. Однажды Артаксеркс томился бездельем и хотел развлечься, и, застав его в таком расположении духа, Парисатида предложила бросить кости, сделав ставку в тысячу дариков. Сперва она умышленно проиграла и тут же отсчитала деньги, но прикинулась огорченной и жаждущей продолжить борьбу и просила царя сыграть еще раз – на какого-нибудь евнуха. Царь согласился. Уговорились, что каждый делает исключение для пяти самых верных своих евнухов, из числа же остальных победитель вправе выбрать любого, а побежденный обязан отдать, и на этих условиях снова стали метать кости. На этот раз Парисатида была само внимание и сама сосредоточенность, да и кости легли удачно. Она выиграла и тут же взяла Масабата, который в пятерку вернейших включен не был. И не успел царь заподозрить недоброе, как она уже передала евнуха палачам, приказавши содрать с него живьем кожу и тело приколотить к трем столбам – поперек, – а кожу распялить отдельно. Эта расправа возмутила царя, и он разгневался на мать, а Парисатида с издевательской усмешкой сказала сыну: "Какой ты у меня, право странный – сердишься из-за старого мерзкого евнуха. А я вот проиграла целую тысячу дариков – и молчу, ни слова". Царь раскаивался, что позволил так себя провести, однако ж сдерживался, но Статира, которая и во всем прочем открыто враждовала со свекровью, не

таила своего возмущения тем, что Парисатида мстит за Кира, жестоко и беззаконно истребляя евнухов – вернейших слуг царя.

18. Тиссаферн обманул Клеарха[17] и остальных греческих начальников и, вероломно нарушив клятву, схватил их и в оковах отправил к царю. Клеарх попросил Ктесия раздобыть ему гребень и, когда просьба его была исполнена и он прибрал волосы, в благодарность за услугу подарил Ктесию перстень – чтобы тот когда-нибудь предъявил это свидетельство дружбы друзьям и родичам Клеарха в Лакедемоне. На перстне был вырезан священный танец в честь Артемиды Карийской. Все это рассказывает сам Ктесий. Пищу, которую посылали Клеарху, отбирали и съедали воины – товарищи по заключению, Клеарху же доставалась лишь самая малость, но Ктесий, по его словам, помог и этой беде, добившись, чтобы Клеарху присылали больше, а остальным назначили особое содержание. Оказать грекам эту помощь ему удалось милостью и заботами Парисатиды. Каждый день, кроме прочей еды, Клеарх получал целый окорок, и он горячо убеждал Ктесия вложить в мясо маленький ножичек и тайно передать ему, не дожидаясь конца, который готовит узнику жестокость Артаксеркса, но Ктесий боялся и не согласился. Между тем царь, склонившись на просьбы матери, поклялся ей пощадить Клеарха, но затем послушался Статиры и, изменив своему слову, казнил всех, кроме Менона. С этих пор, утверждает Ктесий, и замыслила Парисатида извести Статиру и вскорости ее отравила, но утверждение это неправдоподобно и даже нелепо – можно ли поверить, чтобы из-за Клеарха Парисатида решилась на такой страшный и опасный шаг и убила законную супругу царя, родительницу наследников престола?! Нет никакого сомнения, что Ктесий сильно преувеличивает, желая почтить память Клеарха. В самом деле, он сообщает далее, будто после казни трупы остальных начальников растерзали собаки и хищные птицы, а тело Клеарха невесть откуда налетевший вихрь засыпал землею и скрыл под большим курганом, на котором, спустя недолгое время, из нескольких финиковых косточек поднялась густая пальмовая роща и осенила весь холм тенью своих ветвей, так что даже сам царь горько раскаивался, что погубил Клеарха – угодного богам мужа.

19. Парисатида, которая с самого начала была полна ненависти и ревности к Статире, видела, что собственная ее власть покоится лишь на сыновнем уважении царя, тогда как Статира сильна любовью и доверием Артаксеркса. Вот тогда-то, считая, что все главнейшее и основное в ее жизни поставлено под удар, она решилась покончить с невесткой. У нее была верная служанка, по имени Гигия, пользовавшаяся чрезвычайным влиянием на свою госпожу; эта Гигия, по словам Динона, и помогла ей отравить царицу, но Ктесий пишет, что она лишь была посвящена в замыслы Парисатиды, да и то вопреки своей воле. Того, кто достал яд, Ктесий называет Белитаром, Динон – Меланфом.

После прежних раздоров и открытых подозрений обе женщины начали снова встречаться и обедать вместе, но, по-прежнему опасаясь друг друга, ели одни и те же кушанья и с одних блюд и тарелок. Родится в Персии маленькая птичка, у которой во внутренностях нет никаких нечистот, но один только жир, и поэтому все считают, что она питается лишь ветром и росой. Название ее – ринтак. Эту птичку, как сказано у Ктесия, Парисатида разрезала ножом, который с од-

ной стороны был смазан ядом, и, обтерши отраву об одну из половинок, вторую – чистую и нетронутую – положила в рот и стала жевать, а отравленную протянула Статире. Но, если верить Динону, птицу делил Меланф, а не Парисатида, и он же поставил перед Статирою смертоносное угощение. Умирая в жестоких муках и страшных судорогах, царица и сама обо всем догадалась, и царю успела внушить подозрение против матери, чей звериный, неумолимый нрав был Артаксерксу хорошо известен. Царь тут же нарядил следствие и приказал схватить и пытать прислужников Парисатиды, в первую очередь тех, что подавали к столу. Гигию Парисатида долго прятала у себя и не выдавала, несмотря на все требования сына, но позже, когда служанка сама упросила отпустить ее домой, царь, прознав об этом, устроил засаду, поймал Гигию и осудил на смерть. Отравителей у персов казнят по закону так. Голову осужденного кладут на плоский камень и давят и бьют другим камнем до тех пор, пока не расплющат и череп и лицо. Вот какою смертью умерла Гигия. Парисатиде же Артаксеркс и не сказал, и не сделал ничего дурного и только, в согласии с ее же собственным желанием, отослал мать в Вавилон, объявив, что, пока она жива, его глаза Вавилона не увидят. Таковы были ссмейные обстоятельства царя персов.

20. Захватить греков, участвовавших в походе Кира, царь считал не менее важным, чем одолеть брата и сохранить за собою престол, однако ж цели своей достигнуть не смог. Потеряв главнокомандующего и собственных начальников и все-таки благополучно вырвавшись чуть ли не из самого царского дворца, греки обнаружили и доказали, что власть персов и их царя – это груды золота, роскошь, да женская прелесть, а в остальном лишь спесь и бахвальство, и вся Греция воспрянула духом и снова исполнилась презрения к варварам, а лакедемонянам представлялось прямым позором хотя бы теперь не положить конец рабству и наглому притеснению, которое терпели азийские греки. Сперва спартанцы воевали под командою Фиброна, потом – Деркиллида, но никаких важных успехов не достигли и тогда поручили вести войну царю Агесилаю[18]. Переправившись с флотом в Азию, Агесилай сразу же взялся за дело со всею решимостью. Он разбил Тиссаферна в открытом бою, склонил к отпадению от персов многие города и приобрел громкую славу. Только тут Артаксеркс сообразил, каким образом лучше всего бороться с лакедемонянами, и отправил в Грецию родосца Тимократа с большою суммою денег, чтобы подкупить самых влиятельных людей в разных городах и поднять против Спарты всю Грецию. Усердно исполняя царский наказ, Тимократ сумел сплотить крупнейшие города, так что в Пелопоннесе начались сильные волнения и власти отозвали Агесилая из Азии. Передают, будто отплывая в обратный путь, он сказал друзьям, что царь изгоняет его из Азии с помощью тридцати тысяч лучников: на персидских монетах был отчеканен лучник.

21. Артаксеркс очистил от лакедемонян и море, воспользовавшись службою афинянина Конона, которого, вместе с Фарнабазом, поставил во главе своих сил. После морской битвы при Эгоспотамах Конон задержался на Кипре – не потому, чтобы искал места потише и поспокойнее, но дожидаясь перемены обстоятельств, словно попутного ветра. Понимая, что его замыслы требуют значительных сил, а царские силы нуждаются в разумном руководителе, он напи-

сал царю письмо, в котором изложил свои планы и намерения, и велел гонцу передать его Артаксерксу лучше всего через критянина Зенона или Поликрита из Менды, – Зенон был танцовщиком, а Поликрит врач, – если же ни того ни другого при дворе не окажется, то через врача Ктесия. Рассказывают, что Ктесий, приняв письмо, приписал к просьбам Конона еще одну – чтобы к нему отправили Ктесия, который, дескать, будет полезен в действиях на море; но сам Ктесий утверждает, будто царь дал ему это поручение по собственному почину.

Когда Фарнабаз и Конон выиграли Артаксерксу сражение при Книде и царь лишил лакедемонян владычества на море, он обратил к себе взоры чуть ли не всей Греции, так что смог даже установить меж греками тот пресловутый мир, который носит название Анталкидова. Анталкид был спартанец, сын Леонта. Усердно служа царю, он добился того, что все греческие города в Азии и все острова, лежащие близ азийского берега, сделались данниками Артаксеркса с согласия лакедемонян, а греки заключили между собою мир – если только можно называть миром измену Элладе и ее бесчестие, ибо ни одна война не принесла столько позора побежденным, сколько этот мир его участникам.

22. За это Артаксеркс, ненавидевший спартанцев и считавший их, как пишет Динон, самыми наглыми людьми на свете, выказал чрезвычайную благосклонность Анталкиду, когда тот приехал в Персию. Однажды за пиром он взял венок из цветов, окунул его в драгоценнейшие благовония и послал Анталкиду; и все дивились царской милости и расположению. Но, как видно, человек, надругавшийся в присутствии персов над памятью Леонида и Калликратида, замечательно подходил для всей этой варварской роскоши, и благовонный венок был ему к лицу. Правда, Агесилай в ответ на чьи-то слова: "Горе тебе, Греция, раз уже и спартанцы становятся персами", – заметил: "А не наоборот ли: персы – спартанцами?" Однако ж остроумные слова не искупают позорных дел, а лакедемоняне в неудачной битве при Левктрах потеряли свою власть и первенство, славу же Спарты сгубили еще раньше – Анталкидовым миром. Пока Спарта оставалась самым могущественным государством Греции, царь хранил узы гостеприимства, связывавшие его с Анталкидом, и называл лакедемонянина своим другом. Но когда после поражения при Левктрах обстоятельства резко изменились и спартанцы, нуждаясь в деньгах, отправили Агесилая в Египет, а Анталкид снова приехал к Артаксерксу и просил оказать помощь Лакедемону, царь отнесся к нему с таким невниманием и пренебрежением, так сурово его оттолкнул, что, вернувшись домой, он уморил себя голодом – страшась эфоров и не вынеся насмешек врагов.

У царя побывали также[19] фиванец Исмений и Пелопид, незадолго до того выигравший битву при Левктрах. Пелопид держал себя с безукоризненным достоинством, а Исмений, когда ему приказали поклониться царю, уронил перед собою наземь перстень, а затем нагнулся и поднял, персы же решили, будто он отдал земной поклон. Афинянин Тимагор передал через писца Белурида записку с тайными вестями, и Артаксеркс был до того обрадован, что дал ему десять тысяч дариков, а так как Тимагор хворал и лечился коровьим молоком, приказал гнать за ним следом восемьдесят дойных коров. Кроме того, царь подарил ему ложе с постелью и рабов, чтобы ее постилать, – точно сами греки готовить

постели не умеют! – а также носильщиков, которые несли больного до самого моря. Пока же он находился при дворе, ему посылали необыкновенно богатые и обильные угощения, так что однажды брат царя Остан промолвил: “Помни, Тимагор, этот обед: не за малую, видно, службу так пышно тебя потчуют”. Слова эти были скорее укором изменнику, чем напоминанием об оказанных милостях. Впоследствии афиняне осудили мздоимца на смерть.

23. Чиня грекам бесчисленные обиды и притеснения, Артаксеркс доставил им радость лишь однажды – когда казнил Тиссаферна, заклятого их врага. Казнил же его царь после того, как Парисатида искусно увеличила бремя уже и прежде лежавших на нем обвинений. Царь недолго гневался на мать, но примирился с нею и снова приблизил к себе: он ценил ум Парисатиды и ее царственную гордость, а никаких причин, способных вызвать взаимные подозрения или обиды, более не существовало. С тех пор Парисатида во всем угождала царю, не противилась ни единому из его действий и таким образом приобрела громадную силу, ибо сын исполнял любое ее желание. И вот она обнаруживает, что Артаксеркс безумно влюблен в одну из своих дочерей, Атоссу, но прячет и подавляет эту страсть (в основном из-за нее, Парисатиды), хотя, – как сообщают некоторые писатели, – уже вступил с девушкой в тайную связь. Едва догадавшись о чувствах сына, Парисатида делается к Атоссе приветливее прежнего, начинает расхваливать Артаксерксу ее красоту и нрав – поистине-де подобающие царице, и, в конце концов, убеждает царя жениться на дочери и назвать ее законной супругой, пренебрегши суждениями и законами греков, ибо для персов он, по воле бога, сам и закон и судья, и сам вправе решать, что прекрасно и что постыдно. Иные – и среди них Гераклид из Кимы – утверждают, будто Артаксеркс взял в жены не только Атоссу, но и другую дочь, Аместриду, о которой мы расскажем немного ниже. Атоссу же он любил так сильно, что, хотя по всему телу у нее шли белые лишаи, нимало ею не брезгал и не гнушался, но молил Геру об ее исцелении и единственно пред этою богинею склонился ниц, коснувшись руками земли, а сатрапы и друзья, повинуясь царскому приказу, прислали богине столько даров, что все шестнадцать стадиев, отделявшие храм Геры от дворца, были усыпаны золотом и серебром, устланы пурпуром и уставлены лошадьми.

24. Артаксеркс начал войну с Египтом[20], но потерпел неудачу из-за раздора между полководцами, возглавлявшими поход, – Фарнабазом и Ификратом. Против кадусиев царь выступил сам с тремястами тысячами пеших и десятью тысячами конницы. Вторгнувшись в их землю, гористую, туманную и дикую, не родящую никакого хлеба, но питающую своих воинственных и непокорных обитателей грушами, яблоками и иными подобными плодами, он незаметно для себя попал в очень трудное и опасное положение: ни достать продовольствие на месте, ни подвезти извне было невозможно, так что питались только мясом вьючных животных и за ослиную голову охотно давали шестьдесят драхм. Царские трапезы прекратились. Лошадей осталось совсем немного – остальных забили и съели.

Спас в ту пору и царя и войско Тирибаз, человек, который, благодаря своим подвигам и отваге, часто занимал самое высокое положение и столь же часто

его терял из-за собственного легкомыслия и тогда прозябал в ничтожестве. У кадусиев было два царя, и каждый имел свой особый лагерь. И вот Тирибаз, переговоривши с Артаксерксом и открыв ему свой замысел, едет к одному из царей, а ко второму тайно отправляет своего сына, и оба принимаются обманно внушать обоим кадусиям, будто другой царь уже отряжает к Артаксерксу посольство с просьбою о дружбе и союзе, но – только для себя одного. А стало быть, единственно разумный шаг – предупредить события и вступить в переговоры первым, причем оба перса обещали всемерно содействовать успеху этих переговоров. Кадусии дались в обман, оба спешили опередить друг друга, и один отправил послов с Тирибазом, а другой – с сыном Тирибаза.

Все это заняло немало времени, в продолжение которого враги Тирибаза всячески чернили его пред Артаксерксом и успели заронить подозрения в душу царя: он пал духом, раскаивался, что оказал доверие Тирибазу, и благосклонно прислушивался к речам его ненавистников. Но когда, ведя за собою кадусиев, появился и сам Тирибаз, и его сын, когда с обоими посольствами был заключен мир, Тирибаз прославился и возвысился. Он двинулся в путь вместе с царем, который в тогдашних обстоятельствах убедительно показал, что трусость и изнеженность порождаются не роскошью и богатством, как принято думать, но низкой, неблагородной и следующей дурным правилам натурой. Ни золото, ни кандий, ни драгоценный, в двенадцать тысяч талантов, убор, постоянно украшавший особу царя, не мешали ему переносить все труды и тяготы наравне с любым из воинов. Спешившись, с колчаном на перевязи, со щитом в руке, он сам шагал во главе войска по крутым горным дорогам, и остальные, видя его бодрость и силы, испытывали такое облегчение, словно бы за плечами у них выросли крылья. Таким образом, они ежедневно проходили двести стадиев, а то и более.

25. Наконец Артаксеркс приблизился к царской стоянке с изумительными, великолепно разукрашенными садами[21], и, так как ударил мороз, а места вокруг были пустынные и безлесые, он разрешил воинам запасаться дровами в садах и рубить все подряд, не щадя ни сосны, ни кипариса. Но воины жалели деревья, дивясь их вышине и красоте, и тогда Артаксеркс взял топор и собственными руками свалил самое высокое и самое красивое дерево. Тут все принялись за дело и, разведя множество костров, с удобством провели ночь.

Так возвратился царь, понеся тяжелые потери в людях и лишившись почти всех коней. Полагая, что неудачный поход вызвал чувство презрения к государю, он стал подозревать виднейших своих приближенных и многих казнил в гневе, но еще больше – от страха. Ибо главная причина кровожадности тираннов – это трусость, тогда как источник доброжелательства и спокойствия – отвага, чуждая подозрительности. Вот и среди животных хуже всего поддаются приручению робкие и трусливые, а благородные – смелы и потому доверчивы и не бегут от человеческой ласки.

26. Артаксеркс был уже стар, когда впервые заметил, что сыновья заранее оспаривают друг у друга престол и каждый ищет поддержки среди друзей царя и могущественных придворных. Люди справедливые и рассудительные высказывали мнение, что ему следует оставить власть Дарию – по праву первородства,

ибо и сам он получил царство в согласии с этим правилом. Но младший сын, Ох, отличавшийся нравом горячим и резким, имел немало приверженцев во дворце, а главное, рассчитывал склонить отца на свою сторону с помощью Атоссы. Он домогался ее благосклонности и обещал взять ее в жены и сделать своею соправительницей после смерти отца, но ходил слух, будто он состоял с Атоссой в тайной связи еще при жизни Артаксеркса. До сведения царя, однако же, это не дошло.

Желая разом лишить Оха всякой надежды, чтобы он не вздумал повторить того, на что некогда отважился Кир, и царство не оказалось бы еще раз ввергнутым в жестокую войну, Артаксеркс провозгласил Дария, – которому шел уже пятидесятый год, – царем и позволил ему носить так называемую прямую китару[22]. По персидскому обычаю вновь назначенный наследник престола мог просить любого подарка, а царь, назначавший наследника, был обязан исполнить любую его просьбу, если только это оказывалось возможным, и Дарий попросил Аспасию, – в прошлом первую среди возлюбленных Кира, а теперь наложницу царя. Она была из Фокеи в Ионии, родилась от свободных родителей и получила хорошее воспитание. Вместе с другими женщинами ее привели к Киру, когда он обедал, и остальные сразу же сели подле и без всякого неудовольствия принимали его шутки, прикосновения и ласки, Аспасия же молча остановилась у ложа и, когда Кир велел ей подойти ближе, не послушалась. Слуги хотели подвести ее насильно, но она воскликнула: "Горе тому, кто тронет меня хотя бы пальцем!" Все присутствовавшие подумали, что она груба и неотесана, а Кир был доволен, засмеялся и сказал человеку, который привел женщину: "Вот видишь, из всех, что ты мне доставил, только одна свободная и неиспорченная!" С тех пор он оказывал Аспасии особое внимание и вскоре полюбил ее больше всех других и прозвал Умницей. Она была захвачена после смерти Кира на поле битвы, когда победители грабили лагерь.

27. Ее-то Дарий и попросил и просьбою своей раздосадовал отца. Варварские народы ревнивы до последней крайности – настолько, что смерть грозит не тому даже, кто приблизится и прикоснется к какой-нибудь из царских наложниц, но тому, кто хотя бы обгонит на дороге повозку, в которой они едут. Царь был женат на Атоссе, взяв ее за себя по любви и нарушив при этом все обычаи, – и все же он содержал при дворе триста шестьдесят наложниц замечательной красоты. Итак, он отвечал сыну, что Аспасия не рабыня, а свободная, и, если она изъявит на то свое согласие, Дарий может ее взять, силу же употреблять не следует. Послали за Аспасией, и, вопреки ожиданиям царя, она избрала Дария. Скрепя сердце Артаксеркс подчинился обычаю и отдал наложницу, но вскорости снова отобрал – чтобы назначить жрицею чтимой в Экбатанах Артемиды, которую называют Анаитидой[23], и чтобы остаток своих дней она провела в чистоте и непорочности. Царь считал, что наказывает сына не сурово, а очень мягко и как бы шутя, но Дарий был в ярости, то ли потому, что без памяти любил Аспасию, то ли полагая, что отец жестоко его оскорбил и насмеялся над ним.

Тирибаз угадал настроение царевича и постарался ожесточить его еще сильнее, в участи Дария узнавая собственную участь. Дело заключалось в следующем. У царя было несколько дочерей, и он обещал отдать Апаму Фарнабазу,

Родогуну – Оронту, а за Тирибаза выдать Аместриду. Два первых обещания он сдержал, но Тирибаза обманул и женился на Аместриде сам, а с Тирибазом помолвил самую младшую дочь – Атоссу. Когда же он взял в жены и эту свою дочь, вспыхнувши к ней страстью, как уже рассказано выше, Тирибаз ожесточился окончательно. Он и вообще-то не обладал твердым характером, но был человек неуравновешенный и неровный и, то становясь в один ряд с первыми людьми в государстве, то впадая в немилость и терпя унижение, ни одну из таких перемен не сносил с подобающею сдержанностью: находясь в чести, вызывал всеобщее недоброжелательство своим высокомерием, а в пору неудач выказывал не смирение и спокойствие, но неукротимую гордыню.

28. Маслом в огонь были для заносчивого Дария речи Тирибаза, упорно твердившего, что бесполезно водружать на голову прямую китару тому, кто сам не стремится верно направить свои дела, и что глубоко заблуждается Дарий, если твердо рассчитывает получить престол в то время, как братец его крадется к власти через гинекей, а характер отца столь переменчив и ненадежен. Ради какой-то гречанки он вероломно нарушил нерушимый у персов закон – кто же поверит, что он, и в самом деле, исполнит уговор о вещах первостепенной важности? И притом не достигнуть царского достоинства – совсем не то же самое, что лишиться его, ибо Оху никто не воспрепятствует жить счастливо и частным лицом, а ему, Дарию, уже провозглашенному царем, не остается ничего иного, как либо царствовать, либо вовсе не жить.

Да, безусловно справедливы слова Софокла:

> Совет поспешный нас ведет дорогой зла[24],

ибо легок и гладок путь к тому, чего мы хотим, а большинство – по незнанию и неведению прекрасного – хочет дурного. Правда, во многом помогли Тирибазу соблазнительное величие царской власти и страх Дария перед Охом; не без вины оказалась и Киприда – я имею в виду удаление Аспасии.

29. Итак, Дарий полностью доверился Тирибазу. Когда в заговор были вовлечены уже очень многие[25], какой-то евнух открыл Артаксерксу все их планы, в точности выведав, что они решили ночью проникнуть в спальню царя и убить его в постели. Отнестись безразлично к нависшей угрозе и пропустить донос мимо ушей Артаксеркс считал опасным, но еще более опасным представлялось ему поверить доносчику без всяких доказательств. И вот как он поступил. Евнуху он велел оставаться при заговорщиках и зорко за ними следить, а в спальне распорядился пробить стену позади ложа, навесить дверь и прикрыть ее ковром. Когда срок покушения настал, евнух известил об этом царя. Артаксеркс не поднялся с постели до тех пор, пока не приметил и не разглядел каждого из вошедших, и только увидев, что они обнажили мечи и ринулись к нему, мгновенно откинул ковер, проскользнул во внутренний покой и с криком захлопнул за собою дверь. Убийцы, так и не исполнившие своего замысла, но узнанные царем, выбежали в те же двери, которыми прокрались в спальню. Тирибазу все советовали спасаться, потому что вина его открылась; рассыпались кто куда и остальные. Тирибаз был настигнут, положил в схватке многих царских телохранителей и, в конце концов, пал сам, сраженный брошенным издали копьем.

Дарий, взятый под стражу вместе с детьми, предстал перед царскими судьями – так распорядился отец. Сам Артаксеркс на суде не присутствовал, и с обвинением выступили другие, но служителям приказал записать мнение каждого из судей и записи подать ему. Все высказались единодушно и приговорили Дария к смерти. Прислужники взяли его и отвели в темницу по соседству с дворцом. На зов их явился палач с острым как бритва ножом, которым отрезают головы осужденным, однако ж, увидев Дария, в ужасе отступил, оглядываясь на дверь и словно не имея ни сил ни мужества наложить руку на царя. Но судьи снаружи грозно приказывали ему делать свое дело, и тогда, отвернувшись, он схватил Дария за волосы, запрокинул ему голову и перерезал ножом горло. Некоторые писатели сообщают, что суд происходил в присутствии самого Артаксеркса и что Дарий, под бременем улик, пал ниц и молил отца о пощаде, но царь в гневе вскочил, вытащил из ножен саблю и зарубил сына. Потом он вышел на передний двор, помолился Солнцу и промолвил: "Ступайте персы, ступайте с радостью и расскажите остальным, что великий Оромазд покарал замысливших ужасное преступление!"

30. Таков был исход этого заговора. Ох, которого поддерживала Атосса, питал теперь самые светлые надежды на будущее, но все еще опасался Ариаспа – единственного оставшегося в живых законного царевича, а из побочных братьев – Арсама. Ариаспа персы считали достойным престола не потому, что он был старше Оха, но за его мягкий, простой и добрый нрав, Арсам же славился умом и был особенно мил и дорог отцу, о чем Ох отлично знал. Задумав погубить обоих, Ох, отличавшийся разом и кровожадностью и коварством, против Арсама пустил в ход природную свою жестокость, а против Ариаспа подлую хитрость. Он стал подсылать к Ариаспу одного за другим царских евнухов и друзей, всякий раз приносивших грозные и пугающие вести, будто царь решил предать его мучительной и позорной казни. Что ни день доставляя с таинственным видом такого рода сообщения и то нашептывая, что царь откладывает свой приговор, то – что вот-вот приведет его в исполнение, они до предела запугали несчастного, смешали все его мысли, наполнили душу робостью и унынием, и, в конце концов, он раздобыл смертоносного яда, выпил и положил конец всем своим тревогам. Узнав о том, как он скончался, царь горько оплакал сына. Он догадывался, кто повинен в гибели Ариаспа, но, по старости лет, был не в состоянии расследовать дело до конца. Тем горячее полюбил он теперь Арсама и открыто выказывал ему величайшее доверие. Тогда Ох пришел к убеждению, что медлить нельзя, и подговорил Арпата, сына Тирибаза, убить Арсама. Артаксеркс был уже в таком преклонном возрасте, когда любое огорчение может оказаться роковым. Узнав о страшной участи Арсама, он в самый короткий срок угас от печали и горя. Он прожил девяносто четыре года, правил царством шестьдесят два и оставил по себе славу доброго, любящего своих подданных государя – главным образом, в сравнении с сыном своим Охом, который всех превзошел кровожадностью и страстью к убийствам.





АРАТ

1. У философа Хрисиппа, Поликрат, приводится одна древняя поговорка. Но, вероятно, страшась зловещего смысла этой поговорки, Хрисипп передает ее не в подлинном виде, а в том, какой сам находит более пристойным и уместным:

Кто, как не сын, вспомянет отца при судьбине счастливой?

Дионисодор из Трезена, опровергая Хрисиппа, восстанавливает истинное ее звучание:

Кто, как не сын, вспомянет отца при судьбине злосчастной?

и прибавляет, что она затыкает рот тем, кто, сами по себе не стоя ничего, хотят укрыться за доблестями предков и неумеренно их превозносят. Но в ком, по слову Пиндара[1], "обнаруживается природное благородство отцов", как, например в тебе, устраивающем свою жизнь в согласии с самым прекрасным из семейных образцов, для того, конечно, истинное счастье – вспоминать о великих и славных предках, слушать рассказы о них или же рассказывать самому. Ибо такие люди не по недостатку собственных заслуг ссылаются на заслуги чужие, но, видя в своих достоинствах наследие отцов и дедов, тем самым воздают им хвалу и как родоначальникам и как наставникам жизни.

Вот по этим-то причинам я и посылаю тебе составленное мною жизнеописание Арата, твоего согражданина и прародителя, которого ты не посрамляешь ни славою твоей, ни могуществом. Правда, ты и сам не пожалел трудов, чтобы с величайшею тщательностью собрать все известия о нем, но я хочу чтобы на семейных примерах воспитывались твои сыновья, Поликрат и Пифокл, сперва слушая, а позже и читая о том, чему им надлежит подражать. Ведь ставить всегда и во всем на первое место одного лишь себя свойственно не любви к прекрасному, а необузданному себялюбию.

2. С тех пор как город сикионян расстался с подлинно дорийским аристократическим строем[2], былому согласию пришел конец и начались раздоры между честолюбивыми вожаками народа. Сикион беспрерывно страдал от внутренних неурядиц и менял одного тиранна на другого, пока, после убийства Клеона, правителями не были избраны двое самых известных и влиятельных граждан – Тимоклид и Клиний. Казалось, государство вновь начинало обретать спокойствие и устойчивость, когда Тимоклид скончался, а Клиния Абантид, сын Пасея, стремясь к тираннии, умертвил, друзей же его и родичей кого изгнал из Сикиона, а кого и убил. Семилетнего сына Клиния, Арата, Абантид тоже обрек на смерть и разыскивал его повсюду, но в охватившей дом сумятице мальчик ускользнул вместе с теми, кто спасался бегством, и, беспомощный, полный ужаса, долго

блуждал по городу. Случайно оставшись незамеченным, он попал, наконец, в дом одной женщины по имени Сосо́ – супруги Профанта, брата его отца, приходившейся сестрою Абантиду. Женщина эта и вообще отличалась благородством характера и, к тому же, подумала, что ребенку удалось спастись по воле кого-то из богов, а потому укрыла его у себя и ночью тайно отправила в Аргос.

3. Так с самого раннего детства в душу Арата, хитростью спасенного от гибели, запала жестокая, пламенная ненависть к тираннам, которая с годами разгоралась все жарче. Жил он у аргосских гостеприимцев и друзей своего отца и получил воспитание, подобающее свободному гражданину. Видя, что тело его быстро растет и мышцы наливаются силой, Арат посвятил себя упражнениям в палестре и преуспел в них настолько, что состязался в пятибории и получал венки. И верно, в изображениях его сразу угадывается атлет, и несмотря на ум и царственную величавость, запечатлевшиеся в чертах его лица, нетрудно заметить, что человек этот много ел[3] и что рука его привыкла к заступу. Поэтому, вероятно, он уделил красноречию меньше внимания, чем надлежало государственному мужу, хотя был не столь уже неискусен в речах, как представляется некоторым, кто судит лишь по его "Воспоминаниям"[4]: ведь воспоминания эти писаны урывками, между делом, без отбора соответствующих слов и выражений.

С течением времени Диний и знаток диалектики Аристотель составили заговор против Абантида, который имел обыкновение слушать их беседы на городской площади и вмешиваться в ученые споры, и наконец, в разгар одного из таких споров, убили его. Власть захватил Пасей, отец Абантида, но и он погиб, предательски умерщвленный Никоклом, который вслед за тем провозгласил себя тиранном. Говорят, что этот Никокл был в точности похож лицом на Периандра, сына Кипсела, так же, как походил на Алкмеона, сына Амфиарая, перс Оронт или на Гектора – один спартанский юноша, о котором Миртил рассказывает, что его растоптала толпа любопытных, проведавших об этом необычайном сходстве.

4. Никокл правил Сикионом пятый месяц и за это время причинил городу немало зла и сам едва не лишился власти происками этолийцев. Между тем Арат, уже вышедший из детского возраста, пользовался большим уважением – не только по знатности рода, но и за свой ум, глубокий и кипучий и, вместе, степенный, не по возрасту осмотрительный и осторожный. Поэтому и сикионские изгнанники главным образом к нему устремляли свои взоры, и Никокл не закрывал глаза на то, что делалось в Аргосе, напротив – хотя и скрытно, но зорко наблюдал за каждым шагом Арата. Он, правда, не ждал какой-нибудь отчаянной выходки с его стороны, но опасался, не вступил ли юноша в переговоры с царями, которых связывали с его отцом узы дружбы и гостеприимства. И верно, Арат хотел вступить на этот путь, но Антигон, несмотря на щедрые обещания, выказывал полное равнодушие к делам сикионян и упустил время, а Птолемей и Египет были слишком далеко, и он решился низложить тиранна собственными силами.

5. Первыми он посвящает в свой план Аристомаха и Экдела. Аристомах был изгнанник из Сикиона, а Экдел аркадянин из Мегалополя, философ и человек дела, когда-то слушавший в Афинах академика Аркесилая. Оба горячо одобри-

ли замысел Арата, и тогда он обратился к остальным изгнанникам, но из них лишь немногие, те, кто считал позором не откликнуться на зов надежды, приняли участие в его начинании, большинство же пыталось удержать и самого Арата, твердя, что дерзкая отвага его вызвана неопытностью, незнанием жизни.

Арат думал о том, как захватить в сикионских владениях хотя бы уголок, откуда можно будет начать борьбу с тиранном, и в эту самую пору является в Аргос один сикионянин, бежавший из тюрьмы. Это был брат изгнанника Ксенокла. Ксенокл привел его к Арату, и он рассказал, что благополучно перебрался через городскую стену в том месте, где изнутри она почти вровень с землей, потому что примыкает к каменистому холму, а снаружи сравнительно невысока и с помощью лестницы вполне преодолима. Арат выслал на разведку Ксенокла и двух своих рабов, Севфа и Технона, с наказом внимательно осмотреть стену: он решил, что лучше – если только окажется возможным – пойти на риск и, соблюдая тайну, решить все разом, чем начинать с тиранном длительную и открытую борьбу, оставаясь частным лицом. Ксенокл и его спутники, измерив стену, вернулись и сообщили, что вообще-то подходы к стене нетрудны и даже удобны, но приблизиться незаметно – задача непростая: мешают сторожевые собачонки в каком-то саду, маленькие, но до крайности злобные. Выслушав это донесение, Арат немедленно приступил к делу.

6. Запасаться оружием было тогда делом обычным, – потому что чуть ли не любой в те времена покушался на чужое имущество и жизнь, – а лестницы совершенно открыто сбил плотник Эвфранор, чье ремесло ставило его вне подозрений, хотя и он принадлежал к числу изгнанников. Каждый из друзей, каких Арат успел приобрести в Аргосе, дал ему по десяти человек, а сам он вооружил тридцать своих рабов. Кроме того, через некоего Ксенофила, вожака разбойничьей шайки, он нанял небольшой отряд воинов, которым дали понять, что готовится набег на царские табуны[5] в Сикионской земле. Бóльшая часть людей была небольшими группами отправлена вперед с приказом собраться и ждать у Полигнотовой башни. Вперед был выслан и Кафисий с четырьмя товарищами, все пятеро налегке; они должны были под вечер прийти к садовнику, назваться путешественниками и остановиться на ночлег, а потом запереть хозяина вместе с его собаками – иного способа устранить препятствие не было. Разборные лестницы спрятали в ящики и, погрузив на повозки, увезли заранее.

Между тем до Арата дошел слух, будто в Аргосе находятся соглядатаи Никокла, которые бродят по городу и тайно за ним следят. Тогда он рано утром отправился на городскую площадь и долгое время оставался там у всех на виду, беседуя с друзьями, а потом натерся маслом в гимнасии, захватил из палестры нескольких молодых людей, вместе с которыми обыкновенно пил и веселился, и повел их к себе. Спустя немного на рынке появились его рабы – один нес венки, другой покупал светильники, третий о чем-то толковал с кифаристками и флейтистками, которых всегда приглашали играть на пирушках. Все это обмануло соглядатаев, и они, посмеиваясь, говорили друг другу: "Вот уж, поистине, нет ничего трусливее тиранна, если даже Никокл, владея таким обширным городом и такою силой, боится мальчишку, который проматывает свое содержание изгнанника на беспутные удовольствия и попойки среди бела дня!"

7. С тем они и удалились, ни о чем не подозревая, а Арат сразу после завтрака выступил из Аргоса, соединился у Полигнотовой башни со своими воинами и повел их в Немею, где и открыл всему отряду истинную цель похода. Постаравшись ободрить людей щедрыми обещаниями и дав им пароль – "Аполлон Победоносец", он двинулся прямо на Сикион, соразмеряя скорость движения с ходом луны по небосклону: сперва торопился, чтобы проделать весь путь при свете, а потом замедлил шаг, чтобы оказаться у сада рядом со стеною как раз на закате луны. Там его встретил Кафисий и сообщил, что собачонки в руки не дались и убежали, а садовника он запер. Чуть ли не весь отряд сразу пал духом и потребовал отступления, но Арат успокаивал воинов, заверяя, что сразу же повернет назад, если собаки подымут слишком громкий лай. Тут он высылает вперед людей с лестницами – во главе их были поставлены Экдел и Мнасифей, – а сам медленно движется следом, несмотря на неистовое тявканье собачонок, которые бегут вровень с Экделом. Все же изгнанники достигают стены и беспрепятственно устанавливают лестницы. Но не успели еще первые взобраться на верх, как начальник, разводивший по постам утреннюю стражу, принялся поверять караулы: зазвенел колокольчик, замелькали многочисленные факелы, раздался шум голосов и лязг оружия. Люди Арата замерли на ступеньках лестниц и таким образом без труда укрылись от глаз караульных, но навстречу первому приближался еще один отряд, и опасность была чрезвычайно велика, однако ж и эти солдаты прошли мимо, ничего не заметив. Мнасифей и Экдел мгновенно поднялись на стену, заняли подходы с обеих сторон – изнутри и извне – и отправили к Арату Технона с призывом поспешить.

8. Незначительное расстояние отделяло сад от городской стены и башни, в которой сидел большой сторожевой пес охотничьей породы. Сам он не услышал приближавшихся врагов – то ли потому, что вообще был недостаточно чуток, то ли чересчур умаявшись за день. Но собачонки садовника подняли его на ноги; сперва он только глухо ворчал, однако ж, по мере того, как люди подходили ближе, лаял громче и громче, и, в конце концов, все кругом загудело от лая, и караульный с поста напротив во весь голос окликнул псаря, спрашивая, на кого это так свирепо лает его пес и не случилось ли какой нежданной беды. Псарь на башне отвечал, что ничего особенного не случилось, а просто собаку растревожили факелы охраны и звон колокольчика. Это всего больше ободрило воинов Арата, которые решили, что псарь с ними заодно и старается ничем их не выдать и что в самом городе они тоже найдут немало верных помощников. Но подъем на стену оказался делом трудным и опасным и слишком затянулся, потому что взбираться можно было только по одному и не торопясь – иначе лестницы угрожающе качались. А между тем времени оставалось в обрез, ибо уже пели петухи и вот-вот могли появиться крестьяне с обычным товаром, который они постоянно возят на рынок. Вот почему, хотя через стену перелезли всего сорок человек, Арат поспешно поднялся сам, подождал еще нескольких воинов и двинулся к дому тиранна и стратегию[6], подле которого всю ночь несли стражу наемники. Неожиданно напавши на них, он захватил всех до единого, но никого не убил и немедленно послал за своими друзьями, вызывая каждого из дому. Друзья сбежались со всех сторон, а тут уже занялся день, и театр наполнился на-

родом, который был встревожен неясными слухами, но ничего достоверного о происходившем не знал, пока не выступил вперед глашатай и не объявил, что Арат, сын Клиния, призывает сикионян к освобождению.

9. Тогда, поверив, что давно ожидаемый час настал, граждане толпою ринулись к дверям тиранна и подожгли дом. Дом быстро запылал, и столб огня поднялся так высоко, что его увидели даже жители Коринфа, и до крайности изумленные, едва не кинулись на помощь. Никокл скрылся в каких-то подземных ходах и бежал из города, а воины, с помощью сикионян, загасив пожар, разграбили его дом. Арат и этому не препятствовал, и остальное имущество тираннов предоставил в распоряжение сограждан. Ни среди нападавших, ни среди их противников не было ни одного убитого или хотя бы раненого, но охраною и заботой судьбы все начинание в целом осталось незапятнано междоусобным кровопролитием.

Арат вернул восемьдесят изгнанников, покинувших город в правление Никокла, и всех, кого, изгнали тиранны до Никокла, а их набралось не менее пятисот, и многие уже давно скитались на чужбине, иные – чуть ли не пятьдесят лет. Возвращались они по большей части нищими и заявляли притязания на имущество, которым когда-то владели. Они приходили прямо в свои прежние дома и поместья, доставляя величайшие трудности Арату, который видел, что город, вновь обретя свободу, не только сделался предметом покушений извне и навлек на себя ненависть Антигона, но и раздирается смутою изнутри.

Здраво оценив сложившееся положение, Арат счел наилучшим присоединить Сикион к Ахейскому союзу, и сикионяне, дорийцы по происхождению[7], добровольно приняли имя и государственное устройство ахейцев, которые тогда не блистали ни славою, ни могуществом. Города их в большинстве своем были маленькие и малолюдные, земли тощие, неплодные, владения тесные, примыкающие к морскому берегу, почти сплошь обрывистому, скалистому и лишенному гаваней. Однако ж никому не удалось яснее и убедительнее доказать, что греческая мощь неодолима, если только она соединяется с порядком и стройным согласием и обретает разумного предводителя, ибо, совершенно непричастные к древней славе Греции, а в ту пору не владея, все вместе взятые, силою хотя бы одного значительного государства, ахейцы своею мудростью и единодушием, своим умением не завидовать самому доблестному, но добровольно ему подчиняться не только сохранили собственную свободу в окружении могущественных городов, грозных армий и тиранний, но постоянно освобождали и спасали от рабства других греков.

10. Арат был словно рожден для управления государством. Великодушный, более строгий и взыскательный в делах общественных, нежели в собственных, лютый враг тираннов, он всегда и ненависть и дружбу соразмерял с общественною пользой. Вот почему, сколько можно судить, он выказал себя скорее снисходительным и мягкосердечным врагом, чем надежным другом, ибо изменял образ мыслей в любом направлении сообразно нуждам государства и требованиям минуты. Выше всех благ на свете он ценил согласие народов, общение городов между собой, единодушие в советах и собраниях. Открытых столкновений он опасался и войну начинал без веры в успех, зато был величайший искусник вести тайные переговоры и скрытно склонять на свою сторону тираннов и города.

Поэтому во многих случах он, проявив решительность, вопреки всем ожиданиям добивался успеха, но, по-видимому, ничуть не реже счастливые возможности оказывались упущенными из-за чрезмерной его осторожности. Вероятно, не только среди животных бывают такие, что прекрасно видят в потемках, но днем слепнут, ибо влага, окутывающая их глаза, слишком тонка и не переносит соприкосновения со светом, – так же точно встречаются люди, красноречие и ум которых при сиянии солнца в зычных криках глашатая пропадают, но если дело вершится втихомолку и украдкой, способности их вновь обнаруживаются в полном блеске. Такая неуравновешенность есть следствие недостаточного философского образования при хороших природных задатках, которые в этом случае рождают нравственную доблесть, лишенную знаний, – словно дикий, сам по себе выросший плод. Мысль эту можно пояснить примерами.

11. Соединив свою судьбу и судьбу родного города с Ахейским союзом, Арат поступил в конницу и беспрекословным повиновением быстро приобрел любовь начальников. Хотя он сделал важный вклад в общее дело, поставив на службу ахейцам славу собственного имени и силу Сикиона, но все распоряжения очередного стратега – будь то уроженец Димы, Тритеи или какого-нибудь иного, еще меньшего города – исполнял как любой из рядовых воинов. Царь[8] прислал ему подарок – двадцать пять талантов. Арат деньги принял, но, приняв, тут же роздал неимущим согражданам на покрытие всяческих нужд, а главным образом для выкупа пленных.

12. Бывшие изгнанники были глухи ко всем уговорам и продолжали неотступно тревожить тех, в чье владение перешла их собственность. Городу грозил мятеж, и Арат, последнюю и единственную свою надежду возлагая на доброту Птолемея, решил плыть в Египет и просить у царя денег для примирения враждующих. Он вышел из Мефоны, что севернее Малеи, желая совершить плавание как можно скорее. Но кормчий не смог справиться с яростным ветром и огромными валами, катившимися из отрытого моря, судно сбилось с пути после долгих блужданий пристало...* Адрия[9] была враждебна: она находилась под властью Антигона и приняла македонский караул. Предупреждая события, Арат высадился, покинул корабль и, в сопровождении одного из друзей, Тиманфа, успел уйти подальше от берега. Они забились в чащу леса и там провели мучительную ночь. Едва они скрылись, как к кораблю примчался начальник караула и стал искать Арата, но слуги знали, что отвечать, и обманули македонянина, уверив его, будто их хозяин сразу же бежал на Эвбею. Тогда начальник караула объявил корабль со всем грузом и рабами вражеским имуществом и наложил на него руку.

Арат был в безвыходном положении, как вдруг, немного дней спустя, ему выпала неслыханная удача: как раз у того места, где он скрывался, высматривая, не появится ли откуда помощь, бросило якорь римское судно. Оно держало путь в Сирию, но Арат уговорил судовладельца отвезти его в Карию и прибыл туда, вновь испытав на море опасности не менее грозные, чем в начале плавания. Из Карии он, наконец, переправился в Египет и нашел царя полным благожелательства и чрезвычайно довольным картинами и рисунками, которые Арат по-

* Текст в оригинале испорчен.

сылал ему из Греции. (Арат обладал тонким вкусом и постоянно собирал произведения лучших художников, главным образом – Памфила и Меланфа.)

13. В ту пору слава сикионской живописи была еще в полном расцвете, считалось, что она одна лишь хранит красоту неизвращенной, неиспорченной, и даже великий Апеллес, уже пользуясь громкою известностью, приехал в Сикион и, заплатив талант, вступил в круг тамошних живописцев – желая, впрочем, приобщиться скорее к их славе, нежели к искусству. Вот почему Арат, который, освободив город, уничтожил все изображения тираннов, долго раздумывал, как поступить с картиною, изображающей Аристрата. Этот тиранн жил во времена Филиппа, а картину писали все ученики Меланфа, и, как сообщает Полемон Путешественник, в работе участвовал сам Апеллес. Аристрат стоял на колеснице рядом с богинею Победы, и картина была так хороша, что Арат сперва смягчился, тронутый совершенством письма, но тотчас же ненависть к тираннам взяла верх, и он приказал вынести и разбить доску. Тогда, как передают, живописец Неалк, друг Арата, заплакал и стал просить его сжалиться, но ни слезы, ни мольбы не помогли, и Неалк воскликнул, что воевать надо против тираннов, а не против их сокровищ. "Давай оставим хотя бы колесницу и Победу, – предложил Неалк, – а самого Аристрата я уберу". Арат согласился, и Неалк стер Аристрата и на его месте написал только пальму, не решившись прибавить ничего иного. Рассказывают, что оставались видны и ноги тиранна, частично скрытые колесницей. Любовь к искусству и принесла Арату расположение Птолемея, а теперь, при близком знакомстве, царь привязался к нему еще крепче и подарил Сикиону сто пятьдесят талантов. Из них сорок Арат забрал с собою сразу и вернулся в Пелопоннес, а остальные царь разделил на части и позже постепенно пересылал в Сикион.

14. Раздобыть для сограждан так много денег было великою заслугой, ибо другие полководцы и народные вожаки, получая от царей хотя бы малую толику такой суммы, чинили насилия, предавали свои родные города и отдавали их в рабство царям; но еще важнее были мир и единодушие между неимущими и богачами, установленные с помощью этих денег, спокойствие и безопасность, которыми мог наслаждаться отныне весь народ, и поразительна была воздержность, которую обнаружил Арат, пользуясь огромной властью. Назначенный посредником с неограниченными полномочиями и облеченный правом единолично решать все вопросы, сопряженные с имущественными притязаниями бывших изгнанников, он не принял этого права, но избрал себе среди сикионян пятнадцать помощников и вместе с ними, после долгих трудов и забот, полностью примирил сограждан. За эту неоценимую заслугу все граждане вместе назначили ему подобающие почести, а изгнанники особо поставили бронзовую статую Арата с такою надписью в элегических двустишиях:

Слава о подвигах ратных, отваге и мудрых советах
Этого мужа дошла вплоть до Геракла Столпов.
Доблесть твою почитаем, Арат, и твою справедливость!
В день возвращения мы, образ воздвигнув того,
Кто нам спасителем был, богов-спасителей славим;
Дал ты отчизне свой равенства первый закон.

15. Все это подняло Арата выше зависти кого бы то ни было из сограждан, которых он облагодетельствовал, но царя Антигона его успехи удручали и, желая либо овладеть его дружбой безраздельно, либо по крайней мере очернить его перед Птолемеем, Антигон оказывал ему всевозможные знаки внимания, – которые Арат принимал не слишком охотно, – и, между прочим, принося жертвы в Коринфе, отправил ему жертвенного мяса. Вслед за тем, на пиру, он громко сказал, обращаясь к многочисленным гостям: "Я думал, что этот сикионский юноша просто горячо любит свободу и родной народ. Но, оказывается, он способен, вдобавок, верно судить о жизни и поступках царей. Раньше он нами пренебрегал, надежды свои устремлял за море и восхищался несметными египетскими богатствами, слыша рассказы о слонах, о флотах и дворцах, но теперь, побывавши, так сказать, в самой скене[10] – увидев, что в Египте нет ничего, кроме театральной пышности и показного блеска, целиком переходит на нашу сторону. Поэтому я и сам принимаю мальчика с полным радушием, чтобы впредь всемерно пользоваться его службою, и вас прошу считать Арата другом". Слова эти были подхвачены завистниками и зложелателями, которые засыпали Птолемея письмами, наперебой взводя на Арата тяжкие обвинения, так что в конце концов Птолемей послал к нему своего гонца с выражением неудовольствия. Вот сколько зависти и зложелательства сопряжено с дружбою царей и тираннов, которой ищут и домогаются с пламенным вожделением!

16. Когда ахейцы впервые избрали Арата стратегом, он опустошил лежащие на другом берегу залива[11] Локриду и Калидонию и с десятитысячным войском двинулся на подмогу беотийцам, но опоздал – этолийцы успели одержать при Херонее победу, в битве пал беотарх Абеокрит и с ним тысяча воинов.

Год спустя Арат снова занял должность стратега и приступил к исполнению своих замыслов, касавшихся Акрокоринфа. На сей раз он трудился не только ради сикионян или ахейцев, но задумал, если можно так выразиться, сразить тиранна, угнетавшего всю Грецию, – изгнать из Акрокоринфа македонский караул. Афинянин Харет, разгромив в каком-то сражении царских полководцев, писал афинскому народу, что выиграл битву – сестру Марафонской. Но тогда подвиг Арата по праву можно назвать родным братом подвигов фиванца Пелопида и афинянина Фрасибула, с тем лишь выгодным отличием, что оружие было направлено не против греков, но против чужой, иноземной власти.

Коринфский перешеек, разделяя моря, служит мостом между двумя областями и смыкает воедино наш материк, а потому сторожевой отряд, поставленный на Акрокоринфе, – высоком холме, что поднимается в самой средине Греции, – прерывает всякое сообщение с землями за Истмом, препятствует любому военному походу, как сухопутному, так равно и морскому, и делает того, кто занял этот холм и держит его в своих руках, безраздельным властелином. И, по-видимому, отнюдь не острословил младший Филипп, когда при всяком удобном случае называл город Коринф оковами Эллады.

17. Вполне понятно, что эта местность постоянно была предметом ожесточенной борьбы между всеми царями и правителями, а желание Антигона овладеть ею ничуть не уступало самой жаркой и неистовой любовной страсти, и он с головою был погружен в думы, измышляя хитрость, которая помогла бы ему

отнять Акрокоринф у тогдашних его владельцев, ибо открытое нападение было заведомо обречено на неудачу. Когда умер Александр[12], которому подчинялась вся та округа, – умер, как тогда говорили, отравленный им же, Антигоном, – и власть взяла Никея, жена умершего, продолжавшая зорко охранять Акрокоринф, Антигон немедля подослал к ней своего сына Деметрия и, внушая Никее сладкие надежды на брак с царевичем и супружескую жизнь с молодым человеком, завидную для пожилой вдовы, уловил ее в сети, использовавши сына как приманку. Тем не менее крепости она без надзора не оставляла, напротив, караулила ее по-прежнему зорко, и Антигон, делая вид, будто ему это безразлично, справлял в Коринфе свадебные обряды, устраивал игры, задавал что ни день пиры, – одним словом, держал себя так, как свойственно человеку, который переполнен своею радостью и не помышляет ни о чем, кроме забав и удовольствий. Наконец, намеченный срок настал. В этот день пел Амебей, и Антигон сам отправился проводить Никею в театр. Гордая этой честью новобрачная возлежала в носилках, украшенных по-царски, совершенно не подозревая о том, что должно было вот-вот свершиться. Дойдя до поворота, где начиналась тропа, ведущая наверх, Антигон приказал нести Никею дальше, в театр, а сам, не думая больше ни об Амебее, ни о свадьбе, не по годам резво и поспешно пустился к Акрокоринфу. Ворота были заперты, царь поднял посох, постучался и велел отворить, и стража, в крайнем изумлении, отворила. Так он овладел Акрокоринфом, и, не в силах сдержать восторг, пил и веселился прямо на улицах, и с венком на голове в сопровождении флейтисток и шумной ватаги друзей, расхаживал, ликуя, по городской площади, и горячо приветствовал всякого встречного, – старик, испытавший на своем веку столько превратностей судьбы! Да, действительно, ни горе, ни страх не будоражат и не потрясают душу сильнее, чем нечаянная и не умеренная рассудком радость.(18). Захватив, как уже сказано, крепость, Антигон разместил в ней лишь тех воинов, к которым питал особое доверие, а начальником отряда поставил философа Персея.

Арат помышлял об Акрокоринфе еще при жизни Александра, но когда ахейцы заключили с Александром союз, отказался от этих мыслей. Теперь он возвратился к ним снова и вот по какому поводу. Жили в Коринфе четверо братьев, родом сирийцы, и один из них, по имени Диокл, был наемником и служил в караульном отряде. Другие трое похитили царское золото и явились в Сикион к меняле Эгию, к которому нередко обращался по делам и Арат. Часть украденного они обратили в деньги сразу, а остальное разменивал постепенно один из братьев, Эргин, зачастивший с этой целью к Эгию и близко с ним сошедшийся. Как-то раз меняла завел речь о сторожевом отряде, и сириец рассказал, что, поднимаясь к брату в крепость, заметил отлогую расселину в круче, выводящую как раз к тому месту, где стена ниже всего. Тогда Эгий шутливым тоном заметил: "Что же это, мой милейший, из-за какой-то горстки золота вы грабите царскую сокровищницу, а ведь могли бы один час своего времени продать за громадные деньги! Разве ты не знаешь, что и взломщиков и предателей, если уж они попадутся, ожидает одна и та же смерть?" Эргин только засмеялся в ответ и на первый раз согласился испытать Диокла (остальным братьям он не слишком доверял), но немного дней спустя пришел снова и уговорился провести Арата к

той части стены, где высота не больше пятнадцати футов, а также помочь ему и во всем остальном – вместе с Диоклом.

19. Арат обещал им в случае удачи шестьдесят талантов, а если попытка его будет безуспешна, но все останутся живы, – каждому дом и по таланту денег. Надо было оставить у Эгия шестьдесят талантов для Эргина и Диокла, а так как Арат и сам не располагал такой суммой и занимать ни у кого не хотел, чтобы не сеять подозрений, он собрал бóльшую часть своих кубков и чаш и золотые украшения жены и дал Эгию в залог. Так высок духом был этот человек и такою горел любовью к прекрасным деяниям! Ведь он отлично знал, что Фокион и Эпаминонд стяжали славу самых справедливых, благороднейших среди греков уже тем, что отвергли богатые дары и не согласились предать за деньги свою честь и достоинство, – знал, но, не довольствуясь таким бескорыстием, прежде всего тайно пожертвовал собственным имуществом ради дела, в котором подвергал себя опасности один за всех сограждан, даже не догадывавшихся о происходившем у них за спиною. Кто бы еще и сегодня не восхитился его великодушием, не протянул руку помощи человеку, который за такие деньги покупал... опасность, и опасность столь грозную, который закладывал самое ценное свое имущество ради того, чтобы ночью проникнуть в гущу неприятеля и биться не на живот, а на смерть, не взявши сам никакого иного залога и обеспечения, кроме надежды на подвиг!

20. Дело и вне зависимости от всего прочего было сопряжено с громадным риском, а тут еще в самом начале вышло опасное недоразумение. Раб Арата Технон, высланный на разведку, чтобы вместе с Диоклом осмотреть стену, никогда прежде Диокла в лицо не видел, но думал, что достаточно хорошо представляет себе его наружность по описанию Эргина, который изображал брата кудрявым, смуглым и безбородым. Придя на условленное место за городом – называлось это место Петух, – он ждал Эргина, который должен был привести Диокла. Но тем временем, по чистой случайности, появился старший брат Эргина и Диокла, Дионисий, не посвященный в дело и не принимавший в нем никакого участия, но похожий на Диокла. Технон, введенный в заблуждение сходством внешних примет, спросил его, связан ли он как-нибудь с Эргином. Тот отвечал, что Эргин ему брат, и Технон совершенно уверился, что говорит с Диоклом. И, уже не спросив даже имени незнакомца и не дождавшись никаких иных подтверждений, он протягивает ему руку, заводит речь об осмотре стены и задает разные вопросы. Дионисий сообразил, что Технон обознался, но, ловко воспользовавшись этим, стал усердно ему поддакивать и, повернув назад к городу, повел его за собою, все время поддерживая разговор и не возбуждая ни малейших подозрений. Он был уже подле самых городских ворот и уже собирался схватить и задержать Технона, как вдруг, – снова по какой-то случайности, – им повстречался Эргин. Догадавшись, какая произошла ошибка и какая опасность с нею сопряжена, он движением глаз приказал рабу бежать и сам последовал его примеру. Оба мчались что было мочи и благополучно прибыли к Арату. Арат, однако ж, не оставил своих надежд, но сразу отправил Эргина обратно с деньгами для Дионисия и с просьбою, чтобы тот хранил молчание. Эргин не только исполнил поручение, но вернулся вместе с Дионисием. Теперь, когда Ди-

онисий был в Сикионе, ему уже не дали уйти, но связали и заперли его в каком-то домишке, приставив к дверям стражу, а сами стали готовиться к нападению.

21. Когда же приготовления был завершены, Арат приказал войску оставаться всю ночь в полном вооружении, взял четыреста отборных бойцов – даже они за немногими исключениями, не знали и не понимали, что происходит, – и повел их к тем воротам Коринфа, что обращены к Герею[13]. Была средина лета, полнолуние, ночь стояла ясная, безоблачная, и Арат опасался, как бы блеск оружия в лунном свете не выдал их караульным. Но когда голова отряда уже подходила к воротам, с моря набежали тучи и покрыли тенью самый город и ближайшую окрестность. Воины сели на землю и стали разуваться: босые ноги и ступают почти бесшумно и не скользят на ступенях лестницы. Тем временем Эргин и семеро молодых людей, одетые по-дорожному, подкрались к воротам и убили привратника со всеми караульными. Тут приставляют лестницы, Арат во главе сотни воинов быстро перелезает через стену и, приказав остальным следовать за ним как можно скорее, втягивает лестницы наверх и пускается со своею сотнею через город к крепости, безмерно радуясь тому, что остался незамеченным, и уже твердо уверенный в успехе. Вдруг вдалеке показались четверо караульных с факелом. Они шли навстречу отряду и были видны как на ладони, сами же не видели врага, который еще оставался в тени. Арат велел своим отступить немного назад, под прикрытие каких-то стен и развалин, и устроил засаду. Напав на караульных, они троих уложили на месте, но четвертый, хоть и раненный мечом в голову, пустился бежать с криком, что в городе неприятель. Сразу же загремели трубы, весь город проснулся и пришел в движение, улицы наполнились бестолково мечущейся толпой, зажглись многочисленные огни – и у подножья холма, и наверху, в самой крепости, – и отовсюду несся глухой, неясный гул.

22. Между тем Арат упорно взбирался по круче, но вначале подвигался вперед медленно и с большим трудом, потому что потерял тропинку, которая, бесконечно петляя и прячась в густой тени громадных камней, вела к крепостной стене. Но тут, говорят, луна каким-то чудом проглянула сквозь облака, осветив самую трудную часть пути, и светила до тех пор, пока нападающие не достигли стены в нужном месте, а потом снова спряталась в тучах и все погрузила во мрак.

Воины, которых Арат оставил за городскими укреплениями невдалеке от Герея, числом триста человек, проникли в город, когда он был уже полон смятения и огней, и не смогли ни найти тропы, ни вообще напасть на след своих товарищей, а потому сбились все вместе в какой-то темной расселине и замерли в ожидании, вне себя от тревоги и страха, ибо люди Арата уже вступили в соприкосновение с противником, который метал со стены копья и дротики, и сверху неслись крики, которые, однако, отражаясь от горных склонов, смешивались в сплошной шум, так что нельзя было понять, откуда он идет. А пока воины медлили, не зная, в какую сторону обратиться, с их расселиною поравнялся царский полководец Архелай во главе многочисленного отряда, который под громкий воинский клич, под рев труб поднимался в гору, чтобы ударить на Арата. Тогда эти триста, оказавшиеся как бы в засаде, выскочили из своего убежища и напали на царских воинов. Первых они убили, а остальные, вместе с самим Ар-

хелаем, бежали в таком ужасе, что преследователи рассеяли и разогнали их по всему городу. Едва они с успехом завершили бой, как спустился Эргин и сообщил, что наверху сражение в разгаре, но противник упорно обороняется, что идет ожесточенная борьба на самой стене и что нужна срочная помощь. Воины потребовали, чтобы он немедленно вел их за собой. По пути они криком предупреждали о своем приближении, ободряя товарищей. Издалека щиты и шлемы, мерцавшие в свете полной луны, казались врагам куда многочисленнее, чем на самом деле, а ночное эхо умножало голоса. В конце концов, уже не рассвете, они единым натиском отбрасывают неприятеля, врываются в крепость и захватывают стражу в плен, и солнце первыми своими лучами озаряет их подвиг, а тут из Сикиона подходит и остальная часть войска, коринфяне радостно встречают ее у ворот и вместе с воинами Арата принимаются ловить царских солдат.

23. Когда все волнения и опасности были, по-видимому, позади, Арат спустился из крепости в театр, куда текли бесконечные вереницы людей, желавших взглянуть на него и послушать, что он скажет коринфянам. Поставив своих ахейцев в проходах с обеих сторон, он вышел на орхестру[14] – как был, в панцире, с осунувшимся от усталости и бессонной ночи лицом, и телесное утомление заглушало гордую радость, которая владела его душой. Так как собравшиеся, когда он вышел вперед, разразились бурею приветствий, он переложил копье в правую руку, оперся на него, чуть наклонившись и слегка согнув колено, и долго стоял молча, принимая рукоплескания и восторженные крики коринфян, слушая, как они превозносят его доблесть и восхваляют его удачу. Когда же они утихли и успокоились, он собрался с силами и произнес подходящую к случаю речь, в которой объяснял действия ахейцев. Он убедил коринфян присоединиться к Ахейскому союзу и вручил им ключ от ворот, тогда впервые со времен Филиппа очутившийся в руках жителей города. Одного из полководцев Антигона, Архелая, который был захвачен в плен, он освободил, другого, Феофраста, отказавшегося покинуть Коринф, велел казнить. Персей после падения крепости бежал в Кенхреи. Впоследствии, как передают, беседуя с кем-то на досуге, он в ответ на замечание, что, дескать, лишь мудрец способен быть хорошим полководцем, воскликнул: “Да, клянусь богами, и мне когда-то всего больше нравилось учение Зенона! Но теперь, получивши урок от сикионского юноши, я переменил свое мнение”. Этот рассказ о Персее приводят многие писатели.

24. Немедля вслед за тем Арат овладел Гереем и гаванью Лехеем. Он захватил двадцать пять царских судов и отдал на продажу пятьсот коней и четыреста сирийцев. На Акрокоринфе ахейцы поставили сторожевой отряд из четырехсот воинов и поместили в крепости пятьдесят сторожевых псов и столько же псарей.

Римляне восхищаются Филопеменом и называют его последним из эллинов, словно после него Эллада великих людей уже не рождала. А я полагаю, что последним среди греческих подвигов был подвиг Арата и что не только отвага, но и счастливый исход ставят этот подвиг в один ряд с самыми прославленными и блестящими деяниями. Об этом свидетельствует весь ход ближайших событий. Действительно, мегаряне изменили Антигону и присоединились к Арату, Трезен и Эпидавр вошли в Ахейский союз, и Арат, впервые выступив в дальний по-

ход, вторгся в Аттику, переправился на Саламин и разграбил его, по собственному усмотрению распоряжаясь силами ахейцев, которые словно бы вырвались из тюрьмы на волю. Афинянам он возвратил свободнорожденных пленных без выкупа, положив тем самым начало их отдалению от Антигона. Птолемея он сделал союзником ахейцев, уступив ему верховное начальство и в сухопутной и в морской войне. И влияние Арата среди ахейцев было так велико, что, хотя стратегом его избирали через год (ежегодное избрание возбранялось законом), по сути вещей он постоянно был первым и в делах, и в советах. Ибо все видели, что ни богатство, ни славу, ни царскую дружбу, ни выгоду родного города, одним словом, ничто на свете не ставит он выше преуспеяния Ахейского союза. Он считал, что отдельные города, сами по себе бессильные, могут спастись и уцелеть благодаря взаимной поддержке, как бы связанные воедино соображениями общего блага, и подобно тому, как части тела, пока они сращены одна с другою, живут и все вместе поддерживают свое существование, но, если их расчленить, гибнут и разлагаются, так же точно и города приходят в упадок по вине тех, кто расторгает сообщества, и, напротив, каждый из них упрочивается и процветает, когда, сделавшись частью некоего большого целого, пользуется плодами общего попечения и заботы.

25. Видя, что все наиболее достойные из соседей независимы и подчиняются своим законам и лишь аргивяне остаются в рабстве, Арат сокрушался об их участи и задумал низложить их тиранна Аристомаха, считая для себя честью вернуть Аргосу свободу и этим отблагодарить за воспитание, которое он там получил, и, вместе с тем, рассчитывая присоединить город к Ахейскому союзу. Нашлись и люди, соглашавшиеся взять на себя это опасное предприятие; во главе их стояли Эсхил и прорицатель Харимен. У заговорщиков не было мечей, ибо иметь оружие аргивянам строго запрещалось и тиранн жестоко наказывал тех, кто нарушал его запрет. И вот Арат заказал для них в Коринфе короткие кинжалы и зашил во вьючные седла; а седла надели на мулов и лошадей, нагрузили животных каким-то дрянным товаром и отправили в Аргос. Но тут прорицатель Харимен привлек к заговору какого-то человека вопреки желанию Эсхила, Эсхил был возмущен и решил устроить покушение сам, без Харимена. Тот проведал об его намерении и, не помня себя от злобы, донес на заговорщиков, которые уже шли на тиранна с оружием в руках. Большинство их, однако, успело бежать прямо с городской площади и благополучно добралось до Коринфа.

Спустя немного Аристомах был убит собственными рабами, но власть немедля захватил Аристипп – тиранн еще более страшный. Арат собрал всех ахейцев, способных носить оружие, какие оказались на месте, и поспешил на помощь городу в уверенности, что аргивяне встретят его с распростертыми объятиями. Но народ уже свыкся с рабством, и ни один человек в Аргосе Арата не поддержал, так что он отступил ни с чем и лишь навлек на ахейцев обвинение, что они нарушают мир и разжигают войну. Иск Аристиппа разбирали мантинейцы и, так как Арат на суд не явился, приговорили ответчика к штрафу в тридцать мин.

Аристипп ненавидел и боялся Арата и замышлял погубить его, пользуясь содействием и помощью царя Антигона. Почти повсюду у них были свои люди, которые выжидали удобного случая для покушения. Но нет для правителя креп-

че стражи, чем искренняя и верная любовь подчиненных. Когда и простой люд, и первые граждане привыкли бояться не правителя, но *за* правителя, он видит множеством глаз, слышит множеством ушей и обо всем догадывается и узнает заранее. Поэтому я хочу прервать здесь мой рассказ, чтобы нарисовать образ жизни Аристиппа, который навязала ему тирания, столь завидная в глазах людей, и гордое единовластие, повсюду возглашаемое счастливым.

26. Этот человек был союзником Антигона, держал многочисленных наемников для охраны собственной особы, не оставил в живых ни единого из своих врагов в Аргосе – и все-таки телохранители и караульные, исполняя его приказ, размещались в колоннаде вокруг дома, всех слуг, как только заканчивался обед, он немедленно выгонял вон, замыкал внутренние покои и вместе со своею возлюбленной укрывался в маленькой комнатке верхнего этажа с опускною дверью в полу. На эту дверь он ставил кровать и спал – насколько, разумеется способен уснуть и спать человек в таком состоянии духа, одержимый тревогою и отчаянным страхом. Лестницу мать любовницы уносила и запирала в другой комнате, а утром приставляла снова и звала этого удивительного тиранна, который выползал из своего убежища, словно змея из норы. Арат, приобретший пожизненную власть не силою оружия, а в согласии с законами и благодаря собственным достоинствам, ходивший в самом обыкновенном плаще, заведомый и непримиримый враг всех и всяческих тираннов, оставил потомство, которое до сих пор пользуется в Греции высочайшим уважением. А из тех, кто захватывал крепости, держал телохранителей и полагался на оружие, ворота и опускные двери, лишь немногие, точно трусливые зайцы, ускользнули от насильственной смерти, семьи же, или рода, или хотя бы почитаемой могилы не осталось ни от кого.

27. Арат еще не раз пытался низложить Аристиппа, но любая его попытка овладеть Аргосом – как тайная, так и явная – заканчивалась неудачей. Однажды он приставил лестницы, смело поднялся с немногими воинами на стену и перебил стражу, оборонявшую эту часть укреплений. Но когда настал день и тиранн со всех сторон двинул на него свои отряды, аргивяне, словно на глазах у них происходила не битва за их же свободу, а состязание на Немейских играх, где они распоряжаются и судят, оставались беспристрастными и безучастными зрителями и соблюдали полное спокойствие. Арат сражался не щадя сил и в рукопашной схватке был ранен копьем в бедро, но удерживал захваченную позицию до самой ночи, несмотря на жестокий натиск врагов. Если бы он продержался еще до утра, борьба была бы выиграна, ибо тиранн готовился к бегству и уже отправил к морю значительную часть имущества. Но никто об этом Арату не сообщил, между тем как запас воды у него вышел, и сам он из-за раны не мог больше находиться в строю, и ахейцы отступили.

28. В конце концов Арат отчаялся достигнуть чего бы то ни было этим путем. Вторгшись с войском в Арголиду, он сперва разорял страну, а затем сошелся с Аристиппом в яростной битве у реки Харета. Арата упрекали в том, что он слишком рано прекратил борьбу и упустил верную победу. Другая часть ахейского войска бесспорно одержала над неприятелем верх и, преследуя бегущих, ушла далеко вперед, но отряд Арата в беспорядке отступил в лагерь – и не

столько потому, что врагу удалось его потеснить, сколько из страха и неверия в успех. Остальные, возвратившись после преследования, возмущенно роптали, что, обратив врага в бегство и нанеся ему ущерб куда больший, чем их собственные потери, они уступают теперь побежденным право поставить трофей в поношение победителям, и Арат, устыдившись, решил сражаться еще раз – из-за трофея. Через день после первой битвы он снова выстроил войско в боевой порядок, но, убедившись, что число сторонников тиранна умножилось и что сопротивляются они решительнее прежнего, не отважился продолжать сражение. Он заключил с Аристиппом перемирие, похоронил убитых, и отступил.

И все же, благодаря своему умению обходиться с людьми и вести государственные дела, благодаря доверию и любви ахейцев он сумел загладить эту провинность: он присоединил к Ахейскому союзу Клеоны и справил там Немейские игры[15], сославшись на древние обычаи, которые отдают все преимущества этому городу. Однако аргивяне тоже устроили игры, и тогда впервые была нарушена дарованная участникам состязаний неприкосновенность, ибо всех, кто был задержан в ахейских владениях на возвратном пути из Аргоса, ахейцы рассматривали как врагов и продавали в рабство. Так горяч и непримирим был Арат в своей ненависти к тираннам.

29. Немного спустя Арат узнал, что Аристипп готовит нападение на Клеоны, но боится исполнить свой план, пока он, Арат, стоит в Коринфе. Тогда он отдал приказ воинам собраться, велел им запастись продовольствием на несколько дней и ушел в Кенхреи, хитростью выманивая Аристиппа и побуждая его напасть на Клеоны. И хитрость удалась – Аристипп поверил, что враги далеко, и тут же выступил с войском из Аргоса. Но Арат, как только стемнело, возвратился из Кенхрей в Коринф, расставил на всех дорогах стражу и повел дальше своих ахейцев, которые следовали за ним в таком строгом порядке, с такою быстротой и воодушевлением, что они проделали весь путь до Клеон и – все еще под покровом ночи – вступили в город и выстроились для битвы, а Аристипп так ни о чем не знал и не догадывался. На рассвете распахнулись городские ворота, загремели трубы, и воины Арата с громким боевым кличем стремительно обрушились на неприятеля, тут же обратив его в бегство. Арат упорно преследовал беглецов, сам направляя погоню в ту сторону, где, по его расчетам, должен был искать спасения Аристипп: местность была изрезана целою сетью дорог и тропинок. Преследование продолжалось до самых Микен, где тиранн, как сообщает Диний, был настигнут и убит неким критянином по имени Трагикс; общее число павших превысило тысячу пятьсот. Несмотря на эту блестящую победу, которую он одержал, не потеряв ни единого из своих воинов, Аргоса Арат не взял и не освободил: Агий и младший Аристомах с царским войском незаметно проникли в город и взяли власть в свои руки.

Эта победа заставила умолкнуть многих клеветников и заткнула рот льстецам, которые, лебезя перед тираннами, осыпали Арата насмешками и выдумывали дурацкие небылицы, будто у ахейского стратега во время всякой битвы бывает расстройство желудка, будто у него кружится голова и темнеет в глазах, как только рядом становится трубач, будто, выстроив войско в боевой порядок и передавши по рядам пароль, он осведомляется у своих помощников и младших

начальников, не нужно ли больше его присутствие, – ведь жребий уже все равно брошен! – а затем уходит подальше и напряженно выжидает исхода дела. Эти слухи имели такое широкое распространение, что даже философы в своих школах, рассматривая вопрос, являются ли сердцебиение, бледность и слабость кишечника в минуты опасности следствием страха или же какого-то телесного расстройства и врожденной вялости, всегда приводили в пример Арата, который, дескать, прекрасный полководец, но в сражениях постоянно испытывает подобного рода недомогание.

30. Покончив с Аристиппом, Арат немедленно обратился против Лидиада из Мегалополя, который был тиранном своего родного города. Человек этот не был бесчестен или же низок от природы, и не алчность или невоздержность увлекли его на этот несправедливый путь, как бывает с большинством единовластных правителей, но, ослепленный еще в молодые годы жаждою славы и безрассудно впитав в гордую свою душу лживые и пустые речи о тирании, о том, что нет ничего завиднее ее и ничего счастливее, он сделался тиранном, однако же очень скоро пресытился тяготами самовластия. Завидуя успехам и славе Арата и опасаясь его происков, Лидиад ощутил благороднейшее желание самому совершить перемену, самому избавиться и освободиться от ненависти, страха, караула, телохранителей и, вместе с тем, стать благодетелем отечества. И вот он посылает за Аратом, отрекается от власти и присоединяет Мегалополь к Ахейскому союзу. Ахейцы прославляли его за это до небес и выбрали стратегом. Лидиад горел желанием сразу же превзойти Арата славою и предлагал много различных планов, казавшихся, однако, излишними и опрометчивыми, между прочим – поход против лакедемонян. Арат возражал, но все считали, что он завидует Лидиаду, и тот был избран стратегом во второй раз, хотя Арат открыто противодействовал этому избранию и всячески старался передать власть кому-нибудь другому. (Сам он, как уже говорилось выше, занимал должность стратега каждый второй год.) Вплоть до третьей своей стратегии Лидиад продолжал пользоваться всеобщим расположением и управлял Союзом через год, попеременно с Аратом. Но когда он вступил с Аратом в открытую вражду и принялся обвинять его перед ахейцами, то был с презрением отвергнут, ибо всякому стало ясно, что здесь напускное благородство борется против доблести истинной и неподдельной. И подобно тому, как у Эзопа[16] кукушка спрашивает мелких пташек, почему это они летят от нее прочь, а те отвечают: "Да потому, что ты когда-нибудь обратишься в ястреба!" – так же, по-видимому, и Лидиад со времен своей тирании продолжал вызывать подозрения, подрывавшие доверие к перемене, которая в нем совершилась.

31. В борьбе с этолийцами Арат снова прославил свое имя. Ахейцы хотели дать им сражение на границе Мегариды, на помощь союзникам подошел с войском спартанский царь Агид и, со своей стороны, уговаривал ахейцев решиться на битву, но Арат был решительно против, и, терпеливо вынеся потоки хулы, вынеся бесчисленные издевательства и насмешки над его слабостью и трусостью, не побоявшись видимости позора, он не отказался от плана, сулившего выгоду и успех, но позволил противнику, перевалившему через Геранию, беспрепятственно пройти в Пелопоннес. Однако ж немного спустя, когда этолийцы

внезапно заняли Пеллену, это был уже совсем другой человек. Не теряя времени и не дожидаясь, пока отовсюду соберутся войска, он с теми силами, что были в его распоряжении, немедленно двинулся на врагов, которые, – в упоении победою, – были совершенно обессилены беспорядком и наглым своеволием: ворвавшишь в город, солдаты рассыпались по домам и принялись ссориться и драться друг с другом из-за добычи, а старшие и младшие начальники рыскали повсюду и ловили жен и дочерей пелленцев, надевая на голову пойманным свои шлемы, чтобы уже никто более не наложил на них руку, но по шлему сразу было бы видно, кому принадлежит каждая пленница. И вот в таком-то расположении духа и за такими занятиями они вдруг получают известие о нападении Арата. Началось смятение, какого и следовало ожидать при полном беспорядке, и еще прежде, чем все узнали об опасности, первые, вступив в бой с ахейцами у ворот и в предместьях, уже были разбиты и бежали и, в ужасе спасаясь от погони, привели в замешательство и тех, что собирались вместе и готовились оказать им помощь.

32. В самый разгар всеобщего смятения одна из пленниц, дочь Эпигета, известного в городе человека, девушка замечательно красивая, статная и высокая, сидела в святилище Артемиды, куда ее отвел начальник отборного отряда, предварительно надев ей на голову свой шлем с тройным султаном; на шум она неожиданно выбежала из храма и когда, остановившись перед воротами, в шлеме с пышным султаном, взглянула вниз на сражающихся, то даже своим согражданам представилась исполненною нечеловеческого величия, а врагов, решивших, что пред ними явилось божество, это зрелище наполнило таким страхом и трепетом, что никто уже и не думал о сопротивлении. Правда, сами пелленцы рассказывают иначе. По их словам, к кумиру богини обыкновенно никто не притрагивается, когда же жрица снимает его с подножия и выносит из храма, ни один человек не смеет на него взглянуть, но все отворачиваются, ибо не только для людей страшен и непереносим вид богини, но даже деревья, мимо которых ее проносят, делаются бесплодны или же роняют плоды до срока; этот кумир жрица, дескать, и вынесла в тот день и, постоянно обращая его ликом к этолийцам, отняла у них разум и поразила безумием. Арат, однако же, в своих "Воспоминаниях" вообще ни о чем подобном не говорит, но просто сообщает, что обратил этолийцев в бегство, ворвался на плечах у бегущих в город и с боем изгнал врага, который потерял убитыми семьсот человек. Победу Арата восторженно прославляли, и художник Тиманф написал картину, живо и верно изображавшую эту битву.(33). Тем не менее, видя, что против ахейцев объединяются многие народы и властители, Арат, не теряя времени, начал искать дружбы с этолийцами и с помощью Панталеонта, пользовавшегося среди этолийцев огромным влиянием, сумел заключить с ними не только мир, но и союз.

Он старался освободить и афинян, но столкнулся с открытым недовольством и прямыми обвинениями со стороны ахейцев, когда, невзирая на перемирие, которое они заключили с македонянами, предпринял попытку захватить Пирей. Сам Арат в "Воспоминаниях" отрицает свою вину и всю ответственность перекладывает на Эргина, с чьею помощью овладел когда-то Акрокоринфом. Эргин, утверждает он, напал на Пирей по собственному почину, а когда лестница

подломилась и враги пустились за ним в погоню, стал выкрикивать имя Арата, словно тот, и в самом деле, был рядом, и благодаря этой уловке ускользнул, обманувши неприятеля. Но оправдания эти не кажутся убедительными. Невозможно себе представить, чтобы Эргин, не занимающий никакой должности, и к тому же сириец родом, задумал такое опасное и отчаянное дело, если бы не находился под началом у Арата, не получил от него людей и не узнал удобного для нападения срока. Да и сам Арат выдал себя тем, что не дважды и не трижды, но многократно, словно без памяти влюбленный, покушался овладеть Пиреем, и неудачи не обескураживали его, напротив, обманываясь в своих надеждах всякий раз уже близ самой цели, он именно в этой близости к цели черпал новое мужество. Однажды на Фриасии, спасаясь бегством, он даже вывихнул себе ногу, и лекарь должен был сделать ему несколько разрезов, так что долгое время в походах он руководил военными действиями, оставаясь в носилках.

34. Когда Антигон умер и престол перешел к Деметрию, Арат еще усилил натиск на Афины, а к македонянам проникся величайшим презрением. И все же в сражении при Филакии он был разгромлен Битием, полководцем Деметрия, и сразу же пошли упорные слухи. будто он захвачен в плен, и другие, не менее упорные, будто он убит. Тогда Диоген, начальник караула в Пирее, отправляет в Коринф письмо с требованием, чтобы ахейцы оставили город, ибо Арата нет в живых. Но вышло так, что когда явились гонцы с письмом, Арат находился в Коринфе, и люди Диогена, доставив коринфянам пищу для бесчисленных шуток и насмешек, убрались восвояси. Мало того, сам царь выслал из Македонии корабль, на котором к нему должны были доставить Арата в цепях. Что касается афинян, то, стараясь угодить македонянам, они дошли до крайних пределов легкомыслия и, при первых же вестях о гибели Арата, дружно украсили себя венками. Арат был в негодовании и тут же выступил против них походом. Он дошел до самой Академии, но, в конце концов, внял уговорам и не причинил городу никакого вреда. Афиняне узнали всю высоту его нравственных качеств, и когда после смерти Деметрия они решили вернуть себе свободу, то обратились за помощью к Арату. В том году Союзом управлял другой, и вдобавок сам Арат был прикован к постели продолжительною болезнью, и все же он в носилках поспешил на зов, чтобы сослужить городу добрую службу, и уговорил начальника сторожевого отряда Диогена передать афинянам Пирей. Мунихию, Саламин и Суний за плату в сто пятьдесят талантов, из которых двадцать ссудил он сам. Сразу после этого к ахейцам присоединились Эгина и Гермиона; в Союз вошла и почти вся Аркадия. А так как внимание и силы македонян были отвлечены войнами на границах, а этолийцев связывал с ахейцами договор, мощь Ахейского союза сильно возросла.

35. Стремясь исполнить давнее свое намерение и не в силах терпеть тираннию в таком близком соседстве с ахейскими владениями – в Аргосе, Арат через своих посланцев принялся убеждать Аристомаха возвратить аргивянам свободу, присоединить город к Союзу, и лучше – по примеру Лидиада – со славою и почетом стать стратегом целого эллинского племени, чем оставаться тиранном одного-единственного города, подвергаясь опасностям и терпя всеобщую ненависть. Аристомах согласился и попросил Арата прислать ему пятьдесят талан-

тов, чтобы рассчитаться с наемниками и распустить их, но пока деньги перевозили в Аргос, Лидиад, который еще был стратегом и питал честолюбивую мечту представить все дело в глазах ахейцев как плод его, Лидиада, трудов, стал чернить Арата перед Аристомахом, уверяя, что ненависть этого человека к тираннам непреклонна и неумолима, и уговорил аргосского правителя довериться полностью ему. С тем он и привел Аристомаха в Собрание ахейцев. Вот когда с особенной убедительностью выказали представители ахейцев свою любовь к Арату и веру в него! Сначала он в гневе не советовал принимать Аргос – и Аристомаху отвечали решительным отказом, но затем смягчился и сам просил за аргивян – и все было тут же решено. Ахейцы приняли в Союз Аргос и Флиунт, а годом позже даже избрали Аристомаха стратегом.

Аристомах приобрел влияние среди ахейцев и, задумав вторгнуться в Лаконию, вызывал из Афин Арата. Но Арат письмом отговаривал его от похода: он не хотел, чтобы ахейцы вступали в борьбу с Клеоменом, человеком отважным и дерзко рвущимся ввысь. Аристомах, однако ж, настаивал, и Арат согласился и сам принял участие в походе. Он помешал Аристомаху дать сражение Клеомену, встретившему ахейцев у Паллантия, и за это подвергся обвинениям со стороны Лидиада, который выступил соперником Арата на выборах в стратеги. Но Арат одолел его и получил должность стратега в двенадцатый раз.

36. В эту свою стратегию он потерпел поражение при Ликее[17] и бежал от победителя-Клеомена. Ночью он заблудился, и друзья решили было, что он погиб, и снова громкая молва о смерти Арата облетела всю Грецию. Благополучно ускользнув от погони и собрав своих воинов, он не удовольствовался возможностью беспрепятственно отступить, но блестяще воспользовался сложившимся положением и внезапно напал на мантинейцев, союзников Клеомена, – в то время, как ни один человек такого оборота событий не ожидал и не предвидел. Заняв город, он поставил там караульный отряд, дал чужеземным поселенцам права гражданства и один доставил побежденным ахейцам такие выгоды и преимущества, какие и победителям было бы нелегко приобрести.

Когда лакедемоняне предприняли поход против Мегалополя, Арат пришел на помощь мегалополитанцам, но упорно уклонялся от сражения, хотя Клеомен бросал ему вызов за вызовом, и сдерживал боевой пыл самих мегалополитанцев, отвечая отказом на все их настояния. Он и вообще-то не был создан для открытых битв, а в тот раз еще и уступал врагу числом и соперником имел молодого и отчаянно храброго человека, меж тем как собственное его мужество уже увядало и честолюбие утихло. Вдобавок он считал, что славою, которой нет у молодого царя и которую тот надеется приобрести своею отвагой, этою славою он сам уже обладает и должен сберечь ее своею осторожностью.

37. Тем не менее однажды, во время вылазки, легкая пехота оттеснила спартанцев до самого лагеря и рассыпалась между палатками, однако ж Арат и тут не повел войско вперед, а остановился у какого-то рва на полпути и запретил тяжеловооруженным переходить этот ров. Но Лидиад, которого до крайности огорчало все происходившее, осыпал Арата бранью, стал скликать всадников и призывал их поддержать тех, кто преследует неприятеля, не упускать из рук победу и не покидать его, Лидиада, который сражается, защищая отечество. Мно-

го сильных бойцов собралось на его зов, и Лидиад, воспрянув духом, обрушился на правое крыло противника, обратил его в бегство и пустился в погоню; но горячность и честолюбие ослепили его и завели на неровное место, густо засаженное деревьями и изрезанное широкими рвами, и там он пал, отбиваясь от Клеомена, пал после славной и самой прекрасной борьбы – у ворот родного города. Остальные искали спасения под прикрытием тяжелой пехоты, но, ворвавшись в ее ряды, расстроили их, и теперь уже разбитым оказалось все войско ахейцев. Главную вину за это поражение ахейцы возлагали на Арата и кричали, что он предал Лидиада. Отступая, они в гневе заставили своего стратега последовать за ними в Эгий и там, в Собрании, постановили не давать ему больше денег и не содержать наемников, а если Арату нужна война, то средства для нее пусть добывает сам. (38). Подвергнувшись такому унижению, Арат решил было немедля снять с руки перстень с печатью и сложить полномочия стратега, но затем, поразмыслив, остался в должности, повел ахейцев к Орхомену и дал битву Мегистоною, отчиму Клеомена; он одержал победу, убил триста спартанцев, а Мегистоноя захватил в плен.

Обыкновенно Арат бывал стратегом каждый второй год, но тут, когда снова подошла его очередь и он получил приглашение занять должность, он отвечал отказом, и стратегом был избран Тимоксен. Предлог для такого отказа – раздражение и гнев против народа – считали неправдоподобным и неубедительным, истинною же причиной были трудные обстоятельства, в которых очутились ахейцы, ибо Клеомен уже откинул прежнюю осторожность и неторопливость и никакие гражданские власти его больше не связывали – перебив эфоров, устроив передел земли и наделив гражданскими правами многих чужеземных поселенцев, он приобрел ничем не ограниченную мощь и тут же усилил натиск на ахейцев, требуя для себя первенства и верховенства. Вот за что и порицают Арата, который в жестокую бурю, обрушившуюся на государство, бросил кормило и передал другому, меж тем как долгом его было сохранить за собою руководство даже вопреки воле подчиненных и спасать общее дело. Если же он отчаялся в успехе ахейцев и потерял веру в их силы, следовало уступить Клеомену, но не отдавать снова Пелопоннес во власть варваров из македонских сторожевых отрядов, не наполнять Акрокоринф иллирийским и галатским оружием, а тех, кого он сам побивал и на полях сражений и на государственном поприще и кого без устали хулит в своих "Воспоминаниях", не делать под безобидным именем "союзников" владыками городов. Допустим даже, что Клеомен поступал беззаконно и был склонен к тирании, но и за всем тем предками его были Гераклиды и отечеством Спарта, а лучше иметь вождем самого захудалого спартанца, чем первейшего из македонян, – так думал всякий, кто придавал хоть сколько-нибудь цены эллинскому благородству происхождения. А ведь Клеомен, требуя у ахейцев высшей власти, сулил городам, в обмен на честь и титул, множество всяких благ, Антигон же, провозглашенный предводителем с неограниченными полномочиями на суше и на море, принял звание не прежде, чем в уплату за предводительство ему обещали Акрокоринф. Он действовал в точности, как охотник у Эзопа[18], и сел верхом на ахейцев, которые молили его об этом и покорно подставляли спину, лишь после того, как они согла-

сились, чтобы царь, если можно так выразиться, "взнуздал" их заложниками и караульными отрядами. Арат самыми яркими красками расписывает безвыходное положение, в котором он очутился, но Полибий утверждает[19], что еще задолго до того, как это положение сложилось, он начал поглядывать с опаскою на отвагу Клеомена, завел тайные сношения с Антигоном и подговорил граждан Мегалополя, чтобы те просили ахейцев призвать Антигона (мегалополитанцы страдали от войны больше всех, ибо Клеомен беспрерывно разорял и грабил их землю). Одинаково рассказывает об этом и Филарх, которому, впрочем, особо доверять не следует – если только сообщения его не подтверждены Полибием, – ибо, едва лишь речь заходит о Клеомене и Арате, он, из расположения к царю спартанцев, увлекается сверх всякой меры и, словно не историю пишет, а говорит на суде, одного неизменно обвиняет, а другого столь же неизменно оправдывает.

39. Потеряв Мантинею, которую снова занял Клеомен, и потерпев поражение в большой битве при Гекатомбее, ахейцы пали духом настолько, что немедля пригласили Клеомена в Аргос, обещая передать ему верховное командование. Но когда Арат получил известие, что Клеомен уже в пути и расположился с войском близ Лерны, то в страхе и смятении отправил послов с требованием, чтобы спартанский царь явился в Аргос всего с тремястами спутников, как приходят к друзьям и союзникам, если же он не доверяет ахейцам, пусть возьмет заложников. Клеомен отвечал, что это наглое издевательство над ним, и повернул обратно, написав ахейцам письмо, полное нападок на Арата и обвинений против него. Арат, в свою очередь, писал письма, направленные против Клеомена. Они хулили и поносили друг друга с такой яростью, что замаранными оказались даже брак и супруги обоих противников.

После этого Клеомен через вестника объявил ахейцам войну и сразу же едва не захватил изменою Сикион, но повернул на Пеллену и взял ее, изгнав ахейского стратега. Немного спустя он овладел также Фенеем и Пентелием. Тогда аргивяне немедленно перешли на его сторону, и Флиунт принял спартанский караул. И вообще ни единое из вновь приобретенных владений ахейцы уже не могли считать своим, и Арат вдруг увидел себя окруженным отовсюду волнениями и беспорядками – весь Пелопоннес был потрясен, и любители перемен и переворотов подстрекали города к мятежу.

40. Спокойствия не было нигде, нигде не довольствовались существующим положением вещей, но даже в Сикионе и в Коринфе обнаружились многие, кто состоял в связи с Клеоменом и уже давно, мечтая взять власть в свои руки, питал тайную вражду к Союзу. Получив по этому случаю неограниченную власть[20], Арат казнил в Сикионе всех виновных, но когда попытался нарядить следствие и наказать изменников в Коринфе, то вконец ожесточил народ, уже и без того роптавший и тяготившийся порядками, которые установили ахейцы. И вот, сбежавшись к храму Аполлона, коринфяне посылают за Аратом, чтобы еще до начала восстания убить его или захватить живым. Арат пришел, ведя в поводу коня и словно не подозревая ничего дурного и вполне доверяя собравшимся, а когда многие повскакали на ноги и принялись осыпать его обвинениями и бранью, он, нисколько не изменившись в лице, ровным голосом убеждал их сесть и не кричать безо всякого толка, но первым делом впустить тех, кто ос-

тался за воротами. С этими словами он медленно двинулся назад, словно намереваясь передать кому-нибудь своего коня. Так он незаметно выскользнул за ограду. С коринфянами, которые встречались ему по пути, он говорил очень спокойно и всех просил идти к святилищу Аполлона, но когда оказался наконец вблизи от крепости, то вскочил на коня, приказал Клеопатру, начальнику караула, зорко охранять Акрокоринф и ускакал в Сикион в сопровождении всего тридцати воинов – остальные бросили его и разбрелись кто куда. Коринфяне скоро узнали об его бегстве и кинулись вдогонку, но было уже поздно, и они, послав за Клеоменом, передали ему город. Но Клеомен считал это приобретение ничтожным по сравнению с оплошностью, которую они совершили, упустив Арата. Вслед за тем к спартанцам присоединились жители так называемого Скалистого берега[21] и вверили им свои города, а Клеомен принялся обносить Акрокоринф частоколом и стеною.

41. Большинство ахейцев сошлось и съехалось к Арату в Сикион. Составилось собрание, Арат был избран стратегом с неограниченными полномочиями и окружил себя охраною из своих сограждан. После тридцати трех лет, проведенных на государственном поприще во главе Ахейского союза, после того, как и славою и силою этот человек превосходил всех в Греции, он остался один, сокрушенный и беспомощный, и теперь, когда его родина потерпела крушение, носился по волнам в разгар губительной бури. Да, ибо и этолийцы отвечали отказом на его просьбу о помощи, и город афинян, связанный долгом благодарности Арату и готовый оказать ему поддержку, не сделал этого, внявши грозным предупреждениям Эвриклида и Микиона. В Коринфе у Арата был дом и прочее имущество, и Клеомен ничего не тронул сам и не позволил прикоснуться никому другому, но вызвал к себе друзей и управляющих ахейского стратега и велел вести дела и оберегать все с такою тщательностью, словно им предстоит дать отчет самому Арату. Частным образом он отправил к Арату сперва Трифила, а потом своего отчима Мегистоноя, предлагая ему, кроме всего прочего, двенадцать талантов ежегодного содержания, то есть вдвое больше, чем давал Птолемей, – тот посылал ему шесть талантов. За это он требовал звания главы и предводителя ахейцев и права совместно с ними охранять Акрокоринф. Арат отвечал, что он более не направляет течение событий, но скорее сам плывет по течению. Клеомен счел его ответ издевательским и, вторгнувшись без промедления в Сикионскую землю, три месяца грабил ее и разорял, а самый город держал в осаде. В продолжение этих месяцев Арат стойко переносил бедствия войны, все еще не решаясь принять помощь Антигона, который в обмен желал получить Акрокоринф и ни на каких иных условиях помочь не соглашался.

42. Ахейцы между тем собрались в Эгии и пригласили туда Арата. Дорога была сопряжена с немалым риском, потому что Клеомен стоял лагерем близ Сикиона. Сограждане умоляли Арата остаться, кричали, что не позволят ему подвергать себя опасности, когда неприятель так близко, даже дети и женщины окружали его, словно общего отца и спасителя, и с плачем ловили его руки. Тем не менее, успокоив их и ободрив, он поспешил верхом к морю в сопровождении десяти друзей и уже взрослого сына. У берега их ждали на якоре суда, они взошли на борт и благополучно прибыли в Эгий, и там, в Собрании, было решено

призвать Антигона и передать ему Акрокоринф. В числе других заложников Арат отправил к царю и своего сына. Узнав об этом, коринфяне пришли в ярость и разграбили имущество Арата, а дом его подарили Клеомену.

43. Антигон с войском уже двинулся в поход (он вел двадцать тысяч македонской пехоты и тысячу триста всадников), и Арат с демиургами[22], тайком от неприятелей, выехал морем навстречу ему в Пеги – не слишком полагаясь на Антигона и не доверяя македонянам. Ведь он прекрасно знал, что возвышение его было обратною стороною того ущерба, который он причинил македонянам, и помнил, что первою и главнейшею основою для своих действий на государственном поприще в свое время избрал вражду против Антигона. Но, видя себя во власти жесточайшей необходимости, видя, как неумолимы обстоятельства, которым рабски служат те, кого принято считать властителями, он решился на этот тяжкий шаг. Антигон, однако ж, когда ему доложили, что приехал Арат с ахейцами, всех остальных принял сдержанно, но Арату уже при первой встрече оказал необычайные почести, а впоследствии, узнав его ум и нравственные достоинства, приблизил к себе на правах друга. Ибо Арат оказался полезен не только в важных делах, но и часы досуга царь разделял с ним охотнее, чем с кем бы то ни было еще. Несмотря на молодость Антигон сумел разглядеть характер этого человека, убедился, что он-то как раз и должен быть царским другом, и с тех пор оказывал ему неизменное предпочтение не только перед ахейцами, но и перед македонянами из своей свиты. Так сбылось и исполнилось знамение, которое бог явил однажды во время жертвоприношения. Передают, что незадолго до этих событий Арат, разглядывая печень жертвенного животного, заметил два желчных пузыря в одном пласте жира, и прорицатель объявил, что вскорости он самым дружеским образом сойдется со злейшим своим врагом. Тогда Арат пропустил эти слова мимо ушей (он и вообще не питал особого доверия к жертвам и гадателям и больше полагался на здравый смысл). Но впоследствии Антигон, по случаю больших военных успехов, устроил многолюдный пир в Коринфе и отвел Арату место за столом выше собственного; вскоре после начала пира он распорядился принести покрывало и спросил Арата, не холодно ли ему, Арат отвечал, что ужасно озяб, и тогда царь велел ему придвинуться поближе, и рабы накрыли обоих одним ковром. Вот тут-то Арат и вспомнил о том жертвоприношении, громко рассмеялся и рассказал Антигону о знамении и о прорицании. Но это, повторяю, случилось значительное время спустя.

44. В Пегах Антигон и Арат обменялись клятвами и без промедления двинулись на врага. У Коринфа завязалась борьба, потому что Клеомен хорошо укрепил город, а коринфяне сопротивлялись с большим упорством. В разгар этой борьбы аргивянин Аристотель, друг Арата, тайно присылает к нему человека с обещанием склонить Аргос к мятежу, если он явится с войском на подмогу. Арат сообщил об этом Антигону и с тысячей пятьюстами воинов поспешно отплыл с Истма в Эпидавр, но аргивяне восстали раньше срока, напали на отряд Клеомена и заперли его в крепости, а Клеомен, узнав о случившемся и испугавшись, как бы неприятели, если они займут Аргос, не отрезали ему путь домой, еще ночью оставил Акрокоринф и бросился на помощь своим. Он поспел в Аргос первым и сумел потеснить восставших, но немного спустя подошел Арат, а

следом появился и царь с войском, и Клеомен отступил в Мантинею. После этого все города снова примкнули к ахейцам, Акрокоринф перешел в руки Антигона, а Арат, которого аргивяне избрали своим полководцем, уговорил их подарить царю имущество тиранна и предателей.

Аристомаха подвергли в Кенхреях мучительной пытке и утопили в море, и все в один голос осуждали Арата, считая, что он равнодушно отдал на беззаконную казнь ни в чем не повинного человека, который находился в прямой связи с ним самим и, последовав его же, Арата, убеждениям, добровольно отказался от власти и присоединил свой город к Ахейскому союзу.

45. И множество иных обвинений выдвигалось теперь против Арата. Когда Антигону подарили Коринф, словно какую-то жалкую деревушку, когда ему отдали на разграбление Орхомен, а затем позволили разместить там македонский сторожевой отряд, когда было принято постановление, запрещавшее без ведома и согласия Антигона писать и посылать послов к любому из остальных царей, когда греков заставляли содержать македонян и платить им жалованье, когда они приносили Антигону жертвы, совершали в его честь торжественные шествия и устраивали игры, – чему начало положили сограждане Арата, всем городом принимавшие у себя Антигона, которого пригласил в гости Арат, – во всем этом винили его, Арата, не видя того, что, передав поводья Антигону и влекомый неукротимым потоком царского могущества, он остался хозяином и владыкою лишь собственного голоса, да и голосу-то звучать свободно было уже небезопасно. Мало того, многое из совершавшегося в ту пору тяжко оскорбляло Арата, как было, например, в случае со статуями: все изображения тираннов в Аргосе, сброшенные с подножий, Антигон распорядился поставить на прежнее место, а статуи тех, кто захватил Акрокоринф, – напротив, сбросить и разбить, за исключением только статуи Арата. И сколько Арат его ни упрашивал, царь своего решения не изменил.

И с Мантинеей, по общему суждению, ахейцы обошлись вопреки всем греческим обычаям. Взявши город с помощью Антигона, самых первых и видных граждан они казнили, остальных либо продали, либо в оковах отправили в Македонию, женщин и детей обратили в рабство, а все деньги, какие удалось собрать, разделили на три части: одну взяли себе, две получили македоняне. Но это еще можно как-то оправдывать, ссылаясь на закон возмездия[23]. Ужасно, конечно, так свирепо расправиться в гневе со своими родичами и соплеменниками, но, по слову Симонида, в крайности сладостна и жестокость – она как бы приносит целительное удовлетворение страдающему и распаленному духу. То, однако ж, как Арат поступил с Мантинеей в дальнейшем, нельзя извинить и оправдать ничем – ни справедливостью, ни необходимостью. Когда ахейцы, получив город в дар от Антигона, решили снова его заселить, Арат, занимавший тогда должность стратега и избранный основателем колонии, провел закон, чтобы впредь она звалась не Мантинеей, но Антигонией. Так зовется она и по сей день, и, стало быть, по его вине исчезла с лика земли "веселая Мантинея"[24], но остался город, который носит имя убийцы и погубителя своих граждан.

46. После этого Клеомен, разбитый в большом сражении при Селласии, покинул Спарту и уплыл в Египет, Антигон же, с крайнею добросовестностью и

благожелательностью исполнив все свои обязательства перед Аратом, возвратился в Македонию и, уже больной, отправил в Пелопоннес Филиппа, наследника престола, едва вышедшего из детского возраста, с наказом неуклонно следовать советам Арата и только через него вести переговоры с городами и приобретать знакомства среди ахейцев. И Арат так крепко забрал царевича в свои руки и так сумел его направить, что тот вернулся домой полный любви к своему наставнику и честолюбивого интереса к делам Греции.

47. После смерти Антигона этолийцы, презирая легкомыслие ахейцев, которые, привыкнув ждать спасения от чужих рук и прятаться под защитою македонского оружия, предавались праздности и бездействию и забыли о порядке, – этолийцы начали тревожить Пелопоннес. Ограбив мимоходом владения Димы и Патр, они вторглись в Мессению и принялись разорять страну. Арат был в негодовании и, видя, что Тимоксен, тогдашний стратег, нарочито медлит – срок его стратегии подходил к концу, а на следующий год главою Союза был избран Арат, – вступил в должность на пять дней раньше времени, чтобы помочь мессенцам. Он быстро собрал ахейцев, но они и телом ослабели и воинский дух утратили, а потому при Кафиях Арат потерпел поражение. Слыша упреки в излишней горячности, которая, дескать, и привела к неудаче, он сразу же пришел в отчаяние и отказался от всех своих планов и надежд, так что ни разу не воспользовался случаем сквитаться с этолийцами, хотя такие случаи представлялись неоднократно, и терпеливо сносил все наглые бесчинства врага, который словно бы справлял праздничное шествие по землям Пелопоннеса. Снова ахейцы с мольбою простирали руки к Македонии и звали Филиппа вмешаться в греческие дела, главным образом рассчитывая на его расположение и доверие к Арату и потому ожидая найти в царе благосклонного заступника и сговорчивого союзника.

48. Но как раз в эту пору Апеллес, Мегалей и еще кое-кто из придворных впервые начали клеветать на Арата, и Филипп, поверив этим наветам, поддержал на выборах его противников и заставил ахейцев избрать стратегом Эперата. Новый стратег, однако, не пользовался ни малейшим уважением, а Арат совершенно устранился от дел, ничего хорошего из этого избрания не вышло, и Филипп, в конце концов, понял, что совершил огромную ошибку. Он снова обратился к Арату, целиком подчинил себя его влиянию, и поскольку весь ход дальнейших событий способствовал росту славы и могущества Филиппа, дорожил связью с этим человеком, считая, что обязан ему своим возвышением и громким именем. Все убедились, что Арат прекрасный наставник не только для демократии, но и для царской власти, ибо образ его мыслей и его характер как бы окрашивали действия и поступки царя. Сдержанность молодого государя по отношению к провинившимся лакедемонянам, его обхождение с критянами, благодаря которому он в течение нескольких дней привел весь остров к покорности, поход против этолийцев, отличавшийся редкостною стремительностью, – все это приносило Филиппу славу человека, чуткого к добрым советам, а Арату – славу доброго советника.

Зависть царских приближенных разгоралась все сильнее, и, ничего не достигнув тайными нашептываниями, они перешли к открытой брани и нагло, с шу-

товскими кривляниями оскорбляли Арата на пирах, а однажды, когда он после обеда возвращался к себе, преследовали его до самой палатки и забросали камнями. Филипп пришел в ярость и немедленно наложил на виновных штраф в двадцать талантов, а позже, убедившись, что они наносят вряд его делам и сеют беспорядок, приказал их казнить. (49). Но когда милости судьбы вскружили ему голову и он дал волю своим многочисленным и сильным дурным страстям, когда природная испорченность одолела наносную сдержанность и вырвалась из-под ее власти, постепенно обнажился и выявился истинный нрав Филиппа. Прежде всего, царь нанес обиду младшему Арату, нарушив его супружеские права, и долгое время никто об этом не догадывался, ибо Филипп был семейным другом обоих Аратов и пользовался их гостеприимством. Потом он начал выказывать враждебность к государственным порядкам греков, а вскоре уже открыто давал понять, что хочет избавиться от Арата.

Первый повод к подозрениям доставили события в Мессене. В городе вспыхнула междоусобная борьба, Арат с помощью запоздал, и Филипп, явившись на день раньше, тут же подлил масла в огонь: сначала он особо беседовал с властями и спрашивал, неужели у них нет законов против народа, а потом, в особой беседе с вожаками народа, спрашивал, неужели у них нет силы против тираннов. Обе стороны осмелели, и власти попытались схватить и взять под стражу вожаков народа, а те во главе толпы напали на своих противников, убили их и вместе с ними – еще без малого двести человек.

50. Меж тем как ужасное это дело, подстроенное Филиппом, уже свершилось и царь старался еще сильнее ожесточить мессенцев друг против друга, прибыл Арат, который и сам не скрывал своего возмущения, и не остановил сына, когда тот набросился на Филиппа с резкими и грубыми упреками. Сколько можно судить, юноша был влюблен в Филиппа и потому, среди прочих злых слов, сказал ему так: "После того, что ты сделал, я больше не вижу твоей красоты, нет, теперь ты самый безобразный из людей!" Младшему Арату Филипп ничего не ответил, хотя и кипел от гнева и несколько раз прерывал юношу яростными воплями, а старшего – прикидываясь, будто спокойно проглотил все сказанное и будто по натуре он сдержан и терпелив, как подобает государственному мужу, – старшего взял за руку и увел из театра в Ифомату[25], чтобы принести жертву Зевсу и осмотреть место. Оно укреплено не хуже Акрокоринфа и, занятое сторожевым отрядом, становится грозным и неприступным для тех, кто живет поблизости. Филипп поднялся наверх и совершил жертвоприношение, а когда прорицатель подал ему внутренности заколотого быка, взял их обеими руками и показал Арату и фаросцу Деметрию, наклоняясь к каждому по очереди и спрашивая, что усматривают они во внутренностях жертвы: суждено ли ему удержать крепость или же вернуть ее мессенцам. Деметрий засмеялся и ответил: "Если у тебя душа гадателя, ты потеряешь это место, а если царя – то крепко схватишь быка за оба рога". Он имел в виду Пелопоннес, который оказался бы целиком подвластен и покорен царю, если бы Филипп к Акрокоринфу присоединил Ифомату. Арат долго молчал и, наконец, в ответ на просьбу Филиппа высказать свое мнение, промолвил:"Много высоких гор на Крите, Филипп, много вершин поднимается над землею беотийцев и фокейцев. И в Акарнании – и в

глубине страны и на берегу – тоже немало удивительных твердынь. Ни единого из подобных мест ты не занимаешь, однако ж все эти страны добровольно подчиняются твоим приказам. Разбойники гнездятся в скалах и ищут убежища среди отвесных круч, но для царя нет твердыни надежнее верности и любви. Это они открывают тебе Критское море, они отворяют ворота Пелопоннеса; через них ты, в твои молодые годы, уже сделался у одних народов вождем, а у других – владыкою''. Не успел еще он закончить свою речь, как Филипп отдал внутренности жертвы прорицателю, а Арата взял за руку, привлек к себе и сказал: "Ну что ж, пойдем и дальше той же дорогой'', – точно соглашаясь освободить Мессену, побежденный правотой его слов.

51. Теперь Арат начал отдаляться от двора, мало-помалу прекращая общение с Филиппом, и, когда царь двинулся в Эпир и просил его принять участие в походе, отвечал отказом и остался дома из опасения, как бы действия Филиппа не покрыли дурной славой и его. Когда же Филипп самым позорным образом лишился в борьбе с римлянами флота и вообще потерпел полную неудачу[26], а затем возвратился в Пелопоннес и снова попытался обмануть мессенцев, но сохранить тайну не сумел и стал чинить открытое насилие и разорять их страну, – тут же Арат порвал с ним окончательно, тем более, что проведал и о бесчестии, которое Филипп нанес его дому, и был тяжко опечален, но сыну ни о чем не рассказывал: ведь ничего, кроме сознания собственного позора, молодому Арату это дать не могло, ибо отомстить обидчику он был не в силах.

Мне кажется, что Филипп претерпел самую крутую и самую неожиданную перемену, из милосердного царя и скромного юноши превратившись в разнузданного и гнусного тиранна. Впрочем это не было переменою в характере, просто при полной безнаказанности вышло наружу зло, долгое время таившееся во мраке, под гнетом страха. (52). Да, ибо чувство, которое он питал к Арату, с самого начала складывалось из стыда и страха, и об этом свидетельствует его расправа с прежним своим наставником. Филипп хотел убить Арата в уверенности, что пока тот жив, ему никогда не быть не только что тиранном или царем, но даже свободным; все же прибегнуть к прямому насилию он не решился и поручил Тавриону, одному из своих полководцев и друзей, извести его тайком, лучше всего с помощью яда, и вдобавок в такое время, когда его, Филиппа, на месте не будет. Таврион сумел сблизиться с Аратом и дал ему яду, но не сильного и не быстродействующего, а такого, что вначале вызывает легкий жар и небольшой кашель, а потом постепенно приводит к чахотке. Арат понял, в чем причина его недуга, но переносил его спокойно и молча, словно какую-нибудь самую обычную болезнь, понимая, что никакими разоблачениями делу не помочь. И только раз, когда один из близких друзей, сидя у него в комнате, увидел, как он харкает кровью, и удивился, Арат сказал ему: "Это, мой Кефалон, воздаяние за дружбу с царями''.

53. Так он скончался в Эгии, в семнадцатую свою стратегию, и ахейцы непременно желали там же его и похоронить и воздвигнуть памятник, достойный жизни этого человека. Но сикионяне считали для себя несчастием, если тело Арата не будет предано погребению у них и убедили ахейцев уступить им эту честь, а так как в Сикионе существовал древний обычай, запрещающий хоронить мертвых в городских стенах, и так как обычай этот поддерживался силь-

нейшим суеверием, послали в Дельфы спросить совета у Пифии. Пифия изрекла им следующий оракул:

Ты решил, Сикион, вождя, ушедшего ныне,
Славной наградой навеки почтить и священным обрядом?
Да, оскорбленье ему нанести – нечестивое дело,
Землю и небо оно оскорбит, и широкое море.

Все ахейцы обрадовались этому прорицанию, но больше всех радовались сикионяне, которые превратили скорбь в праздник и немедля, украсив себя венками и облачившись в белые одежды, с хвалебными песнопениями и хороводными плясками, понесли труп из Эгия к себе в город. Выбрав видное отовсюду место[27], они погребли Арата, величая его основателем и спасителем Сикиона. Место и поныне зовется Аратием, и здесь ежегодно приносили Арату две жертвы: одну в день, когда он освободил город от тираннии, – в пятый день месяца десия, который афиняне называют анфестерионом, и сама жертва именовалась Избавительною, а другую – в день и месяц его рождения. Первый из обрядов совершал жрец Зевса Избавителя, второй – жрец Арата, головная повязка у него была не чисто белая, а белая с красным, и жертвоприношение сопровождалось звуками песен, которые под кифару пели актеры, а в шествии участвовали мальчики и подростки во главе с гимнасиархом, за ними следовали члены Совета в венках и всякий желающий из прочих граждан. Кое-какие из этих обрядов сикионяне благоговейно хранят и теперь и совершают их в те же самые дни. Но бóльшая часть почестей, которые прежде оказывались Арату, забыта с течением лет и под бременем новых забот.

54. Вот что рассказывают писатели о жизни и характере старшего Арата. Сына же его гнусный Филипп, с жестокостью соединявший наглую разнузданность, отравил ядом, не смертельным, но лишающим рассудка. Им овладели странные и страшные желания, он испытывал неодолимую тягу к нелепым поступкам, к вещам, столько же постыдным, сколько губительным, и смерть, хотя он был еще так молод, пришла к нему не бедою, но избавительницей и исцелением от бед. Правда, и Филипп понес заслуженное возмездие за свое подлое злодеяние, держа ответ перед Зевсом-Покровителем Дружбы и Гостеприимства. Разбитый римлянами[28] и сдавшись на милость победителей, он лишился своей державы, лишился всего флота, за исключением лишь пяти кораблей, а кроме того обещал уплатить тысячу талантов и выдал сына заложником – и лишь на этих условиях удержал за собою Македонию и данников Македонии. Беспрерывно истребляя самых достойных людей государства и ближайших своих родственников, он наполнил всю страну ужасом и ненавистью к царю. Среди всех этих бедствий лишь одна была у него удача – замечательных достоинств сын, но, завидуя почестям, которые оказывали юноше римляне, Филипп убил его и престол передал другому сыну, Персею, – как идет слух, не кровному, а подкидышу, появившемуся на свет у какой-то штопальщицы Гнафении. Этого Персея провел в триумфальном шествии Эмилий, и на нем царский род, получивший начало от Антигона, прекратился. А потомство Арата и в наши дни процветает в Сикионе и в Пеллене.





ГАЛЬБА

1. Афинянин Ификрат считал, что наемник должен быть жаден до денег и удовольствий, – тогда, дескать, ища средств утолить и утишить свои страсти, он будет храбрее сражаться, – но большинство требует, чтобы войско было подобно могучему телу, которое собственных побуждений не знает и движимо лишь волею полководца. Вот почему и Павел Эмилий в Македонии, приняв начальство и убедившись, что воины чересчур болтливы и любопытны и вмешиваются в дела командующего, отдал, как сообщают, приказ[1], чтобы каждый держал в готовности свои руки и наточил свой меч, а об остальном позаботится он сам. Хороший военачальник и полководец бессилен, если в войске нет послушания и единодушия, и Платон[2], отлично это видя, полагал, что искусство повиноваться подобно искусству царствовать и что оба нуждаются как в хороших природных задатках, так равно и в философском воспитании, которое прививает кротость и человеколюбие и тем особенно удачно умеряет дерзость и вспыльчивость. Мнение Платона подтверждается множеством различных примеров, в том числе – и бедствиями, обрушившимися на римлян после смерти Нерона; все они в своей совокупности доказывают, что нет ничего страшнее военной силы, одержимой темными и грубыми страстями, когда она стоит у власти.

Демад после смерти Александра сравнил македонское войско с ослепленным Киклопом, наблюдая, как много беспорядочных и бессмысленных движений оно совершает. Римская же держава испытывала потрясения и муки, схожие с воспетыми в сказаниях муками и борьбой Титанов, – раздираемая на много частей[3] сразу и все снова яростно устремляющаяся сама на себя, – и не столько из-за властолюбия тех, кого провозглашали императорами, сколько из-за алчности и распущенности солдат, сбрасывавших одного императора с помощью другого, точь-в-точь как вышибают клин клином Дионисий назвал того уроженца Феры[4], что властвовал в Фессалии десять месяцев, а потом был убит, тиранном из трагедии, насмехаясь над кратковременностью его правления. Но дом Цезарей, Палатин, за более короткий срок принимал четверых императоров[5], которых, и в самом деле, приводили и уводили, точно актеров на театре. И лишь одно служило утешением несчастным гражданам Рима – что не надо было искать возмездия для виновников их бедствий, но они сами истребляли друг друга. И первым понес справедливейшую кару тот, кто развратил войско, научил его ждать от перемены Цезаря благ, какие сам же сулил, и таким образом запятнал и опорочил платою прекраснейший подвиг, превратив восстание против Нерона в обыкновенное предательство.

2. Когда положение Нерона сделалось безнадежно и стало ясно, что он вот-вот бежит в Египет, Нимфидий Сабин, который, как сказано[6], занимал вместе с

Тигеллином должность начальника двора[7], уговорил солдат – словно Нерона уже не было в Риме – провозгласить императором Гальбу и обещал каждому из дворцовой стражи, или так называемых преторианцев, по семи с половиной тысяч драхм, а тем, кто нес службу за пределами Рима, по двести пятьдесят; однако, чтобы собрать такие деньги, надо было взвалить на плечи всей державы бремя неизмеримо более тяжкое, чем то, какое она несла при Нероне. Нерона эти посулы погубили немедленно, но вскоре вслед за ним погубили и Гальбу. Первого солдаты бросили на произвол судьбы, надеясь получить обещанное, второго убили, обманувшись в своих надеждах, а затем, ища нового вождя, который бы расплатился с ними сполна, растратили все силы в мятежах и изменах, так ничего и не достигнув. Рассказать об этом подробно и обстоятельно – задача истории, описывающей событие за событием, но мимо достопамятных обстоятельств в жизни Цезарей нельзя пройти и мне.

3. Общепризнанно, что Сульпиций Гальба был самым богатым из частных лиц, которые когда-либо вступали в дом Цезарей. Принадлежность к роду Сервиев[8] ставила его в ряды высшей знати, но сам он больше гордился родством с Катулом, который опережал всех своих современников славою и нравственным достоинством, хотя первенство в силе и мощи добровольно уступал другим. В какой-то родственной связи находился Гальба и с Ливией, супругой Цезаря, и благодаря ее покровительству покинул Палатинский дворец в звании консула. Передают, что он отлично командовал войском в Германии и стяжал самые высокие похвалы на посту наместника Африки. Но впоследствии, когда он стал императором, простота его образа жизни, скромность и воздержность в расходах навлекли на него обвинение в скупости, так что молва о любви Гальбы к порядку и отвращении к расточительству имела дурной привкус. Нерон послал его правителем в Испанию – еще до того, как выучился бояться людей, пользующихся большим уважением в Риме. Впрочем Гальба и вообще казался человеком спокойного нрава, а преклонные его годы заставляли верить, что он будет осмотрителен и осторожен.

4. Императорские управляющие[9], эти сущие преступники, жестоко терзали и грабили его провинцию, помочь этой беде Гальба был не в силах, но открыто давал понять, что разделяет горе и обиды жителей, и тем доставлял хоть какое-то утешение осуждаемым и обреченным на продажу в рабство. На Нерона сочинялись язвительные стишки, которые разносили и распевали повсюду, и Гальба не препятствовал их распространению и на возмущенные речи управляющих отвечал полным равнодушием. За это жители любили его еще сильнее. Они успели узнать Гальбу уже достаточно близко, когда, на восьмом году его наместничества, поднялся против Нерона Юний Виндекс, претор Галлии. Сообщают, что еще до открытого восстания к Гальбе пришли письма от Виндекса; он не дал никакого ответа, однако ж и не донес в Рим, как другие наместники, которые отправили полученные письма Нерону и таким образом сделали все, от них зависевшее, чтобы погубить начинание Виндекса, хотя впоследствии приняли в нем участие, тем самым признавшись, что предали не только Виндекса, но и себя самих. Но когда Виндекс, начав открытую войну, написал Гальбе, призывая его принять верховное начальство и придать еще более силы могуче-

му телу, ищущему головы, – возглавить Галлию, которая уже имеет сто тысяч вооруженных воинов и может выставить еще больше, Гальба созвал друзей на совет. Иные из них считали, что надо ждать, пока не выяснится, чем ответит Рим на этот переворот. Но Тит Виний, начальник преторской когорты, недолго думая, вскричал: "Какие еще тут совещания, Гальба! Ведь размышляя, сохранить ли нам верность Нерону, мы уже ему не верны! А если Нерон нам отныне враг, нельзя упускать дружбу Виндекса. Или же, в противном случае, следует немедля выступить против него с обвинением и военной силой, за то что он хочет избавить римлян от тираннии Нерона и дать им в правители тебя''.

5. После этого Гальба особым указом назначил день, в который обещал освободить значительную часть узников; молва и слухи об этом распространились заранее и собрали громадную толпу людей, жаждавших переворота. Не успел Гальба появиться на возвышении, как все в один голос провозгласили его императором. Гальба в тот раз императорского звания не принял; произнеся обвинение против Нерона и оплакавши самых сильных и знаменитых из числа его жертв, он согласился послужить отечеству, именуясь, однако ж, не Цезарем и не императором, а полководцем римского сената и народа.

Что Виндекс поступил верно и дальновидно, предложив верховное начальствование Гальбе, об этом свидетельствует сам Нерон. Он делал вид, будто презирает Виндекса и ни во что не ставит события в Галии, но узнав об измене Гальбы, – это случилось за завтраком, после купания, – опрокинул стол. Тем не менее, когда сенат принял постановление, объявлявшее Гальбу врагом, император, желая покрасоваться перед друзьями, шутливо заметил, что ему, дескать, открывается совсем недурной выход из денежных затруднений: во-первых, он ограбит до нитки галлов, как только они будут усмирены, а пока можно воспользоваться имуществом Гальбы и пустить его с торгов, раз хозяин уже объявлен врагом государства. И действительно, он приказал продать имения Гальбы, а Гальба, в ответ на это, объявил о продаже всех владений Нерона в Испании и легко нашел многочисленных покупателей.

6. Многие наместники отпадали от Нерона, и почти все принимали сторону Гальбы, только Клодий Макр в Африке и Вергиний Руф, начальник германского войска в Галлии, действовали особо и, к тому же, каждый по-своему. Клодий погряз в убийствах и грабежах, и было ясно, что, одержимый кровожадностью и корыстолюбием, он не решается расстаться с властью, но и удержать ее не в силах; Вергиний, стоявший во главе самых лучших и сильных легионов, которые уже не раз пытались провозгласить его императором против его воли, говорил, что и сам не примет верховного владычества и не позволит вручить его никому иному помимо воли и выбора сената. Уже и это обстоятельство само по себе причиняло Гальбе немалое беспокойство. Когда же войска Вергиния и Виндекса чуть ли не силою заставили своих полководцев – точно колесничих, которые уж не могут удержать вожжи, – решиться на битву и сошлись в жестокой сече, когда Виндекс, потеряв убитыми двадцать тысяч галлов, покончил с собой и разнесся слух, будто все солдаты после такой победы единодушно желают, чтобы Вергиний принял императорское достоинство, а в противном случае грозят снова перейти на сторону Нерона, – тут Гальба в полном смятении напи-

сал Вергинию, предлагая объединиться и совместными усилиями сберечь римлянам их державу и свободу. Затем он вернулся вместе с друзьями в испанский город Клунию и проводил свои дни в сожалениях обо всем происшедшем и в тоске по прежней и такой привычной праздности – вместо того чтобы принять хоть какие-нибудь самые необходимые меры.

7. Однажды под вечер, уже в начале лета, из Рима прибыл вольноотпущенник Икел, проделавший весь путь за семь дней. Узнав, что Гальба отдыхает, он бегом бросился к его покоям, отворил, несмотря на сопротивление слуг, двери спальни и, войдя, объявил, что еще при жизни Нерона, когда он скрылся из дворца, сперва войско, а затем и народ и сенат провозгласили императором Гальбу[10]. Вскоре после этого, продолжал Икел, он узнал о смерти Нерона, но не поверил чужим словам и отправился в путь лишь после того, как увидел труп собственными глазами. Эта весть необыкновенно воодушевила Гальбу; перед домом быстро собралась толпа, которой он также внушил твердые и самые светлые надежды на будущее. И все же скорость путешествия Икела многим внушала недоверие. Но двумя днями позже из лагеря приехали Тит Виний и еще несколько человек и подробно рассказали о решениях сената. Виний получил в награду высокую должность, а отпущеннику Гальба дал золотое кольцо, и в дальнейшем, под именем Марциана Икела, он пользовался наибольшею силою и влиянием среди всех отпущенников.

8. Между тем в Риме Нимфидий Сабин подчинил все своей власти и не постепенно, не мало-помалу, но разом. Гальба, рассуждал Сабин, дряхлый старик, в свои семьдесят три года он с трудом найдет в себе силы добраться до Рима хотя бы в носилках, а войска в столице и прежде были преданы ему, Сабину, а теперь и слышать ни о ком другом не хотят и после щедрых его раздач Сабина считают своим благодетелем, Гальбу же – должником. Не теряя времени даром, он приказал Тигеллину, своему товарищу по должности, сложить оружие, стал задавать пиры, принимая бывших консулов и полководцев (приглашения, правда, рассылались еще от имени Гальбы), а в лагере[11] многие по его наущению вели разговоры, что надо, мол, отправить к Гальбе послов с просьбою назначить Нимфидия единственным и бессменным начальником двора. Росту славы и могущества Нимфидия способствовал и сенат, который дал ему звание "благодетеля", собирался ежедневно у дверей его дома и предоставил право предлагать и утверждать всякое сенатское решение, и это завело его еще дальше по пути дерзости и своеволия, так что очень скоро он сделался не только ненавистен, но и страшен даже для тех, кто перед ним пресмыкался. Когда консулы[12] поручили было нескольким государственным рабам отвезти императору вынесенные постановления и дали им так называемые двойные грамоты[13], запечатанные консульскими печатями, – чтобы власти в городах не задерживали гонцов, но поскорее меняли им повозки и лошадей, – Сабин страшно разгневался, что не воспользовались ни его печатью ни солдатами, и даже, говорят, совещался со своими приближенными, как наказать "виновных", но затем внял их извинениям и просьбам и сменил гнев на милость. Заискивая перед народом, он не препятствовал ему зверски расправляться с любым из приближенных Нерона, попадавшим в руки толпы. Гладиатора Спикула бросили под статуи Нерона, которые волокли через форум, и он был раздавлен, Апония, одного из доносчиков,

швырнули на землю и переехали повозками, на которые грузят камень, многих растерзали в клочья, причем иных – без всякой вины, так что Маврик, сенатор, пользовавшийся огромным и вполне заслуженным уважением, заметил в курии: "Боюсь, как бы нам скоро не пожалеть о Нероне".

9. Так Нимфидий подвигался к цели все ближе и потому отнюдь не старался опровергать молву, будто он сын Гая Цезаря, правившего после Тиберия. В самом деле, Гай, еще подростком, был, по-видимому, близок с его матерью, которая обладала приятной наружностью и родилась от вольноотпущенника Цезаря по имени Каллист и какой-то швеи-поденщицы. Но, скорее всего, связь ее с Цезарем относится ко времени более позднему, чем рождение Нимфидия, отцом которого чаще называли гладиатора Мартиана. Нимфидия влюбилась в него, привлеченная громкой славой этого человека, и, судя по внешнему сходству, Нимфидий и Мартиан, действительно, были соединены кровным родством. Но Нимфидию он, во всяком случае, признавал своей матерью, а между тем, изображая свержение Нерона делом единственно лишь своих рук, он все полученные награды – и почести, и богатства, и Спора, возлюбленного Нерона, за которым он послал, еще стоя у погребального костра, когда тело убитого императора еще горело, и с которым спал, обращаясь с ним как с законной супругой и называя Поппеей, – все эти награды считал недостаточными и исподволь прокладывал себе путь к императорской власти. Кое-какие шаги в этом направлении он предпринимал в Риме сам, с помощью друзей, и некоторые женщины и сенаторы тайно ему содействовали, а одного из своих приверженцев, Геллиана, отправил в Испанию соглядатаем.

10. Однако ж у Гальбы после смерти Нерона все шло как нельзя лучше. Правда, Вергиний Руф со своими колебаниями по-прежнему причинял ему беспокойство: стоя во главе многочисленного и очень храброго войска, он к силе своей присоединил теперь славу победы над Виндексом и, вдобавок, усмирил и покорил всю объятую мятежом Галлию, которая составляет немалую часть Римской державы, и Гальба опасался, как бы Вергиний не внял наконец голосу тех, кто призывал его взять власть. Да, не было в ту пору имени громче и славы блистательнее, ибо труды и заслуги Вергиния принесли Риму избавление и от жестокой тирании и от войны с галлами. Но он оставался верен первоначальному своему решению и упорно признавал право выбора императора за одним лишь сенатом, хотя, когда в лагере узнали о смерти Нерона, не только солдаты обратились к Вергинию с прежним настоятельным требованием, но и один из военных трибунов, находившихся в палатке полководца, обнажил меч и крикнул: "Либо принимай власть, либо клинок в грудь!" После того, как Фабий Валент, начальник одного из легионов, первым привел своих людей к присяге на верность Гальбе, а из Рима пришло письмо с рассказом о решениях сената, Вергиний, хотя и с величайшим трудом, уговорил воинов признать Гальбу императором. Сам он радушно принял преемника, назначенного Гальбой, Флакка Гордеония, передал ему войско и, выехав навстречу императору, который был уже близко, присоединился к его свите. Его приняли без какой бы то ни было враждебности, но и без особых почестей; первому был причиною сам Гальба, несколько опасавшийся Вергиния, второму – его приближенные, и главным образом Тит Виний, который завидовал Вергинию и считал, что унизил его, но, неведомо для

себя, оказал помощь доброму его гению, задумавшему избавить этого человека от войн, от тревог и бедствий, какие выпали на долю другим полководцам, и сберечь его для тихой жизни, для старости, полной мира и безмятежного досуга.

11. Близ галльского города Нарбона Гальбу встретили посланцы сената, приветствовали его и просили поскорее появиться перед римским народом, который жаждет увидеть своего императора. Гальба принимал сенаторов самым ласковым образом, беседовал с ними дружелюбно и совсем запросто, а устроив пир, не воспользовался ничем из обильной царской утвари и никем из многочисленной прислуги, присланных ему Нимфидием из дворца Нерона, – все на пиру было его собственное, и это сразу же принесло ему похвалы и славу человека достойного, стоящего выше соблазнов тщеславия. Но эту благородную скромность и обходительность Виний быстро сумел представить своекорыстным заискиванием перед толпою и трусостью, которая сама считает себя недостойною величия, и уговорил Гальбу распоряжаться богатствами Нерона, а, принимая гостей, не скрывать от их взоров царской роскоши. И вообще становилось ясно, что старик мало-помалу подпадает влиянию Виния.

12. Этот Виний был так корыстолюбив, как никто другой в целом свете, и чудовищно похотлив, что иной раз доводило его до преступления. Так, еще молодым юношей, служа под началом Кальвизия Сабина и впервые участвуя в походе, он привел ночью в лагерь супругу Сабина, женщину распутную и разнузданную, закутав ее в солдатский плащ, и совершил соитие прямо перед палаткою полководца – в том месте, которое римляне называют "принкипиа"[14] [principia]. За это Гай Цезарь посадил его в тюрьму. Но Винию повезло – Гай умер, и он вышел на волю. Обедая у Клавдия Цезаря, он украл серебряную чашу. Цезарь об этом узнал и назавтра снова пригласил его к обеду, а слугам велел, когда он явится, принести и поставить перед ним прибор не серебряный, а весь, до последнего предмета, глиняный. Так, благодаря умеренности Цезаря и его любви к шуткам, Виний был сочтен заслуживающим скорее смеха, чем гнева. Но то, что он вытворял в погоне за деньгами в пору, когда забрал Гальбу в свои руки и пользовался огромною силой, было уже не поводом для шуток, а причиною или началом истинно трагических событий и громадных несчастий.

13. Как только возвратился подосланный к Гальбе Геллиан и Нимфидий от этого своего лазутчика услышал, что начальником двора и личной стражи назначен Корнелий Лакон, что всем заправляет Виний, что Геллиану не пришлось ни поговорить с Гальбой наедине, ни даже приблизиться к императору, ибо все глядели на него с опаской и подозрением, – услыхав об этом, Нимфидий встревожился не на шутку и, собрав начальников войска, объявил им, что сам Гальба – добрый и мягкий старик, но теперь он почти совсем не способен к здравому суждению, а Виний и Лакон вертят им как хотят. Поэтому, прежде чем они исподволь заберут такую же силу, какая была у Тигеллина, надо отправить к императору послов от лагеря и внушить ему, что, удалив из своего окружения единственно лишь этих двоих, он станет для всех еще милее и дороже. Но речь Нимфидия никого не убедила: казалось странным и нелепым поучать престарелого императора, точно мальчишку, недавно узнавшего вкус власти, и навязывать ему выбор друзей, – и тогда Нимфидий избрал другой образ действий и попытался запугать

Гальбу. То он писал, что в Риме все ненадежно, неустойчиво и полно тайной вражды, то – что Клодий Макр задерживает в Африке суда с хлебом, потом сообщал, что волнуются германские легионы и что подобные же вести получены из Сирии и Иудеи. Но Гальба не придавал большого значения его письмам и не слишком им доверял, и Нимфидий решил нанести удар первым. Правда Клодий Цельс из Антиохии, человек рассудительный и верный друг, отговаривал его, уверяя, что ни один из римских кварталов не назовет Нимфидия императором, но многие осмеивали Гальбу, и в особенности Митридат Понтийский, который, потешаясь над его плешью и морщинами, говорил: "Теперь он еще что-то значит для римлян, но пусть только они увидят его собственными глазами – они сразу поймут, что Гальба будет всегдашним позором тех дней, в которые носил имя Цезаря''.

14. Итак, было решено около полуночи привести Нимфидия в лагерь и провозгласить императором. Но вечером первый из трибунов, Антоний Гонорат, собрал своих воинов и принялся порицать и себя и их за то, что в короткое время они так часто и круто меняют путь – без всякого толка и смысла и даже не ища чего-то лучшего, но словно злой дух гонит их от предательства к предательству. "Сперва, – продолжал он, – у нас были на то основания – злодейства Нерона. Но теперь, готовясь предать Гальбу, можем ли мы и его обвинить в убийстве матери и супруги, скажем ли снова, что краснели от стыда за своего императора, выступающего на театре? А между тем мы и Нерона невзирая на все это не бросили бы, да только вот Нимфидий нам внушил, будто Нерон сам, первый бросил нас и бежал в Египет. Неужели вслед за Нероном мы принесем в жертву и Гальбу, неужели, избрав Цезарем сына Нимфидии, убьем родича Ливии, как уже убили сына Агриппины? Или же, напротив, воздадим Нимфидию по заслугам и будем мстителями за Нерона и верными стражами Гальбы?'' Воины единодушно присоединились к мнению своего трибуна, а затем пошли к остальным солдатам и уговаривали всех хранить верность императору. Бóльшая часть лагеря приняла их сторону, загремели крики, и Нимфидий, то ли, как утверждают некоторые, вообразив, будто солдаты уже зовут его, то ли спеша расположить в свою пользу тех, кто еще роптал или был в нерешительности, двинулся вперед, при ярком свете факелов, захватив с собою свиток с речью, которую ему написал Цингоний Варрон и которую он выучил наизусть, чтобы произнести перед воинами. Увидев ворота запертыми, а на стенах множество вооруженных людей, он испугался, но все-таки подошел ближе и спросил, что случилось и кто приказал взять оружие. Все дружно, в один голос, отвечали, что признают императором только Гальбу, и Нимфидий, изъявляя одобрение, присоединился к общим крикам и велел сделать то же самое своим спутникам. Тем не менее, когда привратники пропустили его с немногими провожатыми внутрь, в него тут же полетело копье. Копье вонзилось в щит, которым успел загородить начальника Септимий, но тут другие воины бросились на Нимфидия с обнаженными мечами, он пустился бежать, его настигли в солдатском домишке и убили. Труп вытащили на открытое место, вокруг поставили ограду и на другой день пускали всех желающих полюбоваться на это зрелище.

15. Получив весть о гибели Нимфидия, Гальба распорядился казнить всех его сообщников, которые тут же не покончили с собою сами. Среди казненных бы-

ли Цингоний, написавший для Нимфидия речь, и Митридат Понтийский. Римляне считали, что, отправив на смерть без суда людей отнюдь не безвестных, император действовал если и не вопреки справедливости, то, во всяком случае, противозаконно и своевольно. Все ждали иного образа правления, обманутые, – как это бывает всегда, – звонкими словами, которые произносились на первых порах. Разочарование сделалось еще горше, после того как приказ умереть получил Петроний Турпилиан, бывший консул и неизменный сторонник Нерона. И верно, когда Гальба руками Требония умертвил Макра в Африке и, руками Валента, Фонтея в Германии, он мог хотя бы сослаться на то, что боялся этих людей, которые были вооружены и стояли во главе сильных войск. Но выслушать оправдания Турпилиана, беззащитного и безоружного старика, не мешало ничто, если только человек, возвещавший об умеренности и кротости, намеревался подтвердить свои слова делом! Вот каким упрекам подвергаются эти его поступки.

Когда до Рима оставалось всего около двадцати пяти стадиев, императора остановила буйная и истошно вопившая толпа гребцов, которые заняли дорогу заранее и теперь обступили Гальбу со всех сторон. Это были мореходы, которых Нерон свел в один легион и объявил солдатами[15]; теперь они хотели, чтобы их солдатское звание было подтверждено, и встречающие не могли ни увидеть императора, ни услышать его голос, тонувший в оглушительных воплях гребцов, требовавших для легиона знамени и лагеря. Гальба велел им явиться для разговора в другое время, но они приняли отсрочку за отказ, пришли в ярость и, не переставая кричать, двинулись следом за императором, а некоторые даже обнажили мечи. Тогда Гальба приказал всадникам ударить на них; сопротивления никто из бунтовщиков не оказал, и одни были убиты на месте, а другие погибли во время бегства, явивши тем самым недоброе, зловещее знамение Гальбе, который вступал в столицу по трупам, после страшной резни. И если до тех пор были люди, которые относились к императору с пренебрежением, видели в нем бессильного старикашку, то теперь он всем внушал страх и трепет.

16. Он хотел показать, что расточительности Нерона и непомерной щедрости даров настал конец, но при этом, сколько можно судить, нарушил границы приличий. Когда, например, Кан играл ему за обедом на флейте (этот Кан был знаменитый музыкант), Гальба выслушал его благосклонно и похвалил, а после велел принести ларчик, вынул оттуда несколько золотых и вручил Кану, примолвив: "Это я дарю тебе из собственных денег, а не за счет казны". Подарки, которые Нерон делал актерам и борцам, он приказал неукоснительно истребовать назад, оставив награжденным лишь десятую долю, но так как получал ничтожно мало, – все это были люди легкомысленные, сущие сатиры в жизни, и подаренное успело просочиться у них между пальцев, – стал разыскивать тех, кто у них что-либо купил или же просто взял, и найденные вещи заставлял возвращать в казну. Розыскам этим не было конца, и они захватывали все более широкий круг лиц, так что об императоре говорили с презрением, а на Виния обрушилась и зависть, и ненависть, ибо разжигая в государе мелочную скаредность по отношению к остальным, он сам не знал ограничений ни в чем, присваивал и продавал все подряд. Гесиод учит[16]:

Пей себе вволю, когда начата иль кончается бочка,

и Виний, понимая, что Гальба стар и слаб, торопился насытиться удачей, которая и начиналась и шла к концу в одно и то же время.

17. Виний причинял старику вред не только тем, что плохо распоряжался делами первостепенной важности, но и стараясь опорочить правильные решения самого императора или даже препятствуя их исполнению. Так было и с наказанием Нероновых прислужников. Многих из этих негодяев – в том числе Гелия. Поликлита, Петина, Патробия – Гальба приказал казнить, и когда их вели через форум, народ рукоплескал, крича, что это прекрасное и угодное богам шествие, но что и боги и люди требуют присоединить к нему учителя и пестуна тирании – Тигеллина. Но этот достойнейший человек успел заранее, щедрыми задатками, приобрести покровительство Виния. Затем умер Турпилиан, который был окружен ненавистью за то, что, при всех пороках своего императора, никогда его не предавал и не питал к нему злобы, – умер, хотя сам не был замешан ни в одном крупном преступлении, меж тем как тот, кто сперва превратил Нерона в злодея[17], заслуживающего смерти, а доведя его до такого состояния, бросил и предал, уцелел и этим убедительно доказал, что для Виния нет ничего неисполнимого и что, подкупив его, можно твердо надеяться на успех. Да, ибо не было для римского народа зрелища более желанного, чем Тигеллин, которого ведут на казнь, и во всех театрах, на всех ристалищах не смолкали крики, требующие отдать его в руки палачей, пока император особым указом не выразил римлянам своего неудовольствия, объявив, что Тигеллин смертельно болен и стоит на пороге могилы, и советуя не ожесточать государя и не обращать его власть в тираннию. После этого, в насмешку над народом и его досадою, Тигеллин принес благодарственную жертву богам и устроил великолепный пир, а Виний, прямо из-за стола императора, отправился к нему во главе шумной ватаги друзей. Вместе с Винием была его вдовая дочь, и Тигеллин, подняв чашу за ее здоровье, подарил ей двести пятьдесят тысяч драхм, а потом приказал главной своей наложнице снять с шеи ожерелье и надеть на шею гостье. Цена этому украшению была, как сообщают, сто пятьдесят тысяч драхм.

18. Тут уже и разумные действия императора стали толковать в дурную сторону, как, например, награждение галлов, восставших под начальством Виндекса. Все считали, что сокращением налогов и гражданскими правами они обязаны не человеколюбию императора, а продажности Виния. Народ проникся враждою к правлению Гальбы, но солдаты, хотя и не получали обещанного подарка, поначалу тешили себя надеждой, что если и не все, то, по крайней мере, столько, сколько давал Нерон, новый император им заплатит. Когда же, узнав, что они бранятся, Гальба вымолвил слово, достойное великого императора, а именно – что привык набирать, но не покупать солдат, они зажглись ужасною, неукротимою ненавистью: Гальба, казалось им, не только обманул их сам, но и устанавливал своего рода закон, подавая пример своим преемникам.

Тем не менее в Риме недовольство оставалось скрытым, присутствие Гальбы и остатки почтения к нему притупляли и сдерживали порыв к мятежу, и так как прямых причин для переворота не было, это, – худо ли, хорошо ли, – загоняло вглубь неприязнь солдат. Но войско в Германии, которым прежде командовал Вергиний, а теперь Флакк, считало, что заслуживает большой награды за побе-

ду над Виндексом и, не получив ничего, было глухо ко всем уговорам своих начальников. Самого Флакка, из-за жестокой подагры немощного телесно и к тому же неискушенного в делах, не ставили ни во что. И однажды на играх, когда военные трибуны и центурионы, следуя принятому обычаю, произнесли пожелания счастья императору Гальбе, солдаты сперва подняли страшный шум, а когда те повторили свои пожелания, стали кричать в ответ: "Если он того стоит!".

19. Подобные же дерзости не раз позволяли себе и легионы, находившиеся под начальством Тигеллина[18], и управляющие Гальбы писали ему об этом. Император был испуган и, считая, что причина солдатского презрения – не только его старость, но и бездетность, задумал усыновить молодого человека из знатного дома и назначить его своим преемником. Жил в Риме некий Марк Отон, человек родовитый, но с самого детства до крайности развращенный роскошью и погоней за наслаждениями. Подобно тому, как Гомер часто называет Александра "супругом лепокудрой Елены"[19], возвеличивая его славою жены, ибо ничем иным Парис славен не был, так же точно об Отоне заговорили в Риме благодаря браку с Поппеей. Поппея была супругою Криспина, когда в нее влюбился Нерон и, еще не потерявши стыда перед собственною супругою[20] и страха перед матерью, тайно подослал к ней Отона. С императором Отона связало тесною дружбою распутство и мотовство, и он нередко вышучивал своего приятеля за скупость и мелочность – к немалому удовольствию Нерона. Рассказывают, что однажды Нерон душился каким-то драгоценным благовонием, а заодно опрыскал и Отона; на другой день Отон принимал императора у себя, и внезапно со всех сторон выдвинулись золотые и серебряные трубки, и из них дождем, словно вода, потекли благовония. Однако ж вернемся к Поппее. Соблазнив ее надеждами на благосклонность Нерона и сперва совратив сам, а затем сведя с императором, Отон уговорил женщину разойтись с мужем, а когда она вошла супругою в его дом, не захотел довольствоваться лишь частью, но с великою неохотою уступал Нерону его долю. Саму Поппею эта ревность, как сообщают, отнюдь не огорчала; рассказывают даже, что она запирала двери перед Нероном, когда Отона не было в городе, то ли чтобы оградить страсть от пресыщения, то ли, как утверждают иные, тяготясь связью с Цезарем, но по распутству своему не отвергая любовной близости совершенно. Отон был на волосок от гибели, и казалось просто невероятным, что император, убив ради брака с Поппеей свою сестру и супругу, Отона все-таки пощадил.

20. Но дело в том, что другом и заступником Отона был Сенека, и, сдавшись на его просьбы и уговоры, Нерон послал своего соперника наместником в Лузитанию, к берегу Океана. Правителем Отон был мягким и с подчиненными народами жил в согласии, ибо знал, что его наместничество – не более, чем почетное изгнание. Когда Гальба восстал, он первым из наместников присоединился к нему, привез все золотые и серебряные чаши и столы, какие у него были, чтобы новый государь перечеканил их в монету, и подарил ему рабов, обученных прислуживать высокому властителю. И во всем остальном Отон хранил верность Гальбе и на деле доказал, что никому не уступит в опытности и умении управлять. Много дней подряд, на протяжении всего пути, он ехал с императором в одной повозке. В том же совместном путешествии он сумел снискать привязан-

ность Виния – любезным обхождением и подарками, а главное, тем, что в любых обстоятельствах первенство неизменно уступал ему. Таким образом, с помощью самого Виния, он прочно занимал второе место после него, обладая в то же время одним важным преимуществом: он ни у кого не вызывал зависти или злобы, потому что помогал безвозмездно каждому, кто просил о помощи, и со всеми бывал приветлив и благожелателен. Больше всего внимания проявлял он к солдатам и многим доставил начальнические должности, то обращаясь с просьбами к самому императору, то к Винию или к отпущенникам Икелу и Азиатику, которые пользовались при дворе огромной силой. Всякий раз, как Отон принимал у себя Гальбу, он подкупал караульную когорту, выдавая солдатам по золотому, и, делая вид, будто чествует государя, на самом деле обманывал его и склонял войско на свою сторону.

21. Когда Гальба стал раздумывать, кого избрать в преемники, Виний предложил ему Отона, и тут, однако ж, действуя своекорыстно: он рассчитывал выдать замуж дочь и взял с Отона обещание жениться, если Гальба его усыновит и назначит своим наследником. Но Гальба и сам говорил, и всеми своими действиями давал понять, что общее благо ставит выше собственных интересов и хочет назвать сыном не того, кто будет всех приятнее ему самому, но кто принесет больше всего пользы Риму. Мне кажется, он едва ли мог бы избрать Отона наследником даже собственного своего имущества, зная, что это распутник и мот и что у него на пятьдесят миллионов долгов. Во всяком случае, Виния он выслушал молча и сдержанно и составление завещательной записи отложил. Затем он назначил себя и Виния консулами; ожидали, что в начале года он объявит, наконец, имя преемника, и солдаты всем остальным именам предпочли бы Отона.

22. Но пока он медлил и размышлял, в германских легионах вспыхнул мятеж. Все войска ненавидели Гальбу, который так и не дал им обещанного подарка, но у солдат, служивших в Германии, были с ним особые счеты: они ставили в вину императору и позорную отставку Вергиния Руфа, и награду, которую получили галлы, воевавшие с ними, меж тем как всех, кто не поддержал Виндекса, постигло наказание, и вообще пристрастие к Виндексу – ему одному только и признателен Гальба, ему оказывает посмертные почести, приносит в его честь заупокойные жертвы от лица государства, будто его лишь поддержкою сделался императором римлян. Подобные речи звучали в лагере уже вполне открыто, когда наступило первое число первого месяца, которое римляне называют "январскими календами" [Calendae Januariae]. Флакк собрал солдат, чтобы в согласии с обычаем привести их к присяге на верность императору, но они кинулись к изображениям Гальбы, сбросили их на землю, а затем, поклявшись в верности сенату и римскому народу, разошлись. Начальники почувствовали страх, как бы неповиновение полководцу не привело к настоящему бунту. И вот один из них говорит остальным: "Что это с нами творится, друзья? Мы и нового государя не выбираем, и нынешнего отвергли, словно не только Гальбу, но вообще никакого властителя и никакой власти не желаем признавать! Конечно, о Флакке Гордеонии и говорить не приходится – он жалкая тень Гальбы, и только, но от нас всего день пути до Вителлия, правителя остальной Германии. Его отец[21] был цензором и трижды консулом и как бы правил вместе с Клавдием Цезарем, а

сам он своею бедностью, которою иные его попрекают, блестяще доказывает и честность свою и благородство. Давайте-ка провозгласим его императором и покажем всему миру, что умеем выбирать государей получше, чем испанцы и лузитанцы''.

Кто одобрял это предположение, кто нет, а тем временем какой-то знаменосец тайком выбрался за ворота и уже ночью сообщил о случившемся Вителлию, у которого как раз собралось много гостей. Весть быстро разнеслась по всему войску, и первым Фабий Валент, начальник одного из легионов, прискакал на другой день во главе большого отряда конницы и приветствовал Вителлия, называя его императором. До тех пор Вителлий решительно отвергал эту честь, по-видимому, страшась громадности императорской власти, но тут, как рассказывают, он вышел к солдатам сразу после полуденной трапезы, отяжелевший от еды и вина, и согласился принять имя Германика, титул же Цезаря отклонил и на этот раз. Повиноваться распоряжениями императора Вителлия поклялось и войско Флакка, немедленно забывшее свою прекрасную и демократическую присягу сенату.

23. Так Вителлий был провозглашен императором. Узнавши о перевороте в Германии, Гальба не стал дольше медлить с усыновлением. Ему было известно, что иные, немногие, из друзей стоят за Долабеллу, а все остальные за Отона, сам же он не одобрял ни того, ни другого, и вот внезапно, никого не предупредив, он посылает за Пизоном, сыном Красса и Скрибонии, которых казнил Нерон, – молодым человеком, от природы одаренным всеми нравственными достоинствами, но особенно славившимся чистотой и суровостью жизни. Затем он отправился в лагерь и объявил Пизона Цезарем и своим преемником. Но на всем пути, от самого Палатина, его сопровождали грозные знамения с небес, когда же он обратился к солдатам, а потом начал читать свою речь, загремел гром, засверкали молнии, хлынул проливной дождь, и на лагерь, на город опустилась такая мгла, что, каждому сделалось понятно: происходящее не угодно божеству, и усыновление Пизона на благо Риму не послужит. Сумрачно было и на сердце у солдат, ибо даже теперь никакого подарка они не получили.

Глядя на лицо Пизона и слушая его голос, присутствовавшие дивились, как спокойно – хотя и отнюдь не равнодушно – принимает он столь великую милость; напротив, по обличию Отона было ясно видно, с какою горечью, с каким гневом встретил он крушение своих надежд. Ведь его считали достойнейшим из притязавших на эту высочайшую награду, и он был уже почти у цели, и потому, не достигнув ее, считал это верным признаком нерасположения и ненависти Гальбы. Он уже не был спокоен и за свое будущее; боясь Пизона, кляня Гальбу и отчаянно негодуя на Виния, он ушел домой, переполненный различными и многими чувствами, ибо совсем отказаться и отречься от своих упований ему не давали постоянно его окружавшие гадатели и халдеи. Особенно усердствовал Птолемей, ссылавшийся на свои неоднократные предсказания, что Нерон Отона не убьет, но сам умрет первым, а Отон переживет его и будет властвовать над римлянами, и так как первая половина прорицания сбылась, призывал не терять веры и в другую его половину. Всего же более разжигали Отона те, кто тайно разделял его горе и обиду, считая, что Гальба отплатил ему черной не-

благодарностью. К нему переметнулось, сочувствовало ему и все сильнее его ожесточало и большинство приверженцев Тигеллина и Нимфидия, которые прежде были окружены почетом, а теперь отвергнуты и унижены.

24. Среди этих последних были двое по имени Ветурий и Барбий, один оптион [optio], а другой тессерарий [tesserarius] – так называются люди, несущие службу нарочного и помощника центуриона. К ним присоединился отпущенник Отона Ономаст, и втроем они ходили в лагерь и, не скупясь на деньги и обещания, подкупали солдат, и без того уж насквозь развращенных и только ищущих предлога для новой измены. Да, ибо разрушить верность здорового духом войска за четыре дня невозможно, а между тем именно таким сроком отделены друг от друга усыновление и убийство: в шестой день[22] после усыновления (восемнадцатый перед февральскими календами, по римскому счету) Гальба и Пизон были убиты.

Ранним утром того дня Гальба приносил на Палатине жертву в присутствии друзей, и едва жрец Умбриций взял внутренности жертвенного животного и оглядел их, он тут же, и притом без всяких околичностей объявил, что видит знамения великого смятения и опасности, коварно грозящей жизни императора, – бог словно бы сам отдавал Отона, который стоял позади и внимательно прислушивался к каждому слову жреца, в руки Гальбы. Отон испугался и от страха побелел, как мертвец, но в этот миг рядом появился отпущенник Ономаст и сказал, что пришли строители и ждут его дома. Это был условный знак, по которому Отону надлежало немедля идти к солдатам. Итак, он объясняет, что купил старый дом и хочет показать продавцам места, внушающие ему тревогу, а затем через так называемый Дом Тиберия[23] спускается на форум, к Золотому столбу, у которого заканчиваются все дороги Италии.

25. Число тех, что встретили его там и приветствовали, называя императором, не превышало, как передают, двадцати трех. Отон оробел, хотя вообще, при всей своей телесной изнеженности, духом слаб не был, но отличался решительностью и пред опасностями не отступал. Однако собравшиеся не дали ему ускользнуть. Обнажив мечи, они обступили его носилки и приказали двигаться дальше, и Отон, крича, что погиб, стал торопить и погонять носильщиков. Несколько прохожих слышали его крики, но были скорее изумлены, чем встревожены, видя малочисленность участников этой отчаянной затеи. Впрочем, пока его несли через форум, к ним присоединилось еще столько же, и подходили все новые, группами по три-четыре человека, и наконец все вместе повернули назад, в лагерь, громко именуя Отона Цезарем и простирая обнаженные мечи к небу. Начальником караула в тот день был трибун Марциал; говорят, что он ничего не знал о заговоре, но так испугался, что впустил Отона в лагерь, а там уже никто сопротивления ему не оказал, ибо те, кто не принимал участия в деле, были по одному, по двое окружены заговорщиками (которые умышленно держались все вместе) и, сперва повинуясь угрозам, а потом и убеждениям, последовали примеру товарищей.

О случившемся немедленно сообщили Гальбе на Палатин. Жрец еще не ушел, и внутренности закланного животного по-прежнему были у него в руках, так что даже самые упорные маловеры были поражены и дивились исполнению

божественного знамения. Пестрая толпа хлынула с форума ко дворцу, и Виний, Лакон и несколько отпущенников с обнаженными мечами стали подле Гальбы, а Пизон вступил в переговоры со стражею, охранявшей дворец. В так называемом Випсаниевом портике был размещен иллирийский легион; чтобы заранее заручиться поддержкою этих солдат, к ним послали Мария Цельса, человека верного и честного.

26. Гальба хотел выйти к народу, Виний его не пускал, а Цельс и Лакон, напротив, побуждали, горячо нападая на Виния, как вдруг разнесся слух, что Отон убит в лагере. А немного спустя появился Юлий Аттик, служивший в императорской охране и пользовавшийся некоторой известностью; потрясая мечом, он кричал, что убил врага Цезаря. Оттолкнув стоявших впереди, он показал Гальбе окровавленный меч. Взглянув на Аттика, Гальба спросил "Кто отдал тебе такой приказ?" – "Верность и присяга, которую я приносил", – был ответ, а так как народ рукоплескал Аттику и повсюду гремели крики, что он поступил правильно, Гальба сел в носилки и покинул дворец, чтобы принести жертву Юпитеру и показаться гражданам.

Но тут словно бы задул противный ветер – форум встретил императора молвою, что войско подчинилось Отону. Как всегда бывает в гуще толпы, одни советовали ему повернуть назад, другие – продолжать путь, одни кричали, чтобы он не падал духом, другие – чтобы не доверял никому, и носилки, всякий раз круто наклонявшиеся, бросало то туда, то сюда, словно по бурным волнам, а между тем сперва появились всадники, а затем и пехотинцы, наступавшие через Павлову базилику[24]. Громко, в один голос, они приказывали всем частным лицам очистить площадь. Народ пустился бежать, но не рассеялся, а заполнил портики и возвышенности вокруг форума, будто боясь пропустить какое-то зрелище. Атилий Вергилион швырнул оземь изображение Гальбы[25], и тут же солдаты, открывая военные действия, забросали копьями императорские носилки, а убедившись что ни одно из копий Гальбу не задело, ринулись на него с мечами. Никто не дал им отпора, никто не вступился за императора, никто, кроме одного человека – единственного, кого среди стольких тысяч солнце того дня узрело достойным римской державы. То был центурион Семпроний Денс; никакими особыми милостями Гальбы он никогда не пользовался, но теперь, исполняя свой долг и защищая закон, встал впереди носилок. Сначала, поднявши трость, которою центурионы наказывают провинившихся солдат, он громким голосом убеждал нападающих пощадить императора, а когда те сошлись с ним вплотную, вытащил меч и долго отбивался, пока не упал, раненный под колено.

27. Подле места, называемого "Куртиос Лаккос"[26] [Lacus Curtius], носилки опрокинулись, и Гальба, в панцире, вывалился на землю; тут и набежали на него убийцы. А он, подставляя горло, промолвил только: "Разите, если так лучше для римского народа". Он получил много ран в бедра и руки, а смертельный удар, судя по большинству сообщений, ему нанес некий Камурий из пятнадцатого легиона. Некоторые, правда, называют имя Теренция, другие – Лекания, третьи – Фабия Фабулона, про которого рассказывают еще, будто он отсек убитому голову и унес с собою, завернув в плащ, потому, что плешь оголила череп и ухватиться было не за что, но товарищи кричали, чтобы он не скрывал и не

прятал своего подвига, и Фабий насадил на копье и поднял высоко в воздух голову старца, который был умеренным правителем, верховным жрецом и консулом. Потом он бегом понесся по улицам, точно вакханка, то и дело потрясая окровавленным копьем и повертывая его в разные стороны.

Отон, однако же, когда ему принесли эту добычу, воскликнул: "Это еще ничего не значит, друзья, а вот, покажите-ка мне голову Пизона!" И спустя немного ему принесли и эту голову. Молодой человек был ранен, бежал, но некто Мурк настиг его у храма Весты и убил. Был убит и Виний, который сам признался, что участвовал в заговоре против Гальбы: он кричал, что умирает вопреки воле Отона. Тем не менее солдаты отсекли голову и ему и Лакону и бросили к ногам нового императора, требуя награды. У Архилоха говорится[27]:

> Мы настигли и убили счетом ровно семерых:
> Целых тысяча нас было...

Так же и тогда многие, не принимавшие никакого участия в резне, пачкали кровью руки и мечи и показывали Отону, подавая прошения о награде. Во всяком случае, с помощью этих записок были открыты впоследствии имена ста двадцати человек, которых Вителлий разыскал и всех до одного казнил.

В лагерь пришел и Марий Цельс. Многие накинулись на него с обвинением, что он уговаривал солдат защищать Гальбу, и толпа кричала: "Смерть ему! Смерть!" – но этого человека Отон казнить не хотел. В то же время он боялся спорить с солдатами, а потому сказал, что торопиться с казнью не следует, – сперва, дескать, нужно кое-что у Цельса выпытать, – и распорядился заключить его в оковы и взять под стражу. Охрану заключенного Отон поручил самым надежным из своих людей.

28. Немедленно был созван сенат. И словно то были иные люди или же боги над ними стали иными, но, собравшись, они принесли Отону клятву на верность – такую же точно, какую лишь недавно приносил он сам и не сдержал. Они дали ему имена Цезаря и Августа, меж тем как обезглавленные трупы в консульских одеяниях еще валялись на форуме. Отрубленные головы уж не были никому нужны, и голову Виния за две с половиной тысячи драхм отдали дочери, голову Пизона вымолила его супруга, Верания, а голову самого Гальбы подарили рабам Патробия. Те надругались над нею как только смогли и наконец бросили туда, где приводятся в исполнение смертные приговоры Цезарей. Место это называют Сессорием [Sessorium]. Тело Гальбы, с дозволения Отона, забрал Гельвидий Приск, и ночью вольноотпущенник Аргий его похоронил.

29. Такова участь Гальбы. Мало кто из римлян во все времена превосходил его богатством или же знатностью рода, а среди своих современников он и по богатству и по знатности был самым первым. При пяти императорах жил он в чести и славе, и не силе, а куда больше доброй славе обязан победою над Нероном. Среди тех, кто боролся против Нерона вместе с ним, одних никто не считал достойными императорской власти, другие сами от нее отказывались, Гальба же и получил приглашение стать во главе римской державы, и охотно его принял и, присоединив к отваге Виндекса свое имя, обратил его восстание, которое сперва называли мятежом, в междоусобную войну, ибо теперь движение приоб-

рело настоящего предводителя. Вот почему, считая, что он не столько подчиняет государство своей власти, сколько отдает себя государству, Гальба хотел начальствовать над зверями, чуть прирученными Тигеллином и Нимфидием, так же, как начальствовали над римлянами в старину Сципион, Фабриций, Камилл. Несмотря на преклонные годы, он во всем, что касалось оружия и войска, был подлинным императором[28] в исконном смысле этого слова, но, отдав себя во власть Виния, Лакона и своих отпущенников, за деньги продававших все и вся без изъятия, – так же, как Нерон отдал себя во власть самых алчных в мире людей, – он не оставил никого, кто бы пожалел о его правлении, хотя большинство римлян жалело о его жестокой кончине.





ОТОН

1. На рассвете новый император поднялся на Капитолий и принес жертву. Потом он велел привести Мария Цельса и, после ласкового приветствия, в мягких и дружелюбных выражениях просил его не считать себя обязанным благодарностью за освобождение, а главное – забыть обо всех событиях прошедшего дня. Цельс отвечал и с благородством и не без чувства благодарности, сказавши, что самое обвинение против него подтверждает истинное свойство его нрава: ведь в вину ему вменяется верность Гальбе, который, однако ж, никаких милостей ему не оказывал. Присутствующие восхищались и императором и его пленником, довольны были и солдаты. В сенате Отон произнес длинную речь, очень благожелательную и дружелюбную. Часть того срока, в который стправлять должность консула предстояло ему самому, он уступил Вергинию Руфу, но за всеми, кому обещали консульство[1] Нерон и Гальба, он подтвердил их права. Людей, достигших преклонного возраста, либо пользовавшихся добрым именем, он наградил жреческими должностями. Всем сенаторам, которые при Нероне отправились в изгнание, а при Гальбе вернулись, он возвратил имущество – ту его часть, что оставалась непроданной и была разыскана. И этот словно бы улыбающийся лик нового правителя ободрил первых и самых видных граждан, сперва дрожавших от ужаса, точно не человек, но какая-то Пэна[2] или демон возмездия обрушился внезапно на государство.

2. Ничто, однако ж, не доставило большей радости всем римлянам, ничто не привязало их к Отону сильнее, нежели расправа над Тигеллином. Правда, неприметным для постороннего глаза образом Тигеллин уже был наказан самим страхом перед наказанием, которого Рим требовал как бы некоего общественного долга, и неисцелимыми телесными недугами; и люди разумные считали крайнею карой, стоящею многих смертей, невероятную мерзость общения с потаскухами и распутницами, в чьи объятия загоняла его – даже в предсмертных муках! – беспредельная похоть. Но народу тяжко было вспоминать, что все еще видит солнце тот, кто навеки погасил его свет для стольких лучших людей Рима. Отон отправил своих солдат в имение Тигеллина близ Синуессы, где тот жил, держа наготове несколько кораблей, чтобы в случае нужды бежать в дальние края. Тигеллин пытался подкупить императорского посланца, предлагая ему громадные деньги, но безуспешно, и тогда, все-таки одарив его, просил подождать, пока он побреется. Взяв бритву он перерезал себе горло.

3. Доставив народу эту самую справедливую радость, Цезарь на собственных врагах зла не помнил совсем, а угождая толпе, не отвергал имени Нерона, которым его стали величать прежде всего – в театрах. В нескольких общественных местах были выставлены изображения Нерона, и Отон этому не препятствовал.

Клувий Руф сообщает, что в Испанию были доставлены грамоты, какими снабжают в дорогу гонцов, и в этих грамотах к имени Отона было прибавлено имя Нерона. Замечая, однако, что первым и лучшим гражданам это не по душе, император от такого прибавления отказался.

Таково было начало этого правления, но наемники уже не давали Отону покоя, настаивая, чтобы он остерегался значительных граждан и умерил их силу, – то ли они действительно были преданы императору и боялись за него, то ли искали предлога разжечь беспорядки и войну. Когда Отон поручил Криспину привести из Остии семнадцатую когорту и тот, еще ночью, стал готовить отряд к выступлению и грузить на повозки оружие, самые дерзкие из солдат разом подняли крик, что Криспин, дескать, явился к ним с недобрыми намерениями, что сенат замышляет переворот и что оружие везут в Рим не к Цезарю, но против Цезаря. Крики эти многих подняли на ноги и ожесточили настолько, что одни напали на повозки, другие убили двух центурионов, пытавшихся оказать сопротивление, и самого Криспина, а потом все снарядились в путь и, призывая друг друга помочь Цезарю, тронулись в столицу. У Отона в тот вечер обедали восемьдесят сенаторов; узнав об этом солдаты решили, что им предоставляется счастливый случай перебить всех врагов императора разом, и помчались ко дворцу. В городе поднялся отчаянный переполох – все были уверены, что сейчас начнется грабеж, – люди во дворце лихорадочно заметались, забегали, а сам Отон оказался в тяжелейшем затруднении: страшась за своих гостей, он сам был им страшен, он видел их взоры, прикованные к нему в безмолвном ужасе, тем большем, что некоторые пришли с женами. Послав начальников охраны переговорить с солдатами и успокоить их, император в то же время выпустил приглашенных через другие двери. И едва успели они скрыться, как наемники вломились в залу и потребовали ответа, куда подевались враги императора. Отон встал во весь рост на своем ложе и лишь ценою долгих уговоров, просьб и даже слез удалось ему заставить солдат уйти. На другой день, назначив каждому в награду по тысяче двести пятьдесят драхм, он отправился в лагерь и сперва хвалил всех вместе за преданность и верность, но потом сказал, что иные – немногие – со злым умыслом мутят войско, выставляя в ложном свете доброту императора и преданность ему воинов, просил разделить его негодование и помочь наказать смутьянов. Речь его была встречена дружным одобрением, все кричали, чтобы он поступал так, как находит нужным, и Отон, схвативши всего двоих, чья смерть ни у кого не могла вызвать жалости, возвратился к себе.

4. Тех, кто одобрял действия Отона и верил ему, эта перемена восхищала, но другие считали все происшедшее вынужденным шагом, навязанным обстоятельствами, ибо дело шло к войне и приходилось угождать народу: поступали вполне надежные известия, что Вителлий принял императорскую власть и достоинство, и беспрерывно прибывали гонцы с сообщениями о все новых областях, которые к нему присоединялись. Правда, другие нарочные сообщали, что войска в Паннонии, Далмации и Мезии вместе со своими начальниками высказались за Отона, а вскоре пришли дружественные письма от Муциана и Веспасиана, стоявших во главе больших сил в Сирии и Иудее. Отон ободрился и написал Вителлию, советуя здраво поразмыслить об опасностях войны и обещая ему

много денег и город, в котором он мог бы вести жизнь легкую, приятную и досужую. Вителлий отвечал сперва в тоне легкой насмешки, однако ж, постепенно распаляясь, они стали обмениваться письмами, полными брани и грубейших поношений, не то, чтобы клеветнических, но бессмысленных и смехотворных, ибо каждый упрекал другого в том, что было вполне приложимо к обоим. Да, нелегко было решить, кто из них двоих больший мот, больше изнежен, меньше смыслит в делах войны и сильнее запутался в долгах в былую пору бедности.

Повсюду шли толки о знамениях и призраках, и, хотя большею частью это были безымянные и весьма сомнительные слухи, но что Капитолийская Победа, стоявшая на колеснице, выпустила из рук поводья, словно не в силах удерживать их дольше, а статуя Гая Цезаря на острове посреди Тибра, глядевшая прежде на запад, обернулась лицом к востоку, хотя никакого землетрясения или урагана не было, – это видели все. Говорят, это случилось как раз в те дни, когда Веспасиан заявил открытые притязания на верховную власть. Народ усматривал дурное предзнаменование и в разливе Тибра. Правда, было время половодья, но никогда прежде не поднималась вода так высоко и не причиняла столько ущерба: выйдя из берегов, она затопила значительную часть Рима, а в особенности хлебный рынок, так что в продолжение многих дней город терпел жестокую нужду.

5. Когда было получено известие, что полководцы Вителлия, Цецина и Валент, овладели перевалами через Альпы наемники в Риме заподозрили Долабеллу, человека высокого происхождения, в заговорщицких намерениях и планах. Боясь либо его, либо еще кого-то, Отон отправил Долабеллу в город Аквин, заверив его, однако ж, в своей благосклонности. Выбирая себе среди должностных лиц спутников для похода, он включил в их число и Луция, брата Вителлия, ничего не отняв от почестей, которыми тот пользовался, и ничего к ним не прибавив. Он принял решительные меры для защиты матери и супруги Вителлия, чтобы они чувствовали себя в полной безопасности. Хранителем Рима[3] он назначил Флавия Сабина, брата Веспасиана, либо и тут желая почтить память Нерона – при Нероне Сабин получил эту должность, а при Гальбе был отставлен, – либо, скорее, чтобы возвышением Сабина засвидетельствовать свою благосклонность к Веспасиану.

Сам император остался в италийском городе Бриксилле близ реки Эридан, а во главе войска выслал Мария Цельса и Светония Паулина вместе с Галлом и Спуриною. Все это были люди прославленные, знаменитые, но руководить военными действиями по собственному разумению они не могли из-за распущенности и наглости солдат, которые не желали повиноваться никому, кроме императора, ссылаясь на то, что от них получил император свою власть. Впрочем, и неприятельское войско страдало тем же недугом и смирным нравом отнюдь не отличалось, но было безрассудно и чванливо – и по той же самой причине. Все же воины Вителлия обладали опытом боев и сражений и не старались увернуться от тяжелого труда, к которому давно привыкли, тогда как люди Отона были развращены бездельем и изнежены мирной жизнью, проходившею главным образом в театрах и на празднествах, но бессилие свое хотели скрыть за похвальбой и высокомерием и, отказываясь исполнять свои обязанности – которые просто не могли нести, – делали вид, что это, дескать, слишком черное для них занятие. Когда же Спурина попытался заставить их подчиняться приказам, его едва не убили.

Не было такой грязной брани, которой бы на него не обрушили; его называли предателем и погубителем счастья и дела Цезаря, а уже ночью несколько пьяных негодяев пришли к его палатке и требовали денег на дорогу: они, мол, должны ехать к Цезарю, чтобы безотлагательно принести жалобу на него, Спурину.

6. Но в то время и положение дел, и самого Спурину спасли... оскорбления, которые нанесли в Плаценции его солдатам. Едва только воины Вителлия подступили к этому городу, они принялись издеваться над противниками, стоявшими меж зубцов крепостной стены, обзывая их скоморохами, плясунами, праздными зеваками от дельфийского Пифона и Олимпии[4], которые никогда не видели войны и ничего не смыслят в походах и только знай себе выхваляются, отсекши голову безоружному старику (враги имели в виду Гальбу), но еще ни разу не выходили на открытую битву, чтобы сразиться с мужами! Это позорная хула привела защитников Плаценции в такое расстройство и ожесточение, что они бросились к Спурине с мольбою командовать ими, как он находит нужным, а они, мол, впредь ни от каких трудов не откажутся и никаких опасностей не испугаются. Начался яростный приступ, нападавшие подвели множество осадных машин, и все же воины Спурины взяли верх, отбросили неприятеля, нанеся ему огромные потери, и утвердили за собою замечательный город, процветанием и благоденствием никакому иному в Италии не уступавший.

Надо заметить, что полководцы Отона обходились и с городами и с отдельными людьми более мягко, чем полководцы Вителлия. У одного из этих последних, Цецины, ни в голосе, ни в обличии не было ничего привлекательного, но все отталкивало и ужасало – и исполинский рост и галльское платье[5], закрывающее ноги и руки, и то, что даже с начальниками и властями римлян он нередко объяснялся знаками и мановениями головы. Жена его в роскошном уборе ездила верхом в сопровождении отборных всадников. Другого полководца, Фабия Валента, не могли насытить ни отнятая у врагов добыча, ни ограбления союзников и взятки, которые он у них вымогал; именно поэтому, из-за алчности, как многие полагали, он подвигался вперед слишком медленно и опоздал к первому сражению. Но другие во всем винят Цецину, который спеша одержать победу собственными силами, до прихода Валента, допустил множество мелких ошибок, а главное – начал сражение несвоевременно и бился недостаточно храбро, так что едва не погубил всего дела.

7. Вот как это произошло. Отброшенный от Плаценции, Цецина двинулся на Кремону, тоже большой и богатый город, и Анний Галл, который шел к Плаценции на помощь Спурине, узнав в пути, что плацентинцы спасены, Кремона же, напротив, в опасности, первым повел свое войско туда и разбил лагерь невдалеке от неприятеля, а затем и остальные военачальники Отона поспешили, один за другим, ему на подмогу. Цецина разместил в густом лесу сильный отряд пехоты, конникам же велел выехать вперед и завязать бой, а затем понемногу отходить, отступать – до тех пор, пока ложным своим бегством не заманят врага в засаду. Но перебежчики выдали этот план Цельсу, и он ударил на Цецину лучшей частью своей конницы, во время преследования соблюдал сугубую осторожность, и лишь после того, как обошел засаду с фланга и привел неприятельских воинов в замешательство, вызвал из лагеря пехоту. Если бы она по-

доспела в срок и двинулась вплотную за всадниками, то, сколько можно судить, никто из противников не уцелел бы, но все войско Цецины до последнего человека было бы перебито. Однако Паулин шел слишком медленно и прибыл на место слишком поздно, чрезмерною осторожностью уронив свою славу опытного полководца, а большая часть воинов прямо обвиняла его в измене и старалась разжечь негодование Отона, хвастливо утверждая, что они победили, но победа оказалась неполной из-за трусости начальников. Отон не столько верил этим обвинителям, сколько хотел скрыть свое недоверие к ним, а потому отправил к войску брата Титиана и начальника дворцовой стражи Прокула. Вся власть, по сути вещей, была у Прокула, Титиана же император послал лишь для вида. Впрочем, Цельс с Паулином тоже не имели никакой власти и только носили звание друзей и советников. Тревога и беспорядок царили и у врагов, больше всего – среди людей Валента: узнав о битве и о неудачной засаде, они страшно возмутились, оттого что не были тогда с товарищами и не могли спасти жизнь стольких бойцов. Они уже готовы были расправиться со своим начальником, но все же Валенту удалось их успокоить и, снявшись с лагеря, он соединился, наконец, с Цециной.

8. Отон прибыл в лагерь при Бедриаке (это маленький городок близ Кремоны) и стал держать военный совет. По мнению Прокула и Титиана, следовало дать решительное сражение, пока войско полно бодрости после недавней победы, а не сидеть сложа руки, притупляя острие своей силы, и не ждать, пока Вителлий явится из Галлии собственной особой. Паулин заявил, что у врагов собрано для битвы все, что только возможно, тогда как Отон ждет из Мезии и Паннонии еще одно войско, не меньше того, что уже есть, и непременно дождется его, если хочет использовать собственные преимущества и не давать никаких преимуществ врагам. В самом деле, его солдаты, которые теперь, уступая неприятелю числом, полны мужества, не станут сражаться хуже оттого, что получат подкрепление, напротив, численное превосходство придаст им еще больше отваги. Да и помимо этого, промедление для них выгодно – ведь у них всего в изобилии, а тем, находящимся посреди неприятельской земли, долгая задержка принесет нужду в самом необходимом. Так рассуждал Паулин, и к нему присоединился Марий Цельс. Анний Галл на совете не присутствовал – он лечился после тяжелого падения с лошади, – но в ответ на письменный запрос Отона советовал ему не спешить и дожидаться войска из Мезии, которое было уже в пути. Ко всем этим доводам своих военачальников Отон, однако ж, остался глух, и верх взяли те, кто торопил императора со сражением.

9. Разные писатели по-разному объясняют это решение. Но совершенно очевидно, что так называемые преторские солдаты, составлявшие личную охрану императора, лучше узнали подлинный вкус военной службы и, тоскуя по прежней своей жизни в Риме, которая была сплошным праздником и с войною не имела ничего общего, неудержимо рвались в битву, ибо рассчитывали с первого же удара разметать и истребить врага. По-видимому, и сам Отон не мог дольше терпеть неопределенности положения, не мог, по изнеженности своей, переносить непривычные для него мысли об опасности и, истомленный заботами, зажмурившись, словно перед прыжком с обрыва, поторопился отдать исход всего дела на волю случая. Так рассказывает оратор Секунд, который вел переписку

Отона. Но другие сообщают, что оба войска неоднократно хотели сойтись для переговоров и, если удастся достигнуть согласия, избрать императором самого достойного из присутствующих полководцев, если же не удастся, – созвать сенат и право выбора предоставить ему. И так как ни один из двоих, носивших тогда имя императора, доброю славой не отличался, то вполне вероятно, что истинным воинам, закаленным в боях и трезво мыслящим, приходили в голову одинаковые соображения: ужасно, думали они, если бедствия, которые граждане, ко всеобщему сожалению, причиняли друг другу сперва из-за Суллы и Мария, а потом из-за Цезаря и Помпея, – ужасно, если все эти бедствия теперь повторятся снова для того лишь, чтобы верховная власть была отдана на потребу обжорству и пьянству Вителлия или же роскоши и разнузданности Отона. Цельс, как предполагают, о такого рода настроениях знал, а потому и советовал не спешить, втайне надеясь, что все решится без битвы и без мук; но этих же настроений боялся Отон, а потому и отверг всякую отсрочку.

10. Сам он возвратился в Бриксилл, и это было ошибкою не только потому, что император отнял у солдат честолюбие и стыд, которые внушало им его присутствие, но и потому, что, уведя с собою в качестве личной охраны самую лучшую и самую преданную ему часть конницы и пехоты, он как бы лишил войско главной его силы.

В эти дни произошла еще одна стычка – у Эридана. Цецина начал наводить переправу, а солдаты Отона напали на него и пытались помешать работе, но безуспешно. Тогда они нагрузили несколько лодок смоляными, густо посыпанными серой факелами и поплыли на другую сторону, но под внезапным порывом ветра горючий материал, предназначенный для борьбы с врагом, занялся. Сначала появился дым, потом рванулись вверх языки пламени, и солдаты в ужасе попрыгали в воду, перевернув свои суденышки и оказавшись во власти потешавшегося над ними неприятеля. А на речном островке германцы вступили в бой с гладиаторами Отона, разбили их и немалое число положили на месте.

11. После этого столкновения, войска при Бедриаке яростно требовали битвы; в конце концов. Прокул увел их от Бедриака и расположил в пятидесяти стадиях от прежнего лагеря, но выбрал место до того неумело и нелепо, что в весеннюю пору, среди долин, изобилующих ключами и непересыхающими речками, солдатам приходилось страдать от нехватки воды. На другой день он хотел вести войско дальше, на неприятеля, который был не менее чем в сотне стадиев, но Паулин возражал, высказывая суждение, что следует подождать, а не изматывать себя раньше срока и не затевать сражения прямо с дороги, против врагов, которые спокойно, не торопясь, вооружатся и выстроятся в боевой порядок, пока сами они, со всем обозом и обозными, будут одолевать такой длинный путь. Полководцы заспорили, но как раз во время этого спора прискакал нумидийский всадник с письмом императора, который приказывал им не ждать и не медлить, но выступать как можно скорее. Итак, они подчинились и двинулись дальше, и Цецина, узнав о приближении неприятеля, был сильно встревожен, поспешно бросил все работы у реки и вернулся в свой лагерь. Когда бóльшая часть воинов уже вооружилась и получила от Валента пароль, легионы стали делить между собой по жребию места в общем строю, а полководцы выслали вперед отборный отряд конницы.

12. Внезапно по первым рядам Отонова войска побежал неизвестно откуда взявшийся слух, будто полководцы Вителлия готовы перейти на их сторону. И вот, подступив ближе, они дружелюбно приветствуют неприятелей, называя их товарищами и соратниками. Те, однако ж, отвечали не ласковыми словами, но грозным и гневным воинским кличем, так что сами приветствовавшие были повергнуты в уныние, остальные же заподозрили их в измене. Это с самого начала посеяло замешательство среди воинов Отона, а враги между тем уже начали бой. Все дальнейшие события также были полны беспорядка. Немалое смятение вызывали вьючные животные, замешавшиеся между бойцами, а неровная, вся изрезанная рвами местность была причиною многочисленных разрывов в боевой линии, ибо, остерегаясь этих естественных ловушек и старательно их обходя, воины не могли сражаться иначе, как небольшими отрядами, без всякой связи друг с другом. Только двум легионам, по прозванию "Хищник" и "Заступник" (первый из войска Вителлия, второй – Отона), удалось развернуться на гладкой и широкой равнине, и они долго вели правильный бой в сомкнутом строю. Солдаты Отона были и храбры, и крепки телом, но лишь впервые пробовали свои способности в войне; воины Вителлия были закалены во многих битвах, но уже стары и недостаточно сильны. Натиск "заступников" отбросил врага назад, они захватили орла и уничтожили почти всех бойцов в первых рядах. Тогда "хищники", вне себя от стыда и от гнева, в свою очередь ринулись вперед, убили начальника легиона, Орфидия, и взяли много знамен.

На гладиаторов, которые считались и искушенными и отважными в рукопашных схватках, Альфен Вар повел так называемых батавов. Это лучшие конники во всей Германии; живут они на острове, омываемом водами Рейна. Лишь немногие из гладиаторов выдержали их удар, остальные бежали к реке, натолкнулись на выстроенные там вражеские когорты и все до последнего погибли в бою.

Но самым постыдным, самым безобразным было поведение преторских солдат, которые так и не посмели сойтись с врагом грудь на грудь; мало того, спасаясь бегством, они прокладывали себе дорогу сквозь ряды, еще не тронутые поражением, и расстраивали их, заражая своим страхом. Тем не менее многие из воинов Отона, одолевая всех подряд, кто бы ни вставал у них на пути, сквозь гущу неприятелей, уже торжествовавших победу, прорвались к себе в лагерь.

13. Что же до полководцев, то ни Прокул, ни Паулин не посмели войти в лагерь вместе с прочими, но оба скрылись – в страхе перед солдатами, всю вину за поражение уже возлагавшими на своих командующих. Тех, кто благополучно выбрался с поля битвы, укрыл в городе Анний Галл, который пытался успокоить их и ободрить, уверяя, что исход дела остался неясен, ибо во многих местах они взяли верх над противником. Но Марий Цельс собрал начальников и просил их подумать об общем благе. После такой страшной беды, говорил Цельс, после избиения стольких граждан сам Отон, если только он человек достойный, не захотел бы снова испытывать судьбу. Даже Катона и Сципиона, не пожелавших подчиниться Цезарю после его победы при Фарсале, укоряют в том, что они понапрасну сгубили в Африке много храбрых воинов, – а ведь оба боролись за свободу римлян! Во всем прочем судьба одинаково властна над любым из людей, и лишь одного не в силах она отнять у доблестных и благородных – способ-

ности действовать разумно и осмотрительно даже вслед за жестокою неудачей.

Речь Цельса оказала свое действие. Когда же начальники, выведывая умонастроение солдат, убедились, что они жаждут мира, а Титиан предложил отправить к неприятелю посольство, Цельс и Галл решили встретиться с Цециною и Валентом сами. В дороге они неожиданно съехались с центурионами Вителлия, которые рассказали, что войско уже снялось с лагеря и идет к Бедриаку, а их выслали вперед полководцы для переговоров о перемирии. Цельс не скрыл своего удовольствия и просил центурионов повернуть и вместе с ним ехать к Цецине.

Когда они были вблизи от вражеской походной колонны, Цельс едва не погиб. По случайности в голове колонны находились те самые всадники, которые незадолго до того потерпели поражение подле засады. Увидев приближающегося Цельса, они тут же с криком ринулись на него. Но центурионы заслонили своего спутника и отбросили конников, остальные начальники тоже стали кричать, чтобы они не смели прикасаться к послу. На шум прискакал Цецина, быстро пресек беспорядок и унял всадников, а с Цельсом дружески поздоровался и вместе с ним продолжал путь к Бедриаку. Но тем временем Титиан успел раскаяться в своем решении отправить послов; самых храбрых солдат он снова расставил на стенах, а остальных призывал помочь защитникам города. Когда, однако же, верхом на коне приблизился Цецина и протянул дружелюбно правую руку, сопротивления не оказал никто, и одни приветствовали его людей со стены, а другие распахнули ворота, выбежали наружу и смешались с недавним противником. Никто не обнаруживал ни малейшей враждебности, напротив, повсюду звучали изъявления радости и слова привета, а затем все объявили себя сторонниками Вителлия и принесли ему присягу.

14. Так рассказывают об этом сражении почти все, кто в нем участвовал, в то же время признавая, что за подробностями, из-за страшного беспорядка, уследить не могли. Много спустя мне довелось проезжать через поле битвы, и Местрий Флор, бывший консул, один из тех, что находились тогда в свите Отона – не по доброй воле, а по принуждению, – показал мне старинный храм и вспомнил, как подойдя к нему сразу после битвы, увидел такую гору трупов, что верхние были вровень со щипцом. Он пытался разузнать, для чего сложили эту гору, но и сам не догадался, и другие ничего не могли ему объяснить. Вполне естественно, что в междоусобных войнах во время бегства гибнет особенно много людей – ведь проку от пленных никакого[6], и потому пощады не дают никому, – но зачем было сносить в одно место столько мертвых тел и громоздить их одно на другое, понять не так-то просто.

15. Как всегда бывает в подобных обстоятельствах, до Отона сперва дошли только неясные и неопределенные слухи, и лишь потом появились раненые и рассказали о битве с большею достоверностью. И если никого не может удивить, что друзья не давали императору отчаиваться и убеждали его не падать духом, то чувства, выказанные воинами, превзошли все ожидания. Ни один из них не бежал, ни один не переметнулся к победителям, ни один, видя отчаянное положение своего императора, не думал тем не менее о собственной безопасности, но все дружно пришли к дверям Отона и стали вызывать его, а когда он показался на пороге, с криками, с горячей мольбою ловили его руки, падали к его ногам, плакали, проси-

ли не бросать их на произвол судьбы и не выдавать неприятелю, но располагать душами их и телами до последнего дыхания. Так умоляли они все, в один голос, а какой-то никому неведомый солдат выхватил меч и с криком: "Будь уверен, Цезарь, что каждый из нас предан тебе вот так – до смерти", – покончил с собой.

Но ничто не сломило решимости Отона. Обведя всех спокойным и светлым взором, он сказал: "Друзья мои, товарищи по оружию, нынешний день я полагаю еще более счастливым, чем тот, когда вы впервые назвали меня императором, – такую любовь вижу я сегодня в ваших глазах, такое высокое слышу о себе мнение. Не лишайте же меня еще большего блага – права честно умереть за моих сограждан, столь замечательных и многочисленных. Если я в самом деле был достоин верховной власти над римлянами, мой долг не пощадить жизни ради отечества. Я знаю, что победа противника и не надежна, и не полна́. Поступают вести, что наше войско из Мезии всего в нескольких днях пути отсюда и уже спускается к Адриатическому морю. С нами Азия, Сирия, Египет и легионы, ведущие войну против евреев, в наших пределах не только сенат, но и супруги и дети наших врагов. Но ведь не от Ганнибала, не от Пирра и не от кимвров защищаем мы Италию, нет! римляне, мы воюем против римлян и – победители или побежденные, безразлично – причиняем вред и горе отечеству, ибо выигрыш победителя есть тяжкий проигрыш Рима. Поверьте мне, когда я снова и снова повторяю, что с большею славою могу умереть, нежели править. Я далеко не убежден, что, победив, принесу римлянам столько же пользы, сколько отдав себя в жертву во имя мира и согласия, во имя того, чтобы Италии не довелось пережить такой же страшный день еще раз".

16. Вот что он сказал и, решительно отклонив все возражения, все попытки его утешить, велел уезжать друзьям, а также сенаторам, которые были подле него; тем, кого рядом не случилось, он отдал такое же распоряжение письменно, а чтобы обеспечить им безопасность и подобающие почести на пути домой, снабдил их особыми письмами к городским властям. Потом позвал к себе племянника, Кокцея, еще совсем юного, и просил его не отчаиваться и не бояться Вителлия, ибо сам он оберегал мать, детей и супругу своего врага с такою заботой, словно то была его собственная семья. "Знаешь ли, почему я не исполнил своего желания усыновить тебя, – продолжал Отон, – но все откладывал усыновление? Я хотел, чтобы в случае победы ты правил вместе с императором, а в случае неудачи не погиб бы с ним вместе. Одно, мой мальчик, завещаю я тебе напоследок – не забывать до конца, что дядя твой был Цезарем, но и не слишком часто об этом вспоминать". Только он отпустил племянника, как у дверей послышались крики и шум: это солдаты грозились убить отъезжавших сенаторов, если они не останутся с Отоном и бросят его одного. Испугавшись за них, Отон снова вышел к дверям, теперь уже не с кротким лицом просителя, но суровый и гневный; мрачно взглянув на главных зачинщиков беспорядка, он привел их в трепет и заставил беспрекословно удалиться.

17. Был уже вечер. Император захотел пить, утолил жажду водою и принялся осматривать два своих меча, подолгу проверяя остроту каждого, потом один отложил, а другой взял подмышку и кликнул рабов. Ласково с ними беседуя, он роздал им деньги – одному побольше, другому поменьше, отнюдь не так, словно

расточал чужое, но стараясь наградить каждого по заслугам. Отославши их, он весь остаток ночи провел в постели, и слуги слышали, что он спит глубоким сном. На рассвете он позвал отпущенника, который, по его поручению, принял на себя заботу о сенаторах, и велел узнать, как обстоят дела. Услышав, что каждый при отъезде получил все, в чем имел нужду, Отон промолвил: "Ну, теперь ступай, да побудь на глазах у солдат, если не хочешь, чтобы они убили тебя, как собаку, решивши, будто ты помог мне умереть".

Как только вольноотпущенник вышел, Отон поставил меч острием вверх, держа оружие обеими руками, и упал на него. Боль была настолько коротка, что он вскрикнул всего раз, и крик этот известил о случившемся тех, кто был за дверями спальни. Рабы подняли жалобный вопль, и тут же весь лагерь и весь город наполнился рыданиями. Воины, с громкими стонами сбежавшись к дому, отчаянно сокрушались и корили себя за то, что не уберегли императора и не помешали ему умереть ради них. Враги были уже совсем близко, и все-таки никто из города не ушел, но, украсив тело и сложив костер, они в полном вооружении провожали своего императора, и те, кому удалось подставить плечи под погребальное ложе, почитали это честью для себя, а остальные припадали к трупу, целуя рану, или ловили мертвые руки Отона, или же склонялись ниц в отдалении. А несколько человек, поднеся факелы к костру, покончили с собой, хотя, сколько было известно, никаких особых милостей от умершего не получали, а, с другой стороны, и особого гнева победителя не страшились. Но, по-видимому, никто из тираннов или царей во все времена не был одержим такой исступленною страстью властвовать, как исступленно желали эти люди повиноваться Отону. Даже после его смерти не покинуло их это желание, но осталось непоколебимо, превратившись в жесточайшую ненависть к Вителлию. (18). Обо всем последующем, однако ж, будет рассказано в своем месте[7].

Прах Отона предали земле и поставили памятник, не вызывавший зависти ни громадною величиной, ни слишком пышною надписью. Я был в Бриксилле и своими глазами видел этот скромный могильный камень с надписью, которая в переводе звучит так: "Памяти Марка Отона".Отон умер на тридцать восьмом году жизни и на четвертом месяце правления. Его жизнь порицали многие достойные люди, но не меньшее число – и не менее достойных людей – восхваляло его смерть. В самом деле, прожил он нисколько не чище Нерона, но умер гораздо благороднее.

Один из двоих начальников двора, Поллион, немедля отдал распоряжение присягать на верность Вителлию, но солдаты возмущенно роптали и отказывались повиноваться. Узнав, что иные из сенаторов еще в городе, они всех прочих оставили без внимания, а Вергинию Руфу причинили немалую тревогу: с оружим в руках они пришли прямо к его дому и начали вызывать Вергиния, требуя, чтобы он либо принял власть, либо отправился от их имени послом. Но Вергиний прежде не захотел владычествовать над победителями – вполне понятно, что становиться во главе побежденных он считал безумием; а идти послом к германцам, которых он неоднократно принуждал действовать вопреки их воле, – безо всякого, как им казалось, на то основания, – Вергиний просто боялся. Поэтому он тайком вышел через другую дверь и скрылся. Как только солдаты узнали о его бегстве, они принесли присягу и, получив прощение, присоединились к Цецине.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

СЕРТОРИЙ И ЭВМЕН

СЕРТОРИЙ

1 ... *история двух Аттисов... двух Актеонов...* – Сирийский (фригийский) Аттис – возлюбленный Матери богов Кибелы, погибший (как Адонис) от вепря на охоте; об аркадском Аттисе ничего не известно. Из двух Актеонов один – беотийский охотник, увидевший нагую Артемиду, за это превращенный ею в оленя и растерзанный собственными псами; другой – коринфский мальчик, погибший, когда влюбленный в него согражданин вырывал его из рук родственников (Плутарх. Любовные рассказы, 2).

2 *Илион (Троя) был взят Гераклом из-за коней Лаомедонта...* – Царь Лаомедонт пообещал Гераклу в награду за помощь упряжку чудесных коней, но не исполнил обещания (ср.: Ник., 1); история Харидема ближе не известна.

3 *Иос и Смирна...* – Название Иоса Плутарх производит от ion (фиалка), а Смирны – от одноименной душистой смолы (мирра); обе этимологии произвольны.

4 ... *и дает имя... областям Испании...* – Бетика (Андалусия) по реке Бетис (Гвадалкивир).

5 ... *Остров блаженных.* – Далее следует идеализированное описание Канарских островов.

6 ... *воспетое Гомером.* – "Одиссея", IV, 563–568.

7 *Антей* – великан, сын Земли (черпавший из нее силы в борьбе), убитый Гераклом.

8 ... *называл римлянами...* – Речь идет о товарищах по эмиграции и уроженцах римских поселений в Испании.

9 ... *квестором Сертория...* – Имеется в виду Луций Гиртулей.

10 *Буллы* – см.: Нума, примеч. 33.

11 ... *за рекою Тагом...* – В районе современного Мадрида.

12 ... *северный... называют кекием...* – Неточность: кекий (лат. аквилон) – не северный, а северо-восточный ветер.

13 *Он писал сенату...* – В риторической переработке это письмо приводится у Саллюстия, "История", среди отрывков III книги.

14 ... *воссев на Палатинском холме...* – Анахронизм: Палатин стал резиденцией правителей только в императорскую эпоху.

ЭВМЕН

1 ... *Пердикка заменил умершего Гефестиона...* – Речь идет об узком круге (около десяти человек) ближайших друзей Александра из македонской знати, звавшихся "телохранителями" (не путать с отрядом настоящих воинов-телохранителей, "щитоносцев", начальником которых был Неоптолем).

2 *Первой женщиной...* – См.: Ал., 21.

3 *Отправлял Неарха... в плавание...* – См.: Ал., 66. Рассказ, по-видимому, вымышлен.

4 ...*возникли разногласия...* – Речь идет о разногласиях между "гетерами" ("товарищами"), высоко привилегированной конной гвардией Александра, и пехотной фалангой, главной боевой силой македонской армии. Гетеры, уже чувствовавшие себя хозяевами Востока, требовали, чтобы престол перешел к сыну Александра от бактриянки Роксаны, тогда как пехотинцы, державшиеся старых македонских традиций, считали, что наследовать должен незаконнорожденный брат Александра Арридей. См.: Ал., 77.

5 ... *золотой монеты на пять талантов серебра.* – Золотая монета была грекам еще непривычна, и оценивалась в пересчете на серебро.

6 ... *вдали от царей.* – Т.е. от слабоумного Арридея и новорожденного Александра, сына Роксаны, – Пердикка был опекуном обоих. Эвмен, который как грек не мог командовать македонянами

от своего имени, должен был держаться Пердикки как номинального хранителя верховной власти; между тем, против Пердикки уже сплотилась коалиция Антигона, Антипатра, Кратера и Птолемея. Пердикка отправился на Египет воевать против Птолемея, а Эвмену поручил малоазиатский фронт.

[7] *Кавсия* – македонский головной убор, широкополая войлочная шляпа.

[8] *... увлечению Александра всем персидским...* – См.: Ал., 47.

[9] *... у подножия Иды...* – Гора в Троаде.

[10] *... на Лидийской равнине... показать свое войско Клеопатре...* – Клеопатра, сестра Александра Македонского, после его смерти предложила свою руку регенту Пердикке и приехала из Македонии в Малую Азию, но Пердикка уже погиб.

[11] *... собрал трупы...* – т.е. исполнил обряд, показывавший, что поле боя в его власти и он не побежден.

[12] *... распря Полисперхонта с Кассандром...* – Антипатр, умирая (319 г.), назначил правителем Македонии не своего сына Кассандра, а своего помощника Полисперхонта. Полисперхонт вскоре заключил союз с Эвменом, и тот как бы во главе авангарда Полисперхонта двинулся в глубь владений Антигона – в Киликию, Сирию и Месопотамию, на соединение с восставшим против Антигона Певкестом.

[13] *Царь Филипп (III)* – тронное имя Арридея.

[14] *Аргираспиды* ("сереброщитные") – пешая часть македонской гвардии, сформированная Александром из старых греческих наемников Филиппа (ср.: ниже, гл. 16); легкой пехотой при них были "гипасписты", а конницей – гетеры. После смерти Александра под их охрану была отдана царская казна, находившаяся в это время в Квиндах в Киликии (местоположение неясно).

АГЕСИЛАЙ И ПОМПЕЙ

АГЕСИЛАЙ

[1] *Агелы* – возрастные отряды; см.: Лик., 16.

[2] *Алкивиад* – см. Алк., 23.

[3] *По словам Ксенофонта...* – "Агесилай", 6.

[4] *... как об этом рассказано в жизнеописании Ликурга.* – Лик., 5 и 26.

[5] *... если бы во вселенной исчезли спор и вражда...* – Имеется в виду учение Гераклита ("война – отец всего") или Эмпедокла (четыре стихии поочередно то сливаются под влиянием Любви, то разделяются под влиянием Вражды).

[6] *... "ужасными словами"...* – "Одиссея", VIII, 75 сл.: Агамемнону было предсказано, что эта ссора будет добрым знаменьем его делу.

[7] *... отборных новограждан...* – Новогражданами (неодамодами) назывались илоты, получившие свободу и (неполное?) гражданство для пополнения поредевшего спартанского войска.

[8] *Авлида* – из этого беотийского городка отплывал на троянскую войну Агамемнон с всеэллинской ратью и перед отплытием должен был принести в жертву Артемиде свою дочь Ифигению, но в последнее мгновение богиня подменила ему девушку ланью. Место стало считаться священным, и беотархи заведовали в нем жертвоприношениями.

[9] *... Раздачу мяса...* – Ср.: Лис., 23–24.

[10] *... "десять тысяч"...* – Десять тысяч греческих наемников Кира Младшего (см.: Арт., 6–13) ходили с ним на Вавилон, а после гибели Кира с боями совершили отступление на север до Черного моря; Ксенофонт, один из вождей этого трудного отхода, описал его в "Анабасисе".

[11] *... получив... прекрасную кобылу.* – Агамемнон получил эту кобылу от Эхепола, – сына Анхиса, – "Илиада", XXIII, 295 сл.

[12] *... взяв у перса тридцать талантов...* – за то, чтобы опустошать не его сатрапию, а соседнюю, Фарнабазову.

[13] *... ушел... в Сарды* – Т.е. к Тифравсту: Сарды были центром его сатрапии.

[14] *... могли не допустить к участию в Олимпийских состязаниях.* – На Олимпийских играх устраивались особые состязания для мальчиков; граница возраста между мальчиками и взрослыми определялась на глаз.

[15] *О, скольких тяжких бед...* и далее. – *Эврипид.* Троянки, 764.

[16] *Демарат* – см.: Ал., 37 и 56.

[17] *... о сражении между Антипатром и Агидом...* – Сражение между Антипатром (македонским наместником Александра) и Агидом (спартанским царем, восставшим против македонского господства) произошло при Мегалополе, в 331/330 г., и было для Греции второй Херонеей. “Война мышей и лягушек” – известная шутливая поэма, приписывавшаяся Гомеру.

[18] ... *“несвершенным дело”* ... – “Илиада”, IV, 175.

[19] *... две дружины...* – См.: Пел., примеч. 12.

[20] *... во время затмения солнца...* – 14 августа 394 г.

[21] *Ксенофонт, вернувшийся из Азии* (после возвращения 10 000 греков)... – См. “Греческая история”, IV, 3, 16 и “Агесилай”, 2.

[22] *... с просьбой о выдаче трупов...* – Это означало признание, что поле боя осталось за неприятелем, т.е. было равносильно признанию своего поражения; ср. Ник., 6.

[23] *... на другую сторону Эврота...* – Т.е. за пределами Лаконии.

[24] *... еще* (царем) *Аристодемом...* (ср.: Лик., I). – Т.е. лет за 700 до Агесилая.

[25] *По словам Ксенофонта...* – “Агесилай”, 8.

[26] *Грифы* (звери с птичьими головами) и *трагелафы* (козлы с оленьими головами) – сказочные чудовища.

[27] *Лаконские записки* – источник, ближе неизвестный.

[28] *... в Олимпийских состязаниях.* – Колесницы на состязаниях вели, конечно, профессиональные возницы, но победителем провозглашался человек, снарядивший колесницу. Женщинам было запрещено присутствовать на состязаниях даже среди зрителей.

[29] *... сыном изгнанника...* – Отцом Агесиполида был Павсаний, которого спартанцы изгнали после гибели Лисандра; см.: Лис., 29–30.

[30] *... в жизнеописании Ликурга.* – Лик., 17–18.

[31] *Длинные стены* – соединяли город Коринф с его западной гаванью Лехеем.

[32] *Истмийские игры* (в честь Посейдона) – справлялись каждые два года в конце весны; здесь речь идет об играх 390 г.

[33] (Такой-то такому-то) *желает здравствовать* – обычная формула начала греческих писем.

[34] *Герей* – святилище Геры в 15-ти км севернее Коринфа.

[35] *... Фебид... захватив Кадмею...* – См.: Пел., 5–6; об освобождении Кадмеи – Пел., 7–12.

[36] *Агесилай... отказался от командования... Воевал с флиунтцами* – чтобы восстановить в Флиунте власть изгнанных олигархов. Конечно, это был только предлог для отказа.

[37] *... в трех так называемых ретрах...* – См.: Лик., 6, 13.

[38] *... в жизнеописании Эпаминонда...* – Оно до нас не дошло.

[39] *Ксгнофонт говорит...* – “Пир”, 1, 1.

[40] *Праздник Гимнопедий* – в честь Аполлона, Артемиды и Латоны, главный праздник спартанского религиозного календаря, справлялся в июле; битва при Левктрах произошла в начале июля 371 г.

[41] *... до самой реки...* – Т.е. до Эврота, на котором стояла Спарта (как близ *Кефиса* – Афины). Следует помнить, что Спарта не была окружена стенами.

[42] *... составили заговор...* – Заговор с целью выдать город фиванцам; подробности заговора неясны.

[43] *... от тиранна из Сицилии...* – Помощь пришла от Дионисия Старшего; Сиракузы держались союза со Спартой с самых времен сицилийской экспедиции Алкивиада.

[44] *... описывает Фукидид...* – V, 64–74 (битва 418 г.).

[45] *Мессена* – новая столица Мессении, впервые после 300 лет освобожденной от спартанской власти; прежние ее граждане – потомки мессенцев, выселившихся после мессенского восстания 464–462 гг. (см.: Ким., 16–17).

[46] *... по Ксенофонту...* – “Греческая история”, VII, 5.

[47] *Мендес* – из этого города в дельте Нила происходила предыдущая династия правителей восставшего Египта, правившая в 398–381 гг.; может быть, новый претендент был их потомком.

[48] *Менелаева гавань* – лежала против острова Крита, к западу от Египта.

[49] *... за неимением меда... воском...* – Речь идет о старом спартанском обычае бальзамирования умерших на чужбине.

ПОМПЕЙ

[1] *Любимый нами сын враждебного отца.* – Стих из несохранившейся трагедии Эсхила "Освобожденный Прометей", где Геракл является освободить Прометея от оков, наложенных по повелению Зевса, отца Геракла.

[2] *Луций Марций Филипп* – защищал Помпея в 86 г., когда того обвинили в незаконном присвоении добычи, захваченной в Союзнической войне (гл. 4).

[3] *Аскул* – опорный пункт восставших союзников, был взят Помпеем-отцом в 89 г.

[4] *"Таласию!"* – см.: Ром., 15. Видимо, когда Плутарх писал биографию Помпея, биография Ромула не была еще им написана.

[5] *Мамертинцы* – см.: Пирр, примеч. 18.

[6] *... на того, кто отдал приказ.* – Т.е. на Суллу.

[7] *... в пору их бедствий.* – Т.е. перед гибелью Карфагена в III Пунической войне (146 г.).

[8] *Марий* – Марий Младший.

[9] *... еще не может заседать в сенате...* – Возрастной ценз для сенатора был 27 лет (возраст квесторства).

[10] *... в* (цензорском) *смотре...* – См. ниже, гл. 22.

[11] *... в звании вместо консула...* – Это – буквальный смысл слова "проконсул". Помпей еще не был консулом, а стало быть, не имел законного права звать себя проконсулом.

[12] *... услуги, оказанной ему в Сицилии...* – В 82 г. Перперна очистил Сицилию без боя (см. гл. 10) – вероятно, по договоренности с Помпеем.

[13] *... закона, вновь предоставлявшего суды в распоряжение всадников.* – Первоначально судейская власть принадлежала только сенаторам; Г. Гракх в 123 г. допустил к участию в судах также и всадников, после чего суды стали важным средством контроля над деятельностью сенатской олигархии. Сулла вернул суды сенаторам; Помпей и Красс восстановили (и даже еще больше демократизовали) гракханский порядок.

[14] *... облачившись в тогу* (вместо панциря и плаща)... – Т.е. перейдя от военной деятельности к гражданской.

[15] *... много святилищ – кларосское, дидимское, самофракийское, храм Хтонии...* – Эти храмы находились близ Колофона и близ Милета и были посвящены Аполлону. Хтония ("подземная") – богиня Деметра.

[16] *Олимп* – город в Ликии, на южном берегу Малой Азии, служивший основной базой для пиратов.

[17] *... четырехсот стадиев...* – Около 75 км.

[18] *... участи последнего.* – См.: Ром., 27.

[19] *Человек ты, помни это... и далее* – Пер. М.Е. Грабарь-Пассек.

[20] *... родственник того Метелла...* – Кв. Метелл Критский был внуком Метелла Македонского, консула 143 г., а Кв. Метелл Пий (воевавший в Испании) – внуком Метелла Кальва, консула 142 г., брата Македонского.

[21] *Славы б не отнял... не явился.* – "Илиада", XXII, 207.

[22] *... сенат должен искать гору... удалившись на которую...* – Когда-то, наоборот, плебеи уходили от сената на Священную гору (Гай, 6).

[23] *... между Финикией и Боспором...* – Боспором Киммерийским, т.е. Керченским проливом.

[24] *Китара* – головной убор персидских царей.

[25] *... праздник Сатурналий...* – 17 декабря 66 г.

[26] *Кири* (или Кир) – нынешняя р. Кура.

[27] *... у реки Абанта...* – Приток Куры, возможно, нынешняя Алазань.

[28] *Амазонки* и их соседи *гелы* и *леги* – народы сказочные, как и река Фермодонт, которая искусственно отождествлялась античными географами с разными речками то каспийского (как здесь), то черноморского (как в Лук, 14) бассейна.

[29] *Такой-то вот породы и крови...* – Ироническая реминисценция из "Илиады" (VI, 211), где Главк заключает свою родословную словами: "Вот и порода и кровь, каковыми тебе я хвалюся".

[30] *... в несчастном сраженье...* – При Зеле в 67 г. (см.: Лук., 35).

[31] *... об изобретении вообще...* – Имеется в виду лекция о подборе материала для речи (это один из пяти основных разделов риторики – науки, только что реформированной Гермагором Темносским).

[32] ... *он не объяснил причины развода; причина эта названа Цицероном в его письмах.* – В дошедших до нас письмах Цицерона этих сведений нет.

[33] *Центурии* – так назывались подразделения триб, избирательных округов, каждый из которых подавал в собрании один голос.

[34] ... *приближался к сорока.* – В год триумфа (61 г.) Помпею было 45 лет.

[35] ... *покинуть Рим.* – Подробнее см.: Циц., 28–33.

[36] ... *об основании колоний и раздаче земель...* – В первую очередь земли в колониях раздавались ветеранам восточных походов Помпея.

[37] ... *почесывает... голову?* – См.: Цез., 3, примеч. 5.

[38] ... *в пользу хлебного закона...* – Эта речь Цицерона (57 г.) не сохранилась.

[39] ... *на помощь царю Птолемею.* – Птолемею XII Авлету, который в 58 г. бежал в Рим просить помощи против своих восставших подданных.

[40] *Маслом себя умащает и руки песком натирает.* – Стихи из неизвестной комедии.

[41] *Натрое все делено... и далее.* – "Илиада", XV, 189 (о разделе мира между Зевсом, Посейдоном и Аидом).

[42] *Междуцарь* (интеррекс) – должностное лицо из сенаторов, назначаемое (на несколько дней), чтобы созвать народное собрание для избрания новых консулов. Обычно это делалось, когда действующие консулы погибли или были в отлучке.

[43] ... *с похвалой Планку.* – Планк был привлечен к суду за участие в беспорядках, последовавших за смертью Клодия.

[44] ... *бывший консул Гипсей...* – Гипсей был не бывшим консулом, а кандидатом в консулы – обмолвка Плутарха.

[45] ... *стал переводить войско через реку.* – В ночь с 10 на 11 января 49 г. Цезарь перевел войско через Рубикон. Какая именно из мелких речек, текущих с Апеннин в Адриатику, называлась Рубиконом, точно установить невозможно. В "Записках" Цезаря момент перехода через Рубикон не выделен, символическое значение ему стали приписывать лишь поздней. Слова "*Пусть будет брошен жребий*" – греческая поговорка, означающая: "пусть случай решит дело".

[46] *Цицерон... порицает...* – "Письмо к Аттику", VII, 11: Перикл назван как образец войны измором, Фемистокл – войны ударом.

[47] ... *разбив... войско Помпея в Испании...* – В августе 49 г. при Илерде.

[48] ... *Бывших консулов...* – Марцелл и Лентул.

[49] *Храм Венеры Победоносной* – был воздвигнут Помпеем в Риме при его театре на Марсовом поле. Сыном Венеры и Анхиса считался Эней, а сыном Энея – Юл, родоначальник Юлиев.

[50] ... *целя... в лицо.* – Риторическая расцветка обычной тактики использования резерва. Ср. ниже тираду в гл. 70.

[51] *Цезарь порицает...* – "Записки о гражданской войне", III, 92.

[52] ... *известные стихи...* – "Илиада", XI, 544–546.

[53] *Кратеры* – большие сосуды для смешивания вина с водой.

[54] ... *оба Лентула...* – Лентул Марцеллин и Лентул Крус, консулы 56 и 49 гг.

[55] *О, сколь прекрасно...* и далее. – Стих из неизвестной трагедии Эврипида.

[56] ... *доказать Помпею...* – Текст в оригинале испорчен, перевод по общему смыслу.

[57] ... *Птолемея... по отцу обязанного... благодарностью...* – Птолемей, XII Авлет (см. выше, примеч. 34) был восстановлен на престоле римским военачальником А. Габинием по предложению Помпея; правивший теперь в Египте Птолемей XIII (брат Клеопатры) был его сыном.

[58] ... *на волю Арсака* – т.е. парфянского царя.

[59] *Когда... рабом становится.* – Стихи из неизвестной драмы.

[60] *Ксенофонт* – здесь – как автор безудержно-панегирического сочинения "Агесилай".

[61] ... *в общем наследии...* – Речь идет о дележе Пелопоннеса между тремя завоевателями-Гераклидами, получившими по жребию Лаконию, Мессению и Арголиду. Фивы – родина их общего предка Геракла.

АЛЕКСАНДР И ЦЕЗАРЬ

АЛЕКСАНДР

[1] *... через Карана* (легендарного основателя македонского царства)... *и далее.* Генеалогические конструкции, имевшие целью связать македонских царей с Гераклом и с Ахиллом (внуком Эака и отцом Неоптолема).

[2] *Самофракийские таинства* – культ подземных богов Кабиров.

[3] *... потерял тот глаз...* – по Диодору (XVI, 34), во время осады Мефоны в прибрежной Македонии.

[4] *... благоухание...* – По-видимому, оно рассматривалось как знак божественного происхождения Александра.

[5] *... называл Фениксом...* – Т.е. воспитателем Ахилла, Пелеева сына, сопровождавшим его под Трою (ср. ниже гл. 24).

[6] *Букефала* – буквально "Быкоглавый": так называлась порода лучших фессалийских коней. Цена в *13 талантов* раз в 60 больше средней цены IV в.

[7] *... Кормило нужно тут и твердая узда.* – Стих из неизвестной трагедии Софокла.

[8] *... царь призвал Аристотеля...* – Аристотель еще не был "самым знаменитым" из греческих философов, но он был свойственником правителя малоазиатского Атарнея, где Филипп рассчитывал иметь опору против персидского царя.

[9] *Миеза* – городок в южной Македонии.

[10] *... "устными" и "скрытыми"...* – Среди сочинений Аристотеля, действительно, были "эксотерические", предназначенные для всякого читателя, и "эсотерические", предназначенные для учеников и последователей, но "таинственность" их Плутархом преувеличена.

[11] *... письмо...* – По-видимому (как и большинство других цитируемых "писем"), позднейшая риторическая подделка.

[12] *... любовь к врачеванию... внушил Аристотель.* – Отец Аристотеля был профессиональным врачом при Филиппе Македонском.

[13] *"Илиада из шкатулки".* – См. ниже, гл. 26.

[14] *... со священным отрядом фиванцев.* – См.: Пел., 18–19.

[15] *... из Европы в Азию...* – Филипп уже готовился к войне против Персии.

[16] *Всем отомстить – отцу, невесте, жениху.* – Стих из "Медеи" Эврипида, ст. 288: у Эврипида имеются в виду Креонт, Креуса и Ясон, которым грозит отомстить Медея, здесь – Аттал, Клеопатра и Филипп.

[17] *... назвал его мальчиком...* – Ср.: Дем., 23.

[18] *Пиндар* – этот поэт сочинял похвальные песни македонскому царю Александру I.

[19] *... ворвались в дом Тимоклеи...* – Плутарх повторяет этот рассказ в сочинении "О доблестях женщин", 24.

[20] *... мести Диониса.* – Дионис родился и чтился в Фивах. О Клите см. ниже, гл. 50.

[21] *Краний* – пригород Коринфа.

[22] *... в Либетрах...* – Святилище Орфея у подножья Олимпа.

[23] *Преданного друга* – Патрокла, *глашатая славы* – Гомера. По Арриану, когда Александр увенчал курган Ахилла, то друг его Гефестион – курган Патрокла.

[24] *... лиру Александра.* – Т.е. Париса. В "Илиаде" о ней не упоминается; об Ахилловой же лире см. IX, 189.

[25] *... вторым артемисием.* – Александр вставил в календарь этого года дополнительный месяц, что делалось каждые несколько лет.

[26] *Ила* – конный отряд численностью около 60 бойцов.

[27] *"Лестница"* – это была горная тропа вдоль ликийского берега.

[28] *... шестьсот тысяч...* – Эта и другие цифры численности персидских войск, как обычно у греческих историков, фантастически завышены.

[29] *Барсина, вдова Мемнона...* – Плутарх смешивает двух тезок: Барсину, дочь Артабаза и вдову Ментора, брата Мемнона и его товарища по военачальству, – и Барсину, старшую дочь самого Дария, действительно взятую в плен в Дамаске и ставшую любовницей Александра.

[30] ... *из дневников...* – Дневники эти велись (в позднейшие годы, уже под влиянием вавилонских обычаев) в канцелярии Александра под наблюдением Эвмена; ср. ниже, гл. 76.

[31] *Десять тысяч драхм* – т.е. около 150 на каждого из 60–70 гостей, – нормы, принятые у персидских царей (Афиней, 146с) которые унаследовал Александр.

[32] ... *увидел во сне, что Геракл...* – С ним отождествлялся финикийский Мелькарт, бог-покровитель Тира.

[33] ... *не тридцатым, а двадцать восьмым.* – Не 30-м, а 28-м гекатомбеона (332 г.), т.е. Александр приказал считать следующий день вставным (ср. гл. 16) и, вероятно, намеревался продолжать это до конца осады.

[34] ... *следующие стихи...* и далее – "Одиссея", IV, 354–355. Канобское устье – самый западный рукав нильской дельты.

[35] ... *когда-то в древности... вокруг войска Камбиза...* – Во время завоевания Египта персами в 525 г.

[36] *Влага, какая струится...* и далее. – "Илиада", V, 340.

[37] ... *киклических* (круговых) *и трагических хоров.* – Хоры, певшие в дифирамбах, строились кругом, а в трагедиях – прямоугольником.

[38] ... *состязания в дни Дионисий...* – Большие драматические состязания в конце марта.

[39] ... *владыки Оромазда...* – Ахурамазда, верховное божество персидской религии, бог света и добра.

[40] *Митра* – бог солнца и правды в персидской религии; впоследствии культ его распространился и в Греции и в Риме.

[41] ... *не под Арбелами... а под Гавгамелами.* – Арбелы были городом, а не деревушкой, и имя их было благозвучнее, поэтому греческие историки предпочитали упоминать Арбелы.

[42] *В месяце боэдромионе... справлять таинства... лунное затмение.* – Таинства (Элевсинские) справлялись в Афинах 16–25 боэдромиона (конец сентября); лунное затмение произошло в ночь на 21 сентября 331 г.

[43] *Фоб* – бог Ужаса, спутник Ареса (ср.: Тес., 27).

[44] *Гипендима* – род нижней одежды.

[45] ... *отстроить их город...* – Платеи были разрушены фиванцами в 427 г., восстановлены в 386 и вновь разрушены в 373 г.

[46] ... *венок и пеплос* (платье). – Медея поднесла их невесте Ясона, к которой она ревновала, и та сгорела заживо.

[47] *Обнаружили там, как рассказывают... гермионского пурпура...* – Гермионский пурпур (из Арголиды) упоминается лишь у поздних античных авторов.

[48] ... *Каспийское море – самый северный из четырех заливов Океана.* – Это было господствующее мнение античных географов (только Птолемей признавал его замкнутым бассейном). Другие три "залива" – Персидский, Аравийский (Красное море) и Средиземноморский.

[49] *Кандий* – шерстяной кафтан с широкими рукавами: вместе с шароварами и остроконечной тиарой (китарой) считался национальной персидской одеждой.

[50] ... *разрушили Эниады...* – Город в Акарнании, захваченный этолийцами в 330 г.

[51] ... *поражение от варваров.* – Имеется в виде поражение македонян при Мараканде в 328 г.

[52] *Какой плохой обычай есть у эллинов...* – Из "Андромахи" Эврипида, ст. 693: слова Пелея о том, что после победы вся слава достается царю, а заслуги воинов забыты.

[53] ... *восстановить свой родной город...* – Каллисфен был родом из Олинфа, разрушенного Филиппом в 348 г.; ср. гл. 7 о восстановлении Стагиры.

[54] *Противен мне мудрец, что для себя не мудр.* – Стих из неизвестной трагедии Эврипида.

[55] ... *слова Эврипида...* – "Вакханки", 266 сл.

[56] *Часто при распрях...* и далее. – Пословица, любимая Плутархом (ср.: Ник., 11; Сул., 39).

[57] *Умер Патрокл... превосходнейший смертный.* – "Илиада", XXI, 107: слова Ахилла к врагу, тщетно молящему о пощаде.

[58] *Индийские философы* – брахманы, которых Плутарх отождествляет с "голыми мудрецами" – гимнософистами (см. ниже гл. 64).

[59] ... *в четыре локтя и пядь...* – Около 1 м 92 см (Или, если счет не на аттические, а на македонские локти, – немного меньше).

[60] *Гандариты и пресии* – народы из Гандхара и Магадха; царем Магадха с 322 г. стал упомянутый

ниже Андрокотт (Чандрагупта), в 304 г. подаривший Селевку боевых слонов в обмен за права на долину Инда.

[61] *... острие... было шириной в три пальца, а длиной – в четыре пальца.* – В декламации "О доблести или силе Александра" Плутарх называет соответственно 4 и 5 пальцев: "Плутарх-ритор на палец преувеличивает размеры, названные Плутархом-биографом" (комм. Ф. Бэббита).

[62] *... из пифосов и кратеров...* – Из пифосов (круглых глиняных бочек) пили, по варварскому обычаю, неразбавленное вино, из кратеров (широких емких чаш) – по греческому обычаю, смешанное с водою.

[63] *... пройти во Внутреннее* (т.е. Средиземное) *море.* – Плавание Неарха доказало, что Аравийское море соединяется с Персидским заливом, теперь предстояло доказать, что есть такой же морской путь из Персидского залива в Красное море и из Красного моря в Атлантический океан.

[64] *... царствовала женщина.* – Властная Олимпиада могла притязать на "царствование" над Македонией, но Клеопатра должна была подчиниться Антипатру.

[65] *... другой индиец...* – Зарианохег, участник индийского посольства к Августу в 20 г. до н.э. (Страбон, IV, 1, 4).

[66] *... до четырех хоев...* – Т.е. около 13 л.

[67] *Серапис* ("Осирис-Апис") – мемфисский бог подземного царства и возрождения, отождествлявшийся греками с Плутоном и Дионисом; культ его получил широкое распространение уже в последующие века. Казнь Дионисия, может быть, была ритуальным убийством ложного царя, чтобы отвратить смерть от настоящего.

[68] *Кубок Геракла* – низкая вместительная чаша с двумя ручками.

[69] *Таксиарх* – начальник отряда; *пентакосиарх* – начальник отряда в 500 бойцов.

[70] *На двадцать восьмой день* (месяца десия)... – По расчетам историков, 10 июня 323 г.

[71] *Нонакрида* – город в Аркадии; считалось, что этот ледяной источник – адская река Стикс, пробившаяся на поверхность земли.

[72] *... лишился рассудка...* – Конец жизнеописания Александра (и начало жизнеописания Цезаря) утрачены.

ЦЕЗАРЬ

[1] *... добиваясь жреческой должности...* – По другим сведениям (Веллей, II, 43; Светоний, 1), Цезарь стал жрецом Юпитера еще при Марии и Цинне, а Сулла лишил его этого достоинства.

[2] *... у острова Фармакуссы...* – Недалеко от Милета.

[3] *... принадлежало второе место...* – После Цицерона.

[4] *... против сочинения Цицерона о Катоне...* – См. ниже, гл. 54.

[5] *... почесывает голову одним пальцем...* – В Риме этот жест считался знаком изнеженности.

[6] *... третьим браком...* – Первую жену Цезаря звали Коссуция, второй была Корнелия, третья, Помпея, находилась в дальнем родстве с Помпеем Великим.

[7] *Аппиева дорога* – "царица римских дорог", проложенная Аппием Клавдием Слепым в 312 г., вела из Рима в Капую, а затем в Брундизий.

[8] *... в сочинении о своем консульстве...* – Оно существовало в двух вариантах, в греческой прозе (им и пользовался Плутарх) и в латинских стихах; сохранились лишь отрывки из стихотворной обработки.

[9] *... некий человек...* – П. Клодий, будущий трибун 58 г. и знаменитый враг Цицерона.

[10] *... есть богиня... называют Доброю...* – "Добрая богиня", тайный женский культ в Риме.

[11] *... с неразборчивой подписью...* – На табличках для голосования римские судьи писали (одной буквой) "оправдываю", "осуждаю" или "воздерживаюсь".

[12] *... в морском сражении у Массилии...* – Сражение во время гражданской войны в 49 г. Такую же подборку рассказов о подвигах солдат Цезаря дает Светоний, "Божественный Юлий", 68.

[13] *... с гельветами и тигуринами* (тигурины – одно из 4 племен гельветов). – Этот народ, теснимый германцами, начал переселение из области современной Швейцарии на запад, тесня другие галльские племена, и Цезарь воспользовался этим как поводом для вооруженного вмешательства в галльские дела.

[14] *... Цезарь рассказывает...* – О войне с узипетами и тенктерами – в "Записках о галльской войне", IV, 1–15; о переправе через Рейн – IV, 16–19.

[15] ... *от пятна клятвопреступления...* – Цезарь вступил в переговоры с послами узипетов и тенктеров, а затем без предупреждения ударил на германцев (зима 56–55 г.).

[16] ... *легион Цицерона...* – Имеется в виду Кв. Туллий Цицерон, брат оратора; был легатом у Цезаря в 54–52 гг.; его лагерь в 54 г. находился в Бельгике.

[17] *Новый Ком* – эта колония на берегу озера Комо получила права римского гражданства в консульство Цезаря.

[18] ... *занять Аримин...* – Город, находящийся уже на территории не галльской провинции, наместником которой был Цезарь, а самой Италии: захват этот был равносилен объявлению гражданской войны. О переходе через Рубикон ср. Пом., 60.

[19] ... *сойдясь с собственной матерью.* – Символ овладения родной землей.

[20] ... *в его жизнеописании.* – Пом., 62.

[21] ... *в его жизнеописании.* – Пом., 73–80.

[22] *По рассказу Ливия...* – Кн. CXI (не сохранилась). Ливий сам был уроженцем Патавия (Падуи).

[23] ... *Клеопатру из изгнания.* – Египтом правили молодой Птолемей XIII и его старшая сестра и жена Клеопатра; между ними шла борьба, и Клеопатра со своими сторонниками в это время находилась вне Александрии.

[24] ... *во время битвы при Фаросе...* – Цезарь был осажден войском Ахиллы на острове Фаросе, прикрывавшем с моря александрийскую гавань.

[25] ... *имеющие одинаковые окончания...* – Знаменитое veni, vidi, vici.

[26] ... *около времени зимнего солнцеворота...* – В конце 47 г.

[27] ... *триумфы* – египетский, понтийский, африканский... – Плутарх не упоминает еще об одном триумфе, галльском.

[28] ... *во время праздника Дионисий...* – Так Плутарх называет римский праздник Либералии. – Спасся после Мунды Секст Помпей, погиб Гней Помпей Младший.

[29] ... *сенат назначил ему почести...* – Консульство на десять лет вперед, наследственное звание “императора” и пр.; но об особой роли Цицерона при этих действиях ничего не известно.

[30] ... *в его жизнеописании.* – Нума, 18–19. Цезарь ввел с 1 января 45 г. так называемый юлианский календарь, которым античная и католическая Европа пользовалась до григорианской реформы XVI в., а протестантская и православная – и еще дольше.

[31] ... *праздник Луперкалий... аркадские Ликеи* (ср. Ром., 21). – 15 февраля 44 г., за месяц до гибели Цезаря.

[32] ... *“брутами” и “киманцами”.* – Имя “Брут” значит “тупица” (ср. Поп., 3); жители Кимы в Ионии устойчиво слыли поголовными дураками.

[33] ... *самую высокую из преторских должностей...* – Должность городского претора, руководившего всей судебной деятельностью в городе Риме.

[34] ... . *в жизнеописании Брута.* – Гл. 8.

[35] ... *идами...* – 15 марта 44 г.

[36] ... *у Ливия говорится...* – В несохранившейся CXVI книге.

[37] ... *не был чужд эпикурейской философии...* – Эпикурейская философия не допускала вмешательства богов в человеческие дела.

[38] ... *в жизнеописании Брута.* – Гл. 21 сл.

[39] ... *великой кометы...* – Астрономы затрудняются ее отождествить. Может быть, это легенда, возникшая вскоре после гибели Цезаря.

[40] ... *на другой материк.* – Т.е. в Европу, через Геллеспонт.

ФОКИОН И КАТОН

ФОКИОН

[1] ... *остались только язык да желудок.* Из частей жертвенного животного не сжигали при жертвоприношении ни языка, ни желудка: желудок подавали с начинкой к столу, язык же сжигали в честь Гермеса после жертвенного обеда.

[2] ... *к стихам Софокла...* “Антигона”, 563–564: слова Исмены в защиту Антигоны и свою.

[3] ... *“уступающим сердцу”...* – Menoeikēs, частый гомеровский эпитет.

[4] ... *Цицерон говорил...* – “Письма к Аттику”, II, 1, 8.

[5] ... *театр уже наполнялся народом... у скены...* – Народные собрания в Афинах в IV в. иногда происходили не на Пниксе, а в театре Диониса. Скена (см. Тес., примеч. 29) – сарай перед игровой площадкой, в котором переодевались актеры и передняя стена которого служила декорацией.

[6] ... *сражении при Наксосе.* – В 386 г.: победа афинян над отложившимися союзниками.

[7] ... *после взятия их города...* – После капитуляции в 404 г. перед Лисандром. Победу Конона при Книде (Агес., 17; Арт., 21) Плутарх не засчитывает, так как она была одержана на персидский счет.

[8] *Великие мистерии* – элевсинские, справлявшиеся в боэдромионе.

[9] ... *так именуется...* – Афина Промахос ("Первоборствующая") и Афина Полиада ("Гражданственная").

[10] ... *вымоют... руки...* – И перейдут от чинной "трапезы" к бездумной "попойке" (симпосию).

[11] ... *притчу...* – Эзоп, 266П. (379Х).

[12] ... *выдать Александру десять граждан...* – Требование Александра после взятия и разрушения Фив в 335 г.: ср.: Дем., 23; Ал., 13. Среди 10 выдаваемых был сам Ликург.

[13] ... *отрастил... огромную бороду... хранил мрачный вид.* – Черты "спартанской простоты" облика, которому, однако, не соответствовала "спартанская прямота" поведения.

[14] *Молосс* – был разбит в следующем 348 г. при Заретре оттого, что в решающий момент Плутарх Эретрийский перешел на сторону македонян.

[15] ... *Длинные стены...* – Стены (как в Афинах) вдоль дороги от города Мегар до гавани Нисеи – к морю, на котором господствовали афиняне.

[16] *Гелиея* – суд присяжных в Афинах, фактический орган политического контроля над должностными лицами.

[17] ... *совещание всех греков...* – Коринфский конгресс 338 г., провозгласивший Филиппа командующим всех греко-македонских войск в войне против Персии; отсюда – требование передать Филиппу корабли и конницу.

[18] *О, злополучный!...* и далее – "Одиссея", IX, 494 (пер. М.Е. Грабарь-Пасек): о насмешках Одиссея над ослепленным киклопом Полифемом. Ср.: Дем., 23.

[19] ... *один из четырех городов...* – в подражание подарку Фемистоклу от Артаксеркса I (Фем., 29).

[20] ... *в Мелите...* – Западный квартал в Афинах.

[21] ... *в состязаниях апобатов...* – Состязания "соскакивателей", которые среди колесничных скачек на всем ходу соскакивали с колесницы и заканчивали дистанцию пешим бегом.

[22] ... *прислали ему триеры...* – Как вождю коринфского союза, для охраны морских путей между Грецией и войском Александра в Азии.

[23] ... *после смерти... Гарпала...* – Когда афиняне из страха перед Александром отказались дать Гарпалу убежище, он бежал на Крит вербовать наемников и был там убит. Памятник Пифионике представлял собой целый храм с алтарем Афродите-Пифионике (Афиней, 594e–595c).

[24] ... *в Греческую войну...* – Так называемая Ламийская (Леосфенова) война 323–322 гг.

[25] ... *на один стадий... – но длинного пробега...* – Обычная длина спортивного бега – один стадий (отсюда наше слово "стадион"); длинный пробег – до 24 стадиев, т.е. ок. 4 км.

[26] *Леосфен... нанес... поражение беотийцам...* – Союзникам македонян, пытавшимся заградить Леосфену путь, при Платее, летом 323 г.

[27] ... *к измене общему делу...* – Антипатр отказался от переговоров с союзом греческих государств и потребовал, чтобы каждый город вел переговоры и заключал перемирие отдельно.

[28] ... *старинное государственное устройство...* – Государственное устройство с ограничением гражданских прав для неимущих и малоимущих, как при Солоне.

[29] ... *звучали таинственные голоса...* – Ср. Фем., 15; Агес., 24.

[30] ... *додонские жрицы... мыс Артемиды* – Додонские жрицы – из архаического святилища Зевса в Эпире с оракулом, дававшим предсказания шелестом дуба; в Мунихии находился храм Артемиды.

[31] ... *на священных корзинах...* – В этих корзинах несли из Афин в Элевсин неназываемые священные предметы, которые извлекались только во время обряда и раздавались только посвященным.

[32] ... *купал... поросенка...* – Поросенка, очищенного омовением, приносили в жертву Деметре – главному божеству Элевсинских таинств.

[33] ... *в других наших сочинениях..* – См. Дем., 28–30; более подробный рассказ о смерти Гиперида в изложении Плутарха неизвестен.

[34] ... *Керавнские горы и мыс Тенар.* – Западный и южный пределы Греции.

[35] *Хилиарх, "тысяченачальник"* – второе лицо в государстве после стратега; это звание было введено Александром по персидскому примеру (Диодор, XVIII, 48).

[36] ... *Прославляя Зевса...* – В эти дни (апрель–май 318 г.) в Афинах справлялся праздник Зевса Олимпийского; Плутарх напоминает об этом, чтобы сравнить смерть Фокиона со смертью Сократа в тюрьме (гл. 38), которому хотя бы была дана отсрочка на время праздничного посольства.

[37] *Ликей* – пригородный гимнасий, где собирались философы, ученики Аристотеля, а Феодор, по-видимому, был их гостем.

КАТОН

[1] ... *в его жизнеописании.* – КСт., 16 (о цензуре как о вершине должностного пути римлянина).

[2] ... *так называемую Трою...* – Обрядовая игра знатной молодежи, род конного турнира, учрежденного, по преданию, еще Энеем ("Энеида", V, 545–603).

[3] ... *волю Венеры.* – Венерой" назывался самый удачный бросок костей, когда все четыре кости падали разными очками. Таким жребием решалось, кто будет председателем пирушки.

[4] ... *едкость Архилоха...* – Самыми знаменитыми стихами Архилоха были ямбы, бичевавшие неверную невесту Необулу и ее отца Ликамба.

[5] *Номенклатор* – раб, подсказывавший хозяину имена всех встречных, чтобы тот, собирая голоса избирателей, мог приветствовать каждого.

[6] ... *пятнадцать рабов...* – "Числом больше, чем у Катона Старшего, по смыслу же меньше, если вспомнить, как изменились (к роскоши) времена и нравы" (Валерий Максим, IV, 3, 12).

[7] ... *нашелся человек...* – По-видимому, Юлий Цезарь в своем "Антикатоне" (Цез., 54).

[8] ... *стиль...* – Здесь: писчая палочка, грифель.

[9] ... *Около третьего часа...* – Т.е. ок. 9 часов утра: часы отсчитывались от рассвета.

[10] ... *начальников получая... молодых...* – должность квестора (заведующего финансами в Риме или при провинциальных наместниках) занималась молодыми людьми лет в 27, и с нее начиналась обычная сенаторская карьера (квестор – народный трибун – эдил – претор – консул – цензор).

[11] ... *голос за оправдание.* – Если голоса судей разделялись поровну, то дело считалось решенным в пользу ответчика.

[12] ... *кто раздавал гражданам деньги.* – Трибуны (в том числе Катон) вступали в должность 10 декабря (63 г.), консулы (Д. Юний Силан и Л. Лициний Мурена) – 1 января (62 г.), хотя выборы проводились еще летом. Видимо, в этот 20-дневный промежуток Катон и возбудил дело о подкупе избирателей (комм. С.П. Маркиша).

[13] ... *странными суждениями...* – Имеются в виду парадоксы о том, что только стоический мудрец знает все, что нет разницы между проступком большим и малым и т.п.; Цицерон говорит об этом в речи "За Мурену", 58–83, и сам Плутарх написал несколько трактатов против этих парадоксов.

[14] ... *в жизнеописании Цицерона...* – Гл. 20 сл.

[15] ... *не владели этим искусством... лишь напали на первые его следы.* – Первая в Риме система стенографического письма была разработана вольноотпущенником, секретарем и биографом Цицерона Тироном.

[16] *Вскоре возвратился... Лукулл.* – Ошибка: Лукулл вернулся в Рим еще в 66 г., а триумф получил в 63 г., за год до описываемых событий.

[17] *Гинекей* – женская половина дома у греков.

[18] ... *стараясь доставить кому-то... должность консула... разослал по трибам...* – Л. Афранию, постоянному помощнику Помпея, избранному в консулы на 60 г.; триба – избирательный округ; их было 35, каждый подавал один голос на консульских выборах.

[19] ... *старого Метелла...* – Метелл Нумидийский, изгнанный в 100–99 гг. (см.: Мар., 28–29).

[20] ... *о разделе... Кампании...* – Самый плодородный участок старых общественных земель, давно прибранный к рукам сенатской знатью.

[21] ... *привести к покорности Птолемея...* – Птолемей Кипрский, брат и вассал египетского царя; речь шла о том, чтобы отобрать у него Кипр и сделать его римской провинцией.

[22] ... *богини в Пафосе.* – Т.е. Афродиты, чтившейся в этом кипрском городе.

[23] ... *оказаться в Риме...* – Здесь Птолемей ничего не добился, 58–55 гг. провел в изгнании в Эфе-

се и лишь затем с помощью Помпея был восстановлен на престоле А. Габинием с помощью вооруженного отряда.

[24] ... *товарищ Филиппа по должности...* – Вторым консулом 56 г. был Гн. Корнелий Лентул Марцеллин.

[25] ... *немедленно после избрания...* – Т.е. летом, а не с 1 января, вместе с консулами.

[26] ... *открылось Собрание...* – Точнее, сходка (contio, а не comitium), законодательной власти не имевшая и созывавшаяся (чаще всего трибунами) только для обсуждения текущих дел.

[27] *Мунатий Планк* – народный трибун 52 г.; был привлечен к суду за участие в смутах, вспыхнувших вокруг гибели Клодия (Циц., 35).

[28] ... *стихами Эврипида...* – "Геракл", 174–175 (пер. И. Анненского).

[29] *Помпей* – старший сын триумвира, Гней, служивший во флоте отца.

[30] ... *время было зимнее...* – Т.е. бурное, несудоходное.

[31] *Псиллы* – племя, жившее в африканских степях; у римлян – почти нарицательное имя для заклинателей змей.

[32] *Обедал он сидя...* – По общему античному обычаю обедали лежа.

[33] "*О душе*" – Платон, "Федон", о бессмертии души.

[34] ... "*душа*" *царя.* – "Душа", по-гречески, psyche.

АГИД И КЛЕОМЕН
И ТИБЕРИЙ И ГАЙ ГРАКХИ

АГИД И КЛЕОМЕН

[АГИД]

[1] ... *у Софокла...* – Далее следуют строки из недошедшей трагедии "Пастухи".

[2] *Носовой начальник* (прорат, букв. "впередсмотрящий") – был помощником кормчего и командовал гребцами.

[3] ... *в басне...* – Эзоп, 362 П. (344 X.), вариант известной басни Менения Агриппы о желудке и членах (Гай, 6).

[4] ... *вкралась страсть к серебру и золоту...* – см. Лик., 30; Лис., 16–17.

[5] ... *после Агесилая...* – Архидам III (360–338) погиб в день Херонеи, Агид III (338–331) погиб в восстании против македонян, затем Эвдамид I (331 – ок. 305), Архидам IV (ок. 305–275), Эвдамид II (275–244), Агид IV (244–241).

[6] ... *после Павсания...* – Плистоанакт (459–409), Павсаний II (409–395, бежал после битвы при Галиарте), Агесиполид I (395–380, погиб при Олинфе), Клеомброт (380–371, погиб при Левктрах), Агесиполид II (371–370), Клеомен II (370–309), Арей I (309–265, воевавший с Пирром), Акротат (265–262, погиб при Мегалополе), Арей II (малолетний, 262–254), Леонид II (254–235), Клеомен III (235–222).

[7] ... *служил Селевку...* – Селевк I погиб в 281 г., т.е. Леонид застал его в своей ранней молодости.

[8] ... *в том числе, какое установил Ликург...* – Т.е. 9000 (Лик., 8).

[9] *Ретра* – так назывались законы Ликурга, чтившиеся как божественные (см.: Лик., 6 и 13).

[10] ... *не оставляющие досуга...* – О спартанском досуге ср. Лик., 24.

[11] ... *в руках женщин* – в Спарте еще при Аристотеле в руках женщин сосредоточивались 2/5 спартанских земель ("Политика", II, 6, 11). В военном сословии Спарты смертность была выше обычной, и поэтому многие семьи вымирали без мужского потомства, а новые в привилегированное сословие не допускались.

[12] ... *от лощины у Пеллены* (на северо-западе Лаконии) – долина Эврота, ближайшие окрестности Спарты.

[13] *Фидитиев* – при Ликурге это были отряды человек по 15, собиравшиеся за одним столом (Лик., 12), теперь значение слова переменилось.

[14] ... *о древних прорицаниях...* – "Корыстолюбие Спарту погубит, иное – не страшно": иногда этот оракул возводился к ликурговым временам.

[15] ... *одна из Атлантид, родившая... Аммона...* – Атлантиды – дочери титана Атланта, превра-

щенные в созвездие Плеяд; Аммон был египетским солнечным божеством, обычно отождествляемым с самим Зевсом.

[16] ... *Кассандра... которая умерла в Таламах...* – Кассандра обычно считалась погибшей в Микенах вместе с Агамемноном.

[17] *Дафна* – аркадская, а не лаконская нимфа.

[18] ... *спустя почти 300 лет...* – По-видимому, считая от греко-персидских войн.

[19] ... *изгнания чужестранцев...* – см. Лик., 27.

[20] ... *Терпандра, Фалета, Ферекида...* – Терпандр и Фалет ввели принятые в Спарте религиозные песнопения (унимавшие междоусобные раздоры и пр.); какой пифагорейской легендой был связан со Спартой мудрец Ферекид, неясно.

[21] *Фриннид* – к семи струнам традиционной Терпандровой кифары он прибавил еще две, а *Тимофей* – еще несколько; это было сочтено признаком недостойной изнеженности вкуса и в Спарте осуждено особым указом эфоров.

[22] ... *право предварительного решения...* – Т.е. предыдущее обращение Агида к народу было неофициальным, а официальная постановка законопроекта на голосование оказалась запрещена советом старейшин.

[23] ... *Союзники Лакедемона...* – Мир и союз между Спартой и Ахейским союзом был заключен в начале правления Агида.

[24] *Тринадцатый месяц* – вставлялся в счет каждые 2–3 года, чтобы наверстать отставание лунного календаря от солнечного.

[25] ... *до времен Филиппа...* – Точнее, до 331 г., когда в битве при Мегалополе пал от македонян Агид III.

[КЛЕОМЕН]

[1] *Сфер из Борисфена* – этот стоик работал при александрийском дворе и был прислан в Спарту от Птолемея II; среди его сочинений (не сохранившихся) были "О Ликурге и Сократе" и "О спартанском государственном устройстве".

[2] *Так и стоическое учение...* и далее... – Стоическое учение привлекало Плутарха своим морализмом и отталкивало парадоксализмом (см. КМл., примеч. 12); это двойственное отношение выражено и здесь.

[3] ... "*вдохновенной любовью*"... – Платоническое выражение, ср. Лик., 17–18.

[4] ... *одного из... древних царей...* – Это был Агид II (426–401).

[5] ... *второй престол...* – Номинально соправителем Клеомена считался малолетний Эвридамид, сын Агида (и пасынок самого Клеомена – см. гл. 1), а после его смерти Клеомен правил один.

[6] ... *тарентинцев и критян...* – Тарентинцами называлась легкая конница, вооруженная дротиками, а критянами – пешие лучники; откуда были они родом, к этому времени уже не считалось важным.

[7] *Общая трапезная* – правительственный сисситий на городской площади.

[8] *Мофаки* – так назывались дети спартанцев от илоток, получившие образование со свободными юношами.

[9] ... *поэт...* – Стасин Кипрский; в сочинении "О сдержании гнева" (459d) Плутарх перетолковывает цитируемые им слова: "в ком есть стыд, в том есть и научающий сдержанности страх".

[10] ... *у Гомера...* – "Илиада", III, 172, слова Елены. Следующая цитата – "Илиада", IV, 431.

[11] *Ликург, сказал он... назвав "эфорами"...* – Эту же гипотезу, что эфоры – позднейшее нововведение в Спарте (традиционная дата I Мессенской войны – конец VIII в.), излагает Плутарх и в Лик., 7; обычно же (еще у Геродота, I, 65) эфорат считался исконным "ликурговским" учреждением.

[12] ... *царь Харилл...* – В Лик., 5 он назван Харилаем.

[13] *Съемная рукоять* – представляла собою петлю или кольцо в центре щита; в щите нового образца воин продевал руку под натянутый ремень и мог в строю держать длинную сариссу обеими руками. Клеомен заменил старые спартанские боевые порядки на новые македонские.

[14] *Лерна* – город в Арголиде, между Ахайей и Спартой; обычно же собрания происходили в самой Ахайе, в Эгии.

[15] ... *того самого Антигона...* – Обмолвка Плутарха: многолетним врагом Арата был Антигон II Гонат (283–239), а в Пелопоннес был призван Антигон III Досон (229–221).

[16] ... *привел... к дверям женской половины дома*! – Может быть, намек на Филиппа Македонского и невестку Арата; см. Арат, 49 и 51.

[17] *Антигонии* – празднество в честь Антигона; ср. Арат, 45.

[18] *Немейские празднества* – с всегреческим священным перемирием справлялись раз в два года в долине севернее Аргоса, но к этому времени, по-видимому, переместились уже в аргосский городской театр (устроенный, как обычно, под открытым небом на склоне горы Аспиды).

[19] ... *увели пятьдесят тысяч рабов* (т.е. илотов). – "Конечно, не только насилием, а и как добровольных перебежчиков" (Комм. К. Синтениса – К. Фура).

[20] ... *от царя Птолемея*. – Птолемей считался покровителем и верховным командующим Ахейского союза; Арат получал от него субсидию в 6 талантов в год.

[21] ... *во вторую стражу ночи*... – Около полуночи. У греков ночь делилась на три стражи (смены караула), у римлян на четыре.

[22] ... *оплакав... свою беду*... – Ликург назначал для траура 11-дневный срок (Лик., 27).

[23] ... *пятьсот талантов*... – Т.е. зажиточных илотов было освобождено 6 000.

[24] *Левкаспиды* ("белощитные") – отряды отборной пехоты в македонской гвардии, по образцу "аргираспидов" Александра Македонского.

[25] *Полибий* – II, 64.

[26] ... *наподобие фракийского меча*... – Фракийский меч был длинный и кривой; точная форма его неизвестна.

[27] ... *от храма Геры*... – Гера считалась покровительницей Аргоса; храм стоял в 7 км от города.

[28] ... *деньги – это жилы*... – Ходячее выражение, приписывавшееся кинику Биону (Диоген Лаэртский, IV, 48) и встречающееся у Цицерона.

[29] ... *место на носу*. – См. выше, Агид, примеч. 2. Текст оригинала, по-видимому, испорчен.

[30] ... *платить жалование*... – До сих пор для этого Клеомену посылал деньги Птолемей, но за 10 дней до сражения он прекратил выплату (Полибий, II, 63 по Филарху) и этим заставил торопиться с битвой.

[31] ... *сообщает Полибий*... – II, 65.

[32] ... *Дамотеля, руководившего криптиями*... – Об этих расправах с илотами см. Лик., 28. Может быть, следует понимать: "Дамотеля, начальника секретной службы".

[33] ... *Птолемей... справлял таинства... собирая подаяние для богини*... – Богиня Кибела, Матерь Богов, которой служили, побираясь, бродячие жрецы-галлы. Птолемей IV был предан мистическим и экстатическим культам, называл себя "Новый Дионис" и сочинял трагедию об Адонисе.

[34] ... *благодаря матери*... – Речь идет о Беренике, второй жене Птолемея III.

[35] *Апис* – священный бык, воплощение Осириса; он жил в мемфисском храме, окруженный царской роскошью.

[36] ... *сокрушая сердце тоскою*... – "Илиада", I, 491–492 (об Ахилле после ссоры с Агамемноном и удаления от войны).

[37] *Мессенец Никагор* – был другом царя Архидама V (гл. 5) и мстил Клеомену за его гибель (Полибий, V, 37).

[38] *Каноп* – город в нескольких километрах к востоку от Александрии, был местом столичных праздников и развлечений (Страбон, XVII, 1, 17).

[39] ... *Распустил шов на правом плече*... – Это делалось для того, чтобы ничто не стесняло движений правой руки.

[40] ... *обращается в пчел*... – Устойчивое в древности поверье; ср. Вергилий, "Георгики", IV, 182 сл. и Овидий "Метаморфозы", XV, 364 сл.

ТИБЕРИЙ И ГАЙ ГРАКХИ

[ТИБЕРИЙ ГРАКХ]

[1] ... *дважды триумфатора*... – В 179 г. за победы в Испании и в 175 г. за покорение Сардинии.

[2] *Птолемей* – Птолемей VI (180–145) или Птолемей VII, брат его (145–116): оба приезжали в Рим, но это было еще при жизни Гракха-отца.

[3] ... *Диоскуров*... – Из этих двух сыновей Зевса "кулачным бойцом" считался Полидевк, а "наездником" Кастор.

[4] ... *срывать с плеча тогу...* – Таким образом освобождались руки для жестов. Ср.: Ник., 8.

[5] ... *инструмент...* – Особого рода свирель или флейта.

[6] *Авгуры* – так называлась коллегия жрецов-птицегадателей, пополнявшаяся кооптацией после смерти каждого члена.

[7] ... *трапезою жрецов...* – Речь идет об обряде в честь вступления Тиберия в коллегию авгуров.

[8] ... *Полибий... говорит...* – XXXII, 13 (книга полностью не сохранилась). К браку Корнелии относит этот рассказ и Ливий, XXXVIII, 57.

[9] ... *когда римские военачальники... и измену договору.* – В 321 г. в войне с самнитами римское войско было заперто в Кавдинском ущелье Апеннин и капитулировало с позорным обрядом "прохода под ярмом". Сенат отказался утвердить этот мир, "изменил договору" и поступил так, как рассказывает Плутарх.

[10] ... *издан закон...* и далее. – Это знаменитый закон народных трибунов Секстия и Лициния (367 г.). Впрочем, норма в 500 югеров (ок. 125 га), по-видимому, установилась лишь значительно позже.

[11] *Рабские темницы* – греч. "десмотерии", лат. "эргастулы", бараки, куда запирали на ночь рабов, занятых на полевых работах.

[12] ... *закона снисходительнее и мягче!* – Законопроект Тиберия Гракха состоял в следующем: во владении одной семьи не должно сосредоточиваться более 1000 югеров общественной земли (500 на отца и по 250 на двух старших сыновей); все излишки возвращаются в казну и распределяются между неимущими в наследственную и неотчуждаемую аренду по 30 югеров на душу.

[13] ... *выступил против Тиберия и его закона.* – Наложил трибунское вето на его законопроект.

[14] ... *на вакхических празднествах...* – Реминисценция из Эврипида, "Вакханки", 317; "И в празднествах вакхических / Не развратится та, что целомудренна".

[15] ... *из казначейства...* – В храме Сатурна на форуме хранилась государственная казна.

[16] *Урны* – те, из которых вынимались жребии, определявшие порядок голосования 35 римских триб.

[17] *Девять оболов на день* – т.е. полтора денария в день – издевательский прожиточный минимум.

[18] ... *переменил одежды...* – Т.е. оделся в черное, как бы предвидя свою смерть.

[19] ... *его отец...* – Отец Кв. Метелла был цензором в 169 г. и оставил долгую память о своей суровости. Речь Метелла с упоминанием об этом имела такой успех, что, по словам Цицерона, Фанний записал ее в свою "Историю" ("Брут", 81).

[20] ... *дев, хранящих...* – О весталках см.: Нума, 10.

[21] ... *вторично домогаться должности трибуна... и на следующий год...* – По закону 342 г. это разрешалось только через 10 лет.

[22] ... *птицы оставались в клетке... не прикоснулась к корму...* – Хорошим знаменьем считалось, когда священные куры, выпущенные из клетки, жадно набрасывались на корм.

[23] ... *слева... увидел... воронов...* – Ворон слева считался в Риме дурным знаменьем (а ворона – добрым).

[24] ... *привлечь консула...* – Т.е. П. Муция Сцеволу, упомянутого в гл. 9; второй консул был в Сицилии, усмиряя восстание рабов.

[25] ... *за мной!* – "Кто хочет спасения республики, за мной!" – по словам Сервия (к "Энеиде", VII, 614), это была обычная формула консулов при общественных беспорядках.

[26] *Но... не те соображения...* – Т.е. будто Тиберий требует царской власти.

[27] ... *посадили в мешок... и так замучили.* – Древнее наказание за отцеубийство, считавшееся самым страшным из преступлений.

[28] *Публий Красс* – скоро погиб в борьбе с Аристоником, а Аппий Клавдий умер; в комиссии по землеустройству их заместили Фульвий Флакк и Папирий Карбон.

[29] ... *наиболее чтимый храм города...* – Храм Юпитера Капитолийского; собрание происходило на площади перед ним.

[30] *И Назика... был... первым среди жрецов...* – Назика был избран великим понтификом после смерти П. Красса уже заочно, во время изгнания.

[31] ... *стих из Гомера...* – "Одиссея", I, 47 (пер. М.Е. Грабарь-Пассек): слова Афины о расправе Ореста с Эгисфом.

[32] ... *в жизнеописании Сципиона.* – Оно не сохранилось.

[ГАЙ ГРАКХ]

1 ... *Цицерон сообщает...* – "О предвидении", I, 26, 56.

2 ... *три года...* – 126–124 гг. 10 лет были обязательным сроком службы в коннице, 20 лет – в пехоте.

3 *Фрегеллы* – в этом городе в 125 г. вспыхнуло восстание италиков, подавленное претором Л. Опимием, будущим противником Гая Гракха.

4 *Поле* – Марсово поле; здесь, по-видимому, по ошибке вместо "форума".

5 ... *четвертым.* – Т.е. среди 10 вновь избранных трибунов был четвертым по числу собранных голосов.

6 ... *как... объявили войну фалискам... как казнили Гая Ветурия...* – Фалиски, жители Фалерий в Этрурии; упоминаемые события ближе неизвестны.

7 ... *претором...* – Обмолвка: Попилий был консулом, избранным на следующий, 132 г.

8 *Среди законов...* и далее – По Ливию (эпитома, кн. 60), законы хлебный, аграрный и судебный были проведены в первый трибунат Гая (123 г.), а о колониях – во второй. Закон о воинах в других источниках не упоминается.

9 ... *лицом к сенату...* – Ораторская трибуна ("ростры") стояла недалеко от края форума, рядом с нею находилось место для голосования ("комиций") и здание заседаний сената ("Гостилиева курия"); до Гая ораторы стояли лицом к сенату, теперь – к народу. Ср.: Фем., 19. Защитительные речи Гая Гракха остались памятны, фрагменты их сохранил А. Геллий (XV, 12).

10 *Дороги* – у римлян до Гая служили прежде всего стратегическим целям; Гай заботился о них как о средстве обеспечить римский плебс продовольствием.

11 ... *искать одновременно должности и консула и народного трибуна.* – Искать одновременно двух должностей запрещалось римскими законами.

12 ... *во второй раз...* – Переизбрание народных трибунов продолжало оставаться незаконным, но между выступлениями Тиберия и Гая Гракхов был принят закон, по которому, если после голосования оказывалось избрано меньше кандидатов, чем нужно, то на вакантные места народ избирал, кого хотел, без ограничений (*Аппиан.* Гражданские войны, I, 21).

13 ... *словно в комедии...* – Намек на "Всадников" Аристофана, где Колбасник и Клеон наперебой заискивают перед Демосом.

14 ... *двенадцать новых колоний...* – Для такого количества колоний в Италии не хватило бы незанятой земли, и это скомпрометировало бы идею и репутацию Гракха. Конечно, эти 12 колоний так и остались в проекте.

15 ... *запрещавшему бить палкой кого бы то ни было из латинян...* – Полноправные же римские граждане были освобождены от телесных наказаний еще с IV в.

16 ... *вновь заселить... Карфаген...* – По закону о колониях, на его месте должна была быть построена первая колония римских граждан за пределами Италии. Она была уничтожена после гибели Гая и вновь основана (уже под другим именем) Юлием Цезарем.

17 *Юнония* – Гера-Юнона (отождествляемая с финикийской Астартой) считалась у греков и римлян покровительницей Карфагена; такова ее роль и в сюжете "Энеиды".

18 ... *с палатинского холма...* – На Палатинском холме с древнейших времен жила знать, а впоследствии – императоры.

19 ... *смех их сардонический...* – Т.е. предсмертный; выражение это обычно производилось от ядовитой сардинской травы: отравившиеся ею умирали с судорожно искривленным ртом, словно смеясь.

20 ... *начался дождь...* – Дурное знаменье; ср.: КМл., 42.

21 ... *наемного слугу...* – Ликторская служба считалась унизительной, в противоположность безвозмездной службе трибунов и других выборных лиц.

22 ... *консулу... спасать государство...* – Формула декрета о чрезвычайном положении: "консулы да озаботятся, чтобы государство не потерпело никакого ущерба", – этим консулу давалось диктаторское полновластие (ср.: Циц., 15). При расправе с Гракхом это было сделано в первый раз (ниже, гл. 18).

23 ... *у разбитых им галлов...* – Близ Массилии, в 125 г.

24 ... *к Авентинскому холму...* – Этот холм с храмом Дианы (гл. 16) считался плебейским районом города; по преданию, в 449 г. именно на Авентин уходили плебеи в знак протеста против власти патрициев.

[25] ... *с жезлом глашатая...* (оливковым, украшенным венками). – Плутарх переносит на Рим греческий обычай; в Риме глашатаи выходили с пучком священных трав, собранных на Капитолийском холме.

[26] ... *деревянного моста...* – Древнейший римский мост, прославленный подвигом Коклеса (Поп., 16). Друзей Гая, задержавших врагов, звали Помпоний (гл. 16) и Леторий.

[27] *Фурии* – греч. Эвмениды, богини возмездия; в Риме культ их был почти забыт (Цицерон. О природе богов, III, 46).

[28] ... *семнадцать и две трети.* – Т.е. 5,8 кг.

[29] ... *три тысячи...* – Т.е. вместе с погибшими при последующих репрессиях в бою на Авентине пало ок. 250 человек (Орозий, V, 12, 9–10).

[30] ... *отобрали приданое.* – Т.е. конфисковали имущество не только Гая, но и ее собственное.

[31] *Храм Согласия* – был воздвигнут в 367 г. в память о примирении плебеев с патрициями (Кам., 42); сенат разрешил Опимию снести старый храм и за счет конфискованного имущества выстроить новый.

[32] ... *состарился в бесславии...* – Т.е. в изгнании в Диррахии.

[33] ... *по слову Платона...* – "Государство", IV, 426е.

[34] *Пифийский бог* – Аполлон Дельфийский (см.: Лик., 5).

[35] ... *от иллирийских и галатских мечей...* – Иллирийцы (Кл., 28) и галлы (Полибий, II, 65) служили в войске Антигона.

ДЕМОСФЕН И ЦИЦЕРОН

ДЕМОСФЕН

[1] ... *похвальную песнь Алкивиаду...* – Ср.: Алк., 11.

[2] *Иулида на Кеосе* – родина поэтов Симонида и Вакхилида; *Эгина* – родина актера Пола (о котором ниже, гл. 28); *один афинянин* – Перикл (см.: Пер., 8).

[3] ... *о дельфине...* – Пословица о тех, кто берется не за свое дело.

[4] ... *безудержно дерзкий...* – Почему так назван Цецилий Калактинский, видный ритор I в. (его сочинения не сохранились, но сохранился возражающий ему анонимный трактат "О возвышенном"), неясно.

[5] ... *сопоставление Демосфена с Цицероном.* – Это (и другие) сочинения Цецилия Калактинского не сохранились, и "дерзость" его (попытка грека судить о латинском стиле?) неясна.

[6] "*Познай самого себя*" – знаменитое изречение, начертанное на дельфийском храме Аполлона.

[7] ... *будто мать Демосфена была дочерью... Гилона... и женщины-варварки...* – Женщина-варварка – скифянка, т.к. Гилон жил в изгнании в боспорском Пантикапее (Керчь) (Эсхин. Против Ктесифонта, 172). Демосфен никогда не опровергал этого упрека.

[8] ... *опекуны...* – Опекунами Демосфена были его двоюродные братья Афоб (женившийся на его матери) и Демофонт (женившийся на его сестре) и сосед Фериппид.

[9] *Батал* – непристойное перетолкование невинного прозвища "Баттал" ("заика").

[10] *Ороп* – пограничная крепость, предмет раздоров между Афинами и Фивами. Каллистрат и Хабрий обвинялись в том, что временно уступили Ороп фиванцам, а те отказались его покинуть. Демосфен, однако, был тогда уже не мальчиком, а юношей.

[11] ... *будто Демосфен посещал школу Платона...* – Живучая легенда, старавшаяся связать крупнейшего философа и крупнейшего оратора Афин.

[12] ... *привлек к суду своих опекунов...* – Афоба (который был вынужден бежать из Афин) и его свойственника Онетора (предъявлявшего притязания на его имущество). Речи Демосфена сохранились (речи 27–31).

[13] ... *по слову Фукидида...* – I, 18: о воинском опыте, приобретенном греками между персидскими войнами и Пелопоннесской войной.

[14] ... *пьяницы, мореходы...* – Намек на оратора Демада, бывшего моряка.

[15] "*Игра*" – термин, обозначавший выразительное произнесение речи: одна из 5 частей "работы над речью" (нахождение материала, расположение, изложение, запоминание и произнесение). "Которая часть важнее?" – спросили Демосфена. – "Игра". – "А потом?" – "Тоже игра". – "А потом?" –

"Тоже игра" (популярный анекдот, пересказываемый в псевдо-плутарховских "Жизнеописаниях 10 ораторов", 845в).

[16] ... *без подготовки...* – Ср.: Там же. 848в, где на упрек в обдуманности речей Демосфен отвечает: "Стыдней было бы перед стольким народом говорить необдуманно".

[17] ... *Эсхин... называл...* – "Против Ктесифонта", 152 ("ты, самый негодный для больших и честных дел и самый могучий для смелых слов...").

[18] *Забрал он...* и далее – Цитата из несохранившейся комедии Антифана.

[19] ... *не брать... но отобрать...* – Филипп Македонский захватил принадлежавший Афинам остров Галоннес, но готов был его вернуть; Демосфен подчеркивал, что афиняне не признают прав Филиппа на этот остров и принимают его не как дар, а как должное.

[20] *Фокион* – см.: Фок., 5.

[21] ... *свинья учит Афину!* – Известная пословица; свинья для древних воплощала не нечистоплотность, а глупость.

[22] *Демосфен и сам говорит...* – "О венке", 18.

[23] ... *некоторые из речей...* – К годам Фокидской священной войны (356–346) относятся 1-я филиппика и 3-я олинфская речь, к непосредственно последующим – 2-я филиппика и др.

[24] ... *обвинение против Мидия...* – Демосфен долго с ним враждовал, написал речь (в ней, § 154, он упоминает, что ему 32 года), но до суда дело не дошло.

[25] *Ибо то был...* и далее. – "Илиада", XX, 467 (об Ахилле).

[26] ... *великий царь...* – Артаксеркс III (359–338).

[27] ... *неизменные обвинители Эсхин и Гиперид.* – Преувеличение: Гиперид был политическим союзником Демосфена и лишь изредка выступал против него (напр., по делу о Гарпаловом подкупе, гл. 26).

[28] ... *права... непостоянного...* – По-видимому, этот упрек относился к самым первым годам политической карьеры Демосфена.

[29] ... *об освобождении от повинностей...* – Эта речь (20-я) более известна под названием "Против Лептина".

[30] ... *из Суз и Экбатан...* – Зимняя (долинная) и летняя (горная) резиденция персидских царей.

[31] ... *в деле Антифонта...* – Дело Антифонта пересказано самим Демосфеном в речи "О венке", 132–134.

[32] ... *речь... против Тимофея* – 362 г. (сохранилась в собрании речей Демосфена, но считается подделкой); *речи против Формиона и Стефана* – 351 г.

[33] ... *из одной оружейной лавки...* – Намек на ремесло отца Демосфена. В действительности речи для Аполлодора и для Формиона писались по случаю разных процессов.

[34] ... *речи против Андротиона* – 355 г., против Тимократа и Аристократа – 352 с., т.е. в 29–32-летнем возрасте.

[35] *Хабрий* – за услуги отечеству получил потомственную свободу от государственных повинностей, перешедшую к его распутному сыну (ср.; Фок., 7); Лептин хотел отменить такое освобождение, и Демосфен выступил (в знаменитой речи 354 г.) против него.

[36] ... *речи против Эсхина* (о недобросовестном поведении его во время посольства 346 г. для мирных переговоров с Филиппом)... – Эсхин был оправдан ничтожным большинством голосов, поэтому оба оратора избегали упоминать об этом "суде вничью".

[37] ... *язвительно шутил...* – Против Эсхина, см.: "О недобросовестном посольстве", 51–52, и 112.

[38] ... *война меры не знает.* – Т.е. пайками не кормится.

[39] *Беотархи* – политические и военные руководители Беотийского союза, избиравшиеся ежегодно, сперва – от союзных городов, потом – из числа фиванцев, которым принадлежала гегемония. Число их колебалось (7–11).

[40] ... *река... кровью.* – Народная этимология слов haima (кровь) и Haimon (название реки). Ср.: Тес., 27.

[41] *Останки павших* в бою, хоронились каждый год с почетом на государственный счет, речи над ними поручались лучшим ораторам (в Пелопоннесскую войну – Периклу).

[42] ... *наградить Павсания венком.* – Т.е. поставить убийце Филиппа статую и увенчать ее.

[43] ... *говорит Эсхин...* – "Против Ктесифонта", 77.

[44] ... *сторожевой отряд...* – Т.е. македонский гарнизон, стоявший в Фивах после битвы при Херонее.

[45] ... *маргитом...* – Герой псевдогомеровской пародийной поэмы, сказочный дурак, который "знал многое, да все это знал плохо" (намек на уроки Александра у Аристотеля и на его соперничество с Ахиллом).

[46] ... *у Киферона...* – Т.е. на беотийской границе; насмешка над этим: *Эсхин.* Против Ктесифонта, 161.

[47] ... *притчу об овцах...* – Эзоп, 153 П. (268 Х).

[48] ... *по делу о венке.* – В 336 г. (у Плутарха ошибка: архонтство Херонда – 338 г.) Ктесифонт предложил наградить Демосфена венком за заслуги перед государством; Эсхин привлек Ктесифонта к суду за противозаконность такого предложения. Дело решилось, однако, лишь 6 (а не 10) лет спустя, причем за Ктесифонта Эсхину отвечал сам Демосфен знаменитой речью "О венке".

[49] ... *не собрал и пятой части голосов.* – За это обвинителю полагался штраф в 1000 драхм и запрет выступать с обвинениями.

[50] *Неужели... вы не выслушаете того, в чьих руках кубок?* – Имеется в виду круговая чаша на пиру – у кого она была в руках, того не полагалось перебивать.

[51] ... *по его словам...* – Во 2-м из 6-ти писем Демосфена (по-видимому, подложных).

[52] *Сова* и *змея* – священные животные Афины Полиады ("Градовладычицы"), статуя которой далеко видна была с афинского акрополя.

[53] *Молоко ослицы* считалось средством от чахотки.

[54] ... *достойнее Алкивиада...* – См.: Алк., 32–33.

[55] ... *с македонского треножника...* – "Говорить с треножника" (как дельфийская пророчица) – пословица, означавшая "говорить правду".

[56] ... *Креонта из трагедии....* – Т.е. из "Антигоны" Софокла, где фиванский царь Креонт запрещает погребать тело Полиника, шедшего войной на родной город.

[57] *Фесмофории* – женский праздник в честь Деметры-Законодательницы. Во второй день его справлялся скорбный пост в память о похищении Персефоны.

[58] *Пританей* – общественное здание, где заседала коллегия пританов, т.е. дежурная часть афинского Совета, занимавшаяся текущими делами; здесь же кормили на государственный счет должностных лиц, заслуженных граждан и иностранных послов.

ЦИЦЕРОН

[1] ... *будто он и появился... и вырос в мастерской сукновала...* – Обычный наговор политических врагов, в данном случае – Фуфия Калена.

[2] *Скавр* и *Катул* – такие же родовые прозвища в знатных домах Эмилиев и Лутациев. Плиний сопоставлял "гороховое" имя Цицерона с "бобовым" Фабиев и "чечевичным" Лентулов (от слов faba, lens).

[3] ... *на третий день после новогодних календ.* – 3 января 106 г.

[4] ... *требует Платон...* – "Государство", V, 475 в.

[5] *"Главк Понтийский"* – эта мифологическая (о беотийском пастухе, превратившемся в морское божество) поэма не сохранилась даже в отрывках.

[6] ... *двести пятьдесят талантов...* – Т.е. в 750 раз дороже, чем вышеупомянутое имение было куплено (у Цицерона, "За Росция Америйского", 2, 6, названа разница еще больше).

[7] ... *в основах учения...* – Основой учения Средней и Новой Академии, главным представителем которого был Карнеад (а при Цицероне – Филон Ларисейский), был скептицизм, считавший, что к истине приводит не доказательность, а убедительность доводов; это было хорошей философской почвой для разработки убеждающего красноречия. Антиох отошел от этого скептицизма к этическому догматизму стоиков.

[8] ... *в "игре"* ... – См.: Дем., примеч. 14.

[9] ... *он рассказывает...* – "За Гн. Планция", 26, 64.

[10] ... *платы... не брал...* – Закон запрещал адвокатам принимать какой бы то ни было гонорар от подзащитных, но, конечно, этот закон всячески обходился.

[11] ... *Цецилий... пытался... выступить ... сам...* – Когда Цицерон подал претору жалобу на Верреса, покровители Верреса решили перебить опасного обвинителя, выдвинув с таким же обвинением своего человека, Кв. Цецилия, бывшего квестора при Верресе. Такие конфликты решались в особом заседании суда с речами обоих конкурентов.

[12] ... *избран первым.* – Т.е. собрал больше всего голосов.

[13] *Толстая шея* считалась признаком наглости и высокомерия; ср.: Мар., 29.

[14] ... *сказал речь...* – Эта речь в защиту Манилия от обвинения в хищениях (если Плутарх не путает ее с известной речью "О законе Манилия" в пользу Помпея) не сохранилась.

[15] ... *уговорил Суллу...* – Ср.: Сул., 32. Все античные представления о Катилине восходят к речам Цицерона и историческому сочинению Саллюстия, поэтому они полны враждебных передержек, которые Плутарх принимает за чистую монету.

[16] ... *те, кому законы Суллы...* – Имеются в виду сыновья тех, кто Суллою был объявлен вне закона.

[17] ... *народные трибуны... предлагали...* – Речь идет об аграрном законопроекте П. Сервилия Рулла, народного трибуна 64 г.; Цицерон произнес против него 4 речи, из которых 3 сохранились. Рулл взял свое предложение обратно, так и не поставив на голосование.

[18] ... *вверить государство охране консулов...* – Т.е. объявить чрезвычайное военное положение (ср. примеч. к ТГр., 14).

[19] ... *открыла... Фульвия...* – Фульвия узнала о заговоре от своего любовника Кв. Курия, одного из его участников.

[20] *Я действую словом... и далее.* – В дошедшей до нас "I речи против Катилины" этих слов нет.

[21] ... *одна из ночей Сатурналий...* – 17–21 декабря 63 г.

[22] ... *два посла... племени аллоброгов...* – Это заальпийское племя, покоренное в 121 г., прислало послов с жалобой на поборы римских наместников; не получив удовлетворения, через два года аллоброги восстали (61 г.), но восстание было подавлено.

[23] ... *трех консулов...* – Т.е. Цицерона и новоизбранных консулов 62 г., Силана и Мурены.

[24] ... *сменил тогу...* – Тога с широкой пурпурной каймой была знаком сенатского достоинства; Лентул сменил ее на темное, траурное платье. Ср. выше гл. 9 и ниже гл. 35.

[25] .. *рассказал гражданам..* – Это "III речь против Катилины" (3 декабря 63 г.).

[26] *В особой речи...* – "IV речь против Катилины" (5 декабря 63 г.).

[27] *Вступив в должность...* – Трибуны вступали в должность 10 декабря, консулы покидали должность 1 января, давая *клятву с отречением от власти* – в том, что исполняли свои обязанности добросовестно и честно.

[28] ... *достопамятных его слов...* – "Академика", II, 119 (об Аристотеле), "Брут", 121 (о Платоне), ср.: "Оратор", 104 (о несовершенстве Демосфена).

[29] ... *письма Цицерона...* – Ср. ответное письмо Цицерона-сына (Цицерон. К близким, XVI, 21).

[30] «*Достойна Красса*» – двусмысленность: эти два греческие слова можно перевести еще как "Аксий, сын Красса".

[31] ... *уши-то... продырявлены.* – Т.е. как у африканских рабов.

[32] *Адраст* – мифический царь Аргоса; одну дочь он выдал за Полиника, изгнанника из Фив, другую – за Тидея, изгнанника из Этолии.

[33] *Он против воли Феба...* и далее. – Стих из неизвестной трагедии; может быть, о Лане, родившем Эдипа, своего будущего убийцу.

[34] ... *сам из глашатаев.* – Глашатые были, как правило, либо вольноотпущенниками, либо сыновьями отпущенников.

[35] ... *безбородый мальчишка...* – Преувеличение: Клодию было 27–30 лет.

[36] ... *с неразборчиво написанными буквами.* – Надписи должны были означать "осуждаю", "оправдываю" или "воздерживаюсь".

[37] ... *не давал... огня и воды...* – Традиционная римская формула изгнания. Большую часть изгнания Цицерон провел в Македонии, в Фессалонике, у своего друга Гн. Планция, служившего квестором при наместнике.

[38] *В консульство Лентула* – в 57 г.

[39] *Он говорил...* – "Речь в сенате по возвращении из изгнания", 15, 39.

[40] ... *убитого в Парфии...* – О гибели молодого Красса см.: Кр., 25.

[41] ... *Цицерон ... отвечал...* и далее. – В сохранившейся переписке Цицерона и Целия таких слов нет.

[42] ... *заключает Цицерон...* – "К Аттику", VIII, 7, 2.

[43] ... *обещал Требатию...* – "К близким", VII, 22.

[44] ... *начальником рабочего отряда...* – Т.е. осадных машин, саперов и обозных.

[45] ... *заговорил о Фарсале...* – "За Лигария" (46 г.), 3; т.е. в начале, а не в конце речи.

[46] ... *философских диалогов.* – В эти годы были написаны "Академика", "О пределах добра и зла", "Тускуланские беседы", "О природе богов", "О гадании", "О роке", "О старости", "О дружбе", "О законах", "Об обязанностях" и несохранившиеся "Гортензий", "Утешение", "О славе" и др., а из переводов "Тимей" Платона и "Домострой" Ксенофонта.

[47] ... *ведет... жизнь Лаэрта...* – Т.е. живет как престарелый отец гомеровского Одиссея, удалившийся от дворцовых бесчинств в свою пригородную усадьбу.

[48] ... *написать ... историю Рима...* – Ср.: "О законах", I, 5–10, где с этим предложением к Цицерону обращается Аттик.

[49] *Доверенный сонаследник* – род душеприказчика: человек, которому отказывается имущество, чтобы тот передал (тотчас или по истечении срока) это имущество другому лицу. Вторую жену Цицерона звали Публилия.

[50] ... *женою Лентула...* – Т.е. П. Корнелия Долабеллы, усыновленного П. Лентулом Спинтером, консулом 57 г. Долабелла был не вторым, а третьим мужем Туллии, и умерла она бывшею его женою, ибо за несколько месяцев до родов она развелась с ним.

[51] ... *примеру афинян...* – В 403 г. в Афинах после изгнания Тридцати тираннов была объявлена всеобщая политическая амнистия ("забвение прошлого"), одна из первых в европейской истории.

[52] ... *легатом при Долабелле.* – Т.е. при бывшем своем зяте, который получил на 43 г. проконсульство в Сирии, но был вытеснен оттуда Кассием.

[53] ... *молодого Цезаря...* – Т.е. Октавиана. который в эпирской Аполлонии готовился сопровождать Цезаря на Восток. Ср. Бр., 22, Ант., 16.

[54] ... *в тогах с пурпурною каймой.* – Такие тоги носили, с одной стороны, несовершеннолетние, с другой стороны (ср. выше, примеч. 24) – сенаторы.

[55] *Брут... писал Аттику...* – См.: Цицерон. К Бруту, 1, 17.

[56] ... *после битвы...* – Имеется в виду битва при Мутине в апреле 43 г.

[57] ... *получить должность и возвыситься...* – Выборы состоялись в августе 43 г. (коллегою Октавиана сделался не Цицерон, а Кв. Педий, двоюродный брат Октавиана), а уже в ноябре был организован "второй триумвират" Октавиана, Антония и Лепида.

[58] *Этесии* – северо-восточные пассатные ветры, дующие на Средиземном море в середине лета.

[59] ... *над корабельными носами...* – Т.е. "рострами", которыми была украшена ораторская трибуна на форуме.

[60] ... *в речи...* – "За Целия", 17, 41.

[61] ... *в наслаждении ... благо.* – Злой выпад против последователей Эпикура, философских оппонентов Цицерона и Плутарха.

[62] ... *защищал Мурену... долго высмеивал...* – Шутки над стоическим догматизмом в речи "За Мурену" есть, напр. в § 58–66, ср. 3; 13 и др.

[63] *Он кричит...* и далее. – Ср. "II филиппика", 30 и стих (из поэмы "О своем консульстве") "Меч, пред тогой склонись; ветвь лавра, склонись пред заслугой!"

[64] *Чей мощный меч... врагам грозит.* – Стих из неизвестной трагедии Эсхила.

[65] ... *который говорит...* – См.: Демосфен. О венке, 277 (свободный пересказ).

[66] ... *пророческие слова Платона...* – "Государство", V, 473d.

[67] ... *ссужал деньги под залог кораблей.* – Т.е. ссужал деньги с очень высокими процентами за риск (ср.: КСт., 21).

[68] *Корит его в письмах и Брут...* – См.: Цицерон. К Бруту, 1, 16.

ДЕМЕТРИЙ И АНТОНИЙ

ДЕМЕТРИЙ

[1] ... *воздержанность, справедливость и мудрость* (и четвертое качество, мужество) – общий для всей греческой философии канон добродетелей.

[2] ... *напаивали илотов...* – См.: Лик., 28.

[3] ... *слова Платона...* и далее (в вольном пересказе). – "Государство", VI, 491e или "Горгий", 525e.

[4] ... *на Диониса, великого воителя...* – Имеется в виду поздний миф о походе Диониса, благодетеля человечества, по всей земле вплоть до Индии.

[5] ... *Филипп убил своего сына.* – Филипп V Македонский убил своего сына Деметрия, сочувствовавшего римлянам, по проискам другого сына, Персея, враждебного римлянам. Ср.: Арат, 54.

[6] ... *необходимых условий...* – Т.е. постулатов или аксиом.

[7] ... *первоначал Эмпедокла...* – По учению этого философа, мир состоит из 4 стихий-первоначал (земля, вода, воздух, огонь), то сливающихся под влиянием Любви, то вскипающих друг на друга под влиянием Вражды.

[8] ... *борьба... между Антигоном и Птолемеем.* – После смерти регентов Пердикки, Антипатра и Полисперхонта и гибели всех членов царской династии, самым сильным из диадохов остался Антигон, отец Деметрия; на него и встали войной Птолемей из Египта, Селевк из Вавилонии и Кассандр из Македонии, и с ними по очереди воевал Деметрий.

[9] ... *из Александровой палестры...* – Т.е. Александровой выучки.

[10] ... *освободить афинян...* – Кассандр, правя в близкой Македонии, опирался в Греции на свои гарнизоны и тираннические режимы, Антигон и Деметрий в противоположность этому поддерживали демократию.

[11] *Священный пеплос* – одеяние богини Афины, украшенное изображением борьбы богов с гигантами, которое ткалось каждый год заново к празднику Панафиней.

[12] *Нисходящий* – этот эпитет (kataibates) прилагается к Зевсу, грозой низвергающемуся на землю.

[13] ... *к прежним филам...* – Речь идет о 10 филах, на которые делилось афинское гражданство со времени Клисфена (конец VI в.).

[14] ... *говорит Аристофан...* – “Всадники”, 382.

[15] ... *стих из Эврипида...* – “Финикиянки”, 395.

[16] ... *царь Антигон...* – До этого времени царский титул считался достоянием только потомков и родственников Александра.

[17] *Двойной пробег* – на два стадия, т.е. из конца в конец стадиона и обратно (ок. 370 м).

[18] ... *фасосское или хиосское...* – Сорта хорошего вина с островов Эгейского моря.

[19] *Аэроп* – было два македонских царя с таким именем – в VI и в IV в. Ср. также: Дион, 9.

[20] *“Погубительницы городов”* – осадные башни, придвигавшиеся к стенам для удара на них сверху. За свою осадную технику Деметрий остался в истории с прозвищем Полиоркет (“Градоимец”).

[21] ... *сорока восьми локтям...* – Т.е. ок. 20 м в основании и ок. 30 м в высоту.

[22] *Иалис* – герой-охотник, мифический основатель одноименного города на Родосе.

[23] ... *для девичьих покоев!* – Игра буквальным значением слова “Парфенон” (“храм Девы”).

[24] ... *время Герей...* – Т.е. время религиозных празднеств в честь Геры, ср.: Пирр, 4.

[25] ... *через год после Великих Таинств.* – Таким образом, весь трехступенчатый цикл посвящения занимал около полутора лет. “Созерцатели” (эпопты) – высшая степень посвящения.

[26] *Агра* – предместье Афин, где справлялись Малые Элевсинии.

[27] ... *в мифах... своя Ламия...* – В греческих поверьях так называлась кровожадная ведьма, пожирающая детей.

[28] ... *разграбит храм...* – Речь идет о богатом храме Артемиды Эфесской, “седьмом чуде света” (за 50 лет до того подожженном Геростратом).

[29] *Россос* – приморский городок в северной Сирии, неподалеку от будущей Антиохии.

[30] ... *слова Платона...* и далее. – В сохранившихся сочинениях Платона такого суждения нет.

[31] *Логий* – то же, что проскений: узкая площадка перед палаткой-скеной, место, где выступали актеры.

[32] *Мусей* (холм Муз) – высокий холм к юго-западу от акрополя, господствовавший над дорогой из Афин в Пирей.

[33] ... *Ты вознесла меня, и ты ж свергаешь в прах.* – Стих из неизвестной трагедии Эсхила.

[34] ... *подоспел Пирр...* – См.: Пирр, 6.

[35] ... *взрослым юношей...* – Сын Деметрия Антигон Гонат, будущий македонский царь, родился в 319 г.

[36] ... *описанные Сапфо...* – Имеется в виду одно из самых знаменитых ее стихотворений (пер. В. Вересаева):

...Лишь тебя увижу – уж я не в силах
Вымолвить слова,
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же –
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я...

[37] ... *за неполные десять лет... дважды... – в руках неприятеля.* – Разрушенные Александром Фивы начал вновь отстраивать Кассандр в 316 г.; поход Деметрия в Беотию и двукратное взятие Фив приходятся на 293–291 гг.

[38] ... *отчего бога афинян...* – Аполлон считался небесным отцом Иона, сына Ксуфа, прародителя ионян и афинян.

[39] ... *говорит Тимофей... по выражению Пиндара...* – Произведения не сохранились.

[40] ... *называет поэт...* – "Одиссея", XIX, 179 (о Миносе Критском).

[41] *Эдесса* – город в 40 км от столицы Македонии – Пеллы.

[42] ... *корабль с сорока рядами весел...* – Собственно "рядов весел" было, конечно, меньше, но на каждом было по многу рядов гребцов. Длина корабля – ок. 125 м, высота – ок. 22 м, "имел он два носа, две кормы и семь таранов" (Афиней, 203e–204d).

[43] *Несется жизнь моя... уйдет в небытие.* – Фрагмент из неизвестной драмы Софокла.

[44] ... *два стиха из Эврипида...* – Несколько измененные ст. 4–5 из "Вакханок". *Дирка* и *Исмен* – ручьи в Фивах.

[45] ... *жреца Спасителей...* – См. выше, гл. 10.

[46] *О чадо старика...* и далее. – Софокл, "Эдип в Колоне", 1–2; в подлиннике – обращение к царевне Антигоне, в переделке – к Деметрию, сыну Антигона Одноглазого.

[47] ... *к самым Островам...* – Т.е., по-видимому, к крайним островам Греческого архипелага.

АНТОНИЙ

[1] ... *Антоний Критский...* мало чем прославившийся... – Само прозвище Критский было ему дано в насмешку после поражения от критских пиратов в 74 г.

[2] ... *азиатское направление в красноречии...* – В противоположность консервативному "аттическому", "азиатское" красноречие стремилось к блеску и эффекту путем нагнетания пышных риторических фигур и нарочитого ритма фраз.

[3] ... *восстание иудеев...* – Имеется в виду междоусобная война братьев Аристобула и (поддерживаемого римлянами) Гиркана из династии Маккавеев (57 г.).

[4] *Птолемей ... Габиния* – См.: КМл., 35.

[5] ... *мимо Промоины...* – Речь идет о соленых лагунах на Суэцком перешейке; *Тифон* – сын Земли, боровшийся с Зевсом и брошенный им в Тартар.

[6] *Decies* – сокращение от decies centena milia, т.е. 1 000 000 сестерциев (монет в четверть денария).

[7] ... *Цицерон в "Филиппиках"...* – "II филиппика", 22, 55.

[8] ... *под резким нотом...* – Т.е. южным ветром.

[9] ... *сильным либом...* – Т.е. юго-западным ветром (дувшим от Италии в Адриатику).

[10] ... *как говорит Цицерон...* – Об этом говорится в разных местах уже упоминавшейся "II филиппики".

[11] ... *после победы Цезаря в Испании...* – Победа при Мунде в 45 г., над сыновьями Помпея.

[12] ... *Луперкалиями...* – См.: Ром., 21.

[13] ... *друзей Харона...* – Лат. orcini: так же назывались рабы, освобожденные по хозяйскому завещанию. Харон – перевозчик в подземном царстве мертвых.

[14] ... *Строительство...* – Речь идет о храме Аполлона в Дельфах, за несколько десятилетий до того пострадавшем от пожара.

[15] ... *смутами и войной...* – Речь идет о “Перузинской войне” – восстании, поднятом Луцием, братом Антония, и Фульвией, его женой.

[16] ... *в ... стихах Софокла...* – “Царь Эдип”, 4 (о Фивах, страдающих от чумы и возносящих умилостивительные мольбы к богам).

[17] *Псалтерий* – струнный щипковый инструмент восточного происхождения, похожий на лук с натянутыми струнами.

[18] *Податель радости, Источник милосердия, Кровожадный, Неистовый* – различные культовые прозвища Диониса.

[19] ... *сказано у Гомера...* – “Илиада”, XIV, 162 (о Гере, обольщающей Зевса).

[20] *Кидн* – река в Киликии, на которой лежал Тарс.

[21] ... *поить холодной водой...* – Пить холодную воду как раз недопустимо при лихорадке; это рассуждение – образец любимой греческой игры в софизм (в данном случае – с двусмысленностью слова “жар”).

[22] ... *сказано у Платона* – “Горгий”, 464c- 465c (поварское и косметическое дело – “лесть” телу, софистика и риторика – “лесть” душе).

[23] ... *фаросским и канопским...* – Фарос, портовая часть Александрии; Каноп, соседний с Александрией город, место развлечений для александрийцев.

[24] ... *должность жреца старшего Цезаря...* – Вскоре после смерти Юлий Цезарь был объявлен богом, а явившаяся в небе комета – его вознесенной душой; в честь нового бога был учрежден особый культ.

[25] *Гений* (греч. “демон”) – божество-хранитель, спутник каждого человека.

[26]... *фекады* – белые башмаки, знак достоинства гимнасиарха; *Гимнасиарх* – см. Фем., примеч. 10.

[27] *Клепсидра* – священный источник на акрополе; там же росла и священная маслина, сотворенная будто бы самой богиней Афиной.

[28] ... *говорит Платон о... коне души...* – “Федр”, 253–256 (где две части влюбленной души сравниваются с двумя конями, благородным и норовистым).

[29] *Внешнее море* (в противоположность Внутреннему, Средиземному) – Красное море, залив мирового океана.

[30] *Фрааты* – местоположение этого города неизвестно.

[31] *Преторская когорта* – личная охрана командующего.

[32] *Мард* – племя мардов обитало в южной Армении.

[33] ... *схожее с черепичною кровлей...* – Сами римляне называли такое построение, использовавшееся преимущественно при штурме высоких укреплений, “черепахой”.

[34] ... *Ксенофонту и его товарищам...* – См.: Арт., 4–20.

[35] “*Битва с гигантами*” – скульптурная группа, украшавшая акрополь.

[36] ... “*многострадальной*” *Греции...* – Реминисценция из Эврипида, “Геракл”, 1250.

[37] *В шестом часу...* – Т.е. перед полуднем.

[38] *Аррунтий* – командовал центром Октавианова флота.

[39] ...*чью-то шутку...* и далее. – См.: КСт., 9, Плутарх приписывает эту шутку Катону.

[40] *Либурны* – быстроходные галеры по образцу лодок иллирийского племени либурнов (ср.: КМл., 54).

[41] ... *в другом месте...* – См.: Грут, 50.

[42] ... *полководец... к измене...* - Это был Л. Пинарий Карп, державший для Антония Кирену.

[43] ... ... *на главных подходах к Египту.* – Т.е. на западе у Паретония и на востоке у Пелусия.

[44] *Праздник кувшинов* – справлялся на второй день мартовских Анфестерий в честь Диониса: молодое вино разливали по кружкам и пили взапуски.

[45] ... *записал в эфебы...* – Греческий акт совершеннолетия;... *одел в мужскую тогу без каймы...* – Знак римского совершеннолетия.

[46] ... *с двумя женщинами...* – Ирадой и Хармион, ср. гл. 60 и 85.

[47] ... *стих...* – Из неизвестной трагедии.

[48] *Нет в многоцезарстве блага...* – Переделка знаменитого места из “Илиады” (II, 204), слова Одиссея бунтовщику Ферситу:

Нет в многовластии блага, да будет единый властитель
Царь нам да будет единый...

[49] *Сыновья Ливии* – (от первого ее мужа, Тиб. Клавдия Нерона) – Тиберий, будущий император, и Друз, рано умерший полководец, упоминаемый ниже.

[50] *Арсак* – т.е. парфянский царь.

[51] *... вышла из сказки...* – См. Дем., примеч. 27.

[52] *... словно Парис...* – см. "Илиада" III, 340–448, где Париса, побежденного Менелаем, Афродита спасла с поля боя и перенесла в терем Елены.

ДИОН И БРУТ

ДИОН

[1] *Симонид* – отрывок из несохранившейся оды, вероятно, в честь коринфского героя. Встреча на поле боя наследственных друзей Главка и Диомеда, сражавшихся один за троян, другой за греков, – знаменитый эпизод в "Илиаде", VI, 119–234.

[2] *... пишет Платон...* – "Письма", VII, 327а. Это автобиографическое письмо (подлинность которого иногда оспаривается) было одним из главных источников Плутарха в этой биографии.

[3] *... и продал его...* – История, по-видимому, легендарная или сильно преувеличенная.

[4] *... шуткой...* – Gelōs по-гречески "смех", отсюда каламбур Дионисия.

[5] *... адамантовые...* – Адамантом греки называли какой-то сказочный твердый металл или сплав.

[6] *... Платон... писал Диону...* – "Письма", IV, 321в (к Дионисию после захвата им власти); это письмо обычно считается неподлинным.

[7] *... пишет он сам...* – Платон, "Письма", VII, 328 с.

[8] *... засыпан пылью...* – Геометрические чертежи делались на тонком песке.

[9] *... пишет Платон...* – "Письма", VII, 345е; здесь же цитата из Гомера, "Одиссея", XII, 428.

[10] *... женщины...* – Т.е. сестра Диона, Аристомаха, и его супруга Арета.

[11] *... солнечное затмение.* – 12 мая 361 г.

[12] *... сам Платон рассказывает...* – "Письма", VII, 350а–с: Платон сам написал Архиту с просьбой выручить его.

[13] *... в письме к Дионисию.* – "Письма", XIII (неподлинное), 362е, пересказ – ниже.

[14] "*Разговор о душе*, или Эвдем" – это знаменитое сочинение молодого Аристотеля не сохранилось.

[15] *Этесии* – см.: Циц., примеч. 58.

[16] *... затмилась луна.* – Лунное затмение 9 августа 357 г.

[17] *... вдали от суши...* – Был проделан путь не вдоль берегов, как привыкли греки (чтобы избежать встречи с Филистом у берегов Италии), а через Ионийское море прямо к Сиракузам.

[18] *Арктур* (в созвездии Волопаса) – звезда, восход которой приходится на первую половину сентября.

[19] *Головы Большого Сирта* – побережье нынешней Ливии.

[20] *Пятивратие* – ворота с пятью проемами, закрывавшие, по-видимому, дорогу в сиракузскую крепость.

[21] *... возвел стену, отделившую крепость от города.* – Стена была возведена поперек дамбы, ведущей к крепости на острове, где еще держались сторонники Дионисия.

[22] *... варвары...* – Имеются в виду наемники сицилийских тираннов – преимущественно не греки, а италийцы разных племен (напр., кампанцы, упоминаемые в гл. 27).

[23] *Платон писал ему...* – "Письма", IV, 320д.

[24] *... как мы уже упоминали...* – В гл. 8.

[25] *... вместе с Платоном...* – "Государство", VIII, 557d.

[26] *... говорит Платон...* – "Письма", VII, 333е.

[27] *... бросился... с крыши...* – "Этот подросток Гиппарин вырос в изнеженном доме Дионисия; теперь суровое отцовское воспитание повергло его в отчаяние и довело до самоубийства" (комм. К. Циглера).

[28] *Законодательницы* (Фесмофоры) – Деметра и Персефона-Кора, покровительницы Сицилии.

[29] *Мист* – посвященный, участвующий в мистериях.

[30] *... скребок для сыра.* – Вероятно, обыгрывание какой-то народной этимологии названия Катана.

[31] *... в жизнеописании Тимолеонта.* – Тим., 32–33.

БРУТ

[1] ... *до убийства родных сыновей...* – см. Попл., 3–6.

[2] ... *начал возмущать народ...* – в 439 г. Спурий Мелий раздавал во время голода хлеб неимущим, что заставило подозревать его в искании популярности и стремлении к тираннии.

[3] ... *в его письмах.* – Письма Брута из Малой Азии во время борьбы за малоазиатские города (Ксанф, Патары и др.) в 43–42 гг., упомянуты и ниже., гл. 30 сл.

[4] ... *Брут ездил на Кипр... со своим дядей Катоном...* – Подробнее см.: КМл., 34–39.

[5] ... *Был убит Помпеем.* – Отец Брута был убит при подавлении мятежа Лепида в 78 г., в котором он участвовал.

[6] ... *обсуждалось... дело Катилины...* – 5 декабря 63 г., в храме Согласия (Циц., 20–21, КМл., 22, Цез., 7). В год рождения Брута (85 г.) Цезарю было 15 лет; слух, будто Брут – сын Цезаря, пошел от предсмертных слов Цезаря "И ты, дитя мое?.." (см.: *Светоний.* Божественный Юлий, 82).

[7] ... *правителем Предальпийской Галлии...* (в пропреторском звании) – на 46 г.; городским претором Брут был избран на 44 г.; намечалось его избрание в консулы на 41 г. (Цез., 62).

[8] ... *в парфянском походе.* – Т.е. имеется в виду битва при Каррах 53 г. и события после нее.

[9] ... *львов... добыл для себя...* – Львы нужны были для зрелищ, которые Кассий должен был устраивать как эдил 47 г.

[10] ... *в жизнеописании Цезаря.* – Гл. 60 сл.

[11] ... *не должно подвергать себя опасности...* – Эпикурейское правило "живи незаметно".

[12] ... *мартовскими идами...* – 15 марта 44 г.

[13] *Мужскую тогу* (белую, вместо отроческой белой с красной полосой) надевали в Риме при совершеннолетии, около 16 лет.

[14] ... *так быстро разбогател, что... собираешься искать должности эдила?* – Эдильство требовало значительных расходов, в первую очередь – на устройство зрелищ для народа.

[15] ... *играми...* – "Аполлоновы игры" 5 июля 44 г.

[16] ... *Брут резко порицал его...* – Письма Брута к Цицерону сохранились частично в составе переписки Цицерона; см.: "К Бруту", 1, 16 и др.

[17] ... *слова Андромахи...* – "Илиада", VI, 429–430; дальше приведен ст. 491.

[18] *Грозная Мойра...* и далее. – Слова умирающего Патрокла, "Илиада", XVI, 849 (пер. М.Е. Грабарь-Пассек). Мойра – богиня судьбы, *сын Летó* – бог Аполлон.

[19] ... *Брат Антония Гай... двинулся на соединение с войском Ватиния...* – Гай был назначен в Риме преемником претора Македонии Кв. Гортензия, перешедшего на сторону Брута; Ватиний был наместником Иллирии с резиденцией в Аполлонии.

[20] ... *в другом сочинении.* – "Застольные беседы", VI, 8.

[21] ... *Цицерон... писали...* – "К Бруту", II, 5, 5.

[22] ... *утвердил за ним его провинции...* – Т.е. Македонию, Иллирию и Эпир вместо прежде назначенного Крита (гл. 19).

[23] ... *из египетского похода...* – Как Брут вместо Крита захватил Македонию, так Кассий вместо Африки – Сирию, вытеснив оттуда наместника Долабеллу; за того вступилась египетская Клеопатра, и Кассий был вынужден с нею воевать.

[24] ... *об участии их предков...* – Имеется в виду завоевание Лидийского царства Киром Старшим в 546 г.; см.: Геродот, I, 176.

[25] ... *гомеровские стихи...* – "Илиада", I, 259.

[26] *Пес, лжепес* – обычное прозвище киников (народная этимология от kyon – "пес"), философской школы, еще более резкой в парадоксах и вызывающем поведении, чем стоики.

[27] ... *улегся на среднем* (*из трех лож, окружавших стол*). – Т.е. на почетном "консульском" месте или рядом.

[28] ... *до третьей стражи...* – Т.е. до полуночи.

[29] ... *по центуриям...* – Т.е. по "сотням", боевым отрядам: не путать с гражданскими центуриями, группами народа, по которым велось голосование в некоторых народных собраниях.

[30] *Зевс, кару примет...* и далее. – Эврипид, "Медея", 332 (пер. М.Е. Грабарь-Пассек).

[31] *Валерий Максим* – см.: "Достопамятные деяния и изречения", VI, 6,5.

[32] ... *Платон порицает...* – В сборнике платоновских писем такого высказывания нет.

АРТАКСЕРКС

[1] *Артаксеркс Первый...* и далее – Артаксеркс I правил в 465–423 гг., *Дарий II* Незаконнорожденный в 423–404, *Артаксеркс II Мнемон* ("памятливый") в 404–359.

[2] *... в честь Солнца* – Народная персидская этимология (Kurash "Кир" от зенд. hvare).

[3] *... Динон... Ктесий...* – Динон Колофонский и Ктесий Книдский, 20 лет живший придворным врачом при Артаксерксе II (и стяжавший худую славу выдумщика и персофила), – главные источники греческих знаний о Персии IV в.

[4] *... взял в жены... достойную женщину...* – Т.е. Статиру, дочь гирканского сатрапа Гидарна; брат ее Теритевхм поднял восстание и был казнен.

[5] *... довод, которым... воспользовался Ксеркс...* – Ксеркс убедил Дария передать престол не старшему из всех сыновей, а старшему из сыновей, рожденных после воцарения, т.е. ему, Ксерксу.

[6] *... Храм богини войны...* – Т.е. Анаитиды, о которой см. ниже, гл. 27.

[7] *Тиссаферн* – сатрап Лидии, несколько лет был фактическим правителем всей Малой Азии, но около 407 г. в этой должности над ним был поставлен Кир; отсюда их взаимная ненависть.

[8] *... прильнула шеей к шее сына...* – Очевидно, Киру была назначена казнь через отсечение головы – такая же, какая описана ниже, гл. 29.

[9] *... у Ксенофонта.* – "Анабасис", I, 1, 6 сл.

[10] *Хилиарх* – "тысяченачальник", греческая передача персидского звания.

[11] *Кандий* – персидская верхняя одежда с рукавами.

[12] *... посылают Клеарху скиталу...* – Скитала – см.: Лис., 19. Клеарх, начальник греческих наемников Кира, был спартанским наместником Византия, попытался захватить в городе тираническую власть и после этого оказался в изгнании. О том, что на службе Кира он продолжал получать секретные инструкции из Спарты, Ксенофонт в "Анабасисе" не упоминает.

[13] *... ров глубиною в десять оргий...* (ок. 18,5 м) – Цифры фантазера-Ктесия; Ксенофонт ("Анабасис", I, 7, 14) говорит: "шириной в 5 оргий, а глубиною в 3".

[14] *... Ксенофонт показывает... ее чуть ли не воочию...* – "Анабасис", I, 8. Кир хотел поставить Клеарха с греческими наемниками в центре, чтобы ударить на царя, однако Клеарх, привыкнув к греческому обычаю выставлять лучшие силы на правое крыло, занял эту позицию, опрокинул врага, но тем временем Кир погиб в центре боя, и победа оказалась бесполезной.

[15] *... число гораздо большее.* – По Ксенофонту, I, 7, 11–12, в битве участвовало около 900 тысяч царского войска, а всего было поднято более миллиона (обычные греческие преувеличения персидских сил).

[16] *... называет по имени.* Ксенофонт называет Ктесия в I, 8, 26–27, а Фалина в II, 1.

[17] *Тиссаферн обманул Клеарха...* – Тиссаферн вызвал на переговоры 5 старших и 20 младших греческих военачальников, и все были вероломно арестованы и казнены (Ксенофонт, II, 5).

[18] *.. царю Агесилаю.* – см.: Агес., 6.

[19] *... побывали также...* – При Артаксерксе в Сузах было два съезда греческих послов – в 387 г., когда был выработан "Царский мир" ("Анталкидов"), и в 367, когда в нем участвовали Пелопид и Исмений.

[20] *... начал войну с Египтом...* – Египет вновь отложился от Персии еще в 404 г. и был окончательно покорен только к 343 г. Поход старого Фарнабаза и афинянина Ификрата на Египет относится к 379 г.; одновременно царю приходилось воевать с Эвагором Кипрским и с горцами-кадусиями. Плутарх останавливается только на последней кампании, потому что Артаксеркс в ней участвовал лично.

[21] *... садами...* – разведение парков было неизвестно в Греции, само слово для них пришло из персидского языка (paradeisos – сперва "сад", потом "рай").

[22] *... прямую китару.* – Т.е. тиару; см.: Фем., примеч. 49.

[23] *Анаитида* – богиня плодородия и стихийных сил природы; становится популярна в Иране именно при Артаксерксе (как и Митра, упоминаемый в гл. 4).

[24] *Совет поспешный нас ведет дорогой зла...* – Слова из неизвестной трагедии Софокла.

[25] *... в заговор были вовлечены уже очень многие...* – Т.е. 50 сыновей Артаксеркса от его наложниц, не имевшие сами права на престол. Всего у царя было 115 сыновей, но от Статиры только трое: Дарий, Ариасп и Ох.

АРАТ

[1] *... по слову Пиндара...* – "Пифийские оды", 8, 44.

[2] *С тех пор как город сикионян расстался с подлинно дорийским... строем...* – Речь идет о тираннических режимах, насаждавшихся в греческих городах эллинистическими монархами (с одной стороны, македонскими, с другой – египетскими). Падение Клеона (Элиан, XII, 43, называет его морским разбойником) относится к 264 г., падение Никокла – к 251 г.

[3] *... много ел...* – Греки были умеренны в еде, но атлетам полагалась очень обильная мясная диета, вредное действие которой умерялось физическим трудом (лопатой и заступом).

[4] *... по его "Воспоминаниям"...* – Это большое (около 30 книг) сочинение было главным источником Плутарха здесь и в биографиях Агида и Клеомена.

[5] *... царские табуны...* – Т.е. принадлежавшие царю Македонии.

[6] *Стратегий* – здание военного совета; здесь, по-видимому, упоминается в качестве главной военной ставки тиранна.

[7] *... дорийцы по происхождению...* (население Лаконии, Мессении, Арголиды с прилегающими областями Коринфа и Сикиона) – были последней волною греческих переселенцев, оседавших на Пелопоннесе, и чувствовали себя потомками победителей, а ахейцы (население северного и центрального Пелопоннеса) считались потомками побежденных и в классическую эпоху (V–IV вв.) политической роли не играли.

[8] *Царь...* – Птолемей II (285–246), союзник ахейцев против Македонии.

[9] *... Адрия...* – Текст испорчен; может быть, имеется в виду Андрос, остров к югу от Эвбеи.

[10] *... в самой скене...* – Т.е. театральной палатке, из которой выходили играть на "проскений" переодетые актеры.

[11] *... на другом берегу залива...* – Имеется в виду Коринфский залив напротив Ахайи. Арат и беотийцы должны были с двух сторон разбить войско этолийского союза, но план не удался, и Беотия попала в зависимость от Этолии.

[12] *... Александр...* – Этот Александр был сыном Кратера, единоутробного брата Антигона, державшего македонский контроль над Коринфом и Эвбеей; но после смерти отца он отложился от Антигона, пытался вести самостоятельную политику, вошел в союз с ахейцами и погиб.

[13] *... к Герею.* – Мыс (с храмом Геры, отсюда назва́ние), с Коринфского перешейка выдающийся в Коринфский залив.

[14] *Орхестра* в театре – большая круглая площадка перед сценой с алтарем в середине.

[15] *Немейские игры* – первоначально устраивались в Немейской долине под наблюдением властей соседнего города Клеон; но скоро это покровительство над играми перешло к аргивянам, а потом и самые игры были перенесены в Аргос.

[16] *... у Эзопа...* – Басня 446П. (198Х.) в рукописных сборниках отсутствует. Поверье, что в кукушку превращается на время ястреб-перепелятник, опровергалось еще Аристотелем ("История животных", VI, 7, 41), но дожило до очень позднего времени.

[17] *... поражение при Ликее...* – См.: Кл., 5.

[18] *... охотник у Эзопа...* – Эзопова басня (269П.) о коне, который, желая отомстить оленю, взял в союзники человека и потом уже не мог от него освободиться, в политическом применении приводилась еще Аристотелем ("Риторика", II, 20).

[19] *... Полибий утверждает...* – II, 47–48.

[20] *Получив... неограниченную власть...* – Только в Сикионе, а не в целом союзе.

[21] *Скалистый берег* – "Акта", большой полуостров, которым выдается в море Арголида.

[22] *Демиурги* – высшие должностные лица в городах Ахейского союза.

[23] *... ссылаясь на закон возмездия.* – Незадолго до того мантинейцы с помощью лакедемонян перебили стоявший в их городе ахейский гарнизон.

[24] *"веселая Мантинея"* – так называет этот город Гомер ("Илиада", II, 607).

[25] *Ифомата* – святилище Зевса Ифомского на горе Ифоме, твердыне Мессении.

[26] *... потерпел полную неудачу...* – Речь идет о I македонской войне с Римом (215–205), когда Филипп намеревался послать флот к Италии в помощь Ганнибалу, но появление римской флотилии расстроило его планы.

[27] ... *видное отовсюду место...* – Т.е. место перед бывшим дворцом тираннов; это святилище описывает Павсаний, II, 8,2.

[28] *Разбитый римлянами...* – Имеется в виду поражение Филиппа во II Македонской войне, описанное в биографии Тита.

ГАЛЬБА

[1] ... *Павел Эмилий... отдал... приказ...* – См.: ЭмП., 13.

[2] ... *Платон... полагал...* – См., напр.: "Государство", II, 376 с.

[3] ... *раздираемая на много частей...* (как Титаны, казнимые в Тартаре) – В междуцарствие 68–69 гг. н.э. почти каждая окраинная римская армия выдвигала своего претендента на императорскую власть: галльская – Виндекса, испанская – Гальбу, германская – Вителлия, восточная – Веспасиана.

[4] ... *того уроженца Феры...* – По-видимому, это Полидор, брат и кратковременный преемник Александра Ферского (370 г.).

[5] ... *дом Цезарей, Палатин... принимал четверых императоров...* – Начиная с Августа императоры строили здесь свои жилища, и постепенно почти весь Палатин обратился в императорскую резиденцию. *Четверых императоров* – т.е. Нерона (погиб в октябре 68 г.), Гальбу (убит 15 января 69), Отона (покончил самоубийством 14 апреля 69), Вителлия (убит 24 декабря 69), после которых к власти пришел Веспасиан.

[6] ... *положение Нерона сделалось безнадежно... как сказано...* – Упоминается биография Нерона, до нас не дошедшая. Положение Нерона сделалось безнадежным после того, как за Виндексом восстали Гальба в Испании и Клодий Макр в Африке, а войска отказались поддержать Нерона.

[7] *Начальник двора* – так Плутарх называет начальника преторианцев, императорской гвардии, лагерь, которой находился на окраине Рима.

[8] ... *к роду Сервиев...* – В роде Сульпициев почти все мужчины носили личное имя Сервий.

[9] *Императорские управляющие* – прокураторы, финансовые чиновники, собиравшие налоги в частную казну императора и независимые от провинциальных наместников.

[10] ... *провозгласили императором Гальбу* (см. гл. 2). – 8 июня 68 г. Нерон покончил с собою на следующий день.

[11] ... *в лагере...* – У преторианцев; см. примеч. 7.

[12] *Консулы* 68 г. н.э. – Тиб. Силий Италик (впоследствии известный поэт, автор "Пуники") и П. Галерий Трахал.

[13] *Двойные грамоты* (т.е. сложенные вместе и скрепленные печатью две таблички, по-гречески diplomata, откуда русское "диплом") – род мандата, исходящего от высших властей и заключающего в себе рекомендацию, предоставление каких-либо льгот предъявителю и т.п.

[14] *Принкипиа* – место, где стояли алтари богов и боевые знамена, а потому и самое оно было священным.

[15] ... *объявил солдатам...* – Матросы стояли на общественной лестнице несравненно ниже легионеров и поэтому так боялись потерять свое новое положение.

[16] *Гесиод учит...* – "Работы и дни", 366 (пер. В. Вересаева).

[17] ... *тот, кто сперва превратил Нерона в злодея...* – Тигеллин.

[18] ... *под начальством Тигеллина...* – По-видимому, описка, и следует читать "Вителлия" (преемника Фонтея Капитона и будущего императора).

[19] ... *Гомер часто называет* (Париса)... – Напр., "Илиада", III, 328.

[20] ... *перед собственною супругою...* – Т.е. Октавией, дочерью императора Клавдия, образ которой идеализировался оппозиционной историографией. Ниже она названа "сестрой" Нерона, ибо тот был усыновлен Клавдием.

[21] *Его отец...* – Луций Вителлий, консул 34, 43 и 47 гг. н.э., крупный политик и дипломат.

[22] ... *в шестой день...* – 15 января 69 г.: по римскому порядку надо считать и день усыновления и день убийства.

[23] *Дом Тиберия... к Золотому столбу...* – Часть дворцового комплекса на Палатине. Золотой мильный столб был поставлен по приказу Августа на форуме перед храмом Сатурна как конец всех дорог, ведущих в Рим, и на нем были обозначены расстояния от главнейших городов Италии до Рима.

[24] ... *через Павлову базилику.* – Базилика Эмилия Павла стояла на северной стороне форума, откуда и наступали из своего лагеря преторианцы.

[25] ... *изображение Гальбы...* – Медальон на легионном знамени.

[26] *Куртиос Лаккос* – см.: Ром., 18.

[27] *У Архилоха...* – Отрывок в пер. В. Вересаева.

[28] ... *Подлинным императором...* – Т.е. победоносным полководцем (ср.: Сул., примеч. 4).

ОТОН

[1] ... *обещали консульство...* – В эпоху империи консульское звание стало наградой, которую императоры раздавали доверенным лицам; чтобы шире удовлетворить их, назначения стали раздаваться заранее ("консулы-десигнаты") и, кроме главной пары консулов, стали назначаться "сменные" ("консулы-суффекты", как Вергиний Руф).

[2] *Пэна* – римская богиня, олицетворение мести и кары.

[3] *Хранитель Рима* – так Плутарх называет должность городского префекта, заместителя императора по управлению столицей.

[4] ... *обзывая их скоморохами... от дельфийского Пифона и Олимпии...* – Т.е. праздными зрителями пифийских и олимпийских игр – намек на привольную жизнь преторианской гвардии в Риме.

[5] *Галльское платье* – с рукавами и шароварами, непривычными в Риме и Греции.

[6] ... *Проку от пленных никакого...* – Сограждан невозможно было обратить в рабов и продать.

[7] ... *будет рассказано в своем месте.* – Т.е. в жизнеописании Вителлия (не сохранившемся).

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

В таблицу включены важнейшие исторические события, упоминаемые Плутархом. В скобках указаны главы, где упоминается событие. Указания "до н.э." и "н.э." опускаются, когда они ясны из контекста, т.е. всюду, кроме перелома летоисчисления при Августе. Таблица составлена М.Л. Гаспаровым*.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВРЕМЕНА

(даты античных историков и мифографов)

1466 – Царь Данай в Аргосе.
1313 – Царь Кадм в Фивах.
1261–1209 – Геракл (Тес., 6).
1235 – Царь Тесей в Афинах объединяет Аттику (Тес., 24).
1225 – Плавание аргонавтов (Тес., 29).
1213 – Поход Семерых против Фив (Тес., 29).
1192–1183 – Троянская война (Кам., 19).
ок. 1150 – Асканий, сын Энея, основывает Альбу Лонгу в Италии (Ром., 3).
1104 - Переселение дорян в Пелопоннес.
866 – Законы Ликурга в Спарте (по Эратосфену).

АРХАИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

776 – Начало счета олимпиад в Греции: предполагаемое время жизни Ликурга (по Аристотелю) (Лик., 1).
753 – Традиционная дата основания Рима (Ром., 11–12).
753–716 – Царствование Ромула.
714–671 – Царствование Нумы Помпилия.
671–640 – Царствование Тулла Гостилия.
640–615 – Царствование Анка Марция.
ок. 636 – "Килонова скверна" в Афинах (Сол., 12; Пер., 33).
ок. 625–584 – Тиранн Периандр в Коринфе. Время "семи мудрецов" (Сол., 4).
621 – Законы Драконта в Афинах (Сол., 17).
615–578 – Царствование Тарквиния Старшего.
ок. 600 – Война Афин с Мегарами за Саламин по побуждению Солона (Сол., 8).
594 – Законодательство Солона в Афинах (Сол., 14).
578–534 – Царствование Сервия Туллия.
ок. 561, 551, 539–527 – Три захвата власти Писистратом в Афинах (Сол., 29–32).
ок. 560 – Смерть Солона (Сол., 32).
560–546 – Крез, царь Лидии; легендарная встреча его с Солоном (Сол., 27–28).
ок. 540 – Расцвет философа Пифагора (Нума, 1). Родился Аристид.
534–509 – Царь Тарквиний Гордый (убит в 494).
ок. 525 – Родился Фемистокл.
514 – Убийство Гиппарха, сына Писистрата, Гармодием и Аристогитоном.

---

* Все сокращения заглавий см. в преамбуле к комментарию (т. I). Сокращения типа "Тес./Ром." относятся к "Сопоставлению" Тесея и Ромула и т.п.

ВРЕМЯ ФЕМИСТОКЛА И КОРИОЛАНА

510 – Падение тираннии в Афинах. Падение царской власти в Риме (Поп., 1; ТГр., 15).
ок. 510 – Родился Кимон (Ким., 4).
509 – Первые римские консулы Брут и Коллатин, потом Попликола. Заговор и смерть сыновей Брута (Поп., 1–12) Гибель Брута и законы Попликолы.
508 – Реформы Клисфена в Афинах (Ар., 2). Война Рима с Порсеной (Поп., 16).
507 – Подвиг Муция Сцеволы (Поп., 17).
505–499 – Война Рима с сабинами (Поп., 20–23).
500–494 – Неудачное ионийское восстание (при поддержке афинян) против Персии, сожжение Сард (Ар., 5).
ок. 499 – Война Рима с латинами, победа при Регилльском озере (Гай., 3; ЭмП., 25).
ок. 495 – род. Перикл (Пер., 3).
494 – Уход плебеев из Рима на Священную Гору. Учреждение трибуната (Гай, 6–7).
493 – Взятие Кориол, подвиги Гая Марция (Гай, 8). Латинская колония в Велитрах (Гай, 13).
491 – Выступление Гая Марция против трибунов и его изгнание (Гай, 16–21).
490 – Поход Датиса на Грецию, победа Мильтиада при Марафоне; Аристид – один из стратегов (Фем., 3; Ар., 5).
489 – Осуждение и смерть Мильтиада (Фем., 4; Ар., 26; Ким., 4).
488 – Поход Гая Марция с вольсками на Рим, его отступление и смерть (Гай, 28–39).
487–481 – Война между Афинами и Эгиной (Фем., 4).
483 – Постройка нового афинского флота на лаврийское серебро (Фем., 4).
482 – Остракизм Аристида (Фем., 5,11; Ар., 7).
481 – Конгресс на Истме, общий мир между греками (Фем., 6).
480 – Нашествие Ксеркса на Грецию: конец августа – Фермопилы, Артемисий, конец сентября – Саламин (Фем., 5–17; Ар., 8–9). Победа Гелона Сиракузского над карфагенянами при Гимере (Тим., 23).
479 – Поражение Мардония при Платее (Фем., 16; Ар., 11–21) и персидского флота при Микале (ЭмП., 25).
479–478 – Постройка афинских стен (Фем., 19).
478 – Павсаний в Византии; он отозван в Спарту (Ким., 6). Основание афинского морского союза (Ар., 24–25).
476–475 – Кимон берет Эион (Ким., 7) и переносит прах Тесея со Скироса в Афины (Ким., 8; Тес., 36).
ок. 473 – Остракизм Фемистокла (Фем., 21).
472 – Падение и смерть Павсания (Фем., 23).
471 – Бегство Фемистокла (Фем., 24).
468 – Первая театральная победа Софокла (Ким., 8).
ок. 468 – Смерть Аристида (Ар., 26). Победа над персами при Эвримедонте (Ким., 12).
466 – Кимон занимает Херсонес (Ким., 14).
465 – Смерть Ксеркса. Фенистокл у персидского царя (Фем., 27).
ок. 465 – Расцвет философа Зенона Элейского, учителя Перикла (Пер., 4).

ВРЕМЯ ПЕРИКЛА

464 – Землетрясение и восстание илотов в Спарте (Ким., 16).
462 – Восстание в Египте против персов (Фем., 31). Реформа Эфиальта: ограничение политической роли ареопага (Пер., 9; Ким., 15). Перикл вводит жалованье судьям (Пер., 9). Поход Кимона на помощь Спарте (Ким., 16).
461 – Остракизм Кимона (Ким., 17). Убийство Эфиальта (Пер., 10).
459 – Поход афинского флота на помощь египетскому восстанию (Фем., 31).
ок. 459 – Умер Фемистокл (Фем., 31).
457 – Битва при Танагре (Ким., 17; Пер., 10).
456 – Смерть поэта Эсхила (Ким., 8). Завершение Длинных Стен в Афинах.
454 – Поражение афинян в Египте (Ким./Лук., 3). Перенесение союзной казны с Делоса в Афины (Пер., 12). Поход Перикла вокруг Пелопоннеса (Пер., 18).

451 – Закон об ограничении афинского гражданства (Пер., 37). Возвращение Кимона из изгнания (Ким., 17).
ок. 450 – Родился Алкивиад.
449 – Поход Кимона к Кипру, битва при Саламине Кипрском, смерть Кимона (Ким., 18–19). Каллиев мир с Персией (Ким., 13).
448 – Попытка всегреческого конгресса в Афинах (Пер., 17). "Священная война" дельфийцев и фокидян (Пер., 21).
447 – Поражение афинян при Коронее в Беотии (Пер., 18; Алк., 1; Агес., 19). Военные колонии афинян (клерухии) в Херсонесе, Наксосе и др. (Пер., 11, 18).
447–438 – Строительство Парфенона в Афинах (Пер., 13).
446 – Отпадение Эвбеи и Мегар, поход Плистоанакта в Аттику (Пер., 22). 30-летний мир между Афинами и Спартой (Пер., 24).
445 – Основание Фурий в Италии на месте древнего Сибариса (Пер., 11; Ник., 5).
444 – Остракизм Фукидида, соперника Перикла (Пер., 6,14). Перикл – ежегодный стратег в Афинах (Пер., 16). Род. Агесилай (Агес., 1).
440–439 – Восстание и осада Самоса (Фем., 2; Пер., 24–29).
439 – Сп. Мелий покушается на тираническую власть в Риме (Брут, 1).
ок. 437 – Поход Перикла в Понт (Пер., 20).
436–431 – Строительство Пропилеев на афинском акрополе (Пер., 13).
432 – Помощь афинян Керкире против Коринфа. Постановление против мегарян (Пер., 30). Поход на Потидею (Алк., 7). Преследование Аспасии, Фидия и Анаксагора (Пер., 31–32).
431 – Начало Пелопоннесской войны: первое вторжение спартанцев в Аттику (Пер., 33). Первая победа Камилла над латинами (Кам., 2).
430 – Чума в Афинах (Пер., 34).
429 – Умер Перикл (Пер., 28).

ВРЕМЯ АЛКИВИАДА И НИКИЯ

427 – Восстание и подавление Митилен, самоубийство Пахета (Ар., 26; Ник., 6). Никий осаждает Мегары (Ник., 6).
426 – Поражение афинян в Этолии (Ник., 6).
425 – Демосфен занимает Пилос. Победа Клеона при Сфактерии (Ник., 7–8).
424 – Никий занимает Киферу и делает набег на Фирею. Поражение афинян при Делии в Беотии (Ник., 6; Алк., 7).
423 – Победы Никия во Фракии (Ник., 6).
422 – Битва при Амфиполе, гибель Клеона и Брасида (Ник., 9; Лик., 25).
421 – Никиев мир (Ник., 9).
420 – Спартанские и аргосские послы в Афинах (Ник., 10; Алк., 14–15).
418 – Победа спартанцев над отпавшими союзниками при Мантинее (Алк., 15).
417 – Остракизм Гипербола (Ар., 7; Алк., 13; Ник., 11). Алкивиад укрепляет Аргос (Алк., 15).
416 – Победа Алкивиада на играх в Олимпии (Алк., 11). Расправа афинян с Мелосом (Алк., 16).
415 – Сицилийский поход, повреждение герм и бегство Алкивиада в Спарту (Ник., 12–15; Алк., 17–23; Агес., 3).
414 – Осада Сиракуз Никием. Подкрепление Гилиппа (Ник., 17–19).
413 – Демосфен присоединяется к Никию; поражение афинян под Сиракузами и смерть Никия (Ник., 20–30). Спартанцы занимают Декелею – возобновление Пелопоннесской войны (Алк., 23, 24).
412 – Отпадение ионийских союзников от Афин. Алкивиад в Ионии, бегство его к Тиссаферну (Алк., 24).
411 – Олигархия Четырехсот в Афинах. Возвращение Алкивиада на Самос, победа его при Абидосе (Алк., 26–27). Восстановление демократии в Афинах, казнь Антифонта (Ник., 6).
410 – Победа Алкивиада при Кизике (Алк., 28).
408 – Алкивиад занимает Халкедон, Селибрию, Византий (Алк., 30–31). Кир Младший – персидский наместник Малой Азии (Арт. 2; Лис., 4).
407 – Алкивиад с торжеством возвращается в Афины (Алк., 31–32). Лисандр во главе спартанского флота; победа его при Нотии, падение и бегство Алкивиада (Алк., 35; Лис., 3–5).

406 – Калликратид во главе спартанского флота; победа над ним при Аргинусских островах (Пер., 37; Лис., 6–7).
405 – Лисандр в Милете; победа его над афинянами при Эгоспотамах (Алк., 37; Лис., 8–14). Дионисий Старший – тиранн Сиракуз (Дион, 3).
404 – Капитуляция Афин. "Тиранния Тридцати", убийство Алкивиада в Персии (Алк., 38–39; Лис., 14–15).

ВРЕМЯ АГЕСИЛАЯ И КАМИЛЛА

404–359 – Царствование Артаксеркса II в Персии.
403 – Падение "Тридцати", восстановление демократии в Афинах Фрасибулом (Лис., 21, 27). Камилл – цензор (Кам., 2).
ок. 402 – Родился Фокион.
401 – Поход Кира Младшего против Артаксеркса, гибель Кира при Кунаксе, отступление 10 000 греков (Арт., 6–11; Агес., 9).
ок. 400 – Ретра Эпитадея, конец ликургова"равенства" в Спарте (Агид, 5; Лик., 30).
399 – Агесилай в Спарте становится царем при поддержке Лисандра (Лис., 22; Агес., 4). Казнь Сократа в Афинах (Ник., 23).
398 – Дионисий Сиракузский подавляет мятеж и вновь утверждает свою тираннию (Дион, 3).
396 – Поход Агесилая в Азию (Лис., 23; Агес., 6–7). Камилл – диктатор; взятие Вей (Кам., 5).
395 – Победа Агесилая при Сардах (Агес., 10). Лисандр замышляет государственный переворот; гибель его при Галиарте (Лис., 24–29). Бегство спартанского царя Павсания Младшего (Агид, 3). Казнь сатрапа Тиссаферна (Арт., 23). Война и переговоры Агесилая с Фарнабазом (Агес., 12). Триумф Камилла (Кам., 7).
394 – "Коринфская война" Фив, Коринфа, Аргоса и Афин против Спарты. Возвращение Агесилая из Азии и победа его при Коронее (Агес., 15–18). Битва при Книде (Агес., 17; Арт., 21) и восстановление афинских стен.
393 – Камилл подчиняет Фалерии (Кам., 10).
391 – Изгнание Камилла (Кам., 12). Галлы под Клузием (Кам., 17).
390 – Нашествие галлов на Рим, возвращение Камилла (Кам., 18–30). Нападение Агесилая на Коринф (Агес., 21). Победа Ификрата над спартанцами (Агес., 22).
389 – Поездка Платона к Дионисию Старшему (Дион, 5). Камилл – диктатор в третий раз (Кам., 33).
386 – Анталкидов мир; конец Коринфской войны (Агес., 23; Арт., 21).
384 – Родился Демосфен. Казнь Манлия Капитолийского (Кам., 36).
382 – Спартанцы захватывают Кадмею в Фивах (Пел., 5; Агес., 23).
381 – Камилл – в шестой раз военный трибун (Кам., 37).
379 – Пелопид освобождает Фивы (Пел., 8–12).
378 – Неудачное нападение Сфодрия на Пирей (Агес., 24–25; Пел., 14). Афины – в союзе с Фивами (Пел., 15). Организация второго афинского морского союза.
376 – Победа Хабрия над спартанцами при Наксосе (Фок., 6).
375 – Поражение спартанцев при Тегирах (Пел., 16–17; Агес., 27).
374 – Ификрат помогает Артаксерксу против восставшего Египта (Арт., 24).
371 – Попытка мирного конгресса в Спарте (Агес., 27–28). Поражение спартанцев при Левктрах, гибель царя Клеомброта (Агес., 28; Пел., 20–23; Агид, 21).
370 – Первое вторжение Эпаминонда в Пелопоннес, основание Мессены и Мегалополя (Агес., 34; Пел., 24–25).
369 – Второе вторжение Эпаминонда в Пелопоннес (Пел., 24; Агес., 31). Попытка заговора в Спарте (Агес., 32).
368 – "Бесслезная битва" при Мидее: победа Спарты над аркадянами (Агес., 33). Пелопид в Фессалии и Македонии; Филипп Македонский – заложник в Фивах (Пел., 26–27). Камилл – диктатор в 4-й раз; законы Лициния – Секстия в пользу плебеев (Кам., 39).
367 – Пелопид – пленник Александра Ферского (Пел., 28–29). Пелопид и другие греческие послы у Артаксеркса (Пел., 30; Арт., 22). Смерть Дионисия Старшего, Дионисий Младший у власти в Сиракузах (Дион, 6). Камилл – диктатор в 5-й раз, победа его над галлами (Кам., 40–41).
366 – Первая поездка Платона к Дионисию Младшему (Дион, 13). Изгнание Диона из Сиракуз (Дион, 14). Тиранния Тимофана в Коринфе и убийство его Тимолеонтом (Тим., 4).

365 – Смерть Камилла (Кам., 43). Дело об Оропе в Афинах (Дем., 5).
364 – Гибель Пелопида в битве с Александром Ферским (Пел., 32). Первое выступление Демосфена (Дем., 6).
362 – Расправа фиванцев с Орхоменом (Пел./Марц., 1). Мантинея передается Спарте; четвертое вторжение Эпаминонда в Пелопоннес, битва при Мантинее и его гибель (Агес., 34–35).
362–360 – Восстание Таха в Египте, Агесилай и Хабрий у него на службе (Агес., 36; Арт., 22).
361–360 – Вторая поездка Платона к Дионисию Младшему (Дион, 19).
360 – Смерть Агесилая на пути из Египта (Агес., 40). Заговор и казнь Дария, сына Артаксеркса (Арт., 29).
358 – Убийство Александра Ферского (Пел., 35).

ВРЕМЯ ДЕМОСФЕНА И АЛЕКСАНДРА

357 – "Союзническая война" Хиоса, Родоса, Византия и др. против Афин (Дем., 17). Гибель Хабрия (Фок., 6). Дион отплывает на Сицилию (Дион, 22–25).
356 – Дион изгоняет Дионисия Младшего из Сиракуз (Дион, 26–50). Фокидяне захватывают Дельфы, начало "Священной войны" (Тим., 30). Род. Александр Македонский (Ал., 3).
354 – Дион убит Каллиппом (Дион, 57; Тим., 1). Речь Демосфена против Лептина (Дем., 15). Тимофей после поражения в Союзнической войне привлечен к суду и уходит в изгнание (Сул., 6).
351 – Первые "Филиппики" Демосфена (Дем., 12). Гибель Каллиппа в Сицилии (Дион, 58).
346 – Возвращение Дионисия Младшего в Сиракузы (Тим., 1). Афинские послы в Македонии (Дем., 16), "Филократов мир" с Филиппом.
344 – Поход Тимолеонта в Сицилию, окончательное низложение Дионисия Младшего (Тим., 8–13); Дионисий в изгнании в Коринфе (Тим., 14–15).
343 – Тимолеонт овладевает Сиракузами и низлагает тираннов в сицилийских городах (Тим., 17–23).
342 – Аристотель – при македонском дворе как учитель Александра (Ал., 7). Фокион укрепляет Мегары (Фок., 15).
341 – Победа Тимолеонта над карфагенянами при Кримиссе (Тим., 26–29). Фокион освобождает Эвбею (Фок., 12; Дем., 17).
340 – Нападение Филиппа Македонского на Византий и Перинф; Демосфен объезжает греческие города (Ал., 9; Фок., 14; Дем., 17).
339 – Нападение амфисян на Дельфы; Филипп Македонский карательным походом занимает Фокиду (Дем., 17).
338 – Союз Афин и Фив против Македонии, битва при Херонее; Коринфский конгресс объявляет общегреческий мир (Дем., 17–20; Фок., 16; Ал., 9).
337 – Смерть Тимолеонта (Тим., 39). Брак Филиппа и Клеопатры (Ал. 9).
336 – Убийство Филиппа Македонского, воцарение Александра (Ал., 10; Дем., 22; Фок., 16). Род. Деметрий, сын Антигона (Дем., 2).
335 – Поход Александра на Иллирию. Восстание и разорение Фив (Ал., 11), спор о выдаче афинских вождей (Дем., 23; Фок., 17).
334 – Поход Александра на Персию, битва при Гранике (Ал., 15–16).
333 – Битва при Иссе (Ал., 20).
332 – Взятие Тира (Ал., 25).
331 – Александр в Египте, основание Александрии (Ал., 26). Битва при Гавгамелах (Ал., 31).
330 – Александр в Сузах и Персеполе (Ал., 36–38). Смерть Дария (Ал., 43). Казнь Филота и Пармениона (Ал., 49). Антипатр подавляет восстание в Спарте: битва при Мегалополе (Агид, 3; Дем., 24; Агес., 15). Дело о венке в Афинах (Дем., 24).
329 – Александр в Бактрии.
328 – Убийство Клита и казнь Каллисфена (Ал., 50–55).
327 – Поход Александра на Индию (Ал., 57).
326 – Победа Александра над Пором (Ал., 60). Спуск по Инду (Ал., 66). Эвмен – начальник конницы при Александре (Эвм., 1).

325 – Возвращение Александра через Иран (Ал., 67).
324 – Александр в Сузах. Смерть Гефестиона (Ал., 72). Бегство Гарпала в Афины с казной Александра (Ал., 25; Фок., 21).
323 – Смерть Александра в Вавилоне (Ал., 76; Фок., 22); царями объявлены Филипп-Арридей и новорожденный Александр Младший, регент – Пердикка; раздел сатрапий (Эвм., 3). Восстание афинян против Македонии, Ламийская ("Леосфенова") война (Тим., 6; Дем., 27; Фок., 23; Пирр, 1).
322 – Антипатр разбивает греков при Кранноне и при Аморгосе, гарнизон в Афинах, смерть Демосфена (Дем., 11, 29; Фок., 26–29).

ВРЕМЯ ДЕМЕТРИЯ И ПИРРА

321 – Антипатр с Кратером идут на Азию; победа Эвмена над Кратером (Эвмен, 7).Смерть Пердикки в Египте, регент – Антипатр (Эвм., 8).
320 – Антигон разбивает Эвмена и осаждает его в Норах (Эвм., 9–11).
319 – Смерть Антипатра, регент – Полисперхонт; Кассандр, Антигон и Птолемей в союзе против него, Эвмен в союзе с ним (Эвм., 12). Казнь оратора Демада (Дем., 31; Фок., 30). Родился Пирр (Пирр, 1).
318 – Полисперхонт в борьбе против Кассандра объявляет греков свободными. Казнь Фокиона (Фок., 32–37).
317–307 – Деметрий Фалерский, ставленник Кассандра, у власти в Афинах.
317 – Поход Эвмена в Месопотамию на соединение с Певкестом против Антигона (Эвм., 13–16).
316 – Поражение Эвмена и Певкеста в Мидии, плен и смерть Эвмена (Эвм., 16–19).
315–311 – Война Антигона против Птолемея (Д-й, 5).
313 – Переворот в Эпире, спасение малолетнего Пирра (Пирр, 2).
312 – Победа Птолемея над Деметрием при Газе (Д-й, 5). Борьба Деметрия и Селевка за Вавилон (Д-й, 7).
307 – Воцарение 12-летнего Пирра в Эпире (Пирр, 3).
307–302 – Война Антигона против Кассандра (Д-й, 7). Деметрий Полиоркет освобождает Афины от Деметрия Фалерского и занимает Мегары (Д-й, 8).
306 – Победа Деметрия над Птолемеем при Саламине Кипрском (Д-й, 16). Антигон, Птолемей, Лисимах и Селевк принимают царские титулы (Д-й, 18).
305–304 – Деметрий осаждает Родос (Д-й, 21–22).
304–302 – Деметрий вытесняет Кассандра из Греции; он провозглашен "вождем Эллады" (Д-й, 25).
302 – Пирр изгнан из Эпира и присоединяется к Деметрию (Пирр, 4).
301 – Союз Птолемея, Лисимаха, Селевка и Кассандра против Антигона; битва при Ипсе, гибель Антигона, раздел его державы (Д-й, 28–30).
300 – Деметрий в Эгейском море; Селевк заключает с ним союз (Д-й, 31).
299 – Мир Деметрия с Птолемеем; Пирр – его заложник в Египте (Пирр, 5).
297 – Смерть Кассандра, Лахар – тиран в Афинах (Д-й, 33).
296 – Пирр возвращается на царство в Эпире (Пирр, 5).
295 – Деметрий занимает Афины (Д-й, 34), Пирр – часть Македонии (Пирр, 6).
294 – Раздоры сыновей Кассандра. Деметрий – царь Македонии (Д-й, 36; Пирр, 7).
293–291 – Двукратное взятие Фив Деметрием (Д-й, 39–40).
292 – Селевк делит власть со своим сыном Антиохом (Д-й, 38).
291 – Лисимах в плену у гетов (Д-й, 39).
290 – Пифийские празднества в Афинах (Д-й, 40).
289 – Война Деметрия с Пирром (Д-й, 41; Пирр, 7–10). Деметрий замышляет поход в Азию (Д-й, 43).
288 – Союз Птолемея, Лисимаха, Селевка и Пирра против Деметрия. Бегство Деметрия и раздел Македонии между Лисимахом и Пирром (Д-й, 44; Пирр, 11–12).
287 – Деметрий в Малой Азии (Д-й, 46).
286 – Лисимах вытесняет Пирра из Македонии (Пирр, 12).
285 – Деметрий сдается Селевку (Д-й, 49).
283 – Смерть Деметрия в плену (Д-й, 52).

282 – Конфликт Рима с Тарентом (Пирр, 13).
280 – Поход Пирра в Италию, победа его при Гераклее (Пирр, 15–16). Посольства Кинея и Фабриция (Пирр, 18–21). Организация Ахейского союза.
279 – "Пиррова победа" при Аскуле (Пирр, 21).
279–275 – Нашествие галлов на Грецию и Малую Азию (Ким., 1; Пирр, 22).
278–276 – Поход Пирра в Сицилию (Пирр, 22–24).
276–239 – Антигон II Гонат, сын Деметрия – царь Македонии.
275 – Поражение Пирра при Беневенте (Пирр, 25). Возвращение его в Эпир.
274 – Нападение Пирра на Македонию (Пирр, 26).
272 – Нападение Пирра на Пелопоннес; гибель его в Аргосе (Пирр, 26–34).

ВРЕМЯ АРАТА И КЛЕОМЕНА

ок. 271 – Родился Арат (Ар., 2).
265 – "Хремонидова война" Афин и Спарты против Антигона II. Битва при Коринфе, смерть спартанского царя Арея I (Агид, 3).
264 – Тиранния Абантида в Сикионе (Ар., 3).
264–241 – I Пуническая война.
ок. 253 – Род. Филопемен (Фил., 1).
251 – Арат освобождает Сикион и присоединяет его к Ахейскому союзу. Поездка Арата к Птолемею II (Арат, 5–15; Фил, 1).
245 – Арат – стратег Ахейского союза; неудачная борьба с этолийцами за Беотию (Арат, 16). Война Селевка II с Птолемеем III, битва при Андросе (Пел., 2).
244 – Лидиад – тиранн в Мегалополе; Агид IV – царь в Спарте.
243 – Арат освобождает Коринф и присоединяет его к Ахейскому союзу (Арат, 16–23). Реформы Агида в Спарте, низложение Леонида (Агид, 8–12).
241 – Арат и Агид под Коринфом (Арат, 31; Агид, 15). Победа Арата над этолийцами при Пеллене (Арат, 31–32). Падение и казнь Агида (Агид, 16–20). Мир Рима с Карфагеном (Марц., 3).
240 – Аристипп – тиранн Аргоса; нападение Арата на Аргос (Арат, 25) и на Афины (Арат, 33).
239–229 – Деметрий II – царь Македонии (Арат, 34).
238 – Война римлян с галлами, единоборство Марцелла (Марц., 3–8).
237–221 – Клеомен III – царь в Спарте (Кл., 3).
236 – Нападение Арата на Аргос, битва при Харете (Арат, 28).
235 – Нёмейские игры в Клеонах (Арат, 28). Нападение Арата на Аргос, гибель Аристиппа (Арат, 29). Поражение Арата при Филакии в Фессалии (Арат, 34).
234 – Лидиад слагает тираннию и присоединяет Мегалополь к Ахейскому союзу (Арат, 30). Родился Катон Старший (КСт., 1).
233 – 1-е консульство Фабия Максима (Фаб., 2).
229–221 – Антигон III Досон – царь Македонии.
229 – Арат освобождает Афины от македонского гарнизона. Аристомах слагает тираннию и присоединяет Аргос к Ахейскому союзу (Арат, 34–35).
228 – Клеомен начинает войну с Ахейским союзом (Кл., 4).
227 – Клеомен разбивает Арата при Ликее (Арат, 36; Кл., 5) и Лидиада при аркадских Левктрах (Арат, 37; Кл., 6). Он низлагает эфоров и начинает реформы (Кл. 7–11).
226 – Нападение Клеомена на Мегалополь (Кл., 12). Мантинея переходит от Ахейского союза к Клеомену (Арат, 29; Кл., 14).
225 – Нападение Клеомена на Ахайю, битва при Гекатомбее (Кл., 14).
224 – Аргос и Флиунт переходят к Клеомену (Арат, 29; Кл., 17, 19). Арат – диктатор в Сикионе (Арат, 40).
223 – Клеомен в Коринфе, он разоряет Сикион. Арат – верховный стратег; ахейцы призывают на помощь Антигона III (Арат, 41–43; Кл., 16, 19). Вторжение македонян (Кл., 20–21). Клеомен отступает; его союз с Птолемеем III, его мать и дети – заложники в Египте (Кл., 22).
222 – Клеомен вооружает илотов; он разоряет Мегалополь (Кл., 23; Фил., 5), ахейцы – Мантинею (Арат, 45).

221 – Поражение Клеомена при Селласии (Кл., 29; Арат 46), бегство его в Египет (Кл., 31). Антигон занимает Спарту (Кл., 30). Птолемей IV – царь Египта (Кл., 33).
221–179 – Филипп V – царь Македонии.
221–206 – Маханид – тиранн Спарты.
220–217 – Война между Ахейским и Этолийским союзами (Арат, 47).
ок. 220–210 – Филопемен воюет на Крите (Фил., 7).
219 – Мятеж и гибель Клеомена в Александрии (Кл., 37).

ВРЕМЯ ФИЛОПЕМЕНА И ФЛАМИНИНА

219 – 202 – II Пуническая война.
218– Вторжение Ганнибала в Италию, поражение римлян при Требии (Фаб., 2–3).
217 – Поражение римлян при Тразименском озере (Фаб., 3), диктатура Фабия Максима (Фаб., 3–13). Катон впервые на войне (КСт., 1).
216 – Эмилий Павел Старший и Теренций Варрон – консулы; поражение при Каннах, Ганнибал в Капуе (Фаб., 14–18, Марц., 9; ЭмП., 2).
215 – Успех Марцелла при Ноле (Марц., 10–11).
214 – Поход Марцелла в Сицилию (Марц., 13), Катон при нем военным трибуном (КСт., 3). Волнения в Мессении, столкновение Арата с Филиппом V (Арат, 49–50).
213 – Смерть Арата (Арат, 53).
212 – Взятие Сиракуз Марцеллом (Марц., 18–19), взятие Капуи Фульвием и Аппием (Пер./Фаб., 2).
211 – 205 – I Македонская война: Рим в союзе с Этолией и Пергамом против Филиппа V.
210 – 4-е консульство Марцелла; жалобы на него сицилийцев и успехи его в Лукании (Марц., 23–24).
209 – Фабий Максим отбивает у Ганнибала Тарент (Фаб., 21–23; Кст., 2; Тит, 1), Марцелл отвлекает Ганнибала у Канузия (Марц., 25–26).
208 – Филопемен – начальник конницы Ахейского союза. Битва при Лариссе (Фил., 7). Смерть Марцелла (Марц., 29; Фаб., 19).
207 – Филопемен – стратег Ахейского союза. Его победа над спартанским тиранном Маханидом при Мантинее (Фил., 8, 10).
206 – 192 – Набид – тиранн Спарты, войны его с Ахейским союзом (Фил., 12).
205 – Чествование Филопемена на Немейских играх (Фил., 11). Спор Сципиона и Фабия Максима об африканском походе (Фаб., 25).
204 – Африканский поход Сципиона (Фаб., 26), Катон – квестор при Сципионе (КСт., 3).
203 – Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Смерть Фабия Максима (Фаб., 27).
200 – 196 – II Македонская война: Рим в союзе с ахейцами против Филиппа V и этолийцев.
ок. 200 – 193 – Филопемен воюет на Крите (Фил.,.13).
198 – Тит Фламинин – консул: его действия в Эпире и Фессалии (Тит, 3–6). Катон – претор в Сардинии (КСт., 6).
197 – Битва при Киноскефалах (Скотуссе): победа Фламинина над Филиппом V (Тит, 8; Фил., 14; ЭмП., 7–8).
196 – Мир римлян с Филиппом; Фламинин провозглашает в Коринфе “свободу Греции” (Тит, 10).
195 – Катон – консул, война его в Испании (КСт., 10). Фламинин участвует в войне против Набида (Тит, 13). Бегство Ганнибала в Азию (Тит, 9, 20).
194 – Триумф Фламинина (Тит, 13–14), триумф Катона (КСт., 11). Катон помогает Семпронию во Фракии (КСт., 12).
193 – Эмилий Павел – эдил (ЭмП., 3).
192 – Гибель Набида, Филопемен присоединяет Спарту к Ахейскому союзу (Фил., 15).
192 – 189 – Война Рима с Антиохом III и этолийцами (КСг., 12; Фил., 17).
191 – Поход Антиоха на Грецию и отражение его при Фермопилах (Тит, 15; КСт., 12–14).
190 – Битва при Магнесии, поражение Антиоха (Фил., 17). Эмилий Павел – претор, успехи его в Испании (ЭмП., 4).

189 – Фламинин – цензор (Тит, 18).
188 – Филопемен подавляет восстание в Спарте и разоряет город (Фил., 16).
187 – Безуспешное обвинение Петилия против Сципиона (КСт., 15). Сципион удаляется от дел (КСт., 24).

ВРЕМЯ КАТОНА И ЭМИЛИЯ ПАВЛА

184 – Катон – цензор (КСт., 16; Тит, 19). Смерть Ганнибала (Тит, 20).
183 – Восстание в Мессене против ахейцев, плен и казнь Филопемена (Фил., 18–19).
182 – Эмилий Павел – консул, война его с лигурами (ЭмП., 6).
179 – 168 – Персей – царь Македонии (ЭмП., 8).
173 – Царь Эвмен Пергамский в Риме (КСт., 8).
171 – 168 – III Македонская война: Рим против Персея. Первые неудачи римлян (ЭмП., 7, 9).
168 – Победа Эмилия над Персеем при Пидне (ЭмП., 10–22; КСт., 20).
167 – Триумф Эмилия Павла (ЭмП., 31–34). Отмена подати с римских граждан (ЭмП., 38).
164 – Эмилий Павел – цензор. Смерть царя Персея в римском плену (ЭмП., 37–38).
ок. 163 – Родился Тиберий Гракх (ТГр., 1).
160 – Смерть Эмилия Павла (ЭмП., 39).
156 – Родился Гай Марий (Мар., 3).
155 – Посольство трех философов в Риме (КСт., 22).
154 – Смерть Тиберия Семпрония, отца Гракхов (ТГр., 1). Род. Гай Гракх.
152 – Посольство Катона в Африку (КСт., 26).
151 – Попытка аграрной реформы Гая Лелия (ТГр., 8). Греческие заложники отпущены из Рима (КСт., 9).
149 – Речь 85-летнего Катона против Гальбы (КСт., 15). Смерть Катона (КСт., 27).
149 – 146 – III Пуническая война, разрушение Карфагена Сципионом Младшим (КСт., 27). При нем воюет Тиберий Гракх (ТГр., 4).
146 – Разрушение Коринфа Муммием; Македония и Греция – римские провинции (Мар., 1; Цез., 57).

ВРЕМЯ ГРАКХОВ

142 – Сципион Младший – цензор (ЭмП., 38).
140 – Лелий, друг Сципиона – консул (ТГр., 8).
138 – Родился Сулла (Сул., 1).
137 – Тиберий Гракх – квестор в войске Манцина под Нуманцией (ТГр., 5).
135 – 132 – Восстание Эвна в Сицилии (Сул., 36).
133 – Взятие Нуманции Сципионом Младшим; при нем воюют Гай Гракх и Гай Марий (ТГр., 13; Мар., 3). Тиберий Гракх – трибун; его аграрное законодательство и гибель (ТГр., 8–20).
132 – 130 – Восстание Аристоника в Пергаме (Тит, 21; ТГр., 20).
129 – Смерть (убийство?) Сципиона Младшего (ГГр., 10; Ром. 27).
126 – Гай Гракх – квестор в Сардинии (ГГр., 1).
125 – Восстание в Фрегеллах против Рима (ГГр., 3).
123 – Гай Гракх – трибун, его аграрное законодательство (ГГр., 3–7).
122 – Фанний – консул; Гай Гракх – вновь трибун, основание аграрных колоний. Борьба Друза против Гракха (ГГр., 8–12).
121 – Опимий – консул. Восстание и гибель Г. Гракха и М. Фульвия (ГГр., 13–17).

ВРЕМЯ МАРИЯ И СУЛЛЫ

119 – Марий – трибун (Мар., 4).
ок. 117 – Родился Лукулл (Лук., 1).
115 – Марий – претор (Мар., 6). Род. Красс (Кр. 1).
113 – Поражение Карбона от кимвров в Норике (Мар., 16).

112 – Югурта в Нумидии убивает брата и подкупает присланного для расследования Опимия и др., (ГГр. 18).
109 – Метелл – консул, он ведет войну с Югуртой, Марий при нем легатом (Мар., 7).
107 – Марий – консул, его реформа в войске (Мар., 9). Его победы над Югуртой (Мар., 10). Сулла при нем квестором (Сул., 3).
106 – Сулла захватывает Югурту в плен (Мар., 10; Сул., 3). Родились Помпей и Цицерон (Циц., 2).
105 – Поражение Цепиона от кимвров при Аравсионе (Мар., 16). Серторий участвует в бою (Сер., 3).
104 – 2-е консульство Мария, его триумф, казнь Югурты (Мар., 12). Сулла – его легат (Сул., 4).
102 – 4-е консульство Мария; он разбивает тевтонов при Аквах Секстиевых (Мар., 14–22), Серторий участвует в бою (Сер., 3).
101 – 5-е консульство Мария: он и Катул разбивают кимвров при Верцеллах (Мар., 24–27).
100 – 6-е консульство Мария: он подстрекает, а потом подавляет восстание трибуна Сатурнина (Мар., 28). Родился Цезарь.
99 – 97 – Поездка Мария на Восток (Мар., 31). Серторий служит в Испании (Сер., 3).
95 – Родился Катон Младший (КМл., 1).
93 – Сулла – претор (Сул., 5).
92 – Сулла – пропретор в Малой Азии (Сул., 5).
91 – Попытка Друза Младшего выступить в пользу италиков (КМл., 1–2).
91 – 89 – "Марсийская война": восстание италийских союзников против Рима (Мар., 32–33; Сул., 8; Циц. 3; КМл., 2). Отец Помпея руководит его подавлением (Пом., 1). Лукулл сближается с Суллою (Лук., 2).
90 – Серторий – квестор Предальпийской Галлии (Сер., 4).
88 – Сулла – консул (Сул., 6). Мятеж Сульпиция Руфа, его подавление, поход Суллы на Рим, бегство Мария (Мар., 34–40; Сул., 7–10). Наступление Митридата в Азии и Греции (Сул., 11).
87 – Цинна и Октавий – консулы. Сулла воюет с Митридатом, осада Афин (Сул., 12), посольство Лукулла, его квестора, в Египет (Лук., 2–3). Марий и Цинна захватывают Рим, репрессии (Мар., 41–44; Сер., 4–5; Пом., 3); Красс скрывается в Испании (Кр., 4).
86 – 7-е консульство Мария, его смерть (Мар., 45). Взятие Афин Суллою и победы его при Херонее и Орхомене (Сул., 14–21).
85 – Цинна и Карбон – консулы (Сул. 22). Лукулл помогает Сулле в морской войне с Митридатом (Лук., 3–4). Дарданский мир Суллы с Митридатом (Сул., 24). Гибель в Азии марианцев Флакка и Фимбрии (Сул., 23, 25). Родился Брут.
84 – Гибель Цинны (Пом., 5; Кр., 6).
83 – Поход Суллы на Италию, к нему присоединяется Помпей (Пом., 6–8). с ним Лукулл, Красс (Сул., 29; Кр., 6). Победы Суллы при Сигнии и у Коллинских ворот (Сул., 28–30). Серторий бежит в Испанию (Сер., 6). Родился Антоний.
82 – Сулла захватывает Рим и провозглашает себя диктатором; проскрипции (Сул., 31–33). Смерть Мария Младшего (Мар., 46; Сул., 32). Бегство Цезаря в Вифинию (Цез., 1). Помпей подавляет марианцев в Сицилии (Пом., 10).
81 – Триумф Суллы. Помпей подавляет марианцев в Африке и тоже справляет триумф (Пом., 14). Плавание Сертория в Африку и к Счастливым островам (Сер., 7–9).
80 – Серторий во главе лузитанского восстания (Сер., 10). Первая речь Цицерона – за Росция Америйского (Циц., 3).
80 – 77 – Цицерон скрывается в Греции (Циц., 4).
79 – Сулла слагает диктатуру (Сул., 34). Победы Сертория над Метеллом (Сер., 18). Лукулл с братом – эдилы (Лук., 1).

ВРЕМЯ ПОМПЕЯ И ЦЕЗАРЯ

78 – Смерть Суллы. Попытка антисулланского мятежа консула Лепида (Сул., 34, 37; Пом., 16).
77 – 76 – Первые судебные выступления Цезаря (Цез., 4).
76 – Поход Помпея в Испанию (Сер., 18; Пом., 18). Перпенна присоединяется к Серторию (Сер., 15).

75 – Цицерон – квестор (Циц., 6). Битва при Сукроне между Серторием и Помпеем (Сер., 19; Пом., 19). Переговоры Сертория с Митридатом (Сер., 23).
74 – Лукулл – консул. Начало новой войны с Митридатом (Лук., 5–8; Пом., 20).
73 – Победа Лукулла при Кизике (Лук., 9–11) и Риндаке. Восстание Спартака (Кр. 8), Цезарь – военный трибун (Цен., 5), Катон – доброволец (КМл., 8).
72 – Убийство Сертория в Испании (Сер., 25–26).
71 – Взятие Амиса Лукуллом, бегство Митридата в Армению (Лук., 18–19). Красс подавляет восстание Спартака (Кр., 10–11), Помпей добивает беглецов и справляет 2-й триумф (Пом., 21–22).
70 – Помпей и Красс – консулы, восстановление досулланских порядков (Пом., 22; Кр., 12). Процесс и осуждение Верреса (Циц., 7). Лукулл занимает Синопу (Лук., 23).
69 – Цицерон – эдил (Циц., 8). Победа Лукулла при Тигранокертах (Лук., 26–28).
68 – Речь Цезаря памяти вдовы Мария. Цезарь – квестор в Испании (Цез., 5). Лукулл занимает Нисибиду (Лук., 32).
67 – Победа Митридата над Триарием при Зеле. Лукулл отозван в Рим (Лук., 35–36). Закон Габиния: Помпей ведет войну против пиратов (Пом., 25–29), Катон служит в Македонии (КМл., 9–11).
66 – Цицерон – претор (Циц., 9). Закон Манилия: Помпей сменяет Лукулла в войне против Митридата (Лук., 36; Пом., 30–31). Его встреча с Катоном (КМл., 14).
65 – Цезарь – эдил, восстановление марианских памятников (Цез., 6). Катон – квестор (КМл., 16–18). Красс – цензор (Кр., 13). Триумф Лукулла (Лук., 37). Поход Помпея на Кавказ (Пом., 32–38).
64 – 63 – Помпей в Сирии и Иудее (Пом., 38–42).
63 – Цицерон – консул. Заговор Катилины; выступления Цезаря и Катона (Циц., 10–22; Цез., 7–8; КМл., 22–23). Самоубийство Митридата в Боспоре (Пом., 41). Цезарь избран великим понтификом (Цез. 7).
62 – Цезарь – претор. Катон – трибун (КМл.,21), его конфликт с Метеллом из-за Помпея (КМл., 26–29). Клодий на таинствах Доброй Богини (Цез., 10; Циц., 28).
61 – Возвращение и триумф Помпея (Пом., 42–45). Конфликт его с Катоном (КМл., 30). Суд над Клодием (Циц., 29). Цезарь с помощью Красса уезжает пропретором в Испанию (Кр., 7; Цез., 11).
60 – "Первый триумвират" Цезаря, Помпея и Красса (Цез., 13; Пом., 47; Кр., 14).
59 – Цезарь – консул (Цез., 14; Пом., 47; КМл., 32–33). Дело Веттия (Лук., 42).
58 – Клодий – трибун (Циц., 30; Пом., 49). Он удаляет Цицерона в изгнание (Циц., 31; Пом., 46) и отсылает Катона на Кипр (КМл., 34); Антоний среди его приверженцев (Ант., 2). Цезарь в Галлии ведет войну с гельветами и Ариовистом (Цез., 15, 18–19).
57 – Война Цезаря с белгами (Цез., 20). Возвращение Цицерона в Рим (Циц., 33). Катон и Брут на Кипре (КМл., 37–38; Бр., 3). Антоний восстанавливает в Египте Птолемея XII (Ант., 3; КМл., 35).
ок. 57 – Умер Лукулл.
56 – Свидание Цезаря, Помпея и Красса в Луке (Цез., 21; Пом., 51; Кр., 14; КМл., 41).
55 – Помпей и Красс – консулы (во 2-й раз) (Пом., 52; Кр., 15); их конфликт с Катоном (КМл., 41–43). Театр Помпея в Риме. Походы Цезаря за Рейн и на Британию (Цез., 22–23).
54 – Катон – претор (КМл., 44). Красс выступает на Восток (Кр., 17). Второй поход Цезаря в Британию; восстание Амбиорига. Смерть Юлии, дочери Цезаря и жены Помпея (Цез., 23–24).
53 – Поражение и смерть Красса при Каррах (Кр., 23–31).
52 – Помпей – консул без коллеги (Цез., 28; КМл., 47). Волнения в Риме (Пом., 44), гибель Клодия, речь Цицерона за Милона (Циц., 35). Катон неудачно домогается консульства (КМл., 49). Восстание Верцингеторига в Галлии и подавление его Цезарем (Цез., 26–27).
51 – Цицерон – наместник Киликии (Циц., 36). Попытки лишить Цезаря командования (Цез., 29).
50 – Курион – трибун, он агитирует в пользу Цезаря (Пом., 58; Цез., 30–31), с ним Антоний (Ант., 5).
49 – Цезарь переходит Рубикон, занимает Италию, разбивает помпеянцев в Испании (Цез., 32–36; Пом., 60–63; КМл., 52–53; Ант., 6). Первое избрание Цезаря диктатором.
48 – Цезарь переходит в Грецию, осажден в Диррахии, вырывается и разбивает Помпея при Фар-

сале (Цез., 37–47; Пом., 65–72), Бегство и гибель Помпея в Египте (Пом., 74–80). Катон в Африке (КМл., 56); Брут и Цицерон переходят от Помпея к Цезарю (Бр., 4–6; Циц., 39).
47 – Александрийская война и победа Цезаря над Фарнаком (Цез., 48–50). Второе избрание Цезаря диктатором (Цез., 51). Попытка мятежа Долабеллы (Ант., 9).
46 – Африканская война и победа Цезаря над Сципионом и Юбой при Тапсе; самоубийство Катона (Цез., 52–54; КМл., 58–70). Четыре триумфа Цезаря (Цез., 55). Брут правит Предальпийской Галлией (Бр., 6). Развод Цицерона (Циц., 41).
45 – Испанская война и победа Цезаря над сыновьями Помпея при Мунде; пятый триумф Цезаря (Цез., 56). Введение юлианского календаря (Цез., 59). Смерть дочери Цицерона (Циц., 41).

ВРЕМЯ БРУТА И АНТОНИЯ

44 – Брут – претор (Бр., 7). Цезарь на Луперкалиях притязает на царскую власть (Цез., 61; Ант., 12). Заговор Брута – Кассия и убийство Цезаря (Цез., 62–66; Бр., 9–18). Консул Антоний во главе государства (Ант., 14). Брут уезжает в Грецию (Бр., 21). Цицерон уезжает и возвращается в Рим (Циц., 43). Союз его с Октавианом против Антония (Ант., 16).
43 – Гирций и Панса – консулы. Мутинская война. "Второй триумвират" Антония, Октавиана и Лепида, проскрипции, гибель Цицерона (Ант., 17–20; Циц., 45–48; Бр., 27). Брут подчиняет Македонию, Кассий – Сирию, и они соединяются в Смирне (Бр., 29).
42 – Брут и Кассий подчиняют Малую Азию (Бр., 30–32). Битва при Филиппах, поражение и самоубийство Брута и Кассия (Бр., 38–52; Ант., 22). Антоний в Малой Азии (Ант., 24).
41 – Встреча Антония с Клеопатрой на Кидне (Ант., 26). Антоний в Александрии (Акт., 28). Перузинская война между Октавианом и Луцием Антонием (Ант., 30).
40 – Брундизийский договор между Октавианом и Марком Антонием, брак Антония с Октавией (Ант., 30–31).
39 – Мизенский договор между Октавианом, Антонием и Секстом Помпеем (Ант., 32).
38 – Антоний и Октавия в Афинах. Победы Вентидия над парфянами, гибель Пакора (Ант., 33–34; Кр., 33).
37 – Тарентский договор между Октавианом и Антонием (Ант., 35). Победы Сосия в Сирии (Ант., 34). Антоний в Антиохии женится на Клеопатре (Ант., 36).
36 – Неудачный парфянский поход Антония (Ант., 37–51).
33 – Неудачная попытка Октавиана примирить Октавию и Антония (Ант., 53–54).
32 – Антоний разводится с Октавией (Ант., 57). Октавиан объявляет войну Антонию и Клеопатре (Ант., 60).
31 – Поражение Антония и Клеопатры при Акции (Ант., 61–68).
30 – Самоубийство Антония и Клеопатры в Александрии. Присоединение Египта к Римской державе (Ант., 74–86).

ВРЕМЯ ГАЛЬБЫ И ОТОНА

30 до н.э. – 14 н.э. – Правление Октавиана Августа.
14–37 – Правление Тиберия.
33 н.э. – Гальба – консул (Гал., 3).
37–41 – Правление Гая Калигулы.
39–41 – Гальба – военачальник в Германии (Гал., 3).
41–54 – Правление Клавдия.
45–47 – Гальба – наместник Африки (Гал., 3).
ок. 46 – в Беотийской Херонее родился Плутарх.
54 – 68 – Правление Нерона.
61 – Гальба – наместник в Испании (Гал., 3).
62 – Казнь Октавии и брак Нерона с Поппеей; Отон – наместник в Лузитании (Гал., 19).
66 – Иудейское восстание и назначение Веспасиана в Иудею.
67 – Нерон совершает поездку по Греции и дарует греческим городам автономию (Тит, 12).
68 – Восстание и поражение Виндекса в Галлии (Гал., 4–6). Провозглашение Гальбы императором в Риме и потом в Испании; самоубийство Нерона (Гал., 7). Гальба вступает в Рим (Гал., 15).

69 – Провозглашение Вителлия императором в Германии (Гал., 22). Усыновление Гальбою Пизона (Гал., 23). Падение Гальбы и Пизона, провозглашение Отона императором в Риме (Гал., 24–28; Отон, 1). Наступление вителлианцев и поражение Отона при Бедриаке (Отон, 8–14), его самоубийство (Отон, 17). Вителлий в Риме. Провозглашение Веспасиана императором в восточной армии. Войско Веспасиана идет на Рим; поражение и убийство Вителлия. Веспасиан – император.

ВРЕМЯ ПЛУТАРХА

69–79 – Правление Веспасиана. Соглашение между императором и сенатом – основа дальнейшей стабилизации власти. Государственные риторические школы в Риме, во главе одной из них – Квинтилиан. Первое изгнание неблагонадежных философов из Рима (71 г.). Греция вновь обращена в проконсульскую провинцию (74 г.). Плутарх потом скажет, что за временное освобождение Греции Нерону смягчены его загробные муки ("О промедлении божьей кары", 22). Плутарху в 70–71 г. ок. 25 лет. Прадед его Никарх и дед его Ламприй помнили войну Антония с Октавианом (Ант., 28, 68); отца и мать он не упоминает; у него два брата (ср. трактат "О братской любви"). Около этого времени он женится (у него и жены его Тимоксены – пятеро детей, из которых трое умерли ранее отца; на смерть младшей дочери он напишет "Утешение жене"). Он учится в Афинах у философа–платоника Аммония, занимается математикой и религиозными древностями, совершает поездку в Александрию (отсюда – будущий трактат "Об Исиде и Осирисе"). С Афинами он связан всю жизнь, у него афинское гражданство, его юношеские декламации – "О славе афинян", "Об удаче римлян", "Об удаче и доблести Александра".

Вторая половина 70-х гг. – Первая засвидетельствованная поездка Плутарха в Италию и Рим. "При старом Веспасиане" он видит в цирке удивительную ученую собаку ("О смышлености животных", 19). С сенатором Л. Местрием Флором (сменный консул между 72 и 75 гг., участник войны 69 г.) совершает поездку по северной Италии (родине Местриев): поле боя при Бедриаке, гробница Отона в Брикселле, статуя Мария в Равенне (Отон, 14, 18; Мар., 2). Местрий помогает ему получить римское гражданство, официальное его имя – Местрий Плутарх. Впрочем, "когда я жил в Риме и в других местах Италии, государственные заботы и ученики, с которыми я занимался философией, не оставляли мне досуга упражняться в языке римлян, так что лишь поздно, на склоне лет, я начал читать по-латыни" (Дем., 2). В Риме в это время Плиний Старший заканчивает "Естественную историю" (77 г.), а Валерий Флакк пишет поэму "Аргонавтика". Родился будущий император Адриан (76 г.).

79–81 – Правление Тита, сына Веспасиана. Извержение Везувия и смерть Плиния Старшего (79 г.), пожар Капитолия (80 г.). Открытие Колизея; Марциал начинает писать эпиграммы.

81–96 – Правление Домициана, брата Тита. Отношения между императором и сенатом портятся. Ритор Дион Хрисостом, сверстник Плутарха, уходит в 14-летнее изгнание бродячим философом. Умирает Местрий Флор; у Плутарха нет сочинений, ему посвященных, – видимо, он еще мало пишет, а только делает записи и выписки впрок. Плутарх живет в Херонее, ездит по Беотии (Феспии, Танагра, Платея), по Пелопоннесу (Спарта, Патры), по Эвбее (Халкида, Эдепс), выступает в Малой Азии (Сарды), часто бывает в Дельфах, в Олимпии, в Афинах.

Начало 90-х гг. – Вторая засвидетельствованная поездка Плутарха в Рим (вероятно, не последняя). Он видит новый дворец Домициана и отстраиваемый Капитолий (Попл., 15). Он читает лекцию в присутствии стоика Арулена Рустика (сменный консул 92 г.), "во время чтения солдат принес ему письмо от императора, я остановился, но он не захотел распечатывать письмо, пока я не кончу" ("О любопытстве", 15). В 94 г. Арулен вместе с другими сенаторами–оппозиционерами казнен, философы вновь изгнаны из Рима. Стоик Эпиктет переселяется в Никополь, там с ним беседует ученый раб Плутарха Онесим (диалог Фаворина "Эпиктет", не сохр.). Силий Италик (консул 68 г.) пишет поэму "Пуника", а Стаций заканчивает поэму "Фиваида".

96 – Заговор сенаторов и убийство Домициана; императором становится Нерва, он объявляет амнистию и назначает своим преемником полководца Траяна. Смерть чудотворца Аполлония Тианского. Тацит, сверстник Плутарха, – консул (97 г.): его "Агрикола" и "Германия".

98–117 – Правление Траяна. Плиний Младший – консул (100 г.); его панегирик Траяну. Дион Хрисостом произносит перед Траяном речи "О царской власти". Новый покровитель Плутарха –

Кв. Сосий Сенецион (консул 99, 102, 107 гг.), адресат двух писем Плиния; ему посвящены "Сравнительные жизнеописания" и "Застольные беседы", самые обширные из сочинений Плутарха. Траян назначает Плутарха консультантом по местным делам при проконсуле Греции ("дал ему проконсульские почести и приказал, чтобы наместник Иллирии ничего не предпринимал без его одобрения", по гиперболическому выражению словаря "Суды").

Начало 100-х гг. – Плутарх избран пожизненным жрецом в Дельфах, пишет диалоги на дельфийские темы, посвящает дельфийской жрице Диониса, Клее, трактаты "Об Исиде и Осирисе" и "О добродетелях женщин". Родился Герод Аттик, ритор и меценат, центральная фигура следующего поколения греческой литературы.

100–110-е гг. – Написано большинство сочинений Плутарха. Неполный список их ("Каталог Ламприя") составляет 227 названий, сохранилось около половины. К историческим сочинениям, кроме "Сравнительных жезнеописаний", относятся биографии первых римских императоров (сохранились "Гальба" и "Отон") и заготовки "Изречения царей и полководцев", "Римские вопросы", "Греческие вопросы" и др. К "нравственным сочинениям" ("Moralia") относятся "О воспитании", "Как читать поэтов" (педагогика), "Платоновские вопросы", "О противоречиях у стоиков", "Нельзя счастливо жить по Эпикуру" (философия), "О душевном спокойствии", "Об алчности", "О самохвальстве", "Об отличии льстеца от друга" (этика), «О надписи "Е" в Дельфах», "Об упадке оракулов", "Почему пифия больше не вещает стихами", "О промедлении божьей кары", "О судьбе" (религия), "О лике, видимом на луне", "О первичном холоде", "Что полезнее, вода или огонь" ("физика"), "Государственные наставления", "Заниматься ли в старости государственными делами" (политика), "О любви", "О братской любви", "Супружеские наставления" (семья), "Сопоставление Аристофана с Менандром", "О злокозненности Геродота" (словесность) и многие другие.

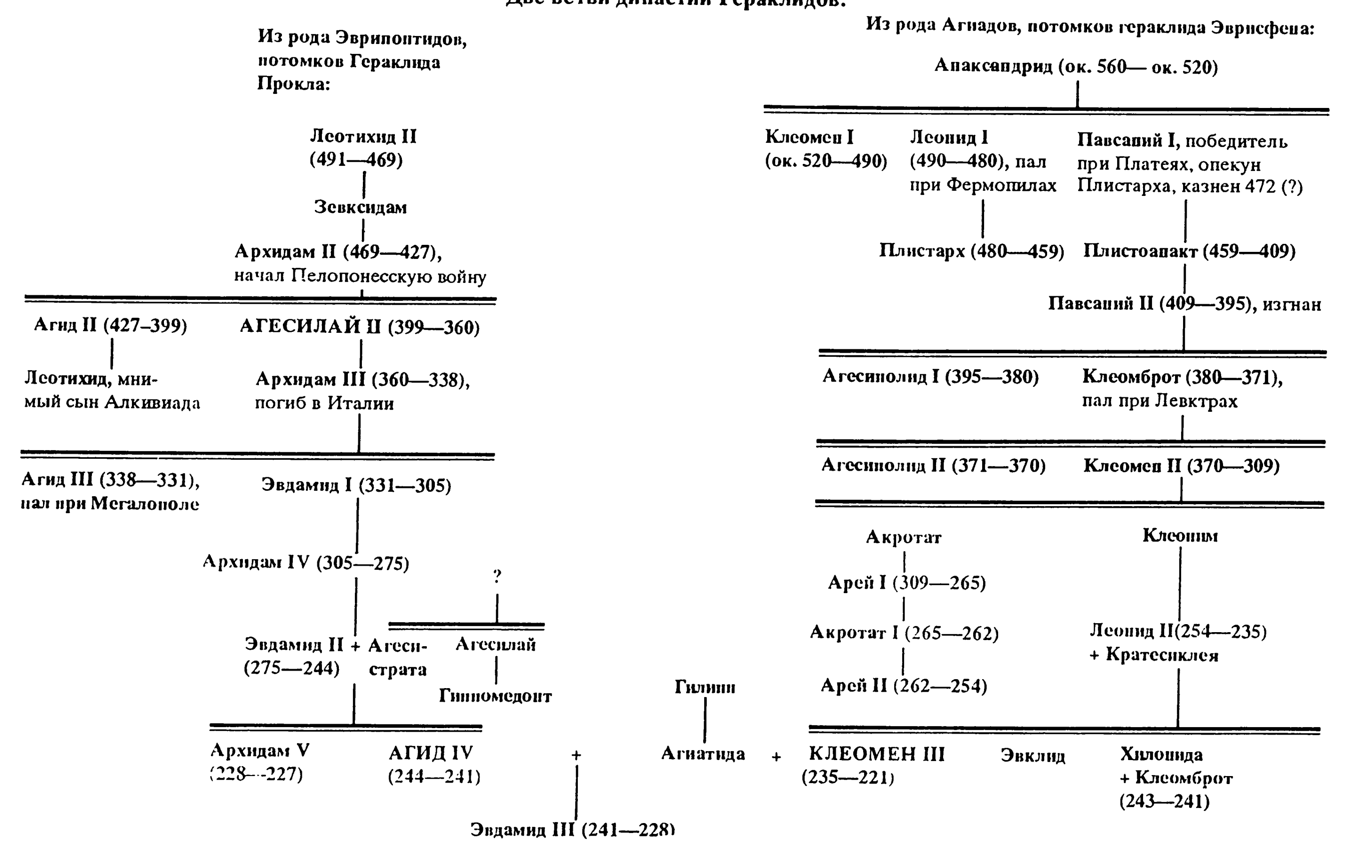
117–138 – Правление Адриана. "Анналы" Тацита (ок. 117 г.), "Двенадцать цезарей" Светония (ок. 120 г.). Ритор Фаворин из Галлии, ученик Диона Хрисостома, – младший друг, адресат и подражатель Плутарха; потом он напишет диалог "Плутарх" (не сохр.). Родился Марк Аврелий, будущий император–философ (121 г.).

119–120 – "Плутарх из Херонеи, философ, в старости назначен попечителем Греции" (не совсем ясная заметка в хронике Евсевия под 119 г.). Плутарх – в коллегии устроителей Пифийских игр в Дельфах, член Беотийского совета и совета амфиктионов. Когда в Дельфах ставится статуя в честь Адриана, то в надписи среди жрецов назван Местрий Плутарх. Это последнее прижизненное упоминание о нем. Перед смертью ему приснилось, что Гермес возводит его живым на небо (Артемидор, IV, 72). В Дельфах сохранилась надпись на постаменте его статуи:

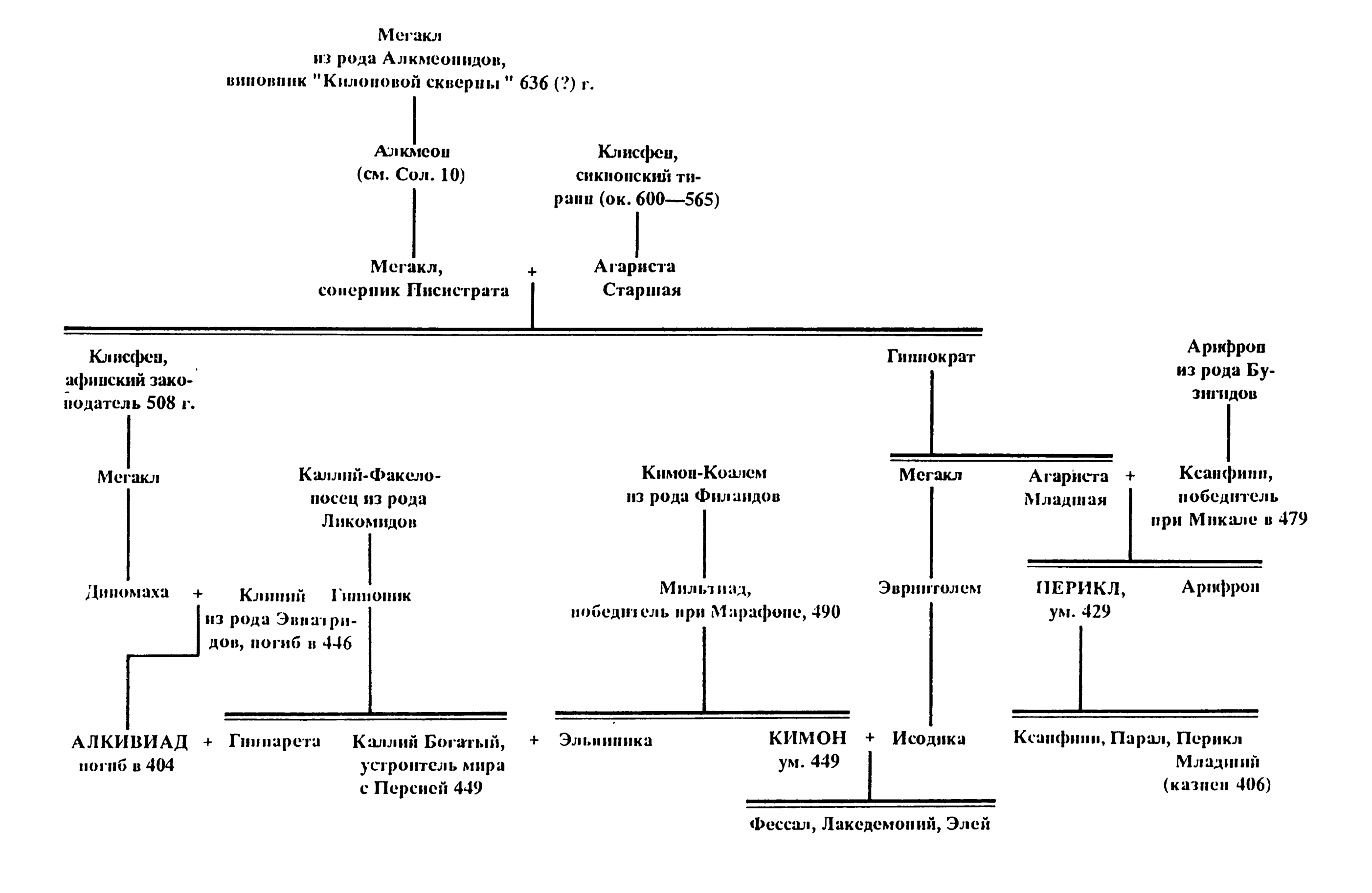
Здесь Херонея и Дельфы совместно Плутарха воздвигли:
Амфиктионы его так повелели почтить.

Племянник Плутарха, стоик Секст Херонейский, был одним из воспитателей императора Марка Аврелия. "Мы гордимся происхождением от знаменитого Плутарха через племянника его Секста-философа", – говорит герой "Метаморфоз" Апулея (I, 2) ок. 175 г. Род Плутарха прослеживается в Херонее вплоть до конца IV в.

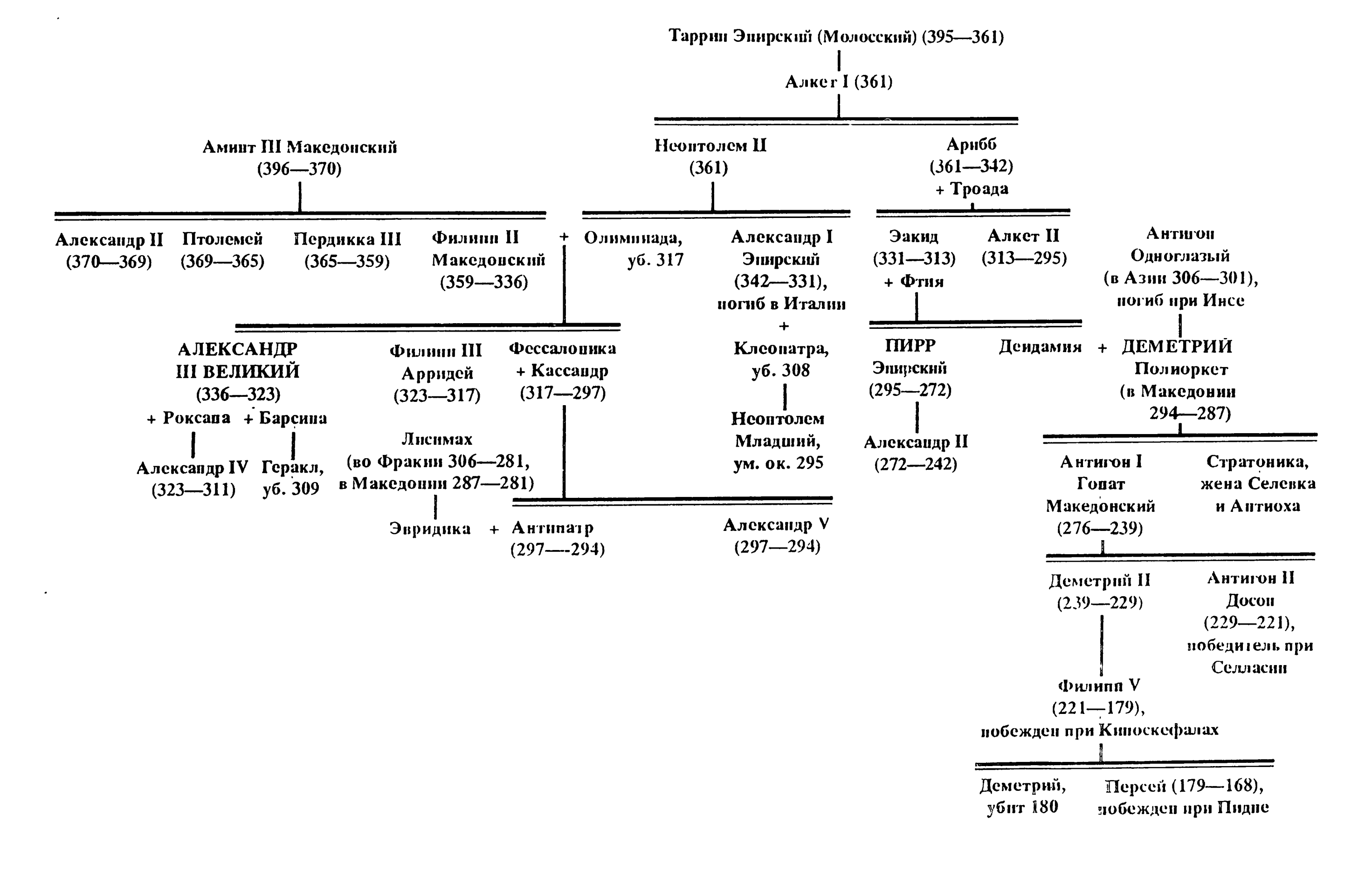
1. РОДОСЛОВНАЯ СПАРТАНСКИХ ЦАРЕЙ



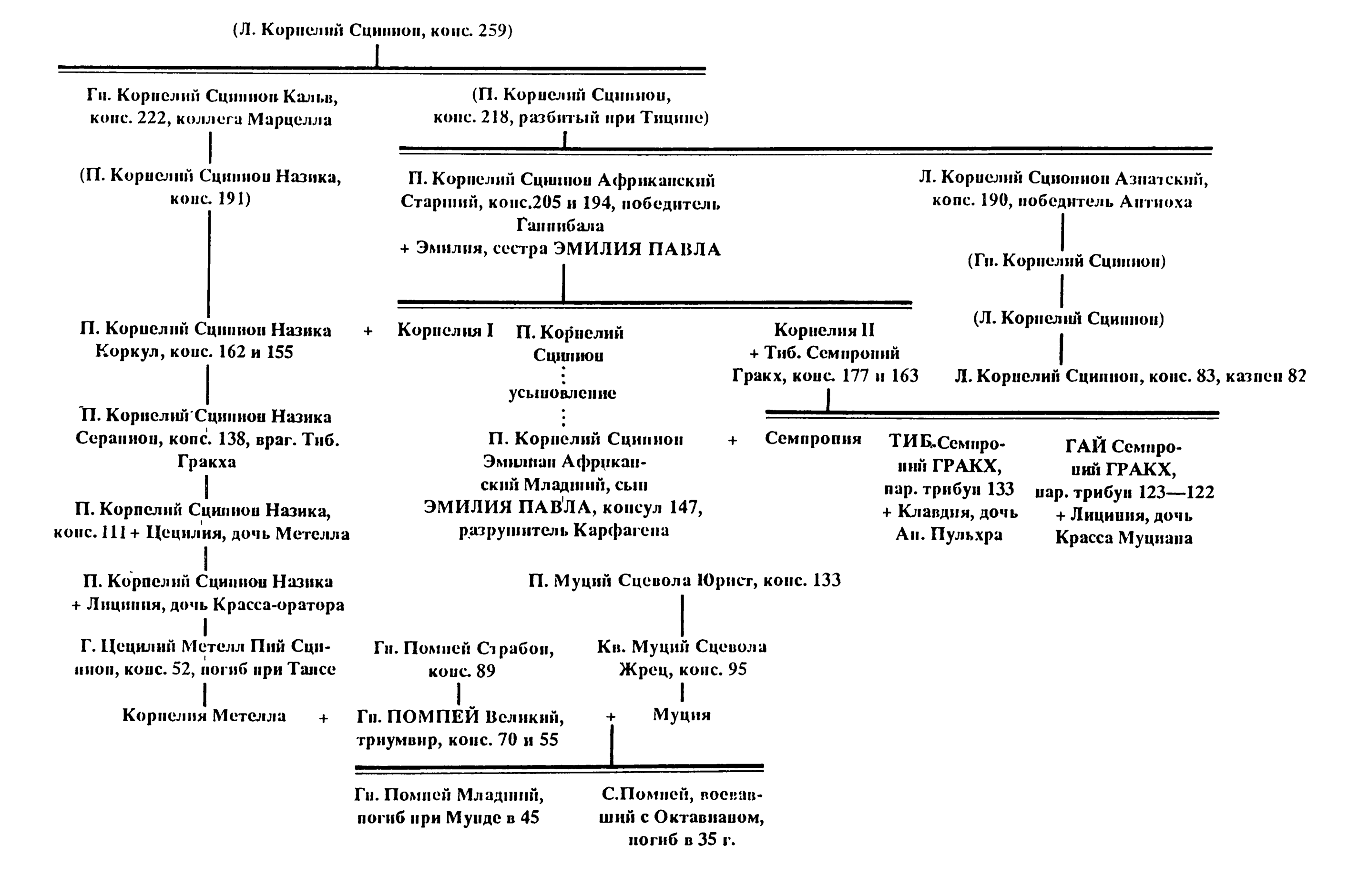
2. РОДОСЛОВНАЯ АФИНСКИХ РОДОВ VII—V вв.



3. РОДОСЛОВНЫЕ МАКЕДОНСКИХ И ЭПИРСКИХ ЦАРЕЙ



4. РОДОСЛОВНАЯ СЦИПИОНОВ И ГРАКХОВ



5. РОДОСЛОВНАЯ МЕТЕЛЛОВ и КЛАВДИЕВ

Кв. Цецилий Метелл, победитель Гасдрубала, конс. 206

Кв. Цецилий Метелл Македонский, конс. 143

(Л. Цецилий Метелл Кальв, конс. 142)

(Кв. Цецилий Метелл Балеарский, конс. 123)

Л. Цецилий Метелл Диадемат, конс. 117

(Г. Цецилий Метелл Капрарий, конс. 113)

Цецилия + П. Сципион Назика, конс. 111

(Л. Цецилий Метелл Далматик, конс. 119)

Кв. Цецилий Метелл Нумидийский, конс.109

(Цецилия) + Л. Лициний Лукулл, претор 104

(Кв. Цецилий Метелл Непот, конс. 98)

Кв. Цецилий Метелл Целер

Кв. Цецилий Метелл Критский, конс. 69

Л. Цецилий Метелл, конс. 68

П. Корнелий Сципион Назика + Лициния, дочь оратора Красса

Цецилия Метелла + Л. Корнелий СУЛЛА, диктатор

Кв. Цецилий Метелл Пий, конс. 80, воевавший с Серторием

Л. Лициний ЛУКУЛЛ, конс. 74 + 1) Сервилия, дочь Кв. Цепиона (см. табл. 6) 2) Клодия, дочь Ап. Пульхра (см. ниже)

М. Теренций Варрон Лукулл, конс. 73

Кв. Цецилий Метелл Непот, конс. 57, враг Катона и Цицерона

Л. Цецилий Метелл, нар. трибун 49

Фавст Корнелий Сулла, квест. 54, зять Помпея

(усыновление)

(усыновление)

Ап. Клавдий Пульхр, консул 143

Ап. Клавдий Пульхр, претор 89, погиб в 82

Клавдия, жена Тиб. Гракха

Кв. Цецилий Метелл Пий Сципион, конс. 52, погиб при Тапсе

М.Лициний КРАСС Богатый, триумвир, консул 70 и 55, погиб при Каррах

Кв. Цецилий Метелл Целер, конс. 60 + Клодия "Квадрантария", возлюбленная Катулла

Клодия, жена Лукулла

П. Клодий Пульхр, нар. трибун 58, враг Цицерона

Ап. Клавдий Пульхр, конс. 54

Корнелия Метелла + 1) П. Лициний Красс, погиб при Каррах + 2) Гн. ПОМПЕЙ, триумвир

6.РОДОСЛОВНАЯ КАТОНОВ и БРУТА

Л. Эмилий Павел, конс. 216, погиб при Каннах

Л. ЭМИЛИЙ ПАВЕЛ, конс. 182 и 168 + Папирия

Фабий Максим Эмилиан (усыновлен в роде Фабиев)

Сципион Эмилиан (усыновлен в роде Сципионов)

Эмилия + М. Порций Катон Лициниан

М. Порций КАТОН Старший конс. 195, ценз. 184

+ ?

М. Порций Катон Лициниан

+ Салония

М. Порций Катон Салониан

М. Ливий Друз, враг Г. Гракха, пар. трибун 122, конс. 112

М. Ливий Друз, пар. трибун 91, виновник италийской войны

Ливия + Кв. Сервилий Цепион, претор 90, враг Друза

+ М. Порций Катон, пар. трибун 99

Кв. Сервилий Цепион

Сервилия, жена ЛУКУЛЛА

Сервилия + 1) М. Юний Брут, пар. трибун 83 2) Д.Юний Силан, конс. 62

М. Порций КАТОН Младший (Утический), претор 54, погиб в 46

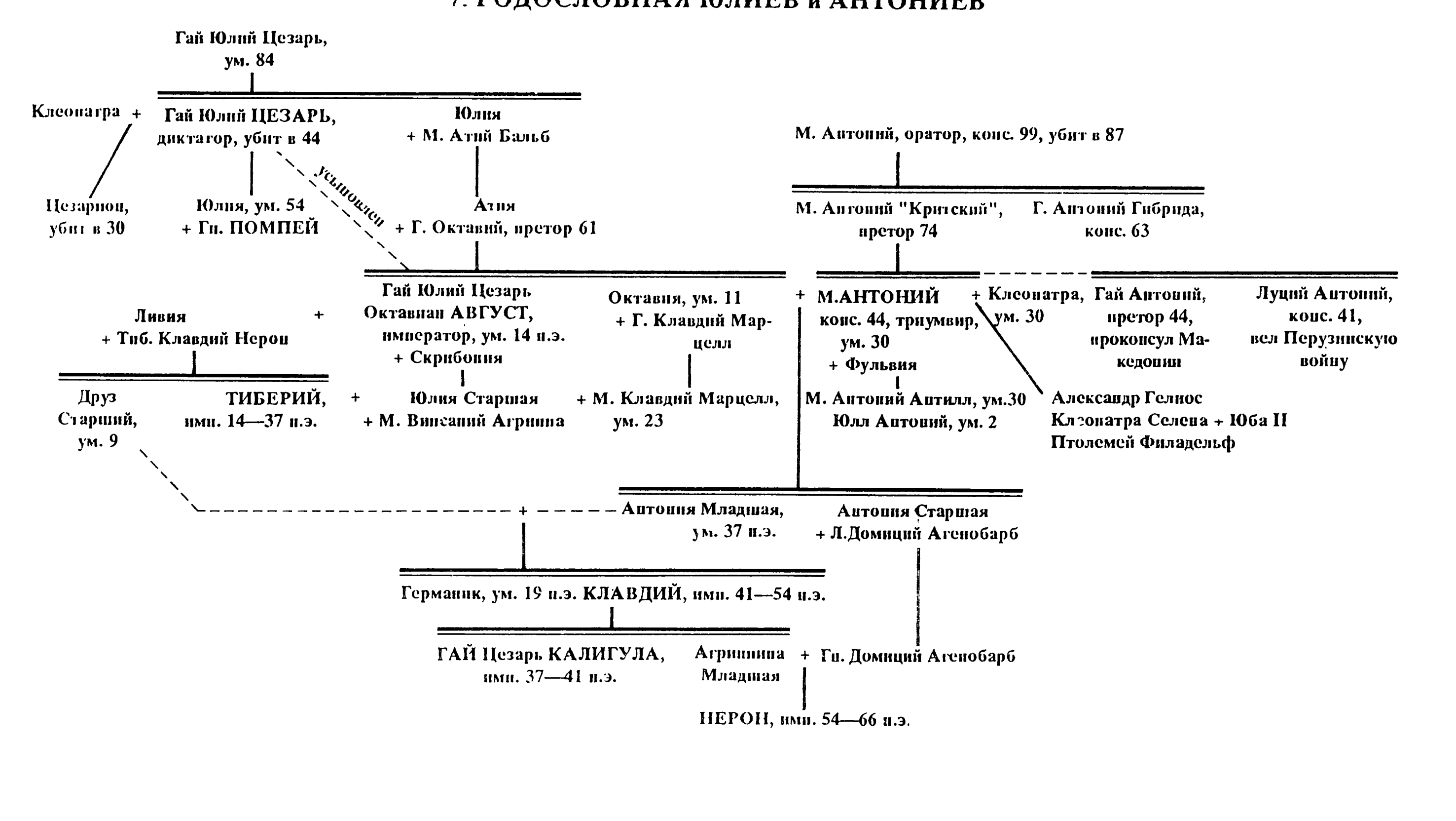
Порция + Л. Домиций Агенобарб, конс. 54

Юния + Гай Кассий Лонгин, претор 46, убийца Цезаря

М. Юний БРУТ, претор 44, убийца Цезаря + Порция

М. Порций Катон, погиб при Филиппах

7. РОДОСЛОВНАЯ ЮЛИЕВ и АНТОНИЕВ



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Лица включены в указатель под теми именами, под которыми они чаще встречаются в тексте: например, "Цицерон, Марк Туллий", а не "Туллий Цицерон, Марк". Имена писателей, упоминаемых Плутархом как его источники, выделены курсивом. Мифологические имена, как правило, не включены. Римские личные имена даны в обычных сокращениях": А(вл), Ап(пий), Г(ай), Гн(ей), Д(ецим), Кв(инт), Л(уций), М(арк), Ман(ий), П(ублий), С(екст), Сер(вий), Т(ит), Тиб(ерий). При датах указания "до н.э." опускаются. Указатель составлен М.Л. Гаспаровым*.

*Все сокращения заглавий см. в преамбуле к комментарию (т. I). Сокращения типа "Тес./Ром." относятся к "Сопоставлению" Тесея и Ромула и т.п.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЛУТАРХ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Том II

Утверждено к печати Редколлегией серии "Литературные памятники"

Руководитель фирмы "Наука – Культура" А.И. Кучинская
Редактор издательства Е.Л. Никифирова. Художник С.Б. Генкина. Художественный редактор Н.Н. Михайлова. Технический редактор Н.Н. Кокина. Корректоры:Ф.И. Грушковская, Р.В. Молоканова, Е.Л. Сысоева

Набор выполнен в издательстве на компьютерной технике

ИБ № 269

ЛР № 020297 от 27 ноября 1991 г.

Сдано в набор 25.10.94. Подписано к печати 02.02.94. Формат 70 × 90 1/16. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 49,14. Усл.кр.-отт. 50,31. Уч.-изд.л. 51,2. Тираж 10000 экз. Тип. зак. 919

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Московская типография № 2 ВО "Наука"
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

